

СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО

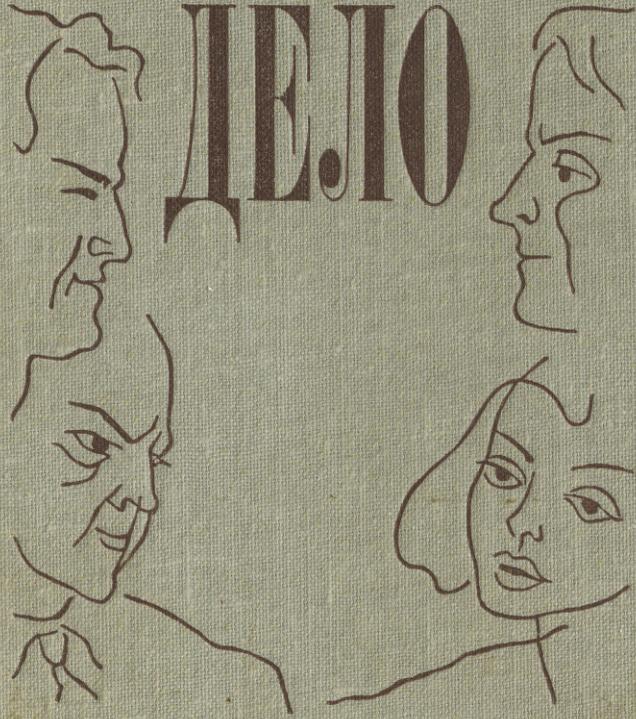
ЕВГ. ВОЕВОДИН



ЕВГ. ВОЕВОДИН

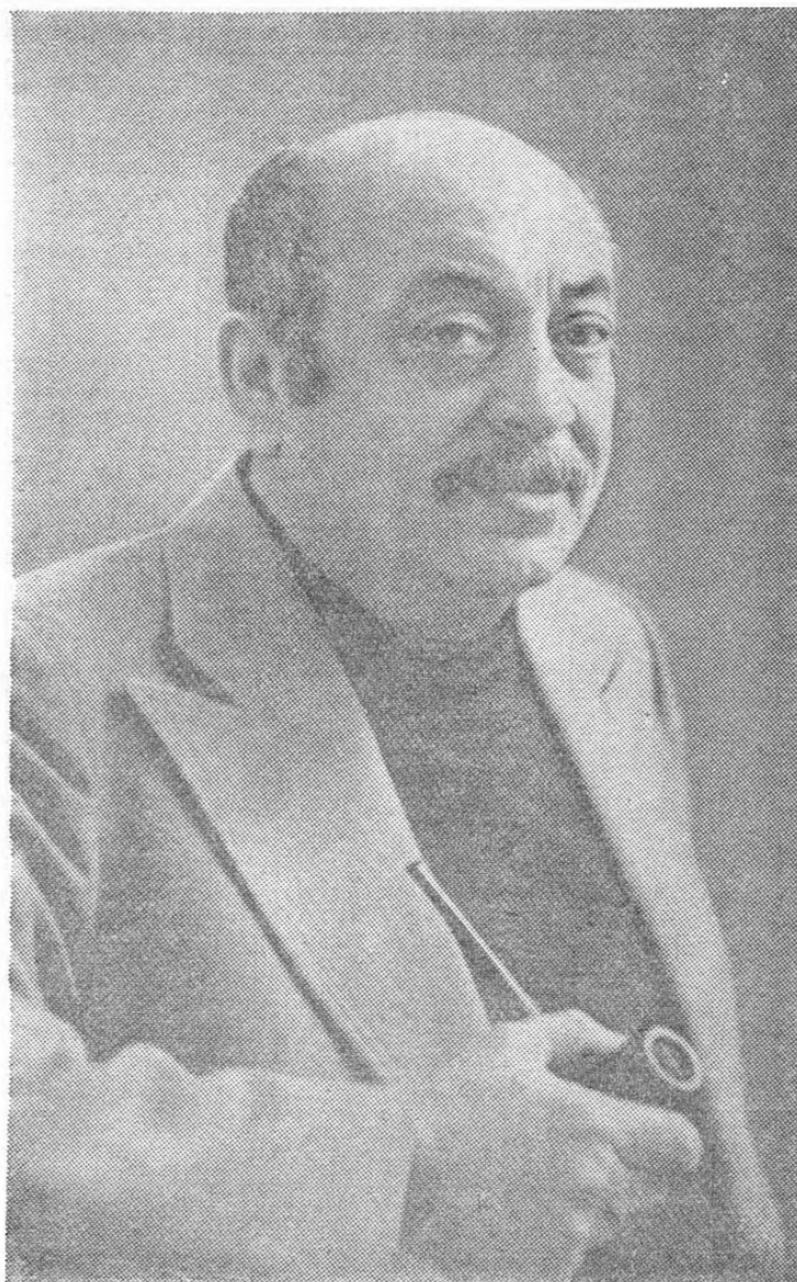
СЕМЕЙНОЕ

ДЕЛО



ЕВГ. ВОЕВОДИН

СЕМЕЙНОЕ
ДЕЛО



ЕВГ. ВОЕВОДИН

**СЕМЕЙНОЕ
ДЕЛО**

РОМАН-ДИЛОГИЯ



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ. ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 1982

В книгу вошли два романа Евгения Воеводина — «Семейное дело» и «Своя вина», объединенные не только тем, что оба произведения посвящены рабочему классу, но и общими героями. Писатель исследует прежде всего нравственные проблемы, которые возникают в процессе труда на крупном машиностроительном заводе.

Художник ОЛЕТ ТИТОВ

СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО



1. ОЧЕРК О ДИРЕКТОРЕ ЗАВОДА

В том, что пятьдесят лет — пора стойких привычек, Рогов убеждался с неудовольствием. Некоторые привычки мешали ему. Даже в выходные дни, когда, казалось, можно было как следует выспаться, он поднимался в восемь, будто внутри его срабатывали какие-то часы. И, просыпаясь, он немедленно закуривал, — эта привычка была тоже стойкой и лишней. Врачи требовали, чтобы он вообще бросил сигареты или хотя бы сократил курение. Вот так, с сигаретой в уголке рта, еще до мытья и до завтрака, он спускался за газетами — третья, не худшая, привычка — обязательно начинать день с газет.

Из дому Рогов уходил последним. Раньше всех убегала в институт дочка, потом уезжала жена, которой всегда не хватало десяти минут, чтобы выйти вместе с дочкой. Он оставался один на целый час: машина приходила за ним без четверти десять. И это тоже было привычкой — целый час думать о сегодняшних делах, как бы мысленно расставляя их по местам.

Но сегодня был выходной, суббота, и машина не придет. Рогов принес газеты и сел на кухне возле окна. Сегодня он не спешил: день обещал быть длинным и непривычно пустым. Вечером всем семейством в театр, на премьеру, а до вечера, подумал он, буду читать, уже накопилась уйма непрочитанных журналов. Однако утро начиналось с газет, и первой он развернул областную — «Красное знамя». Там были сообщения из колхозов и совхозов: сев завершен, несмотря на холодный дождливый май. Действительно, посевная всем стоила нервов. По ночам кое-где проходила полоса заморозков, и Рогов вспоминал, как говаривала его бабка: «Сорок утренников — сорок мучеников». Какое там «сорок мучеников»! Вся область мучилась, и обком мучился, и он сам требовал каждый день метеосводку, где уныло повторялось почти весь месяц: «Вторжение масс арктического воздуха...» Ему уже по ночам снилось это проклятое вторжение масс.

«Открыт новый Дом культуры в Вышеславском районе...» Ездил ли туда кто-нибудь из инструкторов обкома? «Железнодорожники выполнили план перевозок первого квартала». Долго же считали! Первый квартал кончился чуть не два месяца назад. «Сегодня — День пограничника» — большая статья начальника политотдела округа, торжественный вечер был вче-

ра, он, Рогов, сидел в президиуме, и начальник войск округа пододвинул ему записку: «По разведанным, начал брать лещ». Он помотал головой: некогда. А жаль! В приграничных озерах рыбалка всегда была отменной. «Новые изделия». Газета сообщала, что фирма «Луч» наладила выпуск дамского трикотажа новых фасонов, им присвоен Знак качества. Рогов усмехнулся: помогло! Руководителей фирмы трижды слушали на бюро обкома.

Большой, на два «подвала» очерк он приберет к концу. Очерк назывался «Накануне», вполне по-тургеневски, и, едва начав читать, Рогов поглядел, кто автор. Ага, так и есть — Е. Воронина. Он не знал ее, но редактор «Красного знамени», как-то назвал при нем эту Воронину «первым пером», и, видимо, не случайно. Рогову нравились ее очерки о людях области.

На этот раз она писала о директоре ЗГТ — завода газовых турбин — Владимире Владимировиче Силине, и Рогов читал очерк с особым интересом, перечитывал отдельные абзацы, возвращаясь к началу, и даже кивал, находя такое, что было ему знакомо с давних лет, когда Владимир Владимирович был просто Володькой, а он, Рогов, «ремеслухой» из первого РУ, в черной гимнастерке с серебряными буквами в петлицах. Сейчас он ловил себя на странном ощущении, будто поддразнивал эту незнакомую журналистку: вот ты ходила, узнавала, расспрашивала, а я все-таки знаю о Силине больше тебя. И, дочитав очерк, Рогов подумал, что газета не сообщила ему ничего нового. Все, что было в очерке, он — секретарь обкома партии — знал раньше. Силин был из его детства.

И снова начал читать очерк.

Воронина писала, как три года назад бывшего директора завода Аксенова вызвали в Москву, в главк. Она не знала, что тогда вместе с Аксеновым поехал и Рогов — в ту пору заведующий промышленным отделом обкома партии. А Рогову эта поездка запомнилась так, будто она была вчера, а не три года назад. Его самого тогда ошеломило решение превратить механический завод в завод газовых турбин. Когда вместе с Аксеновым он вышел из главка, директор сказал:

— Пойдем, Георгий Петрович, посидим где-нибудь. Ну, хотя бы в «Арагви». Каждый командированный почему-то считает своей обязанностью сбежать в Третьяковку и посидеть в «Арагви».

Они поймали такси и поехали в «Арагви». Аксенов молчал, и Рогов не торопил его, понимая, что человек не то чтобы обескуражен, а просто ему надо подумать. Народу в ресторане было немного, они выбрали столик в углу, заказали шашлык и водку, и Рогов удивился, что Аксенов заказал водку — молодой человек, уже переболевший несколько лет назад инфарктом, он даже на приемах не пил ничего, кроме минеральной воды. Аксенов налил водки ему и себе и, подняв рюмку, коротко сказал:

— За будущий завод и будущего директора.

— Вот как! — усмехнулся Рогов.

— А вы что думали? В шестьдесят три года сызнова жить не начинают, Георгий Петрович. Это все равно что жениться на двадцатилетней.

Он глядел на Рогоза в упор, словно ожидая возражений или уговоров, вроде — ну что вы, зачем уж так, вы еще горы свернуть можете. А Рогов сидел и, не спеша выпить, думал, что Аксенов, конечно, прав. Тут даже не надо самому быть инженером, чтобы представить себе, что предстоит сделать, да еще в такие жесткие сроки. Годами завод выпускал воздуходувки, насосы, вентиляторы — и вдруг газовые турбины! Конечно, это было не совсем вдруг, разговоры об этом шли и раньше, из главка приезжали не раз и не два, собирали необходимую документацию, и все равно правительственное решение оказалось неожиданным. Но, подумалось Рогову, для директора вопрос об уходе был решен давно, просто Аксенов ждал именно этого дня, и сейчас эта поездка в ресторан и эта рюмка водки для него как первое прощание. Рогову стало грустно. Он давно знал Аксенова, знал и любил.

— За вас, — сказал он, поднимая свою рюмку. — В конце концов ничто не делается на пустом месте.

Аксенов согласно кивнул, но пить не стал. Он все еще думал о чем-то, или вспоминал тот разговор в главке, или хотел что-то договорить и сейчас решал, стоит ему договаривать или не стоит.

— Вы ни о чем не хотите спросить меня? — наконец сказал он. — Или обком не будет интересоваться мое мнение о будущем директоре?

Рогов протянул руку и положил ее на руку Аксенова.

— Мы же с вами не на обкоме, Кирилл Степанович, — сказал он. — Кроме того, что-то уж больно грустный разговор

— Мне не до танцев, — усмехнулся Аксенов.

— А я вам и не предлагаю плясать. Просто я думаю, что это разговор преждевременный.

— Преждевременный? — удивленно поднял брови-кустики Аксенов. — Вы считаете, что для меня это разговор преждевременный? Для меня он главный! В чьи руки попадет завод...

— У нас остывает шашлык, между прочим.

Ему надо было как-то увести эту беседу в сторону. Он наперед знал, чью фамилию назовет Аксенов, и знал, что согласится с ним, а когда будет секретариат, сам выдвинет эту кандидатуру, и еще знал, что секретари, а потом и бюро обкома, а потом и министерство согласятся. Но сейчас ему не хотелось говорить об этом. Слишком паршиво было на душе, и Аксенов все-таки был еще директором, да просто бестактно было бы продолжать такой разговор. Аксенов понимающе улыбнулся, впрочем, улыбка была печальной.

— Бросьте, Георгий Петрович! Что мы, действительно, хо-

дим вокруг да около, будто со вчерашнего дня знакомы. Силин? Никого другого я, грешным делом, не вижу.

Фамилия была названа. Владимир Силин был главным инженером на том же заводе, и, конечно, сменить Аксенова мог только он. Но Рогов промолчал и сейчас. Все это действовало на него угнетающе, будто на поминках. Только тогда, когда Аксенов, наконец-то выговорившись, залпом выпил свою рюмку, он сказал:

— А вы, оказывается, давно это решили? Почему же промолчали сегодня в главке?

Аксенов торопливо ел, морщился и поэтому ответил не сразу:

— Вы этого еще не поймете, Георгий Петрович. Вам до меня лет пятнадцать, наверно?

Итак, он перечитывал очерк о Владимире Силине — директоре ЗГТ, и это воспоминание об «Араги» и неприятном ему разговоре было коротким: Журналистка рассказывала о том, как на заводе началось строительство огромного механосборочного корпуса; как трудно было с кадрами; как новый директор чуть ли не ночевал на заводе и как, наконец, пустили первый механический участок... Рогов подумал: не стоило бы так расписывать одного человека. Работали все. Да, конечно, Силин сделал много, очень много, но это уж слишком: «Здесь на всем лежит печать его таланта, его умения сплотить людей, того мастерства руководителя, которому не учат ни в одном институте и которое появляется с годами, с опытом, с точным знанием производства. Такой талант сродни таланту дирижера, который единым взмахом руки...»

Рогов усмехнулся. Талант! Любим бросаться словами. Володька просто умный работяга, настоящий работяга, и это слово не коробило Рогова — наоборот, он любил его и любил, если оно подходило к тем людям, с которыми его каждодневно сводили дела. Оно устраивало его куда больше, чем «талант», от которого отдавало чем-то ходульным и льстивым одновременно, и даже не очень понятным: талант — от господ бога, что ли? Нечто необъяснимое? Двадцать шесть лет на заводе, пришел сразу после войны — вот вам, дорогая Е. Воронина, и весь талант! Надо будет при случае сказать редактору, чтобы его журналисты были поаккуратнее со словами.

Захватив газеты, Рогов перешел в кабинет и раскрыл записную книжку: Набрал номер. Никто не поднял трубку — стало быть, ни Силина, ни Киры дома нет. Тогда Рогов позвонил на завод — Силин ответил сразу же, сам — ну да, конечно, сегодня суббота, у его секретарши выходной.

— Здравствуй, герой дня, — сказал Рогов. — Лихо тебя изобразили. Читал?

— Да уж, — хмыкнул Силин. — Ангелочек с крыльшками.

— Ну-ну, — сказал Рогов. — Самому-то приятно небось? Газету на стенку повесишь?

— Рамку закажу. Золоченую. И под стекло.

— А чего на заводе торчишь? Какие-нибудь неполадки?

— Я как раз тебе жаловаться хотел, — подумав, ответил Силин. — Подрядчики подводят. На стенде оборудовали силовой пол с опозданием на месяц. Я ходил, смотрел: все осевые и высотные размеры, сопрягаемость — все нарушено. Если так пойдет дальше...

Он не договорил, Рогов перебил его:

— Хорошо, я позвоню в трест. Еще что?

— Ты же сам знаешь, — нехотя ответил Силин.

— Квартиры, — сказал Рогов. — Но я не волшебник и не могу вытащить из кармана еще сто квартир.

— Сто двадцать. Люди начинают приезжать, и мы обещали им не просто жилье, а квартиры. Жилье у них было и там. А кроме того, мы обязаны давать квартиры и нашим кадровым рабочим, — вон, шестьсот с лишним заявлений — шутка?

Рогов рассердился: опять квартиры, вечный вопрос, каждый день — квартиры, квартиры, квартиры... Он сердился, хотя и понимал, что Силин прав. Когда министерство разрешило заводу провести оргнабор, вопрос с квартирами был будто бы решен. Но одно дело решить его, так сказать, в принципе, и другое — выделить около двухсот квартир, когда в городе нехватка жилья и люди стоят на очереди годами. Но без оргнаборовцев новый корпус не пустить. Вот и крутись как знаешь.

— Я приеду к тебе в понедельник, — сказал Рогов.

— В понедельник я скажу тебе то же самое, — ответил Силин.

— Ладно, — примирительно сказал Рогов. — Как домашние?

Он нарочно перевел разговор. Сколько раз давал себе зарок по выходным не касаться дел, и все равно никогда это не получалось: такие телефонные разговоры в выходные дни происходили постоянно — еще одна привычка!

— Домашние? — переспросил Силин, и в самом этом вопросе было удивление. — Кира бегает по подругам или сидит в парикмахерской, я — здесь, вот и все домашние дела. Обычный выходной.

— У Николая что?

Он спрашивал о Бочарове.

— Тоже вроде бы все нормально. Алешка скоро демобилизуется. Или уже демобилизовался, я не знаю.

— Он что, кажется, ракетчик?

— Пограничник.

— Сегодня — День пограничника, — сказал Рогов. — Будешь говорить со своими, передавай привет.

В другое время и при других обстоятельствах они всегда были на «вы» и называли друг друга по имени-отчеству. Это была не игра, а необходимая, даже подчеркнута строгая форма

общения, хотя многие знали о том, что Рогов и Силин — друзья с довоенных детских лет.

— Значит, до понедельника, — сказал Рогов. — На премьеры сегодня, конечно, не будешь.

— Не буду, — сказал Силин. — Бог уж с ней, с премьерой. У меня скоро своя намечается.

2. ЛЮБОВЬ

Какое-то время птица бежала по дороге, беспомощно опустив крылья и прихрамывая, а Лида не спешила и улыбалась тому, как здорово птица проделывала все это и как это было важно для нее. Она отводила Лиду от гнезда, которое, скорее всего, было где-то здесь, неподалеку, возле самой дороги, — свила, а вот теперь в страхе должна бежать, уводя от своих малышей, повинувшись великому инстинкту сыграть больную, подшибленную, немощную, чтобы потом, когда это огромное в ее глазах существо отойдет на порядочное расстояние, упрямо, легко и свободно оторваться от земли и кинуться в спасительную лесную чащу.

Лида приняла эту игру и ускорила шаг. Ей хотелось уловить тот обычно едва заметный глазу момент, когда птица поймет, что уже можно не притворяться, что огромное существо уже не найдет гнезда... Это Лида видела не раз, и всякий раз ее поражала стремительность превращения. Так было и теперь — птица резко взмахнула крыльями и со свистом начала петлять среди деревьев. Все. Игра кончилась, и Лида как бы додумывала за птицу: «Ну что? Обманула я тебя? То-то же...»

До заставы было еще километров шесть. В этот день начальник заставы майор Савун не смог послать за дочерью машину, и от шоссе, от автобусной остановки ей пришлось идти пешком — восемь километров. Впрочем, это было привычно для нее, но домой она пришла поздно, когда отец уже провел боевой расчет и отправил наряды на границу.

— Тебе письмо, — сказал он, вытаскивая из кармана куртки помятый конверт, и только тогда подумал, от кого оно может быть. Адреса отправителя не было. «Тайное послание», — усмехнулся Савун, отворачиваясь к телевизору и уже не думая об этом письме. Он очень устал. Его подняли ночью — «по сработке»; оказалось, систему нарушил лось, но Савун так больше и не ложился. Тут уж никак не до дочкиной переписки.

Он слышал, как Лида разорвала конверт, потом, видимо уже прочитав, сказала: «Вот дурак!» — но Савун не стал спрашивать, кто же это дурак. Лида вышла, хлопнув дверью. Савун только усмехнулся: не надо быть даже очень проникательным человеком, чтобы догадаться обо всем. Кто-нибудь из школьных приятелей. Конечно, не очень современно — по почте, но мало ли, попался стеснительный парень... Да, дочка вы-

росла, и письмо, разумеется, от юного воздыхателя — но об этом он тоже подумал мельком, вскользь.

А Лида растерялась, едва начав читать: «Лида! Я должен тебе сказать, что очень люблю тебя». Прежде чем дочитать до конца, она поглядела на подпись, там было: А. Бочаров. «Я не знаю, как это получилось, но вот теперь, перед демобилизацией, решил написать тебе об этом. Может быть, ты на меня рассердишься, но вся моя дальнейшая судьба теперь зависит от тебя. Отправляю это письмо по почте, потому что иначе не могу».

Сначала она хотела пойти на заставу, разыскать сержанта Бочарова и сказать ему то же самое: «Дурак!» — но, оказавшись у себя в комнате, еще раз пробежала глазами по строчкам, чувствуя, как кровь стучит в висках. Это волнение оказалось приятным. Что ж, она давно замечала, что творилось с сержантом, стоило только ей появиться на волейбольной площадке или в ленинской комнате, да просто при встрече. Значит, он молчал год, а может быть, и больше?

Она никуда не пошла. Она сидела и улыбалась. Значит, Бочаров! Пожалуй, она не хотела признаться себе самой в том, что Алексей нравился ей, — или нет, не так! — мог понравиться, это все-таки разница... Высокий, черноволосый, с черными глазами, такими черными, что не видно было зрачков, он сразу же, с первого своего появления на заставе удивил Лиду; сейчас она, вспоминая тот день, не могла найти другого слова, кроме этого — *удивление*.

Она выросла здесь, на заставе, и, сколько помнит себя, помнит, как солдаты возились, нянчились с нею, делились всякими вкусностями, присланными из дома, придумывали для нее игры и поддавались, когда она требовала сыграть в пятнашки; потом одни уходили, на их месте оказывались другие, и все повторялось сызнова. Она была для них чем-то вроде маленького божка, с которым оказывалось интересно, — или это было от тоски по дому, где оставались такие же меньшие братишки и сестренки. Во всяком случае, с ней играли всегда, и она любила играть с этими сильными взрослыми, которые слушались ее и у которых для нее находились и конфета, и время.

Первым, кто доставил ей неприятность, был Бочаров.

На заставу он пришел после школы сержантов. Весной устроили соревнование по волейболу с командой соседней заставы. Лида потребовала, чтобы ее взяли с собой, и вдруг этот длинный сержант поглядел на нее своими непроницаемыми глазами и тихо сказал:

— По-моему, вы играете плохо, девушка. Зачем же мы будем проигрывать из-за вас?

Лида вспыхнула, повернулась и ушла. Так с ней не разговаривал еще никто. Бочарова она возненавидела сразу же и потом две недели не появлялась на площадке, хотя ее звали сыграть. Но, ненавидя Бочарова, она все-таки думала о нем

и удивлялась тому, что думала. Потом ей захотелось приглядеться к нему, и вечером она появилась в беседке, где солдаты курили, играли на гитаре, пели — здесь это так и называлось по-деревенски — «посиделки». Она шла на посиделки с тайным желанием увидеть Бочарова — и увидела его.

— Долгонько же вы на меня дулись, — сказал он.

Ее снова удивило и это «вы», и его серьезный, даже чуть укоризненный тон: до сих пор к ней никто не обращался так, только «ты» да «Лидка».

— С чего это вы взяли? — пожалала она худенькими плечами. — Даже не думала!

Она старательно делала вид, что Бочаров никак, ну совершенно никак не интересуется ее, даже не повернулась ни разу в его сторону, и была очень, очень довольна собой. Пела со всеми, и охотно брала у солдат конфетки, и не глядела на Бочарова, хотя знала, чувствовала затылком, что он смотрит на нее не отрываясь. Ну и смотри, пожалуйста, сколько тебе влезет, а я вот на тебя ноль внимания — фунт презрения...

«Ноль внимания» продолжался до поздней осени.

Лида возвращалась из школы лесной дорогой — в тот день отец тоже не выслал машину, — но это даже радовало ее. В осенние дни она ходила в школу не с портфелем, а с корзинкой. Восемь километров — полная корзинка боровиков, благо их всегда росло здесь сколько угодно.

Загородив собой дорогу, стоял лось. Темная громада не сдвинулась с места, когда Лида крикнула. Ей и прежде приходилось встречать лосей. Обычно они неспешно и словно бы вежливо уходили, а этот стоял и глядел на нее, величественный, страшный в неподвижности, как памятник.

Корзинку Лида бросила и уже сама не помнит, как кинулась в сторону. Единственное спасение — добежать до сигнальной системы, нарушить ее, тогда примчатся «тревожники» — это она сообразила сразу все-таки.

Лось за ней не пошел, а тревожная группа примчалась на «газике» минут через десять, и сержант Бочаров снял Лиду с дерева. Потом нашли корзинку. Лось сжевал несколько грибов и тетрадку по алгебре.

— Перепугалась? — спросил Бочаров, когда они ехали на заставу. — А ты молодец. Видел я твоего лоса, здоровенный зверь.

Лида не ответила. Ей казалось, что она вот-вот потеряет сознание. Ее шатало, и Бочаров привел ее в дом, придерживая под руку. На крыльцо выбежала мать, вскрикнула, он успокоил ее: ничего страшного, жива-здоровая, и самое лучшее сейчас — это лечь и уснуть. А вечером Лида пришла в ленинскую комнату смотреть фильм — ей надо, необходимо было доказать всем, а в первую очередь Бочарову конечно, что она ничуть не испугалась. Бочаров изумленно поглядел на нее.

— Ну, молодец, — повторил он. — Я думал, ты целую неделю дрожать и отлеживаться будешь.

— Очень надо, — пожала плечами Лида. — Прошлой осенью за мной россомаха увязалась, и то ничего, как видишь.

Она не соврала. Прошлой осенью за ней действительно шла россомаха. Лида слышала ее неприятный, резкий голос, но она просто не знала, что это за зверь. Рассказала отцу, тот побледнел и молча вышел. Через два дня он сам убил россомаху, выследив ее около лесоповала.

Все теперь встало на свои места: они были на «ты», и Лида помнила, что у Бочарова сильные руки — он легко снял ее с той корявой сосны, — и ей нравилось отрицать свой испуг, хотя хорошо знала, что Бочаров видел, как она перепугана, и все-таки хвалит ее!

Она не знала, что уже несколько месяцев его преследует одно *видение*: стоит лишь закрыть глаза, и вот она, березовая роща, косые солнечные лучи обтекают стволы берез, и те кажутся розовыми, а меж стволов мелькает девичья фигурка. Скрылась за розовым стволом — снова появилась — опять скрылась, и вот опять она — идет, размахивая портфельчиком, и даже напевает что-то. Тогда Бочарову показалось, что он подглядел какую-то тайну. Девушка, и эти березы, и эти солнечные лучи были в том прямом родстве, о котором он прежде даже не догадывался. Он не окликнул Лиду, словно испугавшись, что его голос сможет разрушить это видение. А потом, стоило только вспомнить, как снова и снова его охватывало странное, ни разу в жизни не испытанное волнение перед этим внезапно возникшим образом: мелькание света — стволы сосен — и она, Лида...

Тогда он был в наряде, и Лида не заметила ни его, ни его напарника, с которым Бочаров просматривал систему. На них были пятнистые маскировочные «лягушки», и Лида прошла в каких-нибудь тридцати шагах, даже не подумав, что ее кто-нибудь видит.

— А ничего девчонка, — сказал тот, второй. — Ты как на этот счет?

— Замолчи! — тихо и яростно сказал Бочаров.

Майор Савун принадлежал к той, нынче уже редкой, части офицеров, которые прочно оседали на заставах и которых пугала даже самая мысль о возможных переменах в судьбе. Этой заставой он командовал пятнадцать лет, и она всегда была отличной, всегда на виду: ее номер и имя начальника, разумеется, неизменно упоминали на всех совещаниях, и сюда постоянно ездили корреспонденты. Майор давно привык и к своему дому, и к своему неизменному положению; привыкла к этому и его жена. Но годы шли, и хочешь не хочешь, а надо было привыкнуть и к другому — к мысли, что Лида закончит школу

и уедет учиться. Вот к этому привыкнуть было никак невозможно, и стоило только подумать об этом, как в душе Савуна образовывалась некая пустота. Вдруг, казалось бы ни с того ни с сего, начинала плакать жена, тогда Савун не выдерживал и набрасывался на нее. Чего реветь? Лида — взрослый, самостоятельный человек, все умеет делать сама, не белоручка, жить будет в общежитии — подумаешь! — и ничего с ней в городе не случится. А у самого на сердце была та самая пустота, и сердился он на жену скорее всего из желания уговорить и успокоить самого себя.

Лида хотела стать учительницей, преподавательницей литературы. Ее выбор оказался стремительным, как, впрочем, и все, что она делала: педагогический институт, литфак. Возможно, в этом выборе была повинна Анна Игнатьевна, жена бывшего замполита, который сейчас тоже командовал заставой в том же отряде. На этой заставе она прожила два года, работала учительницей в Новой Каменке, и тогда Савун вообще не знал забот. Каждое утро Анна Игнатьевна выводила из сараюшки свою «Яву», Лида забиралась на заднее сиденье, — в шлеме поверх шерстяного платка, все честь по чести! — и обе уезжали.

Лидка, дуреха, ходила за ней, как цыпленок за наседкой. Потом, когда их перевели, Лида начала переписываться с Анной Игнатьевной, хотя вполне можно было хоть сто раз в день говорить с ней по телефону. Однажды Савун спросил дочку, о чем пишет Анна Игнатьевна, и та отдала ему пачку писем. Савун прочитал только одно: «Ты всегда помни о самом главном: человек, если он хочет действительно быть человеком, обязан отдавать себя другим. Вот ты мне пишешь, и я счастлива. Значит, я что-то сумела отдать тебе». Нет, майор, в общем-то, не беспокоился — дочка росла правильно. А вот то, что она окажется далеко, и что он не сможет видеть ее каждый день, и что вокруг нее будут незнакомые люди, — это заставляло Савуна нервничать уже сейчас, и втайне он надеялся, что Лида не пройдет по конкурсу — вот и отлично, устроится работать в Новой Каменке и станет учиться на заочном. Эту мысль, скорее — тайное желание, он никогда не высказывал вслух, зная, что жена накинется на него с упреками, хотя сама стоном стонет оттого, что Лида уедет в Большой Город.

Радовалась предстоящему отъезду только Лида.

За всю свою жизнь — за семнадцать с половиной лет — она была в Большом Городе четырежды, и то мельком, проездом, от поезда до поезда. Тогда это было лишь интересно, как нечто незнакомое. Потом размеренность нынешней жизни начала ее тревожить. Безотчетная тревога — она сама не могла бы объяснить ее первопричину. Однажды она пошла ловить рыбу с приезжим журналистом, тот шел и всю дорогу изумлялся: утки летят! Ну и что? Их здесь пруд пруди. Вот эти, с белыми подкрыльями, — крохали. Да что там утки, когда вчера лисица

утащила у них кролика. А вон там, в камышах, живет выдра, сама видела. Корреспондент вытащил окуня граммов на четыреста, и у него дрожали руки, а Лида фыркнула: этой весной она тягала язей по полтора-два килограмма, мать насолила почти полную бочку...

Мечта о Большом Городе была недавней. До сих пор она с удовольствием возилась со всякими грядками и клумбами, с удовольствием ловила рыбу, с удовольствием готовила, мыла, сушила грибы, а оказавшись в лесу, подолгу глядела, как белка натывает на сучок шляпку борсвичка — чем не хозяйка! Даже Новая Каменка — большое село, где она училась, — казалась ей неприятно отличной от того дома, в котором она жила. Многое там было хуже. Машины поднимали пыль; по субботам в селе горланили пьяные и возле клуба начинались драки; девчонки — ее ровесницы — щеголяли в коротеньких юбочках — мода, а ей не нравилась эта мода; многие разговоры велись о том, как и где лучше устроиться после школы, чтоб *зашибать*, а не *вкалывать*. Конечно, так говорили не все, но она не раз чувствовала свое превосходство над *такими* соучениками именно потому, что у нее было слишком много *своего* — та душевная прочность, заложенная в ней с детства, которую она, быть может бессознательно, оберегала от всего дурного, с чем волей-неволей приходилось соприкасаться в жизни.

И бог весть откуда появившаяся тоска по Большому Городу вдруг оказалась неожиданной, сладкой и щемящей, как влюбленность.

Утки, выдры, лоси, белки, росомахи — в городе это все в зоопарке. Зато там музеи, институт, театры, кафе «Огонек» (он же «Лягушатник» или еще — «Ангина»), толпы на улицах, десятки новых людей и новых встреч, *совсем другое* дело, другая жизнь, начало той пользы для других, о которой ей писала Анна Игнатьевна. А мама? Мужняя жена, всю жизнь — ему да ей, Лиде. Ну разве что только организует всякие вечера на заставе да вмешивается в солдатский быт: учит поваров готовить пироги и сама варит варенье на всю заставу. Она написала об этих своих мыслях Анне Игнатьевне, ответ пришел быстро. «Ты еще не понимаешь, что мама совершает свой человеческий подвиг. Ведь любовь — это подвиг, если хочешь знать! К сожалению, я с тобой еще ни разу не говорила об этом... А маме твоей очень нелегко жить, но ты этого просто не замечаешь и, наверно, удивляешься — с чего это я взяла? Знаешь ли ты, что она когда-то хотела стать врачом и только потому, что любовь к мужу и ребенку оказалась сильнее, простилась со своей мечтой?» Впервые Лида не согласилась с Анной Игнатьевной. Жить, как мама, — подвиг? Все сильнее, все отчетливее ей виделся Большой Город, а остальное, в том числе дом и домашние, отступало куда-то в ее мыслях о будущем, не участвовало в них, существовало только в будущих письмах,

а пока она нетерпеливо готовилась к выпускным экзаменам, наперед зная, что золотая медаль обеспечена и, стало быть, конкурса не очень придется бояться. Письмо Бочарова чуть потревожило ее. Алешка — отличный парень, но это и все. Отец ходит за ним следом и уговаривает остаться на сверхсрочную или насовсем в погранвойсках. Как-то дома, за столом, он сказал:

— Двадцатый срок на гражданку провожаю, а никого так не жалко отпускать, как Бочарова. По-моему, бабы таких уже не рожают.

Лида вспыхнула. Ей показалось, что мать и отец заметили, как она покраснела. И почему покраснела? Подумаешь, черная жердь с двумя углями вместо глаз...

Почти перед самой демобилизацией — или «дембилем», как говорят солдаты, — майор Савун вызвал к себе сержанта Бочарова и, когда тот вошел в канцелярию, сказал:

— Бери машину, Родионова, Пучкова и Гришина и езжайте в Новую Каменку. Явитесь там прямо к директору совхоза Линеvu. Знаешь его?

Директора совхоза Алексей знал. Вернее, не знал, а видел несколько раз, когда тот приезжал на заставу: здесь, в зоне, были совхозные покосы. Но зачем понадобилось ехать к Линеvu, Алексей даже не догадывался, а спросить об этом у майора было как-то неловко. Он стоял, не уходил, и майор понял.

— Ну, вроде как на экскурсию, — сказал он. — Потом доложишь, как съездили.

На экскурсию так на экскурсию.

В коридоре, куда он вошел с тремя солдатами, было пусто, только из-за дверей в конце коридора доносился раздраженный голос, слов было не разобрать, но Алексей почему-то решил, что это голос Линева, и открыл дверь.

Он не ошибся. Линеv стоял, отвернувшись к окошку — спиной к двери, — и, прижимая трубку к плечу, листал какие-то бумаги и говорил громко, слишком громко — должно быть, слышимость была плохая:

— Ну и что, что еще май? У меня пять косилок КУФ-18 стоят, они и в июне тоже стоять будут... Насчет централизованного обеспечения запчастями мы только болтать умеем... Я не грублю, я дело говорю. У вас же двойное снабжение... Да так вот и получается, что двойное: одно — через техобслуживание, а другое — через отделы торговли. А наладчики ваши где? Да не можем мы сами. На косилке КПВ-3 двадцать точек смазки, тут и техник ногу сломит... Что, что?

Очевидно, связь прервалась, и Линеv раздраженно положил, почти бросил трубку на рычаги. На солдат он поглядел отсутствующим взглядом, будто еще продолжая этот телефонный

разговор, и ему понадобилось время для того, чтобы сообразить, кто же это и зачем они здесь.

— А, зеленые приехали! — сказал он и кивнул на телефон. — А я тут воюю помаленьку с нашей «Сельхозтехникой». Да вы проходите, рассаживайтесь.

Он пожал руку каждому. Алексей наблюдал за ним с любопытством. Он знал, что Линева был когда-то старшиной на той же заставе, потом женился на новокаменской, да так и остался в этом большом селе. А теперь вот уже директор совхоза, грузный, с заметными залысинами по краям крутого лба — давненько, стало быть, служил, если сейчас ему на вид все сорок.

— Товарищ майор сказал, что мы сюда, к вам, вроде на экскурсию.

Линева кивнул снова. Да, конечно, вот сейчас и пойдем в мастерские. Он глядел на ребят, словно стараясь узнать каждого с первого взгляда. Майор обещал прислать рабочих парней — что ж, выводит, все четверо рабочие?

— Все, — подтвердил Алексей. Он так и не понимал еще, зачем надо было ехать сюда.

— Вот что, — сказал Линева, — я с вами темнить не буду. Все — в открытую. Так у нас получается, что люди позарез нужны. Рабочие. А вам скоро на гражданку выходить... Короче говоря, все вам покажу, расскажу, и жилье обещаю — два дома строим. Девчат у нас — на любой вкус...

— Девчат тоже покажете? — спросил Пучков.

Алексей шел нехотя. Здесь он, конечно же, не останется и зря, значит, только ехал сюда. Он покосился на ребят — у всех были кислые физиономии. Он знал, что и они тоже не останутся ни за какие блага. Родионов — уралец, Пучков до службы был токарем на минском автозаводе, Гришин — с московского «Калибра» и сам коренной москвич, черта ли ему в этой Каменке надо. А он, Алексей Бочаров, тоже токарь и вернется только на свой завод, хотя бы потому, что там уже его *фамилия*: отец — мастер, дядька недавно стал директором. Да и вообще город — это город. В городе будет учиться Лида. Он почти не слушал объяснения Линева, который вел их по мастерским. Сейчас там было пусто — то ли обеденный перерыв, то ли не оказалось никакой работы — станки выключены, и пахло гавотом, окалиной — запахи сказались знакомыми ему, но не вызывали никаких чувств. Он даже не мог сравнить эти маленькие, с низкими потолками и узкими оконцами мастерские со своим цехом, куда солнце врвалось широкими снопами через стеклянную крышу.

Голос Линева доносился до него как бы издалека, как полчаса назад доносился он из-за закрытой двери в глубине коридора: «Зарботки обещаю — не пожалете... А квартиры — ну, правда, однокомнатные — к осени, это уж обязательно...» Алексей поднял глаза: там, наверху, прилепилось ласточкино гнездо.

до, очевидно старое и пустующее сейчас, — скажи на милость, где свила! Или ей никто не мешал тут? «Трудности, конечно, имеются, не без них, конечно, — доносился голос Линева, — да вы-то молодые, к тому же пограничники, так что...» А он все глядел на это ласточкино гнездо, удивляясь смелости птахи, которая его свила. Да, тихое здесь, стало быть, место.

— Ну так как? — спросил Линева, когда они вышли из мастерских. В его голосе была и просьба, и надежда. Ребята молчали, потом Пучков ответил за всех:

— У каждого ведь свой дом. Здесь ничего, неплохо, но все-таки...

— Вы все о больших стройках мечтаете, — сказал Линева. — А коммунизм, между прочим, и в таких мастерских тоже кто-то должен строить. К тому же, утро — что рабочего, что академика — все равно начинается с куска хлеба.

— Никто не спорит, — улыбнулся Алексей. — Но вы нас тоже поймите.

— Значит, разошлись по нулям? — спросил Линева. — Ладно, у вас еще есть время подумать. Я все-таки очень на вас надеюсь. Ну, а теперь ко мне, самовар готов, чайку попьем.

Они отказались. Нет времени. Сами знаете — служба. Линева проводил их до машины и снова пожал руку каждому, заглядывая в глаза, и Алексей подумал, что этому большому, грузному человеку сейчас очень трудно, если он вот так, чуть ли не заискивающе, заглядывает им в глаза, трудно, и на душе черт знает что, но чем они могут помочь ему? Пучков прав — разумеется, у каждого свой дом...

Лида сказала ему:

— Это ты писал?

— Я.

— Зачем?

— Я должен был тебе сказать...

Они встретились на дороге — столкнулись лицом к лицу, — и Алексей послал младшего наряда вперед. Тот шел и оборачивался, и Алексей нервничал: парень трепло, свисток и сегодня же раззвонит по заставе, что сержант секретничал с майорской дочкой.

Он стоял перед ней в своем мешковатом маскировочном костюме, закинув автомат за спину, а Лида смотрела на него снизу вверх не насмешливо и не строго. Пожалуй, недоуменно. Он подумал: хорошо еще, что не равнодушно.

— Ничего ты не был должен.

— Должен, — упрямо повторил он. — Это же очень серьезно, Лида.

— Что ж мне, за тебя замуж выходить, что ли?

— Да.

— Глупости, Алеша. Да я еще и до загса-то недоросла.

- Ты приедешь в город учиться...
- Так учиться, а не выходить замуж.
- Я буду работать. Учись сколько надо.

Он смотрел на нее не отрываясь. Он был уверен в каждом своем слове. Просто для него уже все было решено, и ничто не могло убедить его, что в чем-то он не прав. И вдруг он понял, что все это, весь этот разговор на лесной дороге, — впустую и Лида сейчас уйдет.

— Лида...

— Не надо, Алеша, — тихо попросила она. — Ты же сам не маленький, все должен понимать. Не надо.

Она ушла домой, он нагнал напарника и пошел вперед.

Сейчас, сидя в поезде, он вспоминал эту встречу до малейших подробностей, слышал и слушал ее голос, и радость возвращения сменялась тоскливым ощущением какой-то большой несправедливости, случившейся с ним. Может, лучше привалиться к стенке и уснуть, а уже завтра начнется совсем другая жизнь, в которой не будет присутствовать Лида? А то, что он написал ей о своей дальнейшей судьбе, так, выходит, для красного словца?

Он молчал год до своего письма. Целый год. И ругал себя последними словами: дурень, она же еще совсем девчонка, она же еще ни черта не знает и не понимает. А там, на лесной дороге, он почувствовал себя мальчишкой перед все понимающей и все знающей женщиной. Она оказалась старше его. Ну, не любит и не любит — другая бы фыркнула, а она еще убеждала: «Ты же сам не маленький...»

Сон не шел. Стоило только закрыть глаза, как перед ним появлялась роща с розовыми березами и Лида, бегущая меж ними в косых, веером разбросавшихся лучах. Это было как снимок, вернее, несколько снимков, и Алексей словно просматривал их снова и снова, боясь что-то упустить из своей памяти.

...На проводы «дембилей» Лида не пришла. Машина проходила через Новую Каменку, и Алексей видел крышу ее школы. Он послал ей коротенькое письмо, она получит его завтра. Он писал, что все равно разыщет ее в городе, и что она просто пока не знает его, и что так *надо*.

Лидино лицо совсем близко — большие серые глаза глядят по-прежнему недоуменно; у нее ямочка на подбородке и родинка на левой щеке. Говорят, родинка — это к счастью. «Эй, сержант, дома отоспишься! Приехали!» И Лидино лицо словно отодвигается, отплывает, но один сон будто сменяется другим — нет, не сон уже, а мокрый от дождя асфальт вокзала, медленно, очень медленно текущая к выходу толпа приехавших и там, в конце платформы, под одним зонтиком двое, с напряженным ожиданием всматривающиеся в толпу. Отец и мать.

3. ПОНЕДЕЛЬНИК — ДЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ

Чудо вновь обретенного дома оказалось необыкновенно ярким. Сколько раз за эти два года он думал о том, как вернется, представляя себе свое возвращение, и все равно то, что происходило на самом деле, было куда более неожиданным и счастливым. Алексей ходил по квартире, дотрагиваясь до вещей, как бы узнавая их и здороваясь с ними, и его не покидало ощущение именно чуда, случившегося с ним этим весенним днем. Дом! Здесь ничего не изменилось, пока его не было. Казалось, родители нарочно берегли все так, как он оставил, уходя в армию. Изменились только они. Еще там, на вокзале, Алексей сразу увидел, как осунулся отец; мать выглядела лучше, но никогда прежде он не замечал этих морщин на висках и складок на шее. В такси, по пути с вокзала домой, он положил руку на колено отца и сказал:

— Ты мне чего-то не нравишься.

— Трудные времена, — усмехнулся отец. — Сам увидишь.

Они настаивали, чтобы Алексей отдохнул хотя бы месяц. Можно достать путевку на юг — он никогда не бывал на юге. Деньги есть. Шутка сказать — отслужить два года, да еще в погранвойсках!

Он только руками замахал: никаких югов! Бог с ним, с Крымом или Кавказом. Дня три поблаженствует — и на завод. Отдыхать будем на пенсии.

Ему нравилось, когда отец или мать вдруг подходили к нему, проводили руками по волосам, притягивали к себе, будто еще не веря, что он вернулся совсем и что теперь вся жизнь пойдет по-другому. Пока отец вышел за чайником на кухню, мать тихо сказала:

— Знаешь, он ведь в твоей комнате жил. Я однажды вошла тихонько, а он твою фотографию держит.

— А ты? — спросил Алексей, и мать негромко рассмеялась.

— Что я? Я-то с тобой каждый день разговаривала... — тут же она всхлипнула. — Ляжешь спать, и не заснуть. Лежишь и думаешь — что ты делаешь сейчас?

И снова потянулась к нему и снова улыбалась, только глаза были мокрыми. Он держал ее за худенькие, острые, как у подростка, плечи, удивляясь тому, что вот эта такая маленькая, еще красивая женщина — его мать, его начало, и, если б не она, не было бы и его.

— Ма-а-а, — с удовольствием сказал он, растягивая это короткое слово и как бы прислушиваясь к нему. — Ну, что ты слезки-то распустила, а, мать?

— Больно уж ты огромный стал, — опять всхлипнула она. Все это было от радости, конечно, и все это было тоже продолжением чуда возвращения.

Алексей позвонил одному приятелю — нет, он еще не вернулся с военной службы, и ехать ему далеко — с Камчатки.

Второго — Глеба Савельева — не было дома, не вернулся с работы. Два года назад Глеба не взяли в армию: гипертония. Это у мальчишки-то! Алексей говорил по телефону и видел, что родители нетерпеливо ждут, когда он кончит разговаривать. Он улыбнулся про себя: это была, конечно, их маленькая ревность. Просто они считали, что сейчас он должен принадлежать только им, а не приятелям или кому-нибудь еще...

Но когда наступила ночь и он остался в своей комнате один, ему вдруг стало тревожно. Это чувство оказалось неожиданным и незнакомым. За окном стояла светлая ночь, время от времени слышался шум проходящей машины, где-то очень далеко прогудел паровоз. Алексей стоял у открытого окна. Дом напротив уже спал, спали родители, но ночная тишина, такая обычная, не успокаивала Алексея. Наоборот, тревога охватывала его сильнее и сильнее, он не мог понять, откуда она взялась и почему, и эта безотчетность пугала его. «Переходный период, — усмехнулся он. — Завтра все пройдет. Надо просто лечь и уснуть».

Но и заснуть он тоже не мог. Странная вещь: там, на заставе, стоило только коснуться подушки, и словно проваливался в глубокий омут. То ли сейчас на него подействовало выпитое вино, то ли впрямь слишком резкой была перемена обстановки — сон не шел. Снова он курил — и вдруг сказал сам себе: «Хватит крутить. Это же из-за Лиды...» Ну да, конечно, он даже обрадовался тому, что понял наконец, откуда эта тревога! — ни завтра, ни через месяц, ни через два он не увидит Лиду. В этом все дело. «Я не думал о ней весь вечер. Может быть, она права, что у меня все это...» — он оборвал себя. Ни в чем она не права. Даже в том, что не пришла проводить...

— Ты не спишь?

Отец заглянул в приоткрытую дверь. Он был в пижаме, с незажженной папиросой во рту — должно быть, тоже не спалось, и он вышел покурить.

— Ко всему надо привыкать заново, — сказал Алексей. Отец вошел в комнату и сел на краешек дивана. Лицо у него было еще более осунувшимся, чем там, на вокзале. — А ты чего бродишь?

— Я не хотел говорить тебе, Алешка... — Он искал спички, взял коробок со стола и закурил. — Мать мне что-то не нравится. Так что летом выгоним ее в санаторий, а там...

— Что с ней?

— Нервы, — коротко сказал отец. — За всю жизнь собралось понемножку. Думаешь, она спит? Делает вид, что спит, а у самой голова от боли разламывается...

— Я ничего не знал... Что говорят врачи?

— Будут лечить, — уклончиво ответил отец. — А сейчас ложись. Ложись и спи, малыш. У тебя действительно было два трудных года.

Но он не спешил уходить. Он сидел, время от времени поправлял на Алешке одеяло, как на маленьком, и вспоминал, каких мук стоило в детстве уложить его спать, и еще какие-то истории, оставшиеся в памяти, какие-то смешные слова, которые говорил Алешка, — а он лежал, слушал и думал, что на завод он пойдет в понедельник. Сегодня пятница. Два дня на отдых вполне достаточно...

Все, все было так, как три года назад. И переполненный автобус, куда он втиснулся вместе с отцом, и даже разговоры в автобусе прежние — он только поворачивал голову, чтобы поймать знакомые слова: «...а я тебе говорю, что Блохин выдохся», «...ерунда, его сразу двое защитников держат, не разгуляешься...», «девчонка эта, из ОТК, подкатывает ко мне и говорит — опять напахал, а я ей...», «...гладкий кримплен, бежевый, с ума сойти можно! Сегодня же возьму...». Кто-то читал, одной рукой держась за поручень; один пацан — пэтэушник — пересказывал другому какой-то фильм, виденный вчера, и можно было догадаться, что фильм — про индейцев, но индейцев этот пацан называл «нашими»: «А тут наши на конях — кх-кх-кх!» Кто-то договаривался сойти остановкой раньше и «поправиться пивком» («День-то какой сегодня? Похмельник!»). Да, и здесь, в автобусе, тоже почти ничего не изменилось.

Еще накануне он договорился с отцом, что будет проситься в новый, двадцать шестой цех. И вовсе не потому, что там теперь работал отец: в цехе нехватка рабочих, первый механический участок кое-как сформировали, а второй начнет действовать вообще бог знает когда. К тому же, рассказал отец, Алешкин «вольман», на котором он работал в старом механическом цехе, уже списан — все, отслужил свое старик. А в новом («Сам увидишь!») такие станки установлены — блеск, один «воленберг» чего стоит — центральной, функциональный, с электронным управлением. Дядька твой Володя три раза в Москву в министерство ездил выбивать эти станки.

Было немного странно ждать, пока спустят пропуск. Алешка миновал проходную — радость узнавания продолжалась. Заводской двор был тот же: те же деревья, те же красные кирпичные коробки цехов по сторонам, словно оплетенные трубами, и та же заводская доска Почета, и тот же запах металла, окалины, мазута, и те же шумы, приглушенные стенами... Пожалуй, здесь стало только более грязновато. Он догадался: из-за нового строительства.

Вдруг он подумал: почему его так тянуло и тянет сюда? Ведь за красивой стеклянной проходной, похожей на павильон аэропорта, начинался вовсе не красивый мир. Эти здания цехов, законченные, с тусклыми окнами, неказистые домики служб с грязью на асфальте перед ними, и шум, и дизель, тяну-

щий платформы, и ржавые «болваны», сваленные где попало в ожидании своей очереди на переплавку, — и всего два цвета: серый и красный, цвет кирпича и ржавчины. Даже деревья казались не зелеными, а сероватыми и ничего не меняли в ощущении завода. Они будто нечаянно, по ошибке забрели сюда с улицы. И все-таки почему его тянуло и тянет сюда? Вчера ожидание *встречи* с заводом было уже нестерпимым...

Новое здание цеха он увидел издали. Цех был белым! Среди старых, строенных еще в конце прошлого века корпусов он тоже казался здесь чужаком, как и деревья. Алексею надо было преодолеть это чувство непривычности. Нетерпение заставило его ускорить шаг. Отец объяснял: «Увидишь стеклянные двери с никелированными ручками — ну, как в гостинице, — войдешь, и слева проход в цех». Он толкнул стеклянную дверь, на него пахнуло теплом, он прошел через просторный и пустой вестибюль и сразу увидел цех.

Его поразила высота. Солнце свободно входило сюда, и там, наверху, летали голуби. Но прежде всего его поразила стройность цеха. Казалось, все здесь было сделано с той точностью, которая могла показаться нарочитой, навязчивой. Ряды станков слева и справа, медленно идущая над ними рама крана, еще правее — словно капитанские мостики, один, второй, третий, — должно быть, сборочный участок, — и все как по линейке, все светло-зеленого цвета, и, если чуть прикрыть глаза, — вовсе не цех, а огромная оранжерея ботанического сада и это не станки вовсе, а диковинные растения, выросшие на странном грунте из бетона и металла...

Он шел мимо этого строя туда, в конец цеха (отец рассказывал: «Девятьсот метров, без малого километр, за день набегаешься»), где виднелась стеклянная будка — конторка начальника участка. Отец был там не один. Когда Алексей поднялся по железным ступенькам и вошел в будку, отец повернулся к нему и сказал троим, сидевшим здесь:

— Вот он, новый кадр.

4. ВОСПОМИНАНИЯ ПО ПУТИ

В понедельник, как он и обещал, Рогов поехал на завод — к Силину. Уже в машине он мысленно перебрал все сегодняшние дела и вдруг усмехнулся: к таланту еду, не к кому-нибудь! Просто он вспомнил позавчерашний очерк о Силине в областной газете и свое странное ощущение превосходства над журналисткой, которая, конечно, знала о Силине куда меньше, чем он. Впрочем, ничего странного — все-таки мы оба оттуда, из детства, — я и Силин...

Когда Рогов вспоминал те далекие годы, он видел и себя и других как бы со стороны. Должно быть, это вообще свойство давних воспоминаний. Впрочем, у Рогова всегда было слишком мало времени, чтобы он мог позволить себе такую

роскошь — воспоминания. Он жил в ритме, когда время укорачивалось до неестественных размеров, день казался часом, и только вечерняя усталость напоминала о том, что позади длинный и трудный день.

Но сейчас, по пути на завод, он, пожалуй, невольно поставил рядом того долговязого парня, который продолжал жить в его памяти, с нынешним Владимиром Силиным — высоким, полным, даже чуть обрюзгшим, с вьющимися и по-прежнему светлыми, без единой сединки волосами и таким же, как тогда, прямым, в упор, чуть прищуренным взглядом. В разговоре с Силиным всегда казалось, что он не просто говорит или слушает, а еще словно бы прощупывает собеседника глазами.

Силин был красив — не лицом, а всем своим обликом; в нем сразу же чувствовалась та внутренняя мощь, которой чужды сомнения и колебания; у таких людей обычно все в жизни прямо, даже прямолинейно. Резок? Да, резок. До Рогова доходили слухи, будто не только резок, но и груб. Таким он был и в детстве. Еще тогда он не терпел, если кто-нибудь не сразу признавал его правоту. Подобные характеры не всем по душе — не был он по душе и Рогову, не терпевшему грубости вообще, но он молчал — что ж, у каждого свой характер, и во все незачем стараться переделывать то, что сложилось уже не только годами, а десятилетиями.

До войны Роговы и Силины жили в Липках, заводской слободе, которая начиналась за мостом. Здесь было как в деревне: деревянные домики, палисадники за заборами, скворечни. На огородах — картошка, огурцы, лучок — хорошее подспорье в хозяйстве, и колодцы с деревянными журавлями на улицах — колодцы, возле которых, тоже как в деревнях, собирались женщины, чтобы посудачить о своих и соседских делах.

Почти все липковские мужчины работали на заводе, и по утрам через мост тянулась вереница людей. Шли, переговариваясь, перешучиваясь, и так изо дня в день, два километра туда — два обратно. Перед самой войной горсовет пустил из Липок автобусы, но все равно многие по привычке ходили пешком. И отказывались переселяться в новые дома с водопроводом и ваннами — да аллах-то с ними, с ваннами, когда в Липках была баня с такой парилкой, откуда вываливаешься на свет белый будто бы заново рожденным.

Отказались переехать в новостройку и Силины, и Роговы. Трудно было оторваться от привычного места, да и те кирпичные дома, что выросли в Соцгородке, не очень-то поражали воображение: стоят холодные громады, и ни деревца вокруг, а здесь летним вечером выйдешь в палисадник — все свое, сделанное и посаженное своими, или отцовскими, или еще дедовскими руками, и цветы пахнут вечером как-то особенно, и бидончик с пивком стоит в холодке, и ты после работы в этом

своем палисадничке кум королю — сиди себе отдыхай или оклики соседа через забор, вдвоем-то все веселей. «А про события в Англии читал?» — «Читал. Не верю я англичанам». — «А немцам веришь? Даром что договор...»

Силины и Роговы не то чтобы дружили, но, как бывает всегда, если люди годами живут бок о бок, находятся и общие разговоры, и общие дела, у женщин свои, у мужчин свои, и, если в одном доме неожиданно кончалась соль, можно было одолжиться, а если вечер оказывался незанятым, можно было посидеть у соседа просто так, скоротать время. А вот пацаны — Володька и Георгий — те вроде бы дружили, у этих всегда все проще: одна улица, одна компания, одна рыбалка, одно удовольствие — уйти ватагой в недалекий лес за грибами. Опять же хорошо — грибки для хозяйства... Впрочем, Георгий оставил школу и ушел в ремесленное училище: Роговым жилось туговато, все-таки четверо детей, не то что у Силиных — всего один. Да, впрочем, Рогов, в отличие от жены, не очень горевал, что сын станет таким же рабочим, как и он сам. «Чего ревешь, дурочка? Главное, чтоб хороший человек вырос, а токарное дело прокормит. Не всем же на академиков учиться...»

Однажды вечером (Рогов хорошо помнил этот разговор), когда отец вернулся и семья села за стол, мать сказала:

— Силина-то Екатерина совсем рехнулась.

— А что? — не отрываясь от еды, спросил отец.

— Ребеночка завела.

— Да ну! — Отец даже поперхнулся. — Ай да работнички! Сколотили, значит, на старости лет?

— Помолчи! — прикрикнула мать, покраснев и показав глазами на детей — дескать, сообразил, когда язык распускать. — Да ему уже одиннадцать лет, ребеночку!

— То есть как это одиннадцать?

— Да так вот, — сказала мать и замолчала, решив, что дальше при детях об этой истории говорить незачем. Что произошло у Силиных, Георгий узнал позже.

...Первым на работу уходил Владимир Иванович Силин, потом убежал в школу Володька, и Екатерина Федоровна оставалась одна. По дому она двигалась медленно, год от года все хуже и хуже становилось с сердцем. Врачи говорили разное, но сходились на одном — нужно ехать лечиться, а она не ехала и, когда соседи принимались бранить ее, оправдывалась тем, что никак, ну никак не может оставить двух мужиков без своего присмотра. «Мужиков жалеет! Ты себя пожалей». — «Ничего, не помру. А вот они без меня пропадут». И могла бы поехать, даже путевку муж выхлопотал в завкоме, льготную, совсем дешевую, но в последний момент махнула рукой — бог с ней, с путевкой. Уезжать из дому к незнакомым людям, в незнакомые места — ей становилось страшно от одной этой мысли.

Нет уж, действительно, бог с ней, с путевкой. Стирать можно не спеша, воду носят мужчины — так уж было заведено, полы моет Володька. Не хочет, ворчит про себя, но все-таки моет...

То, что она никуда не поехала, обрадовало мужа. Его тоже страшило, как это она уедет, — такого в их жизни за все пятнадцать лет еще не случалось. Если жена уходила вечером к кому-нибудь из соседок, он тосковал, ходил по комнатам, потом не выдерживал и шел за ней. И когда она возвращалась, устраивался с газеткой на кухне: вот и хорошо, вот и все дома, а что она делала, его уже не интересовало. Главное — она была дома, и он успокаивался.

В тот день, вернее утро, все было как обычно: первым ушел муж, потом Володька. Она вымыла посуду, пора было сходить в магазин, она уже оделась, когда услышала осторожные шаги на чердаке. Потолок чуть потрескивал, звук был легкий, едва различимый, но она услышала и вышла в палисадник. Там, на чердаке, с вечера было развешено белье.

На чердак вела приставная лестница, и Екатерина Федоровна поднялась по ней. Она делала все это, не испытывая страха, скорее с каким-то удивлением, потому что в Липках никогда не бывало никаких происшествий, разве что подерутся подвыпившие мужики, да и тех быстро растаскивали по домам. О кражах тут вообще давно не было слуху. И вдруг эти шаги на чердаке...

Там было сумрачно. Свет проникал только через дверь да маленькое оконце на другом конце чердака. Глаза не сразу привыкли к этому полумраку. Она стояла на лестнице, все-таки не рискуя сразу ступить на мягкий, густо покрытый опилками пол, и всматривалась туда, в полумрак. Сначала она увидела пустые веревки, белье с них было уже снято, — потом ей показалось, что тот прячется за дымоходом, и она сказала:

— Выходи, чего уж...

Никто не вышел, никакого движения она не уловила.

— Белье-то хоть высохло? — спросила она.

— Высохло.

— Ну и хорошо. Давай его сюда, я сама его спущу.

Там, за дымоходом, прятался ребенок. Он вышел, таща тюк с бельем. Все, что было, он собрал в простыню, и простыня была в опилках — очевидно, он расстелил ее на полу, когда собирал белье, и сейчас он тащил этот тюк с трудом, он был слишком тяжел для него.

— Ну вот и хорошо, — сказала Екатерина Федоровна, когда оба они спустились с лестницы. — Помоги донести.

Мальчишка покорно взялся за тюк. Ей не нужна была его помощь. Ей было нужно, чтобы он вошел в дом.

Он стоял посреди кухни, опустив руки и голову, — маленький, худенький, ей даже показалось — весь какой-то прозрачный (позже она так и говорила соседкам: «Понимаете,

смотрю на него, а он мне вроде голубым кажется»), покорный, даже безразличный ко всему, что с ним происходит сейчас. Возможно, он ждал, что эта женщина ударит его. Он не пытался удрать, хотя мог там, в палисаднике, бросить тюк и выскочить на улицу. Она не смогла бы погнаться за ним. Он просто стоял и ждал, что с ним будет дальше; а дальше эта женщина повернула его за плечи к раковине и приказала вымыть руки, потом подвела к столу и кивнула: ешь. Она налила ему кружку молока и, не садясь, смотрела, как осторожно он начал есть хлеб с колбасой, запивая молоком, — все так же, все не поднимая глаз, внутренне съжившийся в том же ожидании удара и не верящий, что удара не будет. Может, его ударят потом, после этой колбасы и этого молока?

— Как тебя звать?

— Коля.

— А по фамилии?

— Бочаров.

— Откуда же ты, Коля Бочаров?

— Я не знаю, — сказал он.

Он жил в детдоме, и обокрасть чердак его подбили более взрослые ребята. Все это он рассказал Екатерине Федоровне, когда понял, что его не ударят. Но рассказывал он это с прежним равнодушием забитого, ничего не понимающего человека, которому, в общем-то, уже все равно, что с ним будет дальше. Это Екатерина Федоровна поняла или, скорее, почувствовала сразу и сама испугалась этой безразличности.

Жалость? Нет, пожалуй, это была не просто естественная женская жалость, щемящая до боли, до острого желания схватить этого мальчишку, прижать к себе и завить на все Липки. У нее было ощущение, будто она видит тонущего. Еще секунда-другая, и человека не станет, и в том, что его не станет, будет виновата именно она. Во всяком случае, примерно такими словами она объясняла соседкам, почему решила оставить Колю у себя.

Это решение было настолько стремительным и уже бесповоротным для нее, что муж даже не стал спорить. Он вообще никогда не спорил: все, что делала Екатерина Федоровна, казалось ему единственно верным. У него не было такого чувства сострадания, но уж если она решила оставить мальчишку — стало быть, так надо, а раз надо, то и говорить не о чем. Проживем. Слава богу, заработки неплохие, да и огород имеется.

Володька — тот просто опешил, вернувшись из школы. Грешным делом, Екатерина Федоровна ожидала его прихода с тревогой. Она встретила сына на крыльце и, рассказав о том, что произошло, спросила:

— Так как — оставим, или пусть идет, куда хочет?

Уже в самом тоне, каким это было спрошено, он уловил ответ. Но чужой человек в доме!

— Где он?

— Спит, — сказала мать. — Не надо его будить.

— Я не разбужу. Я только посмотрю.

— Посмотри, — разрешила мать.

Владимир был долговяз — Колька показался ему совсем маленьким, да и спал он, словно какой-то зверек, свернувшись калачиком, подтянув коленки едва не к самому подбородку. Братишка объявился! Это никак не укладывалось в его сознании. Это разрушало его привычный домашний уклад, где всегда было место только троем, и появление четвертого оказывалось неудобным и мешающим. Мать стояла за его спиной. Он тихо вышел и сел на кухне, возле окна.

— Ну так как же? — настойчиво переспросила мать.

Володька пожал плечами.

— Так надо, Володенька, — строго сказала мать. Она знала, что в сыне нет ни ее боли, ни ее жалости, ни ее ответственности за этого маленького человека, который так сладко спал сейчас за стеной, и это печалило ее. — Разве ты не понимаешь?

— Понимаю не понимаю — какая разница, — сказал он. — Пусть остается, мне-то что.

— Значит, мне — что, а тебе — ничего?

Он почувствовал, что мать начинает сердиться. Она сердилась редко, и то лишь в тех случаях, когда сын делал что-то совсем не так. Сейчас как раз было «не так», и она сердилась на его недоброту. Впрочем, она тоже была не права в эти минуты: слишком уж все было неожиданным, чтобы так, сразу, принять совсем чужого человека.

Он принял его позже, когда Кольку отдали из детского дома (пришлось много ходить и хлопотать) и когда он почувствовал, что становится для него чем-то вроде кумира, божка, которому тот покоряется безропотно и безоглядно. Это было приятное чувство не только превосходства, но и *защитника*, чувство доброй снисходительности и одновременно покровительства, пусть и прикрытого напускной небрежностью к «недомерку» и «салаге». В школу теперь он шел вместе с Колькой.

Учился новый член семьи средне, хотя старался очень, — все было запущено в нем. Осталось одно: сердечность. То, что с ним произошло, то, что его не ударили, когда поймали с бельем, не отвели в милицию, а накормили, уложили спать, вообще оставили у себя, — потрясло его. Все его маленькое, напуганное, еще безвольное существо впервые в жизни наполнилось любовью и тем трепетным, нежным чувством благодарности, от которого хотелось плакать — так оно захлестывало мальчишку. Он стремился платить тем же — полной отдачей своих малых силенок — воду таскать так воду, копать на огороде, выжимать белье, носить продукты из магазина, лишь бы что-то *делать*, и все стремительно, все бегом, будто боясь, что может упустить еще какие-нибудь дела и их сделают без него.

Тех старших мальчишек, которые подбили его на кражу, он не выдал. Но однажды они подкараулили его, когда он выходил из школы. У Володьки уроки кончались позже. Он возился с ребятами в коридоре, когда из класса выскочила Кира Смольникова и крикнула: «Володька, там твоего братишку бьют!» Он выпрыгнул из окна, ребята за ним. Колька уже лежал на земле, закрывая голову руками, его били трое. Володька разметал их; один из них успел все-таки ударить его в лицо, из носа хлынула кровь. Володька не просто смял парня, он бил его иступленно, молча, стиснув зубы, не замечая, что у самого вся грудь в крови, и очнулся только тогда, когда возле самого уха раздался крик:

— Хватит, ты же убьешь его!

Он не сразу сообразил, что это учительница, Киркина мать, Анна Петровна, и ударил того парня еще и еще раз. Потом трое детдомовских убежали.

Колька, конечно, больше перетрусил, чем пострадал, а вот у Володьки сразу затек глаз, кровь продолжала идти, и Анна Петровна повела его к себе. Она жила здесь же, во флигеле, в школьном дворе. Колька забегал вперед и, с ужасом глядя на Володькино лицо, спрашивал одно и то же:

— Тебе больно? Тебе здорово больно?

— Да отвяжись ты, — сказал Володька. — Совсем мне не больно.

Так он впервые попал в дом Смольниковых. Кира убежала за Володькиной матерью, Екатериной Федоровной, а он лежал на узеньком диванчике, и Анна Петровна вытирала ему лицо мокрым полотенцем — миску с водой держал Колька, а у самого глаза были тоже как две миски с водой — от слез.

— А я и не знала, что ты такой драчун, — говорила Анна Петровна. — Просто до смерти напугал меня.

— А если бы они его — до смерти? — спросил Володька.

— Нет, нет, — торопливо сказала Анна Петровна, — ты, конечно, поступил правильно, но... Пойди, Коля, смени воду. — И, когда Колька выбежал, добавила с жалостью, будто бы обращаясь не к нему, а к себе или кому-то третьему: — Господи, откуда в вас столько злости? Учишь вас учишь...

— Что же, прикажете добреньким быть? — буркнул Володька.

— Добрым, — поправила она.

Кира привела Екатерину Федоровну, та сразу ударилась в слезы, что случилось с ней редко, и по этим слезам Володька понял, как здорово он разукрашен. Уже потом, после, когда они втроем возвращались домой, мать прижала его к себе и поцеловала в голову — это была ее короткая благодарность, и он понял, за что. И ему очень, ужасно нравилось, что Кирка

глядела на него с испугом и восторгом одновременно и что Колька все время суетился рядом, мочил полотенце и все прикладывал, все прикладывал холодненькое к разбитому лицу...

После этой истории Колька вообще начал ходить за ним хвостиком: божок превратился во всемогущего и всесильного бога.

Это было еще не все, о чем Рогов вспоминал тем свободным от работы субботним днем.

Потом он видел себя и флигелек в школьном дворе, куда пришел вместе с отцом. Новой учительнице нужны были полки, она порасспросила, кто может их сделать, и ее направили к Роговым. Отец подрабатывал, и заказ был кстати; отец попросил Георгия помочь ему — вот так, вдвоем, они и пришли к Анне Петровне.

О новой учительнице в Липках говорили немного. Никто не знал, откуда она приехала со своей дочкой и почему. Слухи ходили разные: не то потеряла мужа, не то развелась. Со станции на двух подводах привезли ее имущество. Одна подвода была завалена связками книг, на другой лежала старинная мебель, кресла и диван с резными ножками, зеркальный шкаф, стулья, обтянутые старым, уже прохудившимся розовым шелком. Эта мебель породила другой слух, будто Анна Петровна из «бывших», вот и мыкается по белу свету.

Георгий, впервые оказавшись в доме учительницы, поначалу растерялся: вся эта мебель, и еще часы, большие, тяжелые, которые держал бронзовый мужик с крыльшками на лодыжках, и пестрый ковер, на который страшно было ступить, — все это напоминало ему комнату в музее. Не хватало только веревочек на ручках кресел и надписей: «Руками не трогать». Сходство с музеем усиливалось картинами в тяжелых, когда-то золоченых, а сейчас потемневших массивных рамах: море, парусники, лес, дорожка в саду среди статуй, коровы на лугу, раздетая женщина у ручья... И фотографии, некоторые на тарелках, некоторые в рамках — штатские и военные, бородатые и безбородые, дамы в кружевах и с высокими прическами — факт, из «бывших»! Анна Петровна уговаривала Роговых выпить чаю с домашним вареньем, они отказались. Отец промерил столярным метром стену, что-то чиркнул на листке бумажки, расспросил, сколько полок потребуется и какой высоты, и подтолкнул сына к выходу.

В это время вошла Кира.

Она была похожа на мать, только очень худая, угловатая, но с таким же спокойным лицом и спокойными глазами, как и у матери. Георгий заметил старенькое, поношенное платье и шерстяную, не по росту кофту — да, видимо, живет учительница небогато. Это он успел подумать прежде, чем Кира про-

тянула ему руку и сказала: «Здравствуйте». На «вы»! Тогда он смутился, почувствовал, что неудержимо краснеет, и, сунув ей свою руку, пробормотал:

— Здравствуй.

Ему стало совсем не по себе, когда Кира окинула его спокойным, добрым взглядом, чуть улыбаясь, будто радуясь новому знакомству.

— А мне про вас рассказывали, — сказала она. — Володя Си-лин рассказывал. Вы ведь Рогов, верно?

— Верно.

— Он рассказывал, что вы летом шуку поймали, кило на два.

Рогов кивнул. Он действительно вытащил нынешним летом здоровенную шуку.

— А вы возьмете меня когда-нибудь на рыбалку?

Опять «вы»! Отец подтолкнул Георгия, — дескать, что ж ты молчишь? — и Рогов, насупившись, снова буркнул, что это дело трудное, да и уметь надо. Она улыбнулась:

— Вот я и начну учиться.

Улыбка у нее всегда словно бы источала доброту и еще уверенность, что отказа не последует.

— Мне работать надо, — сказал Георгий, обходя Киру.

Ему было стыдно оттого, что она, конечно, заметила его смущение и растерянность. И чего растерялся-то, спрашивается? Девчонка, подумаешь — «вы» говорит! Если она из «бывших», то у них так положено: парле ву франсе, мерси — больше не проси, гутен морген — гутен таг! Нет, ему совсем не понравилась ни эта девчонка, ни эта маленькая квартирка во флигеле, и он не хотел признаться себе в том, что это неприятие было от собственного смущения. По пути домой он недовольно сказал отцу:

— Зря связались. У нее там царские генералы по стенкам повешены.

Отец усмехнулся:

— Это не генералы, а инженеры. Я еще помню таких, в форме.

— Все равно, — по-прежнему недовольно сказал Георгий. — Из «бывших».

— Глупости, — почему-то очень резко сказал отец. — За двадцать-то один год всех «бывших»... — он рубанул воздух ладонью. — Есть хорошие, добрые люди, и есть плохие, вот и все. Они, по-моему, хорошие.

Эта резкость не удивила Георгия. К любой оплошности сына отец был не просто нетерпим: с первоначальной резкости обычно начинался долгий разговор, правда уже более спокойный, чем вначале.

Так и сейчас — отец позвал Георгия в мастерскую. Это была сараюшка позади дома, хорошо оборудованная, и здесь всегда легко и сладко пахло смолой, стружкой — как

в лесу. Доски стояли в углу торчком. Отец начал перебирать их, Георгий стоял за его спиной.

— И вот еще что запомни, — говорил отец, — как ты к людям, так и они к тебе, а не наоборот. Есть такие, которые сначала к себе особого отношения требуют. А ты их опереди! Ты им сначала свое отношение дай, чтобы они за тобой пошли. Ты, брат, верховодить-то любишь, я знаю!

— Комсомолец все-таки, — сказал Георгий.

— Правильно, — кивнул отец, вытаскивая понравившуюся ему доску. Сейчас он совершал две работы, но вторая была как бы между прочим; главным все-таки был этот разговор. — Комсомолец. А самое трудное знаешь что? Вот и не знаешь.

— Самое трудное — дяде Грише работу сдавать, — усмехнулся Георгий.

Дядя Гриша Конторин был мастером в ремесленном училище.

— А почему? — оживился отец. — Да потому, что он из вас, пацанов, настоящих людей делает. По легким дорожкам и ходить легко, только куда такие заведут. А ты по самой трудной ходи, чтобы она тебе никогда легкой не казалась.

Он никогда не говорил: «Вот я, например» или «Вот в наше время», — но Георгий и без этого знал, что отец и в гражданскую успел повоевать, и ранен был под Царицыном, и в тифе валялся, и голодал, и работать было нелегко на развалившемся, словно богом забытом заводе. Все это отец любил вспоминать в другое время, когда на праздники собирались его дружки, такие же рабочие, выпивали, пели и вспоминали двадцатые годы, не чета нынешним. «А что такое осьмушка — знаешь? — вдруг спрашивал Георгия кто-нибудь из отцовских дружков. — То-то же, что не знаешь. И не знай никогда!»

Но всякий раз в таких разговорах с отцом для Георгия как бы пробивалась одна мысль, которую отец не мог высказать ясно и коротко: отдавай людям больше, чем они дают тебе. Георгий не знал, что отец нет-нет да и заглядывал к своему старому знакомому, Григорию Конторину, — вроде бы так, по пути, а на самом деле узнать о сыне, и был очень доволен, когда Конторин говорил своим сильным голосом: «Ничего, ничего, будет работать, и человек ничего, ей-ей, ничего! Ребятам, которые поплоче, спуску не дает по своей линии, по комсомольской то есть. Сначала критикует, ну а потом, глядишь, и на кулачках».

В ремесленном училище Георгию было нелегко, здесь собрались ребята из области, вольница — и дрались, и воровали, и не всяк понимал, что от него требуется, и знаний было на грош; у некоторых еще было переданное от старших презрение к самому слову «комсомол», и ему, комсомольскому вожаку, доставалось от них. Конторин, сказав отцу про «кулачки», скрыл от него случай, когда после бурного собрания один парень подошел к Георгию и, достав складной нож, замахнулся.

Руку с ножом перехватили другие, парня повалили, связали да так, связанного, и доставили в пикет милиции. Оттуда его прямехонько переправили в колонию для трудновоспитуемых.

Среди множества людей, таких же, как он сам, первым другом для Георгия был Володька Силин. Все-таки они сызмала были вместе...

Первая размолвка случилась тогда, когда Георгий поступил в ремесленное. Это была и не размолвка даже; оказалось, что они по-разному смотрят на жизнь. Георгий тянул Володьку с собой, вдвоем все веселее, вдруг Володька сказал:

— Тебе надо — ты и иди. А у меня, брат, другие планы: я учиться хочу.

— Учиться всюду можно.

— Нет, не всюду.

Володька замер, в нем словно бы происходила какая-то приятная ему работа — он мечтал, и лицо у него тоже стало отрешенным. Он весь был там, в будущем, куда охотно готов был пустить друга, но только на время — поглядеть, потому что это будущее принадлежало лишь ему одному.

— Ты думаешь, почему я отличник? Отца или мать боюсь? Я сам хочу все знать — понимаешь? Ни хрена ты не понимаешь! Мне в любой науке до самого корешка хочется докопаться. А тебе вот — железки стругать — большого ума не надо.

Георгий вспыхнул. В семье шесть человек все-таки, он старший... К тому же ничего зазорного нет в том, что он станет токарем, как отец.

— Просто у тебя нет цели, — сказал Володька.

В нем жила какая-то неумная, необузданная жадность узнавания. Книги он читал запоем — все равно какие: прочитывал от корки до корки «Технику — молодежи» и хватался за «Анну Каренину», а потом с той же легкостью, но и с такой же точно жадностью наваливался на «Справочник автомобилиста». Ему было все равно, что узнавать, лишь бы узнавать. Учебники он прочитывал за два дня, задачи решал с ходу — и те, что были заданы, и те, которые будут заданы через месяц: просто он узнавал новое сам, раньше других, и делал это с поразительной быстротой. Ему нравилось, что он знает больше других, знания давали ему приятное чувство превосходства, реже — снисходительности. Его нельзя было уговорить помочь кому-нибудь из отстающих. Он говорил: «Зачем? Не хочет сам — пусть не учится. А у меня нет времени». И набирал новые стопки книг в школьной библиотеке.

В шестнадцать лет он заметно выделялся среди своих сверстников. Учителя любили его и ставили в пример другим. Ребята же отвечали неприязнью, но признавали его превосходство во всем, начиная от учебы и кончая физической силой, так уважаемой в этом возрасте. Быть может, поэтому кличка «про-

фессор» не прилепилась к нему: он единственный в классе, а то и в школе оставался без клочки.

Когда в классе появилась спокойная, всегда сдержанная, с добрыми глазами Кира, ее тут же окрестили «медузой». Она не обиделась, она только улыбнулась своей доброй улыбкой и сказала, что медузы бывают очень красивыми. После той драки в школьном дворе Володька стал ходить к Медузе. Она сама позвала его — помочь ей по математике, и он, никогда никому не помогавший, согласился...

Что еще помнил Рогов о тех далеких, довоенных временах? Он с отцом сделал Анне Петровне полки и сам собирал их, а Кира сидела и наблюдала, как он работает. Потом наступила минута неожиданного стыда, когда Анна Петровна спросила: «Сколько же я вам должна?» — и покраснела. Тогда Рогов, отвернувшись, буркнул: «Не знаю, вы с отцом поговорите», и она словно обрадовалась: «Ну да, конечно, как я об этом сама не подумала».

Рогов ушел домой, снова отказавшись от чашки чая с домашним вареньем. Матери не было. Отец сидел за столом сжав руки.

— Там учительница насчет денег спрашивала. Я сказал, чтоб с тобой поговорила.

— А ты сам не подумал, что с нее можно взять? — раздраженно спросил отец. — С учительской-то зарплаты...

— Значит... — начал было Георгий, но отец перебил его:

— Значит, так и будет. А сейчас иди к Володьке, дружку своему.

— Зачем? — удивился Георгий. Они виделись вчера, вместе ходили в кино, смотрели «Если завтра война».

— У него мать умерла, — вдруг очень тихо и, как показалось Георгию, испуганно ответил отец.

Екатерина Федоровна умерла вечером, когда все собрались дома и она разогревала обед. Накрыла на стол, повернулась к плите и вдруг повалилась на пол мягко и тихо. Сначала никто ничего не понял. Колька бросился к ней и попытался поднять, потом подскочил отец — он первым сообразил, что произошло и что уже поздно. Кричал он страшно. Он метался по дому, натываясь на стены, на мебель, опрокидывая стулья, и кричал, сжимая голову руками. Казалось, он обезумел. А потом затих и неподвижно сидел на кухне, на своем обычном месте у окна, — Екатерину Федоровну уже увезли...

Георгий видел, как ее увозили: пришла «санитарка» и двое вынесли из дому носилки, накрытые простыней. Под простыней угадывалось человеческое тело, и он не мог поверить, что это была Екатерина Федоровна. Кто-то взял его за руку. Он

повернул голову — это был Колька, совсем белый в сизых сумерках, только широко раскрытые глаза глядели не мигая, и словно они были единственно живыми на неподвижном лице. Георгий стиснул его руку в своей. Ему самому было страшно переступить порог дома, где только что умер человек, Екатерина Федоровна, которую он знал и помнил столько же, сколько помнил самого себя, — сунутый на ходу кусок пирога с черникой, короткое и ласковое прикосновение ее руки: «Ну и отрастил вихры!» — или смеющееся лицо, когда они — Володька и он — ссорились и дулись друг на друга по углам: «Разбранились, милые? Я вас быстро помирю — пошлю дрова пилить».

Володька, казалось, был спокоен, но это так казалось, конечно. Когда Георгий вошел в комнату, Володька медленно повернулся к нему. Что надо было сказать, Георгий не знал. Все так же держа Кольку за руку, он подошел и сел рядом. Было слышно, как в соседней комнате кто-то ходит, потом вышла мать Георгия и сказала, что она закрыла зеркало...

— Зачем? — спросил Володька.

— Так полагается. Ты бы пошел к отцу.

— Он никого не видит, — сказал Володька.

— Ты держись, — наконец каким-то не своим, хриплым голосом сказал Георгий. Больше он ничего не мог сказать. Он мог только представить себе, что творилось сейчас с другом, и чувствовать странное, отвратительное бессилие — он ничем не мог помочь. И этот совет держаться был, конечно, тоже совсем нехстати.

— Идем, — кивнула ему мать. Уже на крыльце она добавила: — Пусть побудут одни.

Колька выскочил за ними следом, будто боясь остаться в этом доме без них, и Георгию показалось, что он хочет что-то сказать, но он ничего не сказал, метнулся к крыльцу и ушел в дом, осторожно и тихо затворив за собой дверь...

Вскоре после смерти жены Владимир Иванович Силин записал. Если раньше, случалось, он брал под выходной чекушку за три пятнадцать и этим ограничивался, выпивал и, добродушно ухмыляясь, ходил по палисаднику, а потом укладывался спать, — то сейчас его было не узнать. Времена были строгие, за опоздания или прогул полагался суд. Его спасали как могли. Перевели из инструментальной мастерской в разнорабочие — прогулял три дня, и все-таки был суд, опять как-то спасли, дали отпуск... Потом уволили «по состоянию здоровья». Пить он продолжал вмертвую, и день начинался с того, что он шел на барахолку, прихватив из дома какие-нибудь вещи — жены или свои. Наконец он продал и пропил Володькино пальто, которое справили ему к нынешней весне...

Из города в Липки он возвращался под вечер, и всегда с одной и той же песней: «Не брани меня, родная, что я так его люблю...» Его шатало, кидало из стороны в сторону. Женщины у колодца печально глядели на него. Они жалели Силина — какой мастер был! Да что мастер — тихий был человек, семейный, и при этом каждая думала о себе, о том, что, случись такое с нею, муж быстро найдет себе бабу и утешится, а этот вот спился от горя, от любви, и судить его за это просто грех... «Не брани меня, родная...» Он падал, женщины поднимали его и доводили до дома. Силин начинал плакать и звать жену — это было тоже страшно, и женщины шли обратно, к колодцу, вытирая слезы.

Ни Владимира, ни Кольку он даже не замечал, словно забыл об их существовании.

Первое время ребята еще перебивались — были домашние запасы, да и соседи помогали, но вскоре им пришлось совсем туго.

Как-то раз старший Рогов, возвращаясь с работы домой, сделал крюк и зашел в кондитерский магазин «Фантазия», открытый недавно на одной из центральных улиц. Это было правило: с полочки покупать младшим кулек недорогих конфет. В том году впервые появились латвийские конфеты «Лайма», дешевые и в ярких обертках. Он купил полкило «Лаймы», вышел, и кто-то тронул его за рукав.

— Дяденька, дайте фантик.

Колька глядел на него, еще не узнавая, и вдруг начал медленно отступать.

— Зачем фантик? — сказал Рогов. — Держи конфеты.

— Нет, — пробормотал вконец смутившийся Колька. — Мне только фантик...

— Брось, — тихо сказал Рогов, протягивая руку. — Идемка, парень. Одними фантиками жив не будешь. Идем, идем...

Они шли молча, и Рогов думал, до чего же хитро придумано: ребенок просит фантик — чего тут худого, все они что-либо собирают, но кто, выходя с покупкой, даст фантик без конфеты? Он никогда не понимал, что значит «щемит душу», — сейчас у него именно щемило душу, боль была почти физической. Она не отпускала его, пока они шли, и когда жена налила Кольке большую тарелку шей, и когда тот начал медленно есть (а Рогов видел, что это нарочитая медлительность, что Кольке эта тарелка на минуту), и когда у мальчишки после еды стали сонные глаза. Надо было еще проверить свою догадку, и Рогов сказал:

— А конфеты почему не берешь?

— Не хочется, — сказал Колька.

— У тебя что же, своих много?

Колька сунул руку в карман, вынул целую пригоршню, потом еще... Насобирал там, возле «Фантазии».

— Угощайтесь и вы, — сказал он. — Я только Володе оставлю.

Рогов переглянулся с женой.

— Вот что, — сказал он, — положение, брат, сейчас такое, что придется тебе перебираться к нам. Понял?

Колька качнул головой: нет. Никуда он не переберется.

— Это почему же? — строго спросил его Рогов.

— Как же я дядю Володю оставлю и Володьку?

Рогов покраснел и снова переглянулся с женой. Такого ответа он не ожидал, конечно. А мальчишка засыпал, сидя на стуле. Рогов встал, отвел его в комнату, уложил на диванчике и вернулся на кухню. Он был мрачен, он сердился на самого себя за то, что дал маху и что мальчишка заставил его покраснеть.

— Ну, прокормить его хотя бы мы сможем, — сказала жена. — А со старшим как?

— Чего-нибудь придумаем, — сказал Рогов. — Не пропадать же человеку.

Когда Георгий вернулся домой (он уже кончал училище и с осени должен был пойти на завод), отец сказал ему, по своему обыкновению резко и раздраженно, что Колька теперь будет кормиться у них и что следить за тем, чтобы он приходил, должен Георгий.

— Не придет — сам будешь без обеда.

Георгий вспыхнул:

— Почему ты говоришь со мной так, будто я против?

Отец покосился на него: обычно сын никогда не взрывался и не перечил ему.

— Ну-ну, — хмыкнул отец, — это хорошо, что не против. А все-таки запомни, что я сказал.

— Есть еще Володька...

Отец снова, на этот раз уже с неприкрытым одобрением, поглядел на Георгия.

— Ему, пожалуй, надо работать, — сказал отец. — Ты как думаешь?

Впервые в жизни он задал сыну такой вопрос, будто советуясь с ним. Георгий кивнул. Наверно, надо. Но ведь он так хочет учиться! Для него, можно сказать, вся жизнь в этом учении. Может быть... Отец покачал головой: нет, два рта — слишком много, это им не выдюжить, он уже советовался с матерью. И потом: почему ты идешь работать, а он не может? Что, ты хуже его, что ли? Георгия такой разговор не устраивал. Его всегда словно бы подавляла безудержная, почти фанатичная тяга Володьки к учению, и он привык к мысли, что так и должно быть в жизни друга.

— Ладно, — сказал отец, все поняв. — Я поговорю с ним.

Владимир все решил сам и иначе.

Неожиданная смерть матери, а затем такое же неожиданное и не менее страшное падение отца потрясли его так, что ему пришлось долго и мучительно приходить в себя. Он жил и учился словно бы по какой-то инерции, и все, что окружало его, казалось ему тоже движущимся по инерции. Когда Кира пригласила его к себе и он понял, что его пригласили к обеду, он испытал стыд, будто ему по ошибке дали подавание. Он не понимал, что другие люди испытывали и сочувствие, и жалость, и желание помочь ему. Он с трудом заставил себя съесть обед и, поблагодарив, поднялся. Нет, он не может остаться. Ему надо идти по делам. Приходить чаще? Спасибо, вряд ли он сможет... Кира глядела на него умоляющими глазами: ну пожалуйста, завтра... Она вышла вместе с ним.

— Тебе в какую сторону?

— В город.

— Мне тоже в город.

Ему не надо было идти в город, но теперь — хочешь не хочешь — пришлось идти. Кира шла рядом.

За этот год она сильно изменилась. Исчезла угловатость подростка, она пополнила, ее движения стали по-девичьи плавными. И мягкий взгляд, и легкое прикосновение руки к руке, когда она разговаривала с ним, — все это рождало ощущение особой сердечности, душевности, которых Володьке так не хватало после смерти матери, и, если он продолжал разговаривать с ней чуть свысока, а порой и резко, это тоже было по некой инерции: в школе все так разговаривали с девочками.

Но теперь — и это он чувствовал — рядом с ним шла вовсе не девочка. Она была в легком ярком платье, и он впервые увидел, что у Киры высокая грудь. Даже этот взгляд на ее грудь смутил и взволновал его.

Они прошли мост, завод остался слева, город начался сразу новыми домами, асфальтом, грохотом трамваев, магазинами, афишами, вывесками. На углу Лермонтовской и Красных Зорь стоял мороженщик в коротенькой белой куртке, на которой висела медаль «За отвагу». Володька отвернулся, проходя мимо. Кира остановила его:

— Хочешь мороженого?

— Нет.

— У меня есть деньги.

— Я же сказал — не хочу, — уже резко ответил Володька. Ему очень хотелось мороженого.

Кира подошла к мороженщику. Он был одноглаз, зато здоровый глаз так и смеялся.

— Одну порцию? — спросил он. — А как зовут вашего молодого человека?

Кира оглянулась: Володька уже отошел и что-то разглядывал на огромном щите с афишами.

— Володя.

— А, — сказал мороженщик. — Володя у нас имеется.

Он заправил круглую вафлю в машинку, намазал мороженым, прикрыл другой вафлей и протянул Кире «лизунчик». На обеих вафлях было выдавлено: «Володя».

— У меня легкая рука, девушка, — засмеялся мороженщик. — Вот увидите, еще ваши детишки будут бегать ко мне за мороженым. Так и посылайте их — к дяде Егору.

Кира улыбнулась одноглазому мороженщику и пошла к Володьке.

— Вот, — сказал он. — Ты иди по своим делам, а я по своим...

Она невольно поглядела на щит. Афиши сообщали о гастролях Саратовского театра, во Дворце культуры будет петь Дебора Пантофель-Нечешкая, в городском парке — большие гулянья, на эстраде — Изабелла Юрьева... Рядом висели листки, вырванные из тетрадок: «Продам по случаю отъезда комод старинный и двух щенков овчарок», «Даю по сходной цене уроки эсперанто», «Пропала кошечка серо-беленькая... Тут же были объявления о приеме на работу, и она сразу увидела это: «Товарной станции... на временную и постоянную... оплата по-временная...» Она повернулась к Володьке и заметила, что он читает это объявление.

— Ты на Товарную? Можно с тобой?

— Ну что ты ко мне пристала? — поморщился он. — Тебе-то что? Живешь тихо, спокойно, за маменькиной спиной, ну и живи себе на здоровье.

Она растерялась: слишком неожиданной и непонятной была злость, с которой все это было сказано. А Володька уже уходил, не оборачиваясь, сунув одну руку в карман и размахивая другой, — длинный, нескладный, но, как показалось Кире, уже пришедший в себя после того, что с ним случилось...

Он начал работать с того же дня, вернее, вечера. Работа была тяжелой, но зато расчет производился сразу же после смены. Это устраивало его потому, что теперь у него каждый день были деньги; других же, кто работал с ним на Товарной, устраивало, что каждый день можно было выпить.

Он ненавидел людей, с которыми его свела работа. Здесь собирались ханыги, бессемейные, опустившиеся, выгнанные с городских предприятий, для которых разгрузка и погрузка вагонов была последней возможностью заработать. Что с ними будет дальше, они не думали. Это был народ грубый и бессердечный, они смеялись или отчаянно ругались, если кто-то, споткнувшись, падал; они собирались в эту *ватагу* только на смену, чтобы потом разбрестись кто куда и тут же забыть друг о друге. Владимир еще не знал, что это было последним «дном», порожденным нелегким временем, и то, что он увидел, потрясло его. Всю жизнь, все свои семнадцать лет, он знал людей, которые честно работали и хорошо жили; это было в полном соответствии с тем, о чем каждодневно писали газеты.

Но оказалось, что рядом с правильной и честной жизнью существовали рвачи, подонки, дикая брань, ненавидящие глаза, дрожащие руки, перебирающие зелененькие трешки, весь мир, втиснутый в одну и ту же фразу: «Ну и выпьем сегодня!» — а в обеденный перерыв разговоры о бабах — грязные, похабные и чаще всего обращенные к нему: «А ты их пробовал? Хочешь, познакомлю с одной?» Он молчал. Он стискивал зубы, чтобы не отвечать. Ему нужны были деньги на жизнь, и он не мог больше заработать нигде, поэтому надо было молчать и не ввязываться в ссору.

В один из дней в бригаде появился новичок, и Владимир невольно потянулся к нему. Это был студент технологического института. Привело его сюда обычное студенческое безденежье, и в первый же вечер после расчета он поманил пальцем Владимира.

— Пойдем пошамаем где-нибудь вместе?

— «Пошамаем» — это по-каковски? — усмехнулся Володька.

— По-человечески, — рассмеялся студент.

Они зашли в первую попавшуюся столовую, не очень чистую, но искать другую не хотелось — все-таки усталость чувствовалась здорово. Заказали что подешевле, и, сам того не замечая, Володька рассказал все о себе. Студент слушал молча. Потом они сидели в парке над рекой. Где-то в отдалении играла музыка, и впервые за долгое время Володьке было легко, так, как бывало там, на погрузке, когда сбросишь с плеч давящую тяжесть.

— А ведь ты, наверно, своего добьешься, — негромко сказал студент, — не погрязнешь здесь... — Он кивнул в сторону, и Володька понял, что он имеет в виду Товарную. — Да, брат, я тебе даже малость завидую, у меня такой жадности к наукам нет... Тебе бы в Москву или Ленинград податься.

— А отец? — спросил Володька.

— Что отец? — недобро усмехнулся студент. — Отец сам себя приговорил. Если хочешь чего-нибудь добиться в жизни, надо быть жестоким. Ты на этих грузчиков сердись, а они действуют по закону жизни. Я вот от своего отца публично, можно сказать, отказался: он у меня священником был. С таким пятном нынче далеко не продвнешься! Думаешь, я бы учился в институте, если б не отказался? Шиш!

— Но ведь это...

— Погоди с выводами, — опять как-то недобро усмехнулся студент. — И до нас с тобой тоже жили умные люди. Ты Шопенгауэра читал? Не читал! Так вот, он, между прочим, так говорил: «В человеческом мире, как и в царстве животных, господствует только сила».

Разумом Володька еще сопротивлялся всему тому, что говорил студент, — призыв к жестокости был неприятен своей неприкрытостью. Он понимал, что помочь отцу он все равно ничем не сможет, отец обречен... Его дикое пьянство вызывало не

жалость, а злобу, так стоило ли, действительно, держаться за дом, которого, в сущности, нет?

— А ты чего ж не в Москве?

— Я-то? Я тебе говорю, что у меня нет твоей жадности. А в Москве все не так. Работы там — навалом, кругом стройки. Вечернюю школу кончишь. Институты — выбирай любой. Да и жизнь совсем другая... Столица все-таки. Ну и в смысле продуктов куда лучше. Ты ведь не только Шопенгауэра не читал, а и копченых языков в селитре не пробовал. Надо уметь устраиваться в жизни, парень.

Он встал, хлопнул Володьку по спине и ушел, чуть покачиваясь, как моряк, сошедший на берег после дальнего рейса, но это было от усталости...

— Ты окончательно решил?

— Да.

— Не понимаю. — Георгий хмурился и глядел не на Володьку, а на реку. Они сидели на берегу, в густой траве; день был жаркий, безветренный, и разомлевшие от жары стрекозы присаживались рядом. Такие душные дни обычно бывают перед вечерней грозой, и Георгий мельком подумал, что день кончится дождем и грозой.

— Не понимаю, — повторил он. — Неужели ты сам не видишь, что это... это...

Он пытался подобрать слово помягче, но вовсе не потому, что боялся обидеть Володьку единственным пришедшим на ум словом «подлость», — нет, он еще думал, надеялся отговорить его от этой поездки, вернее бегства, и тут хочешь не хочешь, а надо было подбирать слова.

— Ну, чего ж ты? — прикрикнул на него Володька. — Замахнулся, так бей!

— Только этого нам не хватало — подраться напоследок, — сказал Георгий. — Да ты пойми, ты же не учишься едешь, ты от дома убегаешь. Отец, Колька...

— Колька-то здесь при чем? Не пропадет Колька.

— Не пропадет, — кивнул Георгий. — Ты не пропади. Хотя, — торопливо поправил он сам себя, — пропасть тебе не дадут, это уж так положено, а как ты себя чувствовать будешь?

— Это ты насчет совести?

— Да.

— Ничего, Гошка. Совесть — понятие нематериальное. — Он сел, сорвал травинку и, сунув в рот, начал жевать. Со стороны могло показаться: вот двое изнывающих от жары парней копятся на солнышке, сейчас выкупаются в реке и снова будут загорать, потому что делать им больше нечего, и разговор у них от жары ли, от безделья ли — короткий и отрывистый.

— И все-таки я не понимаю, как ты можешь бросить все и уехать сейчас.

— Сейчас, завтра, послезавтра — какая разница? Понимаешь, я здесь учиться не могу. — Он начал сердиться на Георгия. — Ты был пережил, что мне довелось...

Было ясно, что Володьку уже не убедить. Вот тогда-то, встав и поднимая с травы рубашку, Георгий сказал, не сводя с Володьки глаз:

— Значит, все-таки пойдешь на подлость.

Это был не вопрос, это было утверждение. Володька вскочил. Они стояли друг перед другом, один — рослый, другой — пониже ростом, и глядели друг на друга.

— Хочешь подрататься? — усмехнулся Георгий. — Не советую.

— Нет, — сказал Володька. — Но этот разговор я тебе припомню когда-нибудь.

Георгий уходил от него и думал, что сегодня, вот только что, между ними все кончилось, и думал об этом с горечью, со стесненным сердцем, но иначе он поступить не мог, не имел права не назвать все своими именами. Подлость есть подлость, и другого названия она не имеет. Все! Годы дружбы кошке под хвост... (Только потом, уже пожилым человеком, он поймет, что это бунтовал в нем максимализм молодости, ничего не прощающая категоричность и что, наверно, все-таки можно было найти какие-то умные и убеждающие слова.)

Провожать Володьку он не пошел, его провожали Колька и Кира. Володька немного рисовался, то и дело поглядывая на большие станционные часы, будто ему так уж не терпелось уехать, а на самом деле было тошно, но отступить он уже не мог. Вещей у него почти не было: смена белья да связка книг, которые отец еще не успел продать, — вот и все.

— Ты попрощался с отцом? — спросила Кира. — Он знает?

— Ему наплевать на меня, — усмехнулся Володька. — Он даже не заметит, что меня нет.

— Но все-таки...

— А ты не учи меня. Что-то вы все начали меня учить последнее время.

Колька не плакал. Он только лишь глядел на Володьку и давился слезами. Кира держала его за руку.

— Ну, пока, — сказал Володька, поднимая связку книг. — Я пошел за Ломоносовым.

— Пока, — сказала, бледнея, Кира.

Что было потом?

Дом Силиных сгорел на второй день войны, но война была в том неповинна. Поздней ночью в окно роговского дома кто-то забарабанил, Рогов выскочил на крыльцо, к нему метнулся Колька. Он был в одних трусиках.

— Скорее! — задыхаясь, прошептал Колька. — Там дядя Володя на полу костер делает.

Рогов кинулся к силинскому дому, но было уже поздно,

огонь хлестал через окна. Пожарникам удалось отстоять соседние дома, обуглились только деревья, росшие вблизи. Самого Силина спасти не удалось. Уже потом Колька рассказывал, что «дядя Володя вернулся вроде бы и не пьяный, а какой-то странный». Странность была в том, что он ходил, озираясь, по дому, стряхивал с себя что-то, чего Колька не видел, потом зарылся головой под матрац... Просто мальчишка никогда не встречал больных белой горячкой. Он уснул, когда Силин наконец-то успокоился и прилег. Проснулся — в соседней комнате костер из стульев и табуреток, прямо на полу...

В Липках провозжали на фронт мужчин, пили, плакали и пели, и в общей беде уже не вспоминали Силина. Ушел в армию и Рогов. На вокзале былолюдно и шумно, надрывно играла гармошка; какая-то старуха крестила всех; в углу вокзальной площади стояли пушки, задрав стволы, и, казалось, они тоже присели по обычаю перед дальней дорогой, — все рушилось, будущее было непонятным, неясным и страшным, а для кого и коротким, — и Рогов, словно чувствуя, что уже никогда не вернется, впервые в жизни обнял своего старшего и сказал всетаки с прежней строгостью, чтоб берег семью..

Здесь Рогов оборвал эти, пожалуй, совсем некстати пришедшие воспоминания. Просто было несколько минут свободного времени от дома до завода. Но, тут же подумал он, от воспоминаний человек все равно никуда не уйдет. Прав Толстой — все мы вышли из детства, и даже сейчас, в свои немолодые годы, возвращаемся к прошлому, потому что было в нем такое, из чего сложилась вся наша судьба. Говорят, люди похожи на реки. Ерунда! Реки никогда не возвращаются к своим истокам, а мы возвращаемся, чтобы понять самих себя...

5. РАЗДРАЖЕНИЕ

Кабинет у Силина был большой, светлый, с деревянными панелями, встроенными шкафами и низкой мебелью. От кабинета прежнего директора он оставил только большие напольные часы и старинный, длинный, похожий на булаву барометр Пиццолли. Несмотря на дряхлость, барометр все-таки действовал, и ртутный столбик аккуратно показывал «Вьликую Сушь» или «Жарь в крови». Все остальное Силин сменил. Ремонт и покупка мебели обошлись в копейку, но это было необходимо. На завод уже давно ездили представители стран СЭВ, и Силин просто не понимал, как прежний директор — Аксенов — мог принимать их в мрачном кабинете с крашенными масляной краской стенами и кожаными протертыми креслами, стоявшими здесь чуть ли не с двадцатых годов!

Но вот часы он оставил. В них было что-то внушительное,

прочное, они шли размеренно и деловито, а Силин любил размеренность и деловитость, и эти часы нравились ему давно, когда он еще работал на заводе комсоргом ЦК и приходил к директору по всяким комсомольским делам или на совещания.

Его утро начиналось с того, что в кабинет сразу следом за ним входила Серафима Константиновна и замирала возле стола с блокнотом и карандашом в руках. Его всегда чуть забавляла та, пожалуй, даже торжественная серьезность, с которой Серафима Константиновна проделывала этот каждодневный обряд, будто именно от нее в эти минуты зависят по меньшей мере судьбы мира.

Серафима Константиновна была кладом, который он нашел сам. Прежде она работала секретарем-машинисткой в жилконторе. Как-то раз зайдя в ЖЭК (надо было отремонтировать квартиру), Силин услышал почти пулеметную очередь и увидел немолодую женщину, сидевшую за «ундервудом».

— Вы к кому? — спросила она, не сводя подозрительных глаз с Силина и продолжая печатать. Он ответил — к начальнику ЖЭКа, и секретарша сказала, по-прежнему печатая какую-то сводку:

— Прошу вас очень коротко, самую суть.

Потом он вышел от начальника ЖЭКа и, подойдя к секретарше, сел перед ней на стол. Лицо у нее исказилось, на нем попеременно сменились удивление, негодование, гнев, потом оно стало каменно-суровым.

— Вы всегда ведете себя так?

— По обстоятельствам, — сказал Силин. — Просто у вас нет ни одного стула, но дело не в этом. Сколько вы здесь получаете? Семьдесят пять, восемьдесят? Идите ко мне. Сто двадцать и премиальные.

— Вы кто? Ротшильд?

— Я директор завода, — усмехнулся Силин. — И мне нужны люди, которые умеют работать и не замечать моих плохих манер.

Сейчас он сказал Серафиме, чтобы она отменила директорское совещание, и заметил, что бровки у Серафимы удивленно дрогнули, но это была секунда, не больше. Директорские совещания по понедельникам считались неизменными, обязательными, и этот порядок не нарушался никогда.

— И вот еще что, — сказал Силин. — Предупредите Нечаева, чтоб все время был в цехе. Сегодня придет секретарь обкома Рогов, так вот — чтобы там все было в порядке.

Он слишком хорошо знал Рогова и отменил все утренние дела. Действительно, Рогов приехал скоро, сразу из дома, потому что, едва поздоровавшись, снял трубку «вертушки» и позвонил своей секретарше — предупредить, что он на ЗГТ и пробудет здесь часа полтора-два. Положив трубку, он со смешком обернулся к Силину.

— Обычно гостей не спрашивают, надолго ли они приехали. Зато ты знаешь, что я на полтора-два часа. — Он прошелся по силинскому кабинету. — А ты ничего устроился. Дирекция, как говорится, не пожалела затрат.

— Ну, — так же весело отозвался Силин, — это ты мне в отместку за свой бывший кабинет.

— Да уж! — рассмеялся Рогов.

Когда-то, когда он был еще секретарем райкома партии, его кабинет располагался в гостиной бывшего купеческого особняка, с потолка глядели пухленькие, розовенькие ангелочки, а по стенам крылатые серафимы дули в золотые трубы. Силин, бывая в кабинете Рогова, всегда потешался над купеческой пышностью и этой «религиозной пропагандой», как он называл ангелочков и серафимов. Впрочем, Рогов сам относился к этой живописи с некой долей душевного страдания: замазать бы ее к лешему, да нельзя — особняк под охраной государства, и ангелочки в том числе, как образец живописи конца XVIII — начала XIX века, будь она неладна!

— Так что? — уже серьезно спросил Рогов. — Пойдем, или сначала будешь жаловаться?

— Не буду, — ответил Силин. — Я тут все написал. Посмотри, пожалуйста, на досуге.

Рогов взял протянутый листок бумаги и, сложив, сунул в карман. Все-таки Силин хитрый мужик, после беседы секретарь обкома может что-то забыть, что-то упустить, а здесь — все на бумажке, и на забывчивость не соплешься.

Рогову же не хотелось начинать с бумажки, с просьб, даже требований (а Силин, конечно, вправе требовать!), ему хотелось самому увидеть новый цех, о котором он знал пока только по рассказам Силина и сводкам субподрядчиков: все было не выбраться на стройплощадку. Мысленно он представлял себе цех — его проект обсуждался в обкоме, и он принимал участие в обсуждении. Но одно дело — проект, другое — уже готовый корпус.

— А все-таки они молодцы, — сказал Рогов, и Силин не сразу понял, кого он назвал молодцами. — Быстро построили. Я, грешным делом, думал, что придется попортить крови, а теперь надо выходить с награждениями. Ты как думаешь?

— Еще бы не молодцы! — усмехнулся Силин. — Я каждый день звонил или ездил в СМУ. И ругался, и в гости приглашал, и Роговым грозил, разве что только взятки не давал. Коньячком поил, это не отрицаю. За свой счет, разумеется. Вызвать машину? На дворе грязновато все-таки.

— Пешком, пешком, — сказал Рогов. На лестнице заводоуправления он взял Силина под руку. — Если по секрету, я тоже со строителей не слезал. Так что зря, выходит, ты на коньяк тратился.

Перед новым цехом Рогов остановился, как бы любуясь этим белым зданием. Вокруг высились груды строительного

мусора, на месте глубокого ввода был повален забор, и траншеи еще не засыпали землей. Рогов прошел вдоль траншеи — Силин за ним.

— Подача газа? — спросил Рогов.

— Да. На стенд. С газом, кстати, намучаемся. Испытания турбин придется проводить только ночью. Днем невозможно — нехватка газа.

Рогов пожал плечами: тут ничего не поделаешь.

— Идем. Хоть бы доски догадались положить, пока строители не засыпали траншею, — вон, все ноги уже в глине... — Вдруг Рогов тронул Силина за рукав и кивнул в сторону. — А это что за землепроходец?

Какой-то мужчина в спецовке задумчиво стоял перед траншеей, потом начал осторожно спускаться в нее.

— Эй, — громко позвал его Силин, — вы что там делаете?

Он быстро прошел по насыпи и встал над этим человеком, а тот запрокинул голову и растерянно глядел на Силина, то ли узнав директора, то ли почувствовав в нем какое-то начальство.

— Я на минутку, — сказал тот.

Силин протянул ему руку: вылезай. Человек вылез и стоял, отряхивая со спецовки глиняную пыль.

— За водкой собрался? Так еще одиннадцати нет, — сказал Силин.

Тот помотал головой: нет, только пивка выпить, здесь удобно — прошел по траншее и сразу к пивному ларьку. Забор-то повален...

— Из какого цеха? — спросил Силин.

Человек тоскливо поглядел на новый корпус.

— Ладно, — сказал, подойдя, Рогов. — Возвращайтесь в цех, пиво сегодня отменяется.

— У него руки дрожат, — зло сказал Силин. — Два дня пьют, а в понедельник не до работы — отоспаться бы.

Любитель пивка как-то бочком-бочком шмыгнул в сторону и исчез. Рогов промолчал: он знал, какая ярость овладевает в подобных случаях Силиным — с давних лет, с пьянства отца, он не выносил таких «чемпионов по бегу за выпивкой», как их называли на заводе. А здесь — и Рогов тоже знал это — пьют, пьют во время работы, проносят через проходную, и несколько лет назад были несчастные случаи, а двое вовсе отравились, хлебнув цинкового кроля, — еле отходили их в местной поликлинике. И видел, что настроение у Силина уже испорчено вконец. Можно было бы сказать — мобилизуй общественность, создай обстановку нетерпимости, но Рогов не любил таких слов. Конечно, Силин и мобилизует, и создаст, а точнее — будет снимать стружку с начальников цехов, но все равно мало что изменится: и Силину не до этого, и люди здесь собираются ох какие разные!

— Цех, кажется, на шестьсот человек? — спросил Рогов. Силин кивнул. — А сейчас там сколько?

— Примерно половина.

Половина! — подумалось Рогову. И половина из этой половины оргнаборовцы (ну, это ничего, все-таки кадровые рабочие) и «бировцы»... С ними всегда возня, с «бировцами», с теми, кто приходит сюда из бюро по распределению, — бывшие уголовники, отсидевшие свой срок...

Все эти мысли кончились сразу, едва Рогов вошел в цех.

— Ого! — сказал он. — Впечатляющее зрелище.

Он стоял, осматривался, кивнул на закрытые огромные раздвижные ворота — что там? Испытательный стенд? А сборочный участок еще не оборудован? Ему казалось, что цех пуст, люди терялись в нем. И снова поворачивал голову к рядам станков.

Нет, он никого не знал здесь. За станками работали незнакомые ему люди и не обращали внимания на двоих, шедших по широкому проходу. Возле одного станка Рогов остановился: огромный, медленно вращающийся вал словно притягивал его к себе. Вал был сверкающий, хотелось протянуть руку и дотронуться до его зеркальной поверхности и почувствовать живое тепло металла. Рогов мог не расспрашивать: это уже делали ротор для будущей турбины. Еще несколько необработанных роторов лежали неподалеку на деревянных брусках.

Он не замечал, что Силин оглядывается с недовольством. Не было видно начальника цеха, а ведь Серафима предупредила его, что директор будет в цехе с секретарем обкома. Что за странное поведение! Будто секретарь обкома бывает здесь каждый день. Должен ведь, обязан был встретить! Если бы не дьявольская работоспособность Нечаева, Силин ни за что не согласился бы с его назначением. Да, работать он может сутками; как-то зимой Силину рассказали, что начальник цеха ночевал на заводе. Это когда монтировали оборудование.

И снова они шли — дальше, дальше; Рогов первым поднялся по металлическим ступенькам конторки начальника участка, открыл дверь и сказал:

— Здравствуй, Коля.

Он произнес эти слова так буднично, будто они виделись только вчера, а не встречались последние годы случайно и редко. Зато Бочаров обрадовался до слез, это у него бывало всегда в первую минуту радости и постоянно трогало тех, кто видел, как у него влажнеют глаза.

— Я шел и почему-то был уверен, что увижу тебя, — говорил Рогов, отвернувшись, чтобы Николай мог справиться и со своей радостью и со смущением. — Какая-то телепатическая уверенность, что ли, хотя я в эти штучки не очень-то верю. Ну, как ты здесь хозяйничаешь?

— Пока туго идет, — сказал Бочаров и поглядел на Силина.

Тот стоял злощый, даже желваки ходили на скулах — то ли был неприятный разговор, то ли что-то не понравилось в цехе. Здесь Силин бывал ежедневно, и каждый раз ему что-то не нравилось.

— Что туго? — резко повернулся к нему Силин.

— Ну, — сказал Николай, — это наши маленькие беды, стоит ли сейчас о них.

— Ладно уж, — усмехнулся Рогов. — Людей не хватает, станки не все поставлены... А с литьем как?

На заводе был свой литейный цех, и, задавая этот вопрос, Рогов адресовал его, конечно же, в первую очередь Силину. Цех был старый, но в плане реконструкции места ему не нашлось, заводу придется требовать металл. Он не ошибся.

— Там у меня и про это написано, — сказал Силин. — На будущий год придется пересмотреть наши обязательства перед поставщиками. Из двенадцати тысяч тонн литья и поковок четыре идут заказчикам, а мы сами на полугодовалом пайке.

Он нервничал, он не понимал, зачем это нужно — торчать здесь, в конторке начальника участка, когда еще столько дел, и думал о Нечаеве, которому сегодня скажет, непременно скажет, обязательно скажет несколько неприятных слов, и уже одно лишь предчувствие неприятного разговора злило его, он как бы накручивал себя больше и больше.

А Рогов не спешил. Он сидел сбоку бочаровского стола, положив левую руку в черной кожаной перчатке на стол, а правой чиркал спичку. Левую руку он потерял в сорок втором, да так и не научился ловко обходиться одной правой.

— Так как все-таки литье? — снова спросил Рогов.

— Пять отливок пришлось завернуть, — сказал Бочаров. — На простой глаз видно, какие раковины. Не металл, а швейцарский сыр.

— Пять, — усмехнулся Рогов. — Многовато, директор? А как обстоят дела с металлом, знаешь? Так что зря написал мне.

— Я не паюсную икру прошу, Георгий, и не осетровый балычок. Не для себя.

— А для кого же? — удивленно и в то же время насмешливо спросил Рогов. — Здрасьте! То — «мой завод», а то — «не для себя». Для себя, для себя, Володя, и со мной вола не верти, эти директорские повороты — когда как выгодно — я давно изучил. За литейный возьмешься сам лично, а я уж пригляжу. Просто потому, что на чужой металл рассчитывать не приходится.

— Обрадовал, — сказал Силин.

— Ну, извини, если что не так, — снова усмехнулся Рогов. — Такая уж у меня должность.

— Пойдем дальше? — спросил Силин.

— Докурю, и пойдем. — Рогов будто наслаждался сигаретой. — В термический заодно заглянем. Там есть еще кто-нибудь из стариков?

— Нету, — буркнул Силин. Чего это его сегодня скидывает на старых знакомых?

Через остекленную стенку конторки он видел, как по проходу идет Нечаев. Наконец-то явился! Он шел не спеша. Останавливался возле станков — короткий разговор с рабочим и снова неспешным шагом. Силину даже показалось, что начальник цеха увидел его, но сделал вид, что не заметил. Он нетерпеливо отвернулся — Бочаров перехватил и его взгляд туда, в цех, и это резкое движение — и все понял. Отношения директора и начальника цеха ни для кого не были секретом.

Нечаев наконец-то поднялся в конторку.

— Вы уже здесь? — спросил он. — Извините, я не знал, когда вы придете, и пошел в шестой цех.

— По-моему, вы начальник двадцать шестого, — сказал Силин.

Рогов протянул Нечаеву руку и назвал себя.

— Иногда приходится ходить, Владимир Владимирович, — упрямо сказал Нечаев. — Телефонный разговор и диспетчер помогают не всегда.

— У нас нет времени на объяснение, товарищ Нечаев. Покажите нам испытательный стенд и откройте тайну, когда он будет готов. Через три месяца пойдет головной образец, где вы будете его испытывать? У себя в квартире?

— Стенд будет готов через три месяца.

— Это ваши деловые предположения или школярский оптимизм?

— Я — инженер, Владимир Владимирович.

Рогов в этот разговор не вступал, сидел и слушал, разглядывая Нечаева, и ему нравилось спокойствие, с которым начальник цеха говорил с директором. От него не ускользнула и та жесткая интонация, которую Силин сдерживал уже, видимо, еле-еле. Конечно, не будь здесь меня, он бы взорвался.

— Ладно, — сказал Рогов, поднимаясь и давая сигарету в черной пластмассовой пепельнице. — Пойдемте, товарищи. Коля, будь здоров и семье привет.

Вот тогда-то неожиданно здесь и появился высокий черно-волосый парень, и Бочаров сказал: «Новый кадр». Господи, да разве его узнаешь! Последний раз Рогов видел Алешку лет пять назад, папан и папан, а сейчас верста коломенская, и не узнает, конечно — подзабыл, только к Силину вдруг повернулся всем телом, сгреб длинными руками, чмокнул в щеку, а на глазах, как и у отца, слезы от радости.

— Дядька!

— Ну, ну, — сказал Силин. — Ребра мне не поломай. Когда вернулся?

— В четверг. Я вам звонил...

— Меня не враз застанешь. — Силин чувствовал всю нелепость этого положения. Какая-то дурацкая семейственность, и это «дядька» при Нечаеве — совсем ни к чему, и Рогов сказал

Бочарову — «ты», все словно бы смялось, и надо бы порадоваться Алешкиному возвращению, а он не может.

— А меня, стало быть, не узнал?

Алешка поглядел на Рогова и вдруг точно так же, как только что Силина, обхватил и его, и Рогов, довольный, хлопал его по спине — то-то же! Ну и вымахал ты, парень! Работать здесь будешь? Значит, счастливо тебе, а нам пора...

Когда они вышли, Бочаров сказал:

— Совсем не меняется.

Это, должно быть, относилось к Рогову.

А у Алексея вдруг появилось ощущение, будто его оттолкнули. Только сейчас он подумал, что дядька был холоден и сух, ну, сказал несколько обязательных слов, и все, — нет, эту их встречу он представлял себе не такой. Он любил Силина. В его комнате под стеклом висела фотография — он с дядькой на рыбалке, оба хохочут в объектив, а вот чему они смеялись тогда, Алексей уже не помнил. Когда-то дядька брал его с собой на рыбалки, и это были счастливые дни. А теперь вот странное ощущение, будто дядька оттолкнул его. Надо было как-то подавить в себе это неожиданное ощущение, и он сказал отцу:

— Так я пошел оформляться?

— Если ты настаиваешь... — сказал отец. Но Алексей видел: он сейчас думал о другом и ему тоже стоило труда оторваться от этих других раздумий. — Если ты настаиваешь, то, конечно, иди.

Рогов сознательно не зашел утром в партком и не попросил Силина, чтобы с ними по заводу ходил и секретарь парткома Губенко. Просто потому, что ему Губенко не нравился. Вообще Рогов всегда старался подавлять в себе это ощущение «нравится не нравится», человек — не кинофильм, не книжка и не пейзаж. Раздражение, которое вызывали в нем некоторые люди, он старался гасить в себе. Особенно если это раздражение появлялось с первого раза — тут уж Рогов просто обрывал сам себя. Позже он мог складывать для себя суждение о том или ином человеке, но это было уже не из области чувств, а результатом наблюдений и раздумий.

Губенко не понравился ему с первого взгляда, еще в позапрошлом году, на заводской партконференции. Когда секретарь райкома познакомил их и объяснил, что вот инженера Губенко райком рекомендует секретарем парткома, Рогов, пожимая ему руку, подумал: «Какой анемичный человек. И словно испуган предстоящей работой». Они стояли в стороне, и Рогов расспрашивал Губенко о его прежней работе: комсорг цеха, парторг цеха... Кончил вечерний институт... Тогда он и выругал сам себя: в конце концов, у него нет оснований не доверять райкому, они лучше знают свои кадры.

Потом, встречаясь с Силиным и Губенко, Рогов постоянно обращал внимание на молчаливость секретаря парткома, будто тот присутствовал на всех встречах по какой-то утомительной и непрременной обязанности. Как всегда, Рогов обращался к нему: «Что скажет секретарь парткома?» — и Губенко почти всегда отвечал: «Владимир Владимирович сказал все». Однажды Рогов в упор спросил Силина, как он работает с секретарем парткома. Только честно! Силин улыбнулся и ответил: «Тебя интересует — не ссоримся ли? Нет, не ссоримся. Должно быть, у него покладистый характер, и меня это вполне устраивает. А что, тебе надо, чтобы секретарь парткома обязательно схлестывался бы с директором?» — «Ты не подминаешь его под себя?» — «Ну что ты, Георгий, мне-то это зачем надо?»

Через год Рогов уже составил себе представление о секретаре парткома. Робок, нерешителен. На спор с директором не пойдет. Все сделает и скажет так, как это нужно Силину. Удобный секретарь. Он не любил удобных секретарей. Такие сочетания никогда не приводили к добру. Как-то он высказал эту мысль секретарю райкома Званцеву, и тот руками развел: «Ну что вы! Работает он хорошо, у нас к нему никаких претензий». И все-таки эти слова «удобный секретарь» как-то застряли в роговской памяти.

— Зайдем к Губенко, — сказал он Силину, когда они вернулись в заводоуправление.

Партком находился в дальнем конце длинного коридора, и Рогова порадовало, что коридор пуст, никто не выскакивает покурить и женщины не обсуждают здесь последние моды.

Губенко был не один, сбоку от него сидел молодой человек с коротко остриженными светлыми волосами — оба встали, когда они вошли.

— Наш комсомол, — сказал Губенко, кивнув на парня. — Секретарь комитета Бешелев.

Бешелев восторженно смотрел на Рогова.

— Мы не стали отрывать вас от дел, — сказал Рогов, садясь. — Побродили по заводу, поговорили... Нет, нет, вы оставайтесь, — остановил он Бешелева. — Так вот, Афанасий Петрович, тут мне ваш директор написал целый трактат... Вы с ним знакомы?

Он протянул через стол записку Силина и ждал, пока Губенко ее прочитает.

— Не знаком, — сказал Губенко и тут же торопливо, пожалуй даже слишком торопливо, добавил: — Но здесь все то, что нам действительно требуется.

— Для меня, товарищ Силин и товарищ Губенко, в данном случае важен принцип. Значит, составляя служебную записку, директор завода не посоветовался с секретарем парткома?

Он глядел на Губенко, тот даже не кивнул.

— Вы же знаете, — сказал Силин, — у меня было слишком мало времени. Два выходных партком не работал.

— Но, сколько я понимаю, эта записка — не пожелания столу заказов в ближайшем гастрономе. Так вот, я эту записку не читал и читать пока не буду. Проведите ее на парткоме, пригласите главного инженера, начальников цехов и служб... Это не мой каприз и не формализм, поймите меня правильно. Я давно знаю Силина и знаю, что он любит требовать большего, а обком не добрая фея, которая все может.

Он знал, что Силин сейчас кипит. Ничего, голубчик, если тебя вовремя не остановить, ты и не такое заломил... Рогов помнил, как несколько лет назад по требованию Силина, тогда еще главного инженера завода, он, Рогов, помог получить шкодовские токарные станки, а кто-то из заводских головотяпов пустил их на шлифовку — и все, и конец был станкам. Для Силина — это он понял еще тогда — важно было *получить*.

— Не понимаю, Георгий Петрович, — сказал Силин, — что ж, директор завода не может сам решить эти вопросы?

— Я не буду приводить поговорку о количестве голов, что всегда лучше одной, Владимир Владимирович. Я только напомню вам, что партком — контролирующая организация, и в *таких* вопросах обходить его не стоит.

Ему показалось, что он сказал это с излишней, быть может, резкостью. Ладно, ничего, пусть поймет и это. И то, что резкость была допущена в присутствии Бешелева, конечно, директору не очень-то приятно. Тоже ничего! Пусть и этот парень учится уму-разуму.

Рогов задал Губенко еще несколько вопросов — отвечал на них секретарь парткома торопливо, но, в общем-то, дельно, правда поглядывая на Силина, будто ища если не поддержки, то хотя бы одобрения тому, что он говорил.

Все. Можно ехать в обком. Только надо будет остановиться по пути и почистить ботинки.

6. «ЗАУЭР — ТРИ КОЛЬЦА»

Домой Силин возвращался поздно. Года три назад он был в Англии и на одном заводе спросил у генерального директора, сколько тот работает. Ответ его удивил: двенадцать часов. Став директором, он работал по десять-одиннадцать часов и как-то сказал своему главному инженеру Заостровцеву: «Раньше столько работали рабочие, а сейчас начальство».

С завода он обычно возвращался вместе с Заостровцевым, и в машине оба больше молчали: сказывалась дневная усталость, да и не хотелось обсуждать при шофере заводские дела. Если разговор и заходил, то обычно о каких-то незначительных вещах: надо позвонить туда-то, договориться с тем-то.

Заостровцев жил с Силиным по одной лестнице, этажом ниже, но друг к другу они ходили редко. Кира считала, что это по одной причине: они и на заводе устают друг от друга. Но

была еще одна причина — Силин не выносил жену Заостровцева. Если Виталий Евгеньевич был человеком спокойным, деловым, точным — что Силин ценил в нем, — то Газна Николаевна оказалась просто вздорной, не очень-то умной и, как бывает с неумными людьми, властной женщиной. Заостровцева она держала, как говорится, в ежовых рукавицах. Больше того, как-то они собрались за столом у Силина, не то 8 Марта, не то 1 Мая. Газна Николаевна (это на этаж выше!) пришла в бальном платье, а потом заявила, что именно она сделала Заостровцева тем, кто он есть. Да, да, именно она! Шила, брала заказы, чтобы он, техник, учился, кончил институт, и она не боялась давать ему советы, она одна... Заостровцев слушал молча. Когда они ушли, Силин сказал о Газне Николаевне: «Чингисханша какая-то». С тех пор между собой они так и звали ее — Чингисханша. Силин не понимал, как вообще можно жить с такой женщиной.

Но в тот день, возвращаясь с завода, Силин изменил своему правилу — не говорить в машине о серьезных делах.

— И все-таки, Виталий Евгеньевич, меня больше всего беспокоит стенд в двадцать шестом. Рогов, когда был у нас, обещал нажать, кое-что Нечаев собирается сделать своими силами... Вы, конечно, понимаете, что будет, когда выйдет головной, а мы не сможем поставить его?

Заостровцев ответил не сразу.

— Я говорил с Нечаевым и не волнуюсь так, как вы.

— Нечаев успокоил? — усмехнулся Силин. — А я-то думал, что он может только раздражать.

— Он толковый инженер, Владимир Владимирович, вы же сами знаете.

— Мне нужен стенд, — сердито сказал Силин. — Через три месяца — и кровь из носу. Вы всегда были точным человеком, и я хочу, чтобы вы ответили мне точно: будет стенд или нет?

Заостровцев кивнул:

— Раз надо, значит, должен быть.

— Это не ответ, Виталий Евгеньевич. В конце концов, если все время требуют с меня и с меня, я буду требовать с других вдвое больше. А то как удобно у нас все получается: руководство коллективное, а ответственность — персональная.

Он замолчал, молчание было раздраженным. Но где-то в глубине души он все-таки верил в то, что стенд будет. Во всяком случае — должен быть. Немного утешало его то, что им удалось найти Нечаеву опытного заместителя по сборке и испытанию. Силин сам провел его в бокс, и ему понравилось, как маленький, тщедушный, остроносый Кашин аккуратно снял галстук, спрятал его в нагрудный карман и сказал: «Ну что ж, будем работать». А у него, у Кашина, сейчас всего три стендовика, и те вряд ли годятся на испытания, только на сборку...

Заостровцева, наверно, задела слова директора о том, что он будет требовать вдвойне: он молчал до самого дома и только в лифте, прощаясь, сказал свое обычное: «До завтра».

Силин открыл своим ключом дверь, в квартире было темно, Кира опять куда-то ушла. В последнее время — впрочем, наверно, не такое уж и последнее, года полтора, не меньше, — он даже облегченно вздыхал, приходя домой и не заставая жену. Он понимал, что это от накопившегося за многие годы раздражения, но не хотел дать себе труда понять, откуда оно. И сейчас его тоже раздражал халатик, брошенный на спинку кресла, и домашние туфли, оставленные посреди комнаты, — стало быть, куда-то спешила: к очередной подружке, которые появлялись у нее чуть ли не каждый месяц и каждая была «преlestью»; то ли к одному дальнему родственнику — кандидату филологических наук, там по вечерам иногда играли в карты, в «наполеон» или «ап энд даун» — «вверх-вниз»: вечер убит, а выигрыш или проигрыш копеечный; или ищет кому-то из сослуживцев очки или заграничную сумку — ей всегда нужно для кого-то что-то делать, что-то доставать, что-то устраивать.

Он неспешно переоделся, вымылся, есть не хотелось. Не хотелось включать телевизор. Это были первые, обычные минуты дома, когда хорошо просто вытянуться на диване и полежать немного закрыв глаза, отходя от дневных дел, неприятных разговоров и забот. Он умел как бы выключать себя в такие минуты — это умение было у него давно, еще с войны...

Каким ослепительным и жарким был июль того победного 1945-го! И еще — удивительное, никогда прежде не испытанное чувство свободы, счастья, и это было как в юношеском сне, когда снится, что летишь, летишь над землей — не человек, а человек-птица, и так это легко, так просто и радостно, что не хочется просыпаться. Двадцать три года, старший лейтенант, три боевых ордена, два пуляковых ранения — и вся-то жизнь еще впереди: домой, домой, домой! Его уговаривали остаться в армии. Венгрия, чудесное винишко в будапештских подвальных чиках, обеспеченная, в общем-то, и во многом уже бездумная жизнь, — он не согласился. Домой, домой, домой! В нем ожила забытая на войне тоска по книжке, по учению, по другой жизни, о которой он мечтал с детства. План был такой: заехать в родной город, посмотреть — и в Москву. Он получил все документы и пак на десять дней, сел в битком набитый поезд, и — прощай, Будапешт!

Было немного странно снова увидеть знакомый вокзал. Ему показалось, что и вокзал, и вокзальная площадь, и дома вокруг нее стали меньше за те годы, что его не было здесь. Он узнавал все, здесь ничего не изменилось. Но город показался ему каким-то серым и усталым.

С отощавшим вещмешком за спиной Силин шел по улицам, и чувство узнавания не покидало его. Подходя к мосту, он ускори́л шаг. Ему не терпелось увидеть Липки, и от нетерпенья защемило сердце. Последние кварталы он почти бежал. Выскочил к мосту и увидел то, что осталось от Липок.

На том берегу торчали трубы и обгоревшие, лишенные листьев, мертвые деревья стояли как старухи, раскинувшие руки перед трубами-обелисками. Редкие дома, уцелевшие от пожаров или бомбежек, словно сбились в кучу, будто стараясь быть вместе; над ними высилось трехэтажное кирпичное здание школы. Его школы. Он должен был сесть и посидеть немного. Отцовского дома тоже не было, это он увидел сразу.

За годы войны он повидал немало разрушений, немало пожарищ, даже, пожалуй, привык к этому обычному облику городов и сел, через которые довелось проходить. Но почти сгоревшие Липки поразили его. Почему-то в нем жила уверенность в том, что здесь все должно сохраниться — ведь немцы не дошли до города, их остановили километрах в ста. Ощущение радости, счастья, полета кончилось. Он сидел на чугунной тумбе и курил, и смотрел через реку на черные печные трубы — все, что осталось от его детства, — и вдруг подумал, что во все незачем идти через мост, а надо вернуться на вокзал, закомпостировать литер до Москвы и уехать насовсем.

Все-таки он справился с минутной слабостью. Нужно было заставить себя перешагнуть через эту внезапную тоску, особенно острою потому, что она пришла после безудержного чувства счастья. Он снова закинул за спину вещмешок и ступил на мост. На мосту стояли мальчишки и, перегибаясь через перила, ловили рыбу. В бидончиках плескались окушки. Тут же инвалид на костылях продавал папиросы «Богатырь» по рублю за пару.

Школа показалась ему маленькой. Он не стал заходить туда — зачем? Там было пусто, да, наверно, и дверь заперта... Он обогнул ее и увидел учительский флигель. Во дворе пожилая женщина развешивала белье, он подошел к ней сзади:

— Скажите, пожалуйста...

Женщина обернулась — это была Анна Петровна.

— Господи, — тихо сказала она, — Володенька!

Она плакала, уткнувшись ему в грудь, а он гладил ее сильно поседевшие волосы, и у самого в горле почему-то стало сухо. Он никогда не думал, что может так раскислиться. Эта седая, постаревшая женщина вернула ему то, к чему он шел, — встречу с детством.

В маленькой квартире, куда он вошел за ней, все было по-прежнему, годы ничего не изменили здесь. Та же мебель, те же картины, те же полки с книгами, те же часы с крылатоногим Меркурием. Он оглядывался, еще боясь спросить, и увидел то, что ему надо было увидеть: чертежная доска стояла возле окна, она могла принадлежать только Кире.

— А где Кира?
— В институте, скоро придет. Тебе надо помыться с дорожкой? Я сейчас чайник поставлю. Может, сначала чаю?
— С клубничным вареньем, — сказал он.
— Нету варенья, Володенька, — грустно улыбнулась Анна Петровна. — А ты, оказывается, помнишь...
— Помню, — кивнул он. — Значит, Кира учится?
— Кончает институт.
— А про моего отца вы что-нибудь знаете? — тихо спросил Силин.

Анна Петровна, вздрогнув, поглядела на него как бы сбоку.
— Ты не получил моего письма? — спросила она. — Еще тогда, в сорок первом...

Нет, качнул он головой, он не получал никаких писем. Мрачно он выслушал ее рассказ о том, что произошло с отцом и как Колька сидел вот здесь, а она писала в Москву, и Колька побежал на почту отправить письмо заказным, обязательно заказным, чтобы дошло наверняка. А оно, выходит, так и не дошло...

— А где Колька?

Анна Петровна обрадовалась, словно этот вопрос дал ей возможность перейти от печальных воспоминаний к хорошему. Да здесь Колька! Работает на заводе, — всю войну проработал! — живет в городе у одного знакомого, иногда забегает, особенно если ему удастся раздобыть что-нибудь: консервы какие-нибудь или конфеты. Она-то ругает его всякий раз за эти приношения, но такой уж он есть — Колька. Всю войну понемножку, но помогал. Он ведь на казарменном положении был, без выходных, так что вырывался в неделю часа на два, на три. Посидит, поест чего-нибудь и уснет вот здесь, в кресле.

— У меня есть его адрес. Сейчас поищу.

Она начала рыться в ящике стола.

— А Роговы как?

— Плохо, — сказала она, не оборачиваясь. — Отец погиб еще в сорок первом... У нас налет был, это уже в сорок втором... Ты бы видел, как Липки горели! Я и поседела в ту ночь. Вот тогда вся семья и погибла, кроме Георгия — он ведь тоже на заводе работал.

— Значит, Гошка жив?

— Жив, да без руки. У него левую руку оторвало... Тоже забегает иногда. Секретарь горкома комсомола. Вот Колин адрес. А чайник-то так и забыла поставить!

— Не надо, Анна Петровна, — сказал он, поднимаясь. — Я пойду.

— Куда? — испугалась она.

— Повидаю Кольку, Георгия, загляну еще к вам — и в Москву. Надо начинать жить снова, и снова на пустом месте.

— Глупости, — строго сказала она, словно становясь пре-

жней учительницей. — Ты домой вернулся, а не на пустое место.

— Домой! — усмехнулся он, кивнув за окно.

— Дом — это не только крыша над головой, Володя, — все так же строго перебила его Анна Петровна. — Это близкие люди. В Москве у тебя никого, а здесь Колька, Георгий, мы с Кирой — уже четверо. Я не понимала тебя тогда, когда ты уехал... Если ты уедешь сейчас, после всего того, что было... Знаешь, нам — всем четверым — оказалось, наверно, легче потому, что мы все-таки были вместе. Иначе могли бы и не выжить.

В это время вошла Кира.

Она вошла так тихо, что он не услышал ее шагов, и, только почувствовав присутствие третьего человека, обернулся. Кира стояла в дверях. Силин увидел, как она начала бледнеть, шагнул к ней и протянул руки, Кира так и повалилась на них. Он целовал ее, не стесняясь Анны Петровны, она не отвечала, будто не веря, что все это явь.

— Ну, — шутливо потряс ее за плечи Силин. — Чего же ты молчишь? Здравствуй.

— Здравствуй, — шепотом сказала она, медленно отстраняясь от Силина. — Это удивительно...

— Что удивительно?

— То, что я шла и думала о тебе, а ты уже здесь.

Потом они жадно разглядывали друг друга. Кира похорошела, у нее были пышные пепельные волосы, по-прежнему спокойное, доброе лицо смягчилось еще больше, но это уже было лицо взрослого человека, взрослой девушки. Незаметно для нее он охватил взглядом ее фигурку, ноги — стройные, высокие, с круглыми коленями, выглядывающими из-под коротенькой юбки. Та — и не та совсем. Анна Петровна все-таки пошла ставить чайник, они остались вдвоем.

— Господи, — сказала Кира, — какой ты огромный стал!

Она провела рукой по его груди, по орденам и медалям, потом рука скользнула вверх, ладонью она тронула его щеку — он вздрогнул, таким ласковым, таким нежным оказалось это прикосновение.

— Ты очень устал, наверно?

— Ничего, — сказал он. — Восемь дней ехал, отоспался, как сурок зимой.

— Я не о том. Вообще...

— Все мы вообще немного устали.

— Немного? — улыбнулась она. — Это, наверно, только я немного.

— Почему только ты?

— Все-таки дома и за маминой спиной...

Он подумал: как хорошо она говорит об этом, не скрывая правды. Конечно, ей было куда легче. Всю войну проучилась в институте. Ну, голодно было, наверно, так через это прошли все. И то, что она всю войну была здесь, ходила в ин-

ститут, стояла в очередях, а он два с половиной года воевал, обрело для Силина свой, особый смысл. Она была не только за маминой спиной, но и за его тоже.

— Ерунда, — тряхнул он головой. — Сейчас вся жизнь должна пойти иначе. Мне кажется, я горы готов свернуть.

Тут же он осекся. Ему показалось — расхвастался, хотя очень, очень приятно было стоять перед Кирой со всеми своими тремя орденами и пятью медалями.

— Ну а ты-то как? Замуж не собираешься?

Она вспыхнула, он заметил это: ага, стало быть, почти угадал, что-то такое есть. Пылающая от смущения, Кира была особенно хороша. За последние годы ему редко удавалось видеть красивых и нормально одетых женщин. У него были другие женщины. Год он прожил с телефонисткой штаба полка, она погибла в Молдавии. Потом несколько случайных, мимолетных связей, не оставивших в нем ни радости, ни хотя бы приятных воспоминаний. Но, пожалуй, впервые за все эти годы он разговаривал с красивой девушкой, и ему стало грустно, что он угадал или почти угадал что-то такое, что было или есть у нее.

— Кто же он, твой принц? — не унимался Силин. Он пытался шутить, потому что шутка как бы приглушала эту грусть или, вернее, досаду, а может быть, и то и другое вместе.

— Не надо, Володя, — тихо и серьезно сказала Кира.

— Неприятные воспоминания? Разбитое сердце?

— Я прошу тебя...

— Ну, хорошо, — сказал Силин. — Не надо — так не надо. А в общем, все правильно. Я в тебя тоже, наверно, влюбился бы с ходу.

Он не замечал, что Анны Петровны долго нет.

— Ну и влюбись, — сказала Кира, поднимая глаза. Ее взгляд был спокоен.

Неожиданно Силин растерялся. Кира словно *просила* его об этом!

— Времени нет, — усмехнулся он, чтобы скрыть за шуткой эту непонятную растерянность. — Я же сюда просто так заехал, посмотреть, а потом снова в Москву...

Она не ответила, только отвела глаза. Силину показалось, что девушка, сидящая перед ним, ничуть не огорчилась от этого известия, ничуть не расстроилась — ну и хорошо! У нее, конечно, своя жизнь, в которую он не вхож, у него — своя.

Анна Петровна наконец-то принесла чайник, достала чистое полотенце, и он мылся на кухне под рукомойником с железной, грохочущей и протекающей пипочкой, и вдруг подумал, что тут некому починить этот рукомойник, а всего-то и дела — поставить резиновую прокладку.

У Анны Петровны была бутылка водки — он отказался выпить.

— А я выпью,— сказала Кира, беря бутылку.— Давай, мама, выпьем за него!

— Да у тебя даже маникюр! — сказал Силин, глядя на ее руки.

Кира налила водку в две стопки и подняла свою. Казалось, она не расслышала про маникюр. Она была где-то далеко-далеко отсюда, где-то в самой себе и слушала только себя.

— Я хочу, чтобы ты был очень счастливым,— сказала Кира.— Не просто потому, что ты заслужил это право, а потому, что все люди должны быть счастливы, и ты в том числе.

Она выпила водку и закашлялась, закрывая рот рукой, а потом торопливо начала есть. Силин улыбнулся: совсем не умеет пить, а туда же!

— Ну что ж, попробую быть счастливым,— сказал он.— А ты ешь, ешь, не то начнешь буйнить. Ты какая во хмелю?

— Плаксивая,— сказала Кира.— Когда по радио передали о победе, я выпила две рюмки и целый день ревела. Мама, впрочем, тоже.

Силин кивнул. Женщины — что! Он видел, как мужчины плакали в этот день.

Вдруг он поймал себя на том, что ему не хочется уходить отсюда. Ему было спокойно и хорошо здесь, за накрытым столом, за чистой скатертью, рядом с красивой Киной и какой-то удивительно уютной, доброй Анной Петровной, но все-таки надо было идти.

— Тебя проводить? — спросила Кира.

— Не надо,— сказал он.— Я еще вернусь. Если сегодня поезда нет, переночую у Кольки или Рогова, тогда забегу завтра.

— Все-таки решил ехать? — грустно сказала Анна Петровна.— Жаль. Значит, не убедила я тебя.

— Не убедили,— улыбнулся Силин.— Вот у меня в роте старшина был — так он кого хочешь мог уговорить. В госпиталь попадал — каждый день спирт пил: уговаривал сестричек... У него даже шутка такая была: «Попаду я после смерти в ад, это уж точно. А все равно товарища Вельзевула уговорю меня наверх отправить».

Кира еле заметно улыбалась — эта была улыбка скорее по обязанности, чем от рассказа о пройдошном старшине, однако она не сказала ничего о его желании непременно уехать в Москву, как бы внутренне соглашаясь с этим желанием. И снова Силин подумал, что ей, наверно, все равно, уедет он или останется.

— Так я пошел,— сказал он, поднимаясь.

Анна Петровна поднялась следом.

— Ночевать ты будешь у нас, Володя,— сказала она.— Мы будем ждать тебя вечером.

Это было сказано так, что он понял: не надо спорить или возражать, иначе можно просто обидеть Анну Петровну.
— Спасибо, — сказал он.

Он никуда не уехал. Рогов был похож на того старшину и сумел уговорить его. Или сама встреча с ним — в горьком комсомола, на лестнице — была такой, что все, все вернулось, и ему подумалось: а на самом-то деле, куда это я? К кому это я?

Рогов спускался по лестнице, и Силин узнал его не сразу: сначала увидел пустой рукав, засунутый в карман пиджака, и только потом взгляделся в лицо.

— Можно вас, товарищ?

— Можно. Вы по какому вопросу?

— По вопросу борьбы с бюрократами, — сказал Силин. — Мы там, на фронте, кровь проливали, а здесь только и слышишь: «Вы по какому вопросу?»

Рогов удивленно поглядел на Силина, и наконец-то в его голове что-то сработало. Он сунул руку в карман и вытащил пачку папирос, тряхнул ее, одна папироска выскочила, он закурил мундштук зубами и вытащил из пачки.

— Это хорошо, что ты треплешься, — сказал он. — Значит, живой.

— Живой, как видишь.

— Обнимемся?

— Обнимемся.

Они коротко обнялись и отстранились друг от друга, словно устыдившись этого сантимента.

— Царапаный?

— Есть малость. А про тебя я уже все знаю, Гошка.

— Был у Анны Петровны?

— Да.

— Идем, — сказал Рогов. — Посидим у меня. Спички есть?

— Есть.

— А у меня кончились. Дай огоньку.

Разговор о Москве был уже потом, в уютном кабинете Рогова, где стояли старые стулья, заваленный бумагами стол да портрет Сталина над столом — вот и все, что было здесь. Услышав о Москве, Рогов встал и начал ходить, сдвигая стулья к стене. Должно быть, у него только что было какое-то совещание, и все ушли, оставив стулья как попало.

— Ты член партии?

— Уже год.

— Это стаж! — сказал Рогов. — Но я хочу знать, какой ты большевик — настоящий или скороспелый? Мы тут задыхаемся, понимаешь? Наш механический прекратил выпуск военного оборудования, пришли заказы на воздуходувки для шахт, нагнетатели... Ребята возвращаются и, конечно, на предприя-

тия — куда ж еще? На механическом нет комсорга ЦК, молодежь без глаза, без организатора. Ты ехал — видел, сколько надо строить? Ты вот о себе подумал — а о стране?

— Я о ней два с половиной года на фронте думал.

— И хватит, да? Чего ты молчишь?

— Думаю, когда ты жрал в последний раз. От тебя остались кожа да кости.

— Если уж тебе так меня жалко — помоги. Правда, обещаю, что и от тебя тоже скоро останутся кожа да кости.

— Так плохо? — спросил Силин.

— Трудно, — кивнул Рогов. — Кто сейчас на заводе работает? В основном женщины, а им пора другими делами заниматься... А приходит кто? Либо пацаны, которые подросли за войну, либо демобилизованные, которые станок в глаза не видели. Колька у нас уже в корифеях ходит, трех учеников взял, а сам моложе их лет на шесть или семь... Поубавилось-то у нас рабочего класса, все сызнова начинать надо.

Наконец он расставил по местам все стулья, но это его не успокоило. Он снова закурил и затягивался быстро, жадно, комкая мундштук папиросы. Вдруг он с яростью грохнул кулаком по столу.

— Война, будь она проклята!.. Люди приезжают — жить негде, снабжение, сам догадываешься, какое... По мясным талонам — американский яичный порошок. Осенью хоть на огородах чего-нибудь поспеет. Буханка хлеба на рынке — двести рублей, отдай и не грехи. Я тут прихожу к Анне Петровне, она чуть не в слезах: купила у какого-то пиджачка банку тушенки, открыла, а там мокрый песок. Вот так и живем. В Москве, говорят, легче — столица все-таки.

Искоса он поглядел на Силина.

— Да-а, — протянул Силин. — Пейзажик ты нарисовал, прямо скажем... Значит, в Москве легче?

Рогов не ответил. Тогда Силин засмеялся, откинувшись на спинку стула и раскачивая его. Ну, насобачился, секретарь, ну, научился! Пламенный трибун! Черт с тобой, давай звони куда следует, говори с кем положено, что на тебя свалился говенький комсорг ЦК. Утверждаться-то все равно придется в Москве, в ЦК комсомола, так что съезжу...

Рогов, казалось, даже не обрадовался. Словно он заранее знал, что именно так и должно быть. Он снял трубку, прижал ее плечом к уху и набрал номер. Силин не знал, кому он звонит и кто такой Игорь Иванович. «Сегодня в двадцать два?» — переспросил Игоря Ивановича Рогов и, положив трубку, устало провел ладонью по лицу.

— Сегодня в двадцать два к секретарю горкома партии, — сказал он.

— Скор же ты, — снова засмеялся Силин.

— Иначе нельзя, брат, — все так же устало сказал Ро-

гов. — У нас теперь каждый час на счету. — Он помолчал и вдруг спросил, не глядя на Силина: — У тебя есть деньги?

— Хватает.

— Угостил бы старого друга ради встречи, что ли? У нас тут коммерческий ресторан открыли. Дорого, но зато без карточек. А я, понимаешь, совсем на мели.

Они сидели в ресторане, самом настоящем — с волосатыми пальмами в кадках и медвежьим чучелом у входа. До войны здесь тоже был ресторан, только тогда по вечерам на улице дежурили милиционеры на мотоциклах с колясками — на случай каких-нибудь пьяных происшествий. Теперь здесь было малолюдно и тихо. Официантка принесла листок бумажки, сверху от руки крупными буквами с завитушками было написано: «Меню», остальное тоже было написано от руки: бутерброды с колбасой, с сыром, с селедкой и яйцами, щи мясные, котлеты с макаронами, окунь жареный... Была в меню и водка, было и вино — портвейн, кагор и мадера — ни больше, ни меньше — мадера, и снова Силин вспомнил своего старшину. Откуда-то (это было уже в Венгрии) он раздобыл несколько бутылок мадеры и попался Силину под сильным хмельком. Силин устроил ему выволочку, старшина слушал, молчал, а потом, тоскливо глядя в сторону, сказал: «Зря вы так, товарищ старший лейтенант. Мне доктор велел именно мадеру пить».

И Силин вдруг подумал, что, сколько бы ни проходило лет, он всегда будет вспоминать войну и людей, с которыми она его свела, живых или погибших, плохих или хороших, злых или добрых — всяких. Там, в поезде, он думал, что война ушла от него навсегда. Она-то ушла, а вот он уже никуда не денется от нее.

Он заказал бутерброды, щи, котлеты и пиво.

— Где это тебя? — спросил он Рогова, кивнув на пустой рукав. — Ты на каком был?

— Ни на каком, — ответил Рогов.

— погоди, — сказал Силин, — мне Анна Петровна говорила...

— Я не успел доехать, — поморщился Рогов. — Немцы налетели на эшелон, мы побежали... Когда меня стукнуло, я даже не сообразил, что ранен. Понимаешь, рядом люди корчились, я к ним... А один парень лежит и смеется. Я подумал — чокнулся со страха, а он смеется: «Отвоевался, отвоевался, теперь жить буду!» Больше ничего не помню. Очнулся уже в госпитале и без руки...

— А потом что?

Официантка принесла бутерброды и пиво, и Рогов ждал, пока она расставит все это на столе и уйдет, — очевидно, ему не хотелось говорить при ней.

— А что потом? Выписался, жить негде, пошел к Анне Петровне... Потом обратно, на завод, канцелярской крысой — учетчиком. Правая-то рука осталась, так что бумажки подписывать мог.

Значит, он жил у Анны Петровны? И, может быть... Силин не додумал. Не надо было думать об этом.

— Сейчас третий курс свалил, — продолжал Рогов. — Трудно, конечно, времени в обрез... Кирка помогает, конечно. И тебе поможет, если пойдешь в нашу техноложку.

Вон как — Кирка! И снова он отогнал неприятную мысль.

— Ты ешь, — сказал Силин. — Меня-то Анна Петровна недавно кормила, так что сыт. А сейчас где живешь?

— Комнату дали, — сказал, прожевывая бутерброд, Рогов. — Зайдешь — увидишь.

— Мне еще Кольку повидать надо.

Рогов кивнул. Он ел не жадно, но было видно — голоден здорово, и живется ему, конечно, туго, очень туго. Силин подумал, что они оба выглядят куда старше своих лет. Во всяком случае — Рогов. У него уже была седина на висках. Это в двадцать-то три!

— Если б ты знал, какой он, Колька, — сказал наконец Рогов.

Но Силин не слушал его. Он не смог побороть самого себя. Два человека как бы стояли сейчас рядом в его сознании: Рогов и Кира.

— Слушай, — сказал он Рогову. — А Кирка-то какая стала, а?

Он напрягся, ожидая, что ответит Рогов. Он даже мысленно поторашивал его: да глотай ты скорее свою колбасу!

Рогов хлебнул пива, он не спешил с ответом, и это еще больше укрепляло Силина в правильности своего предположения.

— По-моему, она всегда была такая.

— Ты говоришь так, потому что часто видишь ее. Я не видел ее шесть лет, и мне перемены заметней.

— Тебе, конечно, заметней.

Ответы были уклончивыми. Тогда Силин, сделав равнодушное лицо, спросил напрямик, впрочем тоже с наигранным равнодушием и как бы невзначай:

— Часом, ты с ней...

— А ты, часом, не дурак? — перебил его Рогов, резко отодвигая пивную кружку.

— Почему же? Что здесь плохого? Мне показалось, у нее кто-то есть.

— Есть, — сказал Рогов.

— Кто, если не секрет?

— Дурак, — уже уверенно сказал Рогов. — Какой тут секрет? Ты — вот кто! Все эти годы — ты! И она тоже дура набитая: ждать, верить, что ты вернешься, а ты вернулся и, как чехов-

ские сестрички: в Москву, в Москву, в Москву! — Он говорил уже с яростью. — Она измучила меня, понимаешь? Она заставляет меня узнавать, куда надо писать, где искать тебя. За полсотни писем в разные места, вплоть до наркомата, я ручаюсь. А ты, конечно, приехал таким гусаром — еще бы!

Силин сидел оглушенный. Так было, когда поблизости разрывались снаряды, и глухота проходила медленно; обычные земные звуки прорывались в него с трудом. Свою кружку пива он выпил залпом, и все равно во рту было сухо. То, что еще говорил Рогов, было уже неважно.

— Я сначала молчал, — говорил Рогов. — Понимаешь, это было... ну черт знает как это было, что она тебя так ждала. А потом спохватился. Погибнет же человек! Кого любит, кого ждет? Призрака? Я не виноват перед тобой, что начал ее уговаривать... Нет, не думай, я не о себе заботился — о ней. Короче, начал уговаривать не ждатель. Осуждаешь?

— Нет, — тихо ответил Силин.

— Правильно, — кивнул Рогов. — И в конце концов уговорил.

— Как это уговорил?

— В нее, понимаешь, втрескался один доцент из института. Немолодой, за тридцать, вдовец, с лысинкой уже... Месяц назад Кирка прибегает ко мне сюда, в горком, — что делать, он ей руку, и сердце, и официальное предложение. А что я могу ответить?

— Что же ты ответил? — все еще играя равнодушного, спросил Силин.

— Пошел ты к черту! — сказал Рогов. — Что я ей ответил? Чтобы выходила замуж и рожала доцентиков, вот что.

Силин провел ладонями по лицу, раз, другой, третий. Ему надо было помолчать и подумать обо всем. «Ну и влюбись», — сказала Кира. Даже не сказала, а попросила об этом. Теперь-то он был уверен, что это было именно так. Рогов не мог ему врать. Это было бы просто чудовищной ложью, но все, что он только что сказал, никак не походило и на правду, кроме того что у нее есть лысенький доцент, уже предложивший руку и сердце.

Обед был доеден. Официантка, каким-то чутьем угадав, кто будет платить, положила перед Силиным счет: 184 рубля. Он протянул ей две сотни, официантка сунула их в карманчик передника и кокетливо улыбнулась: «Заходите еще».

— Мы еще успеем к Кольке, — сказал Рогов, вынимая большие часы.

— Завтра, — ответил Силин.

В нем все кипело. Если б не надо было идти к секретарю горкома партии, он бы сразу побежал туда, в школьный флигель. Кольку он успеет повидать завтра. Нет, Рогов не может врать. Не подлец же он! Больше всего на свете ему хотелось сейчас увидеть Киру. Сказать, что он никуда не поедет, оста-

нется здесь, и посмотреть, как она отнесется к этому. Тогда все встанет на свои места. «А может быть, ты спешишь? — спросил его какой-то осторожный, другой Силин. — Ну, красивая, ну, тебе там хорошо.... А может быть, тебе хорошо потому, что много лет ты просто не видел нормального дома? В Москве — общежитие техникума, Саратов — школа младших лейтенантов, казарма, потом землянки, случайные ночлеги в пустых домах, смерть рядом сто раз на дню...» «За полсотни писем в разные места, вплоть до наркомата, я ручаюсь», — снова повторил *тому* Силину Рогов.

— Сейчас мы пойдем к Кольке, — упрямо ответил Рогов. — Нельзя обижать такого парня — понимаешь? Это здесь, недалеко. Ты слышишь?

— Слышу, — отозвался Силин. — После всего того, что ты мне сказал...

— Нет, — усмехнулся Рогов. — Ты действительно дурак. И этого дурака я потащу в горком: пожалуйста, ставьте на руководящую работу!

Силин открыл глаза. Над диваном, над ним висел ковер, большой, пестрый, — Кира купила его, выстояв почти годовую очередь, бегала отмечаться каждые три месяца. На ковре, в свой черед, висели ружье и патронташ. Ружье было отличное — «зауэр — три кольца», и он точно помнил, когда оно оказалось у него: 6 августа того же сорок пятого года...

Поездка в Москву не состоялась — просто в ней не было надобности. Документы ушли в ЦК комсомола на утверждение, и у Силина оказалось достаточно времени, чтобы не спеша познакомиться с заводом. То, что он увидел, поначалу породило в нем уныние и мысль — не надо было соглашаться! Потом ее сменило почти озорное упрямство: ерунда, не то делал, и это сделаем! Надо было восстанавливать три разрушенных цеха; парторг ЦК на заводе объяснил Силину его главную задачу — поднять, воодушевить молодежь на трудовые свершения, и добавил, что тебе, парень, не привыкать — небось сколько раз поднимал своих солдат в атаку, так вот сейчас здесь то же самое, что и на войне, с той лишь разницей, что здесь никого не убивают. «Ты меня понял? Покруче, покруче бери, не бойся. Время такое, что распускаться никому нельзя». А ему самому как раз очень хотелось распуститься: все-таки здорово чувствовалась усталость.

Жить у Анны Петровны он отказался наотрез. Снял комнату рядом с заводом, хозяева попались привередливые и условия поставили такие: уходить, как положено, утром, возвращаться не позже десяти, иначе просто не впустят. К себе никого не приглашать, это уж само собой. Он часто задерживался на заводе после десяти, и тогда приходилось ночевать либо в комитете комсомола на протертом кожаном диванчике, либо

шагать к Рогову. В школьном флигельке он появлялся редко. Ему надо было выждать. Кира ничем не выдавала себя, — возможно, она уже смирилась с мыслью, что выйдет за доцента, зачем же в таком случае вламываться в чужую жизнь? Да и второй, очень острый голос говорил Силину: не спеши. Что за мальчишество: увидел красивую девчонку и обалдел. Это от радости жизни, от радости возвращения, когда все трын-трава.

В начале августа в городе начали продавать грибы. Их продавали возле магазинов, разложив кучками на расстеленных газетах, — белые, подосиновики, подберезовики с черными, плотными шляпками — здесь их звали обабками. У Силина защемило сердце, когда он увидел эти грибы. Он не ходил в лес с детства. Те леса, которые он видел последние годы, были наполнены не грибами, а табличками, оставленными саперами: «Минь». К черту, решил он. В первый же выходной поеду за грибами. Он зашел в отдел главного механика — там уже несколько дней работала Кира, — вызвал ее в коридор и предложил смотаться в Громыхаловский лес.

— У тебя найдется лишняя корзинка?

— Конечно, найдется.

— Тогда с утра на вокзале.

Он подумал: обрадовалась Кира или не обрадовалась, что завтра они поедут в лес? Она была спокойна, вот и все.

В тот утренний час в вагоне было немного народу. Ехали в основном грибники да ягодники. Напротив Киры и Силина сел пожилой мужчина в гимнастерке со споротыми погонами и тремя желтыми нашивками за ранения. Свое ружье он повесил на крюк, вещмешок закинул на полку и вышел покурить в тамбур. Силин тоже достал папиросы.

— Ты посиди, я сейчас.

Он стоял в тамбуре. Пригородный поезд тащился медленно, он прикинул — до Громыхалова придется ехать минут сорок, не меньше.

— Где воевал, парень?

— На Третьем Украинском.

— Нет, — качнул головой тот. — Я на Втором Белорусском. Солдат?

— Старший лейтенант.

— Ого! — сказал тот. — Скажи на милость! А я вот до сорока дожил, и всего-навсего сержант.

— Бывает, — хмыкнул Силин.

— А ты уже семьей успел обзавестись? — кивнул на дверь вагона сержант. — Красивая у тебя жена.

Силин не ответил — пусть думает, что жена. Ему было даже приятно, что он так думает. Сержант оказался человеком разговорчивым. Еще до того, как они вернулись, Силин узнал, что семьи у него нет — погибла, и что устроился сержант на торговую базу, потому как у базы есть жилье, и что его уже обхаживают.

вают две бабенки — одна кладовщица и одна бухгалтерша, обе вдовье — так ведь это понятно...

— Конечно, понятно, — сказал Силин. — Только ты не спеши с этим делом, сержант.

— Ишь ты, молодой, да рассудочный! — сказал сержант. — Да тебе-то что, тебе сейчас все просто...

Он сказал это с такой тоской, что Силину показалось — вот-вот заплачет человек. Истосковался, извелся, измучился одиночеством — сейчас сотни тысяч таких, не меньше. Они вернулись в вагон, и неожиданно для себя Силин спросил у Киры, как, должно быть, положено спрашивать молодому мужу:

— Соскучилась или не успела?

— Успела, — сказала Кира. — Даже ружье разглядела. Очень красивое.

— Трофей, — усмехнулся сержант. — Я-то и до войны охотился, тулка у меня была, двенадцатый калибр. А это на брошенной усадьбе нашел. Немного тяжеловато, но зато — красота!

Они поговорили о трофеях («Как же ты, старшой, без трофеев приехал?»); об охоте («Я был в заповеднике, где Геринг охотился, — ну, богатство, доложу я вам!»); о погоде («В России любая погода своя, а там в дождь зубы начинают болеть») — и поезд пришел в Громыхалово.

— Ни пуха ни пера, — сказала Кира сержанту. — Кажется, так положено?

Они пошли в другую сторону и через минуту уже забыли о своем попутчике. Впрочем, Силин, косясь на девушку, идущую рядом, подумал: «Жена?.. Как странно... А ведь тебе хочется, чтобы она была твоей женой».

Находя гриб, Кира вскрикивала. Грибов было много. В тот год их было навалом, и старухи на рынке качали головами: война кончилась, а эта примета уж непременно к войне, господи, спаси и помилуй.

Они одновременно увидели целое семейство белых, но ни Силин, ни Кира не бросились снимать грибы. Они смотрели друг на друга. Казалось, Кира чего-то ждала. Где-то далеко подряд, дулетом, хлопнули выстрелы, и Силин опомнился первым.

— Сержант шурует, — сказал он. — Бери, твоя находка.

Кира не двинулась. Они стояли друг против друга, и Силин почувствовал, что сейчас что-то должно произойти.

— Ты позвал меня в лес за грибами? — спокойно спросила Кира.

— Да, разумеется. Отличная будет жареха. И посушить можно.

— Не надо, Володя, — сказала Кира. — Ты же все прекрасно знаешь... Знаешь ведь? Зачем же тогда все так...

...Лес и девушка в лесу. Ее лицо почти рядом. И снова ощущение, как во сне, когда летишь и чуть кружится голова.

И еще — тишина, и пахнет прелым листом, хвоей, грибной плесенью — полузабытыми запахами детства, такими спокойными, что даже не верится, что они сохранились после такой войны. Но это ощущение продолжалось недолго; Силин смахнул с себя его колдовство. Будь что будет. Он мужик, а не тряпка. К чертовой матери лысенького доцента. Про Кирку — все правда; он видел, как она напряжена сейчас, и надо быть идиотом, чтобы искать в жизни что-то другое. Иначе будешь таким же одиноким, как этот сержант. Она тебя любит, какого же еще рожна... Силин протянул руку, и Кира положила на нее свою.

...Ее лицо почти рядом, тревожное и счастливое, и глаза закрыты. Потом они медленно, очень медленно открываются. В них можно утонуть. У нее мягкие губы, когда она легко дотрагивается до его губ.

— Ну вот и все, — говорит она.

Силин долго смотрит в небо, пробивающееся через желтеющую листву. Чувство покоя так сильно, что он невольно, по старому, выработанному годами недоверию к покою, прислушивается к лесной тишине.

— Ничего не все, Кирка. Это только самое начало, глупенькая.

И снова она касается его губами, и вдруг плачет, плачет — так неожиданно, так счастливо плачет, уткнув лицо ему в грудь, в старую гимнастерку, и охватывая его руками...

На станцию они вернулись уже к вечернему поезду. Еще издали Силин увидел сержанта, тот сидел согнувшись на обломке кирпичной стены, курил и глядел себе под ноги. Когда Силин окликнул его, сержант поднял голову.

— А, это ты, старшой! Я думал, вы уже давно уехали.

— Как успехи? — спросил Силин. Он кивнул на вещмешок. — Не продашь утятинки? Я слышал — ты два раза стрелял.

У сержанта было измученное лицо.

— По радио передавали — американцы на Японию какую-то атомную бомбу сбросили, — сказал он, показав пальцем на репродуктор, висящий на полуразрушенном здании станции.

— Ну и пусть, — сказал Силин. — Так как насчет утятинки, сержант?

— Нету утятин, старшой. На вот, возьми себе. Просто так.

Он взял ружье и протянул Силину.

— Да ты что, сержант?

— Возьми, старшой, — тихо сказал сержант. — Я по пустой консервной банке палил. Не могу я больше убивать...

Он сунул ему в руки свой «зауэр» и, закинув мешок за спи-

ну, ушел. Так, с ружьем и двумя корзинами, Силин и пришел в школьный флигелек.

Анна Петровна была дома и что-то шила, придвинув лампу. Кира вошла первой, и Анна Петровна, отложив шитье, потянулась к корзинам: ну, как у вас, какой улов? Кира остановила ее. Она взяла мать за плечи и повернула ее к Силину.

— Это мой муж, мама.

— Да, да, — сказала Анна Петровна, часто-часто кивая. — Да, да, конечно...

— Все будет хорошо, мама.

— Да, да, конечно, все будет хорошо... Вы, наверное, устали, я сейчас...

Она заметалась по комнате, хватая то ненужное ей шитье, то поправляя скатерть на столе, и вдруг кинулась к Силину. Маленькая, седая, она обняла его и, заглядывая снизу вверх в глаза, сбивчиво заговорила:

— Мальчик мой... Родной мой... Только будьте счастливы, слышишь? Только будьте счастливы...

Сейчас ее уже не было. Она умерла пять лет назад от инфаркта. За день до ее смерти Силин пришел в больницу, и она попросила Киру выйти. Силин сидел рядом с Анной Петровной, держа ее сухую руку в своей, и пытался не давать ей говорить, шутил, что после ее выздоровления они еще топнут ножкой как следует, но Анна Петровна даже не улыбалась его шуткам.

— Погоди, — сказала она. — Я не собираюсь умирать, но все может быть, Володя. Я хочу просить тебя только об одном — никогда не суди Киру строго. Она хороший, добрый человек, но разве она виновата, что я не давала ей ничего делать? Виновата я... — Ей трудно было говорить так много сразу. — Всю жизнь за моей, а потом и за твоей спиной... Я же знаю, вижу, что ты иногда бываешь недоволен Кирой... Ну да, разбросанная, несобранная, неумейка... Ты обещаешь мне не сердиться на нее?

— О чем вы говорите, Анна Петровна!

— Когда была я... — сказала она, и Силину стало страшно, что человек говорит о себе — «была». — Когда была я, все было иначе... Теперь вы останетесь вдвоем, и...

Она не могла больше говорить.

Назавтра она скончалась.

И вот тогда Силин действительно почувствовал, что, оставшись с женой вдвоем, он словно бы вступает в другую, более сложную и напряженную жизнь, чем была до сих пор, и что дом держался на Анне Петровне, и что сорокапятилетней женщине трудно, очень трудно учиться делать то, что так хорошо умела делать Анна Петровна...

Он услышал шорох ключа в двери, но не поднялся. Он лежал и слушал, как Кира снимает туфли, вешает плащ, потом что-то стукнуло — это она, наверно, положила на тумбочку сумку с продуктами. Сейчас она войдет сюда, ее домашние туфли здесь. Ему не хотелось вставать и нести эти туфли в прихожую.

— Ты не спишь? — спросила, входя, Кира. Он поглядел на нее даже с каким-то любопытством. Было невозможно сравнить ту Киру, которую он вспоминал только что, с этой сильно располневшей, в очках, которые, впрочем, очень шли ей, и с аккуратной парикмахерской прической вместо той, прежней пепельной копны. — А я была у Коли, просидели весь вечер. Алешка совсем не похож на себя, верно?

Он смотрел, как Кира движется по комнате, надевает туфли, начинает расстегивать кофточку, — и отвернулся. Он гнал от себя другой образ, который возник совсем некстати, и ему было неприятно, что этот другой образ появился именно тогда, когда вернулась Кира...

— Ты бы могла и позвонить хотя бы, — сказал он и тут же подумал: зачем я ворчу? Не позвонила — ну и хорошо, что не позвонила.

— Не сердись, — ласково сказала Кира. — Я не хотела тебе мешать.

Он мысленно усмехнулся: ее ласковость обезоруживает. А ведь и доброта может начать раздражать, если ее слишком много. Это все равно что кормить человека только одним шоколадом, а ему, между прочим, и хлеба с селедкой хочется...

7. ЗНАКОМЫЕ СТАРЫЕ И НОВЫЕ

Конечно же, ему очень хотелось работать на «волленберге», но отец отказал наотрез: квалификация не та, сразу не потянуть. Алексей не огорчился, отцу виднее, а потом убедился, что просьба о «волленберге» была чистым мальчишеством. Первые дни он работал скованно, даже, пожалуй, боязливо; это был страх запороть деталь, и его сменная выработка едва дотягивала до восьмидесяти, — смех один, да и только! — но ему было не до смеха. Он понимал, что это на первых порах, с отвычки, что все придет потом, после. Ему надо было еще два часа, чтобы дотянуть до ста, и он оставался в цехе после смены, благо сменщика у него пока не было. Тут приходилось просто стискивать зубы. Никто бы не осудил его за эти восемьдесят процентов в первые дни: люди же кругом, все понимают... Но даже в этой предполагаемой снисходительности Алексею чудилось что-то унижительное для него самого, и лучше было остаться после смены в опустевшем и непривычно тихом цехе.

Слева от него работал немолодой угрюмый человек, к которому даже не хотелось подходить. Справа — мужчина лет

тридцати — тридцати двух — коренастый, с круглым, как блин, лицом, в маленьком беретике, бог весть как держащемся на за- тылке и тоже похожем на блин, прищепнутый к голове. Про- себя Алексей так сразу и окрестил своего соседа — Блин.

Он подошел к нему первым. Все-таки надо было познако- миться. Здесь, в цехе, у него еще не было знакомых, кроме Глеба Савельева, да и тот работал на испытательном участке.

— Здорово, — сказал Алексей.

— Привет.

— Положено знать, кто сосед справа, кто слева.

— Ты что ж, с армии? — спросил Блин.

— Так точно.

— Нутрихин моя фамилия. Русский, образование среднее, судимостей не имею, языков не знаю, за рубежом не был.

— Я тоже, — сказал Алексей.

— Тогда держи пять, — сказал Блин, протягивая руку. — Ты по какому гонишь?

— По третьему, — ответил Алексей.

— Молодой еще, — снисходительно кивнул Блин. — Я по пя- тому. Думаешь, я не вижу, как ты ковыряешься? Ничего, это пройдет. Еще по сто двадцать будешь давать, как я, ну и коэф- фициентик выведут соответственно. Здесь ничего, хорошо зара- ботать можно, ежели с умом.

Алексей понял сразу: оргнаборовец. Если с первых же слов о деньгах — значит, приехал за своим длинным рублем. Он не ошибся. Нутрихин действительно приехал с Украины. В этот день они пошли обедать вместе, и за обедом Нутрихин расска- зал, что он женат, жена — с высшим образованием, устроилась здесь в вычислительный центр, а он сам учиться не собирается. Если всем учиться, кто же тогда будет работать? Но с женой у него полные лады, потому что не в образовании дело, он то- же не лыком шит. Ну, а уехали они потому, что хоть на три года, да отдельная квартира — раз, от прежних соседей надо отдохнуть, у них там, где они жили, в квартире шестнадцать душ, — обалдеть можно! — и обратно же — заработок здесь вы- ше. Конечно, не как на КамАЗе, где, говорят, ребята по пять- сот — шестьсот рублей с ходу зашибают, но он не хочет рвать с пупка. У них на двоих выходит три с лишним сотни чисты- ми — на улице такие деньги не валяются.

— Да что ты все про деньги да про деньги, — усмехнулся Алексей. Ему уже не очень нравился новый знакомый.

— Нельзя? — с деланным испугом спросил Нутрихин. — Тогда уж извини меня, пожалуйста. В первый же выходной в музей сбегая и еще на лекцию о международном положении.

— Артист, — сказал Алешка.

— А ты, стало быть, хиппуешь? — ответил Нутрихин. — Я читал — это хиппи не уважают деньги. А мы еще при социализ- ме живем, у нас все по труду, да и штаны нужно приличные иметь. Я вот дубленку хочу купить — осуждаешь?

Алексей пожал плечами: Ну и покупай себе на здоровье. Но все-таки вещи хороши только тогда, когда они служат нам, а не мы им. Нутрихин поглядел на него с интересом.

— Тогда скажи, ради чего мы вкальваем? Ради одного только светлого будущего? Когда оно наступит, тебе понадобятся не радости жизни, а геморройные свечки и вечерние клизмы. Жить надо сейчас, брат! Может, ты еще по молодости этого не ускаешь. Женишься, перевалит тебе на четвертый десяток — всего захочется, попомни меня.

Алексей понимал, что сейчас не надо лезть в спор. Тем более ничего нового Блин ему не сказал. Он умел здорово говорить, а все остальное было уже известно Алексею. Только другие выражались куда проще: живем один раз, бытие определяет сознание; ну и дальше все в таком же духе. Когда они возвращались из столовой в цех, Алексей все-таки не выдержал и сказал, что, в общем-то, это убогая житейская философия. Нутрихин хлопнул его по спине и рассмеялся:

— Ты мне нравишься. Я люблю, когда говорят, что думают. Сам такой.

— Ну-ну, — хмыкнул Алексей.

Он работал и думал, что Глеб Савельев чем-то напоминает этого Нутрихина. С Глебом он учился в школе в одном классе, потом вместе пошли на завод — дружба была старой. Алексею всегда нравилось в Глебе умение судить о разных вещах с ходу, и он еще не понимал, что это вовсе не умение, а та категоричность молодости, которой частенько не хватает самой что ни на есть обыкновенной рассудочности. И хотя Глеб всегда казался ему особенным человеком, вдруг он очутился рядом с этим Нутрихиным.

В эти первые дни, что Алексей работал на заводе, Глеб потащил его с собой — познакомиться с его девушкой, посидеть где-нибудь пару часов, потанцевать. Встреча была назначена ровно в семь, возле памятника народным ополченцам. Алексей пришел чуть раньше и, расхаживая возле памятника, заметил девушку: она стояла и временами с любопытством поглядывала на Алексея. Он остановился перед ней.

— Вы ждете Глеба, — сказал он.

— Глеба, — ответила она и протянула руку. — Надя. А вы Алексей, верно?

— Ну, наверно, об этом нетрудно догадаться, — сказал Алексей. — Мне другое странно. Почему вы ждете его, а не он вас? Ведь, кажется, полагается именно так?

— Что вы! — махнула рукой Надя. — Я уже учена. Глеб точен, как хронометр. Вот увидите, он будет здесь ровно через две минуты. Мне даже кажется, что он нарочно стоит где-нибудь в подворотне и выжидает. А однажды я опоздала на десять минут, и его уже не было. Потом знаете что он мне сказал? «Если человек не уважает время, он не уважает жизнь».

Ни больше ни меньше! Поэтому я и стараюсь уважать жизнь — прихожу на несколько минут раньше.

«Болтуха», — подумал Алексей. Впрочем, вполне симпатичная болтуха. Может быть, одета с нарочитой небрежностью: джинсы, замшевая курточка, сумка с ремнем на плече... Глеб сказал, что они женятся осенью.

— Что я вам говорила? — сказала Надя. — Вон он идет.

Они зашли в кафе, людное, шумное, и пришлось обождать, пока освободится столик. Глеб оглядывался с неудовольствием, ему здесь не нравилось.

— Осенью откроется наше заводское молодежное кафе, — сказал он. — Там хоть дышать можно будет. Выпьем сухого?

— Лучше пойдем, — сказала Надя.

«Молодчина, — подумал Алексей. — Заметила, что Глебу здесь не нравится, и поднялась. А Глебу только того и надо было. Ей-богу, молодчина! Это хорошо, что она так чувствует его настроение».

— Что будем делать? — уже на улице спросил Глеб.

— Ходить, — сказала она, беря Глеба и Алексея под руки. — Вы слишком мало бываете на свежем воздухе. Будем ходить и разговаривать. Устанем — посидим на скамейке.

— Хорошо, — согласился Глеб. — Будем ходить и разговаривать. Например, о месячном плане нашего цеха или о возможности полета человека к другим планетам. Ты как на этот счет, Алешка?

— Я за полеты, — сказал Алексей. — И за выполнение плана, конечно, тоже.

Надя засмеялась.

— Ну вот и хорошо, мальчики, повестка вечера утверждена единогласно.

Алексею было легко, он не чувствовал той скованности, которая всегда появлялась у него при знакомстве с девушками.

Итак, они просто гуляли в тот вечер. Улицы были многолюдными, толпа словно текла по ним. Из парка доносилась музыка, и они свернули в парк. Здесь было темней и уютней, и толпа здесь двигалась медленней. Парковые дорожки глушили шаги, но все-таки слышался непрекращающийся шелест. Шелест сотен ног, и музыка в отдалении, и смех, и тепло, разлитое в воздухе, — все это рождало ровное ощущение покоя. И никуда не надо спешить. Алексей поглядел на часы, Надя спросила:

— Вы торопитесь?

— Нет, — сказал он. — Сейчас двадцать ноль-ноль, а поштатскому — восемь вечера. У нас на заставе начинается боевой расчет.

— «У нас», — хмыкнул Глеб. — Никак не можешь отвыкнуть?

— И не отвыкну, наверно, — сказал Алексей. — Мне застава по ночам снится.

— Она тебе по другому поводу снится, — сказал Глеб. Он уже знал о Лиде. Алексей рассказал ему о ней при первой же встрече.

— Нет, — качнул головой Алексей. — Ты этого просто не понимаешь. Наверно, в жизни каждого человека есть свои вехи, что ли. Для меня такой вехой была служба.

— Расскажите, — сказала Надя, чуть прижав руку Алексея к своему боку. Он осторожно отстранился. Да чего рассказывать? Шпионов он не ловил, а вот комариков покормил на славу. Серьезные там комарики! Или вот был у них на заставе один математик, так он вычислил, что за два года службы пограничник проходит четырнадцать тысяч шестьсот километров. Чудак был этот парень.

— Ну почему же чудак? — сказал Глеб. — Мы живем в век статистики, и вся наша жизнь измеряется математическими категориями. Просто мы не замечаем этого или не хотим замечать. Но от этого никуда не уйдешь.

— Какой ужас! — сказала Надя. — Вот мы гуляем, дышим кислородом, и в это время кто-то измеряет нас? Глебушка, ты говоришь ерунду.

— Я стараюсь не говорить ерунды, — наставительно сказал Глеб. — Я просто хочу, чтобы ты поняла простые истины. В определенное время по утрам нас поднимает будильник. Это уже некое измерение, верно? Мы должны вовремя быть на заводе, сделать положенное и тоже измеряемое цифрами дело — так ведь?

— Еще встреча с любимой ровно в семь, — в тон ему сказала Надя.

— Умница, — похвалил ее Глеб. — А иначе нельзя, дорогие мои. Если хочешь нормально жить, надо уметь точно распланировать свою жизнь. Время необратимо. То, что ты не сделал сегодня, завтра будет уже из вчерашнего дня — значит, в жизни что-то потеряно навсегда.

— Посидим, — попросила Надя. — Я не могу слушать внимательно на ходу.

— Что вы! — шутливо отозвался Алексей. — Такие мысли следует выслушивать стоя и с непокрытой головой!

Глеб сердито поглядел на него. Легче всего отделяться шуточками, милый мой. Куда труднее построить свою собственную жизнь по принципу высшей целесообразности. Полная отдача себя — полная отдача себе.

— В виде зарплаты и премиальных? — с прежней шутливостью спросил Алексей. К его удивлению, Глеб согласно кивнул: да. Деньги тоже, между прочим, математическое измерение затраченного труда.

— Господи, — тоскливо сказала Надя. — Липы цветут, вечер то какой...

— Погоди, Надюша, — перебил ее Глеб. Видимо, он здорово разошелся и не хотел, чтобы его останавливали.

Они сидели на скамейке, река была внизу, под ними; длинными колыхающимися бородами в ней отражались огни, горевшие на том берегу. Ничего этого Глеб, конечно, не заметил. Алексей был не просто его старым школьным другом, он был новым слушателем, и Глебу словно доставляло удовольствие выкладывать ему свои мысли.

— Ты сказал, у каждого человека в жизни свои вехи — так? Очень неточное выражение. На вежах не застревают, по ним движутся, в этом вся разница. Ты был рабочим — вежа, служил — вежа, а потом ты вернулся к старой веже. Регресс? Движение только тогда приемлемо, если оно движение вперед и вверх.

Алексей слушал его с прежним озорством, его так и подмывало еще и еще раз поддеть Глеба какой-нибудь шуткой. Ах, регресс? А я-то и не знал, что мне после службы должны сразу ученую степень присвоить!

— Вот-вот, — сказал Глеб. — Значит, в душе у тебя все-таки сидит стремление к ученой степени.

— Пока лежит, Глебушка.

Алексей вздохнул. Нет, шутками его не пробьешь. Он сейчас как глухарь на току.

— Ну так ты давай ближе к своей жизненной философии.

— Я ее уже наизусть знаю, — грустно сказала Надя. — Работа, учеба, накопление знаний. Потом переход незаметных количественных изменений в коренные качественные. Должность, степени, соответственное увеличение материальных благ. Правильно, Глебушка? Семья, основанная на трудовых принципах. Детей — двое, придется помучиться. Четкое представление, что от тебя требуют, с четким выполнением и требовательностью к другим. Все. Я повторяю это перед сном, как молитву.

— Да, — сказал Глеб. — Примерно так, только в чисто женском изложении. Что скажешь, старик?

— Белый воротничок, — сказал Алексей.

— Что? — не понял Глеб.

— Мне тебя жалко.

— Почему же? Ты против цели в жизни? Или моя позиция противоречит чему-нибудь?

Алексей пожал плечами. Конечно, ничему эта позиция не противоречит. Но она вызвала в нем пока еще глухой, пока неосознанный протест, будто на него натянули тесный пиджак и всюду начало давить и жать. Ему просто надо было подумать над услышанным, но Глеб торопил его:

— Что ж ты молчишь?

— Немного пахнет карьеризмом, — сказал Алексей.

— Только ханжа может осуждать карьеру, — быстро ответил Глеб. — Ханжа или неудачник. Иногда это один и тот же человек.

— Не считаю себя ни тем, ни другим.

— Мальчики, только не ссориться, — сказала Надя.

— Я знаю, — кивнул Глеб. — Просто ты еще плывешь по течению, Алешка. Это понятно. Вернулся, надо разобраться в жизни, что к чему. Потом ты все-таки поймешь меня. В современной жизни иначе нельзя. Неторопливое время дон-кихотов кончилось, старик. Отношения общества и личности строятся на взаимной выгоде, вот и подумай над этим...

В траве, неподалеку от дорожки, рос светлый, плоский мухомор, и Надя сбила его ногой. Глеб покосился на нее и оборвал себя.

— Зря, милая, — сказал он. — В природе тоже все целесообразно, между прочим.

— Перестань, пожалуйста, — тихо и тоскливо попросила Надя. — Когда я прихожу к тебе с работы, усталая, ты...

Она не договорила. Очевидно, то, что она хотела сказать, предназначалось лишь для одного Глеба.

Остаток вечера оказался пустым. Алексею уже не хотелось ни о чем разговаривать, и, должно быть, Надя очень точно угадала это его состояние. Она говорила, говорила без умолку, рассказывала какие-то истории про своих сослуживцев (она работала в трикотажной фирме «Луч»), и Алексей был благодарен ей за эту милую, ни к чему не обязывающую, а для него почти спасительную болтовню. В десять часов он попрощался с Глебом и Надей. Славная, в общем-то, девчонка, думал он на ходу. А интересно, когда Глеб целуется с ней, он считает, что это тоже подчинено каким-то математическим измерениям?

И вспомнилось еще: когда при первой же их встрече Алексей спросил Глеба, почему он перешел на испытательный участок, Глеб, чуть прищурившись и растягивая слова, ответил: «А ведь это, старик, когда-нибудь пригодится. Для диссертации, скажем, а?» Что ж, он уже перешел на третий курс, но, странное дело, Алексей ничуть не завидовал ему. Наоборот: то, что он два года отслужил на границе, словно давало ему некоторое преимущество перед Глебом. Просто есть вещи, которые не всякому дано узнать, а вот он узнал. Хотя бы те четырнадцать тысяч шестьсот километров...

Когда по проходу стремительно шел, как-то подпрыгивая, будто сдерживая себя, чтобы не побежать, Борис Семенович Коган, Алексей заранее знал, что у отца будут неприятности, большие или малые. Борис Семенович был заместителем начальника цеха по производству, у него была добродушная, в общем-то, кличка: ВВС, что расшифровывалось так: «Вирус, вырвавшийся на свободу» — и это вполне соответствовало его характеру. Сколько Алексей помнил его, он помнил шумящего, не терпящего никаких возражений Бориса Семеновича, и даже дома он оставался таким же. Алексею приходилось бывать

у него дома.— с сыном Бориса Семеновича, Эдькой, он тоже учился в одном классе.

Первая встреча с Борисом Семеновичем здесь, в цехе, была на ходу. Алексей окликнул его, когда Коган, припрыгивая, несся к отцу с пачкой каких-то бумаг. Коган не удивился, увидев Алексея, будто они виделись каждый день, сунул ему руку и крикнул:

— Все разговоры потом. Эдька в педагогическом, на литфаке — прибежище всех лоботрясов и местных гениев. Заходи!

И вприпрыжку помчался дальше.

Так что старые знакомые в цехе все-таки были. Новые же появлялись каждый день.

Он точил кольца. Работа была несложная, но все равно требующая внимания — глубину проточки приходилось мерить каждые три-четыре минуты, и он не заметил, как сзади него встала приемщица БТК. Только сняв со станка еще горячее кольцо, он увидел эту молодую женщину и недоуменно поглядел на нее.

— Любопытствуете? — спросил он.

— Вот именно, — ответила она, что-то отметив в своем блокнотике и отходя.

Алексей даже не успел разглядеть ее как следует. Высокая, светлые волосы выбиваются из-под косынки, в брюках, обручальное кольцо на правой руке — вот и все, что он заметил.

— Это кто? — спросил он Нутрихина. Тот махнул рукой:

— Нинка Водолажская, суровая особь! Может, после отпуска мягче станет, а вообще-то — Шлиссельбургская крепость.

— Что-то она не вовремя подкатила, — сказал Алексей, и Нутрихин усмехнулся во все свое блинообразное лицо. Как это «не вовремя»? Новые веяния — понимать надо! Цех за что борется? За бездефектное изготовление продукции и сдачу с первого предъявления — вот они, девчонки, и ходят, смотрят, по технологии ли работаешь, тот ли у тебя инструмент, чтоб без всякой самодетельности. Так сказать, не только выявляют брак, но и предупреждают его, а ты — «не вовремя»! Он говорил это, поблескивая серебряными зубами, будто ему очень нравилось поучать новичка. Ну, а ежели что у тебя случится, с Нинкой лучше в спор не лезть — ни за что не уступит. Других можно как-то уговорить принять деталь сразу, с первого предъявления: поплакаться, что жена больна, теца помирает, — девчонки на такие штуки жалостливые и без премии не оставят. А Нинка... Он даже рукой махнул и почмокал полными губами: гроб, могила — три креста эта Нинка! Красивая баба, а он, Нутрихин, её мужу не завидует, нет...

В тот же день Алексей встретил Водолажскую в комитете комсомола. Ему надо было встать на учет, и девчонка — технический секретарь, — приняв от него документы, сказала, что надо зайти к секретарю комитета Бешелеву. Такой у них заве-

ден порядок — секретарь лично знакомится с каждым комсомольцем, поступающим на работу.

Зайти так зайти.

— Вы не ждите, — сказала девчонка. — Он там не один, но это все равно.

— Демократия, — сказал Алексей.

— А как же! — фыркнула девчонка.

Там, в кабинете, было двое. Он сразу узнал Водолажскую. Сейчас она была без косынки, в коричневом свитере с большим воротником; и она и Бешелев курили. Когда Алексей вошел и спросил: «Можно?» — Бешелев помахал рукой:

— Заходи, заходи. Ты по какому делу?

— Новенький, — сказал Алексей. — То есть не совсем новенький...

— Он после армии, — объяснила Бешелеву Водолажская. — Алексей Бочаров. Токарь, третий разряд, до службы работал у нас в шестом.

Бешелев слушал и кивал, и на какую-то секунду. Алексей подумал, что они уже где-то встречались. В том, как смотрел на него Бешелев, было что-то очень знакомое, уже не раз виденное, и Алексей силился вспомнить это знакомое. Он даже не заметил, как точно рассказала о нем Водолажская. Но где он мог встречать Бешелева?

— Хорошо, — сказал Бешелев и махнул рукой на стул. — Ты садись, Бочаров. Нам тут еще по одному делу договорить надо.

Алексей почти не слушал, о чем они говорили. Какие-то цифры, какие-то проценты. Он разглядывал Бешелева и все пытался схватить ускользающее воспоминание. Но нечто знакомое, поразившее его, ушло, пропало, и он голову мог дать на отсечение, что они виделись впервые. Алексей повернулся к остекленным полкам, на которых стояли кубки и фигурки спортсменов — должно быть, призы, полученные заводскими ребятами; модель комбайна, еще какие-то сувениры. «Меня больше всего волнует литейный, — доносился до него глуховатый, грудной голос Водолажской. — Несколько дней назад поступило литье — вот такие газовые раковины». Алексей обернулся и поглядел на Водолажскую с любопытством. Ему понравилось, как она говорила. А Бешелев слушал ее, чуть морщась и подперев голову рукой, словно у него болел зуб.

— У тебя все? — спросил он.

— Пока все.

— Я записал, будем разбираться. Теперь давай ты, Бочаров. Какие планы на будущее? Мысли, пожелания...

И снова Алексею показалось: нет, все-таки знакомы.

— План один — работать, — сказал он.

— Хорошо работать, — постукал карандашом о стол Бешелев. Он так и щупал глазами Алексея, словно испытывая его, будто хотел проникнуть взглядом в самую его суть. И вдруг

Алексей улыбнулся — взгляд! Вот что его поразило и показалось знакомым. Точно так же смотрит обычно дядя Володя.

— Ему сейчас трудно, — сказала Водолажская. — Все-таки два года перерыв...

— Все ясно, — откинулся на спинку стула Бешелев и положил перед собой руки, похлопывая ими по столу. — Значит, так: осваивайся, входи в ритм, а потом Нина тебя возьмет в оборот. Нам такие, как ты, нужны. Договорились?

Опять протянутая рука и крепкое, даже многозначительное рукопожатие. И снова этот взгляд — чуть прищуренный, испытующий и тоже многозначительный: а что ты все-таки за человек? Что ты можешь? Чего от тебя ждать?

После смены Алексей сел в трамвай и поехал в педагогический институт. Этого дня он ждал долго, слишком долго — почти два месяца. Наконец ожидание стало нестерпимым. Лида не ответила на два его письма, — впрочем, думалось ему, так оно и должно быть. Он не обижался, не сердился на нее. Конечно, она не отвечала сознательно, расчет тут был простой: психанет, перестанет писать, а там, глядишь, и забудет, закрученный новой, городской жизнью. Так он думал за Лиду и улыбался оттого, что весь этот фокус ему понятен, как день ясный. А у самого на душе скребли кошки. То видение — девушка, стремительно идущая меж берез, в мелькании света, легкая, будто самим движением и солнечными лучами приподнятая над землей и потому не идущая, а летящая, — видение это не покидало его, и стоило вспомнить его, представить себе, как перехватывало горло.

По его расчетам, Лида должна была уже приехать. Вступительные экзамены начинаются с первого августа. Он не представлял, даже не пытался представить себе, как они встретятся и о чем будут говорить — лишь бы увидеть. И боже упаси чем-нибудь взволновать ее, это он решил уже по пути, в трамвае: у нее экзамены, она должна быть совершенно спокойна. Алексей стоял на задней площадке, стиснутый едущими, и не замечал ни этой давки, ни духоты. Хорошо, если бы она согласилась готовиться к экзаменам у него. Целый день дома никого нет. А вдруг не нашлось места в общежитии? Ему очень захотелось, чтобы в общежитии не нашлось места. Тогда он приведет Лиду к себе. Вот они поднимаются в лифте. Он открывает дверь и говорит: «Входи». Лида входит осторожно — для нее это пока чужой дом. «Кто там?» — спрашивает из кухни мать. «Это мы». Мать выходит, у нее руки перепачканы мукой, сегодня будут пироги. «Знакомься, мама, это Лида». Две женщины стоят друг перед другом. Что должна чувствовать мать? Этого он не знал, и здесь его мечтания обрывались. У них не было продолжения. Он снова возвращался в лифт, и все повторялось: он говорил: «Входи» — и мать спрашивала: «Кто

там?» — «Знакомься, мама, это Лида». И заново переживал уже проигранную внутри себя сцену, словно наслаждаясь этим придуманным приходом Лиды в его дом.

Институт размещался в двух зданиях. К старому — кирпичному, некрасивому, ободранному корпусу — несколько лет назад пристроили другой, самый что ни на есть современный, и сочетание оказалось нелепым. Алексей не знал, куда ему идти — в старый или новый корпус. Пришлось спросить проходившего мимо очкарика, где вывешиваются списки допущенных к экзаменам. Очкарик снисходительно поглядел на него и ответил:

— Там. Вы твердо решили стать педагогом? Так вот, ребята дадут вам кличку — Оглобля. У них бедная фантазия. Лучше, если вы привыкнете к этой кличке с первого же курса. — И пошел дальше.

Действительно, списки были. Алексей быстро нашел список, начинающийся на «С», — фамилия Лиды была в нем первой: Савун Л. П. У него замерло, а потом начало колотиться о ребра сердце — ощущение было такое, будто он увидел не только фамилию, но и Лиду. Значит, пока все в порядке и она уже приехала. Алексею надо было немного постоять, успокоиться и подумать. Конечно, в приемной комиссии ему не скажут, где сейчас живет Лида. Ничем не мог помочь ему и Эдька Коган — с какой-то студенческой компанией он уехал «гарзанить» на Юг. Вестибюль пустовал, и спросить, где останавливаются абитуриенты, было не у кого.

Но нетерпение было слишком острым, чтобы он мог смириться и подождать еще два дня. Через два дня Лида будет сдавать письменный по литературе и ее наверняка можно разыскать здесь. Он не хотел ждать два дня. Ему нужно было увидеть Лиду сегодня. Она была здесь, где-то совсем рядом. Ну, а если хочешь сегодня, значит, надо преодолеть свою неловкость и все-таки пойти в приемную комиссию, другого выхода нет.

Все оказалось очень просто, он даже удивился этой простоте. «Приезжие живут во втором общежитии — Гоголя, двенадцать», — сказали ему, и он шел на Гоголя — это было недалеко — со странной уверенностью, что обязательно увидит Лиду. Он и сам бы не мог объяснить себе, откуда эта уверенность. И даже тогда, когда вахтерша попросила каких-то спящих вверх-вниз девчонок найти Лиду Савун и когда девчонки, куда-то исчезнув ненадолго, вернулись и сказали, что ее пока нет, куда-то ушла, — он только утвердился в этой уверенности. То, что придется ждать, не огорчило Алексея: Отсюда же, из вестибюля общежития, он позвонил домой и сказал, что сегодня задержится и чтоб его к ужину не ждали, вышел на улицу и начал ходить, стараясь все время видеть вход. Мало ли куда могла пойти Лида. Сидит в библиотеке или побежала в театр — в городе на гастролях «Современник», билетов, конечно, не сы-

скасть днем с огнем, но может повезти и у кого-то окажется лишний... Или просто бродит по городу. Она ведь говорила ему когда-то: «Приеду и буду целый день ходить по городу». Ждать — больше ему ничего не оставалось. Но как раз именно это ожидание и оказалось самым трудным: ждать два месяца было куда легче.

Потом он так и не мог точно вспомнить, как все произошло. Он не узнал Лиду. По улице навстречу ему шла девушка, он равнодушно скользнул по ней взглядом, девушка остановилась и сказала:

— Алеша?

Тогда он словно бы очнулся, теплая волна окатила его и схлынула, он замер.

— Здравствуй, Алеша...

— Здравствуй, — еле выдавил он из себя. Он глядел на Лиду не отрываясь, жадно, стараясь увидеть ее всю, и снова возвращался взглядом к ее серым, широко раскрытым глазам. Он был как человек, который долго шел по жаре и наконец добрался до воды, добрался и начал пить торопливыми крупными глотками, словно боясь, что ему не хватит воды и он не успеет утолить измучившую его жажду.

— Все-таки ты приехала, — наконец-то смог сказать он.

— Идем, — сказала Лида, беря его под руку. — Здесь неудобно.

Он шел рядом с ней, и ему больше ничего не было нужно. Ни вопроса, ни упрека, почему не ответила на его письма. Он снова молчал — говорила Лида.

— Я хотела позвонить тебе, но закружилась, завертелась, послезавтра первый экзамен — знаешь, как страшно... Будто с вышки головой в воду. Нас тут водили в бассейн, надо было пройти какую-то проверку, ну и заставили прыгнуть... А сегодня весь день проторчала в Публичке. У меня в голове уже все перепуталось — где Онегин, где Давыдов... Наверно, дадут одну тему по Шолохову, все девчонки так говорят...

Он слушал ее и не слышал. Ему было неважно, что она говорила. Было важно, что Лида — рядом, все остальное куда-то отступило и не имело для него ровным счетом никакого значения.

Из дому, с заставы, Лида уехала почти со скандалом. Мать сказала, что поедет с ней, тут все и началось. Сначала Лида уговаривала мать отказаться от этой затеи, доказывала, что она не маленькая и что мать будет ей только помехой, да и где жить в городе — в общежитие мать, конечно же, не пустят... Потом стала требовать, слово за слово — мать обвинила ее в черствости, ударилась в слезы... Короче говоря, расставание было трудным, и всю дорогу до города Лида корила себя за

то, что так и не смогла успокоить мать, хотя и настояла на своем.

Все последние дни отец был молчалив и хмур. Временами он подходил к дочке и быстро, словно стесняясь чего-то, гладил ее по голове и так же быстро отходил. Конечно, она понимала, что происходит с родителями. Но ведь этот отъезд — вовсе не неожиданность для них, думала Лида. Они должны были привыкнуть к мысли, что я рано или поздно уеду. Самим было бы легче. Впрочем, когда заставский «козел» остановился возле их домика и отец взялся за чемодан, у Лиды перехватило дыхание. Только этого и не доставало сейчас — зареветь.

Лишь в машине она почувствовала, что радости в ней нет. Лесная дорога, знакомая до каждого кустика на обочине, показалась слишком длинной, и Лида мысленно торопила шофера. Ей хотелось поскорее добраться до станции и наконец-то сесть в поезд: это прощание с родными, с лесом, с дорогой было слишком трудным для нее. А ведь прежде думалось — все будет легко и просто: ну, уехала, и все, и — да здравствует новая жизнь!

В город она приехала вечером, оставила чемодан в камере хранения и вышла на привокзальную площадь.

Она словно окунулась в незнакомые звуки и запахи. Машины, людской поток, огни, улицы, дома, окна, за каждым из которых шла своя жизнь, — все это было плохо знакомо ей, и первым чувством оказалось одиночество. Никому не было никакого дела до девушки, стоявшей на ступеньках вокзала со спортивной сумкой, никто не замечал, как она оглядывается, словно не решаясь сойти с этих ступенек. Нет, ей не было страшно. Ей надо было хоть немного привыкнуть к увиденному, спросить у кого-нибудь, как добраться до института, и тогда все станет проще — появится какая-то цель, какая-то определенность. На секунду она пожалела о том, что мать не поехала с ней. Вдвоем все-таки было бы легче. Но тут же Лида рассердилась на себя: вот еще! Маленькую девочку приводят в институт за ручку — смех один! Она увидела милиционера, подошла к нему и через несколько минут уже ехала в троллейбусе, считая остановки, — ей надо было выходить на четвертой...

В институте уже никого не было, и Лида растерялась. Почему-то она думала, что здесь обязательно должен быть какой-нибудь дежурный, который примет от нее уведомление о том, что она допускается к экзаменам, и тут же выдаст направление в общежитие. *Так должно было быть.* Но так не было. Она несколько раз постучала в закрытую дверь — никто не отозвался.

Это даже интересно, сказала она себе. Все очень просто. Надо найти справочное бюро и взять адреса гостиниц. Не будет свободных коек в одной, поеду в другую. Где-нибудь да устроюсь на ночь. Нет, хорошо, что мама не поехала. Наверняка началась бы легкая паника, охи, ахи, а это даже здорово, что городская жизнь начинается с приключений... Она уговари-

вала себя так, хотя никаких приключений не было — просто неудача, иному человеку показавшаяся бы досадной, но ей обязательно, непременно надо было выдумать приключение. И действительно все оказалось просто: в первой же гостинице ей предложили обождать часа полтора-два — койки освободятся наверняка перед поездом на Москву...

Она сдала паспорт и сидела в просторном холле в мягком кресле, поставив сумку у ног. Ну, а если бы я не устроилась? — подумала Лида. Проходила бы ночь по городу? Или все-таки позвонила Алешке Бочарову — много-то выхода не было бы, наверно... Нет, подумала она, все равно не позвонила бы. Незачем.

Она порылась в кармане куртки, вытащила несколько монет и взяла одну — двухкопеечную. Телефон-автомат был тут же, в холле. Сначала она должна была прочитать, что было написано на металлической табличке: «Опустите 2-копеечную монету... Услышав гудок, наберите номер...» Номер она помнила. Ей было интересно — подойдет к телефону Алешка или кто-нибудь другой. Она даже загадала: если подойдет Алешка — сдам экзамены, если нет — провалюсь. Трубку поднял Алешка, она сразу узнала его голос. «Алло, — сказал Алешка. — Я слушаю. Алло!» Лида повесила трубку. Ей было просто забавно услышать его голос два месяца спустя. Значит, не провалюсь...

Ей захотелось есть, и она вынула из сумки сверток с бутербродами и пирожками, которые мать все-таки настряпала на дорогу. Сидела и ела мамины пирожки и вспоминала те два письма, которые Алешка прислал ей. Всего два. Значит, она поступила правильно, что не ответила, иначе он завалил бы ее своими письмами, а так — обиделся, скорее всего, и не стал больше писать. Эти два письма были у нее с собой — она их сунула в какую-то книжку — и сейчас лежали в чемодане на вокзале, в камере хранения. Зачем надо было их везти с собой? Порвала бы и все. Но, наверно, она не порвала их только потому, что больше ей никогда и никто не писал...

Письмо первое

Лида!

Пишу тебе сразу, как немного освоился в городе. Можешь меня снова ругать, сколько хочешь, но даю честное слово, что все время мне не хватает тебя, хожу и думаю о тебе. Все, что я тебе написал раньше, — правда, хочешь ты того или нет. А от правды никуда не денешься. Если б я был каким-нибудь свистуном, тогда совсем другое дело. Тогда ты могла бы и не верить мне. Я же хочу сейчас одного: чтобы ты мне поверила. Все остальное придет потом, это я знаю точно. Пять лет ты будешь жить здесь, в городе, рядом со мной, и я сумею тебе доказать все. Очень жду, когда ты приедешь и, надеюсь, сразу же позвонишь мне, чтобы мы встретились...

О себе что же писать? Снова на заводе, снова работаю и учитья пока не собираюсь. Не потому, что не потяну, а просто хочу год пожить так, подумать о будущем, потому что человек должен точно определить самого себя. До сих пор я, в общем-то, жил, как-то не задумываясь о жизни. Все у меня шло как по писаному, — школа, потом служба. А у Толстого я прочитал на днях такие слова: «Пора перестать ждать неожиданных подарков от жизни, а самому делать жизнь». В двадцать с лишним лет это действительно пора.

Но с какой стороны я ни подбирался бы к своим раздумьям, в них всегда оказываешься ты. Наверно, я просто не представляю себе своего будущего без тебя...

Письмо второе

Лида!

Ты ничего не ответила на мое первое письмо. Впрочем, почему-то я так и думал, что ты не ответишь. Неужели ты так и не поняла, что я тебе сказал? Я могу повторять это тысячу раз! Очень тебя прошу сообщить, когда приедешь. Я тебя обязательно встречу, да и жить тебе, наверно, лучше будет у нас. Все-таки домашняя обстановка, а не общежитие, к которому ты не привыкла. Посоветуйся с родителями и соглашайся. Здесь у тебя будет моя комната, целый день дома никого не бывает, и ты сможешь нормально заниматься. Все книги, которые тебе понадобятся, я достану.

О себе писать особенно нечего. Работа есть работа. Конечно, с непривычки немного устаю, но это пройдет. Главное, я понемногу начинаю входить в жизнь и больше думать о ней. Нас обычно обвиняют как раз в том, что мы живем легко, вернее, легковесно. В этом есть своя правда. Но есть и такие ребята, у которых все разложено по полочкам на много лет вперед и остается только выполнять свою программу. Я этого не понимаю. Что такое цель в жизни? Как-то вечером гулял со своим другом и он объяснял мне свою цель: добиться положения, материальных благ и т. д. Но ведь этого он хочет для себя, а не для того, чтобы отдавать себя другим, и мне это было непонятно. Конечно, в жизни можно добиться многого, а потом что? Растить брюшко, прогуливаться перед сном с собачкой и, когда звонят по делу в выходной, приказывать жене: «Скажи, что меня нет дома»? Как видишь, я начинаю думать. Нет, в моем будущем все должно быть не так. Как — я еще не знаю, но вместе с тобой (эти слова — «вместе с тобой» — были жирно подчеркнуты) мы сможем построить жизнь правильно...

Она не сразу заметила двух мужчин, которые спустились в холл и стояли, оглядываясь. Она не видела, как один из них кивнул на нее и тогда второй, медленно отвалившись от перил,

пошел к ней, на ходу поправляя галстук. Соседнее кресло пустовало; мужчина сел, поддернув светлые брюки, и, вытащив пачку сигарет, спросил Лиду:

— Вы разрешите? Дым не помешает?

— Пожалуйста, — сказала она, пожав плечами. Она завернула оставшиеся пирожки и бутерброды и сунула сверток обратно в сумку. Мужчина в соседнем кресле курил, и краем глаза она заметила, что он смотрит на нее. Это было неприятно, и Лида отвернулась. Жаль, все книжки там, в чемодане. Впрочем, можно встать, подойти к киоску в другом конце холла и купить последний «Огонек».

— Домашние припасы? — спросил мужчина, кивнув на ее сумку.

— Да.

— Наверно, ждете, пока освободится номер? Да, худо у нас еще с гостиницами. Я всю страну объездил, слава богу, насмотрелся...

Лида повернулась и поглядела на него с любопытством. Ей было интересно, как это человек мог объездить всю страну. Только теперь она разглядела его: лет тридцать, в кожаном пиджаке. *Пожилый*, подумала она.

— Просто так ездите? — спросила она. — Ваша фамилия случайно не Пржевальский?

— Ого! — сказал мужчина. — Оказывается, у вас язычок!.. Нет, просто у меня такая колесная профессия. Я журналист, москвич. Вот и приходится мотаться по градам и весям.

Она только один раз видела живого журналиста — того, который приезжал на заставу и был счастлив, наловив окушков. Этот был ничуть не похож на того. Но почему-то Лиде даже не пришло в голову, что он может просто врать.

— О чем же вы пишете? — спросила Лида.

— Обо всем. О плавке, об урожае, о строительстве, об охране природы, о хороших и плохих людях... Жизнь набита темами, надо их только найти.

Он отогнул рукав кожаного пиджака и поглядел на часы, потом снова на Лиду.

— Послушайте, девушка, ждате вам, как я полагаю, еще долго. Вы уже сдали свои документы? — Она кивнула. — Так вот, есть деловое предложение. Я и мой товарищ — вон он стоит, очень известный ученый-физик, — мы приглашаем вас в ресторан. Ну, встали и топ-топ?

Он сам встал и, нагнувшись, взял Лиду под руку, словно пытаясь помочь ей подняться. Лида вырвала руку. Никуда она не пойдет. Журналист надулся: зачем же так обижать хороших людей? Он же не предложил ничего плохого! Посидеть час-полтора за столиком, потанцевать — там отличный оркестр — вот и все.

В Лиде словно бы сработал какой-то охранный инстинкт. Каким-то чутьем она уловила и фальшь в словах журналиста,

и неясную, непонятную ей опасность, таившуюся там, впереди, если она согласится. Нет, она не пойдет никуда.

— Но ведь, честное слово, гораздо лучше скучать вместе, — настаивал журналист.

Вот тогда-то и подошел к ним второй, известный ученый-физик. Он был сильно под хмельком, это Лида увидела сразу.

— Наша провинциалочка рыпается? — спросил он.

— погоди, — оборвал его журналист.

А Лиду начало трясти. Она испугалась по-настоящему: она вообще боялась пьяных. Двое незнакомых стояли перед ней, и уже в одном их присутствии чувствовалась угроза.

— Отойдите, — пожалуйста, — сказала Лида.

— Брось, девочка, — сказал физик, беря ее уже не под руку, а за кисть руки. — Ты все сама отлично понимаешь.

Она снова вырвала руку, ей стало больно.

— Уходите! — уже громко сказала она.

Кто-то обернулся на ее голос, администраторша высунулась из своего окошка.

— Ладно, — сказал физик журналисту. — Идем. Тоже мне *клепщик*. Найдем что-нибудь интересней, и без шухера.

Они ушли, а Лиду продолжало трясти. Она сидела, вжавшись в кресло, как маленький загнанный зверек, и чувствовала себя такой одинокой и беззащитной, что в пору было разрешиться, броситься на вокзал и уехать обратно, на заставу, где все было так просто, так понятно и спокойно. «Дура, — сказала она себе. — Думала о приключениях, вот и получила...»

На этом неприятности не кончились.

Утром она пошла в институт, ей выдали направление в общежитие, все шло хорошо, можно было бы забыть тот страх, который она испытала вчера. Но вечером того же дня в дверь комнаты постучали, и Лидина соседка крикнула: «Войдите».

Вошел парень — неприметный, невысокий и сразу смущенно отвернулся от лифчика, висевшего на спинке одной кровати.

— Мне нужна Савун, — сказал он.

— Я? — удивилась Лида.

— Это вы Савун? — спросил парень и, вытащив из кармана какую-то книжечку, раскрыл перед Лидой. — Я из милиции. Нам надо с вами поговорить. Вы сможете пройти сейчас со мной?

— Зачем? — спросила Лида, покосившись на соседку. — Говорите здесь. И вообще я не понимаю...

Парень улыбнулся, улыбка у него была славная. Нет, здесь не получится, надо все-таки пойти. Вы переодевайтесь, а я подожду в коридоре, покурю. Через несколько минут Лида уже шла с ним по улице. Парень объяснил — это совсем недалеко, и всего на полчаса от силы.

Он привел Лиду в комнату, где за столом сидел пожилой майор, и майор кивнул Лиде на стул перед собой, а парень сел в сторонке.

Сначала майор спросил Лиду — фамилия, имя-отчество, откуда и зачем приехала. Она отвечала, еще ничего ровным счетом не понимая. Потом майор обогнул стол и разложил перед ней штук пятнадцать фотографий, с которых глядели незнакомые мужчины, хмурые и веселые, молодые и пожилые.

— Пожалуйста, — сказал майор. — Только прошу вас — смотрите внимательно. Знаете ли вы кого-нибудь из них?

Лида нагнулась над снимками. Вот журналист, она узнала его сразу. Лицо физика она помнила плохо, тогда ею уже владел страх. Но все-таки она подняла один снимок и неуверенно сказала:

— Кажется, еще этот. Ученый-физик.

— Кто-кто? — насмешливо переспросил майор.

Потом Лида рассказала обо всем, что произошло вчера в холле гостиницы. Ей уже было ясно, что эти двое что-то натворили, иначе здесь не оказались бы их фотографии и ее не пригласили бы сюда.

— Вот и спасибо, — сказал майор. — Идите, готовьтесь к экзаменам, и — ни пуха ни пера. Можете даже мысленно послать меня к черту, как положено.

Он протянул ей руку, и Лида спросила:

— А как же вы меня так быстро нашли?

— Ну, — усмехнулся майор. — Дело техники.

— А эти двое... — начала было Лида и спохватилась: спрашивать об этом вроде бы неудобно. Но майор снова усмехнулся:

— Вы правильно сделали, что не пошли с ними, Лидия Петровна. Они такие же журналисты и физики, как я шах иранский. Только одна просьба к вам — не рассказывайте, пожалуйста, своим подружкам, о чем мы здесь говорили!

Она ничего не рассказала об этом и Алешке. Не рассказала и о том, что, когда шла из милиции в общежитие, ей очень хотелось снова позвонить ему, почувствовать, что она здесь, в Большом Городе, не одна, есть за кого спрятаться. Но все-таки не позвонила. Она думала; господи, в первый же день вот такое — двое незнакомых, приглашение в ресторан, ее крик там, в холле, потом вызов в милицию, — написать маме, она тут же умрет от страха или, во всяком случае, сразу же прикатит сюда! Конечно, она ни о чем не напишет домой.

Но сейчас она шла рядом с Алешкой успокоенная, ей не надо было никуда спешить и хорошо было идти просто так, отдыхая после целого дня, проведенного над книгами.

— Ну что ты все время молчишь?

— Я могу говорить только об одном, Лида, а ты не захочешь слушать.

— Я же просила тебя, Алеша...

— Да, я помню... Но я буду приходить сюда каждый вечер и...

— Не надо, Алеша, — попросила она. — Ни к чему. Я сама тебе позвоню, если... если мне надо будет тебя увидеть.

— Нет, — упрямо сказал он. — Я хочу видеть тебя каждый день. Неужели ты не можешь этого понять?

Он говорил мягко, но в последних словах Лиде почудился упрек. Что ж, ей все-таки была приятна эта настойчивость, но опять-таки в Лиде срабатывал некий охранный инстинкт, хотя Алешка был *свой*. Она понимала другое: его надо держать дальше.

— Не надо этого, Алеша. У меня... у меня совсем не твои взгляды на будущее. Смешной ты, честное слово! Не обижайся и иди. Я тебе позвоню.

Она повернулась и быстро пошла обратно. Она знала, что Алешка смотрит ей вслед, но оборачиваться нельзя. Незачем оборачиваться. Если обернешься, он подумает бог весть что и побежит ко мне. А я его совсем не люблю. Просто очень хороший парень, вот и все.

Даже эта короткая встреча с Лидой немного успокоила его. Ощущение, что она рядом и что ее можно увидеть в любой вечер, как бы материализовалось, и это уже само по себе несло успокоение. Но, подумав, он решил, что незачем ездить к Лиде каждый день, дергать ее — пусть сдает экзамены, я должен сдерживать себя ради нее самой. Теперь все покажет время.

В эти дни ему работалось необыкновенно легко. Он был и здесь прав, рассчитывая на время. Ему уже не надо было оставаться после смены, чтобы «дотягивать» норму.

— А что я тебе говорил? — хлопал его по спине Нутрин. — Руки сами работу вспомнили, это уж точно! Давай жми на четвертый разряд, а там и пятый не за горами. Как до пятого доберешься — женись. Это, брат ты мой, уже фирма — пятый разряд!

— Семейная жизнь противопоказана общественной работе, — отзывался Алексей.

Водолажская все-таки взяла его «в оборот», как распорядился тогда, в кабинете, Бешелев. В комитете комсомола она возглавляла сектор организации и проверки соревнования; Алексею предстояло заниматься только цеховыми делами. Разговор с Водолажской был коротким и на ходу — они вместе вышли из цеха, и Водолажская объяснила, что надо делать: завести тетрадку, слева — фамилии, посередине — взятые обязательства, справа — отметки о выполнении. Это раз. Во-вторых, квартальные отчеты. Хорошо бы не только цифры, но и короткий анализ.

— Будет сделано, — сказал Алексей. — Тетрадка нужна в клеточку или линеечку?

— Мне казалось, ты серьезнее.

— Ну что ты! — засмеялся Алексей. — Я после работы как теленок на лугу.

— Это заметно. Но я тебя прошу...

— Да что ты волнуешься? Все усек. Фамилии слева, обязательства посередине, хорошо бы анализ. Не волнуйся, пожалуйста. Когда замужняя женщина волнуется по пустякам, у нее подгорают котлеты или ломается стиральная машина. Я тут домой поздно пришел, так мать ухитрилась борщ сжечь. Честное слово! Вся водичка выкипела, ну и... Три часа дверь открытой держали, проветривали.

— А ты не приходи поздно, — сказала Водолажская. — Мне на автобус.

Алексею тоже надо было на автобус, но он махнул рукой вдоль улицы и сказал, что пойдет пешком. Ему не хотелось ехать с Водолажской. Действительно, красивая женщина, мужики на нее оборачиваются, это он заметил. Но какая-то сухая, на шутку не идет, и словно на ней не шерстяная кофточка, а на все пуговицы застегнутый мундир. «Я думала, ты серьезный». Как будто любую работу нельзя делать весело. Нет уж, лучше идти одному пешком, чем ехать с ней в набитом битком автобусе. А заодно зайти в магазин канцелярских товаров и купить за полтинник клеенчатую тетрадь в клеточку.

Кто-то догнал его и взял под руку. Он повернулся — это был отец. Обычно он уходил с работы позже, и Алексей не ждал его.

— Тебя что, уволили? — удивился Алексей.

— Голова болит, решил кончить дела и пройтись. Гляжу, впереди башня шагает. Пригляделся — ты. Странно все-таки. Мать невысокая, я тоже, а ты в кого?

Он говорил переводя дыхание — должно быть, спешил, прежде чем нагнал Алексея. Но в этой его скороговорке Алексею чудилось что-то недосказанное. Он достаточно хорошо знал отца. Если он говорит, глядя в сторону, — значит, что-то не то.

— Ты никуда не спешишь?

— Никуда.

— Зайдем в парк, посидим, пивка выпьем?

— За твой счет или мой?

Его не покидало хорошее настроение. Конечно, у отца к нему какой-то серьезный разговор, это ясно. А ему не хотелось никаких серьезных разговоров. Летний день, тепло, завтра выходной, он договорился с Глебом махнуть за город (втроем: третья — Надя), и серьезный разговор сегодня вроде бы совсем ни к чему.

— Вот что, — сказал отец, когда они зашли в павильон и взяли по кружке пива. — Я давно хотел поговорить с тобой, Алешка, но все как-то не удавалось...

Он мялся, будто подыскивая слова, и Алексей, стукнув своей кружкой о его, сказал:

— Давай сначала выпьем. А то ты сидишь, как на дипломатическом приеме.

— Что-то с тобой происходит, Алешка, — сказал отец, глядя в сторону. — Конечно, это твое личное дело — поделиться со мной или промолчать, но как-то нам с матерью беспокойно.

— Ты прав, — ответил Алексей. — Это мое личное дело.

— Жаль, — сказал отец. — Раньше у нас не было никаких секретов. Я даже немного гордился этим. Ну хорошо... Можешь ты ответить хотя бы на такой вопрос: то, что происходит с тобой, очень серьезно?

— Да.

— Понятно, — сказал Бочаров. Он все глядел в сторону, будто боясь встретиться взглядом с сыном, и Алексею передавалась его тревога. — Я шел сегодня за тобой и Ниной и подумал...

— Мимо, батя! — усмехнулся Алексей. — Нина — мое высокое начальство и учит меня комсомольскому уму-разуму. К тому же — серьезная замужняя женщина. И прошу тебя — не надо меня ни о чем расспрашивать. Волноваться тоже не надо, все пойдет путем. Вы, наверно, еще не заметили, что я совсем вырос. Ну, а в таком возрасте всякие житейские бяки уже положены. И чем больше живешь, я полагаю, тем больше их будет. А?

— Да, в общем-то, так...

— А вы хотите закрыть меня собой? Чтоб никакой посторонний ветерок не дунул?

— И это так. Ты нам не чужой все-таки. — Он залпом выпил свое пиво. Видимо, ему не хотелось кончать этот разговор. Он еще надеялся, что Алексей хоть что-то скажет ему. — Возьмем еще по кружке?

— Возьмем, — сказал Алексей. — Хорошо холодненького.

Он принес еще две кружки.

— Знаешь, — сказал отец, — я бы сам не начинал этот разговор, но мать извелась. Надо же — борщ поджарила! Ну ладно, ну хорошо... У меня к тебе только одна просьба, Алешка: побереги мать.

Ко второй кружке он даже не прикоснулся. Встал и ушел, сутулясь, и, глядя на его спину, Алексей подумал, что отец уже не молод и, может быть, зря он ничего не рассказал родителям о Лиде — им было бы легче. Глебу рассказал, а им нет. Но как, каким чутьем они могли догадаться, что со мной что-то происходит?

Через несколько дней Алексею и Нутрихину дали точить «стаканы». Работа была легкая и, конечно, для Нутрихина невыгодная. На этих «стаканах» много не заработаешь, расценка на них была низкой. Нутрихин психанул, пошел к Бочарову и вернулся туча тучей.

— К черту, — сказал он. — Что я им, мальчишка, что ли?

Он еще долго кипятился, ворчал, но отказаться было нельзя — неприятностей не оберешься, в дисциплинарный день потянут к начальнику цеха, а там, глядишь, и премия улыбнется. Пришлось точить «стаканы». Алексей только усмехался, поглядывая в его сторону: ничего, голубчик, ты и на этом деле не промахнешься — шелкаешь, как семечки.

К концу смены у него на стеллаже возле станка стояло двадцать шесть штук, у Алексея — восемнадцать. Водолажская подошла сначала к Алексею, проверила все «стаканы» штих-массом и поставила в наряде восьмерку. Все. Он мог идти домой.

— Тебя подождать? — спросил он Нутрихина.

— Я останусь, — сказал тот. — Еще штук десять выдам де-тишкам на молочишко.

На следующий день он дал тридцать пять «стаканов», еще через день — сорок. Больше двух норм! У входа в цех была вывешена «молния»: девчонки из цехкома расстарались, не пожалели ни бумаги, ни красок. Когда они шли на обед и проходили мимо «молнии», Нутрихин подмигнул Алексею:

— Как пишут в газетах — прочная рабочая слава. Так сказать, моральный стимул.

— А что? — спросил Алексей. — Должно быть, приятно.

— Приятно, брат, в бане мыться и еще — в ведомости расписываться. А если подумать, все это пшено, для начинающих.

— А ты никогда не мечтал клад найти? — серьезно спросил его Алексей. Нутрихин недоуменно поглядел на него: какой еще клад? — Ну, обыкновенный. Золотишко, бриллиантики...

— Опять ты за свое! — досадливо отмахнулся Нутрихин. — Тебе-то что: папа-мама, никаких забот-хлопот. И давай кончим говорить на эти темы. Я знаю, по цеху уже слухок пополз, что Нутрихин — рвач, работает во вторую смену, чтобы побольше зашибить, а разве то, что я делаю, государству не выгодно?

— Я хочу посмотреть, как ты это делаешь, — сказал Алексей.

— Вот еще! — фыркнул Нутрихин. — Будешь смотреть — сам норму не вытянешь.

Что ж, он был прав. И все-таки Алексей незаметно глядел на часы, когда сосед ставил на станок очередную заготовку. Его движения были точны и стремительны. Очевидно, он придумал что-то и поставил другой резец — да, наверно, в этом-то и было все дело. В технологии инструмент не был оговорен, стало быть, Нутрихин имел право придумать что-то свое. Значит, сегодня в столовой он просто темнил. Алексей усмехнулся: глупо. И снова незаметно глядел на часы, когда Нутрихин снимал со станка готовую деталь. Еще не догадка, смутное подобие догадки мелькнуло и исчезло. Он просто отогнал от

себя мысль, которая самому себе показалась гадкой. Он выключил станок и подошел к Нутрихину.

Нет, резец был точно такой же, как и у него. Алексей глядел, как мягко течет стружка, — Нутрихин стоял рядом, вытирая руки, его лицо было спокойным, даже чуть насмешливым: пожалуйста, смотри, учись, мне не жалко.

— Не выходит, — сказал Алексей. — Я по времени засекал. Не выходит у тебя сорок. По времени ты почти две смены должен отстоять.

— Это ты в уме решал? — спросил Нутрихин. — А ты на бумажке попробуй. По Малинину и Буренину. Давай топай отсюда.

Он был уже не насмешлив, Нутрихин. Глаза у него сузились и стали злыми, и странно было видеть, как на круглом лице, возле губ, появились жесткие складки.

После смены он снова остался в цехе.

— Чего ты раздухарился? — спросил его Алексей. — Ну, если сам умеешь, не темни. Я тоже останусь.

— Если нечего делать — оставайся, — равнодушно ответил Нутрихин и, казалось, даже забыл о том, что Алексей стоит рядом. Но его равнодушие было наигранным, это Алексей почувствовал сразу. Он снова поглядел на часы. Потом вернулся к своему станку, достал из шкафчика тетрадку в клеточку, вырвал страницу и начал считать.

— Вот, — сказал он, протягивая листок Нутрихину. — По Малинину и Буренину.

Тот даже не взглянул в его сторону.

— Ты слышишь?

Нутрихин повернулся к нему резко, всем корпусом; глаза у него стали совсем щелочками.

— Слушай, ты! — сказал Нутрихин. — Тебе что, больше всех нужно, что ли?

— Ну а если нужно?

Теперь он был уверен в своей правоте. Ему даже подумалось: как все просто! Так просто, что сразу и не догадаешься. Конечно, он не работает две смены! Когда ему закрывают наряд, он ставит на стаюк уже принятые «стаканы» и «пропыливают» клеймо БТК — минутное дело, а потом, утром, сдает эти же «стаканы» по второму разу.

— Ладно, — сказал Нутрихин. — Сколько?

— Что сколько? — не понял Алексей.

— Сколько возьмешь?

Алексею захотелось крикнуть. Крикнуть и наотмашь ударить в это круглое лицо с колючими прищуренными глазами, а там будь что будет. Надо было сдержаться. У него от злости все похолодело внутри.

— Сам скажешь, или мне сказать? — спросил он.

— Да говори, сволочь, выдавай своих! — крикнул Нутрихин.

Но Алексей уже успокоился. Это произошло как-то сразу, будто крик Нутрихина вернул ему прежнее самообладание. — И «молнию» сорви, — тихо сказал он.

8. СЧАСТЬЕ НИКОЛАЯ БОЧАРОВА

Если бы Николая Бочарова спросили, счастлив ли он в свои сорок пять лет, он ответил бы не задумываясь: да, счастлив. Но на следующий вопрос — в чем же его счастье? — он вряд ли смог бы ответить сразу. Просто он никогда не задумывался над этим. Семья — Вера и Алешка — сами по себе были счастьем. Работа, которая изматывала его иной раз так, что в пору было добраться до подушки, тоже была его счастьем. Уходя в отпуск, он отдыхал дней пять, неделю от силы, а потом начинал скучать по работе, по цеху и еле дотягивал до конца отпуска.

Он понимал, что должность начальника участка — предел, за который ему уже не переступить, но это ничуть не огорчало его. Он даже шутил насчет «последнего руководящего звена»: министр жмет на начальника главка, начальник главка на директора завода, директор завода на начальника цеха, начальник цеха на начальника участка — и все, и больше жать не на кого.

Правда, были еще мастера, но они не радовали его. Все, по сути дела, мальчишки, только-только из института, производства не нюхали, за ворота смотрят: отработать бы скорее свои три года и куда-нибудь в КБ или институт. Воспитатели из них, конечно, никакие. Когда он рассказал одному мастеру о том, что натворил Нутрихин, и спросил, что делать, — тот пожал плечами. Церемониться нечего: дать на всю катушку — и выговор, и премию снять, и тринадцатой зарплаты лишить в конце года и... Бочаров остановил его. Разумеется, во все незачем гладить Нутрихина по головке. Но его покорило это «на всю катушку». Ведь проще простого «на всю катушку», да чтоб другим было неповадно впредь, а человек-то озлобится... Как бы там ни было, решительный разговор с Нутрихиным он мастеру не доверил, поговорил с ним сам и распорядился насчет вычетов и премии. И видел — ничего Нутрихин не понял и на Алешку будет теперь глядеть волком. Но один ли он такой! Этот хоть работает, деньгу гонит, а есть и «сачки», с которыми тоже возни по горло. Приходит какой-нибудь «сачок» и просит отпустить его: «Теща померла». — «Погоди, она же у тебя два месяца назад померла». — «Разве? Так то была не моя теща».

А людей не хватает, коэффициент сменности на станках самый низкий по заводу. Диспетчерская служба работает с перебоями и не добивается полной комплектации полуфабрикатом... Иной раз подводят технологи: они обязаны давать «осведомлюхи» — технологию по станкам на две-три недели.

а на крупные станки до месяца, но можно по пальцам пересчитать, сколько раз было так, как требуется... И если кого-то подобрали на улице пьяным и отвезли в вытрезвитель, и если кто-то запорол деталь — «шприцуют» его, Бочарова, хотя он и деталь не порол, и в пьянке не участвовал!

И все-таки он считал себя человеком счастливым.

Может быть, потому, что он испытывал постоянное ощущение собственной нужности. Это ощущение было давним, с тех уже далеких четырнадцати лет, когда он пришел на завод учеником токаря и потом все четыре года войны точил корпуса мин. Это было нужно. И еще нужно было помогать Анне Петровне и Кире копать огород, без него они не справились бы. И нужно было, отработав смену, идти разбирать развалины после бомбежки. И нужно было делать еще десятки других дел, которые все вместе и назывались коротким словом — жизнь.

Особенно остро он испытал это ощущение собственной нужности год назад, когда совершенно неожиданно в заводском Доме культуры устроили его юбилей: тридцать лет на заводе. Тогда он даже немного растерялся — от цветов, от речей, от заметки в областной газете, которая называлась «Юбилей молодого человека», и от поцелуев. Особенно тронул его какой-то незнакомый парень из монтажного отдела, который сказал, что вот он монтирует машины по всей стране, а в каждой заложен и его, Бочарова, труд. Да, так оно и было, конечно, на самом деле. Просто он прежде не очень-то задумывался над тем, что в воздухоудушках и компрессорах, которые увозят в Сибирь и Среднюю Азию, на Север и строящиеся заводы Юга, есть и его, бочаровская доля.

А потом уже дома (что греха таить) он хорошо выпил со старыми друзьями и сидел на диване в обнимку с Борькой Коганом, гладил его по лысине и вздыхал: а ведь какая шевелюра была! А помнишь, как начинали? Они начинали почти одновременно. Борька пришел на завод годом позже...

(Дома у Когана на специальной полочке лежал обломок кирпича с налипшими к нему серыми кусками цемента. Когда была бомбежка, они не могли выйти с завода, забились в щель, открытую во дворе, а потом Борька ушел и вернулся с этим обломком разрушенной сапожной мастерской, где была и маленькая квартирка Коганов. Он посидел за этот день.)

С возвращением Алексея в доме появилась какая-то смутная, безотчетная тревога; разговор с сыном ничего не дал; часто Алексей исчезал на весь вечер, на ходу чмокнув отца и мать. «Не ждите, у меня ключ, ужин разогрею сам». Вера возвращалась с работы поздно — она заведовала секцией верхнего платья в центральном универмаге, и, если не передавали ничего интересного по телевидению, Бочаров шел встречать жену.

Он ждал ее в скверике напротив универмага, и всегда нетерпеливо, даже чуть волнуясь почему-то, и облегченно вздыхал, когда в больших стеклянных дверях показывалась тонкая фигурка Веры (как-то раз он встречал ее вместе с Коганом — просто тот пошел прогуляться, они столкнулись здесь, в скверике, и Коган, искоса наблюдая за Бочаровым, вдруг удивленно сказал: «Ты как влюбленный мальчишка на свидании»).

В этот день, вернее вечер, Бочаров пошел в скверик к универмагу. Вера вышла в начале десятого. Он поцеловал жену, взял ее под руку, и она тревожно спросила:

— Алешки снова нет дома?

— Ушел, — сказал Бочаров. — Если ты не очень устала, давай заглянем на полчаса к Борису.

— Зачем? — спросила она.

— Я больше не могу так, — признался Бочаров. — Видеть, что с парнем что-то происходит, и не знать, что именно... Может, Эдька знает? Нет, я понимаю, что это не очень-то прилично, — торопливо добавил он, — но с Эдькой он мог поделиться...

— Зайдем, — согласилась Вера. — Только...

— Что только?

— Я сегодня думала: зря мы с тобой так нервничаем. В конце концов, он уже совсем взрослый. Ну, может быть, любовь...

— Он два года в глаза не видел ни одной девушки!

— Есть почта. Там рядом было какое-то село...

— Любовь по почте? — усмехнулся Бочаров.

Вера улыбнулась и, повернув голову, поглядела на него.

— Ну, — сказала она, — любовь-то к людям приходит повсякому.

Конечно, Вера права, думал он, и я зря так нервничаю. Но дело ведь даже не в том, есть любовь у Алешки или нет. Совсем не в том дело! И в любви человек должен как-то проявлять себя — иначе говоря, жить полной жизнью, о чем-то мечтать, чего-то добиваться... Алешка же совсем бездумен. Работа — и все. А потом вечерние отлучки. Не может человек отдавать свои восемь часов работе только ради того, чтобы получать зарплату.

Дверь им открыл Коган в расстегнутой пижаме, из-под которой виднелась густо покрытая волосами грудь, и Бочаров усмехнулся:

— Прикрой срамоту-то. Женщина все-таки...

— Ничего, — ответил Коган, — пусть видит, как должен выглядеть настоящий мужчина.

Он втащил их в комнату.

— Садитесь и сидите. Будем пить чай. И не спорить! А, собственно, чего вы приволоклись на ночь глядя?

— Так, — сказал Бочаров. — Соскучился без тебя.

Днем они здорово поругались. Коган принес задание на

координатно-расточный станок, это была срочная работа для другого цеха, и Бочаров отказался ломать график. Коган кричал что-то насчет местнической ограниченности.

— Со мной не надо вертеть вола, — сказал Коган, верхом усаживаясь на стул. — Ну? Не теряй время, это единственное, что не возвращается.

— Твой Эдька дома? — спросил Бочаров.

— У него приятель и какая-то девица. В отличие от нас, нормальных людей, они, кажется, пьют сухое вино. Ты пришел к Эдьке? Сейчас я вытащу этого шалопаю.

— погоди, — остановил его Бочаров. — Неудобно все-таки, если он не один.

— Ерунда! — вскинулся Коган. — Идем. Все надо видеть своими глазами.

Он выволок за руку Бочарова в коридор, крикнул: «Эдик, к тебе!» — и толкнул дверь в соседнюю комнату. Там было трое, и Бочаров как бы сразу увидел всех: Эдик в кресле у окна, его гость и гостья на тахте.

— Здравствуйте, — смущенно сказал Бочаров. — Ты извини, можно тебя на минутку?

Он успел разглядеть и того парня, и девушку. Парень был красив, очень красив, и брови вразлет, и твердый подбородок, и даже трубка, которую он курил, неожиданно шла к этому молодому лицу. Девушка же показалась ему ничем не примечательной — разве что только большие, нет, пожалуй, огромные серые глаза, удивленно взглянувшие на него, — вот и все, что он мог вспомнить потом.

— Извините, — сказал гостям Эдька, поднимаясь и выходя в прихожую. Он тоже был удивлен: зачем вдруг понадобился отцовскому товарищу.

— Слушай, Эдька, — мучительно подбирая слова, сказал Бочаров, когда дверь была прикрыта, — я, собственно, к тебе зашел... Понимаешь, какая тут штука... Ты когда в последний раз видел Алешку?

— Алешку? — переспросил тот. — Позавчера. А что?

— Да тут вот... — он никак не мог сразу найти верный тон разговора. В том вопросе, который он собирался задать, ему мерещилось что-то стыдное. — Мы с матерью очень волнуемся за него. Он ничего не рассказывал о себе?.. Ну, не делился с тобой?..

Все это Бочаров говорил, стараясь не глядеть на Эдьку.

— Ничего. Так, про работу говорил, я его спросил, не собирается ли в институт, вот и все. Как-то у нас с ним и разговора-то не получилось.

— Где вы встретились?

— Случайно, возле института.

— Возле института? — механически переспросил Бочаров.

— Да что вы волнуетесь за него, дядя Коля? — фыркнул Эдька. — Он же самый железобетонный.

— Спасибо, — сказал Бочаров.

Коган уже ташил его на кухню пить чай, крикнул:

— Вера, тебе отдельное приглашение?

Вера вышла. И тут же в прихожую вышли гости Эдика. Он пытался их задержать, но парень, попыхивая трубкой, сказал:

— Нет, брат, пора. Лидочка еще маленькая, а детям самое время бай-бай.

И снова Бочаров увидел эти огромные глаза. Девушка смущенно улыбнулась, должно быть оттого, что этот парень назвал ее ребенком.

— До свидания, — сказала она всем.

Эдька вышел вслед за своими гостями.

Коган сердито прикрикнул на Бочаровых, — да пойдете ли вы, полуночники, чай пить? — и Бочаров протянул ему руку.

— Как-нибудь в другой раз. Действительно, уже поздно.

— Псих! — сказал Коган. — Совершенный псих. И ты, и Вера — два ненормальных психа! «Ах, с Алешенькой что-то происходит!» Да ни черта с вашим Алешенькой не происходит! Единственный нормальный человек в вашей семье, и не мешайте вы ему жить, два идиота! Не хотите чаю — валийте, я буду ложиться. Курицы, вот вы кто!

Это он выкрикнул, когда Бочаровы уже вышли на лестничную площадку.

Как глупо! — думал Бочаров. Конечно, ни к чему было приходить сюда. Конечно, два психа, две курицы, Борька прав.

Внизу, на улице, Эдька стоял со своими друзьями. Когда Бочаровы вышли, все трое замолчали и разом повернулись к ним. И снова Бочаров на какую-то секунду задержался взглядом на глазах девушки: в сумерках они, казалось, были еще больше, чуть ли не в пол-лица. Он никогда не видел таких глаз...

И не заметил, что девушка разглядывает его и Веру с откровенным, неприкрытым, даже, пожалуй, жадным любопытством.

Самым удивительным оказалось то, что Алешка был дома, и стол накрыт — он ждал родителей к ужину. Как ни был раздосадован Бочаров, он не смог не рассмеяться, когда Алешка ворчливо спросил: «Где это вас носит так поздно?» Мать — та даже охнула, впрочем, тут же не без ехидства заметив, что этот вопрос последнее время чаще задается ему, Алешке.

Но в этот вечер Бочаров все-таки успокоился. Хорошо было сидеть вот так, втроем, всей семьей, вновь ощущая ее привычную прочность, хорошо было, что Алешка бегал на кухню за чайником, хорошо было, что он ждал и, видимо, волновался за пропавших родителей, — ей-богу, хорошо!

— Мы зашли к Коганам, — объяснил Бочаров. — Ты с Эдькой как? Встречаешься?

— Виделись, — уклончиво сказал Алешка.

— Вы же дружили все-таки.

— Теперь у каждого свое, — ответил Алешка. — Кстати, звонила тетя Кира.

Это «кстати», сказанное совсем некстати, было понятно Бочарову: просто Алешке хотелось резко перевести разговор. Так зачем звонила тетя Кира? Алешка пожал плечами: обычная вечерняя поверка — как мы да что мы. Мать сказала, собирая со стола посуду:

— Я обещала ей подобрать хорошее пальто, нам привезли английские, совсем забыла...

И пошла звонить Кире. Через раскрытую дверь был слышен ее голос: «Да, коричневые, реглан... Так ты забеги завтра... Прямо ко мне... А Владимиру Владимировичу ничего не надо? Ну, до завтра».

Алешка неожиданно спросил:

— Почему мать называет дядю Володю Владимиром Владимировичем?

Бочаров, уже уткнувшийся в «Неделю», ответил рассеянно, впрочем чуть помолчав, прежде чем ответить, — и от Алешки не скрылось, что рассеянность была наигранной.

— От большого уважения, должно быть.

В эту ночь все переменялось. Вера, страдавшая бессонницей, заснула почти сразу — снотворное помогло ей, — а Бочаров никак не мог заснуть. Он слышал, как похрапывает Алешка, — вот уж настоящий мужичок! — слышал, как по улице проходят поздние машины, как стучит дверца лифта — вернулись соседи; потом радостно тьякала их собачонка, встречая хозяев... Редкие ночные звуки не проходили мимо него, но и не мешали ему. Неожиданный Алешкин вопрос потянул за собой прошлое, ничуть не поблекшее с годами в его памяти.

Он мог только удивляться тому, как человеческая жизнь — в данном случае его собственная — подвержена случайностям, и порой счастливым. Должно быть, счастливым был тот день, двадцать два года назад, когда его кандидатуру выдвинули в народные заседатели...

Две недели он должен был провести в суде. В основном слушались дела о разводах, и это угнетало его. Одна за другой перед ним проходили несчастливые семьи, которые уже было не склеить, и все там было: слезы, упреки и злость, доходящая до ярости, до ненависти когда-то любивших друг друга людей. Этого он не мог понять. Ему было странно, дико само противоборство этих людей. Чаще всего причиной разводов была водка, выпивка с друзьями, и Николай Бочаров содрогался, вспоминая старшего Силина.

Прошло несколько мелких уголовных дел. И снова он пытался разобраться, как это человек мог совершить кражу. Та история, когда сам он, науськанный и напуганный старшими,

забрался на чердак силинского дома, не вспоминалась даже. Здесь первопричиной всех краж опять-таки была водка, стремление к выпивке — это как-то и что-то объясняло ему, но все равно вызывало в нем отвращение. Отвращение — и еще жалость. Он спорил с судьей относительно приговоров. Пожилая женщина, судья, не в пример ему много повидавшая на своем судейском веку в стенах этого скорбного и сурового дома, сказала ему в сердцах, не выдержав:

— Вы слишком добрый человек, Бочаров, и хорошо, что через неделю придет другой заседатель вместо вас. Но кроме вашей доброты, защищающей преступников, к счастью, есть еще доброта государственная — она защищает от преступников всех других людей.

И вот перед судом стояла девушка, совсем девчонка, тоненькая, бледная, неважно одетая и такая испуганная, будто за столом, возвышаясь над ней, сидели не судьи, а палачи, которые непременно вот сейчас, сию секунду должны убить, уничтожить ее. Она словно бы не понимала, что с ней происходит, и даже не с ней самой, а с каким-то другим человеком, который по ошибке или нелепой случайности носит ее имя и фамилию — Вера Комарова. На все вопросы она отвечала так, будто ей приходилось вспоминать, как произносится то или другое слово, но и те, которые она вспоминала, были односложными: «да», или «нет», или еще — «я не виновата», их она повторяла часто и невпопад.

Из материалов следствия явствовало, что Вера Игнатьевна Комарова, 1933 года рождения, член ВЛКСМ, совершила постоянные хищения в буфете столовой № 25. Общая сумма хищений составляла около двадцати тысяч рублей. Николай смотрел на эту девушку и снова пытался понять, как она могла...

— У меня есть вопрос, — сказал он. — Расскажите, как вы живете? Ну, родители, семья...

— Мама... — вспомнила очередное слово Вера. — В деревне.

— Вы помогаете ей?

— Она... мне...

— Где вы живете?

— Снимаю...

— Зачем вы приехали сюда из деревни?

— Учиться.

Каждое ее слово приходилось ждать долго. В конце концов Николай все-таки узнал, что в техникум Вера не попала, в деревню не вернулась, пошла по объявлению работать в столовую, и вот — суд.

— Как же вы принимали помощь от матери, если сами присвоили двадцать тысяч рублей? — спросил ее другой народный заседатель.

— Я не присваивала.

— Кто же тогда, по-вашему, присвоил?

— Не знаю.

Судья была мрачной. Один за другим пошли свидетели, и вот тогда Николай скорее почувствовал, чем понял, что здесь что-то не так. Свидетели — те же работники столовой — жаллись, мялись, что-то недоговаривали. Выступала заведующая столовой — красивая, хотя грузная, с циклопическими формами — и рассказывала, каким образом Вера совершала хищения. Он глядел на Веру: она сидела уставившись в пространство своими обезумевшими от ужаса глазами, и, казалось, не слышала ни одного слова, которое произносилось здесь.

Вдруг судья резко поднялась и объявила перерыв в заседании. Вместе с ней Николай прошел в совещательную комнату. Судья закурила, нервно чиркая и ломая спички.

— Ну, что вы думаете обо всем этом? — спросила она его и другого народного заседателя.

— Что-то здесь не так, — сказал Николай.

— Здесь все не так, — сердито сказала судья. — Следствие проведено наспех, нам передали не материал, а черт знает что. Она работает полгода, вот и прикиньте на бумажке, сколько же она должна была красть в день, — не получается. Ничего не получается. По-моему, девчонку просто подсунули под суд. Свалили на нее все грехи, а она слова не может пролепетать в свою защиту. Кстати, вы заметили, как одета эта заведующая столовой?

— Нет, — признался Николай. — Не заметил.

— Она еле втиснулась в старое платье, — усмехнулась судья. — Какое желание выглядеть беднее!

— Что же в таком случае делать?

— Вернуть на допрос, — пожал плечами судья. — Девчонка эта, Комарова, дала подписку о невыезде, она есть в деле... Не могла она, понимаете, физически не могла хапнуть столько за полгода!

Дело вернули, а Николай потерял покой. Два дня он ходил как помешанный — Вера Комарова, напуганная до полусмерти, не шла из головы. Он помнил ее адрес. Он не имел права делать этого, но на третий день не выдержал и поехал к ней.

Ему пришлось долго плутать по дворам, прежде чем он нашел узенькую и крутую, как корабельный трап, лесенку, на которой остро пахло кислой капустой и кошками. Дом был старый, и двери в нем тоже были старыми, облезшими, со множеством табличек и звонков. Лишь на той, которая была ему нужна, оказалась одна табличка и один звонок: «П. А. Чуфистов». Николай позвонил. Дверь открыли не сразу. Немолодая женщина глядела на него строго и подозрительно.

— Вы к кому?

— Здесь живет Вера Комарова?

— Нету дома.

— Я могу ее подождать?

— А вы кто будете?

— Я из суда. Мне надо поговорить с ней.

— Проходите, — посторонилась женщина. — Вот сюда проходите.

Он прошел в узенький, темный коридорчик, потом в комнату, заставленную мебелью, тесную и неудобную. Там сидел мужчина в меховой безрукавке и что-то писал. На секунду он вскинул на Николая глаза и снова уткнулся в бумаги.

— Садитесь. Она скоро придет.

— Как она чувствует себя?

— А вы что, доктор, что ли? Сами-то под судом небось не были, чего ж спрашивать.

Этот мужчина разговаривал с ним грубо, и Николай не понимал — почему? Пришлось сидеть и молчать. Но хозяин дома тут же нарушил молчание:

— Значит, говорите, из суда? Я-то сам прийти не могу на суд, безногий я, а протезы в ремонте — вот, написал тут, почитайте.

Он протянул Николаю листки бумаги. На первом в верхнем углу было написано: «... от кавалера 3-х степеней ордена Славы, члена партии с 1929 года П. А. Чуфистова».

— Читайте, читайте!

Это было не заявление. В письме Чуфистова каждое слово было как крик. Он писал о Вере, как может писать разве что только родной отец, защищающий от несправедливости своего ребенка. Он писал о ее доброте, о том, как она вошла в его семью и как помогала в трудные дни болезни — его и жены, — как берет в доме белье в стирку, за плату конечно, потому что девчонке и приодеться хочется, и сходить куда-нибудь, и в деревню гостинец послать к празднику. И какие там двадцать тысяч, когда у нее два платишка да кофта шерстяная, зимой ходит в демисезоне, а обуви две пары, считая босоножки. Он, Чуфистов, бывший политработник, он знает людей, слава богу, всяких повидал, и утверждает, что девчонку оболгали, обвели вокруг пальца другие, настоящие ворюги, которые оказались в тени.

Письмо было адресовано в ЦК КПСС.

— Вы пока обождите с этим письмом, — сказал Николай. — Дело-то ведь возвращено на следствие.

— На следствие! — усмехнулся Чуфистов. — Будут они доследовать, как же! Честь мундира не захотят пачкать. Вы что, с луны свалились? Я-то уже послал одно письмо горпрокурору и одно комиссару милиции, и то не очень-то верю, что подействует. Нет уж, лучше сразу в ЦК, так-то оно будет верней.

В прихожей стукнула дверь — Николай обернулся на стук.

Вера вошла в комнату, и он сразу увидел, что девушка стала еще отрешеннее, чем была там, на суде. Она даже не заметила его!

— Ну что? — спросил Чуфистов.

— Спрашивали... — тихо сказала она.

Вера стояла, прислонившись к шкафу, будто ей трудно было стоять. Николай встал и пододвинул ей стул. Она не шевельнулась. Она и сейчас не заметила его.

— Вы не узнаете меня?

Она повернула голову, как слепые поворачиваются на звук голоса. Глаза у нее не были испуганными — они впрямь казались незрячими: ее взгляд был долгим.

— Нет, — сказала она.

— Я был там, на суде, Вера, — сказал Бочаров. — Ну, народным заседателем. Не вспомнили? Мне надо с вами поговорить. Я тоже не верю, что вы взяли те двадцать тысяч. Понимаете? Не верю.

— Я не брала.

— Да, но кто-то ведь взял? Как вы сами-то думаете, кто?

— Не знаю.

— Ты пойди с ней в ту комнату, — тихо сказал Чуфистов.

Николай тронул Веру за руку, и она пошла, словно с трудом оторвавшись от шкафа.

Только там, оказавшись в крохотной комнатке, единственным своим окном упирающейся в глухую стену противоположного дома, Вера опустилась на кровать — ноги уже не держали ее. Она сидела неподвижно, и Бочарову снова стало жаль ее — жаль до боли, до острого желания схватить ее за плечи, потрясти, стряхнуть с девушки этот испуг, растерянность и ощущение близкой и неотвратимой беды, — господи, да не виновата же она! Всем своим существом он уже знал, что она не виновата.

— Вера, — сказал он. — Вы должны...

— Я знаю, — сказала она, медленно сбрасывая туфли. Потом она легла. — Я немного посплю.

Он вышел. Разговаривать сейчас с ней, конечно, было бесполезно.

И завтра, и послезавтра, и на третий, и на десятый день Николай шел сюда, к Вере. Он не мог не приходить. Чем-то поразившая его девушка с ее бедой стала такой близкой ему, что не видеть ее становилось уже мукой. Он еле дожидался конца рабочего дня. Вера не работала, сидела дома и выходила лишь тогда, когда за ней приходили из ОБХСС. Он уговаривал ее выйти пройтись — наконец уговорил. Ей было все равно, куда идти: в парк — так в парк, в кино — так в кино, обедать — так обедать. И наконец мало-помалу она начала приходить в себя, поверив Николаю, что все будет хорошо.

Однажды он, зайдя, не застал ее дома. Чуфистов хохотнул:

— В парикмахерскую побежала, понимаешь? С чего бы это — в парикмахерскую, а? — Он посмеивался, разглядывая Николая добрыми темными цыганскими глазами. — Тут за ней

утрепывали какие-то гаврики, было дело, и сюда приходили, а она запрется в комнате и молчит. А сегодня — в парикмахерскую, говорит, сходить надо.

Николай пил с Чуфистовым чай, и на душе у него было спокойно. В нем жила твердая вера в то, что все кончится, не может не кончиться добром — так оно и должно быть в нашей жизни. Чуфистов слушал его, покачивая головой, и вдруг сказал:

— А ведь ты счастливый, что можешь так думать. Я-то другие времена знавал, когда... — он недоговорил. — По-моему, ты ничего парень, правильный, я бы с тобой в разведку пошел. И то, что ты сюда не просто так, от нечего делать, ходишь, я тоже знаю и понимаю. Так вот, Николай, — он даже выпрямился на стуле и стал торжественно-строгим, — так вот, Николай, по-моему, она — драгоценность, понял? Если не сбережешь...

Последние слова прозвучали как угроза.

В тот вечер Вера впервые за все время улыбнулась, и это было удивительно — ее бледное, измученное лицо с темными кругами у глаз внезапно преобразилось, стало ясным, а там, за плотно сдвинутыми губами, оказались красивые, ровные зубы. Улыбка ее была ослепительной, иного слова Бочаров не смог бы подобрать. Они шли по улице просто так, было тепло илюдно. Николай сказал:

— Знаешь, на тебя все смотрят.

Вот тогда-то она и улыбнулась и поглядела на него долго и пристально, как бы благодаря за эти слова. Бочарову мучительно захотелось вот сейчас же, здесь, на людной улице, прижаться лицом к ее лицу.

— Верочка...

— Что?

Он остановился. Людской поток обтекал их.

— Верочка, что бы ни было... Понимаешь, что бы ни случилось...

— Идемте, Коля, — попросила она.

И вдруг ее слово прорвало. Казалось, все, что замерло в ее душе за это тяжелое время, сейчас выплескивалось сбивчиво и неупорядочно.

— Вы сами не понимаете, что говорите. Кто я? Зачем вам я? Вы же не должны, не имели права прийти ко мне, верно? Мне кажется, я вас сто лет знаю, всю жизнь. Вы какой-то не настоящий, таких вообще нет. Не перебивайте... Меня все равно осудят, я знаю, а вы-то при чем? Вы для меня все сделали, что могли. Самое главное — поверили, что это не я брала те деньги.

— Не я один поверил.

— Вы! Вы особенно...

Теперь уже остановилась она и, приподнявшись на цыпочки, поцеловала Николая в губы. Что ей было до людной

улицы! Вера сделала то, что хотел сделать и побоялся сделать он, Бочаров.

— Вот. А теперь идите. Идите, Коля, не надо меня провожать.

Он не мог отпустить ее сейчас.

— Нет, — сказал Бочаров. — Никуда ты теперь без меня не пойдешь.

— Хорошо, — глухо сказала Вера. — Идемте к вам.

Он еще не понимал ее решимости, когда они пришли к нему, в его комнату в большой коммунальной квартире, и когда Вера, сбросив туфли, села на диван. Он боялся сесть рядом и обнять девушку. Побежал на кухню, поставил чайник. У него были какое-то печенье, колбаса, сыр — можно поужинать.

— Хочешь, я останусь у тебя? — так же глухо спросила Вера. — Я останусь. Мне все равно.

И если она сегодня впервые улыбнулась, то в этот вечер впервые и заплакала. Лежала на его диване, уткнувшись в валик, и плакала — бесконечно, беззвучно, только плечи тряслись мелко-мелко.

Николай не утешал, не успокаивал ее. Он только закутал одеялом ее высоко открытые ноги и сидел рядом, держа девушку за узенькие трясущиеся плечи. Теперь он понял, зачем она пришла сюда. Ей *все равно!* Вот дуреха! Его самого охватил озноб, и понадобилось усилие, чтобы преодолеть его. Сейчас рядом с ним билось беззащитное, сломленное существо, и он был за него в ответе, и, снова выскочив на кухню, где уже вовсю кипел чайник, Николай прислонился к дверному косяку, точно так же, как несколько дней назад прислонялась к шкафу обессиленная Вера.

Когда он вернулся, Вера уже не плакала. Она лежала, отвернувшись к стене и до подбородка натянув одеяло.

— Выпей чаю, — сказал Николай, стараясь говорить как можно спокойнее.

— Не хочу.

Он снова сел на краешек дивана.

— О чем ты думаешь?

— Ни о чем. Вернее, о том, что я сплю, потом проснусь, а тебя нет. Приснился.

— Никуда я теперь от тебя не денусь, — тихо сказал Николай. — Хочешь ты или не хочешь этого. Попробуй на самом деле уснуть.

Он видел, как Вера закрыла глаза. Он думал — притворяется, но Вера уснула сразу, будто провалилась в теплый омут. Он долго сидел рядом и глядел на нее, на ее спокойное во сне лицо, потом осторожно лег рядом, скинув только пиджак и ботинки. Вера даже не шевельнулась.

Проснулись они одновременно, уже утром, и это было непонятно, удивительно, счастливо — открыть глаза и прямо

перед собой увидеть широко раскрытые глаза девушки, каких он еще никогда не видел, потому что в них были любовь, и покой, и радость — все, все было там...

Суд вела та же судья, только народные заседатели теперь были другие.

Чуфистов ошибся. ОБХСС провел на этот раз тщательное расследование. Говорили, что того следователя, который прежде вел это дело, сняли с партийным взысканием. Теперь по делу проходили трое во главе с заведующей столовой — той самой красивой и самоуверенной женщиной, но на этот раз она была похудевшей и сникшей. Судья оказалась права: эта троица пыталась свалить свои хищения на Веру, тем более что обмануть девчонку не представляло особенного труда. Теперь все они валили друг на друга, искали свое спасение, и это было омерзительно Николаю. Он сидел рядом с Верой, держал ее за руку, как ребенка, и вдруг поймал на себе взгляд судьи. Только взгляд — не ее обычный, строгий, даже суровый, а ласковый и добрый, и, смутившись, отпустил Верину руку.

Но потом все как-то разом перевернулось, и оказалось, что Вера, хотя она и копеечкой не попользовалась из краденых денег, допустила преступную халатность, и за это придется отвечать. Судья опять была строгой и резкой, резкой до грубости, как казалось Бочарову, и у Веры снова было испуганное лицо. Год условно — гласил приговор. Тем же троим дали на всю катушку, и, конечно, с конфискацией. И она снова плакала, уткнувшись в грудь Чуфистову, который пришел на суд при всех своих орденах и медалях, — но на этот раз слезы были уже легкими...

Прямо из суда они пошли домой, к Вере. Чуфистов шел с ними, тяжело передвигая протезы. Конечно, можно было бы схватить такси, но он отказался. Ему хотелось пройтись, засиделся дома. Оказалось, он просто тянул время: его жена готовила праздничный обед. Чуфистов сам зашел в ресторан и взял две бутылки шампанского — кутить так кутить, тем более по такому поводу сам бог велел выпить. Николай заикнулся было насчет коньячку, и Чуфистов расхохотался: ай да положительный. Верно, давай валяй коньячку, песни петь будем! А деньги-то у тебя есть? У Николая были деньги. Тут же, в ресторане, он купил бутылку самого дорогого, — и Чуфистов неодобрительно покосился на Бочарова: ишь разгулялся купчик! Но сам-то был доволен выше головы тем, что сегодня будет славная выпивка.

— Колюшка, — спросила Вера, — ты какой сыр любишь? Я возьму нам на ужин...

О том, что он женился, Бочаров сказал Силину на следующий день после загса и пригласил его с Кирей зайти познакомиться с женой, посидеть вечерок. Стол решено было накрыть уже у него.

— Кто же она? — спросил Силин. — Ты лихо ее прятал или...

— Никого я не прятал, — сказал Николай. — Так уж получилось.

— Что, из наших, из заводских?

— Нет.

Пришлось рассказать Силину всю историю с самого начала. Он рассказывал и не замечал, что Силин слушает его туча тучей.

— Ты что, спятил? — тихо и яростно спросил его Силин. — Жениться на уголовнице! Хоть бы помалкивал в тряпочку, если уж влип по собственной мягкотелости.

— О чем ты? — не понял Николай. — Я ж тебе все объяснил. Она не уголовница.

— У нее судимость.

— Ну и что?

— Если закрываешь дорогу себе, — сказал Силин, — уволь меня хотя бы даже от знакомства с нею.

Этот тяжкий разговор происходил в кабинете начальника цеха Силина. Владимир Силин получил цех недавно и, как всякий новый начальник, стал переворачивать работу на свой лад. Это требовало времени, Силин дневал и ночевал в цехе, и Николай на секунду подумал, что все сказанное им сейчас — от усталости, от раздражения. Лучше уйти и напомнить о приглашении ближе к вечеру.

— Значит, ты не хочешь...

— Нет. И слышать ничего не желаю. Все!

Николай грустно усмехнулся. Он знал, что нужно уйти — и не мог уйти.

— Может быть, ты вспомнишь, как одна женщина много лет назад поймала на чердаке воришку...

— Я прошу тебя — уйди, у меня много работы.

— Хорошо, — вздохнул Николай. — В конце концов, это твое личное дело.

Час спустя прибежала Кира — должно быть, Силин сообщил ей о женитьбе Николая. Она тормошила Николая, смеялась, поздравляла, спрашивала, как они устроились и не нужны ли деньги, — конечно, она сегодня обязательно придет.

— А надо ли? — глядя в сторону, спросил Бочаров.

— Не обращай на него внимания, — сказала Кира. — Разве ты его не знаешь? Все это ерунда. Главное, чтобы ты был счастлив.

Силин не пришел и тогда, когда Веру выписали из роддома. Были Кира и Чуфистовы. Полоса отчуждения, легшая между Бочаровым и Силиным после того разговора, не росла, остава-

лась такой же, но через нее не переступали ни Бочаров, ни Силин. Лишь три года спустя, когда Николай получил квартиру, Силин пришел на новоселье, и Вера, встретив его в дверях, сказала:

— Заходите, Владимир Владимирович.

...Теперь Бочаров вспоминал все это уже без прежней обиды, но думал, что Алешке вовсе незачем знать, почему мать называет его дядю Володю вот так — по имени-отчеству.

9. ОБЫКНОВЕННОЕ УТРО

С годами у Силина выработалась привычка — каждого, кто входил к нему в кабинет, встречать настороженно, подавляя в себе нетерпеливость и тревогу. И не мудрено: слишком много всякого было позади, чтобы не ожидать неприятностей в будущем, и ему казалось, что каждый идет к нему с очередной неприятностью. Даже сообщения Заостровцева — главного инженера и его первого заместителя — о каких-либо «узких местах», неизбежных на любом заводе, он воспринимал теперь не как обычное явление, а как чью-то недоработку, чей-то недомотр и начинал яриться.

На этот раз Заостровцев вообще вывел его из себя. Все самоуговоры держаться с главным инженером спокойно и дружески пошли побоку.

С утра Заостровцев принес и положил перед ним толстую папку, и Силин, не дотрагиваясь до нее, спросил, что это.

— Все материалы по реконструкции термо-прессового цеха, Владимир Владимирович.

Значит, все-таки сделал! Значит, хочет настоять на своем! Разговор о необходимости реконструкции цеха был у них полгода назад, и Силин тогда оборвал своего главного инженера: не до того. А вот Заостровцев не послушался и сидит сейчас бледный, натянутый, с поджатыми губами, готовый к чему угодно — взрыву, выговору, упрёкам. Нет уж, братец, хватит, я с тобой был вежлив! Силин встал и резко отодвинул папку в сторону, на самый край своего большого стола.

— Не понимаю, — сказал он. — У вас что, мало забот? Или это, — он кивнул на папку, — так, вечерние упражнения, вроде хобби? Мы же говорили с вами на эту тему, кажется?

— Говорили, — сухо ответил Заостровцев. — Но напрасно вы упрекаете меня в бездельи, Владимир Владимирович. Реконструкция термо-прессового — необходимость, и вы сами прекрасно понимаете это.

Каждое слово Заостровцев произносил с каким-то скрипом, и этот скрип только добавлял Силину злости.

Но еще больше его злило то, что Заостровцев был прав. Термо-прессовый цех начали строить сразу же после войны, и Силин — в ту пору комсорг ЦК — возглавлял комсомольский штаб стройки. Ходил даже в школы, разговаривал со старше-

классниками, те работали на строительстве. Об этом почине писала «Комсомолка». За этот цех год спустя Силин получил «Знак Почета».

Но оборудование в цехе тогда поставили немецкое, полученное по репарациям, и бог знает, сколько оно уже отработало до этого. С современным его не сравнить. Да, Заостровцев должен, обязан заниматься новой техникой, и наверняка в этой толстой папке все расписано как по ногам. В этом Силин не сомневался. Заостровцев — человек знающий и точный, как часы, в этом ему не откажешь.

— Что ж, — круто остановился перед ним Силин. — Придется начать все сначала. Вы понимаете, надеюсь, что построить и пустить новый цех куда легче, чем реконструировать старый?

Заостровцев согласно кивнул.

— Можем мы сейчас пойти на это? Термо-прессовый дает около пятнадцати тысяч тонн поковок в год — так?

Заостровцев кивнул снова.

— Мы связаны обязательствами с заказчиками. Сход с печей у нас пока хороший и, я думаю, долго будет таким же... Остановить цех на реконструкцию — значит лишить заказчиков поставок. Нам это и не позволят, и не простят. Весной у меня был разговор с секретарем обкома. Он прямо сказал, чтобы мы не рассчитывали на металл со стороны. Что ж, самих себя оставить без металла прикажете?

— Я предлагаю реконструкцию в две очереди, — сказал Заостровцев. — Конечно, придется побегать по министерству, не без этого. Но без поковок мы не останемся.

— Ну, хватит, Виталий Евгеньевич, — перебил его Силин. — Если вам обязательно хочется бегать — бегайте в трусиках по утрам, сейчас это модно... У вас все?

Он снова пододвинул папку — на этот раз к Заостровцеву. Жест был короткий и решительный. Силин подумал, что потом, когда-нибудь он все-таки попросит у него эту папку, но сейчас о реконструкции не должно идти и речи.

Заостровцев взял папку и положил ее на колени. Лицо у него было по-прежнему спокойным и бледным — пожалуй, чересчур спокойным и слишком бледным, — но всем своим видом он словно бы говорил: хорошо, пусть будет так, я не желаю спорить с вами, тем более ссориться. И Силин сразу же успокоился, даже внутренне улыбнулся: все правильно. Заостровцев не дурак, понимает, что против меня подниматься бесполезно. Это было именно то, чего всегда хотелось Силину и чего он добивался от всех, с кем ему приходилось работать.

Но Заостровцев прав, и, если не заняться термо-прессовым, когда-нибудь цех может крупно подвести весь завод. Силина успокаивало лишь это «когда-нибудь». До этого еще далекого «когда-нибудь» вполне достаточно времени. Вот тогда и пригодится папка Заостровцева. Наверно, обо всем этом можно да и надо было бы сказать спокойней.

— И давайте раз навсегда договоримся на будущее, Виталий Евгеньевич, — уже мягче сказал он, — не занимайтесь самостоятельностью, пожалуйста. Действительно, у нас хватает неотложных дел, чтобы мы могли позволить себе роскошь заглядывать в неопределенное будущее.

Заостровцев промолчал. Ну вот и хорошо, что промолчал. Силин поймал себя на том, что ему захотелось похлопать главного инженера по плечу: молодец, паинька...

А Заостровцев, который действительно решил не спорить с директором (в конце концов, Силин все равно настаит на своем!), сидел и думал: «Неужели он не понимает, что, если не заняться термо-прессовым, когда-нибудь цех может подвести весь завод? Или его успокаивает это далекое «когда-нибудь»? Нет, конечно, дело не в этом...»

Заостровцев знал Силина давно и не раз убеждался, что тот умеет работать не просто много, а напористо, с размахом. Так было всегда, и вдруг что-то начало в Силине меняться. Заостровцев не сразу заметил эту перемену.

«То, что директор озабочен планом, — это понятно, — думал Заостровцев. — План идет туго, и для Силина это совершенно непривычное положение. Бойся пошатнуться? План, только план, все остальное потом... Сейчас он сможет взлететь лишь с выпуском турбины. Тогда он снова будет на коне. Я плохо рассчитал и пришел не вовремя».

— А теперь, как говорили древние, вернемся к нашим баранам, — сказал Силин, садясь за свой стол. — Что с двигателем? Вы не забыли?

Он знал, что Заостровцев ничего не забывает. Недели две назад Силин распорядился найти двигатель для разгонно-балансировочной установки. Тот, который у них был, не годился, а без такого двигателя невозможно провести испытания турбины. Меж тем время поджимало, еще недели две — и будет просто зарез.

Заостровцев холодно поглядел на него через толстые стекла очков и ответил так же холодно: двигатели есть на заводе Электрооборудования в... (он назвал город). Он уже звонил туда, разговаривал со своим коллегой, главным инженером. Да, у них эта продукция не имьянниковая, стало быть вполне можно провести через отдел материально-технического снабжения министерства фондовый наряд и получить двигатель.

— Когда? — усмехнулся Силин. — До испытаний осталось всего ничего, а если я пошлю в Москву даже самого Бревдо, пройдет месяц. — Он опять начал раздражаться. — Не слишком ли поздно вы сообщили мне о негодности нашего двигателя, Виталий Евгеньевич?

— Месяц — вполне допустимый срок, — сухо сказал Заостровцев и поджал губы.

Ничего, словно бы хотел сказать он, ты давай чеховость меня, я как-нибудь переживу. Силина же бесило то, что вот еще

одно узкое место, а винить и наказывать некого. Месяц! Он не мог и двух недель дать, а Заостровцев с олимпийским спокойствием говорит — месяц! Хорошо еще, выяснил, где есть эти двигатели, все остальное уже не дело главного инженера — вернее, его дело, но тут надо браться самому, потому что месяц Заостровцева обернется месяцем нервозности.

Когда Заостровцев ушел, он сразу же записал на листке бумаги параметры двигателя, название города и, нажав кнопку, сказал в микрофон: «Бреддо ко мне». Сейчас Серафима Константиновна вызовет Бреддо, и все будет сделано. Бреддо — человек, для которого не существует невозможного.

Как и Серафима Константиновна, Бреддо был тоже его открытием, его находкой.

Он уже не помнил, откуда к нему приехал «толкач» — толстячок, открывающий в улыбке золотые зубы. И не знал, как тот изловчился окрутить, обвести, взять штурмом этот непробиваемый дот — Серафиму Константиновну, да так, что она сразу же провела Бреддо к нему в кабинет. Силин слушал его и не слышал. Его поразило, что простой «толкач» пришел сразу к нему, минуя отделы и заместителей.

— Погодите, — оборвал его тогда Силин. — У вас там, в вашей местной столице, — что? Дворец, особняк, квартира на весь этаж?

— Две комнаты в коммунальной, — улыбнулся золотым ртом Бреддо.

— Вы умеете работать, — кивнул Силин, который еще три минуты назад думал, как он разнесет Серафиму за то, что она впустила к нему этого «толкача». — Литье вы получите. Но подумайте вот над чем: вы мне нужны. Даю отдельную квартиру. Все остальное зависит от вас.

— А как же родные пенаты, земля предков? — спросил Бреддо.

— Перенести землю предков сюда не в моих силах. Можете жить в родных коммунальных пенатах.

Он сказал это так, будто уже утратил всяческий интерес к Бреддо. Даже не глядел в его сторону, но знал, чувствовал, что тот клонет, обязательно клонет, — и не ошибся: два месяца спустя Бреддо — этот толстячок-бодрячок — уже работал у него в отделе комплектации и снабжения.

Бреддо вкатился в его кабинет, семена короткими ножками, весь благодушный, весь радостный, попахивающий одеколоном, и Силин невольно улыбнулся, хотя у него еще не прошла злость на главного инженера. Бреддо не мог не вызывать улыбку. Даже сама его фамилия казалась Силину смешной: будто кто-то страдающий насморком произнес слово «бредно», да так оно и стало фамилией.

— Садитесь, Бреддо, — сказал Силин, протягивая ему через стол листок бумаги с адресом. — Выезжайте завтра. На все про все даю пять дней.

— Считая выходные? — спросил Бревдо. С директором он держался свободно и спокойно, и даже во время делового разговора мог пошутить. Силину это нравилось не всегда, по настроению. Сейчас у него было плохое настроение, и он оборвал Бревдо. Пять дней — и все! Бревдо умел угадывать состояние начальства, улыбку с его лица словно ветром сдуло.

— Понятно, Владимир Владимирович. Но...

— Я не люблю, когда говорят «но», Бревдо. Вы едете не в Москву, а прямо на завод. Вы знаете, что надо делать и как надо делать, не мне вас учить. Конечно, необходимые деньги мы не будем переводить через швейцарский банк.

Бревдо встал, аккуратно спрятал бумажку в карман и, попрощавшись, посеменил к выходу. Уже не улыбаясь, Силин поглядел на его спину, какую-то бабью, с покатыми плечами, и подумал, что операция с двигателем, которую он должен проверить, — незаконна, хотя расчет будет произведен через банк по всем правилам. И это не первая операция такого рода, но пока все обходилось. А как быть иначе? Ждать месяцами? Ведь он, Силин, не персидские ковры для себя добывает и не чешский хрусталь. Все для завода, для дела. И если уж он вынужден поступать так, то не от хорошей жизни и не по своей вине — так его вынуждают обстоятельства.

Он поглядел на календарь, там было записано: «11.30 — Бешелев». Зачем комсомольскому секретарю понадобилось к директору? Вчера он встретил Бешелева в коридоре, и тот, чуть волнуясь, попросил принять его. Сейчас было уже без двадцати двенадцать, и Силин спросил в микрофон:

— Бешелев здесь?

— Здесь, Владимир Владимирович, — ответила Серафима Константиновна.

Силин не испытывал ревности к комсомольскому секретарю, хотя несколько раз и думал, встречаясь с ним, что нет, не таким, не таким должен быть комсомольский вожак. Эта мысль появлялась от сравнения. Он невольно сравнивал Бешелева с собой — тем Силиным, который пришел сюда в сорок пятом. Сейчас он разглядывал этого худощавого, с пепельными волосами, излишне строгого парня (напускает небось строгость-то!), его ослепительно белую рубашку, хороший костюм (а я-то был в гимнастерке со споротыми погонами!).

— Что у вас? — спросил Силин, мучительно стараясь вспомнить имя Бешелева.

Тот протянул папку. Опять папка! Опять какой-нибудь проект! И опять Силин, не раскрывая папку, спросил, что там.

— Готовимся к новому году, Владимир Владимирович, — ответил Бешелев. — Думаем, прикидываем... Вот примерные обязательства комсомольцев по всем цехам.

Силин не спешил раскрыть папку — он все разглядывал, все ощупывал глазами этого молодого человека и неожиданно за-

метил, что тот отвечает ему таким же изучающим, цепким взглядом. Это было не только неожиданно, но и забавно.

— Ну, — сказал Силин, — а Губенко вы познакомили с вашими соображениями?

— Нет, — качнул головой Бешелев.

— Почему же?

Очевидно, Бешелев был готов к этому вопросу, потому что ответил сразу, не задумываясь:

— С ним я всегда советуюсь по политическим вопросам, а это — вопрос экономический.

— У вас какое образование? — спросил Силин.

— Техникум. Три курса института.

Вот теперь он немного растерялся, Бешелев! Должно быть, его огорошил этот вопрос, заданный вроде бы совсем нестати. У него даже брови приподнялись, и лицо вдруг стало по-детски растерянным.

— А кто сказал, что политика есть концентрированное выражение экономики?

Бешелев облегченно улыбнулся. Ну, это-то он знает — Ленин! И все-таки, снова улыбнулся он, пожалуй, он не ошибся, попросив директора познакомиться с планом комитета комсомола.

Силин раскрыл папку. Нет, этот парень, в общем-то, нравился ему. Конечно, к Губенко он не пошел, быть может, по каким-то другим причинам, да бог с ним, — Силину стало даже приятно, что Бешелев пришел именно сюда.

Он пробегал взглядом цифры, привычно и быстро схватывая самую суть, почти бессознательно отбрасывая то, что ему мешало сосредоточиться на главном, и, перевернув последнюю страницу, откинулся на спинку кресла.

— Конечно, это коллективный труд? — спросил Силин.

— Да, разумеется. План составлен по материалам цеховых организаций.

— Вы этим планом довольны?

— А что? — тревожно спросил Бешелев. — Там что-нибудь не так?

— Вы не ответили на мой вопрос.

Он видел: Бешелев лихорадочно думает, вспоминает каждую страницу, пытается найти что-то такое, что ускользнуло от его взгляда, — и не может. Силину стало жаль его. Зря мучает парня.

— Наверно, какие-нибудь упущения там есть, — не очень твердо сказал Бешелев, — но ведь это только проект плана. Сто раз можно подработать.

— Ничего не надо подрабатывать, — сказал Силин, захлопывая и возвращая папку. — Только покажите секретарю парткома.

Пора было поглядеть ежедневную сводку по цехам, ее уже должны были принести. Он протянул Бешелеву руку — рукопо-

жатию было дружеским, ободряющим. Но Бешелев не знал, что директор нашел в этом плане одну ошибку, — нашел и ничего не сказал, потому что его эта ошибка в какой-то мере устраивала. И потом, думал Силин, когда Бешелев уже ушел, а Серафима Константиновна, как всегда, с торжественной деловитостью положила перед ним диспетчерскую сводку, — и потом Бешелев еще не поймет, какая разница между производственной деятельностью и деятельностью в соревновании. Пусть комсомольцы перевыполняют плановые задания, хватит и этого! Он вспомнил растерянный вопрос Бешелева: «Там что-нибудь не так?» — и усмехнулся. Наверно, Бешелев еще не проходил этого в своем институте и просто не знает, что соревнование оценивается только по сверхплановому росту производительности или качества. А такой труд планировать невозможно...

Нет, в общем-то, деловой парень комсомольский секретарь. И ко мне тянется, это-то я понял сразу. Надо будет подробно расспросить о нем Губенко. И еще — рассказать Губенко о плане реконструкции термического цеха. Губенко не поддержит план, ему-то я быстро докажу, что сейчас это невозможно. Впрочем, вряд ли даже потребуется его поддержка: Заостровцев положит свой план в какой-нибудь дальний ящик, вот и все.

Силин был спокоен. Сводка оказалась более или менее благополучной. Только у Нечаева на втором участке задерживается пуско-наладочный период, и тут ничего пока не поделаешь — не хватает рабочих. Жми на Нечаева не жми, он ничего не может изменить, стало быть опять будет соответствующий разговор с заместителем по кадрам...

Что ж, самое обыкновенное утро: обыкновенные неприятности, обыкновенная крутня — все обыкновенное и привычное, без чего, кажется, уже не прожить.

И не знал, что у этого обыкновенного утра будет продолжение — не скоро, через несколько месяцев, — продолжение тяжелое и печальное...

· 10. ГОСТЬ

Бывают дни, когда неприятности валятся косяками и кажется, что нет им конца. Проходит время, все как-то успокаивается, пора неприятностей сменяется порой удач, а потом все повторяется сызнова, будто по какому-то странному, но раз и навсегда заведенному порядку.

Неприятности начались для Рогова с утра. Сводка с уборочной была не то чтобы катастрофической, но грозной: картофель собран лишь на тридцать восемь процентов, выезд студенческих отрядов, рабочих и служащих на уборку непозволительно задерживается, хотя телефонограммы райкомам были направлены неделю назад. Пришлось самому взяться за теле-

фон, и, только поговорив с секретарями райкомов, Рогов немного успокоился.

Вторая сводка — областного статуправления — тоже не порадовала его. Квартальный план выполнен лишь двенадцатью предприятиями, стало быть на ближайшем бюро надо слушать руководство остальных предприятий и стройкомбината, самому съездить в районы нового строительства. Все еще можно поправить, конечно.

Он снова снял трубку. В сводке среди прочих предприятий, не выполнивших план, значился и завод газовых турбин.

Силин не ответил. Пришлось звонить Губенко. Трубку подняли, и Рогов сразу узнал анемичный голос секретаря парткома.

— Это Рогов, здравствуйте. Что у вас происходит? Я прочитал сводку — у вас двенадцать процентов невыполнения.

— Да, верно, — ответил, подумав, Губенко. — Вы еще не говорили с директором, товарищ Рогов?

— Я звоню вам — секретарю парткома, — резко сказал Рогов. — Вы можете объяснить мне все без директора?

— Все дело в структурном сдвиге, товарищ Рогов, — торопливо, будто испугавшись резкого тона секретаря обкома, ответил Губенко. — Мы были вынуждены отдать новому цеху людей и этим ослабили остальные, а двадцать шестой цех еще не может полностью давать план. Но мы надеемся прийти к концу года все-таки с хорошими показателями.

— Надеетесь? — усмехнулся Рогов. — Вы обязаны прийти к концу года с хорошими показателями! Что вы предпринимаете для этого? Только конкретно.

— Провели по цехам партийные собрания, нацелили коммунистов на повышенную ответственность за выполнение плана.

— Между прочим, эта ответственность коммунистов должна быть постоянной. Значит, до этого она была ослаблена? Так вас понимать?

— Товарищ Рогов, — дрогнувшим голосом сказал Губенко, — вы же знаете наши условия. Перевод завода на выпуск новой продукции не может происходить безболезненно.

— Но ведь турбины еще не входят в план нынешнего года? — сказал Рогов. — А на компрессорах и воздуходувках вы должны были уже не одну собаку съесть.

— Не хватает людей, — повторил Губенко.

— Значит, сверхурочные и штурмовщина не помогли?

— Выходит так.

— Где сейчас директор?

— Приехал новый заместитель начальника главка товарищ Свиридов, он с ним. Кажется, они собирались к вам.

— Свиридов? — переспросил Рогов.

— Да. Спиридон Афанасьевич.

— Попросите, пожалуйста, Силина сразу же позвонить мне, как появится.

Он снова принялся за бумаги, еще до его приезда разложенные по папкам секретаршей.

Сводка областного управления охраны общественного порядка: тяжелых преступлений нет, двенадцать квартирных краж, ограбление продуктового магазина, два угона автомашин, сто двадцать три мелких правонарушения. Это не так-то уж много. Бывало хуже. Он читал, а мысленно все равно возвращался к разговору с Губенко. Что за человек! Так и норовит спрятаться за спину Силина.

Рогов протянул руку и, шелкнув рычажком на коммутаторе, попросил секретаршу вызвать к нему заведующего промышленным отделом. Когда тот вошел, Рогов кивнул на сводку статуправления.

— Читали?

Заведующий промышленным отделом был человек новый — инженер, на партийной работе пять лет, в обкоме недавно и, должно быть, еще не вошел как следует в дела. Рогов любил таких. Любил помогать и наблюдать, как новые работники обретают и умение, и уверенность.

Да, он читал сводку, и не только читал, но кое-что предпринял по стройкомбинату и предприятиям легкой промышленности. Основная беда на комбинате — плохая диспетчерская служба, пришлось вместе с руководством пересмотреть методику управления... Невыполнение плановых заданий на других предприятиях в основном сводится к срыву поставок смежниками. Рогов слушал его молча. Все верно.

— А завод газовых турбин?

— Там все должно войти в колею, как только кончится перестройка. Острая нехватка людей...

— Погодите, — остановил его Рогов. — Вы сами давно были на ЗГТ?

— Неделю назад.

— Встречались с Силиным и Губенко?

— Да, Георгий Петрович, конечно.

— Какое впечатление на вас производит Губенко?

Тот ответил сразу, будто давно готовился к этому вопросу:

— По-моему, слабый работник. Я бы даже сказал — очень слабый.

— Ну что ж, наши мнения совпадают. У них когда партконференция? — Рогов заглянул в свою записную книжку. — В последних числах октября, так что время подумать есть.

Он колебался — спросить или не спросить, кого можно рекомендовать на должность секретаря парткома. Спросишь — и поставишь заведомо в неловкое положение. Конечно, он пока не знает как следует заводские кадры. Лучше посоветоваться с секретарем райкома Званцевым.

— Вы, наверно, еще незнакомы на ЗГТ с людьми... — сказал Рогов и вдруг увидел, как его собеседник чуть улыбнулся.

— Наверно, вы хотите спросить, кто сможет заменить Губенко?

Рогов кивнул и поглядел на него с любопытством.

— Там есть очень интересный человек. Но, думаю, вы со мной не согласитесь.

— Кто? — спросил Рогов.

— Начальник двадцать шестого цеха Нечаев. Впрочем, вряд ли, конечно, есть смысл брать его из цеха.

— Вы что же, давно знакомы? — живо спросил Рогов.

— Мы вместе учились. У Нечаева работоспособность машины.

— А вы не можете подробнее? — попросил Рогов. Он хорошо запомнил Нечаева, и все же не потому, что встретился с ним недавно, нынешней весной. Тогда, в цехе, его поразило, как Нечаев держался перед Силиным.

— Пожалуй, я сказал о нем главное. Могу добавить, что он не даст себя подмять.

— А, — сказал Рогов, — вы тоже заметили это в Губенко?

— Ну, Георгий Петрович, это не так уж и трудно заметить.

— Хорошо, — сказал Рогов. — У вас все?

— Нет, Георгий Петрович. Еще почта.

Он протянул Рогову две папки. Рогов знал — там письма: служебные — в одной, от трудящихся — в другой, самые важные, которые отбирались для него в отделах, как это было заведено. Письма, по которым мог вынести решение только он.

Заведующий отделом ждал, и Рогов раскрыл папку. Обычно он читал их вечерами, но сейчас у него было немного времени.

Это были письма с предприятий, как раз тех, которые не справились с квартальным планом. Писали их в основном рабочие. Каждое было перепечатано уже здесь, в обкоме, на машинке, оригинал подколот к копии. Рогов читал быстро, стараясь сразу ухватить суть. Но все-таки речь в письмах, как правило, шла о мелких неполадках. Авторы не могли охватить все причины неудач. И вдруг, словно с разбегу, Рогов наткнулся на фамилию — Силин.

Письмо было анонимное. Вернее, как значилось в приписке машинистки, — «подпись неразборчива». Рогов поморщился: он терпеть не мог писем с такими вот «неразборчивыми» подписями. Обычно, когда ему показывали анонимки, он сразу же требовал: «Перестаньте заниматься трусливой литературой». Но это письмо касалось Силина, и Рогов дочитал его до конца.

«Нынешней весной в газете была помещена статья о нашем директоре, хорошо было бы, если бы его так не превозносили и не создавали культ его личности. На самом деле, почему о товарище Силине не написали, что среди рабочих он пользуется недоверием как человек грубый и считающий, что един-

ственный способ разговора со всеми — это разнос, да такой, что после работать не хочется. Почему же эту сторону его «деятельности» не осветила газета? И еще одно. Работаем мы штурмом, и просто удивляешься, как другой раз выполняем план. А за качество и говорить неохота. В июне от директора поступило в ОТК распоряжение глядеть сквозь пальцы на различные дефекты, и, какую мы продукцию выпускаем, никто не знает. Говорят, он так и сказал, что мелкие недоделки будут на местах устранять рабочие монтажного отдела. Проверьте, пожалуйста, было ли такое распоряжение, и как насчет качества?»

— Проверили? — спросил Рогов.

— Да.

— Было такое распоряжение директора?

— Прямо об этом никто не говорит, Георгий Петрович. Но я просмотрел отчеты монтажников с мест. Как правило, все работы затягивались по этой самой причине — устранение заводских дефектов. И так в течение всего нынешнего года.

Рогов подумал о заведующем отделом: нет, толковый человек, зря я отношусь к нему как к новичку. Остальные письма прочитаю после. Он сунул папку с письмами в портфель и, одной рукой застегивая ремень, сказал:

— Только, пожалуйста, не заводите разговор о Нечаеве с райкомом. У них должно быть свое мнение о кандидатуре, и, возможно, более объективное, чем наше с вами. Впрочем, — добавил он, — у меня самого о Нечаеве вообще пока никакого мнения нет.

Телеграмма из главка пришла в пятницу, и Силин, вызвав Серафиму Константиновну, распорядился забронировать место в гостинице. Его не удивило, что приедет заместитель начальника главка, — в конце концов, обычная ознакомительная поездка нового работника. Удивило, что Свиридов приедет в воскресенье. Стало быть, придется приглашать его домой. Он сказал Кире, чтобы она приготовила ужин — ну, какая-нибудь рыбка, ветчина, в «Океане» можно заказать маринованные минюги.

Кира сказала, что надо бы пригласить и Заостровцевых. Они могут обидеться, если узнают, что Свиридов был, а их не позвали. Силин поморщился. Впрочем, наверно, Кира права. За ужином, помимо всего прочего, может состояться и деловой разговор.

Утром он поехал встречать Свиридова. Он даже не думал о том, как узнает его, совершенно незнакомого человека. Есть номер вагона, этого вполне достаточно. Силин был немного раздосадован тем, что пропадает выходной: можно было бы съездить на рыбалку и закрыть сезон до января, когда на реке встанет лед. Но зато ему самому не надо ехать в главк — все вопросы они оговорят здесь.

Он ходил по платформе, курил и мысленно выстраивал сегодняшний вечерний разговор. Пожалуй, думал он, не надо начинать с каких бы то ни было просьб. Все обычно начинают с просьб: не хватает того-то, необходимо это, острая нужда в том-то. Честно говоря, главк и так дал много, даже больше того, что Силин рассчитывал получить. Вот и не надо наваливаться с просьбами, брать за горло. Должно быть, Свиридов достаточно опытный человек, чтобы все понять, когда они будут ходить по заводу. Но тем не менее кадровые вопросы неизбежны. Оргнабор не дал ожидаемых результатов, а первый выпуск ПТУ оказался всего ничего, около шестидесяти человек — капля в море! Да и те в будущем году пойдут служить в армию.

До подхода поезда оставалось минут пять. Силин не заметил, как мало-помалу платформа заполнилась встречающими. Интересно, что за человек этот Свиридов? Стороной Силин слышал: в главк его перевели из НИИ, это не очень-то хорошо для производственников — куда лучше, если бы он прежде где-нибудь директорствовал.

Платформа пестрела цветами. Силин усмехнулся: в этой толпе встречающих легко было определить, кто кого встречает. Молодые мужчины с букетами — своих жен или тещ. Парни — любимых девушек. Женщины — подруг, мам или других родственников. Без цветов стояло несколько офицеров — эти встречают генерала, никак не меньше. А Кира всегда встречает меня с цветами, что за дурацкая манера! Ей кажется, что мне приятно получать эти цветы. Просто ей приятно дарить. А заводские, которые тоже встречают его, косятся на эти венки и наверняка думают, что жена у директора чокнутая... И никак не переубедить ее!

Медленно подошел поезд. Силин почти точно определил, где остановится восьмой вагон. Он не спешил подойти к дверям. Он знал, что первыми будут выходить самые нетерпеливые, и не ошибся: кто-то кому-то махал; тут же, у дверей, целовались, мешая выходить другим; замелькали чемоданы, сумки, букеты; из вагона повалили спортсмены в одинаковых сине-бело-красных костюмах, и Силин сразу словно бы отсеивал их. Когда у выхода появился немолодой мужчина в сером костюме, со значком 25-летия Победы, Силин уверенно шагнул к нему:

— Спиридон Афанасьевич?

— Он самый. А вы — Владимир Владимирович?

Они пожали друг другу руки. Силин еще раз оглядел его — чуть рыхлое лицо с мешочками под глазами, седящие усики, и вдруг совершенно отчетливо подумал: я его где-то видел! Он мог голову дать на отсечение, что видел этого человека. И пока они шли к выходу, пока садились в машину, ехали в гостиницу, пока Свиридов заполнял гостевую карточку, Силина не отпускало ощущение, будто они когда-то виделись. Но только

лишь в номере, когда Свиридов привычно разложил свои вещи, Силин спросил его:

— Мы не могли встретаться с вами раньше?

— Могли, — весело сказал тот. — Я здесь жил и учился до войны, отсюда ушел на фронт. Знаете, я и приехал-то в воскресенье специально. Хочу посмотреть город. Должно быть, это уже чисто возрастное. Когда человеку перекачывает за полсотни, начинается тоска по молодости. Впрочем, город, наверно, уже не узнать? Пока мы ехали, я не узнал ни одной улицы.

Силину казалось, что он вот-вот ухватится за какое-то смутное воспоминание, но оно снова и снова ускользало от него. Тоже, должно быть, чисто возрастное. И все-таки он был уверен, что где-то видел Свиридова. Но выяснять это сейчас было вовсе не к месту.

Он не ошибся в своих предположениях: Свиридов действительно приехал лишь познакомиться с предприятием. Никаких других целей и дел у него не было. Сегодня, в выходной, он будет бродить по городу. Силин предложил ему машину — тот отказался. Он будет ходить пешком. А вечером — что ж, вечером он охотно зайдет к Силину, спасибо за приглашение.

— Я по себе знаю, как одиноко бывает вечерами в чужом городе, — сказал Силин, протягивая свою визитную карточку.

И все-таки — где же я мог видеть его? Силин думал об этом неотвязно до самого вечера, и попытка вспомнить была неприятной, как давняя ноющая зубная боль.

Свиридов появился часов в восемь, поцеловал руку Кире, прошел по комнате, быстро, словно одним взглядом, оглядев ее. Стол был уже накрыт. Можно звонить Заостровцеву. Но Силин не спешил.

— Как вам показался город? — спросил он.

Свиридов печально улыбнулся. Города стареют медленнее, чем мы. Конечно, он нашел многое из того, что осталось в памяти. Даже кинотеатр «Радуга» на месте — он ходил туда бесплатно, благо по вечерам контролером работала одна знакомая студентка. А вот любимой студенческой столовой нет. Была такая на углу Цветочной и Максима Горького — теперь там новое здание с гастрономом внизу.

— Я помню эту столовую, — сказала Кира. — В сорок первом в дом угодила бомба.

— Там, сзади, еще была маленькая частная сапожная мастерская, — сказал Свиридов. — Не помню фамилии сапожника, но с нас, со студентов, он брал за работу сушии гроши.

— Коган, — кивнул Силин. — Его сын работает у меня заместителем начальника цеха. Впрочем, смешно говорить — сын. Уже лысый, седой человек.

Он позвонил Заостровцеву. Сейчас войдет Чингисханша и первым делом осмотрит стол, потом начнет обхаживать гостя, да так неуклюже, так подхалимски, что впору провалить-

ся. Как-то Силин в шутку сказал Кире, что, когда приходит Чингисханша, ему хочется спрятаться под кровать.

— Да, — продолжал Свиридов, — город изменился. А вот в Липки я даже не пошел. Все новостройки похожи друг на друга. Что Черемушки, что Купчино в Ленинграде, что в Тагиле, что здесь...

— Липки сгорели тоже в сорок первом.

Пришли Заостровцевы, и разговор прервался.

Чингисханша появилась в удивительном наряде: на ней был какой-то восточный пестрый балахон до пят — вроде мешка с дырками для рук и шеи, и на шее висели монисты. Серьги в ушах оттягивали мочки. Ярко накрашенный рот, подведенные синей краской веки — все это вместе было ярким, безвкусным, и шуплый, бледный, с редкими волосами на темени Заостровцев терялся рядом с ней.

— Рада, рада познакомиться, — растягивая слова, сказала Чингисханша. Силин заметил, как в глазах Свиридова мелькнули сначала удивление, потом усмешка. — А завтра прошу к нам. У Кире слишком мало времени на кухню, она предпочитает полуфабрикаты, а я приготовлю настоящий плов и манты.

Кира покраснела. Чингисханша была верна себе. Вот так, сразу, смазать по физиономии — вполне в ее духе.

— К сожалению, приходится много работать, — сказала Свиридову Кира, оправдывая свой «покушной» стол. — А Гаэна Николаевна действительно отличная кулинарка.

— Меня обучала еще бабка, — сказала Чингисханша, усаживаясь первой. — У нас, на Востоке, даже в именитых семьях женщины не считали для себя зазорным уметь готовить. .

Сейчас она скажет, что происходит из знатного княжеского рода, подумал Силин. И что ее папа был нашим послом, и что она сама отказалась от театральной карьеры ради мужа, а иначе давно была бы народной или заслуженной. Но, видимо, она решила оставить это на потом. Да и Заостровцев спас положение.

— Вы приехали очень вовремя, — сказал он Свиридову. — Мы накануне первых испытаний, а это, по-моему, куда важнее, чем сами испытания... Знаете, как в семье обычно волнуются перед рождением ребенка? А когда он появляется на свет, все проходит и начинаются споры — на кого он похож, на папу или маму.

Силин взглянул на главного инженера — ну и длиннющая же тирада для в общем-то немногословного Заостровцева! Впрочем, говорить самому для него, наверное, единственный способ обуздать Чингисханшу. И на том спасибо...

Силин только поднес к губам рюмку с коньяком и тут же поставил ее на стол. Свиридов заметил это.

— Вы не пьете? — спросил он. — Что, сердечко?

— Я вообще не пью, — ответил Силин. — Даже на фронте не научился. Все, что мне полагалось, старшина держал в специальной бутылке. Зато начальство больше всего любило бывать именно у меня.

Разговор был спокойный, далекий от дел — такой, каким и представлял его себе Силин сегодня, встречая гостя. Он был даже рад, что возникла хотя бы такая тема, — можно побеседовать о том, что на предприятиях еще далеко не все сделано по борьбе с пьянством.

— Вы говорите об этом с такой ненавистью, — шутливо сказал Свиридов, — что мне боязно налить вторую рюмку.

— Ну что вы! — торопливо сказала Кира. — Просто у него это с юных лет.

— Да, — кивнул Силин. — У меня когда-то спился отец, и вот с тех пор...

Не надо было говорить об этом, поморщился он. Кира всегда ляпает что-то не то. Совсем ни к чему такая откровенность и такие биографические подробности. Это что-то сродни рассказам Чингисханши.

— Я видел, как спиваются и гибнут люди, — задумчиво сказал Свиридов. — Странно, но об этом я думал как раз сегодня, когда ходил по городу. Студенческие годы были трудными, и я подрабатывал на железнодорожной станции — разгружал вагоны...

Все, что он говорил потом, Силин уже не слышал. Ему показалось — здесь, в комнате, произошел взрыв, будто в окошко бросили гранату. Все задвигалось и ожило в его памяти: станция, вконец спившиеся грузчики, потом студент, столовка — ну да, та самая, любимая студенческая на углу Цветочной и Максима Горького. «В человеческом мире, как и в царстве животных, господствует только сила» — Шопенгауэр. «Я вот от своего отца публично отрекся: он у меня священником был. С таким пятном нынче далеко не продвинешься». Продвинулся!

Силин сидел, уставившись в тарелку. Нет, я никогда не видел его, заместителя начальника главка Свиридова. Я ошибся. Мало ли бывает на свете похожих людей. Мне с ним работать. Если я скажу, как мы встретились и что он мне говорил, вовсе неизвестно, как он станет относиться ко мне. Людям не очень-то приятно, если им напоминают о когда-то сказанных ими словах или делах, далеких от обычной порядочности. Мы познакомились сегодня утром на вокзале, и все! Но как странно: ведь именно он уговорил меня поехать в Москву. «Надо уметь устраиваться в жизни, парень!» Свиридов устроился. Он доктор технических наук. А ведь мне тогда было противно все, что он говорил, это я помню точно...

Дым от взрыва рассеялся, Силин поднял голову и встретился глазами с Кирой. Только бы она не брякнула, что он тоже работал на станции! Кира чуть заметно улыбнулась ему. Нет, поняла. Голос Свиридова рокотал рядом, и Силин заставил се-

бя прислушаться. Он по-прежнему рассказывал о своих студенческих годах. Ладно, есть еще одна хорошая тема для разговора — студенческие годы. И в самую пору налить гостю следующую рюмку...

Потом Кира увела Чингисханшу в спальню смотреть последние покупки, и Силин был благодарен ей за это. Кажется, сегодня обошлось без рассказов Чингисханши о папе и театральной карьере. Правда, за столом Чингисханша все-таки малость повздыхала о Москве, о том, что только там настоящая жизнь, а здесь у них — провинция, «боже мой, ни Третьяковки, ни Театра на Таганке, ни хотя бы чудесных магазинчиков в Столешниковом». Мужчины остались втроем.

— Наверно, вам стоит познакомиться не только с заводом, — сказал Силин. — Я не успел сообщить о вашем приезде секретарю обкома Рогову, но, думаю...

— Разумеется, — кивнул Свиридов. — Мне рассказывали, что Рогов очень много сделал для завода. Обязательно надо будет познакомиться. Ну, а какая программа на завтра?

— Завтра и решим, — через силу улыбнулся хозяин. — А сегодня мы пошадим вас ради выходного дня.

Вдруг Заостровцев, побледнев еще больше, сказал:

— Я хотел просить вас, Спиридон Афанасьевич, найти время и для меня. Дело в том, что... — он упорно глядел в пол, не поднимая головы, — что назрела острая необходимость в реконструкции некоторых старых цехов, в первую очередь термопрессового, но директор со мной не согласен, приходится обращаться к вам.

Это был уже второй взрыв, вторая граната, влетевшая в комнату. Но теперь Силин быстро справился с чувством оглушенности. Ему стоило труда сдержаться — впрочем, не до конца.

— Зачем вы передергиваете, Виталий Евгеньевич? — резко сказал он. — Обращайтесь хоть в главк, хоть в министерство, это ваше право. Но уж будьте добры считаться и со мной, пока все-таки я отвечаю за завод.

Свиридов мягко и успокаивающе положил руку на плечо Силина. Конечно, он найдет время поговорить с главным инженером. Но он понимает директора. Идет освоение новой продукции, завод не дотянул квартальный план, это серьезная неприятность... И разговоры на эту тему будут тоже неприятными. Так что, пожалуй, со всем остальным стоит немного подождать, Виталий Евгеньевич.

Вечер был испорчен вконец.

Силин едва дождался, когда уйдут Заостровцевы. Чингисханша все-таки сумела рассказать о своем папе-после и взять со Свиридова честное слово, что завтра он будет ужинать у них. Когда они ушли, Свиридов спросил:

— Вы не ладите со своим главным инженером, Владимир Владимирович?

— Я не признаю такого слова, Спиридон Афанасьевич. «Ладим не ладим» — это хорошо для детского садика. Виталий Евгеньевич делает то, что он обязан делать, но сейчас на него что-то нашло.

— Значит, мне показалось, — сказал Свиридов. Он прошел по комнате и остановился перед большими бронзовыми часами с Меркурием. — Уже одиннадцать, пора и домой... Я видел, как вы сдержались, когда Виталий Евгеньевич начал говорить. А может быть, не стоило бы сдерживаться, а? Часто мы распускаем людей своей сдержанностью, и тогда их уже в кучу не собрать. Я это знаю по собственному опыту.

— Ну, — усмехнулся Силин, — кого-кого, а меня-то меньше всего можно упрекнуть в том, что я распускаю людей.

Когда он проводил Свиридова до гостиницы и вернулся домой, Кира уже вымыла посуду и собиралась ложиться. Завтра с утра на работу.

— Ты, наверно, тоже устал? Опять без выходного дня.

— Я не устал, — ответил Силин. — Не жди меня, пожалуйста, ложись и спи. Я еще почитаю немного.

— Что с тобой, Володенька?

Она потянулась к мужу, хотела обнять его, но Силин отступил и махнул рукой.

— Оставь, пожалуйста, эти нежности, Кира. Мне не до них. Какого черта ты настояла, чтобы сегодня пришел этот упрямый дурак со своей намазанной бабищей? Ты не слышала — он здесь такое понес...

— Заостровцев? — недоверчиво спросила Кира.

— Да, да, он самый, тишайший Виталий Евгеньевич. И вообще...

Он не договорил. Не надо рассказывать Кире о Свиридове. Ни к чему.

— Кстати, если хочешь, Чингисханша совершенно права. Неужели ты не могла приготовить чего-нибудь сама? Купить ветчину и шлепнуть ее на тарелку я тоже умею. Черт знает что, хоть бы поучилась у кого-нибудь принимать гостей.

Сейчас он уже не сдерживался и бушевал вовсю, не понимая, что просто срывает на жене накопившуюся злость и даже если в чем-то он был прав, эта правота оборачивалась обидной для Киры несправедливостью.

Принять Свиридова и Силина Рогов не смог. Вторник — день бюро; в среду с утра он поехал в совхоз «Первомайский» на похороны. Умерла директор совхоза, член обкома, Герой Социалистического Труда, чудесная женщина, и Рогов не имел права не поехать. Похороны всегда тягостны. Не мог он не пойти и на поминки. Посидел за столом, выпил две или три

рюмки водки и незаметно ушел. Вечером он позвонил Силину домой, подошла Кира и сказала, что тот провожает гостя — Свиридова срочно вызвали в Москву.

— Жаль, — сказал Рогов. — Ну, а ты как?

— Обыкновенно. Работа, дом — никаких новостей. Это у тебя каждый день новости. Очень устаешь?

— Не очень, — сказал Рогов. — Я семижильный. Кстати, скоро увидимся.

— Я помню, — засмеялась Кира. — Тридцать первого декабря. И захочешь, да не забудешь.

Тридцать первого декабря Рогову исполнилось пятьдесят. Подарок ему уже был куплен, и, как ни странно, купил его Силин, обычно поручавший подобные дела жене. Месяц назад Вера Бочарова позвонила на завод Николаю и сказала, что к ним в универмаг привезли какие-то импортные удочки, так вот не надо ли Владимиру Владимировичу... Николай позвонил Силину, тот сразу же помчался в универмаг. Удочки оказались шведскими спиннингами «Абу», и он купил сразу два — себе и Рогову. Вещь эта была скорее красивая, чем нужная. Кира, повертев «Абу» в руках, сказала, что на такую снасть надо ловить не щук, а русалок.

— А вообще-то, стареем помаленьку, Кира, — сказал Рогов. — Впрочем, я говорю это только о нас, мужчинах. К тебе, разумеется, это никак не относится. Ты не меняешься.

— Спасибо, — грустно отозвалась Кира, — но ты просто-напросто галантен. Знаешь, кто такой настоящий джентльмен? Это человек, который всегда помнит день рождения женщины, но никогда не знает, сколько ей лет. Ты ведь тоже не знаешь, верно?

— Даже не представляю, — засмеялся Рогов. — Что-то около тридцати трех? Все это ерунда, Кира. Я часто начинаю оглядываться назад, и, как ни странно, меня это успокаивает. Хорошо, что в прошлом все было правильно, хотя и нелегко. А главное — не зря. Ты молчишь, значит несогласна со мной?

— Нет, почему же, согласна. Только все это относится лишь к тебе. Нельзя же сравнивать твою жизнь и мою. Что у меня было? Школа, институт, работа и Володька — вот и все. За сорок-то восемь лет...

— Ну, ну, ну! — сказал Рогов. — Что за декадентские настроения!

Да, жаль, что Свиридов уехал, так и не повидавшись с ним. Впрочем, с чем он уехал, расскажет Силин. Он достал из кармана пиджака, висевшего на спинке стула, записную книжку и записал два слова: «Позвонить Силину». Выше была запись: «Званцев». Он собирался поговорить сегодня с секретарем Октябрьского райкома, да вот эти похороны...

Жена позвала его ужинать. Дочь еще не вернулась из института, а может быть, сидит в кино с каким-нибудь воздыхателем. Нехрасивая девчонка, а крутит парнями как хочет.

Каждый вечер не менее трех-четырех звонков по телефону, и все разные голоса: «Будьте добры Лизу». Скоро выходить в деды — забавно!..

— Я говорил с Кирой Силиной, — сказал Рогов, садясь на кухне за стол. — Тебе привет. Славная она женщина.

— Славная? — переспросила жена. — Вернее было бы сказать — несчастная.

— Кира? — удивленно сказал Рогов. — А, ну да, конечно... Ты не любишь Владимира и поэтому считаешь, что она несчастлива. А она, по-моему, до сих пор влюблена в него, как девчонка.

Он знал, что жена невлюбила Силина сразу, едва он познакомил их, и это удивляло его. Дарья Петровна была вовсе не из тех людей, которые придумывают в других какие-то дурные качества. Это было давно, года двадцать два или двадцать три назад, когда Силин уже работал комсоргом ЦК на заводе и женился на Кире, а он, Рогов, был одним из секретарей горкома комсомола и ухаживал за Дашей. Впрочем, что значит «ухаживал»? На ухаживание у него попросту не было времени. Даша работала тогда на швейной фабрике закройщицей и была секретарем фабричного бюро ВЛКСМ. Они встречались по делам, раза два или три были вместе в театре на культпоходе. Только он, Рогов, норовил быстрее сесть рядом с ней, опережая других. А через несколько месяцев — о, как любила вспоминать это Дарья Петровна! — после заседания бюро горкома он сказал: «Все свободны, Гулину прошу остаться». Она осталась, ожидая неприятного разговора, потому что до сих пор при фабрике не были открыты ясли и молодые работницы жаловались всюду. «Вот что, Даша, — строго сказал ей тогда Рогов. — Хватит тебе быть притчей во языцех». — «Не понимаю». — «Великолепно понимаешь! Я же сам видел, как вокруг тебя всякие пижоны мухами вьются. И другие тоже видят. Плохой пример подаешь». Она еле сдерживалась, чтобы не расхохотаться. Она-то здесь при чем? «Что же мне делать?» — спросила она, и Рогов по-прежнему строго поглядел на нее: «Как это что? Выйти за меня замуж, вот и все». Так и вышла в порядке комсомольской дисциплины, говорила Дарья Петровна. Это была, конечно, шутка: она-то уже тогда любила Рогова, и он тоже любил ее, просто оба почему-то скрывали друг от друга свои чувства.

Вот тогда Рогов и познакомил Дашу с Силиным. И тогда же она сказала Рогову, что этот его друг ей вовсе не по душе. Даже больше — совершенно не нравится! Она не могла толком объяснить почему. Может быть, какое-то чутье? Рогов рассердился на жену. Чутье — самое ненадежное средство в работе с людьми. «Нравится — не нравится» — хорошо лишь в кулинарии. Володька вкалывает на заводе с утра до ночи, подумать только — за два с лишним месяца своими силами отстроили разрушенный термо-прессовый цех, еще через два месяца пу-

стыт его. «А ты заметил, как он говорит об этом? — сказала Даша. — «Я сделал, я заставил, я рсшил... Я, я, я...»

Переубедить ее было невозможно.

Сейчас, ужиная, Рогов вспомнил эту давнюю размолвку с женой и подумал, что никогда и ни к кому Даша не была так категорична в своей неприязни. Кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой — сколько самых разных людей прошло за многие годы перед ней, с какими только ни приходилось работать, но ни о ком ни разу он не слышал от нее таких уничижительных слов, как о Силине. Впрочем, она старалась редко говорить о нем, зная, как относится к нему Рогов. Все-таки друг детства.

— Плохо, что у них нет детей, — сказал Рогов. — Что-то Кира хандрит, по-моему.

— Ты совершенный младенец! — ответила жена. — Если я сказала, что Кира несчастна, значит у меня есть для этого какие-то основания.

— Какие же?

— Ребенка не хотел Силин. У них должен был быть ребенок, но он не захотел и сказал, что малыш будет мешать, а ему надо работать и учиться... Кира послушалась. Аборты тогда были запрещены. Короче говоря, потом у нее уже не могло быть детей.

— Откуда ты все это знаешь? — спросил он. То, что рассказала Даша, было для него неожиданностью, и неожиданностью неприятной. Он, Рогов, тоже работал и учился, но как они ждали тогда ребенка! И какое это было счастье — маленькая Лизка! «Лиза, Лиза, Лизавета, я люблю тебя за это...»

Жена отвернулась.

— Иногда нам, бабам, хочется поплакаться кому-нибудь тайком от мужей. Вот «счастливая» Кира и поплакалась как-то.

Рогов молча допил чай и так же молча ушел в свой кабинет. На душе было гадко. Зря Дарья рассказала мне эту историю. Что-то тяжело переворачивалось в Рогове — не то какая-то тревога, не то раздражение, и надо было заставить себя успокоиться. На глаза попалась записная книжка, и он потянулся к ней. Самое лучшее сейчас — заняться делом. Он набрал домашний номер Званцева и уже совсем спокойно сказал:

— Не спите еще, Александр Иванович? Это Рогов. Я хотел просить вас вот о чем... У нас сложилось мнение, что Губенко на ЗГТ — работник слабый, пусть возвращается на инженерную работу. Партконференция на заводе будет в конце октября, так что есть время подумать.

— Мы уже подумали, Георгий Петрович. Мы тоже считаем, что ошиблись с Губенко. Директор завода подмял его под себя, и, кажется, такое положение вполне устраивает обоих.

— У вас есть конкретное предложение?

— Есть, Георгий Петрович, и мнение секретарей на этот счет единодушное.

— Кто же?

— Начальник двадцать шестого цеха Нечаев, — ответил секретарь райкома.

11. ДУРОЧКА

Если бы Алексею предложили выбор — день не есть или день не видеть Лиду, он отказался бы от еды. Для него наступила пора, когда он не мог не видеть ее. Это чувство необходимости видеть было и сладким и мучительным одновременно. Когда после работы он ехал к институтскому общежитию, ему было страшно: вдруг Лида еще не вернулась, вдруг пошла с девчонками в кино, в библиотеку, вдруг заболела, вдруг... И вздыхал облегченно, когда она появлялась на лестнице общежития — ровно в половине шестого, как и было условлено накануне.

Это была его маленькая победа. Сначала Лида протестовала — зачем ты будешь приезжать каждый день? Потом заупрямилась и сказала, что не будет выходить, и действительно три дня кряду не выходила. Потом вышла — и будто смирилась с этой необходимостью.

В свой черед она настояла на другом: все разговоры — десять, ну пятнадцать минут. Времени в обрез, надо заниматься, читать приходится горы книг. Никаких кино. Только в выходной она согласна куда-нибудь пойти. Выходные дни стали для Алексея праздниками. Они ходили по улицам, прятались от осенних дождей в кино или музеи, сидели в стеклянном павильоне городского парка... Театры еще не работали, но Алексей уже достал программы на месяц.

Он не замечал, что временами Лида идет с ним как будто по некой обязанности. Когда он предложил ей заглянуть к нему, познакомиться с родителями, Лида запротестовала. Нет, она не хочет заходить к нему. Зачем? Это вовсе не обязательно.

— Но ведь рано или поздно это все равно придется сделать.

— Почему?

— Ну хотя бы потому, что ты будешь жить там, у нас.

Лида вспыхнула. Опять он за свое! Как он уверен в том, что именно так и будет! Она говорила резко: если хочешь, чтобы мы встречались, прекрати подобные разговоры. Алексей испугался, что они поссорятся, и согласился: хорошо, никаких подобных разговоров больше не будет. Но ведь все равно...

— Что «все равно»? — спросила Лида.

— Все равно ты будешь со мной, а я с тобой, — спокойно ответил он, и такая уверенность была в этом спокойствии, что Лида поняла: с ним бесполезно спорить, бесполезно что-то доказывать, даже ссориться. Это не человек, а скала.

Ей даже понравилось такое упорство: оно льстило, оно было приятным. Девчонки — соседки по общежитию, которые давно все приметили, — единогласно согласились с тем, что Алешка — настоящий парень, а не какой-нибудь там «поматросил и бросил», которых в нынешнее время пруд пруди. У каждой девчонки уже была своя печальная история, а то и не одна, и, грешным делом, каждая чуть завидовала Лиде.

Споры возникали, как правило, перед сном.

— Господи, — говорила маленькая рыженькая Галя Ильина, третьекурсница с математического, — ты, Лидка, совсем дурочка какая-то. Да на твоего Алешку только поглядеть — сразу видно, что и влюблен по самую маковку, и парень порядочный. Он для тебя в лепешку разбиваться будет.

— Что же, прикажете выходить замуж?

— А почему бы и нет? Институт кончишь через пять лет, пошлют тебя учительствовать бог знает куда, и ни дома, ни счастья — ничего.

— А если я его совсем не люблю?

Вот тут-то и начиналось самое главное! Девчонки говорили, не слушая и перебивая друг друга, — и все о том, можно ли выйти замуж без любви, нравственно это или безнравственно, а если безнравственно, то очень или не очень, особенно если есть к мужу уважение или благодарность. Какой там сон! Уже соседки стучали в стенку, требуя тишины, а они не унимались.

— Любовь может появиться позже, из дружбы, — доказывала одна. — Еще Герцен писал, что любовь и дружба — взаимное эхо, они дают столько, сколько берут.

— Дружба! — фыркала Галя. — Расскажите моей бабушке.

— Если тебе не везло, это вовсе не значит, что на свете нет настоящей дружбы парня и девушки.

— Может быть, и есть где-нибудь, а современному парню знаете что надо?

— Не мерь на свой аршин! Почитай у Толстого: «Если столько голов, сколько умов, то и сколько сердец, столько родов любви».

— Вот именно! У каждого по-разному. А что касается современных парней, то это ерунда. И в старину тоже были всякие! Не верите? А знаете, что писал Энгельс? «...Мне больно, что строгая нравственность грозит исчезнуть, а чувственность пытается возвести себя на пьедестал».

Лидка, из-за которой разгорались эти споры, обычно помалкивала и только слушала. Девчонки же доходили до хрипоты, каждая подкрепляла свое мнение ворохом цитат, и Лидка только глазами хлопала. Что Энгельс, что Толстой, что Герцен! Девчонки шпарили целыми верстами цитат из Ларошфуко, Стендаля, а то и из древних — ну, начитались! Ну, попробуй слово вернуть — тут тебе назад десять!

В эти споры Лидка не вступала не потому, что не могла, как они, подпереть себя классиками. Просто ей самой все было по-

нятно. То, что происходило с ней, было ясным. Она бы могла еще сказать — правильным.

Чувство одиночества, которое она испытала в первый день приезда, и та история в вестибюле гостиницы уже забылись. На смену пришло удивительное чувство новизны, и каждый прожитый день добавлял в ее жизнь что-то новое. Все было открытием. Лекции — даже они, такие непохожие на привычные школьные уроки, были открытием. И первые свои деньги — первая стипендия, после которой всей группой отправились *кутить* на проспект Мира, в «Ангину», с коктейлем и по триста граммов мороженого на каждую. И обеды в студенческой столовке, где самым вкусным были сосиски, запеченные в тесте. И еще по-школьному нетерпеливое желание, чтобы вызвали отвечать на семинаре, — все, все было вновь, все наполнялось особым, значительным смыслом.

Она никогда столько не читала, сколько в этот первый студенческий месяц, и снова переживала ощущение новизны. Ей казалось, она уже много знает, в школе все-таки кое-что проходили — и вдруг, получив обязательный список литературы на первый семестр, не поверила сама себе. Ничего не читала! «Повесть об Улиянии Осорьиной» или об Ерше Ершовиче — семнадцатый век, Феофан Прокопович — восемнадцатый, «Песнь о Роланде», и еще, и еще, и еще — то-то девчонки-старшекурсницы могут козырять друг перед дружкой своей эрудицией! Впрочем, те же девчонки и посмеивались над ней, над тем, как она зарывалась в книги. «Студент должен уметь читать по диагонали. А то и совсем не читать. Подходит ко мне Сенька Шишов из пятой группы и говорит: Расскажи коротко «Войну и мир». — «Это еще что! Сеньку спросили, кто такой *Камо грядеши*, так он и глазом не моргнул: «Армянский, говорит, писатель».

Но она все-таки читала. Возможно, это была еще забытая прилежность вчерашней школьницы, и Лида оставалась верна ей. Иначе зачем было вообще поступать в институт?

Пожалуй, чуть грустно ей стало лишь один раз, когда в выходной она гуляла по городу с Алешкой и они оказались возле Зоопарка. «Зайдем?» — спросила она. «Зайдем». Сразу возле входа, в узеньком загоне, за толстыми железными прутьями стояли бок о бок два лося. Она подошла ближе — у лосей были печальные, остановившиеся глаза и свалывшаяся, грязная шерсть на боках. «Я знаю, что ты вспомнила», — сказал Алешка. Она кивнула. Действительно, она вспомнила дорогу и лося на ней — да разве он был таким, как эти два жалких невольника? «Идем отсюда», — попросила Лида. «А тигры? Где-то здесь даже броненосец есть, вчера в «Вечерке» читал». — «Пойдем», — настаивала Лида. Он понял. Больше они так ничего и не посмотрели в зоопарке.

И остаток дня, и вечером Лида была грустна. Где-то в глубине души ожили лес, лесная тишина, шелест реки, весенние

кдики лебединых стай, посвист белки на ели, что росла возле самого дома. Впервые за все время жизни здесь, в городе, на нее словно бы нахлынули старые, добрые образы, звуки и запахи — и ей остро захотелось увидеть, услышать, почувствовать их снова, хотя бы ненадолго. Ан нет, вместо этого комната на четыре койки, недочитанная глава из новиковского «Живописца» и пять страниц домашнего чтения, которые надо *толкунуть* завтра.

Странно: в ту ночь она долго не могла уснуть. Виною тому, конечно, изначально были те самые замурзанные зоопарковские лоси. Тоска по дому — потом; а после нее пришли раздумья об Алешке.

Девчонки правы, разумеется — отличный, верный парень. И не влюблен, а любит — это разница! Она верила, что Алешка любит, и вместе с тем чувствовала какую-то свою вину перед ним... Лида пыталась понять — почему вину? Потому что не может ответить ему тем же? Ну а если действительно не может? «Просто я, наверно, еще не доросла». Девчонки — много ли они старше ее, а кое-что пережили и охотно рассказывали о своих историях. Ей же нечего было рассказывать, хотя ее и просили, очень просили, пока не пришла на подмогу рыжая Галька и не сказала: «Бросьте приставать, девочки. Она же, дурочка, наверно, и не целовалась еще ни разу».

Может быть, надо вести себя с Алешкой поласковее? Действительно, поцеловать его, что ли? Нет, тогда он совсем спит и будет ночами торчать под окнами общежития. С него станет, с бешеного.

А утром, перед лекциями, в аудитории появился незнакомый парень и объявил, что сегодня начинает свою работу студенческое научное общество и первокурсники приглашаются на открытие. Все вежливо промолчали. Парень почему-то поглядел на Лиду и спросил:

— Как я вижу, вы тоже не в большом восторге?

— С чего вы взяли? — пожала плечами Лида. — Я приду.

— И не пожалеете, — улыбнулся он. — Будем обсуждать новую работу Юрия Кричевского. Надеюсь, вы уже слышали это имя?

Нет, она не слышала этого имени.

Ей было просто интересно, потому что и это тоже было новым, еще незнакомым.

И вокруг нее были незнакомые, когда она пришла на заседание, — все старшекурсники, кто с бородками, кто с усами, — мода! В коридоре она заметила девушек, они курили, окружив высокого красивого парня, — тот стоял, скрестив на груди руки и попыхивая трубкой. До Лиды донесся приятный, сладковатый запах трубочного табака. И парень тоже поглядел на нее — внимательно, даже излишне пристально, поверх голов окруживших его девушек, словно уже не замечая и не слыша их. Лида быстро отвернулась и вошла в аудиторию. Она знала,

что краснеет, краснеет безудержно, — господи, с чего бы это? Ну, посмотрел парень, — подумаешь! — а у тебя щеки горят, до чего же глупо!

Он посмотрел на нее, входя, искал взглядом и нашел — и потом, когда сел за преподавательский столик, тоже посмотрел, будто желая еще раз убедиться, что она здесь.

Тот студент, который приходил в группу и приглашал на открытие СНО, встал рядом со столиком и серьезно, будто взвешивая каждое слово, объявил, что общество возобновляет свою работу и первым будет доклад студента третьего курса Кричевского о формировании взглядов Альфреда де Мюссе в 1830—1832 годах. Все собравшиеся слегка похлопали, и она тоже похлопала, стараясь хотя бы припомнить что-нибудь о Мюссе. Нет, она не читала, только слышала об этом французском писателе.

И может быть, поэтому ей было непонятно, даже чуть скучно то, о чем говорил Кричевский. Ей трудно было проникнуть в смысл доклада, но она понимала, что все это очень умно, и те, кто потом выступал с обсуждением, так и говорили: серьезная научная работа... А Кричевский, когда все потянулись к выходу, шагнул к ней.

— Вам не было тоскливо, девушка? — спросил он. — Мне показалось, что вы... как бы это сказать?.. ну, слушали чуть напряженно.

— Ну что вы! — сказала Лида и с отчаянной решимостью добавила: — Просто я сидела и думала, сколько же я еще не знаю!

— Ерунда, — улыбнулся Кричевский. — Знания — дело живное, не это главное. Очень здорово говорил старик Гете: «Человек должен верить, что непонятное можно понять, иначе он не стал бы размышлять о нем». Вот это и есть самое главное. Давайте закомитесь — Юрий Кричевский. — Тут же он повернулся к тому парню, который утром приглашал Лиду. — А это Эдуард Коган, знаток античной литературы. Как говорится, у него Аристофан и Еврипид от зубов отскакивают. Правда, узкая специализация, но...

Он разжег свою трубку.

Все, что он говорил и делал, было весомо, *солидно*, — Лиде даже не верилось, что это третьекурсник. Вместе они вышли на улицу. Накрапывал мелкий теплый дождь, и мокрые желтые листья липли к асфальту.

— Надо где-то пересидеть эту дрызготуху, — сказал Кричевский, поднимая воротник плаща. — Если вы не торопитесь на свидание, может махнем в «Поплавок»? Право же — тепло, уютно и спокойно...

— Махнем, — сказала Лида все с той же отчаянной решимостью. Она не знала, что такое «поплавок», но это тоже было новым, что она должна была и хотела узнать.

— Ну вот и умница! — сказал Кричевский, останавливая такси.

Было уже около пяти, и Лида подумала, что сегодня Алешка будет напрасно торчать на лестнице общежития, — да бог с ним, с Алешкой, все равно придет завтра...

Но в тот день Алексей не поехал в общежитие к Лиде.

Был конец квартала, и мастер оставил нескольких станочников на сверхурочную. Спорить было бесполезно, Алексей остался. Работа ему предстояла нудная. В цехе начали делать клепаные колеса, и с утра до вечера здесь стоял грохот: рабочие вели клепку вручную, пневматикой, а то и кувалдой. Головки срубали на станке, а остаток зашлифовали тоже вручную. Вмешались технологи и попробовали нагревать заклепки, потому что трудно «разбивать» холодный металл. Опять получилось худо: заклепка закаливалась и, едва начиналась обработка, резцы на станке летели один за другим.

Их скопилось штук десять или двенадцать, этих необработанных колес. Норма на каждое — пять часов: три на проход резца, два часа пилить. Много! Алексей вообще не любил что-то доделывать за других. Конечно, попробуй он взбрыкнуть и сказать об этой своей нелюбви, мастер был бы вправе одернуть его. Любая работа нужна, это раз, а, во-вторых, деталь не девушка и «люблю не люблю» к ней не относится.

Возможно, в нелюбви к такой работе был косвенно виноват отец. Алексей хорошо запомнил день, когда впервые вместе с отцом пошел на завод. Пропуск лежал в кармане — пусть еще временный, просто картонка с фотографией и печатью. Из дому они вышли рано — отец хотел пройти до завода пешком, — и, только оказавшись на улице, Алексей понял — почему.

Должно быть, отец давно готовился к этому разговору и волновался. Вот чудак! Сам-то он, Алешка, был совершенно спокоен. Ну, три месяца учебы, потом сдаст на разряд — всего и дела-то! Чего волноваться? Но отец волновался, и это было заметно.

— Вот что, Алешка, — сказал отец. — Я свой первый день как сейчас вижу, и ты, пожалуйста, тоже запомни.

— Первое августа одна тысяча девятьсот семьдесят...

— Не надо так, — перебил его отец. — Я с тобой серьезно говорю. Неужели ты еще не понимаешь, что это... ну, первый твой серьезный шаг в жизнь?

— Еще одна ступенька, — кивнул Алексей. Ему никак не хотелось настраиваться на серьезный лад. Торжественность, с которой говорил отец, сместила его, и он еле сдерживался. Засмеешься — отец разобидится, и не то что будет донимать упреками, а скажет по обыкновению в сторону: «Странные вы

все какие-то». И несколько дней потом будет ходить грустный. Но отец подхватил его слова:

— Особенная ступенька, Алешка! Меня, грешным делом, кое-кто укоряет — почему разрешил сыну идти на завод? Неужели не хочешь дать ему образование? Или заработков не хватает?

— А ты говори, что я сам захотел. Правда ведь.

Он знал, кто эти «кое-кто». Во-первых, тетя Кира, конечно. Во-вторых, Борис Семенович Коган. Как-то на днях он забежал к отцу, и Алексей из своей комнаты слышал их разговор на кухне. Борис Семенович не умел говорить тихо, каждое слово было слышно. «Мы с тобой — другое дело, нас война заставила мальчишками пойти на завод, а почему он хочет? Тихо, не возражай! Я не против, только я не понимаю. Тут одно из двух: или он не хочет учиться, или не может...»

Алексей только усмехнулся, прислушиваясь. Ему было тогда шестнадцать, и он думал, что ничего не успел сделать в жизни, а это неправильно: в шестнадцать Гайдар командовал полком, а отец стал токарем в четырнадцать. Ему хотелось одного: самостоятельности, и другого пути, как на завод, он не видел.

Третьей была мать. Она даже всплакнула, и, конечно, отцу пришлось ей объяснять что-то с глазу на глаз.

А теперь вот — торжественный разговор на улице, не хватает только оркестра и почетного караула: как же, Алексей Бочаров вступает в самостоятельную жизнь! Он все сдерживался, все боялся засмеяться. Настроение у него было отличное, лучше некуда. Вдруг отец спросил:

— А ты знаешь, что такое токарь?

— Догадываюсь.

— Этого еще мало — только догадываться. — Он мягко взял сына под руку. — Токарь — это, брат, и есть художник.

— Ну, ты даешь, батя!

Сказал и подумал: зря! Отец не любил ни этот его тон, ни всякие современные словечки вроде «даешь», «железно», «молоток» (это о ком-либо), «зола» (презрительное), «духариться» (сердиться). Алексей снова подумал: сейчас отец *раздухарится*, но тот, казалось, даже не расслышал. Пронесло!

— Когда одного скульптора — его фамилия была Роден — спросили, как он создает свои скульптуры, он ответил знаешь как? «Беру мрамор и отсекаю все лишнее». Хочешь — верь, не хочешь — не верь, но я, когда токарил, начинал свою работу еще по пути на завод. Еду в автобусе и словно вижу детальюху — откованную, некрасивую, черную, с шишками. Да она и не детальюха еще, а так — болванка. А потом прочитаю технологию и первым делом подумаю именно так: как лучше да побыстрее отсечь все лишнее?

Алексей молчал. Его поразило то, что сказал отец. Он никогда не думал, что отец может размышлять *так*. Бочаров тихо засмеялся и спросил:

— Как это ты любишь говорить — усек?

— Усек, — сказал Алексей.

Вот почему он не любил работу, которая не требовала от него даже самых малых раздумий. С этими клепаными колесами все было ясно как огурец: стачивай заклепки и думай себе о чем угодно, и расценки на работу приличные, так что не в убытке, да еще за сверхурочную... Так будет и завтра, и послезавтра, и до конца месяца. Стало быть, до конца месяца он не увидит Лиду. Правда, можно позвонить в общежитие и попросить ее к телефону — девчонки сбегают, у них это принято. Женская солидарность, если звонит мужчина.

Он работал спокойно, не чувствуя усталости, только легкое, непроходящее раздражение оттого, что работа впрямь оказалась нудной. «А если я попробую камешком? — подумал он. — Получится — хорошо, не получится — черт с ним. Чем я рискую? Ну, попадет от мастера, что снашиваю станок».

Выключив станок, он побежал в инструментальную кладовую, вернулся и поставил «камешек». Ему не надо было снова заглядывать в технологию, он и так помнил: «Снять головки заклепок, не касаясь диска». Камень соприкоснулся с металлом. Алексею было интересно — что получится. Никакого расчета — просто интересно, и все.

Когда он прошел все заклепки и поглядел на часы, ему показалось — нет, не может быть, ошибся. Двадцать минут — а головки были сняты, и он трогал еще горячий металл, будто так, на ощупь, не доверяя взгляду, старался убедиться, что все сделано, и сделано чисто. Нинка Водолажская — и та не подкапается.

Он сердился на крановщицу, — тухтя, еле тащится, новенькая, что ли? — снял колесо, поставил другое и снова будто бы вгрызся камнем в металл. И снова двадцать минут, тут уж никакой ошибки не было!

Теперь он работал яростно, подгоняя себя и уже не удивляясь этому случайному чуду — ах ты черт, как лихо, как здорово получилось! Озорная мысль о выпученных завтра глазах мастера мелькнула и исчезла. Конечно, может и попасть, наверняка попадет, потому что станок для чистовых обработок не рассчитан на такой режим, — но двадцать минут вместо пяти часов кое-чего да значат! Пусть выделяют специальный станок — так он и скажет завтра мастеру или даже сегодня отцу.

Он ехал домой в непривычно пустом автобусе и не садился — стоял на задней площадке, пружиня ногами, когда машину потряхивало. Было уже темно. Подходя к дому, он увидел свет в кухонном окошке и мать возле стола. Готовит ему ужин. Алексей сел на качели и закурил. Было приятно посидеть вот так, подумать о себе самом: «А ведь ты, брат, молоток!» — и наконец-то ощутить легкую, хорошую, ровную усталость.

— Где ты пропадала? — спросила ее рыжая Галя.

— В ресторане, — сказала Лида. — Очень здорово: стоит на реке баржа, а в ней ресторан.

— Ой, Лидка! — сказала Галя, прикладывая ладони к щекам. — Ты спятила! И пила?

— Немного сухого, — кивнула Лида. Когда она снимала платье и надевала халат, ее движения были медленны и на Галю она не глядела, будто вся была еще там, со своими новыми знакомыми.

Эдик показался ей просто славным, симпатичным парнем, и она могла лишь удивляться тому, как этот живой, веселый человек мог всерьез увлечься античной литературой. Но она заметила и другое: на своего друга, Кричевского, Эдик глядел с обожанием, ловил каждое его слово и, казалось, полностью признавал его превосходство над собой. Это было немного неприятно. Впрочем, Лида подумала, что ничего худого в этом нет, просто Юрий действительно производит сильное впечатление, и все те девушки, которые сегодня толпились возле него, — явные почитательницы его таланта. Все-таки Лиде было приятно, что он пригласил не кого-нибудь из них, а ее. Почему? Она не задавала себе этого вопроса, он даже не приходил ей в голову. Пригласил, и все.

— Нет, ты спятила! — уже уверенно повторила Галя. — С кем хоть ты была?

— Секрет, — рассмеялась Лида. — С двумя очень интересными ребятами. Наши студенты.

— Ну, — сказала Галя, — с двумя — это еще ничего. С одним хуже. Спорю, что уже влюбилась.

— Почему?

— Сияешь, — сказала, отворачиваясь, Галя. — Когда мы влюбляемся, у нас становятся глупые рожи.

— Мне просто хорошо, — сказала Лида.

Ей было не просто хорошо. Ей было чудесно, будто она пришла с какого-то большого праздника. Уютный, маленький ресторан и тихая музыка, и двое очень внимательных к ней людей, и немного вина, — разве этого так уж мало для великолепного настроения? Кричевский сначала молчал — больше говорил Эдик, потом разговорился и он. И Лида не удивилась, что разговор снова зашел о литературе. Юрий даже пошутил, что это его пожизненная любовница, и как-то грустно улыбнулся при этом.

Что знала о них, особенно о Юрии, Лида? Ничего. А ей хотелось сразу, вот тут же, немедленно узнать как можно больше. Талант? Да, это, конечно, бесспорно. А как он живет, чем живет, о чем думает?

— Но ведь литература — это отражение жизни, — сказала Лида. — Есть еще и сама жизнь.

— Есть, есть, — кивнул Эдик. — Как же!

— Перестань, пожалуйста, — поморщился Юрий и обернул-

ся к ней. — Понимаете, Лидочка, литература чище, благороднее, чем жизнь. В жизни так много худого, что я не боюсь показаться вам страусом, прячущим голову если не под крыло, то под книжную обложку. Когда я читаю, я ухожу к другим людям, в иные времена, в иные эпохи. Почему у нас так любят Дюма — вы не задумывались? Пустое, в общем-то, чтение, но людям надо уйти куда-то от окружающей их жизни.

— Разве жизнь так плоха, что от нее надо уходить?

— Кому как. Вам, наверно, не надо. Хотя я не знаю, как вы жили, как сложилась жизнь у вас.

Он тоже хочет знать все обо мне, подумала Лида. Значит... Сердце у нее прыгало. Значит, вовсе не случайно он пригласил именно меня, а не этих старшекурсниц с сигаретами.

— Как я жила? — переспросила Лида. — Очень просто. Выросла на пограничной заставе. Ходила, вернее, ездила в школу. Копала огород, ловила рыбу, собирала грибы. Читала, играла в волейбол...

— Прекрасно! — сказал Эдик. — Настоящее дитя природы, не испорченное грубой цивилизацией.

— Вам можно позабавиться, — с прежней грустью сказал Юрий. — В вас должно быть, заложен особый заряд человеческой прочности. Я говорю о взглядах, привычках, короче — о душе. Многие ваши современницы лишены этих качеств. Эдик прав: таково влияние города, этого средоточия цивилизации.

— Что-то вы уж больно обижены на цивилизацию, — засмеялась Лида. — Чем это она вам так насолила?

Юрий поглядел на Лиду с заметным удивлением, будто не ожидал от нее такого вопроса.

— Знаете, у меня есть мечта, — сказал он. — Поступить на работу лесником. Да, да, лесником! Жить в лесу, днем делать что положено леснику, а вечером — керосиновая лампа и книги. Много книг! Рано или поздно каждый человек поймет, что гробит себя — темпом жизни, сигаретами, вином, автомобилями, телевизором, преферансом, очередью за импортной мебелью и так далее. Человек утратил великую самостоятельную силу — инстинкт. Мы хлещем раскаленный чай, курим, дышим черт знает чем, боимся пройти лишнюю остановку пешком — зачем идти, если есть автобусы, трамваи и такси? — и помаленьку покрываемся салом. Хуже, если салом покрывается душа, бывает и так. Нет, кончу институт — и в лесники.

— Бред! — сказал Эдик. — Идефикс моего друга. Он трех дней не может прожить без библиотеки. Он даже трясется, если найдет какую-то особенную строчку у Апокалипсера или Рембо, и носит ее к ней по всему институту: «Скажите, профессор, — передразнил он Юрия, — вам не кажется, что «Улицы» Верхарна — начало его урбанистических циклов?»

— Да, — подтвердил Юрий. — Ты прав. Но мечта все-таки остается мечтой, и я ничего с этим не могу поделать. Я вижу, Лида не понимает мою мечту.

— Не понимаю, — кивнула она. — По-моему, вы все слишком усложняете. Я здесь, в городе, недавно, и он меня не угнетает. Наоборот! И темп жизни, как вы говорите, мне нравится. Хорошо, когда люди в движении. А все остальное уже зависит от тебя самого.

— Как хорошо, что вы так думаете! — сказал Юрий. — Вы счастливый человек, Лидочка.

— А вы?

Потом был долгий разговор о счастье, о том, что это такое вообще, и Лида вспомнила, как еще в школе писала сочинение на эту тему, и почти все написали, что быть счастливым — значит давать счастье другим. Сейчас она повторила эти слова. Эдик и Юрий переглянулись...

Нет, хороший, очень хороший был вечер. И Юрий пошел провожать ее до общежития. Уже у подъезда, пожимая ей руку, он спросил, заглядывая в глаза:

— Значит, до завтра? И продолжим наш милый спор?

— Продолжим, — весело ответила Лида.

А теперь Галья говорит — сияешь, влюблена!.. Ничего она не понимает, у нее одни амурчики на уме. Лиде хотелось одного — чтобы скорее наступило завтра и она снова увидела Юрия. Ей очень хотелось его видеть. Она вспоминала весь сегодняшний разговор, его грустное лицо, эту мечту — стать лесником! — за всем этим крылось что-то еще незнакомое ей: чужая, но уже близкая, тронувшая ее смятенная человеческая душа, и это смятение находило в Лиде свой отклик...

...Она влюбилась в Юрия Кричевского и очень скоро поняла это сама. Поняла по той тоске, которая наступала, если его не было рядом, по томительному ожиданию каждой утренней встречи в институте, по тому волнению, которое охватывало ее всякий раз, когда возле подъезда или в глубине коридора виделась его фигура.

Ей было и сладко, и страшно — то, что она сейчас испытывала, было впервые, и привлекало, и отпугивало своей новизной. Она ловила себя на том, что не может заниматься: глаза лишь скользили по строчкам, а память настойчиво вызывала другое — его лицо, его голос, улыбки, по которым они шли, каждое слово, сказанное им, каждое движение — все, все до самой малой малости.

Самым же страшным было: а если ему на меня наплевать? Она не знала, сможет ли пережить это, металась, все ее существо требовало ответа. «Десятиминутки» на лестнице — встречи с Алексеем — кончились. Вечерами ее не было в общежитии, и Галья рассказывала, что Алексей ждал... Но ей и в голову не могло прийти, что он испытывает то же самое, что испытывает она сама. Что ж, любовь всегда эгоистична, тем более первая.

Ей было необходимо кому-то рассказать, с кем-то поделиться. Девчонки? Они не поймут. Родители? Только этого не хватало! Она написала письмо своей бывшей учительнице, той, которая ездила на мотоцикле. Ответ пришел скоро. «Дорогая Лидочка! Очень хорошо, что ты решила рассказать мне о самом сокровенном. Ты вступила не просто в большую и самостоятельную жизнь, но и в мир взрослых чувств — так оно и должно быть. Это закономерно и прекрасно! И я очень хочу, чтобы ты была счастлива. Не стану тебя пугать, однако не имею права и умолчать: на первых порах, да и потом тоже, люди часто ошибаются в своих чувствах. Тут надо взять себя в руки и не раз и не два проверить саму себя...» Лида досадливо спрятала письмо в тумбочку. Начинаются назидания! Да что она сама, Анна Игнатьевна, нашла в своем старшем лейтенанте?

В субботу, выйдя утром из общежития, Лида столкнулась с Алексеем.

— Ты? — удивилась она. — С утра?

— В другое время тебя не застать, — сказал он. — Я провожу тебя.

Он вглядывался в ее лицо с тревогой, ожиданием, надеждой. Лида невольно отвернулась.

— Что с тобой, Лида? Или... Может быть, ты нарочно уходишь по вечерам, чтобы...

— Я очень занята. Сессия на носу.

Она сама почувствовала, как неубедительно это прозвучало. Зачем лгать? И откуда снова у нее это дурацкое, ненужное чувство вины перед Алешкой? В чем она виновата?

— Я прошу тебя, — сказала она. — Очень прошу... Не надо больше приходить сюда, Алешка. Я наврала тебе, что занята. Если я сдам сессию, это будет чудо. Просто я встретила одного человека и...

Она почувствовала, как Алексей вздрогнул. Но зато самой сразу же стало легче, будто долго-долго тащила на себе тяжелый рюкзак и наконец-то сбросила его.

— Это... серьезно?

— Вполне серьезно, Алешка. Я сама не знаю, что со мной происходит, но... Но было бы лучше и для тебя и для меня, если бы ты перестал так мучиться. Я же тебе говорила...

— Мало ли что ты говорила! — крикнул Алексей.

— Не кричи, пожалуйста. На нас оборачиваются.

— Плевать! Кто он?

— Не все ли тебе равно? Ну, студент. Разве это что-нибудь меняет?

— Это ерунда, — уже тише сказал он. — Я все понимаю. Приехала в город, глаза разбежались, вот и все. Ты сейчас как теленок на весеннем лугу.

— Глупенький, — тихо рассмеялась она. — А может быть, я стала немножко взрослой, а?

— Не я глупенький, а ты еще дурочка, вот что.

Он был бледен, губы у него тряслись. Лида остановилась. Сейчас подойдет трамвай, и она уедет. Ей было немного жаль Алексея, но что она могла поделать? Лида протянула ему руку.

— Ты очень хороший парень, Алешка, я это знала всегда. Ну, не сердись, я же ни в чем перед тобой не виновата, верно?

Он не ответил.

Лида уехала в институт. Она стояла на задней площадке и видела, как Алексей идет вслед за уходящим трамваем. «Дурочка! — мысленно усмехнулась она. — Конечно, счастливая дурочка...»

12. ЖЕНЩИНА

В последнее время Силин все острее и острее ощущал, что на заводе многое начинает идти против его воли, и это не просто раздражало его, он ярился и тут уж не стеснялся в выражениях. Люди выходили из его кабинета как из парилки. Любая, даже самая незначительная оплошность, недоработка, задержка вызывали в нем такую волну злости, что потом, после очередного разноса, он долго не мог успокоиться. Домой он возвращался угрюмый и на вопросы Киры отвечал односложно — «да», «нет», «не хочу», «там будет видно»... Кира сказала — тебе надо отдохнуть, ты в этом году без отпуска. Возьми путевку и поезжай на Юг. Он взорвался. Он кричал Киры, чтобы она не совалась в его дела, что он сам знает, отдыхать ему или нет, и какой к черту может быть отдых, когда на носу партконференция и первое испытание турбины.

Он уже не замечал, что даже дома кричит так же, как в своем кабинете, и потом не испытывал ни стыда, ни раскаяния. Обостренное чувство собственной правоты было уже постоянным. В него как бы входила убежденность в том, что только он один работает по-настоящему.

Наконец дошла очередь и до Губенко.

Когда на парткоме обсуждались кандидатуры секретарей цеховых бюро, Силин сидел молча, словно бы все это его не касалось и он присутствует на парткоме по обязанности. Только один раз внимательно прислушался к тому, о чем говорил Губенко, — тот назвал двадцать шестой цех.

— Какие мнения у членов парткома? — спросил Губенко, и Силин сказал:

— Разрешите мне?

Он поглядел на Нечаева, сидевшего поодаль, у окна. Нечаев что-то черкал в своем блокноте — не то рисовал, не то записывал, но даже не поднял голову.

— Я думаю, товарищи, — сказал Силин, — что в двадцать шестом мы должны иметь очень крепкого секретаря партийной организации. Дело в том, что цех — ведущий, сложный, да

и руководство там сложное (ага, наконец-то Нечаев соблаговолил захлопнуть свой блокнот!)... так что крепкий работник необходим. Есть ли такой человек в цехе — я не знаю. Но знаю, каким требованиям он должен отвечать.

Губенко как-то растерянно оглядел членов парткома, словно ожидал их помощи. Он-то хотел, чтобы в двадцать шестом оставался прежний секретарь — немолодой токарь Осинин, который аккуратно делал все, что ему говорилось. Осинин вполне устраивал Губенко: не шумит, не в свое дело не лезет, со всеми в ладах, чего же еще? Но теперь Силин потребовал, чтобы там был другой человек, и Губенко понимал почему. Просто директор не очень-то жалуется Нечаева и хочет, чтобы секретарь партбюро был чем-то вроде узды для начальника цеха.

На отчетно-выборное собрание в двадцать шестой Силин, конечно, не пошел. Он только попросил Губенко позвонить ему вечером домой, и Губенко позвонил. Голос у него был тихий, и Силину пришлось резко сказать:

— Ну что вы жметесь, как будто девушку на танец приглашаете? Давайте выкладывайте.

— На собрании выдвинули инженера-технолога Боровикову. А когда собралось бюро, меня никто даже слушать не стал...

— Короче говоря — Боровикова?

— Да.

— Это же черт знает что! — сказал Силин. — Вы сами-то хоть пытались вразумительно поговорить с людьми? Нечаев теперь вообще распряется.

Он знал Боровикову. Маленькая, худенькая, остроносенькая, легкая, как девочка, в свои сорок лет, она была соученицей Нечаева еще по институту. Силин помнил, как они вместе пришли на завод, в его цех, — чуть ли не за ручку. Что из того, что она деловая баба? Силин хорошо помнил, как очень давно Боровикова учинила в цехе скандал, когда он распорядился распустить одну бригаду. Он уже не помнил подробностей этого дела. Бригада была собрана с бору по сосенке, дела у нее шли неважно, стоило ли держать такую. Но Боровикова дошла тогда до парткома и даже в многотиражке тиснула заметку: «Необходимость или самодурство?» Послушать ее — выходило, что трудные ребята, собравшись в бригаде, уже начали меняться нравственно, а это главное, и именно от этого нравственного становления зависит их хорошая работа в будущем. И что товарищ Силин не верит в людей, для него важно одно — план. Это Силин помнил. Многотиражка с той заметкой хранилась у него все эти годы. И вот — пожалуйста: Боровикова!

— Кто предложил ее кандидатуру? — спросил он.

Сейчас Губенко ответит — Нечаев. Он точно знал, что на бюро было именно так. Но Губенко ответил: Бочаров, начальник механического участка.

Теперь уже ничего нельзя было поделывать.

Утром Силин, не заходя к себе, пришел к Губенко.

— Если так пойдет дальше, — сказал он, даже не поздоровавшись, — я подумаю; стоит ли нам работать вместе. Мы обязаны подбирать людей, с которыми можно работать, а вы пускаете дело на самотек, упускаете его из своих рук.

— Но, Владимир Владимирович, мнение коммунистов было единогласным. Как же тогда быть с партийной демократией?

Силин непонимающе поглядел на него. Возражает Губенко или оправдывается? Если оправдывается — это еще ничего, а если возражает...

— Вы не маленький ребенок, и не надо со мной разговаривать так. Демократия демократией, но нельзя допускать, чтоб люди шли на поводу у местнических настроений и личных симпатий.

— Там не было таких настроений, Владимир Владимирович. Собрание прошло по-деловому. И о неполадках говорили больше, чем об успехах. Мне понравилось...

— Понравилось? — взорвался Силин. — Можно подумать, что вы сходили на «Лебединое озеро»!

— Пожалуйста, не кричите на меня, Владимир Владимирович. У вас в последнее время это стало нормой. Люди идут ко мне, жалуются...

Силин ушел, хлопнув дверью. Он не понимал, как это Губенко смог возражать ему. Не оправдываться, а возражать! Не понимал он и того, каких сил это стоило Губенко. И не знал, что Губенко твердо решил просить на конференции самоотвод, если снова встанет вопрос о его кандидатуре в партком. Здоровье никуда, сердце сдает, есть заключение врачей...

Но дело было не только в этом. Губенко чувствовал, что директор давит на него. Телефонный разговор с секретарем обкома Роговым лишь убедил его в том, что и в обкоме им недовольны. В таком случае лучше самому уйти честь по чести.

Силин, придя к себе, тут же позвонил в двадцать шестой. Он сделал это, повинувшись все той же бушующей в нем злости, еще не зная, о чем будет разговаривать с Нечаевым. И не удивился, что начальника цеха на месте не оказалось. Обычная история. Или он в цехе, или ходит по другим цехам.

Как всегда, Серафима Константиновна уже стояла возле стола, строгая, торжественная, только очки поблескивают. Силин швырнул трубку на рычаги.

— Ничего срочного?

— Главк просит сообщить точную дату испытаний.

Силин кивнул: Свиридов просил его о том же. Они собираются прислать группу конструкторов.

— Еще что?

— Звонили из редакции, Воронина. Просит принять ее.

Он поглядел на часы. Сегодня можно было бы встретиться с Ворониной. Часов в пять.

Серафима Константиновна сделала пометку в блокноте.
— Я буду в двадцать шестом, — сказал ей Силин, поднимаясь.

Дожили! Директор должен искать начальника цеха!

Он не стал подниматься в кабинет Нечаева, а сразу прошел в цех и, обогнув огромный карусельный станок, направился к сборочному участку. Новая турбина была видна издали. Разглядеть ее целиком мешало ограждение. Но зато Нечаева он увидел сразу. Тот стоял наверху, нагнувшись, и что-то объяснял двум сборщикам. Там же был и начальник сборочного, и еще какая-то девица в косынке, свитере и брючках.

Когда он поднялся по железной лесенке, похожей на корабельный трап, рабочие встали, Нечаев выпрямился.

— Здравствуйте, Владимир Владимирович.

— Слушайте, Нечаев, — сказал он. — Кажется, я буду вынужден обратиться в нашу охрану, чтобы там выдрессировали кобелька — искать вас. Я же приказал вам быть каждое утро на месте.

— Я звонил вам ровно в восемь тридцать, — спокойно сказал Нечаев. — Но вас еще не было, а дела не ждут.

Его спокойствие может вывести из себя кого угодно, подумал Силин. Он глядел на турбину. Там, у его ног, лежало сверкающее чудо, но для Силина это была еще просто немая машина, и он не радовался ей, не удивлялся тому, что она уже есть, почти есть, — все для него было гораздо проще: *она должна была быть, и вот стала.*

— Почему вы все здесь? — обернулся он к начальнику сборочного. — Что-нибудь случилось?

— Плохо идет центровка, Владимир Владимирович. Вот, подкладываем фольгу...

— Главк запрашивает точный день испытаний, — повернулся Силин к Нечаеву. — Вы понимаете, что будет, если я скажу — десятого ноября? Люди придут, а у вас еще конь не валялся.

— Конь валялся, Владимир Владимирович. Вы же сами видите... Пока все идет точно по графику, день в день.

— Идемте, — сказал Силин. Ему не хотелось разговаривать с Нечаевым при других.

Они поднялись на третий этаж, прошли по длинному коридору, где пахло свежей краской. Нечаев пропустил директора вперед. Кабинет у начальника цеха был уютный, пустой — стол, шкаф, несколько стульев, графики на стенах, вот и все. Вполне в характере Нечаева, который не любил сидеть в кабинете. Нечаев плотно прикрыл за собой дверь и спросил:

— Можно один вопрос, Владимир Владимирович? Почему у вас такое недоверие к людям?

— Что? — не сразу понял Силин.

— Такое недоверие, — повторил Нечаев. — Как будто мы все здесь по какой-то принудилровке и на дело нам наплевать.

И еще у меня какое-то странное впечатление; будто вы всего боитесь да еще пугаете меня. Десятого турбина встанет на испытание, и я не понимаю...

— Не зарывайтесь, Нечаев, — тихо сказал Силин. — Я за все это отвечаю больше, чем вы. Понятно?

Он не садился. Они стояли друг перед другом — оба рослые, оба широкие в плечах, как два борца перед схваткой. Силин стоял спиной к окну, его лицо было в тени, зато он видел лицо Нечаева — по-прежнему спокойное, чуть хмурое, но ни раздражения не было на нем, ни досады.

То, что сказал ему Нечаев, было совершенно невероятным и никак не укладывалось в сознании Силина. Недоверие? Да если бы он каждый день не проверял, как работает двадцать шестой, если бы не отдавал двадцать шестому все, что только можно отдать, если бы, даже просыпаясь по ночам, не думал о двадцать шестом — ничего здесь еще не было бы!

— Непонятно, Владимир Владимирович. Должно быть, этот разговор у нас рано или поздно, но должен состояться. Пусть он будет сегодня, если вы не очень спешите.

И вдруг Силин успокоился. Это произошло неожиданно и против его воли. Ему подумалось, что надо накричать на Нечаева и уйти, но он почувствовал, что ему не хочется кричать, а хочется сесть и выслушать все, что тот скажет. Пусть будет полная ясность в отношениях.

— Ну что ж, валийте, — сказал он, садясь и доставая сигареты. — Давненько меня никто не поучал.

— Я не могу поучать вас, да и незачем. Просто некоторые раздумья...

• — Надо полагать, печальные? — спросил Силин, и Нечаев кивнул. Да, не очень-то веселые. Он не торопился со своим разговором. Ему надо было немного подумать. Все-таки это был директор, а не прогульщик, которого он вызвал к себе в «день дисциплины».

— Вы задержали нас, Владимир Владимирович, — сказал Нечаев. — Понимаю, у вас особое внимание к двадцать шестому и волнение особое, но не надо нас дергать своим недоверием. Каждый день вы присылаете кого-нибудь в цех. Каждый день кто-то мешает. Да, не помогает, а мешает, даже одним своим присутствием, этим постоянным стоянием над душой. У нас есть недельный распорядок, мы работаем по нему. Каждое утро ваш заместитель по производству дает вам диспетчерскую сводку — неужели этого мало? Вы хотя и со скрипом, как мне известно, но все-таки назначили меня начальником цеха — значит, вы признали за мной какие-то организаторские и инженерные способности. Я не мальчик, которому нужна гувернантка, и у меня тоже есть чувство ответственности — и профессиональной, и гражданской, и, если хотите, партийной. И работаю я не за одну зарплату, и не за ордена, и не за чье-то спасибо: должно быть, для меня *такая* работа — просто естественная

человеческая потребность. Но главное не только в том, что она для меня одного такая, — для многих, вот в чем дело. Люди в цехе работают так, как невозможно работать при других, нормальных обстоятельствах...

Он потянул узел галстука, словно ему стало душно.

— Я не хочу сейчас говорить об оскорбительности, которая свойственна вашим методам общения с людьми. Я только прошу вас — не надо такой мелочной опеки. У меня все.

Силин поискал глазами, куда бы сунуть окуроч, — пепельницы не было, он ткнул его в тарелку, на которой стоял графин с водой.

— Ну что ж, — сказал Силин. — Как я понял, директор вас не совсем устраивает. Донимает мелочной опекой, методом общения, чем там еще? Но в жизни обычно бывает наоборот: обычно директора не устраивают его подчиненные. Послушайте, Нечаев. Я в двадцать один год командовал ротой, а в двадцать три — батальоном. Вы тогда бегали в школу и заучивали наизусть «Тучки небесные, вечные странники...».

— Запрещенный прием, Владимир Владимирович. Ниже пояса.

— У нас пока еще не драка, да я и не намерен с вами драться. Вы тут говорили о своем чувстве ответственности, но разве вы можете хотя бы сравнивать свою ответственность и мою? Вернее, имеете ли право на такое сравнение? Все-таки я возвращусь к прошлому... Вы кончили школу, когда я, понимаете — я участвовал в перестройке и пуске завода. Вы еще дрожали на экзамене по сопромату, когда я выпустил новейшие воздуходувки для домен. Вы пришли сюда инкубаторным инженером, Нечаев, на все готовенькое, и я помню, как однажды вы растерялись, когда на обработке какой-то детали возникла вибрация. Припоминаете? А всего-то и надо было — применить виброгаситель.

Нечаев улыбнулся. Он еще улыбается, будто ему приятно это воспоминание! Силин вытащил из пачки новую сигарету. Ему нравился этот разговор. Он чувствовал, что каждое его слово бьет Нечаева хлестко и точно.

— Все это я говорю вот к чему, Нечаев. Мне без малого пятьдесят, у меня, слава богу, сложившийся характер, привычки, взгляды. Вы совершенно правы: я не доверяю ни вам, ни другим и не хочу, чтобы меня били из-за кого-то, из-за чьих-то недосмотров, недоумия, а то и просто лени. Я привык жать. Этот метод общения с людьми придуман не мной, он вызван обстоятельствами. До тех пор, пока существуют нерасторопность, неразбериха, желание дать меньше, а взять больше, я буду жать. И уж извините, если при этом не стану выбирать парламентские выражения. Ну, а в тех случаях, когда подчиненных не устраивает директор, обычно появляется на свет бумажка со словами: «по собственному желанию».

— По собственному желанию директора, — уточнил Не-

чаев. — А знаете, Владимир Владимирович, все, что вы сказали, — это ведь страшно.

— Ну, — усмехнулся Силин. — Вы-то не производите впечатления пугливого человека.

— Мне стало страшно за вас, — сказал Нечаев. — Жить с такой сложившейся философией, да еще верить в нее, как в единственно верную... Я бы, наверно, давно спятил и начал кукарекать.

Силин встал. Разговор и так затянулся.

— А вы не жмете на своих подчиненных? — спросил он.

— Нет. Я объясняю.

— Вы неверно избрали профессию, Нечаев. Вам надо было стать учителем. Так вот, — жестко, даже жестоко сказал он, — у нас с вами было два разговора: первый и последний. Либо вы станете считаться с моим методом работы, либо вам придется выбирать другого директора. Иного выхода я не вижу.

Хорошо, что последнее слово осталось за мной, думал Силин, шагая обратно, в заводоуправление. Никуда он не уйдет. Он умный мужик и наверняка сообразит, что со мной спорить бесполезно. «Я объясняю». Ничего! Если на него жать и жать, он тоже начнет жать. Это неизбежно, это как цепная реакция. Добряки и либералы хороши где-нибудь в творческих организациях — там люди нежные, ранимые, на них-то жать никак уж нельзя...

Когда вошла Воронина, он встал из-за стола и пошел ей навстречу.

— Обещали приехать летом и забыли. Не совестно? Впрочем, наверно, это чисто по-женски.

Воронина улыбнулась. Рот у нее был красивый — полные, ярко окрашенные губы и ослепительный ряд зубов за ними. Силин надолго задержал ее руку в своей, откровенно, в упор разглядывая Воронину. Она не смутилась, не отвела глаза, и Силин подумал, что она привыкла к тому, что ею любят, она знает, как хороша, и поэтому держится вот так, спокойно и уверенно.

— Так какими ветрами? — спросил он.

— Обычными, — сказала Воронина. — Приказ начальства — написать серию очерков о создателях турбины. А вы, между прочим, похудели.

— Все создатели турбины похудели, — пошутил Силин.

— С этого, наверно, можно было бы начать очерки, — сказала Воронина.

Очевидно, она недавно вернулась из отпуска и, скорее всего, была на Юге: только южное солнце дает такой ровный золотистый загар. Интересно, с кем она была? — подумал Силин. Он почти ничего не знал о ней. Тогда, несколько месяцев назад, он только отвечал на ее вопросы.

— У вас, как всегда, мало времени, — сказала Воронина. — Но все-таки я хотела бы...

— Сядем, — сказал Силин. — Времени все равно не хватит до самой смерти. Вы еще не бросили курить? Вот вам «Честер-филд».

Он подумал, что все эти месяцы, с весны, нет-нет да и вспоминал Воронину — вспоминал с какой-то легкой, непонятной самому себе грустью. Когда она впервые пришла сюда, в его кабинет, Силин весь подобрался и начал глядеть на самого себя как бы со стороны: как сказал, как повернулся, как снял трубку, как закурил, как задумался. Уже потом он выругал сам себя. Захотелось понравиться красотке, вот и распушил перья. Но он знал, что понравился Ворониной. Он чувствовал это. Должно быть, в каждом человеке словно бы спрятан некий таинственный локатор, улавливающий ответную волну. Он почувствовал эту ответную волну тогда, весной, когда Воронина приходила собирать материал для очерка о нем.

Что ж, тогда она поработала серьезно. И с другими людьми говорила, и походила по заводу, и терпеливо сидела на директорском совещании, хотя, наверно, не понимала ровным счетом ничего, о чем шла речь. Силин запомнил: когда они прощались, Воронина сказала: «Очерк я напишу через неделю». — «А там не будет развесистой клюквы?» — спросил Силин. — Вы, наверно, не очень разбираетесь в технических вопросах?» Он сам дал ей понять, что хотел бы встретиться еще. «Хорошо, Владимир Владимирович, я покажу вам гранки».

Она позвонила дней через десять и сказала, что гранки уже есть. «Я могу приехать в редакцию», — сказал Силин. Вечером он поехал в редакцию. Воронина ждала его в огромной комнате, где стояло десять или двенадцать столов. «Наша изба-пиджальня, — сказала она. — Шумно, работать почти невозможно, но зато весело». Сейчас там уже никого не было.

Силин прочитал гранки. «Не очень ли вы меня расхвалили? — спросил он. — Знаете, в таких случаях мне всегда делается не по себе. Как будто надел чей-то чужой пиджак». Она рассмеялась: «Нет, Владимир Владимирович, это ваш пиджак!» Разговор был, в общем-то, кончен, оставалось встать, поблагодарить Воронину и уйти, но он не хотел уходить.

Машина ждала его внизу, и он спросил Воронину, не собирается ли она домой — он может подвезти. Она сокрушенно покачала головой. Нет. Она будет в редакции до выхода газеты. Сегодня она *свежая голова*. Силин не понял, что такое свежая голова, но расспрашивать не стал. Жаль! Очень жаль! Ответная волна все шла и шла, все возвращалась к нему. Но он не мог предложить ей встретиться в какое-нибудь другое время. Это было бы мальчишеством. «Жаль, — сказал он. — Я здорово устал и очень хотел бы посидеть где-нибудь в тихом месте». — «Я вам позвоню, Владимир Владимирович», — наконец-то, отводя глаза, сказала Воронина.

Он уехал радостный, но Воронина так и не позвонила ни тогда, весной, ни летом. Значит, почудилось насчет волны-то?

Но вот она снова здесь, смуглая, как мулатка, и в кабинете уже стоит незнакомый запах хороших духов. И весь день с его нервотрепкой сразу отошел куда-то далеко-далеко. Силин снова попытался глядеть на себя со стороны. Он не рисовался, нет, он не умел рисоваться, но старался следить за каждым своим словом и движением. Где вы отдыхали? Я так и подумал, что на Юге. А я вот в этом году без отпуска — турбина... Так что бы вы хотели увидеть?

— Прежде всего я хотела бы узнать от вас, о ком писать. В конце концов, турбина всего лишь создание человеческих рук, так ведь? Четыре-пять кандидатур... Ну, конечно, начальник цеха, я думаю.

Только этого и не хватало, чтобы она написала о Нечаеве! Силин не выдержал и нахмурился, она заметила это.

— Что-нибудь не так?

— Не так, — сказал он. — Возможно, он скоро уйдет из цеха, так что стоит ли?

— Ну, а рабочие, мастера?

— О них вам лучше поговорить с секретарем партбюро Боровиковой.

— Я просматривала вашу многотиражку, — сказала Воронина, — там была корреспонденция о молодом токаре из двадцать шестого цеха. — Она полистала блокнот и нашла наконец, что ей было нужно. — Вот, Алексей Бочаров. Я не очень-то поняла, что он сделал, но там было сказано — сократил срок обработки детали с пяти часов до двадцати минут. Наверно, это очень здорово? Может быть, написать о Бочарове?

— Мал еще, — сказал Силин. — Только весной вернулся из армии, работает всего ничего.

— Вы так знаете людей? — удивилась Воронина.

— Кое-что знаю, — усмехнулся Силин. — Но все-таки вам лучше поговорить с Боровиковой.

Сейчас она поблагодарит его, скажет, что у нее все, встанет и уйдет. А Силину снова не хотелось расставаться с ней так быстро.

— Будем считать, что деловая часть закончена? — спросил он. — Тогда я повторю свой вопрос: почему вы не позвонили мне?

— Работа, — сказала Воронина, глядя в сторону. — Забегалась, замоталась... А вы ждали моего звонка?

— Ждал, — сказал Силин.

— Я не могла, — тихо и снова отворачиваясь сказала Воронина. — Все лето ушло на семейные скандалы, на развод, на обмен жилья, на переезд... Это так трудно!.. Я почти ничего не писала. Отвезла дочку к маме в Липецк — девчонка уже все понимает, нервная, издерганная...

— Он что — пил? — спросил Силин, беря руку Воронойной в свою.

— Нет. Просто я очень скоро поняла, что ошиблась, выйдя за него замуж. Жила ради ребенка... Все это он великолепно понимал, ну и... — Она махнула рукой. — Короче говоря, пять лет ада. Сейчас у меня такое ощущение, что я снова родилась на белый свет. Ради бога, извините, что я вам все это рассказываю.

Он отпустил ее руку и встал. Медленно прошел по кабинету и, большой, как глыба, остановился перед сидящей Воронойной.

— Никуда я вас сегодня не отпущу, Екатерина Дмитриевна. Завтра получите пропуск, и работайте сколько угодно, а сегодня махнем куда-нибудь. Я даже не спрашиваю вашего согласия.

— А я и не спорю, — улынулась Воронина.

Было около шести — так рано он никогда не уходил с завода.

В машине он сел рядом с Воронойной.

— Давай, Костя, за город, — сказал он шоферу. — В Солнечную Горку.

Потом, уже ночью, он лежал на диване и не мог уснуть: все, что произошло с ним сегодня, вспоминалось снова и снова. В соседней комнате спала Кира, он слышал ее ровное дыхание, она уснула, не дождавшись его. Хорошо, сегодня не будет никаких расспросов, а утром он коротко скажет — задержали дела, вот и все.

Эта встреча с Воронойной вовсе не ошеломила его, и Силин думал, что смешно было бы даже представить, будто он может влюбиться. В сорок-то девять лет! Мне сорок девять, ей тридцать, и у меня самая обыкновенная здоровая реакция здорового мужчины на молодую красивую женщину.

Да, было очень приятно сидеть рядом с ней в Солнечной Горке, временами дотрагиваясь до ее руки, и она не отнимала, не отдергивала свою руку. И разговор шел самый обыкновенный — о жизни, о прожитом, — оказалось, у нее это был второй муж: с первым она развелась через год: полярник, уезжал надолго, она не вынесла одиночества... Она была откровенна, хотя на иного подобная откровенность могла бы подействовать совсем иначе. Что ж, жизнь есть жизнь, и женщины в ней не должны быть одинокими, не должны быть нелюбящими — нет, Силин не мог упрекнуть Вороину в том, что она не дождалась первого мужа и ошиблась во втором. Он так и сказал ей об этом. Вороина грустно усмехнулась.

— Спасибо, Владимир Владимирович. А ведь очень многие этого не понимают. Конечно, о чем говорить, я не останусь одна. Но так страшно ошибиться снова... Да и ребенок. Хотите посмотреть?

Она вытащила из сумочки несколько фотографий и протянула Силину. Ему было неинтересно смотреть эти фотографии, но он все-таки развернул их веером, как карты. Девчонка была, впрочем, очень славная, сколько можно судить по снимкам, — темные, как у матери, глаза и такие же полные губы.

— Она похожа на вас?

— Слава богу, на меня. А у вас есть дети?

— Плачу налог за бездетность, — сказал Силин.

Обычный разговор, в котором незнакомые, в общем-то, люди хотяют как можно больше узнать друг о друге.

— Вы... не жалеете об этом?

— Нет, — сказал Силин. — Хоть вы и писали обо мне, но так и не знаете, как я жил. Мальчишкой — младшим лейтенантом на войну, вернулся в сорок пятом — лето, никто не стреляет, двадцать три года, ордена и медали, вся жизнь впереди... Женился с ходу, от радости, что живой, что руки-ноги на месте, и сразу в работу без продыха. А тут как-то подумал, что скоро пятьдесят, и вдруг стало не по себе. Не то чтобы загрустил, нет, а просто подумал — сколько же тебе еще осталось? Ну, десять, ну, пятнадцать лет... А что ты видел, что успел взять от обыкновенных человеческих радостей? Да ничего! Вы не поймите меня неправильно, Екатерина Дмитриевна, я не жалею. У нас с вами просто — ну, как бы это сказать — беседа за жизнь, как говорят в Одессе.

Он не лгал ей.

— Последнее время, особенно вечерами, оставаясь наедине с самим собой, он чаще и чаще думал, что все в его жизни обстоит именно так. Пожалуй, впервые он подумал и о том, почему его начала раздражать Кира. Виновата ли в этой раздраженности ее удивительное неумение *вести дом*? Разбросанная, вечно куда-то бегущая, по чьим-то чужим делам или по гостям. Легкомыслие поразительное — забывает пришить оторвавшуюся пуговицу, а если уж и найдет на нее стих и начнется уборка, в пору махнуть рукой и сделать все самому, потому что неприятно глядеть, как неуклюже она все это делает. Слава богу, в последнее время стала обращаться в бюро добрых услуг.

Да, жена есть, а дома, семьи нет. Конечно, она любит меня, ей очень спокойно за моей спиной, и она совершенно уверена, что иначе не может быть, что это уже до конца. А я ее? Люблю ли я ее? Он не хотел ответить прямо на этот вопрос даже самому себе. *Меня давно не тянет* к ней. Это был еще не ответ, это было как бы оправданием того ответа, который он не хотел дать сразу.

За последние три-четыре года Кира заметно сдала. Ее полнота была неприятна Силину. Уж если в человеке начинается что-то раздражать, раздражение со временем распространяется на все, даже на болезни. Силин терпеть не мог, когда Кира заводила разговор о гомеопатах, глотала точно по часам какие-

то пилюльки, потом бросала их и принималась за гимнастику — само это зрелище было неприятным. Неприятно, когда такая полная женщина крутит хула-хуп на том месте, где должна быть талия, или пытается закидывать ногу на спинку стула по системе йогов.

Значит, привычка? Год назад они сыграли серебряную свадьбу. Гости кричали «горько», а он злился — что за дурачество! После двадцати пяти уже не горько и не сладко — никак.

Значит, привычка? Привычка вернуться после работы в свои стены, к привычному дивану, к привычной женщине. Она никогда не спрашивает, как у него дела, и он не спрашивает, как дела у нее. Если Кира начинает рассказывать о знакомых или сослуживцах, какие-то семейные истории, он словно бы щелкает невидимым выключателем и ничего не слышит. Ему неинтересны эти истории: кто-то с кем-то разошелся, какой ужас, двое детей; кто-то умирает от рака, какой ужас, еще вчера шутил и смеялся; кто-то нашел сестру после тридцати лет разлуки, какая радость, верно? У нее каждый день была подобная история. «А знаешь, я, кажется, помирила Воробьевых — ну, помнишь, я тебе рассказывала? Двое детей...»

— Вы не любите жену? — тихо спросила его Воронина.

— Она очень добрый человек, — ответил Силин. — Наверно; таких просто нет.

— От доброты тоже можно устать, — сказала Воронина. — Странно! Даже доброта иной раз может оказаться невыносимой. Мой муж был очень добрым человеком, но меня начинало трясти от его забот. Мне даже хотелось, чтоб он меня поколотил хоть один раз. Помните, как обрадовался Пушкин, когда Натали ударила его? «Бьешь — значит, любишь».

Он подумал: вот мы сидим рядом, два, в общем-то, неустроенных в жизни, духовно одиноких человека, и я знаю, что ей хочется быть со мной, а она знает, что я хочу быть с ней. Но сразу так нельзя. Не принято. Она еще может ждать, ей всего тридцать, а мне надо спешить. Или махнуть рукой. Одно из двух. И тогда уже все. Ничего другого не будет.

Мне надо спешить, потому что осталось не так уж много, и там, в самом конце, я все-таки успею пожалеть, что радости прошли мимо меня. Я не хочу жалеть. Все мы рано или поздно умрем, безгрешные и грешники, добряки и деспоты, именитые и безвестные. Так не все ли равно?

Машину он отпустил. Обратного надо было добираться на такси, благо возле Солнечной Горки всегда стояло несколько свободных.

В такси снова он взял руку Ворониной. В темноте ее глаза превратились в два больших темных пятна и вдруг начинали мерцать, когда встречные машины освещали фарами ее лицо.

— Если бы вы только знали, как мне не хочется расставаться с вами, — очень тихо, чтобы не слышал шофер, почти шепотом сказал он.

— Не расставайтесь, — так же тихо отозвалась она.

...Он ушел от нее ночью, оглушенный и усталый, — вот и все, что было в нем сейчас: оглушенность и усталость. И знал, что теперь будет ходить туда, в маленькую однокомнатную квартирку на третьем этаже, тайком, воровато, и не думал, чем все это может кончиться. Но не было счастья в его душе...

Несколько дней назад, разговаривая по телефону с секретарем райкома партии Званцевым, Рогов сказал:

— Я хотел бы знать о Нечаеве более подробно, Александр Иванович. Вы лично знакомы с ним?

— Много лет, — сказал тогда Званцев. — Еще с института. А более подробно... Что ж, хороший, думающий инженер, с партийной работой знаком — член парткома, дважды избирался секретарем партбюро цеха и работал отлично. К неполадкам нетерпим, но даже в трудных ситуациях остается спокойным. У нас почему-то не любят этого слова, но я бы сказал о нем именно так — работяга.

— Ну почему же, — возразил Рогов. — Очень хорошее слово. Работяга — значит, работящий человек. Что еще?

— Я мог бы много говорить о нем, Георгий Петрович. Но тут есть одна, как бы это выразиться поточнее, загвоздка, что ли.

— Догадываюсь, — усмехнулся Рогов. — Сочетание Нечаев — Силин?

— Да: И мы с этим должны считаться, я думаю. Плохо, если директор и секретарь парткома начнут жить враздрай.

— Как, как? — не понял Рогов.

— Извините, у меня это еще с флотской службы, — смутился Званцев. — Так иногда начинают работать винты на корабле — в разные стороны.

— А, — сказал Рогов. — И вы побаиваетесь этого, Александр Иванович?

— Не побаиваюсь, но не хочу.

— От такого нежелания, между прочим, и появляются Губенки. У меня другая точка зрения, Александр Иванович. Я давно знаю Силина, и знаю, что у него есть очень неприятные замашки. С ним рядом должен быть человек, который не просто и не только сдерживал бы его, а направлял. Если Нечаев, по вашему мнению, сможет это сделать, я за Нечаева. Ну, а разговор с Силиным, так и быть, возьму на себя.

Ему показалось, Званцев облегченно вздохнул. Это понятно. Райкому трудно говорить с Силиным. А то, что Силин сразу же поднимется на дыбы, — тоже понятно. Но нам нужен строгий партийный контроль, думал Рогов. Надо бы самому встретиться с Нечаевым, вызвать его не откладывая. И, попрощавшись со Званцевым, пометил в своей записной книжке: «Вызвать Нечаева».

Пожалуй, впервые за все годы он думал сейчас о Силине с каким-то внутренним протестом. Да что это такое? Какая тут может быть «загвоздка»? Никаких загвоздок! Только этого еще не хватало — позволить Силину самому решать, какой секретарь парткома ему угоден, а какой — нет. Похоже, Званцев дает Силину ненужные поблажки. Нет уж, дорогой Владимир Владимирович, как говаривали древние: «Платон мне друг, но истина дороже». В данном случае, мне будет дороже крепкий секретарь парткома. Вот так-то.

13, «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»

Очерк в областной газете «Красное знамя»

Мне повезло: я присутствовала на необыкновенном дне рождения. Рождалась бригада. Быть может, для большого завода это событие прошло незамеченным, но для пятерых рабочих двадцать шестого цеха завода газовых турбин открылся новый отсчет в их трудовой биографии.

У каждого дела есть свое начало, какой-то побудительный импульс, толчок. Когда я спросила молодых токарей, какой толчок послужил к организации их бригады, они поглядели на Василия Бесфамильного. Василий улыбнулся:

— Вряд ли вы поверите мне, — сказал он. — Все началось с того, что я сидел дома и смотрел по телевизору программу «Время». В тот день передавали репортаж из знаменитой бригады московских строителей, возглавляемой Героем Социалистического Труда Злобиным. И как-то само собой Василию подумалось: а нельзя ли злобинский метод бригадного подряда применить у них в цехе, так сказать, в станочном варианте?

Пожалуй, мысль эта была неслучайной. Я долго разговаривала с молодым рабочим, пока наконец не поняла, что само желание жить и работать в бригаде закономерно исходило из его характера.

Василий невысок, коренаст, широк в плечах. Пиджак кажется тесным на нем. Серые пряди в темных волосах — такие странные для двадцатидвухлетнего человека.

— Вам пришлось много пережить?

Он кивнул:

— Да, несколько минут было...

Оказалось, он служил в десантных войсках, и вот рота на учениях выбрасывалась из самолета на парашютах. Его парашют не раскрылся... Все, конец, гибель... Земля приближалась неотвратимо. Он видел куполы парашютов своих товарищей, и невероятным усилием ему удалось развернуться так, чтобы пройти вблизи от одного. Он почувствовал резкий толчок, и падение замедлилось. Это один из солдат успел перехватить стропы его парашюта. Так они и приземлились — вдвоем. Василий, пошатываясь, подошел к своему спасителю и протянул ему руку: «Ну, друг, век не забуду». — «Брось, — сказал он. — С тебя шоколадка».

Василий стянул с головы шлем, вытер холодный пот со лба, и солдат, который спас его, негромко сказал: «Ты бы в баньку сходил. У тебя волосы какие-то серые...»

Именно армия приучила Василия к тесному солдатскому братству. Здесь, на заводе, куда он вернулся после службы, было иначе. Каждый работал сам по себе. Мастер давал задание — и каждый оставался наедине со своим делом. Это было противно самой натуре Бесфамильного. Раньше, до службы, он работал в бригаде, и каждый член бригады был ему другом...

Как-то раз он поделился своими мыслями с таким же недавним солдатом-пограничником, тоже токарем, Алексеем Бочаровым. Тот лишь отшутился:

— Как говорят, мы живем в век некоммуникабельности. А ты что — хочешь вместе в кино ходить, в музеи, в театр? И на свидания — тоже вместе?

Василия задело это слово. Меньше всего он ожидал услышать их от Бочарова. Ведь Алексей сам прошел хорошую школу настоящей мужской дружбы: у пограничников она развита особенно.

Но если уж Василий что-то задумал, его невозможно заставить отступить.

— Давай поговорим после работы, — предложил он.

— Давай, — пожал плечами Бочаров. — Только по-быстрому. У меня дела.

После работы они вышли вместе, и Василий сказал:

— Ты, наверно, меня не понял. Почему я хочу работать в бригаде? Да еще такой, которой дают один наряд? Здесь все должно пойти иначе. У каждого особенная ответственность перед всеми — не скалтуришь, не сделаешь кое-как, лишь бы через ОТК проскочить.

— А я и так не халтуру.

— Ты — да. А все ли так?

Алексей рассказал ему историю об одном токаре, который ухитрялся дважды сдавать одни и те же детали. Василий внимательно поглядел на него.

— Вот видишь... А ведь если этого парня взять в бригаду, ему и в голову не придет выкинуть что-нибудь вроде этого. Как бы тебе точнее сказать? Короче говоря, по-моему, работа в бригаде рождает прежде всего новые качества в самой душе.

— Души нет, — сказал Бочаров. — А вообще, пойдём ко мне. Поговорим с моим батей.

Отец Алексея Бочарова — Николай Бочаров работает в том же цехе начальником механического участка. Когда он вернулся домой, сын ждал его со своим новым приятелем.

Они сидели, пили чай, наконец, кивнув на Василия, младший Бочаров сказал:

— У него есть одна идея. Он хочет, чтобы она стала материальной силой и овладела массами. Валяй, Вася, не стесняйся!

«Неужели я ошибся в нем? — грустно подумал Василий. — Какой-то он несерьезный».

Но зато очень серьезным показался ему старший Бочаров. Он

молча выслушал Василия и, выйдя на минуту, вернулся с карандашом в листом бумаги.

— Попробуем прикинуть, — сказал он. — Ведь любое производство признает только два понятия: выгодно или не выгодно. Будем считать, что с нравственной точки зрения выгодно. А с экономической?

Василий предлагал следующее. Возглавить бригаду должен кто-то из опытных токарей, занятых обработкой ротора. Войти же в нее должны те, кто, так сказать, «работает на ротор», то есть точит кольца и прочие детали. Он не подумал о том, что в такой бригаде окажутся рабочие с разными разрядами. Как же быть с оплатой?

— Ну, положим, можно ввести коэффициент оплаты, — предложил Бочаров. — А дальше?

Так они и не смогли ничего решить в этот вечер.

А на следующий день Бочаров и Бесфамильный пошли к новому, только что избранному секретарю цеховой партийной организации Марии Степановне Боровиковой. Позже Николай Бочаров признался мне.

— Я ведь практик, сам с токаря начинал, вот образования и не хватило. А нутром словно почувствовал — что-то в идее Бесфамильного есть.

И Василий тоже потом признался:

— Грешным делом, думал, долго придется всякие пороги обивать. Кто другой, может, и отмахнулся бы. А Николай Сергеевич не такой человек...

И вот сидели три деловых человека: инженер — партийный работник, начальник участка и молодой токарь. Боровикова, выслушав их, сказала:

— Хорошо, давайте посоветуемся с экономистами. Доверите это мне или хотите сами?

— Доверим, — улыбнулся Василий.

— Ну, а кто же будет бригадиром? — поинтересовалась она. Этот вопрос адресовался, конечно, в первую очередь Бочарову: он знал людей много лучше, чем Василий Бесфамильный.

— Осинин, — сказал Бочаров.

— Согласится?

— Если и это тоже вы возьмете на себя...

Василию казалось, что экономисты считают целую вечность, но он терпеливо ждал. Боровикова сама подошла к нему, и уже по ее лицу он понял: все в порядке.

Федор Федорович Осинин согласился возглавить бригаду сразу, не раздумывая, хотя ничего, кроме хлопот и забот, это ему не сулило. И тут, я думаю, в самую пору сказать несколько слов о нем.

Осинин принадлежит к той части рабочих, для которых завод, цех стали по-настоящему родным домом. Живет он далеко — до работы ему надо добираться на электричке, потом автобусом. Поэтому из дому он уходит в шесть утра, а возвращается в восемь вечера. Рядом с его домом — завод металлоконструкций, и станки там точно такие же, как на ЗГТ, и заработки не меньше, и, конечно, такого токаря, как он, там взяли бы, что говорится, с руками-ногами. И жена уговари-

вает: «Хватит тебе в дороге маяться, не все ли равно, где работать. До пенсии всего ничего, пожалей себя». Он только хмыкает в усы: «Дорога мне помогает. Я, может быть, за эти двадцать семь лет двадцать семь собраний сочинений прочитал. Хоть сейчас в академики по литературе».

Верность своему заводу — это нравственное качество Осинин ценит в людях особенно высоко. Был у него напарник и ученик, токарь гретьего разряда Еликоев. Казалось бы, чего не хватало человеку? Но вот ушел с завода, никому не сказав ни слова, даже Осинину, которому был обязан и своей профессией, и устроенностью. Примерно год спустя Осинин, опаздывая с женой в театр (ехать-то до города далеко!), остановил такси, и вдруг шофер обрадованно воскликнул: «Не узнаете, Федор Федорович?» — «Узнаю, — без всякой радости ответил Осинин. — Вот ты куда устроился!» — «А что? Осуждаете, что ли? Напрасно, Федор Федорович. Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше. Закон жизни». — «Нет такого закона, — сказал Осинин. — Есть люди, которые его выдумали». И промолчал всю дорогу до самого театра. Расплачиваясь, сказал: «Сдачи не надо». — «Федор Федорович...» — «Брось, — тихо сказал Осинин. — Я ведь для тебя обыкновенный пассажир, а с обыкновенных небось ты не стесняешься чаевые-то брать. Не смущайся, мои деньги честные, рабочие».

Итак, их было уже четверо: Осинин, Бесфамильный, Бочаров и напарник Осинина токарь Лунев. Пятым Бесфамильный решил пригласить в бригаду Николаева. (Я не называю здесь его настоящую фамилию.)* Узнав об этом, Алексей Бочаров запротестовал:

— Зачем тебе это нужно? Человек только о своей выгоде думает. У него даже такая записная книжка есть, где он каждую копейку высчитывает.

— А ты что, хочешь, чтоб в бригаде только чистенькие были? И отправился разговаривать с Николаевым.

Разговор был трудный. Прежде всего Николаев спросил:

— А зачем это мне надо? Я здесь отбарабаню свои три года и — «прощай, любимый город»! Ясно?

— Не ясно, — сказал Бесфамильный. — Кстати, экономисты подсчитали, что выработка в бригаде повысится в среднем на двенадцать процентов. Так что прикинь в своей записной книжке, надо это тебе или не надо.

— На двенадцать? — недоверчиво спросил Николаев и полез в карман за своей записной книжкой. — Ну, тогда давай записывай в бригаду.

Вот так пятеро, в общем-то, плохо еще знакомых друг с другом людей оказались вместе.

В первый же день случилась неприятность, чуть ли не беда: со станка полетел ротор. Осинин едва успел отскочить в сторону. Станок помяло, и он стал. Хорошо, что в цехе заканчивали монтаж еще одного такого станка, и Осинин с Луневым перешли на него, но несколько дней все-таки были потеряны.

* Воронина имеет в виду Нутрихина.

Впрочем, так ли уж потеряны? Все эти дни члены новой бригады присматривались друг к другу. Загадкой для них оставался, пожалуй, Лунев.

Лунев — молчун. Иногда за весь день, за всю смену от него не услышать и двух слов. Когда я узнала, что он — студент пятого курса технологического института, то невольно подумала: как же он сдает экзамены? Спросила в шутку об этом самого Лунева. Он сдержанно улыбнулся и... ничего не ответил.

...В эти дни в цехе на соседнем с осининским станке началась обработка крупной детали для компрессора. И сразу же деталь начала сильно вибрировать. Попробовали применить различные виброгасители — все напрасно! Возле станка собрались технологи, пришел главный технолог завода. До этого деталь стояла на другом станке с программным управлением — «Макс Мюллер». Этот станок находится в специальной кабине, где поддерживается постоянная температура, и за ним ухаживают как за красной девицей. Так вот, от детали в буквальном смысле слова полетели клочья.

Лунев подошел к технологам, посмотрел и вдруг сказал:

— Можно положить слой резины... Закрепить текстолитом... Стянуть болтами...

И ушел к своему станку, будто устав от такого количества слов, сказанных сразу.

Технологи попробовали сделать так, как посоветовал Лунев, и хотя резец *мусорил*, но вибрация погасла: деталь не вступала со станком в резонанс. О предложении Лунева рассказали начальнику цеха, тот вызвал к себе рабочего.

— Вот что, товарищ Лунев. Не пора ли вам переходить в мастера? Человек вы грамотный, знающий...

Лунев отрицательно покачал головой.

— Почему? — допытывался начальник цеха. — Почему вы отказываетесь?

— Бригада, — сказал он всего лишь одно слово.

И еще несколько слов об Алексее Бочарове.

Грешным делом, когда в заводской многотиражке я прочитала корреспонденцию о том, что молодой рабочий, применив шлифовку на обработке клепаных колес, добился удивительных результатов, мне захотелось написать о нем. Но директор завода В. В. Силин, отлично знающий людей завода, сказал мне, что писать о нем вроде бы еще рановато.

Но вот мы беседуем с Алексеем в кабинете его отца, начальника участка, и я вижу, как за внешней оболочкой чуть ироничного, насмешливого, с неустоявшимися жизненными позициями человека проступают черты очень серьезного, я бы сказала, прочного в самой своей духовной основе молодого рабочего.

— Расскажите о себе.

— Родился, учился, служил в армии, работаю. Наград не имею. Разве что только секретарь комитета комсомола недавно руку пожал. От имени всего комсомола, разумеется.

— Что так скромно?

— Украшаю себя.
— ?
— Скромность ведь украшает человека?
— Да. Ну, а как вы начали жизнь в бригаде?
— Без фанфар и тостов. Банкета по этому поводу почему-то не было.

И все в таком же духе. Но вдруг его темные глаза стали твердыми.

— Знаете что? Приходите к нам месяца через два-три. Тогда будет ясно, что мы делаем, как делаем и чего стоим. Но главное — мы все поверили, что это было нужно. Я говорю о бригаде.

Что ж, с днем рождения тебя, бригада! Доброго тебе пути. Хорошей работы и ровного настроения.

Е. Воронина.

— Ты чего делаешь вечером?

Бесфамильный спросил об этом вскользь, как бы между прочим, но Алексей уже знал его манеру разговора. Так он начинал всегда, когда хотел потащить их после работы в кино, или финскую баню, или на смотр служебных собак, или на соревнования пожарников — вот уж непоседливый человек! И Алексей шел с ним в кино, и в баню, и на смотр собак, отказался от соревнований пожарников, — бог с ними! — зато сам купил сразу пять билетов на матч местной футбольной команды с поляками.

Вопрос Бесфамильного означал, что у него снова есть какая-то идея, и Алексей усмехнулся: что сегодня? Клуб коллекционеров? Дегустация пива в новом баре «Волна»? Выставка-продажа сиамских котят? Бесфамильный тоже усмехнулся — а что? Как-то ему не приходило в голову насчет котят.

— Ты парень с мыслями, — одобрительно кивнул он. — Но сегодня я хочу покататься по городу. Имею лишнюю трешку.

— На рысках? — любопытно спросил Алексей.

— Ага, — сказал Бесфамильный, отходя. — Так, значит, двигаем сразу после работы?

Алексей ничего не понимал — куда он его тащит? Они ехали в автобусе, и у Бесфамильного было непроницаемое лицо восточного божка.

— Мы уже катаемся? — с деланным равнодушием спросил Алексей. — Хороший выезд. В этом автобусе, наверно, штук сорок рыскаковых сил.

— Пятьдесят, — сказал Бесфамильный.

И тогда, когда они вышли из автобуса, и тогда, когда прошли в конец Зеленой улицы, и тогда, когда остановились возле проходной со стеклянной вывеской «Таксомоторный парк № 2», Алексей все еще ничего не понимал. Он догадывался, что Васька втягивает его в какую-то игру, и ему было занятно, что же тот придумал сегодня и чего ради потащил кататься —

видимо, на такси, — но спрашивать об этом он не стал. Наоборот, он сделал скучающее лицо, и Бесфамильный, покосившись, сказал тоже скучнейшим голосом:

— Подождем самую малость. Сейчас один занятный парень выкатит свою телегу, и поедем. Ты только сиди тихонько — договорились? Ну, в смысле — не возникай.

Они стояли молча, лениво покуривали, и так же лениво Бесфамильный оглядывал машины, выезжающие из ворот. Прошло минут пять или шесть. Вдруг Бесфамильный отбросил недокурную сигарету и шагнул, поднимая руку. Машина затормозила, и, нагнувшись к окошку, Бесфамильный сказал.

— Требуется поездка по городу, шеф.

Алексей не слышал, о чем спросил его шофер, он слышал только ответ Бесфамильного:

— Да просто так, с ознакомительными целями, — и, повернувшись, кивнул Алексею: — Садись сзади.

Полная темнота! Сиди дурак дураком и жди, когда начнется настоящая игра.

— Так куда все-таки? — спросил шофер.

— Ну, по каким-нибудь историческим местам, — сказал Васька. — Церквухи какие-нибудь двенадцатого века или камень, на котором сидел Петр Первый... Есть тут чего-нибудь такое?

Он покружил в воздухе пятерней, и шофер недовольно ответил, что он не экскурсовод, а здесь не Париж и Нотр-Дама не имеется. И лучше всего (уж коль скоро все равно ехать) поехать за город, в Солнечную Горку — хороший ресторан, выпить можно и закусить. Он имеет в виду пассажиров, конечно.

— Непьющие мы, — сказал Васька. — А денег у нас навалом, давать некуда. Так что ты покатай уж нас как следует, шеф.

— Мне-то что? — ответил шофер. — Мне ваших денег не жалко. С Севера, что ли, или с Дальнего?

— Да нет, мы местные, тутошние, — сказал Васька.

— По спортлото выиграла? — поинтересовался шофер.

— Премии получили.

— Это еще не навалом денег-то! Я тут одного южного мужика на рынок возил, он травками торгует, — вот у него денег действительно навалом. Мешок травки привез — мешок денег увез!

— А в них ли счастье? — зевнул Васька. — Нам захотелось — сели и поехали. Захотим — сиамских кошек накупим. Накупим, Алешка?

— Можно, — сказал Алексей. Все равно ему ничего не было понятно. — Говорят, у них молоко витаминизированное, вроде козье. Дай-ка мне спички.

Он подался вперед, чтобы взять у Бесфамильного спички, и только тогда увидел прикрепленную к щитку карточку с фотографией водителя, его фамилией и именем-отчеством: Еликоев Павел Халидович.

Он не сразу вспомнил, откуда знает эту фамилию, где слышал ее, и лишь несколько минут спустя, вспомнив, тихо рассмеялся. Все встало на свои места. Ну да, конечно, этот Еликоев — ученик Осинина, тот самый, который удрал с завода в таксеры, а Васька как-то подстроил, что они оказались у него в машине, и сейчас начнется воспитательная беседа — всего-то и дела! Да на кой он черт Ваське, этот Еликоев с усиками? Он уже недовольно поглядел на крепкий Васькин затылок: только время терять зря. Попросить, что ли, чтоб доез до дому, а там пусть себе катается хоть до утра. Он не попросил. Он сидел и молчал, и Васька тоже молчал, глядя прямо перед собой.

— Так как она, жизнь-то, Павел Халидович? — наконец спросил он.

— А какая жизнь? Двенадцать часов открутишь за баранкой, вот и вся жизнь.

— Ну, все-таки не скажи! Не на ногах все-таки стоишь, а на мягком едешь. К тому же набирается, поди, в свой кошелек? Я слышал, один парень за год собственные «Жигули» набрал.

— Наберешь! — усмеялся Еликоев. — Туда рублевку надо сунуть, сюда рублевку, на мойке двугривенный... Нынче все хотят свое иметь.

— Значит, обижают? — спросил Бесфамильный, оборачиваясь. — Слышал, Алешка, как у них? Так ведь никаких рублевок и не хватит, наверно, Павел Халидович? А вот откуда мне твоя фамилия известна?

— Не знаю, — буркнул Еликоев.

— Редкая у тебя фамилия, — задумчиво продолжал Бесфамильный. — Ты тут на днях никого не спасал? Ну, в смысле никаких подвигов не совершил? О тебе в газете не сообщали?

— Не сообщали, — уже резко сказал Еликоев.

— Жаль, — вздохнул Васька. — Внешность у тебя такая симпатичная. А может, я тебя сегодня на доске Почета видел? Ну, там, возле парка...

— Не знаю.

Алексей уж не сердился на Бесфамильного за эту поездку. Игра началась. Интересно, чем она кончится. Шофер уже кипит, как чайник. В зеркальце было видно его нахмуренное лицо. А Васька, этот стервец, лениво развалился на сиденье и все подкидывал, все подкидывал дровишек в огонь: ах, значит, не красуешься на доске? А почему же? Не заслужил, что ли? Такой симпатичный парень, а не заслужил, чтоб его сфотографировали за счет месткома при галстукке и в белой рубашечке!

— Вы мне мешаєте, — сказал Еликоев.

— А мы и помолчать можем, — сказал Бесфамильный. — Верно, Алеша?

— Можем, хотя трудно, конечно, — сказал Алексей.

— Настроение у нас разговорчивое, понимаешь, шеф? Просто сил нет, как хочется поговорить с хорошим человеком! На заводе у нас что? Ты да станок перед тобой, а с ним не погово-

ришь. Верно, шеф? Скучная у рабочего человека жизнь. И на «Жигули» никто не подкинет. Ну разве что на пиво под той же фамилией сбросишься с приятелем.

— Мы же непьющие, — поправил его Алексей.

— Ах, да!

(Ну и актер, ну и дает! Даже руку поднес ко лбу, как бы показывая, что у него начисто отшибло память?)

— Вот что, — сказал Еликоев, притормаживая и отводя машину к поребрику. — Вы лучше прямо скажите — куда вас везти? А то сидите, как купчики.

— Деловой ты человек, шеф, — вздохнул Васька. — Только зря ты пену на нас пускаешь.

Машина остановилась, но Бесфамильный устроился поудобней. Он даже руку закинул за спинку сиденья, всем своим видом показывая, что вылезать из такси не собирается, а хочет поговорить еще, посетовать на свою жизнь или, наоборот, повосторгаться шофером, который им попался сегодня. Алексей заметил, что Еликоев вынул из гнезда ключ зажигания: на кольце ключа, на цепочке, болтался свисток. Ему стало совсем весело. Вот довели парня! Сейчас он дунет в свою свистульку, подбежит милиционер, и он сдаст их милиционеру как подозрительных.

— Не волнуйся, шеф, — усмехнулся Васька. — Ты только что из парка — стало быть, выручки у тебя еще нет. А я скажу, где встречал твою фамилию. В газете все-таки. Там неделю назад одна статья была... Про Осинина, про меня, про него, — он кивнул на Алексея, — ну и про тебя тоже. Скажешь, не читал?

Сейчас он говорил уже совсем иначе: грустно, с грустной усмешкой в уголках рта, как бы сожалея, что вот — довелось встретиться в одной статье. Еликоев ничего не ответил ему. У него было напряженное лицо, как у человека, ожидающего удар и готового ответить на удар. Но никто его не ударял.

— Я вот о чем хотел спросить тебя, Павел Халидович... Ты, когда эту статью прочитал, хорошо спал ночью? Не крутился?

— Слушай, — сказал Еликоев, — плати и валяй отсюда.

— Нет, — качнул головой Бесфамильный. — Я тебя нарочно разыскал и теперь так просто не уйду. Так как все-таки — хорошо ты спал в ту ночь?

— Да тебе-то какое дело? — крикнул Еликоев. — Ты что, хочешь со мной работу провести? Бодал я таких. — Он уже все понял и сунул ключ обратно в гнездо. — На завод агитировать будешь? Не надо, не на маленького напал. Мне и здесь не дует. Кто-то должен и людей возить.

— А как ты думаешь, — сказал Бесфамильный, — почему я должен деталюхи точить? Или вот он... Потому что больше ничего не умеем? А может, нам лучше было бы на зубного врача выучиться и зубы вставлять — говорят, большие деньги зашибить можно. Но кто-то ведь и деталюхи точить должен, а?

— Вот и точи, — отвернулся Еликоев.

— Ладно, — примирительно сказал Бесфамильный, доставая кошелек. — Держи законный рубль, а на досуге погляди в самого себя. Я еще приду к тебе, поговорим, что ты там увидел.

Он открыл дверцу машины.

— Что, плохи дела на заводе? — понимающе и насмешливо спросил Еликоев.

— Толковых работяг не хватает, — кивнул Бесфамильный. Он не спешил выйти из машины. Он словно бы еще надеялся на что-то. — А мне Федор Федорович говорил, что ты толковый был работяга. Конечно, кто-то и людей должен возить, это понятно, но...

Он не договорил. Еликоев включил зажигание.

— Куда подбросить? — спросил он. — Или дальше не поедете?

— Поедем покупать сиамских кошек, — рассмеялся Алексей. Ему было легко и радостно сейчас. Отчего, почему? Он не задумывался. Просто легко, и все тут. Так с ним бывало всегда, если он соприкасался с чем-нибудь очень светлым, хорошим и по-человечески добрым...

14. ПЯТЬДЕСЯТ СЕМЬ ПРОТИВ

В фойе заводского Дома культуры стоял ровный гул голосов. Зал был еще закрыт, и люди прохаживались по фойе, толпились возле книжного киоска, курили, приветствовали знакомых, решали на ходу какие-то дела. Мелькнула и скрылась в служебных помещениях стайка пионеров — сегодня они будут приветствовать делегатов партконференции.

Силин, здороваясь на ходу, успел заметить, что люди пришли сюда как на праздник — все нарядные, даже чуть торжественные — впрочем, так бывало всегда.

Не раздеваясь, он прошел в кабинет директора. Здесь уже был Губенко и, сидя у окна, перелистывал страницы отчетного доклада.

— Ну как? — спросил Силин. — Подложили подушки на бока?

Губенко, чуть заметно усмехнувшись, отложил доклад и не ответил. Даже не поздоровался. Просто сидел и молчал, сложив руки на коленях. Волнуется, что ли? Наверно, волнуется. Впрочем, чего ему волноваться? Уйдет в отпуск, потом вернется на должность главного механика — все решено и, стало быть, волноваться нечего. Силин подошел к нему и сел рядом.

— Честно говоря, я жалею, что вы уходите, Афанасий Петрович, — сказал он. — По-моему, худо-бедно, но все-таки мы сработались. Может быть, это дело привычки. Никогда не знаешь, чего ждать от нового человека.

— Мы не сработались, — тихо, очень тихо отозвался Губенко. — К сожалению, я это понял слишком поздно.

Силин резко повернулся к нему. Вот как? Губенко кивнул несколько раз подряд. Да, да, именно так, как ни печально говорить об этом сегодня.

— Не понимаю, — сказал Силин.

— А чего здесь понимать, Владимир Владимирович? Вы, наверно, еще не знаете... Меня вызывал к себе Рогов и сказал одну фразу, которая словно перевернула меня: «Вы удобный секретарь». Понимаете? Удобный! Очевидно, удобный для вас. Что ж, в общем-то, это так и было. У вас огромный авторитет; огромная власть — иногда это давит на людей. Давило и на меня. И даже если бы в партийных органах не пришли к выводу, что я работал слабо, я все равно не согласился бы снова остаться на этой должности... Поймите меня правильно, Владимир Владимирович: нет ничего хуже, когда человек перестает уважать самого себя. А я вот — перестал...

Это было и неожиданно для Силина, и неприятно. Все-таки он попытался пошутить: ну и ну! Конференция еще не началась, а неприятный разговор уже состоялся. И хотя Губенко сказал все это мягко (было заметно, что он подбирает слова, чтобы ненароком не выпалить что-то особенно обидное для Силина), в самой этой мягкости уже крылись и горечь, и недовольство. Но Силин был спокоен. Губенко не из тех людей, которые уходят хлопнув дверью. Доклад он уже знал — его обсуждали на бюро парткома. Кое-какие замечания в адрес руководства завода там были, без этого не обойтись. Но сам тон доклада был ровный, спокойный — и хорошо: такой доклад не разожжет страсти.

— Вы куда-нибудь едете? — спросил Силин, вставая. Губенко, казалось, не расслышал и снова не ответил. — Я советую вам хорошенько отдохнуть и заодно освободиться от комплексов. Нам и дальше придется работать вместе, хотите вы этого или нет. Если, конечно, вы не думаете подыскать себе более покладистого директора.

Он поймал себя на том, что начинает раздражаться. Сейчас это было совсем некстати. Еще минута, и он сказал бы Губенко что-нибудь более резкое, но приехали Рогов и Званцев.

Появление Рогова было неожиданным. Силин знал, что секретарь обкома в Москве, на Пленуме ЦК, и, хотя Пленум закончился вчера, Силин думал, что Рогов задержится по делам области, как это бывало всегда. Значит, или у него не оказалось в Москве никаких дел (что трудно даже предположить), или он вернулся специально для того, чтобы принять участие в работе заводской партконференции. Уже одно это настораживало само по себе, и Силин ощутил давно знакомое неприятное чувство скованности и предчувствие очередных неприятностей. И тут же, как он делал обычно в таких случаях, торопливо начал думать, какие же неприятности могут грозить ему и откуда. Он снова подумал о докладе. Нет, тут все спокойно. Выступления делегатов? Конечно, кто-нибудь да непре-

менно скажет в его адрес какие-то, быть может, даже резкие слова. Но приезд Рогова!..

Впрочем, Рогов казался даже веселым. Силин не раз видел его таким после возвращения из Москвы.

— В ЦК меня подробно расспрашивали о вашей работе, — говорил Рогов, пока они шли в зал. — Кое-что я расскажу сегодня делегатам. Вот уж воистину, Москва — как гора: поднимешься, и, как писал Гоголь, становится видно во все концы света.

Губенко отделился от них: ему предстояло открывать конференцию.

Втроем они сели в первом ряду. Сзади шумно рассаживались делегаты. Силин не оборачивался. Нет, кажется, и с этой стороны — со стороны Рогова — никаких неприятностей ждать не приходится. Тогда откуда же это непроходящее чувство настороженности? Совсем как тогда, много лет назад, на фронте, в напряженном ожидании опасности. И то, что он не мог сейчас ответить на этот вопрос, угнетало его еще больше, и тревога росла.

Избрали президиум. Они пошли в президиум и сели рядом. Рогов сразу вытащил из кармана и положил перед собой маленький блокнот, отодвинув в сторону нарядный, в красной обложке, приготовленный для делегатов конференции.

Все было привычным. Силин видел десятки знакомых и незнакомых лиц, обращенных сюда, к президиуму. В середине зала, возле самого прохода, сидел Николай Бочаров, рядом с ним Коган. Он перевел взгляд на своих соседей. Неподалеку от него сидел Бешелев. Будет выступать от имени заводского комсомола. Торжественный, подумал Силин. А сел так, чтобы я его сразу увидел. Бешелев перехватил его взгляд и улыбнулся, Силин еле заметно кивнул в ответ. И снова почувствовал близость каких-то неприятностей. В это время Рогов, повернувшись, пожал кому-то руку за его спиной, и Силин, тоже повернувшись, увидел Нечаева.

Нет, это не было для него ни неожиданностью, ни началом тех мучительно ожидаемых неприятностей. Он уже все знал. Знал, что на первом же заседании нового парткома районный комитет будет рекомендовать Нечаева секретарем. Знал, что Рогов приглашал к себе Нечаева и долго разговаривал с ним, потом беседа продолжилась на секретариате обкома. И когда Рогов позвонил ему и сказал, что *есть мнение*, он не стал ни возражать, ни тем более спорить. Он сразу понял, что любой спор с его стороны будет принят как проявление личной антипатии — это раз, а во-вторых, он слишком хорошо знал Рогова и знал, что, если уж тот что-то решил, спорить бесполезно. Он только злился на секретаря райкома за то, что тот как бы остался в стороне, не позвонил сам, не встретился, не предупредил... Впрочем, он понимал Званцева: такие вопросы дол-

жны решаться на самом высоком уровне. Но все-таки должен был позвонить сам.

Да, с Нечаевым ему будет непросто. Это Силин уже предчувствовал. Что ж, я не намерен изменять самому себе и своим правилам. Если дело дойдет до открытых конфликтов, пойду и на это. Пока что я один отвечаю за весь завод.

Губенко уже выступал с отчетным докладом, а Силин не слушал его. Он вспоминал, как год назад встретился в Москве с директором одного завода — они вместе приехали тогда на коллегии министерства и вечером ужинали в гостиничном ресторане. Директор был стар — под семьдесят, но на пенсию даже не собирался. Крепкий мужик, хитрый, тертый, битый, знающий все до тонкостей. В тот вечер он много пил, и не заметно было, чтобы сильно захмелел, — так, только щеки порозовели да маленькие глаза стали еще хитрее. Но выпитое все-таки подействовало.

— Знаете, Владимир Владимирович, за что нашему брату директору могут по шапке дать?

— Догадываюсь, — усмехнулся Силин, наливая себе в фужер боржом.

— А, ничего вы еще не знаете! Молодые руководители часто ходят без шор, я это сколько раз замечал. А надо надеть шоры и не шараться по сторонам. Так вот, *молодой человек*, директору могут дать по шапке только в трех случаях. Парадокс, думаете? Ничего подобного! Первый случай, конечно, — за невыполнение плана. Второй — за стихийное бедствие. Не наводнение, не хляби небесные, не землетрясение и не наступление очередного ледникового периода — нет. Скажем, пожар... Давайте поступите по деревяшке, чтоб вас бог миловал... Ну и еще — за охрану труда. Вот и все. Заботьтесь об этих трех китах и тогда спокойно уйдете либо наверх, либо на персональную.

Забавный был старик! И работал хорошо, и умер за своим столом в кабинете, сразу после директорского совещания.

Голос Губенко доносился до него словно издалека, и Силин механически улавливал лишь отдельные слова или обрывки фраз. Он покосился на Рогова. Тот слушал, время от времени что-то быстро записывая в свой блокнот. И вдруг Силин вздрогнул. Ему показалось, что в зал вошло что-то неожиданное. Он сначала почувствовал это неожиданное и лишь тогда, когда поглядел на Губенко, понял, что произошло.

Губенко не читал. Губенко положил руки на края трибуны и глядел прямо в зал, на эти обращенные к нему лица.

— ...И вот, когда нам планировали темп роста производительности, руководство завода не смогло предъявить научно обоснованный оптимальный план, главным образом потому, что не был учтен структурный сдвиг в связи с переходом на выпуск новой продукции. Я буду говорить конкретно. Это учитывал и об этом говорил главный инженер завода товарищ

Заостровцев, но товарищ Силин не прислушался к его голосу, понадеялся на свой опыт, а в результате первый квартал начал трещать. Выправить положение мы смогли ценой невероятных усилий. Должен честно сказать коммунистам: партком и я лично прислушались тогда к мнению одного человека — нашего директора...

Вот оно! Все-таки напоследок хочет хлопнуть дверью! Но Губенко уже снова начал читать, и легкий гул, пронесшийся по залу, тут же утих.

Теперь Силин слушал докладчика настороженно, мысленно потираливая его. Ему остро хотелось, чтобы уже кончился доклад, кончились прения, кончилась конференция — сейчас она казалась Силину какой-то трудной преградой, которую нельзя обойти, а надо обязательно перескочить, и чем скорее, тем лучше. Что ж, на это замечание Губенко он должен будет ответить в своем выступлении, обязан ответить, и он уже знал, как отвечать, — это его не волновало. Ему показалось, что он начал понимать первопричину сегодняшней настороженности. Зал! Да, зал и этот гул, который прошел по залу, когда Губенко обвинил директора в серьезной ошибке. Этот гул был недобрый, и относился он не к словам Губенко, а к нему, Силину.

Надо успокоиться. Я еще не научился говорить, но говорить нужно будет совершенно спокойно. Ничто так не действует, как спокойная уверенность. А Губенко не выдержал, переволновался, в его голосе были даже какие-то истерические нотки, это, наверно, заметили... Дорого бы я дал за то, чтобы узнать, о чем сейчас думает Рогов... Он снова покосился влево: Рогов чертил в блокноте какие-то завитушки, треугольники соединялись с кружочками, орнамент расходился по краям бумажного листка, как бы охватывая несколько слов, написанных четким, словно рубленным роговским почерком: «Создаем сами». К чему это относилось, какая мысль держала Рогова, когда он записал эти слова, Силин не мог понять.

Когда на трибуну поднялась Боровикова, по залу прошел легкий и добрый смешок. Боровикова была маленькой, Силин подумал, что из зала видна только ее маковка с замысловатыми завитками. Конечно, с утра раннего она уже была у парикмахера. Вот так — идет на партконференцию, а первая мысль все-таки о красоте.

Впрочем, какая там красота! Боровикова была не только маленькой, но и некрасивой, тут уж никакой самый прекрасный парикмахер ей не поможет. Силин глядел на ее остренький носик и вдруг вспомнил: где-то он читал, что женщины похожи на птиц или рыб. Боровикова была похожа на нахохлившегося воробьишку, который вот-вот долбанет своим острым клювиком.

Конечно, она будет говорить о своем двадцать шестом це-

хе, а клеветать станет руководство завода. Это всегда так: в цеховых неполадках проще увидеть вину руководства, чем свою собственную.

И когда Боровикова сказала, что в двадцать шестом цехе положение в любую минуту может оказаться катастрофическим, Силин довольно откинулся на спинку стула. Так и есть — долбанул воробышко клювиком!

Сначала-то она говорила правильные вещи: об особой ответственности и той роли, которая принадлежит двадцать шестому цеху, о строгом соблюдении недельных графиков и вдруг — «положение в любую минуту может оказаться катастрофическим».

Опять гул — на этот раз недоуменный. Боровикова переждала его и повернулась к Силину.

— Месяц назад мы передали заместителю директора по кадрам заявку на пять крановщиц. Это минимум того, что нам надо. На кранах, как известно, работают женщины, а они иногда рожают, и отговаривать их от этого дела вроде бы ни к чему...

Теперь она переждала, пока стихнет смех.

— Вы смеетесь, а нам в цехе плакать хочется. Без крановщиц цех встанет, товарищи! Ни в одном ПТУ крановщиц у нас не готовят. Но сделал ли что-нибудь наш заместитель директора, чтобы обеспечить цех крановщицами?

Силин поискал глазами — вон он, Кривцов, ряду в десятом, сидит, глядя под ноги. Недели две назад на директорском совещании он сказал о записке из двадцать шестого. Силин тогда отмахнулся, — что они там паникуют? — а теперь вот Боровикова выходит с тем же на трибуну партконференции, да еще пугает катастрофой!

— Сколько у вас сейчас крановщиц? — спросил он, перебивая Боровикову.

— Двенадцать.

— А рожать они собираются одновременно или по очереди?

— Здесь не место для шуток, Владимир Владимирович. В ближайшие три-четыре месяца, как раз тогда, когда цех обязан начать серийный выпуск «десяток», мы лишимся пяти крановщиц. Я знаю, многим это кажется мелочью, но из таких мелочей складывается производство вообще.

И опять Силин как бы выключился. Быть может, потому, что Боровикова говорила впрямь дельные вещи, — ладно, будет стенограмма, еще посмотрю. Конечно, она долбанула не только по Кривцову, а и по мне. С крановщицами действительно надо будет решить в первую очередь. Катастрофа не катастрофа, а впрямь «узкое место»: если встанут краны, бед не оберешься. Только вряд ли с этим надо было выступать здесь. Вполне можно было бы решить в рабочем порядке... А ведь не решил, отмахнулся тогда, сказал Кривцову: «Не лезьте с пу-

стяжками. Мне там не пять крановщиц надо, а полторы сотни станочников».

Он не знал, что Боровикову не слушает сейчас не он один. Не слушал ее и секретарь райкома Званцев.

Он глядел на Боровикову с легкой, незаметной для других печалью и вспоминал ее, робкую девчонку, студентку, подрабатывающую вечерами на почте. Ее ласково звали Капля, и она охотно приняла эту кличку. Она была словно единственным ребенком среди взрослых, и о ней заботились, как о ребенке: «Капля, ты сегодня обедала? Идем, в столовке сегодня котлеты и квас», «Капля, почему каблук набоку? Давай сюда, починю», «Капля, почему глаза красные?». И в походах не давали ей нести рюкзак, таскать воду, заготавливать дрова — короче, она была Капля.

А потом вдруг Капля влюбилась в какого-то вдовца, на десять лет старше ее, и выскочила за него замуж очертя голову, даже не узнав человека как следует. Оказалось, попался пьяница, бил ее и сынишку от первой жены, она убежала с ребенком из дому и жила у подруг, у знакомых — так продолжалось до тех пор, пока озверевший от водки муж не избил обоих особенно люто. И Каплю, и ребенка соседи отвезли в больницу. Потом был суд, развод, бывший муженек получил на всю катушку. Его лишили родительских прав, а мальчишку усыновила Капля. Так они и живут теперь вдвоем. Недавно Званцев встретил их вечером в кино и, кивнув на рослого парня, спросил Каплю: «Ну и вырастила дитяню! Слушается?» — «Не очень. Начиная воспитывать, а он берет меня на руки, носит по комнате и басит: мама, угомонись, уже поздно».

И вот она, когда-то робкая девчушка, сейчас взяла на себя партийную организацию не просто цеха, а двадцать шестого. Трудно, конечно, Капле. И говорит она сейчас по своему неуменно не совсем то. Это выступление инженера, а не партийного работника. А впрочем, где тут проведешь четкую грань? Наверно, хуже будет, если нехватка крановщиц не станет волновать партийного работника.

Ничего, все идет правильно, Капля!..

Силин даже не заметил, когда что-то вдруг переменялось. Теперь он слушал каждое выступление не просто внимательно, а с какой-то ревнивой придирчивостью, потому что ему казалось, будто каждый хочет обязательно, непременно, во что бы то ни стало задеть его самого, Силина. Потом он оборвал сам себя: что за чепуха! Конечно, не очень-то приятно, что на заводе столько узких мест, столько неделанного, но разве они, выступающие, винят одного меня? И разве для меня все это в новинку? Наверно, я был бы никудышным директором, если б сидел сейчас и удивлялся обилию всяческих неполадок.

Бешелева он тоже приготовился слушать с той же придир-

чивостью и нетерпеливо смотрел, как секретарь комитета комсомола раскладывает перед собой листки.

Голос у Бешелева был звонкий, и выступал он живо — рассказывал сначала, как чтят комсомольцы заводские традиции, даже разыскали интересные материалы о комсомольской юности многих из тех, кто сидит сейчас в этом зале. В перерыве делегаты конференции получают сюрприз — сейчас в фойе комсомольцы устанавливают стенд с фотографиями тридцатых и сороковых годов. Ему хлопали. Бешелев повернулся к президиуму.

— Есть там и ваша фотография, товарищ Силин. Мы горды, что сразу после Великой Отечественной войны именно вы возглавили заводской комсомол.

Несколько хлопков раздались в разных концах зала и тут же потухли, и Силин досадливо поморщился. Слишком уж сладко все это получилось у Бешелева. Ни к чему. И только тогда, когда Бешелев перешел к комсомольскому рапорту, он снова отключился и уже не слушал его.

Все-таки в перерыве он и Рогов пошли посмотреть на эти стенды. Там уже толпились делегаты, еще издали были слышны голоса: «А это ведь Петька Капустин!» — «Точно, он, а рядом Валька Морозова. Где она, надо позвать бы...» — «А это вроде Борька Коган? Борька, давай сюда!» Люди были седые, пожилые, но все равно те, кто был на этих фотографиях, так и оставались для них Петьками, Вальками и Борьками.

Они расступились, когда Рогов и Силин подошли к стендам, и на огромной фотографии (Бешелев расстарался!) Силин сразу увидел себя в той самой гимнастерке со споротыми погонами. Молодой парень глядел на него с фанерного щита строго и испытующе, словно хотел спросить через годы: ну, как ты сейчас?

— Ишь ты, какой гусар! — усмехнулся Силин самому себе. Рогов не ответил — или не расслышал. Он разговаривал с теми, кто стоял сейчас рядом, тоже узнавал своих старых знакомых и словно забыл о Силине.

Потом, сразу после перерыва, выступил Нечаев: коротко, по-деловому, даже, пожалуй, сухоовато, — грешным делом, Силин ждал от него большего. Чувство неприязни к Нечаеву снова шевельнулось в нем тогда, когда начальник цеха сказал о нетерпимом положении: занаряженные станки простаивают и вопрос кадров до сих пор остается первостепенным. Как будто он не знает, как мы бьемся с кадрами. Как будто я не жму каждый день на зама по кадрам. Было время — работники управленческого аппарата дружно двинули в станочники, и ничего путного из этого не получилось. Показушное было время, показушный почин. Сейчас такое не пройдет. А следующий выпуск станочников ПТУ дадут лишь на будущий год, и это тоже не выход: парни почти сразу уйдут на срочную, в армию...

И опять он не знал, что Званцев не слушает Нечаева.

Званцев думал о том, как все мы переплетены в жизни, как связаны между собой и как любой из нас словно подхватывает и продолжает жизнь всех других. Это не простое знакомство случайно оказавшихся вместе людей — это *общество*, в котором каждый на виду и нравственная прочность каждого видна как на ладони. Для Званцева одно это понятие — нравственная прочность — уже вбирало в себя все остальные человеческие качества. Он привык видеть в людях лишь ее большую или меньшую степень. Эта привычка начала складываться давно, в юношеские годы, а одной из причин такого видения людей оказался Нечаев.

Они никогда не были близкими друзьями, и Званцев порой жалел об этом. Возможно, в этом была его собственная вина. Во всяком случае, одну историю он, солидный человек, секретарь райкома партии, до сих пор вспоминал с чувством досады на самого себя, если не стыда.

Как-то раз они оказались вместе в студенческой столовой, и после обеда Нечаев провел по клеенке ребром левой руки, ссыпал хлебные крошки в ладонь правой и, как бросают пригоршню ягод, бросил крошки в рот. Это после хороших-то щей и котлет с картошкой! Званцев засмеялся. Может, еще одну тарелочку щец, а? Нечаев непонимающе поглядел на него.

— Ты о чем?

— Неужели не наелся? Вон, даже крошки собрал.

— Крошки? — переспросил Нечаев. — Да, конечно, крошки...

Извини, пожалуйста. Но я ведь ленинградец...

Званцев резко оборвал смех.

— Это ты меня извини, — сказал он.

Через два года группу студентов направили на практику в Ленинград. Нечаев и Званцев оказались вместе, даже поселились в одной комнате пустующего на время каникул общежития Технологического института. Вечером Нечаев исчез. Он появился только утром, бледный, с распухшими красными веками. Званцев не стал его расспрашивать ни о чем, а когда кто-то из ребят с этойкой ехидной ухмылочкой и подмигиванием сказал, что вот, не успели приехать, а Нечаев не то к знакомой бабенке подкатился под бок, не то на лавочке в Летнем саду прилег пьяненький, — Званцев крикнул:

— Замолчи!

Нечаев собрался уйти и на следующий вечер, но Званцев остановил его:

— Ляг и выспись. На тебе лица нет. Все понимаю, но нельзя же доводить себя до такого состояния.

Нечаев послушался и лег. Званцев лежал на соседней койке и боролся со сном. Заснул он только тогда, когда Нечаев перестал крутиться и послышалось его ровное дыхание.

В выходной день с утра Нечаев сам предложил Званцеву пройтись по городу.

— Только по городу, — сказал он. — В Эрмитаж или в Русский музей можешь пойти сам.

Они долго шли, сворачивали на какие-то улочки, потом на набережную канала, вдоль которого росли старые, обсыпанные пухом, дряхлые тополя. Наконец Нечаев остановился возле одного дома и очень просто, очень спокойно сказал:

— Вот здесь мы жили. Квартира девять.

И пошел дальше.

Опять улочки, и тополиный пух под ногами, и мостик с четырьмя златокрылыми грифонами — Званцев уже видел этот мостик на снимках и во многих фильмах.

— А здесь застряла военная машина, — сказал Нечаев. — Я тоже подошел подсобить... Ну, мне и подарили еловую ветку... Машина была укрыта ветками, должно быть для маскировки... Притащил ветку домой, достал елочные игрушки, а там, в коробке, — леденцы! Представляешь? Их до войны отец на елку вешал. Длинненькие такие, в фантиках. Мне на пять дней хватило, по две штуки в день...

Потом он махнул рукой в сторону: вон там была их булочная. Очередь выстраивалась с ночи, а он шел к самому открытию. Без пяти восемь, хоть часы проверь, немцы начинали обстрел. Знали, что люди стоят возле магазинов. Все, конечно, разбежались, прятались, и он оказывался у дверей первым. Бесстрашие? Ерунда! Просто в таком возрасте человек еще не верит в возможность собственной смерти.

Званцев подумал, что в ту первую ночь Нечаев ходил здесь, стоял возле своего старого дома, быть может даже у дверей девятной квартиры, и все как будто пережил вновь.

Когда они оказались на шумном Невском, он тихо спросил:

— Ну а потом? Потом что?

— Потом вывезли на Большую землю, — ответил Нечаев. — Этого я уже не помню. Меня подобрали на улице.

Он шел и все оглядывался, словно искал что-то или пытался вспомнить уже полузабытое.

— Где-то здесь должна быть... Две недели назад в «Огоньке» снимок видел... Кажется, там, дальше...

Здесь, в этой части Невского, было потише и малолюдней. Возле большого желтого здания фотографировались какие-то парни с «канадскими» коками по тогдашней моде, девицы с «конскими хвостами» — развеселые, хохочущие вовсю. Один такой парень встал к стене, раскинув руки, как на распятии, и, подняв голову, закатил глаза — его фотографировали, и все так и покатывались со смеху: ну Гарька, ну дает!

Званцев не успел остановить Нечаева.

Тот ворвался в эту странную группу, отшвырнул в сторону того парня, ударил в лицо другого, с фотоаппаратом. Аппарат упал на асфальт. Кто-то из тех ударил Нечаева. Тогда Званцев, не раздумывая, подскочил на помощь к Нечаеву и ответил на удар за него.

Тех парней было семь или восемь, их двое. Нечаев и Званцев стояли спиной к стене: хорошо — сзади не подберутся. Те парни пришли в себя и бросились на них, но уже бежал к ним милиционер, придерживая одной рукой кобуру, а другой держа у рта свисток. Собралась толпа, девчонки вытирали платочками кровь на лице своего приятеля. Нечаев сильно разбил ему губу.

— Хулиганье, — сказал кто-то. — Судить таких надо.

— Надо, — подтвердил Нечаев.

Милиционер потребовал, чтобы все прошли с ним в ближайший пикет, и тогда Званцев успел шепнуть Нечаеву:

— А почему мы все-таки дрались? — Он должен был знать это. Надо же как-то оправдываться в милиции.

— Обернись, — коротко сказал Нечаев.

Там, на стене, была надпись: «Граждане, при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». И на металлической полочке под ней лежал букетик полевых ромашек.

— Жаль, — громко сказал Званцев. — Жаль, что мало мы им врзали, Нечаев...

Сейчас Званцев сидел и думал, что, наверно, если человек в детстве сталкивается с огромной несправедливостью, с годами в нем сама по себе вырабатывается нетерпимость даже к самой малой несправедливости. Таким выросло наше поколение, потому что там, уже далеко в детстве, была величайшая несправедливость — война, голод, холод, смерть — у одних страданий было больше, у других меньше. У Нечаева была блокада — больше некуда! Эта мысль о связи военного детства с духовной прочностью поколения поразила Званцева своей неожиданностью. Он прислушался к голосу Нечаева, спокойному, с легкой хрипотцой, и снова подумал: да, этот потянет. Кажется, здесь мы не ошиблись. Только, может быть, это надо было сделать раньше. Он умеет работать.

И снова вспомнил, как прошлой зимой он пришел в двадцать шестой цех. Там было холодно, отопление еще не работало, на станинах станков проступал серебряный иней. Тронешь, и отпечатывается вся пятерня. Званцев спросил у монтажников, где начальник цеха, они засмеялись и махнули в сторону огромной сушильной камеры. Званцев пошел туда — Нечаева не было. От камеры тянуло теплом. Должно быть, ее испытывали накануне. Он зажег спичку и заглянул внутрь: там на растеленных газетах спал Нечаев, засунув руки в рукава и натянув на уши меховую шапку.

— Вы бы не будили его, начальник, — сказал, подойдя, один из монтажников. — Мы-то сменяемся, а он два дня не спавши...

— Слово имеет товарищ Бочаров, подготовиться товарищу Силину.

Конечно, это было чистой случайностью, что их фамилии

оказались рядом. Прения по докладу уже кончались. После Силина собирался выступить Рогов, а там перерыв и затем выборы нового парткома.

Рогов смотрел, как Николай идет по проходу, вынимая из кармана сложенную пополам школьную тетрадку. Он заметил, что Бочаров спешит, чуть не бежит по проходу — наверно, это от волнения, он не мастер выступать. И лицо у него напряженное, и на трибуну он поднялся неуверенно — конечно, волнуется. Рогов улыбнулся, но Николай не глядел в сторону президиума и не увидел эту ободряющую улыбку.

— Я не буду говорить о делах двадцать шестого цеха, — торопливо сказал Николай, словно желая поскорее прервать свое смущение и свое волнение. — Об этом здесь уже говорилось сегодня. Я о другом... — и так же торопливо развернул свою тетрадку.

А Рогов и не знал, что на заводе уже год как создана комиссия по быту и что ее председателем является Бочаров. Сейчас Бочаров выступал от имени этой комиссии. Известно ли делегатам, что на заводе двадцать один процент — женщины? А яслей не хватает, детских садиков — тоже. Комиссия не может добиться от администрации, чтоб на заводе был открыт магазин полуфабрикатов, — какое подспорье было бы работающим женщинам. Вот почему текучесть кадров среди женщин выше, чем среди мужчин. Партийный это вопрос или нет?

— Партийный, — громко сказал Рогов.

Жилье... Бочаров перевел дыхание. Вопрос с жильем, конечно, самый острый. Город дает заводу много, полтора миллиона рублей было передано городу в счет долевого участия. Но почему отдельные квартиры директор завода распорядился давать только оргнаборникам? Чтобы удержать их на заводе? Да, тем, кто прибыл сюда по оргнабору, надо создавать нормальные условия для жизни, но на заводе есть люди, которые проработали здесь по десять, по пятнадцать лет — кадровые рабочие, а живут тесно, и вот их заявления вообще отложены на неопределенный срок. Правильно это или неправильно?

— Неправильно, — сказал Рогов.

В зале раздалась аплодисменты.

Вдруг Рогов вспомнил давний разговор с Силиным по телефону, когда Силин говорил о квартирах, о том, что на заводе скопилось свыше шестисот заявлений, — и говорил он об этом с тревогой, за которой, во всяком случае именно так тогда показалось Рогову, крылась забота.

— Я тоже думаю, что неправильно, — кивнул ему Бочаров, отрываясь от своей тетрадки. — Тут наш директор думает о ближайшей выгоде, а не о людях, которым еще работать и работать.

— А почему только директор? — спросил Рогов. Обычно он не любил перебивать ораторов, но сейчас не выдержал. — Разве распределением жилья у вас занимается директор?

Бочаров замялся. Из зала кто-то крикнул:

— У нас директор занимается всем.

— Да, — сказал Бочаров. — То есть что Владимир Владимирович скажет, то и делают. Сказал — квартиры только для оргнаборников, так и сделали. А у нас шестьсот с лишним заявлений от первоочередников.

Он снова начал читать по своей тетрадке, а Рогов подсознательно отметил, что зал замер. Это потому, подумал он, что вопрос, конечно, острейший. И я тоже виноват в чем-то, это критика и в мой адрес. Надо было проконтролировать, как завод распоряжается жильем, которое ему дает город.

Когда Николай кончил и пошел вниз, в зал, Рогов встал и помахал рукой, останавливая его. Иначе он не мог. Бочарову хлопали громко и долго, он просто не расслышал бы, если б Рогов попросил его задержаться на минуту.

— У меня к товарищу Бочарову есть еще один вопрос, — сказал наконец Рогов. — Вот вы, ваша комиссия и вы лично, — пытались доказать свою точку зрения директору? Пытались как-то отстоять ее? Или приберегли этот разговор для партконференции?

И снова в зале возникла густая, словно ощутимая тишина. Такая густая, что Рогову показалось — в ней можно плыть. Бочаров снова поднялся на трибуну. На этот раз он шел медленно, как бы нехотя, сейчас ему придется говорить не по написанному. Вопрос, заданный Роговым, смутил его. Ему показалось, что секретарь обкома хочет защитить директора. Последняя фраза была сказана Роговым резко.

— Два раза мы были с этим вопросом в парткоме, у Губенко. Несколько раз в завкоме. Написали служебную записку директору... — Он запнулся и замолчал, словно раздумывая, стоит или не стоит договаривать до конца. — Один раз я сказал это Владимиру Владимировичу в личной беседе... — Он снова запнулся. — В домашней обстановке. — Зал молчал по-прежнему, и это было нетерпеливое молчание. — Он ответил, что это дело не нашей комиссии. Вот и все. Да, а товарищ Губенко и завком ответили, что вопрос с жильем на решении у директора.

Николай повернулся к Рогову, и Рогов кивнул: спасибо. Он уже не глядел на Николая и не видел, как тот идет через зал на свое место, на ходу пожимая протянутые руки. Ему надо было записать все это в свой блокнот. Он должен сказать и об этом в своем выступлении. Обязательно сказать, непременно сказать, и вовсе не потому, что от него ждали этого, а потому, что и ясли, и жилье, и магазин полуфабрикатов на заводе — это тоже самый что ни на есть партийный вопрос.

Силин снова должен был заставить себя успокоиться. Сейчас ему выступать. Он уже знал, что каждое его слово будет приниматься с особой придирчивостью. Если б не выступил Колька, все было бы иначе. Низенькая же у Кольки колокольня! А делегаты за него... Только спокойно, совсем спокойно...

Он встал и пошел к трибуне, и снова была настороженная тишина; теперь и он почувствовал ее плотность, через которую приходилось проходить с трудом...

Эту ночь он не спал, и бессонница оказалась мучительной. Силин сидел на кухне, несколько раз ставил чайник и пил крепкий чай, курил, закрыв дверь, пытался настроить приемник и поймать какую-нибудь музыку — эфир отвечал шорохами и потрескиваниями. Уже под утро, когда начался сизый, робкий рассвет и из темноты выступили голые, облетевшие деревья, он лег. Но стоило закрыть глаза — и перед ними снова и снова вставал *зам*.

Нет, к черту! Лучше не мучить себя. Все равно не уснуть. Одеться, выйти на улицу под мелкий, холодный, морозящий дождь и хотя бы час побродить, чтобы не такой тяжелой была голова. Так он и сделал.

Это было утро выходного дня, и город казался вымершим. Силин шел по пустынным улицам — просто так, лишь бы идти. Дождь не прекращался. Все было серым: асфальт, дома, деревья, небо. Силин испытывал странное ощущение, будто он остался один во всем городе, и это одиночество было тягостным. Он даже обрадовался, когда услышал мерный, нарастающий звук идущей машины. Из-за угла медленно вышла оранжевая, такая неожиданно яркая в этом сером мире поливочная машина и повернула, расставив в стороны водяные усы.

Оранжевая машина, поливающая под дождем улицы, — и то и другое было нелепым, странным, как во сне. Силин шел дальше. Его начало познабливать, но он не хотел возвращаться домой. На углу Цветочной и Карла Маркса он остановился и подумал: вот стою, как витязь на распутье. Налево — завод, направо — дом, где живет Воронина. А если идти прямо — мост и Новые Липки...

Он пошел прямо.

Что будет сегодня в газете, в «Красном знамени»? Небольшой отчет о том, что на ЗГТ прошла партийная конференция, делегаты такие-то говорили о том-то и о том-то, с речью на конференции выступил кандидат в члены ЦК КПСС, секретарь обкома товарищ Г. П. Рогов. Избран новый состав парткома. О том, что при голосовании директор завода Силин получил пятьдесят семь голосов против, в отчете, конечно, не будет сказано.

Пятьдесят семь голосов против — это много, очень много, это пятьдесят семь человек, которые уже не верят ему. На прошлой партконференции он получил только шесть против. Кто же мог голосовать так? Да все равно — думай не думай, голосование тайное. Мало ли людей, с которыми я был крут, но стоит ли жалеть об этом? Неужели эти люди, считающие себя обиженными, не понимают, что мне вовсе не доставляет удо-

вольствия быть таким? Но к этому вынуждают они сами. Мало думают, мало отдают себя работе. Какой-то внутренний голос пытался было воспротивиться этой мысли, но Силин тут же подавил в себе попытку иначе поглядеть на этих людей и на себя самого. Мне поручено огромное государственное дело, и я не могу делать его иначе...

Да, дело действительно огромное. Когда Рогов поднялся на трибуну, он начал с того, что в ЦК его познакомили с генеральным планом развития нефтяной и газовой промышленности. На карте страны были проложены красные линии — трассы еще не построенных газопроводов. Они тянулись из Средней Азии и с Севера, они перемахивали через государственную границу и уходили в Европу, они были как артерии, снабжающие могучий организм живительной кровью. Их еще нет, этих тысяч километров труб, но они будут. И на каждой трассе должны стоять наши турбины... Там, в Москве, все как бы сошлось воедино.

— Так вот, товарищи, — сказал вчера Рогов, — мне очень хотелось бы, чтобы вы представили себе этот грандиозный план и увидели в нем свою роль. И не только увидели — чтобы вы помнили о ней постоянно.

А потом он говорил уже о заводских делах и скоро от очень коротких и скупых похвал перешел к разговору, которого Силин не ожидал никак. Все-таки его обмануло чутье: главные неприятности пошли от Рогова...

— Я не очень понял оправдательные нотки в выступлении товарища Губенко, — говорил Рогов. — Да, конечно, в вашем производстве произошел структурный сдвиг. Да, конечно, огромные трудности с кадровыми вопросами. Да, конечно, переход на выпуск новой продукции всегда связан с известными неурядицами. Но вот выясняется, что эти неурядицы мы иной раз создаем сами! (Силин вспомнил непонятную запись в роговском блокноте — «Создаем сами...»). Да, товарищи, сами, потому что партком в лице его секретаря признался сегодня: прислушались к мнению лишь одного человека — директора, хотя были и другие мнения. А в результате, как сказал товарищ Губенко, план начал трещать и выйти из прорыва пришлось ценой огромных усилий. — Он перелистал несколько страничек блокнота. — Но только ли усилий? Обком партии получил письмо, в котором говорится, что директор завода дал негласную команду отделу технического контроля: ради плана закрывать глаза на мелкие недоделки. А в результате, как мы выяснили, сроки монтажа компрессоров и воздуходувок на местах затягиваются именно по причине этих не таких уж и мелких заводских недоделок. Давайте, товарищи, честно, по-нашему, по-партийному: так это или не так?

— Так, — сказал кто-то в зале.

В стенограмме, наверно, в этом месте будет отмечено — «аплодисменты».

Потом Рогов обрушился на Заостровцева, но все равно главный удар был нанесен по нему — по Силину.

— ...Вспомните, как и что говорилось о новой технике на последнем съезде нашей партии, — доносился до Силина голос Рогова. — Да, вы многое сделали в освоении новой техники, но вот я беседую с секретарем вашего райкома товарищем Званцевым, и он рассказывает мне удивительную вещь! Рассказывает, что случайно встретился с главным инженером товарищем Заостровцевым, спросил, как дела, побеспокоился насчет термо-прессового цеха, и тут выяснилось, что план реконструкции цеха есть. Есть такой план! Но волей директора, которому дорога, видимо, лишь сиюминутная выгода, план этот положен в долгий ящик. Я хочу спросить сейчас коммуниста Заостровцева: почему вы промолчали, Виталий Евгеньевич? Почему мы не услышали здесь, на конференции, вашего голоса? Почему вы, создав этот план и, очевидно, зная лучше всех, как необходима реконструкция, не пошли воевать за нее? Ни в райком, ни в обком, ни в министерство — вплоть до Центрального Комитета — по праву, предоставленному вам Уставом нашей партии? Почему? Почему об этом секретарь райкома узнает случайно в антракте, в фойе нашего театра? Сейчас ваш термо-прессовый дает двенадцать тысяч тонн...

— Пятнадцать, — сказал Заостровцев.

— Мне товарищ Силин весной говорил — двенадцать, — сказал Рогов. — А сколько будет давать, если поставить новейшее оборудование с программным управлением?

— Двадцать четыре, — ответил Заостровцев.

— Двадцать четыре, — повторил Рогов. — Но, видимо, товарищу Силину спокойней жить при пятнадцати.

Все! Вот откуда они, эти голоса против.

Рогов ничего не сказал Силину ни в перерыве, ни после голосования. Он разговаривал с другими и был оживлен, по-прежнему весел, будто бы только что не смял, не разнес старого друга. Силин не выдержал. Он все-таки нашел момент, чтобы сказать Рогову как можно спокойнее, впрочем не скрывая своей обиды:

— У тебя уже есть замена мне? После всего этого, я думаю...

— Думай о другом, — не дал договорить ему Рогов. — О том, как работать дальше.

Он не стал дожидаться результатов голосования, попрощался и уехал. Об этих пятидесяти семи голосах против ему сообщит сегодня скорее всего Званцев. А вот Нечаев получил всего два голоса против. Один, надо полагать, его собственный, другой же принадлежал Силину...

Он вышел к реке, к мосту.

Уже совсем рассвело, и дождь прекратился. Но все вокруг продолжало оставаться серым, унылым, лишь на поверхности реки время от времени появлялись белые барашки.

Как все нелепо получается в жизни, подумал Силин. Нелепо, как та оранжевая машина, поливающая улицы под дождем.

И уже совсем нелепо было увидеть пацана в пестрой женской болонье и с зонтиком. Пацан стоял у самой кромки воды, в одной руке — зонтик, в другой — удочка. Красный поплавок-гусинка плясал на воде. Силин спустился, скользя по мокрой траве, мальчишка испуганно обернулся.

— Клюет? — спросил Силин.

— Не-а, — ответил мальчишка.

— А дождя-то уже нет, — сказал Силин.

Мальчишка сложил зонтик и ткнул его острой верхушкой в землю.

— Дашь мне половить? — спросил Силин.

— Дам.

Он протянул удилище. Силин вытащил из воды леску, проверил крючок, сменил червя и, чуть пройдя по берегу, забросил подальше, на глубину. Здесь, за бетонным основанием моста, был затишек.

— Может, после дождя и начнёт брать? — неуверенно сказал мальчишка и замер: поплавок попрыгал и вдруг пошел вниз, под воду.

Силин подсек и сразу почувствовал на конце лесы бьющуюся, сопротивляющуюся тяжесть. Он вываживал рыбу осторожно, медленно, временами отпуская ее и подтягивая вновь, пока крупная, обессиленная густерка не подошла к берегу. Тогда он вытащил ее на траву, густера запрыгала, и мальчишка прижал ее.

— Теперь давай ты, — сказал Силин.

— Я же говорил, что после дождя начнет! — счастливо крикнул мальчишка. — Она всегда после дождя начинает! Наглотается кислорода и начинает червя хватать!

Силин стоял, курил и смотрел, как мальчишка таскает густерок из того затишка. Просто здесь всегда ловилась густера. Это он помнил еще со своего собственного детства.

15. КИРА

Ни разу за все свои без малого пятьдесят лет Кира не испытала чувства одиночества: оно просто было незнакомо ей. Это оказалось, пожалуй, счастливым свойством ее натуры. Даже тогда, когда врач, немолодая женщина, глядя в сторону, сказала: «У вас, милая, детей уже не будет, придумывайте что-нибудь», — она печалилась недолго. Не будет так не будет. Тогда ей еще не было тридцати. Сейчас она все чаще задумывалась над тем, что не надо было тогда, в молодые годы, так уж слушаться Володьку. Сыну или дочке было бы уже двадцать шесть. Временами она пыталась представить, придумать себе того ребенка, это была некая игра, не вызывавшая в ней ни грусти, ни сожаления о несбывшемся. Только один раз она

поделилась этим с Дарьей Петровной Роговой и потом жалела об этой откровенности. Будто поплакалась.

Но чувство одиночества прошло мимо нее. С утра — работа, люди, все ровно, никаких неприятностей, потому что и работа интересная, и люди подобрались славные, в основном женщины. Вот у тех действительно всегда были неприятности: пили или погуливали мужья, или, наоборот, сами влюблялись и метались, разводились и сходились, хворали дети, или какие-нибудь квартирные неурядицы. Кира была старше их и счастливее, стало быть ровнее, — потому-то к ней и шли каждая со своими болячками, за советом, помощью или просто так — поплакаться в минуту жизни трудную.

То, что раздражало в ней Силина — вечные хлопоты о ком-то из своих, фабричных, — было частью ее натуры, той доброты, которой с избытком хватило бы на многих. На «Луче» ее любили. Как-то секретарь парткома «Луча» — женщина не очень мягкая — сказала ей не то в шутку, не то всерьез: «Слушай, у тебя в школе какая-нибудь кличка была?» Кира улыбнулась: «Была. Медуза». — «Вот-вот! — сказала та. — Для нас лучшего предзавкома не найти бы, чем ты, только ты до сих пор такая, а мы, бабы, должны быть кулакастые». — «Зачем?» — удивилась Кира. Она была членом завкома, в бытовом секторе. Но так она и не поняла, для чего нужно быть кулакастой.

Да и зачем быть такой, когда, например, года полтора назад пришла к ней в отдел девчушка, совсем девчонка, плечики как у подростка — худые и острые, спереди — сплошная плоскость, косички из-под красной косынки торчат, перехваченные аптечными резинками, и только передник на животе как-то приподнялся. «Меня послали к вам, Кира Сергеевна. Извините, я не хотела идти, а мне велели». — «Садись». И все уже заранее ясно и понятно, о чем будет разговор.

Оказалось, разговором дело не кончилось. Эта девчонка — Татьяна Передерина — вдруг вошла в жизнь Киры.

Ее история была, в общем-то, простой, даже обычной: жила с родителями в одном недалеком колхозе, осенью на картошку приехали ребята с ЗГТ, вечером на танцах в клубе познакомилась с одним, ну, а дальше, сами понимаете... Клялся, божился, что любит и непременно женится, поверила сдуру, а потом, когда поняла, что поматросил и бросил, было уже поздно. Родители — люди крутые, вот и испугалась, убежала из дома, оставив записку, что хочет жить и работать в городе. Отец прислал письмо (она протянула Кире помятый конверт): «Живи как хочешь. К нам в таком случае даже не являйся». Они еще ничего не знают, родители.

Она плакала, по-деревенски вытирая глаза подолом передника. Кира налила ей газировки из сифона.

— Сколько ему уже?

— Семь месяцев.

— Горошину родишь, — сказала, улыбнувшись, Кира. — На танцы пойдешь — никто и не заметит.

— Доплясалась уже, — ответила Татьяна и снова потянула к глазам подол передника.

Конечно, можно было бы ее успокоить, утешить, сказать — ничего, милая, рожай себе спокойно, на «Луче» хорошие ясли, детский сад, а для тебя с малышом выделим в общежитии отдельную комнату, поможем по линии профсоюза. Ну, какая-нибудь кулакастая при этом, конечно, ругнула бы для облегчения души сволочей мужиков, тем разговор бы и кончился.

Кира обняла девушку и прижала к себе.

— Что же мне с тобой теперь делать?

— А что со мной делать? — спросила Татьяна. — Рожу, и все тут.

— Конечно, родишь, — улыбулась Кира. — Только ведь не в одном этом дело.

— А в чем же еще?

— В том, что у ребенка не только одна ты должна быть. Не понимаешь? Отец должен быть, дедушка, бабушка...

— Отец! — усмехнулась Татьяна. — Какой он отец! Я один раз написала ему — ни ответа, ни привета. Нужен нам такой отец!

О том парне она говорила беззлобно, скорее с равнодушием, и Кира поняла: встреча-то у них была, что ни говори, случайной, без всякой любви, значит и без ответственности за будущее. Ну, а жениться тот парень обещал, конечно, просто так, чтобы только добиться своего.

— Ты его любишь? — спросила Кира.

— Я его забыла. На улице встречу — не узнаю.

— Расскажи мне о родителях, — попросила Кира.

Татьяна рассказывала охотно. Видимо, ей просто хотелось наконец-то выговориться. Или немолодая женщина с добрыми глазами вызывала на откровение? Нет, позже Кира не раз убеждалась в том, что Татьяна — человек не скрытный и не замкнувшийся в собственной беде.

Так вот — родители... Отец уже в годах, под шестьдесят, был на войне, раненый. Матери сорок. Она у него вторая жена. Работают в колхозе: отец — плотник, мать — телятница. Свой дом. Недавно «Темп-6» купили. Вообще-то, все есть. Но живут для себя. Отец так и говорит: «Во всем должен порядок быть». Больше всего он бережет этот порядок: чтоб денежки на сберкнижке прибавлялись, чтоб дома все было по его, боже избави хоть слово поперек сказать, даже попросить о чем-нибудь. «Без тебя знаю». Ну, а мать, конечно, привыкла, смирилась.

— Значит, — спросила Кира, — они думают, что ты просто взбунтовалась?

— Ну, — ответила Татьяна.

— А если правду сказать?

— Зачем? — равнодушно отозвалась Татьяна. — Это для них будет совсем непорядок. Так у них не полагается.

— А разве так уж плохо, когда порядок? — спросила Кира. — Они, наверно, о другом для тебя думали. По хорошему порядку. Ладно, Татьяна, давай-ка ты мне свой адрес... Ну, где твои родители живут?

Татьяна долго молчала, как бы раздумывая, стоит или не стоит так уж довериться этой, в сущности, совсем незнакомой женщине? Но потом, видимо, все-таки решила — стоит. Деревня Запешенье. Их дом в аккурат напротив чайной. Двухэтажный, зеленый такой, с балкончиком. И наличники на окнах резные, отец сам делал.

— Письмо напишете?

— Сама съезжу. Тебе же будет лучше, Таня.

— Если бы, — тихо сказала та.

— А как... — Кира осеклась. Она хотела спросить, как фамилия отца ребенка. Таня поняла эту недоговоренность и отвернулась.

— Зачем? — спросила она. — Вот уж совсем ни к чему. Про него только я одна знать буду.

Ладно, подумала тогда Кира. Потом, когда все уладится, сама скажет. Никуда ты теперь от меня, девчонка, не денешься. Она сама не могла бы объяснить, почему ей так подумалось. Да и зачем что-то объяснять: просто Кира была Кировой, и судьба этой девчонки сразу тронула ее, вошла в нее — пусть даже своей обыденностью, но она уже не могла отказаться от соучастия...

В Запешенье Кира собралась в субботу. Ехать пришлось поездом: Силин сказал, что в субботу он будет на заводе и отвезти ее на машине не сможет. Да и зачем ей понадобилось в это Запешенье? Когда она рассказала зачем, Силин усмехнулся:

— Не забудь пол-литра купить и закуски какой-нибудь. Или торт. Черт знает, что ты выдумываешь себе, Кира.

Она поехала. В конце концов, полтора часа туда, полтора обратно, ну, два часа от силы там, — к вечеру вернуться.

— Ты пообедаешь на заводе?

— Если дома нет обеда, придется на заводе.

— Но, Володя, ты же понимаешь...

— Я понимаю, что все это не дело, — сказал он.

Кира не стала спорить.

Пригородный поезд проходил мимо Громыхалова, того самого Громыхалова, куда они — Кира и Силин — поехали в сорок пятом за грибами. С тех пор она ни разу не была здесь, и сейчас, сидя у окна, всматривалась в мелькающий березняк. Было солнечно. Снег на открытых местах уже совсем стаял, и только там, в лесной гуще, лежали сероватые, набух-

шие водой снежные островки. Вдоль канав всюду пушилась верба; плети краснотала казались необыкновенно яркими в этом бело-сером апрельском мире. И может быть потому, что там, за вагонным окошком, была ранняя весна, а *тогда* была грибная осень, воспоминания оказались какими-то тусклыми, ничуть не волнующими, — так, вспомнилось, и все. Вокзал в Громыхалове давным-давно отстроили, и Кира не узнавала ничего. Тогда не было ни этих стекляшек-павильонов возле площади, ни водокачки, ни этих стандартных трехэтажных домов-коробок, виднеющихся за низкими, видимо уже после войны выросшими березами.

И только потом, когда поезд отошел от Громыхалова, неожиданно, вдруг, до слез вспомнилось все — лес, грибы и та самая томительная, долгая, как век, минута, отделившая одну часть ее жизни от другой, — все, все будто нахлынуло разом, будто между *теи* и сегодняшним днем не было двадцати шести лет. Быть может, невольно, с непонятной самой себе жадностью она разглядывала сейчас *того* Силина, — господи, какое у него тогда было лицо! Мысленно она вновь и вновь, как и тогда, проводила по нему ладонями, еще не веря в свое счастье, — и подумала: да, я все-таки счастливая. Миллион женщин может позавидовать мне. Может быть, кто-нибудь и скажет, что у меня маленькое счастье — работа, дом, Силин, — да, я не срывалась с места и не ездила на великие стройки, не жила в бараках, не мерзла, не думала, где взять денег на завтра до получки. У меня есть Силин. Что из того, что он изменился? Он-то работал не так, как я. Он устал. Его раздраженность от этой усталости. Но он — Силин, и как хорошо бывает: придешь на фильм в заводской Дом культуры, а за спиной шепот: «Жена Силина...» — «Где?...» — «Да вон, с норковым воротником...»

Жена Силина...

Для Кире это было местом в жизни, и такое место устраивало ее, ничего большего она не хотела и знала, что так будет уже до конца.

Когда Силин возвращался из-за границы и привозил подарки, когда она появлялась на работе в каком-нибудь модном свитере или замшевом костюме, она знала, о чем думают многие ее сослуживцы. Особенно женщины. Тогда у нее появлялось непонятное, мимолетное чувство вины перед ними. Почему? Отчего? Разве я виновата в том, что все так сложилось у меня в жизни?

И, вглядываясь в этот голый, еще не оживший лес, она улыбнулась будто с благодарностью.

...Она не ожидала, что разговор с Таниными родителями окажется таким простым и легким. Честно говоря, ей было страшновато толкнуть калитку и войти во двор, по которому расхаживали странные белые куры с зелеными крыльями. Должно быть, ее заметили из окна, потому что сразу дверь откры-

лась и в дверном проеме показалась тщедушная фигурка в меховой жилетке и коротко обрезанных валенках.

— Вам кого, гражданочка?

— Передерины здесь живут?

— Ну, я Передерин. Проходите, не бойтесь — собак не держим.

Она поднялась по ступенькам и протянула Передерину руку. Тот пожал Кирину руку, и она почувствовала жесткость его ладони.

— Проходите, — повторил Передерин, посторонившись.

Да, именно таким представляла себе этот дом Кира: здесь был *порядок!* Чистота и порядок. И «Темп-6» между окон, с вышитой салфеткой поверху и фарфоровой борзой на ней. И большой портрет самого Передерина, курчавого, молодого, с сержантскими погонами и двумя орденами Славы. Этот портрет на самом видном месте как бы говорил и гостю, и домашним: вот он кто здесь хозяин. Не забывай, пожалуйста. Кира улыбнулась про себя: Таня была права, в доме, конечно, существует свой маленький культ передеринской личности.

— Вы садитесь, гражданочка, — сказал Передерин, отодвигая от стола стул. — Только если насчет дачи... мы курортников не держим.

— Нет, — сказала Кира. — Я не насчет дачи. Я насчет Тани. Мы с ней вместе работаем.

— А, — сказал Передерин, садясь напротив нее, по ту сторону стола. Взгляд у него стал напряженным, даже, пожалуй, чуть испуганным. Но больше он ничего не сказал. Сидел и ждал, что скажет эта городская.

— Как ваше имя-отчество?

— Павел Иванович.

Лучше, если бы дома оказался не он, а его жена, Танина мать, подумала Кира. С женщиной говорить все-таки легче. Но, видимо, он здесь один, в доме тихо, только часы стучат на полированном комодe.

— У Тани трудная пора, Павел Иванович.

Он снова промолчал.

— У вас есть еще дети?

— Есть.

— А внуки?

— И внук есть. От старшего сына. На Дальнем Востоке они...

И снова молчание, и снова этот напряженный взгляд... Кира тоже молчала. Она вдруг растерялась оттого, что сразу почувствовала это неприятие.

— Вы хотите сказать, чтоб я и от Таньки внука ждал? — неожиданно усмехнулся, раздвигая тонкие губы, Передерин. — Я, гражданочка, все знаю. Зря, стало быть, ехали.

— Знали?

— А как же! Отец все-таки. И что ей сейчас худо, тоже знаю. Только я думаю — как она сама от нас убежала, пусть так сама и вернется. Не чужие, примем, и ребенка вырастим, без алиментов — у нас хватает... Так вот и передайте ей, как увидите.

Все! Теперь он словно бы наслаждался тем, что так здорово обескуражил эту городскую.

Откуда он все это знал — бог ведает. Может, сам ездил в Большой Город и выспрашивал про Татьяну у соседок или знакомых. А эта его жестокость была от мелкой обиды, от упрямства обиженного хозяина, и он хотел одного: чтобы дома был порядок.

Вдруг Кира сказала:

— Спасибо, Павел Иванович.

Он засмеялся. Смех у него был мелкий, дробный, словно дрожащий.

— Да за что спасибо-то, гражданочка? Это вам спасибо. Плохой человек, поди, не поехал бы за чужого заступаться. Я вот сейчас чайку заварю, попьем чайку. Или, может, рюмочку пожелаете?

— Нет, — сказала, улыбнувшись, Кира, — лучше чайку.

Ей стало совсем легко и спокойно.

Они пили чай с конфетами и бубликами, и Передерин больше не возвращался к разговору о Татьяне.

— А почему у ваших куриц крылья зеленые?

— Да чтоб с соседскими не спутать.

— Жена ваша что, на работе?

— Нет, в городе, — сказал он. — Сметану на рынок повезла. Попробуйте нашей сметанки?

— Попробую.

— А вы кем служите?

— Инженер.

— Говорят, инженеры-то меньше рабочих получают?

— Есть разные инженеры и разные рабочие.

— Ну, а скажем, токарь — сколько получает?

Она поняла: вопрос не случайный, хотя и задал его Передерин вроде бы просто так, вскользь.

— Смотря какого разряда.

— Понятно. — Он молчал, шумно втягивая в себя горячий чай. — Я почему спросил, — наконец сказал Передерин. — Токарь он, Танькин-то. Ну а поскольку молодой, стало быть, небольшого разряда.

«И это знает!» — подумала Кира.

— Да бес-то с ним, — махнул рукой Передерин. — Вон мать все время плачет — дескать, сломал девке жизнь, а я говорю — ничего не сломал. Может, так оно еще лучше будет. Вы как думаете?

— Не знаю, — сказала Кира. — У меня есть муж и нет детей.

— Тогда, действительно, не знаете, — кивнул Передерин. Но

все-таки какая-то мысль не давала ему покоя. — Парень-то он видный, конечно, вот Танька и клонула. Еликоев ему фамилия. Из кавказцев, должно быть.

— Можно, я Таню сама к вам привезу? — спросила Кира. Он кивнул. — А сметанки вы ей не пошлете?

— Сметанки! — усмехнулся в сторону Передерин. — Что я, дурак, что ли? Не догадываюсь, на какой рынок жена в выходной ездит?

Этим день не кончился.

На лестнице, на ступеньке возле двери, сидел человек и читал газету. Рядом лежал на боку потрепанный чемодан. Другая газета была расстелена на чемодане, и на ней были разложены хлеб, кусок колбасы, очищенный плавленый сырок и уже пустая бутылка из-под пива. Две другие стояли возле стенки, несколькими ступеньками ниже.

Когда Кира вышла из лифта, человек не встал, только сказал:

— Здравствуйте!

— Здравствуйте.

Ей стало не по себе. На лестнице никого не было. А этот человек в черной шляпе смотрел, как она роется в сумочке, ищет ключи. Надо было преодолеть минутный страх — Кира шагнула к своей двери, — человек торопливо поднялся.

— Вы тоже из этой квартиры? — спросил он.

— Да, — сказала Кира, не открывая дверь. — А вам кто нужен?

— Владимир Владимирович Силин. Он здесь живет?

— Здесь. Я его жена.

— Жена?.. — как-то недоверчиво переспросил он и спохватился. — А, ну да, конечно... Я тут вам звоню-звоню, звонок даже охрип. А Владимир Владимирович скоро будут?

Он стоял — в длинном, как кавалерийская шинель, старомодном пальто с широченными ватными плечами, дешевый шарфик замотан вокруг шеи, на голове — помятая, старая шляпа. Кира спросила:

— А вы к нему по какому делу?

— Я-то? Да как вам сказать? Не то в гости, не то просто поглядеть на него. Все-таки два года отвоевали вместе. Я у него старшиной в роте был. Шитиков. Он про меня ничего вам не рассказывал?

Кира открыла дверь.

— Рассказывал. Как вы Вельзевула собирались уговаривать, чтоб в рай отправил. И как вам доктор приказал мадеру пить.

— Точно, — засмеялся Шитиков. — Все так и было.

Кира позвонила на завод Силину. Он был у себя, поднял трубку сам, потому что у Серафимы выходной.

— Ты долго еще будешь на заводе? — спросила Кира.
— А что? — недовольно спросил он. — У меня много дел, позвони попозже.

— У нас гость, — сказала Кира.

— Кто еще? — все так же недовольно спросил Силин.

— Твой старшина Шитиков.

— Кто-кто? Господи, только его мне и не хватало.

— Я сейчас дам ему трубку.

Шитиков кричал в трубку счастливым голосом:

— Здравия желаю, товарищ старший лейтенант! Вот, при-
был в ваше распоряжение... Есть... Есть ждать, товарищ стар-
ший лейтенант... Сейчас передаю. — И протянул трубку Кире.

— Вот что, — сказал Силин. — Я сейчас ему гостиницу зака-
жу и позвоню тебе — отвезешь его в гостиницу.

— Нет, — сказала Кира.

— Что «нет»?

— Не надо ничего заказывать, — весело, чтобы Шитиков не
догадался, о чем речь, сказала она. — У меня все есть дома.
Так ты скоро?

— Ладно, — сказал Силин.

Он был в новехоньком, колом сидящем на нем костюме, при всех орденах и медалях, с гвардейским значком и еще какими-то значками; потом он рассказал Кире, что это медали ВДНХ. Шитиков оказался человеком веселым. Пока она возилась на кухне, он успел выложить о себе все. Был председателем колхоза на Новгородчине, схватил на этом деле инфаркт, выкарабкался, а тут как раз неплохая должностишка освободилась. Посадили директора райзаготконторы: ворюга был — первый класс. Например, заготавливает контора банные веники березовые по одиннадцать копеек за штуку. Так он что выдумал? Нанимал трех-четырех старух, и те из одного веника два делали. Прибыль — сам-сто, ну, старухам какая-то мелочишка на молочишко перепала. Короче говоря, загремел за всякие делишки с конфискацией.

Шитиков помог Кире чистить картошку, и делал это так быстро, так ловко, что Кира невольно замедляла свои движения. Шкурка с картофелины сходила у него тоненькая, как бумага.

— Жене вы тоже помогаете? — спросила Кира.

— А у меня нет жены, — спокойно ответил Шитиков. — Простыла и померла. Хорошо, ребят успели поднять. Так что нынче я на самообслуживании.

Он говорил без умолку.

Бывают же на свете такие чудеса! Пошел к приятелю скоротать вечерок, а у того племянник гостит — отсюда, из Большого Города. Слово за слово, начал рассказывать о своем заводе и директора помянул — Силин, говорит. Какой такой

Силин? Уж не Владимир ли Владимирович? Он самый! Высокий такой. Ну, Шитиков сразу же к себе — вещички собирать, благо до первых сморчков еще далеко.

— До каких сморчков? — не поняла Кира.

— Грибы есть такие. Их у нас в мае центнерами берут. У меня, между прочим, с Францией прямая торговля. Высушим, кукурузным маслом смажем — и в Париж. А я уж не думал не гадал Владимира Владимировича увидеть.

...Или вот еще — раки. Тоже отправляем во Францию, самолетом. У нас целые семьи есть, которые раков промышленляют. Большие деньги зарабатывают.

...Лосей нынче очень много. Я бы привез лосятинки, да не доезди, вот если б крапива была... К тому же — не сезон. Хорошее мясо! Зимой лосятину в Швецию отправляли.

...А вот белых сушеных привез. И моченую бруснику. Ну и, конечно, сетков тоже. Нынче на Ильмене много сетка брали.

Силин приехал скоро, привез бутылку коньяка. С Шитиковым они обнялись. Стояли и хлопали друг друга по спинам, потом отстранились, разглядывали один другого, и Шитиков снова лез целоваться, а у самого на глазах слезы. После обеда Кира, не желая им мешать, ушла на кухню мыть посуду. Из комнаты доносились голоса: ровный — Силина и пьяненький уже — Шитикова:

— А помните под Тамешваром... восемь танков из сада... А этого помните? Ну, как его? Сержант, еврейчик такой...

— Левин?

— ...с гранатой под танк... А Милочку-то помните?.. Ну, телефонистку...

— Потеше.

— Вас понял. А помните...

Она не хотела идти к ним в комнату. То, о чем они говорили, что вспоминали, принадлежало только им. Ей не было доступа в этот разговор. Она никогда не видела и не знала того, что видели и знали они.

Шитиков незаметно выпил почти всю бутылку коньяка, его здорово развезло, надо было уложить его спать. Кира постелила на диване, на котором обычно спал Силин. Шитиков бормотал извинения и счастливо улыбался. Так он и уснул, с улыбкой.

Силин долго еще сидел на кухне и пил чай, стакан за стаканом. Из большой комнаты доносилось похрапывание гостя.

— Почему ты не обрадовался его приезду? — спросила Кира. — По-моему, вы очень хорошо поговорили. И вообще, наверно, такое, что было у вас, не забывается.

— А чему радоваться? — в свой черед спросил Силин. — Мы никогда не были одинаковыми, а сейчас и подавно разные. Ты же знаешь — я никогда не жил воспоминаниями, может быть потому, что ничего особенно хорошего там не было. А Шити-

ков — что ж, славный, в общем-то, мужичок, но лучше все-таки я спал бы на своем диване.

Они легли во второй комнате — вместе, и Кира, повернувшись, обняла его.

— Я сегодня ехала мимо Громыхалова и подумала — как странно, будто это было вчера. Ты помнишь?

Она провела ладонью по его щеке — как и тогда. Нашла в темноте и поцеловала в губы. Силин осторожно отодвинул ее.

— Ты что, помолодела? — усмехнулся он. — Вон как, оказывается, вредны воспоминания. Тихо, там все же гость.

— Он спит.

— Я тоже хочу спать, Кира. Это у тебя завтра выходной, а мне на работу.

Шитиков проснулся поздно, когда Силин уже ушел на завод, а Кира успела все убрать и приготовить завтрак. Он удивился: что ж, выходит, Владимир Владимирович работает без выходных? Кира кивнула: да, хорошо, если раз в месяц удается выбраться на рыбалку.

— Когда мы идем куда-нибудь, он оставляет на заводе адрес, а если в театр — сообщает, какие у него ряд и место.

— Большой все-таки человек, — задумчиво сказал Шитиков.

Потом он заспешил. Надо посмотреть город, заглянуть в магазины — его просили кое-что привезти, — так что он не будет мешать, а вечером зайдет за чемоданом. Поезд уходит поздно.

— Так быстро уезжаете?

— Да уж такое дело... Повидались — и хорошо. Мне еще в Орел надо, там один лейтенант живет, тоже с войны не виделись. У меня уже и билет есть.

Он собирался торопливо, будто боясь задержаться в этом доме. Неожиданно Кира спросила его:

— А что, там, на фронте, Владимира Владимировича любили?

Шитиков ответил не сразу. Она заметила, как старшина замялся.

— Воевал он дай бог как! — сказал Шитиков, не глядя на Киру. — А это, наверно, самое главное было.

— Не хотите сказать...

Шитиков, уже в своем нелепом длинном пальто и шляпе, рассовывал по карманам авоськи и пластиковые мешки. Просто ему нужно было время подумать.

— Знаете, — сказал он, — это мы сейчас, через двадцать шесть лет, на все смотрим вроде бы по-другому. А тогда как смотрели? Задача одна — сломать шею фашистскому зверю. Значит, себя не щади и других тоже.

— Он не щадил?

— Эх, Кира Сергеевна, — улыбнулся Шитиков, — вы-то ничего этого не знали, не поймете.

Она поняла.

Шитиков ушел.

Кира подумала, что, может быть, и поэтому тоже Силин не любит военных воспоминаний.

Впрочем, у нее самой были воспоминания, которые она не то чтобы не любила, но, во всяком случае, тоже никого не пускала в них.

О том, что тогда, в сорок пятом, доцент Куликов сделал ей — в ту пору студентке-старшекурснице — предложение, Силин знал. Шли годы, он ни разу не спросил ее о Куликове, и она догадывалась почему: просто он презирал этого не знакомого ему человека, и спросить о нем — значило как бы поставить рядом с собой. А между тем славный он был человек, Куликов!

Месяца через два после того, как Таня Передерина уехала к родителям, Киру с группой инженеров послали в командировку в Ленинград. Никогда прежде она там не бывала, и ехала с острым чувством предстоящего первооткрытия. Никаких знакомых у нее в Ленинграде не было, и, стало быть, с городом придется знакомиться по схеме-справочнику.

Сразу с вокзала вся группа поехала в Текстильный институт, и первым открытием был Невский проспект. Как неожиданно было вдруг, сразу увидеть всю его глубину и там, в самом конце, — золотой шпиль Адмиралтейства!

Им пришлось немного обождать в приемной ректора. Самого ректора не было — в отпуске, — и секретарша сказала, что группу примет проректор, профессор Куликов. Кира спросила:

— Александр Дмитриевич?

— Да.

Она отвернулась к окну, чтобы никто не видел, как ее лицо заливается краской. Она знала, что краснеет, краснеет безудержно, и не могла справиться с этим.

Значит, он профессор! Он уехал из Большого Города тогда же, в сорок пятом, когда Кира вышла замуж. Ни письма, ни разговора не было. Кира могла только догадываться о том, почему Куликов уехал. Но ее это никак не тронуло, не огорчило, не обидело.

Уже потом девчонки-однокурсницы рассказали ей, что Куликов ходил сам не свой.

У него была жена; она погибла там, в Большом Городе, во время первой же бомбежки. Сына удалось спасти, но семилетний мальчик так и остался хромым. Когда Кира приходила к Куликову, мальчишка стремительно кидался к ней, будто и не было у него никакой хромоты, обхватывал ее руками, закидывал голову на тонкой шее и счастливо глядел не отрываясь. Он будто любовался Кирой. Он молчал — и в этом молчании было все: «Наконец-то ты пришла. Я так ждал тебя. Почему тебя так долго не было? Посиди со мной хоть немно-

го». И потом, когда они играли в шашки, Костик то и дело поднимал к ней сияющее лицо, забывал об игре — и любовался, словно говорил молча: «Как хорошо, что ты здесь. Не уходи. Ты такая необыкновенная...»

Все это вспомнилось за какие-то доли секунды. Но Кира должна была еще постоять у окна, чтобы справиться и с волнением и с этой ненужной краской.

Казалось, Куликов нарочно дал ей время успокоиться. Он появился как раз тогда, когда Кира пришла в себя.

Конечно, он не узнал ее, пригласил всех в свой кабинет. Кира разглядывала Куликова, чувствуя, как больно сжимается сердце. Он был уже стар. И дело не в том, что ему за шестьдесят, — просто он был стар. Седые волосы и седые усы, и эти складки под подбородком, и чуть искривленный рот — след когда-то случившегося пареза, и тоненький проводок, идущий от уха к слуховому аппарату, спрятанному в кармане, — все это были признаки старости.

Он — и не он. Кира не слышала, да и не слушала, о чем говорят руководитель группы и Куликов. Она смотрела на Куликова, как бы еще не веря в то, что делает с человеком время. Конечно, я тоже изменилась, но не настолько же, чтобы меня не узнать! А ведь все могло быть иначе, и этот старый профессор был бы сейчас моим мужем. Возможно, тогда я не замечала бы его старости. Куликов спокойно оглядывал всех, его взгляд не задерживался на Кире, ей стало не по себе. Значит, я тоже сильно изменилась. Когда беседа была закончена и все встали, она не поднялась и сказала каким-то не своим голосом:

— Я задержусь на несколько минут, если вы позволите, Александр Дмитриевич.

Тот удивленно поглядел на нее и кивнул:

— Да, да, пожалуйста.

— Вы не узнали меня, — сказала Кира, когда они остались вдвоем.

— Извините...

— Кира Смольникова.

Куликов откинулся на спинку кресла и закрыл глаза.

— Кира, — тихо сказал он.

— Мы оба изменились, — сказала Кира. — И я, и вы. И, наверно, Костик.

— Костика уже давно нет. У него было плохое сердце.

Она почувствовала, как все ее существо содрогнулось — от ужаса, боли, сострадания. Костик с лохматой головенкой на тоненькой длинной шее, с глазами, сияющими оттого, что она пришла, что она здесь, что до нее можно дотронуться, что его можно любоваться, — этого Костика нет...

— Господи, — тоже очень тихо сказала Кира. — Как же это?..

Куликов поднялся из-за своего стола, подошел к Кире и, поцеловав ее руку, сел рядом.

— Как вы живете, Кирочка? Все-таки двадцать шесть лет...

— Да, — сказала она. — Двадцать шесть.

— У вас прежний муж?

— Да.

— А дети?

Она не ответила.

— Вы счастливы, Кирочка?

— Да.

— Ну вот и отлично! В наше время это редкость. Сейчас я должен идти на лекцию. Вот мой телефон. — Он быстро записал на листке бумаги номер и протянул листок Кире. — Обязательно позвоните и приходите вечером, мы с женой будем рады..

Он сказал все это спокойно, сухо, словно по некоей обязанности, и Кира сразу поняла, что она не позвонит и не пойдет.

Вечером она побегала на междугородную, заказала разговор с Большим Городом и ходила по залу, прислушиваясь к голосам телефонисток из динамика: «Ташкент, пятая кабина...», «Варшава, пройдите во вторую...», «Луга, ваш номер не отвечает». Наконец — «Большой Город, шестая кабина». Она кинулась туда, подняла трубку. Голос Силина оказался рядом.

— Володька, Володенька, как ты там?

— Все нормально. Что с тобой?

— Не знаю. Приехала и места себе не нахожу. Хоть бросай все и на первый же самолет.

— Ну, — сказал Силин, — успокойся, пожалуйста.

— Я... я очень люблю тебя, Володька.

Он не ответил. Должно быть, опешил от неожиданности. А Кира плакала, билась в тесной кабине и повторяла:

— Ты слышишь? Володенька, я люблю тебя...

16. «ЧТО БЫ МНЕ ИЗОБРЕСТИ?..»

На следующий день после Ноябрьских праздников из Москвы приехала группа конструкторов. Испытания были назначены на десятое, и Нечаев пошутил, что их ждут, как в семье ждут рождения ребенка.

Две недели назад машину приняли на стенд, и для стендовиков кончились спокойные времена. Здесь, в цехе, стендовиков звали «белой косточкой», и прозвище было метким: они часто болтались без дела и забивали «козла» на маленьком столике в углу испытательного бокса. Домино было белым — отсюда пошло и прозвище.

Сейчас «белым косточкам» доставалось круто. Очень медленно шла прицентровка турбины по валам с редуктором. Потом несколько суток кряду обвязывали блоки, соединяли мас-

ляный узел. Только шестого ноября, в самый канун праздника, стендовики выдали извещение о готовности к испытаниям, и начальник БТК подписал его.

И все эти две недели Нечаев почти не выходил из цеха и не бывал в парткоме, только выступил на торжественном вечере в заводском Доме культуры. Нового начальника цеха еще не назначили, но даже если бы и назначили, Нечаев все равно работал бы здесь: слишком уж дорогим было это детище.

Силин снова приходил сюда каждый день, но теперь это уже не раздражало Нечаева. Волнение директора было понятным и естественным. Впрочем, Силин ни во что не вмешивался: выслушивал короткое сообщение заместителя начальника цеха по сборке и испытаниям Кашина, поднимался на верхнюю платформу, смотрел, молчал и так же молча уходил.

Но даже в эти напряженные дни люди могли шутить, и Нечаев в душе радовался этому. Как-то при нем один из стендовиков — Глеб Савельев — объяснял заглянувшему в бокс Бешелеву:

— Работать будем до первых чайников.

Тот не понял: до каких еще чайников?

— Часов до шести, — сказал Савельев. — Когда хозяйки начнут чайники ставить. Давление газа упадет, машина может резко пойти на остановку. Хочешь не хочешь, а придется топтать домой и отсыпаться.

Но все-таки — хотя, казалось, в эти дни невозможно было думать ни о чем другом, кроме предстоящих испытаний, — все-таки Нечаев думал о Силине и о том, как сложатся их отношения. Он хорошо помнил тот разговор с Силиным, после которого в душе остался горький осадок и еще — недоумение. Он не хотел и не мог разделить с Силиным его позицию — жать во что бы то ни стало, жать надо не надо, жать, иначе, по логике Силина, работа не пойдет. А он видел, как сейчас работали стендовики: наспех обедали в столовой, домой уходили на четыре часа и возвращались невыспавшиеся, по-прежнему усталые, и он знал, что их мучает не только эта физическая усталость, а еще и неотвязная мысль о том, какой «арбуз выкатит турбина» — выражение, случайно подслушанное им у стендовиков.

Его самого преследовала та же мысль. На щите защиты среди множества кнопок особо выделялась одна с красной надписью вверху: «Аварийная остановка», и Нечаев, проходя мимо щита, всякий раз суеверно думал: не дай-то бог нажать ее во время испытаний.

Эти дни измотали и его. Домой он приходил, когда жена и ребята спали. Нехотя, словно по какой-то неперменной обязанности, ел на кухне и ложился на маленький неудобный диванчик. Ему казалось, что стоит только дотянуть голову до подушки — и все, он провалится в сон, но сон приходил не сразу, и вовсе не потому, что диванчик был такой неудобный. Со-

бака Юшка, породы «интерьер», как называл ее Нечаев — подбранная им во дворе дворняжка с доброй мохнатой мордочкой, — вскидывала лапы на диван, норовила лизнуть в лицо; приходилось выставлять ее в коридор. Собака скулила, ручки проклятого диванчика врезались в ноги, и сон не шел. Какой все-таки «арбуз выкатит» турбина? Как будет работать с Силиным?

Впрочем, все, что касалось Силина, сейчас его беспокоило куда меньше. Став секретарем парткома, Нечаев не искал с ним встречи с глазу на глаз; Силин сам отвел его в сторону. Те, кто был тогда в кабинете секретаря, поняли, что не надо мешать, и, сделав озабоченные лица, будто одновременно вспомнив о каких-то неотложных делах, вышли.

— У нас с вами, на мой взгляд, сложились не очень-то ровные отношения, — сказал Силин. — Но, хотите верьте, хотите не верьте, я рад, что мы достаточно хорошо знаем друг друга. Простите уж грубое слово — не надо будет тратить время на обнюхивание. Мне не хотелось бы одного: чтобы мы вцеплялись друг в дружку. Характеры у нас примерно одинаковые, сколько я понимаю, и ссор не боимся оба — так вот, наверно, лучше будет, если мы станем избегать этих ссор. А?

Все это он говорил спокойно, веско, словно размышляя вслух с самим собой, и, если б не вопрос в конце, можно было бы подумать, что и впрямь он говорит с неким воображаемым, а не живым, здесь же перед ним стоящим человеком. «А все-таки ты не случайно завел этот разговор», — подумал тогда Нечаев. Это было совсем непохоже на Силина, каким его Нечаев знал. Он только не мог еще понять, определить для самого себя, куда Силин клонит. Впрочем, на раздумья по этому поводу у него не было времени, да и такая программа его вполне удовлетворяла.

— Наверно, дело не в наших характерах и не в наших темпераментах, Владимир Владимирович, — ответил он.

— В чем же? — спросил Силин.

— В методах работы. В философии работы, если можно так сказать.

— Сказать можно что угодно. Но у нас, по-моему, разная работа.

Ага, вот в чем дело! Все-таки не выдержал, высказал хоть и не до конца, что хотел! Дескать, ты занимайся своими партийными делами и не лезь в мои. Что ж, ничего нового. Губенко вполне устраивал его именно этим, и это не было секретом ни для кого.

— У нас одинаковая работа, Владимир Владимирович, — тихо и ровно ответил Нечаев. — И если вы думаете, что партком и его секретарь не должны влезать во все подробности, даже, если хотите, мелочи нашей заводской жизни, грош цена такому секретарю и такому парткому. И мне очень хотелось

бы, чтобы для выполнения *вашей* программы *наших* с вами отношений вы это поняли.

Силин несколько раз качнул головой, и непонятно было, соглашается он или сожалеет, что с самого начала, с первого же разговора все пошло не так, как думалось ему.

— Ну что ж, — сказал он, протягивая руку, — поживем — увидим.

А потом Нечаев застрял в цехе, предварительно позвонив в райком Званцеву. До начала испытаний слишком мало времени. Если он понадобится, найти его можно только здесь. Званцев ответил:

— Хорошо, делай так, как считаешь нужным. Я не буду тебя тревожить. Как у тебя с Силиным?

Значит, вопрос их отношений волнует и Званцева? Он сказал, что пока никаких отношений нет, хотя они видятся ежедневно.

— Почему ты спросил об этом?

— Потому что Силин сразу же должен навалиться на тебя. В этом он весь. Если б он был хоккеистом, то его можно было бы сравнить с Петровым или Филом Эспозито.

Нечаев рассмеялся. Ничего себе сравнение! Но я ведь тоже не вратарь и не стану лишь отбиваться. Он ничего не рассказал об их первом — и пока единственном — разговоре. Зачем? Уж если продолжить это хоккейное сравнение, Силин долго вел разведку, а потом слегка кинул шайбу: пройдет — не пройдет? Не прошла... Званцев ошибся — никакого давления не было. Может быть, это было не в характере Силина, но зато вполне объяснимо. Он изменил самому себе. Он не хочет никаких ссор. Он не пойдет на резкий разговор со мной.

Все это Нечаев снова и снова перебирал в памяти, как бы прокручивая одну и ту же ленту. Он не обманывался относительно того, будто все постоянно будет обстоять именно так. Возможно, где-то когда-то наступит срыв — не его, а Силина. Но потом — и в этом он был уверен — все опять войдет в свое русло. С этим он обычно и засыпал, уже не слыша скулящей в коридоре Юшки и не чувствуя занемевших ног.

Его будили дети и собачонка.

Дети — Сашка и Машка — вставали рядом и начинали петь ту самую «инженерную» песню, которой он пять лет назад укачивал своих двойняшек:

Ах ты, господи прости,
что бы мне изобрести?
Изобрел два винтика,
мне сказали: «Киньте-ка!»
Изобрел веретено,
слышу: «Изобретено...»

Он просыпался, сгребал ребят в охапку и тащил на себя — визг, возня, Юшка норовит вспрыгнуть на диван и пронзитель-

но твякает оттого, что ей с ее короткими ножонками никак, — пробуждение всегда было счастливым.

— А ты когда выходной?

— Через сто дней.

— А сто — это много?

— Много.

— Значит, ты нас в зоопарк поведешь, когда мы уже вырастем? — это прямолинейный Сашка.

Машка более тонкая натура:

— А я вот своих детей буду водить сразу, как нарожаются.

Он ехал на работу и невольно, а быть может, еще продолжая домашнюю радость, напевал про себя: «Ах ты, господи прости, что бы мне изобрести?..» Но, черт возьми, какой же «арбуз» все-таки может выкатить турбина?

Во второй раз Василий Бесфамильный поехал в таксомоторный парк без Алексея. Так было надо. Лучше поговорить с Еликоевым с глазу на глаз.

Накануне он узнал, когда у Еликоева кончается смена, и все-таки не рассчитал. То ли у того была какая-то дальняя ездка, то ли поломка в пути — ждать пришлось больше часа. Увидев Бесфамильного, Еликоев усмехнулся через стекло и помахал рукой — жест, означавший: «А, опять ты? Ну, подожди меня еще малость». И Бесфамильный ждал еще минут сорок, ждал терпеливо, как кошка мышку; не сукин же он сын, этот Еликоев, не удерет же через какой-нибудь другой ход?

Еликоев не удрал.

Они пожали друг другу руки, и со стороны могло показаться — вот один старый друг ждал другого, а теперь у них свободное время, и они пойдут посидеть где-нибудь, выпьют по кружке пива, потому что давно не виделись и надо поговорить по душам.

Что ж, все правильно. Бесфамильный так и предложил — пойти выпить пивка, только не в бар, где надо выстоять верстовую очередь, а к нему домой. У него в холодильнике полдюжины чешского.

— Сблатовал? — спросил Еликоев. — Чешское днем с огнем не достанешь.

— Будущая теща в гастрономе работает.

— Понятно. Значит, тебе повезло. Пойдем пить чешское.

— Я здесь недалеко живу, — успокаивающе сказал Бесфамильный.

— Занятный ты мужик, — сказал Еликоев. — Неужели все еще надеешься на что-то?

— Так ведь и ты тоже занятный, — сказал Васька. — А я занятных люблю. Вот у нас в бригаде один малый есть — за три дня два слова говорит. Я вас познакомлю. Интересно, что ты про него скажешь...

— Скажу, что немой, — фыркнул Еликоев. — Зато, я вижу, другие у вас поболтать мастера!

— Ты о том парне, об Алешке?

— И о тебе.

— Понимать надо, голуба! — серьезно сказал Бесфамильный. — Алешка два года в погранвойсках отслужил. Полсуток на границе — не очень-то поговоришь. Ну вот и наверстывает за целый год молчания. А я, видимо, от природы, что ли, разговорчивый. Так ведь и тебе за баранкой не очень-то много приходится разговаривать?

— Да уж, — ухмыльнулся Еликоев. — Сидишь и слушаешь. Почему-то пассажиры совсем не замечают шофера. Недавно даже вашего директора с какой-то бабенкой из Солнечной Горки вез. Сидят сзади и шепчутся, будто я не слышу. Уговорил он ее, кажется...

— Тормозни, — сказал Бесфамильный. — Дальше, брат, начинается сплетня. Мы пришли. Двигай на пятый этаж.

— Занятный ты мужик, — повторил Еликоев, покосившись на него. Очевидно, его удивило, как резко Бесфамильный оборвал его рассказ о директоре. Другой бы на его месте уши развесил и рот варежкой раскрыл, — как же, сам директор! — а этот так и рубанул — «сплетня».

Бесфамильный жил в огромной коммунальной квартире, и, прежде чем попасть в его комнату, надо было пройти длинный, как тоннель, заставленный шкафами коридор. Из-за дверей доносились голоса, детский плач, музыка. Какая-то старуха выкатилась из кухни, держа перед собой сковородку с яичницей, и они вовремя успели отскочить, иначе сковородка наверняка уперлась бы кому-нибудь из них в живот. «И не проси! — громко сказал где-то раздраженный женский голос. — И у соседей чтоб не смел...»

— На маленькую сосед клянчит, — сказал Бесфамильный. — Входи.

Он толкнул дверь, и та открылась. Никакого замка не было, это Еликоев отметил, пожалуй, подсознательно. С порога он быстро оглядел комнату: чисто, пусто и неуютно. Холодильник действительно был. И один-единственный портрет на стене — большая фотография в рамке: белоzubый парень в берете с эмблемой десантных войск и в тельняшке, виднеющейся из-под расстегнутого ворота гимнастерки.

— Родственник? — спросил Еликоев.

— Побольше, — сказал Бесфамильный, вытаскивая из холодильника первые две бутылки. — Ты же читал эту статью...

— А, — вспомнил Еликоев. — Значит, это он тебя за стропы ухватил? — Он все смотрел на этого парня, словно удивляясь, как он ухитрился это сделать, и молодчина, что ухитрился, иначе он, Еликоев, не сидел бы сейчас здесь, в этой чужой незнакомой комнате, и не пил бы холодный, горьковатый чеш-

ский «Пльзень». — Действительно, побольше родственника... Ну, а девчонку-то свою чего на стену не повесил?

— Зачем? — спросил Бесфамильный. — Она этажом выше живет.

— И здесь повезло! — качнул головой Еликоев. — Друг от верной смерти спас, будущая теща пивом снабжает, девчонку куда провезать не надо... Ты вообще везучий, наверно?

— Наверно. А ты?

Еликоев не ответил, и Василий не стал ни о чем допытываться. Молчит сейчас — скажет потом. Это-то он знал твердо. Какая-нибудь неудача у него, конечно, была.

— А ты почему того кореша не пригласил? Как его? Алешка? Или разошлась знаменитая бригада по нулям?

— Да всяко у нас, — уклончиво ответил Бесфамильный. — Хотя стой! Вот как бы ты поступил в таком случае? Ты ведь нашего Федора Федоровича хорошо знаешь?

— Еще бы! — ухмыльнулся Еликоев. — И его самого, и его чаевые... Растрезвонили про эти чаевые на всю область.

— Стой, — снова сказал Бесфамильный.

...История, о которой он сейчас рассказывал Еликоеву, произошла в последние дни и мучила Бесфамильного как глубоко забравшаяся в него боль.

Все началось с того, что бюро нормирования ужесточило нормы, и Осинин первый решил, что тут работники бюро дали маху: пришлось пойти по инстанциям, спорить, убеждать, доказывать. О том, куда он ходил и зачем, никто в бригаде не знал. Все это Осинин делал сам, чтобы не усугублять у своих ребят плохое настроение. И получилось так, что почти четыре дня бригада работала без него.

Первым взорвался Нутрихин. Что же это получается? Мы тут вкалываем, гоним норму, а уважаемый Федор Федорович прохлаждается бог знает где? Может, у него в другом цехе прихехешница завелась на старости лет? А ежели по общественным делам — и того хуже: он себе авторитет зарабатывает, а мы ему — денежки. Куда как удобно!

И то ли действительно эти слова как бы легли на плохое настроение, то ли потому, что бригада еще не сработалась как следует, — но когда наконец-то появился Осинин, Алешка, Нутрихин и Лунев старались не глядеть в его сторону. Внешне все выглядело вроде бы по-прежнему, но Осинин, конечно, не мог не заметить, что в бригаде что-то произошло.

На третий день он собрал бригаду. Пятеро сели за «козлором» возле стенки — за стол, на котором в обеденный перерыв резались в «козла». Он хотел знать, что произошло. Ответил ему тот же Нутрихин, и говорил, не очень-то подбирая слова.

«Так, — сказал Осинин. — Чего не ждал, того не ждал... Ну что ж; давайте тогда будем работать, как раньше, — каждый за себя».

После этого он встал и ушел.

«Еще обижается!» — возмущенно сказал Нутрихин.

Быть может, с опозданием, но Василий начал спорить. Зря обидели человека. И нехорошо, что подняли такой звон: бригада с единым нарядом, злобинский метод в станочном варианте!.. А как дошло до первой трудности — в кустики, да?

Лунев и Бочаров молчали, горячился и отвечал один Нутрихин. Лично он ничего не имеет против работы по-старому. И вообще он вырос из этих штанишек: ах, новаторство, ах, рабочее творчество! Да, как говорится, весь технический прогресс умещается на кончике резца. Умный человек сказал! «Глупый человек сказал, — сердито ответил Бесфамильный. — Сплошная самонадеянность».

С Нутрихиным он разругался вдрызг. Хорошо еще, это было уже после работы. У него давно был девиз: портить нервы, когда кончится смена. Но он так и не знал, о чем думают Лунев и Алешка. Пришлось обрушиться на Алешку: «Отмалчиваться легче всего. Лунев отмалчивается, потому что он все равно с Осининым будет работать. А ты? В твои-то годики пора все ставить по своим местам». — «Но мы ведь действительно четыре дня работали за него...»

Вот такая произошла история, и сейчас, рассказывая все это Еликоеву, Василий ходил по комнате, засунув руки в карманы брюк, — шесть шагов в одну сторону, шесть в другую.

— Да ты сядь, — сказал Еликоев. — Ну, а потом-то вы узнали, куда он ходил?

— В том-то и дело, что я узнал. Рассказал ребятам, а тут нам как раз прежние нормы оставили... Так ведь гордость не позволяет к бригадиру подойти!

— Не гордость, — тихо сказал Еликоев. — Стыд, вот что.

Бесфамильный остановился перед ним и долго, как показалось Еликоеву, очень долго глядел на него. Потом разлил по стаканам пиво.

— Давай чокнемся, — сказал он. — Конечно, ты прав. Снаружи гордость, а под ней стыд. Паршивое, должно быть, состояние, а?

— Паршивое, — кивнул Еликоев и тут же спохватился: Бесфамильный глядел на него испытующе, в упор, и Еликоеву стало как-то не по себе оттого, что этот кряжистый парень, его ровесник, уже почти все знает о нем.

...Он не раз видел цех по-ночному пустынным, с одними лишь дежурными огнями, но на этот раз пустота показалась тревожной, а тишина оглушительной. На какое-то мгновение Нечаев ускорил шаг, чтобы быстрее дойти до распахнутых ворот испытательного бокса: там было светло, оттуда доносились голоса и звуки прикосновения металла к металлу. Там

уже все было готово к той странной, притягивающей и одновременно пугающей минуте, когда будет включен генератор. Он раскрутит вал турбины. Потом подадут газ — и турбина пойдет «на самоход»...

Хозяином здесь был Кашин. Маленький, худенький, легкий, с напряженным бледным лицом, Кашин стоял на верхней площадке возле огромной, замершей возле его ног турбины, как бы в последний раз оглядывая это необыкновенное существо, которое через несколько минут должно ожить. Нечаев не стал подниматься к нему. Он подошел к группе московских конструкторов, и никто его не заметил — все тоже смотрели туда. Нечаев поискал глазами: Силина не было.

Потом медленно поехали, сдвигаясь, створки ворот, наглухо отделив бокс от цеха. Только спокойней, сказал сам себе Нечаев. Все должно получиться. Не может не получиться. Ни к чему сейчас нервничать. Чего там Кашин стоит, как памятник? Уже три минуты второго, а испытания должны начаться ровно в час. Кашин словно услышал, почувствовал, что его то-ропят, и двинулся к пульту... Несколько стендовиков уже стояли в другом конце бокса, к турбине спиной, перед щитами защиты. Они словно нарочно отвернулись, чтобы не видеть, как она начнет. Будто они боялись, что она не начнет. Но она начала: сперва глухо загудел генератор — и движение передалось турбине. Внутри огромного металлического туловища, невидимая глазу, дрогнула, тронулась с места многотонная тяжесть ротора — звук все нарастал, он будто заливал бокс, как хлынувшая вода, и ничего больше не было, кроме этого обвала грохочущего воздуха, сразу ставшего плотным. Все содрогалось: пол, воздух, стены. Каждому, кто был здесь сейчас, могло показаться, что он очутился в каком-то совершенно ином, неземном, циклопическом мире, где все идет помимо человеческой воли и сознания. Турбина жила сама по себе. Гул перешел в рев; Нечаев почувствовал, как у него начало покалывать в ушах, хотя он, как и все, надел наушники. Наверно, не меньше ста тридцати децибел, подумал он.

Становилось жарко. Они еще не успели сделать наружный вывод, и воздух в турбину шел прямо из бокса. Уже минут через двадцать все скинули пиджаки и растянули галстуки. На столике в углу стояли бутылки с нарзаном. Нечаев плеснул в стакан и выпил теплую, неприятную, будто жирную воду. Он чувствовал, как пот из-под волос стекает по лицу, по шее, по спине — потом будет еще хуже. Вон девчонка-крановщица разделась до красной майки и, закинув руки за спину, расстегивает лифчик. Это он увидел на какую-то секунду и отвернулся — ему послышался посторонний звук, и он тревожно поглядел на щиты. Нет, ничего не случилось. Аварийных сигналов не было...

Времени тоже не было. Оно перестало существовать. Оно растворилось в ожидании, грохоте, в этой африканской жаре,

но все-таки мало-помалу Нечаев начал приходить в себя. Нервное напряжение первых минут схлынуло, вместе с ним отошло и ощущение собственной беспомощности. Почему беспомощности? — подумал он. Как это нелепо! Мы же сделали все, что должны были сделать. Потом он понял, откуда оно, ощущение беспомощности: случись что-нибудь сейчас с турбиной, и он, инженер Нечаев, секретарь парткома Нечаев, ровным счетом ничего не сможет поделывать...

Но турбина редела по-прежнему, и посторонний звук не мог пробиться через этот рев. Один из конструкторов — немолодой человек с седыми усами — вдруг подтолкнул Нечаева и протянул ему блокнот. Крупными буквами было написано: «Крутится, а?» — и Нечаев, вынув свое перо, написал снизу: «А почему бы ей не крутиться?» Здесь нельзя было говорить, здесь можно было только писать. Пожилой снова написал: «Поздравляю. Думаю, уже не сглажу», — и Нечаев опять приписал: «Я не суеверен и принимаю поздравления. Примите и мои». Тот прочитал, кивнул, поглядел на часы и постучал по ним: это должно было означать — уже сорок пять минут!

Потом было и два, и три, и четыре часа... В половине шестого турбину перевели на остановку, в шесть с минутами она встала, и вдруг оказалось, что в мире есть уже забытая тишина. Когда разъехались створки ворот, из цеха хлынул холодный воздух, и Нечаев ловил его губами. Он сидел рядом с москвичами — изможденными, усталыми, даже не радуясь тому, что первый день испытаний прошел успешно. Усталость сквозила в каждом движении людей. И хотя уже можно было говорить и слышать, никто не обмолвился ни словом. Медленно вставали, медленно одевались, медленно закуривали и, даже не попрощавшись со стендовиками, которые еще оставались здесь, медленно пошли к выходу...

Тут же, возле стеклянных дверей цеха, их ждал заводской «график», но они не спешили. За ночь подморозило, морозный воздух был сухим и сладким.

— Надо пройтись, — сказал кто-то.

Они стояли, подняв головы к темному, в крупных звездах небу. Нечаев устало подумал: вот и все, в общем-то. И никакого праздника нет — есть только вот эта страшная, разлившаяся по всему телу усталость...

— Да, пожалуй, — согласился он. — Здесь до вашей гостиной недалеко. Я провожу вас.

...Пустынная улица и белые круглые фонари на столбах, похожие на огромные ландыши, странным образом расцветшие в предзимье... И тишина, когда, кажется, каждый шаг гулко отдается в самом дальнем конце улицы. Их было пятеро, и они шли молча, наслаждаясь холодным воздухом, тишиной, движением, тем удивительным и естественным человеческим состоянием, о котором забыли за пять тяжких часов — и сейчас словно бы вновь вспоминали забытое.

Тот, пожилой, шел один впереди всех, заложив руки за спину, и Нечаев видел его сутулую спину. Вдруг он обернулся и сказал: «Держите!» Ногой он откинул назад рваный женский бот, невзлюбивший как оказавшийся на улице, и тут же кто-то из конструкторов точным ударом переправил его на проезжую часть улицы.

Тогда все они — и Нечаев тоже — сошли с тротуара, растянулись поперек улицы и начали перекидывать друг другу этот рваный бот — молча, как в настоящей игре, в один пас, — и улыбались, и старались ударить поточней. Они гнали этот бот дальше и дальше, но уже не устало, а с какой-то озорной яростью, с наслаждением, и Нечаев даже напевал про себя ту обычную свою песенку: «Ах ты, господи прости, что бы мне изобрести...» — да чего теперь изобретать! Когда бот подлетал к нему, он старался ударить его «щечкой» — глядите, я тоже еще не забыл, как это делается! — и вдруг беззвучно рассмеялся: видели бы меня сейчас Рогов, или Званцев, или даже Силин!

Навстречу им, чуть покачиваясь, шла одинокая фигура. Человек поравнялся с ними и встал — пьяненький, где-то кутивший ночь, — и бессмысленно оглядывал каждого. Потом, видимо, его что-то осенило, какая-то пружинка сработала в его голове, и он хрипло сказал:

— Не торопитесь, ребята, пивом еще не торгуют.

Тогда они начали хохотать. Они шли и хохотали, они изнывали от хохота. Старый бот остался лежать посреди улицы. Они смеялись и тогда, когда Нечаев остановился у подъезда гостиницы. «Так как... насчет... пивка?» — и опять словно взрыв на всю улицу.

Уже дома Нечаев вспомнил: Званцев просил его позвонить утром, как бы рано ни кончились испытания. Звонить было неловко — все-таки начало восьмого, — но он позвонил, и Званцев сразу же поднял трубку, будто сидел рядом с телефоном и ждал этого звонка.

— Это я, — тихо, прикрывая трубку ладонью, чтобы не разбудить своих, сказал Нечаев.

— Ну как?

— Пока все в порядке, Александр Иванович.

— Спасибо, — почему-то сказал Званцев. — А сейчас не валяй дурака, ложись и спи. Чтоб сегодня тебя на заводе не было, понял? И учти — я проверю...

17. ВЕЧЕР ПОД НОВЫЙ ГОД

Открытие заводского молодежного кафе было назначено на последние числа декабря, под Новый год. Все уже было готово. Бешелев очень гордился тем, что ему удалось найти для кафе и отличного директора, и официанток. Директором стал не-

давний выпускник института торговли, молодой парень, официантками — студентки-заочницы того же института. Так что все было, как говорится, на высшем уровне. Бешелев сам поехал в горисполком, в отдел торговли, и договорился о снабжении молодежного кафе не просто самым необходимым, а по первой ресторанной категории, за исключением крепких напитков. Нет, нет, в «Огоньке» не должно быть никаких крепких напитков! Только шампанское и сухие вина. Конечно, кто-нибудь да попытается пронести водку. На этот случай был составлен график дежурств заводских дружинников и отдано распоряжение применять к нарушителям установленного порядка самые крутые меры, вплоть до персонального дела на комсомольском собрании. Тут Бешелев был гневен, когда докладывал на бюро о готовности кафе. Вплоть до персонального! А в особых случаях и до исключения из комсомола! Он не допустит, чтобы кое-кто компрометировал хорошее начинание.

В типографии были отпечатаны пригласительные билеты, их распределяли по цехам. Получив билет, Алексей подумал, что, скорее всего, он не пойдет. Скверное настроение так и не проходило. Последний разговор с Лидой, вспоминаясь, каждый раз отзывался в нем болью. Он испытывал чувство какой-то несправедливости, допущенной к нему, оно было недоуменным; он не понимал, вернее, не желал понять, почему так произошло. Не мог он и примириться с мыслью, что все, в общем-то, кончено и лучше всего заставить себя не думать о Лиде. Где-то он читал, что человек в силах убить в себе любовь. Но он не хотел ее убивать. Просто он знал, что не сумеет сделать этого.

Потом он решил: пойду. Смешно делать из себя монаха-затворника. Не хватало только надеть вериги и посыпать голову пеплом из пепельницы. У Лиды все пройдет, это чепуха у нее — так, от новизны впечатлений. Рано или поздно она должна понять, где настоящее, а где просто увлечение, короткая вспышка, ерунда. Ну, закружилась у девчонки слабая голова, вот и все. Он долго разглаживал брюки, примерял разные галстуки, свои и отцовские, не выбрал, сбегал в универмаг и купил новый, а заодно и одеколон «Шипр».

Еще накануне он договорился с Глебом, что они трое — Глеб, Надя и он — займут отдельный столик. Глеб удивленно спросил:

— Ты придешь один?

— С кем же? — усмехнулся Алексей. Он ничего не рассказывал Глебу о последней встрече с Лидой, и тот еще ничего не знал.

— Она что же — не хочет пойти?

— Не надо, Глеб, — поморщился Алексей. — Вообще не надо больше говорить на эту тему.

— Понятно, — сказал Глеб.

Они разговаривали на ходу, во время перерыва, но перерыв уже кончался. В цехе зажегся полный свет, и Алексей был рад, что ему пора работать — это избавляло его от необходимости что-то объяснять Глебу.

А на следующий день тот же вопрос Алексею задала мать:
— Ты идешь один?

Наваждение какое-то! Он не сдержался на этот раз и ответил с ненужной резкостью:

— Да, один, и ты прекрасно знаешь, что я иду один.

Мать, которая только что оглядывала его с неприкрытым любованием, не обиделась, не отчитала его тут же за эту грубость. Скорее всего, она не сразу сообразила, почему сын так неожиданно сорвался, и только потом понял, что ее вопрос — такой обычный в подобном случае — причинил Алексею боль.

— Я тебя подожду, — сказала мать, проведя рукой по воротнику его пальто и поправляя выбившийся шарф. Он уже смущенно и как бы извиняясь за свою резкость, нагнулся и поцеловал ее.

До кафе было недалеко, и он не стал ждать автобуса — пошел пешком и поймал себя на том, что с удовольствием слушает скрип снега под ногами, вдыхает морозный воздух, разглядывает лица встречных. Две девушки пробежали мимо, одновременно стрельнув в него глазами, и чему-то засмеялись уже за его спиной. Женщина катила коляску — широкую, просторную, — и он заглянул туда, в коляску, где лежали два кулечка — двойняшки. «Сегодня я выпью, — подумал Алексей. — Возьму и выпью как следует. И буду говорить о жизни с кем попало». Он предъявил у входа билет и подошел к вешалке.

В вестибюле было уже людно и шумно. Пока не приглашали в зал, все собирались кучками, знакомились с девушками знакомых, угощали друг друга сигаретами, и Алексей невольно задержался взглядом на нарядных платьях и пышных прическах. Здесь еще не было его знакомых, с кем можно было бы постоять вот так и поговорить. Он тоже закурил и стоял у колонны, озираясь, испытывая неловкое и не очень-то приятное чувство одиночества. Вдруг кто-то взял его под руку. Он повернулся — рядом стояла Нина.

Водолажская улыбалась, и это было сущей неожиданностью. Он впервые видел, как улыбается эта строгая красивая женщина. И то, что она подошла, было хорошо — во всяком случае, хоть один знакомый человек, и уже нет чувства одиночества.

— Ты кого-нибудь ждешь?

— Должен прийти Глеб Савельев. А ты?

Он поискал глазами, словно пытаясь определить, кто же здесь ее муж, но Водолажская тряхнула головой.

— Нет, я тоже одна. Может быть, сядем вместе?

— Давай вместе, — согласился Алексей.

— А пока дай и мне сигарету.

— Ты куришь?

— Иногда.

Что-то здесь было не то и не так. Это Алексей почувствовал сразу. С Ниной что-то происходило, и она курила нервно, длинными затяжками, оставляя на фильтре яркий след помады.

— А знаешь, — сказала она, — я даже обрадовалась, увидев тебя. Ужасно не люблю, когда вокруг никого из своих.

— Да, — кивнул Алексей. — Я тоже не люблю.

— Это я заметила, — засмеялась Нина. — Очень уж крепко ты колонну подпирал. — Она снова взяла его под руку. — Как это вы говорите, когда хотите познакомиться с девушкой? «Давайте поскушаем вместе...»

— Ну, — сказал Алексей, — это уж из твоего личного опыта, наверно.

Он все оглядывался на входную дверь, боясь пропустить, не заметить Глеба и Надю, а их все не было.

Вдруг он вздрогнул — так неожиданно в вестибюль вошли трое: Лидя, Эдька Коган и высокий парень с длинными волосами, без шапки, с трубкой во рту. Билеты предъявил Эдька. Стало быть, как-то раздобыл...

Алексей глядел не на Лиду, а на высокого парня, каким-то чутьем угадав, что это и есть именно тот самый человек... Впрочем, по тому, как он пропустил вперед Лиду, как взял из ее рук сверток, как придержал ее, чтобы на нее не наткнулась другая пара, — все было ясно и без обостренного чутья. Лидя не заметила Алексея. Он проводил ее долгим взглядом — и Нина перехватила этот взгляд.

— Знакомые?

— Да, — словно очнулся он. Так вот как скоро довелось увидеться! И все равно — ерунда, пройдет это у нее, не может не пройти... Его начало знобить.

— Явился твой Глеб, — сказала Водолажская. И тут же открылись двери в кафе, — все, кто были здесь, неторопливо пошли в зал, и Алексей сказал Нине:

— Надо занять столик.

Он не оглядывался по сторонам, хотя тут было неплохое местечко, как теперь любят говорить, вполне *современное*. Разноцветно окрашенные стены, рояль с откинутой крышкой — воронье крыло на терракотовом фоне — и керамические вазы с натканными в них вкривь-вкось сучками, что тоже очень очень современно.

Алексей попросил Нину занять один столик, сам сел за другой, соседний. Озноб быстро прошел. Теперь он действовал спокойно и расчетливо: дождался, когда в зале появится Эдька, помахал ему рукой, даже улыбнулся ему навстречу — вот, пожалуйста, садись со своей компанией, будем рядом. Кто это с тобой?

— О, — сказал Эдька, двумя руками пожимая его руку. —

Это, брат, гений, сам увидишь. Юрий Кричевский — не слышал? Хотя да... Короче говоря, кое-кому придется потесниться на своем пьедестале. Представляешь — третий курс, а он еще на втором такую курсовую отгрохал, что хоть сейчас докторскую защитай! Статьи в московских журналах печатают...

— Ну, познакомишь с гением, — сказал Алексей и повернулся к Нине: — А это нашего Бориса Семеновича потомок.

— Может, сдвинем столики? — предложил Эдька.

— Сдвинем, — согласился Алексей. — Плевать на порядок, да здравствует беспорядок. И опять же — союз науки и производства, очень актуально по нынешним временам.

Он сдвигал столики, представлял себе лицо Лиды, когда она подойдет со своим гением, переносил стулья, и внутри его как будто что-то сжималось, скручивалось в тугую пружину.

К открытию кафе Силин опоздал, и, когда вместе с Киной вошел в зал, Бешелев уже заканчивал свое приветственное слово: «...культурный отдых... нравственный климат... забота о молодежи...» Раздались жидкие, вежливые аплодисменты, и Бешелев, соскочив с низенькой сцены, чуть не побежал к дверям, в которых стоял Силин.

— Пожалуйста, вон тот столик для вас, — торопливо заговорил он. — Вы извините, что вас не дождалось, ребята уже начали шуметь... Вы скажете несколько слов? О задачах молодежи на три года пятилетки я им доложил, так что, может быть, какие-то общие пожелания...

— Ну, — усмехнулся Силин, — им сейчас не до речей.

Бешелев проводил его и Киру к столику и был похож на метрдотеля, встретившего знатных гостей. Тут же он помчался к официанткам — должно быть, распорядиться, чтобы *тот* столик обслужили в первую очередь.

— Кто это? — спросила Кира, показав глазами на Бешелева.

— Комсомольский вождь, — снова усмехнулся Силин. — Непохож?

— Нет, — сказала Кира. — Совсем непохож. Просто другие времена. Я помню одного комсомольского заводилу в гимнастерке со споротыми погонами. Пиджак ему удалось купить только через год...

— Ты права, — кивнул Силин. — Действительно, другие времена.

И не понять было, сказал ли он это с грустью или, наоборот, радуясь, что сейчас другие, совсем другие, ничуть и ничем не похожие на те, давние времена их молодости.

Он разглядывал эти разноцветные стены, вазы, витражи, сидящих за столиками молодых людей и ловил на себе их любопытные взгляды: как же, сам директор приехал с женой! И его жену тоже разглядывали, это он видел. Людям всегда

интересно хоть чуть-чуть узнать о личной жизни начальства. Кира переменяла очки и уткнулась в меню, она-то не замечала ничего. Она просто приехала посидеть вечерок, подумал Силин. Ей неважно, сколько сил потрачено на это кафе, сколько денег пришлось отграть из фонда социального развития. Она признает лишь конечные результаты.

Эта вспышка раздражения быстро угасла. Официантка — славная такая девчушка в ослепительно белой наколке — принесла поднос: бутылка венгерского «Мэри Эйзерью», бутерброды с осетриной, салат, плитка шоколада, мандарины... Бешелев, возникший из-за ее спины, попросил разрешения сесть и сел рядом.

— Мне совсем немного, — сказал Силин, когда он взялся за бутылку.

— Понятно, — как-то очень значительно произнес Бешелев.

А Силин все смотрел вокруг. Каждый из этих молодых людей незнающему человеку мог показаться кем угодно: начинающим врачом или учителем, инженером, юристом или журналистом. Но он-то знал, что все они, во всяком случае в подавляющем большинстве, токари, расточники, литейщики или сборщики.

Наконец он увидел Алешку. Тот сидел буквально в трех шагах от него, за сдвинутыми столиками, рядом с высокой и очень красивой блондинкой, — ай да Алешка! Они кивнули друг другу, чуть улыбнувшись, как и положено здороваться в таких случаях. Силин быстро оглядел других. Трое парней и еще две девушки, — неожиданно взгляд задержался на одном из молодых людей, который в это время говорил, одновременно попыхивая трубкой. И если до сих пор Силин не прислушивался к голосам, то теперь он с удивлением прислушался к тому, о чем говорил этот парень.

— Господи, что за ерунда! — говорил тот. — Добрый старый английский семейный роман давно приказал долго жить. Да и кому это сейчас надо? Кто-то в кого-то влюблен, кто-то на ком-то женится, кто-то кого-то бросает. Доброта и вероломство, сентиментальная нежность и опереточные страсти — смешно! В наш-то динамический век!..

Он говорил это чуть небрежно, почти не вынимая трубки изо рта. И трубка, и свободный, грубо связанный свитер, и даже его поза — нога на ногу, левая рука заброшена за спинку стула, правая то чертит по ходу речи какие-то иероглифы, то учтиво отгоняет дым от рядом сидящей девушки — все в нем было как-то солидно.

Они, эти парни и девушки, говорили о литературе!

— Погодите, — сказал другой, — так вообще можно все зачеркнуть. Вы смотрели по телевизору «Сагу о Форсайтах»? (Тот усмехнулся и отрицательно покачал головой. Это могло означать — терпеть не могу телевидение.) Когда начиналась передача, улицы в городе пустели. Отчего бы? Почему нашим

людям, да еще в динамический, как вы говорите, век, интересные образы Голсуорси? А ведь «Сага» — типично семейный роман, как я понимаю?

— Видите ли, Глеб, — убеждающе и примирительно сказал тот, с трубкой, — по-моему, людям вообще свойственно одно желание: нет-нет да и поглядеть на чужие жизни в замочную скважину.

— Из этого «подглядывания», — сказал Глеб, — когда-то родилась литература.

— Несколько вульгарный взгляд, но...

Заиграл оркестр, и слова утонули в музыке. «Ишь, какой шустряк, — подумал Силин. — Петушок какой. Все знает!» Бешелев протянул свой бокал.

— Можно тост за вас, Владимир Владимирович?

— Ну отчего же? Вполне! Чтоб был здоров, а все остальное приложится.

— Вот именно! — засмеялся Бешелев.

На первый танец Бешелев пригласил Нину. Просто встал и протянул ей руку. Нина спросила его:

— Ты только с членами комитета танцуешь?

— Перестань, пожалуйста, — поморщился Бешелев, ведя ее и стараясь не столкнуться с другими парами. — Я совсем перестал понимать тебя. Вечно какие-то подковырки.

— У меня плохой характер, — сказала Нина.

— Возможно. Кто эти, за вашим столиком?

Он тоже слышал обрывки разговора, и его тоже поразило, что разговор шел о литературе. Добро бы о повышении производительности труда или соревновании, ну, на худой конец, о последнем матче ЦСКА — «Спартак», так ведь о литературе, о семейном романе!

— Глеб Савельев из нашего цеха, Алешку ты знаешь, а еще трое — студенты пединститута.

— Как они здесь оказались? — недовольно спросил Бешелев. — Билеты ведь распределялись по цехам. Придется разбираться и кое-кому накрутить хвост. Ты узнай, где они достали билеты.

— Я буду сидеть, пить вино и слушать умные разговоры, — сказала Нина.

Танцуя, она время от времени поворачивала голову и глядела на Алексея. Тот сидел, крутя пальцами свой бокал, один за двумя сдвинутыми столиками — все остальные танцевали. Она видела, как, перегнувшись, директор завода что-то сказал ему, и Алексей улыбнулся — улыбка была вымученной, усталой и неохотной.

— Хватит, — сказала Бешелеву Нина. — У меня голова кружится.

Она подошла к столикам и опустила на свое место, рядом с Алексеем.

— Устала? — равнодушно спросил он.

— Да. Я смотрела на тебя, и мне показалось...

— Тебе показалось, — перебил ее Алексей. — Давай лучше выпьем. Хорошее винишко.

— Трудно быть бодрячком? — тихо спросила Нина.

Он не ответил. Он подумал только, что все это очень и очень плохо: не сумел сдержаться, выдал себя, и, конечно, все великолепно понимают, что с ним происходит сейчас.

...Может быть, я слишком уж пристально приглядывался к этому Юрочке? Развязный, самоуверенный хлюст, хотя, наверно, и впрямь умен, начался до верхней губы. Нет, не надо так. Это самая обыкновенная ревность... Ну и что ж? Что я, не человек, что ли? Но как смотрит, как смотрит на него Лида! Глупенькая, что она видит в нем дальше этого свитера и этой трубки? Что знает о нем? Да ровным счетом ничего...

Почему-то ему стало страшно, когда Эдька начал знакомить всех их с Кричевским. Он подумал, что с ним у Лиды все может быть действительно серьезно. И молчал, все время молчал, и злился на себя за это молчание: что он подумает обо мне и что подумает Лида? Недоразвитый, вот что! Обыкновенный токарь, и все тут. У Глеба-то язык подвешен дай бог как, не побоялся полезть в спор, а я молчал, как стул. Знает ли что-нибудь обо мне этот Кричевский? Наверно, знает: несколько раз быстро оглядел меня, будто по физиономии смазал, и спокойно отвернулся — не соперник...

Нина мягко положила свою руку на руку Алексея. Музыка кончилась, все потянулись к своим столикам. Стало быть, она просто предупредила меня, что музыка кончилась и сейчас они вернутся сюда.

— Так мы не договорили, — сказал Кричевскому Глеб. — О чем же должна писать современная литература?

— Читайте Апдайка и Селинджера, — уже нехотя ответил Кричевский. — У них все сказано.

— Вот как — все! — язвительно отозвался Глеб. — Значит, на Апдайке и Селинджере вся литература и кончается? Бедный мир! Ну что ж, в таком случае будем перечитывать Толстого. И на том спасибо.

— Хватит тебе, — сказала Надя. Она тоже долго молчала. — У каждого свой взгляд.

— Вот именно, — лениво сказал Кричевский. — А не пойти ли нам, братья и сестры, в какое-нибудь менее интеллектуальное место? В обыкновенную пивную, например?

— Для Лидочки это слово, наверно, звучит как похабщина, — сказал Эдька.

— Ну, — протянул Кричевский, — отчего же? Хемингуэй любил писать в пивных. Или, если Лидочке угодно, в забегаловках, в заходиловках, а по-французски — бистро. Чистая семантика! Дело ведь не в слове, а в понятии.

— Чем же вам здесь не по нутру? — наконец-то сказал Алексей.

— Почему же не по нутру? — неторопливо отозвался Кричевский. — Уютно, тепло и даже никаких лозунгов на стенках. Видите ли, *юноша*, мы зашли сюда больше из любопытства, чем из желания убить вечерок. Верно, Эдик?

— Верно, старик.

— И вот наше любопытство удовлетворено. — Он повернул голову к Глебу. — Вы кое в чем разбираетесь, только вам мешают чужие мысли, которые вы уже считаете своими. Каждый человек обязан мыслить самостоятельно, дорогой мой.

— Благодарю, — усмехнулся Глеб.

— Нет-нет, я серьезно. Очень, очень толково разбираетесь!

— Вот тебе и рабочий класс! — сказала Надя.

— А это уже запрещенный прием, милая, — с укоризной сказал ей Кричевский.

— Бросьте вы! — с неожиданной для самого себя злостью перебил его Алексей. — Вам здесь просто скулы от скуки сворачивает, вот что. Да, рабочий класс, ну и что? В московских журналах не печатаемся?

— Алеша! — сказала Лида.

Он даже не поглядел на нее.

— Не надо глядеть на нас сверху вниз. Я долго сидел, слушал и думал — презрительный вы человек.

— Так, — сказал Кричевский. — Один ярлычок уже привешен. — Он остановил порывающегося что-то сказать Эдку. — Не надо, старик, погоди. Сейчас нам подадут дежурное блюдо: мбл, всем мы обязаны его величеству рабочему классу.

Теперь уже Глеб остановил Алексея.

— А разве не так?

— Где начинается митинг, там меня нет, — сказал Кричевский, поднимаясь и помогая подняться Лиде. — Как говорится, извините за компанию.

Лида прятала от Алексея глаза, а он уже не видел никого, кроме нее. Сейчас она уйдет. Уйдет с этим хлюстом. До сих пор, пока он не видел их вместе, рядом, он еще думал, что это у нее несерьезно. Значит, серьезно, если она может вот так встать и уйти. Его снова зазнобило. Он испытывал странную и неприятную слабость, будто пробежал десяток километров и сейчас ему в самую пору лечь, закинуть руки за голову и закрыть глаза.

— Всего доброго, — сухо сказал Глеб. И снова Нина положила свою руку на руку Алексея.

— Я сейчас, — сказал Алексей, освобождая руку. Он пошел за Лидой и уже в вестибюле остановил ее. Ему было плевать, что рядом стоят этот Кричевский и Эдка.

— Ты хорошо подумала обо всем, Лида? Я должен знать это точно.

— Да.

— Послушайте, *юноша*, — сказал Кричевский, — не надо затевать скандалчик. Хватили лишку, ну и держитесь мужчиной, право. Ведь всем и все ясно как огурец.

— Не заводись, — подтвердил Эдька. — Мне очень жаль, но...

Резко повернувшись, Алексей пошел обратно в зал. Теперь все. Конечно, все ясно как огурец. Он шел к столику и не видел, как смотрит на него Нина: тревожно и радостно, как бы притягивая его к себе своим взглядом.

Того, что происходило за соседним столиком, ни Силин, ни Кира уже не видели и не слышали. Когда была допита бутылка вина, Бешелев, чуть наклонившись к Силину, сказал:

— Владимир Владимирович, я попрошу вас с супругой туда... — Он махнул рукой куда-то в сторону. — К директору нашего кафе.

— Зачем? — удивился Силин.

— Наверно, вам будет интересно увидеть все, — снова с некоторой загадочной многозначительностью сказал Бешелев.

Этот парень немного забавлял Силина. Все-таки они были плохо знакомы, и, быть может, поэтому Силин приглядывался к нему с особым, если можно так сказать, пристрастием. Техник-технолог — это Силин знал о нем. Бывший комсорг цеха, сумел наладить работу, выдвинули в секретари комитета комсомола... Говорят — настойчив. Работоспособен. А что еще? Нет, не таким был он сам, Силин, комсорг ЦК, и, конечно же, та работа, которую делал он, этому парню не снилась даже в самых худых снах.

— Ну, если надо идти — пойдем, — сказал, поднимаясь, Силин. — Идем, Кира.

Бешелев пропустил их вперед — и снова Силин ощутил на себе десятки глаз. С ним не здоровались; все эти парни и девушки, сидевшие за столиками, были незнакомы ему, но каждый знал, что вот идет *сам*. Он не раз (правда, каждый раз случайно) слышал на заводе это слово, применяемое к нему: «Сам приказал...», «Сам распорядился...», «Сам вызвал...». Слово это было тяжелым, весомым и нравилось ему — САМ!

Бешелев толкнул дверь со стеклянной табличкой «Директор», и Силин сразу увидел небольшой накрытый стол посреди комнаты — две бутылки шампанского, коньяк, бутылка «Посольской»... Икра. Аккуратно нарезанные ломтики розовой семги. И трое, тоже незнакомых, молодых людей, которые разом встали, едва открылась дверь.

— Вот наш директор кафе, — сказал Бешелев, показывая на одного из них. — А это мои заместители по оргработе и идеологии. Прошу, Владимир Владимирович.

Силин молча оглядел стол, потом всех, кто был здесь. Вот оно что! Тонкие волосы на голове Бешелева светились, как

нимб вокруг святого чела. Он даже замер, Бешелев, ожидая похвального слова.

— Слушайте, Бешелев, — тихо сказал Силин, — вам не кажется, что это... что это черт знает что? И если я сейчас позову сюда ваших комсомольцев, вы представляете, что скажут они?

— Но, Владимир Владимирович...

Он еще улыбался, улыбался как бы по инерции — до него не сразу дошли слова, сказанные директором. Мало-помалу улыбка сползла с его лица, будто кто-то провел по нему мокрой тряпкой и смыл ее. Теперь на лице Бешелева была растерянность, — вдруг она сменилась отчаянной решимостью.

— Я думал, что лучше будет посидеть в *своей* компании.

— Я вам не компания, — уже громко и резко оборвал его Силин и вышел первым. Уже в зале он опомнился и пропустил вперед Киру. — Идем домой. Хватит на сегодня, пожалуй.

— Ты не сердись на него, — уговаривала его Кира, когда они одевались, и когда вышли из кафе на улицу, и когда шли домой. — Парень ведь от чистого сердца хотел сделать нам приятное. Ну что тут такого? Я знаю, ты скажешь — отрыв от масс и все такое прочее... Хорошо, ты не был таким, и возможностей у тебя не было, но...

— Перестань, пожалуйста, — поморщился Силин. Он думал о том, что зря отпустил шофера, придется трястись в автобусе. — Ты не хочешь понять, куда он забредет с этими замашками.

— Но ведь когда к тебе приезжают из главка или министерства...

— Да, разумеется, и кофе и коньяк подают в мой кабинет, — не дал ей договорить Силин. — Ты путаешь гвозди с панихидой, милая.

— И все-таки ты был излишне резок. Испортил им настроение.

Он остановился. Вот как? Настроение? Я могу испортить им карьеру, стоит только позвонить в обком комсомола и сообщить о тайном столе за кулисами. И довольно говорить на эту тему.

Впрочем, уже сейчас он знал, что никуда не позвонит и никому ничего не скажет.

Когда Алексей и Нина вышли на улицу, час был еще не поздний — около десяти и веселье в кафе шло вовсю. Но оставаться там дольше Алексей не мог, и, когда он поднялся, Нина встала тоже. Она тоже пойдет домой. Внутренне Алексей поморщился: придется провожать, а ему больше всего на свете хотелось остаться одному. Он не был пьян, хотя и выпил много вина: как бывает в таких случаях, нервное напряжение оказалось слишком велико, чтобы опьянеть. Во всем теле была тяжелая усталость, как после долгого бега, и он не мог стрях-

нуть ее с себя. Ладно, провожу Нину и спать, спать, спать...

На улице было по-прежнему морозно и снег скрипел под ногами. После теплого кафе Нине стало холодно, и она торопливо взяла Алексея под руку, словно пристраивалась поудобнее, чтобы хоть немного согреться возле него.

— Я тебя провожу, — сказал Алексей. — Но если там у подъезда ждет муж...

— У меня нет никакого мужа, — сказала она. Алексей поглядел на нее, и Нина, чуть повернув голову, ответила ему спокойным взглядом. — Давно, уже год. Просто я никому не рассказываю об этом. Не очень-то приятно рассказывать, что тебя оставили.

Об этом она говорила тоже спокойно, даже без легкого хотя бы налета грусти, как о чем-то давнем, таком, что уже перегорело, переболело в ней. Обычная история. Муж работал здесь же, на заводе, в монтажном отделе, пропадал в командировках месяцами, молодой парень, вот и не выдержал... Встретился в Средней Азии, где устанавливал компрессоры, с какой-то женщиной, прислал телеграмму: «Извини можешь считать себя свободной вернусь оформим все дела». Сейчас его здесь нет. Ушел с завода и укатил в Среднюю Азию к новой жене.

— Вот так я и сбежала замуж, — усмехнулась Нина.

Какое-то время они шли молча.

Эта короткая и действительно, в общем-то, простая история неожиданно взволновала Алексея. Молодая женщина, которая шла рядом с ним, оказывается, была несчастлива, и, быть может, даже большим несчастьем, чем он сам! Между тем, что случилось год назад с Ниной, а сейчас с ним, существовало некое прямое и близкое родство, достаточно близкое для того, чтобы Алексей не мог не почувствовать жалость к этой женщине, и теперь его собственная боль как бы потеснилась, уступив другой, чужой боли.

— Только очень прошу — не надо никому говорить об этом, — сказала Нина. — Терпеть не могу всякие ахи и охи. Я сама не знаю, почему рассказала тебе всю эту историю. Наверно, кто-то должен был попасться под такое настроение. Попался ты.

— Нет, — сказал Алексей. — Ты уж не ври, если не умеешь.

— Я не вру. Конечно, сегодня я все поняла про тебя...

— И поняла, что есть кому поплакаться, — закончил за нее Алексей. — А жалость, как известно, унижает человека.

— Трудно возражать классику, — усмехнулась Нина, — но все-таки иногда так хочется, чтобы пожалели! Впрочем, чего же меня-то жалеть? Это мне стало жалко тебя. Сидела и даже реветь хотелось, честное слово. Ты ее давно знаешь?

— Давно, — сказал Алексей. — Два года.

— Давно, — согласилась Нина. — Она же еще совсем девчонка. А глазищи-то у нее какие!

— Да.

Нина поудобнее пристроила свою руку на его руку, словно приготавливалась к долгому разговору, и Алексей подумал: как странно! Они знакомы уже полгода, а разговоров между ними все-то и было, что «здравствуй» — «до свидания», и еще по разным комсомольским делам, а сейчас будто все раскрылось, и так хорошо, так легко, так просто и доверчиво, словно у старинных друзей.

— Я вовсе не хочу тебя успокаивать, — сказала Нина, — но поверь мне — все проходит. Не сразу, конечно. Сначала очень больно,ходишь и думаешь одно и то же: господи, да за что же! Потом оказываешься в какой-то пустоте. Никому не веришь, и такой мрак на душе... А потом все легче и легче. И хорошо, если в такое время встретишь кого-нибудь...

— Ты встретила?

Она не ответила, будто не расслышала вопроса.

— Так что и от этой болезни тоже можно вылечиться, Алеша. Хорошо, если ты мне поверишь.

— Как доктору? — грустно пошутил он.

— Просто я старше тебя на четыре года, — сказала Нина, — и, значит, кое в чем понимаю больше.

Снова они одновременно поглядели друг на друга. Они были одного роста, и их лица оказались рядом. Прядь светлых волос выбивалась из-под Нининого капюшона, и Алексей, стянув зубами перчатку со свободной руки, осторожно поправил ее.

— Также мне старушка, — ворчливо сказал он. Нет, не жалость, — сейчас он испытывал удивительную нежность, и одно короткое прикосновение к этой женщине, к ее холодному лбу смутило Алексея именно тем, что эта нежность как бы нашла свой неожиданный выход. — Завтра на пенсию, или подождешь тридцать один годик?

— Подожду, — засмеялась Нина. — Вот мой дом. — Они прошли еще немного. — Извини, я не могу тебя пригласить к себе: дома развал, ничего не убрано, да и соседка у меня такая... Как-нибудь в другой раз, ладно? Ну, до завтра?

Алексей стоял перед ней, и ему не хотелось прощаться. Эта недалняя прогулка и этот разговор не то чтобы успокоили его, а что-то смягчили в нем или добавили ему немного того человеческого тепла, в котором, сам того не подозревая, он нуждался сегодня больше всего. То, что это тепло досталось ему от совершенно чужого и, в сущности, даже малознамого человека, никак не удивляло его. Его удивляло другое — то открытие, которое он сделал за какие-нибудь двадцать минут ходьбы от кафе до этого дома, — открытие Нины.

— Спасибо, — сказал он.

— За что же, глупенький? — удивилась Нина. — А можно мне поцеловать тебя?

Она поцеловала его в щеку — он растерялся и не успел ответить, — улыбнулась, кивнула и вошла в подъезд... Дверь за ней хлопнула коротко и гулко.

18. ВЕЧЕР ПОД НОВЫЙ ГОД

(Продолжение)

Идти на день рождения к Рогову не хотелось, но Силин понимал, что не пойти просто нельзя. Тут ни на какие уважительные причины не сошлешься. Впрочем, народу там соберется много, Рогову будет не до разговоров — посидим часов до двух и домой... Да и какие могут быть разговоры? План выполнен по всем технико-экономическим показателям еще неделю назад, так что с этой стороны все в порядке. Ну, не завершили план по строительству цеха турбинных лопаток, под конец года пошло плохое литье — пришлось забраковать на тридцать шесть тысяч рублей отливок, — в прежние годы было еще хуже. Главное — освоили турбину. В день, когда головную турбину вывозили с завода, народ собрался как на праздник. На первой платформе кто-то сделал надпись цветным мелом: «Служи, «десяточка», до коммунизма!»

Дизель шел медленно, и люди шли рядом с платформой, махали руками, будто проводя в дальнюю дорогу не безжизненный пока металл, а близкого человека. Тут же, с наспех сколоченного помоста, вели съемку операторы, приехавшие накануне из Москвы. Репортер, прибывший с ними — толстый, с гладко зачесанными назад волосами, — просидел в кабинете Силина часа полтора, донимая вопросами. На эти полтора часа хозяевами кабинета стали киношники: они ходили, устанавливали осветительную аппаратуру; тут же, по ковру, змеились кабели; камера уставилась на Силина своим холодным оком, микрофон перед ним был как готовый выстрелить пистолет.

Полтора часа — а в программе «Время» весь «сюжет» (это словечко он услышал от толстого репортера с какой-то птичьей фамилией) занял минуты три, не больше. Сначала на экране телевизора появился город, улицы, мост через реку, высотные дома в Новых Липках. Потом заводская проходная... Потом движущийся состав и толпы людей. Камера останавливалась на лицах — это были ликующие лица. На секунду мелькнул размахивающий шапкой Алешка Бочаров. Затем во весь экран показали токаря Осинина. «Вы точили вал ротора турбины. С каким чувством вы провозжаете готовую турбину в Среднюю Азию?» — «С каким чувством? Да будто часть самого себя уходит». И только потом на экране появился он, Силин.

Ему было интересно увидеть себя со стороны, за своим столом, чуть улыбающегося, уверенного, деловитого. «Вы правы — сегодня у нас действительно праздник. А в будущем году нам предстоит семь таких праздников. Мы уже готовы к тому, чтобы наладить серийный выпуск машин».

Он смотрел на самого себя, а рядом на диване сидела Воронина и прижималась к нему; он чувствовал ее тепло; она улыбалась, она радовалась и, когда «сюжет» кончился, охватила его шею.

— Ну, а теперь что? — спросила она.

— Теперь орден, — пошутил Силин. — Или даже Государственная премия. Согласна?

— И на то, и на другое. Какой ты огромный!..

Потом, когда он уже собрался уходить, она стояла у окна — тоненькая, стройная — в своем пестром халатике, и в темных глазах была тоска. Он старался не глядеть на нее. Воронина сказала:

— Кажется, я возненавижу и твою работу, и твою славу. Они все время что-то отбирают от меня. И не только они... Ты не понимаешь, как это трудно — любить рядом...

— Ты меня любишь?

Она отвернулась к окну. Силин подошел и обнял ее.

— Хорошо, — глухо сказал он. — Сегодня я никуда от тебя не уйду.

— Какая разница? Не сегодня, так завтра и послезавтра. А ты мне нужен всегда. Но я знаю, что в Новый год я буду сидеть здесь одна, как дура, и реветь, а ты...

— Новый год я должен встречать у Рогова, — сказал Силин. — Ему как раз пятьдесят. Ты же понимаешь, что к нему я не могу не пойти.

— Да, — кивнула Воронина, повернувшись к Силину, и ее печали как не было. Она сказала спокойно и по-деловому: — Конечно, понимаю. И, пожалуйста, не думай обо мне. Тебе обязательно надо пойти к Рогову. Особенно сейчас... когда ты на такой волне.

Когда он с Кирой ехал к Рогову, то вспомнил эти слова: «на такой волне». Ему и впрямь казалось, что какая-то волна подхватила его и понесла — все дальше, дальше, все выше, все стремительнее, — и теперь ее бег был уже неукротим.

Рогов просил приехать к десяти, не опаздывая, и в его квартире было много народу: секретари обкома и горкома, командующий округом генерал-лейтенант Круглов, председатель облисполкома — все с женами. Но в кабинете Рогова собрались одни мужчины; женщины помогали Дарье Петровне накрывать на стол или хлопотали на кухне.

Едва Силин вошел в кабинет хозяина, держа перед собой спиннинг, как один из секретарей горкома сказал:

— Еще один герой дня! Даже похудел, по-моему, а план все-таки выжал.

— Как у нас говорят, — шутливо отозвался Силин, — если план выполнен, значит, хорошо работал ДОСААФ.

— Ладно, — в тон шутке сказал Рогов. — Давай сюда подарок и на всякий случай не забудь поздравить именинника.

Они обнялись и расцеловались. Силин все шутил: ну, как оно, по шестому-то десятку? Может, попробуем рука на руку — чья сильнее? Рогов развернул спиннинг и отмахнулся: с тобой борются — своих костей не жалеть.

— Да уж, гвардеец! — засмеялся Круглов. — Как вошел — сразу же стало тесно.

Рогов ушел здороваться с Кирой и вернулся, подталкивая Бочарова. Меньше всего Силин ожидал увидеть здесь Николая. Было непонятно, зачем его пригласил Рогов. Ну, встречались когда-то в ранней юности, что из того? Тоска по прошлому, что ли?

— Знакомьтесь, — сказал Рогов, держа за плечо смущенного Бочарова. — Николка Бочаров, отличнейший человек.

— Ну, — сказал predisполкома, первым протягивая Бочарову руку, — если уж Георгий Петрович кого-то называет так, это исключение из его правила.

— Какого еще правила? — спросил Рогов.

— Никого не хвалить, — улыбнулся predisполкома.

Бочаров обошел всех, пожимая руки, и Силин видел, что его растерянность и смущение все растут. Казалось, он даже не узнал Силина, здороваясь с ним.

— Садись, — сказал ему Силин, пододвигаясь и освобождая место на диване рядом с собой. — Ты один или с семейством?

— С Верочкой, — обрадованно ответил Бочаров. — Она сегодня с утра здесь, она же у меня мастерица по пирогам.

Он обрадовался тому, что обнаружил хотя бы одного знакомого, подумал Силин. Ах, до чего же все-таки провинциальный мужичок Колька! Пришел со всеми своими орденами и медалями, одеколончиком попрыскался — пахнет за версту, а его Верочка, поди, с каким-нибудь немыслимым волосяным суфле на голове и обязательно в парчовом платье до пят — предел мечты любой продавщицы.

— Вы, оказывается, знакомы? — спросил генерал, сидевший рядом, на том же диване, и Силин ответил торопливо, чтобы предупредить ответ Бочарова:

— Он у меня начальником участка. Главный по турбинам, — добавил он, чтобы как-то смягчить свою поспешность.

Пришел еще один человек — долговязый, с вытянутым лошадиным лицом и грустными, умными глазами — редактор областной газеты Вдовин. Поздоровавшись, он сразу подошел к Силину и сказал своим таким неожиданным для его тощей фигуры раскатистым басом:

— Ну, поздравляю, поздравляю! Придется еще один очерк о директоре завода давать, а?

— Я тебе дам еще один очерк! — сказал из другого конца кабинета Рогов. — Хватит Силину славы. Можно подумать, он один эту турбину сделал.

Дарья Петровна стояла в дверях и слышала конец этого разговора.

— Кажется, именинник начинает бушевать? — спросила она. — Тогда прошу всех за стол, а его посадим на кухне.

— Видали, как здесь обращаются с вашим секретарем обко-

ма? — шутливо проворчал Рогов, жестом приглашая гостей в соседнюю комнату.

За столом Силин оказался рядом со Вдовиным. Чуть дальше — за Кирой — сидел генерал Круглов. Садясь, генерал перегнулся к Силину:

— Берегитесь, Владимир Владимирович. Я здесь один, так что буду ухаживать за вашей супругой.

— Дуэли не будет, Корней Игнатьевич.

Он разглядывал всех. Дочка Рогова — маленькая, некрасивая, рыжая — разносила хлеб, и, когда она подошла к нему, Силин пошутил:

— А ты почему не выросла?

Лиза кокетливо передернула плечами:

— Теперь маленький рост — самый модный, только поэтому и не выросла.

— Значит, я не модный?

— Увы.

Миленский разговор! Лиза пошла дальше.

А Вера Бочарова вообще не садилась, ей было некогда: вместе с Дарьей Петровной она все еще хлопотала у стола, и Силин подумал: Вере сейчас за сорок, а как хорошо выглядит, — и никаких там волосяных суфле, никакой парчи. Даже в переднике! Когда Вера оказалась рядом с ним, он спросил — где же Алешка, и Вера ответила, что у Алешки своя компания.

— Я тоже скоро удеру, — сказала Лиза, проходя за его спиной. — Хотите, прихвачу вас? Посмотрите, как веселится современная молодежь.

— Увы, я не модный, — ответил ей Силин.

Кто-то сказал, что надо нарушить традицию и дать слово самому молодому мужчине. Именно мужчине, потому что все женщины всегда одинаково молоды.

— А кто у нас самый молодой? — спросил Рогов. — Кажется, ты, Николка?

Все поглядели на Бочарова, а он залился краской, да так, что даже слезы выступили на глазах. Так с ним было всегда, когда он смущался или чему-то радовался. Силин подумал, что это уж совсем ни к чему и что первое слово должен был сказать кто-нибудь посolidнее, чем Николай. Но командующий округом одобрительно кивнул Бочарову:

— Давай, рабочий класс!

Бочаров поднялся. За столом стало тихо.

— Я не очень-то умею говорить, — сказал Бочаров, — но раз уж пришлось, то скажу... Все ли знают, как прожил пятьдесят лет Георгий Петрович Рогов? Вы уж простите меня, я буду говорить долго...

Силин откинулся на спинку стула. Сейчас он испытывал острое чувство досады оттого, что первым говорит Николай, — в такой-то день! — и злился на него, сам не понимая за что. Сидел бы себе тихо и пил «столичную», так нет — «я не

очень-то умею говорить», — великолепно умеет, только прикидывается таким протачком, пиджачком!..

— Должно быть, мне очень повезло в жизни, — сказал Бочаров. — Повезло потому, что с самых малых лет у меня были Роговы.

Он говорил о Роговых. Об отце, погибшем в сорок первом. О том, как было тяжело и как Георгий Рогов в сорок втором отдал ему свой станок, а сам ушел на фронт. И потом вернулся — раненый, без руки. И начал работать в комсомоле — какие это были времена! Голодные, трудные, да что трудные — тяжелые были времена. Но ничего — все вынесли, все выдюжили, все сделали, что надо было сделать...

— Я хочу предложить тост за коммуниста, — сказал Бочаров. — За то, что он сделал в нашей жизни и еще в ней сделает.

Тогда встали все, и Силин встал тоже.

Потом поднимали тосты за Дарью Петровну, за Лизу, за этот дом... Наконец слово попросил Рогов, и снова за столом стало тихо.

— Спасибо тебе, Николка, — сказал Рогов, — что ты поднял тост не просто за пятидесятилетнего Рогова, а за коммуниста Рогова. На днях я был в ЦК, встречался с одним из секретарей. Он мне рассказывал о планах на десятую пятилетку, и вдруг я подумал: а ведь мне пятьдесят! Сбросить бы мне годков так двадцать, сколько бы можно было еще сделать! Но ничего. Так уж мы, видимо, устроены, что и в пятьдесят, и в шестьдесят можем работать без остатка. Есть у нас еще люди, которым кажется, что они достаточно дали Советской власти и поэтому им положен остаток. А для меня остаток — это то, что я оставляю людям. Вот и давайте выпьем за это. За то, чтобы без остатка! Чтобы не жалеть, что тебе пятьдесят, а не тридцать.

Он перевел дыхание. Рогов волновался! Это было уже совсем неожиданно для всех. Он махнул рукой, как бы предупреждая, что еще не кончил говорить, и снова повернулся к Бочарову:

— Ты прав, Николка. В эти дни я, естественно, перебирал всю свою жизнь и тоже подумал, есть ли для меня разница между понятиями «человек» и «коммунист»? Нет для меня такой разницы! Слишком трудную жизнь мы прожили все вместе, чтобы не ощущать в себе этого чувства великого братства. Так вот, давайте прежде всего за это братство.

Очень скоро разговор за столом стал общим, и редактор «Красного знамени», наклонившись к Силину, сказал, показывая глазами на Бочарова:

— А что, если я напущу на него своих корреспондентов? Сам-то не нашли, такого мужика проморгали.

— Что ж, — сказал Силин. Он почти не пил, даже за здо-

ровье Рогова чуть отхлебнул шампанского. — Я думаю, Воронина сможет написать о нем. По-моему, она неплохо пишет.

— Да, — кивнул Вдовин. — У нее бойкое перо. Правда, иной раз слишком много восторгов.

Силин напрягся. Он рассчитал точно. Сейчас можно было поговорить о Ворониной. Вдовин, сам того не замечая, поддержал нужный ему разговор. Это было как на рыбалке — главное, найти ямку, где стоит рыба, и кинуть туда наживку...

— Наверно, это от характера, от молодости, да мало ли еще от чего? — сказал Силин.

— Возможно, — сказал Вдовин. — Мне ее очерки нравятся. Они всегда лиричны, и это самое странное.

— Почему? — удивился Силин.

— Потому что она очень расчетливый человек, — ответил Вдовин. — Мне иногда кажется, что в ней сидит какая-то кибернетическая машина, которая подсчитывает все, что ей надо сделать. Для молодой и, согласитесь, интересной женщины это несколько неожиданно, а?

— О ком вы говорите? — вдруг спросила Кира.

— Ты не знаешь, — сказал Силин. Все! Наживка пропала! Продолжать дальше разговор о Ворониной было уже нельзя. — А насчет Бочарова — что ж? Когда-то, еще в сорок первом, кажется, в вашей газете была фотография: пацан стоит на ящике возле станка. Росточка еще не хватало.

— Это же здорово! — обрадовался Вдовин. — Разыскать ту фотографию и дать две — ту и сегодняшнюю!

Он уже работал! А Силин внутренне морщился. Не надо было лезть самому на разговор о Кольке.

— Так я подошлю к вам на завод Воронину? — спросил его Вдовин, и Силину показалось, что Кира, по-прежнему разговаривавшая с генералом, вдруг насторожилась, словно почувствовав что-то неладное в этом повторении одной и той же женской фамилии...

Силин кивнул. Пусть созвонится с его секретаршей, та закажет ей пропуск.

Еще несколько дней назад — после того вечера в заводском кафе — Глеб Савельев забежал на механический участок и, хлопнув Алексея по спине, спросил, где он собирается встречать Новый год.

— Пока не знаю.

— Не будь закомилексованным допухом, — сказал Глеб. — На тебя противно смотреть. Ну, не вышло с девчонкой, а ты расклеился, как медуза на солнышке. Честно говоря, это как-то не по-мужски.

— Значит, у нас разные взгляды, — неожиданно зло сказал Алексей.

— Чепуха, друг Алеша. Мы живем не в рыцарские времена, а в двадцатом веке, и девочек на нашу долю вполне хватает. Я люблю статистику. Так вот, в СССР на сто семьдесят девочек сто мальчишек — усек? Короче, у моей собирается компания...

— Я не пойду, — оборвал его Алексей. Ему был неприятен этот разговор. Тем более что он знал точно: Глеб вовсе не утешает его, а действительно думает так — «девочек хватает». Не вышло с одной — выйдет с другой, ничего особенного, именно так и положено в двадцатый век. Холодно и точно, как математическая формула. А он все эти дни после встречи в кафе буквально не мог прийти в себя. Разница между Глебом и Ниной Водолажской была в том, что Нина утешала — Глеб математически рассчитывал даже любовь. Сто семьдесят на сто — чего ж горевать?

— Ну-ну, — хмыкнул Глеб. — Будешь сидеть дома за бутылкой и смотреть «Огонек»?

Алексей промерил глубину обработки и выключил станок. Всем своим видом он хотел показать Глебу: я работаю, а ты мешаешь. Но Глеб не отходил. Ему понравилась эта тема одиночества. Бедненький, несчастненький! А потом что? Монашеский постриг? Обет безбрачия? Он был жесток в своей насмешливости. Как знать, может быть, в разговоре с другим человеком такая жестокость оказалась бы даже спасительной, но Алексей оборвал его.

— А ведь противно, — сказал он. — Вроде бы ты человек, а за душой пусто.

— Ты обо мне? — удивился Глеб.

— К сожалению, — усмехнулся Алексей. — А теперь, как говорит старик Коган: «Иди туда, куда пошел бы я, если бы ты был мной, а я тобой».

Глеб дернулся и ушел.

Алексей подумал: ну вот и поссорились. Он не жалел ни о чем. Должно быть, рано или поздно так должно было произойти. Слишком они стали разные. Он не любил ссор, можно было бы просто, тихо и незаметно отойти друг от друга, но раз уж случилось именно так — пусть будет так.

После смены, по пути домой, он все-таки зашел на почту — дать телеграмму Лиде. Стоя в небольшой очереди, он еще раз подумал о Глебе: да, отчуждение началось не сегодня и не вчера, а еще тогда, когда они гуляли вдвоем и Глеб излагал свои взгляды на жизнь. Тогда Алексей как-то не придавал им особого значения: ну, малость рисуется парень, хочет показаться перед своей девушкой таким ультрасовременным интеллектуалом, *вытрянчивается*. Раздражение пришло позже. Нет, не вытрянчивается. Так и думает, как хорошо запрограммированная машина. Сегодняшняя встреча только подтвердила это.

И вдруг совсем неожиданно, по какой-то очень далекой ассоциации (Глеб — кафе — Нина), он подумал, что не видел Ни-

ну ни вчера, ни сегодня, и ему стало не по себе: даже не поздравил с наступающим, и ни ее адреса, ни номера телефона он не знает.

Телеграмма у него получилась короткой: «Поздравляю Новым годом желаю здоровья счастья Алексей». Ничего лучше он не мог придумать сейчас. И, выйдя на улицу, вскочил в подошедший троллейбус.

Нинин дом он, конечно, найдет. И дверь, кажется, вторая справа. Хорошо бы купить какие-нибудь цветы, да, пожалуй, уже негде: сегодня Бесфамильный, усмехаясь, рассказывал, что купил на рынке у заезжих абреков пять гвоздик по трешке штука — судить бы за это, да что поделаешь? Девушки любят цветы. Цветы выращивают на Кавказе. Хочешь покорить девушку — гони трудовые трешницы!

Черт с ними, с цветами. Можно купить шоколадный набор. Кажется, возле ее дома был какой-то магазин. Почему-то он был уверен, что Нина дома. Даже если она собирается куда-то, в это время она дома, и он успеет...

Все так и было: магазин, шоколадный набор, длинный дом, похожий на корабль, вторая дверь справа и — четыре квартиры на каждой площадке. Девять этажей — тридцать шесть квартир. Алексей усмехнулся: слава богу, еще не строим небоскребы!

На лестнице стояли густые запахи жареного; играла музыка; из-за дверей доносились глухие голоса — за каждой готовились к Новому году. Он позвонил наугад — дверь открыли сразу.

— Извините, вы не знаете, где живет Водолажская?

— В сорок седьмой.

Он оторопело сказал «спасибо», еще не веря, что все получилось так удачно, быстро и просто.

Сорок седьмая квартира была на третьем этаже, он снова позвонил — тихо; позвонил еще — дверь открыла Нина.

Она стояла, запахивая на груди халат, словно спасаясь от холода, повеявшего с лестницы, и Алексей сразу заметил ее сбитые, непричесанные волосы и покрасневшие глаза с чуть опухшими веками.

— Господи! — сказала Нина. — Ты? Да проходи же...

Она подняла руку и провела по волосам, стараясь хоть как-то привести их в порядок. Алексей шагнул в маленькую прихожую — дверь закрылась.

— Здравствуй, — сказал он и поглядел на свои ботинки. — Я натопчу у тебя...

— Не валяй дурака, у меня нет мужских тапочек. Вот коврик, вытри ноги и проходи в комнату.

Он вошел в ее комнату; на диване лежали простыня, подушка, одеяло.

— Ты больна?

— Ерунда, — сказала Нина. — Наверно, все-таки простуди-

лась, когда мы шли. Или грипп. Садись и смотри в угол. Только, конечно, честно.

Он сел на стул возле маленького «школьного» письменного стола. Здесь лежали книги, тетрадки; над столом была фотография пожилой женщины, и Алексей почему-то подумал, что это ее мать. Чуть ниже, зацепленная за гвоздик, висела гроздь самой обыкновенной, отливающей фиолетовым цветом стальной стружки.

Он слышал, как там, за его спиной, торопливо переодевается Нина, как шуршит одежда, потом мягко шлепнулись сброшенные на пол домашние туфли.

— Можно? — спросил он.

— Нельзя, — сказала она. — Протяни мне со стола помаду и пудру.

Он протянул ей через плечо помаду и пудру. «Теперь она стоит у зеркала, — подумал он, прислушиваясь. — Да, причесывается». Ему хотелось обернуться и сказать: зачем все это надо? Давай ложись в постель, я посижу рядом полчаса и уйду... А куда я уйду?

— Чего это ты стружку повесила? — спросил он, лишь бы не молчать.

— Сувенир, — сказала Нина. — Когда пришла на завод, в первый же день стащила из ящика на память и страшно трусила, что в проходной меня задержат. Так и висит с тех пор.

— А это кто? Мать?

— Нет, воспитательница. Я ведь детдомовская.

— Детдомовская? — спросил он, оборачиваясь.

Нина уже причесалась и сейчас, стоя перед зеркалом, красила губы. Она надела то же самое платье, в котором была там, в кафе, но сейчас почему-то показалась Алексею стройнее и выше.

— Все-таки повернулся! — с досадой сказала она.

— Извини, — буркнул Алексей. — Что я, не видел, как вы губы накращиваете? А я и не знал, что ты детдомовская.

— И так здорово удивился? — усмехнулась она. — Впрочем, наверно, это понятно. Тебе должно казаться, что раз все есть у тебя, значит, то же самое должно быть и у других. Ну вот, я готова принимать гостя. А сейчас отвернись еще — я уберу постель, и будем пить чай.

Алексей пододвинул на столе шоколадный набор.

— Это тебе, — сказал он. Нина только скользнула глазами по коробке. — Я не видел тебя два дня и решил, что с тобой что-то случилось.

— Странно, — сказала Нина.

— Что странно?

— Что ты заметил мое отсутствие. Ну, здравствуй. Я, кажется, забыла с тобой поздороваться впопыхах.

— А, — улыбнулся Алексей. — Не будь формалисткой и скажи, где твой чайник.

— Я все сделаю сама, — сказала Нина. — Только прошу тебя — ответь честно: ты пришел потому, что действительно подумал обо мне или... или потому, что тебе сегодня некуда больше идти?

Алексей молча потянулся за сигаретами.

— У тебя можно курить?

— Пожалуйста.

— Я не понимаю, зачем это тебе нужно? — спросил он. — Если я скажу — да, потому что подумал о тебе, ты можешь не поверить... Если скажу — потому, что больше некуда идти, ты, чего доброго, обидишься. Вот и вся разница между мужской логикой и женской, которая, как известно, заключается в отсутствии всякой логики.

Нина пошла к двери и обернулась.

— Ты мне все-таки соврал, — сказала она. — Ты подумал обо мне, это я знаю. И только не понимаю, почему этого надо так стесняться?

Курить выходили в кабинет Рогова. Там все время была открыта форточка.

На этот раз вышли сразу трое: сам Рогов, генерал Круглов и Силин. Хозяин дома протянул гостям пачку каких-то невиданных сигарет — индийские, купил на пробу в Москве, берешь в рот — сладко, видимо бумага из сахарного тростника, да к тому же не белая, а коричневая.

— Не бойтесь, — сказал Рогов. — Я уже курил их и, как видите, жив. А вообще, надо бросать.

— Ничего не выйдет, — сказал генерал. — Я пробовал. Через три дня начинал кидаться на людей и на стены, тогда жена клала передо мной сигареты и говорила: «Кури и будь нормальным человеком».

— Ну, — сказал Рогов, — у нас и некоторые курящие на людей бросаются. Это уже свойство не никотина, а скорее, характера.

Силин насторожился. Он слишком хорошо знал Рогова, чтобы сразу догадаться, что эти слова сказаны неспроста, и не в пустое пространство, и что у них есть свой адрес, хотя Рогов смотрел куда-то в сторону и даже чуть улыбался. Это было вполне в его манере — самый серьезный разговор начинать мягко, чтобы дать собеседнику возможность как бы подготовиться к предстоящему разговору.

— Кажется, — сказал он, — камешек был брошен в меня?

— Ну, почему же? — отозвался Рогов. — Просто мы с генералом сегодня очень интересно поговорили. Иногда такие разговоры вслух становятся необходимыми.

— Да, — сказал Круглов. — К сожалению, у нас на них порой не хватает времени.

— Я участвовал в ваших раздумьях? — спросил Силин.

— Отчасти, Володя. Да, наверно, генерал сам тебе скажет, о чем мы говорили.

Тот курил, медленно выпуская дым, словно наслаждаясь этой долгожданной возможностью покурить власть после стола.

— Я просто могу повторить то, что думаю, — сказал Круглов. — А думаю я вот что. Была война, и вы тоже были на войне, Владимир Владимирович...

Силин нетерпеливо повел плечами. Его раздражала эта неторопливая манера.

— Война не щадила людей, и люди не щадили себя — иначе мы не победили бы. Но потом шли мирные годы, и я с удивлением наблюдал, как мои товарищи-фронтовики как бы поделились на две части. В одних война выработала обостренное чувство доброты к людям, особого внимания к ним, повышенной заботливости — и это естественно. Это проявление не просто человеческой и не просто нашей национальной сущности, это результат социалистической морали. А другая часть, как говорится, слава те богу, меньшая, — вошла в мирную жизнь с привычными мерками военного времени. Приказ, беспрекословное подчинение, да еще с матерком, да еще с разносом — со всем тем, что так не любили солдаты в своих командирах. Я кое-что слышал о вас, Владимир Владимирович. И мне кажется, в вас осталось, да еще и развилось очень многое с тех времен, когда человеческая личность не представлялась особой ценностью, хотя бы во имя самых больших и светлых целей.

Силин усмехнулся. Вот как! Генерал произнес целую речь! Круглов — член бюро обкома, и, значит, какой-то разговор *вокруг* него, Силина, там был! Это — только его отражение или, быть может, тень. Неприятно, конечно, когда тебя в сорок девять лет начинают вежливо воспитывать. Нет уж! Его командир полка как-то сказал: «Авторитет можно заработать и горлом». Силин знал, что его на заводе не любят, но боятся. А зачем ему та любовь? Мы живем во имя Его Величества Плана, и времена сейчас вовсе не легкие.

У него было слишком мало времени, чтобы подумать, и он ответил коротко:

— Все-таки я хотел бы продолжить этот разговор в другое время. Если, конечно, в нем еще есть надобность. («Ерунда, никакой надобности уже нет».) Но вы — человек военный и знаете цену дисциплине. У меня тоже должна быть железная дисциплина — всякая: трудовая, плановая, технологическая. Иначе все полетит к чертовой матери. У меня на заводе сто с лишним зарегистрированных пьяниц. И если...

Он не договорил. Снова в дверях появилась жена Рогова. Скорее за стол, сейчас будут передавать приветствие народу.

Рогов взял Силина под руку и, потянув к двери, сказал:

— Завтра у тебя выходной, а знаешь, как это хорошо — начать новый год с раздумий? Лежать на диванчике и думать...

Когда Нина вышла, Алексей быстро осмотрел ее комнату и удивился тому, как здесь уютно, будто ее хозяйка жила тут случайно, временно и не хотела налаживать прочный, спокойный быт.

Дверь была открыта, и он слышал, как Нина наливает в чайник воду, включает газ... Соседки, скорее всего, нет, уехала куда-нибудь на встречу Нового года, и хорошо: он помнил, как Нина сказала, что соседка у нее не приведет бог какая вредная баба. И то, что Нина, вернувшись, закрыла за собой дверь, он тоже отметил сразу же. Это было у нее укоренившейся привычкой — закрываться от вредной соседки.

Нина села на диван. Алексей невольно поглядел на ее высоко открытые ноги с острыми, как у подростка, коленями.

— Зря ты, наверно, встала, — сказал он. — Вообще, у тебя еда-то есть? Соседка носит? — Нина улыбнулась. — Может, мне завтра притащить чего-нибудь?

— Фрикасе, котлеты «маршаль», беф-буи, ну и консоме с фашотом, — сказала Нина. — А в общем, еда у меня есть, соседка ничего не носит, а завтра ты будешь дрыхнуть весь день. Но до чего же все-таки здорово, что ты пришел! У меня ведь даже радио нет — соседка поднимет вой...

Алексей усмехнулся. Оказывается, дома она пугливая! Он вспомнил, как однажды, еще летом, Нутрихин сказал о ней: «Не завидую ее мужу».

Его не покидало чувство скованности, неожиданной и неприятной, и он знал, что Нина отлично видит эту скованность.

— Подумаешь, соседка, божий цветочек! — сказал он. — Возьми и разменяйся. Я тебе вещички помогу перетащить. Грешным делом, у меня такое ощущение, что ты здесь как на вокзале живешь.

Нина протянула руку и попросила сигарету. Он дал ей сигарету, поднес зажигалку, поставил на диван пепельницу.

— Да, — сказала Нина, — ты прав. Как на вокзале. А поезда все нет и нет...

Она сказала это с такой щемящей тоской, что Алексей невольно вздрогнул. Второй раз за эти дни он соприкоснулся с куда большим несчастьем, чем переживал сам, и боль другого человека снова отозвалась в нем.

— Да что ты киснешь? — с нарочитой грубостью сказал он. — Придет еще твой поезд, никуда не денется.

Нина снова вышла, ничего не ответив. И снова он слышал, как она звенит ложками о блюдца, как разливает чай. Вот и хорошо — встретим Новый год чаем. Надо было прихватить

бутылку шампанского, конечно. Или сбегать сейчас? Еще нет восьми. Он так и сказал Нине, когда та принесла чай. Нина покачала головой. Нет, не надо никуда уходить. Она не хочет, чтобы он уходил. Даже на десять минут — до магазина и обратно.

Алексей осторожно взял ее за кисть руки, и она задержала свою руку, чтобы не расплескать чай.

— Почему? — тихо спросил он.

— Да просто так. — Нина подошла к двери и опять закрыла ее. — Мы посидим немного, и ты уйдешь встречать Новый год. А я лягу. Не понимаешь? — Она чуть повернула голову. — Сейчас поймешь. Учти, дверь открывается без стука.

Он ничего не понимал. Какая дверь? И вдруг дверь открылась.

Он увидел женщину в пальто, платке, из-под которого виднелись крашенные огненно-рыжие волосы, — грузную, с маленьким носиком, словно зажатым между щек, и маленькими глазками. Соседка.

— Так, — сказала она. — Все ясно!

— Ничего вам не ясно, — досадливо ответила Нина.

— Ошиблась, голубушка... А я вот раздумала уходить. Взяла и раздумала. — Она разглядывала Алексея в упор, шупала его своими глазками, как бы стараясь запомнить его до самой малой малости — от волос до ботинок. — Мы ж договорились, что ты никого не будешь водить. Договорились? А ты привела.

— Я сам ходить умею, — сказал Алексей.

— Не с вами разговаривают, — обрезала его соседка. — Теперь-то я уж молчать не буду, милая. Так и знай, все в твой комсомол напишу.

Алексей встал и шагнул к двери.

— Не надо, — удержала его за рукав Нина.

— Почему? — удивился он. — Я просто закрою дверь, и всем будет хорошо. Люблю, когда граница на замке. Пограничник все-таки.

— Так, — сказала соседка, выставляя вперед ногу, чтобы он не смог закрыть дверь. — Так и запомним: пограничник.

Нина подошла к окну и встала там, отвернувшись и охватив плечи руками.

— Сейчас мы выпьем чаю, и он уйдет, — глухо сказала она. — А пока, действительно, закройте дверь, Екатерина Викторовна.

— Могу и закрыть, если уйдет, — согласилась соседка. — А пока пусть открытая будет.

Алексей подошел к Нине и положил руки на ее плечи. Нину трясло. Он осторожно притянул ее к себе.

— Как ты все это терпишь? — спросил он. — Да беги ты отсюда без оглядки. Такая мырма тебя в гроб вгонит. Ну и соседушка!

— Это не соседка, — все так же глухо ответила Нина. — Это... моя свекровь. Мать моего бывшего мужа.

— Тем более!

Нина не ответила.

— Погоди. — До него словно бы дошло наконец. — Ты что же, здесь живешь и своего мужа ждешь?

— Жду; — сказала Нина.

Свекровь ходила по коридору, хлопала дверью своей комнаты, гремела чем-то на кухне. Все перевернулось. Жить здесь, с этой страшной бабой, бояться ее, терпеть ее — и все потому, что где-то в глубине души все-таки живет надежда: опомнится, вернется, попросит прощения, а она простит. И кольцо не снимает именно поэтому, а вовсе не потому, что гордость не позволяет считаться разведенкой.

— Нина, — сказал он, уже совершенно обескураженный всем, что вдруг неожиданно открылось перед ним, — но ведь так не должно быть!

— А ты знаешь, как должно быть? Если ты сам...

— Это совсем другое, — перебил он ее. — Но я точно знаю, что так не должно быть. И знаю, как должно быть. Ты слышишь?

Он снова притянул ее за плечи. Его лицо касалось Нининых волос, они тепло пахли.

— Слышу, — шепнула Нина. Ему показалось, что она плачет. Или готова заплакать. — Так как же?

— Выходи за меня замуж, — спокойно и серьезно сказал Алексей.

Нина повернулась, освобождаясь от его рук. Она не плакала. У нее было просто тоскливое, бледное лицо, и все-таки она улыбнулась. Улыбка была тоже тоскливой.

Ладонями Нина провела по лацканам его пиджака, словно разглаживая их или снимая невидимую пыль. Это прикосновение было благодарным и ласковым.

— Хороший, глупенький и маленький мальчиш, — сказала она. — От кого ты хочешь убежать? От Лиды или от самого себя? И я тоже не могу убежать от самой себя. Что поделать? Так и буду сидеть и ждать поезда, на котором приедет она... А пока у нас стынет чай.

Гости начали расходиться после двух. Вера вызвалась помочь Дарье Петровне убрать со стола и вымыть посуду, и, как та ни гнала Веру, она настояла на своем. Остался и Бочаров.

— Сыграем в шахматки? — спросил его Рогов. — После всего это хорошая разрядка.

Бочаров играл неважно. Рогов быстро выиграл у него две партии и ссыпал фигуры в ящик. Когда раздался звонок, он сказал, что это, наверно, вернулась дочка, и пошел открывать. Из его кабинета было слышно, как там, в прихожей, смеются,

о чем-то говорят — голоса мешались, слов было не разобрать, — и Николай подумал, что Лиза вернулась не одна. Скорее всего, прихватила кого-нибудь из своей компании.

Так оно и оказалось. До дома Лизу проводил ее однокурсник, Юрий Кричевский. Сейчас она не хотела отпускать его, да и Рогов уговаривал остаться, благо на столе еще стояла всякая всячина. Кричевский снял, повесил пальто и вошел, потирая ладонями замерзшее лицо.

Бочаров узнал его сразу.

Пришлось снова садиться за стол — правда, лишь вчетвером. Женщины по-прежнему мыли посуду. Искоса Рогов наблюдал за Лизой, стараясь угадать — случайный ли это провожатый или красивый, ничуть не смущающийся новой обстановки парень чем-то близок ей? До сих пор он глядел на дочку со странным чувством восхищения и легкой досады. За делами, за месяцами и годами напряженной, нелегкой жизни он даже не заметил, как Лиза выросла. Жена рассказывала, что мальчишки ее не интересуют, что и растет бесенок. На первом курсе какой-то шустрый юнец сунулся было поцеловать ее, она схватила подернувшуюся под руку деревяшку и трахнула поцелуйщика по голове. Она кривила губы, если Рогов предлагал ей отдохнуть летом, и укатывала на стройку со студенческим отрядом. Она не признавала портних и ходила в брюках и глухом темном свитере. Но это, думал Рогов, у нее, как у всех. И появление в доме рослого, красивого парня с умным, тонким лицом даже обрадовало его. Если уж здесь кто-то и появлялся, то обычно числом не менее десяти, и в дочкиной комнате звенела гитара, и он улыбался, слушая, как они поют про кузнечика, который прыгает коленками назад, или про девушку с острова Пасхи.

Он заметил, что парня разглядывает и Бочаров. Заметил это и Кричевский.

— По-моему, — сказал он Бочарову, — вы пытаетесь вспомнить, где видели меня?

— Отчего же, — ответил Бочаров, — я помню.

— Да, — улыбнулся Кричевский. — Мир слишком тесен. А вы — Бочаров, верно? И у вас есть сын Алексей. Длинный такой. Видите, как все в жизни переплетено.

Рогов подумал — да, все в жизни переплетено, все мы так или иначе связаны друг с другом, знакомые и незнакомые. Этот парень был еще незнаком ему. А как знать, может быть, именно он когда-нибудь войдет в его дом, будет жить с ним под одной крышей, станет отцом его внука или внучки.

— Вы правы, — сказал он. — Я и то кое-что знаю о вас. Жена рассказывала, что вы — незаурядный студент.

— Однако же у вас и память! — удивленно поднял брови Кричевский.

— А сам доволен-предоволен! — фыркнула Лиза, подкладывая ему кусок торта. — Незаурядный студент, папа, честолюбив

и самонадеян. Пятикурсники снимают перед ним шапки, а первокурсницы уступают место в автобусе. Все это родило в нем ощущение неповторимости собственной личности. Однако, когда надо ехать на стройку, личность старается увильнуть. Увлечение Бодлером и Рембо несовместимо с возведением коровников.

«Нет, — подумал Рогов. — Наверно, я ошибся. Здесь не то... Она не стала бы так говорить о человеке, если тот хотя бы нравился ей. Или это маскировка, так сказать, защитная реакция? В таком случае Лиза слишком уж беспощадна».

— Ты же знаешь, — мягко сказал ей Кричевский, — что я почти все лето провожу в Москве, в Публичке. Здесь многого не достать, — объяснил он Рогову. — Вот и приходится жить летом в Москве.

«Значит, работяга, — подумал Рогов. — Хотя и со строительным отрядом тоже надо ездить. Лизка права, конечно».

— Кстати, о первокурсницах, — словно вспомнила Лиза. — Кончился твой роман с той большеглазенькой?

«Ого, — подумал Рогов. — А вопросик-то задан с отчаянным спокойствием! Ай да Лизка! Все вроде бы открыто, при всех, а на самом деле вовсе не из любопытства». Кричевский снова улыбнулся — на этот раз улыбка была натянутой.

— У вашей дочери, — сказал он Рогову, — удивительно милая манера вгонять людей в краску неожиданными открытиями. Нет, Лизонька, не было у меня романа с той большеглазенькой. Славная девчущка, но глуповата, по-моему.

— Для того чтобы это выяснить, тебе понадобился почти целый семестр? — фыркнула Лиза.

— Ладно тебе, Лиза, — остановил ее Рогов. Парень и впрямь казался смущенным. Надо было как-то увести разговор в сторону. Рогов поинтересовался, откуда у Юрия такое увлечение филологией и не пишет ли он сам? Кричевский словно обрадовался возможности поговорить о литературе. Да, книги он любит с самого раннего детства. В их доме всегда было много книг. А потом ведь, как говорил еще Белинский, «литература есть сознание народа, цвет и плод его духовной жизни». Ну, а насчет того, чтобы писать самому...

Лиза перебила его:

— Он предпочитает делать романы, а не писать их.

— Опять ты за свое! — уже досадливо сказал Рогов.

Нет, это не было случайностью. Он и не предполагал в дочери такую ехидную и открытую ревность, а то, что это была именно ревность, он уже не сомневался. Для Даши это будет, конечно, открытием. То-то он посмеется сегодня над своей всезнающей супругой!

Около половины четвертого Бочаровы собрались уходить. Поднялся и Кричевский. Прощались в прихожей. «Заходите». — «Да тебя вечно дома нет». — «Я загляну завтра». (Это Кричевский сказал Лизе.) «Завтра — это уже сегодня?» — «Ну,

еще раз — всего доброго». Бочаров и Кричевский вышли вместе; Вера еще говорила с Дарьей Петровной, и Бочаров пошутил, что, если две женщины остались в прихожей, это еще на час.

Хорошо было оказаться на морозной улице и вдохнуть свежий, пахнувший не то арбузами, не то свежевыстиранным бельем воздух.

— А я, грешным делом, чуть было не брякнул про ту девушку, — засмеялся Бочаров. — Ну, с которой вы были у Когана. Вовремя удержался. Действительно, большеглазенькая. Это Лиза правильно подметила.

Кричевский поглядел на него с неприкрытым изумлением.

— Разве вы с ней незнакомы? — спросил он.

— Нет, конечно, хотя, как вы говорите, мир тесен.

— Он оказался даже тесней, чем я предполагал, — сказал Кричевский. — Господи, как все нелепо! Я вас очень прошу; передайте Алеше, чтобы он не нервничал. А то в последний раз он на меня чуть ли не с кулаками полез.

— Ничего не понимаю, — поглядел на него Бочаров. — При чем здесь Алешка?

— Да при том, что не я, а он любит ее. Неужели вы... Она же дочка начальника той заставы, на которой он служил. Лида Савун. Неужели он вам ни слова...

— Нет, — качнул головой Бочаров. — Ни слова. Знаете что? Вы с меня целую гору скинули.

— Думаете, на мне не лежит такая же гора? — усмехнулся Кричевский. — Девчонка, кажется, здорово влюбилась в меня. У них с Алексеем был какой-то разговор, я точно не знаю... Короче говоря...

Бочаров крепко пожал его руку. Теперь он успокоился окончательно. Лида Савун — так зовут ту большеглазую. Лида Савун, дочка начальника заставы майора Савуна, о котором Алексей писал часто и самыми добрыми словами. Ничего, все у Алешки образуется, все будет хорошо. Зря волновался за парня.

Домой пришлось идти пешком, по пустым улицам, торопливо, потому что мороз грянул крепкий, градусов двадцать пять, не меньше. Но Бочаров все-таки рассказал Вере об этом коротком разговоре. Вдруг Вера всхлипнула. Он заглянул ей в лицо — плачет.

— Ты что, Верочка?

— Почему он ни о чем не сказал нам? — ответила она. — Неужели мы стали ему чужими? Ведь он никогда не был скрытным...

Бочаров промолчал. Он подумал, что сейчас Вера не права. Алешка вовсе не скрытный. Просто это свойство каждого настоящего человека — носить все в себе. Ни к чему говорить во всеуслышанье о своей любви к девушке, или к Родине, или к своему делу. Есть такие, которые готовы сообщать об этом

даже фонарным столбам. А у настоящего человека все это в душе. Подлинная любовь всегда нуждается в молчаливости.

Тихо он открыл дверь, тихо вошел в прихожую и зажег свет. Алешкино пальто было на месте. Ему показалось, что там, в комнате сына, что-то зашуршало. Так же тихо, на цыпочках, не зажигая свет, он вошел к Алешке. Тот спал. Или притворялся, что спит? Бочаров осторожно сел на краешек дивана и провел ладонью по густым Алешкиным волосам.

— Что? — спросил, приподнимаясь, Алексей. — А, вы уже вернулись?

— С Новым годом, — сказал Бочаров. — И с новым счастьем. Только ведь ты отлично слышал, что мы вернулись.

— Слышал, — сказал Алексей, переворачиваясь на спину и закидывая за голову руки. В комнате было светло. Уличный фонарь светил прямо в окно, и Бочаров видел, что у сына хмурое лицо.

— Что, брат? — спросил Бочаров. — На душе кошки скребут?

— Скребут, — ответил Алексей. — Ты что-то разговорчив, батя. Лишку выпил?

— Нет, — качнул головой Бочаров. — Я шел и думал, что ты вырос правильным парнем. Но, наверно, если бы еще тогда рассказал мне о Лиде, может быть, тебе самому было бы легче.

Алексей поднялся рывком.

— О Лиде? — спросил он, будто не веря, что не ослышался.

— Ну да, о Лиде Савун, — кивнул Бочаров. Алексей медленно опустился на подушку. Бочаров тихонько засмеялся. — Вот видишь, как все переплетено?

— Сегодня я предложил одной женщине выйти за меня замуж, и она отказалась, — глухо сказал Алексей. Ему хотелось выговориться. Он уже не мог и не хотел сдерживать себя. О чем он только не передумал в эту новогоднюю ночь, один в тихой квартире! — Понимаешь, отказалась!

— Она правильно сделала, — сказал Бочаров. — Ты был бы несчастлив, наверно.

— Почему?

— Да потому, что одна женщина не может быть лекарством от другой. Спи, Алешка. Мне почему-то кажется, что все будет хорошо.

— Тебе не кажется. Тебе так хочется, — сказал Алексей.

— Может быть, и так. Спи, сын. Или пойдем на кухню, выпьем за все хорошее по рюмке?

Вдруг Алексей засмеялся, откидывая одеяло и опуская ноги на пол.

— Идем. А то я встречал Новый год чаем, и то остывшим.

Бочаров подумал: а ведь сейчас ему стало действительно легче. Еще он подумал — кому Алешка мог сделать предложение? Но это было уже любопытством, это было совсем несущ-

щественно. Главное — Алешке стало легче, и вовсе он не скрытный, просто любит, мечется, и это хорошо, потому что ему двадцать один, и нет в нем равнодушия тех юных старичков, которые ходят в обнимку со своими девицами и лениво целуются посреди улицы на заграничный манер.

19. «ЗАЧЕМ И ДЛЯ ЧЕГО...»

Мир тесен — это старая истина все-таки поразила Воронину, когда она пришла к Бочаровым.

Она не хотела идти, ей неинтересно было идти, она спорила с редактором, что это не ее дело, а дело репортера, что она уже писала как-то о Бочарове, но редактор оборвал ее: «Вы привыкли к большим очеркам; а нам нужна и рядовая журналистская работа». Разговор, конечно, получился неприятным. Ей поручили взять у Бочарова ту фотографию первых военных лет, где он снят у станка — пацан, которому пришлось сделать специальную деревянную подставку, — организовать съемку нынешнего Бочарова, ну, и строк сто — сто двадцать текста.

Для этого вовсе не надо было идти на завод. Воронина нашла телефон Бочарова, позвонила ему вечером, он как-то растерянно сказал: «Хорошо, конечно, заходите хоть сегодня», — и она пошла.

Как странно было войти в комнату и сразу увидеть большую фотографию Силина! Фотография директора завода у начальника участка? Бочаров спросил:

— Это вы весной писали о нем?

Воронина кивнула. Ей надо было справиться с неожиданным волнением.

— Что ж, он ничего не говорил обо мне?

— Нет.

— Ну конечно, — смущенно и торопливо заговорил Бочаров. — У вас ведь, наверно, была другая тема. А я ту газету с вашей статьей храню...

— С очерком, — поправила его Воронина.

— Очень хорошо написали! А мы с Володей, с Владимиром Владимировичем, росли вместе.

— А-а, — сказала Воронина. Она ощущала какую-то скованность. Ей казалось, что Бочаров уже все знает о ней и Силине, и поэтому даже не приглашает сесть. Ничего он не знает, вдруг подумала она. Это сразу вернуло ей обычное самообладание. В конце концов, я пришла сюда по служебным делам, через час уйду, напишу свои сто строк, и бог с ним, с Бочаровым. Не дожидаясь приглашения, она села спиной к портрету Силина и вынула из сумочки блокнот.

Бочаров уже приготовил к ее приходу ту старую фотографию. Худенький, в ватнике, на шее не шарф, а вафельное полотенце.

— А под ватником знаете что было? — тихо засмеялся он. —

Женская кофта! Это меня Анна Петровна заставляла надевать, Кирина мать... Ну, мать жены Владимира Владимировича.

И снова Воронина ощутила уже знакомую скованность. Ей показалось, что Бочаров нарочно упомянул о том, что у Силина есть жена, и сделал это даже с какой-то особой значительностью. И снова Ворониной пришлось подавить в себе это ощущение, успокоить себя тем, что это упоминание — случайность, просто воспоминание, так естественно пришедшее к Бочарову при виде старой фотографии.

— Какой это год? — спросила она.

— Сорок второй.

— Я тогда только родилась, — сказала Воронина, разглядывая того паренька с вафельным полотенцем на шее вместо шарфа и стеллаж, на котором лежали похожие на бутылки обработанные корпуса мин.

— Вы еще молодая, конечно, — кивнул Бочаров, внимательно поглядев на нее. Или ей снова показалось, что он смотрел внимательно? Невольным движением она поправила волосы и ответила взглядом на взгляд. Бочаров смущенно отвел глаза. Нет, он просто любовался ею, и Воронина поняла это.

Она задавала ему вопросы, и Бочаров отвечал, косясь на блокнот, словно не доверяя тому, что запишет в нем журналистка. Воронина спешила; от чашки кофе, предложенной Бочаровым, она отказалась; договорилась о том, что завтра на завод придет фотокорреспондент, и поднялась.

Все-таки она еще раз поглядела на большой портрет Силина, и ей показалось, что Бочаров перехватил этот взгляд. Ну и что из того? Он же знает, что мы знакомы...

Но весь остаток вечера ее не отпускало уже другое странное ощущение, которому она сама не могла дать точного определения. Пожалуй, его можно было бы назвать *ощущением времени*. Я только родилась, когда этот мальчик Бочаров работал, а Силин уже воевал. Мне повезло в жизни, что я не знала того времени. Мне никогда не должно быть плохо. Мне тридцать, Силину пятьдесят, но сейчас мы равны хотя бы тем, что думаем одинаково: пора брать от жизни свое. Быть может, он слишком поздно понял это...

Воронина поняла это рано.

Отца она не помнила: он погиб в сорок четвертом. Мать очень скоро вышла замуж за немолодого начальника ОРСа большого завода, потом он стал начальником управления торговли, дом всегда был полной чашей, но отчима арестовали, и домашнее благополучие кончилось. Воронина плохо помнила своего отчима. В памяти остались шумные вечера, с музыкой, гостями, когда ее наперебой угощали конфетами, ставили на стул и просили прочитать стишок или спеть, хлопали, целовали, и она была счастлива.

После того как отчима арестовали и судили, мать увезла ее в Феодосию, к родителям первого мужа, Катиного отца. Они жили в маленьком доме из светлого ракушечника, при доме был небольшой сад, в мае зацветали розы. Воронина помнила: вот она, девочка, лежит в темной комнате, окно раскрыто, ветер с моря парусом вдувает в комнату легкую занавеску, и ей страшно одной. Босая, в одной рубашонке, она вылезает через окно в сад. Тепло, тихо, только море шелестит там, за соседними домами и садами, да звенят, звенят цикады, и ночь пахнет как-то особенно сладко, так, что кружится голова.

И вдруг два тихих голоса из-за кустов тамариска: один — матери, другой — мужской, незнакомый. «Что ж, так и будешь в этой дыре жить и старикам клизмы ставить? Они же тебе чужие. Да и домишко был бы подходящий...» — «А Катя?» — «Катю возьмем потом. Устроимся и возьмем». — «Я боюсь...» — «Не бойся. Жить надо широко, милая, жизнь у нас одна». — «Я жила широко, ты же знаешь...» — «Дурак он был, вот и засыпался по дурости. Ну, решай».

Она стояла за кустом, ее не видели. Она боялась шевельнуться. То, что она услышала, еще не доходило до сознания: она ждала, что ответит мать. Но вместо ответа послышался ее легкий смех, быстро оборвавшийся, будто тот человек закрыл ей рот, потом донеслись какие-то шорохи, шепот: «Не здесь... потом...» — и все стихло.

Девочка не двигалась и ждала, что же будет *потом*. «О, господи, — всхлипнула мать. — Зачем я тебя только встретила?» — «Ладно тебе, — сказал тот. — Чего уж там!» — «Ну ладно, ну хорошо, — торопливо заговорила мать. — Я согласна, давай поедем». Вот тогда-то девочка и вырвалась из-за куста.

Воронина не помнила, что она кричала тогда. Здесь в воспоминаниях был провал. Мать хлестала ее по щекам. Когда она очнулась, был уже день, и мать сидела рядом, а поодаль сидели дед и бабушка. «Проснулась? — ласково спросила мать. — Одевайся и поедем». — «Куда?» — не поняла она. «Далеко-далеко!» — «Оставь девочку нам, — сказал дед. Он сидел неподвижно, положив руки на колени, и глядел в стену. — Она тебе не нужна. Ты любишь жить для себя». — «Глупости, — сказала мать, — каждый человек живет для себя». — «Это плохие люди живут для себя», — сказал дед. «А мы будем жить для себя, да, Катюша?» — спросила мать, помогая ей одеться.

Они уехали в Алма-Ату втроем. Третьим был *тот*. Его звали Геннадий Аркадьевич. И снова дом был полная чаша, хотя теперь-то девочка догадывалась, откуда берутся и хорошие вещи, и для чего собираются гости. Впрочем, дома не говорили: «Будут гости». Говорили: «Придут нужные люди». Ей-то было все равно. Через несколько лет, когда она училась уже не то в пятом, не то в шестом классе, Геннадий Аркадьевич спросил: «Ты почему не дружишь с Ларочкой Лапиной?» — «А что?» — «Подружись». — «Зачем мне это надо?» — «Так надо, —

ласково сказал Геннадий Аркадьевич. — Ты уже большая и должна понимать...» Она поняла: нужные люди — и подружилась с Ларочкой.

В доме у Ларочки стоял белый рояль, который ее отец в августе сорок первого во время эвакуации вывез из Ленинграда.

Что ж, в общем-то, Воронина любила вспоминать те, в сущности, еще недавние школьные годы, потому что все там было светло, радостно и бездумно. Она знала, что нравится мальчишкам. На вечеринках у Ларочки или у них дома играли в «бутылочку» — на кого горлышко покажет, с тем и целуйся, — и ей нравилось целоваться.

Она знала, что Ларочка, маленькая, похожая на лисичку, некрасивая Ларочка, завидует ей; и только посмеивалась, когда закадычная подружка меняла одно за другим платья, туфли, сумочки, а то и вовсе пришла в класс с золотыми часиками на золотом браслете, — и ахнула, когда незадолго до экзаменов на аттестат зрелости Ларочка призналась, что у нее будет ребенок от одного офицера и что они сразу же поженятся и уедут в Москву: муж собирается в академию. Так оно и вышло: Ларочка, остроносенькая лисичка Ларочка, уехала со своим капитаном и на вокзале хитро поблескивала глазами: что, завидуешь? Наконец-то!

Нет, она не завидовала. Она просто еще не хотела думать о замужестве. Она думала о *любви*. Где-то в ее воображении был человек, которого она должна встретить и полюбить так, как не любил никто. Она представляла его себе по-разному, а когда подступала легкая тоска, она справлялась с ней просто: шла на танцы и танцевала со знакомыми и незнакомыми, с удивлением отмечая, что ее никак не волнует близость партнера, его рука, положенная на ее талию, его глаза — совсем рядом, — то изумленные, то умоляющие, то печальные. Ее провожали, просили встретиться еще. Она обещала и обманывала. Ей нравилась эта игра, в которой для нее не было ничего серьезного.

О том, как жить дальше, что делать, как строить свою судьбу, она не задумывалась. Зачем? У нее было все, деньги ее не волновали — были и они, — и она знала, что впереди тоже все будет хорошо...

Стариков, живущих в Феодосии, она не вспоминала. Только один раз — уже через много лет — спросила о них у матери, и та, пожав плечами, ответила: «Не знаю. Умерли, наверно, давным-давно».

Там, в ресторане на Солнечной Горке, она солгала Силину, сказав, что ее первый муж был полярником и она не вынесла одиночества. Ей надо было как-то оправдать себя и свое бегство от первого мужа, журналиста Андрея Боброва.

В университете они учились вместе: Бобров — на факульте-

те журналистики, Екатерина — на французском отделении филфака. Потом Бобров надолго исчез. Оказалось, перешел на заочное и укатил куда-то в Сибирь, на стройки. Он появлялся два раза в году, стремительно сдавал экзамены, перепрыгнул через два курса и окончил раньше своих сверстников. Его поздравляли, им восхищались. Окончание праздновали в ресторане «Казахстан». Была там и Воронина.

До чего же этот вечер был нелепым! Бобров подошел к ней, взял за руку и сказал: «Тебе здесь не надоело?» Она засмеялась: «Что же здесь может надоеть? Музыка, и славные ребята, и вино, и хорошее настроение!» — «Нет, — сказал Бобров, — я вообще спрашиваю. Спокойная жизнь, французские артикли, портнихи, пикники...» Он словно знал, когда подойти. Уже неделю как она была в ссоре с матерью и отчимом. Сейчас она даже не могла вспомнить, из-за чего произошла та ссора. «Надоело», — согласилась Воронина. «Я уезжаю на Абакан — Тайшет, — сказал Бобров. — Тебе надо когда-то начинать по-настоящему. Поехали со мной. Ей-богу, я не очень плохой человек».

Она снова засмеялась, но ей понравилась сама нелепость, дикость, абсурдность этого предложения. Бросить дом, налаженный быт, спокойную жизнь и поехать невесть куда и, в общем-то, невесть с кем? А почему бы и нет? Может быть, Андрей прав: когда-нибудь все равно осточертеет жизнь по линейке. Она представила себе, что будет дома, когда она объявит о своем решении уехать с Бобровым, и одно это доставило ей удовольствие.

Но она ошиблась. Не было ни изумленных глаз, ни отговоров, — пожалуй, она даже почувствовала, как мать и отчим облегченно вздохнули. Ах так! Она собиралась лихорадочно, будто поезд должен вот-вот уйти.

С Андреем она никого не познакомилась. Переехала к нему, в маленькую комнатку, заваленную книгами, рукописями, — неудобную, непонятную, и вообще все было непонятно ей самой тогда, все как в угаре, все будто бы кому-то назло. И та их первая ночь вспоминалась потом с легким удивлением и спокойствием.

Ей нравилось одно: как счастлив был Андрей! Временами она ловила на себе его восторженный взгляд и улыбалась: ну что ты, глупенький? Он и впрямь казался поглупевшим от счастья.

С вокзала она отправила матери письмо. Как ни уговаривал ее Андрей, что надо все-таки попрощаться с родичами по-человечески, она только трясла головой. Нет, у них все уже по нулям! Я им только мешаю. Они привыкли жить для себя. И хорошо, и правильно, что я уехала вот так... А кстати, где он находится, этот самый Абакан — Тайшет?

В Абакане им дали комнату, и впервые Воронина почувствовала себя хозяйкой. Деньги у Боброва были, а времени не оказалось совершенно, и ей пришлось самой покупать мебель, получать его книги, пришедшие малой скоростью, заказывать полки, бегать по городу в поисках торшера, тащить в ателье занавески (чтоб подшили), обзаводиться кастрюлями, тарелками, чашками — так прошло месяца два, и за эти два месяца они виделись всего ничего.

Бобров работал на трассе строительства корреспондентом «Гудка». Он приезжал усталый, в грязных сапогах, со щетиной на подбородке, голодный и веселый. Мылся, брился, ел и засыпал чуть ли не за столом. Просыпаясь ночью, Воронина шла на кухню; Андрей сидел там и на уголке кухонного стола писал очередную корреспонденцию в газету.

Но и ей тоже надо было как-то определиться. В пединститут? Опять французские артикли? Ведь тогда, три года назад, она пошла на французское только потому, что так хотелось матери. Она не спорила — хоть на папуасское отделение! Бобров сказал: «Лучшая профессия — это журналистика. Попробуй». Он повел ее в редакцию местной газеты. Познакомил с журналистами. Кто-то вспомнил, что в местный музей из степи привезли новую партию каменных идолов. Она пошла в музей. Во дворе стояли языческие божки и глядели на нее каменными, непроницаемыми глазами. Она написала корреспонденцию — «Остров Пасхи в Абакане». Она сама не ожидала, что так здорово получится. Через несколько дней эта корреспонденция была перепечатана одной центральной газетой, и ребята в редакции разводили руками: «Ну, Е. Воронина, гений! Нам такое и не снилось!» Ее взяли в редакцию с испытательным сроком, абаканский поэт Сысолятин написал ей по этому поводу мадригал, а Бобров, поцеловав жену, опять исчез на две недели.

Что ж, она могла думать, что ей снова повезло в жизни. Работа ей нравилась. Было приятно брать в руки номер газеты и видеть свою фамилию. И свои материалы на «Доске лучшего в номере». И получать не меньше, чем ведущие журналисты: ощущение самостоятельности оказалось радостным. Что из того, что Абакан с Алма-Атой не сравнишь и нет того, к чему она привыкла там. Зато есть это удивительное ощущение свободы, без мелких ссор и унижительного положения иждивенки Геннадия Аркадьевича.

Любила ли она Боброва?

Сам он никогда не спрашивал ее об этом, но она знала, что, если Бобров спросит, она ответит — да, люблю. Ей казалось, что она не солжет. Ответ, пожалуй, был бы искренним. На самом деле было другое: он не переставал ее удивлять, и каждый день, проведенный с ним, был для Ворониной открытием не только человека, но целого мира, которого она не знала, не понимала, а порой и побаивалась.

То он приезжал простуженный, с воспаленными глазами, отчаянным кашлем: оказывается, ходил в таежный десант, плот перевернуло на быстрине, все продукты утонули. Пять дней прожили впроголодь, счастье, что в кармане были леска и крючки, — он ловил хариусов, каждая рыбина на полкило, а то и больше — правда, без соли, но все-таки еда. А через два месяца он получил медаль «За спасение утопающего». Оказывается, промолчал, что спас троих на той самой быстрине.

То он рассказывал, как донимал их шатун. Она не знала, кто такой шатун. Оказалось, медведь, которого люди подняли из берлоги. Сущий был разбойник. Резал скот в ближних селах, по бревнышку раскатал конюшню и убил коня, разгромил лабаз. Ребята — и он тоже — решили его поймать. Из старых автомобильных рессор соорудили капкан, слон попадет — не выберется, на лиственницу подвесили павшую телку. Прошла, наверно, неделя. Шатун подходил совсем близко, но телкой так и не соблазнился. Кто-то сообразил пригласить охотника из ближайшего (километров восемьдесят!) села. Тот приехал, поглядел на телку и начал хохотать, а когда отсмеялся, сказал: «Что ж вы, медведя дураком считаете? Что он, не подумает, как это телка на дерево попала?» Бобров восторгался: «Нет, ты понимаешь, какое уважение к медведю?»

Она не понимала. Она выслушивала его долгие рассказы о каких-то незнакомых ей людях, и делала это вежливо — ей было неинтересно. Он и дома продолжал жить так, как на трассе («Понимаешь, соорудили насыпь, с утра должны рельсоукладчик подогнать, выходим — а вся насыпь в болото ушла!»).

Сколько он работал! Ворониной казалось, что, скажи ему — можешь не спать, он не спал бы вообще. И не замечал, что в их комнате появлялись новые вещи — новый пейзаж, купленный в художественном магазине, новая скатерть на столе, новая ваза на серванте...

Однажды она подумала: чтобы его понять, я должна увидеть, чем он живет. И сама напросилась в поездку на трассу. Ее послали на Крол.

До перевала она добиралась четыре дня по раскисшим, страшным, горбатым, изматывающим дорогам. Почти перед самым Кролом начался снегопад, снег валил отвесно, стеной. Похолодало, она мерзла в своей куртке. Машина то и дело застревала, шофер матерился, не обращая на нее внимания. Ей пришлось ночевать в поселке, на жестком и узком диванчике крохотной поликлиники. Утром она сказала себе: нет, больше не могу. Одна мысль, что надо еще куда-то ехать, с кем-то встречаться, о чем-то разговаривать, была невыносимой.

Здесь, в поликлинике, было хотя бы тепло, и забавная девчушка (не то истопница, не то сторожиха) с круглыми птичьими глазами расспрашивала ее о жизни в городе — сама она ни-

когда не была в городе! — и подливала ей в кружку чай. Но все-таки надо было ехать.

И еще восемь часов дороги через пургу, на санях, кругом пихты да лиственницы, и страшно до одури, и тоскливо — господи боже ты мой, зачем это мне надо? Тогда впервые она пожалела об Алма-Ате, и это оказалось началом отступления.

Что ж, потом-то, уже в редакции, ее расхваливали на летучке за очерк о начальнике отряда проходчиков, даже название очерка и то вызвало похвалы: «Шкала твердости».

Воронина написала, как на три-четыре месяца приехал в командировку московский метростроевец и застрял на год; как начало заливать проходку водой; как засыпало пятерых и как их спасли, — хороший получился очерк. Но дома, под теплым одеялом, она вздрагивала, вспоминая ту дорогу, и снова, быть может вопреки желанию, мысленно оказывалась в Алма-Ате...

Эта поездка на Крол неожиданно обернулась для нее другой стороной. Она поняла, что для Боброва *такая* жизнь — главное и что он никогда не променяет ее на спокойную, с ежедневным сидением в редакции, с театром или гостями — всем тем, что, в общем-то, наверно, положено каждому нормальному человеку. Ему словно нравится мотаться по этим размытым дорогам, выплывать из Бирюсы, мерзнуть, спать в вагончиках; где нечем дышать, восторгаться экскаваторщиками и бульдозеристами.

У них не было никаких ссор, споров, никаких сцен. Прошла зима. Весной Бобров надолго исчез. Его не было месяц. Он звонил в редакцию с восточного участка трассы — голос у него был сильный, простуженный. А в «Гудке» из номера печаталась его «Записки с трассы». «Как ты? — сипел он в трубку. — Я не могу прорваться, дороги нет, да и дел полно. Надо слетать в Братск, в управление, оттуда, может быть, вырвусь самолетом через Ачинск». И не вырвался. «Понимаешь, начали укладку, прошли первые сорок километров, это здорово! Если б ты только видела!..»

Она пошла в гостиницу брать интервью у приезжего ученого-биолога. Разговор был долгий. Ученый был молод. Он рассказывал ей о своей работе, и Воронина ничего не понимала, хотя и старательно записывала все, что ей говорил Девятов, в свой блокнот.

Девятов смотрел на нее темными, добрыми, печальными глазами и на второй день, когда она принесла рукопись для проверки, пригласил ее в ресторан.

Через две недели она уехала с Девятовым в Большой Город. Письмо от Боброва пришло через месяц. «Жалею ли я, что все так получилось? Да. Но, наверно, не стоило бы жалеть. Ты права: мне нужна другая жена, которая понимала бы, зачем и для чего я так живу. Человек только тогда человек, когда он хочет оставить в жизни свой след. А ведь можно и наследить...»

Недавно Бобров был в Большом Городе проездом, она узнала об этом от журналистов, позвонила... «Ты счастлив?» — «Да». — «Ты стал уже известным писателем! Я читаю все твои книги». — «Спасибо». — «А твой фильм выдвинули на премию?» — «Да». — «Может, ты переберешься из гостиницы ко мне и поживешь несколько дней?» — «Нет». — «Почему?» — «Потому что я очень люблю свою жену и хочу смотреть ей в глаза прямо». — «Господи, ты всегда поражал меня своей сверхчестностью». — «Сверх не бывает, Катя. Бывает обыкновенная. Плохо, если она кого-то поражает».

Она положила трубку.

На следующий день она вернулась домой из Солнечной Горки вместе с Силиным...

20. КОМСОМОЛЬСКИЙ НАЧАЛЬНИК

В кабинете директора у каждого было свое привычное место, и Нечаев сел в конце длинного «заседательского» стола — там, где обычно сидел всегда. И сразу же перехватил испытующий взгляд Силина. Казалось, тот хотел спросить: случайно или не случайно ты оказался там, на старом месте начальника цеха, а не рядом со мной, как сидел Губенко? Или эта твоя отдаленность должна свидетельствовать, что мы и в делах тоже будем далеки? Так сказать, полярные точки? Пусть думает, как хочет. Нечаеву не хотелось занимать место возле директора. Дело было даже не в привычке. В конце концов, сейчас надо было нарушить эту привычку, заключавшуюся в том, что Губенко хотя и находился всегда на директорских совещаниях, но по большей части молчал или отделивался ничего не значащими словами.

День начинался трудно. Судя по всему, директорское совещание сегодня продлится несколько часов, и Нечаев припоминал, что ему надо сделать еще в оставшееся время. Пойти в литейный цех — лаборатория загоняет в брак слишком много литья. В шестнадцатом двое рабочих — один из них кандидат в члены партии — оказались в вытрезвителе. Бешелев просил принять его, и это надо сделать сегодня же: встречи и разговоры с секретарем комитета комсомола до сих пор были, как говорится, на ходу. А поговорить надо. В основном нарушения производственной дисциплины совершаются молодежью. В столе Нечаева лежала печальная сводка.

Пожалуй, продолжал думать Нечаев, в Бешелеве сидит маленький Силин, с его идеей обязательно жать. На днях в партком пришел коренастый, немного неуклюжий парень, Нечаев помнил его по своему бывшему цеху, но фамилию вспомнить не мог.

— Бесфамильный, — сказал парень.

— Ну, — засмеялся Нечаев, — не мудрено, что я не знал вашу фамилию. Что у вас стряслось?

Ничего особенного не стряслось. Просто этот самый Бесфамильный хочет вернуть в цех, в свою бригаду одного беглого токаря. Хороший токарь, а подался в такси рубли гнать. Рубли оказались не очень-то густыми, но парень выкобенивается, или стыд его держит, или что-то еще — короче говоря, угговорить его пока не удастся.

Так вот он, Бесфамильный, решил провести этого шофера на испытания второй турбины. Пусть хоть немного постоит и посмотрит. Не может не понять, где настоящее дело.

С этим он пошел к Бешелеву. Список присутствующих на испытаниях строго ограничен, нужно специальное разрешение. Бешелев выслушал его и махнул рукой. «Ты что в комитет с такими мелочами лезешь? И на кой черт сдался этот шоферюга? Вопросами кадров занимается отдел кадров, а ты давай свое дело делай». Вот такой был разговор.

Нечаев разглядывал Бесфамильного с любопытством. Действительно, вроде бы совсем не его дело и мелочь вроде бы... А откажи — и *этот* пойдет в райком, в обком комсомола, а может быть, и партии, до самого Рогова доберется, потому что для *него* это не мелочь. И хотя испытательный бокс вовсе не музейный зал и экскурсии туда запрещены директором, — надо это сделать. Он позвонил Кашину: приходится действовать «по знакомству».

— Веди своего подопечного, — сказал он Бесфамильному уже на «ты». — Потом расскажешь, удалось тебе завернуть парня или нет. Ну, а если не удастся, притащи его ко мне как-нибудь.

Ему очень понравился Бесфамильный. Но вот что значит сутолока жизни: работали вместе, а он помнил его только в лицо. Некогда разбираться в людях? Выходит так, но это худо, хуже некуда! Сегодня надо будет припомнить Бешелеву эту ничем, в общем-то, не примечательную историю.

Совещание уже началось, докладывал заместитель директора по экономике, и Нечаев почти мгновенно переключился на него. Все, о чем он говорил, Нечаев уже знал. В декабре они вместе отработывали годовой план. Когда Нечаев предложил свою помощь, замдиректора удивился: разве у вас сейчас мало других забот? «А разве план — не одна из моих главных забот?» Возможно, заместителю директора было не очень приятно это вторжение в его сферу, но спорить он не стал. Не захотел, скорее всего.

И директор тоже знает, о чем будет говорить сегодня его заместитель. План планом, там все расписано: семь турбин, столько-то воздуходувок, столько-то насосов, компрессоров, столько-то ширпотреба. Новое изделие — фены. Эти фены сидят у Силина в печенках. Их навязали в министерстве, отпустили под них в централизованном порядке оборудование и материалы, теперь в двенадцатом цехе надо организовать участок по выпуску фенов. Женщинам нужны фены!

Заместитель дошел до раздела перспективного планирования, и первым пунктом там было — реконструкция термопрессового цеха. Нечаев поглядел на директора. Силин сидел, положив руки на стол, сцепив пальцы, и не глядел ни на кого. Казалось, он даже не слушал докладчика. Но Нечаев ошибся. Едва тот кончил сообщение о реконструкции, Силин резко откинулся на спинку кресла.

— Есть вопрос, — сказал он. — Что будем делать? Выход покочков уменьшится вдвое, а план остается без учета этого обстоятельства.

Он провел взглядом по лицам всех, кто сидел здесь, пожалуй, дольше других задержался на Нечаеве. И Нечаев понял, что именно от него, от партийного руководителя, в первую очередь ждет ответа не только Силин, но и все, в том числе и Заостровцев, потому что положение впрямь трудное.

Заостровцев предложил переговоры с министерством о резком сокращении поставок заказчикам. Это был, пожалуй, единственный самый легкий и простой выход. Обком поддержит, это бесспорно. Ну, придется побегать, походить по кабинетам Госплана — всюду люди опытные, поймут, найдут выход: В конце концов, семь или восемь тысяч тонн в масштабе такого государства не бог весть какая временная потеря. Но Нечаев, соглашаясь на такой вариант, в душе протестовал против него. Почему кто-то — заказчик, министерство, Госплан — должен расплачиваться за нашу собственную оплошность? И хотя он не был повинен в этой оплошности — пятилетний план завода закладывался без него, — он словно бы физически чувствовал свою причастность к ней.

Сейчас директор поглядел на него, и Нечаев кивнул: да, он скажет... То, о чем он собирался сказать, пришло не сегодня, не перед этим совещанием: ему понадобилось много времени, прежде чем он почувствовал, понял свое право на *такой* разговор.

— Ну что ж, — сказал он. — Можно, конечно, заручиться поддержкой обкома, двинуть солидной группой во главе с директором в Москву — командировочных денег у нас в начале года много... Можно предположить или даже быть уверенным, что нас поймут. Все-таки реконструкция термопрессового на самом деле жизненная необходимость, и, как мне известно, наш ОКС уже составил подробную смету, и ее утвердили...

Начальник ОКСа ответил: да, да, все в порядке...

— Значит, остальное очень просто, — сказал Нечаев. — Собираем чемоданы, прощаемся с чадами и домочадцами, берем билеты до Москвы и на какое-то время смиряемся с необходимостью обедать в столовых... — Он уловил еле заметный смешок, словно прощелестевший по обе стороны стола. — Давайте сделаем так. Удобно и просто, и никто нас ни в чем не упрекает. Но не знаю, как вы, а я не смогу спать спокойно. Я предлагаю другой выход...

На этот раз он уловил иной звук: легкий скрип. Все повернулись к нему, и это скрипнули стулья. Нечаеву не надо было заглядывать в бумаги. Все, что он хотел сказать, было обдумано вдоль и поперек, цифры помнились как таблица умножения.

— Все упирается в литейный цех, — сказал он. — Грустно говорить, но руководство литейного цеха год за годом не может наладить выпуск качественной продукции. И вот я спрашиваю: почему мы, годами выпуская компрессоры и воздуходувки, до сих пор не смогли — или не додумались — внедрить у нас самих кислородное дутье? Я не металлург, но даже по курсу химии для старших классов известно, что кислородное дутье увеличивает объем.

— Объем — да, — сказал кто-то. — А трещинообразования?

— У нас идет в основном слитки, — быстро ответил Нечаев. Он ждал это возражение. — Трещинообразования характерны в основном для фасонного литья. А главное, конечно, чтобы начальник литейного цеха товарищ Левицкий понял всю необходимость такой перестройки. Мне кажется, в нашей литейке привыкли жить по старинке и без особых волнений. Схема такова: литейный налаживает — и в самом ближайшем времени — кислородное дутье, в свой черед это сразу сократит выпуск бракованных поковок термопрессовым цехом, и мы проводим его реконструкцию в две очереди. Вот второй путь, товарищи, и вопрос, по какому пути идти, — это уже вопрос не столько производственный, сколько нашей совести.

Опять движение, опять легкий вздох — как шелест. И молчание. Он знал, что это будет долгое молчание, но не догадывался даже, что первым его нарушит Левицкий.

Начальник литейного цеха сидел прямо перед ним. У него было усталое, серое лицо с тяжелыми мешками под глазами, с крупными морщинами по краям большого рта. Грузный, тяжелый, большеротый, он походил на сома. Нечаев знал, что Левицкий болен диабетом, что в кармане у него шприц и ампулы с инсулином, и Нечаеву всегда было по-человечески жалко его. Литейным цехом Левицкий руководил двадцать лет. За эти годы к нему привыкли так, как привыкают к какой-нибудь семейной реликвии. Ничем иным Нечаев не мог объяснить то, что Силин, не терпящий любых неполадок, мирился с работой Левицкого.

Сейчас он сказал о Левицком через силу, преодолев и естественную жалость к нездоровому человеку, и сознание того, что его — Нечаева — могут обвинить в неоправданной и ненужной жестокости.

— Можно мне? — спросил Левицкий, как школьник подняв руку.

Силин кивнул ему: пожалуйста.

Обычно здесь, за этим столом, все говорили сидя, но Левицкий тяжело встал и оперся ладонями о стол, будто ему было трудно стоять.

Он стоял, опираясь на стол и перегнувшись к Нечаеву, словно стараясь разглядеть его получше. Потом разогнулся — огромный живот, на котором еле сходилась пиджак, как бы выкатился вперед, — Левицкий пожевал толстыми блеклыми губами и сказал наконец:

— Странно получается, по-моему. Выходит, все дело в Левицком. Так сказать, отработанный кадр... — Ему было трудно говорить, и, подняв руку, он потянул узел грязноватого, заляпанного галстука. — Но, если оставить пока в стороне вопрос о Левицком, предложение товарища Нечаева, по-моему, не только инженерное, но и партийное. Я за него.

И так же тяжело, как поднялся, сел, уже ни на кого не глядя, будто эта минута измотала его вконец.

Какое-то время в директорском кабинете вновь было тихо, и Нечаев подумал, что все ждут. Ждут, что скажет Силин, ждут, потому что побаиваются попасть впросак со своим мнением, а Силин молчит, потому что сейчас, после того, что сказал Левицкий, ему ох как нелегко высказаться против этого предложения.

— Вы хорошо обдумали? — негромко спросил Силин. Казалось, ему понадобилось усилие, чтобы нарушить долгую тишину. — Вы сможете обосновать свое предложение цифрами? Одной прозы мне маловато.

Нечаев улыбнулся. Это было так похоже на Силина! Ироническое замечание насчет «прозы», конечно, не случайно: он как бы оставлял за собой право на сомнение. Тогда Нечаев — снова без всяких бумажек — начал называть цифры и видел, что Силин быстро записывает их. Нечаев говорил спокойно, и уже одно то, что он обходился без шпаргалки, производило впечатление: стало быть, он действительно все хорошо обдумал.

Он не уловил тот момент, когда здесь что-то переменялось. Вдруг все заговорили разом; он различал только отдельные слова или обрывки фраз: «...интересно...», «...это потребует дополнительных...», «...снижение выхода на первых порах...». Силин не вмешивался: он сидел, держа перед собой листок, на котором были записаны нечаевские цифры. Но и в нем тоже что-то уже переменялось.

— Что скажет главный инженер? — спросил он.

Заостровцев повел острым носиком, будто принохиваясь.

— Для меня, честно признаться, это... несколько неожиданно, что ли, а всякая неожиданность в нашем деле требует анализа.

— Вы, оказывается, еще и дипломат, Виталий Евгеньевич, — прогудел Левицкий.

— Я инженер, — холодно ответил Заостровцев. — И вы, между прочим, тоже. Считаю, что предложение товарища Нечаева нуждается во всестороннем обсуждении. Мы не кавалерийская часть, и с наскока у нас ничего не должно делаться...

Опять все поглядели на Силина. Он улыбался! Нечаева поразило не то, что он улыбался — обычно он был хмур, и сама по себе эта улыбка могла показаться необычностью, — его поразило, что Силин улыбался ему! А затем, кивнув, остановил главного инженера.

— Ну вот и хорошо. Хватит вам двух дней на раздумье, Виталий Евгеньевич? Через два дня прошу доложить окончательное решение. Что же касается меня, то я согласен с товарищем Левицким: предложение не только инженерное, но и партийное. С этим все! Но требовать с вас, товарищ Левицкий, теперь буду не только я. И, грешным делом, думаю, что Нечаев будет требовать с вас даже больше, чем я. Устраивает вас такой вариант?

— Устраивает, — буркнул Левицкий.

Бочаров ошибался, думая, что теперь Алешке станет легче. Легче стало только ему самому. Алексей же после того ночного разговора с отцом испытывал, пожалуй, еще большую тяжесть и непроходящее ощущение пустоты вокруг. То, что происходило с ним, можно было бы назвать душевной неустroенностью — просто Алексей сам не мог точно определить свое состояние. И когда в один из вечеров раздался телефонный звонок и отец поднял трубку, а потом сказал: «Тебя какая-то девушка», — он пересек комнату на ватных ногах.

Но это звонила вовсе не Лида и не Водолажская. Поначалу он даже не сразу понял — кто такая Надя? Ах, Надя! Привет! Что случилось за те десять дней, что мы не виделись?

— Мне надо с вами встретиться, Алеша. Вы все-таки друг Глеба, и мне хотелось бы...

Час был поздний — начало одиннадцатого, — но Алексей понял, что действительно что-то случилось и ехать встретиться с Надей ему придется.

— Можно, я зайду к вам? — спросила Надя. — Я говорю из автомата возле вашего дома.

— Заходите, — растерянно сказал Алексей.

Он не замечал, что отец, уткнувшийся в телевизор, прислушивается к этому разговору.

Надю он встретил на лестнице, помог снять пальто и провел в свою комнату.

— У вас славно, — сказала, оглядываясь, Надя. — Только я прошу вас — никаких чаев, я на несколько минут. Скажите, Алеша, что вы думаете о Глебе?

Он опешил. Вопрос был неожиданным. Неужели она знает Глеба меньше, чем я? Или вдруг появились какие-то сомнения, задумалась о чем-то девчонка, хочет проверить себя? Та отчужденность, которую Алексей чувствовал уже давно в их отношениях с Глебом, конечно, их личное дело, и об этом говорить не стоит. Алексей шутливо развел руками.

— Глеб — скала, — сказал он.
— Я имею в виду Глеба-человека, — сказала Надя.
— Человек-скала, — снова пошутил Алексей.
— Мне не до шуток, Алеша. Я спрашиваю серьезно.
— Ну, если серьезно... Мы, наверно, совсем разные с ним, и мне трудно судить. Ведь я смотрю на него со своей точки зрения, а с чьей-нибудь другой он вовсе не такой, каким кажется мне. Да чего вы темните? Что у вас произошло? Поругались, что ли? Завтра помиритесь.

— Нет, — качнула головой Надя. — Я хочу знать от вас, будет ли он... станет ли он очень переживать, если узнает... если он узнает, что я выхожу замуж?

— Ты что, тронулась? — спросил Алексей, не заметив этого «ты». — Столько вместе...

— Да, — сказала Надя. — Полтора года. И все-то у нас было. Не знаю, поймешь ли ты... — Она тоже сказала «ты» и тоже не заметила этого. — Каждый человек, наверно, должен верить в какие-то чудеса, чему-то радоваться, чему-то изумляться. Я хочу сорвать цветок и не хочу, чтобы мне тут же сказали, что он из породы лютиковых.

— А, — догадался Алексей. — Глебкина теория точно рассчитанной жизни? Брось, это у него такая мода. Пройдет.

— Нет, — сказала Надя. — Это у него не мода. Я сравнивала его и тебя после вечера, — ну, помнишь, когда мы гуляли... Он насмеялся над тобой, я слушала, и мне было плохо. В тот вечер я поняла, что существую для него как высчитанная физиологическая необходимость. Не будь меня — будет другая.

— Это я слышал от него, — сказал Алексей. — Правда, в отношении меня...

— Ты, я — какая для него разница? Но я хочу знать, огорчится ли он, будет ли переживать, если...

— Не будет, — оборвал ее Алексей. — Что тебе еще надо узнать от меня?

— Больше ничего, — сказала Надя. Она сидела на краешке дивана, зажав руки между колен, обтянутых джинсами, и не собиралась уходить. — Мне надо было знать только это. То есть не знать, а подтвердить то, что я знала сама. Ведь у нас, кажется, на сто женихов сто семьдесят невест?

— Перестань, — поморщился Алексей. Стало быть, Глеб передал Наде их разговор. — Мы с Глебом крепко подразошлись, и я не хочу больше говорить о нем. Может получиться нехорошо. За кого ты собираешься выскочить замуж? Обычно от несчастной любви уезжают на Север, на КамАЗ, на какую-нибудь еще стройку. А ты, значит, замуж?

Черт его знает, как все это нелепо! Глеб, конечно, попереживает малость, не машина же он и не скала, в конце концов.

— Замуж, — сказала, поднимаясь, Надя. — Не надо меня провожать. Он ждет меня внизу. Ему под сорок, он неудавший-

ся художник, он работает в кинотеатре и рисует рекламные плакаты, и у него больные почки. Он неудачник. Я буду следить за его диетой, он, наконец-то, будет всегда ходить в чистых рубашках и дрожать надо мной, когда я подхвачу самый пустяковый насморк. И, знаешь, — усмехнулась она, — меня это устраивает куда больше!

Она ушла.

Какое-то время Алексей сидел у себя в комнате, будто оглушенный. Зачем она все-таки приходила? Неужели действительно только затем, чтобы узнать, очень или не очень будет переживать Глеб? «И все-то у нас было», — сказала она. Добрый ли человек она сама, если может так спокойно уйти от Глеба *после того, что у них было?*

Он мог думать так, потому что в его жизни еще не было очень многого, он словно не поспевал за своими сверстниками, отставал от них — этого он не замечал и это его не мучило. У него была и не была Лида — Лида, заполнившая все его существо, и ко всему остальному он приходил медленно, но с той же душевной чистотой.

Нина? Он не знал, как встретится с ней после новогоднего вечера. Нина вышла на работу через неделю, он увидел ее еще издали, когда миновал проходную, и побежал за ней.

— Здравствуй.

— Здравствуй.

— Я не заходил к тебе, но...

— Ты правильно сделал.

— Я хочу сказать, что не возьму назад ни одного слова...

— Перестань, пожалуйста, — строго сказала Нина. — И никогда не говори мне больше об этом.

Она ушла вперед.

А в конце смены из партии колец, выточенных Нутрихиным, она загнала в брак два, и, как Нутрихин ни убеждал, ни уговаривал ее, что допуски соблюдены и она просто издевается, — Нина поставила не «восьмерку», а прочерк. Это означало, что Нутрихин подвел всю бригаду и комплексную им не засчитают. Они — четверо — стояли возле Нины и Нутрихина, и Бесфамильный спросил:

— Ты знал, что у тебя брак? Только не крути, пожалуйста.

— А если не знал?

— Знал, — уверенно сказал Алексей. — Знал и думал, что как-нибудь проскочит.

— погоди, — остановил его Бесфамильный. — Больно уж ты горячий. Нельзя так обвинять человека, за это и схлопотать можно... — Он снова повернулся к Нутрихину: — Так все-таки, если по-честному?

— Знал, — сказал Нутрихин.

— Ну, вот и все, — усмехнулся Бесфамильный. — Можем спокойно идти по домам. А без комплексной как-нибудь перебежмся.

Тогда Нутрихин сорвал с головы берет и швырнул его на пол. Он кричал, что ему на все наплевать, что он не навязывался в ихнюю бригаду, а его туда затащили за лишний четвертной и что он не намерен терпеть за этот самый четвертной оскорбления от *всяких*...

Он буйствовал, кричал, размахивал руками и вдруг заметил, что все это впустую, — как ребенок, который падает на пол и начинает вопить, а потом видит, что родители не обращают на него никакого внимания. Тогда Нутрихин закурил, поднял берет и ударил им несколько раз по ноге, сбивая мелкую стружку.

— Вот что, парень, — сказал ему Федор Федорович, — тут из завкома приходили, оказывается, нашим делом на заводе металлоконструкций заинтересовались. Вот ты и поедешь в местную командировку — наш опыт передавать.

— Большое русское мерси, — усмехнулся Нутрихин. Возможно, он еще поусмехался бы, но все отошли, и он остался один — стоял и отдирал от берета стружку, уже остывая и упокаиваясь окончательно.

Странное ощущение, будто в Бешелеве сидит маленький Силин, однажды испытанное Нечаевым, не покидало его, хотя разговор с секретарем комитета комсомола шел спокойный и ровный. Бешелев был сух, краток, деловит. Вот сводный план комитета комсомола. Вот все соображения по соревнованию — с ним уже ознакомился директор завода и одобрил их. Вот списки комсомольцев, особо отличившихся при создании турбины. Надо как-то отметить. Здесь планы комсомольских собраний. Учеба комсомольцев... Нечаев быстро просматривал страницу за страницей и невольно продолжал думать о том, что Бешелев ему не нравится именно этим внутренним сходством с Силиным. А может быть, все не так и я просто придумываю себе человека?

— Послезавтра собрание в двадцать шестом? — спросил он, потому что это был *его* цех.

Бешелев кивнул: да, и хорошо, если бы вы... Нет, Нечаев не мог пойти на собрание: послезавтра бюро райкома, через неделю областной партактив, ему надо готовиться.

— Мне думается, что это собрание надо провести широко, показательно, — сказал Бешелев. — Во-первых, такой цех, во-вторых, первое собрание года, в-третьих, есть о чем поговорить и что показать. Будут из редакции «Комсомольца», я уже договорился. Они собираются дать целую страницу. Со снимками.

— Из всего этого меня устраивает только одно, — сказал Нечаев. — «Есть о чем поговорить». Все остальное может оказаться ненужным парадом.

Когда Бешелев ушел, он позвонил в цех Боровиковой и по-

просил ее быть на комсомольском собрании. И обязательно побеседовать с корреспондентом из областной молодежной газеты: целая страница со снимками ни к чему, пусть лучше напишут хороший деловой отчет.

— Все? — спросила Боровикова.

— Все, — сказал Нечаев.

— А то, что мы не выдерживаем недельные графики, тебя не волнует?

— Я знаю, — сказал Нечаев. — Теперь диспетчерскую сводку получают не только директор и главный инженер, но и я тоже.

Он не стал объяснять Боровиковой, что с металлом сейчас будет труднее. Какое-то время придется мириться с этим. Потом, правда, будет и штурмовщина, и сверхурочные — никакая перестройка не обходится без временных потерь.

А Бешелев действительно хотел сделать собрание парадным, — впрочем, сам он называл это другим словом: «показательное». Из молодежной газеты приехало сразу трое; были приглашены комсомольские секретари из других цехов. Лекционный зал был полон; пустовали лишь первые ряды. Бешелев давал интервью на ходу: «Двести тридцать один комсомолец... Почти у всех среднее образование... Двадцать четыре рационализатора... Сто восемь продолжают учиться...» Ребята спешно докуривали в коридоре и договаривались, что время от времени кто-то будет потихоньку уходить в приемную директора, там телевизор — наши играют с Канадой. Собрание собранием, а счет знать надо.

Все шло как *положено*. И доклад был серьезный, и подготовившиеся ораторы поднимались на трибуну один за другим, и Бешелев время от времени довольно поглядывал в сторону журналистов из «Комсомольца», которые не отрывались от своих блокнотов, пока их товарищ, то поднимаясь на сцену, то уходя в самый конец зала, слепил своим «блицем», делая снимки. «У нас уже есть макет, — сказал ему перед собранием один из журналистов. — Дадим фото всех выступающих, ленточкой. А шапка на всю полосу — «Главное, ребята, в жизни не стареть». Бешелев засомневался — не слишком ли веселая будет эта «шапка»? Впрочем, журналистам виднее, хотя лично он за более, куда более серьезный подход к сегодняшнему собранию.

Из президиума он разглядывал сидящих в зале. Где-то в задних рядах шушукались; несколько голов склонились одна к другой. Черт знает что! Наверняка играют в «морской бой» или в «знаменитостей на одну букву»: Мусоргский, Маршак, Мольер, Мальцев... Чуть ближе играющих сидели двое, и опять в душе Бешелева шевельнулось недовольство. Этот, коротко стриженный — Бесфамильный, кажется, — после разговора с ним пошел в партком, пожаловался и добился своего. Возится с каким-то шоферюгой, будто никаких других дел

у него нет. А рядом — Бочаров, тоже характерец: Бешелев не помнил подробностей их первой встречи, когда этот Бочаров только вернулся из армии, но помнил, с какой насмешливостью он разговаривал.

Многих он не знал. Он скользил взглядом по лицам, иногда ловил взгляды, обращенные к нему, и тогда опускал голову и хмурился. Ему нравилось быть *таким* под этими взглядами. Он заметил, что две девушки у окна посматривают на него особенно часто — одна что-то шепнула подружке на ухо, та кивнула и улыбнулась, — и он снова хмурился, не слушая оратора и думая, что не делом, нет, не делом занят здесь *кое-кто*. И вдруг увидел Нину Водолажскую.

Нет, не дело, не дело... Конечно, он не даст никакого хода тому письму, которое сейчас лежало в кожаной папке на столе перед ним. Но крепко поговорить с Водолажской следует. Он раскрыл папку и вытащил то письмо: слова были написаны крупными нечеткими буквами, с ошибками — не очень-то грамотный человек эта «С приветом к вам Водолажская Екатерина Петровна».

Она писала вот что:

«...Когда они развелись с моим сыном, Нина осталась по закону в нашей квартире хотя могла бы если была бы порядочным человеком уехать в обще-житие. Но она осталась и я терплю старая женщина что к ней ходят всякие знакомые девушки и мужчины. В Новый Год был у нее например парень назвался Пограничником высокий такой черный и чуть не вытолкнул меня за дверь. Прошу вас как комсомольского начальника...» — и так далее.

Высокий черный пограничник? Бешелев даже улыбнулся. Опять его взгляд ушел в дальний конец зала. Высокий черноволосый пограничник, да еще был на открытии кафе с Ниной, — как все просто сложилось! Бочаров! Он придвинул к себе блокнот и быстро написал: «Глеб, ознакомься. Надо поговорить, по-моему, и тем ограничиться». И вместе с письмом передал записку Глебу Савельеву.

О чем там шепчутся Бочаров и Бесфамильный? Он перегнулся к секретарю цехового бюро и недовольно сказал: «Наведи порядок. Болтают в зале». Тот встал и постучал карандашом о графин. Оратор, которого перебили, тоже замолчал, будто споткнулся на бегу. «Тише, товарищи, тише».

- Думаешь, и так обойдется?
- Во всяком случае, ничего не изменится.
- Это, брат, от робости у тебя. Или от равнодушия?
- А иди ты...
- Пойду. Только ведь отсиживаться и помалкивать в тряпку — не очень-то симпатичная позиция, а? Я понимаю, так оно спокойней, конечно.

— Я сказал — иди ты.

— Извини, пожалуйста. Но ведь надо, Алешка! Неужели тебе самому не хочется...

— Хочется.

— Так валяй! — И, не дожидаясь, когда Алексей поднимет руку, Бесфамильный крикнул: — Тут Бочаров хочет сказать!

Алексей тоже увидел зал и всех разом — и вдруг почувствовал, что, выйдя сюда, он остался один на один с самим собой, потому что то, о чем он хотел сказать, совершенно никак не вышло со всем, что говорилось до сих пор.

Вчера он показал Бесфамильному свою тетрадку, ту самую, в клеенчатой обложке. Вернее, Бесфамильный сам попросил полистать ее. Он полистал и усмехнулся:

— Ну, молодец ты, парень! Из месяца в месяц пишешь в свою тетрадочку одно и то же, а спроси ребят — помнят ли они, какие обязательства брали? — никто толком и не вспомнит, пожалуй. И потом — интересное кино: нам рост производительности записан по плану. Так? А по этой твоей тетрадочке выходит, что мы соревнуемся за выполнение плановых заданий.

— Что-то мутно говоришь.

— А ты сходи к Боровиковой, она толковая, авось поймешь.

Ему не хотелось идти. Все движется путем. Сказали ему — записывай здесь то-то, а здесь то-то, он и записывает в порядке выполнения комсомольского поручения. Бесфамильный легонько пнул его в бок. Идем. Самое паршивое дело не разобратся в чем-то до самого корешка.

А сейчас ребята глядели на него, он заметил несколько веселых усмешек и подумал, что слишком долго стоит на трибуне, молча открывая и закрывая свою тетрадку.

— Вот о чем я хотел сказать, — сказал он. — Тут много говорилось о соревновании в нашем цехе. Я думаю... Вернее, я точно знаю, что все это сплошной формализм и никакого соревнования на самом деле нет...

С Водолажской Бешелев решил разобраться сам, но все-таки пригласил Савельева: в последнее время он сблизился с Глебом. Вместе они делали курсовую работу, несколько раз Глеб поддержал его на комитете, когда, казалось, большинство было против мнения Бешелева, — и вот так, мало-помалу Бешелев начал понимать, что Глеб Савельев именно тот человек, без которого ему не обойтись.

Когда-то ему казалось, что таким необходимым в работе человеком станет Водолажская, но она почему-то очень скоро отошла и в ее отношении к Бешелеву появилась странная, раздражающая его ирония.

Савельев же был человеком ясным с самого начала, и Беше-

лев знал, что ему надо в жизни и от жизни: разговор на эту тему у них был, и Бешелев тогда сказал Савельеву: «Давай держаться вместе».

Сейчас ему предстоял разговор с Водолажской, разговор официальный, потому что он был обязан ответить на письмо этой Екатерины Петровны, но о чем говорить с Водолажской, он так толком и не представлял. Скорее, надо было бы вызвать Бочарова. Это ведь он «чуть не вытолкал» за дверь свекровь Нины. Что у него там с Ниной — неизвестно, но это, конечно, их дело. Оба люди свободные, молодые, тут никто вмешиваться не вправе. Конечно, поговорить круче! Но что значит «чуть не вытолкал»? Вот если бы вытолкал, тогда было бы совсем иначе.

Бешелев и сейчас испытывал ярость. Выскочить на трибуну *такого* собрания, брякнуть, что никакого соревнования в цехе нет, что все это пустой формализм! А через три дня в «Комсомольце» не было той обещанной странички и снимков, только большая статья «Лавры без победителей». «Нам стало понятно, почему комсомолец Бочаров говорил о формальности обязательств. Соревнование будет тогда предметным, когда обязательство рабочего о снижении затраты труда так или иначе становятся нормой. И только тогда мы сможем обоснованно говорить об экономическом эффекте соревнования...»

Бочаров ходит в героях! А ведь это Бесфамильный вытолкнул его на трибуну. Это Бесфамильный крикнул: «Бочаров хочет сказать!»

Водолажская пришла раньше Савельева, и Бешелев попросил ее подождать. Она сидела возле окна, и Бешелев, старательно делая вид, что занят какими-то бумагами, время от времени косился на нее. Спокойна, ни о чем не догадывается. Он видел ее профиль: красивая, ничего не скажешь. Он не признавался сам себе, что в тот вечер, на открытии кафе, танцую с Водолажской, вдруг ощутил легкую дрожь. А я и не знал, что она разведена. Вот почему она с Бочаровым.

Когда, запыхавшись, вошел Глеб, Бешелев кивнул Нине, приглашая ее к своему столу, и протянул письмо. Теперь он глядел на Нину не отрываясь. Но она была по-прежнему спокойна и, дочитав, усмехнулась:

— Ну и что?

— Это письмо старого человека.

— Сорок восемь лет — еще не старый человек. Это письмо плохого человека.

— Не играй словами, пожалуйста. Конечно, никакого криминала здесь нет, но я хотел бы просить тебя соблюдать правила общежития. Не всегда приятно, когда в твоём доме топчутся незнакомые, музыка и все такое. А почему Бочаров чуть не выставил твою свекровь за дверь?

— Бочаров? — удивленно спросил Глеб. — Но ведь он..:

— Не надо трогать Алешу, — поморщилась Нина. — Он-то

совсем ни при чем. Он навестил меня, когда я болела.

— А кто же ходит к тебе? — неожиданно для самого себя спросил Бешелев.

Нина снова усмехнулась, и Бешелев поразился мгновенной перемене, происшедшей в ней. Она чуть откинула голову и прищурила глаза — взгляд сразу стал вызывающим, даже, пожалуй, презрительным.

— А почему это тебя так интересует, комсомольский начальник?

— Мне дорог моральный облик каждого комсомольца, — уже в сторону сказал Бешелев. — Тем более, члена комитета.

— Я свободна и могу принимать кого хочу. Может, и ты заглянешь ко мне?

Опять эта легкая, сладкая дрожь — совсем ни к чему. Глеб сидел молча, он ничем не хотел помочь Бешелеву. Нелепый разговор — так, для ответа, что «работа проведена».

— Слушай, Водолажская; — резко сказал Бешелев, — я ведь с тобой серьезно говорю. И с Бочаровым тоже буду говорить серьезно. Вытолкать хозяйку за дверь!

— «Чуть не вытолкнул», — сказал наконец Глеб. — Разница все-таки. Алексей действительно ни при чем. У него любовь до гроба к одной прекрасной даме, и он вообще не видит ничего вокруг.

— Не видит! — усмехнулся Бешелев. — Великолепно все видит! Это дурацкое выступление на собрании...

— Не такое уж дурацкое, Бешелев, — сказала Нина, поднимаясь. — Я могу идти? Так ты запиши мой адресок, Бешелев.

Она стояла перед ним, положив руку на бедро, по-прежнему насмешливая, красивая, стройная в этих брюках и обтягивающем свитере... «Так ты запиши мой адресок...» Он должен был скрыть внезапное смущение и сердито сказал:

— Ладно, иди, разговор окончен.

Когда она вышла, Глеб спросил:

— Ну, и чего ты этим разговором добился?

— Ты думаешь — ничего? — тихо спросил Бешелев. — А если это только начало? Я, дорогой мой, не люблю, когда мне наступают на ноги.

— Досье на Бочарова? — догадался Глеб.

Бешелев не ответил. Значит, я угадал, подумал Глеб. Жаль. Алешка хороший парень, только ни черта еще не понимающий в жизни. Ему неинтересно со мной, мне — с ним. Но это вовсе не значит, что я должен помогать Бешелеву, который теперь будет наблюдать за Алешкой, как милиция за правонарушителем, выпущенным на поруки.

— Ты должен мне помочь, — сказал Бешелев. — Таких людей надо раскрывать перед всеми. Конечно, это надо делать с умом и осторожно...

— Мне не хотелось бы...

Бешелев не дал ему договорить и протянул несколько листов с уборым текстом, напечатанным на машинке.

— Вот, посмотри. Это мои соображения о представлении комсомольцев к правительственным наградам за турбину.

Глеб взял листки и сразу отыскал свою фамилию. Медаль «За трудовое отличие». Он все понял, и понял, что Бешелев уже не отпустит его.

— Я же когда-то сказал тебе: давай держаться вместе, — собирая листки, сказал Бешелев.

Тогда Глеб сделал последнюю, как ему казалось, отчаянную попытку:

— А ты знаешь, что Алексей Бочаров — племянник нашего директора?

— Не знаю, — сказал Бешелев. Впрочем, это не надолго обескуражило его. Он вспомнил, как на партконференции старший Бочаров обрушился на директора. Значит, в их семье все пошло не так. И, значит, мне опасаться нечего. Даже наоборот!

— Это ничего не меняет, Глеб. Я ставлю вопрос принципиально. Ну, так как?

Глеб встал.

— Странно, — сказал он. — Я сейчас сидел и подсчитывал свою выгоду. Оказывается, не все в жизни можно высчитать. Плохой ты человек, Бешелев. Даже, пожалуй, не просто плохой. — подленький. Тебе никто этого раньше не говорил?

Вот теперь все! Уже за дверью он облегченно вздохнул. Такое ощущение у него было однажды, много лет назад, когда он купался и начал тонуть. Неведомая глубина тащила его к себе, в черное нутро. Понадобилось собрать все силенки, чтобы вырваться, выплыть, и он выплыл тогда и лежал на траве, счастливо вдыхая напоенный запахами жизни воздух.

21. «МОЙ ДЯДЯ САМЫХ ЧЕСТНЫХ ПРАВИЛ...»

Уже в начале марта Силин понял, что квартальный план не будет выполнен. И хотя к тому были вроде бы объективные причины, само по себе это обстоятельство выводило его из себя. Он помнил и прошлогодний неприятный разговор с Роговым, и те, тоже неприятные, встречи в министерстве, которые, конечно же, как-то отразились на его репутации. С одной стороны — понимание всех тех трудностей, с которыми столкнулся завод в связи с переходом на выпуск новой продукции, с другой — скрытый упрек: ты опытный руководитель, во всяком случае таким мы тебя считали...

И все-таки, когда из Москвы позвонил Свиридов и спросил, как ожидаемый план, Силин ответил не задумываясь: план будет по всем показателям, завод работает ритмично, хотя проблем не убавилось. Он просто не мог ответить иначе. Всякий другой ответ породил бы цепную реакцию: вызов в Москву — приезд из министерства комиссии — горы бумаг и новые не-

приятные разговоры, которые могут кончиться бог весть чем.

Пожалуй, впервые за все годы Силин начал метаться, с удивлением обнаруживая в себе чувство неуверенности и какого-то липкого, отвратительного страха перед будущим. Внешне он оставался таким же, только, пожалуй, начал срываться чаще, чем прежде, и начальники цехов и служб выходили из его кабинета, как из хорошей финской бани.

Он пошел на все. Он не жалел сверхурочных, он обещал начальникам цехов выбить из профсоюза любые блага и для них, и для рабочих, он сам ходил по цехам, уже не доверяя своему заместителю по производству, — и все равно знал, видел, что квартальный план не вытянуть. Пусть немного, но все-таки не вытянуть. Это было еще не поражение, всего лишь временная неудача, потом все наверстается — но он не мог примириться даже с временной неудачей.

Серьезный разговор с Нечаевым был неизбежен, хотя Силин всячески избегал его. И то, что секретарь парткома, который, конечно, знал положение не хуже его самого, не начинал этого разговора, было симптоматично. Наверняка готовит для меня какую-нибудь неприятность. Обостренная подозрительность словно съела его, и, когда Нечаев сказал, что надо ставить вопрос о плане на парткоме, он вздрогнул: так и есть, все приготовил!.. Он даже не вспомнил, что плановые вопросы постоянно ставились на парткоме из года в год, и это было обычным и привычным.

— Собираетесь дать мне бой? — усмехнувшись, спросил Силин.

— О чем вы говорите, Владимир Владимирович? — поморщился Нечаев. — Положение тяжелое, и оно касается не только вас. Я знаю, что это временно, нам нужно два месяца, чтобы наконец-то избавиться от старых ошибок в планировании, но эти два месяца надо пережить с наименьшими потерями.

Силин испытующе разглядывал Нечаева: нарочно успокаивает или держит все-таки камень за пазухой? Он знал, что Нечаев заходит утром в партком, а через полчаса его уже там нет. Весь день в цехах. И когда его заставал там обеденный перерыв, шел в цеховую столовую с парторганами участков, чтобы, не теряя времени, поговорить в очереди или за обеденным столиком.

Знал он и то, что в феврале Нечаева свалил грипп. Эпидемия гуляла по городу, и на заводе болели многие. Но Нечаев пролежал только три дня и вышел на работу, даже не удосужившись закрыть бюллетень. Из заводской поликлиники Силину позвонила главврач Раиса Давыдовна и чуть не плача попросила «что-нибудь сделать с Нечаевым». Силин ответил: «А что я могу сделать?» Впрочем, он все-таки зашел в партком и еще с порога сказал:

— Слушайте, вы что — мальчишка? Кому нужна эта бравада?

— Никому, — кивнул Нечаев. — Только заразу разношу по цехам.

— Бросьте, — поморщился Силин. — Честное слово, это мальчишество. Шли бы вы домой и отлежались, как положено. Ей же богу, справимся.

Нечаев развел руками.

— Ну, раз директор приказывает...

Он ушел и пролежал еще четыре дня. Силин не звонил ему, но Раиса Давыдовна докладывала ему каждый день, как Нечаев: это она делала по просьбе Силина. Грипп как грипп. Прошел, и все.

— Как вы спокойно говорите об этом, — сказал Силин. — «Временно», «надо пережить»... Я достаточно поработал на своем веку, чтобы знать то же самое. Но, в отличие от вас, я не склонен к такому спокойствию. Я привык, чтобы план у меня выполнялся по часам. Вас, кажется, никогда не драли на балансовой комиссии в министерстве? Очень маленькое удовольствие, уж поверьте мне...

— Послушайте, Владимир Владимирович, — мягко сказал Нечаев, — вы издегались сами и дергаете людей. Я уже говорил вам как-то, что мелочной опекой ничего не добьешься. А мне в цехах снова жалуются на Силина, и я понимаю, почему жалуются... Когда-то и мне хотелось кому-нибудь пожаловаться. Хотите, скажу откровенно? Мне кажется, вы сейчас испытываете какую-то неуверенность в самом себе.

— Посоветуете начать с валериановых капель?

— Я не врач, Владимир Владимирович, у меня другая профессия. Но я знаю одно: вы привыкли к постоянному успеху в жизни, малейшие неудачи нарушают эту привычность. Вы скажете — неудач не должно быть? Они были, есть и будут. Конечно, руководству завода, и вам в том числе, в свое время не удалось строго научно обосновать план, вот сейчас это и сказывается, да тут еще и освоение новой продукции... Будем бороться, — уже совсем весело закончил он. — Помните, у Лермонтова: «Как жизнь скучна, когда боренья нет».

Эта неожиданная веселость резанула Силина. Какой оптимизм! «Будем бороться», да еще со ссылкой на Лермонтова! Как будто до сих пор я сидел сложа ручки.

Потом он долго думал, зачем вообще приходил Нечаев? Сообщить, что вопрос о плане будет поставлен на ближайшем парткоме, а заодно и пожуричь, и успокоить? Хватит мне борьбы, я не мальчик, не юноша, я хочу жить спокойно и уверенно. Я хочу забывать обо всем на свете, когда рядом Катя, — и не могу. Она часто спрашивает: «О чем ты задумался?» — и это ревнивый вопрос. Ей кажется, я мечусь между ней и женой, глупенькая! Она не понимает, что, если у человека на плечах такой завод, он не может уйти от своих раздумий, даже оставаясь наедине с любимой женщиной...

С Ворониной он виделся реже, чем ему хотелось бы. Ка-

ждая встреча была действительно спасением от трудных дневных забот. Несколько часов, проведенных вместе, приносили тяжелую физическую усталость, он возвращался домой и сразу ложился спать, порой даже не отвечая на тревожные вопросы Киры. Видимо, она что-то узнала о заводских неполадках, скорее всего, от Заостровцевых — и это хорошо!

Но чем дольше он встречался с Ворониной, тем больше привязывался к ней, тем острее становилась тоска без нее. Как-то раз он подумал: а если я уйду к ней совсем? Будет шум, будут всякие разговоры — ну и что? Потом все уляжется, и лишь злые языки люди, увидев их вместе, будут язвить: «Вон Силин с молодой женой».

Кира? Кире можно все объяснить. Конечно, ей будет плохо, потом тоже все уляжется. Он не жалел ее в своих раздумьях о будущем, и там, в этих раздумьях, для нее уже не было никакого места.

Сегодня после разговора с Нечаевым он решил: уйду раньше, поеду к Кате. Действительно, надо немного успокоиться. Он позвонил в редакцию и, услышав голос Ворониной, на секунду замер.

— Наконец-то, — сказала Воронина. — У меня уже нет никаких сил ждать.

— Очень трудно вырваться, — сказал он.

— Я знаю, Володя. Кое-что слышала краем уха. Дома поговорим.

Вот как! Стало быть, и до редакции уже добрались какие-то слухи? Он не выдержал и спросил, что же именно слышала Воронина.

— Мне неудобно говорить отсюда, — тихо сказала она. — Сегодня на летучке редактор предупредил всех, чтобы завод не хвалили.

Он мгновенно выстроил цепочку: Нечаев — обком партии, может быть даже Рогов — редактор газеты. Что ж, пусть не хвалят, лишь бы не ругали. Но эта мысль не успокоила его.

Надо было подумать, чтобы решиться... То, что он мог сделать, он не должен был делать, но другого выхода, видимо, уже не существовало. Он ходил по кабинету, и старые часы медленно и мерно вторили его шагам.

Риск? Да, конечно, риск... Внеплановая ревизия была месяц назад, плановая будет в июне... Так что с этой стороны все спокойно. Начальник ОТК пойдет навстречу, в этом я уверен. Начальник планового отдела в отпуске, а его заместительница подпишет все, что я скажу. Зам по коммерческой части любит повторять: «Живи сам и давай жить другим», а заодно строит дачку, и премия ему вот как нужна. Остается главный бухгалтер Притугин...

Он подошел к двери и, открыв ее, сказал Серафиме, чтобы она вызвала Притугина.

Что он знал о Притугине?

Тихий человек — таким он показался Силину много лет назад. Бумажная душа. Но однажды Силин шел по улице и увидел толпу, осадившую лоток с книгами. Продавали небольшую книжицу «Советы рыболову-любителю», и он тоже купил ее. На обложке, над шучьей пастью, из которой торчала блесна, стояла фамилия автора: Притугин. Это могло быть простым совпадением, но на завтрашний день он позвонил главному бухгалтеру и сказал, что приобрел вчера одну любопытную книжку... «Разрешите, я к вам зайду?» — спросил Притугин. Он принес другую книжку — со своим автографом. Силин не скрывал своего удивления. Он даже не предполагал, что Притугин может не то что книжку написать, а вообще любить рыбалку! Притугин сидел перед ним и как-то косенько улыбался. «Не считите за хвастовство, Владимир Владимирович, но ко мне очередь стоит за консультацией. По вечерам советы в обществе охотников и рыболовов даю...» С того дня они ездили на рыбалку вместе. Это устраивало обоих. У Силина была машина, у Притугина — знание мест. Вот и не верь после этого в поговорку, что рыбак рыбака видит издалека.

На заводе поговаривали, что Притугин потихоньку выпивает. Конечно, на рыбалке, да под уху выпить «маленькую» сам бог велел, — и Силин не раз видел, как его спутник раскупоривал заветную четвертинку. Но говорили, что у Притугина каждый день — «маленькая», а в субботу и больше. Так, слухи...

Сейчас Притугин вошел в его кабинет с той косенькой улыбкой, которая запомнилась Силину с их первой встречи. Он протянул главбуху руку и, не выпуская ее, повел Притугина к дивану.

— Ну что, Константин Иванович, — сматываем зимние удочки, разматываем летние?

— Рановато вроде бы. Я до апреля еще на ледке посижу. В прошлое воскресенье плотва чудесно брала. А вы так и не выбрались ни разу за всю зиму?

— Сами знаете, не до того.

— Знаю, — кивнул Притугин.

— А что делать будем, Константин Иванович? (Притугин промолчал). Надо же что-то делать, а?

Молчание главного бухгалтера насторожило Силина. Оно могло означать: ни на какие приписки я не пойду. Силин тоже замолчал и, отойдя, отвернулся к окну. Но он знал, чувствовал, что Притугин наблюдает за ним.

— Вы вроде как бы наживку кинули, Владимир Владимирович.

— Ничего я не кинул, — сказал Силин. — Вот только что разговаривал с одним корреспондентом, он сказал: «Завод хвалить запрещено». Не дадим план — люди останутся без премии. Посыпятся и другие шишки. Все это вы понимаете не хуже меня.

— Понимаю, — тихо отозвался Притугин. — Что же вы предлагаете?

— У меня нет другого выхода, Константин Иванович. — Силин старался говорить мягче и в то же время словно жалуясь. В другую пору и другому человеку он просто приказал бы — и все. Но сейчас надо было говорить с Притугиным только так. — Придется нам с вами взять в промежуточный отчет продукцию не строго по стандарту.

— Это распоряжение, Владимир Владимирович?

Если бы это было распоряжением, главный бухгалтер должен был написать служебную записку. Тогда директор дает второе распоряжение, и главный бухгалтер обязан его выполнить, но сообщить о нем в главк. Сейчас Силин понимал, что Притугин ждет от него так называемой «второй подписи»; он даже встал с дивана.

— Владимир Владимирович, но это же...

— Я тоже не мальчик, Константин Иванович, и все понимаю сам. Но вы учтите и то обстоятельство, что у нас есть обоснованные нормы погрузки крупногабаритных изделий — до полутора месяцев. В отчете их можно сократить. Надо, Константин Иванович. И, разумеется, без всякой огласки...

Он видел: Притугин еще сопротивляется. Конечно, риск есть, но риск минимальный. Через несколько месяцев уже никто не станет копать, сжала ли продукция в ящиках к потребителю или еще испытывалась на заводе.

— Ну, а потом, — пошутил он, — сдобрим это дело тройной ухой! Век не забуду вашу уху.

Притугин понял, что разговор окончен, пора уходить. Силин снова протянул ему руку.

— Спасибо, Константин Иванович. Наверно, плохо будет, если мы перестанем помогать друг другу.

Притугин выходил из кабинета как-то бочком, и Силин подумал, что последние слова были ни к чему — они прозвучали как угроза. Но ничего, ничего! Не все лаской. Время от времени стоит и зубы показать, а Притугин — человек робкий, так что можно считать — одно дело сделано. Через неделю я вызову его снова. И через две недели. Потому что я не хочу краснеть в министерстве и не хочу, чтобы говорили: «Силин сдал». Только бы перескочить через эти два-три месяца, и все, все войдет в нормальную колею...

Серафима Константиновна сказала через селектор: «Вас поликлиника», — и Силин взял трубку. Звонила Раиса Давыдовна.

— Вы видели сегодня Нечаева, Владимир Владимирович?

— Да, около часа назад.

— Где он сейчас?

— Не знаю. Наверно, пошел по цехам. Как сказано в Библии: «Разве я пастух брату своему?» А что такое? Не пришел на укол?

— Звонила его жена, вчера у него была температура под со-

рок, а утром он удрал из дому. Я вас очень прошу...

— Это я вас очень прошу, — перебил ее Силин, — уложите, и чтоб не бегал. Под вашу личную ответственность. Нужна больница — уложите в больницу. А сейчас я дам команду разыскать Нечаева.

Раиса Давыдовна еще что-то говорила ему, но Силин уже положил трубку...

Ни о том письме в комитет комсомола, ни о разговоре Бешелева с Ниной и Глебом Алексей так ничего и не узнал. Будто по немоному сговору Водолажская и Савельев оберегали Алексея от этой пусть мелкой, но все-таки сплетни, которую Бешелев не прочь был использовать против него. Впрочем, должно быть, Бешелев просто испугался — письмо было «закрыто», Ниной свекрови отвечено, что «работа проведена», на том все и кончилось.

А вот о том, что Надя приходила к нему, Алексей все-таки рассказал Глебу. Он не имел права скрыть это. И, рассказывая, невольно наблюдал, как отнесется к этому Глеб, но тот был спокоен. Удивительно спокоен! Будто это касалось не его, а какого-то другого, постороннего, малознамого человека. Алексей был поражен. Или это совершенно невероятная выдержка, или он ничуть не любил Надежду и она была лишь некой единицей в том строго высчитанном мире, который Глеб создал для себя. Единица выпала — по логике Глеба ее должна была заменить другая. «В наш динамический век...» Если бы Глеб сказал Алексею что-нибудь в этом роде, он не сдержался бы. Но Глеб сказал, что он это знает, спасибо, что делаешь...

— Осел, — сказал Алексей. — Тупой осел. Пока не поздно...

— Поздно, — сказал Глеб и ушел к себе, в испытательный бокс. Но даже это «поздно» прозвучало без всякого сожаления. Наоборот! Казалось, оборвав этим одним словом Алексея, Савельев хотел сказать: полно, братец, не лезь больше ко мне с подобным разговором. Конечно, осел, тупой осел, чурбан, деревяшка... Алексею показалось, что та полоса отчуждения, которая уже лежала между ними, стала расти, шириться, и ему не хотелось переступить через нее.

И уж совершенно неожиданной была стычка с Бесфамильным. Даже, пожалуй, не стычка, а так — разговор, после которого в душе остался неприятный осадок.

Бригада к тому времени снова работала вместе. Как-то тихо и незаметно Бесфамильный все устроил, успокоил страсти, сам поговорил с Осининым, тот поворчал, конечно, — все-таки обида оказалась не случайной, — и словно не было той неприятной истории, когда бригада чуть не развалилась. Больше того: Бесфамильный уговорил Осинина встретиться с Еликовым! Встреча состоялась здесь же, в цехе, когда Васька при-

тащил Еликоева поглядеть на турбину. Осинин нехотя пожал руку шоферу, спросил, не надоело ли еще баранку-то крутить, — и все испортил. Турбина Еликоеву понравилась. Он так и сказал: «Нравится». И, прощаясь с Бесфамильным, добавил:

— Ну, а о том, чтобы меня сюда перетасить, все-таки забудь.

— Не забуду, — усмехнулся Васька. — Я ведь упрямый.

— Я тоже, — сказал Еликоев.

— Ну и черт с ним! — взорвался Алексей, который ходил с ними по цеху. — Что ты его как красную девицу обхаживаешь? Смотреть тошно. Ты обхаживаешь, а он перед тобой вытюрщивается. У него же на карточке написано — *барыга*.

— Все? — спросил Бесфамильный. — Выступил?

— Могу еще, — сказал Алексей и пошел к выходу. Рабочий день уже кончился, ему нечего здесь делать. Ему было обидно за Ваську, за то, что он мечет бисер перед этим таксистом, тратит время, и, если даже случится так, что он уломает Еликоева, с ним еще все намучаются.

Он не успел пообедать, когда раздался звонок, — пришел Бесфамильный. Так и должно было быть, подумал Алексей. Сейчас будет накачка на тему бережного отношения к людям.

— Заходи, — дожевывая котлету, сказал Алексей. — Только я сначала поем, а потом уж можешь воспитывать меня. Могу предложить грибной суп и второе.

— Давай, — согласился Бесфамильный. — У вас, пограничников, те же заповеди были? «Все полезно, что в рот полезло»...

— И «от сна еще никто не умирал», — подхватил Алексей.

Бесфамильный ел медленно, словно наслаждаясь самим этим процессом, или нарочно тянул время? Здесь, у Алексея, он уже бывал и поэтому держался без скованности впервые попавшего в чужой дом человека. Впрочем, Алексей давно заметил это его умение быстро, почти сразу, осваиваться в любом месте и любом положении.

— Отец отдыхает? — спросил он, и Алексей усмехнулся. Это было тоже сказано по-военному, потому что в армии начальство никогда не опаздывает, а задерживается, и не спит, а отдыхает.

— Задерживается. Так ты к нему или ко мне?

Бесфамильный не ответил. Он доел котлету с картошкой. Он был слишком занят этим делом, чтобы ответить.

— Спасибо, брат. Ну, а поскольку дома никого нет, мог бы я тебе и врезать за сегодняшнее. Да не бойся, не врежу. Ты когда-нибудь стихи читаешь?

— В школе проходил. «Как ныне собирается вещей Олег...» Почитать? Или — «Мой дядя самых честных правил...»

— А я Прокофьева люблю, — сказал Васька. — Прочитал однажды — и все, и ошалел. «До всего на свете есть мне дело, и не только мне, а мне с тобой». Так вот, слушай и не пере-

бивай. Я прозой говорить буду — о тебе. Не люблю, когда что-то за пазухой лежит.

— Бульжник? — усмехнулся Алексей.

— Он самый.

— Из-за шоферюги?

— Из-за тебя. То, что ты обложил Еликоева, — это еще полбеды. А вот то, что ты мимо жизни идешь, — вот это, брат, уже полная беда.

Он говорил спокойно, ровно, негромко, время от времени проводя рукой по коротко стриженным рыжеватым волосам, будто слерживая себя этим движением.

— Да, мимо жизни... То комсомольское собрание помнишь? Так ведь это не ты выступил — это я тебя выпихнул, а иначе промолчал бы в тряпочку, и все!

Он был жесток сейчас, Бесфамильный. Нельзя жить одной любовью. Да, конечно, сейчас тебе больно, это ясно. А ты ушел в эту боль и не замечаешь, что от тебя требует жизнь. Когда чуть не развалилась бригада — промолчал? Промолчал! Свое отработал — и ушел, и трава не расти!

— Погоди, — перебил его Алексей. — Ты-то откуда про мою любовь знаешь?

— Знаю, — сказал Бесфамильный. — Я, брат, все знать должен. И совсем твердо знаю, что ты не имеешь права жить так. Любишь — люби на здоровье, твое от тебя не уйдет. А плыть по жизни — это, брат, прости уж на резком слове, — подленькое это дело. Вот и весь мой бульжник.

— Чего же ты от меня хочешь? — Алексей сидел как оглушенный. То, что сказал ему Бесфамильный, казалось ему не просто жестоким, а бессердечным.

— Я хочу, чтобы ты в жизни был хозяином.

Он встал и протянул Алексею руку. Невысокий, коренастый, он вдруг показался Алексею могучим — столько уверенности, столько убежденности было в нем сейчас.

Бесфамильный не был человеком упрямым, но в той истории с Еликоевым он не видел никакого другого способа добиться своего, кроме как быть упрямым. Или упорным — кому какое слово больше нравится. Конечно, кто-то должен и шоферить, и такси — не роскошь, а самый удобный способ передвижения, однако Бесфамильный нутром чувствовал, что новая работа Еликоева тяготит, а может быть, не только одна работа — что-то в нем сидит, ворочается там, как мельничный жернов, но он не торопил Еликоева. Захочет — расскажет сам. Но даже он не ожидал, что Еликоев так быстро пойдет на откровенный разговор, и только потом понял — слишком долго тот носил свою тяжесть невысказанной.

В тот день, вернее, вечер, когда он привел Еликоева на испытания «десятки», и когда они утонули в реве турбины, и ког-

да минут через сорок выскочили из испытательного бокса, Еликоев заметно нервничал.

— Ты чего? — спросил его Бесфамильный. — Спешишь куда-нибудь? Выходной-то у тебя вроде бы завтра.

Еликоев снова поглядел на часы.

— Мне надо уехать сегодня. Может, успею на последнюю электричку. — И, усмехнувшись, добавил: — Буду ловить такси. Авось кто-нибудь из ребят подкинет до вокзала. Так что извини уж.

— Сообщи обстановку, — сказал Бесфамильный. — Ну, в смысле — куда и зачем? Я бы сам с тобой за город махнул. — Нет, — сказал Еликоев, отворачиваясь. — Там у меня и остановиться-то негде.

— На улице вздремнешь? В сугробе? — спросил Бесфамильный, и Еликоев промолчал. Бесфамильный взял его под руку. Они шли к вокзалу, и Еликоев то и дело оборачивался, надеясь увидеть зелёный глаз свободной машины. Но улица была пуста. Еликоев прибавил шаг.

— Слушай, — сказал Бесфамильный, — в конце концов, мы и бегом можем. Когда у тебя последняя электричка?

— Час двадцать.

— Успеем. А я, брат, с тобой поеду, хочешь не хочешь. Сто лет на природе не был. Ну, а в сугробе ночевать для меня дело привычное. Знаешь, как у нас было?..

И начал рассказывать, как было у них, у десантников.

На поезд они успели. Бесфамильному пришлось брать билет — у Еликоева, оказывается, была проездная карточка. Значит, часто ездит. Скорее всего, девчонка какая-нибудь. Ну, подумал Бесфамильный, проедусь с ним, а часов в шесть уже начнут бегать утренние электрички, пошло в вагоне, благо тепло и укачивает. Про себя он отметил и то, что Еликоев не возражал против его поездки. Скорее всего, понял, что спорить — дело дохлое.

В вагоне кроме них никого не было.

— Ну, ты даешь, сержант! — помотал головой Еликоев, когда поезд тронулся. — А я ведь на самом деле всю ночь буду ходить по улице. Ходить и ждать.

— Девушка? — спросил Бесфамильный.

— Женщина, — ответил тот. — Совсем девчонка. Ребенок у нее от меня, понял? Сын. Вот, сержант, какие дела...

— Ты думаешь, почему я в таксеры подался? Мне деньги не на машину нужны, а она их все равно не берет. Простить меня не хочет — понял?

История-то, в общем, паршивая. Позапрошлой осенью кинули нас на картошку в Запешенье, так сказать помощь рабочего класса сельским труженикам, — приехали, устроились, разнюхали, где зечерок можно провести, — не акти как весело:

кино в местном центре культуры и танцульки до двенадцати. В буфете даже пива нет, только эссенуки для печеночников да бутерброды с сыром с загнутыми краями. Ну, принесешь с собой «маленькую», хлопнешь под эссенуки — все веселей.

Девчонок было достаточно, так что местные парни не очень на нас бросались. У нас с ними договор был — которая уже занята, к той не подходить. Сам понимаешь, что нам одни сговорочки остались.

Смотрю, мы танцуем, а одна такая стенку спиной подпирает. Совсем пацанка. И чего я только подкатился к ней? Жалость, что ли, была какая-то? Короче говоря, только с ней в тот вечер и танцевал, назло всем. Другие глаза закатывают, блекоют чего-то про высокие материи, а эта танцует — и глаза такие испуганные, будто я живой тигр. Даже говорит шепотом. «Как звать?» — «Таня». — «А фамилия?» — «Передерина». Хочешь — верь, не хочешь — не верь, ничего у меня к этой девчонке не было. Плечики у нее — как две булавки, уколоться можно... Ребята надо мной потом потешались: ну и оторвал себе девчонку! Переверни — вместо швабры пол подметать можно.

И все-таки в ней что-то такое было. Ты же сам знаешь, наш брат деревенских не очень-то... «Ах, не надо меня провожать, батяня увидит — заругает!» Нам кого побойчей подавай, чтоб и рюмку выпила, и вообще... Наверно, познакомься я с такой в городе, и глаз бы на нее не положил. Наверно... А тут меня словно юзом занесло, как на скользкой дороге. Картошку собираю, а о ней думаю.

Что я знал о ней? Да почти ничего. Зато про себя чего только не вкручивал! Сейчас вспомнить и то противно. Даже врал, что отец у меня был аварский князь. Она слушает, смотрит на меня и еще больше полохается.

Знаешь, никогда я не думал, что во мне сволочь сидит. Человек и человек, не лучше и не хуже других. А оказалось — сидела во мне все-таки сволочь. Как-то после танцев она согласилась со мной пройтись, ну, идем, и я ей про свое одиночество толкую, про надоевшую жизнь, словом прикидываюсь, как могу, — и слышу, она носом хлюпает. Верит! Тут уж я решил не тушеваться. Обнял ее, а она дрожит, потом ослабела все-таки. И целоваться-то она не умела — подставила губы, и все.

Сволочь я, конечно... Где бы понять, и подшлепнуть ее пониже спины, и прогнать домой в куклы играть, а я уж совсем дошел. Хочешь, говорю, женюсь на тебе? Комната в городе есть, заработок подходящий, по винной части не очень, чего ж еще! И снова про одиночество, конечно.

Там, у реки, шалаш был. Какой-то старик сварганил детишкам, чтоб на рыбалке от дождя прятались. Я этот шалаш давно уже приметил. Подвел к нему Татьяну, говорю: «Отдохнем». Молчит и дрожит только мелко-мелко. Ну, короче говоря, в том шалаше и начались у нас близкие отношения...

Через пять дней мы уехали, и я даже забыл о ней. Так,

вспомнишь иной раз, усмехнешься — ну и дунька деревенская, как это я ловко... Самому себе нравишься. А потом и вовсе забыл.

Вдруг подходит мастер, говорит — секретарша директора звонила, тебя требует. Соображаешь? Не секретарше же я понадобился? Иду. Сидит такая фурия с буклями, а у окошка — женщина лет под пятьдесят, полная, в очках. «Вы Еликоев?» — «Ну, я», — говорю. «Пойдемте в кабинет директора, дело у меня к вам есть». Не успел я войти, она тут же, как бухом по голове: «Вы знаете, что у вас ребенок должен быть?» — «От кого же?» — «От вас, от вас. Таню Передерину помните?»

Я не слабак какой-нибудь, а тут, честное слово, весь ливер куда-то в низ живота ушел. Что мне потом эта женщина говорила, так толком и не помню. В субботу еле дождался утра и первым поездом рванул в Запешенье...

Давай пойдем в тамбур, покурим.

Отец у нее вроде ее самой — замухрышка, а оказалось — мужик железный. В дом он меня не пустил. Там, напротив их дома, — чайная, пошли мы в чайную. Сели. Он меня разглядывает, будто иголками колет. «Так зачем пожаловали?» — спрашивает. «Как это зачем? Узнал, что у Тани ребенок должен быть». — «А вам-то до него какое дело, гражданин хороший?» — «Как это какое дело? Мой все-таки должен быть ребенок». — «Значит, спохватились?» — говорит. — Так ведь нам, гражданин хороший, вы ни к чему. Как-нибудь сами вырастим, да еще, будет срок, про отца расскажем, какой он есть».

Понимаешь, сию я, слушаю и ничего возразить не могу. Кругом не прав! Каюсь, подумал — ну, не хотите и не надо. И тут же сам себя последними словами покрыл. Вспомнил, что без отца рос — нас отец рано бросил, — и хоть в крик кричи...

«Чего ж молчите?» — спрашивает. «Нечего, говорю, отвечать. Только поверьте, что я без Тани и без ребенка не могу». — «До сих пор мог, а теперь не можешь? Ладно, говорит, посиди здесь, я к Татьяне схожу».

Минут через двадцать смотрю — идет Татьяна. Я через улицу к ней. Желтая вся, в темных пятнах, и плащик на животе уже не сходится, на одну верхнюю пуговицу застегнут. Стою перед ней как побитая собака. «Таня, говорю, я ж ничего не знал. Хочешь, хоть сейчас поедом в город». Дотронуться до нее было страшно. Все-таки протянул руки, чтоб за плечи взять, а она как отшатнется от меня. «Уезжай, говорит. И не приезжай больше никогда. Все уже проверено, какой ты на самом деле». Повернулась и ушла.

Ночь я на крыльечке чайной просидел. Кто-то даже местного милиционера вызвал. Ну, я растолковал ему, что и как. И все

воскресенье возле дома ходил. Отца ее видел. Он прошел и даже не поздоровался со мной.

Дай-ка мне «беломорину», а то этими сигаретами не накуришься — трава...

С тех пор каждую субботу и езжу в Запешенье. Меня там уже все знают. Председатель колхоза раза три к Передериным ходил, разговаривал. Все бабы на моей стороне. Как Татьяна из роддома привезли — видел. А подойти побоялся: мало ли, разнервничается, молоко пропадет. Это мне так бабы посоветовали — не подходить.

Она с ребенком гулять выйдет, катит Сережку в коляске, а я сзади на тридцать метров иду. Не железная же, думаю, должна же понять, есть же у нее сердце. И дождался все-таки. Отъехала подальше от дома, остановилась и кивнула мне: подойди, мол. Я эти тридцать метров за секунду рванул. «Смотри», — говорит. Я смотрю, а у него брови мои, черные! А потом уже ничего не видел — стоял, а в горло мне будто ваты набили, только и думал, чтоб не разреветься. Спрашиваю Таньку: что сделать, чтоб ты простила? А она мне снова: «Уезжай. Простить, говорит, могу, а поверить уже, наверно, никогда не сумею».

Вот тогда я и ушел с завода. Телегу мне дали старенькую, а я на ней все равно полтора плана гнал, и чаевые брал, над каждым гривенником тряся. Себе оставлял всего ничего, остальное переводил Таньке. Переведу, а через четыре дня перевод обратно приходит.

Вот так и живу — понял? Сережка уже по палисаднику на своих двоих топает, а я его через забор каждый раз вижу. Смотрю, а у самого душа стоном стонет: сын!

— Тебе, что же, только сын нужен?

— Нет, — тихо сказал Еликоев. — Мне они вместе нужны. Я нынешних девчонок знаю, а Танька не такая. Ты, сержант, еще не поймешь, ты в этих делах младенец. Это что — Громыхалово проехали? Через три остановки Запешенье... А если ты думаешь, что сможешь помочь мне, — брось! Ничего у тебя не выйдет, сержант, уж поверь мне.

— Я знаю, — кивнул Бесфамильный. — Только ты сам не отступишь.

— Я? — удивленно и, пожалуй, даже обиженно спросил Еликоев.

— На самом деле, не железная же она, твоя Татьяна, — задумчиво сказал Бесфамильный. В нем все бунтовало, он не умел не помогать другим, но знал, что здесь не может помочь ничем, и сознание собственного бессилия было отвратительным. Еликоев прав. Ничего у меня не выйдет. Выйти мо-

жет только у него — через полгода, год, полтора — выйдет! Бесфамильный был убежден в этом, потому что, сам спасенный от смерти душевным порывом чужого, в сущности, человека, верил в конечное торжество справедливости и доброты.

Они вернулись из тамбура в пустой вагон и сидели молча. Еликоев смотрел в окно, в ночь, в темноту, где изредка мелькали огоньки, и Бесфамильный думал, что ему сейчас легче. Человеку всегда легче, когда он не один на один с самим собой.

Зимнюю сессию Лида сдала неважно и сразу же уехала к родителям на заставу на все каникулы, хотя ехать ей не хотелось. Одна мысль, что две недели она не будет видеться с Кричевским, приводила ее в отчаяние. Но и мать и отец настаивали, требовали, чтобы она приехала, и она поехала. Кричевский не пришел проводить ее. Они попрощались в коридоре: «Ну, будь здорова и набирайся сил к летнему штурму». Он был сдержан, сух. А ей хотелось обнять его, прижаться к нему — при всех, пусть видят, пусть осуждают, наплевать. Но было только рукопожатие — и все.

...Он знает, как я сдала сессию: две тройки. Он думает, что я тупица, и не хочет понять, что это из-за него. Что я не могу уже спокойно заниматься. Господи, да что же это такое! Если бы мне еще три месяца назад сказали, что со мной произойдет *это*, я бы только рассмеялась. А тут голова идет кругом, как только увижу его, и ноги делаются ватными. И он, конечно, все видит, все понимает и молчит. И опять возле него вьются эти покрашенные третьекурсницы с сигаретками. А сейчас он уедет в Москву, ему и каникулы — работа, и две недели обернутся для меня двумя годами, это-то я уже знаю точно...

Так оно и было. Две недели показались ей мучительными. Она уехала на день раньше, соврав, что у нее дела.

Только один раз отец спросил ее, видится ли она с Бочаровым, и, вспыхнув, Лида ответила — очень редко, да и зачем? Савун поглядел на нее пристально и, казалось, хотел спросить о чем-то еще, да так и не спросил.

Вернувшись, она сразу, еще с вокзала, позвонила Кричевскому. Подошла какая-то женщина — видимо, его мать. «Юра еще в Москве и вернется через десять или двенадцать дней. У него ведь свободное расписание. Что-нибудь передать?» — «Нет, нет, ничего не надо передавать, спасибо».

А потом грипп. В общежитии для больных выделили специальную комнату, и Лида ждала, когда забегут девчонки, ждала с какой-то немой требовательностью: *он* спрашивал обо мне? *он* не передавал никакой записки? *он* не собирался навестить?

Девчонки говорили совсем о другом. Значит, не спрашивал, не передавал, не собирался...

Лида металась, это ожидание было уже сверх всяких сил. Из общезития она ушла тайком. Она должна, обязана была увидеть Кричевского, это было так необходимо ей, как если бы она нырнула в глубокий омут и билась из последних сил, чтобы подняться, вырваться из душащего плена, — вырваться и наконец-то вздохнуть.

Она увидела его на улице. Впрочем, она была уверена, что это маленькое чудо произойдет и она увидит его, но чуда не было: Кричевский шел с какой-то девушкой — она видела их спины, поднятый воротник его дубленки, и ей хотелось, чтобы это было ошибкой, чтобы это был не он. Кричевский что-то говорил, потом положил руку на плечо девушки, и та придвинулась к нему. Это было не просто страшно — это было ужасно! Лида побежала. Она задыхалась и, только догнав их, замедлила шаг. Надо перевести дыхание. Она не слушала, о чем Кричевский говорил с той девушкой. Она только глядела на его руку, которую он так и не снимал с ее плеча.

— Юра, — сказала она, и Кричевский обернулся.

— О! — сказал он. — Ты ли это? Что-то тебя не было видно.

Она поравнялась с ними. Короткий взгляд на девушку — так и есть, намазанная третьекурсница. Короткий взгляд на него — он улыбается, он ничуть не смущен, он весь — дружелюбие, он даже рад этой встрече и берет обеих под руки.

— Так где ты пропадала, лесная фея?

— Ну, — сказала она, — тебя это, наверно, не очень-то волновало?

— Я спрашивал о тебе.

Она знала, что Кричевский сейчас врет.

— Я болела, — сказала она.

— Грипп?

— Да.

— Пол-института валяется с гриппом. Но сейчас ты вроде бы ничего?

— Вроде бы ничего.

...Странно, я совершенно спокойна. Нет ни этой отвратительной пустоты внутри, ни ватных ног, и голова ясная. Значит, все, что было со мной, прошло вот так, сразу? Нет, ничего не прошло. Просто я здорово держусь перед этой накрашенной. Ну и что из того, что я увидела их вместе? Они могли встретиться по дороге в институт, вот и все.

— Вроде бы ничего, — повторила она. — Но ведь, кажется, больных друзей положено навещать?

— Не сердись, — добродушно сказал Кричевский, легко прижимая ее локоть к своему боку. — Я замотался вконец. За месяц три статьи и еще рецензия в один московский журнал.

— Ого! — сказала та, третьекурсница. — Ты ли это, Юрасик? На тебя заявляют права, а ты оправдываешься?

— Ну, милая, кто на меня заявляет права? — все с той же

добродушной усмешкой ответил Кричевский. — Больных друзей надо навещать, так что Лидочка сказала сущую истину.

...Она сказала «Юрасик», он отозвался — «милая»... Какое отвратительное, сюсюкающее имя — Юрасик, как кошачья кличка, а он ухмыляется и говорит «милая». Лида высвободила свою руку.

— Мне надо в магазин, — соврала она. Ей было трудно выдержать присутствие той, третьекурсницы.

— Увидимся, — дружески кивнул Кричевский.

Она все-таки обернулась. Кричевский держал *ту* под руку. Наверняка говорят обо мне. И вот только тогда почувствовала, как все словно обрывается внутри и ноги еле держат ее...

Она зашла в магазин и села на низкий подоконник. Надо немного посидеть. Это, конечно, еще слабость от болезни, от свежего воздуха. Конечно, именно от этого. Все плыло перед ней, прилавок двинулся куда-то в сторону, будто это был не прилавок, а лодка, и продавщица в белом халате тоже поплыла в этой лодке. Кто-то тронул ее за плечо, кто-то спросил: «Девушка, вам нехорошо?» — «Да», — сказала она. «Вызвать «скорую»?» — «Не надо, я сама...» И, медленно встав, пошла к выходу.

...Я должна держаться. Ничего не произошло. От этого не умирают. Это пройдет. Только держаться! Месяц, два, три — сколько понадобится...

Она держалась март, апрель — «Здравствуй, Юра!» — «А, Лидочка! Ты похудела, по-моему». — «Я читала твою статью». — «Спасибо. Извини, бегу...»; «Здравствуй, Юра!» — «А, Лидочка! Что-то тебя совсем не видно?» — «Учусь. Ты не бежишь?» — «Почти»; «Здравствуй, Юра!» — «А, Лидочка!..»

Потом она поняла, что больше так быть не может и что она первой скажет ему все. Она только оттягивала этот день, оттягивала сколько могла, уговаривала себя: завтра, нет, послезавтра... А послезавтра откладывала еще на день и еще... Это было слишком трудно, и она не могла решиться, хотя знала, что придется решиться. Завтра. Нет, послезавтра...

Нечаев выздоровел только в середине апреля и появился на заводе бледный, с ввалившимися щеками и коричневыми тенями вокруг глаз, будто в дымчатых очках. Ему уже была готова путевка в санаторий, и он, обсудив со своими заместителями все дела, уехал. Перед отъездом он зашел к Силину.

— Значит, промежуточный отчет утвержден? — спросил он. — Как это получилось?

— Штурмовщина, сверхурочные — как это бывает обычно. Вам это сейчас ни к чему. Уезжайте и поправляйтесь окончательно. Честно говоря, на вас смотреть жутковато.

Разговор был недолгим. Нечаев высказал несколько замечаний относительно того же литейного цеха, попросил Силина

ускорить утверждение окончательного плана реконструкции термо-прессового, на том и расстались. Нечаев уехал в Кисловодск.

Конец апреля был похож на июнь: теплынь, на деревьях начали лопаться почки. Силин решил: все, больше не могу, надо съездить на рыбалку. Вечером он вытащил с антресолей удочки, и Кира сказала:

— Ты бы пригласил Алешку. Совсем забыл парня.

— Не надо устраивать мне компанию.

— Но, наверно, и не надо так отталкивать его от себя. У него вся комната в твоих фотографиях.

— Ну, хорошо, хорошо, ладно.

— Тем более что Веру врачи загнали на два месяца в санаторий, мужики одни...

— Я же сказал — хорошо, — уже резко сказал Силин, просяматривая кольца на удилище. Пожалуй, Кира права и Алешку взять надо. С ним всегда было легко. Прежде, на рыбалках, Силин называл его не иначе, как «мой завхоз». Костер, чистка рыбы, мытье посуды — все это Алешка делал легко и охотно. Пусть едет, место в машине есть.

Телефонный звонок раздался поздним вечером, и Бочаров удивленно подумал, кто это может звонить в такой час. Звонил Силин. Голос у него был какой-то далекий, будто, разговаривая, он отставлял трубку.

— Алексей дома?

— Нет еще. Бродит где-то.

— Ты ему скажи, что я ночью еду на рыбалку. Если хочет, пусть подходит к двум часам.

— Ты думаешь, сейчас уже берет? Рановато вроде бы.

— Посмотрим, — сухо ответил Силин и, не попрощавшись, положил трубку.

Бочаров подумал: конечно, сердится на меня за то выступление на партконференции. Или устал, измотался — все так, но мог бы ради вежливости спросить о домашних делах, о Вере или хотя бы подождать, когда я передам привет Кире. А может быть, это уже привычка — говорить вот так, коротко и сухо, не теряя лишнего времени на всякие антимонии и семейную лирику — привычка, родившаяся за годы работы и незаметно перенесенная в домашний обиход? Ладно, стоит ли обижаться! Усталый человек, везет воз — и хорошо, что позвонил: Алешка наверняка поедет, если только не явится домой слишком поздно.

Он пошел на кухню и начал готовить ему бутерброды, потом сполоснул термос и заварил чай. Вот удочки собирать — это, пардон, соберет сам! И подходил к двери, когда начинал гудеть лифт. Едет? Не едет? Едет! Он успел открыть дверь прежде, чем Алешка сунул свой ключ в замочную скважину.

Через несколько минут Алексей уже метался по квартире и гремел ящиками, искал крючки, грузила, лески. «А про червей дядька не говорил?» — «Не говорил». — «Наверно, есть. Наверно, «мальчики» достали».

Бочаров усмехнулся. Все-таки язык у Алексея невозможный. Недели две назад на заводе был «большой обход»: Силин ходил по цехам, вместе с ним были почти все руководители служб и начальники отделов. Вот тогда-то, рассказывая об этом, Алешка и съязвил: «Дядька впереди, как командарм перед боем, а позади все его мальчишки. И у каждого уши шевелятся, как локаторы, — не пропустить бы словечка». Да, язычок у парня длинный, и это вовсе ни к чему, — так, фанфаронство, бравада, все ничем! — а сам ведь любит Силина, хотя в последнее время встречи стали совсем редкими.

— Ты где болтался так долго? — спросил Бочаров, разогревая ему еду. Время еще есть, успеет перекусить перед дорогой.

Алексей усмехнулся, укладывая свои крючки и мормышки в спичечный коробок.

— Батя, а ты что — поп? Или ксендз? Время исповедей кончилось. Как сегодня сказал один местный мудрец — личность выражает себя через абсолютную свободу.

— Твоего местного мудреца мало пороли в детстве, — в свой черед усмехнулся Бочаров. — А вот от тебя вроде бы вишником попахивает?

— Все идет путем, батя, — рассмеялся Алексей. — Ну, посидели с ребятами в нашем кафе, две бутылки сухаря на пятерых, и с девчонками плясал, так что все путем.

— Компанейский ты парень, — сердито сказал Бочаров. Он почувствовал легкое раздражение оттого, что Алексей пришел домой поздно, да еще выпивший, а он тут ему бутерброды готовит — сыночка на рыбалку провожать. Потом он одернул себя. Ерунда, Алешка не дурак и не выпивоха, ну, посидел со своими ребятами, даже с местным мудрецом — взрослый же человек, и незачем раздражаться.

Скорее всего, эта раздраженность появилась оттого, что два выходных ему предстояло пробыть одному и он не знал, куда себя девать. Впервые за долгие годы оставшись без Веры, он чувствовал тоскливое одиночество, и это ощущение не проходило, как бы он ни уговаривал себя, что оно ненадолго — Вера приедет, и что это просто надо переждать ради нее же самой. Пусть поправится как следует. И все равно слонялся вечерами по квартире, не в силах ни читать, ни хотя бы посидеть у телевизора.

Вот поэтому он и окрысился было на Алексея, и хорошо, что вовремя спохватился. Сейчас Алешка уйдет, а он сядет писать очередное письмо Вере и напишет, что у парня, видимо, что-то меняется в жизни, — веселый. Впрочем, после танцев с девушками... И ест так, что от тарелки за уши не оттащить.

— Значит, выпивали, не закусывая, под сигаретку?

— Угу. Экономили.

— Ладно, черт с тобой, уходи с глаз моих. Только не забудь передать привет тете Кире.

Он заставил его надеть теплое белье, как Алексей ни брыкался, и шерстяные носки — нечего пижонить, все-таки еще апрель. И свитер. Когда Алексей ушел, он вымыл посуду и сел за стол на кухне. Писать письмо? Но впереди два выходных, и лучше писать завтра, ведь это не просто два выходных, а два трудных, ничем не занятых, напрасных дня, которые придется прожить зря. Разве что только позвонить Когану, позвать его и сразиться в картишки по маленькой...

Едва машина остановилась, из темноты вышли трое, будто они нарочно стояли там, ожидая силинскую «Волгу». Один был в милицмейской форме, двое других в штатском. Алексей сумел разглядеть в темноте сержантские лычки на погонах. Сержант строго спросил:

— Чья машина?

— Моя.

Луч фонаря скользнул по лицу Силина, и тот досадливо поморщился. Конечно, неприятно, когда тебе светят прямо в глаза.

— Служебная?

— Я директор ЗГТ Силин.

— Откройте багажник, — все так же строго приказал сержант. Очевидно, слова Силина не произвели на него никакого впечатления.

Силин буркнул шоферу:

— Открой ему багажник, — а сам отошел в сторону и закурил.

Этот сержант ищет сети, подумал Алексей. А двое с ним, должно быть, дружинники из рыбоохраны. Все правильно. А то время от времени по лестницам ходят краснорожие мужики и пропитыми, сильными голосами предлагают лещей или язей, а каждая рыбина с лопату. Браконьеры, сукины дети.

Был уже пятый час, а рассвет еще не наступал. Ему мешали низкие тяжелые тучи, которые, казалось, задевали за верхушки сосен. Но дождя не было. Алексей с удовольствием вдыхал чистый воздух — в городе не такой, разница ощутима сразу. Он не заметил, как Силин оказался рядом.

— Все настроение испортили, — сказал он.

— Ты о сержанте? Ерунда. Порядок есть порядок. В темноте не видно, кто есть кто. Лишь бы дождя не было. Ты мне сегодня здорово нравишься, дядька.

— Спасибо, — фыркнул Силин.

— Просто я давно не видел тебя таким. Сообразим костюмочки, а?

И, не дожидаясь ответа, шагнул с дороги, напрягая зрение, чтобы разглядеть поваленное дерево или сушняк.

Действительно, сегодня он словно бы увидел другого Силина — не того нахмуренного и, казалось, постоянно недовольного чем-то, а веселого и как бы расслабившегося, отошедшего от дневных дел и забот. Пока они ехали, Силин шутил, поддевал своих спутников — главного бухгалтера Притугина и второго (Алексей его не знал, видел впервые), который, знакомясь, назвал только свою фамилию — Бревдо.

Доставалось и ему, Алексею, но это было так легко и добродушно, что Бревдо в свой черед пару раз поддел Силина, и Алексей подумал — ай да «мальчик»!

Он выгасил из леса два здоровенных сука, набрал валежника, и костер разгорелся быстро. Опять из темноты вышли те трое, и сержант сказал, чтоб с огнем были осторожней, сказал, и трое растворились в густой темноте, как лешие.

— Выпьем по чарке? — предложил Силин, и Алексей вновь удивился: да полно, он ли это, непьющий? Или уж так положено — непременно выпить с утра раннего, от ночного холода, или за будущий улов, или просто так, под хорошее настроение? Шофер притащил и расстелил возле костра брезент, и все сели, доставая закуску, бутылки и термосы. От чарки Алексей отказался. Остальные чокнулись (даже стаканчики нашлись в их рюкзаках) за то, чтоб сегодня ловилась большая и маленькая, но лучше уж большая, и чтоб к вечеру, когда будем возвращаться домой, не пришлось покупать хек или какую-нибудь там мороженую мерлузу в рыбном магазине и выдавать домашним за свой собственный улов.

Все засмеялись. Алексей подумал, что это какая-то история из их рыбацкой жизни. Силин, еще смеясь, рассказал ему, что есть на заводе один рыбак, который однажды и впрямь купил три килограмма хека, рассчитывая, что жена не разберет. А она разобрала, и вывочка была устроена муженьку по всем правилам: где ты был? Пришлось свидетельствовать, что он действительно был на рыбалке, а не у дамы сердца. Но с тех пор этого товарища на рыбалку уже не пускают...

Костер горел все ярче и ярче, и лица сидевших подле него казались коричневыми, как у индейцев. Темнота сгустилась еще больше. Время от времени ее разрывали огни автомобильных фар: все чаще и чаще подходили машины и останавливались на обочинах.

Где-то там, внизу, была река. Оттуда доносился ее ровный, мерный шум. Алексей поймал себя на том, что прислушивается к нему, как к голосу живого существа, от которого сегодня зависит удача или неудача, которое может осчастливить добрым уловом или прогнать ни с чем. В такие минуты перед рыбацкой его всегда охватывало лихорадочное нетерпение. Даже там, на заставе, когда надо было заготавливать рыбу впрок, на зиму, и когда он точно знал, что рыба будет, — все

равно волновался, с удивлением думая, откуда этот азарт добычлика в нем, городском человеке? От далеких предков, что ли?

Уже десятка два костров горели вдоль реки. В этом множестве огней было что-то из Джэка Лондона — будто золотоискатели собрались здесь, чтобы с утра, с определенной минуты начать дикую гонку за участки вдоль реки и застолбить их первыми.

— Хорошие места? — спросил Алексей.

— Хорошие, — сказал Притугин. — Только вот пойдет ли она сегодня...

— Может, и у нее выходной, — сказал Бревдо и сам засмеялся своей шутке, открывая золотые зубы.

— А черви? — снова спросил Алексей.

Силин, потянувшись, ответил:

— Ну, у нас не черви, а звери. Сам бы ел, да рыбу ловить надо.

— В «зеленом цехе» набирали, — тихо сказал Алексею Бревдо. — Еще вчера Владимир Владимирович дали команду.

И это «дали», и еще ко всему «дали команду» заставили Алексея поежиться. Он ничего не ответил, просто не успел, потому что главный бухгалтер подхватил разговор:

— А помните, Владимир Владимирович, как тот же Миханьков... Ну, который с хеком... червячков-то...

И снова засмеялись все, кроме Алексея, и Бревдо, нагибаясь к нему, рассказал, что жена того самого рыбака сунулась как-то в холодильник за колбасой или сырком, развернула сверток, а из него — черви. Жирненькие, навозные, с запашком, что надо!

— А тебе что, червей в кабинет носят? — спросил Алексей у Силина.

И опять Бревдо нагнул к нему:

— Зачем в кабинет? Знаем, где выдерживать. С мучкой и подсолнечным маслицем! Прав Владимир Владимирович — сам бы ел...

— На здоровье, — сказал Алексей, поднимаясь. — Я пройду к реке.

Он шел медленно, плохо различая путь, спотыкаясь о камни или коряги и, больше не ослепляемый костром, увидел стволы деревьев, голые кусты, и реку, и даже противоположный берег. Оказывается, начало светать, и небо поднялось выше, серое, но уже с заметными розовыми ободками на краях туч. Все кругом будто бы начало раздвигаться, шириться, и в мире становилось просторнее. Там, на границе, он не раз и не два видел это чудо перед рассветом, когда кажется, что деревья, словно сбившиеся на ночь, начинают расступаться, отстраняться друг от друга.

Река была неширокой, с низким левым и обрывистым правым берегом. Он оглядывал реку, обрыв и вдруг услышал

легкий звук, один-единственный щелчок, потом еще и еще, и вздрогнул от неожиданности этой встречи. Совсем рядом, где-то наверху, на голом дереве начинал свою песню соловей. Почти сразу с того берега отозвался другой, справа — третий, и Алексей застыл, чтобы не спугнуть *своего*, первого, который сидел над ним и начал утреннюю песню.

Это было тоже знакомое ему чудо, колдовство, перед которым он всегда замирал, чувствуя, как в нем самом, из глубины души волнами поднимается восторг. Соловьи уже безумствовали. Воздух был пронизан их страстными, призывными голосами и звенел как струна, которую нельзя тронуть, чтобы не оборвать. Теперь он не боялся оглядываться, потому что соловьи ничего не замечали, их невозможно было спугнуть, мир принадлежал им. Им было не до тех больших существ, которые там, внизу, задирали головы и улыбались, и удивлялись их весенней песне, и говорили: «Во дает! А там-то, там-то — слышишь?»

Рассвет наступал быстро, и Алексей вернулся к машине. Силин встретил его недовольным вопросом:

— Птичек слушаешь, а удочки не готовы?

— Готовы, дядька, — сказал он, оборачиваясь и жалея, что недостоял там и недослушал до конца.

Когда они вышли к реке, там уже стояли рыбаки, некоторые забралась в воду, поднимая голенища резиновых сапог. Яркие поплавки мягко шлепались на воду, их быстро сносило течением.

— Ну, — весело сказал Силин, — начали!

Но рыба не клевала. Прошло полчаса, час. Они меняли места, пробовали ловить на хлеб и на опарыша, но и на опарыша не брала даже самая захудалая рыбешка. Еще через час Силин сказал, вроде бы ни к кому не обращаясь:

— Не надо было ехать сюда. Я говорил — лучше на озеро. Но с доктором рыболовных наук спорить трудно.

— Значит, вода еще не разогрелась как следует, — с обидой сказал Притугин. — Два дня назад уже брала немного...

— В каждой неудаче есть своя причина, — усмехнулся Силин и передразнил главбуха: — «Брала!» У вас, Константин Иванович, всегда так.

Алексей поглядел на главбуха — тот стоял, отвернувшись, словно набедокуривший мальчишка перед строгим да еще разгневанным учителем, и ему стало жалко этого, в общем-то, ни в чем не виноватого человека.

— Идем, — кивнул Алексею Силин. Злой, мрачный, он пошел вдоль реки, время от времени останавливаясь и закидывая леску.

— Зря ты его так, — сказал Алексей. — У рыбы все-таки свои законы.

Он понимал, что произошло. Просто Силин терпеть не мог любую, даже малую неудачу, и вот сейчас раздражение за-

хлестнуло его так, что он уже не мог остановиться. Для него виноватой была не природа, и он злился не на природу, а на главбуха, который *недоглядел, не обеспечил, не организовал.*

— Я это и без тебя знаю, — оборвал его Силин.

— Брось ты, дядька! — засмеялся Алексей. — Ну, хлестни разок удочкой по речке.

— Перестань, — резко оборвал его Силин.

— Перестану. А вот человека ты, дядька, зря обидел. Честное слово, зря.

— Я ничего не делаю зря.

Алексей видел, чувствовал, что Силин кипит, и понимал, что сейчас его лучше не трогать, но и промолчать он не мог, потому что человека обидели не за понюх табаку, и это было плохо.

— Защитничек! — усмехнулся Силин. — Ты бы знал, что они о тебе говорили, когда ты ходил птичек слушать!

— А мне неинтересно.

— Напрасно. Правильно сказали — юный петух.

— Это они для того, чтобы тебе подыграть.. Как с червячками. Неужели не противно, когда о тебе говорят во множественном числе — «Владим Владимыч команду дали... сказали... велели...»?

— Сколько ты кукарекаешь, Алешка! Мне тут Бешелев тоже кое-что сообщил, между прочим. И кончим говорить на эту тему.

— Почему? — удивился Алексей. — Разве у тебя есть список запрещенных тем?

Вот этого, пожалуй, не стоило бы говорить.

— Ты никогда не задумывался, — очень тихо сказал Силин, — что у вашего семейства есть одна очень неприятная манера — сначала сказать, потом подумать?

— Это называется — говоришь, что думаешь.

— Нет. Это называется говорить, в общем-то, мелкие пакости, выдавая их за большую правду. Не замечал?

Силин сел на камень, положив удилеище так, что его верхушка ушла под воду. Поплавок сразу же отнесло к берегу, и он лег набок. Силин продолжал глядеть на него, словно еще надеясь, что рыба все-таки клонет.

— Попробуй приглядись, — уже спокойно сказал Силин. — Нехорошая манера. И отец твой на партконференции, и ты на собрании...

— Нет, — качнул головой Алексей. — Дело не в этом, дядя Володя.

Он понял, что сейчас не до шуток и даже обычное «дядька» ни к чему. Разговор начался серьезный, и Алексей внутренне напрягся. Он не имел права на ошибку в этом разговоре. Его удивило, что Силин походя задел и отца, и его самого, но тут же он подавил эту ненужную сейчас обиду.

— А в чем же? Может, объяснишь? Сделай милость.

— Сделаю. Все очень обыкновенно, дядя Володя. Ты перестал быть простым.

— Действительно, как все обыкновенно! — усмехнулся Силин, продолжая глядеть на лежащий поплавок. — А может, действительно, обыкновенно? Ты не знаешь, тебя тогда еще на свете не было... Я вернулся с фронта, ночей недосыпал — работал. Такая работа тебе в самых худых снах не снилась. Учился. И если поднялся, это только моя заслуга. Моя! А твой отец... Нет, он не работал, он вкалывал. Не учился — не хватило пороха. И вот потом прикрывался идейкой: дескать, не всем быть начальниками, кто-то и вкалывать должен, — паршивенькая идейка! И тебя к ней приучил, вот это плохо.

— А что? — спросил Алексей. — Разве он по-своему не прав? Что будет, если все рабочие дружно побегут в инженеры?

— Я говорю не о всех, я говорю о тебе. Так вот, в вашей семье помаленьку родилось некое противодействие — мне. Скажи мне честно, что это? Зависть?

Он повернулся к Алексею всем телом и пристально поглядел на него. Странно, подумал Алексей. У него немигающие глаза. Как у Бешелева тогда, на собрании.

— Брунда, — сказал он, — при чем здесь зависть? Меня всегда радовало, как ты шагал, и всех нас тоже. Но мы-то видим и другое — как перед тобой лебезят, тот же Бешелев... Он будто играет в Силина.

Он не договорил. Силин резко поднялся. Разговор не получился.

— Хватит, — сказал Силин. — Вы сами всегда портите себе жизнь. Удивительное желание — портить себе жизнь. Сначала этот уголовный брак...

— Какой брак?

— Брак твоего отца. Ты что же, ничего не знаешь?

Алексей тоже поднялся с корточек. Теперь уже он глядел в глаза Силину, не отрываясь.

— Ты должен рассказать...

Силин понял, что в запальчивости сболтнул лишку, но отступать уже было некуда, слово не воробей: Конечно, это было их дело — скрывать от сына ту историю. Силин разозлился. Они скрывали, а он должен расхлебывать? Ничего, не мальчик, не маленький — пусть знает.

— Николай женился на твоей матери, когда ее судили.

— За что?

— За растрату или халатность, теперь уже не помню.

Алексей выслушал это спокойно, пожалуй даже слишком спокойно. Силину показалось, что он улыбнулся. А может, и на самом деле улыбнулся, потому что, отвернувшись, сказал:

— Ну, это чепуха, конечно. Честнее матери и людей-то нет. Спасибо, что сказал. Я пойду, дядя Володя. Вы меня не ждите, я вернусь поездом.

— Как хочешь, — холодно сказал Силин, поднимая удочку.

Алексей уходил по берегу. Через два или три километра будет станция. Пусть едет на электричке. Силин досадливо передернул плечами: ну и характерец! Настроение было испорчено вконец, все сложилось не так: рыба не клюет, Алексей наговорил черт знает что и ушел, выходной день пропал, и даже шум реки, обычно успокаивавший, сейчас раздражал его своей монотонностью.

22. ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА

Смутные тревоги, подобие догадок, необъяснимое предчувствие какой-то беды начали преследовать Киру сразу после той встречи Нового года, той ночи, когда Силин не пришел домой. Объяснение ее: испытание турбин идет по ночам, ненадолго успокоило ее: просто ей самой хотелось поверить в это и успокоиться. Но прошло какое-то время, и беспокойство вернулось.

Дома Силин был либо груб с ней, либо молчалив. Но если раньше Кире удавалось как-то успокаивать его, теперь все было иначе. Стоило ей подойти к мужу, привычно и ласково поднять руки, чтобы обнять его за шею, — Силин словно бы отшатывался. В этом еле уловимом движении было столько отчужденности, даже брезгливости, что Кира терялась. Никогда прежде ничего подобного не бывало. Ну, устал до чертиков, заматался человек. Столько неприятностей. Почти два года без отпуска. На рыбалку еле вырвался один раз и то приехал туча тучей. Она все искала, все пыталась найти для него какие-то оправдания и гнала от себя мысль, что дело не в этом, не только в его усталости...

В фабкоме на «Луче» ей предложили две путевки в Варну. Она позвонила на завод, трубку подняла Серафима Константиновна. Силина на месте не было — пошел по цехам. Но в самом голосе Серафимы Константиновны ей почудились какие-то незнакомые нотки — не то участия, не то соболезнования и бог знает чего еще. Это было уже совсем неожиданно. Теплый голос Серафимы, этого цербера в седых кудряшках! «Да, да, конечно, Кира Сергеевна, его обязательно надо куда-то увезти, вы совершенно правы. Да и вам тоже надо побыть с ним вместе побольше». В другую пору она, конечно, не обратила бы на такие слова никакого внимания, но сейчас за ними крылся какой-то особый смысл.

Ехать с ней в Варну Силин отказался наотрез.

— Во-первых, если я и поеду нынче куда-нибудь, то один. Понимаешь — один. Мы должны отдохнуть друг от друга. Ну а во-вторых, я еще раз прошу тебя не проявлять ненужную заботливость.

— Если не я, то кто же? — тихо спросила Кира. Она гляде-

ла в сторону. Она боялась увидеть его лицо, когда ему придется отвечать. — Нас с тобой, по-моему, только двое.

Силин не ответил — он закричал. Он стоял и кричал, что хватит этих дурацких разговоров, что ему только и не хватало всяких идиотских подозрений, что он, в конце концов, человек с обыкновенными человеческими нервами. Хватит! Он уедет в Малиновку, на заводскую базу отдыха, и будет жить там. Один! Куда, черт подери, она засунула желтый чемодан?

Кира сидела съезжившись. Все, что кричал ей Силин, кричал, не думая о том, что слышно за стенкой, было непонятно и от этого обиднее вдвойне. Главное — за что? За то, что она действительно думает о нем, о его усталости, о его отдыхе? «Не-нужная заботливость...» О каких подозрениях он говорил? Ах да: «Нас с тобой, по-моему, только двое», — вот тут-то он и взорвался!

Ладно. Пусть едет в Малиновку. Может быть, он действительно прав и в жизни иной раз неизбежно наступает такой момент, когда надо отдохнуть друг от друга. Ей не надо отдыхать от мужа. Она любила ездить с ним — не только в дома отдыха, а куда-нибудь на дальние озера, в глушь, и жить на берегу в палатке, чистить пойманную рыбу, бояться ночных шорохов и засыпать, прижавшись от страха к нему, такому большому, сильному и ничего не боящемуся...

Она любила ходить с ним за грибами, не думая, куда он шагает. Наверно, это даже интересно — заблудиться в лесу. Силин отбирал у нее корзинку, чтобы Кира шла налегке, и она не думала, что ему тяжело. И когда он разводил костер и садился, стянув сапоги и спиной опершись о сосну, она любовалась его мощной фигурой, этим огромным телом, будто поддерживающим дерево. Она шла собирать ему ягоды, пока он отдыхал, и опять любовалась, когда он ел эти ягоды, ссыпая их в пригоршню и наслаждаясь лесной сладостью. Может быть, потому, что там, в самом их начале, был лес, она так любила ездить с ним в лес.

У них был месяц в избе лесника — совершенно волшебный месяц, когда она просыпалась оттого, что Анчар — лесниковый пойнтер — вскидывал на нее лапы, и она выходила с сеновала. Владимир уже чистил ружье. Убитые утки лежали на крыльце, и она восторгалась добычей, а потом шла на ручей мыться, зная, что муж сам приготовит этих уток по-охотничьи — в глине. Он приносил ей лесные цветы. Каждый день — охалка ромашек и колокольчиков. Лесникова жена сказала ей: «Ох, любит тебя твой мужик!» Теперь цветы бывают дважды в год: на день рождения и Восьмое марта, купленные в магазине... Да и те привозит шофер...

В один из вечеров она зашла в «Северное сияние», взяла торт и поехала к Бочаровым.

— Господи, — сказала она Алексею, когда тот открыл дверь. — Ты дома?

— А где же мне быть?

— На свидании, например. Кажется, в твоём возрасте это положено.

— Ленив, — хмыкнул Алексей, нагибаясь и чмокая ее в щеку.

Кира поправила очки:

— Вот увалень — чуть не сбил их. Бери торт и ставь чайник. Алексей ушел с тортом на кухню.

— Родители сейчас придут. У нас в семье не я, а отец на свидания ходит: побежал встречать родительницу.

Кира прошла за ним на кухню и села у окна. Она любила сидеть здесь, в этой маленькой уютной кухне. Бочаров потратил, наверно, полгода, чтобы оборудовать ее: сделал встроенный шкаф, стены покрыл пластмассовой плиткой — все сам.

— Ну, а рыбой, которую поймал, угостишь? — спросила Кира. — Или съели уже?

— Рыба нынче водится только в фирменном магазине «Океан», — сказал Алексей. — Хек! Дядя Володя рассказывал одну историю...

— Я знаю, — кивнула Кира. — Он приехал с рыбалки как туча. Эх вы, рыбаки!

— Ну, — засмеялся Алексей, — должно быть, дело не в рыбе. Мы с ним поговорили по душам, вот он и психанул, наверно.

— Вы поссорились? — испуганно спросила Кира.

— Нет. Правда, домой я вернулся поездом, но зато сказал все, что думал.

— Что же ты думал?

Опять эта смутная тревога, опять подобие догадки... Кира напряглась. Но Алексей был весел и ответил тоже весело:

— А все. То, что подлипали вокруг него вьются, — вон даже червячков заготовили и подсолнечным маслом откармливали. Короче говоря, все. Может, и не надо было, да у меня язык без костей.

Кира облегченно вздохнула.

— Я думаю, ты сделал это зря. Он ехал отдохнуть, у него и так-то нервы на пределе. Да и рановато тебе об этом судить, наверно.

— Сдаюсь, тетя Кира. Сиди и жди, а я побежал.

Он снова чмокнул ее в щеку, и она слышала, как в прихожей шуршит плащ. Потом хлопнула дверь. Кира сердито подумала: мальчишка, попрыгунчик, а туда же... У этих молодых не язык без костей, а мозги еще набекрень, вот в чем дело. Брякают, не подумав. А кому брякать и что брякать — это им все равно. Володя все-таки директор, а не ровесник комсомольского возраста. Вот он и приехал тогда с рыбалки сам не свой. Отдохнул, называется.

Она встала и прошла в большую комнату. Здесь, в квартире Бочаровых, было как у всех, — во всяком случае, именно так

подумала она. Чисто, полированная мебель; «стенка», фотографии над диваном. Рамки делал тоже Николай. Вот мать Силина — кто-то увеличил с маленькой фотографии. Рядом двое (Кира знала их) — Чуфистовы. Ее мать и она сама. Володька — в форме, фуражка сбита на затылок. На другом снимке он же, сзади виден Нотр-Дам. Трое. Николай, Вера, Алешка... Тогда Алешка пошел в первый класс. И снова Алешка — с автоматом, возле развернутого знамени.

В этом обилии фотографий было что-то по-деревенски доброе и трогательное. Казалось, люди, которые жили здесь, хотели každодневно видеть в сборе всю свою семью — ушедших и живущих — и в этом немом общении чувствовать себя духовно богаче, потому что и память — сама по себе богатство.

Она снова подумала об Алешке. Где-то у него должен быть целый альбом, который он делал до службы в армии. Он приходил и кланчил у нее фотографии. Года полтора назад Вера показала ей этот альбом (Алешки не было, он уже служил) — и Киру поразило, что весь альбом был посвящен Силину. Под каждым снимком было аккуратно выведено: «На охоте»... «Прием польской делегации»... «В домашней обстановке»... «С чужой собакой»... «В Лондоне, у Вестминистерского абатства». Так и было — «Вестминистерского» вместо «Вестминстерского» и «абатство» с одним «б».

Да, тогда Алешка ходил за Силиным как влюбленная в балерину пятиклашка. Разве что только в рот не смотрел. Стоило Силину сказать: «Что-то жарко», как Алешка мчался на кухню и тащил стакан холодной воды. Если он брал Алешку куда-нибудь с собой, для мальчишки был праздник. Однажды — не то в шестом, не то в седьмом классе — Алешка попросил Силина приехать к нему в школу, «только со всеми орденами», и выступить на празднике. Силин поехал и потом рассказывал, что Алешка не отходил от него ни на шаг, сидел рядом и цвел от счастья. А сейчас вот: «Сказал, что думал...»

Это было неприятно Кире. Она ничего не знала о выступлении Николая на партконференции — Силин ни словом не обмолвился об этом, — и то, что сказал ей сегодня Алексей, показалось Кире какой-то досадной трещинкой, которая легла в семье по вине не очень-то думающего над своими поступками мальчишки.

В прихожей открылась дверь, и Кира вышла в прихожую.

— Смотрю фотографии, — сказала Кира. — А где Николай?

Вера была одна.

— Встретил кого-то из своих и пошли выпить по кружке пива. А я как раз думала звонить тебе. Получай французскую пудру. И никаких денег! — сказала она, увидев, что Кира потянулась к сумочке. — Это подарок.

— Сумасшедшая, — сказала Кира. — У тебя что, открытый счет в банке?

— Как говорит Алешка, разговорчики в строю! Идем накрывать на стол. Владимир Владимирович не заедет?

— Нет, — сказала Кира. — После работы он сразу уезжает в Малиновку. Ему надо хоть так отдохнуть немного.

Вера стояла к ней спиной, накрывая на стол, — и вдруг совершенно неожиданно для себя Кира заплакала, охватив Веру и прижимаясь лицом к ее волосам, словно зарываясь в них. Вера хотела повернуться — Кира не пускала ее и плакала все сильнее, уже безудержно, уже не стесняясь этого непонятного для себя самой желания выплакаться. Вера все-таки повернулась и испуганно трясла Киру за плечи.

— Что с тобой, родненькая? Да что случилось, ты можешь сказать?

— Ничего, — еле сказала Кира. — Просто... так...

Вера накапала ей в рюмку валерьянки. Кира сидела, сняв очки, и ее лицо без очков, с покрасневшими глазами и сразу припухшим носом казалось по-детски беспомощным. А Вера суетилась возле нее: может, тебе лучше лечь? И вообще — оставайся у нас, пока Владимира Владимировича нет дома. Нечего тебе быть одной. Ах, у нее стирки полно! Приду в выходной, и за два часа провернем всю стирку. Не руками же — машина стирает. Ну, а что же все-таки случилось?

— Так, — ответила Кира. — Я сама толком не знаю — что. Должно быть, все вместе... Годы, нервы, болячки, вот и сорвалась. Ты извини меня и не обращай внимания.

— Хорошенькое дело — не обращать внимания, — сказала Вера, успокаиваясь. — Напугала до смерти...

Пришел Бочаров.

Он сразу заметил, что с Кирой происходит что-то неладное, и Вера с удивлением глядела, как он суетится. Это было незнакомо в нем — суетливость, и глаза были беспокойные, и в каждом взгляде то на Киру, то на нее крылся какой-то невысказанный вопрос.

Чай пили на кухне, и Бочаров пододвигал Кире конфеты, варенье, предложил рюмочку коньяку — она отказалась. И все время это беспокойство в глазах...

— Я пойду, — сказала Кира. — Завтра рано на работу.

— Оставайся, — повторила Вера. — Честное слово, чего ты боишься? Нас стеснить? Алешке поставим раскладушку. Он на гвоздях спать может.

— Нет, — сказала Кира, — спасибо. Как-нибудь в другой раз.

Бочаров пошел проводить ее до троллейбуса и скоро вернулся. Вера мыла посуду, он вошел на кухню и прислонился к дверному косяку.

— Она тебе все сказала? — спросил Бочаров.

— Что именно?

— Про Володю.

— Да. Он уехал в Малиновку, на базу.

— Ерунда, — сказал Бочаров. — У него какая-то женщина, понимаешь? Весь завод уже говорит. Такие люди всегда на виду.

Вера медленно вытерла руки. Бочарову показалось — она старается подавить в себе внезапно нахлынувшую боль.

— Она ничего не сказала об этом. Может быть, только догадывается? Жены всегда узнают о таких вещах в последнюю очередь. Ты представляешь, что будет, если она узнает?..

Кире хотелось одного: скорее добраться до дома, вымыться, лечь. Эта внезапная вспышка у Бочаровых, непонятная и неожиданная, словно вымотала ее.

Вымыться, лечь, взять какую-нибудь книжку, хоть немного почитать перед сном. Чтение обычно успокаивало ее. «Как глупо получилось, — думала она. — Совсе незачем было так раскисать».

Когда зазвонил телефон, она торопливо подняла трубку. Первой мыслью было — Володя: там, в Малиновке, был телефон. Но голос был женский:

— Кирочка, вы дома? Я сейчас поднимусь к вам на минутку.

Господи, только ее и не хватало, подумала Кира. Это звонила Чингисханша. Что ей понадобилось в такой поздний час? Она открыла дверь — Чингисханша уже поднималась по лестнице. Наверняка что-нибудь купила — или *достала*, как обычно говорит она, — и не может дотерпеть до завтра.

— Ради бога извините, Кирочка, — сказала Чингисханша, входя. — У вас нет случайно мотка медной проволоки?

Кира удивленно пожала плечами. С таким же успехом она могла бы спросить отбивную из динозавра. Нет, Кира не знала, есть ли у них дома медная проволока.

— А что, Владимира Владимировича нет? — спросила Чингисханша, заглядывая в комнату. — Жаль. Значит, мне всю ночь не уснуть даже со снотворным.

— Зачем вам проволока? — все-таки спросила Кира.

— Как это зачем? А мой радикулит?

Кира не понимала ровным счетом ничего: проволока — бессонная ночь — радикулит. Чингисханша прошла в комнату и медленно опустилась на диван. Это было ужасно. Значит, она скоро не уйдет.

— Вы просто счастливый человек, что не болеете радикулитом. Мне уже не помогает ничего, вот и посоветовали обворачиваться медной проволокой.

Кира невольно улыбнулась. Этой зимой она зачем-то зашла к Заостровцевым, ей открыла Чингисханша, шея у нее была замотана бинтом, на котором проступали желтые пятна. Она почувствовала острый запах, и Чингисханша тут же, в коридоре,

начала объяснять, что у нее ангина и один человек — из поморов — посоветовал прибинтовать к горлу селедку. А теперь вот — медная проволока...

— Напрасно улыбаетесь, милая, — сердито сказала Чингисханша. — Я уж подожду с вашего разрешения Владимира Владимировича? Может, он найдет где-нибудь в своем хозяйстве.

— Его не будет несколько дней, — сказала Кира. — Он в Малиновке.

И снова появилось оно, это чувство тревоги, опять какое-то неясное, из глубины души поднимающееся беспокойство. Может быть, потому, что у Чингисханши как-то странно метнулись глаза. Казалось, она хотела что-то сказать — и сдержалась, с трудом, но все-таки сдержалась и не сказала.

— Странно, что его потянуло в эту Малиновку, — сказала она наконец. — Терпеть ее не могу. Под каждым кустом консервные банки, а за стенкой бренчат на гитаре и тянут: «Ой, поют дрозды-ы-ы-ы...»

(«Ну, долго ли ты будешь сидеть? Ты уже знаешь, что медной проволоки у меня нет, что Владимир Владимирович не придет, а мне с утра раннего на работу, в отличие от тебя. Ну, Газна Николаевна, ну пожалуйста...»)

— И вообще, по-моему, вы, милочка, распускаете своего мужа. Почему бы вам было не поехать с ним? Или опасаетесь семейной аллергии?

— У меня много дел. Два выходных уйдут на уборку и стирку. Лучше, если я буду одна.

— Вот-вот! Нет, я своего ни на шаг от себя не отпускаю. К сожалению, в этом возрасте — я имею в виду пятьдесят — мужчины особенно ненадежны.

— Моему еще сорок девять.

(«Господи, да уйдешь ли ты наконец? О чем ты вообще говоришь? Зачем? Нет, погоди — вот именно: зачем ты все это говоришь мне?»)»

— У вас нет закурить? — спросила Чингисханша. — Я не захватила.

Кира достала из ящика силинского стола початую пачку «Родопи», и Чингисханша закурила. Значит, она будет сидеть еще. И не очень-то было похоже, что ее мучает радикулит: она спокойно потянулась за пепельницей и поставила ее себе на колени.

— Нет, все-таки вы опрометчивы, Кирочка. Владимир Владимирович человек видный, с положением, мало ли что... Мой однажды пытался вильнуть в сторону — я случайно узнала, что у него пассива... Ничего там, конечно, не было, но на всякий случай я такой шум подняла, что ее быстренько убрали из института.

— Зачем вы говорите мне все это? — в упор спросила Кира и увидела, как у Чингисханши снова метнулись глаза. Значит,

разговор не случаен. Медная проволока — только повод зайти. — Что же вы замолчали?

— Знаете, — деланно улыбнулась Чингисханша, — есть один смешной анекдот. Женщин разных наций спросили, что они сделают, если... ну, если их мужья виднут в сторону? Француженка ответила: «Заведу пятерых любовников». Испанка сказала: «Убью обоих». А наша говорит: «Пойду в партком»...

У Кирь мелко дрожали руки. Она почувствовала, как к лицу прихлынула кровь и сразу появилась тупая боль в затылке.

— Вы это рассказали о себе?

— О всех, милочка. Я вас люблю, и мне не хотелось бы...

— Да говорите же! — крикнула Кира.

— Я думаю, Кирочка, вам пора сходить к Нечаеву, — сказала Чингисханша. — Лучше это посоветую вам я, а не кто-нибудь другой.

— Уходите, — через силу сказала Кира. — Слышите! Уходите!

Чингисханша тихо ушла, дверь защелкнулась на французский замок. Кира не помнила, сколько она просидела за столом, охватив дрожащими руками голову. Ей казалось, что там, в голове, что-то должно лопнуть от боли. Когда Кира стискивала ее, боль уменьшалась, будто она ловила и останавливала какого-то злого зверька.

Сколько прошло времени? Час? Два? Три? Ей трудно было даже подняться. Она еще не до конца понимала, что произошло, и лишь пыталась связать между собой какие-то отрывочные воспоминания, мысли, ощущения... Поздние приходы Владимира... Его крик и это движение назад, когда она пыталась обнять его... Это желание уехать одному... Одному? Что-то здесь было не то и не так, ничего не связывалось — и она сообразила почему: просто она еще не до конца поверила в это.

Снова зазвонил телефон, и она не сразу подняла трубку. Ей было страшно услышать голос мужа, а она знала, была уверена, что это звонит именно он. Медленно, очень медленно она все-таки сняла трубку и услышала голос Веры Бочаровой.

— Ты уже дома? Ну, ложись и спи, а я все-таки приеду к тебе в выходной. Ты меня слышишь?

— Слышу, — сказала Кира.

— Тебе опять нехорошо? — тревожно спросила Бочарова.

— Да.

— Кира, погоди... Ты мне все сказала сегодня?

— Нет. А что я должна была сказать?

Вера не ответила. Значит, она тоже знает, как-то равнодушно, без удивления подумала Кира.

— Почему ты не отвечаешь?

— Это правда? — спросила Вера. — Еще ничего не известно. Мало ли что могут болтать люди?

— Кажется, правда, — сказала Кира. Словно бы все разрозненное встало наконец-то на свои места, и она поверила.

— Я сейчас приеду, — сказала Вера каким-то не своим, странным, высоким голосом, будто там, где-то далеко вскрикнула подбитая камнем птица.

Никаких объяснений не было. Кире казалось, что она просто не выдержит их. Она переехала к Бочаровым, оставив дома на столе короткую записку: «Я все знаю. Встречаться нам сейчас будет очень тяжело — и тебе, и мне. О своих дальнейших планах сообщи, пожалуйста, через Николая». Силин, найдя эту записку, облегченно вздохнул: Кира права, объяснение было бы не просто тяжким — оно было бы мучительным для него. Он так и подумал — только о себе. Но откуда она могла узнать? Если знает она, знают и на заводе. Плохо: пойдет дальше... Но теперь ему уже нечего было терять, все пути отрезаны. Он позвонил в редакцию, попросил Воронину.

— Ну, вот и все, Катя, — сказала он. — Хорошо, что обошлось без слез и истерик. Мы живем среди услужливых людей, и кто-то сообщил ей обо всем.

— Что ты думаешь делать дальше?

— Пока переберусь к тебе. Конечно, все это прятанье по углам было унижительным для нас обоих.

— А если тебя спросят...

Он перебил ее. Пусть спрашивает кто угодно. Он любит ее, и она его жена. Дело только во времени: три месяца на развод и месяц перед регистрацией их брака — всего четыре. Как-нибудь ханжи, которым так уж необходима бумажка из загса, потерпят эти четыре месяца.

— Хорошо, Володенька, — сказала Воронина. — Завтра я отвезу Леночку к маме и сразу вернусь. Провожать нас не надо, отдохни, я понимаю, что ты бодрисься, а на душе все-таки кошки скребут.

Он улыбнулся: как она все понимает? На душе и впрямь было нехорошо, но, собирая свои вещи, Силин упорно думал о том, что его вины ни в чем нет. Человек вправе любить, тем более что дома его толкают к другой любви. Когда-нибудь он скажет Кире об этом. Человек вправе любить столько, сколько он может, если только это не ведет к распущенности. Однолюбы вроде Кольки — уникамы или просто бедные душой люди, у них маленькое сердце.

Он думал так, чтобы уговорить, успокоить самого себя. Но вещи, которые он складывал в чемоданы и картонные коробки, с тем же упорством напоминали ему о Кире. Конечно, так будет долго, думал он. Человек не может сразу, вдруг, одним

движением отрубить свое прошлое. А тут — двадцать семь лет...

...Надо будет оставить Кире часть денег.

...Книги он заберет позже, когда все станет ясно с разменом жилья. Интересно, предъявит ли Кира какие-нибудь претензии, например на машину? Ему не хотелось расставаться с машиной, хотя пользовался он ею редко, «Волга» стояла в гараже совсем новенькая.

...Катя уедет дня на три, стало быть эти три дня я проживу здесь, дома, и с вещами можно не торопиться. А там — возьму отпуск и — на Юг. Катя хочет на Юг. Для нее тоже все не так просто, пусть отдохнет. Придется ехать «дикарями» и снимать комнату: в дом отдыха их пока вместе не пустят...

...И перестать думать о том, что кто-то косится на него, кто-то передает с этакой ухмылочкой новость: «А наш директор-то — слышали?..» А кто-то уже строчит анонимки в вышестоящие инстанции, обвиняя его в моральном разложении. Обо всех этих людях он думал с ненавистью, они были однолики, как близнецы, — маленькие, хихикающие, сморщенные, неспособные на большие чувства, хотя исправно бегающие к другим женщинам от своих жен.

На следующий день, утром, Серафима Константиновна вошла и сказала, что его просят к телефону.

— Разве микрофон не работает? — спросил он. — Вызовите монтера и почините.

— Работает, но у меня там посторонние.

— Кто звонит?

— Это вы узнаете сами, — сказала, поджимая губы, Серафима Константиновна и, резко повернувшись, вышла.

Он поднял трубку.

— Владимир Владимирович? Вы меня не знаете, и моя фамилия вам ничего не скажет: Девятов. Я муж... то есть бывший муж Екатерины Дмитриевны.

Голос у него был мягкий и спокойный.

— Слушаю вас, — буркнул Силин.

— Мне надо с вами встретиться, Владимир Владимирович. Всего минут десять — пятнадцать, больше не задержу.

— У меня очень мало времени. Может быть, можно по телефону?

— Нет.

Силину показалось, что человек, разговаривающий с ним, этот незнакомый ему Девятов, которого Катя старалась никогда не вспоминать в их разговорах, улыбнулся.

— Нет. Вы поймите меня правильно, Владимир Владимирович. Я не появлюсь с кастетом или баночкой серной кислоты. Но у двух людей, которых я по-прежнему люблю, начинается другая, новая жизнь... Я говорю о Кате и дочке.

— Хорошо, — сказал Силин. — Сегодня в семь возле кафе «Мечта» вас устроит? Но я вас не знаю, и...

— Я видел вас как-то, — сказал Девятков. — Так что подойду сам.

Черт знает что! Только этого и не хватало — беседовать с бывшим Катиным мужем! Силин нажал кнопку на селекторе и вызвал Серафиму Константиновну. Она вошла не сразу, как это бывало обычно, и Силин сердито сказал:

— Какого дьявола вы мне подсунули трубку? Вы же знаете, с кем я хочу говорить, а с кем нет?

— Я бы просила вас избрать для меня другой тон, Владимир Владимирович.

— Что? — не понял Силин.

— Другой тон, — повторила Серафима Константиновна. — Я знала, кто это звонит. Он сказал сам, и я подумала, что вы обязаны...

— Я никому ничем не обязан! — крикнул Силин. — И если вы хотите дальше работать со мной, прекратите думать о моих обязанностях. У вас хватает своих.

Серафима Константиновна глубоко вздохнула и выпрямилась. Она стояла у дверей навтыжку, как солдат, только пальцы дергались, и она начала теревить юбку.

— Я не хочу больше работать с вами, — сказала она.

Силин поглядел на эти бегающие пальцы, потом на ее лицо. Серафима Константиновна побледнела, только маленький носик был красным, и он подумал: а ведь у нее злое лицо, как я раньше не замечал этого?

— Не понял, — сказал Силин.

— Заявление я напишу через десять минут.

— Пожалуйста, — кивнул Силин. Ничего она не напишет. Час будет реветь на плече какой-нибудь подружки, потом еще час пудрить нос и взбивать свои седые кудряшки. Никуда она не уйдет отсюда. Так, дамские штучки.

— Погодите, — остановил ее Силин. — Укажите в заявлении причину ухода.

— Обязательно, — сказала Серафима Константиновна, уже держась за дверную ручку. — Я не могу работать с человеком, который... который... может топтать всех вокруг себя... даже собственную жену...

— Я жду вас с заявлением через десять минут, — оборвал ее Силин. Внутри все кипело. Скажи на милость, какая ревнительница нравственности! Скорее всего, когда-то ее оставил муж, вот она и взбеленилась. Он сам удивился такой определенности своего суждения о Серафиме: странно, проработали вместе два с лишним года, а я ничего не знаю о ней. Ну, а теперь-то, конечно, и вовсе незачем узнавать...

Через несколько минут он подписал ее заявление. Упрямая дура. Где она еще найдет инженерный оклад плюс премиальные?

В начале восьмого он подъехал к «Мечте». Здесь он собирался поужинать: дома было хоть шаром покати.

Девятов подошел к нему сразу.

У него было мягкое, спокойное лицо. Усы с опущенными концами делали его старше. Ему было, наверно, лет тридцать пять — тридцать шесть. Силин поздоровался с ним кивком, не протянув руки. Он разглядывал Девятова со сложным чувством ревности, превосходства и, пожалуй, некоторой презрительности к этому мягкому голосу и всему облику человека, который когда-то был с Катей. Невольно он сравнил его с собой. Мысль, что вот тебе тридцать пять, а мне почти пятьдесят, а Катя будет моей женой, — мысль эта оказалась приятной.

— Надеюсь, мы будем говорить не здесь? — сказал Силин. — Хотите чашку кофе?

— Пожалуй, — ответил Девятов.

В дверях Силин пропустил его вперед и увидел едва прикрытую лысину. Вот тебе и тридцать пять!

— Я буду ужинать, — сказал Силин, садясь за столик. — А вы?

— Нет, нет, — пожалуй, чуть поспешно ответил Девятов, и Силин уловил эту поспешность. Значит, нервничает. Сам он был совершенно спокоен. — Я даже не буду пить кофе и уйду через десять минут.

Силин мысленно усмехнулся: Серафиме понадобилось десять минут, этому хлюпику тоже десять минут...

— Вот что, Владимир Владимирович... Я не буду ничего говорить о Кате. Она сделала выбор — это ее право. Я хочу поговорить о своей дочке. Теперь она будет все время рядом с вами, и я надеюсь, вы не станете выдавать себя за ее отца?

— Нет.

— Спасибо. Это значит, что вы не будете против, если я стану встречаться с ней? Скажем, брать к себе на выходные дни?

— Конечно!

Девятов опять благодарно кивнул.

— И не станете восстанавливать против меня?

— Разумеется. Это все?

— Нет. — Он долго молчал. — Мне рассказывали о вас, как о человеке... ну, не очень сдержанном и порой грубом, уж извините меня...

— Давайте, давайте, — подбодрил его Силин. — Все так и есть на самом деле, все правда.

— Так вот, девочка уже многое понимает, и мне горько, если она почувствует эту... несдержанность на себе. У нее не очень крепкое здоровье... Вот, пожалуй, теперь все.

Под конец он разволновался, от прежнего спокойствия не осталось и следа. Девятов мям пальцы, и Силин с удовольствием наблюдал за ним. Ну что, мальчишечка? Сидишь перед мной, как щенок, и лапки кверху?

— Я много работаю, — сказал Силин. — Скорее всего, я буду уезжать, когда ваша девочка еще не проснется, а приезжать, когда она уже спит. Это вас успокаивает?

— Не очень. Дети быстро растут.

— Слушайте, — тихо сказал Силин, кладя локти на стол и перегибаясь к собеседнику, — я не выношу, когда кто-то делает не то, что нужно мне. У меня начальники цехов и служб по струнке ходят. Неужели вы всерьез думаете, что я не справлюсь с ребенком? Я не педагог, но через несколько месяцев это будет послушная и исполнительная девочка.

— Вот этого-то я и боюсь, — так же тихо ответил Девятков. — Не хочу вас пугать, но если... если я замечу, что ей хоть на час плохо... я обращусь в суд, в обком, в ЦК.

Силин откинулся на спинку стула. Вот как? Начал с просьб, а кончил угрозой.

— Это не тон разговора со мной. Я как-то не боюсь угроз. Если у вас все, мне бы хотелось поужинать спокойно.

Девятков встал. Губы у него так и прыгали. Он ушел, не попрощавшись, торопливо, стараясь не до конца показать свое волнение. Силин поглядел на часы: они разговаривали минут пять. Пять минут, а мальчишка совсем раскис — вон, даже пригрозил напоследок. Конечно, не будь ребенка, все было бы проще. Силин не знал, как он станет привыкать к девочке. Да и надо ли привыкать? Есть бабушка, есть отец...

Неожиданно он попросил официантку принести ему кофе с коньяком. Да, рюмку коньяку. Он выпил коньяк залпом, сам не зная, зачем это ему понадобилось, — впрочем, коньяк и кофе подбодрили его, и, когда Силин выходил из кафе, настроение у его было просто отличное, как всегда бывало после какой-нибудь удачи.

Он отпустил машину и шел домой пешком, чувствуя во всем теле легкость, стремительность, мощь, — и толпа обтекала его. Он высился над людьми и ловил на себе женские взгляды. Это было как в молодости. Вот, оказывается, как приятно идти пешком, а не ездить в машине.

Уже подходя к дому, он заметил знакомую чуть сутулую фигуру у входа. Человек стоял и курил. Первой мыслью было — повернуться и уйти и погулять по улице еще час-полтора. Но человек уже заметил его и откинул в сторону папиросу. Тогда Силин, на ходу доставая ключи, подошел к нему и спросил:

— Ты ждешь меня?

— Да, конечно, — сказал Николай.

— Душеспипательный разговор, как я понимаю? Извини, устал. Да, честно говоря, разговаривать мне как-то не очень хочется.

— Так ведь все равно придется, — вздохнув, сказал Николай. — Куда ты от такого разговора денешься?

Еще один на сегодня — не слишком ли много?

Они вошли в квартиру, и Силин усмехнулся, заметив, как Николай нерешительно замялся в прихожей. У них, у Бочаровых, положено надевать тапочки.

— Проходи, — сказал Силин. — И давай сразу. Ну?

Николай молчал, приглаживая ладонью волосы.

— Что же ты оробел? Где-то у меня должна быть бутылка виски — хочешь? Для храбрости.

— Не надо, Володя, — поморщился Николай. — Я пришел узнать, что все-таки случилось? Мы же не чужие с тобой, и Кира тоже не чужая.

— Ты, оказывается, любопытный?

— Нет. Просто никак не могу понять. Думаю, верчу так и этак — и ничего не понимаю. Разве так можно?

— Почему же нельзя? — в свой черед спросил Силин. — Ну, ушел человек от одной женщины к другой — обыкновенный житейский случай, не я первый, не я последний.

— Нет, — тихо сказал Николай. — Я о другом спрашиваю — почему ты ушел? Полюбил? Другую? Не так все это, Володя. Конечно, советская власть не пострадает оттого, что ты бросишь Киру, а вот ты сам?

— Тоже не пострадаю.

— Знаю, — вздохнул Николай. — Ты ведь по своим собственным законам теперь живешь. Дескать, вон я сколько обществу дал — и воевал, и работал дай бог как, — ты это любишь повторять. Положения добился. Значит, могу и для себя сделать, что хочу! Остальным — нельзя, а мне вот — можно. Я же — Силин!

— А ты бы не думал за меня, тем более так.

Бочаров ждал взрыва, но Силин, резко повернувшись, начал разглядывать его с удивлением и интересом, будто впервые увидел и старался догадаться, кто же это такой и откуда взялся. Это было непохоже на Силина.

— А ты шустрый, оказывается! — сказал наконец Силин. — Зайчик с прижатыми ушками. Есть такие храбрые зайчишки. И думаешь ты, брат Коля, тоже по-заячьи: капуста есть, морковка есть, ну а все остальное уже для волка. Две морали, говоришь? — Он сунул окурок прямо в цветочный горшок. — А ведь понял наконец! Может быть, на том и расстанемся, а?

— Ты даже не спросил, как Кира. Это тоже морально?

— Лучше говорить — нравственно, — поправил его Силин. — Так как Кира?

— А позвонить самому и узнать — страшно? — спросил Бочаров. — Может быть, стыдно? Брось все это, Володя. Она тебе простит. Это я точно говорю.

— Нет, — сказал Силин. — Не могу и не хочу. И давай, действительно, кончим на этом. Слишком много сегодня объяснений и разговоров.

Николай встал и пошел к двери. Ему было тяжело уходить вот так из дома, в котором он любил бывать и который, наверно, уже кончился для него. Есть только стены с картинами, памятными еще по детским временам, есть старинная мебель, есть часы с Меркурием — а дома уже нет...

— Погоди, — остановил его Силин. — Вот что я хочу сказать тебе напоследок, авось тоже поймешь. Получилось так, что у меня начинается совсем другая жизнь. Мне не хотелось бы брать в нее многих людей из прошлого.

— Я понял, — тихо ответил Бочаров. — И я не удивлюсь, если теперь при встрече ты даже не поздороваяешься со мной.

Когда он ушел, Силин вытащил ящики письменного стола и вывалил все, что там было, на диван. Ему надо было отобрать то, что будет необходимо потом, после, в другой жизни. Фотографии, пачки каких-то поздравительных адресов, телеграмм, красные коробки с орденами и медалями, документы и снова коробки с разным рыболовным скарбом — в картонку. Потом разберусь.

Он не предполагал, сколько ненужного хлама собралось здесь за годы. Старые, испорченные зажигалки, давно не пишущие шариковые ручки, которые он привозил из-за границы, лекарства, которые уже, наверно, нельзя принимать, потрепанные колоды карт, сломанные запонки, огарки свечей и бог знает что еще. Черт с ним, со всем этом бараклом... Он принес из кухни мусорное ведро и бросал туда все ненужное пригоршнями. Все. Ведро надо вынести. Он открыл дверь — на площадке стояла Чингисханша.

— Я к вам, — сказала она, улыбаясь и стараясь сбоку заглянуть в коридор. — Что, Кирочка уже пришла?

— Нет, — резко ответил Силин, — и, наверно, не скоро будет.

— Владимир Владимирович, голубчик, — деланно взмолилась Чингисханша. — Нет ли у вас случайно мотка медной проволоки?

Он поставил ведро и пошел искать в своих ящиках медную проволоку. Где-то должен быть моток проволоки. Чингисханша шла следом, и он не замечал, как она озирается, оглядывается, будто стараясь найти перемены, ворвавшиеся в этот дом.

23. ПТИЦА НА ЛЕСНОЙ ДОРОГЕ

Алексей думал, что вот такое с ним случилось впервые в жизни, и от него потребовалось усилие, чтобы выдержать. Он не знал даже самого малого горя — такие люди всегда растут легко и счастливо, но в них уже заранее заложена опасность так же легко сломаться при первом серьезном испытании. Алексей не сломался. Очевидно, кроме легкости и той

счастливости была в нем еще и прочность, которая выручила его, когда это потребовалось.

А ведь все началось в тот день чудесно, и Васька Бесфамильный вошел в цех с этакой ухмылочкой фокусника, который вот-вот вытащит у тебя из уха курицу.

— Все собрались? — спросил он и повернулся к дверям. — Вуаля!

И при слове «вуаля» в цех вошел Еликоев, чуть смущенный, улыбающийся, и протянул руку бригадирю Федору Федоровичу — дескать, извини и забудь, что было. Федор Федорович малость удивился и выразился несколько непарламентски, что можно было услышать от него в минуты либо крайнего раздражения, либо удивления. Итак, он выразился совсем нехорошо, но руку в ответ протянул и заулыбался, а потом к правой своей руке добавил и левую, и Еликоев тоже добавил левую, а потом рукопожатие пошло по кругу. И когда Еликоев дошел до Алексея, то вспомнил, конечно, ту его недавнюю впешку.

— Ну что, длинный? Теперь-то по нулям?

— Давай, — сказал Алексей. — Говорят, когда второй раз на прежней жене женишься, это уж навсегда.

— Опытный, — хмыкнул Еликоев.

— Я ж сказал — «говорят».

А Васька (стервец Васька, ах, какой актер Васька!) стоял в сторонке, будто был ни при чем, и рожу делал постную — мол, работать пора, братцы, план давать, а не хлопать друг дружку по костям. «Ну, что? Давай!» — вот такая у него была тогда физиономия.

Как все это ему удалось, Алексей решил узнать потом. Договорились двинуть после смены всем гамузом в заводское молодежное кафе и скромно отметить «возвращение блудного токаря» — так сказал Васька. За счет блудного токаря, разумеется. И Федор Федорович, конечно, согласился — если, конечно, скромненько. Потому что он точно знает, ежели нескромненько — у токаря назавтра и глаз, и рука не те, не те...

В обед Алексей сбегал к отцу и сказал, что он придет домой позже: опять надо посидеть с ребятами, сам понимаешь, такой случай. Отец пробурчал, что не слишком ли много случаев за последнее время, — впрочем, сам взрослый, сам понимаешь... Сзади раздался смех, Алексей обернулся — Нина Водолажская. Вот и хорошо, пойдет с нами, так что я буду под крепкой опекой. Нина, все еще улыбаясь, сказала, что она не может пойти. А смешно ей оттого, что отец так бурчит на Алешку.

— Да на нем клеймо ОТК некуда ставить!

Все-таки он подошел к Нине и еще раз попросил пойти с ребятами:

— Я тебя очень прошу...

— Хорошо, Алешка. Но я не хочу одного...

— Препрежних разговоров,— сказал он.— Это я обещаю. Это я усек.

Что ж, вечер и впрямь оказался неплохим. Взяли по такому случаю две бутылки шампанского, но Васька все-таки вытащил из кармана «пузырек», плоскенькую такую бутылочку с водочкой, поскольку Федор Федорович, как ему известно, насчет вин не очень — и они, весело оглядываясь, разлили водку по фужерам и — здоровье блудного токаря! Ну, а шампанское пошло уже «вдогон», как сказал Федор Федорович, отнюдь не отказавшийся от этого славного винца.

И наперебой танцевали с Ниной, и пили за ее здоровье и спрашивали, не ревнив ли ее муж, если она может позволить себе посидеть вот так вечерок в мужской компании. Алексей сказал: «Он не ревнив, он в командировке» — и вот тогда увидел в дверях очень знакомую девушку.

Она стояла и глядела на него, потом медленно пошла к их столику. Алексей еще не узнал ее, но где-то внутри четко сработала связь: эта девушка и Лида. Ну, конечно, она из пединститута и живет с Лидой в одной комнате. Они виделись на лестнице общежития раза два или три.

И что-то такое было в лице этой девушки с рыжими волосами, что Алексей, стремительно отодвинув стул, шагнул к ней и замер: это было уже предчувствие беды, когда все внутри похолодело и ноги перестали слушаться, — да что вы молчите? Он сам не мог слова сказать, только глядел на эту рыжую и мысленно кричал: да говори же ты, дурища этакая!

— Лида в больнице, — наконец-то тихо сказала она. — Я могу вас проводить. Я не знаю никаких подробностей, только то, что она попала под машину.

Алексей обернулся. Лица плыли перед его глазами. Он услышал только голос Бесфамильного:

— Шабаш, братцы. Я еду провожать Алешку.

Никто ничего толком не знал — ни эта рыжая Лидина соседка Галя, ни девушка в справочном бюро больницы, куда Алексей, рыжая и Бесфамильный приехали через несколько минут на такси.

Алексей сел на скамейку. Его пошатывало, даже когда он сел и Бесфамильный придвинулся к нему всем телом. Рыжая что-то говорила — вроде бы объясняла, как оказалась в кафе... Сунулась в Лидину записную книжку, какой-то мужчина — отец Алексея, наверно, — и дал адрес кафе. Алексей не слушал ее. Он думал только об одном: как случилось и что случилось? Эти четыре слова, повторяемые раз за разом, были невыносимы, и он хрипло спросил:

— Ну почему же?

Ему просто надо было перебить любимыми словами невыносимые те четыре.

Утром Лида, поняв, что все равно экзамен ей сегодня сдать, даже не пошла к своей группе. Она знала, что Кричевский любит сдавать экзамены раньше всех, и села в вестибюле на подоконнике. Сначала был страх — не пойти сдавать экзамен! Потом — равнодушие. Потом появилась даже некоторая веселость — ну, вот не пошла, и все тут, хоть режьте меня на куски! Знакомые окликали ее: «Что толкнула?» — и она отвечала с улыбкой: «Ничего. Отдыхаю». И только тогда, когда на верхней площадке показался Кричевский, слезла с подоконника и помахала рукой.

Ей показалось, что Кричевский на какое-то мгновение остановился, — зачем? Думал, что не заметила? А, все равно. Он спускался неспешно, на ходу набивая табаком свою трубку, и она увидела, что у него усталые глаза.

— Ну как?

— Как всегда, — равнодушно пожал он плечами. — А ты?

— А я никак. Вот взяла и не пошла сдавать. Имею же я на это хоть маленькое право?

— Что ж, — искоса поглядел на нее Кричевский. — Но после маленького права в таких случаях наступают большие неприятности.

— Я не боюсь никаких неприятностей.

У нее было уже просто чудесное настроение!

— Никаких? — переспросил Кричевский, и она снова заметила, как он косит на нее глазом. — Давай подождем Эдьку, он скоро выскочит. А ты сегодня какая-то... Словом, такой я вижу тебя впервые. Или прическа...

Она засмеялась. Ранним утром, решив, что не пойдет на экзамен, она закатилась в центральный салон «Красота», и парикмахерша сделала ей такую прическу, что с соседних кресел на нее глядели с откровенной завистью.

— Подождем, — кивнула она и снова села на подоконник. Узенькая юбка приподнялась, и Кричевский поглядел на ее высоко открытые ноги. Она не сделала ни малейшего движения, чтобы натянуть ее ниже на колени.

Она торжествовала, когда мимо прошли те самые третькурсницы и Кричевский только приветственно помахал им рукой. Они что-то сказали друг другу, оглядев Лиду одним движением глаз, одним взглядом, — и враз усмехнулись крашенными губами. А Лида торжествовала! Что-то вдруг сразу изменилось в этом мире — солнечный теплый день, и Кричевский рядом, его загорелая шея (когда только успел?), и крутой подбородок, и рот, сжимающий трубку...

Потом выскочил Эдька, как чертенок из коробки, лохматый, сияющий: «Схватил четвертак!» — и скатился с лестницы.

— Куда двинем? В такой день надо целоваться и петь.

— Я устал, — сказал Кричевский. — В отличие от тебя, я получил «пятишню», а это потребовало некоторых дополни-

тельных усилий. И вообще, дружище, один великий сказал, что образование не дает ростков в душе, если оно не проникает до значительной глубины. У нас сегодня разные глубины, малыш.

— Брось, — сказал сияющий Эдька. — Я тоже могу шпарить из Протагора. А у меня есть честно заработанная десятка, и вот вам ключи, мотайте ко мне и ждите вина и прочего.

— Идет? — быстро спросил у Лиды Кричевский.

— Идет!

Все, все было хорошо, и она не заметила того, как Кричевский и Эдька обменялись быстрыми взглядами, и того, как заторопился Кричевский:

— Возьмем такси?

— Зачем? Лучше пешком.

— Чисто женская логика! Эдька явится раньше и будет проклинать нас на лестничной площадке!

Все, все было хорошо! Даже то, что она не пошла сдавать экзамен, — велика ли беда? Лиду не покидало чувство полной освобожденности, раскованности, и ей казалось, что наконец-то, вот сегодня, сейчас, когда она шла с Кричевским к стоянке такси, именно сегодня и сейчас все в жизни изменилось чудесным образом и отделило ту маленькую девочку-провинциалочку, живущую при папе и маме, от нынешнего, уже взрослого и самостоятельного человека. То, что она любила этого большого, красивого парня, который шел рядом, на ходу попыхивая своей трубкой, уже само по себе было для нее приметой наконец-то наступившей взрослости, которую она так ждала и сейчас словно приветствовала ее приход не сходящей с лица улыбкой.

Во всей ее предыдущей жизни еще не было ничего подобного, ничего схожего с этим чувством. Разве что только в детстве, на Черном море, когда одна волна поднимала и опускала ее на прибрежную гальку, потом находила, набегала другая и все повторялось: теплая волна, захватывающий дух взлет — и вновь обретенная твердь под ногами... Скорее, скорее обратно, к волне, ворваться в нее, раскидывая руки, и оторваться от дна, откинуться всем телом — и увидеть над собой небо. Волна, ты и небо — вот и все, что есть на белом свете. И сейчас тоже было так или почти так — ослепительный день, ощущение несущей волны и радостное, счастливое ожидание. Ожидание чего? Этого она и сама не могла бы сказать. Но ей казалось, что там, впереди, будет счастье...

Все, все было хорошо! В машине Кричевский взял ее руку в свою, и она с удивлением ощутила твердость его ладони.

— Что-то я не понимаю тебя, — сказал он, — не пошла сдавать экзамен, а радуешься, будто у тебя уже диплом с отличием.

— А ты всегда живешь строго по расписанию? — спросила Лида. — Никаких отклонений? Ну, а у меня сегодня день отклонений. Наверно, у каждого человека должен быть хотя бы один такой день, когда можно вытворять все, что угодно.

— Все? — переспросил Кричевский. — А что скажут мама и папа?

Она поняла. Юрий просто поддразнивает ее. Если бы он курил сигареты, она попросила бы закурить. То-то у него вытянулось бы лицо! Одна затычка — вот тебе мама! Другая — вот тебе папа! Она тихо засмеялась, представив себе, как бы отнеслись родители к тому, что она курит.

— Пошутила сама с собой? — спросил Кричевский. — И как, удачно?

— Ты действительно ничего не понимаешь, — сказала Лида. — Но я тоже не понимаю ничегошеньки. Совсем как пьяная, и голова кружится...

— Понимаю, — очень тихо ответил Кричевский.

Все, все было хорошо, и она снова не замечала, как спешит Кричевский. Не заметила, что он не сразу сумел открыть дверь, а потом проверил, хорошо ли она заперта. И вдруг, подойдя сзади, обнял ее.

— Лида!

— Что? — шепнула она.

— Ты...

— Да, да... Ты же знаешь... Уже давно...

И снова накат жаркой волны, нет — обжигающей волны, когда кажется, что плывешь, раскинув руки.

Вот оно! Наконец-то! То, чего она ждала, пришло к ней. Она отвечала на его поцелуи торопливо, жадно, неумело, и не сразу почувствовала, что его ласки стали настойчивее, а руки — грубее. Тогда она выставила локти и уперла в его грудь.

— Зачем ты так? Не надо...

— Но ведь ты сказала сама...

— Сказала. Я люблю тебя. А ты?

— Все это потом, Лидочка, — задыхаясь, ответил Кричевский. — Все потом... Все слова... Это неважно сейчас...

— Неважно?

— Скоро вернется Эдька, и...

— Ты меня любишь? Я должна это знать.

Она спрашивала об этом настойчиво, требовательно, не опуская рук, ее локти по-прежнему упирались в грудь Кричевского, — ей надо знать это точно, все до конца. Да или нет? Да или нет? Ведь это и есть для меня *самое важное*...

— О чем ты говоришь? Я хочу быть с тобой. Мы уже не дети, Лидочка.

— Значит, ты не любишь меня? — догадалась она, еще не веря в эту догадку. Ей просто было нужно услышать его протест. — Значит, у тебя это просто так?

Он не ответил. Он нетерпеливо дернулся, силой опустил ее руки, снова обнял, и снова все поплыло у нее перед глазами.

— Отпусти!

Кричевский не отпускал. Он уже не мог сдерживать себя. И то, что должно было произойти вот сейчас, вдруг сразу уничтожило в Лиде все необыкновенные ощущения сегодняшнего дня. Ей стало и страшно, и отвратительно, и горько, и, собрав все силы, она старалась скинуть с себя наваливающуюся грубую тяжесть — скинула, вырвалась, вскочила, бросилась к двери, повернула ключ, распахнула дверь и побежала вниз. *Вот зачем я была ему сегодня нужна! Просто так... Просто так...* И, пока она бежала по улице, сама не понимая, зачем бежит, в голове стучало одно и то же: «Просто так». Ей хотелось скорее добраться до дома, до общежития, остаться одной. «Просто так». Троллейбус стоял неподалеку от перехода, на остановке, и она побежала через улицу. Она не видела машину, которая вынырнула из-за троллейбуса: «Просто так» — это было последнее, что подумала Лида. Она не почувствовала ни удара, ни боли, ни страха — ничего. «Просто так» — и темнота, как сон.

Майор Савун приехал в Большой Город ночью один — его жена отдыхала в Гагре, — и Алексей встретил его на вокзале. Они обнялись.

По дороге домой Алексей сообщил Савуну все, что ему удалось узнать. Лида попала под самосвал. Остановить тяжелую машину шофер не смог — Лида выскочила из-за троллейбуса прямо под колеса. Так что шофер не виноват. К Лиде пойдут только завтра и то на несколько минут. Два дня она пролежала в реанимации: три перелома, один тяжелый, сотрясение мозга... Лечащий врач сказал — выздоровление будет долгим.

— Да, — сказал Савун. — Плохо все вышло. Мы с матерью как чувствовали, когда отправляли ее. Все-таки большой город...

Бочаровы не ложились, ждали гостя, и, когда Алексей пропустил майора в прихожую, то даже смутился. Отец и мать были одеты как на званый прием! И стол накрыт, и графинчик на столе с калгановой — особой отцовской настойкой.

Ужин был коротким. Майору было постелено в комнате Алексея, сам он поставил раскладушку на кухне. На эти несколько дней, что майор собирался прожить здесь, Кира ушла к одной из подруг. Вовсе незачем трогать кого-то своими бедами, да и просто тесно... Когда Савун лег, Алексей тихонько постучал, спросил (как живуча привычка!):

— Разрешите, товарищ майор? — вошел и сел у своего сто-

ла. — Я на одну минуту. Принести на ночь холодного чайку? Или боржоми? У нас там, по-моему, навалом.

— Спасибо, Алеша. Ты шагал бы спать.

— Так все равно не уснуть. Это я железно знаю. Вы приехали — все вспомнилось, ну, и...

— А что вспомнилось?

— Ну, застава, ребята... Как вы нас в первые дни по восемнадцать часов на дозорке тренировали... Повар был — Ленька Гульбин, — как конец месяца, весь остаток перца и лаврового листа в еду накладывал... «Ешь, раз солдату положено!» Он улыбался в темноту этим воспоминаниям.

— Да, — сказал Савун. — Два года, а это, брат, ты и детям и внукам еще рассказывать будешь. Эх, Леша, до чего жалею, что ты демобилизовался, знал бы ты!

— Не смог, — тихо сказал Алексей. — Все-таки я из Большого Города. И еще Лида...

Это получилось как-то само собой. Они долго молчали.

— Дай закурить, — попросил Савун. — Так ты что ж, весь этот год...

— И еще полтора до этого.

— Она знала?

— Да.

— Ну и что?

— Ничего.

Савун приподнялся на локте и, щурясь, прикурил от Алешкиной зажигалки.

— Это бывает, — грустно сказал он. — Ты только не сдавайся, парень. И вот еще что: пойдём к ней завтра, но первым пройдешь ты. Понял?

Потом он лежал в кухне на раскладушке, закинув руки за голову, и думал, что майор не прав и Большой Город здесь ни при чем. Он любил Большой Город верной любовью настоящего горожанина, — город, где делают турбины, поднимают дома, целуются над рекой в парке, играют в настоящий футбол, пьют пиво у ларька, ездят в такси, ходят друг к другу в гости или на гастроли знаменитых артистов, — и вдруг подумал, что теперь это все надолго уйдет из его жизни.

Эта мысль была такой неожиданной, что он даже поднялся. Ну да, ну конечно! Как это только раньше ему не приходило в голову! Еще есть Новая Каменка — всего семнадцать километров от заставы, где после больницы долго будет жить Лида. И замотанный, заваленный делами и заботами директор совхоза, бывший старшина заставы Линева. И мастерские, и укоризненные слова Линева, что коммунизм, между прочим, не только в городах строят...

Все встало на свои места. И завтра я увижу Лиду...

Если у Бочаровых гостя ждали и готовились к его приезду, к Нечаеву гость в ту ночь явился уж совсем неожиданно.

Сначала, около одиннадцати, раздался телефонный звонок, и Нечаев не сразу догадался, кто это. Притугин? Какой Притугин? О, господи, Константин Иванович, да что стряслось в такой час? Уже по одному тому, как сбивчиво говорил Притугин, нетрудно было догадаться: человек под хмельком.

— Мне надо вас увидеть. Вот сейчас. Можно?

— Константин Иванович, может, подождем до завтра? Устал, и жена спит, и ребята спят.

— Я на пятнадцать минут, — сказал Притугин. — Вы только не думайте, что я очень пьян. Так, самую малость. Это очень важно для меня лично. Если не сегодня, то никогда.

— Вы знаете, где я живу?

— Через два дома от меня. Я даже не буду вам звонить, а так, поцарапаюсь в дверь, как кот с гулянки...

Нет, подумал Нечаев, пожалуй, не просто под хмельком главный бухгалтер, а крепко хватил, иначе не стал бы звонить вон когда! И, конечно, ничего особенного не случилось, какая-нибудь пьяненькая обида, вот и все. Но ничего не оставалось делать, кроме как сидеть и ждать Притугина. Он даже открыл дверь на лестницу и скоро услышал неровные шаги. Притугин вошел, пошатнулся и снял кепку.

— Извините, — сказал он шепотом. — Нам бы на кухню, а? И дверки, дверки прикрыть.

Глаза у него были набрякшие.

— Идемте на кухню, — так же шепотом отозвался Нечаев. — И садитесь, пожалуйста. Что у вас среди ночи стряслось?

— Скажите, у вас нет для меня одной рюмки чего-нибудь, и я сразу же перейду к делу.

— Пожалуйста.

Он поставил перед Притугиным давно початую бутылку коньяка: как-то под вечер зашел Званцев, и они выпили с кофе. Притугин налил себе стопку и выпил залпом.

— Я почти не закусьваю, — сказал он, — так что не беспокойтесь. Я вот его водичкой сейчас запью... Спасибо, товарищ Нечаев. А я к вам виниться пришел. Большой виной виниться.

Это было уже что-то другое.

Странно: выпив рюмку коньяку, Притугин словно протрезвел. Во всяком случае, он уже ни разу не сбился, рассказывая, как его вызвал к себе директор и распорядился включить в промежуточный отчет продукцию не строго по стандарту. На обычном языке это называется просто — припиской, но зато все было в ажуре с планом.

— И вы подписали?

— Все подписали. А вы сами иногда не чувствуете себя перед ним как кролик перед удавом?

— Нет. Но, Константин Иванович, ведь вы — лицо, от директора не зависимое, вы подчиняетесь непосредственно главбуху...

— Э-э, — протянул Притугин, — это на словах. А на деле, если директор захочет прихлопнуть главбуха, он это сделает. Так вот, я пришел сообщить вам, что я, Притугин, пошел на приписку к плану.

— И для этого надо было так... выпить, Константин Иванович? Без этого партийная совесть промолчала бы?

— Испугалась, — поправил его Притугин. — Люди-то все разные, товарищ Нечаев.

— Между прочим, меня зовут Андрей Георгиевич, — улыбнулся Нечаев. — Но я как-то догадывался об этом. Я-то видел, как шли дела. Да вот — болезнь свалила, потом отпуск... Я понимал, что здесь что-то не так, и, грешным делом, побаивался обратиться к вам. Мне казалось, что вы захлопнетесь, как улитка в створках...

— А я и захлопнулся. Сколько месяцев сидел в этих створках. Вы понимаете, товарищ Нечаев?

Странный был этот разговор в полночь, за бутылкой коньяка, это полупьяное признание, и, быть может, в другое время и при других обстоятельствах Нечаев повел бы себя с таким гостем иначе.

Проводив Притугина (пришлось сказать, что все равно надо вывести погулять собачонку), Нечаев вернулся в сущем смятении. Проверить то, о чем рассказал ему Притугин, не составляло большого труда. Ну, а дальше что? Тяжелый разговор с Силиным? Конечно, без этого объяснения ничего дальше не будет. Я должен понять, *почему* он так поступил? В конце концов, мы все могли бы объяснить в министерстве. Или это уже боязнь за прочность своего директорского кресла? Во всяком случае, у каждой лжи должен быть свой мотив. Даже ложь во спасение все равно ложь. Это только смертельно больному надо лгать и говорить, что он обязательно встанет. Вся остальная ложь не имеет никакого нравственного оправдания.

Силин...

Что ж, Нечаев не раз думал о нем, пытаясь как можно глубже спрятать свою антипатию к директору, возникшую не вчера и не позавчера. В последнее же время он чаще, чем обычно, возвращался мыслями к Силину и все гнал, все прятал от самого себя то плохое, что претило его собственным взглядам и понятиям. Эти слухи о какой-то женщине... Он даже не стал выяснять, насколько они правдивы, — зачем? — но к тому образу Силина, который он создал для себя за годы, вдруг прибавилась еще одна неприятная черта.

А может, напрасно? У Чехова есть чудесный и грустный

рассказ «Невидимые миру слезы», и, как знать, может, в семейной бездетной жизни и кроются эти силинские невидимые миру слезы? Ведь мы никогда не говорили с ним о своих семьях. Я знаю о нем столько же, сколько он обо мне...

Но ладно — это в сторону. А может, и не в сторону? Молодая женщина, а ему пятьдесят, и надо быть все время «на коне», тут любая неприятность скажется и на новых отношениях... Он снова откинул эту мысль. Пусть уж французы говорят свое «cherchez la femme» — «ищите женщину», нет, тут дело совсем в ином: в старом складе, который вошел в нестарого человека. От тех времен, когда приписки, очковтирательство были явлением, которое партия осудила раз и навсегда. От тех времен, когда даже иные крупные руководители способны были закрывать глаза на истинное положение вещей. От той внутренней нечестности, потому что для него, Нечаева, партийность — это прежде всего честность.

А почему же он все-таки пошел на приписки?..

Медсестра остановила Алексея у дверей палаты, и, как он ни спешил увидеть Лиду, пришлось остановиться: палата все-таки женская. Дверь была закрыта неплотно, и он услышал голос Лиды: «Ко мне? Кто?» Медсестра не ответила — или он не расслышал ее ответа. Он услышал другой голос: «А вы застегните мне только халат» — и медсестра вышла. За ней вышла тучная женщина с рукой, закованной в гипс. Рука была далеко отставлена вперед, и казалось, что к живому человеку приставили руку от статуи из ЦПКиО.

— Входите, входите, — улыбнулась тучная. — Она молодчина, совсем уже ничего, скоро плясать будет.

Лида медленно повернула к нему голову и сказала тоже медленно, через силу:

— Алешка!

Улыбка была едва заметной.

— Алешка!

Он торопливо подошел к кровати.

— Ты не говори, тебе вредно говорить.

— Нет, — снова еле заметно улыбнулась Лида. — Вредно под машины попадать, Алешка!

Она повторила его имя в третий раз, словно еще не веря, что Алексей пришел, вот он — в халате, который ему мал, руки почти по локоть торчат из рукавов.

А он вглядывался в Лиду с жадностью — в это сразу исхудавшее, изжелта-бледное лицо с глубокими темными кругами вокруг огромных глаз, которые, казалось, стали еще больше, в эту руку, которую она хотела и не могла поднять. Тогда он сам взял ее руку.

Снова вошла медсестра с литровой банкой и взяла у Алек-

сея цветы. А он все держал, все не отпускал Лидину руку и не садился — его предупредили: три минуты, не больше.

— Очень больно? — тихо спросил он.

Лида не ответила.

— Там, в коридоре, твой отец, — сказал Алексей. — Я сейчас уйду, а он посидит подольше. Ты всегда была молодчиной, Лидуха. Помнишь, на дороге, с лосем? — Она снова едва улыбнулась. — Так ты не показывай отцу, что очень больно. А я завтра приду. И послезавтра...

— Алешка, — четвертый раз сказала Лида и заплакала, отворачиваясь.

Алексей испугался. Наверно, ей нельзя плакать. Он опустился перед кроватью на корточки.

— Ну, зря, честное слово, зря, Лидуха. Все заживет.

— Ты же ничего не знаешь!

Неожиданно он поднес ее руку к своим губам и замер. Лида все плакала, а ему хотелось закричать, что плевать на все, что он ничего не хочет знать, ему вовсе не надо ничего знать, лишь бы она скорее выздоравливала — вот и все, что ему надо. Он прижимал к лицу Лидину руку, тонкую, холодную, прижимал бережно, будто боясь неосторожным движением причинить Лиде лишнюю боль, — и вдруг спросил:

— Слушай, мне идет белый халат, а? Может, бросить токарить да в медицинский?

Это было так неожиданно, что Лида повернулась к нему — глаза полные слез, лицо Алексея как за мутной пеленой, — и с явной, ясной отчетливостью перед ней встала дорога и птица с опущенными крыльями, ковыляющая по ней, — птица, отводящая беду от своего гнезда. Так ведь он сейчас — та же птица, подумалось ей.

Она снова плакала, и ее голова моталась по подушке. Алексей испугался. Мало ли — ей нельзя двигаться. Он выглянул за дверь: та толстуха — соседка по палате — замахала на него здоровой рукой.

— Пусть плачет сколько угодно, это так положено.

Он вернулся и сел. Потом ладонями осторожно остановил ее мечущуюся голову и легко сжал руки. Лида открыла глаза — два блюдца, полные слез.

— Глупенькая, — сказал он. — Ну, поревела и хватит. Зато теперь я тебе точно гсворю: никуда ты от меня не денешься.

24. ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА

(Продолжение и окончание)

Вот теперь можно было и отдохнуть! Силин уже приказнул: сначала в Ялту, потом куда-нибудь в место поглуше, побезлюднее и — месяц чудесной, бездумной жизни с Катей, купанье по ночам, когда кругом мерцает, светится вода, и тепло, и никто не позвонит, не придет с очередной неприятностью, не бу-

дет о чем-то просить, что-то доказывать, портить нервы. Наконец-то!

Нетерпение было слишком велико, и каждый день, проведенный здесь, на заводе, словно обкрадывал его, утомлял так, что в пору было поехать домой, лечь и выспаться, но он ехал к Ворониной. Теперь он почти не бывал дома, лишь заезжал туда на несколько минут — переодеться или взять что-то из необходимого, и отмечал — Киры здесь не было. Эта мысль мелькала и тут же пропадала. В конце концов, это ее личное дело — где жить. Вполне могла бы жить здесь до размена квартиры. Да леший-то с ними, с этими мыслями, сейчас главное — уехать на Юг и ни о чем не думать. Даже о том, видимо, недалеком времени, когда... Здесь Силий обрывал сам себя, — что за мальчишество! Ну, дадут орден, а то и Государственную премию. Награды обычно лежат в коробочке, в столе, а их хозяин вкалывает по-прежнему. А я здесь свое дело сделал: Мне под пятьдесят. Если подумать, осталось не так-то уж и много. Если хоть раз поговорить по душам со Свиридовым... И снова обрывал сам себя. Вот пройдет приемка турбины там, в Средней Азии, вот тогда...

Вдруг ему позвонил Свиридов:

— Собираете чемоданы, Владимир Владимирович?

— Да, пора.

— Мы выезжаем через три дня, в четверг.

— Куда? — не понял он.

— Как куда? — засмеялся Свиридов. — В Среднюю Азию, на крестины.

Он понял: приемка! Значит, долой еще десять дней от отдыха и Кати! Конечно, ехать надо. Обязательно надо ехать, лучшего момента близко сойтись со Свиридовым и завести нужный разговор о переходе на работу в Москву может и не оказаться.

— Жаль, — сказал Силин. — Я уже совсем было нацелился на Ялту. Устал, Спиридон Афанасьевич, сил нет. Конечно, надо так надо.

— Ну, что вы, — сказал Свиридов. — Все отлично понимаю, Владимир Владимирович, и не собираюсь настаивать. Пусть едет Заостровцев.

— И Нечаев, — сказал Силин. — Все-таки он много сделал, что ни говори.

— Согласен, — ответил Свиридов. — Пусть приезжают в Москву, полетим отсюда все вместе. А вы отдыхайте как следует, Владимир Владимирович, всех вам благ. С женой едете?

— Да, — через силу сказал он.

— Передайте мой самый сердечный привет.

Этот разговор Силина огорчил. Вот как! Свиридов даже не стал уговаривать! Хочешь — поезжай, не хочешь — твое дело. Неприятный симптом. Значит, я для главка — вечный директор, и никаких особых, как говорится, видов на меня там нет. Мо-

жет, не стоило бы ломаться, а ответить — хорошо, приеду обязательно. Катя могла бы и подождать десять дней. Отступать уже некуда, а надо заказывать билеты и ехать в Ялту.

Он вызвал секретаршу. Теперь вместо Серафимы работала какая-то нескладная девица с постоянно удивленным лицом и вытянутыми, словно для поцелуя, губами. Силин отдал ей конверт с деньгами — два билета до Симферополя, в мягком. Секретарша взяла конверт, и лицо у нее стало еще удивленнее, а губы еще больше вытянулись.

Силин нажал рычажок на селекторе — крайний справа, партком, но Нечаев не ответил. Ходит по заводу, подумал Силин. А вот Губенко всегда был в парткоме, когда ни позвони. И тут же вошел Нечаев.

— Ну, — сказал Силин, поднимаясь, — у нас с вами, кажется, уже установилась телепатическая связь. Я только что пытался разыскать вас.

— Что-нибудь случилось?

Силин усмехнулся: вот и у Нечаева тоже начинает вырабатываться точно такое же ощущение, что и у меня самого! Как будто, если тебя ищут, непременно что-то случилось...

— Звонил Свиридов, — сказал Силин, — и я сосватал вас на приемку туда, в Среднюю Азию. Поедете? Это ваше законное право.

— Спасибо, — сказал Нечаев. — А вы?

— А я в отпуск, — ответил Силин. Он даже потянулся всем своим большим, грузным телом. — Иначе будет совсем трудно.

— Наверно, — сказал Нечаев, — когда трудно, лучше всего вести трудный разговор, Владимир Владимирович. А у меня такой разговор есть.

Нечаев не спешил. Он ходил по директорскому кабинету, как бы обдумывая первые слова, как бы не решаясь начать, и Силин откинулся на спинку кресла. На секунду мелькнула мысль: возможно, что-то узнал обо мне и Кате. Тогда я оборву его сразу. Это мое, и только мое дело! Вдруг Нечаев, наконец-то перестав ходить, очень тихо сказал:

— Разговор о том, что вы совершили антигосударственный и антипартийный поступок, Владимир Владимирович?

— Я?

— Да. Приписка к плану.

Силин почувствовал, будто все в нем оборвалось. Надо было ответить сразу, немедленно, а он не мог... Первой мыслью было — кто? Кто все-таки проболтался? Но теперь это не имело уже ровным счетом никакого значения.

Нечаев не глядел на него. Он словно боялся увидеть растерянного Силина, боялся того, что тот начнет оправдываться. Но Силин молчал. Тогда Нечаев тяжело вздохнул и повернулся к нему.

— Что же будем делать?

— Что хотите, — вдруг резко сказал Силин. — И не надо притворяться, что вы этим огорчены и расстроены. Очевидно, у вас есть хороший повод отыграться за все наши прошлые отношения.

— О чем вы говорите? — поморщился Нечаев. — За эту приписку я несу такую же ответственность, как и вы.

— Бросьте, Андрей Георгиевич! — взорвался Силин. — Вы болели, потом ушли в отпуск — какая уж тут ответственность! Уж позвольте мне вызвать огонь на себя. Да, я распорядился вписать в промежуточный отчет продукцию не строго по стандарту и, если хотите, могу объяснить почему.

— Об этом я и сам догадываюсь, — кивнул Нечаев.

— Вряд ли, — сказал Силин. — Я думал в первую очередь о тех, кто здесь работает и для кого невыполнение плана...

— Не надо, Владимир Владимирович, — снова поморщился Нечаев. — Мы с вами достаточно хорошо знаем друг друга. Из всех, работающих здесь, вы думали только о себе самом, о директоре завода Силине, вот в чем все дело, Владимир Владимирович.

Он снова начал ходить по кабинету, не замечая, что это хождение взад-вперед все больше и больше раздражает Силина.

Для него было неожиданностью, что Силин бросился в наступление. Растерялся? Поначалу, быть может, да, растерялся. Но какое самообладание! Перевернуть, перенести все в область их личных отношений и, таким образом, дать понять, что любой дальнейший разговор на эту тему будет всего лишь сведением каких-то личных счетов! Вот этого Нечаев не ожидал никак. Ему казалось, что Силин умнее. Во всяком случае, он понял бы любые оправдания, любые оговорки, но только не это наступление.

Вдруг он понял: а ведь Силину просто ничего другого не остается делать! Он великолепно все понимает сам, а эти слова о моей возможности отыграться — попытка заставить меня промолчать. Так сказать, упор на нравственность. И, поняв это, Нечаев почувствовал, как же сейчас на самом деле растерян Силин. Вовсе он не справился с растерянностью! Все это напускное. А сам сидит и, конечно, думает, что я сделаю сегодня или завтра, к кому пойду, кому расскажу. Нечаев подошел к столу и сел сбоку, сцепив пальцы и по-прежнему стараясь не глядеть на Силина.

— Вот что, Владимир Владимирович, — сказал он, — давайте говорить серьезно, без этих нелепых обвинений. Я могу повторить: сделано антигосударственное дело, и я, как сами понимаете, не смогу покрыть его. Ни как коммунист, ни просто как человек. Я понимаю мотивы, по которым вы это сделали, хотя и не разделяю их. Можно, я расскажу вам одну историю? —

неожиданно спросил он. Силин промолчал. — Так вот, прошлым летом в моем цехе один парень, токарь, поймал за руку другого, который пропыливал на станке клеймо БТК и сдавал детали по второму разу. Поймал и спросил: «Сам пойдешь, или мне сказать?» И у того не хватило духа пойти самому.

— Это уже притча, — отозвался Силин. — Прикажете снять трубку и позвонить Рогову? Или в министерство?

— Я скоро уеду, — сказал Нечаев. — Поймите меня правильно, Владимир Владимирович... Я думаю, вам надо перешагнуть через это. В конце концов, речь идет о самом главном в жизни — о честности, а я не думаю, чтобы она была вам чужда...

Он встал и пошел к двери, чуть сутулясь, будто этот разговор опустил его.

Сейчас Силину хотелось одного — спокойную ночь, хоть немного прийти в себя, и он знал, что так будет: с Ворониной ему было спокойно. Он с изумлением отметил это несколько дней назад. Как будто они прожили вместе целую вечность. Почему это? Откуда это? Он-то полагал, что его новое состояние будет долгим, а на самом деле привычность пришла слишком рано. Или, быть может, это свойство не его характера, не его возраста, а умения Ворониной быстро создать вот такую обстановку и привычность?

Он поехал к Ворониной. Как домой, снова подумалось ему. Что ж, с ней действительно все очень ровно, она умеет снимать усталость.

Она, очевидно, работала: на столе лежали листки, исписанные крутым, прыгающим почерком, и он не утерпел — пока Воронина готовила ужин, прочитал, что там было написано: «Вариант Гаврилова. Очерк». «С утра лил дождь, и Гаврилов, выходя из дому, запахнул плащ...» Она много работает. А теперь еще и я...

Он снял пиджак и повесил его на спинку стула. Он был здесь уже почти хозяином. Во всяком случае, чувствовал себя так. Вымыл руки — здесь у него было уже свое полотенце. Вошел на кухню. Воронина жарила яичницу, он обнял ее, и легким движением женщина освободилась: «Погоди. Подгорит ведь...» Нет, это было не кокетство. Она просила только подождать. А когда он начал есть, она села напротив и смотрела на него, подперев голову кулачками и улыбаясь, будто любуясь тем, как он ест. Она еще ничего не знала, ни о чем не догадывалась. Сказать? Не сказать?

— Когда ты все-таки идешь в отпуск? — спросила она. — Я сплю и во сне вижу, как мы уедем... Не могу, устала.

— Я не знаю, — сказал Силин. Нет, все-таки надо сказать. Иначе она подумает, что я нарочно тяну. — У меня большие неприятности. — Он заметил, что Воронина сразу насторожилась. — Очень большие.

— Господи! — сказала она. — Что случилось?

— Такая уж моя жизнь. Помнишь, я пошутил — Государственная премия или орден? А может быть все наоборот: снятие с работы и строгий с занесением.

— И ты так спокойно говоришь об этом.

— А что же мне, головой об стенку биться, что ли? — Он усмехнулся, усмешка была горькой.

— Господи! — повторила Воронина.

Она казалась растерянной, а он даже обрадовался такому сопереживанию. Он взял ее руку. Ничего. Все пройдет. Самое главное — мы вместе.

— Я сам устал как собака, — сказал он. — Но надо потерпеть. Когда все это уладится...

— Уладится, — отозвалась она.

— Когда все уладится, обязательно поедем. А у тебя действительно усталое лицо, Катюша.

В комнате он снова обнял ее. Воронина стояла, прижавшись к нему, и словно все думала, все думала над тем, что услышала, а Силин радовался: конечно, переживает, а если так, то любит. Что ж, значит, и мне будет легче пережить все это...

Проснулся он оттого, что вдруг ощутил какую-то пустоту. Ворониной рядом не было. Обычно она еще спала, когда Силин одевался, мылся, грел чай, завтракал. Работа в газете начиналась поздно.

Силин встал и прошел на кухню: Воронина сидела там и писала.

— Ты перепугала меня, — сказал Силин. — Я проснулся и подумал: сбежала Катюша...

О том, что Алексей Бочаров снимается с комсомольского учета, Бешелев узнал просто: он должен был подписать открепительный талон. И не подписал. Он долго думал, прежде чем решить — нет, подписывать пока не буду. Глеб Савельев, возможно, растрепал о нашем с ним разговоре, слухи могут быть всякими; и лучшего способа нейтрализовать их — нет.

Он позвонил в цех, попросил Алексея Бочарова, сказал:

— В чем дело? Почему ты уходишь с завода?

— Это долго объяснять.

— Тем не менее придется. Сегодня заседание комитета, прошу быть.

— Сразу на комитет? — усмехнулся Алексей. — По советским законам я имею право увольняться и поступать на работу.

— Есть еще закон нравственный, — отрезал Бешелев.

Он уже знал, как себя вести на комитете. Этого Бочарова, конечно, комитет решит снять с учета. Но нельзя упустить та-

кой момент, чтобы поднять самого себя в глазах комитета. Бешелев и так постоянно чувствовал не то глухое недовольство, не то раздражение со стороны членов комитета комсомола, это надо было *пригасить* или *пустить в песок*, как говаривал когда-то Губенко.

Да, Губенко... О нем Бешелев думал часто, и каждый раз с тоскливым ощущением какой-то личной потери. Как легко и просто работалось с ним! А после той злополучной статьи в молодежной газете Нечаев поставил на парткоме отчет Бешелева, и этот день Бешелев вспоминал с содроганием: тогда ему впервые показалось, что он не удержится на этой работе, все, конец... Нечаев говорил резко. Да, соревнование молодежи организовано формально. Да, учебная работа поставлена плохо. Да, собрания в цехах проходят скучно, не поднимают молодежь, не мобилизуют ее... Да и сам товарищ Бешелев предпочитает заниматься некими глобальными проблемами, забывая, что в нашей работе главное — доходить до каждого человека. Примеры? Нечаев рассказал, как к нему однажды пришел комсомолец Бесфамильный, который хотел вернуть в цех сбжавшего токаря. И ведь вернул! Знает ли что-нибудь об этом секретарь комитета комсомола?

Нечаев, конечно, не жалуется меня, думал Бешелев. Но это ничего. Кончу институт и пойду на инженерную работу. Или в райком комсомола. Или даже в обком. Здесь засиживаться никак нельзя, иначе тот же Нечаев съест и кости не выплюнет, и уйдешь ты со строгачом в лучшем случае...

Члены комитета собрались почти сразу. Бешелев увидел Савельева и Водолажскую — они сели подала. Пора было начинать. Он быстро огласил повестку заседания; в самом конце было — «О практике снятия комсомольцев с учета». Кто-то сказал:

— Непонятный вопрос.

— Чего же тут непонятного?

— Практика снятия и постановки на учет определена соответствующей инструкцией ЦК ВЛКСМ, — сказала Водолажская. — Ты это обязан знать.

— Я-то знаю, — нахмурился Бешелев. — А знаете ли вы причины — подчеркиваю: *причины*, — по которым мы снимаем комсомольцев с учета? Почему они уходят с завода? Вот, — он поднял открепительный талон Бочарова. — Алексей Бочаров, кадровый и потомственный рабочий, уходит с завода. Кто знает, почему? Если уж такие от нас будут уходить...

— Я знаю, — сказала Водолажская. — Он любит девушку, она попала под машину, ее здорово покалечило. Скоро ее выпишуют, и она уедет к родителям. Алексей, естественно, хочет быть рядом.

— Естественно? — усмехнулся Бешелев. — Ну что ж, если хотите, давайте этот вопрос обсудим первым. Нет возражений? Бочаров, должно быть, уже пришел.

Сейчас все чувства Бешелева были обострены, и только один он, пожалуй, уловил то искусственное спокойствие, с которым говорила Водолажская. Он сразу понял, каких трудов стоило ей быть вот такой — рассудительной и даже, пожалуй, равнодушной. «Любит девушку... естественно, хочет быть рядом...»

Алексей вошел и сел в конце длинного «заседательского» стола. Бешелев взглянул на него мельком. Ему не хотелось видеть спокойного Бочарова. Он любил, когда те, кого приглашали сюда, волновались. А этот был спокоен.

— Так почему ты уходишь с завода? — спросил Бешелев. — Члены комитета хотят знать причину, хотя та, о которой мы уже слышали, не очень-то объективная.

— Бывают и субъективные, — сказал Алексей. — Например, семейные обстоятельства.

— Вы с той девушкой, по-моему...

— Да, пока, — не дал договорить ему Алексей. — И к тому же я еду не бездельничать, а работать. Там, в совхозе, хорошие мастерские, станочники нужны позарез.

— Не понимаю, — сказал Бешелев. — Ты участвовал в создании бригады по злобинскому методу. О вас писали в газете, возносили, славили... Вы сделали доброе дело, вернув в цех нужного человека, рабочего. И вдруг — все побоку: товарищи, работа, ответственность. Ты подумай, чем это пахнет. Если б ты с войны так побежал к любимой...

— Сейчас не война, — сказал Алексей. — И я не дезертирую, а еду работать.

Никто не вмешивался в этот разговор — то ли потому, что толком никто ничего не знал, какая там девушка, как попала под машину, то ли потому, что Бешелев еще не смог убедить их в том, что Бочаров впрямь поступает нехорошо, уходя с завода.

— Господи, — сказала Водолажская, — ну чего ты тянешь? Никакого вопроса здесь нет. Ну, любит человек, как тебе, наверно, даже не снилось...

— Я тебе слова не давал, — перебил Бешелев. — И вопрос здесь все-таки есть. Как отнеслась бригада к твоему уходу? Собирались, обсуждали?

— В кафе соберемся, — усмехнулся Бочаров.

— Сейчас ты не в кафе, а на комитете комсомола. Так что же все-таки сказала бригада?

Алексей пожал плечами. Когда он несколько дней назад сказал ребятам, что хочет уйти и уехать в Новую Каменку, сначала было молчание, потом Бесфамильный сказал: «А если это любовь?» — и тогда все заулыбались — да чего там! Ну, вернешься через год! Давай, парень, хотя оно, конечно, и жалко... Уже потом, когда они шли к выходу, Бесфамильный сказал: «А я думал, как ты поступишь. По-моему, ты все-таки правильный мужик, Алешка».

— Бригада одобрила, — сказал Алексей.

— Жаль, — сказал Бешелев. — Отпустить тебя, конечно, придется. Но жаль, что с завода уходит такой хороший рабочий. Так какие будут мнения у членов комитета?

Вот и все, подумал Бешелев. Он не глядел в сторону Савельева. Теперь он ничего не сможет сказать обо мне. Все слышали и видели, как я опечален уходом Бочарова. Теперь Савельеву, если он попробует сказать, что я хотел избавиться от Бочарова, просто-напросто никто не поверит. Нет, я еще могу работать, так просто за рупь двадцать меня не возьмешь...

И, подписав открепительный талон, протянул Алексею.

— Ну, будь здоров и держи нашу заводскую марку.

Внизу были пески и ничего кроме песков — этих застывших желто-серых волн, — и, когда показалась зелень садов, светлая, обожженная солнцем, Нечаев не выдержал и крикнул Заостровцеву:

— Может, мираж, а? Знаете, есть смешная байка о том, как один предприимчивый торговец решил поставить в пустыне ларек «пиво-воды» и прогорел: все принимали его за мираж и проходили мимо.

Заостровцев нехотя улыбнулся.

Все это время, что они пробыли в Москве, и весь долгий перелет с несколькими посадками, от которых ломило уши, и сейчас, когда они летели на неудобном, тарахтящем и тряском АН-2, а сбоку, словно прыгая с бархана на бархан, бежала тень их самолета, — все это время Заостровцева не покидало неприятное ощущение, будто Нечаев присматривается к нему с каким-то недоверием. Будто до сих пор они вообще не были знакомы. Время от времени Нечаев как бы вскользь задавал Заостровцеву вопросы вроде: «Сколько ушло на сверхурочные в первом квартале?» или: «Когда отгрузили пять воздуходувок в марте, не помните?» Заостровцев не помнил. «А почему вас это интересует?» Нечаев быстро взглядывал на него и отворачивался. Странное поведение, странные вопросы... К тому же Заостровцев чувствовал, что Нечаев нервничает и не может скрыть этого.

А Нечаев неотвязно думал о том, знает ли Заостровцев о той приписке или нет, или догадывается, но молчит по своему обыкновению?

Самолет уже шел на посадку.

И едва второй пилот открыл дверь, в машину начала наливать жара. Она сразу хлынула в легкие, и каждому, кто сидел в самолете, перехватило горло.

Едва Нечаев спустился на плотно укутанную площадку, его обожгло зноем. Он поднял голову — небо было белесым, будто

выгоревшим от солнца. А он не захватил с собой даже кепки. Впрочем, Заостровцев тоже ничего не захватил с собой и сейчас, прежде чем ступить под это беспощадное солнце, торопливо вязал узлы на концах носового платка. Так он и спустился по трапу — с носовым платком на голове, концы которого торчали, как рожки у чертика.

Их встретил маленький, черный от загара человек — главный инженер станции, который, пожимая руки, отчетливо называл свою фамилию, будто заранее зная, что ее не сразу запомнят: Казанзакис. Поначалу Нечаев подумал — литовец, потом ему сказали — грек. Казанзакис сел со всеми в автобус и, стоя возле шофера, как гид, ведущий экскурсию, объяснял, что сейчас все поедут в местную гостиницу, устроятся, освоятся с этой жарой, а работать лучше всего начать вечером, когда жара немного спадет. Кто-то иронически спросил: «Немного?» Казанзакис кивнул: да, градусов на пять-шесть, ну а сейчас тридцать восемь, так что вечером будет все-таки полегче.

Гостиница была маленькая, двухэтажная, и тоже раскаленная солнцем. Никакого душа. С водой здесь еще плохо, объяснил Казанзакис. Рослая, полная молодая женщина, очевидно директор этой гостиницы, каким-то чутьем определив, кто среди гостей *главный*, отнесла в номер Свиридова несколько бутылок минеральной воды, остальным не хватило. Нечаев усмехнулся, разбирая в своем номере туго набитый портфель: ай да красotka! Все знает, все понимает! А мы с вами, Виталий Евгеньевич, мы сошка поменьше, мы и из-под крана можем...

Вода из крана шла теплая и солоноватая.

Заостровцев изнывал от этой страшной жары. О том, чтобы выйти сейчас на улицу хотя бы до ближайшего магазина, не могло быть и речи. Он разделся до трусиков — и вдруг оказался совсем щупленьким, с редкими волосами на впалой груди, тоненькими, словно начисто лишенными мышц, руками и ногами. Ему было худо. Он сказал Нечаеву, что ляжет и будет лежать до вечера. В его глазах стояла тоска. Он не представлял себе, как сможет подняться и поехать на станцию.

Нечаев разыскал Казанзакиса и сказал, что хотел бы поехать сразу, сейчас. Тот удивился: зачем? Да и автобус уже ушел, а шагать восемь километров по такой жаре даже он, человек привычный, не рискнул бы, пожалуй. Пришлось Нечаеву вернуться в номер и тоже лечь. Спать ему не хотелось. Он отошел в Москву, пока собиралась комиссия.

Вдруг Заостровцев, который лежал с закрытыми глазами и, казалось, дремал, спросил его:

— С вами что-то происходит, по-моему. Я всегда знал вас как человека совершенно спокойного. Или нервничаете перед приемкой?

— Нет, — ответил Нечаев. — Со мной-то ничего не происходит.

— С кем же?

— С директором, например.

Заостровцева это объяснение не удовлетворило. «Конечно, он прекрасно понимает, что я чего-то недоговариваю», — подумал Нечаев. Но он чувствовал, что и Заостровцева что-то мучает — не эта недоговоренность, а нечто свое, чем он еще, возможно, опасается поделиться.

— Станный он все-таки человек, — задумчиво сказал Заостровцев. — Иногда я люблюсь им, иногда мне хочется кричать на него, иногда просто ненавижу... Вы хотите сказать, что это не его странность, а моя? — повернулся он к Нечаеву.

— Нет, — улыбнулся Нечаев. — Я хочу сказать, что у нас с вами никогда не было домашнего разговора.

Его удивило, что Заостровцев разговорился. Казалось бы, на такой жаре даже мысли тяжелеют и ворочаются медленнее, — а вот поди ж ты! — Заостровцев, молчальник Заостровцев вдруг начал говорить!

Да, Силин не перестает его изумлять. Никогда не знаешь, что он скажет или сделает в следующую минуту. Резкость? Заостровцев усмехнулся. Один начальник цеха (неважно, кто именно) просто не может разговаривать с директором и по всем вопросам идет к нему, главному инженеру. «Не могу к директору, — как-то признался он. — Силин обращается на вы, а хамит на ты». Да, честно признаться, он, Заостровцев, тоже не раз сдерживался, чтобы не ответить на эту силинскую манеру.

Вдруг Нечаев расхохотался.

— Слушайте, Виталий Евгеньевич, что с вами, дорогой мой? Как уехали за две тысячи километров — сразу начали бранить начальство? Вот что такое азиатская жарница!

— Нет, — сказал Заостровцев, приподнимаясь на локте. — Я давно хотел поговорить с вами, Андрей Георгиевич. *Я не знаю, куда идет Силин.*

Это было уже серьезно. Нечаев закурил и придвинул стул к кровати Заостровцева.

— Вас не было этой весной... Вы можете и не знать...

— Я знаю, — тихо сказал Нечаев. — Как заводу удалось выполнить квартальный план?

Заостровцев кивнул. Теперь было сказано все или почти все. Но Нечаев не спешил. Что известно об этом Заостровцеву? Или он тоже соучастник той приписки и вот только теперь решил признаться?

Нет, чепуха, конечно! Это жара виновата, что я подумал так. Просто в жизни наступает такой момент, когда даже самые молчаливые не выдерживают.

И Нечаев, уже ни в чем не сомневаясь, рассказал Заостров-

цеву о ночном визите главного бухгалтера и о своем разговоре с Силиным несколько дней назад.

— Но почему?.. — сморщившись, спросил Заостровцев.

— Что «почему»? — спросил Нечаев.

— Почему он это сделал?

— По-моему, Виталий Евгеньевич, философская основа любого обмана нехитра, — сказал Нечаев.

— Личные выгоды?

Нечаев кивнул. Это было ему ясно в Силине, человеке, привыкшем к постоянному успеху и пуще всего на свете боящемся, что успех уйдет.

— Но ведь свой успех он зарабатывал трудом, — задумчиво сказал Заостровцев. — Я-то ведь знаю, сколько он работал... А это исключает элемент везенья. Значит, он просто не смог справиться с объективными обстоятельствами?

— Да. И испугался, и начал метаться, — подхватил Нечаев. — И пришел к такой... к такому поступку.

— Его снимут? — тоскливо спросил Заостровцев.

— Не знаю.

— Мне его жаль, — сказал Заостровцев. — А вам?

Нечаев встал и пошел к крану, пустил воду на полную струю и сунул под нее голову.

— Мне жаль, что он так поступил, — сказал Нечаев. — Из всех земных грехов для меня самый тяжкий — ложь.

— Еще перед отъездом сюда, в Среднюю Азию, Заостровцев обещал Силину звонить каждый день и ранним утром спустился в небольшой вестибюль, где стоял единственный на всю гостиницу телефон. Разговор был заказан накануне, и Заостровцев сел за низенький столик, на котором были разложены газеты. Нечаев же вышел покурить в палисадник, где росли акации: там, в тени, было не так жарко.

Приемка будет сегодня вечером, потом, естественно, небольшой банкет, речи, тосты, — неужели кто-нибудь отважится пить водку или коньяк на такой жаре? Заостровцев — тот еле двигается, и у него лицо великомученика. А Свиридов молодец, держится так, будто для него эта раскаленная духовка — самое привычное дело.

Вчера Свиридов долго разговаривал с ним и Заостровцевым о заводских делах, и Нечаев опасался, что главный инженер все-таки скажет о приписке, но Заостровцев ничего не сказал, однако после спросил Нечаева: «Почему вы промолчали о том?» — «Я хочу, чтобы об этом сказал сам Силин». — «Вы полагаете, что он...» — Заостровцев не договорил и с сомнением покачал головой. «Так должно быть», — сказал Нечаев. Заостровцев грустно улыбнулся, с трудом растягивая пересохшие, потрескавшиеся от жары губы: «А не поздно ли вос-

питывать Владимира Владимировича?» Нечаев не ответил. Он сидел и думал, что если Силин не признается сам — значит, для него, для Нечаева, он человек конченный.

Он заметил, как по дорожке к нему идет молодой мужчина в легкой рубашке и линялых джинсах. Его Нечаев видел еще вечером на станции и на какую-то секунду подумал — знакомое лицо, но эта мысль была ненужной, она мелькнула и ушла. Он даже не стал припоминать, где же видел этого парня.

— Не помешаю? — спросил тот, садясь рядом на скамейку. — У вас наших закурить не найдется?

Нечаев не понял — каких «наших?» — и протянул парню пачку папирос. Тот вытащил одну и закурил.

— Наши, — сказал он. — Первой табачной. Точно?

Он чуть улыбнулся, будто наслаждаясь знакомым и уже забытым запахом папиросного дыма, и Нечаев догадался, что этот парень оттуда, из того же Большого Города, что и он сам. Значит, мелькнувшее чувство узнавания было не случайным, они и впрямь встречались.

— Да, — кивнул парень. — Я уже полтора года здесь загораю. Жена каждый день чалом поит. Не пили еще чал? Сброженное верблюжье молоко. А вы Нечаев, начальник двадцать шестого — точно? Я вас сразу узнал. Ну, как вам тут?

Нечаев был раздосадован тем, что этот парень, которому, видимо, просто нечего делать, подошел и заговорил с ним, оторвал от раздумий, пусть даже печальных, и завел, в общем-то, пустой разговор. — «Как вам тут?»

— Жарковато, — все-таки спокойно ответил Нечаев. — На станции, говорят, змеи водятся, в гостинице хозяйка только о высоком начальстве заботится, ну, что еще?

Оба замолчали. Нечаев — потому, что ему вовсе не хотелось продолжать этот разговор, парень — очевидно, потому, что не осмеливался о чем-то спросить. Во всяком случае, так показалось Нечаеву.

— Жарковато, вы сказали?.. А мне сегодня, между прочим, дождь снился. Будто стою я возле кафе «Снегурочка», — знаете, на углу Горького и Вознесенской? — а он так и хлещет, так и хлещет. Мне здесь часто дожди снятся.

Только этого еще не хватало, подумал Нечаев. Поговорить о снах! И все-таки он чувствовал, что парень подсел к нему не случайно и сейчас ходит вокруг да около чего-то такого, что его беспокоит.

— Зачем же вы тогда уехали? — спросил Нечаев. — Здесь что, рубли длиннее, что ли?

— Те же самые, — ответил парень. — А вы в двадцать шестом такую Водолажскую знаете?

— Знаю, — кивнул Нечаев. — Серьезная девушка.

Парень уже докурил папиросу и, каблуком выдолбив в земле ямку, кинул окурок туда и зарыл его. Что-то начало про-

ясняться для Нечаева. Вопрос о Водолажской был задан, конечно, не случайно.

— Как она там?

— Вот этого сказать не могу.

Парень смотрел в сторону.

— Вы извините меня, что я к вам со своими вопросами, — сказал он. — Директорша гостиницы, между прочим, моя жена, а фамилия моя — Водолажский. Вот такие-то дела...

По ту сторону низкого забора, отделяющего палисадник от улицы, остановился зеленый «рафик», и парень поднялся.

— Наш подкидыш, — объяснил он. — Извините.

Он уходил быстро — не от Нечаева, а от того тоскливого разговора, который завел сам. Почти бежал. Нечаев глядел ему вслед и вдруг почему-то подумал, что надо будет разыскать Водолажскую и рассказать об этой встрече, хотя это вроде бы и не его дело.

Вышел Заостровцев, на ходу натягивая на голову носовой платок с рожками. Нечаев встал и пошел ему навстречу.

— Дозвонились?

— Да, — как-то растерянно сказал Заостровцев, и Нечаев резко спросил:

— Ну, что там еще?

— Там? — переспросил Заостровцев. — Понимаете, там... Короче говоря, заведено уголовное дело на Бревдо из отдела комплектации и снабжения. А ведь я знаю, что Силин... Но ведь он же старался не для себя!

Несколько дней назад Свиридов сказал Силину, что, возможно, после приемки он не вернется в Москву, а придет в Большой Город. В главк пошли письма с других предприятий — жалуются, что ЗГТ задерживает поставки металла. Да, он понимает — реконструкция, трудно, но ему надо разобраться самому. Возможно, не стоило мудрить и так уж рассчитывать на свои собственные силы: приехали бы в Москву, подумали, обратились бы в Госплан, нашли бы другой, более легкий выход. Это был всего лишь упрек, но и упрек показался Силину неприятным. Послушался Нечаева, поддался общему настроению, а действительно, куда проще было съездить в Москву и решить там вопрос. А теперь со дня на день жди нагоняя от главка — большие нагоняи всегда начинаются с маленького упрека...

Теперь он ждал Свиридова со дня на день. Поэтому, когда на завод позвонили из обкома и сказали, что Рогов ждет директора завода сегодня в шестнадцать часов, Силин подумал: «Наверно, приехал...» Он не обратил внимания на то, что вызов был официальный, — такое случалось и прежде; он только подумал: почему Свиридов не позвонил ему?

Все это время он жил с острым ощущением приближающейся беды. Неожиданное известие о том, что на Бревдо заведено уголовное дело, выбило его из колеи окончательно, тем более что Бревдо, зайдя к нему в кабинет, сказал: «Владимир Владимирович, у меня нет выхода. Там, где я смогу, я буду признаваться, что действовал по вашему приказу. Или вы предпримете какие-то шаги, чтобы выгнать меня?..» Силин коротко ответил: «Попробую» — и Бревдо ушел. Теперь надо ждать вызова к следователю. Наверняка Бревдо натворил чего-то такого, о чем я не знаю. Иначе откуда бы эта оговорка: «Там, где я смогу...»

Каждый прожитый день приближал и другое: Нечаев, конечно, не будет молчать. Весь вопрос в том, что лучше — сказать Рогову или ждать, а там будь что будет? Он метался. Он чувствовал, как на него наваливается — нет, уже навалилась — страшная тяжесть и он не в силах сбросить ее. Если *это* пойдет от Нечаева, мне будет хуже; если я расскажу Рогову сам, можно надеяться, что старые наши отношения все-таки возьмут свое. Стало быть, надо найти какую-то форму... Не придешь же и не грохнешь просто так: весной я распорядился внести в промежуточный отчет продукцию не строго по стандарту. Тем более, если при этом разговоре будет присутствовать Свиридов.

Конечно, ничего этого он не говорил Ворониной. Зачем? При ней он был по-прежнему уверенным, он играл эту уверенность через силу, он не мог и не хотел хотя бы на минуту показаться ей таким, каким был сейчас на самом деле.

Садясь в машину, он подумал: «Сегодня... Все может решиться сегодня...»

Ему пришлось немного подождать: Рогов был на секретариате. Он появился в приемной и кивнул на ходу:

— Заходи. Извини, что задержал.

Силин вздохнул облегченно. Значит, Свиридова еще нет и разговор будет с глазу на глаз.

Рогов не стал садиться за свой стол. Он встал у окна, спиной к улице, и, охватывая плечо здоровой рукой, сразу спросил:

— Что у тебя с Кирой?

— Ты меня поэтому и вызвал?

— А ты полагаешь, что это маловажный повод?

— Мы расходимся, — сказал Силин. — Иногда это случается в жизни.

— Другая женщина?

— Другая любовь.

— На старости-то лет? — усмехнулся Рогов.

— Ну, еще не очень на старости.

О том, что случилось у Силиных, Рогов узнал от жены. Это было такой неожиданностью, что сначала Рогов не поверил, и Дарья Петровна взорвалась: «Я не питаюсь слухами, ты дол-

жен бы это знать. Можешь позвонить Бочаровым — Кира живет у них». — «Значит, ты виделась с Кирой?» — «Да... Я была в универмаге, встретила Веру, а вечером поехала к Бочаровым сама». — «Как она?» — спросил Рогов. Жена ответила, пожав плечами: «Как может чувствовать себя женщина, брошенная мужем?»

— Это серьезно, Владимир?

— Разумеется.

— Жаль, — сказал Рогов. — Ты, конечно, понимаешь мое отношение к этой твоей... другой любви? Правда, теперь другие времена, и на бюро за это не вызывают и взысканий не дают, но для меня (он особо подчеркнул это — для меня), для меня здесь есть что-то очень неприятное.

— Просто потому, что мы знаем друг друга с детства. Свои привязанности, почти семейное дело... Если бы ты не знал Киру, то отнесся бы к этому спокойней.

— Вряд ли, — качнул головой Рогов. — Я хочу тебя попросить только об одном: погляди как следует в самого себя. Все ли у тебя там в порядке?

Сам того не ожидая, Рогов дал ему сейчас великолепный повод продолжить этот разговор так, как того хотелось бы Силину. Да, лучше сейчас. Хотя Рогов раздражен, хотя он считает меня черт знает кем, но лучшей ситуации, пожалуй, не найти.

— У меня хватает других грехов, Георгий, чтобы я думал над этим.

Он не смотрел на Рогова, но знал, что тот глядит на него не отрываясь. Глядит и молчит.

— Каких же? — наконец спросил он.

Силин тяжело вздохнул и поднялся.

— Это слишком долго мучило меня, чтобы я мог молчать, — сказал Силин. — Ты, наверно, помнишь, как мы трещали зимой?

— И ты...

— Да, — кивнул Силин. — Мы внесли в отчет продукцию не по стандарту. Так что, как видишь, я еще могу признаваться в своих настоящих ошибках.

— Мы или ты? — спросил Рогов.

— Я. Ни Заостровцев, ни Нечаев ничего об этом не знали, Нечаев вообще тогда болел. Так что считай — я один.

Все! Тяжесть не свалилась с него, как он того ждал и хотел бы. Она навалилась на него еще грубее. Молчание было слишком долгим. Рогов все стоял там, напротив него, у окна, по-прежнему охватывая плечо рукой.

— Это сюрпризек, — наконец тихо сказал он. — Значит, и до этого дошел!

Силин почувствовал, как его начинает колотить озноб. Это чувство было знакомым, хотя и давним: он испытывал его всякий раз после боя, когда надо было сесть, закурить и не ду-

мать ни о чем — просто сидеть и ощущать себя видящим, слышащим — живым!

— Я должен ехать по делам, — сказал Рогов, отрываясь от подоконника. — Поговорим после.

Вечером, вернувшись домой, Рогов ушел в свой кабинет и плотно закрыл за собой дверь. Дарья Петровна уже знала: если он закрывает дверь — не надо ни о чем спрашивать его, не надо трогать и к ужину звать не надо. Он даже не спросил, нет ли письма от Лизы: девчонка сразу же после экзаменов укатила со студенческим отрядом куда-то под Гурьев и не очень-то баловала родителей хотя бы открытками. Значит, что-то у Рогова не так — это Дарья Петровна знала твердо.

А Рогов сидел в кресле, устало закрыв глаза. Он думал о Силине и о том; как они разошлись, сызнова перебирая в памяти все, что там хранилось, начиная с далеких времен и кончая сегодняшней встречей двух уже немолодых и таких разных людей.

Странно, подумал он. Вроде бы служим одному и тому же делу. Но когда, каким образом, почему Силин решил, что дело должно служить ему? Как она, оказывается, опасна, эта обратная связь! Ведь так-то сказать: от нее, наверно, и все остальное — убеждение в своей исключительности, вседозволенности, ненаказуемости. Вторая мораль! А у нас не может быть двух моралей.

Сам того не зная, он думал сейчас почти теми же словами, которые сказал Силину Бочаров, только, пожалуй, с большей злостью и большей убежденностью.

Как Свиридов и обещал, он приехал в воскресенье вечером вместе с Нечаевым и Заостровцевым. Номер в гостинице ему был уже заказан, но как он ни пытался дозвониться к Силину — дома у него никто не поднимал трубку. «Значит, уже в отпуске, — подумал Свиридов. — Мог бы и подождать, знал же, что я буду здесь».

Утром он позвонил в обком партии помощнику Рогова. Он не предполагал, что Рогов попросит его приехать сразу же. Ему хотелось сначала побывать на заводе, и нетерпеливость Рогова показалась ему излишней. Конечно, секретарю обкома в первую очередь надо узнать, как прошла приемка турбины.

— А Силин что же, в отпуске? — спросил он помощника. — Его не будет?

— Нет.

Свиридов оказался прав: Рогов сразу же подвел его к ма-

ленькому дивану и пригласил сесть, сел сам и попросил рассказать, как прошла приемка. Рассказывая, Свиридов с любопытством разглядывал Рогова. До сегодняшнего дня они не были знакомы, и то, что Рогов даже не задал обычные вежливые вопросы: «Как долетели, как устроились?» — не удивило Свиридова. Конечно, сейчас для Рогова главное — турбина. Или нет времени на обычные разговоры?

— Так что работает наша с вами «десятка» на пять с плюсом. Впрочем, у нас в НИИ уже разработана машина на пятнадцать тысяч, думаем над двадцатитысячником. Осваивать их выпуск тоже будет ЗГТ — во всяком случае, мы так планируем на будущую пятилетку. Конечно, придется вводить и новые мощности, и поспешить с реконструкцией, но, я полагаю, завод справится?

— Завод-то справится... — кивнул Рогов.

— А кто не справится? — насторожился Свиридов.

Рогов не ответил. Он встал и прошел к своему столу. Свиридов напряженно следил за ним. Эта недоговоренность была ему непонятна, а он не любил неясностей и недоговоренностей. Значит, здесь произошло что-то такое, о чем он еще не знает.

— Вот, — сказал Рогов, поднимая со стола пачку бумаг и не протягивая ее Свиридову, а только как бы взвешивая ее на руке. — Это списки. Надо же дать людям ордена за то, что они сделали? Надо, и еще как надо! И, наверно, директору ЗГТ Силину тоже надо?

— Разумеется, — ответил Свиридов, еще не понимая, куда клонится разговор. — Кстати, большая группа будет выдвинута на Госпремию.

— Очень хорошо, — сказал Рогов. — Все правильно! Только вот на ближайшем бюро обкома мы будем слушать Силина, Владимира Владимировича Силина, которого вы, наверно, тоже собираетесь выдвинуть на Государственную премию.

— Что случилось? — спросил Свиридов. Вот такого поворота он не ожидал никак!

Рогов рассказал ему все.

— Так что не орден и не Государственную, а расставаться, скорее всего, — закончил он.

А Свиридов торопливо думал — не о Силине, а о тех последствиях, которые неизбежно вызовет это снятие, и в первую очередь для него самого, Свиридова. Конечно, и ему тоже будет поставлено в вину: как же вы просмотрели невыполнение заводом квартального плана? Как же вы не знали о незаконных операциях отдела комплектации и снабжения, которые проводились с ведома директора?

— Георгий Петрович, — мягко сказал Свиридов. — Директор завода ведь не шапка, которую можно снять и тут же надеть другую. Всякая перестановка так или иначе отражается на производстве, вы это знаете не хуже меня. Ну, разумеется, Силин

должен ответить, это уж вы сами должны решить как. Партийное взыскание — достаточно серьезная мера, но вот снятие... Я уверен, что Силин — опытный работник, а такими не бросаются. И давайте будем до конца откровенными — ну, посадим мы в директорское кресло того же Заостровцева. У вас есть гарантия, что через два-три года в трудном положении он не сделает то же самое?

— Вот как? — усмехнулся Рогов. — Вы, Спиридон Афанасьевич, пессимист?

— Я прагматик, — сказал Свиридов, — и не боюсь этого слова. Или, если помягче, — реалист.

— Я тоже реалист, — жестко ответил Рогов. — И для меня лично реальность заключается в том, что, если мы будем добренькими, прощающими или хотя бы слегка прикрывающими глаза, нас самих надо гнать подальше! Так мы не только коммунизм не построим, но и социализму напортим.

Он говорил, не замечая своей резкости, а Свиридов, наоборот, старался возражать ему как можно мягче. Он настаивал на своем. Да, конечно, партийное взыскание — это еще и воспитательная мера, и Силин многое должен будет понять после этого. Но как бы министерство ни считалось с мнением обкома, обкому стоит прислушаться к мнению министерства (он-то был уверен, что в Москве сумеет все уладить). Рогов слушал его, стоя за своим столом и глядя в сторону.

— Вы по-прежнему со мной несогласны, Георгий Петрович?

— Понимаете, — уже устало ответил Рогов, — каждый человек должен иметь не просто деловое, а главным образом нравственное право на что-то. Так вот, по-моему, Силин утратил свое нравственное право руководить заводом, людьми. Впрочем, это только мое личное мнение, кроме меня есть еще бюро обкома...

Все было позади: бюро обкома, строгий выговор с занесением в учетную карточку, резкий голос: «Снять с работы», — все как в худом сне, все словно бы не на самом деле.

Силин уезжал в Москву. Вопрос о снятии должен был решиться там, и там же, по-видимому, ему сообщат о новом назначении.

Он приехал на вокзал задолго до отхода поезда. Состав стоял с закрытыми дверями — посадку еще не объявляли, и на перроне было безлюдно. Его никто не провожал. Тогда, после бюро, он позвонил в редакцию Ворониной, сказал, что надо срочно увидеться. Воронина ответила: «Сейчас никак не могу, идет мой материал». Он не мог ждать и поехал в редакцию.

— Ты сошел с ума, — сказала Воронина, выйдя в коридор. — Прийти сюда!..

— Я не понимаю тебя. Спустимся и посидим в сквере. Там, в сквере, он рассказал ей все, и Воронина долго молчала.

— Почему ты молчишь, Катюша?

— Как все плохо, — наконец сказала она. — Сегодня мне звонила мама, она больна, мне придется забрать домой дочку. Это означало — ты не сможешь бывать у меня.

— Извини, у меня действительно много работы.

Она встала и ушла, чуть покачиваясь на каблуках.

На следующий день она позвонила на завод и сказала, что уезжает за девочкой. Силин не смог проводить ее. Наверно, он смог бы, конечно, но почувствовал, что ему не хочется идти покупать цветы, говорить какие-то слова... Просто он догадался обо всем там, в скверике возле редакции. «Я не понимаю тебя, — снова сказал он Ворониной по телефону. — Ты же знаешь, я люблю тебя, Катя». — «Я очень устала, — ответила она. — Это-то можно, наверно, понять?»

Так быстро...

Теперь он стоял и ждал, когда проводница откроет дверь вагона. Войти в купе и сразу лечь. Он мысленно усмехнулся: как все повторяется! Только сейчас он не семнадцатилетний мальчишка, который ехал в Москву начинать жизнь. Через три недели — пятьдесят, в такие годы трудно начинать все сначала.

Конечно, он не ожидал, что бюро обкома решит так круто. Теперь все зависит от министерства, его там знают, надо будет поговорить с заместителем министра. Пока что он передал все дела Заостровцеву. Вчера дома не работал лифт, он поднимался по лестнице и услышал из-за дверей квартиры Заостровцева громкий голос Чингисханши: «И. о... и. о. — это не должность, а крик осла на самаркандском базаре! Ты должен сделать все, чтобы...» Дальше он не расслышал, но понял, что сказала Чингисханша, и, сам не зная, зачем это делает, нажал кнопку звонка.

Чингисханша открыла дверь. У нее было злое лицо, кончики губ опущены. «Виталия Евгеньевича еще нет дома», — сказала она. Но тут же Заостровцев вышел в коридор и, протягивая руку, мягко, словно извиняясь, сказал: «...Заходите, Владимир Владимирович». Силин не вошел. «Я позвонил потому, что на лестнице все слышно, — сказал Силин. — Объясните вашей супруге, что новые дома не приспособлены для тайных разговоров...» Что ж, возможно, Заостровцева и впрямь назначат директором, но теперь для Силина это не имело равным счетом никакого значения.

Или, быть может, даже Нечаева. Молод, энергичен, работающ. Силин избегал встреч с ним, Нечаев сам пришел в его кабинет на следующий же день после возвращения из Средней Азии. «Вы успели хорошо загореть», — сказал Силин. «Да, — ответил Нечаев. — А больше вы ничего не хотите сказать мне,

Владимир Владимирович?» — «Хочу, — кивнул он. — Я был у Рогова и сделал так, как вы хотели». — «Не я хотел, — грустно улыбнулся Нечаев, — а вы *должны* были сделать. Это было нужно прежде всего — для вас».

На бюро обкома он выступил против решения о снятии. Рогов бросил ему со своего места: «Вы хорошо подумали, Андрей Георгиевич, прежде чем выступить?» — «Да», — коротко ответил Нечаев. Наверно, напортил сам себе. Но Силин никак не ожидал, что именно Нечаев поступит так. Это было непонятно и, пожалуй, неприятно ему. Как будто подали милостыню.

На перроне начали появляться пассажиры и выстраивались возле закрытых дверей. Силин поморщился. С кем-то он окажется в купе? Болтливый командировочный с бутылкой коньяка в портфеле, радостный отпускник, мамаша с плаксивым чадом или старушка, набитая дореволюционными воспоминаниями?

— Володя...

Он повернулся. Рядом стоял Бочаров и улыбался не то тревожно, не то растерянно.

— Здравствуй, — сказал Силин.

Он не обрадовался, даже не подумал, зачем Бочаров пришел сюда, — наоборот, ему стало неприятно: на кой черт мне эта жалость!

— Значит, едешь?.. — спросил Бочаров. И потому что вопрос был нелепым, Силин усмехнулся: значит, еду. Бочаров кивнул. Он не знал, о чем говорить дальше.

— Я хотел тебе сказать... Я думаю, все будет хорошо, Володя.

— А ты меня не уговаривай. Я уж сам как-нибудь. — И, чтобы как-то сгладить ненужную сейчас резкость, спросил: — Что дома?

— Дома? — переспросил Бочаров. — А что дома? Вера работает, Алешка на днях уходит с завода и уезжает, Кира... — он осекся.

Силин отвернулся.

— Что Кира?

— Сам догадываешься — что, — тихо ответил Бочаров.

Они долго молчали. Проводница наконец-то открыла дверь, и Силин достал билет.

— Ты иди, — сказал он. — Я хочу сразу лечь и уснуть.

— Хорошо, хорошо, — торопливо сказал Бочаров, беря Силина за руку. — Я только очень тебя прошу, Володя... Очень прошу! Ну, что было, то было, о чем говорить... Но главное то ведь должно остаться?

— А ты знаешь, что главное? — спросил Силин, поднимая чемодан.

— Знаю. И ты тоже знаешь, — все так же торопливо продолжал Бочаров, словно боясь, что Силин войдет в вагон, по-

езд тронется и он не успеет договорить. — Ты маму вспомни, Екатерину Федоровну. Как она жила? Не для себя ведь жила, верно?

Он был маленький, Бочаров. Маленький и суетливый, и Силину казалось, что он сейчас глотает слезы, давится ими, как и тогда, много лет назад, на этом же самом вокзале. Тогда Кира держала его за руку.

— Ладно тебе, — сказал Силин. — Мне и так-то сейчас хуже некуда.

Он вошел в вагон, а Бочаров тронулся вдоль вагона, заглядывая в окна. Силин бросил чемодан на багажную полку и вышел в коридор, доставая сигареты. Так они и стояли, разделенные оконным стеклом.

И поезд ушел.

СВОЯ ВИНА



Все это было и страшно, и странно, и горько одновременно. Странно и горько было войти в кабинет Левицкого на втором этаже, увидеть на вешалке его толстую суконную куртку, каску на шкафу, его кактусы, которые он давным-давно принес из дому, пока там шел ремонт, да так и оставил здесь, на подоконнике, его полотенце и мыло в нижнем почему-то открытом ящике стола. Поношенная, во многих местах рыжая от прожогов куртка, которую он надевал каждый раз, идя в цех, каска, кактусы и полотенце, стакан в подстаканнике и початая баночка растворимого кофе, который он упорно называл безразмерным, — были из его, Левицкого, жизни. Но сейчас в вестибюле заводоуправления и на доске объявлений возле проходной висели большие листы ватмана с черной каймой и портретом начальника литейного цеха. «После тяжелой болезни... на 57-м году...» А лицо Левицкого на этих увеличенных фотографиях было молодым и худошавым — должно быть, у родных не нашлось другой, более поздней, когда его лицо сделалось болезненно отечным и сам он чудовищно растолстел.

В литейном цехе Левицкий проработал тридцать один год, и на фронт его не взяли именно потому, что он работал в литейке. И два военных ордена у него были — за металл и за то, что по восемнадцать — двадцать часов не выходил из цеха, даже во время бомбежек, и спал тут же (рабочие и инженеры были на казарменном положении), и недоедал, как все.

Но сейчас об этом помнили лишь немногие заводские старожилы. Для всех остальных Левицкий был вечным начальником цеха, которого постоянно «мыли» на директорских совещаниях, партийных и профсоюзных конференциях, в многотиражке, а то и в областной газете. Ругали — и не снимали, потому что невозможно было представить себе литейный цех без Левицкого, и привыкли к тому, что ни Левицкий, ни литейный цех лучше работать не смогут.

Теперь Левицкого не было.

Два дня назад его заместитель по подготовке производства Сергей Николаевич Ильин навестил Левицкого в больнице. Ему пришлось долго ждать, и он успел прочитать всю стенгазету и разглядеть плакат «Путь к инфаркту», на котором были изображены бутылка водки, дымящаяся сигарета; жирный сви-

ной окорок и семейная ссора. Постоял возле аквариума с вуалехвостами. Над аквариумом была смешная надпись: «Просим рыбок не кормить, рыбки на диете». Ожидание оказалось томительным. Он спросил у пробежавшей мимо сестрички, почему такая задержка, и та коротко бросила: «Профессорский обход».

В большой и белоснежной реанимации лежали двое — Левицкий и совсем молодой парень. Незаметно кивнув на него, Левицкий сказал:

— С того свету за ногу вытянули. Двадцать семь годков, а инфарктище, как у старика. И все равно покуривает под одеялом.

— Ты-то как?

— Да ну все это к лешему. Так искололи, что я вроде дуршлага стал. Вернусь домой — жена через меня макароны процеживать будет. Не вовремя прижало, одним словом.

— Вовремя никогда не бывает, — сказал Ильин. — Я тут тебе огурчиков принес со своего огорода. Первый урожай.

— Закусочный материал, — сказал парень.

— Помолчал бы ты лучше, — сердито ответил ему Левицкий. — Схватил дырку в сердце, а сам только об одном и думаешь...

— А что? — усмехнулся парень. — Знаете, между прочим, как трое инфарктников оказались в раю? Ну, поселились и сразу решили скинуться на троих по ржавому рублику. Только разлили — один исчез. Потом снова появился и снова исчез. «Слушай, — говорят ему, — куда ты все время пропадаешь?» — «А, — говорит, — совсем реаниматоры измучили!»

Левицкий засмеялся. Он смеялся хрипло, все его огромное тело колыхалось.

— Слыхал? — сказал он Ильину. — Остряк попался, с таким не соскучишься. Дай ему огурчика. Ну, а у нас что?

Ильин поглядел на часы. Его впустили сюда на пять минут, и эти пять минут уже прошли. Левицкий отвернулся от него.

— Сейчас скажешь, что ничего нового нет.

— Так и скажу, — усмехнулся Ильин. — А тебе что, кажется — мы без тебя переворот в металлургии совершили? Или новый цех за две недели поставили? Нет, брат, все как было, так и есть.

— Сейчас ты за меня?

— Я.

— Ну, так оно и должно быть, — сказал Левицкий. — Мне-то полгода на лечение положено. Оказывается, есть выздоровление клиническое — это когда тебя выпишывают, и морфологическое — когда снова можешь вкалывать. Я отсюда профессором по этому делу выйду, — он потыкал пальцем в свою грудь. — Ну а все-таки — есть новое или темнишь?

Ильин оглядывал реанимацию. Какие-то осциллографы прибор с надписью «дифибриллятор» в стеклянном шкафчике,

еще один прибор «плеврореспиратор», — прочитал Ильин, и штыри торчат с бутылками и резиновыми трубками — капельницы... Не дай-то бог познакомиться ближе с этой техникой.

— Чего смотришь? — грубовато спросил Левицкий.

— Вроде бы на нашу экспресс-лабораторию похоже, а?

— Темнишь! — уже уверенно сказал Левицкий.

— Ну, вот тебе новость: вчера было бюро, Коптюгова приняли в кандидаты, читали твою рекомендацию. Так что можешь порадоваться за свой любимый кадр.

Больше он ничего не хотел рассказывать. Ни о том, что вчера же, когда формовали «чайник», рабочие ошиблись и перевернули верхнюю полуформу, а контролер подмахнул все бумаги заранее, потому что через полчаса по телевидению должны были показывать четвертьфинальный матч на кубок СССР и ему надо было поспеть домой к передаче. Ни о том, что три дня назад там же, на формовочном, плохо просушили одну форму и, когда ее залили, естественно, кип и вся отливка пошли в брак. Ни о чем этом Ильин не хотел рассказывать Левицкому, хотя подобные истории случались нередко, и Левицкий как бы привык к ним.

— Ну, а насчет нового директора чего же ты молчишь?

— Какого директора? — спросил Ильин, усиленно делая вид, что ему ровным счетом ничего не известно. — Никакого нового директора еще нет. Декадки проходят по-прежнему у главного. Вчера с утра у него сидел.

— Брось, — тихо сказал Левицкий. — Я же знаю, что директором будет Званцев.

Ильин усмехнулся и покачал головой. Надо же — он знает! Расстарался кто-то, доложил! А все — слухи, ОББ — одна баба болтала.

Это было действительно так — слух, и только.

— Ты же сам две недели назад говорил, что Званцева переводят в обком.

Сейчас он хотел успокоить Левицкого. Разговоры о том, что вот-вот первого секретаря райкома назначат директором завода, были упорными, и Ильин понимал, почему это известие, каким-то образом дошедшее сюда, в больницу, так взволновало Левицкого. А волноваться ему нельзя: врачи говорят, что инфаркт у него обширный, да еще на фоне диабета, и поэтому протекающий особенно тяжело.

— Вот что, Серега, — сказал Левицкий, положив свою огромную руку на колено Ильина, — я с тобой в открытую хочу, понял? Бюллетень бюллетенем, конечно, но как поправлюсь — сразу же на пенсию. Буду с Алешкой марки собирать и на рыбалку ездить. Это я уже твердо решил.

Фотография Алешки — внука Левицкого — стояла тут же, на тумбочке, прислоненная к банке с ромашками.

— Это почему же? — не понял Ильин. Нет, он понял, конеч-

но, но надо, необходимо было прикинуться вот таким, непонимающим.

— Хватит тебе, — поморщился Левицкий. — Ты же знаешь, сколько нас клевали где только можно. Во-первых, мне этого больше не выдержать. Нашего брата не случайно на пять лет раньше на пенсию спроваживают... Ну, а во-вторых... Ты помнишь, из-за чего Силина сняли? Из-за приписки. А почему он пошел на приписки? Из-за нас, из-за литейного цеха.

— Ну почему же из-за нас? — спокойно возразил Ильин. — У него других грехов до верхней губы было. А ты лежишь, времени у тебя вагон, вот и выдумываешь себе бог знает что.

Они говорили о бывшем директоре завода Силине, снятом полгода назад. Ильин знал, что Силин, человек крутой, нетерпимый, резкий до грубости, почему-то относился к Левицкому с особой терпимостью, хотя попадало ему от Силина ничуть не меньше, чем другим. При Силине старые мартеновские печи заменили тремя электродуговыми, тогда и монтажники, и все они работали как бешеные, но все равно дела в литейном шли неважно. Порой казалось, Левицкий висит на волоске, особенно тогда, когда механический завод перешел на выпуск газовых турбин.

— Нет, — сказал Левицкий. — Я его еще комсоргом ЦК помню, между прочим. В сорок пятом вернулся такой парнишка с фронта, вся грудь в орденах... — Он говорил сбивчиво, и Ильину трудно было уловить в этой сбивчивости точную мысль. — Вот меня и мучает, что он из-за нас, из-за меня загремел. Меня-то он любил, сам не знаю почему. А что я мог больше сделать? Нет, брат, теперь все, теперь на пенсию. Званцев — совсем другой человек. Да и времена другие, старых галош нынче в домах не держат...

— Никуда ты не денешься, — уже сердито сказал Ильин.

— Ну да, — подхватил Левицкий. — Я ведь теперь вроде чемодана без ручки. И нести неудобно, и выбросить жалко.

— Чего ты сам себя накручиваешь? Званцев-то здесь при чем? Даже если его и назначат...

— А при том, — уже спокойно, даже с улыбкой ответил Левицкий, — что новый хозяин всегда по-новому решает. Так что, выходит, Серега, тебе полный простор.

Это был уже открытый намек — а может быть, и упрек, как знать? Скорее всего, начальником цеха станешь ты, вот тогда и начинай проводить в жизнь все свои идеи. Год назад, еще при Силине, Ильин подал служебную записку. Левицкий прочитал ее и пытался уговорить Ильина повременить, не идти дальше, — в конце концов они разругались. Записка легла на стол директора завода Силина, и Ильину передавали — директор сказал, что сейчас нечего заниматься революциями, а надо просто хорошо работать, осваивать новое оборудование и так далее. Он даже не вызвал к себе Ильина, а тот не стал ни на

чем настаивать, понимая, что Силина ему не пробить. Или отступил? Или все-таки можно было пойти дальше — в обком, например? Но поступить так — значило окончательно разойтись с Левицким и навлечь на себя ненужные подозрения: вот, заместитель подсиживает своего начальника, вроде бы метит на его место. Он знал, что такие разговоры вполне могут быть, на заводе люди разные... А он тоже любил Левицкого, еще с тех очень давних времен, когда тот был мастером, а их — группу детдомовцев — привели на завод на экскурсию. И, кстати, привел их Силин, тогдашний комсорг ЦК. Заводу были нужны рабочие, вот он и организовал эту экскурсию старшей группы.

В памяти Ильина остались вовсе не обрывки воспоминаний, а точный, почти фотографический образ увиденного, и то, что он увидел, поразило его. Впрочем, «поразило» — это еще не то слово. Он был потрясен. Шла плавка. Каждой частицей своего тела Ильин ощущал не просто величественность и необычность происходящего, у него на глазах чуда. Ему передалось то огромное, почти нечеловеческое, как ему казалось, напряжение людей, которые создали этот ослепительный ручей стали. Он чувствовал его жар, который притягивал его к себе. Эта сталь была еще *ничем*, и, когда кто-то из ребят спросил, что из нее сделают, а мастер, усмехнувшись, сказал: «Патефонные иголки», Ильиным овладела злость на того, кто задал этот идиотский вопрос. Из него, из этого ослепительно красивого ручья можно было сделать все, что угодно. Он был началом всего, как кусок хлеба, с которого начинается всякая еда. Потом для Ильина все вокруг исчезло. Он уже не замечал грязный, закопченный цех — просто потому, что в эту неуютность, в эти холодные сквозняки, в этот незнакомый ему и, быть может, поначалу показавшийся неприятным заводской мир вошла такая невиданная красота, что чувство потрясенности не прошло даже тогда, когда подручный начал что-то бросать лопатой в ковш и над сталью поднялся грязный, ржавовато-коричневый дым.

«Ну, — спросил тогда мастер, — видали? Работенка, прямо скажем, не развеселая, не в цирке работаем».

«Точно, не в цирке!» — засмеялся кто-то за спиной Ильина.

«А может, кто-нибудь и пойдет к нам, а?»

«Я пойду», — неожиданно сказал Ильин.

Мастер снял со своей головы войлочную шапку с приданными спереди темными очками и нахлобучил ее на голову Ильина.

«Великовата еще немного, — сказал он. — Подрастешь малость — и приходи. Если не передумаешь, конечно».

Просто Левицкий тогда еще не знал его, и не знал, что, если этот парнишка вобьет себе что-нибудь в голову, выбить это оттуда невозможно никакими силами.

Сейчас Ильин подумал, что и Левицкий вбил себе в голову

про пенсию. В чем-то он был, конечно, прав. Литейный цех работал на пределе, «пахали» здесь чуть ли не каждый день, и завод сидел на полуголодном пайке, потому что надо было еще поставлять металл заказчикам и поставки задерживались. Если действительно придет Званцев, он, конечно, начнет все переворачивать по-новому, и тогда Левицкому впрямь останется собирать с Алешкой марки. Но одно дело — уйти с почестями, речами и банкетом, а другое — дожидаться, пока тебя вызовут и намекают, что, дескать, не пора ли тебе, брат, по собственному желанию...

— Ладно, — сказал Ильин. — Лежи и меньше думай. Это, между прочим, тоже хорошее лекарство. А завтра к тебе Коптюгов собирался заглянуть. Он эту неделю в ночную работает.

И все-таки, возвращаясь домой, он думал, что получилось худо. Кто же сболтнул ему про Званцева? Прошлой осенью на партконференции секретарь обкома партии Рогов разносил прежнего директора именно за дела в литейном цехе, и был прав, конечно. Силин уже тогда не хотел думать о будущем, ему была нужна сиюминутная выгода. Легко, конечно, дать выволочку цеховому начальству — авось после этого начнут работать лучше. А от таких выволочек у людей только руки опускались, но Силин этого не понимал. Ему казалось, что все кругом работают плохо, лишь он один хорошо. И еще вспомнил Ильин: не то на директорском совещании, не то на бюро парткома секретарь парткома Нечаев навалился на Левицкого так, что впору было тут же освобождать человека от должности. Но тогда все обошлось. Внедрили кислородное дутье, выпуск металла увеличился, но вытащили нос, а хвост завяз: строго запретили давать из такой стали фасонное литье, боялись трещинообразований... Конечно, у Левицкого сейчас слишком много времени, чтобы вспоминать и думать над всем этим. Надо сказать Коптюгову, чтобы завтра вообще не было никаких серьезных разговоров. Так — хиханьки да хаханьки, это Коптюгов сумеет...

Дома у Ильина никого не было. Жена, тесть и теща на даче, сын укатил на стройку со студенческим отрядом и вернется только к концу августа. Ильин любил эту пору, когда можно было остаться в городе одному. Последние годы оказались слишком трудными для него. Он давно не брал отпуск, никуда не ездил, в свои сорок три года ни разу не видел Черного моря, случалось, месяцами работал по выходным дням, и лишь в такие вот вечера мог отдохнуть. Не читать, не включать телевизор, а просто сидеть в одной пижаме на балконе, курить и смотреть на улицу. Когда механический завод перешел на выпуск газовых турбин, итээровцы шутили, что у них нормальный восьмичасовой рабочий день — от восьми до восьми...

Но сегодня Ильин вернулся домой рано. Можно было вымыться, переодеться и выйти на балкон.

Он обещал жене, что, быть может, приедет на дачу в будний день, если только удастся вырваться с завода пораньше. Сегодня он мог бы поехать, но ему не хотелось. Левицкий не шел у него из головы. Ильину казалось, что именно сегодня произошло первое расставанье. Второе будет потом: красный уголок, цветы, всякие добрые слова, дорогой подарок в складчину, новенький постоянный пропуск на завод, затем застолье и снова речи, одна лучше другой, словно прижизненная панихида, с той лишь разницей, что все стараются не сказать о человеке в прошедшем времени — «был»...

Вечер выдался душный, и Ильин подумал, что к ночи или ночью обязательно будет гроза. Но все-таки хорошо было сидеть вот так: на столике — запотевшая бутылка с нарзаном и никуда не надо бежать, ни с кем не надо ругаться по телефону, да так, что трубка становится мокрой от твоего пота, и все сам, сам, сам, потому что ему нужны просто расторопные люди, а не инженеры из ПРБ — плано-распределительного бюро, — которые все умеют подсчитать, но не знают, что такое выбить смолы или вовремя подать шамотный бой... Сколько раз он схлестывался с Левицким, доказывая, что в цехе надо менять структуру управления, и в той докладной было то же самое, но Левицкий глядел на него усталыми, печальными глазами и говорил одно и то же: «Ну погоди ты немного, Сережа. Не нами это все заведено, да и не время сейчас... Какой ты, честное слово, неудобный человек». Вот тогда Ильин и не сдержался. Ему казалось, что перед ним стена, которую не пробить. План, план, план!.. Приходит мастер с «сороковки» и говорит: «Дадим четыреста», — это он сам так решил, и, пока не покроешь матом, пока не крикнешь, что печь может и должна давать до пятисот тонн с лишком, если четко организовать работу, — его не переломишь. Левицкий не ругается. У него всегда за пазухой пряничек. За субботу платит сталеварам по двадцать пять рублей, за воскресенье по тридцатке, — план, план, план!.. Не все такие, как Коптюгов и его ребята, — иным только и нужны эти четвертные да тридцатки!

Даже вот в такие редкие минуты отдыха Ильин не мог отключиться от раздумий о делах, хотя и пытался оборвать их, даже придумывал игру с самим собой. Вот на балконе противоположного дома двое — мужчина и женщина — стоят и разговаривают. Слов, конечно, не слышно. О чем они говорят? Он: «Ну, дай хоть на маленькую». Она: «Выпьешь — расстанемся навеки. Лучше пойдем в кино». Он: «В такую-то духоту? Да в кино сейчас просто крематорий». Она: «Ничего, и телевизора на сегодня хватит». И уходят в комнату — смотреть телевизор...

Ильин придумывал эти разговоры и улыбался им — они и впрямь отвлекали его от ненужных сейчас мыслей. Иногда ведь от мыслей устает больше, чем от работы.

А вот Левицкий лежит в реанимации и терзает себя мыслями о бывшем директоре. Вернее, не о нем, а о том, что Силин погорел из-за литейного цеха, если же точнее — из-за Левицкого. На заводе все эти полгода Силина вспоминали чуть ли не каждый день. Вспоминали по-разному. Одни жалели, что его сняли, — крепкий был хозяин, другие с радостью — сколько же можно было терпеть его хамство, третьи — с той настороженностью, которая всегда присуща ожиданию нового руководителя. У Ильина же отношение к бывшему директору было свое, особое: в нем смешались и досада, и непонимание, и злое чувство личной неприязни, к чему была одна причина, кроме той, что Силин даже не удосужился рассмотреть его записку...

Эта история была давней и неприятной, а Ильин не любил вспоминать неприятные истории, тем более с годами он так и не смог или, вернее, не захотел поверить в очевидное, в то, что эта история отразилась на его работе. В этом сказывалась прежде всего его натура, не допускающая даже мысли о человеческой несправедливости, которой можно ответить на справедливость.

Как-то Левицкий с грустью сказал ему, что *наверху есть мнение* перевести Ильина в отдел комплектации и снабжения. Расставаться же Левицкому со своим заместителем никак не хотелось. Но, добавил Левицкий, пока вопрос решается, давай иди в отпуск. Это было кстати, — уже декабрь, и ясно, что цех годовой план вытянет. Впрочем, тут же Левицкий добавил: «Только не уезжай далеко. Мало ли что... Сам знаешь, как у нас бывает. Так что или дома сиди, или, если хочешь, я тебе путевку выколочу в нашу Малиновку».

Ильин поехал в Малиновку.

Заводская база не пустовала никогда — ни зимой, ни летом, но на этот раз народу было немного, в основном отдыхали работники разных служб, охраны, двое пожарников. Ильину повезло: он поселился один в маленькой комнатке под самой крышей, сверху были видны облепленные снегом верхушки елей, и он подолгу мог смотреть, как вдруг ветки начинали качаться, снег сыпался, а белка прыгала с одной елки на другую, будто ей нравилось нарочно сшибать снег. Белки здесь были непуганые, сухари и сушки брали прямо из рук.

Два дня рядом шел снег, и его навалило столько, что все, кто отдыхал в Малиновке, вызвались чистить дорожки и сбрасывать с крыш тяжелые пласты. И как чудесно, как радостно работалось на морозце — с шутками и снежками, с тем неповторимым ощущением свежести, которое входит в тебя и остается надолго.

Нет, Ильин ничуть не жалел, что ушел в отпуск именно сейчас. По утрам, еще до завтрака, он вставал на лыжи (сигареты и спички оставались дома) и отмахивал километров пять-шесть, да так, что от него только пар шел. Зимняя лесная тишина успокаивала его. Наконец-то пришла пора полной без-

думности и беззаботности, такая непонятная и незнакомая, что он с каким-то удивлением думал: с ним ли это происходит, не колдовство ли это?

Пожалуй, впервые в жизни он так близко, один на один, столкнулся с этим колдовством — природой и начал замечать, что ее зимняя тишина обманчива. Синички вертелись возле домов, ближе к людям, и только писк стоял, когда кто-нибудь съял на фанёрку пригоршню семечек. Однажды в лесу лыжно перебежала лисица. Сначала Ильин подумал — откуда здесь взялась собачонка? — и потом сам рассмеялся своему городскому недоумению. Лисица! Самая настоящая! И к тому же стержовная, должно быть, дамочка — отбежала, остановилась и поглядела на Ильина, будто желая сказать: «Ну что, лопух, хороша я? Сгодились бы тебе на шапку? А ты попробуй возьми меня». Хотела так сказать и поплыла в снегу, легко скидывая лапы и выбрасывая красивое тело.

Он часто встречал лосиные следы и наконец увидел самого лося. Даже издали зверь показался Ильину огромным. Самец с широкими, как вывороченное корневище, рогами стоял неподвижно и глядел на человека. Темный, со светлым подбрюшьем, лось тоже будто бы спрашивал его: «Чего ты испугался? Не бойся, но и я тебя не боюсь. Свернешь ты или пойдешь на меня? Если пойдешь, я сверну». Ильин свернул и оглянулся. Лось, спокойно потянувшись, начал обдирать зубами ветки.

Об этих встречах он не рассказывал никому. Эка невидаль, ответят ему, в нашем зоопарке не то что лоси и лисицы, а кенгуру водятся. Гони двуривенный и любуйся сколько тебе угодно. Нет уж, мы лучше пульку с утра распишем, а вечером по телевизору ЦСКА играет с «Химиком».

В один из дней на базе началась непонятная Ильину суета и суматоха. Все стало ясным, когда директор базы — добрейший старик — подошел к Ильину и, словно извиняясь перед ним за бог весть какую свою провинность, начал говорить: «Сережа, голубчик, я все понимаю, но и вы тоже не сердитесь на меня. Ну только на два денька всего, родной мой, иначе совсем зарез». — «О чем вы?» — спросил Ильин. И все тем же виноватым, извиняющимся голосом, старательно отводя в сторону глаза, тот объяснил, что завтра в Малиновку должны нагрять гости, и не какие-нибудь, а (он потыкал пальцем в потолок) *оттуда!* Не то начальник главка, не то повыше держи, так что, Сережа, голубчик... Ильин рассмеялся. О чем говорить? Только одна просьба — не оказаться бы в комнате с каким-нибудь храпуном, всего и дел-то!

Днем подошла «Волга». Из приехавших Ильин знал только одного — главного инженера завода Владимира Владимировича Силина. Приезжие осмотрели и похвалили базу, пообедали в столовой вместе со всеми, потом «Волга» ушла и вернулась с немолодым, одетым в полушубок и валенки человеком. Приезжие и «полушубок» до вечера сидели в одной из освобо-

жденных комнат. К ужину Силин спустился в столовую и издали помахал рукой Ильину.

«Пойдемте, Сергей Николаевич, — сказал он, — есть один разговор».

В комнате стоял большой стол, на столе была привозная закуска, бутылка с коньяком. Ильину предложили выпить для знакомства, он отказался. Один из приезжих весело и деланно всплеснул руками:

«Ну и кадры на вашем заводе, Владимир Владимирович! Никто рюмки не пригубит. Но все равно, вы присаживайтесь, товарищ».

«Спасибо, — ответил Ильин. — Я действительно не гожусь для компании».

Силин отвел его в сторону.

«Вот что, Сергей Николаевич, это наши гости, которых мы должны принять на высшем уровне. Ну да сами понимаете...»

«Пока не понимаю, Владимир Владимирович».

«Завтра с утра мы идем на лося. Лесник говорит — есть подходящий экземпляр. Одним словом, просьба такая: организовать человек десять — пятнадцать из отдыхающих. Лесник покажет, откуда надо гнать».

Ильин поглядел на лесника. Только что ему налили полстакана коньяка, он выпил и закусил соленым огурчиком.

«А почему вы решили поручить это дело мне?» — тихо спросил Ильин.

«Ну, все-таки вы здесь старожил, — улыбнулся Силин. — Всех знаете, вам будет просто легче...»

«Значит, — усмехнулся Ильин, — нужны загонщики или как их там? В городских-то ботиночках? Прогулка по природе перед завтраком? — И добавил совсем резко: — Нет уж, увольте меня от этой работы. Я инженер, а не затейник для приезжих. И вообще, мне кажется...»

«Вот именно — кажется, — перебил его Силин. — Извините, больше не задерживаю».

Вот такой был разговор.

Загонщиков среди отдыхающих все-таки нашли. Нашлись и валенки. Утром, затемно, приезжие, Силин, лесник, загонщики ушли в лес. Они вернулись к вечеру. На санях привезли тушу убитого лося. Директор базы, тот славный старикан, с ног сбился, чтобы организовать пир, лосятины хватило на всех. Ильин же на два дня уехал в город, чтобы не видеть ни убитого лося, ни пиршества. Ему казалось, что убили как раз того самого лося, с которым он встретился в лесу накануне.

Надежда удивилась, когда он открыл своим ключом дверь.

«Ты захворал?»

«Нет, — сказал он. — Просто мне надо побыть пару дней дома».

«Что случилось?»

Он рассказал, что случилось, и его поразил взгляд жены:

она глядела на него с таким отчаяньем, с каким, должно быть, смотрят на близкого человека, совершившего преступление.

«Ты ни о чем не хочешь думать, — шепотом сказала она. — Ни раньше, когда отказался от аспирантуры, ни потом, ни теперь... Считай, что, пока Силин здесь, все дороги тебе закрыты...»

«Ерунда!»

«Всё ерунда! — уже громко сказала, нет — выкрикнула Надежда. — Тебе всегда все ерунда!.. Нельзя же в сорок лет быть таким...»

Она не договорила, но Ильин понял эту недоговоренность. «Таким дураком» или что-нибудь вроде этого.

«Вот как? Стало быть, по-твоему, я должен был услаждать кого-то, прислуживать, блажить на весь лес, колотить по деревьям, чтобы приезжее начальство развлеклось стрельбой по лосю? Где мы живем? Кому это позволено? Нет уж, такие забавы не для нас — не для меня во всяком случае. Надо принять на «высшем уровне»? Пожалуйста! Отведи гостей в ресторан за свой счет или на «Леди Макбет». А то ведь, наверно, лицензию на отстрел лося — и ты не сам доставал».

Вот тогда Надежда взорвалась по-настоящему:

«Если б тебе дали в руки не палку, а настоящее ружье и поставили бы рядом с собой — ты ведь согласился? — Это был даже не вопрос, а утверждение. — Ты взбеленился от зависти. Как же так! Меня, Ильина, не допускают до такого высокого общества! А кто виноват, что ты сам не захотел войти в это общество? Ты! Ты и виноват! Вот и протирай теперь штаны в вечных замахах, и ни туда теперь тебе, ни сюда».

«Прекрати, — тихо сказал жене Ильин. — Это же... это отвратительно, что ты говоришь!»

«А ты давай борись дальше! — не унималась Надежда. — Напиши в обком или еще куда-нибудь, сигнализируй, разоблачай, если уж ты такой принципиальный».

Он никуда не написал, разумеется. Ему вполне хватило своего собственного отношения к этой охоте и к разговору с Силиным. И, конечно, Ильину в голову не приходило, что все это может повлиять на его новое назначение. Его никуда не перевели, он работал по-прежнему, и главный инженер завода Силин, встречаясь с ним, здоровался холодным кивком. Но дикая, грубая, обидная вспышка Надежды осталась в Ильине как заноза, которую он никак не мог вытащить.

Возвращение в Малиновку оказалось трудным, но еще труднее было бы оставаться дома. Теперь он не ходил в лес, а только вдоль шоссе, по накатанной лыжне. Он словно боялся войти в лес и увидеть там следы безжалостности и нелюбви к чуду, которое он сам, быть может, слишком поздно открыл для себя. Но об этом Ильин старался не думать. Он думал о Надежде. К чему она толкает меня? К угодничеству, приспо-

собречеству? К возможности «сделать карьеру»? Столько лет вместе, так неужели она не поняла, что все это не для меня? Он не помнил их мелких стычек и ссор, в конце концов каждый в семье имеет право на свое мнение, но такого до сих пор между ними еще не было, и за всем тем, что сказала Надежда, явственно слышалась невысказанное: «Маленький ты человек, таким и останешься». Что это? Случайная вспышка или очень долго хранившееся в душе разочарование, быть может даже сознание совершенной ошибки, когда она согласилась выйти за него замуж?

Эти мысли мучили Ильина. Из отпуска в том году он вернулся усталым и разбитым.

Он всегда вставал ровно в шесть, обычно успевая прихлопнуть будильник, чтобы не разбудить домашних. Но в эту ночь он долго не мог уснуть: все-таки дневная духота, как он и ждал, кончилась здоровенной грозой — и он уснул далеко за полночь. Его разбудил далекий звонок. Но звенел не будильник, а телефон, просто Ильин не сразу догадался об этом спросонья.

Он поднял трубку.

— Сергей Николаевич, извините, что я разбудила вас...

— Кто это? — не сразу понял он.

— Елена Михайловна.

Тогда он понял и, холодея, крикнул:

— Елена Михайловна, что?!

— Его уже нет, — сдавленным голосом сказала Левицкая.

2

Похороны всегда тяжки, но и поминки не легче. После кладбища Ильин не мог не поехать к Левицким, хотя бы ненадолго. В большом автобусе рассаживались угрюмо, молча, — в каждом еще жила та острая боль, когда не хочется ни о чем говорить, и Ильин, не выносивший поминок, вдруг подумал, что этот обряд вовсе не так уж плох. После нескольких рюмок люди как бы приходят в себя, боль помаленьку утихает, и неизбежные грустные мысли о том, что и тебя когда-нибудь повезут точно так же, отходят.

Рядом с ним в автобусе оказался секретарь парткома Нечаев, и Ильин снова подумал: хорошо, что Нечаев здесь, а семья Левицкого поехала домой на его машине. И вообще хорошо, что Нечаев был на похоронах, хотя и не выступил — просто стоял в стороне. Говорили другие. Ильин поискал глазами и увидел впереди лохматую голову Коптюгова. Пожалуй, этот парень, плавильщик с «десятки», сказал лучше других — без привычных и обязательных слов, сказал так, что у Ильина на какую-то секунду перехватило горло. Он плохо знал Коптю-

гова — тот работал на заводе года полтора или два, и за все это время Ильин вряд ли обменялся с ним десятком ничего не значащих фраз. Лишь несколько дней назад, на партийном бюро, когда Коптюгова принимали кандидатом в члены партии, Ильин пригляделся к этому человеку с тем интересом, какого, казалось, Коптюгов не мог не вызывать.

Он был высок, с некрасивым, но, как говорят, запоминающимся крупным лицом, на котором выделялся тяжелый раздвоенный подбородок. Брови у него словно выгорели, а может, и на самом деле выгорели, они лишь намечались светлыми полосками, зато шевелюра была буйной, такую ни один гребень не возьмет, и, стоя перед членами бюро, Коптюгов то и дело смущенно проводил ладонью по волосам, будто стараясь пригладить их. Обо всем этом Ильин подумал вскользь, потому что Нечаев неожиданно сказал:

— Завтра, Сергей Николаевич, вас должен вызвать Заостровцев.

Ильин коротко кивнул. Главного инженера Заостровцева, который вот уже полгода исполнял обязанности директора ЗГТ, на похоронах не было. Все знали, что он в Москве, в главке, но если Нечаев говорит — завтра, значит, он вот-вот должен вернуться.

Разговаривать по-прежнему не хотелось, и он глядел в окно автобуса на пригородные домики в палисадниках; потом этот совсем деревенский пейзаж резко оборвался и начались кварталы новостроек — город наступал на бревенчатые избы окраины, которую Ильин помнил с детства. Он не думал, зачем его вызовет Заостровцев, все было понятно и так: цех остался без руководителя — значит, будут обсуждаться цеховые дела. На чашку чая у нас не приглашают... Хотя вот у Левицкого была такая манера: вечером, когда уже наваливалась усталость, он вдруг обрывал деловой разговор и спрашивал: «Может, кофейку, а?» И сколько за все эти годы было выпито кофе — не сосчитать! Хорошая была манера, хорошая привычка! Левицкий даже держал в столе сахар — для других, потому что сам пил кофе только с ксилитом.

Нечаев тоже молчал. И опять, снова в сознании Ильина они объединились — Нечаев и Левицкий, хотя о том, как в прошлом году новый секретарь парткома навалился на начальника литейного цеха, он знал лишь со слов Левицкого. Тот вернулся в цех какой-то серый, с набрякшими мешками под глазами и, когда Ильин спросил, что произошло, махнул рукой:

«А, что ты задаешь ненужные вопросы? Обычное дело, только теперь за меня новое партийное руководство взялось. Статьи, будем вводить кислородную продувку, так что и тебе дел прибавится. Может, кофейку?»

«Нет, — отказался Ильин. — Тебя, что же, Нечаев на ковер поставил?»

«Он самый».

«А ты? Ты не сказал, что есть возможность увеличить выпуск металла, если...»

Левицкий махнул рукой.

«Я же тебя просил, Сергей...»

«Пойдем вместе, — настаивал Ильин. — Сейчас на заводе совсем другая обстановка. Я не собираюсь присваивать себе лавры новатора. Это же наше дело, и твое и мое. Пойдем к Нечаеву, он же инженер, черт возьми, давно ли сам начальником цеха был. Ты пойми, когда-то ведь надо начать...»

«Я устал, — сказал Левицкий. — Ты уж извини».

Ильин вышел, резко закрыв за собой дверь.

Сам он почти не знал Нечаева, и сейчас, в автобусе, сидя рядом с секретарем парткома, подумал, что все мы почему-то плохо знаем людей, с которыми работаем. В том трудном, порой изматывающем ритме, в котором мы живем, не остается времени на то, чтобы узнать о человеке больше. Не из любопытства, конечно, нет, а потому, что люди должны знать друг друга, если они связаны одним и тем же делом. Он снова поглядел на взъерошенную голову сидящего впереди Коптюгова. Видимся чуть ли не каждый день, а я только на партбюро узнал, что этот парень ушел из семьи, от матери, работал на юге, потом вернулся, но не домой... Только что мы проехали и его домик, один из тех, в палисадничках... Мать и отчим развели там такое хозяйство, что ступить некуда, и все на продажу, на рынок. Мещане, стяжатели, над каждой копейкой дрожат — вот он и не выдержал, ушел. Снимает комнатенку в городе за тридцать рублей. Подал ли заявление в цехком относительно жилплощади? Подал, ребята уговорили. Когда он ушел, секретарь партбюро сказал, что вот как нехорошо получается — один из лучших рабочих, сталевар дай бог какой, а мы даже не знали, как он живет. Надо помочь.

Ильин повернулся к Нечаеву.

— Кстати, как у нас с жильем? Я слышал, новый дом почти готов.

— Да, — сказал Нечаев. — А у вас что, плоховато?

— Я не о себе, — сказал Ильин.

Ему показалось, что Нечаев поглядел на него как-то удивленно, но, возможно, это только показалось, чему тут удивляться-то?

Автобус уже подошел к дому, где жила семья Левицких.

И опять в тяжелой тишине маленькой квартирки, когда мужчины стояли в коридоре и курили, в этом долгом и неловком ожидании Ильин как бы продолжил свою мысль, случайно пришедшую к нему по дороге и которая, оказывается, прочно засела в нем, — мысль о том, как мы плохо знаем друг друга. Он знал и жену, и дочку Левицкого, но никогда, ни разу не был здесь, в этой квартире. Пятидесятилетие Левицкого отмечали в ресторане (тогда же, кстати, и выпили на «ты»), а вот здесь он впервые. Фотографии на стенах, как в каждом доме.

Больше всего, конечно, Алешкиных — у Левицкого был культ внука. Молодая еще Елена Михайловна... Как-то Левицкий рассказывал, что женился он в сорок втором на формовщице, и чуть ли не год они прожили в цехе, оборудовав крохотную кладовку позади раздевалки.

Сейчас в двух комнатах стояли столы и невозможно было представить себе, как здесь жил Левицкий. Напрасно Ильин пытался сделать это. Да и зачем? Теперь это не имело уже ровным счетом никакого значения.

На телевизоре стояла, прислоненная к стене, его фотография, такая же, какая висела в вестибюле заводууправления, — фотография человека, у которого впереди было еще много работы, удач и неприятностей, наград и выговоров, когда у него еще не было ни Алешки, ни болезни, и была годовая командировка в Индию, в Бхилаи, и когда он, конечно, не думал, что вот здесь соберутся его знакомые, родня, сослуживцы, чтобы налить в рюмки водку и, стоя и молча, выпить за память о нем.

Он увидел, как на другом конце стола усаживают Алешку. Парню, наверно, лет семь. Ну да, семь — Левицкий же говорил: «Мой нынче в школу пойдет».

Этого Алешку весь завод видел каждый день. Года два назад в каждом цехе появились огромные рисованные плакаты. Заводской художник изобразил на них чудесного мальчишку, который глядел на всех с веселой улыбкой. Сверху, над ним, была надпись: «Папы и мамы, возвращайтесь домой здоровыми!» Снизу, помельче, другая: «Соблюдайте правила техники безопасности». Левицкий был тогда на седьмом небе от счастья, что из всего детского садика художник выбрал для натур именно его Алешку.

Да, слишком много воспоминаний...

После первой молча выпитой рюмки он заметил, как Коптюгов, сидевший неподалеку, подошел к Елене Михайловне. До него донеслось: «Извините... Ночная смена...» — и сразу же вслед за ним вышли двое его подручных. «Молодчина», — подумал Ильин.

Он плохо слушал, что снова говорили здесь, за столом, о Левицком. Ему хотелось одного: скорее уйти, потому что через полчаса начнется шум и гам, подыстует выпитое, бывает и так, что люди забывают, по какому тяжкому поводу они собрались. Этого ему не хотелось видеть.

— Можно мне? — сказал кто-то, и Ильин чуть подался вперед, чтобы увидеть говорящего.

Это был начальник смены Тигран Ованесович Эрпанусьян — маленький, похожий на весеннего грача, с черными волосами и такими синими от бритья щеками, что всегда казалось — они у него чем-то выкрашены.

— Вот что я хочу сказать, — медленно, словно подбирая слова, начал он. — Мы уже много говорили о нашем... о Степане

Тимофеевиче. Хорошо говорили, правильно говорили! Хороший человек ушел. Но есть у нас, армян, одна старая поговорка: «Что в детстве приобретешь, на то в старости обопреешься». Это я хочу Алеше сказать. Большое у тебя богатство осталось — дедушкина любовь. Береги ее, очень прошу тебя. И давайте все выпьем за то, чтобы вырос Алеша в деда, выпьем и пойдем.

И, хотя Елена Михайловна упрасивала остаться, все поднялись. Ильин поцеловал ей руку, провел ладонью по мягкой Алешкиной голове — и горло у него опять перехватило, — и только на улице он вдохнул воздух полной грудью.

— Ты правильно сделал, — сказал он Эрпанусьяну, беря его под руку. Им было по пути. — Пройдем пешком?

— Пройдем.

Они долго шли молча.

— Ну, чего ты молчишь? — вдруг резко сказал Тигран. — Я понимаю, что для каждого человека свое горе всегда величиной с верблюда, но жизнь-то не кончена!

— Разумеется, не кончена.

— А для тебя и подавно. Теперь этот воз тебе тянуть. У нас все говорят, что твое назначение уже решено и подписано.

— Ничего не решено и не подписано, — устало ответил Ильин. — Завтра меня вызывает главный. И я еще не знаю, соглашусь ли.

— Он не знает! — вскинул руки Эрпанусьян. — Кто же тогда знает?

Ильин ответил не сразу.

— Видишь ли, — сказал он наконец. — Ты веришь мне, что я любил Степана Тимофеевича?

Эрпанусьян кивнул.

— А помнишь, сколько ругался с ним? Он много делал не так, как надо было делать. Прости уж, что я говорю об этом сейчас. Но то ли он к концу уже очень устал, то ли вообще такой стиль был на заводе. Степан мог сделать многое — и не делал... И если... если мне предложат принять цех, я соглашусь только на своих условиях. Только на своих, — повторил он.

3

Из отпуска секретарь обкома Рогов вернулся в первых числах июля, посвежевший, отдохнувший и, как бывало каждый раз, нетерпеливый. Сюда, в обком, он звонил из Ливадии два раза в неделю, так что знал, как идут дела, но все-таки с первого же дня потребовал от помощников и отделов десятки сводок, протоколы бюро, проходивших без него, и возвращался домой поздно. Днем на подробное чтение времени не хватало, а он не любил, если что-то было не узнано и не понято до конца.

Что ж, в общем-то, он мог быть доволен. План первого по-

лугодия промышленность области выполнила. Конечно, были и отстающие предприятия, и из министерства сообщали, что ЗГТ уже трижды в этом году сорвал поставки металла по договорным обязательствам, и задерживался ввод второй очереди завода минеральных удобрений, и строители освоили за полугодие на восемь с половиной миллионов рублей меньше, стало быть, работают неритмично, будут выезжать к концу года на штурмовщине. С вечера Рогов намечал дела на завтра. Жена уже начинала ворчать: еще одна такая неделя, и ты забудешь, что был в отпуске. Слава богу, хоть наконец-то бросил курить, — а ему очень хотелось закурить, даже иногда снилось, что он курит, и просыпался, сердясь на такие соблазнительные сны.

Первую неделю Рогов никуда не выезжал. В пятницу попросил помощника позвонить на ЗГТ Нечаеву и предупредить, что он будет на заводе в понедельник с утра. Это было привычкой: если он куда-нибудь ехал, то непременно с утра, не заезжая в обком. Но неожиданно, в субботу, он встретился с Нечаевым.

Дача, которую он занимал, была в маленьком поселке Выдрино, на берегу длинного, заросшего вдоль берега камышом озера, и Рогов отправлялся туда вечером в пятницу. Как бы ни настаивала жена, Дарья Петровна, чтобы он отдохнул эти два дня, как все нормальные люди, Рогов, едва переодевшись, брал лопату, жестяную банку и шел в угол сада копать червей для завтрашней рыбалки. Ему не надо было заводить будильник — он умел просыпаться как по заказу — в четыре так в четыре, в пять так в пять утра. Ночи стояли светлые. Поэтому лучше всего выйти в три. Самый клев.

На рыбалку он любил ездить один, хотя трудно было грести одной рукой, справляться с якорем, вываживать крупную рыбу. Однажды во время поездки по ГДР он увидел однорукого лодочника: тот приспособил весло на корме, водил им из стороны в сторону — точь-в-точь, как рыба движет хвостом, и лодка бойко шла. Вернувшись, Рогов попросил местного столяра переставить уключину на корму, и совсем иная, как говорится, пошла работа. И конечно же, никакие санатории, никакие Ливадии не могли сравниться с этими предрассветными сумерками на озере, когда еще стоит сонная тишина, только крикнет где-то в камышах дикая утка, плеснет щука и от ее всплеска по воде пойдут круги, доберутся до камышей и те ответят легким, мягким покачиванием.

В начале четвертого, наскоро перекусив и захватив с собой термос с чаем, Рогов спустился к озеру. Сегодня была его первая летняя рыбалка. Весной он никак не мог выбраться, когда шла плотва; потом уехал в Ливадию... Над озером, наполнив всю его чашу, стоял туман, и сверху не было видно воды. Раз туман, значит, к теплу, подумал Рогов. Он словно нырнул в этот туман, подходя к озеру, и только оказавшись возле

длинного причала, с которого обычно выдринские мальчишки тягали мелочь, досадливо поморщился. Его обогнали. Он увидел человека, отвязывающего лодку с удочками, сложенными на корме. Занятый своим делом, человек не слышал его шагов, к тому же сырой песок глушил шаги, и Рогов подошел почти вплотную.

— Ну, какая нынче обстановка? — спросил он. — Берет че-нибудь?

Человек выпрямился, обернулся, и Рогов увидел его изумленное лицо. Нечаев! Вот уж, действительно, встреча! Нечаев шагнул к нему, шумно расплескивая воду ногами в резиновых сапогах, и Рогов засмеялся:

— Вы же всю рыбу на пять километров вокруг распугаете!

— Здравствуйте, Георгий Петрович. А я и не знал, что вы тоже из нашего племени.

— Из вашего, из вашего! — сказал Рогов.

Очевидно, Нечаеву предоставили одну из исполкомовских дач здесь же, в Выдрине, вот и весь секрет этой неожиданной встречи.

— Так все-таки какая обстановка?

Теперь уже засмеялся Нечаев.

— Вас интересует обстановка на озере или на заводе?

— На озере... пока на озере.

— В прошлую субботу двух лещей взял, у меня есть подкормленное местечко. Щука на блесну берет плохо, сытая, должно быть. Ну, красноперка попадаетса у камышей, окунь... Давайте я вам помогу.

Рогов смотрел на озеро. Туман медленно отрывался от воды и таял, открывая камыши. Ни всплеска, ни звука.

— Знаете что, — сказал Рогов. — У вас хорошая лодка?

— «Форель». Новая.

— Возьмите меня с собой? Или поедем на моей «Березке», она полегче.

— Да у меня уже все готово, Георгий Петрович.

— Ладно, едем.

Конечно, Нечаев понял, почему я попросил его поехать вместе, подумал Рогов, забираясь в лодку и садясь на кормовую банку. Нечаев легко столкнул лодку с мели, сел на весла, и Рогов с удовольствием ощутил знакомое, привычное шелестящее движение. Хорошо, что облизполком принял постановление, запрещающее держать на некоторых озерах, в том числе и Выдринском, моторки. Он помнил, что в обком тогда хлынул поток протестующих писем, пришлось сказать редактору «Красного знамени», чтобы дал статью об охране озер.

— У вас «Абу»? — спросил Нечаев, кивнув на спиннинг Рогова.

— Да, — усмехнулся Рогов. — Подарок вашего бывшего директора. Так где же ваше заветное местечко? Учтите, если будут попадаться окунишки и ершишки, весь улов пойдет в нака-

зание вам: Моя жена терпеть не может возиться с мелочью, как, наверное, и ваша.

Лодка шла вдоль стены камышей, и Рогов замолчал. Теперь для него наступала та чудесная пора ожидания неперменной, обязательной удачи, ради которой стоило вставать ни свет ни заря, идти, плыть, менять места, устывать до чертиков и возвращаться порой с десятком плотвичек на радость соседской кошке.

— Здесь, — шепотом сказал Нечаев, — переставая грести и берясь за якорь.

— А глубина? — так же шепотом спросил Рогов.

— Поставьте метра два. И червей гроздочкой, штуки три сразу.

— Ясно.

Рогов перехватил взгляд Нечаева: тот глядел, как секретарь обкома, прижав к себе удилище протезом, зажимал крючок, насаживал червей, потом неловко перекладывал удилище в руку, и лишь тогда, когда его оранжевый поплавок мягко шлепнулся на воду, Нечаев начал разматывать свою удочку. Очевидно, ждал, не надо ли помочь, подумал Рогов.

Теперь два поплавка неподвижно торчали рядом, будто впаивные в темную воду. Неожиданно поплавок Рогова качнулся, но это была не поклевка. Откуда-то из камышей выскочила мелочь и начала тыкаться носами в его яркий поплавок, играя с ним, как котенок с клубком ниток. Поэтому и щука не берет на блесну, подумал Рогов. Нечаев прав: сытая! Вон сколько малька крутится, а щука, хоть и дура, но если столько жратвы кругом, зачем ей хватать хоть самую распрекрасную железку.

И все-таки он не ожидал, что поклевка будет так скоро. Поплавок медленно, будто нехотя, лег набок и тронулся с места. Мысленно Рогов видел, как там, в глубине, лещ хватает червей своими толстыми губами, поднимая их, будто подбрасывая, и напрягся, чтобы не упустить той секунды, когда поплавок так же медленно пойдет вниз, под воду. Тогда надо сосчитать до семи и подсекать. Так берет только лещ. И, едва пересилив себя, едва досчитав до семи, Рогов резко взмахнул удилищем, сразу ощутив на другом конце лесы забившуюся, сопротивляющуюся тяжесть. Теперь надо было поднять леща. Надо было выволочь его на поверхность, тогда он хлебнет воздуха и спокойно повалится набок. Но лещ упорно тянул в сторону камышей, будто стремясь спрятаться в спасительной подводной чащобе, и Рогов чуть ослабил леску, но так, чтобы все время чувствовать рыбу. Он уже знал, что на крючок сел крупный лещ, и не боялся, что леска не выдержит, — леска-то выдержит, а вот губы у леща слабые... И осторожно, то подтягивая, то отпуская добычу, он с замиранием сердца ждал той минуты, когда можно будет поднять обессиленную рыбу.

Вот она!

Золотой слиток выплыл из глубины и, еще сопротивляясь, но уже слабо, уже покрывшись большей силой, лег набок. Нечаев держал наготове подсачек, — еще несколько секунд, и лещ ввалится в него. Нечаев сам снял его с крючка — лещ зацепился прочно — и бросил рыбу к ногам Рогова.

— С полем, — тихо сказал он. — Килограмма на два с половиной потянет.

— А где ваш поплавок? — спросил Рогов.

Ахнув, Нечаев подсек, и верхушка его удилища изогнулась. Но со своим лещом он справился быстрее — этот был поменьше и сразу зашлепал в подсачек.

Потом, минут через двадцать, Рогов выволок еще одного крупного леща, а у Нечаева в садке плескалось штук пять или шесть красноперок, — вполне можно было пошутить:

— Вам, голубчик, надо еще потренироваться как следует, соответствующую литературу почитать, могу предложить на денек книжку Сабунаева «Спортивная ловля рыбы».

Тогда Нечаев совершенно серьезно, будто не поняв шутки, ответил:

— Так ведь, Георгий Петрович, дело тут вовсе не в науке.

— А в чем же, если не рыбацкий секрет?

— Я же знал, что вы сегодня пойдете рыбу ловить.

— Ну и что?

— Ну, и нанял водолаза. За счет завода, разумеется. Сидит он вот здесь, на дне, и вешает самых больших лещей на ваш крючок.

— Н-да, — так же серьезно ответил Рогов. — Не завидую я вам. Строгий с занесением — как минимум.

— Это за что же? — деланно удивился Нечаев.

— За подхалимаж и растраниживание заводских средств на водолаза, — сказал Рогов.

Оба тихо рассмеялись.

Уже совсем рассвело. Неподалеку из камышей выплыла кряква и за ней выводок — пушистенькие комочки, потешно торопящиеся за матерью. Солнечные блики играли на воде, от них начинало рябить в глазах. Начали летать стрекозы, временами присаживаясь на поплавки. Клев кончился, будто вся рыба, устав от утренней кормежки, залегла отдохнуть до вечера. Теперь уже можно было говорить громко.

Рогов вытянул ноги в тяжелых сапогах и откинулся на корму. Щурясь, он глядел на Нечаева и думал, как одежда меняет людей. На Нечаеве был тренировочный костюм и старая, латаная куртка, должно быть прослужившая ему не один год. Да и я, наверно, выгляжу не лучше: потертые штаны и свитерик с заплатами на локтях... Хорошо сидеть вот так, когда улов — лучше некуда, волнение улеглось, и выходной день еще впереди.

— Так как, Андрей Георгиевич, доживем до понедельника

или малость поговорим сейчас? Рыба-то вежливая, не помещает...

— В выходной день о делах? — спросил Нечаев. — Да еще в шесть утра, да в лодке, да без бумажек...

— А что? — усмехнулся Рогов. — Даже интересно! Что же касается бумажек, то, например, три бумажки из министерства я наизусть помню.

— Я тоже, — ответил Нечаев, поняв, что шуточный разговор кончился и, несмотря на то что они сидели в лодке, а не в кабинете секретаря обкома, в старой одежонке, а не в пиджаках и галстуках, они сейчас те, кто есть: секретарь обкома партий и секретарь парткома завода газовых турбин. И что вот сейчас будет совсем-совсем иной разговор, тот самый, который должен состояться лишь послезавтра, но по чистой случайности начался сегодня.

— Литейный цех? — спросил Рогов.

— Да. Одна печь стояла на ремонте. Это объективная причина. Есть и другие, в том числе и субъективные. Надо многое менять решительно.

— Вы работаете секретарем уже восемь месяцев, — сказал Рогов. — По-моему, вполне достаточно для того, чтобы добиться таких решительных перемен.

— Значит, не сумел, — ответил Нечаев. — И Силин, а потом Заостровцев, и я видели главную задачу в налаживании серийного выпуска турбин. Мы этого добились, пусть и дорогой ценой. Главное — в турбинном цехе существует ритм.

— Мы говорили о другом, — напомнил Рогов. — Честно говоря, мне не очень-то по душе, что вы напираете только на выпуск турбин. На заводе есть узкие места, которые вы, вы лично, даже не пытались расширить. Так или не так?

— Не так. Если речь идет о литейном цехе, то не так. Кое-что уже сделано, Георгий Петрович. Сами увидите. Сейчас мы собираемся поставить начальником цеха грамотного и энергичного человека, но он выдвинул перед Заостровцевым такие условия, что тот, честно говоря, заколебался.

— Как его фамилия? — спросил Рогов.

— Ильин.

— Не знаю, — качнул головой Рогов. — Но сколько времени вам надо, чтобы литейный цех начал работать так, как от него требуется? Или этот вопрос мне следует задать послезавтра Заостровцеву и Ильину?

— Семь-восемь месяцев, — сказал Нечаев. — Так вам ответит Ильин. Если, конечно, Заостровцев пойдет на его назначение. Вы ведь знаете, он человек осторожный, хотя и точный, как хорошие часы.

— Вы хотите сказать, что директором завода он быть не может?

Вопрос был задан в упор, и Нечаев ответил, не задумываясь: да, не может. Для него самого это было уже сложив-

шимся мнением, даже уверенностью. Заостровцев — идеальный главный инженер.

— Когда-то этот идеальный главный инженер поднял вверх руки перед Силиным, помните? Ну, когда Силин положил под сукно проект реконструкции термопрессового. Промолчал, сдался! Но это так, к слову.

Рогов подумал, что когда-то у него была мысль о том, что Заостровцев может сменить Силина. Но он помнил и другое: когда снимали директора завода, снимали с партийным взысканием, из Москвы приехал заместитель начальника главка Свиридов, и Рогову хорошо запомнились его слова: «Ну, посадим мы в директорское кресло того же самого Заостровцева. У вас есть гарантия, что через два-три года в трудном положении он не сделает того же самого?»

— А кто же, по-вашему, может стать настоящим руководителем завода? — снова в упор спросил Нечаева Рогов.

— Я не знаю, откуда по заводу идут слухи, Георгий Петрович, и я не люблю слухов, но упорно повторяется одна фамилия — Званцев.

— Званцев? — удивленно переспросил Рогов.

— Да.

— Странно, — сказал Рогов. — Стало быть, телепатия все-таки существует? Там, в Ливадии, в отпуске, я подумал и о Званцеве как о директоре завода. Только подумал... И, как понимаете, ни с кем этой мыслью не делился.

— Никакой телепатии, Георгий Петрович. Просто у нас его знают, лобят и ценят, вот и все.

— Званцев, Званцев, — повторил Рогов. — Вы знаете, что мы планировали его на заведующего отделом обкома?

— Слышал.

— Значит, по-вашему, все-таки народная молва?

— Значит, так, Георгий Петрович.

— А вы сами как относитесь к этой молве?

— Я бы голосовал двумя руками.

Рогов расхохотался. Вот ситуация! Несколько месяцев назад, когда речь зашла о кандидатуре нового секретаря парткома, именно первый секретарь райкома Званцев назвал ему фамилию Нечаева. А теперь секретарь парткома в свою очередь называет фамилию Званцева! Рогов знал, что Званцев и Нечаев — старые институтские товарищи, после института вместе пришли на завод, оба — отличные инженеры, но Званцев, пожалуй, оказался поострее и поэнергичнее. И, услышав сейчас его фамилию, Рогов снова задумался. Его поразило, что на заводе *хотят* Званцева. Он мог представить себе нехитрый механизм слуха: собрались несколько инженеров, быть может даже дома, по какому-нибудь торжественному семейному случаю, и кто-то, вздохнув, сказал: «Эх, Званцева бы к нам!» — а уже завтра этот мечтательный вздох обрел силу приближающегося факта. Но какое все-таки совпадение!

— Званцев, — опять, в который раз, сказал Рогов. — Ну что же, будем думать... Погодите-ка, а где теперь мой поплавок?

Он подсек, верхушка удилища чуть изогнулась, и на дно лодки шлепнулся ершишка с устрашающе раздутыми жабрами. Рогов снял его с крючка и протянул Нечаеву.

— Примите мой подарок. Должно быть, у вашего водолаза сейчас обеденный перерыв, а?

Так, шуткой, и закончился этот разговор, но Нечаев знал, что секретарь обкома Рогов хорошо запомнил его.

Копия той докладной записки, которую Ильин год с лишним назад передал через Левицкого руководству завода, где-то затерялась, и Ильину пришлось восстанавливать ее по памяти. Он просидел над ней несколько часов, потом неумело, одним пальцем, отстукал на машинке (завтра секретарша перепечатает начисто) и уже собирался было лечь спать, когда услышал, что кто-то пытается открыть дверь. Ключ шуршал в скважине, Ильин подошел к двери и открыл ее. На лестничной площадке стояла Надежда.

— Что-нибудь случилось? — спросил Ильин, отбирая тяжелую сумку и целуя жену. — Почему ты так поздно?

Уже по выражению ее лица он понял — действительно что-то случилось. Она молча прошла в комнату, на ходу поправляя волосы, и только там, вынув из сумочки конверт, бросила его на стол.

— Вот, читай и радуйся. Твое воспитание.

Это было письмо от Сережки. Ильин сразу узнал его невысказанно корявый почерк.

Он читал это письмо быстро, не вдумываясь в обычные слова («У меня все хорошо, а как у вас?»), пока не добрался до того, что заставило Надежду примчаться с дачи последней электричкой. «Я мог бы оставить этот разговор на потом, — писал Сережка, — но лучше уж сказать все сразу. Так вот, дорогие родители, я решил переходить на вечернее отделение Технологического института. Будем до конца откровенны. В педагогический я пошел, подчинившись желанию мамы. Прочился два года и подумал: а что впереди? Учитель? Конечно, кто-то должен растить будущих Курчатовых и Келдышей, но это не по мне. Нет, меня вовсе не сбили с пути ребята из техноложки, с которыми мы здесь работаем. Я просто подумал о смысле моей будущей жизни. Где я смогу принести больше пользы? Отец всегда учил меня думать над этим, но в выборе моей будущей профессии он не участвовал. К сожалению, отошел в сторону. Словом, произошла ошибка, которую пора исправлять, иначе будет слишком поздно. Очень прошу: не надо только слишком расстраиваться. Ну, потерю сколько-то времени. Поэтому — просьба: отцу узнать, кем я могу рабо-

тать на заводе, а всем остальным — не огорчаться и не расстраиваться...»

Там были еще какие-то утешительные слова, но Ильин не стал дочитывать письмо до конца. Все ясно и так. Кончил парень два курса и понял, что попал не туда, — вот и все. Ильин еще помнил лето того года, когда и жена, и тесть с тещей наседали на него: только в педагогический! Потом — аспирантура, большая наука, ученая степень... Уже в самом этом мечтании для Ильина было что-то противное, он пытался возражать, говорил, что выбор должен сделать сам Сережка, и вдруг обычно молчаливый тесть сказал: «Тебе-то что? Ты о нем меньше всего беспокоишься. *Он-то тебе не свой*». Вот тогда, обидевшись, еле сдержавшись, чтобы не наговорить резкостей, Ильин уехал с дачи в город и больше ни во что не вмешивался.

И вот до чего дошло: выбор был сделан неверный. Возможно, именно ребята из техноложки уговорили его перейти к ним, хотя он и отрицает это для успокоения родных.

— Прочитал? — спросила Надежда. — Ну, что скажешь?

— Скажу, что это его личное дело. Между прочим, я говорил то же самое и два года назад. Только тогда меня обвинили черт знает в чем.

— С тобой невозможно разговаривать, — сказала Надежда. — Ты стал равнодушным человеком. Нет, ты подумай: зачем он учился два года? Еще три, всего три — и диплом в кармане. А вместо этого он хочет идти на завод и учиться на вечернем! Блажь какая-то! Я думаю, что ему просто попалась какая-нибудь девчонка из технологического, вот и задурила мальчишке голову.

— Ну, — усмехнулся Ильин, — не такой уж он и мальчишка. В двадцать с лишним лет человек отдает себе отчет в желаниях и действиях.

— Отчет?! — крикнула Надежда. — Да он всю жизнь жил только твоим умом, и если один-единственный раз послушался меня, то для меня это был самый праздничный день. «Папа сказал... Папа научил... Папа думает так...» Папа, папа, папа!

— И еще девчонка, — засмеялся Ильин, стараясь хоть шуткой успокоить жену.

— Какая девчонка? — настороженно спросила она. — Ты что-нибудь знаешь?

— Ничего не знаю, Надюша. Но ты ведь сама сказала, что это какая-нибудь девчонка задурила ему голову. Так что я, выходит, здесь ни при чем. Идем на кухню. Ты от всех расстройств целый день и не ела ничего, наверно?

Обычно он умел успокаивать ее, но в последние годы это удавалось труднее. Он не понимал, что происходит с женой. Возраст? Не так уж велик — сорок пять. С возрастом люди меняются по-разному: одни становятся спокойнее, терпимее, ласковее, другие, наоборот, теряют большинство прежних добрых качеств. Именно это и происходило с Надеждой. Все

чаще Ильин с грустью убеждался в этом. Реже и реже она была ласкова с ним, отстранялась, если он пытался ее обнять, могла ни с того ни с сего бросить какую-нибудь обидную колкость — Ильин отмалчивался, зная, что через минуту она сама забудет об этой колкости, потому что такой стиль разговора становился для нее уже привычным.

Еще тогда, давно, когда они женились, Ильин очень хотел второго ребенка, но Надежда сказала: «Поживем хоть несколько лет для себя». Он согласился. Тем более что на первых порах им было нелегко — одна комнатка на троих здесь, в Большом городе. А потом оказалось — уже поздно...

Все свое свободное время Ильин отдавал Сережке, и тот ходил за ним хвостиком. Если Ильин задерживался на заводе, то уложить Сережку спать было делом немыслимым. Поначалу Ильину казалось, что Надежда счастлива этим: в семье лад и любовь, — и вдруг вспышка ревности. В первом или втором классе Сережка написал Ильину поздравление с Днем Советской Армии, а несколько дней спустя, Восьмого марта, не поздравил мать!

С этого, сколько он помнил, все и началось — началась борьба за Сережку. Глупо! Будто он, Ильин, нарочно отводил его от матери. «Я вам нужна только для того, чтобы стирать да обеды готовить!» Он утешал ее как мог. Успокойся, глупенькая. Ребенок, мальчишка, всегда тянется прежде всего к отцу. Винтики, гаечки, уверенность в отцовской силе, которую так уважают дети, — все это закономерно. Пройдет время, и он перестанет делить нас.

Но сейчас в его письме было ясно написано: «Отец всегда учил меня...» Сережка и здесь ссылался на него, на Ильина. Только на него!

— Так как? — спросил Ильин. — Будем ужинать? Хочешь, я сделаю тебе яичницу?

— Оставь ты меня в покое! — почти крикнула Надежда. — Завтра я еду к нему и буду говорить самым решительным образом. Я прошу тебя только об одном: если тебе дорог покой семьи, моих стариков, напиши ему несколько слов, чтоб он не дурил.

— Нет, — сказал Ильин, — я ничего не буду ему писать. Каждый человек должен поступать так, как он считает лучшим для себя и других.

— Других? — недобро усмехнулась Надежда. — Вот-вот, весь ты тут! Других! Сейчас нам нет дела до других. Есть только судьба моего, понимаешь, моего сына.

— И моего тоже, Надя, — напомнил Ильин.

Надежда молча ушла в соседнюю комнату и закрыла дверь. Значит, я не смог успокоить ее. Жаль! Год за годом она меняется больше и больше. Может быть, это усталость? Ерунда! У нее не такая уж тяжелая работа — машинистка в редакции областной газеты. Раздраженность тем, что я не далеко про-

двинулся в жизни? Он чаще и чаще искал причины того разлада, который все заметней проступал в их отношениях, и не мог понять, откуда он. Отчего он? В чем виноват я сам?

Он лег на диван в большой комнате. Надо поспать хотя бы три часа, завтра — нет, уже сегодня — меня снова вызовет Заостровцев. Разговор будет нелегким, конечно. Но сон не шел. Слишком велико было возбуждение, чтобы он мог заставить себя заснуть. Протянув руку, он взял со стола Сережкино письмо и не сразу нашел те поразившие и обрадовавшие его слова: «Я просто подумал о смысле моей будущей жизни. Где я смогу принести больше пользы? Отец всегда учил меня думать над этим...» Он перечитал их снова и подумал: что ж, все правильно. Значит, хотя бы одно по-настоящему доброе дело я в жизни сделал.

Сон не шел, и Ильин лежал с открытыми глазами, мысленно возвращаясь вспять, к тем уже далеким временам, когда ему было столько же, сколько Сережке, ну, быть может, чуть больше, и словно бы сравнивал *того* себя с ним.

4

Комиссия по распределению начала работать уже в конце февраля. Ребята нервничали, кто-то запасался различными справками, чтобы остаться в Москве, кто-то, наоборот, боялся, что его оставят в Москве, и, пожалуй, из всей группы только Ильин был спокоен. Накануне его пригласил к себе профессор Штейн — не в свой служебный кабинет, а домой, и Ильин ехал к нему, не понимая, зачем он понадобился профессору.

Он знал этот дом возле Павелецкого вокзала: там жила институтская профессура, корифей металлургии, но входил он в этот дом впервые. Ему открыла дочка профессора. Ильин знал ее — она кончила тот же Институт стали двумя или тремя годами раньше.

Оказалось, он пришел как раз к ужину, и это смутило Ильина. За столом он держался скованно. Когда же раздался звонок и в пижаме, в шлепанцах появился профессор Ушанский, ему и вовсе стало не по себе.

Но, как бывало всегда, в такие минуты он начинал злиться: что за глупости? Чего я стесняюсь? Что за паршивенькая робость? Меня пригласили — я пришел, вот и все.

Успокоило же его не это. Жена профессора то и дело говорила: «Боря, тебе этого нельзя... Боря, не смотри так на печенье...» — и огромный, грузный, седой человек смотрел на вкусности, стоявшие на столе, печальными глазами младенца. Впервые увидев незнакомый ему быт («Боря, тебе нельзя...»), а другой знаменитый ученый в пижаме и шлепанцах), Ильин подумал: как все просто! Грозные студенческие боги сошли со своих пьедесталов. Им что-то запрещалось, у них были дети, и профессорская внучка орала в соседней комнате, а из коридора пахло пеленками. Забавно!

После ужина профессор, извинившись перед другим профессором, увел Ильина к себе в маленькую комнату и сразу спросил: «Какие у вас планы на будущее?»

Ильин пожал плечами. План у него один — работать.
«Где?»

Он снова пожал плечами. Ему все равно где. У профессора над очками приподнялись кустики-брови.

«Странно. Вы всегда производили впечатление очень... как бы это сказать... четкого человека, всегда знающего, что он хочет. Именно этим впечатлением я и руководствовался, приглашая вас сюда. На мой взгляд, вы были не просто студентом, старающимся впихнуть в себя побольше всяких знаний. Вы — студент-работник, и это редкость. Мне бы хотелось, чтобы вы остались на кафедре, у меня.»

«Извините, Борис Николаевич...»

«Значит, все-таки вам не все равно?» — перебил его профессор.

«Вы ошиблись, я не гожусь для науки.»

«Так уж точно вы все знаете о себе?»

«Думаю — да. Мне все равно, где работать — в Магнитогорске, Запорожье, Липецке, или здесь, на «Электростали», или еще где-нибудь. Своего дома у меня нет, начинать надо с нуля. Я свыкся с мыслью, что стану заводским инженером. Должно быть, я не честолюбив, иначе, наверно, попытался бы рваться в науку с третьего или четвертого курса. Так что спасибо большое, но...»

«Вы даже не дали себе труда подумать, — досадливо сказал профессор. — Странный вы человек, Ильин! Ну, бог-то с ним, с честолюбием. У нас хватает честолюбцев, однако из них никогда не выйдут настоящие ученые. Честолюбие и наука несовместимы. Я знал Резерфорда, Бора, знаю Семенова и имею право утверждать эту истину. Вы — работник. Ильин, а в науку должны идти только работники!»

«И на заводы — тоже, Борис Николаевич.»

Профессор протянул ему, будто ткнул, свою огромную руку с пальцами-сардельками. Это означало — разговор окончен. Но Ильин не спешил уходить. Конечно, это было невежливо, но только теперь, когда разговор был окончен, он оглядел эту небольшую комнату — профессорский кабинет, перевел взгляд на стол, на раскрытую рукопись, и спросил:

«Новая работа, Борис Николаевич?»

«Новая, новая, — недовольно ответил профессор. — А это вот — вам». Он взял со стола и сунул в руки Ильину книжку. Это был написанный профессором учебник «Физические основы металловедения», по которому Ильин занимался два года назад. На титульном листе четким школьным почерком было написано: «Моему лучшему ученику, с уважением и благодарностью. 26 февраля 1953 года». Значит, подарок был подготовлен заранее! Теперь он должен поблагодарить и уйти.

Ему показалось, что профессор внутренне потирает его. Уже возле дверей профессор спросил:

«Может быть, вернемся к этому разговору, ну, скажем, во вторник?»

«Спасибо, Борис Николаевич. Но послезавтра я иду на комиссию».

«Жаль. А может быть, вы и правы, Ильин».

В общежитие Ильин пошел пешком. Ему надо было как бы заново перебрать в себе весь разговор, вспомнить его по слову, но вовсе не для того, чтобы определить — ошибся он или нет, так, сразу, отказавшись от заманчивого, в сущности, предложения, — а потому, что разговор с известным ученым доставил ему удовольствие и ему хотелось это удовольствие продлить. Он не ощущал в себе никакой радости от похвалы и никакой гордости от того, что именно его, Ильина, заметили и пригласили, и никакого сожаления от того, что он отказался. Его немного волновало одно — не слишком ли резким был этот отказ и не слишком ли огорчен профессор.

Похвала же не подействовала на него потому, что сам он не считал себя каким-то особенным. В его группе, не говоря уже о курсе, были блестящие студенты, умницы, у которых, выражаясь студенческим языком, наука «от зубов отскакивала», и учились они легко, и спокойно сдавали экзамены на пятерки, и ухитрялись делать еще десятки разных дел. А у него, Ильина, за эти четыре с половиной года — чего греха таить! — бывали и срывы, и тройки, и несколько экзаменов приходилось сваливать со второго захода, чтоб не лишили стипендии. И ничего не успевал, как другие. Он мог по пальцам сосчитать, сколько раз за все эти годы был в театре, Третьяковке или Пушкинском музее... Над ним подшучивали: вот кто грызет гранит! Потом перестали подшучивать, очевидно решив, что парень — тугодум, а то и вовсе средних способностей, вот и берет науку задом, какие уж тут шутки! Он не завидовал тем, кому ученье, да и все в жизни, давалось легко. Такие люди казались ему не очень-то серьезными. Но нельзя же всем быть серьезными! И он удирал со студенческих вечеринок, радовался, если в комнате, где он жил с двумя своими однокурсниками, никого не было. Лампа придвинута к кровати, радио выключено — тихо, спокойно... Ребята ввалятся за полночь, под хмельком: «Ильин, ты привидение! Смылся так, что никто даже не заметил. А по тебе одна девочка весь вечер скучала». Какая еще девочка? Он досадливо захлопывал книгу. Не было у него никакой девочки. Летом он уезжал в Большой город и нанимался на механический завод — в литейный цех, подручным. Это было удобно и ему, потому что в месяц можно было заработать около двух с половиной тысяч, и тем штатным подручным, которые могли уйти на это время в отпуск. Того, что удавалось заработать, хватало на одежду и на добавку к стипендии.

Два дня спустя Ильин уже сидел перед членами комиссии, все такой же спокойный, чувствуя в себе лишь любопытство к тому, как повернется его судьба. Порог, отделявший коридор, где в ожидании своей участи толпились студенты, от этой комнаты, был и впрямь порогом, за которым для всех них начиналось будущее. Входя сюда, Ильин услышал за своей спиной чей-то голос: «Ну, ему-то что, ему на все с кудрявой березы...» Конца фразы он не расслышал. Члены комиссии уже читали его бумаги.

«Вы что же, из Большого города?»

«Да».

«Хотите вернуться домой? С механического завода есть одна заявка. Правда, там не металлургический гигант, а скромный литейный цех...»

«Я знаю», — сказал Ильин.

«Так как же?»

Он улыбнулся, и все было решено. А выходя, он снова услышал за спиной голос — спрашивал один из членов комиссии:

«Это его, что ли, хотел взять к себе Штейн? Не понимаю...»

То, что произошло три дня спустя, было настолько стремительным и неожиданным, что после Ильин не мог вспомнить все подробности. Он стоял на троллейбусной остановке. В памяти остался пронзительный женский крик — Ильин резко повернулся и увидел женщину с ребенком на руках, зажатую дверцей ужедвигающегося троллейбуса. Она падала, и раньше, чем Ильин успел сообщить, что женщина падает, — он бросился и успел подхватить ребенка. Троллейбус остановился, дверцы распахнулись, сразу начала собираться толпа. Кто-то ругал водителя: «Носятся, как оглашенные, и на людей плевать!» Кто-то ругал женщину: «Лезет с ребенком, будто ей на пожар». Ильин, держа ребенка, помог женщине подняться. Ее шатало. Ильин прижал ее к себе и сказал:

— Все в порядке. Сильно ушиблись?

— Нет... Кажется, ничего...

— Пойдемте, — сказал Ильин, и толпа расступилась. Ребенок на его руках выгибался и заходился плачем, но женщина, казалось, не слышала его и забыла о нем. Она словно боялась открыть глаза. Тогда Ильин крикнул:

— Перестаньте!

— Я прошу вас, — вдруг быстро заговорила женщина. — Очень прошу... Здесь недалеко... Совсем близко... Я не могу... Очень прошу... вас...

Он отвернулся. Ему надо было уговорить ребенка. Женщина бормотала, не отпуская его рукав, и он поморщился: «Хорошо, хорошо, только успокойтесь, пожалуйста...» Все-таки пришлось поддерживать и ее. Дура! Вот дура! Надо было

лезть в этот битком набитый троллейбус, да еще с ребенком!

Дома раздел ребенка. Тот уже не плакал, а ныл, словно бы по инерции, на одной ноте — «ы-ы-ы...». Ему было, наверно, года два или около того. Ильин нажал пальцем на его нос и присвистнул. Ребенок перестал ныть и потянулся к Ильину, подставляя нос: это, должно быть, означало — «еще». Ильин снова нажал и свистнул — ребенок захохотал и начал что-то говорить.

«Ну, брат, — сказал Ильин, — тебя без переводчика не понять. Ты подожди меня малость».

Он повернулся к женщине. Та сидела на диване, прикрыв глаза: никак не могла прийти в себя...

«Ложитесь, — приказал Ильин. Он не очень-то церемонился с ней. Толкнул женщину на диванную подушку, увидел дверь во вторую комнату, вошел туда, снял с кровати одеяло, вернулся и накрыл женщину. — У вас есть водка? Или вино какое-нибудь?»

Она показала глазами на буфет.

Там была початая бутылка коньяка, и он плеснул в две чашки. Женщина, выпив коньяк, задохнулась, а он даже не почувствовал его крепости. Все! Теперь можно уйти. Но что-то удерживало его, он не мог понять что. И хорошо, что не ушел: через минуту женщина уснула, словно провалилась в сон.

Ильин повернулся к ребенку. Тот сидел в кресле, широко расставив ноги в валенках, и тоже засыпал, привалившись к спинке. Положение было нелепым: чужая квартира, хозяйка спит (или это у нее обморок?) и бог весть когда очнется, и уйти нельзя — мало ли что... Зачем-то он потрогал лоб женщины, потом поднял ребенка, перенес на диван — к ней, к матери, — накрыл одеялом и его и сел в кресло, не замечая, что забыл снять пальто и шапку. Но двигаться ему уже не хотелось...

Все-таки ему пришлось встать. Ильин вспомнил, что дверь на лестницу осталась открытой. Он закрыл дверь, снял в прихожей пальто, шапку и шарф и вернулся в комнату. Ему захотелось выпить еще, и он выпил коньяку, ничем не закусывая.

Женщина повернулась со стоном, и он увидел ее лицо. Странно, до сих пор Ильин не видел ее лица, только какую-то белую маску с ярко-красными губами. Теперь он разглядывал лицо незнакомой женщины, пожалуй, даже с грубым чувством неприязни. Кажется, я кричал ей «дура!». В такую минуту можно кричать все что угодно, даже отmaterить под горячую руку и потом не вспомнить. Хорошо младенцу: дрыхнет себе, пригревшись, и все на свете ему нипочем. Проснется и не вспомнит, что сегодняшний день вполне мог оказаться для него последним.

И снова обращался к лицу женщины.

Ничего особенного. Просто молодое лицо — небольшой нос, тонкие, должно быть, подведенные брови, рот, пожалуй,

немного широковат. Какие у нее глаза? Он не помнил их. Если я завтра встречу эту женщину на улице, то вполне могу не узнать ее. С кем она здесь живет? Он оглядел комнату. Над диваном висела большая фотография — военный, старший лейтенант (три кубика в петлицах), опирается на эфес шашки, а с двух сторон к его плечам приникли полная женщина и девочка с челкой — видимо, жена и дочь. Семейный снимок.

Он не заметил, как задремал сам, а очнулся оттого, что кто-то тронул его за колени. Поглядел — малыш, стоит и смотрит снизу вверх и улыбается во весь рот, как старому, доброму знакомому, — такой Буратино с ясными после сна глазами.

«Пойдем-ка отсюда, шкет, — шепотом сказал Ильин. — Пусть мама поспит еще немного».

«Я не сплю», — сказала она. Какое-то время она еще лежала неподвижно и вдруг, резко откинув одеяло, вскочила, схватила ребенка и начала его ощупывать, всхлипывая и повторяя: «Господи, господи...» Ильин поднялся с кресла. Ощущение тяжелой усталости не прошло, ему трудно было подняться.

«Я пошел, — сказал он. — А вы постарайтесь успокоиться. Я тут еще вашего коньяку выпил, так что извините...»

«Нет, нет, — словно выдохнула женщина. — Не уходите, если можете...»

И он понял, что не имеет права уйти, что ей страшно и одиноко и что сейчас только он один может помочь справиться с этим надолго овладевшим ею страхом.

Ее звали Надеждой. Надежда Лисицына. А сын оказался тезкой Ильину — тоже Сергей. Муж оставил Надежду в прошлом году, ее родители жили в гарнизоне на Севере (отец — майор), соседи уехали к родственникам на Украину. Ильину пришлось рассказать о себе — тоже коротко, впрочем много он и не мог рассказать.

Он снова смущался, как бывало всегда, когда он оказывался в чужом доме. Та заботливость, с которой Надежда угощала его обедом, казалась ему незаслуженной, а откровенность — чрезмерной. Хотя он не спрашивал ее о подробностях (ну, развелась и развелась!), Надежда сама рассказала, что год назад муж пришел домой, опустился перед ней на колени и попросил спасти его. Это было там, на Севере. Ее муж командовал в дивизионе отца батареей. Она не поняла, от кого спасти. Оказалось, у него была связь с официанткой из офицерской столовой, та ждет ребенка... Тогда Надежда рассмеялась в ответ — сидела и хохотала! Вот проучил сам себя, так проучил! В армии таких историй не любят, пришлось муженьку срочно давать объяснения и по начальству и по партийной линии, а поскольку Надежда его выставила — жениться на той официантке.

Ильин исподтишка разглядывал Надежду. Она была совсем

не похожа на ту, спавшую. Все-таки он ошибся: у нее было вовсе не простое лицо, какие встречаешь сто раз на день и по которым взгляд скользит, не задерживаясь. Он и сам не мог понять, почему вдруг, неожиданно, оно оказалось привлекательным. Может, потому, что он увидел ее глаза, такие же ясные, как у Сережки.

Надежда была старше Ильина на два года.

Они сидели, Сережка спокойно играл в соседней комнате, оттуда доносилось его бормотанье, какие-то постукивания, смех: он разговаривал сам с собой и смеялся каким-то своим радостям. Уже совсем стемнело. Надежда спохватилась, что не топила со вчерашнего дня, и Ильин сказал, что растопит печку. Где дрова? За дровами надо было спуститься в подвал. Он пошел вместе с Надеждой и принес здоровенную вязанку, сам затопил печку и сам подмел мусор возле нее. И все это время ловил на себе быстрые, исподтишка, изучающие взгляды Надежды.

О том, что произошло сегодня, они, словно по немому уговору, не вспоминали и не говорили.

Горит лампа над столом, потрескивают дрова в печке, пахнет женой берестой и смолой, и тихо, только Сережка дудит в соседней комнате, должно быть катая по полу автомобиль, — и вдруг Ильин тоскливо подумал, что ему надо снова идти на мороз, в неуютную комнату общежития и, как знать, придет ли он когда-нибудь сюда снова? Конечно, Надежда скажет обычное в таких случаях: «Будет свободное время — заходите» или «заглядывайте», — он поблагодарит и не зайдет. Зачем?

Ощущение стесненности прошло. Ему было хорошо и спокойно сейчас, будто он давным-давно знал этот дом, бывал здесь раньше, ходил за дровами, топил печку, подметал мусор. Но все-таки пора было идти.

«Когда вы придете?» — спросила Надежда.

«Завтра», — сказал Ильин.

Только потом, годы спустя, он смог точно разобраться в своих тогдашних ощущениях. С детских лет лишенный войной привычного, необходимого всем людям домашнего тепла, он потянулся к нему, а Надежда была как бы началом этого другого, полузабытого им и тем не менее остро желанного бытия. Как знать, может быть, в другой обстановке и при других обстоятельствах он прошел бы мимо этой женщины. Но здесь странным образом все сошлось, и даже маленький Сережка, Сережка с этими всегда радостными глазами, всегда счастливым, когда Ильин приходил, — даже Сережка занял в его душе, тоскующей по нормальному человеческому дому, свое место.

Он звонил, Надежда открывала, Сережка успевал вывер-

нуться откуда-то из-за нее, кидался к Ильину, вскинув руки и задрав голову. — замирал, ожидая, пока Ильин поднимет его на плечо. Так он и входил в коридор — с торжествующим Сережкой на плече.

Это была не игра. В тот апрельский вечер, когда Надежда, отвернувшись, сказала: «Может быть, ты останешься?» — и после, уже под утро, когда она уснула, прижавшись к нему, обхватив руками так, будто боялась, что он может уйти, Ильин думал о том, что вот опять он переступает незримый порог своего будущего, и оно не страшило его. Все там было ясно и просто.

Теперь Сережка взрослый человек. Достаточно взрослый и умный, чтобы самому решать свою судьбу. Нет, я не буду вмешиваться в его дела, не могу, не хочу и не имею права. И пусть Надежда и ее родители сердятся на меня как угодно: если человек задумался, какую пользу он может принести друзьям, значит, он становится настоящим человеком.

Что из того, что в нашей жизни еще полно хапуг, стяжателей, мешан, вроде родителей Коптюгова, о которых он рассказывал на партбюро. Жизнь-то все-таки идет в одном направлении. Как это говорил Гегель? «Кто хочет достигнуть великого, тот должен... уметь ограничивать себя. Кто же, напротив, хочет всего, тот на самом деле ничего не хочет и ничего не достигнет». Это изречение Ильин давно, еще в студенческие годы, выписал в специальную тетрадку.

Он все-таки уснул, а когда проснулся, Надежды уже не было дома. На столе лежала записка: «Уехала к Сережке. Пожалуйста, когда он вернется, постарайся не вмешиваться в наши дела».

Слово «наши» было подчеркнуто дважды...

5

Да, все-таки странно, странно и горько было входить теперь в этот кабинет, где многое напоминало и долго еще будет напоминать о Левицком, садиться в его крутящееся кресло, за его стол, но для Ильина это стало сейчас необходимостью. В его кабинете не было селекторной связи — большого, похожего на уличный, репродуктора в углу, над телефонами, — и прямой связи с руководством завода, а без этого работать невозможно.

Единственное, что изменилось здесь за эти недели, — каска. Ту старую каску Левицкого Ильин подарил Алешке, и теперь на шкафу лежала его, новенькая, желтая, польская — подарок гданьских гостей. Он хотел отнести Елене Михайловне и кактусы, но она попросила оставить их, и теперь Ильин сам поливал эти кактусы.

Едва он открыл дверь в «предбанник», где сидела секретарша, как из кабинета донесся знакомый голос: «Первая «десятка», дали непредставительную пробу, у вас не размешан никель. Подайте другую». Ольга!.. Вот ведь жизнь, подумал Ильин, работаем рядышком, экспресс-лаборатория как раз подо мной, на втором этаже, а видимся случайно и редко. Он включился в связь:

— Что у вас, на первой «десятке»?

— Нормально, Сергей Николаевич, — захрипел в репродукторе голос Чиркина. — С добрым вас утречком!

— С добрым, — ответил Ильин. — Коптюгов, что на вашей «десятке»? Дали вторую?

— Нет еще, Сергей Николаевич, — ответил Коптюгов. — Минут через пятнадцать дадим, и гуляй, Вася.

Ильин поглядел на большие квадратные часы, висевшие напротив стола, на противоположной стене кабинета. «Сороковую» запрашивать незачем, они дадут плавку еще не скоро, а вот Коптюгов опаздывает. Его печь должна давать плавку каждые четыре часа. Что-то непохоже на Коптюгова. Обычно он передает печь следующей смене на ходу, уже загруженной. Еще Левицкий на утренних «молитвах» обязательно, непременно отмечал это: «А вот Коптюгов...»

Через полчаса начнется оперативка...

Но сейчас Ильин вдруг подумал не о ней, а о том, какой у Ольги строгий, почти начальнический голос. До сих пор ему редко приходилось слышать его по селекторной связи, и он не обращал на это никакого внимания, лишь отмечал про себя — «Ольга». Время, когда он волновался, справится ли она, давным-давно прошло. Сколько же лет назад это было? Да десять, наверно. Наверно, десять, когда она снова появилась здесь, в Большом городе, опустошенная, измученная: «Пойду снова в крановщицы»... Тогда-то он и сказал ей: «Лучше иди к нам, в экспресс-лабораторию. Научишься быстро, я знаю...» — «Зачем?» — спросила она. — «Хочешь, чтоб я была поближе?» — «Нет, — резко ответил тогда Ильин. — Просто нам нужны такие, как ты, а не те, у кого папы в шляпах». Он ничего не скрывал от нее. Ни того, что работа будет и ночная, и в выходные дни, и в праздники, даже какой-нибудь Новый год придется встречать здесь, в лаборатории. И обеденного перерыва нет. Вот так: у всех на свете есть, а у лаборанток — нет! И если какому-нибудь сталевару будут возносить хвалу и сочинять в его честь оды, о лаборантках не вспомнят. Оклад? Начнешь со ста десяти, доберешься до четвертого разряда — полтора ста. «Мне все равно, — сказала Ольга. — Но если это нужно тебе...» — «Нужно», — сказал Ильин. И вот, пожалуйста, чуть не прокурорский тон. Это у Ольги-то!

И тут же забыл об этом. Он слышал, как лаборатория выдала разрешение, мысленно видел, как по желобу в ковш пошла сталь на второй «десятке», у Коптюгова.

Быть может, Ильин все время невольно глядел на себя словно со стороны, как бы сравнивая то, что делал он, с тем, как то же самое делал Левицкий, и не находил никакой разницы между своими действиями и его. Но сегодня им владело то ощущение какой-то близкой перемены, которую нельзя понять или объяснить: просто он чувствовал, что вот сегодня, именно с этого дня многое может пойти иначе, если...

Ладно, сказал он сам себе, не надо только лукавить. Нервничаешь? Нервничаешь! Ждешь, когда на белой дощечке коммутатора загорится второй слева желтый глазок? Ждешь! Но сейчас соберутся мастера плавильного и ты займешься суточным графиком. Он покосился на коммутатор. Вторая слева лампочка — директорская...

Он просматривал бумаги, которые еще до его прихода положила на стол секретарша, когда вошел Коптюгов. Он вошел стремительно, даже не попросив разрешения, и Ильин вскинул на него настороженные глаза — так обычно входят, даже влетают, когда происходит что-то особенное.

— Что случилось? — спросил Ильин.

— Ничего. Свои пятнадцать дали, но с пупка рвать, Сергей Николаевич, не дело.

— Может, короче, без предисловий?

— А я и так коротко. На печь трое подручных положено? Так? Ну а у меня только двое. Нет, вы в бумаги-то не смотрите, Сергей Николаевич. Зюбина прошу убрать. Он у нас особой проблемой занят.

— Короче.

— Если короче — живет в постоянном ожидании одесского поезда.

— Мне некогда, Коптюгов.

— Одесский, между прочим, приходит ровно в одиннадцать ноль-ноль. А в скверике перед цехом, на дереве, на веточке, у Зюбина кружечка висит. Зелененькая такая, для маскировки. Так что прошу убрать из бригады Зюбина. Если понадобится официальное...

— Ясно, — оборвал его Ильин. — Скажите, вы что, всегда так к Степану Тимофеевичу входили?

— Да, — сказал Коптюгов.

— Постарайтесь в следующий раз хотя бы попросить разрешения войти.

Ильин не успел разглядеть, как отнесся к его словам Коптюгов, — тонко загудел коммутатор и зажглась лампочка. Та самая, вторая. Ильин поднял трубку. Как ни ждал Ильин этого звонка, все-таки он показался неожиданным.

— Сергей Николаевич? Заостровцев. Жду вас.

Ильин поглядел на Коптюгова, который все еще стоял возле стола, и вдруг сказал, усмехнувшись:

— Ладно, только без обид. Будет вам непьющий подручный.

И, выйдя из кабинета, сказал секретарше, чтоб она отменила оперативку до его возвращения. Нет, он не знает, сколько времени пробудет у главного, так что пусть она сообщит об этом начальнику смены.

Ему надо было пройти длинным изрезанным вдоль и поперек рельсами двором, мимо памятника павшим на войне рабочим, мимо большого сквера, где сейчас цвели розы, — весь путь от цеха до заводоуправления занимал двенадцать минут. Это Ильин высчитал давно и точно. Теперь у него было ровно двенадцать минут, чтобы еще и еще раз прокрутить в себе предполагаемый разговор с Заостровцевым.

С главным инженером ему доводилось встречаться не раз, но Ильин так и не мог понять, что же это за человек. Сух, точен, деловит... В прошлом году на партийной конференции секретарь обкома Рогов сказал в его адрес несколько не очень-то приятных слов — дескать, не отстаиваете свою точку зрения, идете на поводу у директора. Что ж, против Силина трудно было идти, он умел подминать людей под себя. И эти месяцы, когда обязанности директора исполнял Заостровцев, всем показались раем земным: никаких разносов, никаких накачек или «шприцеваний», как говорили в силинские времена. Все по-деловому, точно, ровно, спокойно. Возвращаясь с декадок, Левицкий уже не говорил: «Влетело». Он говорил: «Критиковали», — и в одном этом ощущалась та перемена, которая происходила на заводе в отношениях между людьми.

Заостровцев сидел теперь не у себя, не в левом от приемной кабинете, а в правом, директорском. Это тоже было необходимо: обкомовские «вертушки» были только у директора и секретаря парткома. Ильин сказал секретарше, что его вызвали, та кивнула на дверь, и Ильин нажал тяжелую, старинную бронзовую ручку.

Заостровцев был не один. Сбоку, у окна, сидел Нечаев и, поднявшись, первым протянул Ильину руку. Заостровцев же поздоровался с ним через стол и сухо кивнул: «Садитесь, Сергей Николаевич».

Как ни был напряжен сейчас Ильин, он не мог не заметить, что маленький, тщедушный Заостровцев словно терялся здесь, за огромным столом, и это впечатление в свой черед рождало ощущение то ли случайности, то ли временности его пребывания здесь. Но тут же Ильин отогнал эту совсем ненужную мысль. Он сидел и ждал. Ждал, пока Заостровцев разложит перед собой какие-то бумаги и начнет разговор первым. Но первым начал все-таки Нечаев.

— Жаль, что Эдуарда Ивановича нет, — сказал он. — Говорить вчетвером было бы лучше.

Он говорил о Вооле, секретаре цехового партбюро. Два дня назад тот ушел в отпуск и вернется только в начале августа.

— Мы пригласили вас сюда, — сухо сказал Заостровцев, —

чтобы обсудить некоторые вопросы, связанные с литейным цехом. Ваше мнение о его работе?

Ильин кивнул на бумажки, разложенные на столе Заостровцева.

— По-моему, Виталий Евгеньевич, перед вами как раз и лежат самые объективные сведения о работе цеха.

— Да, — ответил Заостровцев. — Все здесь есть. Но я хотел бы слышать ваше мнение.

— Год с лишним назад я подавал служебную записку. До директора она, это я знаю точно, дошла. Но тогда мне не сочли нужным даже ответить.

— Я не видел вашей записки, — так же сухо, глядя на Ильина через холодно поблескивающие очки, сказал Заостровцев. — Поэтому не стоит вспоминать старые обиды.

Можно было вынуть из папки и положить на стол перед Заостровцевым ту вторую, которую он перестукивал ночью на машинке одним пальцем. Но почему-то Ильин быстро подумал: отдам ее — и на этом все кончится. Заостровцев вежливо поблагодарит меня, и я уйду, а записка ляжет куда-нибудь в папочку с белыми кальсонными тесемочками и будет ждать своей долгой очереди. Заостровцев-то все-таки и. о. — исполняющий обязанности, и кто знает, чем у него эти обязанности ограничиваются. Лучше уж своим текстом. Как говорится, в наше время у каждой бумажки должны быть ноги, а язык — тот до Киева доведет.

Уже одна эта быстро мелькнувшая мысль разозлила Ильина, и он сказал с неожиданной для самого себя жесткостью:

— Мое мнение — необходима перестройка структуры в цехе. У начальника, как вы знаете, три заместителя: по фасону, по оборудованию и по подготовке производства. Так вот, моя должность в цехе совершенно ненужна.

Он перевел дыхание — эти несколько фраз показались ему слишком длинными. Он видел, что Заостровцев никак не отреагировал на такое заявление, зато Нечаев, сидевший теперь напротив него, через «заседательский» стол, перегнулся и сложил на столе руки, как бы устраиваясь поудобнее перед долгим и интересным разговором.

— Есть у нас такая хорошо разработанная наука, — усмехнулся Ильин — «спихотехника». Так вот, все свои неудачи другие замы валят на зама по подготовке. А у зама по подготовке производства не хватает рук. БПП*? Планово-распределительное бюро? Они вроде бы и планируют, и отчитываются, а зарплата им идет с плавки или фасона.

— Ну-ну, — заинтересованно сказал Нечаев. — В этом какая-то логика есть, только я пока не вижу конечного вывода.

* Бюро подготовки производства.

— А вывод один. Оставить лишь запови по фасону, по плавке и по ремонту и эксплуатации. Всю подготовку своего производства поручить им. Как на огороде: сами пахут, сами сеют, сами урожаем снимают. Выше ответственность, и полностью исключается та самая «спихотехника».

— Это все? — спросил Заостровцев.

— Это — первое, — ответил Ильин.

— Может быть, обсудим первый вопрос сразу, Виталий Евгеньевич? — спросил Нечаев.

— Мы с вами инженеры, а не кинозрители. Это когда люди из кино выходят, на ходу обсуждают фильм, — ответил Заостровцев. — Но если вы настаиваете...

Он весь как-то подобрался, стал еще тоньше, еще тщедушнее, но эта еле уловимая перемена показалась Ильину зловещей. Во всем облике Заостровцева будто появилось что-то кошачье: так кошка готовится к броску.

— Я не настаиваю, — сказал Нечаев. — Я только думаю, что вопрос поставлен остро, и боюсь, что долгие раздумья притупят его остроту.

— Ну что ж, — пожал узенькими плечами главный. — Товарищ Ильин, видимо, восстает против десятилетиями сложившейся структуры — так я понял? Но если эта структура просуществовала десятилетия, значит, время достаточно крепко проверило ее? И ни у кого никогда даже не мелькала мысль, что тут надо что-то менять. — Он обернулся к Нечаеву. — Вот мое первое впечатление. И второе: товарищу Ильину как заместителю по подготовке производства действительно приходится туго. Когда-то я сам был в точно такой же шкуре...

Он не договорил. Ильин откинулся на спинку стула и как бы закончил за него:

— ...и вот товарищу Ильину просто-напросто надоело подготавливать всю технологию, завозить шамот, ферросплавы, кирпич, глину, трубки, пружины, опочную оснастку, смеси, — что там еще? Поковки, редукторы, двигатели... Вы это хотели сказать?

Нечаев, протянув руку, положил ее на руку Ильина. Это был короткий, успокаивающий жест, дружеский и в то же время предупредительный. А Заостровцев даже не шевельнулся. Он был похож на фарфорового божка. Только очки у божка поблескивали, и лишь они одни казались живыми.

— Давайте дальше, — сказал Нечаев. — Или это уже написано у вас?

— Конечно, — ответил Ильин, вытаскивая из тоненькой папки свою записку — три страницы с прыгающими строчками.

Ильин никак не мог ожидать такого: Нечаев сам начал читать вслух его записку! Введение хозрасчета на каждом участке... Смена состава мастеров... Снова организационный вопрос: убрать подчиненность мастера стержневого участка

пролета непосредственно начальнику цеха... (Тут Нечаев быстро поглядел на Ильина и сказал: «Конечно, давно было нужно!») И читал дальше, а Ильин словно бы отключился. Он-то наизусть знал, что там написано.

— Десять пунктов, — сказал Нечаев.

— Десять требований, — поправил его Ильин. — Это производственная необходимость.

— Хорошо, — сказал Заостровцев. Фарфоровый божок пришел в движение. Протянул через стол руку Нечаеву и взял записку. Положил перед собой. Снова протянул руку — на этот раз Ильину. — Будем рассматривать ваши предложения, Сергей Николаевич.

Только тогда, когда Ильин вышел на заводской двор, он понял, почему Заостровцев так поспешно простился с ним. Он просто хотел опередить Нечаева! Ведь Нечаев вполне мог потребовать, чтобы — пусть первое, пусть беглое, приблизительное — обсуждение произошло бы сразу, сейчас. Главный перехитрил его, вот и все. Ничего не скажешь — дипломат! Но все-таки Заостровцев тоже прав: такие вопросы не решаются вдруг, и, как бы ни хотелось Ильину, чтобы уже сегодня ему могли бы сказать — давай действуй! — он понимал: то, что совершенно ясно ему, в чем он убежден, для всех остальных только начало больших и трудных раздумий. Трудных потому, что действительно (опять прав Заостровцев!) такая система складывалась десятилетиями и не так-то просто преодолеть в себе уверенность в правильности старого, созданного когда-то и кем-то до нас...

...Он не знал и не узнает никогда, что, едва за ним закрылась дверь, Нечаев встал и начал по привычке, так раздражавшей когда-то Силина, ходить по кабинету. Он никогда не узнает, что сказал Нечаев Заостровцеву — спокойно, но с той решительностью, которая сама по себе исключала возможность любых возражений:

— Надо размножить эту записку, Виталий Евгеньевич. На раздумья вполне хватит недели, ну десяти дней. И вынесем на партком. Может быть, правильно, что мы ничего не сказали Ильину о его будущем назначении. Но для меня лично этот вопрос уже совершенно ясный.

— Вы никогда не отличались торопливостью, Андрей Георгиевич, — недовольно сказал Заостровцев. — Как говорится, поспешишь — людей насмешишь. Не насмешишь бы...

— Да, и еще говорится: семь раз примерь — один отрежь, — усмехнулся Нечаев. — Тоже правильно! Но если уж мы с вами перешли на поговорки, Виталий Евгеньевич, есть и такая: «Кашляй потоньше — и протянешь подольше». А мы подольше не можем, Виталий Евгеньевич.

Он увидел, как у Заостровцева сразу зарозовели щеки, кивнул и вышел, плотно закрыв за собой дверь директорского кабинета. Нечаев улыбался, и секретарша, заметив, что он улы-

бається, тоже улыбнулась — стало быть, там, за это тяжелой дверью, сейчас был какой-то хороший, очень хороший разговор. Просто секретарша привыкла к тому, что из этого кабинета люди всегда выходят озабоченными.

6

Только этого ему и не хватало!

Еще утром, в автобусе, по дороге на работу, Ильин читал газету и наткнулся на небольшую заметку. Называлась она «Образ современника», и рассказывалось в ней о том, что на днях Большегородская студия документальных фильмов начинает на заводе газовых турбин съемки фильма. «Как сказал нашему корреспонденту режиссер, заслуженный деятель искусств М. Мандрус, задачей съемочной группы является запечатлеть труд создателей турбин — рабочих, инженеров, научно-технических работников на всех этапах работы. Большой съемочной площадкой станут цехи предприятия...»

А днем позвонил Нечаев и спросил, читал ли Ильин сегодняшнюю газету. Читал? Ну вот и хорошо, стало быть, в курсе... Как раз у него в кабинете сидят товарищи со студии, так вот они намерены начать съемки с литейного цеха. Как это — почему? У нас все начинается с металла!

— Сейчас их проведут к вам, Сергей Николаевич. Познакомьте товарищей с людьми, покажите цех, как плавку дают — покажите. Только с соблюдением правил техники безопасности, разумеется.

— Они меня не слышат, Андрей Георгиевич?

— Нет.

— Тогда уж извините за грубость, но они мне сейчас как шило в одно место. Честное слово, мне не до них, вы же сами все прекрасно знаете и понимаете.

— Ну вот и отлично, Сергей Николаевич, спасибо! Они будут у вас минут через двадцать.

Их было трое: маленький, толстенький, в кожаном пиджаке и поэтому похожий на туго набитый чемодан М. Мандрус; длинноволосый и весь джинсовый парень — помреж («Какая странная фамилия», — подумал Ильин, знакомясь, и только потом сообразил, что это не фамилия, а должность) и немолодая женщина в свитере (в иоле-то!) со здоровенным куском янтаря на цепочке поверх свитера — оператор фильма.

Режиссер начал говорить с ходу, так торопливо, будто весь фильм ему нужно было снять уже к вечеру.

— У нас трехчастевка, понимаете? Времени в обрез. Кого будем снимать? В смысле выбора героя.

— Бригаду Чиркина, я думаю.

Помреж что-то записал в блокноте.

— Этот Чиркин молодой, старый?

— Да скоро на пенсию.

- Не пойдет.
- У нас сталевары уходят на пенсию в пятьдесят.
- Все равно.
- А вы подумайте, — Ильин говорил, еле сдерживая раздражение, — Чиркин — сталевар, Чиркина — его жена — была у нас крановщицей, дочка — лаборантка в нашей экспресс-лаборатории.
- Династия — это, конечно, хорошо, даже модно. А еще кто есть?
- Тогда Коптюгов, — сказал Ильин. — Молодой, недавно кандидатом в члены партии принимали, работает отлично. Он поглядел на график, висевший за его спиной, — Коптюгов сейчас работал, они увидят его в цехе.
- Фотогеничен?
- Извините, не знаю. У меня другая профессия.
- Посмотрим в натуре, — заторопился М. Мандрус.
- Только, пожалуйста, касочки наденьте, — сказал Ильин. — У нас не положено без касочек.
- Он не мог не улыбнуться тому, как кокетливо надевала каску операторша, заглядывая в зеркало и поправляя выбивающиеся кудряшки. Раздражение понемногу проходило. Он подумал: а чего я так раскипятился? У них тоже своя работа, и, если меня просят помочь, почему не помочь?
- Вы вообще, хоть в общих чертах с нашим делом знакомы? — спросил Ильин, и вдруг джинсовый помреж хохотнул сверху:
- Извините, но у нас тоже другая профессия! Вы ведь, наверно, тоже не знаете, например, что такое крупняк?
- Это крупный план, — тут же объяснил Ильину М. Мандрус и поглядел снизу вверх на своего помрежа так, что Ильину показалось — тот стал ниже ростом.
- М. Мандруса звали Михаилом Михайловичем, и он уже нравился Ильину. Если несколько минут назад он думал просто-напросто передать гостей начальнику смены — пусть водит и объясняет, то теперь решил показать цех сам, поэтому повел их не по внутренней лестнице, а через двор, где сейчас стоял дизелек, готовый вывозить из цеха платформы с набитыми шлаковницами.
- Театр начинается с вешалки, а наш цех — с шихтового двора, — тоном привычного экскурсовода сказал Ильин. — Вон подручные загружают корзину. Все пойдет в печь. Но сначала взвесят на весах, как в аптеке.
- Понятно, — сказала, оглядываясь, будто она что-то потеряла, операторша.
- Чем загружают? — спросил Мандрус.
- Половиной таблицы Менделеева, — усмехнулся Ильин.
- Понятно, — снова сказала операторша. — Здесь снимать не будем, Михаил Михайлович.
- Да, — сказал он тусклым голосом, будто сожалел, что

здесь они не будут снимать. Он уже глядел туда, на печь, словно она притягивала его к себе, словно тот мерный гул, который шел от нее, был для него призывным голосом, и первым пошел в пролет — к ней, к печи...

Ильин поглядел на застекленную, похожую на газетный киоск будку, которая стояла неподалеку от печи, — Коптюгова там не было. Стоит с той стороны печи. Значит, они поспели вовремя, скоро будет плавка, пусть гости полюбуются. Пока же они стояли голова к голове, потому что иначе слов было не разобрать, и Ильин рассказывал, как будут выпускать сталь, она пойдет вон по тому желобу вон в тот ковш, который уже подавали сюда по пролету. А потом из-под печи уберут шлаковницу со шлаком и все повторится: загрузка, электроды опустятся — ну да это вы все увидите сами, — и начнется новая плавка. Больше он ничего не стал объяснять им.

Он наблюдал не за плавкой, а за гостями. Это было куда интересней. Казалось, сейчас они присутствовали при точно таком же сотворении чуда, какое пережил он сам много, очень много лет назад, когда сталь, выпущенная на волю из адского пламени печи, потекла в ковш. Те трое стояли не шевелясь, замороженные, потрясенные этим огненным видением. Потом все вокруг стало меркнуть и лишь три электрода — три раскаленных клыка, поднятых над печью, еще светили, но и они медленно остывали, становясь вишневыми.

Ильин поднял глаза, и все трое тоже поглядели туда, куда глядел он. Там, под кабиной крановщицы, уже горело световое табло, как в метро у въезда в тоннель, с цифрами — 15.30. Он засмеялся, когда гости, как по команде, поглядели на часы. Нет, это не время! Это вес плавки. Пятнадцать и три десятых тонны. Теперь уже он поглядел на часы: плавка дана минут на десять раньше — стало быть, вторая тоже будет раньше и Коптюгов передаст печь другой смене на ходу.

— Теперь загрузка, — сказал Ильин.

Та корзина, которую они видели на шихтовом дворе, подхваченная краном, уже висела в воздухе. Ванна печи вдруг с грохотом выдвинулась, как челюсть какого-то чудища, — корзина зависла над ней, внезапно разошлись, распались вязаные стальные кольчуги под ней, и глаз не успел уловить, что же просыпалось туда, в жадную, всепожирающую челюсть печи. Когда грохот падающей шихты стих, операторша крикнула, обращаясь, скорее к Ильину, чем к другим:

— Почти точно так же из трала дают рыбу. Это я снимала в Тихом океане.

Да, действительно похоже, подумал Ильин. Как раз недавно по телевидению показывали какой-то фильм о рыбаках. Может быть, его и снимала эта операторша? Сейчас и на нее он поглядел чуть иначе — немолода, а, должно быть, работяга, вон куда ее заносило, оказывается, — даже в Тихий океан!

Он окликнул Коптюгова, когда тот шел к пульта. Познакомил его с гостями, сказал, что вот — есть шанс прославиться, и снова заметил, как жадно разглядывают Коптюгова те трое.

— Вполне, — сказал Мандрус, и не понять было, к чему это относилось: то ли ему понравился Коптюгов, то ли касательно шанса прославиться.

— Ну что ж, — улыбнулся Коптюгов, — выгонят из сталеваров — пойду в артисты. Только, — повернулся он к Ильину, — чтобы Зюбина не снимать, Сергей Николаевич. Сегодня мы и втроем хорошо управились.

Теперь можно было попрощаться, передать гостей начальнику смены (он видел Эрпанусьяна — тот был в дальнем конце пролета, на формовочном) и пожелать им, как положено, творческих успехов.

«Первая десятка, — раздался женский голос, — у вас что-то углерод большой».

— Что это? — спросил Мандрус.

— Знаете, Михаил Михайлович, — сказал Ильин, трогая Мандруса за кожаный рукав, — у меня к вам просьба: снимите, пожалуйста, и наших лаборанток из экспресс-лаборатории. Без них ведь самый распрекрасный сталевар — не сталевар.

Он подозвал Эрпанусьяна и с удовольствием наблюдал, как у того становится унылой физиономия, уже успевшая обрасти за день густой щетиной. Ничего, братец! Искусство требует жертв. Так что поработай и ты на него самую малость.

Гости долго жали Ильину руку, благодарили наперебой, и он понял, что съемки начнутся со следующей недели.

Это было в пятницу. В понедельник утром, во время оперативки, снова позвонил Нечаев.

— Сергей Николаевич, прошу вас никуда не отлучаться, будьте все время у себя.

— А сегодня что? — уже зло спросил Ильин. — Союз писателей или экскурсия общества охотников и рыболовов?

— Угадали, рыболовов! — почему-то засмеялся Нечаев. — А если серьезно, мы ждем секретаря обкома, Рогова. Возможно, он захочет побывать и у вас.

Каждый раз, выезжая на ЗГТ, Рогов даже не пытался приглушить в себе особое чувство, какое обычно бывает перед встречей с очень дорогим и близким человеком. Когда-то здесь работал отец, когда-то он сам пришел на завод токарем из ремесленного училища, когда-то вернулся сюда с одной рукой — другую оторвало во время бомбежки, по пути на фронт... Здесь начиналась его комсомольская работа — первые ступеньки к нелегкой нынешней, партийной, — и он тоже был причастен ко всему, что год за годом менялось здесь, на ЗГТ, бывшем механическом. Все это как бы создало, сложило в нем свое, неповторимое ощущение завода, и лишь одно отзывалось

в нем болью — потеря старого, еще с детских лет, друга, бывшего директора ЗГТ — Силина. Как бы ни был ему дорог Силин, он видел, что человек стал меняться, решив, что достаточно он послужил делу, пусть теперь дело послужит ему, что только он один умеет работать, что только он один может решать. И вот результат: завод начал работать с перебоями, и Силин, чтобы удержаться, пошел на приписки. Пришлось его снимать, да еще со строгим партийным взысканием.

Сейчас, сидя в машине, Рогов снова испытал эту почти физическую боль. Стороной он узнавал, где нынче Силин, что делает, как живет... Тогда, в конце прошлого года, Силин уехал в Москву. Ему предложили другую работу — кафедру в ведомственном институте усовершенствований инженеров, и он остался в Москве — один. С женой он развелся. Та молодая женщина, ради которой он ушел от жены, отказалась ехать с ним. Проще говоря, оставила его. Должно быть, она любила не самого Силина, а директора ЗГТ, — это разница! И снова думал о Силине, о том, что, быть может, сам был виноват в этом крушении...

В феврале, будучи по делам в Москве, Рогов позвонил Силину в институт, сказал, что надо бы встретиться, но Силин ответил: «Зачем? Выпить по рюмке и вспомнить детство? Нелепо! Да и чувствую я себя, честно говоря, паршиво после того, как ты обошелся со мной. Как бы не сорваться... Тебе надо это?» Рогов, помолчав, ответил: «Ну что ж, дело твое, конечно. Печально лишь одно — ты мало что понял». На этом разговор и окончился. Больше Рогов не звонил Силину, но не думать о нем не мог, а сегодня вообще это воспоминание стало пронзительным, и Рогов заранее знал, что оно станет еще пронзительнее, еще больнее, когда он войдет в директорский кабинет и за столом Силина увидит Заостровцева.

Надо было оборвать — или обмануть? — самого себя, заставить себя думать о другом. Что ж, в конце концов можно не мудрствовать и согласиться с главком о назначении Заостровцева директором ЗГТ. Уж кто-кто, а он знает завод дотошно. Но с самого начала, с первого же телефонного разговора с начальником главка, а потом и заместителем министра Рогов воспротивился этому назначению. За те годы, что он знал Заостровцева, Рогов мог сложить достаточно точное суждение о нем: нерешителен, хотя прекрасный, опытный работник, свою точку зрения, как бы верна она ни была, отстаивать не будет, если у кого-нибудь повыше другая точка зрения. И еще — возраст. Заостровцеву было уже пятьдесят восемь.

Сегодня на завод должен приехать и первый секретарь райкома Званцев. Наверно, уже приехал. Пойдем в турбинный цех, посмотрим, как начинается реконструкция термопрессового, и — в литейный. Цех без хозяина, подумал Рогов.

Там, в Ливадин, он каждый день, хотя и с опозданием, получал областную газету, и уже перед самым отъездом наткнул-

ся на некролог. Умер Левицкий. Рогов послал на завод телеграмму с просьбой передать его соболезнования семье. Он знал Левицкого давно, еще с сорок первого года.

У входа в заводоуправление, возле черной «Волги», стояли и разговаривали двое — Званцев и Нечаев. Он заметил их еще тогда, когда его машина огибала площадь. Нечаев, говоря о чем-то, разводил руками. Когда Рогов вышел из машины и поздоровался с секретарями, то не удержался и спросил Нечаева:

— Вы что, рассказывали Александру Ивановичу о нашем субботнем улове? Руки-то во-он как разводили! — и сразу же перешел на деловой тон: — Пойдемте к вам, в партком.

Он не хотел входить в директорский кабинет. Поднимаясь по лестнице, он подумал, что Званцев и Нечаев поняли это.

— Я сейчас ехал и вспомнил о Левицком, — сказал Рогов, когда они вошли в маленький кабинет Нечаева позади другой, большой комнаты, где обычно проходили заседания парткома. — В сорок первом мы бегали в литейный цех греться. И вдруг — бомбежка, мы — во двор, в щели. Кажется, вот-вот накроют, а ни одного плавильщика так рядом и не увидели — они не отходили от печей... Так вы решили что-нибудь с руководителем литейного цеха? — оборвал он сам себя.

Нечаев подошел к своему столу и, взяв несколько листов бумаги, передал их Рогову.

— Помните, я говорил вам об Ильине? Мы разговаривали на той неделе — он, Заостровцев и я. Как я понял, Ильин согласится принять цех только на этих условиях.

Годы выработали у Рогова умение быстро прочитывать любые документы и так же быстро оценивать их. И, прочитав записку Ильина, он протянул ее Званцеву.

— Посмотрите.

Званцев читал медленней. Он даже отошел к окну, ближе к свету.

— Что на термопрессовом? — спросил Рогов Нечаева, пока секретарь райкома читал.

— Первая очередь будет сдана к концу года, Георгий Петрович. Оборудование уже получено. Новехонькое, с программным управлением. Вторую очередь начнем сразу же, как освоим выход продукции с первой. У Заостровцева все расписано по дням, в точности ему не откажешь.

— Прочитали? — обернулся к Званцеву Рогов.

— Да. Ильин вообще думающий инженер. Я не металлург и специфических условий цеха не знаю, но, если Ильин полагает, что необходима такая структурная перестройка, значит, он подумал не один раз. Такие вещи, — покачал он листками, — с потолка не берутся.

— Ну, а выводы? — спросил Рогов.

— Теория, как известно, проверяется практикой. Я бы разрешил Ильину провести такую перестройку. Его заместители,

конечно, сначала поднимутся на дыбы, и это понятно, но главная мысль Ильина, по-моему, заключается именно в том, чтобы повысить их ответственность и убрать иждивенческие настроения.

— Для этого, — усмехнулся Нечаев, — ему еще надо стать начальником цеха.

— Неужели такие вопросы вы не можете решить оперативно? — сердито сказал Рогов, не глядя на Нечаева, и тот понял, что этот упрек меньше всего обращен к нему. — Что в турбинном цехе? Как с людьми? Все оборудование задействовано?

Нечаев ответил. Цех, которым еще восемь месяцев назад руководил он сам, сейчас не беспокоил его. Газовая турбина — ГТ-10 — пошла в серию, рекламаций нет, полугодовой план выполнен. Хуже обстоит дело со строительством нового цеха турбинных лопаток. Рогов вытащил из кармана свой блокнот и сказал:

— Вот что, Андрей Георгиевич, давайте эти вопросы обсудим вместе с Заостровцевым. Ваш предшественник обычно норовил спрятаться за могучую спину директора, а сейчас все вроде бы наоборот.

Нечаев замялся, и Рогов сразу уловил это.

— Заостровцев прихворнул, Георгий Петрович.

— Вот как? И давно?

— Я звонил ему утром, подошла жена... Гипертония, давление скачет. Вызвали врача.

— Он знал, что я должен сегодня приехать?

— Нет, откуда же?

— Тогда еще ничего, — кивнул Рогов. — В других случаях эта болезнь имеет совсем другое название. Так что же у вас со строительством нового цеха?

Они долго ходили по заводу, но ни в литейный, ни в турбоцех Рогов не пошел. Побывал на термопрессовом, где сейчас шла реконструкция, заглянул в механический, потом отправился на строительство нового цеха.

Нечаеву нравилось наблюдать, как Рогов не просто ходит и смотрит, а *работает*. И знал, что уже сегодня здорово влетит субподрядчикам из Второго стройуправления, и что теперь Рогов, как он любил говорить сам, «с них не слезет», и, конечно же, после этого работа пойдет скорей.

Он не ошибся насчет того, что уже сегодня Рогов крупно поговорит с начальником СУ. Прямо с площадки, из деревянной прорабки, он позвонил в управление и, морщась, слушал, что ему говорили.

— Ничего. Скажите, звонит секретарь обкома Рогов... — и повернулся к опешившему прорабу. — Когда ваше руководство было здесь в последний раз?

— Не помню точно.

— Значит, давно.

Он ждал, нетерпеливо постукивая по прорабскому столу протезом левой руки, и наконец дождался.

— Да, я, Рогов... Что у вас на строительстве цеха турбинных лопаток? Да, на ЗГТ? Сколько освоено, говорите? А сколько должны были освоить? Прекрасно! А вы не обратили внимание, что я говорю с вами по городскому телефону? Да, да, здесь, на стройплощадке, где вас уже и в лицо, наверно, не узнают... Почему вы молчите? Очевидно, нечего возразить? Так вот, короче: в четверг попрошу вас вместе с секретарем парткома ко мне. С утра, да.

И сердито бросил трубку.

— Теперь в литейный, Георгий Петрович? — спросил Нечаев.

— Зачем? — удивленно спросил Рогов. — Ведь, кажется, мы уже все решили по литейному? Ну а результаты узнаем позднее. Александр Иванович прав — теория должна проверяться практикой. Давайте-ка обратно, в партком. Жарко, пить хочется.

Но все-таки они не сразу пошли в партком. Рогов первым свернул к памятнику погибшим заводским ополченцам, и Нечаев знал зачем. Там, на чугунных досках, занявших весь огромный цоколь памятника, среди сотен фамилий была и эта — П. Рогов. И сейчас Рогов, привычно найдя ее, постоял минуту или две (Званцев и Нечаев стояли чуть сзади), потом обернулся и негромко сказал:

— Знаете, как любил говорить мой отец? «Не суди, Гошка, о людях только по тому, как они дело делают. Суди по тому, что в них есть».

Честно говоря, ни Званцев, ни Нечаев не поняли, к чему это было сказано. Должно быть, Рогову просто так вспомнились эти отцовские слова, и лишь потом Нечаев подумал: нам в науку, что ли? Наверно, так. Чего уж греха-то таить, всегда ли у нас есть время разобраться в людях до самого, как говорится, корешка?

Когда они снова поднимались по лестнице заводоуправления, Нечаев почувствовал, что главный разговор еще впереди. Он обрадовался за Ильина — теперь на парткоме ему, Нечаеву, будет легче. И Рогов тоже не случайно не пошел в литейный цех. Как говорится, вопрос не его масштаба. Ему было достаточно и записки Ильина, и того, что сказал о нем Званцев.

У Нечаева в холодильнике был боржом, и Рогов с наслаждением пил его крупными глотками — действительно, утро оказалось жарким, а днем вообще нечем будет дышать. Нечаев вспомнил, как в прошлом году вместе с Заостровцевым ездил на пуск первой турбины в Среднюю Азию. В тени — плюс тридцать восемь. Даже змеи и те забирались в холодильник, в подземные коммуникации станции. Один парень, здешний, большегородский, рассказывал, что ему по ночам дожди снятся.

Что было короткое воспоминание, лишь бы заполнить паузу

зу перед тем самым разговором, который, как догадывался Нечаев, должен был состояться именно сейчас. Он не ошибся. Рогов ответил — да, он тоже знает, что такое настоящая жара, бывал не только в Средней Азии, а и на Кубе, и в Индии.

— Все это еще не жара, — вдруг засмеялся Званцев. — Вот на бюро обкома бывает жара так жара!

Рогов не ответил, даже не улыбнулся, казалось он вообще не расслышал шутки Званцева.

— Ну а все-таки — что вы скажете о заводских делах, Александр Иванович? Вы, лично вы!

— То же самое, что и Нечаев, Георгий Петрович.

Теперь все понимали все, и молчание было долгим и томительным.

— Я хотел спросить вас, Александр Иванович, — тихо и задумчиво сказал Рогов, как бы подбирая слова, — вы... не приняли бы вы ЗГТ? Пока что это вопрос, так сказать, чисто риторический. Я не скрываю — да и вы это знаете, — что я очень хотел бы видеть вас в аппарате обкома, но...

Он не договорил и повел одной рукой — жест, означавший: больше некому. Званцев кивнул. Он был спокоен, собран, и только по тому, как у него побледнели щеки, Нечаев догадался — все-таки волнуется.

— Принял бы, Георгий Петрович, — очень просто ответил Званцев.

— Ну вот, — улыбнулся Рогов, — и даже той жары, какая бывает на бюро обкома, не испугался!

7

Съемки в цехе кончились быстро, но Ильин даже не спустился туда поглядеть, как работает съемочная группа. Ему передавали, как хохотали ребята, когда им предложили смазать лицо вазелином и попрыскать водичкой, чтоб получился «пот». Чего-чего, а у них своего натурального, соленького хватает!

Они просто хватались за бока, вспоминая операторшу. Подручные забрасывали в печь добавки, операторша снимала, потом сказала: «Начнем второй дубль. Повторите, ребята, еще». Те сначала выпучили на нее глаза, а потом сказали, что «еще» можно повторить только во время следующей плавки. «Совершенно невозможно работать! — якобы сказала после этого операторша. — Неужели им трудно побросать туда еще чего-нибудь?»

Ильин слушал и не смеялся, а морщился. Конечно, куда как красиво, когда подручный широким взмахом лопаты бросает в печь добавки — точь-в-точь как при дедах! Это в наш-то космический век! Но ничего не поделаешь, сам виноват, сам назвал Коптюгова и его бригаду.

Теперь он уходил из цеха поздней, чем прежде: и дела, да

и просто не хотелось домой, в пустую по-летнему квартиру. Надежда, вернувшись от Серезки, даже не сочла нужным зайти, сразу же уехала на дачу и лишь позвонила ему вечером.

— Ну, как он?

— Перестань, пожалуйста, — сказала Надежда, и мысленно Ильин увидел, как она кривит губы. — Тебя ведь интересует не его здоровье, а что он решил?

— Так что же он решил? — спросил Ильин.

— Это ты уже знаешь из его письма. К сожалению, он взял от тебя не самое лучшее — твое упрямство. Ты доволен?

— Не надо так говорить со мной, Надя. Можно подумать, что я какое-то чудовище. Знаешь, я уже начинаю забывать, как выглядит нормальный разговор жены с мужем. Приезжай, поговорим спокойно.

— Нет, — сказала Надежда, — у меня отпуск, а я устала еще больше.

— Все! Даже не поинтересовалась, как я тут. А мне даже не захотелось сказать ей о назначении начальником цеха. Так что, выходит, мы квиты.

На следующий день, уже после работы, выйдя из цеха и направляясь к проходной, он увидел впереди высокую, с острыми плечами знакомую женскую фигуру и окликнул: «Ольга!» Женщина остановилась, обернулась.

— Ильин! — сказала она. — Ты так рано уходишь домой?

— Я уже еле живой, — сказал Ильин.

— А у нас говорят, что ты теперь вообще ночуешь в цехе, — засмеялась Ольга. — Извини, я даже не поздравила тебя с новой должностью!

Она поцеловала его в щеку, и Ильин сказал:

— Спасибо! Теперь кто-нибудь обязательно стукнет в партком, что новый начальник цеха завел себе даму сердца и целуется с ней в открытую. Пойдем посидим где-нибудь, раз уж поцеловались на виду всего завода.

— Пойдем, — кивнула Ольга, беря его под руку. — Только про нас с тобой никто, никогда, ничего и никуда не стукнет. Так что ты не бойся, Ильин! А посидеть мы можем в нашем молодежном кафе хотя бы.

Заводское молодежное кафе находилось как раз напротив проходной, через площадь. Впрочем, теперь оно было уже вовсе не молодежным и зайти туда мог всякий, лишь на праздники или на комсомольские свадьбы кафе закрывали для посторонних.

Еще издали Ильин увидел, что перед входом в кафе стоят два автобуса с большими желтыми буквами на боках: «Студия док. фильмов», и светильники на треногах уже выгружены из них и рядом с людьми кажутся гластастыми инопланетянами, подъехавшими сюда, чтобы посидеть вместе со своими друзьями — землянами — в молодежном кафе.

— Кажется, Мандрус и кафе захватил, — сказал Ильин. — Чего доброго, нас с тобой еще и не выпустят, а?

— Ничего, — сказала Ольга. — У них там на девять часов съемки назначены. Так что успеем насидеться.

Ильин не спросил, откуда она знает про съемки, потому что ему остро хотелось одного: забиться куда-нибудь в угол, за самый дальний столик, и спокойно, бездумно, как у себя на балконе, провести этот вечер. Хорошо, что встретила Ольга. Быть все время одному тоже не очень-то весело.

Им повезло. Кафе пустовало, и они сели, как и хотелось Ильину, за самый дальний столик. «В последний раз мы были в ресторане на ее свадьбе, — подумал Ильин, пододвигая Ольге меню. — Давненько же!» И, пока Ольга читала, он разглядывал ее со странным, смешанным чувством печали, даже горечи, и удивления, что та девочка, которую он помнил, стала уже немолодой, сорокатрехлетней женщиной, и возле глаз у нее — морщины, и две седые пряди в коротко остриженных волосах, и не спасает косметика — она все такая же некрасивая, с носом-лопаточкой и полными, какими-то не русскими, а негритянскими губами.

— Я буду есть фирменный салат, котлеты и пить сухое вино, — сказала Ольга. — А ты?

— Наверно, то же самое, — вяло отозвался Ильин. — Не все ли равно?

— У тебя что-нибудь случилось?

— У меня все время что-нибудь случается, — усмехнулся Ильин. — Давай не будем говорить о трудностях жизни.

— Давай о легкостях. Как Сережка?

Ильин нехотя рассказал о его письме, и о том, что Надежда сорвалась, поехала к нему с угрозами, и о ее звонке — иначе, разумеется, чем было на самом деле, сглаживая резкость вчерашнего разговора. Ольга слушала, поставив локти на стол и подперев кулаками щеки. Ильину казалось, что она не слушает его, а просто разглядывает, точно так же, как он разглядывал ее несколько минут назад.

— Так что, как видишь, маленький семейный бунт, — закончил он.

— А ты на чьей стороне? — спросила Ольга.

— Я всегда хотел, чтобы Сережка жил и думал самостоятельно, — сказал Ильин. — Пусть делает так, как считает нужным. Если он захочет, я возьму его в цех подручным, в бригаду Коптюгова. Пусть узнает, что такое настоящая работа. Мне кажется, до сих пор он жил слишком легко и во многом бездумно. От такой легкости слабеет прежде всего душа. Хотя..

— Но, наверно, ты не хотел бы, — задумчиво сказала Ольга, — чтобы он жил так, как мы? А может быть, мы уже не понимаем их? — Она не ждала ответов на свои вопросы. — У нас в лаборатории работают девчонки, я смотрю на них и не зави-

дую, нет. У них другая одежда, другие разговоры, другие радости, другие маленькие беды. Маленькие, понимаешь? А им кажется — конец света! Кстати, это ты распорядился убрать от нас городской телефон?

— Я.

— Был тоже бунт, и тоже маленький.

— Мне сказали, что ваши девчонки слишком много висят на телефоне.

— Это молодость, Ильин. Ты еще помнишь, что это такое?

Да, подумал Ильин, она просто разглядывает меня и, наверно, чувствует то же самое, что и я: горечь, удивление, может быть что-то еще... И седые волосы, и морщины — все это есть и у меня тоже. И те же сорок три года...

— А зачем? — удивился Ильин. — Тогда нам с тобой в самый раз будет поговорить о смысле жизни! Лучше уж «выпьем, добрая подружка бедной юности моей...». Пушкин знал это хорошее средство от лишних мыслей.

— Лишних не бывает, Ильин, — грустно сказала Ольга. — И ты сейчас вовсе не хочешь уйти от своих мыслей — о Сережке, о работе, о... — Она чуть не сказала: «О Надежде», и вовремя спохватилась. Она не имела права переступить в разговоре с ним этот порог, но он понял недосказанное, конечно. — Где-то я читала, что, когда человеку переваливает за сорок, он начинает не просто много вспоминать, но и оценивать прошлое.

Ильин опять ответил шуткой, что, дескать, это хорошо тем, у кого нормированный рабочий день. На одни воспоминания сколько нужно времени, а уж оценивать!.. К тому же иной такой оценщик может запросто ошибиться. Ведь как, наверно, приятно бывает полюбоваться там, в прошлом, самим собой! Нет, он еще не занимался этим увлекательным делом.

Он говорил и не глядел на Ольгу, потому что чувствовал всю отвратительность этой своей маленькой и вовсе ненужной сейчас лжи и этого несвойственного ему бодряческого тона. Но, с другой стороны, было бы не по-мужски сказать: да, знаешь, действительно это так — думаю, вспоминаю, оцениваю, мечусь, ни черта не понимаю и все начинаю сызнова.

Надо было резко переводить разговор. Ольга помогла ему.

— Конечно, — сказала она, — совсем легко вообще ни о чем не думать. Но я-то слишком хорошо знаю тебя, Ильин...

— Значит, все-таки хочешь о смысле жизни? — спросил он. — Ты как школьница, Оля. Это в школе нам задавали такие темы для сочинений. Помнишь?

— Еще бы! — ответила Ольга. — Ты, наверно, удивишься, если я скажу, что сохранила твои сочинения?

— Сохранила? Зачем?

Он был не просто удивлен. Он был потрясен. Школьные сочинения! Конечно, он совершенно не помнил их, забыл о них,

всю жизнь не вспоминал — для Ильина в свою пору они были всего лишь непрременной и утомительной школьной обязанностью. Он не очень-то любил писать сочинения. «Образ Евгения Онегина» или «Образ Катерины как луч света в темном царстве» — сколько ему приходилось пыхтеть над ними! А Ольга, оказывается, сохранила...

— Зачем? — снова спросил он.

— Я не задумывалась над этим. Сохранила — и все. А сейчас подумала, что в этом был смысл. В каждом доме хранятся какие-то старые фотографии, письма, документы, детские рисунки... У нас с тобой ничего этого не было. Очевидно, у людей должно быть что-то, напоминающее о прошлом.

Ильин долго молчал. Он понимал, что очень осторожно Ольга вызывает его на откровенный разговор, и эти воспоминания об их общем уже таком далеком детстве — лишь прием, уловка, желание размягнуть его. Ах, хитрая, ничего-то у тебя не получится! Но то, что она почти тридцать лет хранила его сочинения, его тетради, — это было действительно своеобразно. И она права, конечно: у каждого должно быть какое-то напоминание о прошлом.

— Интересно, — сказал наконец Ильин. — Ты никогда не говорила мне об этом. Покажешь?

— Покажу.

— Я зайду к тебе.

— Ты не был у меня три года. С тех пор как я переехала на новую квартиру.

— Три года? — удивился Ильин. — Неужели уже столько прошло?

— Да. Живем и не замечаем, — грустно сказала Ольга. — Так что же все-таки насчет смысла жизни?

Ильин махнул рукой, и Ольга подумала: а зачем я так настырничая, зачем настаиваю на этом разговоре? Чтобы узнать, чем живет он? Я и так догадываюсь чем. Он — усталый, замотанный человек. На днях, рассказывали в лаборатории, собрал заместителей, сказал о предстоящих изменениях в цехе — кажется, что-то насчет того, что теперь каждый зам будет заниматься подготовкой своего производства, — шум был страшный, чуть ли не до заявлений об уходе... а тут еще я со своими занудными разговорами... Ему же хочется просто посидеть и действительно ни о чем не думать! И как будто бы я так уж все здорово знаю о смысле жизни! Ни черта я сама не знаю...

Они не заметили, как кафе начало быстро заполняться. Ильин с удивлением увидел, что почти все столики уже заняты. В другом конце кафе высилась фигура Коптюгова, и он не сразу узнал его: Коптюгов был в светлом, почти белом костюме, а его ребята — Усвятцев и Будилковский — один в замшевом пиджаке, другой — в какой-то немыслимо яркой красно-белой спортивной куртке.

— Сейчас будет репетиция, — сказала Ольга. — Они тебе нравятся? Я говорю о ребятах.

— Слушай, родная моя, — усмехнулся Ильин, — неужели ты думаешь, что я способен сейчас что-то воспринимать по-человечески? У меня в глазах — цифры, закрою глаза — цифры! Как после грибов или хоккея.

Ольга засмеялась. Да, первое время — тогда, когда она пришла в экспресс-лабораторию, — ей тоже чуть ли не месяц кряду снился один только марочник*.

— Но ты все-таки приглядишься...

Джинсовый помреж рассаживал бригаду Коптюгова, и тут же стояла официантка, быстро чиркая карандашиком в блокнотике. Сейчас им принесут еду и вино, подумал Ильин. Они все съедят, выпьют, и потом операторша потребует второй и третий дубль — что тогда? А интересно, кто платит за стол — Коптюгов с ребятами или студия док. фильмов?

Их там четверо — трое парней и девушка. Помреж, мотнув по сторонам длинными лохмами, вдруг ринулся в фойе и вернулся, ведя под руку еще одну девушку.

Красивая, подумал Ильин. Нашли где-нибудь в Доме моделей среди манекенщиц, специально для съемки.

— Она тебе нравится? — спросила Ольга.

— Эта? Высокая?

Черт возьми, неужели я так засмотрелся на нее, что даже Ольга заметила?

— Хороша! — сказал Ильин.

— А ты знаешь, что она из того же детского дома, что и мы с тобой? Нина Водолажская.

Киношники уже втащили в зал осветительную аппаратуру.

— Ее привели для декорации, — сказал Ильин. — Разве нет? Смотри — они знакомятся.

— Ну и что? — спросила Ольга.

— А то, что все это липа, — сказал Ильин. — Ты хочешь еще посидеть здесь?

— Интересно же! Всем людям интересно, когда снимают кино.

— Нет, — сказал Ильин. — Мне они и так надоели. Пойдем, а?

Они должны были пройти мимо того столика, за которым сидел Коптюгов с ребятами и девушки. Коптюгов широко улыбнулся, увидев Ильина, а Нина вскочила и бросилась к Ольге.

— Тетя Оля!

* Таблица с данными на все марки стали.

Пока она обнималась с Ольгой, Ильин мог разглядеть ее совсем близко. Издалека она казалась более красивой. Но все равно очень хорошее лицо, ей лет двадцать пять — двадцать шесть, наверно, — откуда же Ольга может знать ее?

Об этом он спросил Ольгу уже на улице, и Ольга ответила: — Старая история, Ильин. Не вздумай провожать меня, я сяду на автобус и через полчаса буду дома. Ты стал скучным человеком, Ильин, и все-то ты мне врешь, врешь, врешь...

Ольга снова поцеловала его и пошла к автобусной остановке.

Она шла и думала об Ильине и о том, как беспощадно и ненужно годы отделяют людей друг от друга и что все могло быть в ее, Ольгиной, жизни не так, как сейчас, если бы...

Здесь она, как всегда, обрывала себя на этом проклятом «если бы», потому что она была не властна над тем, как распорядилась когда-то жизнь ее судьбой и судьбой Ильина. Что связывает нас сейчас? Детство? Оно так далеко, что, кажется, его и вовсе-то не было. Наверно, детские привязанности самые непрочные у нас, людей. Моя жалость к нему? Он не нуждается в ней. А я-то знаю, что у него на душе хуже некуда. Нет, не знаю, а чувствую, потому что сам он никогда ничего не скажет. Он врет, даже когда молчит. То, что он врет мне, — это ерунда, пусть врет! Хуже, что он обманывает самого себя каким-то ожиданием, этой оглушенностью работой.

Наверно, он обиделся на меня. Но ведь у меня есть право говорить ему все, что я думаю. Право детства. Слабенькое, правда, ничего не скажешь, но все-таки право!

Ольга поднялась в лифте на пятый этаж, открыла дверь, включила свет. Теперь она была отгорожена этой дверью от всего остального мира, ей никто не мог помешать, она всегда была здесь одна, и одиночество стало уже привычным. Он здорово сдал, подумала Ольга. Он видел, что я разглядываю его, и узнал все, что я думаю. Мы оба уже старимся, вот что противно. Старимся рядом друг с другом и ничем не можем помочь друг другу, как тогда... как тысячу лет назад...

8

Большой город она помнила не лучше и не хуже других городов, где ей приходилось бывать. Каждую позднюю осень буксир тянул баржу до ближайшей стоянки. В Ольгиной памяти были и Ленинград, и Ярославль, и Елабуга — там баржа становилась на зимовку, бок о бок с такими же настигнутыми первыми морозами.

На каждой барже стояли деревянные домики, из длинных труб поднимался печной дым, сквозь тюлевые занавески на окнах были видны горшки с геранями, на веревках, протянутых

над палубой, сушилось выстиранное бельишко — женские трусики, пеленки и распашонки, полосатые тельняшки... В городах на всю зиму оказывалась деревня не деревня, но нечто далекое и от города. Двадцать или тридцать барж — и столько же домиков, тесных, с каморками, где хранились соленые грибы, бочки с кислой капустой, связки вяленой рыбы, с поленищами под потолок и красно-белыми спасательными кругами, которые убирались на зиму за ненадобностью. Лохматые дворняги облаивали с барж прохожих и друг друга, перекрикивались женщины: «Мыслиха, сольны не найдешца?» — «А ты что кукаришь?» — «Щи затеяла со сметками». В бездельные зимние вечера мужики-правушки собирались в каком-нибудь доме, играли в карты — в носы, Акульку или подкидного с перетыром, выпивали кто больше, кто меньше, по пьяному делу случались и драки.

У тех, кто жил здесь, не было другого дома.

Их дом, мысловский, ничем не отличался от других. Та же одна комната с геранями. Разве что только отец клеивал стены газетами, и на Ольгу — это она тоже помнила — глядели с газет почему-то всегда улыбающиеся люди. Не будь этих газет, она, наверно, не выучилась бы так рано чтению. Ей нравилось часами ходить вдоль стен и, то задирая голову, то садясь на корточки, читать, порой не понимая того, что читала. Но как дети легко запоминают стихи, так и она — уже взрослая, уже сейчас — могла без запинки вспомнить то, что было напечатано в тех газетах. «Добро пожаловать, дети Испании! Вчера пароход «Сантай» доставил в СССР большую группу детей героического народа басков. Тысячи ребячьих глазенок впиваются в огни открывающегося перед ними города, точно стараясь скорее разглядеть волшебную страну, о которой так много слышали...»; «ПЕРЕЛЕТ ЗАВЕРШЕН. Вчера, 20 июня, в 20 часов 20 минут была получена радиограмма: «Вашингтон. В 16 часов 30 минут по Гринвичу, по московскому времени в 19 часов 30 минут, Чкалов совершил посадку на аэродроме Барак в штате Вашингтон, рядом с Портландом»; «ГОЛОСУЮТ РАБОЧИЕ. Одним из первых на пункт голосования 38-го избирательного участка явился рабочий завода «Большевик» М. Н. Николаев... Володарцы — избиратели передового района Ленинграда — еще раз показали свою высокую политическую активность и организованность».

И только одного рисунка она побанвалась, и каждый раз старалась проскочить мимо него. На рисунке был изображен молодой военный, который сжимал рукой, одетой в колючую рукавицу, каких-то страшных, скрючившихся лядишек; у лядишек были выпученные глаза и высунутые языки, они были похожи на раздавленных лягушек. Ольга не знала, кто эти лядишки-лягушки и кто этот военный. Подпись под рисунком была короткой и ничего не объясняла ей: «В ежовых рукавицах». Вот и все, что там было написано.

Отец...

Отец она любила. Он был тихий, незаметный в доме, не то что мать, — Ольга боялась ее и чувствовала, что отец тоже боится. Потом, многие годы спустя, она пыталась понять или хотя бы догадаться, что связывало их — большую, с большими мужскими руками, грубым голосом, тяжелым взглядом крохотных, глубоко посаженных глаз мать и его — робкого, словно придавленного ее мощью. Да, наверно, ничего. Откуда они были? Где и как встретились? Потянулись ли друг к другу, или их свел на этой барже РБ-17 какой-то случай? И сна, Ольга, чем она была в их общей жизни? Нет, отец любил ее тоже, это-то она чувствовала! И тогда, когда приносил с берега кулечки с конфетной крошкой, и тогда, когда, оглянувшись, тайком, воровато, гладил ее деревянными ладонями по голове и лицу, и тогда, когда просто улыбался, глядя, как дочка играет на палубе, на корме, рядом с правилом, со своей куклой, отпихивая лезущую собачонку, — она чувствовала это! Ее память удерживала не только образы, не только события, но и эти ощущения.

Мать могла ударить ее, отец — никогда. У него становилось жалкое, беспомощное лицо, когда мать накидывалась на нее с руганью. Он ничем не мог помочь дочке, и она не обижалась на это, но и не бросалась к отцу за помощью. И она тоже ничем не могла помочь отцу, когда мать орада на него, — лишь потом, после, когда она уходила, Ольга прижималась к отцу, а тот гладил ее деревянной ладонью и успокаивающе бормотал: «Ну вот и ладно, вот и ладно, и ладненько...»

Может быть; эта постоянная злость, с которой жила мать, происходила от тяжелой работы (она тоже работала здесь, на барже, правльщицей, и зарплата ей шла точно такая же, как мужу), от неустроенности, от бездуховности и безысходности этой жизни на воде — не такой, как у всех людей, и виноватым в этой жизни ей казался он, муж?

...Ольга любила неторопливое движение баржи, когда внизу ровно шуршала вода и бесконечно тянулись берега — то голые еще, с обнаженными деревьями, серыми деревсянками, то с красно-желтыми отвесами осенней Камы, когда воздух уже прозрачен и холоден; то с часовенками или церквями на холмах, видимых издали и розовых от заката; берега с городами, которые она знала в основном по их названиям и которых побаивалась, потому что с самого начала вся ее жизнь была ограничена палубой баржи.

В каком-то волжском городке баржу поставили под погрузку, а рядом, на берегу, оказался передвижной зоопарк. Смотреть зверей Ольгу повел отец. Ему самому было интересно. Они ходили от клетки к клетке, и, обычно немногословный, тихий, отец чуть не кричал, размахивая руками: «Ты гля, гля! Тигры! Вон какая зверюга! Разлегся, желтый глаз! Ты ему скажи, чтоб вставал». У другой клетки, где взад-вперед бегали два

волка, изредка останавливаясь и взглядывая куда-то поверх человеческих голов, отец разошелся пуще прежнего: «Ишь, попались! Попались, душегубы! Ты гля, гля! Вроде как собаками прикидываются, а на самом деле самый страшный зверь». — «Хищнее тигра?» — спросила Ольга. И тогда отец начал рассказывать ей, как у них в деревне волки за одну ночь вырезали чуть не всех овец. «В какой деревне?» — спросила Ольга. Отец отвернулся, буркнул что-то и пошел к соседней клетке.

Ночью оттуда, из клеток, доносился тяжелый, угрюмый рык, и собачонка на барже заходила с отчаянным, трусливым лаем. Ольга просыпалась, прислушивалась — рык сменялся каким-то хохотом, и отец, переворачиваясь на другой бок, говорил сквозь сон: «Шакалы, чтоб их...», — а собачонка снова захлебывалась от страха и царапалась в дверь, под людскую защиту. «Да спи ты, окаянный! — прикрикивала мать не то на мужа, не то на собачонку. — Господи, за что мне только такое наказание?..» Но утром Ольга все-таки спросила отца про ту деревню. Он провел ладонью по ее голове. «Что было, то сплыло. Иди-ка поиграй-ка, а вечером в город пойдем сушки покупать...» Так он ничего и не сказал ей, где же была та деревня. Почему не сказал? Что скрыл от нее?

Все-таки она что-то начинала понимать, пусть смутно еще, но уже с тревогой. Как-то на стоянке с соседней баржи пришла молодая женщина, жена правильщика, и сказала матери, что пароходство открыло летние лагеря для детей, вот туда бы Ольгу и отдать, чего девчонке мотаться все лето по рекам. И кормежка там лучше, и уход, и вообще... Тогда мать закричала. Она толкала эту женщину к сходням, наваливалась на нее всем своим тяжелым телом и кричала, чтоб духу этой б...щи тут больше не было. «Все отобрали, так теперь и дочку хотите?! — кричала она. — Ах ты, сука партийная, ты сначала своих нарожай!» Муж пытался оттащить ее, она ударила его локтем в лицо. «У меня отец-мать не знаю в каких лагерях, а она и мою дочку туда же захотела».

В другой раз Ольга, игравшая на палубе, увидела мать, возвращавшуюся из города. С большим мешком на спине мать поднялась по сходням и хрипло спросила: «Отец где?» Отец спал. Мать выругалась и пошла с мешком в домик. Двери были открыты, и Ольга слышала все.

«Тебе только дрыхнуть, а мне с пупка срываться! Бери, спрячь».

«Опять ты...»

«А не твоего это ума. Все так делают, и я буду, понял? У дочки вон пальта нет, сами на топчане спим, а у людей вон кровати с шарами!»

«Найдут ведь, Лиза. На барже где спрячешь?»

«Да ты встанешь или нет, байбак проклятый! — закричала мать. — Кому сказано?»

Ольга услышала шум — должно быть, мать просто стащила его с топчана на пол.

Осенью Ольге и впрямь купили пальто, малость великоватое, на вырост, отец разломал на дрова топчан, а в домике появилась никелированная кровать с четырьмя большими шарами и десятком маленьких. Значит, матери все-таки удалось сделать что-то такое, чего нельзя было делать. Но спрашивать о чем-либо Ольга не могла: отец не ответит, а мать, чего доброго, влепит оплеуху — тем все вопросы и кончатся...

Очевидно, мать не только спекулировала. В последние перед войной годы в их домике на барже поселялись какие-то незнакомые люди. Они приходили ночью, плыли несколько дней, не выходя из домика, спали на полу и уходили тоже ночью. Конечно, мать брала с них за проезд. Ольга помнила каких-то стариков и старух, мужиков, обросших бородами (один, крепко выпив, рассказывал отцу, что два года искал на Псковщине клад, да так и не нашел), и убогих калек, едущих молиться в Саратов, в Сергиевскую церковь, где, говорят, протонерей Гавриил молитвой спасает от всяческих недугов и напастей.

Да, с грустью думалось ей сейчас, странной все-таки была та пора. Странной и одинокой. Быть может, оттуда и нынешняя моя робость? Дворы, игры, первые привязанности, даже первые ссоры — все, все, как в обычном детстве, — ничего этого у меня не было. Пионерские лагеря, костры, походы, «Здравствуй, милая картошка-тошка-тошка...», барабаны, торжественные линейки — нет, я не знала этого. Смешно, даже грибы я научилась собирать уже в войну. Ободранная кукла да блохастый Трезорка — вот и все, что было из радостей там, далеко, на барже... И еще — вода, шуршащая за бортом. Стоит закрыть глаза — и вот он, запомнившийся уже на всю жизнь шорох воды...

Нет, если как следует вспомнить, все-таки там было и счастливое время — в 1938 году, когда осенью буксир привел их баржу на зимовку сюда, в Большой город...

...Отец и мать стояли в коридоре, и, уходя от них, Ольга все оборачивалась, как бы стараясь убедить, что они здесь и никуда не денутся. Большая, тяжелая мать с большими руками, сложенными на животе, и маленький отец, мнувший свою драную шапчонку. Потом она увидела, что отец перестал мять шапчонку и несколько раз махнул ей — мол, не бойся, иди! — и вдруг быстро перекрестил Ольгу сложенными в щепоть пальцами.

Учительница привела Ольгу в класс, и она замерла у порога, потому что все, кто там был, повернулись к ней, и первым движением Ольги было выскочить обратно, в коридор, где стояли отец и мать. Но учительница подтолкнула ее, а другая учительница, которая что-то писала на черной доске, недовольно спросила:

«Новенькая?»

Этот строгий, недовольный голос словно прижал Ольгу к двери, и уже не страх, а ужас охватил ее, так что казалось — она шагу не сможет ступить туда, вперед, в загудевший класс.

«Тихо! — прикрикнула учительница у доски. — Почему так поздно? Через полтора месяца... Ну, что же ты молчишь? Ты немая?»

За Ольгу ответила другая учительница и снова подтолкнула:

«Иди и садись».

А класс уже радостно подхватил: «Немая, немая!»

Рядом с ней оказался мальчик в серой курточке и замотанной старым шарфиком головой. Из-под шарфика виднелась вата.

«А у меня ухо болит, — тихо и серьезно сказал мальчик, помолчал и добавил: — А ты на самом деле немая?»

«Нет», — сказала Ольга.

Очевидно, она сказала это слишком громко — в классе зашумелись, учительница обернулась.

«Нозенькая, как тебя зовут?»

«Оля».

«Ты разве не знаешь, что в классе, на уроке, надо вести себя тихо?»

«Знаю».

«Встань», — шепнул ей мальчик.

«Правильно, Сережа. Когда разговариваешь с учительницей, надо вставать».

Ольга встала.

«Ну вот и постой немного. Внимание, дети...»

Что-то шелкнуло Ольгу по затылку раз и другой. Она обернулась — туго скатанная и согнутая бумажка больно ударила, на этот раз в щеку. С задних парт в нее стреляли из рогаток. Она увидела — тонкие резинки надеты на пальцы. Еще один шелчок, на этот раз в шею.

Учительница ничего не видела. Она писала на доске цифры. А Ольга стояла и плакала — от страха, бессилия, неожиданно, обиды, боли...

Все это она помнила потом отчетливо.

И помнила, как встал Сережа с замотанным ухом, спокойно прошел в конец класса, ударил одного мальчишку деревянным пеналом по голове, вернулся и так же спокойно сел на свое место.

Стрельба прекратилась сразу же. Учительница стояла, отвернувшись, и ничего не заметила.

Это было как чудо. Как будто все сразу переменилось, и страх ушел.

Когда раздался звонок, она не поняла, что сейчас будет переменка. Она просто не знала еще, что есть звонки и переменки. Она продолжала стоять, когда все сорвались со своих

мест и побежали в коридор. Потом вышла и учительница. Ольга все стояла, а Сережа с завязанным ухом сидел рядом.

«Ты никого не бойся», — сказал он, доставая из парты портфель.

«Я не боюсь».

«Ты где живешь?»

«На реке».

Он не удивился. На реке так на реке.

«Читать умеешь?»

Она кивнула.

«А у меня вот двойки, — вздохнул он. — Такая неприятная досада...»

Она поглядела на его тетрадку, лежавшую на парте. Точно такая же, как и у нее, — зелененькая, и вещей Олег стоит над черепом своего коня, а снизу написано: «Сережа Ильин».

«А у тебя очень болит?» — спросила она.

«Ничего, — ответил Сережа Ильин. — Теперь уже не очень».

...В первом классе она так и недоучилась: как только прошел ледоход, баржа тронулась в путь, и во второй класс Ольгу отвели в Чистополе. Опять она опоздала, опять была поздняя, холодная осень, и на рынке, возле самой школы, продавали замороженное в мисках молоко.

Робкая, молчаливая, на переменах она забивалась в угол, ее дразнили, дергали, иногда поколачивали, и она тихо плакала, а потом, уже дома, на барже, заново переживая прожитый день, представляла себе, как вдруг появляется Сережа Ильин и сразу становится хорошо — все его боятся и никто ее не трогает. Она не помнила Большой город, только Сережу Ильина, потому что он был для нее пока что первым и единственным спасителем от непонятной и пугающей жестокости. Даже отец не мог ее защитить. Отец сам нуждался в чьей-нибудь защите. Временами она представляла себе, как им было бы хорошо вчетвером: Сереже, ей, отцу и Трезорке. Матери в этих мечтаниях места уже не отводилось.

Особенно она ждала счастливого появления Сережи, когда ее силком, помимо воли, втягивали в грубые игры. «Ты Москву видала?» — «Нет». Ее хватали за голову и приподнимали: «Во-он она, видишь?» «А как крапива кусается, знаешь?» — «Нет». Двумя руками ее хватали за запястье и начинали крутить в разные стороны — больно до слез, а ребята хохочут, — вот какая она, крапивка-то! А в общем, ребятам с ней было неинтересно: ни в гляделки она не умеет играть, ни в догонялку — дохлярик, одним словом. Молчит весь день и только козыми глазами моргает.

Обычно детская память редко сохраняет подробности, в ней остаются лишь те образы, которые особенно поражают воображение. Все остальное расплывается, уходит вовсе и никогда не возвращается даже смутным отзвуком в душе. Три года,

что прошли после, не оставили в Ольге следа. Ведь, в сущности, все оставалось по-прежнему: реки, движение, наплывающие берега, шорох воды внизу, стук дождя о палубу, знакомые причалы, хриплые голоса грузчиков, не отличимые друг от друга... Газеты, которыми были оклеены стены домика, давниси выцвели и пожелтели. Отец купил обои, синенькие в цветочках. Это она помнила точно, какие были обои. Она ходила в магазин вместе с отцом, и ей понравились эти синенькие. Может быть, ей так особенно и запомнились эти обои потому, что на следующий день началась война.

Очевидно, отец ушел на фронт не сразу. Но была привокзальная площадь, и много людей, веселых или плачущих. Она сама плакала. Отец держал ее на руках, потом опустил и сказал: «Ну, пора» — и у него была счастливая улыбка. Она не могла ошибиться. Слишком хорошо она запомнила эту счастливую улыбку. «Может, простимся?» — угрюмо сказала мать. «А, — махнул рукой отец, — что толку-то? Все, гуляй, Петруша, по долинам и по взгорьям!» Наверно, он был выпивший тогда — нагнулся, чмокнул дочку в голову и ушел, не оборачиваясь, в зимней шапке, драпом ватнике и белых парусиновых баретках.

Ну да, конечно, думала сейчас Ольга, отец был счастлив, что опять оказался с людьми, вырвался с этой баржи, а скорее всего — от матери. «Что толку-то!» Вот так уйти, даже не обнять на прощание, даже не обернуться, хотя знать почти наверняка, что возвращения не будет! *Но меня-то он поцеловал все-таки...*

А осенью того же сорок первого Ольга с матерью снова оказались в Большом городе, и баржа встала на зимовку возле Липок — рабочей слободы, где стояла три года назад, у длинного черного причала.

...В школе ничего не изменилось. Все так же холодно внизу, в раздевалке, все так же в коридорах глядели со стен великие писатели и ученые, и все так же из-за закрытых дверей доносились приглушенные голоса. Ольга решила подождать перемены и села на подоконник, напротив двери с табличкой «З-А». Отсюда, сверху из окна она видела облетающие деревья, крыши липковских домиков, одиноко торчащую законченную трубу на пожарище, а там, дальше, была река — серая и подернутая ветром.

Она пришла в школу без всего — у нее не было ни учебников, ни тетрадок, только ручка с пером «уточка». Этим утром она вычистила перо кусочком кирпича.

Нет, все-таки в школе что-то изменилось, просто она не сразу заметила эту перемену. Стекла были оклеены крест-накрест бумажными полосками, под портретами великих — таблички со стрелками и буквами «БУ» (а что такое «БУ»? Потом ей объяснили — бомбоубежище). Во дворе были вырыты шели... Она сидела на подоконнике и вдруг начала тихо пла-

коть — таким огромным и страшным показалось ей сейчас ее одиночество.

Вчера ушла мать. Ее мобилизовали на окопы. Перед уходом она кивнула на ящик, стоявший в углу: там крупы и макароны. Керосин в кладовке. Постное масло — на полке, так что неделю проживешь как-нибудь. Говорят, больше недели не задержат. Надевая на голову платок, мать поглядела на Ольгу и, повернувшись к стене, что-то выгащила из-за пазухи. Ольга знала — деньги. Мать всегда держала деньги при себе. «Вот, — сказала мать, протягивая красненькую бумажку, — тридцать рублей. Это на всякий случай. Потратишь по-пустому, так и знай — прибью». Ольга осторожно взяла бумажку и, как это делала мать, сунула ее за пазуху, за рубашку. Ниже ее не пускала резинка трусишек.

Той ночью ей было страшно. Собачонка еще в прошлом году то ли сбежала, то ли ее украли в Казани. Ольга лежала, широко раскрыв глаза в темноту, прислушиваясь к ночным звукам: что-то шуршало, потрескивало, скрипело, ей чудились шаги, и она съеживалась, натягивая на себя одеяло, потом все-таки уснула и проснулась оттого, что ей почудился голос матери. Босиком она подбежала к двери и откинула крючок — никого. Только холодный воздух хлынул в комнату и несколько желтых листьев перелетели через порог.

Она не могла больше оставаться одна.

...Кто-то вошел в школьный коридор, и Ольга обернулась. Она знала эту учительницу, помнила ее. Учительница подошла к Ольге, и Ольга слезла с подоконника.

«За что тебя удалили с урока?»

«Меня не удаляли».

«Ты в каком классе?»

«Ни в каком».

«Как это — ни в каком? Что же ты здесь делаешь?»

«Жду».

«Погоди, — сказала учительница, обняв ее за плечи и поворачивая к себе. — Что-то я действительно тебя не знаю. Как твоя фамилия?»

«Оля Мыслова».

«Идем-ка ко мне, Оля».

В комнате, куда привела ее учительница, Ольга никогда прежде не бывала и невольно огляделась. В шкафах виднелись банки со змеями и лягушками, на шкафах стояли чучела птиц, и заяц, самый настоящий заяц, приподнялся на задних лапках, да так и замер. В аквариумах плавали рыбки. Ольга вздрогнула: в углу стоял скелет, и пустые глазницы черепа, казалось, уставились прямо на нее.

«Садись, Оля. Так зачем ты пришла? Ну, чего же ты плачешь, глупенькая?»

Отплавав, Ольга рассказала ей все: и что она живет на барже одна — отец ушел воевать, а мать на окопах, и что она уже

училась здесь, в первом «А», а потом в другом городе, и вот снова пришла сюда.

«Ты чего-нибудь ела сегодня?»

«Да».

Учительница долго думала о чем-то. Казалось, она не слышала звонка, и тогда, когда дверь открылась и вошла какая-то девушка, она не повернулась к ней.

«Ты здесь? — спросила девушка. — А я тебя повсюду ищу».

«Да, да... Тебе уже пора, Кирочка?»

«Пора, мама».

Девушка была одета в большой, не по росту, мужской макинтош, перепоясанный ремнем. Макинтош, и сапоги, и пышные волосы, выбивающиеся из-под цветного платка, — все это казалось на ней чужим, нелепым и некрасивым, потому что сама она была очень красивой, так, во всяком случае, показалось Ольге.

«Хорошо, — глухо сказала учительница, — я пойду провожу тебя. — Она снова положила руки на Ольгины плечи. — А ты, девочка, иди в свой класс. Я скоро вернусь, и мы чего-нибудь придумаем».

В коридоре было шумно, мальчишки бегали и возились всюду, девочки ходили, взявшись за руки. Ольга не узнавала никого и тянула шею. Учительница уже ушла. И вдруг она увидела Сережу. Она знала, что обязательно увидит его, и вот увидела и узнала сразу.

«Сережа!»

Он обернулся.

«Ты, что ли?»

«Я, я!»

Ольга так и сияла, и кивала радостно: «Я, я!» — а Сережа буркнул, отворачиваясь:

«Обратно приехала?»

«Обратно».

«Ну, тогда здорово. Только я с тобой сидеть больше не буду. Я уже два года с Женской Голяковым сижу».

Ольга растерялась.

«А как же я?»

Сережа крикнул:

«Эй, Рыба, иди сюда!» — и от стены покорно пошла длинная девочка с белесыми, впрямь как у рыбы глазами.

«Будешь сидеть с ней, — строго сказал Сережа и повернулся к Ольге. — Я пошел, у меня дела всякие».

Смешно, вспоминала Ольга, я даже снова чуть не разревелась тогда. А Сережка показался мне чем-то вроде учителя. Мне казалось, я все отдала бы, чтобы только снова сидеть рядом с ним. Просто я не знала, что мальчишкам в третьем классе положено презирать девчонок.

Она отсидела два урока, ничего не понимая из объяснений

учительницы, а потом, забыв, что ей надо подождать ту, другую учительницу, вышла на улицу вместе со всеми.

«Сережа!»

«Ну?»

«Ты куда?»

«Домой».

«Я тебя провожу?»

«Вот еще!»

У нее задрожали губы.

«Я тоже домой».

«Пока».

Она пошла следом за Сережей.

За мостом он свернул и вошел в длинный серый облезлый дом. Ольга пошла дальше. Ей не хотелось домой, на баржу.

Она вышла на проспект, малолюдный и тихий. Где-то здесь, она помнила, было кино, куда их, первоклассников, водили два года назад, и садик с фонтанами и статуями. Эти статуи она тоже помнила. Учительница рассказывала, что давным-давно их привезли сюда из-за границы, что они сделаны из мрамора и стоят очень дорого...

В садике были люди, и Ольга подошла ближе. Люди осторожно снимали одну — уже последнюю — статую, сгибаясь под ее тяжестью. Тут же, рядом, стоял ящик. Статую уложили в ящик, и теперь ее мраморные губы улыбались небу. Только тогда Ольга заметила, что тут же вырыта яма; ящик заколотили, продернули под него веревки, и небольшая толпа — в основном старые женщины, — охнула, придвинулась, замерла. Ящик опустили в землю, глухо ударились о доски сырые комья. Кто-то всклинул рядом с Ольгой, она взяла незнакомую женщину за руку.

«Ты что, девочка?»

«А вы почему плачете?»

«Я ничего... Ты иди отсюда, девочка, иди...»

Она пошла дальше, не зная, куда идет и зачем, — просто так, лишь бы не возвращаться на баржу, в пугающую тишину, хотя и думала о том, что надо затопить печку, подмести, а может быть, даже вымыть пол, благо за водой ходить недалеко — только бросить за борт ведро на веревке. Нет, пол она вымоет потом, перед возвращением матери. А сейчас можно зайти в магазин и купить хлеб. Дома оставался небольшой кусочек — уходя, мать забрала с собой почти всю буханку.

Но хлеба в магазине не было. Ольга глядела на пустые полки. Только одна была уставлена бутылками с серебряными горлышками и какими-то розовыми банками. Продавщицы тоже не было: Ольга слышала, как где-то за открытой дверью кладовки гремят пустые ящики. Она подошла к прилавку и, положив на него локти, стала ждать.

Толстая продавщица в белом халате втиснулась в магазин и, заметив Ольгу, прикрикнула:

«Чего здесь торчишь? Чего забыла?»

«Я за хлебом», — сказала Ольга.

«За хлебом! — усмехнулась та. — Она за хлебом! Шампанское вон осталось и крабы. Читала небось — даже на трамваях написано: «Всею попробоватъ пора бы, как вкусны и нежны крабы». Не будет сегодня хлеба!»

Ольга не поверила ей. У нес-то хлеб есть, вон какая толстая! Ольга повернулась и пошла на улицу. Уже у порога она обернулась: продавщица, хрипло засмеявшись, сказала кому-то за дверь в кладовую: «Ничего, это шампанское немцы быстренько выхлещут и спасибо не скажут». Немцы? — подумала Ольга. Разве сюда придут немцы?

Она шла все быстрее — уже обратно, домой, на баржу, оглядываясь по сторонам, будто вот-вот на улице должны появиться немцы. Ей показалось, что, если свернуть в боковые переулки, она сократит путь до моста, свернула и вышла в совсем незнакомое место. Никогда прежде она не видела эту улицу, широкую, с трамвайными рельсами посередине. И не знала, куда же сворачивать теперь, и спросить было не у кого — улица была совсем вымершей...

Тогда Ольга побежала.

Там, где улица делала поворот, она остановилась, будто с размаху налетев на незримую стену. Ее остановили странные звуки, знакомые, но такие неожиданные здесь, в городе. Сначала она услышала эти звуки, а потом увидела блеющее и мычащее стадо, которое шло прямо на нее, заняв все пространство улицы. Впереди трусили овцы, сзади, тяжело догоняя их, шагали коровы, и вся эта лавина надвигалась прямо на нее. Ольга метнулась в сторону и заскочила в какую-то парадную. Бегом по лестнице вверх, — сюда-то коровы не доберутся! — а сердце так и колотилось от страха, и ноги совсем не держали. Все это было как в плохом сне, когда снится, что на тебя бросается зверь, и только в последнюю секунду успеваешь спрятаться от него за какой-то дверью. Но это было наяву. Через лестничное окно Ольга видела внизу огромное стадо, и до нее доносился его острый и теплый запах. Стадо шло медленно и долго. Мальчишки с кнутами хлестали коров направо-налево, и ошалевшие животные убыстряли шаг, но не вперед, а в сторону, в середину стада, чтобы спрятаться там от ударов.

Потом за стадом потянулись подводы. На телегах лежали тюки и сундуки, она увидела самовар, который обнимала маленькая закутанная в платок девочка. Запах стада сменился запахом конского пота. Движение подвод тоже казалось бесконечным. Но теперь уже можно было спуститься и выйти на улицу, она спустилась и вышла.

Лица взрослых, идущих рядом с телегами, были хмурыми. Не слышно было слов или детского плача — только цоканье

копыт по мостовой да тележный скрип. Цоканье и скрип, цоканье и скрип, и сами по себе эти два звука, не нарушаемые никакими другими, были страшными.

Сама не понимая, зачем она это делает, Ольга пошла в ту же сторону, куда двигались беженцы. Или ей подумалось, что они обязательно должны пройти через мост? Она шла сзади, редкие прохожие провожали взглядами и ее тоже; остановился трамвай, и подводы словно обтекли его; на мостовой оставались коровьи лепехи, раздавленные копытами и колесами. Наконец Ольга увидела реку и мост...

Она снова бежала — здесь, за мостом, уже все было знакомо ей. Вон причал — вон — баржа. Быстрее, быстрее — на черные гремящие доски, по легким сходням — туда, на баржу... И снова резко остановилась.

В ранних сумерках хорошо была видна неподвижная фигура. Женщина сидела на перевернутом ведре и курила, потом поднялась, услышав Ольгины шаги, и бросила окурков за борт, в воду.

«Я тебя давно жду, — сказала учительница. — Где ты была?»

«Там, — сказала Ольга. — Там статую хоронили и стадо шло. Наверно, скоро придут немцы».

«Какие немцы? — вздрогнула учительница. — Не говори, пожалуйста, ерунду. Сюда немцы не придут...»

Ольга открыла тяжелый замок на двери и вошла в домик первой. Зажгла керосиновую лампу. Учительница вошла за ней и встала посередине, оглядываясь.

«Вы садитесь, пожалуйста».

Подолом платья Ольга провела по единственной табуретке и пододвинула ее учительнице.

«Спасибо, — сказала та. — Меня зовут Анна Петровна. Запомнишь?»

«Запомню, — улыбнулась Ольга. — А Кира — это ваша дочка?»

«Да, — ответила Анна Петровна. — Она тоже уехала на окопы. Я принесла тебе чай и сахар».

«У меня есть крупа и макароны, — сказала Ольга. — Можно сварить. Это быстро. Хотите?»

«Нет, — качнула головой Анна Петровна. Она все оглядывалась по сторонам, словно пытаясь понять, как здесь могли жить — и жили — люди. Какое-то беспокойство угадывалось в ней, в этих быстрых поворотах головы, наконец она сказала: — Я думала взять тебя к себе на эту неделю, но ничего не получается. У нас тоже беженцы. Если хочешь, я буду ночевать здесь, с тобой».

«Очень хочу», — почти шепотом сказала Ольга.

Каким сладким до слез, каким неожиданным было это вдруг обретенное счастье! Все изменилось в домике на барже. Как радостно было лечь вечером, а учительница Анна Петровна — тут же; и спать не хочется, только слушать и слушать

ее — о разных странах, о разных зверятах, и уроки уже приготовлены, и все-то у нее есть: тетрадки и учебники, и посуда вымыта, и тепло, и пахнет одеколоном, который учительница принесла с собой вместе с постельным бельем. И совсем не страшно засыпать, особенно после того, как учительница проведет ладонью по голове, по щеке — уже совсем забытая ласка, и Ольга прижимает эту руку щекой к подушке, чтобы подольше чувствовать ее тепло, и тогда комок застревает в горле и что-то начинает щекотать в носу — как хорошо! «Спи, маленькая, спи». Учительница тихо выходит на баржу, в ночь. Через окошко Ольга видит ее: она стоит и курит, оранжевый огонек папиросы то разгорается, то гаснет, и снова разгорается. «Анна Петровна!» Она не слышит. Да Ольге и не надо, чтобы она услышала. Просто ей приятно произнести это вслух: «Анна Петровна...»

«О чем вы там все думаете?»

«Спи, Оленька. Сейчас люди только о войне думают».

«А у нас даже адреса нет. Если папаня напишет — куда ему письмо слать?»

«Да...»

«У Сережи Ильина папаня тоже на фронте».

«Лучше говорить — папа, Оленька. У многих папы сейчас на фронте».

«А у него и мама на фронте. Он с бабушкой живет».

«Я знаю, Оленька. Спи, девочка».

Но ей не уснуть. Никогда никто не называл ее так — Оленька. Ей хочется услышать это еще и еще. Лампа потушена, Анна Петровна ложится на родительскую кровать с шарами.

«Анна Петровна!»

«Что, Оленька?»

«А у нас вобла есть. Вы любите воблу?»

«Завтра, Оленька, завтра».

Потом она принесла книги. Ольга читала хорошо, и теперь, вернувшись из школы, сразу забиралась с ногами на табурет, к окошку поближе: цветы сдвинуты, книжка на подоконнике, и обо всем на свете забыто. Ну и врун же этот Мюнхгаузен! А все-таки молодец был Робинзон, не растерялся, верно? И тихонько плакала над совсем тоненькой книжкой, где рассказывалось о коне по имени Черт... Потом все повторялось: под вечер приходила Анна Петровна, пили чай, грелись у печки — и снова это ласковое прикосновение: «Спи, маленькая, спи...»

«А когда маманя вернется, вы будете к нам ходить?»

«Буду».

...Холода были ранними, хотя осень стояла на редкость ясная. По утрам палуба баржи белела от инея, и, выходя из домика, Ольга видела следы Анны Петровны: та уходила в школу раньше.

В то утро все начиналось, как обычно. Она вышла на палубу, накинула замок на скобу и уже у схода услышала надрыв-

ный, нарастающий, хватающий за сердце звук сирены. Сначала завывала одна, должно быть из репродуктора у школы, ей сразу же откликнулась другая — с той стороны реки, и Ольге показалось, что морозный неподвижный воздух начал трястись. Она кинулась на берег и побежала по узенькой тропинке, по белой траве, обезумев оттого, что она была сейчас совсем одна, споткнулась обо что-то, упала, и учебники с тетрадками скользнули по инею вниз, к воде.

Тут же через вой сирен послышался другой звук, и Ольга подняла голову. Черные крестики на просветлевшем небе тянулись ровно, будто связанные между собой невидимыми отсюда веревками, — ближе, ближе, потом самолеты начали заваливаться, словно ныряя с высоты. Первые взрывы раздались вдалеке, в городе. Самолеты все шли и шли, вырастали, и вот они совсем близко — все смешалось в грохоте, и земля под Ольгой качалась.

Три самолета сразу отвернули от остальных, и Ольга увидела, что они идут прямо на нее, даже не на нее, а в нее, вот сейчас упадут, придавят — и все будет кончено, все исчезнет. Рев машин и нарастающий свист множества черных капель, которые оторвались от этих машин, смешали в ней все чувства, и, смешанные, они оказались одним — чувством ужаса, заполнившим все ее существо.

Она скользила по откосу к воде, закрывая голову руками, уже понимая, что вот сейчас все кончится и будет *смерть*, которую она никогда еще не видела и поэтому до сих пор не боялась. Она уже ничего не слышала, только чувствовала, что жива, и что сейчас нельзя отрываться от земли и нельзя открывать глаза, потому что тогда можно *увидеть смерть*. Она не знала, не помнила, сколько времени пролежала так, каждую секунду ожидая смерть и всем своим маленьким существом противясь ей. Потом ей начало жечь ноги, и она все-таки открыла глаза — удивленно и недоверчиво, потому что она была жива. Ничего не изменилось вокруг. Небо было чистым, не выли сирены и не качалась земля, а ноги у нее лежали в воде — ледяная вода и жгла их. Скользя, цепляясь за траву, она полезла наверх, на тропинку, вылезла, встала — и тогда увидела огонь.

Липки горели, будто подожженные разом. Огонь еще только набирал силу и рвался вверх, почти без дыма. Ольге казалось, что люди возле горящих домов еле-еле двигаются — медленно бегут, медленно машут руками, медленно тащат что-то в сторону от огня. Она не могла двинуться с места. До нее не доносились ни голоса, ни другие звуки — все, что она видела, было совсем беззвучно: тихо горели Липки, тихо бегали люди. Но так не могло быть, это она сообразила все-таки и поднесла руки к ушам.

Едва она попыталась шагнуть, ее шатнуло в сторону. Странная, незнакомая тяжесть начала придавливать Ольгу

к земле. Она сделала шаг, другой, третий. Ноги у нее были как чужие, она почти не чувствовала их.

Тепло дотронулось до ее лица, и это было приятное прикосновение — тепло от горящих домов, пахнущее смолой...

Ольга шла на огонь, к людям. Потом она увидела, как над крышами начали подниматься оранжевые столбы. Черные облака собирались там, в вышине, клубились, множились, опускались к земле, и Ольге показалось, что она растворится в них...

..Сначала она услышала далекие голоса и детский плач. Ей не хотелось просыпаться, но голоса и плач становились громче и громче, и она проснулась, словно выплыла из какой-то темной глубины.

Здесь, в единственной комнатке их домика на барже, было тесно. Она не узнавала никого — незнакомые женщины, несколько детей на родительской кровати; какая-то старуха, опустившись на пол, топит печку. Вдруг откуда-то сбоку появилось лицо Анны Петровны, и Ольга услышала ее торопливый голос: «Проснулась? Как ты себя чувствуешь?»

Ольга не ответила. Она смотрела на этих незнакомых, которые набились в ее домик, и Анна Петровна так же торопливо сказала:

«Они из сгоревших домов. Ты же не против?»

«Нет», — через силу ответила Ольга.

Ей было трудно говорить, глядеть, думать. Она снова закрыла глаза, и опять был провал, черная глубина — сон или забытье, — и новое пробуждение, но на этот раз она уже не чувствовала той слабости, что накануне.

«Анна Петровна...»

«Ну, чего тебе?» — недовольно спросил кто-то снизу.

Было темно, горела лишь керосиновая лампа, и Ольга видела пятерых или шестерых детей, спавших на кровати с шарами.

«Анна Петровна!» — уже крикнула Ольга.

Тогда снизу показалась встрепанная голова — господи, Сережка Ильин, откуда он взялся здесь? Ольга перегнулась. На полу лежал рваный-прерванный отцовский тулуп, и Сережка, должно быть, спал на нем. Сейчас он сидел, видимо недовольный тем, что его разбудили.

«Откуда ты... здесь?»

«Анна Петровна привела... Пить хочешь?»

«Нет».

«А я хочу».

Он поднялся, поднял из угла чайник и начал пить прямо из носика. Ольга глядела на него, еще не веря, что Сережа здесь, вот он, пьет из ее чайника, запрокидывая голову, и она видит его маковку с торчащими в стороны волосами.

«А где Анна Петровна?»

«Где, где! — передразнил Сережка. — Дома, вот где».

«А тебя она ко мне приставила?»

«Дура, — сказал Сережка, опускаясь на пол, на отцовский тулуп. — Ты что, совсем ничего не помнишь?»

Она помнила, но теперь *то* было уже так далеко, что ей не хотелось вспоминать ни сирены, воюющие со всех сторон, ни ровно летящие крестики-самолеты, ни трясущуюся землю и взрывы, ни беззвучно горящие дома. Ольга как бы нарочно откидывала все это куда-то дальше в своей памяти, в самые глухие ее углы. Сейчас здесь было тепло и тихо, и Сережка Ильин был здесь, и вернувшийся на минуту страх тут же ушел.

«Помню», — сказала она.

«У меня дом разобмили, — отворачиваясь, сказал Сережа. — Одна стена осталась. А бабушка дома была...»

Ольга медленно встала. Ее пошатывало. Сережа смотрел на нее снизу, с пола. Так же медленно она подошла к полке, на которой стояла керосинка, и, сняв ее, перенесла на стол.

«Ты чего?» — спросил Сережа.

«Я тебе макароны сварю», — сказала Ольга.

«Не надо, — глухо сказал он. — Нет у тебя никаких макарон. Все разобрали».

Она не поняла: как это разобрали? Заглянула в ящик, где мать хранила продукты, — пусто.

«Надо же было чем-то ребятишек накормить, — объяснил Сережа. — Ну, заплачь еще! У людей все погибло, понимать надо».

Невольно Ольга сунула руку за пазуху. Там, на животе, лежала бумажка, теплая от ее тела.

«Ничего, — сказала она, — как-нибудь проживем. У меня еще целых тридцать рублей есть. Тебе, наверно, холодно на полу? Ты ложись сюда, поместимся».

Сережа подумал и лег на ее топчан, к стенке. Ольга подняла отцовский тулуп и, накрыв Сережу, легла рядом. Гасить лампу она не стала.

«Так тебе удобнее?»

«Да».

Он повернулся носом к стенке, Ольга тоже повернулась, прижалась к Сережиной спине, успела подумать: как хорошо, как тепло! — и снова был сон...

...Оказалось, что на барже были не только эти детишки и она с Сережей. Там, внизу, в холоде, провели ночь десятки погорельцев, и утром вышли оттуда, закутанные кто во что. На берегу, возле причала, разложили костры, люди грелись и готовили пищу, голодные собаки бродили между ними, ожидая брошенной корки. Прошел слух, что к вечеру всех разместят в городе, которые с детьми — в первую очередь, размещаются. Подошли две «эмки», несколько штатских и военных оглядели пожарище, поговорили с людьми и уехали. Слух вроде бы подтверждался. Через час грузовичок привез походную

кухню, а на санитарной машине увезли пожилую женщину — она была в беспамятстве. Говорили — у нее удар. И как бы ни было плохо сейчас тем, кто сбился здесь, на барже и у костров, плохо так, что хуже некуда, — одно то, что о них знали, думали, заботились, пусть немного, но облегчало надеждой на хоть какое-то устройство, тепло и еду. И кто-то уже ходил со школьной тетрадкой в руках: «Игнатьевы! Сколько вас? Карякины! Детишек четверо? Не думали, когда строгали... Павловские!»

Потом появились новые слухи, и один бог знал, откуда они брались здесь, — что размещать в городе не будут, а пришлют машины, увезут всех на станцию и поездом — на Урал, потому что завод будут эвакуировать не то в Челябинск, не то в Нижний Тагил. Нет, завод эвакуировать не будут, потому что немцы сбросили где-то десант и дорога перерезана, решено все взорвать... Нет, ничего взрывать не станут, потому что десант наши перебили, а в городе уже ищут, кого еще можно уплотнить... Нет, уплотнять не будут, а разместят всех в школе, по классу на семью. Нет, занять школу не разрешили, зато освобождают Дворец культуры имени Орджоникидзе — вот там-то и разместят всех...

Но пока в домике на барже то и дело появлялись незнакомые женщины, чтобы взглянуть на своих детишек, просили Ольгу побыть с малыши (Сережа ушел утром), а детишки орали, плакали, и Ольга не знала, что делать с мокрыми. Ей хотелось есть. Она пошла в кладовку — дверь была открыта, мешок с воблой исчез, не оказалось и кадки с кислой капустой, которую мать шинковала по дороге сюда, в Большой город. Ольга не огорчилась. «У людей все погибло, понимать же надо!» Она это понимала. Ей было обидно не оттого, что незнакомые люди все взяли, а оттого, что ничего не оставили ей самой. Можно было пойти к Анне Петровне, но она стеснялась, даже думать не могла об этом. Но ей повезло. Какая-то молодая женщина в мужском драповом пальто с подогнутыми рукавами заглянула в кладовку и обрадованно воскликнула: «Во! ты где! А я тебя в доме ищу». В руке у нее была миска с кашей, должно быть из той полевой кухни, и поверх каши лежал пяточок масла. Уже в домике молодая женщина сидела на топчане, смотрела, как Ольга ест кашу, и, нагибаясь, заглядывала в глаза:

«Ботиночки-то высохли? Я, когда нашла тебя, сразу увидела — мокрехоньки! Ну, думаю, захворает, это как пить дать — захворает! А ты ничего, вроде бы не захворала... Это ведь я тебя нашла. Ты хоть и худенькая, да тяжелая оказалась. Я тебя еле-еле сюда притащила. Если б я тебя не нашла, ты бы совсем замерзла на земле».

От нее пахло вином, и говорила она не переставая:

«А ты не бойся, мы тебя не оставим, ты ешь, ешь, пока каша горячая, а я тебя сразу узнала, мы с твоей мамочкой зна-

комы были... Ты не бойся, меня тетей Катей звать, муж у меня с первого дня как на фронт взят, а с твоей мамочкой у нас свои интересы были, если б. не война, хорошо бы жили, я ей уже и дом здесь приглядела. Денежки-то у нее были, да?»

«Были», — нехотя сказала Ольга.

«Я знаю, что были, — закивала тетя Катя и огляделась, будто стараясь увидеть, где эти деньги. — Здесь они или на сберкнижке — не знаешь?»

«С собой увезла, — сказала Ольга. — На окопы».

«Ну и человек, господи прости! — всплеснула руками тетя Катя. — Да зачем ей деньги на окопах-то? Вернее, что ли, за пазухой? Ведь огромные деньги у нее были, понимаешь? И тебе ничего не оставила?»

«Тридцать рублей».

«Красненькую! — недобро усмехнулась тетя Катя. — Мельче небось не было, не то бы и ее не оставила. А ты одолжи мне ее, красненькую-то. Я тебе потом верну. Заработаю и верну, честное слово. У меня ведь все сгорело. Вот — в мужнином пальто хожу. Шуба кротовая была — пых! — и нету! Да ты не бойся, я же сказала — верну».

«Нам с Сережей жить на нее надо...»

Тетя Катя засмеялась, откидывая голову. У нее были ровные, белые, красивые зубы.

«Да что ты на красненькую купишь? В магазинах-то пусто. А мне сейчас вот как надо. И потом... я же тебя спасла, можно сказать, все-таки».

Ольга вынула теплую тридцатку и протянула тете Кате. Та чмокнула ее в лоб и, запахнув пальто, выскочила из домика.

К вечеру всех погорельцев увезли в город. Сережа не возвращался. Не приходила и Анна Петровна, и Ольга пошла их искать.

Она помнила тот серый, некрасивый, обшарпанный дом, сразу за мостом, в котором жил Сережа, но увидела одну стенку с дырками окон — все остальное обратилось в битый кирпич, из которого торчали балки.

Еще не стемнело, и пожарники пытались пробиться под развалины. Неподалеку стояла молчаливая толпа, и Ольга увидела Сережу. Значит, он так и простоял здесь целый день, подумала Ольга. Ждал, что может, найдут его бабушку... Она подошла к нему сзади и взяла за руку.

«Пойдем домой, — тихо сказала она. — У меня тепло, печка топится».

Он не пошевелился и все смотрел, смотрел, вытягивая шею, как пожарники откидывают балки и слипшиеся куски кирпича.

«Придем сюда завтра, — сказала Ольга. — Ты же совсем замерз».

Он пошел нехотя и устало, будто не пожарники, а он сам оттаскивал эти балки и кирпичи. Ольга подумала, что Сережа ничего сегодня не ел, а дома хоть шаром покати. Ее словно

обожгло стыдом: сама-то съела целую миску каши, могла бы и оставить половину... Другого выхода она не видела — надо зайти в школу, к Анне Петровне. Сережа мотнул головой: нет. Он никуда не пойдет. Ничего не ел? Ну и что? Подумаешь! Надо закалять волю. Нет и нет, и нечего уговаривать. А ты-то сама?.. Ольга кивнула. Она не могла ответить, ее душили слезы, и она лишь кивнула, что означало — да, я съта.

Дома, на барже, Сережа сел ближе к печке и закрыл глаза. А Ольга металась по маленькой комнате, хотя знала, что ничего ей не найти, потом схватила свечку и бросилась в кладовку. Тоже ничего. Какое-то тряпье, пустые коробки, ящичек с гвоздями, бидон с засохшей краской..

И все-таки она нашла: там, за тряпьем, за бидонами и ящиками, которые, по счастью, никто не догадался отодвинуть, был еще один, куда мать складывала остатки сухой булки. Ольга помнила, как мать приговаривала при этом: «Не булкой собаку кормить, авось самим пригодится, ежели потащат...» Она еще пыталась догадаться тогда, кого потащат, куда потащат. Но теперь у них были сухари!

Когда она вернулась, Сережка спал, привалившись к стенке. Она разожгла керосинку и поставила чайник. Ей было жаль будить Сережу, но она разбудила его все-таки и помогла снять пальто.

«А ты?» — спросил Сережа, макая в кипяток сухарь.

«Я не хочу, честное слово, не хочу, я уже ела».

Подперев кулачками голову, она сидела напротив Сережи и смотрела, как он ест, хрустит сухарем, и ей действительно совсем не хотелось есть; она любовалась им и радовалась тому, что все-таки смогла хоть немного накормить его.

...Какие-то люди стоят на барже, и с ними — тетя Катя, та самая, которая взяла тридцатку до получки.

«А вот и сама хозяйюшка! Долгонько же мы тебя ждем. Вы посмотрите на нее — в чем душа держится, я же говорила...»

Старая женщина кладет на Ольгины плечи руки, и глаза у нее добрые и печальные:

«Собирайся, девочка».

«Это зачем же?»

«Мы пришли за тобой. У нас тебе будет лучше».

«Это где?»

«В детском доме, милая».

«Я буду ждать маманю. И Сережу».

«Сережу?»

Пришлось объяснить, кто такой Сережа.

«Хорошо, возьмем и Сережу. А ты собирайся пока».

И пока она собиралась, впустив в домик тетю Катю и этих, что пришли из детского дома, тетя Катя все рассказывала, все рассказывала, как она спасла ее, как растирала, как кормила,

и то и дело спрашивала сейчас: «Правда, Оля?» — а Оля кивала: «Правда», хотя не знала, правда ли все это, но ведь миска каши все-таки была!

«Я и к вам-то в роно пришла, потому что ночей не сплю, все об ней душа болит — моченьки нет как. Вот увижу ее сытенкой да в тепле, тогда только и успокоюсь. Ах ты, ненаглядная моя! Книжечки, книжечки свои не забудь».

Она собрала книжки и услышала шаги Сережи...

...Следующей весной она увидела тетю Катю на улице. Она шла, опираясь боком и грудью на руку лейтенанта с перевязанной головой, и на ней было материно зеленое платье, только укороченное выше колен. Но Ольга не сомневалась, что это было материно платье, и, сама не зная, зачем она делает это, пошла за тетей Катей и перевязанным лейтенантом. Они долго гуляли, а потом свернули к мосту, перешли его, — это был знакомый путь к барже, и баржа, оказалось, стояла на месте. Тетя Катя и лейтенант прошли на баржу, открыли дверь в домик. Тогда Ольга подкралась к окну. На нем была другая занавеска, но герань за стеклом была та же самая. Тетя Катя зажгла лампу, и через тюль Ольга увидела комнату, совсем не ту, а оклеенную синими обоями, теми обоями, которые она покупала вместе с отцом за день до войны.

«Кто там?» — вскрикнула тетя Катя.

Ольга не успела убежать, лейтенант рывком распахнул дверь.

«Успокойся, это девчонка какая-то».

«А, — сказала тетя Катя, выглядывая. Она уже успела снять материно зеленое платье и была в нижней рубашке с кружевами. — Тебе чего?»

«Тридцать рублей», — сказала Ольга.

«Какие еще тридцать рублей? — деланно удивилась та, но все-таки кивнула своему лейтенанту: — Дай ей тридцатку, и пусть катится. Вся в мать! Мать у нее была — за копейку зайца догонит».

«Сами вы такая», — сказала Ольга, не замечая, что лейтенант протягивает ей деньги. Она смотрела мимо лейтенанта и мимо тети Кати — в комнату с красивыми синими обоями.

9

А там, в молодежном кафе, наконец-то кончились съемки, и, поднимаясь из-за стола, Коптюгов облегченно сказал: — Ну, наконец-то отмучились. Легче пять плавок дать, честное слово...

Час был поздний. Усвятцев пошел провожать домой свою девушку — Лиду; Будиловский, помявшись, сказал, что ему, в общем-то, тоже пора, и поднял руку, останавливая такси. Коптюгов остался с новой знакомой — Ниной и взял ее под руку.

— Ну а я провожу вас.

— У вас хорошо воспитанный подручный, — сказала Нина.

— Сашка-то? Будиловский? Думаете, вежливо смылся? Ерунда! Просто у него два рабочих дня, и ему жутко хочется спать.

— Почему два? — удивилась Водолажская.

— Он еще в газету пишет. Не встречали его фамилию?

— Нет, — призналась Нина. — А ваш второй подручный...

— Уникум! — весело сказал Коптюгов.

— Это я сама заметила, — так же весело поддержала его

Нина.

В кафе она зашла сегодня случайно — купить болгарских сигарет, и тут же ее схватил этот длинный киношник, уговорил сесть за столик к «настоящим ребятам», время у нее было, она согласилась. И не пожалела об этом. Действительно, было интересно не просто смотреть, как работает съемочная группа, но и самой участвовать в этом действе: пересаживаться несколько раз, чтобы «поймать свет», подставлять лицо гримерше («У вас, милая, лоб так блестит, что всю пленку засветит»), не глядеть в объектив, делать вид, что тебя ужасно занимает беседа, короче говоря, играть в кино, хотя режиссер молил и требовал держаться естественно и забыть, что их снимают.

— Коптюгов, голубчик, вам же очень нравится Нина, верно? Ну, наклонитесь к ней, шепните хорошее слово. Ах, не знаете какое? Я в ваши годы знал, что надо шептать. Пусть улыбнется! Или расскажите всем какую-нибудь смешную историю, черт бы вас побрал!

Коптюгов, фыркнув, сказал:

— Историй сколько угодно! — И, обернувшись к Нине, спросил: — Хотите расскажу, как я с Генкой Усвятцевым познакомился? Ну, колоссальная байка!

И действительно, все, кроме Генки, так и покатывались, когда Коптюгов начал рассказывать, как он познакомился с ним. Шуршала камера — они не обращали на нее внимания, и толстенный режиссер умолк за соседним столиком.

История же была впрямь забавной. Прошлой зимой Коптюгов увидел, как возле одного дома люди замедляют шаги и смотрят на окно первого этажа. Было морозно, градусов, наверно, двадцать. Коптюгов тоже поглядел туда, куда глядели все: окно открыто настежь, а за ним сидит голый до пояса парень и ловит музыку на своем транзисторе.

Коптюгов остановился и положил руки на подоконник — парень даже не повернулся к нему.

— Послушай, — сказал Коптюгов. — Ты что, шизик?

— Это почему же? — спокойно, по-прежнему не оборачиваясь, спросил тот.

— Йог?

— Мимо, — сказал парень.

— Незаконнорожденный сын моржа и пингвина?

— Я же сказал тебе — вали мимо, — отозвался парень. — Улицу загораживаешь.

Коптюгов глядел на его широкие плечи, мускулистые руки, крепкую, поросшую светлым волосом грудь и вдруг подумал: да вот он тебе, подручный! Те двое, с которыми он работал тогда, злили его — неповоротливые, дохлярики какие-то, пацаны длинноволосые, пижоны.

— Может, пригласишь? — спросил Коптюгов. — Деловой разговор есть.

— Я отдыхаю. Прием с семнадцати до двадцати.

— Дембиль? — догадался Коптюгов.

— Ну! — сказал парень, впервые за все время разговора взглядев на него.

— Ты что ж, осенью демобилизовался и до сих пор сачкуешь, что ли?

— Ну! — снова сказал парень.

— С сибиряками служил?

— В Сибири. А ты откуда знаешь?

— У нас здесь не нукуют, — засмеялся Коптюгов. — Это только сибиряки нукуют.

— Валяй, — сказал парень. — Во двор, направо, квартира пять.

— Ты только окно закрой, — попросил Коптюгов. — Я еще пожить хочу на белом свете.

Странной была эта комната, куда он вошел. Портреты на стенах — Евтушенко, Алла Пугачева, Олег Блохин, Анатолий Фирсов, и среди них — фотографии девушек, все в рамках. Стол, два стула, шкаф, старый-престарый диван — и сучковатые березовые стволы, подпирающие потолок. По сучкам развешаны рубашка, свитер, пиджак. На столе — лосиный рог с натканными в него окурками. А над диваном — щучьи черепки, огромные, страшные, как горячий сон.

— Лихо! — сказал Коптюгов, оглядываясь. — Хиппуешь поменьку?

— Самоутверждаюсь, — ответил парень.

— Нравится?

— А что? Вчера я не такое видел. Идут двое, у нее сапоги до... а у него из-под дубленки красные штаны, и детский паровозик за собой на веревочке тащат. Во дают, а?

— Дают, — согласился Коптюгов, — будто «Войну и мир» написали или закон относительности открыли.

— Какой, какой закон? — переспросил парень.

— Относительности, — фыркнул Коптюгов. — Ладно, давай знакомиться. Коптюгов моя фамилия. Между прочим, когда я на гражданку вернулся, тоже первое время чудил дай бог как! Хотелось скорей свободой насладиться. Так ты что, на самом деле сачкуешь?

— Ну! — сказал тот.

— Двести пятьдесят рэ в месяц — пойдет? Это в среднем. Может, и больше.

— Спасибо, кормилец, век не забуду!

— Брось, — поморщился Коптюгов. — Ты здесь, у окна, на свои мускулы девок ловишь, разве я не понимаю? А тебе дело делать надо. Короче, пойдешь ко мне в подручные? Профессия редкая, подручных у нас нигде не готовят, я научу. Условие одно — держаться за меня, тогда не пропадешь.

Он говорил требовательно и жестко, так, будто этот Генка Усвятцев уже согласился идти к нему в подручные, но Коптюгов знал, что он согласится.

Еще раз Коптюгов оглядел комнату и голый Генкин торс — дурак же он, да ничего, пройдет...

Впрочем, эту часть Коптюгов опустил, когда рассказывал историю своего странного знакомства, вполне достаточно было рассказать о полуголом парне, торчащем в окне на морозе, чтобы развеселить компанию и чтобы режиссер, облегченно вздохнув, похвалил:

— Вы же природенный актер, Коптюгов! Без пяти минут заслуженный и без десяти — народный. Спасибо, голубчик, огромное...

Сейчас, провожая домой Нину, он уже не рассказывал ей ничего, а осторожно пытался узнать побольше о ней самой. Впрочем, время от времени он говорил и о себе — то, что, на его взгляд, ей нужно было знать о нем. Он намекал, что жизнь у него сложилась не очень-то удачно, и если есть настоящая радость в ней, то это — работа, вернее, тот момент, когда даешь сталь. Нет, это была не рисовка, а правда, Коптюгов действительно любил и умел работать. Он обладал словно бы врожденным талантом — не надо бояться этого слова в применении к рабочему человеку, — тем талантом, который богатеет с годами, с опытом и единственный результат которого — мастерство.

Казалось, что Коптюгов, сидя в будке у пульта, видит печь изнутри и каждым своим нервом, каждой клеткой чувствует, что происходит там, в раскаленном аду. Два с половиной часа ожидания, пока электроды не проплавят в шихте три колодца — это еще спокойное время. Он *видел*, когда намечались колодцы. Он оставлял лотаторы и шел к печи. Смотрел, как лежит шихта, поднимал электроды, покачивал печь. Он улыбался, если печь гудела ровно, ее голос рассказывал ему, как идет плавка, и, едва начиналось потрескивание, Коптюгов преображался. Глаза суживались, он становился похожим на сильного зверя, готового к схватке. Каждое его движение было точным и рассчитанным. Дверца распахнута. Он никому не доверяет шуровать. Он делает это сам. За все время, что он работает здесь, ни одной «пропашки». Сколько раз у других бригад слу-

чался «коротыш», летели ограничители, терялось время, и все потому, что гонятся за минутами, а теряют часы. У Коптюгова такого не бывало. Он умел работать и любил работать. И ни словом не солгал сейчас молодой женщине, которая шла рядом с ним. Да, он испытывает настоящую радость, когда идет сталь.

— Не маловато ли для жизни? — спросила Нина. — Ведь не одним только делом счастлив человек.

«Набивается на откровенность, — подумал Коптюгов. — А сама чего-то темнит. Красивая девчонка и знает, что нравится, а близко не подпускает».

— Ну почему же только дело? — сказал Коптюгов. — По мелочи-то и других радостей наберется. Слушайте, Нина... А ведь у вас, по-моему, в жизни тоже не одни меды сладкие, а?

— С чего вы взяли? — спросила она. Взгляд, брошенный на Коптюгова, был пытливым. Ему даже показалось — Нина не просто удивлена, как быстро он догадался о ее жизни, а даже чуть растеряна, впрочем, эта растерянность длилась недолго. Она пожалала плечами: — У меня нормальная жизнь нормально человека.

— Ерунда, — сказал Коптюгов. — Я не Шерлок Холмс, но тоже кое-что понимаю. Вам лет двадцать пять, да? (Она кивнула.) Так вот, такая красивая девушка в двадцать пять должна быть замужем, а вы — нет.

— Почему вы решили?..

Он не дал ей договорить.

— Потому что вы разрешили мне проводить вас. Потому что вы никуда не спешили из кафе. Потому что у вас нет кольца. Все это, конечно, так... догадки. Скорее всего, вы были замужем, и...

Теперь уже Нина опередила его:

— ...и вам надо менять профессию, Костя. Моего бывшего мужа, между прочим, тоже звали так. И все-таки у меня нормальная жизнь нормального человека.

— Почему вы разошлись? — тихо спросил Коптюгов.

— А вам не кажется, что мы еще слишком мало знакомы, для того чтобы откровенничать? — Она протянула Коптюгову руку. — Спасибо, что проводили.

И, быстро повернувшись, ушла.

Коптюгов, поначалу подумавший было, что она на него рассердилась, тут же спокойно улыбнулся: «...Мы еще слишком мало знакомы...» Это не отговорка, это намек. Дескать, ты потерпи малость, ты разыщи меня в моем цехе, ты поговори со мной, сам откройся мне, вот тогда... Он встречал таких женщин, в чью жизнь однажды вошла беда. Их трудно заставить открыться, у них душа словно в мундире, застегнутом на все пуговицы. Конечно, есть и такие, которые рады-радехоньки поговорить на свою судьбу, — Коптюгов им не верил. Он знал, что нравится женщинам, и знал, что эти жалобы рассчитаны на

ответную жалость. Нет, у таких, как Нина, все иначе, их чувства прочнее, если уж такая полюбит — это серьезно...

В тот момент, когда долговязый помощник режиссера повел к их столу Нину, Коптюгов поднялся и подумал: «Вот это она...» Он не удивился такой уверенности, он точно знал, что эта красивая девушка или молодая женщина с большими темными глазами и светлыми волосами, свободно падающими на плечи, — она. Он сдерживал себя: не торопись. Такая не потащит тебя к себе пить французский коньяк. Это совсем другой человек, совсем другая душа. Она прочная. Она не станет вешаться на тебя, как вешались другие. И Коптюгов уже твердо знал, что завтра же он пойдет в турбокорпус и разыщет там контролера БТК Нину Водолажскую...

10

В пятницу все начальники цехов обычно собирались у заместителя директора по производству Кузина. Для Ильина эти совещания были пустой тратой времени, они раздражали его, он говорил: «Опять будем гонять болты и гайки». Кто-то из заводских остряков окрестил эти обязательные пятничные совещания сокращенно — ППР, что означало: посидели, побалдели — разошлись. И если Левицкий то ли в силу привычки, то ли из уважения перед всякими совещаниями аккуратно ходил и на эти — Ильин отказался ходить, пока там не будет вопросов по литейному. Он позвонил Кузину. Не будет вопросов по литейному? Тогда я и сам не приду, и никого не подожму. Кузин возмутился, пригрозил доложить главному инженеру, Ильин оборвал его:

— Пожалуйста. Но я не намерен терять часы на дела, не касающиеся меня лично.

— Вы обеспечиваете металлом весь завод. В любой момент к вам могут быть вопросы.

— Я могу ответить на них и по телефону.

— Круто берете, товарищ Ильин! Смотрите, как бы не нажить неприятностей. Я слышал, у вас в цехе уже начинается какая-то заварушка? Если это отразится на производстве...

— Не отразится, — сказал Ильин и положил трубку.

С этим покончено. А вот то, что начало перестройки — той перестройки, которую он так долго обдумывал и которую ему наконец-то разрешили, — называют «заварушкой», заставило Ильина насторожиться. Он мог лишь предполагать, кто принес туда, в заводоуправление, это словцо.

Когда он собрал у себя заместителей, те знали уже все. Такое событие, как структурная перестройка, в секрете не удержишь. Тем более что на последнем заседании парткома вопрос обсуждался долго и подробно, прежде чем было вынесено решение рекомендовать администрации такую перестройку провести. Ильин сам докладывал на парткоме. Естественно, по за-

воду слух распространился сразу же, да никто ведь и не собирался делать из этого тайну.

Сейчас Ильин ждал, как поведут себя заместители. Он собирался сделать одно: прочитать приказ, подписанный Заостровцевым, и, не вдаваясь пока в подробности, уточнить некоторые пункты.

Приказ выслушали молча, и даже когда Ильин спросил: «Какие будут мнения?» — молчание продолжалось долго. Первым нарушил его заместитель по фасону Малыгин. Он встал и, вынув из кармана какую-то бумагу, подошел к столу Ильина и положил бумагу перед ним.

— Вот. И не надо давить на мою сознательность.

Ильин, уже заранее зная, что это заявление Малыгина об уходе, все-таки развернул бумажку и прочитал заявление.

— Давить не будем, — сказал он. — Не на что давить.

Он не любил Малыгина. Холодный человек. Что бы ни случилось на формовочном (а там каждую неделю что-нибудь случилось), Малыгин валил на кого угодно, лишь бы оградить от неприятностей себя. Иждивенец, все ему подай на блюдечке с голубой каемочкой, а он еще будет фыркать при этом. Чаше всего, конечно, он валил на Ильина: не дал вовремя смолы, не завез сено, не... не... не... А у самого копни песок — спрятанные пустые четвертинки лежат, формачи пьют прямо на глазах, зимой «для сугреву», летом «для тонуса».

Ильин понимал, что это заявление рано или поздно Малыгин должен был положить на стол. С работой по-новому ему не справиться. Он смотрел на остальных. Или они тоже поднимутся на дыбы?

— Так вы идите, Малыгин, — сказал Ильин. — Чего зря время терять? Готовьтесь к сдаче.

Должно быть, Малыгин не ожидал такого поворота. Сидел, наверно, и думал, даже хотел, чтобы новый начальник цеха начал уговаривать его.

— Ничего, — сказал он, кривя тонкие губы. — Я послушаю.

— Вот что, товарищи, — тихо и стараясь больше не глядеть на Малыгина, будто его здесь уже не было, сказал Ильин, — провести эту перестройку надо было бы давно, но лучше уж поздно, как говорится, чем никогда... Давайте называть вещи своими именами. В цехе сложилась обстановка привычности, и это, если подумать, самое худое, что могло произойти. Заместители, то есть вы, привыкли жить на готовеньком, а отсюда и меньшая ответственность. Иной раз даже никакой ответственности.

— Ну, ты даешь, Сергей Николаевич! — усмехнулся Шток. — Тебя послушать, так нам всем уходить надо.

— Не уходить, — резко сказал Ильин. — Подумать, как лучше работать. И вот еще что. Левицкий вопросами подготовки почти не занимался, а я буду заниматься. Не по привычке, а по обязанности. Так что боязнь превратиться в выбивал, в снаб-

женцев у вас излишняя. Да, теперь каждый из вас будет связан напрямую с отделом снабжения завода. Но это не снимет заботу о подготовке производства и с меня, особенно в перспективном планировании снабжения. И особенно по формовке. Сегодня иду утром, а на рабочей площадке возле грейфера два формача из-за ящика наполнительной смеси сцепились.

— Вот-вот, — сказал Малыгин. — Людям зарабатывать надо, между прочим.

— Как вы радуетесь, что мы еще плохо работаем! — усмехнулся Ильин, не поворачиваясь к Малыгину. — Слово какая-нибудь «Нью-Йорк таймс». А сами-то хотя бы попробовали пальцем о палец ударить? Что нужно сделать в первую очередь по формовочному? Прежде всего объединить формовщиков со стержневиками.

— Этого в приказе нет, — сказал Малыгин. Но Ильин снова не повернулся к нему.

— На основании заводского приказа руководство цеха разрабатывает свой собственный, — сухо сказал он. — И вот здесь, по-моему, начинается самая главная работа. Нам надо написать формовщиков, так? Чтоб они перестали бояться — будет им смесь или нет. Чтоб мы забыли о простоях, как о плохих снах. Значит, первая очередь — оборудование смесеприготовительного отделения. А это — новые заботы земледелки.

— Долгое дело, — сказал кто-то.

— Полгода, — отрезал Ильин.

Он не замечал, как шло время. Он просто рассказывал, что надо будет сделать, и забыл о том, что перед ним лежало заявление Малыгина об уходе. Он обращался и к нему и не знал, что вот сейчас его увлеченность и уверенность уже сделали свое дело и даже Малыгин думает, как бы забить отбой, потому что не так уж все страшно и этот Ильин, которого он тоже не любил, вовсе не собирается взвалить на него весь воз. Это не Левицкий. Он готов сам к себе в замы пойти. Но теперь-то уж чего жалеть, дело сделано, и придется побегать с обходным листком...

Видимо, это заявление Малыгина и дало повод заместителю директора по производству назвать нынешнее положение в цехе «заварушкой».

И все-таки на следующий же день после неприятного разговора с Кузиным и решительного отказа ходить на ППР Ильину пришлось встретиться с ним. Он шел в заводоуправление, уже заранее распаяя себя: ах, Кузин, чиновная душа, хочешь мне свою замдиректорскую власть показать? Даже передал телефонограмму, а это уже документ, попробуй не пойти! Но Кузина на месте не оказалось. Его секретарша сказала: «Он ждет вас у главного», и Ильин распалился пуще прежнего: побегал с кляузой к главному, сейчас будет и «мытьё», ну да я ведь тоже смогу ответить...

Заостровцев по-прежнему работал в директорском кабинете,

и, толкая тяжелую дверь, Ильин подумал: неужели разговоры о назначении нового директора были всего-навсего слухами? Сначала он увидел Кузина: тот сидел сбоку стола, разглядывая какие-то чертежи, и поблескивал лысиной, вокруг которой волосы вились, как медные проволочные спиральки.

— Здравствуйте, — сказал Ильин. — Мне сказали...

— Садитесь, Сергей Николаевич, — холодно оборвал его Заостровцев. — Мальгин еще не ушел из цеха?

«Знает, — мысленно усмехнулся Ильин. — Должено в лучшем виде».

— Нет еще.

Заостровцев кивнул и, протянув руку, показал на бумаги, которые просматривал Кузин.

— Познакомьтесь. Это срочный министерский заказ.

Напряжение, которое владело Ильиным, когда он шел сюда, спало разом. Он сел рядом с Кузиным, и тот пододвинул ему бумаги, а сам откинулся на спинку кресла.

— Вопрос о Мальгине, как я понимаю, был вам задан не случайно, — сказал Кузин. — *От нас*, — он особенно подчеркнул это «от нас», — уходит опытный инженер, а выполнение этого заказа...

— Все это потом, — остановил его Заостровцев. — Пусть сначала Сергей Николаевич познакомится с документацией.

Нужно было срочно отлить рабочее колесо турбины для одной из латиноамериканских стран. Ильин прикинул: вес — восемнадцать тонн, придется плавить на двух печах. Времени в обрез, конечно. Очевидно, не только мы получили этот заказ, подумалось ему. Где-то что-то не спланировалось там, наверно, вот и раскидали заказ по заводам.

Потом был долгий и обстоятельный разговор с Заостровцевым, в котором Кузин участия не принимал, а сидел все так же, по-прежнему откинувшись на спинку кресла, будто он оказался здесь по какой-то случайности и все это его никак не касалось. На какую-то секунду Ильину даже показалось, что у Кузина обиженное лицо, как у ребенка, которому не разрешают участвовать в разговорах взрослых.

Можно было уходить, Ильин встал. Вот тогда-то Кузин и остановил его. Даже придержал за рукав, будто боясь, что иначе Ильин не станет слушать его и уйдет.

— Это еще не все, Сергей Николаевич. Я хочу поговорить с вами в присутствии главного инженера. Все-таки мы ответственны за то, что происходит на заводе.

— Я, между прочим, тоже, — сказал Ильин. Но Кузин, казалось, не расслышал его или нарочно сделал вид, что не расслышал, как бы давая понять, что это вещи несравнимые — их ответственность и его, начальника цеха.

— С первых же шагов в новой должности вы повели себя в худших традициях бывшего директора, — наконец-то отпустив рукав Ильина, сказал Кузин. — И вот результат: заявление

об уходе вашего заместителя. Почему? Да потому, что вы оскорбили его, сказали, что у него нет сознательности или что-то в этом духе. А это уже партийный вопрос, Сергей Николаевич, партийное дело. Здесь знаете чем пахнет?

Заостровцев молча глядел на Ильина — неподвижный, впрямь как божок. И если еще какие-нибудь три минуты назад, во время их делового разговора, Ильин невольно, быть может, поражался точности его советов (он знал, что Заостровцев не металлург, а вот поди ж ты, знания такие, будто всю жизнь только и занимался этим), то теперь молчание Заостровцева, его прокурорская непроницаемость показались Ильину едва ли не оскорбительными. И ответил он не Кузину, — ему неприятно было отвечать Кузину, словно оправдываться перед ним! — а главному инженеру:

— Свое заявление Малыгин написал заранее. Я полагаю, что будь человек хоть самым опытным, но, если у него нет чувства ответственности, он нам не нужен. Малыгин испугался того, что ему придется больше работать, и того, что с него будут больше спрашивать. Я могу идти?

— Да, — сказал Заостровцев.

И, пересекая длинный заводской двор, Ильин лишь на секунду подумал, что Малыгин ко всему еще и лгун — так все изказать! Впрочем, они, кажется, приятели с Кузиным... Но тут же перестал думать об этом.

Ночью приехал Сережка.

Ильина разбудил какой-то шум на улице и на балконе, и он сел, не зажигая света. Сначала на балкон что-то мягко шлепнулось, потом из-за перил, оттуда, со стороны улицы, показалась человеческая фигура. Человек легко перелез через перила, поглядев вниз, тихо сказал: «Спасибо, корешок», — и тогда раздался звук отъезжающей машины.

Конечно, спросонья можно было бы и перепугаться: ночь, человек лезет прямо с улицы на балкон третьего этажа — тут иной заикаться начнет! Но Ильин сразу узнал Сережку, и, когда тот, сняв ботинки, неслышно вошел в комнату, он зажег свет. Теперь уже он наслаждался растерянностью сына. Сережка не ожидал, что отец проснется.

— Пожарную машину нанял? — спросил Ильин.

— Нет. Тут рядом фонари чинили. Знаешь, такая штука — выдвигается, а на ней корзина...

— А если обычным способом, через дверь? Или не так интересно?

— Это интересно, когда есть ключи, батя. А я их элементарно потерял.

Не хотел меня будить, — подумал Ильин, разглядывая Сережку. За те два месяца, что они не виделись, он заметно изменился. Светлые волосы совсем выгорели и казались седыми. Зато лицо было как у мулата, и лишь на крупном Сережкином

носу виднелись красные пятна и полосы — должно быть, кожа с него слезала не раз и не два.

— Ну, тогда здравствуй, между прочим, — сказал Ильин, надевая пижаму. — Будешь сначала мыться или помираешь с голодухи?

Между ними давно установился вот такой чуть поддразнивающий, но добродушный тон в разговоре, и Сергей сейчас шел, улыбаясь тому, что ничего не изменилось, он дома, и у отца насмешливые глаза, и сейчас он пойдет жарить яичницу и ставить чайник, — хорошо дома! И вот уже из кухни доносится: «А тебя что, тигры там драли, что ли?»

— Жара была африканская!

— Старики увидят — в обморок грохнутся. И все-таки в порядке дружеского совета — вымылся бы ты сначала, а?

Сережка вышел на кухню, неся связку вяленых лещей, и Ильин снова с нежностью подумал: вез для меня, знает, как я люблю пиво с вяленой рыбой.

Сергей ел с жадностью хорошо поработавшего человека, и, глядя на него, даже любясь им, Ильин вдруг, пожалуй впервые за все эти двадцать лет, подумал: а ведь скажи ему, что он мне не родной — не поверит, а если поверит, то ровным счетом ничего не изменится.

Когда-то они — Надежда, ее родители и Ильин — договорились никогда не открывать Сережке эту ему ненужную правду. Была короткая переписка с его отцом, и тот без особых уговоров дал согласие на усыновление — у него уже было двое детей от другой жены.

Когда Сережке исполнилось восемнадцать, перед самым его уходом в армию, Ильин подарил ему толстую клеенчатую тетрадь, в которой записывал все его словечки и проделки. Славный был тот вечер! Сережка читал вслух, а Ильин и Надежда снова смеялись, вспоминая. «Пять лет. Во дворе сосед спрашивает: «Как жизнь?» — «Какая же это жизнь? Детство мое кончилось...» Или другая запись: «Можно погулять?» — «Спать пора». — «Я же днем целых два часа спал для вас!» За годы накопилось много таких записей. Сережка куда-то спрятал эту тетрадку, но как-то раз, месяца три назад, войдя в его комнату, Ильин увидел ее в Сережкиных руках. «Читаешь?» — «Нет. Думаю». — «О чем же?» — «Во-первых, почему ее вел ты, а не мама, а во-вторых, — зачем?» — «Весьма глубокомысленные вопросы! Объяснение же простое: у мамы ужасный почерк, а с годами у людей слабеет память». — «Не то, батя, — сказал Сергей. — На фотографиях остается только физиономия. Просто ты хотел, чтобы мне осталась душа, что ли? Та, детская...» — «Ишь ты!» — смущенно усмехнулся Ильин и не нашелся, что еще ответить.

Да, за эти двадцать лет, которые прошли что-то уж слишком быстро, Сергей не просто вырос. Часто Ильин с удивлением замечал в нем себя — свой характер, свои жесты, свои

слова. Даже походку — и ту Сережка перенял от него. Но главное — характер, быть может, излишне упрямый, когда уговоры не действуют, а лишь укрепляют в сознании собственной правоты. Ильин с удовольствием вспоминал, как в первый же день занятий в пединституте Сергей вернулся домой, остриженный «под ежик». Мать всплеснула руками: зачем ты это сделал? Ты ведь уже не в армии! Сейчас модно носить как раз длинные волосы! Сергей кивнул: «Вот именно! Новая мутация хиппи, мама, по имени «хэйри», — волосатики а-ля Джизиус Крайст. Поэтому-то я и остригся, чтобы не походить на наших институтских пуделей в штанах».

Мать разнервничалась (было бы из-за чего!), а Ильин хохотал — ему ужасно понравилось все это! Протест, да еще с такой эрудицией! Он, конечно, слыхом не слыхивал, кто такой этот самый Джизиус Крайст, но раз уж Сережка против него, стало быть, заслужил Джизиус, и поделом ему!

Но это что, это еще мелочи! В третьем или четвертом классе Сергей начал хватать тройки по поведению. Ильин пошел в школу, и выяснилось, что в классе травят девочку в очках. Дети бьют порой чересчур жестоко. И Сергей дрался всякий раз, когда ее задевали. Бил чем попало и куда попало. «У вашего ребенка дурные задатки», — сказала Ильину классная воспитательница. «Ну, — сердито ответил Ильин, — что касается меня, то я буду всячески развивать в нем эти задатки. Когда-то я тоже дрался за девочку» — «Что ж, вынесем вопрос на педсовет». Ильин разозлился: «А я поинтересуюсь, какие оценки по педагогике были у вас в институте». С тем и ушел.

Ильин любил Сережку и знал, что тот ближе к нему, чем к матери. Дед и бабка — те, конечно, трясутся над ним, но для них главная забота о внуке — накормить повкусней.

Сейчас Ильин, убрав со стола, слушал, как Сергей плещется в ванной, фыркает, даже чего-то мурлычет себе под нос. Из ванной он вышел в одних трусиках — большой, мускулистый, загорелый, и Ильин, естественно, не мог не сказать, что после ванной загара-то вроде бы поубавилось.

— Так что же ты строил там? Опять коровники?

— Школу, — сказал Сергей. — Такую храмину отгрохали! Районное начальство приехало, и вдруг — поп! Представляешь? Тут речь говорят, музыка, а я гляжу, он из-под ряссы так тихонечко перекрестил школу и ушел. Потом выяснилось — его внук туда в первый класс побежит. Да мама видела, рассказывала тебе, наверно...

— Нет, — сказал Ильин. — Не рассказывала.

Сергей закурил — и точно так же, как это делал Ильин, взял сигарету большим и безымянным пальцами.

— Пойдем спать? — спросил Ильин.

— Погоди, — сказал Сергей. — Мать очень... переживала? Ну, по поводу моего решения.

— Очень.

— А ты?

— Я — не очень. Совсем не переживал. Ты — человек взрослый.

— Куда мне идти?

— Если ты решил заняться настоящим делом, найди настоящее.

— Ты ничего не хочешь мне посоветовать? Впрочем, быть дворником, продавцом, сантехником — тоже дело, верно? Кто-то ведь должен?

— Вот что, Серега, — сказал Ильин, — давай-ка сейчас на боковую, договорим после. С утра поезжай на дачу, мать там уже сама не своя...

— Она что же, все время на даче? — спросил Сергей, оглядываясь, будто стараясь увидеть какие-то оставленные матерью следы.

— Да. Старикам уже трудновато — продукты, готовка, огород... — Он сказал это и сам почувствовал, как у него фальшиво вышло.

— Ясно, — сказал Сергей.

— Что ясно?

— Ну вы и молотки, предки! Сколько лет вместе, а ссоритесь, как молодые. На этот раз из-за меня, как я понимаю?

— Что ж, угадал. Только мы не ссорились. Просто мы с мамой по-разному смотрим на вещи.

Ему не хотелось никакого серьезного разговора. Но Сергей уже все замечал и все понимал сам. Он давно не ребенок. Он любит обнять его и мать, сдвинуть своими сильными руками их головы и постоять так — три лица, прижавшиеся друг к другу. Он словно чего-то боится. И то, что он сам завел этот разговор, не обманывало Ильина.

— Мать здорово изменилась, — тихо сказал Сергей.

— Она устала, Серега. Жизнь-то была не очень легкой.

— А ты? — поглядел он на Ильина. — Ты не устал?

— Она женщина.

Нет, подумалось ему, никаких разговоров. Только этого еще не хватало. Все-таки ему вовсе незачем лезть в наши отношения.

— Она изменилась, — упрямо повторил Сергей. — Мне не нравится, как она говорит о тебе.

— Да ты стал сплетником? — засмеялся Ильин и снова почувствовал, что смех-то у него деланный, через силу, лишь бы кончить шуткой этот нелегкий разговор. Значит, когда Надежда ездила к Сережке, она не удержалась и... — Все! Спать! У меня еще целых три часа, а потом трудный день. — Он встал и хлопнул Сережку по голому плечу. — А если хочешь добрый совет — иди ко мне в цех, подручным на печь. Очень нужная профессия. Чего это у тебя рот до ушей?

— А то, — хмыкнул Сережка, — что я сидел и ждал твоего приглашения. Это, между прочим, я и без тебя решил. Только

вот завтра поеду на дачу и банку валерьянки захвачу — стариков отпаивать, и мать тоже.

Ильин ушел к себе, лег, погасил свет. Он лежал и слушал, как в соседней комнате укладывается Сергей, и думал, что парень не соврал. *Он ждал, что я ему скажу.* Быть может, он даже побаивался, что я предложу ему работу полегче. И тогда, как знать, он чуть-чуть переменялся бы ко мне. Значит, сегодня он устроил мне что-то вроде экзамена, а я и не заметил.

— Слушай, — крикнул Сережка, — а тебе, однако, повезло больше, чем пушкинскому Гриневу.

— Почему? — не понял Ильин.

— Тот женился на капитанской дочке, а ты все-таки на майорской!

Очень хорошо, подумал Ильин, у него отличное настроение. Это потому, что для него все ясно в жизни и он чувствует себя властным над своим будущим.

Отливка рабочего колеса была, в общем-то, делом нехитрым, но подготовка отняла много времени, и Ильин боялся одного — того, что подавший заявление об уходе Малыгин будет работать эти последние две недели спустя рукава. Он сам ходил к формовщикам, сам следил за тем, чтобы материалы поступали вовремя (должно быть, срабатывала старая привычка зама по подготовке!), сам проверял, хорошо ли легла земля... С Малыгиным он обменивался короткими фразами, и только по делу, но чувствовал, как тот злится на него, воспринимая эти появления начальника цеха на формовочном как недоверие. Да пусть злится, сколько угодно. Не детей крестить. И все-таки Малыгин не выдержал:

— Мне кажется, Сергей Николаевич, у меня достаточно опыта, чтобы справиться с этой работой самому.

— А мне кажется, — в тон ему ответил Ильин, — что и в этой, и в любой другой работе одного опыта недостаточно.

— Ну, разумеется, — скривил по привычке губы Малыгин, — еще надо вложить душу и так далее. Это все для передовой статьи в нашей многотиражке.

Ильин не ответил. Ни к чему было отвечать. Сейчас он легко мог сорваться, а там опять по заводууправлению пойдет гулять слухок о «силинских методах» нового начальника цеха. Как бывает всегда, одна крайность легко сменяется другой. Стиль работы прежнего директора, быть может, невольно передававшийся другим, теперь сменился спокойной деловитостью, которая подчас граничила с либерализмом. Ильин понимал, что это тоже неверный стиль. Так недалеко и до «клуба интересных встреч», на которых за кофейком да с реверансами будут решаться производственные вопросы: «Как нынче почивали, Иван Иванович? Как ваша дражайшая половина? Кстати,

Иван Иванович, нельзя ли нам за разработку ПОРа* по земледелке сесть?» Ильина бесил этот им самим придуманный разговор. А ведь несколько дней кряду он вел в отделе капитального строительства если не такие, то похожие разговоры и думал: нет на заводе хозяина, нет. Идти к-Заостровцеву ему не хотелось, вот и приходилось пользоваться старым знакомством с начальником отдела и разговаривать с отвратительным самому себе спокойствием.

Поэтому, когда в его кабинет вошли двое — Нечаев и Званцев, он облегченно подумал: ну, кажется, разговоры подтвердились. Значит, все-таки Званцев!

— Не помещаем? — спросил Званцев. — Впрочем, если человек сидит, с головой зарывшись в бумаги, ему как раз и надо помешать. Давайте знакомиться: Званцев.

Должно быть, что-то такое все-таки мелькнуло на лице Ильина, отчего Нечаев рассмеялся и сказал:

— Сергей Николаевич стоит поди и гадает, с кем это он знакомится: с секретарем райкома или директором завода?

— Ну, — улыбнулся Званцев, — тогда будем объяснять: с секретарем райкома и будущим директором завода. Впрочем, — уже серьезно добавил он, — вы же, наверно, не будете против, если я задам вам несколько вопросов как секретарь райкома?

— Конечно, — сказал Ильин. — Хотя в свою очередь у меня будут вопросы к вам как будущему директору.

Значит, в обкоме уже все решено о Званцеве, подумал он, теперь утрясают вопрос с министерством. Еще неделя-другая...

— Когда вы зальете ту отливку? — спросил Званцев, и Ильин ответил:

— Дня через четыре, когда будет готова форма.

К тому же ему пришлось перекроить график работ на двух печках так, чтобы были одновременно задействованы бригады Чиркина и Коптюгова. Другим он просто не доверит такой заказ.

— Коптюгов? — переспросил Званцев. — Помню. Высокий такой, кучерявый? На днях на бюро райкома утверждали ваше решение о его приеме в кандидаты. Мне бы хотелось присутствовать при заливке.

— Мы сообщим, — сказал Нечаев.

А Званцев, удобно устроившись у окна и не заглядывая ни в какие бумажки, уже задавал другие вопросы: как работают заместители по новой системе, как обстоят дела с планом оргработ по земледелке, когда думаете перевести участки на хозрасчет? И ничего не записывал, но, отвечая, Ильин был уверен, что каждый его ответ запомнится: ведь все эти вопросы, которые задавал ему Званцев, шли, если можно так сказать, от

* План организационных работ.

его же, Ильина, докладной записки! И сейчас Званцев словно бы проверял, что уже сделано и как сделано.

— Знаете что, Сергей Николаевич, — сказал он, когда все вопросы и ответы кончились, — если бы я сегодня был директором, я бы передал вам всю свою власть. Скажем, на полгода. Хватит вам времени? И никто ни во что здесь, в цехе, не будет вмешиваться. Вы — единоличный хозяин. Согласны?

— Нет, — сказал Ильин. — «Не вмешиваться» — это, конечно, приятно для любого начальника цеха, потому что все еще помнят, как Силин не доверял никому и стоял у каждого над душой.

— Да уж! — засмеялся Нечаев. — Когда-то у меня с Владимиром Владимировичем Силиным было крутое объяснение по этому поводу.

— Но кроме этого «не вмешиваться», кто-то должен и помогать, — закончил Ильин. — Иной раз добрых личных отношений с отделами бывает недостаточно.

— Мы будем вам помогать, — серьезно ответил Званцев. — Я скажу вам честно: для меня ваш цех будет на первом месте. Но, Сергей Николаевич, не обессудьте: если мы вдруг, не дай-то бог, хоть один разок сработаем враздрай, как говорят моряки... Впрочем, не будем пессимистами. Силин жал, это был его метод. Я буду требовать. Чему это вы улыбнулись?

Ильин действительно улыбнулся, вспомнив тот придуманный им «клуб интересных встреч».

— Принято! — сказал он. — А то, знаете, мне уже начало казаться, что мы скоро будем решать вопросы в родственных объятьях.

Это был его первый разговор со Званцевым, и, когда тот ушел, Ильин подумал: кажется, теперь все действительно будет проще. Не легче, нет, а проще. То нервное напряжение, которое он постоянно испытывал, став начальником цеха, начало спадать сразу же, и он мельком отметил это. От Званцева словно бы исходили какие-то волны ровного спокойствия, и пусть это лишь казалось Ильину, пусть это было только ощущением — он знал, что впереди еще будет достаточно всякой нервозности, — само по себе это ощущение было радостным.

Другое знакомство состоялось на следующий день, уже в цехе. Ильин не стал провожать туда Сережку и попросил сделать это Эрпанусьяна. Для Тиграна приход младшего Ильина в цех был неожиданностью, и, когда они вдвоем спускались по узенькой и крутой, как корабельный трап, внутренней лестнице, Эрпанусьян, то и дело оборачиваясь, спрашивал:

— Ты что, упал? Какого черта тебя понесло к нам? Ты вообще понимаешь, что такое работать у печи? А ты попросил бабку связать тебе люмбажник?

— Чего связать? — не понял Сергей.

— Через неделю ты схватишь радикалит! — крикнул Эрпанусьян. — По-научному — люмбаго. Нет, абсолютные балды — и ты, и твой милый папаша. Значит, институт побоку? Или хочешь что-то кому-то доказать?

Сергей шел и смеялся: Эрпанусьян сыпал вопросами и не хотел слышать никаких ответов. Нельзя было не любить шумного Эрпанусьяна; для Сергея он с детства был «дядя Тигр» (куда легче было называть его так, чем Тигран), и Сергей смутно помнил, как дядя Тигр жил с ними в одной комнате, а спал под столом — больше было негде. И как потом он, Сергей, закатывал скандалы и тоже рвался спать под столом, как под крышей. «Дядя Тигр мог, а мне нельзя?» Это было, когда Тигран получил свое жилье, уехал от них и в комнате стало пусто и скучно.

Эрпанусьян вел Сергея знакомить с бригадой. Еще накануне, проходя по цеху, Ильин свернул ко второй «десятке» и сказал Коптюгову, что завтра придет к нему новый подручный, он не стал скрывать (тут не скроешь!), что это его сын, но именно это обстоятельство заставляет его просить, чтоб не было никаких скидок. Учить по-настоящему, держаться построже, ну, а в случае каких-либо нарушений немедленно докладывать мастеру. «Он что, с завихрениями?» — спросил Коптюгов. «Нет, — ответил Ильин. — Но мало ли что...»

Нелепое положение! Нигде, ни в одном нашем ПТУ не готовят подручных и сталеваров для малой металлургии — для нас, например, энергомашиностроителей. А чермет своих не дает — самим не хватает. Вот и приходится растить их домашним способом, прямо в цехе. Выучить подручного еще куда ни шло. Со сталеварами же совсем худо, и, если, случается, заболевает и не выходит в свою смену один, приходится перекраивать графики, брать сталеваров с других печей, а то и рисковать — доверять плавку первому подручному. Так было зимой, когда по городу гулял грипп.

Конечно, о своем коротком разговоре с Коптюговым Ильин ничего не рассказал дома. Зачем? За Сергея он был спокоен, он слишком хорошо знал его, чтобы допустить хотя бы малейшее беспокойство, и эта просьба — даже требование! — держаться с ним построже была, в общем-то, всего лишь обязательной в таком случае фразой. Ильин заранее знал, что Сережка будет работать хорошо, как бы ни было ему трудно на первых порах, даже не столько физически, сколько нравственно. К печи, к плавке его подпустят не скоро. Он еще долго будет загружать шихтой корзину, взвешивать ее, подавать к печи, подметать мусор, бегать с пробами в экспресс-лабораторию, потому что до сих пор не налажена пневпочта, изготавливать из брусков скребки, которыми снимают остаточный шлак, но даже снимать этот шлак пока будет не он.

Ильин, сам прошедший через все это в свои студенческие

годы, быть может, где-то в глубине души сомневался в том, что так ли уж надо Сергею повторять его путь без особой, в сущности, надобности. Тогда, двадцать лет назад, Ильину просто-напросто были нужны деньги — на еду, на пальто, на более или менее приличный мосторговский костюмишко, книги, ботинки. У Сергея есть все. Но если он захотел *так*, значит, пусть будет так. И вот Эрпанусьян ведет его знакомиться с Коптюговым и наверняка спрашивает свое любимое: «Ты что, упал, да?»

Как-то Сергей понравится бригаде и бригада Сергею? Конечно, только об этом и будет разговоров на все ближайшие дни. Надежда, уже совсем отчаявшись что-либо изменить и смирившись с тем, что *ее* сын станет *третьим* подручным, звонила и спрашивала: «Там хоть люди-то ничего? Или с первой полочки накачают Сергея до поросячьего визга?» Пришлось весело отвечать: ребята вроде бы ничего, Коптюгов — один из лучших сталеваров, непьющий и держит свою бригаду крепко. Ильин не обманывал и не утешал жену. Стороной он узнал, что Будиловский печатается в областной газете, и сказал об этом жене, та даже обрадовалась: «Будиловский? Саша? Ну конечно, знаю! Он у нас часто бывает. Славный парень». — «Ну вот видишь?» — сказал Ильин. Что же касается Усвятцева, его он не знал совсем.

...Сейчас Сергей уже в цехе. Знакомится. Ильин поглядел на часы. Вторая даст плавку минут через двадцать, это хорошо, пусть Сергей посмотрит, что такое плавка...

Но там, на печи, было не до знакомства. Эти последние минуты перед выпуском плавки всегда напряженны. Коптюгов, который стоял у печи, лишь мельком взглянул на Сергея, кивнул и отвернулся, догадавшись, что этот парень, уже одетый в войлочную куртку и в каске, и есть его новый подручный. Усвятцева вообще не было у печи — он работал на шихтовом дворе, Будиловский же готовил желоб.

Эрпанусьян, крикнув, что скоро вернется, куда-то умчался, и Сергей остался один. Здорово хотелось курить, но он не знал, разрешается ли здесь курить, и терпел, хотя в самый раз надо было затянуться. Он волновался все-таки, потому что вот сейчас, вот здесь ему придется переступить какой-то незримый порог в своей судьбе, а что там, за порогом? Такие минуты всегда томительны, и волнение в таких случаях особо остро.

Лишь минут через двадцать, когда сталь была выпущена в ковш, Коптюгов подошел к Сергею и протянул ему руку.

— Новый кадр?

— Вроде бы.

— Надолго или так, по блажи?

— А я не из блажных.

Коптюгов глядел на него испытующе, этот взгляд был неприятен Сергею, но он продолжал спокойно улыбаться. Конечно, Коптюгову хочется сразу знать, кто я и что я, и за каким

лешим меня сорвало с института на завод, — это его право, знать.

— Срочную служил?

— Так точно.

— Где?

— Дальневосточный округ, десантник. Есть еще вопросы, командир?

— По обстановке, — сказал Коптюгов, и Сергей рассмеялся.

— Значит, ты тоже служил? — сказал он, даже не заметив этого «ты». Только в армии отвечают так: «По обстановке». Коптюгов понравился ему сразу, будто они были уже знакомы и просто давно не виделись друг с другом. Будиловский понравился меньше. Сергею показалось, что этот парень с тонким, красивым лицом работает здесь по случайности, ему не шли ни каска, ни куртка. Как в плохом кинофильме, когда рабочих играют холеные красавчики. Сергей еще верил в первые впечатления, ему даже казалось, что именно они и есть самые правильные.

— Идем, — сказал Коптюгов. — Химию-то еще помнишь?

— Аш два о? — сказал Сергей. — Натрий, калий, кислород — выделяют водород. Не волнуйся, помню. У меня в школе химия от зубов отскакивала.

— Шустрый, — покосился на него Коптюгов.

Зато Усвятцев, к которому подвел его Коптюгов, показался Сергею простым, как огурец. Приплясывая, он даже пропел: «Откуда ты, прелестное дитя?» — и, когда Сергей ответил, что в таком возрасте пора знать, откуда берутся прелестные дети, хлопнул его по плечу.

— Ну, шутник, ну, Райкин, ну, дает! Такого я за неделю всей науке выучу!

Уже потом, много месяцев спустя, Сергей будет с улыбкой вспоминать, какой оказалась его первая работа. Когда Усвятцев сунул ему в руки здоровенную дворницкую метлу и сказал, что надо прибрать возле печи, он подумал, что это обыкновенный розыгрыш, какими всегда встречали — и он в том числе — новичков в армии.

— А водичкой побрызгать? — усмехнулся он.

— Нельзя, — сказал Усвятцев. — Скользко будет. У нас посухому положено.

Настоящая, если только можно было назвать ее настоящей, работа пришла часа через два с половиной. Будиловский взял первую пробу и крикнул:

— Ильин, гащи *скрапину*.

— Что? — не понял Сергей и огляделся, словно пытаясь найти эту самую скрапину, которую он должен тащить.

Оказалось, надо было положить на ладонь почти невесомые серые чешуйки металла и отнести их в экспресс-лабораторию, на второй этаж. Он уже знал, где находится лаборатория, по пути сюда видел табличку с надписью.

Эту скрапину он нес, как блюдо с хрусталем, боясь споткнуться на узенькой и крутой лестнице. Толкнул дверь, прошел по коридору и оказался в большой комнате, похожей на кабинет химии: колбы, реторты, бутылки с какими-то жидкостями, приборы со стрелками, полки, заставленные маленькими металлическими пирамидками — черт ногу сломит! И две девочки жуют бутерброды за одним таким столиком, запивая молоком прямо из горлышка бутылки.

— Со второй? — спросила одна через бутерброд.

— Да. Вы не спешите, я подожду.

Они так и фыркнули. Он подождет! Вежливый! А плавка тоже подождет?

Одна из девушек поднялась и кивнула ему. Он подошел, девушка ссытала скрапину в маленькую ванночку и сунула в какой-то прибор. Сергей смотрел и, конечно, ничего не понимал.

— Это у вас что? — спросил он.

— АН-двадцать девять, — сказала девушка.

— Все понял, — сказал Сергей.

— А это «Марс», — показала девушка. — Печь для сжигания.

— Марс — бог войны, — сказал Сергей. Он заметил, как на счетчике замелькали цифры и замерли наконец. — Ноль тридцать пять, — снова сказал Сергей. — Это хорошо или плохо?

— По углероду норма, — ответила девушка, обернувшись, и Сергей увидел совсем рядом ее худенькое, большеглазое лицо. — Чего же вы стоите, бог войны? Новенький?

— Совсем новенький, — с шутилой грустью сказал Сергей. — Какой уж там бог! Птенец, можно сказать. Так что передать начальству?

Теперь обе девочки так и покатались от смеха. Другая, которая оставалась там, за столом, нагнулась и, все еще смеясь, сказала в микрофон: «Вторая, углерод в норме», — и Сергей сам рассмеялся, разведя руками.

— Против техники я бессилён! Допивайте свое молочко, девочки.

Он еще раз поглядел на одну из них, ту, худенькую, уже внимательнее: что-то поразило его в ней, но он не смог бы ответить, что именно. И когда сзади раздался женский голос, назвавший его по имени, он не сразу догадался, что это окликнули его.

— Сережа?

Он обернулся.

— Тетя Оля?

Она подошла и поцеловала Сергея в щеку, смеясь, — ну, вот так встреча, я даже себе не поверила, когда увидела тебя здесь и в этой рубе! Значит, все-таки настоял на своем?

— Да вот... — сказал Сергей, разглядывая ее. Он давно не видел ее, в последний раз она приходила к ним, кажется, еще в январе, к отцу на день рождения.

— Господи! — сказала Ольга. — Только подумать, что ког-

да-то играла с тобой в футбол! Ты, конечно, не помнишь?

— Не помню, — признался Сергей.

Он забыл, что тетя Оля, та самая тетя Оля, которая приходила когда-то и на его дни рождения и приносила подарки на Новый год, а потом надолго исчезла куда-то, что тетя Оля работает здесь же на заводе. Он почти ничего не знал о ней. Кажется, она росла вместе с отцом в детском доме, вот, пожалуй, и все, что Сергей мог бы сказать о ней, если б его спросили.

Нет, не все.

Лет десять назад — он не помнил точно, когда это было, — Сергей играл с ребятами во дворе, спохватился, что уже поздно, побежал домой, открыл своим ключом дверь и услышал раздраженный голос матери: «Да тебе-то что до нее? Подумаешь, друг детства! Может, у тебя с ней потом что-нибудь было, тогда другое дело...» Мать услышала, что Сергей вернулся, и замолчала. Скоро пришла она, тетя Оля, целовала его и ахала: «Как ты вырос! Совсем настоящий мужчина!» — но тут же настоящего мужчину отослали спать, и из-за закрытой двери доносились лишь звуки голосов, слов он не мог разобрать. Но в его сознании как-то сразу связалось и то, что он услышал, вернувшись со двора, и этот приход тети Оли. И сейчас, когда она сказала, что когда-то играла с ним в футбол, он не мог вспомнить это, но поверил, что так оно и было.

— Ну, ты иди, Сереженька, — спохватилась Ольга. — Потом успеем поговорить.

Сергей опять поглядел на ту, худенькую. Она уже была занята делом и что-то записывала в толстую бухгалтерскую книгу. В этот день он больше не увидел ее, хотя трижды носил пробы в экспресс-лабораторию. Там уже работала другая смена.

В этот день он, пожалуй, впервые испытал настоящее чувство *сделанного*. В той плавке, которую бригада дала к концу смены, все-таки оказалась какая-то доля и его труда. Остаток смены он проработал в «гастрономе» — так здесь называли шихтовой двор, быть может, потому, что на гигантских весах взвешивалась корзина с искореженными кусками металла, ржавыми погнутыми рельсами, старыми болванками, железными листами... Они успели загрузить печь минут за пятнадцать до прихода второй смены, и Усвятцев спросил Коптюгова:

— В ресторан сегодня уже не пойдем?

— Да нет, пожалуй, — ответил тот. — Поужинаю дома.

Сергей вмешался в разговор. Конечно, пойдем! Все вместе и двинем. Надо же, что ни говори, отметить день рождения рабочего человека! Коптюгов, усмехнувшись, кивнул на маленькую железную дверцу под лестницей. Раньше Сергей ее не заметил. Он подошел ближе. На дверце цветными мелкими витиеватыми буквами было написано: «Рѣсторанъ «Волна». Филналь. Обѣды, завтраки и ужины домашняго изготовления». Пониже, тоже мелкими, были нарисованы цыпленок с растопы-

ренными лапками и бутылка с этикеткой «Napoleon». Этикетка была настоящая...

— Завтра приноси свою еду, — сказал Коптюгов. — У нас ведь обеденного перерыва нет. А насчет ресторана, — поморщился он, — знаешь, от твоего предложения не рабочим, а купчиком пахнет.

...И все-таки это был чудесный день! Хорошо было вымыться в душе, выйти на заводской двор, раскрыть в проходной перед вахтершей свой пропуск и уже на улице, закурив, подумать — куда же теперь? Дома никого нет, отец вернется поздно. Сергей решил не подниматься к нему в кабинет. Вообще никогда не подниматься. Подручному нечего делать в кабинете начальника цеха. Стало быть, лучше всего забежать домой, оставить записку и укатить на дачный участок. Правда, завтра придется встать ни свет ни заря и ехать первой битком набитой электричкой.

Так он и сделал. Записка была короткой: «Крещение состоялось. Твой Коптюгов — железный человек. Будилковский — интеллигент, которого хорошо показывать иностранным гостям. Усвятцев — рубаха. Я у своих, дышу озоном. А вообще — спасибо!»

Обычно на участок все они ездили в первом вагоне — потом было ближе идти, но на этот раз Сергей сел во второй. Если бы он вошел в первый, то увидел бы отца. Ильин сидел в самом углу, устало приложив голову к оконной раме, но не дремал, а просто пытался расслабиться и ни о чем не думать. Сегодня у него был легкий день, такие выдавались не часто. Декадно у главного — очевидно, уже последняя, которую вел Заостровцев, и поэтому неожиданно короткая, — потом тоже короткий разговор с начальником смены по суточному заданию, и вот тогда оно и пришло, неожиданное решение уехать на дачу. Он не был там почти месяц и бог знает сколько времени не видел жену. Так нельзя, надо поехать, да еще захватить в «Лакомке» торт побольше. Ему повезло: сразу же у завода он поймал такси, заехал в «Лакомку» за тортом и на той же машине — на вокзал. Сережке надо будет позвонить позже, если только он сам не прикатит на дачу. Вообще-то надо было бы договориться и поехать вместе. Но раз уж так получилось...

Сейчас он думал о Сережке и о том, что на даче будет холодно: холодная встреча, холодные слова, и все потому, что они трое, то есть жена, теща и тесть, обвиняют его, Ильина, в этом непонятном Сережкином шаге. Тесть — военный, он вырос в том мире, где нельзя переступить размеренную, расчерченную, определенную воинским уставом жизнь, и это осталось в нем уже до конца. Решение Сергея, внешне лишенное всякой логики, смысла, даже необходимости, непонятно ему.

Теща, которая всю свою жизнь прожила среди военных, невольно восприняла тот же взгляд на *порядок жизни*. А вот у Надежды другое. Для нее это чуть ли не катастрофа. Ильин точно знал, точно чувствовал ее состояние. Ей хотелось одного — чтобы Сергей *взлетел*. Чтобы он поднялся над тем средним уровнем обыкновенных служащих, к которому принадлежала она сама. Сколько раз, возвращаясь домой, она рассказывала, что сегодня ей диктовал свою статью известный ученый или она разговаривала с директором НИИ, и надо было слышать, как он разговаривал, этот член-корреспондент Академии наук! Она действительно встречала в редакции многих известных людей — писателей и артистов, ученых и врачей, партийных работников и даже познакомилась с одним космонавтом — работа в редакции давала ей такую легкую возможность. И с годами, со временем, в ней выработалась определенная тяга именно к этим людям, среди которых она не видела мужа, но хотела бы увидеть сына. Ильин понимал, что это было чисто материнским желанием, которое нельзя осуждать, — и он не осуждал! — но вряд ли можно было доказать Надежде, что не все становятся космонавтами и директорами НИИ, лауреатами и профессорами, и Сережка в данном случае, может быть, не исключение. Просто нормальный парень с нормальным взглядом на жизнь, не испорченный современной модой — даже враждебный ей (эта стрижка чуть ли не наголо хотя бы!), не ерник, не бабник, он, кажется, даже и не влюблялся-то ни разу по-настоящему! К ним в дом часто приходили студенты и студентки, и, честно говоря, за столом Ильин приглядывался к этим студенткам с особым пристрастием, стараясь догадаться, которая же из них его, Сережкина. Но он был одинаков со всеми. Не умеет играть, не умеет скрывать свои чувства, он до сих пор, в свои двадцать два, как на ладошке. Иначе я давно бы знал про его сердечные дела. Нет у него никаких сердечных дел! Говорят, наш век — век затянувшейся инфантильности. Нет, Сережка вовсе не инфантилен. Просто он словно бы копил в себе до поры до времени нравственные и физические силы, и весь вопрос в том, как использует их потом.

Все, что касалось Сережки, Ильин помнил до мелочей, и у него никогда, ни разу не было не только мысли, но даже короткого ощущения: это ведь не мой! Это был его сын, и, пожалуй, с годами он становился Ильину и ближе и дороже, потому что чем больше мы вкладываем в детей, тем больше любим их. И вот сейчас, прислонившись головой к оконной раме, Ильин думал прежде всего о том, что дал ему сам.

Дети подражают взрослым? Да. Как-то они гуляли втроем — Надежда, пятилетний Сережка и Ильин. Была осень, на каждом углу продавали цветы, и Ильин купил Надежде огромный букет садовых ромашек. Прошла зима. Первого мая жена гуляла с Сережкой и встретила знакомую. Заговорились,

Серезка куда-то исчез, но Надежда не волновалась: наверно, побежал за мороженым, она еще утром дала ему на мороженое. Он появился с букетиком подснежников и протянул матери. Знакомая, конечно, поахала, — вот это воспитание! — и Серезка убежал снова. «На этот раз за мороженым, — сказала, улыбаясь знакомой, Надежда. — У него еще осталось на одну порцию». Но мальчишка принес еще один букетик — для маминей знакомой.

Мелочь, конечно, а Ильин помнил ее.

И другую историю тоже помнил: он колот дрова, и отскочившая щепка сильно разодрала ему щеку. Надежда испугалась, у нее дрожали руки, когда она промывала рану марганцовкой: «Очень больно? Господи, да как же ты так?» А Ильин обнимал ее и смеялся. Совсем не больно. Подумаешь, тяжелое ранение! А на следующий же день Серезка свалился с велосипеда и пришел домой перемазанный кровью. Хорошо, дома был только Ильин, иначе мать вообще хлопнулась бы в обморок. «Больно?» — спросил он. И вот тогда Серезка засмеялся! Он смеялся через силу, через слезы, через боль, но смеялся все-таки! Плакал он ночью, уткнувшись в подушку, когда ему казалось, что никто в соседней комнате не слышит. Надежда услышала и рванулась, Ильин остановил ее. Не надо. Пусть поплачет и уснет. «Ты слишком жесток к нему, — сказала Надежда. — У нас недавно была статья, там было написано, что детей обязательно надо ласкать. Но ты же не читаешь таких статей! Ты сам великий педагог». — «Знаешь, — сказал Ильин, — меня никогда не ласкали, но, кажется, от этого я не вырос очень плохим человеком. Единственный человек, который дал мне ласку, — это ты». Надежда вспыхнула, отвернулась и тихо сказала: «Извини. Я знаю, что ты любишь его. Но ведь я — мать...»

Те стремительность и упорство, с которыми Сергей сделал сейчас свой выбор, конечно, тяжелы им, жене и старикам. В технологический институт, на вечернее отделение, Сергей поступит лишь в будущем году. Когда он кончит его, парню будет уже двадцать восемь. Поздно? Мне было двадцать три. Но разве это меняет что-нибудь в его человечности?

Электричка подошла к платформе, Ильин вышел, закуривая на ходу, неловко держа спички рукой, в которой был торт. Кто-то сказал сзади хриплым, пропитым голосом:

— Папаша, разрешите прикурить, все прогулял, даже на спички не осталось.

Он обернулся — Серезка! Стоит и любуется впечатлением, нахал!

Торт у отца он отобрал.

— Это ты здорово придумал, с тортом. Мне и в голову не пришло. Предположим, что его купил я.

— Предположим, — хмыкнул Ильин, — с одним условием: из первой полочки три сорок пять отдашь мне.

— Решил спекульнуть, батя? Тортишко-то поди дешевле будет?

— Это ты узнаешь, когда в твою голову все-таки придет мысль купить торг самому.

Вот опять этот шутливый, даже чуть насмешливый тон, который они любили оба. Они шли по дороге, уже посыпанной первыми осенними листьями. В субботу надо будет смотаться за грибами, подумал Ильин. Он ни о чем не спрашивал Сергея — все вопросы будут там, дома. Хорошо, что они придут вместе. Должно быть, Сергей понял, почему вдруг замолчал отец.

— Я оставил тебе записку, — сказал он. — Я ж не знал, что тебя тоже понесет сюда.

— Завтра прочитаем, — ответил Ильин.

— Ладно уж, батя, — чуть нахмурившись, сказал Сергей. — Я написал тебе «спасибо».

Они подходили к дому.

— А знаешь, кого я сегодня встретил? Тетю Олю. Почему она редко бывает у нас? Вы же, кажется, друзья детства?

— А ты часто встречаешься с друзьями детства? — спросил Ильин.

Он не смотрел на Сергея, но каким-то боковым зрением заметил на себе его испытующий взгляд. И то, что Сергей первый оборвал такой привычный шутливый разговор, было тоже не просто так. Но ему уже некогда было подумать, что же кроется за этим вопросом, — теща семенила к калитке, вытирая руки о передник. «Я же говорила, что они приедут!» — и Надежда высунулась в окно, и тесть пошагал к колодцу, где — Ильин это знал — в опущенном ведре стоял на холодке бидончик пива.

В крохотном домике, было тесно для пятерых, и Ильин, захватив с собой будильник, пошел спать в сараюшку, где хранились лопаты, мешки с удобрениями, обрезки досок и где пахло сыростью. Раскладушка помещалась там еле-еле. Ночи стояли уже холодные, и Ильин взял драный военный полушубок тещы. Ему казалось, стоит только лечь — и сразу будет сон, но сон не шел. Ильин лежал, прислушиваясь к ночным звукам: где-то далеко залаяла собака, ей откликнулась другая... Прощумела одна из последних электричек... Резкий скрип заставил его вздрогнуть от неожиданности, но это скрипели две выросшие рядом сосны, и стоило набежать ветру, как они начинали тереться друг о друга. Но он слышал и другие, слабые звуки — там, за тонкими стенками сараюшки, шла невидимая жизнь, раздавались какие-то шорохи, попискивания, легкие вскрики, должно быть птичьи. Он слушал эти звуки и неотвязно думал о том, почему его так поразил вопрос Сергея об Ольге.

Может быть, ничего за этим вопросом и не было, и то, что

за ним крылась какая-то многозначительность, недоговоренность, — только показалось Ильину? Сегодня он думал об Ольге, жалея, что ее не было здесь в этот день. Много лет назад, когда Ольга появилась в Большом городе, разбитая, опустошенная, уже решившая, что жизнь кончилась и началось доживание, и он помог ей — у жены это вызвало приступ ревности. Он знал, чувствовал, что Надежда и раньше ревновала его к Ольге, и как была счастлива, когда Ольга вышла замуж!

«...А ведь Ольга любила меня, — вдруг подумал Ильин. — Это я знаю. Как она плакала, когда я сказал, что еду в Москву учиться!»

Нет, никаких признаний не было. На вокзале Ольга уже не плакала. Только тогда, когда началась посадка, она сказала: «Если будет плохо, я приеду?» — «Конечно. Но почему мне должно быть плохо?» — «Не знаю, — ответила она. — Мне кажется, тебе будет плохо без меня.»

Ольга...

Он получал от нее посылки — мед, варенье, даже папиросы, будто в Москве не было папирос. Спрашивала в письмах, как у него с деньгами, она может помочь, у нее хороший заработок. Виделись они редко, летом, когда кончалась сессия и Ильин нанимался на завод подручным. Она ждала его. Она боялась за него. Когда они встречались и шли куда-нибудь, она вдруг как бы ненароком спрашивала: «Ну, а что же ты ничего не говоришь о своей москвичке?» Он сердился: у него не было никакой «своей москвички», и видел, что Ольга улыбается — это была счастливая улыбка! Смешно!

А потом он испугался. Вовсе не смешно, а страшно, если она на самом деле любит его — ведь он-то не может ответить ей тем же...

И все-таки один разговор был. Ильин приехал не то после третьего, не то после четвертого курса, и в один из выходных они поехали за город. Ильин лежал в траве; внизу, под откосом, чуть слышно текла река, оглушительно трещали кузнечики. Ольга ушла купаться, он отказался. Она появилась перед ним в простеньком купальнике и села рядом, наклонив голову и выжимая мокрые волосы. Он чувствовал близость ее холодного от купания тела, невольно скользнул глазами по длинным ногам Ольги и отвернулся. Его начало знобить. Вдруг Ольга нагнулась над ним, и несколько капель упало на его лицо. «Ильин, — сказала Ольга, — ты вспоминаешь меня в Москве?» — «Конечно», — ответил он. «Я думаю о тебе каждый день». — «Ну, — усмехнулся он, — нашла себе заботу!» Она отстранилась от него и села, охватив руками голые ноги. «Как все это... странно, если бы ты знал!» — «Что странно?» — «Что я думаю о тебе. Мы ведь с тобой совсем одни — ты и я. Знаешь, когда я была совсем маленькая... там, на барже... я мечтала, чтоб мы жили вчетвером: ты, я, отец и собака». —

«Не надо, Оля, — попросил Ильин. — Все это уже очень далеко». — «И ничего не осталось?» — «Осталось, конечно, — сказал Ильин. — То, что мы сейчас здесь, видим, слышим...»

Надо было как-то кончать этот разговор. Озноб не проходил. Ильин почувствовал: еще секунда, и он не выдержит. Не выдержит близости этой девушки, и тогда все будет совсем худо. Он встал и начал надевать рубашку. «Пойдем, — сказал он, — уже пора». Должно быть, Ольга поняла тогда, почему он поднялся и сказал «пора»...

А зимой он получил письмо, Ольга писала: «...я счастлива. Если б ты знал, как я счастлива! Порадуйся за меня...» Он обрадовался, и это была искренняя радость. Все, что произошло тогда с Ольгой, он узнал позже, встретив ее снова, совсем не похожую на ту девушку, которую помнил с детства...

11

...Приближался Новый год, и девчонки решили устроить в общежитии пир горой. Собрали деньги — с парней из мужского общежития побольше (вино!), с девчонок — поменьше. Все рассчитали до копейки, и вышло если не пир горой, то уж, во всяком случае, совсем неплохо. У кого-то нашлась знакомая в райпищеторге, которая (конечно, не за красивые глазки) обещала достать то, чего в магазинах не бывает, кто-то взялся спечь пироги, да не какие-нибудь с мясом или капустой, а с грибами и рыбники, чтоб до отвала на всю честную компанию, кто-то предложил съездить в Горелово и купить поросенка. Три часа туда и обратно, да там часа два — подумаешь! Постановили: послать троих, тянуть жребий. Ольга вызвалась поехать сама.

Утро, когда она с двумя девчонками пришла на вокзал, было холодным и мозглым. Они озябли, пока ехали в трамвае. И как хорошо было очутиться в пустом, жарко натопленном вагоне пригородного поезда, будто кто-то добрый заранее знал, что прибегут три таких эскимо на палочках с покрасневшими носиками и коленками. Девчонки, опередив Ольгу, сели возле окошка, за которым еще стояла густая темень, ежились, постукивали по полу ногами в ботиках — вот дурехи, в такую погоду и в ботиках! Ольга одолжила у комендантши валенки, и плевать ей на красоту. Главное, чтобы ноги были в тепле.

«Ну, мешочницы, — сказала одна из подружек, — давайте помолимся, чтоб никто к нам не сел. Я тогда завалюсь и покемарю до самого Горелова».

«Не выспалась! — усмехнулась другая. — Меньше со своим Санечкой гуляй. Он тебя хоть в кино-то водит?»

«Он меня по улицам водит и про достопримечательности рассказывает. Вчера в Сад отдыха затащил, и все про статуи, все про статуи... Итальянское Возрождение! А я ему: «Саня,

говорю, ты когда академиком будешь?» — «Не знаю, говорит. А что?» — «А то, говорю, я тебе тогда носки штопать буду, а ты мне про Возрождение. А сейчас я целоваться хочу».

«Целовались?»

«Он не умеет. Ткнется губами и стоит, как та статуя».

«Научила бы».

«Да? Я научу, а он скажет — ты откуда знаешь? Опытная?»

«Нужно тебе оно, — махнула рукой вторая. — Возрождение! Академик! У нас ребята по две с лишним тысячи заколачивают — голыми руками любого бери».

«Чего ж ты-то не берешь?»

«А мне б чего полепее, с выбором».

Ольга слушала этот разговор, не вмешиваясь. Ничего нового в нем для нее не было, обычный разговор, такие в женском общепитии слышишь по десять раз на день: кто с кем дружит, кто за кого замуж собирается, кто просто так, кто по выгоде, а кто по любви, кто кого бросил, кто с кем познакомился... Она тоже подумала, что хорошо бы, если в вагоне будет малолюдно, и впрямь можно поспать часок, но тут же, словно нарочно сбивая ее мысль, раздался грохот, команда: «Заходи!» — и ей показалось, что в дверь хлынула человеческая лавина.

Это были курсанты танкового училища — все без шинелей, с лыжами — вот бедняги, выходной день, а их гонят бегать на лыжах по такой погоде! Но не очень-то они походили на бедняг. Первые, увидев девушек, мгновенно оказались рядом. «Разрешите?» — «Свободных мест много». — «А здесь теплее». — «В ресторане еще теплее, если сто пятьдесят заказать». Это вторая, которая побойчей, сказала насчет ресторана. «Приглашаем». — «А вам не позволено». — «Через год, после выпуска». — «Ну, до этого еще сто раз замерзнуть можно».

Все-таки они сели рядом — трое, еще человек десять или двенадцать — на соседних скамейках, словно бы взяли девушек в плотное кольцо, остро пахнущее казармой и сапожной ваксой. Среди них тоже были куда какие бойкие на язык. «Давайте, девушки, ваши анкетные данные. Прежде всего, холостые или замужние?» — «У меня, между прочим, уже двое детей. — Это снова вторая подружка, которая с выбором. — Что, задумались?» — «Обожаю детишек». — «Особенно девочек от двадцати и выше», — добавил кто-то из курсантов.

Ольга видела: они разглядывают их не стесняясь, в упор, с той жадностью, которая, должно быть, свойственна всем мужчинам, строгой военной судьбой оторванным от каждодневных встреч с женщинами. Шутливый тон лишь прикрывал эту жадность. Здоровые, крепкие, они были счастливы тем, что едут с девушками, и уже одно это настраивало их на особый, не лишенный игривости лад — вон и двусмысленные шуточки пошли в ход! «Так как же насчет данных?» — «У нее, — вторая

подружка ткнула в сторону Ольги, — талия, например, как у Дины Дурбин. Смотрели «Сестру его дворецкого»? Что еще?» — «А как по имени-отчеству?» — «И еще ключи, да? От квартиры, где на рояле деньги лежат?» — «Ключи потом».

Все-таки они называли себя: Элида (которая побойчей), Галя. Ольга... Курсанты тянули им руки, называли себя, но Ольга тут же забывала, как кого зовут. Ей запомнились лишь двое: Энерг — потому что она такого имени отродясь не слыхивала, и Дмитрий — быть может, потому, что у этого Дмитрия были потрескавшиеся, в садинах губы. Очевидно, от простуды. Как же его тоже могли потащить на эту лыжную прогулку?

Очень скоро в этот бойкий разговор вступила и Галя, а Ольга лишь улыбалась шуточкам. «А кто ж счастливый отец ваших детей?» — «Про папу только мама знает». — «Ого!» — «Не огорчайтесь, мальчики, про детей я придумала. Все в будущем. А вы и поверили?» — «Мы люди доверчивые». — «Ну, Элидка, — сказала Галя, — смотри, какой тебе выбор. Целая рота, наверно. Не тушуйся». — «Не люблю военных, — жеманно сказала Элида. — Они очень много писем пишут. А потом, что за жизнь с военным? Нынче здесь — завтра там». — «А вы о ком мечтаете?» — «Я? О главном инженере. А она вот — об академике из итальянского Возрождения». — «Фью-ить! Значит, лейтенанты нынче не в чести?»

И вдруг Ольга заметила, что все столпившиеся вокруг них разговаривают только с Элидой и Галей, а ее здесь словно бы и нет, и, уйдя она в соседний вагон, никто не обратит на это никакого внимания. Она не огорчилась, так бывало частенько, особенно на танцах, когда ее приглашали чуть ли не последней, когда уже больше некого было приглашать.

Неожиданно она перехватила взгляд одного курсанта — это был Дмитрий, тот самый, с обсыпанными простудой губами, и она смущенно отвернулась. Дмитрий, как и она, не принимал участия в разговоре, и Ольга подумала, что они оба оказались здесь случайно и оба ненужны. К тому же, он болен. Она посмотрела на Дмитрия еще раз, и теперь уже не выдержал он, тоже смутился и покраснел, будто его поймали на чем-то нехорошем.

Но теперь Ольга не слушала, о чем говорят с девчонками курсанты. Этот неожиданный обмен взглядами и это смущение — и ее, и его — оказались настолько тревожными, что Ольге пришлось силой умерить свое волнение. Господи, до чего глупая! Парень посмотрел, а у тебя уже сердчишко как зац... Она усмехнулась: представляю, что он разглядывал, — сидит этакая кулема в валенках и стареньком платке на голове, и нос лопаточкой, еще красный с мороза. Так о чем они говорят сейчас, девчонки?

«...Это раньше люди умели красиво любить, а теперь что?»

Раньше девушкам цветы носили, а нынче говорят: «Поставишь пол-литра — приду». — «Ерунда! — вдруг сказал Дмитрий, и все повернулись к нему. Он быстро поглядел на Ольгу, будто обращаясь только к ней. — И раньше, и теперь люди есть всякие». — «И Ромео есть?» — ехидно спросила Элидка. «Есть, — упрямо, даже, пожалуй, с какой-то злостью подтвердил Дмитрий. — Если хотите — Джульетт маловато». — «Ух ты! — сказала Галя. — Это вы серьезно или просто так, мозги нам припудрить?» — «Он у нас вообще самый серьезный, — сказал кто-то из курсантов. — Мы — в увольнительную, на танцы или еще куда-нибудь, а он сидит матчасть изучает в добровольном порядке».

Курсанты засмеялись. Должно быть, с Дмитрием была связана какая-то смешная история, о которой они пока не хотели рассказывать девушкам. Теперь Ольга поглядела на Дмитрия уже с любопытством. Эта его вспышка понравилась ей. Но Дмитрий уже словно бы замкнулся в себе, сидел и трогал тонкими пальцами потрескавшиеся губы.

«Не трогайте, — сказала Ольга. — Вам бы хорошо их борным вазелином смазать». — «Лыжная мазь не подойдет?» — усмехнулся он, и ухмылка была недоброй.

Наверно, он и меня считает такой же, как Элидка, подумала Ольга. И тут же Элида, слишком громко засмеявшись и слишком нарочно открывая свои красивые зубы, сказала: «Не целуйтесь на морозе, молодой человек». — «А вы, оказывается, знающая», — отозвался он. И все. Больше он не вступал в разговор и даже сидел отвернувшись.

Все-таки Элидка рассказала курсантам, где они работают. Ольга — крановщица, Галя и она — в ОТК.

«Так что промахнулись, мальчики. Вам ведь нельзя жениться, ежели у девушки десятилетки нет? Так что потерпите годика два-три. А мы уж поднажмем на науку без отрыва от производства. Счастливо кататься!»

Курсанты вышли так же, грохочущей лавиной, как и вошли. Через оконное стекло было видно, как они строились на платформе. Кто-то помахал рукой, поезд тронулся, и оказалось, что в вагоне по-прежнему пусто, только запах остался — казармы и сапожной ваксы.

«Тоже мне женихи! — ухмыльнулась Элидка. — Смотрю на них, а они, как китайцы, — все на одно лицо. А уж выкомаривались-то как, а? Особенно этот, прыщавый. Джульетт ему маловато! А я, между прочим, думаю — еще неизвестно, что было бы, если б она за Ромео замуж вышла. Щи вари, пеленки стирай, в комнатах прибирай...»

«Ну и дура же ты, — сказала Ольга. — Трудно тебе будет жить, если не поумнееешь».

«Не дурнее тебя, — резко ответила Элида. Ее лицо изменилось сразу: глаза сузились, остренький носик стал еще острее, и вся она стала похожа на маленького, злого, готового укусить

зверька. — Ты же бесишься, что они на тебя — ноль внимания. Ну и бесись в платочек, а на меня не бросайся, я своим умом проживу...»

Ольга вздохнула и закрыла глаза.

Самым удивительным, невероятным, непостижимым было то, что неделю спустя тот самый курсант, Дмитрий, нашел ее! Когда Ольга вышла из проходной, она не обратила внимания на солдата, стоявшего возле газетного киоска. Здесь часто стояли, ожидая идущих со смены девушек, но она-то никак не могла даже предположить, что сегодня ждали ее.

«Оля!»

Она не остановилась, не обернулась, потому что не она одна Оля, и когда кто-то сзади взял ее под руку, инстинктивно попыталась вырвать руку.

«Здравствуйте, Оля!»

«Вы?»

И опять это смущение — его и ее, и опять сердце прыгает, и до чего же глупо стоять вот так, друг против друга, и краснеть. Она справилась со своим смущением первой.

«Как вы меня нашли?»

«Очень просто, — сказал Дмитрий. — Стоял и смотрел».

Конечно, ее вопрос был нелепым, от растерянности. Зато второй она задала уже спокойно, глядя на курсанта в упор, будто ей доставляло удовольствие видеть его смущение.

«А зачем?»

«Ну, это долго объяснять, — пробормотал он. — Можно вас проводить немного?»

«Пожалуйста».

Они долго шли молча.

«Знаете, Оля, мне показалось, что я вас обидел. Там, в поезде. Ну, когда вы сказали насчет вазелина, а я брякнул про эту лыжную мазь... И потом...»

Он не договорил. Ольга засмеялась:

«...И потом вы подумали, что я такая же, как Элида? Точно?»

«Да».

Он тоже улыбнулся, и улыбка была благодарной. Ольга словно освободила его от необходимости трудного объяснения. Да, подумал. А он не любит таких... Ну, как бы это сказать, пустьшек, что ли, да еще бравирующих своей легкомысленностью.

«Что-то вы чересчур строги, — сказала Ольга. — Будто бы ваши товарищи — идеальные люди. Начнем с того, что не мы подсели к вам, а вы к нам. И сразу знакомиться! А если б кого-нибудь девчонки хоть чуть-чуть поманили пальчиком — пошли бы, как бычки на веревочке. Разве не правда?»

«Правда».

«Ну, вот видите!..»

Опять они шли молча. Время от времени Дмитрий подтягивался и козырял проходящим офицерам. Это у него получалось четко, пожалуй даже чуть шеголевато.

«А губы у вас совсем прошли», — сказала Ольга.

«Борный вазелин, — ответил Дмитрий. — Но вы не сказали, что принимаете мои извинения».

«Какие извинения? — удивилась Ольга. — А, вы все о том же!.. Так ведь я не обиделась, честное слово. Даже когда все ушли, поцапалась из-за вас с Элидой. Все-таки вы ее здорово заделали. Вот здесь я живу».

Они остановились у входа в общежитие. Возле дверей была привинчена доска с надписью: «Компрессорный завод. Общежитие девушек». Снизу углем на белой стене кто-то приписал: «Хорошеньких».

«Дальше нельзя», — сказала Ольга.

«Может, мы еще погуляем немного? — пробормотал Дмитрий. — Если, конечно, вы не устали. А у меня увольнительная до двадцати трех».

«Погуляем, — улыбнулась Ольга. — Я только переоденусь. А вы не замерзнете здесь?»

Она уже не дожидалась ответа. Конечно, не замерзнет! Он здесь хоть до своих двадцати трех может простоять! Бегом, бегом наверх, девчонок еще нет. Рывком открыть шкаф, схватить с вешалки новое, купленное к Новому году шерстяное платье с широкими плечами, как у Дины Дурбин (ох уж эта Дина Дурбин!). Распустить волосы. Завиться уже нет времени — ладно, бог с ней сегодня, с завивкой! У девчонок была губная помада. Она мазнула по губе и потеряла верхнюю о нижнюю, как это делали они, вроде бы получилось ровно, и сразу лицо стало чуть другим. Ресницы... У нее были светлые, почти белесые, короткие и редкие реснички, мазать их — пустое дело. Девчонки красят свои ресницы урзолом, а потом бегут к ножнику... Новый платок на голову... «Замерзну в туфлях...» И все-таки к черту эти ботики! Господи, петля на чулке спустилась, — плевать, не видно, потом подниму. Она металась, разбрасывая вещи, а ведь сама посмеивалась над девчонками, когда они метались точно так же. Где духи? Раз, раз — пальцем по лицу и по шее, — кажется, теперь все, теперь можно бежать обратно, на улицу.

Девчонки идут по коридору навстречу.

«Ты куда?»

«Потом!..»

«Скорее, Ольга! — доносится уже вслед вместе со смехом. — А то статуя неизвестного курсанта совсем закоченела!..»

«Не тушуйся, Ольга!»

Но никто не крикнул вдогонку: «Будь счастлива, Ольга!..»

Она была счастлива.

Все, что таилось в ней, — мечта, бесплодное и томительное ожидание, предчувствия, — все, что металось в ней, не находя выхода, вырвалось наконец! Она боялась поверить в приход счастья, будто бы это могло спугнуть его. Жданное, оно все-таки оказалось чересчур неожиданным и лучше того, каким представлялось ей прежде.

Все, что теперь происходило вокруг нее, она замечала с трудом. Казалось, она жила только тем, что взорвалось в ней — тем странным, трепетным чувством, которое заполняло ее всю. Никогда ничего подобного она не испытывала к Ильину. Он был для нее просто привычным, пришедшим оттуда, из детства, и, как ей казалось, навсегда. «Я тебя люблю, — сказала она. — Я очень люблю тебя». Она сказала это первой, потому что не могла не сказать. Ей *надо* было сказать это, чтобы услышать такие необычные для нее слова. Слишком долго они простились наружу, и она засмеялась, когда сказала их.

Какими короткими казались ей длинные зимние вечера по выходным и какими длинными были короткие вечера в будни. Идти, идти, идти вместе по бесконечным улицам, заходить в кафе... Слушать музыку — не ту, которая заполняла театр, а ту, которая была в ней. Смотреть на этого человека и думать — как же я могла прожить без него столько лет? Она никогда и ни о чем не спрашивала его просто потому, что знала его всегда. Он сам рассказывал о себе, но это добавляло лишь немного к тому, что Ольга знала о Дмитрии, в сущности ничего не зная о нем.

...Отец и мать — оба врачи, очень хотели, чтобы и он тоже стал врачом, а он взбунтовался, и это училище — результат его бунта. Мужчина должен выбирать себе мужественную профессию. Конечно, родители — люди весьма состоятельные, но... Здесь Дмитрий усмехался. Любовь к вещам их самих сделала вещью при мебели, машине, даче, хрустале, коврах и прочей дребедени. Человек должен жить в хорошей простоте, иначе он рискует потерять главное — душевную чистоту. Ольга слушала его, удивляясь тому, что она сама никогда не думала об этом, но где-то внутри точно зная, что это так. Просто она не могла, не умела выразить все это словами.

Она не спрашивала, любит ли ее Дмитрий. Ей было достаточно того, что любила она сама.

Каждый выходной с утра она шла к училищу. Здесь у нее уже были знакомые среди девушек, ожидавших так же, как и она. Зима стояла холодная, девушки ходили взад-вперед по тротуару, пряча носы в варежки. Курсанты выбегали все сразу, и сразу на улице становилось шумно, потом она пустела...

Тот февральский день, когда Ольга подошла к училищу, был особенно морозным, и она подумала, что сегодня не до прогулок, впору забежать в кино, а потом... Потом можно снова в кино. Дмитрий начал отчитывать ее:

«Ты с ума сошла, на таком морозе... Неужели я сам не зашел бы за тобой?»

Она подняла на него счастливые глаза и поцеловала в губы прямо на улице.

«Я не хотел тебе говорить...»

«Что-нибудь случилось?»

«Нет. Просто ты могла не так понять меня. Помнишь, я рассказывал тебе о своей тетке? Ну, которая живет здесь?»

Она плохо помнила, кажется, он что-то рассказывал. Так вот, тетка уехала в Киев, к его родителям, лечиться, а перед отъездом зашла в училище и... словом, ключ у него, можно провести день в тепле.

«Купим бутылку вина».

«Тебе же нельзя».

«Сегодня дежурят свои ребята — обойдется...»

К тетке так к тетке. Действительно, больше некуда. Над улицей висел густой морозный пар, Ольга здорово озябла, ожидая Дмитрия.

«Почему же я могла не так понять тебя?»

«Ну, все-таки...»

«Глупенький!»

И когда там, в чужой квартире, случилось все то, что должно было случиться, она снова и снова прислушивалась к необычной легкости во всем теле и к удивительному, незнакомому ощущению, схожему разве что только со счастьем полета.

Ничто ее не тревожило, о будущем она не думала. Есть Дмитрий и есть она — вот и все. Когда он сказал, что собирается написать о ней родителям, она удивилась:

«Зачем?»

«Все-таки они мои родители, Оля».

«Хочешь, я напишу им сама?»

Дмитрий засмеялся:

«Ты совершенно неподражаема! Да у матери сразу будет инфаркт».

Потом она не спрашивала его, написал он или нет.

Девчонки, те, конечно, сразу же заметили перемену, происшедшую в Ольге, и шуточкам по этому поводу, разумеется, не было конца. Она лишь улыбалась, когда ее начинали расспрашивать о Дмитрие, — что да как там с ним у тебя? Все, все, что у них было, принадлежало только им двоим, и она никого не хотела впускать в свое счастье.

Иногда она приходила в училище — на вечера. В актовом зале остро пахло духами, девушки быстро и оценивающе оглядывали друг друга, тут же познакомились, и Ольга знала уже многих курсантов и их девушек. В основном сюда приглашались студентки педагогического института, и курсанты шутили, что Министерство обороны и горсовет поступили очень мудро, поставив здание пединститута рядом с танковым училищем. Несколько свадеб намечались на конец июня — сразу после вы-

пуска. Ольга услышала об этом случайно и впервые подумала о том, что же будет *после* — после того, как через несколько месяцев Дмитрий кончит училище. В том, что она поедет с ним, Ольга не сомневалась. Господи! Да разве она сможет жить без него?

Какой он был? Пожалуй, если бы Ольгу попросили описать его, она не смогла бы сделать это. У него было чуть вытянутое лицо, чуть длинноватый нос, чуть выпуклый лоб. Какое это имеет значение! Она любила проводить ладонью по его лицу, лбу, волосам.

«Ты устал за эту неделю?»

Он много занимался в последние месяцы, заметно похудел, побледнел.

«Ничего. Потом все-таки целый месяц отпуска».

«Когда?»

«В июле».

До июля было еще далеко, но весна уже чувствовалась. В снегу, возле подножий деревьев, легли круги, вечера были розовыми.

Однажды Ольга привела Дмитрия на то место реки, где когда-то стояла баржа. Пожалуй, впервые за эти месяцы она начала вспоминать, и то скорее для себя, чем для него. Дмитрий не перебивал ее. Он стоял, засунув руки в карманы шинели, и оглядывался, словно стараясь увидеть здесь ту маленькую девочку. Ольга спохватилась:

«Ладно, что я тебя зря расстраиваю. Зато сейчас счастливей меня человека нет». Он не ответил. «О чем ты думаешь?»

«О том, что тебе хорошо бы снова побежать в школу. Ты же знаешь...»

Она вспомнила, как там, в поезде, Элидка говорила об их, девчонок, образовании.

«Это так важно?»

«Видишь ли... Конечно, никакого криминала нет...»

«Митя, — шепотом сказала она. — Значит, ты... ты хочешь жениться на мне?»

Как он улыбнулся! Только улыбнулся — и все. Но она-то знала, точно знала, что это так.

«Митя...» — она даже задохнулась, произнеся его имя.

«Идем, — сказал он. — Там все-таки лучше. Я не хочу, чтоб ты вспоминала».

Теперь Ольга готовила в той, чужой квартире обед и с наслаждением смотрела, как Дмитрий ест. Деньги у нее были — на себя тратила, в общем-то, не очень много. Так что можно было забежать к знакомой в райпищеторг и взять что-нибудь особенное, а на рынке (втридорога, конечно) купить у восточных людей фрукты. Ее очень беспокоило, что Дмитрий так похудел. Может быть, из-за нее?

Прошел апрель, в мае они стали видеться реже, и Ольга, понимая, что у Дмитрия сейчас самая тяжелая пора, все-таки не

находила себе места. Единственное, что они могли, — это минут десять поговорить на КПП. Каждый раз Ольга приносила ему сверток со всякой всячиной и с тревогой всматривалась в его лицо.

«Как ты?»

«Ничего, тяну. Кстати, в пятницу мама привозит тетку. Я вас познакомлю. Но чтоб никаких завивок, Оля».

Она перепугалась. Она понимала, что это будет самый страшный экзамен в ее жизни.

Надо было готовиться. Для начала она вымыла окна и полы в теткиной квартире. А на следующий день — в воскресенье — Дмитрий познакомил ее с матерью.

Ни на рынке, ни в магазинах цветов не было. Ольга купила два горшочка цветущих цикламенов, срезала их и пошла на вокзал. Больше всего на свете ей хотелось одного: чтобы поезд не пришел. Или чтобы мать с теткой не приехали. Могли же они опоздать на поезд? Но они не опоздали, и поезд пришел минута в минуту, и издалека, не решаясь подойти, Ольга смотрела, как Дмитрий, смеясь, обнимает двух полных женщин. Потом он обернулся и кивнул Ольге. Ноги у нее были ватные. Все-таки она сделала несколько шагов.

«Это Оля»

«Здравствуйте, Оля. Дима писал мне о вас».

Как ни была испугана Ольга, она все же подумала: «Мы называем его по-разному: мать — Димой, я — Митей. Я называю ласковее». И странная вещь — эта мысль сразу успокоила ее, достаточно для того, чтобы она сумела разглядеть Митину мать.

Ей было под пятьдесят, еще красивая, с очень чистым белым лицом. Митя ничуть не походил на нее. Ольга заметила и то, что Митя непривычно суетлив и разговорчив: хватается чемоданы, озабоченно оглядывается — не видно ли такси? Потом торопливо договаривается с подвернувшимся леваком и так же торопливо укладывает чемоданы в багажник «Победы». Наконец они едут. Тетка — рядом с шофером, они — сзади. Цветы уже в руках у матери. У нее веселое лицо, когда она нюхает цветы. Ольга холодеет: догадалась или нет? Там, в общежитии, она брызнула на цикламены несколько капель «Белой сирени», и сейчас в машине пахнет сиренью.

Нет, у нее доброе, мягкое лицо. Когда вещи разобраны и тетка на кухне готовит яичницу, а Дмитрий побежал за хлебом и сыром, мать садится напротив Ольги, на низенький диванчик, и сцепляет пальцы. На них — несколько колец. А глаза у матери мягкие и добрые, зря Ольга так дико трусила.

«Кто ваши родители, Оленька?»

«У меня нет родителей».

Она рассказывает о родителях — коротко, потому что мало знает о них. Женщина слушает ее с заметной печалью.

«Бедняжка, — наконец вздыхает она. — Скажите мне еще, Оленька, вы... вы не ждете ребенка? Не смущайтесь, это вполне обычная вещь».

«Нет... Наверно, нет».

«Ну и хорошо. Вы не обидитесь на меня, если я скажу вам все, что думаю?»

«Конечно, Софья Григорьевна».

«Вы славная девушка, Оленька, но вы, конечно, понимаете, что я приехала сюда вовсе не для того, чтобы проводить сестру. Я приехала поговорить с вами...»

Она говорит ровно, мягко, ничуть не волнуясь, будто бы каждое слово знает наперед, будто выучила наизусть все то, что ей надо сказать.

«И, как понимаете, речь пойдет о Диме и вас».

«Да, да...»

Она знала, что какой-то разговор у нее с Митиной матерью будет, но даже не предполагала, что он будет так скоро. Все ее существо напряглось, каким-то чутьем она догадывалась, что разговор будет неприятным и тяжким.

«Я хотела просить вас об одном, Оленька. *Не портите Диме карьеру*».

«Я? Как я могу испортить? Я люблю Митю...»

Это у нее вырывается произвольно. И снова на губах Митиной матери добрая, мягкая, не то одобрительная, не то понимающая улыбка: да, конечно, я это знаю, вижу, и это очень хорошо — вот что, должно быть, эта улыбка должна означать. И мягкая, теплая рука ложится на Ольгину.

«Оленька, вы взрослый человек, вы обязаны понять. Через месяц он станет офицером. Огромные обязанности. Семья свяжет его по рукам и ногам — значит, он будет меньше времени отдавать службе и его продвижение приостановится. Во-вторых, вы ничего не знаете о своих родителях... Нет, нет, я не могу даже подозревать... но мало ли что... Вы можете допустить такой вариант? Те, кому положено, докопаются до чего-нибудь, и у Димы будут такие неприятности, что... И третье, Оленька... Дима, в сущности, еще мальчик. Большой мальчик. А он у вас, наверно, не первый?»

«Какое это имеет значение?»

«Значит, я права. *Сейчас* — никакого значения, а потом — еще какое! Начнутся упреки, подозрения. Жизнь превратится в ад. Вы разведетесь. И снова это отразится прежде всего на его карьере. Так вот, если вы его действительно любите...»

Ольга вскочила, выдернув свою руку. Она ждала любого разговора, кроме этого.

«Мне пора», — сказала она.

«Ну что вы, Оленька! Дима сейчас придет, сядем вместе завтракать...»

«Спасибо. Пусть все решит он сам».

«Ну, Оленька, — усмехнулась Софья Григорьевна, — Дима

все-таки мой сын и до сих пор прислушивался ко мне и отцу. И я хочу вам сказать еще вот что... Не надо упорствовать. Если вы не захотите понять то, что я вам сказала, мы с мужем найдем другие способы. Вы слышите меня, Оленька?»

Опять эта добрая улыбка, это мягкое «Оленька» и немного смущенное выражение лица, будто извиняющееся за вынужденную угрозу...

Ольга кинулась к дверям, не попрощавшись. Не помнила, как слетела вниз, и только на улице подумала: надо подождать Митю. Ее трясло. Когда вдали показался Митя, она побежала навстречу.

«Что с тобой? Говорила с мамой?»

«Да... Я прошу тебя... Решай все сам. Извини, я пойду... Я буду ждать тебя».

Она не дождалась. Митя не появлялся в общежитии, не звонил, не писал. Прошел июнь. В областной газете был опубликован фоторепортаж: молодые лейтенанты прощаются с училищем. Первая свадьба. Лейтенант Белов и учительница Клара Белова принимают поздравления друзей. Она знала и Белова, и Клару. Митя, наверно, уже уехал в Киев.

Не зашел, не позвонил, не написал. Все!..

Даже двадцать лет спустя это воспоминание отзывалось в Ольге глухой обидой, уже не причиняющей боли. Не было и недоумения: почему Дмитрий поступил так? Она знала, что мать оказалась сильнее.

А тогда несколько месяцев она жила, будто по инерции. Жила она — а все остальное в ней уже умерло. Переположившиеся подружки пытались как-то утешить ее, выходило еще хуже. Ей казалось, что вокруг нее люди, улицы, машины, вещи словно колышутся в каком-то тумане и она сама тоже не может выйти, выбраться, выплыть из него.

Она работала по-прежнему, и по-прежнему теперь все ее время делилось на три части: работа, общежитие, сон. Она не ходила ни на вечера, ни в культпоходы; изредка присаживалась в красном уголке возле старенького телевизора с экраном, перед которым стояла огромная лупа, и, посмотрев час-полтора, уходила к себе.

Однажды после работы она зашла в гастроном, заняла очередь, кто-то спросил ее: «Вы последняя?» Она обернулась — учительница, Анна Петровна! Господи, живем в одном городе, а не виделись бог знает сколько времени! «Как ты?» — «Так...» Засовывая в сумку сверток с сосисками, Анна Петровна сказала: «Пойдем, девочка, поьем вместе чайку. Я теперь живу здесь, в этом же доме...»

Догадалась ли она о чем-нибудь? Или просто обрадовалась, встретив свою давнюю ученицу, с которой были связаны нелегкие воспоминания?

Ольга рассказала ей все, с подробностями, которые не забылись и вспоминались легко, будто та история случилась несколько дней, а не месяцев назад. Она рассказывала, удивляясь тому, как охотно делает это. Все, что ее мучило, что сковывало душу, теперь будто выплескивалось из нее, и ей сразу стало легче, она испытывала почти физическое ощущение сброшенной с себя тяжести.

«Вот и хорошо, — сказала Анна Петровна. Ольга не поняла, что же хорошего? — Хорошо, что все это кончилось так быстро. Если бы у твоей любви было продолжение, еще неизвестно, как сложилась бы твоя жизнь. Этот Дмитрий, хоть ты и говоришь о нем восклицательными знаками, не очень-то симпатичен, поверь мне».

«Но ведь...»

«Ты не хочешь подумать, Оля. Если ты подумаешь, то поймешь многое. Человек не должен жить одними чувствами».

Ей запомнились эти слова. Больше они к разговору о случившемся не возвращались.

Теперь уже Ольга спрашивала Анну Петровну о ее житейские быт. Та отшучивалась: живу при дочери и зяте, жду внуков, а их все нет и нет... Здесь, в двухкомнатной квартире, было уютно, чисто, и Ольге не хотелось уходить. Этим впервые за долгое время появившемся ощущением легкости она была обязана Анне Петровне, и ей надо было побыть с ней еще немного, чтобы это ощущение не оказалось случайным и не ушло.

Видимо, ее выздоровление началось именно в этот день, в квартире Анны Петровны, вернее, Силина, начальника шестого цеха на том же заводе, где работала и она, Ольга. А вторая встреча, уже зимой, помогла ей еще больше.

Опять были морозные дни, и прохожие почти бежали по улице, пряча лица от резкого, с колючей порошей ветра. Ольга тоже шла быстро и все-таки узнала шедшую навстречу женщину. Просто невозможно было не узнать эти огромные цыганские глаза. «Клара!»

Ну да, Клара Белова, жена лейтенанта Белова, их фотография еще была в газете нынешним летом.

«Господи, Ольга, ты? — Они никогда не были на «ты», это вырвалось у Клары само собой. — Смотри, опять мы с тобой стоим на морозе, как тогда. Нет уж, зайдем куда-нибудь».

Они зашли в универмаг. Здесь можно было даже посидеть на подоконнике.

«Почему ты здесь? В газете я читала — вы должны были уехать к месту службы...»

«Мы и уехали. Заболел отец, я примчалась самолетом. А ты-то как? Я слышала...»

Ольга кивнула. Да. Ты правильно слышала...

«Наши ребята переписываются, — сказала, отворачиваясь, Клара. — Судя по письмам, Дмитрий служит в Киевском округе, поближе к родителям».

«Ну и хорошо», — сказала Ольга.

«Перестань! — резко ответила Белова. — Я не знаю, что у вас произошло, но, наверно, все к лучшему. Радченко ребята не любили. Ты не знала этого? Теперь-то я имею право сказать... Гогочка, маменькин сынок. Завалил в медицинский, его вызвали в военкомат, предложили училище на выбор. Мамочка сказала: иди в танковое, в случае чего в танке все-таки безопасней. Если б она сказала — в школу поваров, он бы пошел туда, понимаешь? А в училище сначала изображал из себя бог весть кого, чуть ли не бунтаря против мещанства».

«Этого еще мало, чтобы не любить человека».

«Было много другого».

«Не надо, Клара. Я все равно ничему не поверю».

«Это твое дело».

«Во всем виновата его мать».

«Никто не может уговорить порядочного человека совершить непорядочный поступок».

«Значит, вы знали, что он... Что мы разошлись?»

«Еще бы! Он не скрывал этого от ребят».

«Не верю!»

«Это тоже твое дело. Ты будешь мне писать?»

«Не знаю».

«Вот на всякий случай мой адрес».

Она открыла сумочку, вырвала листок из записной книжки, и Ольга смотрела, как она пишет адрес: в/ч такая-то, литер такой-то... И заранее знала, что писать не будет, засунет этот адрес куда-нибудь подальше от глаз, да и о чем писать? У нее своя жизнь, у меня своя...

Когда Клара, наспех чмокнув ее в щеку, убежала, Ольга еще долго сидела на подоконнике, чувствуя, как приятно пригревает батарея парового отопления. Она не спешила уходить. Она вертела в руке бумажку с адресом, подумала — а ведь и у меня мог быть сейчас такой же: тоже в/ч — воинская часть... Но эта мысль уже не причинила ей боли, и она прислушалась сама к себе с удивлением. Не было боли! Была только печаль, короткая и прошедшая сразу же, едва она вышла на мороз, под этот резкий, с колючей порошей ветер.

Той бессонной ночью Ильин вспоминал давний рассказ Ольги о ее любви, которая сломала ее так, что девочку было не узнать.

Он услышал обо всей этой истории, вернувшись в Большой город уже с Надеждой и Сережкой, и тогда впервые, быть может, в нем шевельнулось ощущение какой-то своей собствен-

ной вины за то, что с ней случилось, — быть может, потому, что с радостью поверил ее письму и не волновался, когда она перестала писать ему туда, в Москву.

12

Еще накануне Ильин доложил главному о готовности — форма принята контролером БТК, график переключен так, что на печах будут работать лучшие бригады, а на кранах — старые крановщики. В суточном задании было предусмотрено, казалось, все до мелочей. Ильин попросил Эрпанусьяна выйти на работу, хотя у того был скользкий выходной (начальники смен работали четыре дня и отдыхали три), — просто ему всегда было спокойней, если в цехе был Тигран. Позвонил он и в партком, Нечаеву.

— Завтра начнем, — сказал он. — Вы предупредите Званцева?

— Обязательно. Ни пуха ни пера, Сергей Николаевич.

— Спасибо. Как-то неловко посылать секретаря парткома к черту.

Нечаев рассмеялся.

— Когда прикажете приходить? — спросил он. — Тут еще пресса об этом заказе пронюхала, будут корреспонденты, так что, как говорится, не только вся Европа на вас смотрит, но и Латинская Америка.

— А вот это вроде бы совсем ни к чему, — сказал Ильин. Он быстро подсчитал: плавка на обеих «десятках» начнется в семь (для этого первую придется остановить почти на час, чтобы она дала плавку одновременно со второй), значит, к одиннадцати... Он вызвал к себе Штока — тот почему-то задерживался с суточным расписанием плавок, — сидел, ждал, сердился, что он долго не идет, и сразу недовольно спросил его:

— Ты сегодня обедал?

— Да, — удивленно ответил Шток. — А что?

— А то, что после обеда все работают вразвалочку.

— Как тебя только жена терпит? — вздохнул, садясь, Шток.

На завод он пришел через четыре года после Ильина, но Ильин знал его давно.

Первокурсника Штока поселили в той же комнате институтского общежития, в которой жил Ильин. Он помнил, как вошел худенький и бледный до прозрачности мальчик, поставил возле ног немислимо драный, прошитый по краям медной проволокой портфель и спросил: «Не выгоните? Я по ночам кричу почему-то». — «Ничего, — сказал другой сосед Ильина. — Я храплю, а Ильин стихи во сне читает. Это что же, все твое имущество?» Шток кивнул.

Он действительно кричал и вскакивал во сне каждую ночь, и Ильин, просыпаясь, подходил к нему, укладывал как маленького, а Шток благодарно сжимал его руку. Через неделю Иль-

ин не выдержал и спросил — может, к врачу сходить, к невропатологу? У него был в Москве один знакомый врач, даже не врач, а студент-пятикурсник Коля Муравьев, с которым Ильин рос в детдоме. Так как? Может, сходим в выходной? Шток согласился с такой поспешностью, что Ильин понял: ему все равно, лишь бы ребята не сердились, что он будит их по ночам.

В первый же выходной Ильин повез Штока к Коле Муравьеву — тот жил у черта на куличках, где-то возле Госпитального вала, — и с удивлением наблюдал, как Колька, первый детдомовский сачок, с ученым видом осматривал Штока, изучал его выступающие острые ребра, постукивал молоточком по коленкам, заставлял вытягивать руки и закрывать глаза, добавляя при этом: «Нуте-с, молодой человек...» Шток сидел съезжившись. У него были седые прядки в черных волосах. Колька спросил: «Это у вас давно?» — «Что именно, доктор?» — не понял Шток. «Ну, эти ночные страхи. Плохие сны?» — «Нет, — качнул головой Шток. — Просто я почти три года в подвале просидел».

Свою историю он рассказал нехотя. В сорок первом он с родителями уходил от немцев. Под Винницей их расстреляли с воздуха — немецкие летчики словно развлекались, гоняясь за каждым убегающим. Он спасся и добрался до Винницы. Но идти дальше было уже невозможно. Его укрыла одна украинская семья, и за три года он ни разу не вышел на улицу. Когда Винницу освободили и Штока выпустили из подвала, он упал. Три месяца провалялся в больнице... И вот, сколько лет прошло, а каждую ночь ему кажется, что на него летит немецкий самолет или за ним пришли гестаповцы (в том доме действительно трижды был обыск, и он слышал топот сапог над головой).

Но вот что было удивительно! Шток не потерял ни одного года! Там, в холодном подвале, при свете коптилки, он учился — сам, и потом сдавал экстерном, и кончил школу с золотой медалью! В нем жила какая-то бешеная страсть к книгам, хотя все труднее и труднее было читать, — сейчас Шток носил очки с толстыми, как корабельные иллюминаторы, стеклами. Это было наследство подвала, темноты, нервного напряжения...

Конечно, Колька Муравьев ничем не мог ему помочь в ту пору, разве что посоветовать пить валерьянку. Но он сделал другое. Он потащил Штока по московским знаменитостям, и одному господу богу было известно, как он умудрялся пробиваться к ним.

Штока вылечили. Ильин уехал. Время от времени — к праздникам — он получал поздравительные открытки, и вдруг пришла телеграмма: «Получил назначение Большой город готовь встречу оркестром ужином виллой Шток». Его назначили мастером, вместо виллы дали комнату в большой коммуналке. «Других мест не было?» — спросил его Ильин. «Были», — отве-

тил Шток. «Ну так чего ж ты поехал сюда?» — «А здесь ты», — как-то очень просто сказал Шток.

Сейчас Ильин мог бы и не вызывать его, все было решено, просто ему хотелось еще раз просмотреть технологию и успокоиться.

— Ну чего ты психуешь? — спросил Шток. — Обе «десятки» сработают с разрывом в пять минут, за это я свою голову кладу. За пихтой прослежу сам. Валом валить, что под руку попадется, не будем. Ну а Чиркина и Коптюгова ты и без меня хорошо знаешь. Зачем же так терзать самого себя?

Там, за толстыми стеклами очков, были добрые, всегда грустные глаза.

— Знаешь, — сказал Ильин, — когда все очень хорошо, мне не по себе. Надо было бы вызвать Малыгина, но не могу с ним разговаривать...

— погоди, — остановил его Шток. — Давай проиграем ситуацию. Ну, что может случиться? За плавку я ручаюсь. Постучим по деревяшке — у нас уже давно не было никаких чепе на плавильном. Крановщики? Тут тоже все вроде бы в порядке. Остаются формачи. Не думаю, чтобы напоследок Малыгин сбавил спуска рукава. Ему надо уйти с хорошей характеристикой. Да и ты, как мне рассказывали, по три раза в день ходил туда, на формовочный.

— Ходил, — кивнул Ильин. — Отливка-то восемнадцать тонн, между прочим!

— Ну и что? — удивился Шток. — Боишься за плотность подушки?

— А черт его знает, чего я боюсь, — сорвался Ильин. — Сам знаю, что все сделано, и...

— Это бывает у слабонервных студентов, — улыбнулся Шток. — Помнишь — идет человек на экзамен, и дрожит с ног до головы, и в ботинки пятаки кладет, и пальцы крестиком держит, когда тянет билет, а в результате — «Отменно, молодой человек...».

Он передразнил одного из институтских профессоров, это получилось очень похоже, и Ильин невольно улыбнулся.

— Значит, не будем пятаки в ботинки класть?

— Нет. А вот если утром женщина с пустым ведром встретится...

Шток всегда действовал на него успокаивающе. Ладно! Не будем больше говорить о завтрашнем дне.

— Вопросы по снабжению есть? — спросил Ильин. — Как у тебя складываются отношения там?

Он потыкал большим пальцем за спину: там означало отдел комплектации и снабжения. Шток пожал плечами. Нормально складываются. Он даже договорился, что на плавильном всегда будет трехсуточный запас всей химии, что, тут ехидно заметил Шток, не удавалось бывшему заместителю начальника цеха по подготовке производства товарищу Ильину.

— Значит, привыкаешь к новой работе?

— Человек вообще существо быстро привыкающее, Сережа, — ответил Шток. — Я согласен с тобой: теперь у нас, заводов, и ответственности побольше, и прав, и, быть может, свободы действий. Но всякий крутой поворот рождает у людей свои мысли. В том числе и у меня, естественно.

— Собираешься поделиться? — спросил Ильин.

— Действительно ли это было надо? Ведь ты сделал это, не посоветовавшись ни с кем из нас, даже со мной. Ну ладно, ну хорошо, каждому из нас прибавилось дел, хотя и так-то их было по горло. Ну, один все-таки не выдержал, собирается уходить и где только можно катит на тебя бочку: дескать, Ильин нарочно предложил ликвидировать свою должность, чтобы его поставили начальником цеха — больше-то некуда!.. Но я думаю-вот о чем: снимая с себя вопросы подготовки производства, ты ставишь себя под удар, потому что...

Ильин перебил его:

— ...потому что Левицкий был за моей спиной как за каменной стеной и мог ни о чем не беспокоиться? А я теперь должен дрожать, как бы один из заводов не дал прохлопа? Поэтому?

— Да.

— Пусть у кого-то будет прохлоп! Но тогда у меня появится другой заместитель. Только так можно вырастить настоящего командира производства.

— Ты всегда был мягким человеком... — задумчиво сказал Шток, и снова Ильин оборвал его:

— Перестань, пожалуйста, Марк! Я знаю, чего ты не договариваешь, ты не научился крутить. Хочешь сказать, что от этой структурной перестройки малость отдает жестокостью? Я не мягкий человек, не надо обо мне ничего выдумывать. Я производственник и знаю, что в современном производстве прошла пора «давай-давай». И одного планирования тоже мало, будь оно проведено на самых новейших киберках. Понимаешь, мало! Мало иметь самую хорошую технику, мало иметь рабочих, которые с ней на «ты» и за ручку. Нужен *отбор*. Не понимаешь? *Какие* люди руководят производством? Что у них за душой, кроме высшего образования и опыта? Отдадут ли они себя целиком или будут думать: а что, мне больше других нужно, что ли? Сейчас должна произойти переоценка людей. Не конкурс на замещение должности, не какая-нибудь квалификационная комиссия-перекомиссия, а нравственная переоценка. Да, по таланту, по знаниям, по опыту, но в первую очередь — по душе!

— Ты хочешь задать работенки и кадровикам? — мягко улыбнулся Шток. — Но пока что ни в одной анкете такого вопроса нет: какой ты человек?

— Поэтому я и говорю об отборе. Ты помнишь, за что сняли Силина? А ведь какой знающий, какой опытный был чело-

век! Меня радует одно: в нашей партии этот принцип уже действует. С производством дело сложнее. У нас еще всяких малыгиных — пруд пруди.

— Так ведь не выкинешь... — сказал Шток.

— Ты думаешь, он пропадет? Нет, брат, малыгины не пропадают! Найдет спокойное местечко с той же зарплатой, да еще над тобой посмеется: вот ведь дурень этот Шток! Ему, Штоку, и так-то работы навалом, а на него еще валят, и все за те же деньги. Так что не думай обо мне, как о жестоком человеке.

Ильин не заметил, что последние слова он произнес как раз очень жестко. Этот разговор не был для него неожиданностью. Он слишком хорошо знал Штока, человека той редкостной доброты, которая иным даже добрым людям могла показаться неестественной. Великой доброте он был обязан своей жизнью и потом всю жизнь словно бы стремился к одному — отдать ее другим.

У Ильина мелькнула неожиданная мысль: а может, весь этот разговор Шток затеял ради Малыгина? Дескать, ты поговори с ним еще разок, объясни помягче: у меня же семья, детишки, то да се, а где найдешь скоро такой заработок... Хотя нет! В таком случае он не стал бы рассказывать, что Малыгин катит на меня бочку. Просто выложил свои собственные сомнения. А убедил ли я его или нет — это уже другой вопрос.

— Значит, говоришь, не волноваться? — уже устало спросил Ильин. — Ладно, займемся делами.

Шток протянул ему суточное расписание плавок, Ильин быстро пробежал глазами привычные цифры и литеры — обозначения марок стали, возле которых стояла пометка «минзаказ», подписал расписание и, возвращая его Штоку, усмехнулся:

— Давай, Маркуша, договоримся по старой дружбе. Когда ты увидишь, что я перестану волноваться, сразу иди в партком или к директору и скажи, чтоб Ильина гнали отсюда взащей. Честное слово, только благодарен тебе буду!

Он не глядел на Штока, на его вымученную, даже, пожалуй, обиженную улыбку, потому что знал — случись с ним, с Ильиным, что-нибудь даже самое плохое, Шток дойдет хоть до самого бога Саваофа, чтобы только не дать в обиду, выручить, закрыть собой...

К одиннадцати в цехе собралось человек пятнадцать — двадцать из тех, кого принято называть «посторонними». Корреспонденты трех газет — областной, «Вечерки» и комсомольской, заводское начальство во главе с Заостровцевым, просто какие-то незнакомые Ильину люди... Наконец, приехал Званцев. Это обилие людей на формовочном участке раздражало Ильина, и, едва поздоровавшись со Званцевым, он попросил всех отойти подальше, надеть каски, а сам ушел к печам.

Все это время, с самого начала плавки, он не выходил из цеха, впрочем ни во что не вмешиваясь, даже не пытаясь заговорить с кем-нибудь: сидел в конторке мастера, курил, механически листая плавильный журнал, глядел, как с первой пробой бежит в экспресс-лабораторию Сергей, как подручные готовят термопары, — и внутри него была странная, разрастающаяся час за часом пустота, потому что все здесь делалось без него, все умели делать свое дело без него и ему оставалось лишь отмечать ту точность, с какой работали Коптюгов и Чиркин. Голоса по прямой связи касались сейчас только хода плавки: он запретил вызывать его из цеха, и по прямой могла разговаривать только экспресс-лаборатория. Он вздрогнул, когда лаборантка сказала, что первая «десятка» проваливается по хрому, и поглядел на часы: сталевары вышли на рафинирование, дали вторичные, сейчас нельзя терять время, и впервые он подошел к печи, будто боясь, что Чиркин не расслышал голос лаборантки. Рядом с ним оказался Шток и успокаивающе взял под руку. Ильин слушал, как ходит плавка, глядел на ровные блики, играющие по металлическим плитам пола: когда-то его учили, что, если блики ровные, без зайчиков, значит, плавка идет нормально.

Потом он будет долго думать над тем, откуда и почему у него появилась эта тревога. Интуиция? Чепуха! Все ведь было выверено сто раз. В цехе работают не пэтэушники первого курса, а инженеры. Даже мелочи были продуманы, даже ящики с наполнительной смесью, которые обычно высились на формовочном, были убраны в самый дальний конец пролета, подальше от формы. И все шло буквально по минутам: сначала дала плавку вторая «десятка», он поглядел вверх, чтобы увидеть на табло вес, — 13,05. Меньше, чем обычно, но ничего... Ковш медленно плыл над пролетом, и, едва началась заливка, пошла сталь из первой. Ильин не сводил глаз с весового табло. Первый ковш был вылит, пошел второй... Цифры мелькали, как на испорченных электрических часах, и вот сейчас Малыгин должен остановить заливку. Восемнадцать тонн. Но цифры продолжали мелькать, заливка продолжалась... Ильин бросился к Малыгину. Тот стоял бледный, у него тряслись губы.

— Почему не останавливаете?! — крикнул Ильин.

— Металл... ушел...

Ильин так и не мог вспомнить потом, услышал ли он эти два слова или догадался о них по движению дрожащих малыгинских губ. Он поднял руку. Все! Отливка сорвана... Он еще не знал почему, только затылком, всей спиной чувствовал на себе взгляды десятков глаз и знал, что вот сейчас его спросят это самое «почему?», а он ничего не сможет ответить.

О том, что случилось, можно было только догадываться. «Постель» формы не выдержала, под ней оказалась какая-нибудь пустота — иного объяснения он не мог дать.

...И вот они сидят в его кабинете — Званцев, Нечаев, Заостровцев, бледный как бумага Малыгин, еще несколько человек, — и никто не хочет говорить — курят, пьют боржом, глядят в окна, постукивают пальцами по столу, будто в доме покойник. Секретарша всунула голову в дверь:

— Вы подпишете пропуска корреспондентам, Сергей Николаевич?

Он кивнул сидящему возле двери Эрпанусьяну:

— Подпиши, пожалуйста.

И снова молчание, снова тишина...

— Ну что ж, товарищи, — вдруг сказал Званцев, — давайте спросим металлургов, что все-таки произошло? Двадцать тонн стали провалились сквозь землю, да так, что кусочка на память не осталось. Я уже не говорю о том, что это десятки тысяч государственных рублей...

— Тридцать шесть, — сказал Ильин.

— У вас есть какое-нибудь путное объяснение, Сергей Николаевич?

— Только одно. Прорыв формы, а под ней оказалась пустота. Я не знаю какая. Это мы выясним, когда закончится остывание. Во всяком случае, — уже резко, будто его и других собирались обвинить в этой неудаче, — я отношу все за счет случайности. Вот документация — и по плавкам, и по формовке. Заливка производилась строго по технологии, это вы видели сами...

Заостровцев, быстро повернувшись к Ильину, перебил его своим сухим, скрипящим голосом:

— Вот как? Вы сразу решили занять удобную позицию, Сергей Николаевич? Случайность! Легче всего валить на случайность. Стало быть, по чистой случайности сорван срочный министерский заказ — так и прикажете сообщить сегодня заместителю министра? Или все-таки сослаться на начальника цеха и его заместителя товарища Малыгина?

— Малыгин здесь ни при чем, — сказал Ильин. — Я лично проверял работу формовщиков. Есть и официальный документ — акт бюро техконтроля. Я понимаю, Виталий Евгеньевич, что настроение у всех нас далеко не праздничное, но вряд ли стоит сейчас срывать его на Малыгине. Или на мне.

Заостровцев как-то подобрался, стал еще тоньше, еще суше, и опять Ильину ясно увиделось это его сходство с маленьким, готовым к прыжку зверьком. Нечаев, который до сих пор не проронил ни слова, вдруг взял Заостровцева под руку, как бы предупреждая от тех, возможно, резких и несправедливых слов, которые Заостровцев уже готов был бросить Ильину.

Щелкнул динамик прямой связи, и кто-то (Ильину не узнал этого голоса) торопливо сказал, что в цехе острый запах гари, дым в раздевалке и душевой. Ильин протянул руку и нажал на селекторе нижнюю правую кнопку — вызов пожарной охраны. Он проделал это механически, хотя ни разу до этого ему не

приходилось вызывать пожарную охрану, и встал, надевая каску. Сейчас ему было не до того, что здесь, в его кабинете, сидели и первый секретарь райкома, и секретарь парткома, и главный инженер. Он опомнился лишь у двери и, обернувшись, сказал:

— Все работники цеха — по своим местам. А вас, товарищи, прошу туда не ходить, буду докладывать по прямой.

Пожарные машины уже подъехали к цеху, и парни в военных касках раскатывали шланги. Ильин, каким-то чутьем угадав старшего, крикнул:

— Остановите их!

Он запыхался, пока бежал сюда. Действительно, из раскрытых окон душевой и раздевалки — низенького кирпичного здания, пристроенного к стене цеха, — шел дым, значит, жидкий металл как-то добрался под землей и сюда. Если пустить воду, может быть взрыв.

Сейчас Ильин двигался и говорил так, будто в нем работал какой-то четкий, безошибочный, выверенный аппарат. Поставить ограждение перед формовочным участком. Убрать людей. Всех! Перенести изложницы к печам, в канавы, лить только там и еще на стержневом. Шток сунулся было к нему с предложением вообще закрыть второй пролет, это значило — остановить печь, но Ильин рывкнул на него, впервые в жизни обращаясь на «вы»: «Идите и работайте».

Пожарники, натянув респираторы, начали разбирать полы в душевой и раздевалке — дым шел и шел, но огня не было видно.

— Осторожно! — крикнул Ильин. — Земля может осесть!

Он уже не думал о том, что произошло каких-нибудь полчаса назад. Сейчас он боялся лишь за этих пожарников.

— Уберите своих людей, — резко сказал он начальнику охраны. — Это слишком опасно.

— Так что же, прикажете сидеть и ждать? — спросил тот, недовольный тем, что кто-то вмешивается в его работу.

— Да. Это не пожар. Значит, надо сидеть и ждать.

— И долго? — усмехнувшись, спросил начальник охраны.

— До остывания.

Теперь пойдет одна комиссия за другой, подумал он, вдруг почувствовав тяжелую усталость. Мысленно он проследил путь стали под землей: она должна была протечь метров сорок — сорок пять. Где? Как? Что там — пещера вроде Кунгурской и в самый раз обратиться к спелеологам, что ли? Так же устало он сел на ступеньку пожарной машины и вытащил сигареты.

— На заводском дворе курение запрещено.

— А, подите вы! — отмахнулся Ильин, закуривая.

Да, в пожарники, наверно, специально берут людей без всякого чувства юмора, неожиданно подумал он. Там, под землей, что-то горит, там полторы тысячи градусов, а этот ходячий огнетушитель смотрит на мою сигарету не отрываясь.

Он не заметил, как подошли Званцев, Нечаев и Заостровцев. Званцев положил ему руку на плечо.

— Я буду в кабинете директора, Сергей Николаевич, — сказал он. — А вы готовьте кессон. Попробуем избежать очередной случайности.

Потом комиссия установит, что жидкая сталь прорвалась в сточную трубу, проложенную здесь, судя по архивным данным, в 1882 году, и прошла по ней не сорок пять, а около пятидесяти метров. Счастье, что она была сухой, не заполненной грунтовыми водами. «Хлопок» принес бы немало бед..

Остывшую сталь решили не вынимать и не отправлять в ШЭП*: слишком дорогими оказались бы земляные работы.

Из министерства приехал представитель, ознакомился с выводами комиссии и, разведя руками, сказал:

— Ну кто же мог об этом знать, Виталий Евгеньевич? Надеюсь, вы никого не успели наказать за грехи наших прадедушек?

— Нет, разумеется, — ответил Заостровцев.

Он водил представителя министерства по цеху, показывая железобетонный кессон, который успели сделать буквально за пять дней, познакомил гостя с Ильиным.

— Мы крепко подвели вас? — спросил Ильин.

— Не очень, — улыбнулся тот. — Мы ведь тоже инженеры и тоже кое-что понимаем, особенно когда ставим гриф «срочно!». Но это, конечно, между нами: как-никак министерская тайна.

Никогда не узнает Ильин лишь одного — не узнает, что Званцев, вернувшись в тот тяжкий день в кабинет директора, сказал Заостровцеву:

— Мне не понравилось, как вы разговаривали с начальником цеха, Виталий Евгеньевич. И у меня к вам большая личная просьба: извинитесь перед ним при первом же удобном случае.

Заостровцев промолчал — только бледные, гладко выбритые щеки чуть порозовели.

А в тот день, когда кончила работу комиссия, в кабинет Ильина вошел Малыгин. Это было уже в восьмом часу, когда Ильин собрался уходить, и Малыгин словно нарочно дождался этой минуты.

Ильин поливал кактусы — те самые, оставшиеся после Левицкого, и стоял к двери спиной, поэтому не сразу увидел, кто там вошел. Малыгин? Чего ему еще надо? — с досадой подумал Ильин. Через четыре дня они расстанутся. Как говорится, была без радости любовь, разлука будет без печали. Или все-таки решил попроситься для приличия?

Как всегда, у Малыгина кривились и прыгали губы.

* Шлаковый электропереплав.

— Вы не заняты, Сергей Николаевич? У меня к вам личный разговор.

— Пожалуйста.

— Я знаю ваше отношение ко мне и честно скажу, что отвечаю вам тем же... Но после того, что произошло... ведь проще простого было все спихнуть на меня... Короче говоря, я хотел бы остаться.

Он глядел на Ильина с отчаянной решимостью. И Ильин понял, как нелегко было Малыгину прийти сюда, зная, что вполне может напориться и на отказ, и на какие-нибудь недобрые, но в этом случае вполне справедливые слова.

— Ну что ж, — сказал Ильин, отворачиваясь и стараясь не пролить воду на подоконник, мимо горшка, из которого торчал какой-то волосатый кукиш, — оставайтесь, Павел Трофимович. Но если уж откровенность за откровенность, то до этой минуты я относился к вам гораздо хуже.

Малыгин молча вышел, неплотно закрыв за собой дверь, и до Ильина явственно донесся приглушенный голос Штока: «Ну что? Что он сказал?.. Я же говорил тебе...» Они ушли, а Ильин рассмеялся. Значит, Марк сидел там и ждал, когда надо будет вмешаться ему, так сказать, давануть на мою психику, воззвать к доброте. А ведь если б он сам пришел просить за Малыгина, я, пожалуй, обложил бы его по-всякому и выставил за дверь...

Перед Ильиным Заостровцев так и не извинился: видимо, было не до того.

Через неделю на заводе начала работать приемочная комиссия. Званцева утвердили директором ЗГТ. Еще через две недели дизелек вытащил из цеха платформу, на которой лежало то самое колесо рабочей турбины. В областной газете появилась заметка: «Успех металлургов». «...Отлично поработали бригады плавильщиков, возглавляемые лучшими сталеварами цеха тт. Коптюговым и Чиркиным. Не отставали от них и формовщики, и крановщики — почетный заказ объединил всех, поэтому и большая производственная победа стала общей». В конце заметки стояла подпись: «А. Будилковский, рабочий».

13

Временную раздевалку оборудовали в соседнем, термопресовом цехе, там же ребята и мылись после смены.

В тот день Коптюгов, яростно протирая полотенцем свои мокрые торчащие в разные стороны волосы, тихо сказал сидевшему рядом Усвятцеву:

— Слушай, Генка, может, пустишь меня недельки на две? Только не шуми. А будет момент — скажи Штоку: вот, мол, Коптюгов по знакомым ночует, на чужих диванчиках спит.

Усвятцев понимающе кивнул.

— Ну, а с той у тебя как? — спросил он. — С блондиночкой из турбокорпуса?

Коптюгов не ответил, будто не расслышал.

Первая мысль, которая мелькнула у него, когда он протянул Нине руку: «Вот это она!» — была даже не мыслью, а скорее ощущением, предчувствием. Четкая мысль пришла позже: она прочная. Ее не так-то легко победить. Дважды Коптюгов провожал ее до дому после того вечера в кафе — она отказывалась зайти посидеть с ним где-нибудь, поговорить, отказывалась просто погулять — нет, ей надо домой. Спасибо, Костя, всего доброго. И стук двери на лестницу...

Пожалуй, с таким упорством Коптюгов столкнулся впервые, но оно не раздражало и не подзадоривало его. Это была не игра. Когда он прямо спросил Нину, неужели она продолжает любить своего бывшего муженька, она ответила:

«Да. Но не муженька — мужа!»

«Он какой-нибудь особенный?»

«Не знаю. Для меня — особенный».

Но отступить Коптюгов уже не мог.

«Вы еще на что-то надеетесь, Нина?»

«Человек не может жить без надежды».

Она не стала рассказывать ему, как прошлой осенью ее пригласил к себе в партком Нечаев. Поздоровался, предложил сесть, выглянув за дверь, сказал секретарше, чтоб она никого не впускала: серьезный разговор — и, вернувшись, сел в кресло перед Ниной.

«Как вы живете?»

«Нормально».

«Я не хочу темнить, Нина, — сказал ей тогда Нечаев. — Вы знаете, что я был сейчас в Средней Азии, там пускали нашу первую турбину... (Она кивнула.) И вот там ко мне подошел один человек...»

«Мой муж?» — спокойно спросила она, сама удивляясь и этому спокойствию и точности своей догадки.

«Да...»

«Он просил что-нибудь передать?»

«Нет. Он просто вспоминал наш горед... Наслаждался папиросой нашей Второй табачной фабрики... Говорил, что ему по ночам дожди снятся... О вас он только спросил. Но в таких случаях надо слышать, как спрашивают. Вы понимаете меня?»

«Не понимаю, — тихо сказала Нина. — И зачем вы... говорите мне об этом, тоже не понимаю».

Нечаев отвел глаза.

«Видите ли, мне показалось, что... ну, что парню совсем худо, хуже некуда. У меня есть основания думать так. И может быть, только стыд мешает ему сделать первый шаг. Если, конечно, вы сможете ему простить...»

«Спасибо», — сказала Нина, поднимаясь.

Странно: в том, что так неожиданно, казалось бы, расска-

зал ей секретарь парткома, на самом деле для нее не было ничего неожиданного. Будто она давным-давно знала это: и что ему снятся дожди, и что ему не очень-то хорошо с той, другой, и что он стыдится сделать первый шаг... В тот день, сразу после разговора с Нечаевым, она поехала к Ольге.

Так бывало всегда, и не только в минуты душевного смятения, раздумий, неуверенности, но когда возникало самое простое желание увидеть Ольгу и посидеть с ней вечер, поговорить — и тогда самый обыкновенный разговор с обрывками воспоминаний, или о заводских делах, или об общих знакомых вдруг приносил какую-то легкость, которая оставалась надолго. Рядом с Ольгой Нина словно бы обретала ту свою прочность, которую так верно разглядел в ней Коптюгов и которая вдруг временами начинала ускользать от нее, уступая место тоскливому чувству одиночества и потерянности.

Ольга жила в одном из новых домов-«свечек», вышедших за городскую окраину. К этим домам, словно подлесок к большому бору, лепились деревянные домишки, доживающие свой срок, и было странно видеть сверху, с Ольгиного балкона, огороды и колодцы, крашенные кровли или серую дранку на сараюшках, колченогие голубятни и рядом с ними асфальт, идущие троллейбусы, огромную стекляшку-универсам... Возле новых домов росли яблони, перенесенные сюда со старых участков, и весной гудели пчелы.

Иногда Нина оставалась ночевать у Ольги. Это было тоже как встарь, впрочем, «встарь» было ощущением Нины, а не Ольги: почти двадцать лет разницы в годах, конечно же, по-разному определяли время. Здесь, в Ольгином шкафу, даже висел старенький Нинин халатик, а в маленькой прихожей, под тумбочкой, стояли ее шлепанцы.

И все-таки каждый раз, когда Нина приезжала, Ольга встречала ее одним и тем же беспокойным вопросом:

«Что-нибудь случилось?» — и в глазах напряженное ожидание, быстро проходящее, едва Нина улыбалась: «Да ничего не случилось! Я просто так...»

И как хорошо было сидеть в маленькой кухоньке, поджав под себя ноги, — чай на столе и какие-нибудь неперменные домашние Ольгины сладкие булочки, и тихо, и свекровь — мать Кости, с которой Нина по-прежнему жила в одной квартире, — не грохочет и не включает до упора радио. Приезд сюда был для Нины еще и отдыхом.

Но на этот раз она не улыбнулась в ответ на Ольгин вопрос: «Что-нибудь случилось?» Нина повесила на вешалку свой плащ, достала свои тапочки, пошла на кухню и опустилась на табуретку. Ольга шагнула за ней.

«Ему плохо», — сказала Нина.

Не надо было объяснять, кому плохо, Ольга все поняла и так, ей хватило этих двух слов. Медленно она подошла к Нине, обняла ее голову и прижала к своему боку.

«А тебе? — тихо спросила она. — Тебе очень хорошо?»

И тогда Нина заплакала. Здесь она могла позволить себе это. Она плакала, а Ольга гладила ее по светлым волосам. «Так что же случилось?»

Размазывая кулаками слезы, словно пытаюсь втереть их обратно в глаза — это выходило у нее как-то очень по-детски, — Нина рассказала о сегодняшнем разговоре с Нечаевым.

«Ну и что? — удивленно спросила Ольга. — Ему ведь только дожди снятся? Успокойся, пожалуйста. Мы с тобой тысячу раз говорили об одном и том же и ни о чем не договорились. Ну, ждешь ты его год, и еще год прождешь, а потом что?»

«Еще год», — сказала Нина.

«Так не должно быть, девочка! Человек не имеет права быть все время один да один... Я не знаю, может, ты святая какая-нибудь, но подумай сама — он же... он же не просто бросил тебя. Он тебя предал».

«Бросил, предал... — сказала, все еще всхлипывая, Нина. — Какая разница? А я вот чувствую — ничего другого у меня уже не будет. Понимаете, не может быть... Знаю, ругаю себя: дура ты, дура — и все равно... Я, конечно, не права?»

Этот разговор был продолжением или, вернее, повторением многих похожих, и Ольга знала, что переубедить Нину невозможно. Каждый человек по-своему носит свою беду. Когда-то она рассказала Нине о Дмитриии, о той потрясенности и опустошенности, которые пришлось пережить, да, все это она знает, сама перенесла. Нина знала и другое: потом Ольга вышла замуж и куда-то уезжала с мужем, но это было все, что она знала. Однако тетя Оля, в сущности единственный на всем свете родной человек, почему-то не пускала ее в эти годы своей жизни. Расспрашивать было неудобно. Нина пыталась догадаться почему. Почему она никогда не расскажет о своем муже? Если она была счастлива, то боится огорчить меня? А если несчастлива — не испугать этим призраком второй неудачной любви?

Уже стемнело, Нина спросила, можно ли ей остаться.

«Ну конечно, девочка! Зачем ты спрашиваешь?»

В комнате поставлена раскладушка (Ольга купила ее специально для Нины) и потушен свет, только от уличного фонаря желтый квадрат лежит на потолке.

«Скажи, ты уже привыкла к тому, что все время одна?»

«Я не одна... Кругом люди. Вы».

«Ты говоришь не о том, и я спрашиваю не о том. Если ты привыкла — это плохо, Нина. Так можно и зачерстветь. Встретишь хорошего человека, он тебя полюбит, а ты не ответишь. Не сможешь ответить... И одним горем на земле больше».

Эта мысль поразила Нину, и она приподнялась на своей раскладушке, глядя на белеющее в темноте лицо Ольги.

«А вы? А вы... тогда... когда встретили своего мужа? Почему вы никогда не рассказывали мне о своей жизни?»

Ольга не отвечала долго. Она словно раздумывала — надо или не надо рассказывать о том, что когда-то, очень давно, словно уже в другой жизни, случилось с ней.

«Ты хочешь, чтобы я рассказала?»

«Да».

«Ты можешь не понять, девочка. Там все было хорошо и... странно. Я ведь тоже думаю, думаю, думаю... Ведь у каждого человека по-своему, верно?»

Теперь уже не ответила Нина. Она замерла. Ей казалось, что вот сейчас перед ней откроется что-то такое, что перевернет ее представления о жизни. Ведь она, тетя Оля, человек, которого Нина любила с детства, не могла поступить худо.

Это было не любопытство одной женщины к жизни другой. Сейчас для Нины было необходимо знать все. Все! Потому что тогда она сама, возможно, сможет понять себя...

Тем летом Ольге казалось, что Большой город поразила странная эпидемия. Пожалуй, не было ни одной улицы, где бы что-то не делали: рыли траншеи, меняли трамвайные пути, выковыривали из мостовой старую брусчатку. Повсюду высились горы песка, по ночам город полыхал огнями электросварки, в знойном июльском воздухе неподвижно стоял запах расплавленного асфальта. Ходить по городу было трудно, и Ольге приходилось давать здорового кругаяля, чтобы попасть с работы домой, в общежитие, или прыгать с одной горы вывороченного песка на другую, если опаздывала на завод.

И на заводе тоже рыли, рыли, рыли, завезли трубы — будут давать *большой газ*, как писали в заводской многотиражке, и к цеху приходилось пробираться по гулким дощатым мосткам. Однажды она не выдержала. Экскаватор остановился почти у самого цеха, и Ольга спросила у экскаваторщика:

«Вы что здесь ищете? Клад?»

Немолодой человек засмеялся сверху, из кабины:

«А что? Вдруг найду? Бывали же такие случаи».

То лето оказалось на редкость жарким и душным, с частыми ночными грозами, не приносящими облегчения, и Ольга завидовала девчонкам, которые ушли в отпуска, разъехались кто куда — одни на Юг, другие «тарзанить» в турпоходах, третьи — к родным в деревню. Под стеклянной крышей цеха, в кабине крана было просто невыносимо. Она раздевалась, благо снизу не очень-то видно. Пот заливал лицо. После смены она уже еле двигалась и, только выйдя из душевой, словно бы оживала сызнова.

Девчонки звали ее с собой, но она не могла уйти в отпуск. Июнь — последний месяц квартала, и, когда в цехе составляли график отпусков, кто-то сказал:

«Мыслову не пускать, мы без нее и без Кулябиной зашьемся».

Так и не пустили двух лучших крановщиц. Конечно, ей это было приятно, но душными ночами в душной и пустой комнате общежития она завидовала девчонкам, которые купаются в каком-нибудь Онежском озере или блаженствуют в холодке на Риге.

За последние годы в этой комнате сменилось много девчонок. Тех, которые жили здесь шесть лет-назад, уже не было — укатили на далекие стройки, повыскакивали замуж, кто-то уехал обратно домой. Пожалуй, никто, кроме Ольги, не провел здесь столько — десять лет!

«Дура ты! — говорила ей комендантша. — Ты же десять лет в заводе, проси комнату, а то и квартиру. В ударницах ходишь, сама профорг! Тьфу, колода лежачая, глядеть на тебя тошно!»

Но она уже привыкла жить так — опекать девчонок, что-то устраивать другим и просить за других — и даже думать не хотела о каких-то возможных переменах в своей собственной судьбе.

В этом году она кончила десятилетку, и отпуск, конечно, полагался бы. Устала она здорово, что говорить. У нее был адрес одной девчонки, когда-то жившей здесь. Та писала: «Не езжай никуда, а езжай ко мне. Грибов у нас — косою коси, собираем и засушим, а в городе они по триста рублей за кило, так что еще и при деньгах будешь».

Самыми трудными оказывались выходные дни, когда надо было куда-то деваться, вырваться из этого душного, пахнущего асфальтом, раскаленного и перерытого города. Ильин давно звал ее к себе на садовый участок, даже сердился, что она не приезжает. Однажды она решила: надо поехать. Уже просто неприлично отговариваться каждый раз.

Сережке-маленькому она купила ружье с пистонами. Так и поехала — с ружьем, завернутым в газетку.

Найти дом Ильина оказалось просто. Он давно уже объяснял Ольге, как дойти: свернуть за водокачкой, потом перейти по мостику через ручей — и прямо. Она перешла мостик и увидела Сережку-маленького. Тот лежал на берегу и пил прямо из ручья. Когда Ольга схватила его на руки, Сережка заблажил и задрыгал ногами — он не узнал ее, но ружье сделало свое дело.

Он здорово вырос за год, что Ольга не видела его, и рожица у него стала потешная — этакий коричневый, с облезавшей от солнца кожей круг под выгоревшими волосами, и рот от уха до уха, и передних зубов нет. Сережка и привел ее к дому.

Собственно, не к дому, а к домишке-скворечнику, в котором можно было лишь спать да укрываться от дождя. Ильин, голый до пояса, что-то ладил к стенке — не то откидную койку, не то столик — здесь же, в комнатке, куда она заглянула через окошко, Надежда что-то готовила на электрической плитке.

«Наконец-то соблаговолила, — сказал Ильин. — Сейчас обе-
дать будем».

«Я не буду», — сказал Сережка.

«Он уже пообедал, — сказала Ольга. — Прямо из ручья».

«А потому что жарко», — сказал Сережка и начал целиться
из ружья в кастрюлю на плитке. Бах-бах!

Надежда торопливо накинула халатик — она была только
в лифчике и трусиках. Действительно, жарится!

«Ты, наверно, совсем изжарилась, пока шла?»

Надежда назвала Ольгу на «ты» впервые, и ей сразу стало
как-то просто здесь — все-таки ехать сюда ей не хотелось из-за
Надежды. Она еще помнила и это холодное: «Очень приятно»
и «Сережа много рассказывал о вас» — ни к чему не обязываю-
щие слова и такие же холодные встречи позже.

«Зови деда и бабушку», — сказала Сережке Надежда, и тот
побежал за дом.

Значит, они не одни, подумала Ольга. Значит, ее родители
приехали на лето.

И за обедом, и потом, после, до самого вечера, Ольга, все
время наблюдавшая за Надеждой и ее родителями, за Иль-
иным и Сережкой, пыталась ответить самой себе на один-един-
ственный вопрос: счастлива ли эта семья? Она видела, как
льнет к Ильину мальчишка, — только ему он дал подержать
ружье и обедать согласился лишь тогда, когда Ильин поставил
рядом с собой ящик (табуреток не хватило). Она заметила, что
тесть Ильина угрюм, молчалив, двух слов не сказал — с таким,
наверно, нелегко жить. А теща наоборот — болтуха, но чув-
ствовала в ней какая-то подозрительность к чужому человеку
в доме, да еще женщине. Надежда — та казалась просто уста-
лой, поэтому немного раздраженной.

«Век бы не было этой дачи, — сказала она за обедом. — Лю-
ди с ума посходили, только и разговоров, как воду подвести да
где «лию плодородную» достать».

«Ильин, — шутливо сказала Ольга, — а может, и на самом
деле у тебя частнособственнические инстинкты?»

«Какие там инстинкты! — махнул рукой Ильин. — У нас ра-
циональное хозяйство. Ты пойдешь погляди, что здесь дед да
бабка наковыряли!»

Она пошла поглядеть. Участок-то был с гулькин нос, но
клубника висела здоровенная, она увидела кусты малины
и крыжовника, огурцы доцветали, и крохотные еще огурчики
с колючими пупырьками торчали во множестве из-под
огромных, каких-то тропических листьев. Казалось, здесь не
пропал зря ни один сантиметр. И даже узенькие тропочки бы-
ли выложены по бокам побеленными кирпичами. Ну, тесть
у Ильина военный, и эти побеленные кирпичи — оттуда, из ар-
мейской привычки.

Заметила она и другое.

Время от времени обращаясь за чем-либо к Ильину, На-

дежда не скрывала своего легкого раздражения, и ее слова походили порой на приказ: «Принеси воды», «Достань чистое полотенце», «Опять ты куда-то засунул мои босоножки?»

И Ильин приносил воду, доставал чистое полотенце, вытаскивал ее босоножки.

Все эти команды, этот тон Надежда словно бы выставляла напоказ, как бы желая сказать Ольге: вот как я с ним, и это правильно, милая моя, это в порядке вещей, потому что жена всему голова. Но все это можно было истолковать и проще и иначе: «Он *мой* и куда уже от меня не денется. Я могу капризничать. Я могу требовать. И он все сделает, потому что любит только меня». Она выставляла перед ней не свою любовь, а свою власть над Ильиным, будто его любовь давала ей право властвовать.

Ерунда, подумала Ольга. Просто я не могу быть беспристрастной. Люди уже привыкли друг к другу. Это всегда бывает так. И еще — жарница.

Вместе с Ильиным она села в тени, и вдруг Ильин сказал: «Тебе здесь нравится?»

«Ну, — ответила она. — Все-таки малышу здесь лучше. В городе дышать нечем».

«Я не о том», — сказал Ильин.

«Вы что, поссорились?» — спросила Ольга.

«С чего ты взяла?» — удивился он, приподнимаясь и ища глазами Сережку. Она тоже посмотрела — Сережка играл сам с собой на лужайке через дорогу в футбол.

«Забавный парень, — сказала Ольга. — Он тебя здорово любит».

«Да, — улыбнулся Ильин. — Я тебе потом покажу... Он написал сказку».

«Написал? В пять-то лет?»

«Ему осенью шесть. А в сказке всего три слова: «Кот лавила мышку»».

«Слушай, Ильин, — даже не улыбнувшись, спросила Ольга, — почему у вас нет своих детей?»

Он ответил не сразу. Очевидно, ему надо было подумать, чтобы не сказать правду. Но когда он сказал: «Надя попросила, чтоб мы немного пожили для себя», — она подумала, что Ильин все-таки сказал ей правду. Что ж, люди еще молодые, живется им пока не очень-то легко, так что все впредь.

«А как ты?» — тихо спросил Ильин.

«Все так же», — ответила Ольга.

«Почему? — вдруг резко и громко сказал он. — Сейчас ты будешь мне объяснять, что одним не нравишься ты, другие не нравятся тебе. Но человек не имеет права быть одиноким. Ты что, все помнишь, того?»

«Нет».

«Ты сдалась, Ольга. Плынешь себе по течению, и все-то те-

бе равно — к какому берегу прибьет. Счастье, милая моя, искать надо. Само в руки ничего не приходит».

«А ты искал? — усмехнулась Ольга. — Я пойду играть в футбол с Сережкой».

Она поднялась и пошла на лужайку. Было жарко, и она, и Сережка взмокли, но ей нравилось все: и как Сережка отбирал у нее мяч, как лихо обводил ее, как забивал «гол» в ее «ворота» (две сосенки), и прыгал, потрясая в воздухе кулачишками, и орал: «Пять-ноль в пользу *«Ломокотива»!*!» — хотя было не пять-ноль, а четыре-один.

Он был счастлив, Сережка, и тетя Оля была для него самой лучшей тетей на свете, и он заныл, когда она начала собираться на электричку. Утешило его только то, что отец разрешил ему проводить тетю Олю. Он бежал впереди, целясь в деревья из ружья, нырял в кусты и палил оттуда, а Ильин и Ольга шли молча.

Прощаясь, Надежда сказала: «Заезжай»; теща: «Будете свободны — милости просим»; тесть: «Всего доброго».

Только тогда, когда показалась станция, Ольга сказала: «Ты здорово изменился, Ильин».

Ухмылка Ильина была печальной.

«По сравнению с первоклассником, у которого болело ухо?»

«Нет. Вообще».

«Где-то я читал, что времена меняются и мы меняемся вместе с ними. Просто... Просто мы с тобой живем по-разному, Оля, и чего-то не понимаешь ты, чего-то не понимаю я. Но я-то вижу твою неприязнь к Наде и...»

Ольга перебила его:

«Скажи еще, что это ревность! Я просто хочу, чтоб ты был счастлив, Ильин».

Она обернулась, позвала Сережку, опустилась перед ним на корточки, и Сережка, обняв ее, снова заныл. Ему никак не хотелось, чтобы такая удивительная тетя, умеющая играть в футбол, уезжала. В поезде она вспомнила: «Кот лавила мышку» — и улыбнулась этой маленькой, в три слова, Сережкиной сказке...

Что произошло сегодня? Да ничего не произошло. Но все-таки Ольге было беспокойно, ей казалось, что она узнала что-то такое, что Ильин не хотел открывать, а она словно бы подглядела и не может успокоиться. И как бы она ни уговаривала себя, что все это лишь ее домыслы, неприятное ощущение не покидало ее.

Жара, жара!..

Ольге не хотелось вылезать из-под душа, и она стояла под ним до тех пор, пока по рукам не пошли мурашки. Теперь надо добраться до дома, а там снова под душ. О мороженом она даже не мечтала: за ним стояли верстовые очереди.

Из цеха она вышла одна. Прямо перед выходом была глубокая канава — успели прорыть за день. Экскаватор стоял поодаль, и тот пожилой экскаваторщик примостился в его тени.

Сегодня утром, пробегая в цех, она поздоровалась с этим пожилым человеком. Сейчас он помахал ей рукой, и Ольга остановилась.

«Хотите пивка? — крикнул он. — У меня холодное».

«У вас что, экскаватор с холодильником?» — крикнула в ответ Ольга.

«Еще лучше. Идите сюда!»

Она пошла по узенькой кромке между песчаной насыпью и стеной цеха и перемахнула через канаву. Экскаваторщик протянул ей руку и помог выбраться из песка.

«А теперь смотрите».

Он спрыгнул в канаву, нагнулся, разрыл песок в стенке и вытащил две завернутые в мокрую тряпку бутылки.

«Нашли клад? — засмеялась Ольга. — Пиво времен Ивана Калиты?»

«Нет, современное, — сказал он, протягивая Ольге бутылки и выбираясь вверх. — Только вот стаканчиков не имеется, так что придется прямо из горлышка. За границей, между прочим, все так пьют».

«А вы что, бывали за границей?»

«Бывал в войну», — сказал он.

Ольга вскрикнула, когда он зубами открыл железные пробки, а он только улыбнулся ее испугу.

«Чокнемся?»

«А за что?» — спросила Ольга.

«Можно и за меня, — сказал он. — Юбилей вроде бы. Сорок лет».

«Вам?»

«Непохоже?»

Она разглядывала его: сильно поседевшие, когда-то, наверно, густо-черные волосы, резкие морщины на лбу, по краям рта и в уголках глаз.

«На вид больше», — сказала Ольга и смутилась: вышло не очень-то хорошо.

Он, снова улыбнувшись, потянулся к куртке, висящей на дверце экскаватора, вытащил из кармана паспорт и протянул ей.

«Проверим, — строго сказала Ольга. Надо было как-то выкручиваться после неудачно вырвавшихся слов. Она раскрыла паспорт. — Ерохин Иван Данилович, 18 июля 1916 года, село Быльчино, Яжелбицкого района, Новгородской области... Русский, военнообязанный... Все правильно, — сказала она, возвращая паспорт. — Тогда за вас».

Пиво действительно было холодным, она с удовольствием выпила всю бутылку.

«Ну вот, — сказал Ерохин, — и отметили мой юбилей. Спасибо вам».

Он старательно отводил глаза. Ольгу поразило, с какой тоской Ерохин поблагодарил ее, и каким-то чутьем угадала, что этот человек ждет ее вопросов и не хочет, чтобы она уходила.

«Банкет будет вечером?» — спросила она.

«Какой там банкет! — махнул он рукой. — Куплю маленькую да колбаски...»

«Вы что же... — начала Ольга и осеклась. Любой следующий вопрос мог бы причинить ему боль. Все-таки она спросила: — А друзья? У вас что, друзей нет?»

«Были, — ответил Ерохин. — Последнего сам в Праге схоронил, а новых заводить — годы не те. Да ведь не сразу и найдешь, верно? Погодите, я свою коломбину закрою».

Он закрыл дверцу экскаватора, кинул куртку на плечо и кивнул: пойдете. Ольга шла рядом, чувствуя, что вот сейчас сделает то, чего, наверно, не надо делать. Что он подумает обо мне, если я скажу... А, пусть думает, что хочет.

«Ну, хотите, я побуду сегодня с вами?»

Ерохин смотрел в сторону. Казалось, он даже не расслышал, что она сказала.

«Нельзя же в такой день быть одному», — добавила Ольга, как бы пытаясь смягчить неожиданность сказанного. Конечно, он идет и думает: ну и девка, сама вешается на шею, а я даже не знаю, как ее зовут.

«Спасибо, милая, — тихо сказал Ерохин. — Если, конечно, вы можете... Если вам...»

«Меня зовут Ольгой», — сказала она.

Ерохин заметно вздрогнул.

Они миновали проходную, и Ерохин закурил. Он словно бы еще думал о ее предложении — провести вечер вместе, словно был ошарашен им. Ольга стояла красная от стыда — хорошо, что он не смотрит на меня.

«Мне надо бы вымыться и переодеться, Оля, — сказал Ерохин. Сейчас он был в замусоленной клетчатой рубашке и блестящем, будто металлическом, тяжело пахнущем бензином комбинезоне. — Куда за вами зайти?»

Ей не хотелось, чтобы Ерохин заходил в общежитие. Они договорились встретиться в семь часов на углу Чкалова и Садовой, там, где магазин «Старая книга». Уходя, Ольга обернулась. Ерохин стоял на том же месте и курил, глядя ей вслед. Она помахала ему и увидела, что он улыбается, и даже на расстоянии было заметно, какая у него радостная улыбка. Все правильно, подумала Ольга. Конечно, в такой день он не должен быть один...

В ресторане «Волна», куда они пришли, оказалось малолюдно и тихо. Они сели за дальний столик у открытого окна —

там было не так жарко, и Ерохин, оглядевшись и увидев, что мужчины за другими столиками сидят без пиджаков, попросил разрешения снять свой с тремя рядами ярких ленточек над карманом.

В этом новеньком синем костюме и белой рубашке он выглядел странно и казался Ольге совсем другим, ничуть не похожим на того человека, который два часа назад позвал ее пить холодное пиво. Может быть, потому, что Ольга быстрее справилась со своим смущением (второй раз в жизни пришла в ресторан), она замечала, как смущен непривычной обстановкой Ерохин, как он прячет под столом руки, и лицо у него такое растерянное, будто сидит и ждет одного — как бы поскорее выбраться отсюда. А когда официант положил на их столик меню и замер белым столбом, Ерохин торопливо сказал ему:

«Нет, пожалуйста, вы уж сами... Получше чего-нибудь. За деньгами я не постою».

«Что будете пить?» — холодно спросил сверху белый столб.

Ерохин поглядел на Ольгу. Она тряхнула головой:

«Коньяк! Одну... нет — две рюмки».

«Сто грамм, — сказал столб, записывая в блокнотик. — А вы?»

«Мне лучше водочки», — сказал Ерохин все так же смущенно, будто просил бог весть чего неприличного.

Столб сказал, что есть осетрина, икра, на горячее антрекоты или, может быть, лучше котлеты по-киевски, мороженое. Ерохин обрадовался — вот-вот, мороженое! Когда официант ушел, он даже вздохнул с облегчением.

Официант не спешил, и хорошо, что не спешил: Ерохин успел освоиться здесь. Даже закатал рукава своей белой рубашки — открытое окно не помогало, с улицы в ресторан тек раскаленный воздух. На обеих руках Ерохина была татуировка: змея, обвинившая обнаженную женщину, сердце, пробитое стрелой, и два имени: «Ольга» — на левой и «Валя» — на правой. Он перехватил взгляд Ольги на татуировку и снова спрятал руки под стол.

«Это у нас в дивизии один художник был, — сказал он. — За банку тушенки хоть с ног до головы разрисовать мог. Ну, ребята по глупости и шли к нему...»

«Вы тоже... по глупости?» — спросила Ольга.

«Наверно, — сказал Ерохин. — Сколько мне было тогда? Двадцать шесть, двадцать семь...»

Столько, сколько мне сейчас, подумала Ольга. Четырнадцать лет назад. А я сижу и не чувствую, что он совсем пожилой.

«Ну, еще и для памяти, — продолжал Ерохин. — Валя вот — это у меня жена была, а Оля — дочка. («Вот почему он вздрогнул тогда!» — подумала Ольга.) Мы ее Олюськой звали. «Олюшка, Олюшка», — а она еще не может сказать, как надо, и выходило у нее — Олюська. Так и осталось — Олюська».

«А потом?» — спросила Ольга, когда Ерохин замолчал, разглядывая свои руки, то сжимая кулаки, то разжимая их.

«А потом — что? — тихо ответил Ерохин. — В сорок первом под Москвой меня ранило, отвалился в госпитале, приехал сюда... От дома одна стенка стоит. В октябре бомбежка была, ну, и... обеих... Люди подтвердили».

«Я помню эту бомбежку, — сказала Ольга. — Я тогда на барже жила, возле Липок, на том берегу».

! «Ну! — удивленно сказал Ерохин. — Я же помню эту баржу! Серая такая, с домиком — точно? Я тогда как полоумный по городу ходил, вот и запомнил. Скажи на милость, вон еще когда могли бы встретиться!»

«Нет, — ответила Ольга. — Я тогда уже в детдоме была».

Официант все не шел и не шел — они не замечали этого. Им надо было наговориться. Вернее, надо было выговориться Ерохину, словно бы перебрать сегодня все свои сорок лет, один год за другим. И как мальчишкой в тридцать втором ушел из деревни сюда, в Большой город, и работал на стройке — рыл котлованы, благо к лопате привычка сызмальства, и срочную служил опять же в саперах, и хорошую жизнь увидел только перед войной; а потом война, и сколько он на ней снова земли перекопал — не сосчитать. А потом — что потом? Конечно, можно было бы и на волжские стройки податься, его звали ребята, — не поехал. Память, как цепью, держит. Поэтому и не женился снова, должно быть.

«А вы?» — осторожно спросил Ерохин.

«Что я?»

«Вы-то как живете?»

Ей повезло. Официант принес на подносе два маленьких графинчика — с водкой и коньяком, икру, рыбу, салат. Вот сейчас можно поздравить Ерохина по-настоящему. Она подняла свою рюмку.

«Давайте за то, чтоб в другие сорок лет все было хорошо», — сказала она.

«Ну, — улыбнулся Ерохин, — столько уже не протянуть».

«Ерунда, — сказала Ольга. — Я читала, что нормальный возраст человека — двести лет. Так что вы постарайтесь уж».

Потом играл оркестр, музыканты были тоже в одних рубашках и после каждого номера долго вытирали платками пот. Вот тут Ольге и Ерохину не повезло. Оркестр играл рядом, и, для того чтобы услышать друг друга, надо было перегибаться и кричать.

«Что вы любите?! — кричал Ерохин. — Какую песню? Я закажу для вас».

«Не надо, — кричала она, — лучше пойдем отсюда. На улице лучше».

От жары, духоты и коньяка ей было трудно дышать. Но Ерохин не уступал. Ему обязательно, непременно надо было заказать любимую песню. Она сдалась, попросила «Первое

свидание». Ерохин пошел к оркестру, уже совсем ничего не смущаясь и на ходу доставая из кармана брьюк деньги. Когда он возвращался, Ольга услышала, как один из музыкантов громко сказал: «Жирный карась», — и ей было неприятно, что это, видимо, Ерохина назвали так, и «Первое свидание» она слушала с этим чувством неприязни к музыкантам. Лучше скорее уйти... На улице она взяла Ерохина под руку.

«Пойдемте к реке, — сказала она. — У воды не так жарко».

Все-таки от двух выпитых рюмок у нее чуть кружилась голова, но это было легкое чувство. Даже тот трудный разговор за столом отодвинулся куда-то, и Ольга не вспоминала о нем. Она была рада, что все так хорошо получилось и этот, в сущности, совсем незнакомый ей человек не остался сегодня один, а до конца вечера еще далеко, и сейчас они посидят на реке, а потом разойдутся по домам, чтобы встретиться уже завтра.

На реке было много гуляющих и рыбаков с удочками. Ольга и Ерохин с трудом нашли место на скамейке. Здесь и впрямь оказалось прохладно, или все-таки с вечерними сумерками жара немного спала — во всяком случае, предложи ей Ерохин пойти еще куда-нибудь, она не согласилась бы.

«Вон там стояла баржа, — сказал Ерохин, показывая в сторону Новых Липок. — Кажется, я даже постоял на ней немного. Уже не помню точно».

Ольга не ответила. Этот день оказался и для нее неожиданно праздничным. Неказенный, старомодный уют ресторана, полутемный (огни еще не зажглись) и поэтому чуть загадочный город, река с белыми прогулочными парходиками, гуляющая толпа — слышны голоса, смех, шорох ног по тротуару, замершие возле своих удочек рыбаки и над всем этим — заря вполне ба с редкими неподвижными розовыми облачками — все, все воспринималось Ольгой с особенной остротой первоузнавания. И этот человек, Ерохин, — полно, только ли сегодня они познакомились? Его нелегкая судьба удивительным образом переключилась с ее собственной: та бомбежка в октябре сорок первого, баржа, которую он запомнил, — это было и из ее жизни тоже.

А люди, которые сидели рядом или на соседних скамейках или неторопливо проходили мимо, — они тоже были как бы участниками сегодняшнего праздника, с той лишь разницей, что она, Ольга, была среди них первой. Перезвон гитары где-то вдаль казался ей необходимым в этом празднике. Она прислушалась к озорной мелодии и заметила, что Ерохин тоже прислушивается.

«Вам не холодно? — спросил он. — Возьмите мой пиджак».

Она чуть подалась вперед, и Ерохин набросил на ее плечи свой пиджак. Ольге вовсе не было холодно — ей было приятно от этой короткой, ласковой заботливости. Она запахнула большой пиджак, словно закуталась в него, и, скосив глаза на яркие ленточки, спросила:

«Это у вас какие ордена?»

«Всеякие, — сказал Ерохин. — Две Красные Звездочки и «Знак Почета» — вот этот беленький с желтеньким. В прошлом году получил».

Опять они долго молчали. Плыл, плыл тихий теплый вечер, и заря не сходила с неба, и люди все шли и шли. Ольга прикрыла глаза — и вот уже не шаги вовсе, а вода шуршит за бортом баржи, и это не скамейка под ней, а палуба, как давно, в детстве, и она плывет куда-то, ни о чем не думая и ничего не боясь.

Быть может, поэтому она и не заметила, пропустила тот момент, когда вдруг все переменялось. Она не видела троих — в рубашках с завязанными на животах подолами, хмельных, уверенных в своей силе и не признающих запретов, — троих, что сели на соседнюю скамейку к двум девушкам. Не заметила, как сразу же вокруг той скамейки образовалась пустота. Люди старались быстрее пройти мимо. А те куражились, их руки были грубы, шутки гадки. Они не пускали девушек, когда те встали и попытались уйти. Одна из них толкнула парня в грудь, и тот, пошатнувшись, сбил ее с ног короткой, беспощадной подсечкой.

«Эй вы, — сказал Ерохин, — за такие дела и загреметь можно».

Он встал и, подойдя к девушке, помог ей подняться.

«А ты не кудахтай, батя. Вали отсюда».

Они ржали, эти трое сытых, пьяных, довольных собой. Тот, который сбил девушку, зацепил ногой за ногу Ерохина, пытаясь повалить и его. Ольга замерла. Она не уловила тот момент, когда Ерохин ударил парня в солнечное сплетение. Она только увидела, что парень, согнувшись, мягко, боком опустился на тротуар.

«Ну? — сказал Ерохин. — Сами уйдете, или побеседуем?»

«Побеседуем, — отозвался один из парней, сунув руку в карман, и, прежде чем Ольга сообразила, что сейчас он вытащит нож, парень уже вытащил его и отступал, открывая нож и глядя Ерохину в глаза. — Сейчас побеседуем, батя».

Тогда Ольга закричала. Собственный крик оглушил ее. Пустота вокруг расширилась. Она не видела никого. В мире было только трое: она, неподвижная от ужаса, парень с ножом, глядящий на Ерохина белесыми, яростными глазами, и Ерохин.

Потом она так и не могла вспомнить, что произошло. Рука с ножом наткнулась на левую руку Ерохина. Короткое движение правой, словно нырок под локоть парня, — и нож вывалился, стукнувшись об асфальт. Она видела напряженную, побавровевшую шею Ерохина и глядела только на нее. Тонкий вопль парня не дошел до Ольги. Она опомнилась лишь тогда, когда Ерохин отошел в сторону, а парень выл и крочился на земле.

Вот тогда она и бросилась к Ерохину. Он остановил Ольгу. «Погоди, Оля. Вынь из пиджака платок».

Она ничего не понимала. Верней, она понимала, что все кончилось, что Ерохин жив, — остальное неважно. Ерохин улыбнулся.

«Ну, чего ты испугалась? Где платок-то?»

Какой платок, зачем платок? Господи, да у него вся рука в крови! И на рубашке кровь. Ей никак было не достать платок, она дрожала, но пустота вокруг исчезла уже. Кто-то перетягивал Ерохину руку поверх раны, кто-то держал тех двух парней (третий сбегал), кто-то пытался остановить хоть какую-нибудь машину.

...Она долго ждала в вестибюле поликлиники, пока Ерохину накладывали швы. Он вышел бледный, но улыбался, будто ничего особенного не произошло. Рука была забинтована и лежала на перевязи. Ольга сказала:

«Я побегу за такси».

«Погоди, — остановил он ее. — Я покурю немного. Дай мне папироску, пожалуйста. — Закурил, блаженно затаился и добавил: — А зачем тебе такси? Я тут совсем рядом живу».

Ольга довела его до дому, зашла к нему — и осталась у него.

Это произошло очень просто, будто Ольга давным-давно, много лет знала, что придет именно такой вечер и именно Ерохин тихо скажет: «Не уходи» — и она, отвернувшись, так же тихо ответит: «Не уйду».

Утром она пошла на завод одна. Ерохин рвался хотя бы проводить ее, Ольга еле уговорила его не делать этого.

Она старалась не смотреть на Ерохина. В маленькой прихожей он обнял ее одной рукой и прижался лицом к ее лицу.

«Когда ты вернешься? После смены?»

«Ты хочешь, чтоб я вернулась?»

«Я хочу, чтобы ты была со мной...»

«Мне пора...»

Перед проходной, как всегда, в это время стояла медленно движущаяся толпа. Ольга достала из сумочки пропуск. Кто-то взял ее сзади за локоть, она обернулась: Ильин.

«Чего это ты такая нарядная? — спросил он, не поздоровавшись, и, не дожидаясь ответа, заговорил с деланной ворчливостью: — Удружила ты нам. Теперь от Сережки отбоя нет: либо сам гоняй с ним в футбол, либо подавай ему тетю Олю. Когда приедешь?»

«Не знаю».

Ильин поглядел на нее, и что-то такое было сейчас в лице Ольги, что он, уже догадываясь, спросил:

«У тебя что-то произошло?»

«Кот лавила мышку, — засмеялась Ольга. — Наверно, я скоро выйду замуж, Ильин».

Она еле дождалась конца смены. Торопливо вымылась,

переделась, выбежала на улицу. Надо заскочить в магазин, купить чего-нибудь на обед — Ивану и мне. Но Ерохин уже стоял возле проходной — в том же новом костюме, что и вчера, и с букетом цветов. У него было напряженное, даже, пожалуй, испуганное лицо.

«Ну зачем ты пришел? — чуть не плача спросила Ольга. — Ты же совсем зеленый».

Она поняла: Ерохин просто боялся, что она не вернется. Он глядел на нее, и напряженность мало-помалу сошла с его лица, теперь он улыбался, улыбался счастливо, как будто скинул с себя невидимую тяжесть. Цветы он протянул молча.

Но потом — месяц, и два, и три спустя — Ольга не раз замечала то же самое напряженное, по-детски испуганное его лицо — он все не верил в свое счастье, все боялся, что оно может кончиться так же быстро и неожиданно, как и пришло.

К Ерохину Ольга перебралась недели через две. Он сам подъехал к общежитию на такси, помог перенести ее вещи — два чемодана и тяжеленную картонную коробку с книгами. Комendantша общежития, Марья Петровна или сокращенно — Марпет, всплакнула напоследок, — все-таки десять годиков вместе! — обещала обязательно навестить Ольгу («И ты тоже не забывай нас!»). И Ольга села в машину рядом с Ерохиным.

У него была отдельная квартира. Впрочем, он сделал ее сам. Сразу после войны ему отдали крошечную кирпичную пристройку, в которой прежде была кладовая жактовских водопроводчиков. Он выкроил место для прихожей (теперь там стояли газовая плита и самодельный кухонный столик), сам поставил перегородку и дверь, сам настелил пол. Комната получилась небольшая и темная: единственное узенькое, как крепостная бойница, окошко упиралось в глухую стену соседнего дома. Зато свой вход прямо со двора и цементная цветочница с настурциями стоит у двери.

Года два назад ему предложили переехать в новый дом — большая светлая комната, правда в квартире двое соседей, зато лоджия, и вид на реку, и горячая вода, и ванна. Он отказался. Бог-то с ним, с видом и ванной! Все ребята в управлении, которые получили квартиры, все равно ходили в баню с веничками.

Здесь, в этой темной комнате, поместились кровать, шкаф, стол и два стула, небольшая — тоже самодельная — полка, на которой стояло пять или шесть подписных изданий. На стене висела большая раскрашенная фотография девочки — должно быть, ее увеличили с маленькой, черты лица были расплывчатые, ретушь и краски только портили его. Это была Олюська, погибшая в сорок первом дочь Ерохина. Валиной же фотографии не было, Ерохин не сохранил ее во время войны, да, и эта, Олюськина, у него уцелела каким-то чудом.

Еще здесь висела вправленная в раму белая мраморная доска, на которой были вырезаны женщины в туниках, прости-

рающие руки над огнем. Один угол доски был отбит. Эту доску несколько лет назад Ерохин подцепил ковшом своего экскаватора, очистил, отмыл и приволок в городской музей — мало ли что? Вдруг какая-нибудь историческая ценность? Но в музее сказали, что никакой ценности в ней нет — обычная каминная доска начала прошлого века, таких в запаснике десятка три наберется, так что спасибо, дорогой товарищ, можете повесить ее у себя дома.

Никакой свадьбы не было. Хотя Ерохин и предлагал устроить пир на весь мир, Ольга не согласилась. Зачем? Не лучше ли пойти в тот же самый ресторан, пригласить несколько человек, посидеть пару часов — и все. Ерохин торопливо и послушно сказал:

«Хорошо, давай так, если хочешь...»

Впервые в жизни на Ольгу обрушилась такая заботливость, что временами она думала: полно, со мной ли все это происходит? Не во сне ли все это? Ерохин еще не работал — порезанная рука болела, но это не мешало ему готовить, убирать, мыть посуду. Ольга воспротивилась. Пришлось пойти на хитрость. Она сказала:

«По-моему, ты не очень-то хочешь расстаться со своей холостяцкой жизнью».

Этого оказалось достаточно, чтобы Ерохин тут же согласился не готовить больше, не убирать дом и не мыть посуду. Но, стоило ей взяться за какое-нибудь домашнее дело, он ходил за ней следом или просто становился рядом. Казалось, он и минуты не мог пробыть без нее.

Вместе с тем это была еще и странная пора. Станным оказалось впервые в жизни заняться мужскими рубашками или носками — господи, да кто же так штопает? У тебя нет зимнего пальто? Обязательно нужно купить зимнее. Станным и неловким было, что Ерохин, протянув ей сберкнижку, сказал:

«Я тут доверенность на тебя оформил, так что давай теперь распоряжайся этим делом сама».

У него оказалось что-то около четырех тысяч. Вот и хорошо. Зимнее пальто — в первую очередь. И еще — ложки, ножи и вилки.

В тот день, когда они расписались, Ольга поверила наконец, что все это не сон, что все это происходит с ней и теперь ее жизнь действительно перевернулась и пошла по-другому, но вовсе не потому, что добавилось забот, а потому, что от нее одной начало зависеть счастье другого человека. Еще не зная, как она может сделать его счастливым, она думала, что *должна* сделать это.

А пока они пошли в тот же самый ресторан.

Еще накануне Ольга была там и заказала столик на восьмерых. Ерохин пригласил какого-то своего ученика и секретаря партбюро управления (их Ольга не знала), с ее же стороны бы-

ло четверо приглашенных: Ильин с Надеждой, Анна Петровна и комендантша общежития Марпет.

Она волновалась — как соберутся гости, понравится ли им в ресторане, что потом скажут о Ерохине Ильин или Анна Петровна? Марпет не пришла, постеснялась, должно быть. Секретарь партбюро Максимов — маленький, ей по плечо — начал было говорить долгую, заранее приготовленную речь, потом махнул рукой и засмеялся:

«А, ладно, пусть у вас все будет хорошо. Горько!»

Пришлось целоваться на людях. На них смотрели из-за соседних столиков, кто-то захопал, и Ольга стояла совсем красная от смущения.

Снова играл оркестр, и Ильин пригласил Ольгу на танец. Они отошли от своего столика, и Ольга спросила:

«Ну, что ты скажешь?»

«Скажу, что тебе видней».

«Не очень-то вразумительно, Ильин».

«А чего ты хочешь?»

«Тебе не нравится мой муж?»

«Достаточно того, что он нравится тебе, — ответил Ильин. Он был хмур. — Ты можешь сказать правду?»

«Правду?» — переспросила Ольга.

«Да. Ты любишь его? Или это... так, лишь бы выскочить замуж? Что ж ты молчишь?»

«Я ему нужна, — сказала Ольга. — Ты должен понять это, Ильин».

И все. Больше никаких разговоров не было.

За столом Анна Петровна вспоминала девочку, сидящую на школьном подоконнике, — ту совсем маленькую Ольгу, и качала головой: как быстро идет время. И Сережу Ильина тоже вспоминала — того упрямого, малоразговорчивого мальчишку, которого в классе все уважали и — чего уж греха таить — побаивались, потому что ребята в этом возрасте признают только силу.

«Когда их взяли в детский дом, Сережа сказал, что ходить будет только в старую школу, в Липки. Господи, какие были скандалы! И никто ничего с ним не смог сделать — настоял-таки на своем. Так и ходили вместе с Ольгой».

«Он и сейчас неудобный человек, — сказала Надежда. — Его и на заводе, я слышала, так зовут. Ну, а насчет упрямства...» — она не договорила и рассмеялась. Это, должно быть, означало — поискать таких или — знали бы вы, какой он сейчас.

«Неудобный человек», — подумала Ольга. Просто у него такой характер. Не все люди любят, когда им в глаза говорят правду, или хотят знать только правду. Даже на сегодняшний разговор во время танца она не обиделась. Ильин хотел знать правду, вот и все.

Неожиданно для Ольги Надежда весь вечер была оживлена, рассказывала о Сережке-маленьком, шутила, что вот и тебе

скоро... Ольга смутилась снова и отмахивалась, смеясь: так уж и скоро! Нет, сегодня Надежда очень, очень нравилась ей. А вот ученик, сменщик Ерохина — славный такой паренек Коля, — сидел уставившись в тарелку, словно не на свадьбу пришел, а на поминки. Ольга спросила его, что с ним, и Коля как-то обиженно ответил:

«Будто сами не знаете!»

«Что я должна знать?» — снова спросила Ольга. Ответил за него Ерохин, и от Ольги не скрылось, что сделал он это торопливо, как бы стараясь опередить Колю:

«Да, понимаешь, тут на управление разнарядка пришла — посылают наших кого куда. В командировки, одним словом».

«Разве ты...» — начал было Максимов и тут же осекся.

«Меня вот тоже на партбюро вызывали, — сказал Ерохин. — Говорят, коммунисты в первую очередь...»

«Это куда же?» — спросила Ольга. Теперь Ерохин промолчал, поглядев на Максимова, и ответил уже тот:

«В основном в Среднюю Азию. На канал».

«Я сказал, что надо посоветоваться с женой, — сказал Ерохин. — С тобой то есть».

За столом стало тихо. Максимов начал разливать по рюмкам вино, чтобы хоть чем-то занять себя.

«Так сразу...» — тоскливо сказала Ольга.

«Вместе бы и поехали, — неуверенно сказал Ерохин. — Очень это большое дело».

«А что? — весело сказала Надежда. — И поезжайте! Ты же нигде, кроме нашего города, не была, ничего не видела. Не навсегда же это, верно?»

«На год, — сказал Максимов. — Ну, на полтора — от силы».

«Поезжай, — уже уверенно сказала Надежда. — Я даже завидую тебе, честное слово».

«Я бы поехала, — кивнула Ольга. — Тебе когда надо дать ответ?»

«Он уже дал, — рассмеялся Максимов. — Ну, брат, и повезло тебе! Вот это жена так жена! Я ему говорю: ты посоветуйся с женой, а он мне — чего тут советовать? Она все поймет, я в ней уверен».

И сразу всем стало весело, только Коля улыбался как-то боком, косенько — ему не хотелось расставаться с Ерохиным.

«Ох, муж ты мой муж, — вздохнула Ольга, с удивлением прислушиваясь к этим словам: *мой муж*. — Вон ты какой, оказывается! Все рассчитал! А если бы я заартачилась?»

«Взял бы тебя на руки и понес», — ответил Ерохин.

«На вокзал?»

«Да хоть до самой Средней Азии», — сказал Ерохин, нагибаясь к ней и целуя ее.

...Перед отъездом Ольга выкроила часок — купила пирожных и забежала к Анне Петровне. Чай пили на кухне, вдвоем: Кира и ее муж были на Юге, в отпуске.

На какую-то минуту Ольга подумала: как же Анна Петровна была права тогда, в тот день, когда я была у нее! Тогда мне казалось, что жизнь потеряла всякий смысл. Я была словно выпотрошенная рыба, для меня кончилось все. А ничего не кончилось, все только начинается. Быть может, немного поздно, но это ерунда.

«Я рада за тебя, Оленька. По-моему, он очень славный человек. Знаешь, я давно заметила, что сильные люди хороши тем, что преувеличивают слабость других, и это делает их особенно добрыми».

«Спасибо, Анна Петровна...»

«За что же спасибо-то? А вот жена Сережи Ильина мне как-то не пришлась».

«Почему?» — удивилась Ольга.

«Я уже старая, Оленька, — грустно сказала Анна Петровна. — Это ты не понимаешь, почему она так радовалась, что ты вышла замуж, а я понимаю...»

Ольга вспыхнула. Ничего подобного! Почему бы ей на самом деле не радоваться? Нет, нет, Надежда очень порядочная и тоже добрая.

«Это ты порядочная и добрая», — сказала Анна Петровна, поглаживая Ольгу по плечу. Ольга вспомнила это ласковое прикосновение. Оно было таким же, как и тогда, в детстве, и, как тогда, прижалась к руке Анны Петровны щекой.

«Вот я уже и спорить с вами начала. Совсем отбилась...»

Прощаясь, обе поплакали, хотя чего же плакать-то? Через год-полтора командировка кончится, увидимся, и Анна Петровна кивала — ну конечно, увидимся! Ты только пиши, как устроишься, как живете, как работаете... Нет, у Ольги даже предчувствия не было, что они видятся сегодня в последний раз.

...Нина ни разу не перебила ее. Она только осторожно перебралась на диван, к Ольге, и села у нее в ногах, кутаясь в халатик. «Поймет ли она меня? — тревожно подумалось Ольге. — Но теперь-то все равно...»

Возвращение Ольги в Большой город было нелегким. Она знала, что рано или поздно встретит Ильина и придется рассказать ему все, что с ней произошло за шесть лет, и уже одно это заставляло ее оттягивать час встречи.

Все-таки они встретились — на заводе. Он постарел, подумала Ольга, ему никак не дашь тридцати двух, на вид все сорок: у Ильина уже были седые виски, нос заострился, черты лица стали резкими, глаза запали и были обведены темными тенями, как у человека, перенесшего тяжелую болезнь, но он не болел — это у него от усталости. Ольга разглядывала его

с острым чувством жалости. Да и на меня он, наверно, смотрит такими же полуузнающими глазами.

«Ты сегодня придешь?»

«Нет».

«Приходи, — сказал Ильин. — Нечего сидеть дома. Ничего не кончилось, ты жива, и надо подумать о будущем. Вместе это всегда легче».

«Нет, — снова сказала Ольга. — Сейчас я ни о чем не хочу думать, Ильин. Просто мне не о чем думать. Ты иди, я тебе позвоню на днях или зайду в цех...»

Странно, она знала, что сегодня встретит Ильина, хотела встретить его, а увидела — и не обрадовалась, лишь пожалела, что человек так измотан и так изменился. Никакое доброе чувство не шевельнулось в ней, даже обычный вопрос о доме, о домашних был, скорее, просто обычным для такого случая. И Сережка, конечно, не помнит ее — тетю, игравшую в футбол. Нет, я не пойду к ним. Вовсе незачем сидеть и слушать сочувственные охи и ахи Надежды.

Ей не хотелось ничего убирать, мыть полы, разбирать и раскладывать по местам вещи. Единственное, что она сделала, — вынула из чемодана и повесила на прежнее место раскрашенную фотографию Ольюски. Шесть лет сюда никто не входил. Шесть лет здесь не зажигали свет, не ставили чайник на газовую плиту. Думала ли Ольга, что через шесть лет вернется сюда одна? Да разве можно было хотя бы предположить такое...

Почему они ни разу не приезжали сюда, в Большой город, домой? Ведь были же и отпуска, и деньги, чего проще — сесть в самолет! Ольга вспоминала: они оба словно обезумели. Отпуск? Только на Юг, на Черное море. Жить, ни о чем не думая, ни о чем не заботясь, радуясь морю, горам, никогда не виданным растениям. Однажды взяли такси, прикатили в Никитский ботанический сад и очутились в сказке. День в саду, голова кругом, что ни дерево — редкость. Вышли — еще одно дерево, совсем голое, без коры, как купальщик на диком пляже.

«Оно как называется, Ванюша?»

Он поглядел и ответил:

«Ты совсем дошла. Это же столб».

Только один раз они съездили не на Юг, а на Север, в Новгородчину, в ту деревню, откуда Ерохин был родом. Никого из родни там уже не оказалось; старухи еще помнили — да, были такие, Ерохины. Они провели ночь у одной такой старухи, а ранним утром уехали в Ленинград. Ни Ерохин, ни Ольга еще никогда не бывали в Ленинграде.

Все гостиницы, конечно, были забиты до отказа, но им повезло: на скамейке в Летнем саду разговорились с какой-то бабусей и та пустила их к себе на неделю за десятку. Она же и объяснила, что надо поглядеть в Ленинграде. К вечеру Ольга

уже валилась с ног от усталости и, добравшись до дому, сбрасывала туфли и поднималась на четвертый этаж босиком.

Потом они укатили в Таллин, оттуда — в Ригу и не заметили, что отпуск подошел к концу. А на следующий год снова махнули к Черному морю, благо путевками строителей обеспечивали досыта.

Вот так — уехали на год-полтора, а провели в Средней Азии пять. На шестой год Ерохин предложил Ольге двинуть на Абакан — Тайшет. Конечно, стройка комсомольская, да вот, говорят, молодежь надо учить, и его вызвали к начальству...

«Уже согласился? — ехидно спросила Ольга. — Или решил снова со мной посоветоваться?»

«Согласился, — виновато кивнул Ерохин. — Понимаешь, там, говорят, здорово! Горы, тайга, совсем другое дело... И этой жаричи нет».

«И медведи в гости ходят, — вздохнула Ольга. — Когда собираться-то, горе ты мое?»

Она слукавила, конечно. Да если б не он, не Ерохин, разве она увидела бы Ленинград, ходила бы по шумному, пахнущему чесноком самаркандскому базару, пила бы чал — верблюжье молоко, поражалась бы узеньким улочкам Таллина и старой Риги, испытала бы радость полета на крутой, соленой волне? А теперь вот — Саяны, тайга, и ей неважно, как они там устроятся, как будут жить — это не главное.

Самое смешное — действительно в один из первых же дней в гости пришел медведь, сунулся в палатку и ткнулся носом в чьи-то ноги. Ольга проснулась от дикого крика. Мужчины схватились за ружья, а медведь, сам перепуганный до полу-смерти, уже удрал. Потом, зимой, было не до смеха. Медведи не залегали в берлоги, ходили злые, и был случай — раскатали по бревнышку лабаз с продуктами.

Ольга была благодарна Ерохину за то, что он привез ее сюда. Пожалуй, ни разу до этого она не ощущала с такой силой не только свою нужность ему, а нужность вообще всем. Ей не хотелось больше работать учетчицей, как там, на каналах в Средней Азии. СМП — строительно-монтажному поезду — требовались крановщики, и она пошла на курсы, благо кое-что умела уже по этой части. Доучиться не пришлось самую малость: народу не хватало, она пошла с Ерохиным в первый таежный десант. Где-то между Саранчетом и Хайрюзовкой ребята рубили просеки под будущую дорогу, а она ведала котлопунктом — иначе говоря, была поварихой, и не так-то это оказалось просто — готовить на всю бригаду.

Однажды на Бирюсе опрокинуло плот с продуктами, хорошо еще, никто из ребят не утонул. Ерохин организовал рыбалку. И вот на завтрак, обед и ужин были хариусы, одни только хариусы, вареные, жареные и соленые хариусы. Все уже выли от этих хариусов и мечтали хотя бы о каше или картошке. Вдруг Ерохин исчез. Он вернулся через три дня с пудовым

мешком картошки на спине и с сумкой, набитой «Беломорканалом» и «Примой».

Уже потом, осенью, когда дорога до Саранчета была проложена и начали делать насыпь под железную дорогу, в поселок приехал корреспондент «Гудка» Бобров и с ходу пытался поговорить с Ерохиным. Но тот заупрямился: чего обо мне писать? Работаю — и все, и ничего выдающегося, так что давай, товарищ корреспондент, переключайся на кого-нибудь другого. Бобров оказался настырным парнем. Вечером заглянул в вагончик с поллитровкой (водку здесь продавали только в субботу после смены) и парой рябчиков из столовой, Ерохин усмехнулся: вот тебе стакан, пей сам, дорогой товарищ, а я человек непьющий. Бобров так и ушел ни с чем, но на следующий день все-таки разговорился с Ольгой.

«Что, ваш муж на самом деле непьющий?»

«На самом».

Она не солгала. Ерохин напивался два раза в год, напивался до бесчувствия, так, что страшно было на него глядеть. Ольга точно знала, когда он напьется: двенадцатого февраля — в день рождения Олеськи, и восемнадцатого октября — в день той самой бомбежки, которую она помнила и во время которой у Ерохина погибла семья. Пьяный, он словно окаменевал, глаза становились безумными, он не узнавал Ольгу, гладил ее и называл Валюшей. Она не обижалась, не огорчалась, она только думала, что та его любовь все еще живет и будет жить в нем до конца, — что ж, разве я имею право обижаться или огорчаться, что мне досталось куда меньше его любви!

Потом, наутро, Ерохин мучился, стыдился поглядеть Ольге в глаза, а она была еще ласковее с ним, будто разделила с ним вчера не позабытую и не утихшую с годами его главную любовь.

Нет, он был непьющим. Тут Ольга ничуть не солгала корреспонденту.

«Значит, он нелюдим? — спрашивал ее Бобров. — Или, как нынче модно выражаться, некоммуникабелен?»

Ольга рассмеялась: это Ерохин-то нелюдим? Да он по поселку нормально ходить не может! Ему с каждым встречным-поперечным поговорить надо. Уйдет, скажем, за хлебом, и два часа нет человека. Выскочишь на улицу, а он сидит с кем-нибудь на бревнышке, покуривает себе — и обо всем на свете забыл. Ну, а ему, корреспонденту то есть, не повезло по другой причине. Однажды Ерохина так расписали в газете, что стыдно было на людях появляться. Не человек, а ангел с крыльшками. Вот тогда он и рассердился на всех корреспондентов сразу. Еще там в Средней Азии, приезжали к нему даже из «Огонька» — и ничего не получилось. Вот такой человек!

«А какой все-таки человек?» — спросил Бобров.

Ольга подумала: я-то могу сказать, почему не сказать. Ну,

такой, в общем... Например, собрался один парень удрать со стройки. Москвич. Там у него и квартира, и все остальное — Москва, одним словом. Ерохин узнал, пригласил парня в тайгу, на рыбалку. Тайменя поймали — еле дотащили вдвоем. Какой у них там разговор был, она не знает, только парень остался и пошел к Ерохину учеником. А сейчас вон на своей машине работает! Впрочем, Ерохин опять обкатывает очередного парня. Тот приехал — куртка на молниях, шарфик с видами Парижа на шее, волосы — «канзасский кок» и сигаретка на губе висит: «Ну, как тут у вас, первобытные люди? Рок не сбациаешь? И пузырек на троих не сообразишь? Так это не для белого человека!»

Чем его взял Ерохин, тоже неизвестно, только он нынче у Ивана сменщиком. Конечно, до Ивана ему далеко, с четырьмя самосвалами работает, а Иван — с семью, но все-таки...

Кстати, об этих самосвалах. Сначала Ерохину тоже дали четыре — он к начальству.

«Прошу, — говорит, — надбавку на папиросы».

«Какую еще надбавку, на какие папиросы?»

«А на «Беломор», — говорит. — Я только «Беломор» курю. Поэтому с четырьмя самосвалами у меня сплошные перекуры будут. А я, между прочим, сюда работать приехал. Так что давайте мне семь как минимум».

Начальство посмеялось, пообещало и забыло. Он снова туда.

«Что ж, значит, не умеем делить на семнадцать? (Такая у него приговорка есть.) В Братск писать, что ли, прикажете, в управление строительства?»

Выбил все-таки семь самосвалов. И то шоферы жалуются, что Ерохин им дыхнуть не дает.

Он чем берет? У него цикл отработан, как часы. У него ковш уже во время поворота работает. Ни минутки не потеряет зря.

А ведь оказалось, что целый месяц все работали зря. Кто-то чего-то недоглядел. За день машины навалят насыпь, а утром ее как корова языком слизала, пустое место. Все в болото ушло. Целый месяц это проклятое болото забивали. Ерохин даже с лица спал. Повели бы дорогу на двести метров в сторону — месяц чистой экономии. Выступил он на партийном собрании, начальство обратилось в управление, оттуда ответ: никаких отклонений от проекта. Вот тогда-то на следующем партийном собрании Ерохин и сказал: «Сами себе создаем трудности для того, чтобы потом доблестно преодолевать их». Замнач управления, который был на собрании, даже валидолдину сунул под язык.

А с этим поселком? Начали строить дома барачного типа — Ерохин на дыбы. Хватит, говорит, рабочему классу кое-как жить. Начальник СМП — тоже мужик с норовом: «Тебе-то, говорит, что? Ты дорогу построишь и уедешь». А Ерохин ему:

«Вас, Петр Емельяныч, заново крестить надо. Вас родители по ошибке Петром назвали. Людовиком бы вас.. Это какой-то Людовик сказал: «После меня хоть потоп», а мне вот не все равно, как тут после нас люди жить будут». Это не для печати, конечно, добавила Ольга, косясь на бобровский блокнот. Только с тех пор нашего Петра Емельяновича так и зовут за глаза: Людовик Емельянович.

«Характерец у вашего супруга!» — усмехнулся Бобров.

Ольга кивнула. Да уж! Зато видали — ни одного барака, а Людовик — Петр Емельянович то есть — до сих пор в заезжей живет, где и вы остановились.

А то была еще одна история — ну прямо по Макаренко; можно сказать. В первый же таежный десант пошел один парень. Здесь люди тесно живут, ни от кого ничего не скроешь. Знали и об этом парне — ленинградец, ушел из дому. Отца у него посадили за какие-то темные делишки по торговой части, под полом около двухсот тысяч одних денег нашли. Новыми, конечно. Это не считая золотишка и всего прочего.

Так вот, кто-то должен был поехать в Тайшет за получкой на всю бригаду. Ерохин сказал — пусть Игорь и поедет. Ну, запрягли мерина, дали Игорю всяческих заказов, уехал парень — и пропал. Деньги-то он большие должен был получить! Конечно, все начали коситься на Ерохина: ясное же дело — хапнул твой Игорь все наши денежки и катит себе, наверно, спокойненько в Сочи или Ялту, на солнышке греться да винцом баловаться.

Дня через три геологи привели мерина — нашли в лесу, и сумка на нем, и все деньги целы. Только пузырьки с одеколоном побились и от мерина так и несет «Шипром» и «Элладой». Кинулись искать парня, в милицию обратились — и нашли! Оказывается, на обратном пути мерин чего-то испугался и понес, Игоря сбросил — куда парню деваться? Прийти и сказать правду? Не поверят, да еще скажут — в отца пошел. Тогда он вернулся в Тайшет, сел в поезд и поехал на запад...

Судили мы его. За что судили? За то, что сбежал. И жалко же его было! Сидит на пеньке и сопли со слезами на кулаки мотает. Приговор был — объявить общественный выговор. А мой Ерохин так сказал: «Врезать бы ему, говорит, лучше по глупой башке».

Ничего! Сейчас во флоте служит, на Дальнем Востоке. Такие письма Ерохину пишет — как стихи читаешь, честное слово!..

Она еще долго говорила с корреспондентом, и вдруг он сказал:

«Любите вы своего мужа, Оля?»

«А вас разве жена не любит?»

«Жена? — усмехнулся он. — Сбежала от меня жена. Не удержал, как ваш Ерохин того москвича».

Ольга прикусила губу: конечно, ее вопрос причинил корреспонденту боль.

«Знаете что? — сказала она. — Ночная кукушка всегда дневную перекукует. Я все-таки уговорю Ерохина побеседовать с вами».

Очерк Боброва о Ерохине, напечатанный в «Гудке», назывался «Хозяин». Почту в поселок привезли днем, и девочка — секретарша Людовика — прибежала к рельсоукладчику в обеденный перерыв, размахивая газетой, как флагом. Ольга не стала сразу читать. У нее было время добраться до карьера, бог-то с ним, с обедом. Три километра туда на самосвале, три обратно — невелик путь. Она остановила машину и только в кабине раскрыла газету.

«Разных людей можно встретить сегодня на этой стройке. Романтиков, которым обязательно надо стать вровень со своими отцами — строителями Комсомольска-на-Амуре. Просто хороших рабочих. И охотников за длинным рублем — есть тут и такие. Мне повезло: я встретился с Хозяином...» Пропустив середину, Ольга прочитала последние строчки: «Этот очерк о себе Хозяин будет читать сегодня поздним вечером. Читать и наверняка сердиться: ишь, расписали! Но я вспоминаю хорошие стихи одного поэта: «О человеке надо говорить, пока он слышит...» И пусть о нем услышат и узнают другие, для кого он живет и работает».

Шофер резко затормозил, и Ольга больно ударилась о дверцу.

«Ты чего? — спросила она. — Одурел?»

Шофер не ответил. Он смотрел вперед стеклянными глазами. Ольга, еще морщась от ушиба, поглядела туда, вперед, и увидела лежащий на дне карьера экскаватор и бегущего навстречу машине шофера другого самосвала. Он бежал медленно, медленно взмахивал руками, и половина его лица была открытой дырой — это он кричал, а Ольга не слышала, что он кричит. Уже холодея, но еще не веря в самое страшное, она попыталась выбраться из кабины, но сидящий рядом шофер вдруг схватил ее голову и начал пригибать и закрывать своей ладонью ее глаза, а она вырывалась — молча и яростно, как пойманный в силки зверь.

«Не надо, не смотри, не надо...» — доносилось до нее откуда-то из-за тысячи верст. Потом он одной рукой развернул машину и погнал обратно, другой рукой все держа, не отпуская Ольгу, чтоб она не выпрыгнула на ходу в открытую дверцу. Он держал ее зря. Надо было просто захлопнуть болтающуюся дверцу, потому что Ольга была уже без сознания. Она все-таки увидела Ерохина, который лежал там придавленный экскаватором, лицом вниз и с вытянутыми вперед руками, будто

еще хотел, еще пытался вырваться, выползти из-под навалившейся на него тяжести...

«Этот очерк о себе Хозяин будет читать сегодня поздним вечером. Читать и наверняка сердиться...»

Ерохина похоронили там же, неподалеку от карьера. Холмик был усыпан марьиным корнем — таежными пионами. Это была единственная могила на всей трассе.

Ольга не могла остаться здесь, на стройке. Все, что происходило потом, было как в тумане. Она плохо помнила, как доехала до Тайшета, села в поезд, идущий на запад. У нее был билет до Москвы, но она слезла в Красноярске. Слишком уж медленно шел поезд. Только в самолете она подумала, что это — бегство. Тот очерк — «Хозяин» — она так и не дочитала, а газета, должно быть, вообще где-то затерялась. Да и зачем ей было читать о Ерохине? Она знала о нем в миллионы раз больше, чем приезжий корреспондент.

И когда сегодня Ильин сказал ей: «Ничего не кончилось, ты жива, и надо подумать о будущем», — Ольге стало страшно. Он не понимает, что я вообще ни о чем не могу думать. Все! Все пусто — и кругом, и внутри...

Надо было все же прибрать в этой крохотной квартире, и Ольга вытащила с антресолей ведро, поставила греть воду. Когда раздался звонок, она вздрогнула. Она уже забыла, как он звонит. Открыла дверь — на крыльце стоял Ильин в мокром от дождя плаще.

«Можно? — спросил он. — Не бойся, я не буду ни о чем спрашивать... Просто посижу у тебя немного...»

Эта крохотная, сделанная когда-то Ерохиным квартирka не казалась Ольге чужой, наоборот, вся она, со всеми вещами, с портретом Олюськи и мраморной доской, была каждодневным напоминанием о человеке, который дал ей шесть лет спокойного, ровного счастья, и, наверно, она вообще не могла бы жить без этих каждодневных напоминаний. Свое горе она не возвела в культ, сумела переломить себя так, что память отзывалась не острой болью, а глухой тоской и протестующим чувством к этой отвратительной несправедливости — гибели Ерохина.

Навести в доме порядок оказалось делом скорым. Она почти ничего не изменила в комнате. Только рядом с Олюськиным портретом повесила большую фотографию Ерохина, которую когда-то, еще на канале, сделали для доски Почета. Она не знала, как поступить с его орденами и медалями, и наконец решила оставить их у себя. В ящике стола она нашла толстую пачку чужих писем, и ей стало страшно, будто, прочитав их, она могла узнать о Ерохине что-то такое, чего не должна знать. Но все эти письма были от его однополчан — поздравления с праздниками, приглашения в гости на отпуск,

и Ольга читала их с радостью, потому что незнакомые ей люди говорили Ерохину — *ее* Ерохину! — те добрые слова, которые обычно говорят лишь очень хорошим людям.

В коробке из-под печенья хранились фотографии, Ольга уже видела их тогда, шесть лет назад, и, перебирая сейчас, пыталась вспомнить, что рассказывал ей Ерохин о тех людях, которые были на фотографиях. В основном тоже фронтовые товарищи, миловидная девушка — медсестра госпиталя, в котором после ранения лежал Ерохин, и надпись на обороте: «Ивану Ерохину, чтоб помнил меня. Лена». Она знала, что этой Лены тоже нет, — погибла в сорок третьем, но как тогда, шесть лет назад, так и сейчас не почувствовала ревности и не подумала, было ли у Ивана что-нибудь с этой Леной.

Но когда дом был убран — она даже выкрасила полы, — вот тогда Ольга почувствовала, что Ильин-то прав и хочешь не хочешь надо подумать о будущем. Впрочем, где-то внутри она уже твердо решила: снова на завод, снова в крановщицы. Ей тридцать два — учиться вроде бы поздно, да и школьная наука уже крепко позабыта. Стало быть, собирай документы и иди в отдел кадров.

Самыми трудными оказывались вечерние часы. С наступлением сумерек Ольга особенно остро чувствовала усталость. Тогда она одевалась и выходила на улицу.

Ей не хотелось заходить к Кире — они были мало знакомы, а Анна Петровна уже умерла (об этом Кира написала ей еще года три назад), не хотелось и к Ильину.

В тот первый раз, когда Ильин пришел вечером, вымокший под дождем, он сказал:

«Послушайся меня. Тебе не надо сейчас быть одной. Хочешь — перебирайся ко мне, хочешь — на участок. Отдохни немного».

Она улыбнулась:

«Ты фантазер, Ильин. Спасибо, конечно, но у меня свой дом. А потом... Если человеку плохо, зачем же он будет портить настроение другим?»

Ильин нагнул голову. Ольга давно знала это его движение — словно бык, собирающийся боднуть.

«Какая благородная глупость», — сказал он.

«Нет, — тихо ответила Ольга. — Не глупость, Сережа. У нас с тобой было только общее детство, а оно давно кончилось. Я не хочу, чтобы у тебя дома из-за меня были какие-нибудь неприятности. Люди все разные и смотрят по-разному. Послушай и ты меня. Я вообще хочу, чтобы ты меня не опекал».

Ей показалось, что она говорит обидные вещи, и, протянув руку, положила ее на шею Ильина.

«Ну, честное слово, Ильин, не надо. Ты что думаешь, я сломалась? Нет! Ерохин не простил бы, если б я сломалась. Он научил меня главному в жизни — правильно жить. А к вам я как-нибудь забегу, конечно».

Ильин молчал, а Ольга знала, что это не просто молчание и что она не убедила его.

Но все-таки он пришел и на следующий день, принес краску для дверей, хотя она и не собиралась красить двери. И через два дня он пришел снова. В самом упрямстве, с которым он приходил, была и тревога за нее и что-то еще, чего Ольга пока не могла понять, но трогающее ее своей добротой.

«Меня несколько дней не будет, — сказала она, — надо навестить старых знакомых».

«Хорошо, — глухо сказал Ильин. — Только ты могла бы придумать что-нибудь поумнее. Какие у тебя тут старые знакомые?»

«В общежитии, например».

«Марпет? — спросил Ильин. — Ушла на пенсию, укатила к дочке не то в Магадан, не то в Находку. Далековато навестить-то».

«Будто бы у меня в цехе не было друзей. Ну что ты так смотришь на меня, Ильин? Не веришь, что ли?»

«Ну отчего же, — отвернулся он. — Только за шесть-то лет...»

И вот теперь вечерами она уходила из дому, шла через реку — в Новые Липки, ходила по набережной, садилась на ту скамейку, где Ерохин накинуд на нее свой пиджак, и каждый вечер ее обступало забытое с годами; она словно бы заново жила в прошлом, стараясь ничего не упустить, не утратить из него.

Однажды она спохватилась: а детдом? Вот уж, действительно, не дело — почти месяц здесь, а даже не заглянула туда!

Когда-то детдом № 1 был на городской окраине, теперь город шагнул далеко за него, и старое неказистое здание бывшего губернского архива оказалось в окружении построек первых послевоенных лет — с арками, портиками и колоннами, и казалось, что оно случайно забрело сюда, такое некрасивое среди своих пышных, даже надменных в своей красоте собратьев.

Когда-то рядом с детдомом была роща, осенью там можно было набрать крепких черныхоловых обабков. Теперь рощи не было — вырубил всю, и вместо берез возле домов торчали подстриженные, похожие на банные веники тополя.

Зато сейчас у входа была другая надпись: «Большегородский образцовый интернат имени Александра Матросова», и над дверью в большом круге — барельеф Матросова. Ольга толкнула дверь и вошла в вестибюль.

...Вот они — и она среди них — в костюмах или платьях из «чертовой кожи». Они обступили ее со всех сторон, стриженные мальчишки и девчонки, бледные, худые, потому что сегодня, как вчера и позавчера, у них на обед каша, чуть пахнущая американской тушенкой «Свифт. Чикаго», о которой говорили, что ее делают из водяных крыс. Мех — на шапки, а мясо — в Россию. Или яичницы из яичного порошка — по выходным,

с кусочком американского же горького шоколада. Осенью было лучше: за рощей, в поле, попевала своя картошка.

Девчонки и мальчишки смотрели на нее сейчас из того голодного времени с той же надеждой в глазах, с какой и она глядела на взрослых, приходивших сюда. Несколько раз было так, что родители находили здесь своих детей. Ольга верила, что отец или мать тоже могут прийти. И Сережка верил. Они верили все. Так было легче. Сейчас, стоя в пустом вестибюле, Ольга видела себя — нескладную, с красными руками, с жиденькими косичками, — и тишина, которая окружала ее, казалась ей мертвой: той девочке не было уже. Не было — и не надо ее ни вспоминать, ни жалеть.

Ольга нерешительно поднялась по широкой лестнице. Вправо и влево уходили сводчатые коридоры. Когда она видела их пустыми и тихими, ей всегда становилось не по себе, и сейчас тоже она испытала прежнюю, уже забытую робость перед этой загадочной тишиной мрачных коридоров. Дом казался вымершим, будто приготовленным на слом.

Да нет же! Сейчас ведь середина августа и все ребята в пионерском лагере. Ольга быстро пошла по коридору, в самый его конец; она шла уверенно к той двери, за которой была комната с таким же, как и в коридоре, сводчатым потолком и нишей в толстой стене: наверно, когда-то в этой нише были полки с пыльными папками архивных бумаг. Эта дверь тоже была открыта. Ольга удивилась — какое здесь все маленькое! Маленькая комната, маленькое окно, маленькая ниша, маленькие кровати со скатанными матрацами.

Тут же она подумала: в детстве все кажется большим. Все. Можно идти обратно.

Какие-то приглушенные звуки доносились сверху, со второго этажа. Она чувствовала запах краски — наверно, в доме идет ремонт. Подниматься уже не хотелось. Вряд ли она встретит кого-нибудь из знакомых через столько-то лет! Ольга вернулась к лестнице и увидела внизу, в вестибюле, девочку.

Девочка стояла, поставив на пол фанерный чемодан. Августовский день был жарким, но на ней было пальто, старенькое, поношенное и короткое ей — руки далеко торчали из рукавов. Она глядела на Ольгу, заметно волнуясь, даже красные пятна пошли по лицу. Ольга улыбнулась ей, девочка спросила:

«Вы начальница?»

«Что ты! — сказала Ольга. — Просто я сама здесь выросла, вот и зашла поглядеть».

«А, — сказала девочка. — А начальница где?»

Ей было лет тринадцать или четырнадцать. На ногах резиновые сапоги. Такие в городе не носят. Значит, из деревни, подумала Ольга.

«Никого здесь нет, — сказала она. — Наверху ремонт идет, может, там кто-нибудь и есть из начальства. Ты поднимись, узнай».

Было в этой долговязой, нескладной девочке что-то такое, что удержало Ольгу. То ли ее волнение и растерянность, то ли вот эта негородская одежда, и фанерный чемоданчик к тому же. Ольга не спешила уходить. Девочка подняла свой чемоданчик, и Ольга засмеялась:

«Да оставь ты его здесь. Что у тебя там — золото, что ли?»

«Не золото, — строго ответила девочка. — Сама знаю что».

«Погоди, — остановила ее Ольга. — Ты откуда приехала?»

«Из Лутовни».

«Что, никого у тебя нет?» — тихо спросила Ольга.

«Не-а. Я у тетки жила, а тетка замуж вышла. Тесно, да и...»

Она не договорила, сообразив, видимо, что вовсе не обязательно откровенничать с незнакомым человеком. И так-то сказала слишком много. Подняв чемодан, она пошла наверх, на второй этаж, а Ольга села на длинную скамейку. Странная девочка. Если она никого здесь не найдет, где ей устроиться?

Ольга ждала недолго. Девочка появилась минут через пять, еще более растерянная, вот-вот разревется в три ручья. Там, наверху, только одни маляры, а начальство появится дней через пять.

«Ну и что? — спросила Ольга. — Подумаешь — пять дней! Поезжай обратно, к тетке. До Лутовни на автобусе три часа, не больше».

«Нет, — качнула головой девочка. — Туда уж я не поеду...»

И опять не договорила.

Ольга разглядывала ее. Бледная, большеглазая, худощая, светлые волосы не причесаны, плечи под узеньким пальтишком такие, что, кажется, тронь — и уколешься... И тонкие ноги болтаются в сапогах.

«Ладно, — сказала Ольга. — Можешь пока у меня пожить. Идем».

«Нет», — снова, но на этот раз уже испуганно сказала девочка, не выпуская ручку своего чемодана.

«На скамейке ночевать будешь, что ли?»

«Все равно», — ответила она.

«Тебя как зовут?»

«Нина».

«Ты что же, боишься меня, что ли?»

«Тетка наказывала... У вас в городе не так, как у нас».

«Не в городе, а в городе, — усмехнулась Ольга. — А если так, чего ж ты от тетки-то уехала? Пошли, Нина. Я одна и ты одна — вот нас уже и двое».

По пути Ольга выяснила, что никаких документов, кроме метрики да выписки из решения суда о лишении ее отца родительских прав, у Нины нет. Приехала девочка в город, спросила у первого же милиционера, где тут ближайший детский дом, и пошла пешком, побоявшись сесть в трамвай.

На глазах Ольги происходило чудо, в которое было трудно поверить. Недоверчивость девочки, напуганность, насторожен-

ное ожидание неперменного подвоха, которое, по наущению тетки, обязательно в «городе», — исчезли сразу же, едва Ольга привела ее к себе. Конечно, были и нелепости. Нина спросила, сколько с нее будет причитаться за угол и питание. Удивилась: как это *ничего*? Почему же вы меня приютили? Что-то во всем этом было для нее не так, и Ольга могла лишь с грустью догадываться, в каком мире она росла.

Но, по счастью, все это было в ней не своим, не собственным, потому что уже к вечеру она освоилась, называла Ольгу тетей Олей, подробно рассказала ей о себе (отец — пьяница, мать померла из-за него, от побоев, и ей тоже доставалось, сейчас отец осужден, у тетки же ей жилось тоже несладко, и так далее).

Нине было четырнадцать. Надо протянуть два года, а потом она хочет работать здесь, *в городе*.

«В городе», — снова поправила Ольга.

И поначалу Нина боялась города, боялась переходить улицу, пугалась потеряться в универмаге, куда они пошли купить Нине платьишко попрличней и туфли, боялась ездить на троллейбусе и называла его *триболусом*, и обрадовалась, увидев телегу с лошадью. Ольга сводила Нину в гороно — нужно было направление; прямо оттуда — на реку, покататься на речном трамвайчике, и в зоопарк, и в музей... Она раскрывала перед Ниной Большой город с той радостью, которую когда-то испытала сама, робкая девочка, вцепившаяся в руку отца. Вечером она спросила, что же Нине больше всего понравилось, и та ответила:

«Все. И еще мороженое».

У Ольги она прожила неделю.

Оставить ее здесь? — думала Ольга. Ей хотелось оставить девочку, она нравилась ей своей простотой, открытостью, постоянным желанием помочь, но Ольга понимала, что не может, не имеет права брать на себя такую ответственность. Если бы она была совсем крохой — другое дело. И денег хватило бы на двоих. Через неделю они поехали в интернат, и Нина ревели, прощаясь, и у Ольги тоже были полные глаза слез.

«Ну чего ты плачешь, дурочка? Я же никуда не денусь. Будешь приходить на выходной, да и я на неделе забегу...»

Уже дома она вспомнила: там, на канале, в Средней Азии, приехала медицинская бригада, и тайком от Ерохина Ольга пошла к врачу. Пожилая женщина долго расспрашивала Ольгу о болезнях, перенесенных в детстве, долго осматривала, а потом, вздохнув, сказала, что, если она хочет ребенка, надо ехать в Москву, в специальную больницу, да и то никакой уверенности нет. Может, все-таки надо было тогда поехать... Наверно, сейчас все было бы иначе, если б рос маленький Ерохин.

Через два дня, купив конфет, она поехала в интернат — узнать, как устроилась Нина...

Она выросла как-то быстро и незаметно.

В то, что Нина выходит замуж, Ольге было трудно поверить. В ее памяти все еще жила та деревенская, нечесаная, в стареньком тесном пальтишке девчонка, пуше всего на свете боявшаяся за свой фанерный чемодан с замком. Трудно поверить было еще и потому, что, стало быть, прошло семь, нет — почти восемь лет! — и куда девалась та девчонка! Нина была рослой, стройной, с очень ясным лицом, обычно спокойным, но теперь еще будто бы светящимся от того счастья, которое жило в ней. И, глядя на нее, Ольга думала, что для Нины это не просто замужество, это нечто большее — вершина любви, что ли, когда все духовные силы направлены к одному — не только быть счастливой самой, но сделать счастливым другого человека.

Ольга не принимала участия в подготовке к свадьбе: Нина сказала, что все организуют подружки, а сама свадьба будет в ресторане. Ольга спросила: «В каком?» — и вздрогнула. Нина ответила: «В «Волне». А что? Я там была, очень хороший ресторан. Правда, уйму денег придется вкатить, но Костя говорит — такое бывает раз в жизни, так что...»

Ольга не знала того парня, за которого выходила Нина. Знала лишь, что он из монтажного отдела, старше Нины года на четыре, фамилия — Водолажский, так что Нина теперь будет Водолажская. Отца у него нет — погиб на фронте, мать работает буфетчицей. Вот и все, что ей рассказала Нина. Она уже переехала к будущему мужу — у него с матерью двухкомнатная квартира... И первое, что она сделала — со смехом рассказывала Нина, — повесила на стенку моток стальной стружки, которую подобрала, когда в первый раз пришла на завод. Будущий супруг, конечно, хохочет: ты, говорит, вместо тахты какой-нибудь токарный станочек поставь, и картинки тоже будут ни к чему — давай повесим «молнии», а того лучше — график выполнения соцобязательств. Он вообще веселый парень, Костя. Сами увидите.

Пойти во Дворец бракосочетаний Ольга не смогла и жалела об этом — ей никогда не доводилось бывать там на подобных торжествах. Ей только рассказывали: пышный особняк какого-то не то графа, не то князя, кругом мрамор и малахит, свадебный марш Мендельсона, шампанское... Потом обычно молодожены с гостями едут к памятнику народным ополченцам — так было заведено — постоять у вечного огня, положить цветы... Нина огорчилась, конечно: неужели нельзя отпроситься, как же свадьба без вас?

«Глупенькая, — сказала Ольга, — я же все равно буду с тобой вечером».

И только подойдя к «Волне», Ольга замедлила шаг, а потом села на скамейку в маленьком сквере. Не то чтобы ей было страшно переступить порог, нет, просто в ней снова поднялось старое: ее собственная свадьба здесь, малолюдная

и скорая, предотъездная, с тем нелепым разговором, который во время ганца завел Ильин. Господи, да когда же это все было? И было ли вообще? Так, вроде бы только мелькнуло, приснилось в хорошем коротком сне — и нет ничего, исчезло, развеялось, не вернется... Весь ужас смерти заключен в одном-единственном слове: никогда. Сейчас в сознании Ольги так нелепо, так неожиданно сдвинулись, оказались рядом эти два слова: «никогда» и «свадьба», что она подумала об этом с суетным страхом.

Очевидно, молодые были уже там, в ресторане. Издали Ольга видела, как к дверям ресторана подходят молодые люди — почти все с цветами, у нее самой был в руках огромный букет роз. Пора идти. Она встала и пошла, с трудом преодолевая острое желание лишь поздравить и тут же уйти.

Нина бросилась к ней так порывисто, будто ждала только ее. В маленьком банкетном зале уже было тесно, молодежь рассаживалась с шумом и гамом. Нина потащила Ольгу с собой, чтобы та обязательно, непременно села рядом с ней — она и слышать не хотела никаких отговорок! Здесь всего-то три или четыре ее подружки, да что они в сравнении с вами! Нет, нет, только рядом!

«А вот это Костя», — сказала она счастливо.

Что ж, интересный парень, ничего не скажешь, подумала Ольга.

«А это Костина мама, — снова сказала Нина. — Екатерина Петровна».

«Екатерина Петровна», — повторила та, суя Ольге сложенную шепоткой руку.

...И тогда на какую-то минуту все поплыло у Ольги перед глазами — зал, людские лица, и лицо Екатерины Петровны поплыло, и понадобилось каким-то чудом превозмочь эту вдруг нахлынувшую слабость, чтобы все вернулось на свои места.

Эта женщина, крашенная, с узкими губами, чуть раздвинутыми в обязательной по такому случаю улыбке, казалось, избежала перемен, которые искажают людской облик. Только тогда она была совсем молода, вот и все, а волосы и в ту пору у нее были тоже рыжие, крашенные стрептоцидом наверно, и губы такие же узкие, и только этих морщин не было, да еще глаза потускнели, словно выцвели. Она! Конечно, она, тетя Катя, сорок первый год, баржа, горящие Липки, одолженная тридцатка, а потом лейтенант с перевязанной головой...

Только не сейчас, торопливо думала Ольга. Только не сейчас и не здесь. У девочки праздник, и я не имею права... Все потом, после... Значит, тот лейтенант погиб на фронте? А может, и не погиб, может, это она придумала для Кости, должен же человек знать, кто его отец.

Только не сейчас... Она тоже улыбнулась — через силу, и хорошо, что Нина тут же потащила ее за руку на дальний край

стола. Так они и сели там вчетвером: жених и невеста, рядом с Костей — мать, рядом с Ниной — она, Ольга...

Только не сейчас... Надо опомниться, прийти в себя, Нина ничего не должна заметить. А она и не замечала! Молодые вставали, когда раздавались крики «Горько!», и через какие-нибудь полчаса свадьба уже гуляла всюю, все говорили, не слушая и перебивая друг друга, кто-то включил магнитофон с веселой, самыми же ребятами сочиненной песенкой:

В мире жить, в любви и ласке,
И желаем без затей
Нашей Нине Водолажской
Пятерых родить детей.

Была там и другая, тоже своя песенка о том, что жениха-то Нина все-таки провела через БТК, — и девчонки смущенно посмеивались, а парни хохотали всюю, и шуточки сыпались уже солоноватые, так что девчонки начинали краснеть и одергивать остряков: нашли время языки распускать! Кто-то наконец догадался произнести тост за самых близких жениха и невесты. Ольга и Екатерина Петровна поднялись, и только тогда Нина заметила, что с Ольгой что-то происходит.

«Что с вами, тетя Оля?»

«Ничего, ничего, — торопливо ответила она. — Шумно, голова немного разболелась».

И все-таки случилось то, чего Ольга боялась и не хотела. Молодые встали и пошли вдоль столов чокаться со всеми, а Екатерина Петровна пересела к ней, протянув руку, взяла бутылку с коньяком, налила Ольге и себе.

«Ну, и нам положено, — сказала она. — Чтоб все было добром. А то у нынешних-то молодых как? Было сельцо, да сменил на кольцо, было кольцо, да за женину ласку сменил на коляску. Так еще моя бабка говорила. Чего ж вы не пьете? Водка злит, а коньяк веселит, это я вам точно говорю».

«Не могу», — сказала Ольга, не поворачивая головы. Екатерина Петровна засмеялась. Смех у нее был хриплый, как и тогда.

«Жалеете ее, что ли? А чего ее жалеть? Вон какого парня отхватила! Ничего не скажу — сама-то она девчонка видная, только по нынешним временам все больно самостоятельные стали, да только птица крыльями сильна, а жена мужем красна. Эх, не увидел *мой* такого красавца!»

Она любовалась сыном. Только им.

«Он что — погиб, ваш муж?» — неожиданно для себя спросила Ольга, и в самой резкости вопроса был уже вызов. Теперь она глядела на Екатерину Петровну в упор.

«Погиб, погиб, — кивнула она. — Большой был человек!»

«Лейтенант, — сказала Ольга. — В голову раненный».

«Что? — не поняла Екатерина Петровна. — Какой еще лейтенант?»

Господи, что же это я делаю? — подумала Ольга. Нине с ней жизнь жить. И так-то сразу видно, что она за человек. Я только все напорчу девчонке. Все-таки она улыбнулась через силу, через отвращение к самой себе и за эту лживую улыбку, и за все то, что она должна, обязана была сказать сейчас только ради Нины.

«А ведь вы не узнали меня?»

Екатерина Петровна глядела на нее своими выпуклыми глазами, и Ольга заметила — в них была тревога, быть может даже страх. Ради Нины она должна была успокоить эту женщину. Она не просто чувствовала, она твердо знала, что, если она этого не сделает, плохо будет только одному человеку — Нине.

«Помните, когда в сорок первом Липки горели?»

«Ну, помню», — все так же настороженно, с непроходящим страхом сказала Екатерина Петровна.

«У вас еще шуба сгорела, да?»

«Шуба? Может, и сгорела...»

«А потом вы на баржу пришли. Домик там еще был — на барже?»

«Ольга? — недоверчиво спросила Екатерина Петровна. — Мыслена, что ли?»

Ольга кивнула. И тогда случилось то, чего она меньше всего могла ожидать: Екатерина Петровна обрадовалась! Она плакала и целовала Ольгу, и причитала, и говорила сквозь слезы какие-то добрые слова, будто через столько лет встретила бог знает какого родного человека. А Ольга? Если еще какие-нибудь три минуты назад все в ней кипело, если ненависть к этой женщине боролась в ней с осторожностью, — теперь она растерялась, а потом так же внезапно и неожиданно всхлинула.

«...Разве тебя узнать? Бегу я сама не своя, а ты лежишь — ноженьки в воде... Думаю — мертвенькая. А ты живая...»

Подожли молодые. Нина с тревогой поглядела на Ольгу, потом на свекровь, не понимая, что произошло, пока она с мужем обходила гостей. Екатерина Петровна, все еще плача, кое-как объяснила, что это же Ольга! Та самая!

«Какая та самая?»

«Ничего вы не поймете. Вас тогда еще и на свете-то не было. Мы пойдем посидим где-нибудь, душно здесь...»

Ольга пошла с Екатериной Петровной. Они сели в небольшой, пустой сейчас комнате перед банкетным залом, здесь было не так душно и шумно. Екатерина Петровна, красная не то от волнения, не то от выпитого, а может, и от того и от другого, вытирала платком глаза. Казалось, этот неожиданный всплеск памяти потряс ее. Ольга подумала, что, наверно, она уже ничего не помнит, кроме того, что нашла ее лежащей у ре-

ки. И если прежде, еще тогда, в детстве, она могла сомневаться, так ли это было на самом деле, теперь у нее уже не было сомнений. Такое не забывается. Ложь — та забывается, а что было на самом деле, остается на всю жизнь. За одно то, что Екатерина Петровна нашла ее у реки, ей можно было простить все остальное.

«Ну, как ты? Как ты-то живешь?»

«Да так, — пожалала плечами Ольга. — По-всякому. Тоже вот вдовая».

«Знаю, — сказала Екатерина Петровна. — Про тебя Нина много говорила. Я только не знала, что это ты... А ты, значит, моего лейтенанта запомнила?»

«Запомнила», — сказала Ольга.

«Он Косте не отец, — тихо сказала Екатерина Петровна. — У него другой отец. А тот... Господи боже мой, ведь молодая же я была! Война кругом! Что завтра будет — и думать не думалось, вот и... Я тебя очень прошу — никому об том не говори, ладно?»

«Ладно».

Екатерина Петровна улыбнулась — раздвинулись тонкие губы.

«А родителей своих ты, значит, не дождалась?»

«Нет».

«Погибли, наверно».

«Наверно. Я повсюду писала... — И снова неожиданно для себя, повернувшись к Екатерине Петровне всем телом и глядя на нее в упор, спросила: — Вы ведь хорошо знали их? А я ничего не знаю».

«Хочешь, чтоб я рассказала?»

«Хочу».

«Иной раз, может, лучше ничего и не знать, — сказала Екатерина Петровна. — Да и я-то не очень хорошо была с твоими знакома... Дело, конечно, давнее, прошлое, кто теперь осудит. По рюмочке, бывало, выпивали... Время было трудное, ну, кое-какую торговлишку с твоей матерью вели. Она сюда один товар везла, отсюда другой... (Ольга кивнула — эта она еще помнила.) А человек она была...» — Екатерина Петровна замолчала, как бы решая, досказать Ольге все до конца или что-то все-таки скрыть.

«Я хочу знать все, — сказала Ольга. — Вы же все помните».

«Помню, — усмехнулась Екатерина Петровна. — Знаешь, как говорят: тридцать лет видел коровий след, а все молоком отрыгается. Из раскулаченных была она, твоя мать, Мыслихато».

Она снова помолчала.

«Выпили мы с ней однажды, вот она и рассказала... Когда, значит, семью раскулачили, а у них много всякого добра было, Мыслиха и подалась на Волгу. Попросилась на баржу — до Ярославля доехать, к родне, там с твоим отцом и стакнулась».

Он-то несамостоятельный был человек, хилая душа, да только куда Мыслихе было деваться? Ни кола ни двора — пусто... Вот вроде и все я тебе рассказала».

«Это правда?» — спросила Ольга.

«Чтоб так Костиж здоров был».

Ольга поверила: правда!

«Откуда они были?»

«А вот этого не знаю, милая, врать не буду. Плохо они жили, это я точно помню. Мыслиха-то была с характером — не приведи бог. Только один раз, помню, отец твой подшофе сказал: если б, говорит, не дочка, ты то есть, сбежал бы куда глаза глядят».

Все, о чем говорила, о чем рассказывала Екатерина Петровна, для Ольги не было неожиданностью. Что-то она еще помнила сама, о чем-то догадывалась, сейчас ее догадки лишь подтвердились. Она встала. Голова у нее разламывалась от боли. Екатерина Петровна суетилась: да куда же ты, пойдём посидим с молодыми, выпьем еще малость. Ольга сказала: «Нет, пойду домой, лягу».

«А ко мне когда придешь? Хочешь — домой, хочешь — в буфет во Дворец культуры — посидим, поговорим, а? У меня и дефицитик бывает».

«Хорошо, — сказала Ольга. — Вы уж извинитесь за меня перед Ниной, что я ушла».

«Дай я тебя поцелую, — вскинулась Екатерина Петровна. — Ах ты, ласточка моя! Сколько же лет утекло! А я как сейчас вижу — лежишь, и ноженьки в воде...»

Ольга шла и думала: хорошо, что все так кончилось. А Нине будет, ох как нелегко жить. И ничего-то Екатерина Петровна не забыла. Все помнит! И голову можно дать на отсечение — такой же и осталась: руки только к себе, только к себе гребут...

Уже спала Нина, уже пошли по улице первые троллейбусы, прощелестела поливочная машина, а Ольга лежала, закинув руки за голову, и знала, что ей уже не уснуть. Ничего. Завтра в вечернюю смену, успеет выспаться.

Все, что она рассказала той ночью Нине, повторялось в ней снова и снова. Почему я боялась сделать это раньше? Наверно, потому, что Нина по молодости могла неправильно понять меня. Подумать, что я не любила Ерохина, а только хотела помочь ему жить да еще — устроить свою жизнь.

Осторожно она поднялась и поправила сползшее с молодой женщины одеяло. Нина слабо шевельнулась, что-то невнятно сказала и снова откинула одеяло — ей было жарко. Она лежала на спине, длинные красивые ноги открыты, волосы разбросаны по подушке. Через сорок минут ее придется будить, — жаль.

Так же тихо Ольга вышла из комнаты: вымыться, поставить чайник, приготовить завтрак. Господи, только бы она была счастлива!

Осень наступила сразу: сразу начались долгие, морозящие дожди, сразу начала жухнуть листва в садах, сразу похолодало, и уже в начале октября лужи по ночам затягивало тонкими иголками первого ледка. Потом — так же неожиданно — повалил снег. Он шел все утро, таял, упав на землю, держался лишь на деревьях, среди желтой, бурой и красной листвы, и было странно видеть его в этом соседстве. Но такой снег — недолгий. Говорят, первый снег выпадает за сорок дней до зимы.

В один из слякотных осенних дней Коптюгов ушел от Усвятцева. Он прожил у него три недели, спал на диванчике, и, наверно, можно было бы протянуть так еще месяц или два, но сволочные соседи пригрозили, что сообщат в милицию, да и сам Коптюгов почувствовал, что мешает хозяину этой комнаты. У Генки был роман с лаборанткой экспресс-лаборатории Ленкой Чиркиной, надо же им где-то встречаться!

— А на Ленку Серега Ильин глаза пялит, — посмеиваясь, говорил Усвятцев. — Она сама рассказывала — даже проводить подкатывался. Отшила, конечно. Пишите крупным почерком и отправляйте авиапочтой.

Надо было уходить, но куда? Домой, к матери Коптюгов не хотел идти. По его просьбе Усвятцев, найдя случай, сказал Штоку, что, дескать, нехорошо получается: такой сталевар, вкальвает дай бог как, а ютится где придется. Портрет на заводской доске Почета — это, конечно, хорошо, а человеку, между прочим, где-то и жить надо. Шток тут же побежал в цехком, но время шло, и Коптюгов решил действовать сам. Сам подошел к Штоку и попросил устроить его в общежитие.

— Вы же знаете мое положение, — сказал он. — Снимать комнату, платить по тридцатке все-таки накладно, а жить у ребят — ведь у них своя жизнь. Генка и так меня три недели терпел — сколько же можно!

— Ты в нашем списке один из первых, — сказал Шток, мучительно морщась, как от боли, и поглаживая Коптюгова по рукаву. — Я и в завком ходил, узнавал — в первом квартале получишь свое жилье, может даже к Новому году. В общежитие-то устроить просто, это я сделаю, только там...

— Ничего, Марк Борисович, — добродушно ответил Коптюгов. — Сдую как-нибудь. Лучше, конечно, во вторую общагу — там Будиловский живет. Все веселей.

Шток сделал больше, чем его просил Коптюгов: в общежитии нашлась комната на двоих, и Коптюгов оказался в ней с Будиловским.

Настроение у Коптюгова было отвратительное. Жить в этой комнатенке, стесняя себя во всем, в неверном ожидании того, что зимой ему дадут комнату в коммуналке, где хозяйки

будут лаяться на кухне, а пьяненький сосед клянчить на опохмелку, где будет пахнуть кошкой, пеленками и кислой капустой, где в коридоре по стенам будут развешаны, как картины, велосипеды, — он уже жил так на Юге. Хватит, сыт по горло. Если ему предложат что-нибудь в этом духе, он просто подаст заявление об уходе и уедет на Урал. Там, говорят, с жильем легче. Он уже заранее настраивал себя на этот лад.

Быть может, поэтому его сразу начал раздражать Будиловский. Коптюгов помогал ему вешать полку и глядел, как тот аккуратно расставляет книги. Оказывается, у него было много книг. И еще — картинки, аккуратно вставленные под стекло, в рамки, или окантованные, все больше акварели. И большая фотография девушки. Эту фотографию Коптюгов видел давно. Девушка стоит на мосту, ветер треплет ее волосы, и она, смеясь, придерживает их, будто боится, что они улетят... Ничего девчонка. Но зачем так зря травить себя, как травит Сашка? Девчонка-то — тью-тью. И ее последнее письмо Коптюгов тоже читал: «Не пиши мне, не звони, не пытайся встретиться. Я заставлю себя забыть, что любила тебя. Есть люди, которые не имеют права на любовь, так вот — ты один из них...» Коротко и ясно. А этот будущий гений журналистики смотрит на нее каждый день, как монах на икону. Это тоже раздражало Коптюгова. Он был слишком большим удачником, чтобы понимать вот такое состояние человека, которого бросила девчонка. Господи, да их нынче — пруд пруди! Нина Водолажская, конечно, исключение, но тем она и ценнее. Впрочем, и Нина в сознании Коптюгова вдруг оказывалась рядом с Будиловским в этой своей одержимости ожидания.

Александр Будиловский тоже был, как и Усвятцев, находкой Коптюгова. Полтора года назад Коптюгов, возвращаясь с Юга сюда, в Большой город, пошел пообедать в вагн-ресторан. Все столики были заняты, и лишь в самом конце сидел один парень. Еще издали Коптюгов увидел, что перед парнем — графинчик, и сам он уже не то чтобы пьян, а так, на сильном взводе.

«Разрешите?» — спросил Коптюгов.

«Садись, — вяло ответил парень. — Портвейну хочешь? Водкой здесь не торгуют».

«Набираешься помаленьку? — усмехнулся Коптюгов. — Ну, давай и я закажу в таком случае. Только чего ж здоровье на бормотуху переводить? Давай уж коньячку выпьем».

«Не в коня корм», — так же вяло отозвался тот.

«Ничего, у меня на этот корм хватит. Студент, что ли?»
«Бывший».

В дороге люди знакомятся быстро, и часто бывает так, что рассказывают о себе подробно и охотно — ведь встречи эти случайны, и уйдет такой случайный попутчик, и никогда больше не встретишься с ним. К тому же Будиловский, хмелея все больше и больше, был в том настроении, когда просто необхо-

димо раскрыться перед кем-нибудь, и не только раскрыться, а рассказать о себе с тем жестоким самоуничтожением, на которое способны только очень несчастливые люди.

Уже через час Коптюгов знал его историю, и, как положено, похлопывал по руке Будиловского: ничего, парень, время пройдет, все уляжется, образуется — как говорится, три к носу!

«Нет, — пьяненько мотал головой Будиловский, — это уже не пройдет».

«Будешь пить — не пройдет, — согласился Коптюгов. — Это ведь не ты сейчас плачешь, это в тебе портвейн с коньяком плачут. А жизнь-то знаешь еще какая длинная!»

История же была такой.

Будиловский служил в армии, и девчонка его ждала, и приезжала, и письма писала чуть ли не каждый день. Он тоже писал каждый день. Однажды командир роты вызвал Будиловского и шутливо сказал: «Вот вы, товарищ сержант, письма всю дорогу пишете, а тут из окружной газеты попросили об одном человеке написать. Попробуйте, а?» Он написал. Корреспонденцию опубликовали быстро, исправив всего несколько слов, даже прислали гонорар. Приехал корреспондент — капитан, посоветовал писать больше, и Будиловский взялся за эту работу всерьез. В окружной газете его материалы появлялись все чаще и чаще. Потом написал рассказ, но он не пошел. Рассказ был о том, как две ласточки свили гнездо под стрехой солдатской столовой и солдаты радовались и ласточкам, и их потомству. Потом ушли на маневры. Вернулись — нет гнезда! Оказалось, в части ждали высокое начальство — мыли, красили, чистили, и повар сбил гнездо палкой... С поваром перестали разговаривать. «Не надо вам писать рассказы, — посоветовали Будиловскому в редакции. — У вас хорошо идет репортаж, корреспонденция, лучше уж вам замахнуться на очерк».

Из армии он вернулся с твердым желанием — заняться журналистикой. Его девушка уже перешла на третий курс филфака. Он поступил на первый, на отделение журналистики, и вскоре принес корреспонденцию в редакцию областной молодежной газеты. Ее опубликовали через два дня!

Так все и началось. Какая это была чудесная жизнь! Любимая девушка, по утрам — университет, вечером — встречи с разными людьми, о которых он должен был писать по заданию редакции. И как счастливо было купить по дороге в университет свежий номер газеты, развернуть ее и увидеть свое имя: «Ал. Будиловский».

Так продолжалось год. О ком он только не писал! Об ученом-ихтиологе, студентах, ремонтниках, строителях, спортсменах — и почти каждый материал помещали на доске «Лучшее в номере». Его уговаривали идти на штатную работу в редакцию, учиться можно ведь и на вечернем, но он не мог: он должен был видеть ее каждое утро.

Тот, кто не знал редакционной жизни, казался Будиловскому беднее душой. Эти ночные минуты, когда приносят только что снятую полосу, пахнущую керосином, которым протирают набор, и типографской краской, пачкающуюся, со смешными подчас ошибками, но главное — с твоей статьей, на которую смотришь с удивлением: неужели это написал я? К этому нельзя привыкнуть, удивление самим собой было постоянно и приятно.

У него в редакции уже был свой стол, ему звонили сюда, его приглашали на соревнования или молодежный праздник, на посвящение в рабочий класс или литературный диспут. Он попробовал писать критические статьи, и после первой же — о забытом рабочем общежитии — директор предприятия получил выговор на бюро райкома партии. Ему все давалось легко — и статьи, и экзамены. Мать хвастала соседкам: «Сашеньку называют в редакции первым пером, а ведь он только начинает...»

И в один день все кончилось.

Возможно, Будиловский еще не понимал, что виной этому была как раз та легкость, с которой он работал. Незаметно для него легкость перешла в легковесность и уверенность, что он может все. И, когда ему передали для расследования письмо, он обрадовался еще одному случаю блеснуть. О, какую статью можно было грохнуть по этому письму! Мысленно он уже видел ее — половина всей второй полосы, рубрика — «На темы морали», и даже название было придумано прежде, чем он поехал к человеку, о котором говорилось в письме: «Семеро с сошкой...»

Этого человека он не нашел: тот уехал в Москву на защиту докторской диссертации. Отправился к нему на службу, в институт. Встретился с авторами письма. Факты казались железными: руководитель группы кандидат технических наук Савинов заставил работать целый коллектив на себя. Докторскую ему «сделали» из чужих работ — этих двух молодых людей, которые и обратились в редакцию. Еще пятеро сотрудников готовили ему чертежи — бесплатно, разумеется, иначе они рисковали вызвать на себя гнев Савинова. И статья «Семеро с сошкой» была опубликована...

Сначала в редакции зазвенели протестующие звонки. А через несколько дней появились руководители института, секретарь партийной организации, секретарь комитета комсомола и сам Савинов, блестяще защитивший в Москве диссертацию. Они не возмущались, не повышали голос, они лишь недоумевали: как эта статья могла появиться в газете? Савинов — большой и грузный человек, — тиская пальцы, тихо сказал: «Все-таки подвели меня эти ресторанные мальчишки! Я же говорил — им надо работать в крематории, а не в науке».

Было слишком много доказательств лжи тех двоих. Пришлось давать опровержение. Редактора вызвали на бюро обкома комсомола, дали строгий выговор с занесением. Добрый,

славный человек, вернувшись из обкома, вызвал к себе Будиловского.

«Садитесь, Саша... Страшно жаль, конечно, но вы сами понимаете...»

«Да».

«Вы способный человек, Саша, — грустно сказал редактор. — Но самое печальное даже не в этом... не в этой ошибке».

«В чем же?»

«В том, что настоящий журналист прежде всего должен любить людей, Саша. Пусть у него лучше будет сердечная недостаточность, чем недостаток сердечности. Всего вам доброго, Саша».

Месяц он просто учился, ходил в университет, внутренне сопротивляясь этому обвинению — что он не любит людей. По-прежнему по пути в университет покупал газету — там уже не было его имени. И однажды, привычно взглянув на четвертую полосу, увидел некролог: «П. В. Савинов».

На факультете о той истории со статьей знали, конечно, все: опровержение-то было... Но тогда дело ограничилось разбором на факультетском бюро комсомола, теперь же все повернулось по-иному.

Он поехал к своей девушке. Ее мать открыла дверь на цепочку и протянула ему *то* письмо. На факультете с ним перестали здороваться, не разговаривали, проходили мимо, будто не замечая... Он подал заявление об уходе. И вот уехал вообще... Куда? Не все ли равно куда. Теперь куда бы он ни уехал, всю жизнь рядом будут стоять двое: Савинов и презирающая его девушка.

«Ладно, — сказал Коптюгов, — давай договоримся так. Приезжаем в Большой город и двигаем ко мне. Дома у меня, правда, отношения паршивые. Мамаша на старости лет выскочила замуж за одного хмыря, но я свои права знаю. Это раз. Работу я найду — сталевар все-таки... Это два. А ты, парень, держись за меня двумя руками, понял? И все, что было, забудь! Жить, брат, надо, жить! Если удастся, устрою тебя к себе. Мы, знаешь, сколько заколачиваем? С тонны — это само собой и еще проценты за производительность и за качество. А вся твоя журналистика — зола, брат, и пшено».

«Не знаю, — отрешенно ответил Будиловский. — Ничего не знаю».

Коптюгов открыл калитку и кивнул Будиловскому: «Что ж ты? Проходи», — и первым пошел к двери, хмуро оглядываясь, словно стараясь увидеть то, другое, чужое ему, что пришло сюда с новым человеком — мужем матери.

...О том, что мать выходит замуж, он узнал, когда служил в армии. Она сама написала ему об этом, и письмо было длинное, сбивчивое, мать будто бы извинялась перед сыном. «...Ты

его, наверно, не помнишь, он воевал с твоим отцом, хороший человек. Овдовел два года назад, и я одна, а ты уже вырос, я тебе все уже отдала. Очень прошу тебя — не сердись, но ты еще не знаешь, как трудно быть все одной и одной...» Матери было тогда сорок два года, в его представлении она была чуть ли не старухой, и вот — нате вам, замуж!

После демобилизации он заехал домой всего на несколько часов, даже не предупредив о своем приезде. Мать кинулась к нему, он сухо поцеловал ее и не отрываясь глядел на человека, который пришел в его дом. Высокий, сухощавый, с перекрученной шрамами щекой, он ответил Коптюгову спокойным взглядом, и, пожалуй, это взбесило Коптюгова больше всего: у него был взгляд хозяина. Мать суетилась, и он остановил ее: не надо никаких пирогов, никаких гостей. Я соберу свои вещи и уйду. Совсем. Страна большая, богатая, работы, всюду навалом, проживу как-нибудь.

«Погоди, — остановил его тот. — Познакомимся хотя бы для приличия. Полковник Голубев, Иван Егорович. В отставке, правда... Ну и... Мать писала тебе — мы с твоим отцом не просто вместе воевали — друзьями были. И одним снарядом вот... — Он потрогал свою исковерканную щеку. — Его напавал, а меня...»

«Жаль, что не наоборот», — отрезал Коптюгов и, повернувшись, пошел в свою комнату.

Дома он не был восемь лет. Изредка посылал матери короткие письма — жив-здоров, все в порядке. Она же продолжала писать длинно, горько и часто, присылала посылки, просила разрешения приехать повидаться...

За эти годы Коптюгов так и не примирился с мыслью, что в его доме живет чужой человек, и сейчас звонил у дверей с прежним враждебным чувством. Сзади смущенно переминался Будиловский.

«Кто там?»

«Я, мама, открой».

«Господи, Костенька!»

Дверь распахнулась — мать бросилась к нему, он снова сухо поцеловал ее, удивившись тому, как мало она изменилась. Почти не изменилась.

«Я не один, мама. Это мой... друг».

«Ну конечно, конечно, заходите, молодой человек! Как же ты так, Костенька? Хоть бы телеграмму дал, встретила бы честь по чести... а то мы спали еще».

Действительно, час был ранний, и, войдя в дом, Коптюгов услышал, как *тот* торопливо одевается в угловой комнате. Он стоял посреди гостиной (так всегда мать называла эту большую комнату) и снова оглядывался с прежним упорным желанием увидеть чужие ему вещи, следы чужого быта и присутствия чужого человека. Но все здесь оставалось прежним. Даже веселый капитан с тремя орденами и трубкой в зубах

глядел на него со стены — отец, которого он не знал, и Коптюгов еле удержался, чтобы не сказать матери: убери, в этом доме он сейчас лишний. Но не сказал.

Голубев вышел в полосатой пижаме, его лицо еще не отошло после сна и казалось отечным.

«Здравствуй, Костя, — сказал он, не протягивая руки, и только потом заметил стоявшего в дверях Будиловского. — Здравствуйте».

«Ну что ж, мать, — сказал Коптюгов, — нам бы вымыться да за стол. Выпить что-нибудь найдется? А то у моего друга со вчерашнего голова трещит».

Он нарочно говорил спокойно, по-хозяйски и с удовольствием наблюдал, как снова засуетилась мать, как на кухне торжественно моется Голубев и открывает банки с консервами. К столу Голубев вышел в форме, с полковничьими погонами и пятью рядами планок.

Будиловский держался скованно, его не покидало чувство неловкости: вот так, с утра раннего, оказаться в незнакомом доме, пить водку, от которой его воротило, и со стыдом вспоминать вчерашний вечер, когда Коптюгов чуть ли не на себе притащил его в купе. Но, как ни странно, он помнил весь их вчерашний разговор, и совет Коптюгова держаться за него обеими руками, и обещание устроить на завод. Быть может, на самом деле повезло? От Коптюгова словно бы исходила какая-то прочная, уверенная сила, и, опустошенный, потрясенный всем случившимся с ним, Будиловский невольно покорился ей.

«Ну вот что, выпили по рюмахе, и будет, — сказал Коптюгов, переворачивая свою рюмку. — А теперь начнем деловой разговор. Жить пока я буду здесь. И, — кивок на Будиловского, — он тоже. Отношения добрососедские».

«Плохой у тебя деловой разговор получается, — хмуро сказал Голубев. — Слово ты к злейшим врагам приехал».

«Идем, — кивнул Будиловскому Коптюгов. — Я хочу сад поглядеть. Сад у нас знаменитый был, еще дедом саженный».

Здесь, в саду, куда они прошли через веранду, все было уже не так. Он стал меньше — или это так показалось Коптюгову? Нет, пожалуй, не показалось. Все тут было переиначено: стояли парники, покрытые запотевшей снизу полиэтиленовой пленкой, большой участок был под клубникой и с веток почти до земли свисали огромные красные ягоды. Коптюгов сорвал несколько штук.

«Угощайся. Сорт — полковничий. А старые яблони здесь стояли, вырубил, наверно».

Он заглянул под пленки. Там уже виднелись маленькие, в черных пупырышках, огурцы.

«Тоже полковничий сорт. Хоть на рынок носи! А что? Собразим кооперацию? Полковник растит, мы носим, мать продает. Проживем, а?»

«А мать у тебя совсем молодая, оказывается», — сказал Будилловский.

«Перестань, — поморщился Коптюгов. — Еще скажешь, что это он ее так бережет?»

«Почему вы не ладите?»

«Ну даешь! — усмехнулся Коптюгов и передразнил его: — «Почему не ладите!» А если к тебе в дом заберется чужой человек и развалится на твоём диване, ты ему так и скажешь — милости просим? Если б любовь у них была, я бы еще понял. А ведь ему что было надо? Чтоб обед каждый день и кальсоны чистые. Случись что-нибудь с матерью, он в суд и полдома — тяп! А этот дом тоже мой дед по бревнышку собирал, на свои рабочие рублики. Для него, что ли?»

Будилловский промолчал. Ему хотелось сказать, что нельзя уж так... Ведь воевал человек, полковник все-таки, и пять орденов получил не за красивые глазки... Но он промолчал, потому что не знал, как отнесется к этим словам Коптюгов, от которого сейчас зависела его собственная судьба. А потом — какое ему дело до чужих семейных отношений, так-то подумать? Он и в своих-то разобратся не может...

Тем не менее месяц спустя Будилловский уходил из этого дома с сожалением. Коптюгов сдержал слово: взял его к себе третьим подручным. Пора было и честь знать — переселяться в общежитие. А Будилловский уже привык к этим спокойным людям, охотно помогал Голубеву на огороде, бегал в дальний магазин за продуктами или просто вечером, когда Коптюгова не было, садился с Иваном Егоровичем сгонять пару партий в шахматы.

Полгода спустя Будилловский принес в редакцию областной газеты небольшую корреспонденцию о том, как в двенадцатом цехе ЗГТ был отлит первый ротор для будущей турбины... Он начинал все сызнова, по второму кругу, — просто он уже не мог не писать...

Итак, теперь, полтора года спустя, они снова оказались вместе, в одной комнате — Коптюгов и Будилловский. Но если для Коптюгова переезд в заводское общежитие был чем-то вроде тактического хода, то Будилловский обрадовался. Теперь он мог писать спокойно и подолгу. После смены Коптюгов обычно куда-то уходил и возвращался только для того, чтобы тут же завалиться спать. Будилловскому неудобно было спрашивать его, где это бродит его бригадир, он мог только догадываться — где. Он-то видел, какими глазами глядел Коптюгов на ту девушку, Нину, которую во время съемок в кафе посадили к их столу. А потом пошел провожать ее. Действительно, красивая девушка...

За эти полтора года Будилловский уже успокоился. Коптюгов оказался прав: прошлое не воспринималось им с чувством

той трагической безысходности, которое он испытывал тогда. Лишь когда он взглядывал на фотографию Наташи, в нем снова появлялось короткое, тупое ощущение тоски, какой-то странной несправедливости, происшедшей с ним; одиночества — и все это уходило, едва он садился за стол или ехал в редакцию. Там его встречали привычными словами: «А, наш собкор на ЗГТ!» У него было редакционное удостоверение, отпечатанное на бланке. С ним он ходил по цехам, знал многих, и его знали многие — писать же о чем-нибудь другом, кроме заводских дел, или о ком-либо кроме своих, заводских, он еще не решался. В нем продолжал жить страх. И уж, во всяком случае, никогда больше он не возьмется за критическую статью или фельетон. У каждого журналиста должно быть свое амплуа. В редакции работали муж с женой, так вот Будиловскому со смехом рассказывали, как жена-репортер заболела, и муж-очеркист решил написать за нее оперативную информацию. Промучился день да так и не мог выдать из себя ничего путного. Нет уж, никаких критических статей! Теперь даже небольшие заметки Будиловский носил в партком, к заместителю секретаря, чтоб завизировал...

И все-таки это было как выздоровление после долгой и тяжелой болезни. Смену он отработывал почти незаметно, хотя теперь был уже первым подручным и обязанностей у него прибавилось. Он скачивал вторичный шлак, брал пробы, давал присадки, ему надо было следить за желобом, к тому же Коптюгов сам предложил ему поучиться на сталевара — и Будиловский охотно согласился, хотя в глубине души думал: ну, еще полгода, ну, еще год, и все-таки уйду с завода. Пусть не в областную, пусть сначала в «Вечерку». Хотя в редакции ему и намекнули однажды, что хорошо было бы, если б литсотрудники приходили не желторотыми птенчиками, из университетских инкубаторов, а хлебнувшими настоящей жизни.

Но об этой своей мечте он не говорил никому, особенно Коптюгову. Ему казалось, что Коптюгов обидится смертельно. Еще бы! Да и сам Будиловский был слишком многим обязан ему, чтобы хотя бы заикнуться о перемене профессии, тем более что помнил, как отозвался о журналистике Коптюгов в первый день их знакомства: «Зола и пшено».

Нет, не зола и не пшено... Он снова с прежним и каждый раз остро переживаемым чувством радости брал газету, где под заметкой или корреспонденцией стояла его фамилия. Он вырезал их и складывал в папку, там уже накопилось много таких тонких листиков. И снова в редакции, на доске «Лучшее в номере», появлялись его материалы. Но страх продолжал сковывать его. И он здорово испугался, когда однажды Коптюгов, уже лежа в постели, спросил:

- Ты сегодня свою газету внимательно читал?
- Да. А что?
- Объявление там есть. На последней странице.

Будиловский взял со стола газету. Он не заметил там никакого объявления. Он не читал объявлений. А вот Коптюгов прочитал!

— Это было даже не объявление, а обращение редакции к своим читателям.

«Дорогие товарищи! Подходит к концу еще один год девятой пятилетки. Многими славными делами отметили его и вы и ваши друзья. Редакция просит вас: расскажите на страницах нашей газеты о тех лучших людях, которые работают рядом с вами. Ведь вы знаете их, только приглядитесь к ним внимательнее, чтобы за обычными и привычными трудовыми буднями ясно увидеть тот трудовой подвиг, который они совершают каждодневно. Ждем ваших писем, корреспонденций, репортажей, очерков!»

— Прочитал? — спросил Коптюгов, поворачиваясь на бок. Он улыбался и глядел на Будиловского так, словно мысленно потирали плечи: ну, все понял? Будиловский понял.

— Ты хочешь...

— «Надо, Федя, надо», как любит приговаривать наш общий друг Генка. Понимаешь, надо. Я ведь, в общем-то, никогда ни о чем тебя не просил, верно?

Будиловский кивнул:

— Видишь ли, существует такое правило...

— Брось, Сашка, — оборвал его Коптюгов. — Правило, этика, цирлих-манирлих... Там все ясно написано, русским языком. Кто работает рядом с тобой? Конечно, дело, как говорится, твое, хозяйское, но ты вспомни — я ведь для тебя тоже кое-что сделал. А в современной жизни иначе нельзя. Подумай, одним словом.

Будиловский успокоился. В самом деле, чего бояться-то? Коптюгов прав. Редакция сама просит. А Коптюгов человек не то что в цехе — на заводе не последний!

— Ну, хорошо, — сказал Будиловский. — Только ведь я, знаешь, всякие подробности люблю. Мелочи всякие.

— Хочешь интервью? — засмеялся Коптюгов. — Бери свой блокнот. Значит, год рождения — одна тысяча девятьсот сорок третий...

...Отец лежал тогда здесь, в Большом городе, в госпитале, а мать работала старшей медсестрой. Дед — отец матери — был кузнецом на нашем заводе, на ЗГТ, только он тогда назывался механическим. Привела мать раненого капитана в дом и говорит: «Вот мой муж». Дед поглядел и сказал, даже не поздоровавшись с зятем: «Ну что же, война войной, а и после войны кузнецы будут нужны. Так что давай кузнеца, дочка».

...В армии был один парень, тоже сержант, с одного из южных заводов. Как-то раз провел ладонью по танку, будто коня приласкал, и говорит: «Наша-то броня, наверно. Вот ты, Коптюгов, пустой еще человек, нет в тебе никакой направленности. А потрогай — чувствуешь? Холодная вроде бы сталь, а внутри нее теплая человеческая душа содержится». Ну, я и покати́л после армии на юг...

...Учился как зверь! Смену подручным отработаю — смену возле сталевара тенью хожу, смотрю, спрашиваю. Курсы были — окончил. Первую плавку на всю жизнь запомнил. Начальник цеха рядом оказался, руку пожал и говорит: «Ну вот, Коптюгов, и твои первые тонны в народную копилку». Записал?

...Еще запиши. В цехе у нас свой поэт был, формач. Он про меня чуть не целую поэму сочинил. Всего я уже не помню, а вот это запомнил:

И для тебя, и для меня
Он верный друг, он сильный, ловкий.
Вот он стоит, как бог огня,
В своей продымленной спецовке.
О нем не спросят — кто таков?
Он всем знаком душевным жаром,
Танкист отличный Коптюгов,
Он стал отличным сталеваром.
Пусть после смены он устал,
Но смотрит твердо и упрямо.
Его сегодняшняя сталь
Уже идет на рельсы БАМа.

Записал? В многотиражке было опубликовано, только я поехал где-то газетку. Ни к чему было вроде бы.

— Хорошее название! — сказал Будиловский. — «Бог огня».

— Ну, — поворачиваясь на спину, ответил Коптюгов, — красиво, конечно, но, может, как-нибудь попроще? Еще чего-нибудь рассказать или хватит? И сунь куда-нибудь — так, намеком, — что после работы возвращается Коптюгов в общежитие, хотя свой дом имеется, но разошелся с матерью и отчимом по соображениям морального порядка.

— А это зачем? — удивился Будиловский.

— «Надо, Федя, надо», — снова засмеялся Коптюгов. — Ты же помнишь клубничку-то да огурчики? Я этим летом зашел на рынок, а полковничек в белом переднике за весами стоит и кулечки крутит...

— Ты серьезно? — спросил Будиловский. — Иван Егорович?

— Он самый! Короче говоря, как напишешь, дашь мне проверить, чтоб все тип-топ было. Ну, спи, будущая знаменитость.

15

Утро секретаря обкома партии Рогова обычно начиналось с газет. Это была прочная многолетняя привычка, которой он старался не изменять, и еще до того, как за ним приходила машина, он успевал прочитывать и центральные газеты и свою, областную.

Но в то утро он поднялся значительно раньше обычного, торопливо побрился, торопливо выпил стакан чаю — машина уже стояла перед подъездом — и уже внизу, достав из ящика газеты, сунул их в карман пальто. Времени оставалось мало: польская делегация прилетала в семь часов утра, впору было успеть добраться до аэродрома. Он торопил шофера, тот нервничал — асфальт был мокрый, скользкий, бурый от опавшей листвы. Но все-таки он успел даже раньше других — предисполкома, представитель министерства иностранных дел и еще несколько человек, в том числе директор ЗГТ Званцев, подъехали несколько минут спустя.

Пожимая Званцеву руку, Рогов сказал:

— Сейчас устроим гостей, позавтракаем — и в обком. Но вы все-таки позвоните на завод и предупредите, что сегодня польские товарищи будут там не к концу рабочего дня, а завтра около одиннадцати.

— Мы всегда «на товсь», Георгий Петрович.

— Все с морскими привычками расстаться не можете? — шуливо проворчал Рогов и повернулся к остальным. — Слышали? «На товсь!» Посмотрим, как вы в первом квартале головной пятнадцатитысячник выдадите.

— Как раз на завтра намечена отливка первого ротора. Так что, если гости приедут к одиннадцати, смогут увидеть.

— Хорошо, — кивнул Рогов и, отвернувшись, заговорил с председателем исполкома: в обком поступают письма, что в магазинах продается плохая картошка, так вот — пусть отдел торговли подготовит справку о состоянии овощехранилищ. Если понадобится, поможем, а с нерадивых спросим, и строго...

По трансляции сообщили о прибытии самолета, и все вышли на мокрый асфальт, под холодный мелкий дождь. Серебряная рыбина уже развернулась в конце посадочной полосы, и сейчас будто плыла по поверхности огромной прямой реки.

Из тех, кто прилетел в Большой город, из всей делегации Рогов знал лишь одного человека — секретаря одного из воеводских комитетов ПОРП Збигнева Травиньского. Сейчас он улынулся, вспомнив, как года три или четыре назад Збигнев, в ту пору директор крупного завода, несколько часов кряду во-

дил его, Рогова, по литейному цеху. Тогда Рогов еще пошутил, что, окажись Збигнев в Лувре, Третьяковке или Эрмитаже, он отвел бы на осмотр куда меньше времени. Травинский, который отлично говорил по-русски, расхохотался и ответил, что он как-никак металлург, а этот цех — его третий ребенок после Марека и Ванды, а детьми положено хвастать. Обернувшись, Рогов сказал Званцеву:

— Кстати, руководитель делегации в прошлом металлург, и не просто металлург, а металлург-фанатик, так что смотрите, как бы он сам не напросился дать плавку.

И первый пошел к трапу, приветственно поднимая руку. Травинский уже нетерпеливо спускался, они обнялись, потом разом отстранились, для того чтобы рассмотреть друг друга (не виделись-то давно!), и Рогов рассмеялся:

— Ну, ты и похудел! Тяжела, брат, секретарская работа? Я читал — там у тебя недавно еще один комбинат отгрохали?

— Да. Текстильный.

— Жаль только, что без литейного цеха, а?

Потом, вечером, когда по местному телевидению будут передавать репортаж о встрече польской делегации, жена Рогова Дарья Петровна скажет дочери: «А где же цветы, которые я дала ему для Збигнева?» — и та ответит: «Ты что же, не знаешь папу? Конечно, забыл в машине! Вот если бы ты попросила его передать удочки, он бы не забыл».

Все — и гости, и встречающие — вышли на площадь перед аэровокзалом, на котором было натянута длинное красное полотнище с надписью: «*Nich zuje przyjazn polsko-radziecka!*»,* сели в машины. Дождь лил и лил по-прежнему. Рогов подумал, что часть запланированных встреч придется отменить — нелепо ехать по такой погоде в совхоз «Ударник» или на строительство птицефабрики.

Только поздним вечером, вернувшись домой, он вспомнил, что сегодняшние газеты так и остались непрочитанными, и вынул их из кармана пальто. Дома было тихо, дочка куда-то ушла, жена уже легла спать. Он сидел на кухне, пил крепкий чай и читал, не пропуская, по обыкновению, даже маленьких заметок — о том, что в магазины поступили первые партии елочных украшений, а в зоопарке начался ремонт львятника. И — тоже по обыкновению — очерк «Бог огня», занявший полтора подвала, он как бы приберег напоследок, лишь поглядев, кто автор, и удовлетворенно улыбнулся: «А. Будиловский, рабочий». И, начав читать очерк, подумал: «А ведь здорово пишет! Или журналисты помогали?»

Это был очерк о сталеваре Коптюгове, и Рогов, у которого вообще была отличная память, несколько раз повторил фамилию про себя, но не для того, чтобы лучше запомнить, а словно взвешивая: «Ко-птю-гов!» Фамилия ему понравилась — бы-

* Да здравствует польско-советская дружба! (Польск.)

ла в ней какая-то прочная тяжеловатость, что ли. Коптюгов... Вот он тут же, на снимке: каска сбита на затылок, он улыбается — сдержанно и немного устало, и лицо у него, пожалуй, под стать фамилии или, вернее, тому представлению, которое она вызывает, — тоже тяжеловатое, быть может, благодаря большому, раздвоенному подбородку.

Читая, Рогов несколько раз улыбнулся — его тронули и история с дедом-кузнецом, и неловкие, наивные стишки, которые цитировал автор, и, отложив газету подумал: надо будет сказать редактору, чтоб такие очерки о людях появлялись чаще. Как там написано, в стишке? «Вот он стоит, как бог огня...» Он снова улыбнулся, вспомнив тот далекий сорок первый, когда бегал с ребятами греться в литейный цех. Никаких богов, конечно, они там не видели, а на одной из печей подручной работала вообще девушка, он даже помнил, что ее звали Таней.

Но вот странная вещь! Бывает, привяжется какая-нибудь песенка или просто мотив, и уже никакими силами от них не отделаешься. Рогов листал блокнот, думал о завтрашних делах, а сам напевал про себя: «Вот он стоит, как бог огня... как бог огня... как бог огня...» И наутро, бреясь, вдруг снова вспомнил: «...как бог огня...» А живет-то бог в общежитии... После завтра на бюро обкома будем слушать строителей — конец года, штурмовщина, опять придется принимать дома с недоделками...

О том, что завтра на заводе будет польская делегация, Ильин сообщил секретарь партбюро Воол. Только что ему звонил Нечаев и предупредил, что литейный цех гости посетят обязательно, хотят посмотреть, как пойдет отливка ротора для пятнадцатитысячной турбины. С ними, скорее всего, будет секретарь обкома Рогов, так что...

К этому сообщению Ильин отнесся спокойно. Вообще он не любил, когда в цехе бывали посторонние, но сейчас речь шла о гостях, и надо было подумать, как их встретить. Ну, кофе они будут пить у директора, это ясно. А вот подарить каждому по каске, пожалуй, можно.

На малой оперативке он сказал и о завтрашних гостях. Суточное задание уже было готово, варить сталь для отливки ротора будет бригада Чиркина. Вдруг Воол сказал:

— Я думаю, лучше поручить это Коптюгову. Читали вчера в газете? Гости, наверно, тоже читают наши газеты. Словом, я за Коптюгова.

Ильин не возражал и кивнул Эрпанусьяну: замени. Но, добавил он, сами понимаете, какой завтра день. Дело не в гостях, конечно, а в роторе. Отливка должна пройти без сучка без задоринки. Он повернулся к Малыгину, тот, как всегда, чуть заметно кривил губы.

— У меня все готово, — торопливо, пожалуй, даже слишком торопливо сказал Малыгин, словно предупреждая вопрос начальника цеха.

Когда оперативка окончилась, Ильин попросил Воола остаться и протянул ему три бумажки — три извещения из вытрезвителя, присланные на завод. Неделю назад, после полочки, трое формовщиков провели ночь в этом заведении. Воол неторопливо прочитал извещения и вздохнул:

— От тебя хороших новостей не узнаешь.

Он называл Ильина на «ты» и по имени; Ильин говорил ему «вы» и обращался только по имени-отчеству. Все-таки пятнадцать лет разницы в годах! Воолу было уже пятьдесят семь, два года назад он вышел на пенсию, но его неизменно избирали в партбюро, и лет десять, пожалуй, он был бессменным секретарем. Сорок лет в этом вот цехе! Прошел от шихельника до начальника смены. Каких только людей не повидал, каких только событий не помнил! Плотный, седой, с мягким лицом, он почему-то напоминал Ильину сельского учителя — в его представлении сельский учитель должен быть именно таким.

— Ну так что, Эдуард Иванович, снова воспитывать будем? У меня здесь в «день дисциплины» так перегаром разит, что за неделю не проветрить. Говорим, убеждаем, наказываем, летом отпуска не даем, тринадцатой зарплаты лишаем, очередь на квартиру отодвигаем, а копните в земле на формовочном — пустые бутылки зарыты.

— Чего же ты предлагаешь?

— Освободиться надо, — зло сказал Ильин. — Ничего! Мы при социализме живем, безработицы у нас нет. Найдут другую работу.

— И пусть другие с ними возьмется, да? — спросил Воол.

— Да, Эдуард Иванович. Наверно, есть такие профессии, где выпивка допустима. У нас — недопустима, сами знаете. Сколько отливок гоним обратно в ШЭП, на переплавку, только потому, что у кого-то руки с похмелья дрожали.

Сейчас он будет возражать, подумал Ильин. Будет говорить о наших недостатках в воспитании, — сельский учитель.

— Это и наши с тобой недостатки в воспитании, Сережа, — сказал Воол.

Он не понял, почему вдруг улыбнулся Ильин, — улыбка была короткой, тут же лицо Ильина снова стало хмурым, даже злым.

— Как член бюро я прошу вас на первом же заседании поставить мое сообщение.

— Так ведь ежели ты начнешь жать, — глядишь, и поругаемся, — спокойно сказал Воол. — У тебя что, какие-то соображения есть? Поделись, хотя бы вкратце...

— Нет, только на партбюро, — сказал Ильин. — У меня, кроме соображений, сейчас вот где завтрашняя отливка сидит. А тут еще гости и секретарь обкома.

— Я пойду, — сказал, поднимаясь, Воол. — Погуляю по цеху.

Это было его любимое выражение и любимое дело. Несколькими часами в день — утром, днем, а то и ночью, в разные смены — Воол отправлялся «гулять по цеху» и говорил об этом так, как будто речь шла о прогулке по парку. Но Ильин, да и все, знали, что значили для Воола эти «прогулки». Подойдет к одному, другому, пятому, десятому — разговоры при этом самые разные, начиная от домашних дел и кончая здешними, цеховыми, — и все это мягко, ровно, за что, должно быть, Воола и любили. И Ильин тоже любил Воола, но, называя его про себя сельским учителем, все-таки злился. Вот с Левицким они и впрямь были два сапога пара! Ильина раздражала мягкость секретаря партбюро. Когда-то он сказал об этом Левицкому, и тот, по обыкновению вздохнув, ответил: «Знаешь, Сережа, все вы, молодые, авторитетом власти хотите брать. А Эдуард Иванович авторитетом души берет». Ильин не мог и не хотел принять это объяснение. Он даже чуть обиделся на Левицкого: что ж, значит, я бездушный, так выходит? «Ты замотанный, — сказал Левицкий. — У нас с тобой нет времени в людей поглядеть».

Нет уж, на партбюро он прямо скажет, что надо очищать цех. Сделать так, чтоб человек, вызванный в дисциплинарный день, расписывался в специальной книге, что предупрежден и что второго вызова уже не будет, а будет обращение администрации в цехком с просьбой об освобождении такого-то товарища. И не только за выпивку. За технологические нарушения тоже.

Ладно, хватит думать об этом. Завтра будет нелегкий день...

Еще тогда, когда Генка Усвятцев посвящал Сергея в тайны профессии третьего подручного, он сказал: «Хочешь добрый совет? Приходи раньше минут на двадцать. Костя очень не любит, когда шихтари валят в корзину всякое дерьмо». Он не сразу разобрался, что такое «дерьмо», не все ли равно, чем загружать печь. «Приглядывай, приглядывай, — многозначительно посоветовал Генка. — Посмотри, среди бегущих первых нет и отстающих». Он всегда приговаривал что-нибудь такое, кстати или некстати. Но Сергей и на этот раз ничего не понял.

Из дома тем не менее он уходил раньше и, если ребята из предыдущей смены не успевали загрузить корзину, к началу его смены шихта была уже заложена и взвешена. Впрочем, в том, что он уходил раньше, было одно преимущество: в автобусе было еще свободно, а через двадцать минут отцу приходилось ехать в битком набитой машине.

В этот день Сергей приехал на завод как обычно, протиснулся между локомотивом и стенкой ворот (должно быть,

только что доставили шихту и сейчас ее выгружали магнитами там, на дворе), почти бегом поднялся в тесную раздевалку (старую еще ремонтировали после того случая с неудавшейся плавкой), и когда вышел на шихтовый двор, то увидел Коптюгова. Это было совсем неожиданно. Обычно здесь Коптюгов не появлялся никогда. Он стоял к Сергею спиной и разговаривал с тремя шихтарями. Сергей подошел и увидел, как, достав из кармана деньги, Коптюгов протянул их одному из рабочих.

— Заметано?

— Будь спок и не кашляй.

Коптюгов обернулся, когда Сергей сказал ему: «Привет богу огня», и лицо у него было веселое, будто он только что травил здесь с ребятами анекдоты, но Сергей догадался, что разговор у них был какой-то другой. Вряд ли они скидывались на четверых: он знал, что как раз за это Коптюгов выгнал из бригады его предшественника — третьего подручного и сам не любил выпивать, и помнил еще, как он обрезал его тогда, в первый день, когда Сергей предложил всей бригадой двинуть в ресторан.

— А, здорово, — сказал Коптюгов. — Хорошо, что ты раньше пришел.

— Я всегда так прихожу.

— Медаль получишь, — засмеялся Коптюгов. — А теперь слушай сюда, как говорят в городе Одессе. — Он кивнул на рабочих, те уже отошли в сторону и говорили о чем-то своем. — Сегодня эти организмы загрузят тебе корзину сами, ты только следи за весом, чтоб ни секунды не потерять на завалке, понял?

— Ясно, командир. Чего будем варить?

— Коньяк пять звездочек, — весело сказал Коптюгов и пошел к ступенькам — к печи. Ночная смена еще не дала свою последнюю плавку, и Сергей видел, как Коптюгов стоит там, наверху, курит, смотрит, будто посторонний человек, случайно забредший в цех.

Загрузили корзину. Кран поднял ее и перенес на весы. Сергей заметил, что на этот раз корзина выглядела как-то непривычно — не торчали обломки перекрученных рельсов, не гремели одна о другую ржавые обрезки труб. Одни болванки! Сахар, а не шихта. Он крикнул одному из шихтарей:

— Каждый бы день такую! — и тот, подмигнув, крикнул в ответ:

— Можно и каждый, за нами не станет. Только ведь чье винцо, того и задравьце!

Сергей зацепил гак и махнул рукой, крановщица начала поднимать. На печи уже давали плавку, и черная фигура все так же неподвижно стоящего Коптюгова четко выделялась отсюда, с шихтового двора, на ярко-оранжевой стене.

Сергей подумал — а все-таки до чего это красиво, когда идущая сталь делает все вокруг нарядным, праздничным, и,

будь он художником, нарисуй эту фигуру на оранжевом фоне, назови картину — «Завод», никто не поверит, что так может быть на самом деле. Эта мысль пришла ему в голову не раз. Однажды там, на Дальнем Востоке, десантников подняли в воздух ночью, и вдруг Сергей увидел рассвет: почти черное небо, под ним зеленая полоса и еще ниже точно такое же оранжевое полукружье от еще невидимого даже с пятикилометровой высоты солнца. Эти полосы были резко отделены друг от друга и лишь несколько минут спустя начали перемешиваться, сливаться, светлеть. Но это подсмотренное мгновение поразило тогда Сергея точно так же, как поразило сейчас.

...Кран нес корзину — и вот печь содрогнулась, когда Сергей раскрыл корзину и сбросил шихту. Коптюгова уже не было видно на площадке, он сидел за лотаторами. Сейчас каждой своей клеткой Сергей ощущал тот ставший привычным ему ритм работы, когда все вокруг перестает существовать и есть только вот эта небольшая, ограниченная железными поручнями площадка — место, где ты обязан не просто прожить восемь часов, не просто отработать, а дважды *сделать* тот самый огненный рассвет, два ручья стали, которые мастер в своем плавильном журнале запишет сухими цифрами — дата, номер печи, марка, время...

Никто из них не замечал, что поодаль уже давно стояло человек десять или двенадцать. Если бы Сергей заметил их, то увидел бы и отца. Впрочем, скоро все они ушли, и только вечером отец сказал ему: «А ты уже лихо наловчился, оказывается!..»

Конечно, как Рогов предполагал, так и получилось: Травинский обязательно, непременно хотел присутствовать при отливке ротора, и Рогов попросил Ильина разыскать всех за полчаса до того, как начнут давать плавку. На заводе делегация собиралась пробыть долго — в турбокорпусе, затем беседа у директора и еще одна — в парткоме, так что адреса, как говорится, известны. Поглядев на часы, Ильин сказал, что по графику «десятка» даст плавку около одиннадцати.

— Ну вот и хорошо, — сказал Рогов. — Как раз успеем. У вас какие-нибудь вопросы есть?

— Много, Георгий Петрович, — улыбнулся Ильин. — Но, наверно, все можно решить своими силами.

Приезд гостей все-таки нарушил уже сложившийся распорядок дня. С утра Ильин успел лишь просмотреть отчеты начальников смен. Был четверг — день оперативки у заместителя директора по снабжению, а он не пошел: как раз приехали гости. Придется все вопросы снабжения решать вечером, потому что завтра пятница, а там два выходных, между тем цеху требовалось многое сверх нормативов. Хорошо еще, что Збанцев не потащил с гостями по другим цехам! Понимает, что со вре-

менем — резать... Ильин попросил секретаршу принести ему последние заводские приказы: у него оставалось время подготовить всю документацию по оперативным вопросам на выходные дни.

Он работал и подсознательно, пожалуй, слушал, как лаборатория переговаривается с плавильным участком. Дала плавку «сороковка», проваливалась по никелю первая «десятка»; потом он поднял голову, услышав свою фамилию, но лаборантка называла не его:

— Коптюгов, почему Ильин раньше времени принес пробу?

— Соскучился по вас, девочки.

Ильин, нагнувшись, сказал в микрофон прямой связи:

— Прекратить лишние разговоры! Коптюгов, что там у вас?

— Идем на рекорд, Сергей Николаевич.

— Какой еще рекорд? Как идет расплав?

— Уже кончился, Сергей Николаевич. Переходим на рафинирование.

— Что-то рановато, — сказал Ильин, поглядев на большие настенные часы. — Где Шток?

— Я здесь, здесь, — ответил Шток, и Ильин сразу успокоился: значит, Шток не отходит от второй печи, это хорошо, но о каком рекорде говорил Коптюгов?

— Плавка идет с опережением графика, — сказал Шток. — Ты предупредил бы... ну, знаешь кого... а то опоздают. Гости не опоздали.

Ильин стоял рядом с ними, тоже как гость, ни во что не вмешиваясь, как бы давая понять что работа в цехе налажена так, что его вмешательства не требуется. Да так оно, в общем-то, и было на самом деле. Сейчас лаборатория выдаст разрешение... Вдруг Травинский спросил его:

— Вы говорили — четыре часа? Прошло три часа тридцать две минуты.

Ильин не успел ответить. Подручный пробил летку, и металл пошел. Все опустили очки на своих касках — и снова, в который раз, Ильин почти физически ощутил завороченность этих людей, стоявших рядом. Он понимал одно: ребята работали сегодня лучше некуда! Три часа тридцать две минуты! Подняв глаза, он уже не отрываясь глядел на весовое табло, на котором, словно догоняя друг друга, бежали цифры, бежали и вдруг остановились: 13,7.

— То jest праса!* — восхищенно сказал кто-то.

— Значит, решили удивить гостей, товарищ Ильин? — спросил Рогов. — Кто у вас там, на печи?

— Коптюгов, — ответил Ильин.

— Бог огня! — улыбнулся Рогов, поворачиваясь к Травинскому. — Ну, пойдем знакомиться? Я только боюсь, что ты сам

* Вот это работа! (Польск.)

захочешь провести следующую плавку и тебя от печи придется оттаскивать краном.

Знакомились тут же, в конторке мастера. Коптюгов пришел один — подручные готовили печь к следующей плавке. Рогов, пожимая Коптюгову руку, спросил:

— Вы что ж, каждый день можете так, как сегодня? Или это в честь наших гостей?

— Да, да, — поддержал его Травиньский. — У нас тоже такие печи, но три с половиной часа — это есть рекорд! Как вы это зробили?

Коптюгов улыбался, проводя по мокрому лбу тыльной стороной руки. Было видно — он здорово устал, эта плавка вымотала его.

— Трудно сказать сразу как. Четкая организация труда — раз. Ну и, наверно, умение... Печку покачать, глядеть, чтоб обвалов не было, коротыша... короткого замыкания то есть. А то знаете как бывает — дойдут электроды до расплавленного металла, и пошла искра кругом... Главное же, конечно, самим чисто сработать, как часы. Вот и весь секрет.

Рогов смотрел на него с удовольствием. Там, на снимке во вчерашней газете, Коптюгов был все-таки какой-то приглаженный. Этот Коптюгов нравился ему куда больше. Конечно, все время работать так, как сегодня, сталеварам слишком трудно. Есть технически обоснованные нормы. Просто сегодня — он это хорошо понимал — ребята решили, что называется, показать класс. Но его не отпускала одна мысль, и он повторил вопрос:

— Ну, а если каждый день так?

— Трудно, но будем стараться, товарищ Рогов.

— Ну смотрите! — сказал Рогов. — Я это запомню, память у меня хорошая.

— Спасибо, — сказал Коптюгову Травиньский, обеими руками пожимая его руку. — У меня тоже хорошая память. Обязательно приглашу вас к себе, у нас тоже есть хорошие сталевары...

Гости ушли, унося с собой подаренные каски. И уже снова с грохотом заваливалась шихтой печь, и начиналась вторая плавка, и Коптюгов знал, что на этот раз никакого рекорда не будет и что вторая пройдет как обычно, а потом они начнут третью и передадут печь дневной смене уже на ходу... Но все было так, как он хотел и как приготовил. Плохо одно: плохо, что Сергей видел, как я давал деньги шихтарям. Но, скорее всего, он так ничего и не понял — сосунок ведь еще, салага, а в случае чего скажу, что попросили ребята в долг до получки, почему бы не дать...

Он оказался прав: в тот день Сергей даже не вспомнил, что его удивило появление Коптюгова на шихтовом дворе, и эти деньги, мелькнувшие из рук в руки, и эта загадочная ухмылка

шихтаря: «Чье вино, того и заздравьце». Он ехал домой, уже заранее представляя себе вечерний разговор с отцом, придумывая в подробностях, как скажет с этойкой небрежностью: «Не пыльная у тебя, батя, работенка, как я погляжу! Тебе бы профессию поменять. В музей, экскурсоводом. Очень здорово это у тебя сегодня получилось!»

И, придумывая этот по обыкновению шуточный разговор с отцом, Сергей по-настоящему блаженствовал, сидя у окна. Что-то хорошо сделанное или пусть даже одно соучастие в этом хорошо сделанном непременно рождает в человеке сознание не просто выполненного долга, а еще и чувство своей силы, своей нужности другим, вообще своей необходимости в жизни. Этим летом в студенческом отряде было привычным петь по вечерам, хотя все они валились с ног от усталости. Но, пожалуй, только сегодня Сергей впервые по-настоящему понял, почему усталые люди, сделав что-то хорошее и нужное, могут еще и петь.

16

Каждый заводской дом все-таки чем-то похож на одну большую деревню: все знают всех, ходят друг к другу по надобности и без надобности, просто так, поболтать вечером, а уж по праздникам и говорить нечего — все смешивается, все кочуют из одной квартиры в другую, а опытные хозяйки еще на лестнице определяют по запаху: у Ивановых сегодня щи. Петровы пекут пироги, а Сидоровы жарят мясо... Любая новость распространяется по такому дому тоже, как по деревне, мгновенно: у Сидоровых дочка выходит замуж за студента; у Петровых чуть не случился пожар — старая бабка забыла выключить утюг; у Ивановых украли детскую коляску, которую обычно оставляли внизу, чтоб не возить каждый раз на девятый этаж... Здесь соседствуют старые дружбы и старые неприязни, здесь могут радоваться успехам других и завидовать этим успехам. И все это — обыкновенная, привычная, годами сложившаяся жизнь людей, которых судьба свела сначала на одной работе, а потом и в одном доме.

В этом заводском доме жил главный инженер Заостровцев, многие начальники служб, рабочие; на одной лестничной площадке, дверь в дверь, поселились Воол и Чиркин. Эти двое вообще были старинными друзьями, еще с довоенных лет, а после того, как Воол неожиданно овдовел и остался совсем один, Чиркины стали для него не просто друзьями-соседями, а как бы второй семьей. Он часто думал, что только работа да Чиркины помогли ему выстоять тогда, два года назад, когда умерла жена. А ведь казалось — все, жизнь кончена или, уж во всяком случае, стала ненужной...

Эдуард Иванович (на самом деле Янович) Воол был из давно обрусевшей эстонской семьи. Когда-то, в конце прошлого

века, его дед, соблазненный щедрыми посулами вербовщиков фирмы Симменс-Шуккерт, перебрался со своим многочисленным семейством из Ревеля в Санкт-Петербург, но посулы остались посулами, работы было много, денег — мало. Революция и гражданская война раскидали семью Воолов. Старшего сына — чекиста Яна — она забросила сюда, в Большой город, где он и осел прочно. После его смерти к Эдуарду перешла резная шкатулочка, где среди старых семейных фотографий и писем хранились две записки от Виктора Кингисеппа, с которым дед был хорошо знаком по работе в эстонском районе,* и Эдуард Воол откровенно гордился тем, что он — уже третье поколение в партии.

Иван Николаевич Чиркин был даже внешне чем-то похож на него: такой же полноватый, даже мешковатый малость, с очень простым, неприметным лицом, также рано поседевший и такой же мягкий — нет, не такой же, а вообще, как называла его жена, сдобная булка. Говорят, крайности сходятся. Он был полной противоположностью жене, Татьяне Николаевне, и бог знает, когда и кто из заводских остряков окрестил Чиркина Татьяном Николаевичем.

Когда они — Воол и Чиркин — сидели вечерами на кухне за чаем или возле телевизора, вдруг один из них обрывал разговор и спрашивал: «А помнишь?..» Короткое воспоминание — и прерванный разговор возобновлялся. Но среди многих общих воспоминаний было одно, с которым Воол, чуть захмелев, непременно «выступал» на каждом семейном торжестве, — история о том, как его друг Чиркин познакомился с Татьяной Николаевной.

Тогда, в сорок втором, у них в литейке было совсем не так, как нынче. Если выражаться по-современному, там все время стоял смог, который не могли выветрить никакие сквозняки. Дым, смешанный с пылью, копотью и черт еще знает с чем, висел где-то в метре от земли. Нагнешься — видишь чьи-то ноги, а все остальное тонуло в этом густом, плотном, душном тумане.

И вот, каждый раз восторженно рассказывал за столом Эдуард Иванович, возился он, в ту пору шишелъник, со своими стержнями и подошел к нему по какому-то делу Чиркин. Опустился рядом на корточки, сидят разговаривают. Вдруг Чиркин и говорит:

«Баба идет. Смотри, какие ноги!»

Действительно, видны были только ноги, и эти ноги медленно ступали к ним. Потом женщина — или девушка — выпрыгнула из тумана и спросила сверху:

«Чиркина не видели?»

«Ну, я Чиркин».

* Так называлась эстонская группа РСДРП в С.-Петербурге, где В. Кингисепп начинал свою революционную деятельность.

«Я к тебе подручной».

«Ты — подручной? Ты же баба, в тебе только и есть, что ничего ноги».

«Я вот покажу тебе бабу, — донеслось сверху. — Идем, говори, чего надо делать».

— И, — неизменно добавлял Воол, так и сияя от собственного рассказа, — ведь не испугался человек, не оробел, а женился всего месяц спустя на собственной подручной! Ну а дома, конечно, он у нее сам в подручных ходит. На общественных началах, разумеется!

Хотя все знали эту историю, слышали ее много раз, за столом смеялись, особенно Татьяна Николаевна, и потом сама добавляла: а ведь на самом деле ничего были ноги. Чиркин-то мой тюфяк тюфяком, а разбирался смолоду! И ласково, и не больно трескала его по затылку, как будто от запоздавшей на многие годы ревности.

Сын Чиркина служил на флоте — подводник, капитан-лейтенант. Дочь, Ленка, работала в экспресс-лаборатории и пошла не в мать, а в отца — такая же мягкая и спокойная. Воол, который знал буквально все, что делалось в цехе, первым заметил, как вокруг нее начал увиваться один парень — подручный со второй «десятки», и не удержался однажды, сказал Чиркину:

«Смотри, старый, сын-то тебя еще бережет, дедом не делает, а эта тихоня быстро поставит тебя к корыту пленки стирать».

И обомлел, когда Чиркин так и вскинулся:

«Да ну? Скорей бы уж только, что ли...»

В тот вечер Воол пришел к Чиркиным на телевизор. Цветной телевизор был куплен в складчину, и сегодня возле него расселись все. Должны были показывать фильм о ЗГТ, тот самый, который снимался на заводе нынешним летом, и грех, конечно, было не посмотреть, тем более что снимали и Ленку.

— Ты не надейся, — сказал ей Воол. — Тебя вырезали, это я точно знаю. Когда проявили пленку, так и ахнули: это, спрашивают, что за тощак? И глаза как у козы. Весь фильм портит! И вырезали ножницами как нетипичную.

За несколько минут до начала фильма раздался звонок, и Лена побежала открывать дверь. Сначала из прихожей донеслись приглушенные голоса — ее и мужской, потом ненадолго стало тихо, и Воол многозначительно пихнул Чиркина в бок: мол, слышишь? Не слышишь? Потому и не слышишь, что целуются! И Лена вошла с букетиком гвоздик, за ней появился Усвятцев. Дикторша уже объявляла, что сейчас будет показан документальный фильм «Созидатели», снятый Большегородской студией на заводе газовых турбин... Так что с Усвятцевым поздоровались наспех и тут же отвернулись к экрану.

И вот на экране — огонь, бушующее пламя, стремительный ток расплавленного металла. Силуэты людей, сильные взмахи

рук с лопатами, забрасывающими в печь добавки, и вдруг во весь экран мокрое от пота, с напряженными глазами, в которых играет огонь, — лицо Коптюгова.

— Костька! — сказал Усвятцев.

Свет-плавки померк. Теперь на экране было трое, устало и неторопливо закуривающих, — Коптюгов, Будиловский, Усвятцев. И снова Усвятцев сказал:

— Ну, артисты! Сашка-то у нас некурящий, а его заставили за компанию. Потом целый час откашляться не мог.

И снова цех, разливка стали... Они смотрели не отрываясь, узнавая одних — вон мелькнул Эршанусьян, а это Мальгин возле формовщиков, — не узнавая других, переносились то на декадку к Заостровцеву («Вон наш Ильин сидит, грустный, чего-то»), то в турбокорпус, где уже вовсе не было никаких знакомых. И вот наконец кафе...

— Не вырезали! — сказал Воол. — Вон Ленка-то.

Как странно и интересно было видеть самих себя — живых, двигающихся, улыбающихся — со стороны! Усвятцев, привстав там, на экране, разливал вино. Коптюгов повернулся к красивой высокой девушке, сидевшей рядом с ним, и, видимо, начал говорить о чем-то смешном... Играла музыка.

Фильм шел минут пятьдесят, и, едва он кончился, все задвигались, заговорили разом — все-таки здорово, что показали завод. «А ты, Леночка, очень хорошо вышла», «А Генка почему-то все время плечом дергал, будто танцевал...» И Воол улыбался, зная, что завтра разговоров на заводе хватит на весь день. Кто-то, конечно, и обидится: вот меня не сняли, а что я — хуже других, что ли? Он покосился на Чиркина, на его спокойное лицо. Почему сняли бригаду Коптюгова, а не Чиркина? — подумал он. Если б я не был в отпуске, то подсказал бы... Нет, конечно, Иван ничуть не расстроен тем, что его не показали в фильме, а уж, казалось бы, кого-кого...

Татьяна Николаевна пошла на кухню — готовить ужин, Лена поднялась и повела Усвятцева в свою комнату. Воол кивнул на дверь:

— Ну как он, ничего парень?

— Парень как парень, — ответил Чиркин. — Ленке нравится, значит, ничего.

— Цветы принес... — задумчиво сказал Воол.

— Это ты к чему?

— Да, понимаешь, приходит тут ко мне одна девчонка из ПРБ и говорит: дайте совет, за кого замуж выходить. За ней, оказывается, двое ухаживают. Один приходит с тортом, другой — с коньяком или шампанским. Ну, я и сказал: выходи за того, который с тортом, а она в рев — второй ей больше нравится. Вот и разберись в женской натуре.

— Нет, — качнул головой Чиркин. — *Этот* вроде непылющий. Коптюгов их крепко держит. Сильный мужик. Покойник-то Степан Тимофеевич в нем души не чаял.

— Я знаю, — кивнул Воол. — Он ему характеристику давал, так и написал: «сталевар редкого таланта». А если честно, Иван... Не люблю я судить о людях по одному чувству, но что-то не нравится мне в Коптюгове. Сам не знаю что, и понять не могу, а вот не лежит к нему душа — и все тут! Ты про него в газете читал? Ангел с крыльшками!.. А потом эта скоростная плавка... Ее ведь Коптюгов для показухи дал. Как по заказу, для начальства! Но Рогова на мякине не проведешь. Я сам слышал, как он Ильину сказал, — дескать, решил удивить гостей? А Ильин здесь ни при чем, это я точно знаю.

— Стареешь! — хмыкнул Чиркин. — Я, брат, другое не люблю. Когда вот такие песочницы, как мы с тобой, начинают ворчать: «Вот в наше время...» А что в наше время? У куриц по два пупка было, что ли?

Татьяна Николаевна накрыла на стол, крикнула Лене, чтоб шли, и Воол сообразил, что все это ради гостя, ради Усвятцева: обычно они ужинали на кухне.

По телевизору теперь шла литературная передача, и Усвятцев, мельком взглянув на экран, небрежно сказал:

— Вон Женька сидит, второй слева.

— Какой Женька? — спросила Лена.

— Евтуш.

— Евтушенко? — поправил Воол. — Вы что же, знакомы, что ли?

— Случалось, — все так же небрежно ответил Усвятцев.

За столом он держался спокойно, даже уверенно, но одно присутствие здесь постороннего человека будто сковывало Воола, мешало ему. Время от времени он взглядывал на Ленку — она тоже была спокойна. И всего-то разговоров: «Положить тебе варенья?» — «Спасибо». — «Еще чаю?» — «Да, покрепче». Он никак не мог уловить между этим парнем и Ленкой какой-то доброй душевной связи. Или так сейчас положено у них, молодых? Хоть бы он ей ногу под столом жал, что ли! Может, успели поссориться, пока сидели в той комнате?

Чай был допит, Ленка помогала матери убирать со стола, мужчины остались втроем. Неожиданно наступило долгое, неловкое молчание, и Воол нарушил его первым:

— Ну, а как вообще живется-можется?

Усвятцев только пожал плечами. Это, должно быть, означало — все нормально, и Воол отметил про себя: не хочет говорить, плохое настроение. Наверно все-таки поссорился с Ленкой. И, как бы подтверждая его догадку, Усвятцев встал и начал прощаться.

— Я провожу тебя до остановки, — сказала Лена, входя в комнату.

Воол ошибся, они не поссорились. Просто Лена сказала Усвятцеву, что у нее должен быть ребенок, и Усвятцев испугался. Его вполне устраивала та жизнь, которой он жил: хороший за-

работок, безотказная девчонка, только позвони — прибежит сразу, и эта мягкая покорность Лены нравилась ему. Она была удобной. О том, что может быть ребенок, он даже не задумывался. Он совсем не собирался жениться, хотя точно знал, что Ленку помани пальцем, и она пойдет за ним, как на веревочке.

Там, в комнате, первое, о чем он спросил, — знают ли родители? Ленка качнула головой:

— Нет.

Он облегченно вздохнул.

— Я почему-то думаю, что у нас будет мальчик, — тихо сказала Лена. Усвятцев стоял у окна, отвернувшись, и она прижалась к его спине. — Ты меня слышишь?

Он слышал: у нее был счастливый голос! Но сама-то она сейчас ничего не видит и не слышит. Она думает, что я одурел от радости. Осторожно повернувшись, он положил руки на тонкие, угловатые плечи девушки.

— Не надо, Лена.

— Что не надо?

— Ребенка не надо. Понимаешь, рано еще...

Она не понимала. Усвятцев пытался говорить ласково. Ему еще всего двадцать два года, а что сделано в жизни? Да ничего! Второй подручный! Год провалял дурака, не учился, а с будущего года обязательно пойдет в вечернюю школу. Сейчас без образования никуда. Что ж, ему так всю жизнь и проторчать у печи? И она куда с ребенком? Во всяком случае, техникум тью-тью, и, стало быть, тоже вечная лаборантка.

Он говорил и боялся, что вот сейчас она закричит на него, прибежит родители, все откроется. Но Лена слушала молча. Он повторял ей одно и то же, одно и то же по нескольку раз, потому что ему начало казаться, что Лена на самом деле оглохла.

— Ну, ты сама посуди, что нам с тобой вдвоем — плохо было, да? Хочешь — в ресторан, хочешь — в кино, хочешь — просто так гуляй. А если ребенок, тогда что?

В это время Татьяна Николаевна позвала их к столу.

Надо было сделать вид, что ничего не произошло, хотя больше всего на свете Усвятцеву хотелось уйти, убежать отсюда. Он с трудом дождался конца этого чинного семейного чаепития и, когда Лена сказала, что проводит его до остановки, понял — весь разговор будет там, на улице. Значит, она все-таки пришла в себя.

И на улице он продолжал доказывать ей, что ребенка им сейчас никак нельзя. И что жениться им сейчас — тоже никак. Нет, конечно, он не собирается ее бросить и кроме нее у него никого нет, но рано, рано... Что у него? Комнатенка в большой коммуналке? И никакого положения! Это только так кажется, что с милым рай в шалаше, но хорошо, если шалаш в раю. Давай встанем покрепче на ноги, вот тогда...

Лена шла молча.

— Почему ты молчишь?

— Я очень хочу ребенка, — тихо сказала она. — И я думала... я думала, что ты обрадуешься... Это так... плохо...

Она не плакала, не упрекала его ни в чем — шла и снова молчала, вся уйдя в себя, будто наглухо отгородившись от тех слов, которые повторял и повторял Усвятцев.

— Твой автобус, — сказала она.

Усвятцев торопливо поцеловал ее и, вскочив на ступеньку, придержавая дверцу, крикнул:

— Я тебя прошу... никому не говори. Ладно?

Лена не ответила.

Но Усвятцев поехал не домой.

Он понимал, что ему не удалось уговорить Лену и что она может не выдержать, сказать обо всем матери, тогда пошло-поехало. Жениться в двадцать два года, когда и жизни-то настоящего не видел, тянуть семью, да и на ком жениться-то! На Ленке?! Конечно, она славная девчонка, но уж больно у них все просто получилось. С такой хорошо покрутить для забавы, но жениться!.. Еще летом, там, в кафе, когда помощник режиссера подвел к их столику незнакомую девушку, Усвятцев невольно сравнил ее с Ленкой и вдруг почувствовал, что вовсе не Ленка ему нужна. И сегодня, когда показывали фильм и рядом оказались два лица — Ленкино и Нины, — он снова почувствовал колющую зависть: Коптюгову-то повезло куда больше!

Он увидел их однажды — Коптюгова и Нину — на улице. Они шли, и встречные невольно оборачивались и глядели им вслед...

Сейчас он кинулся в общежитие, к Коптюгову, не надеясь застать его там, но твердо решил дождаться во что бы то ни стало. Только Коптюгов мог ему помочь. Он-то хоть черта уговорит, если понадобится.

Коптюгова, действительно, не было. В комнате оказался один Будиловский, лежал и читал и, когда Генка вошел, приподнялся на постели, изумленно глядя на позднего гостя.

— Ты чего? Хочешь поделиться впечатлениями?

— Какими впечатлениями?

— Самым красивым во всем кино была твоя куртка, — засмеялся Будиловский.

— А-а, — махнул рукой Усвятцев. — Где Коптюг?

— Не докладывал, — снова ложась, ответил Будиловский, и уже по одному тому, как это было сказано, Генка понял — что-то между ними произошло.

— Все равно, — сказал он, — сяду и буду ждать хоть всю ночь. А вы с ним по нулям, что ли?

— С чего ты взял? — пожал плечами Будиловский. — Так, разошлись по кое-каким вопросам...

Он не стал рассказывать Генке, что Коптюгов, прочитав уже перепечатанный на редакционной машинке очерк — тот самый, «Бог огня», — долго и удовлетворенно хмыкал, даже головой крутил от удовольствия, а потом спросил:

«Что ж ты про полковника-то не написал?»

Будиловский начал было возражать: зачем, это вовсе не относится к делу, к теме, — и видел, как мрачнеет Коптюгов.

«Странно, — сказал Коптюгов, — я думал, ты все понимаешь... Ты что же, не веришь мне? Если я говорю — надо о нем написать, значит, надо».

Будиловский чувствовал — что-то здесь не так. После того, что с ним однажды произошло, он не мог верить на слово. После смены, сославшись на какие-то дела, он поехал в тот дом, куда полтора года назад его привел Коптюгов...

Там ничего не изменилось. Так же была приветлива мать Коптюгова, и Иван Егорович обрадованно загудел: а, все-таки появился, пропащая душа! В этом теплом, по-деревенски уютном доме Будиловский почувствовал себя легко и свободно, и лишь мучительно думал: как я спрошу? Да и зачем мне спрашивать, торгует ли Иван Егорович клубникой на базаре? Для чего это нужно Коптюгову?

Его угощали чаем, даже наливочка появилась на столе — своя, смородиновая, — он отказался выпить и с удовольствием пробовал всяческие варенья, которые мать Коптюгова принесла из кладовки.

Все-таки он ждал, что его спросят, зачем он пришел. Не просто же так — год с лишним спустя, на огонек, на чашку чая с вареньем! Но его ни о чем не спрашивали, и только в глазах матери он угадывал вопрос: *как он там?*

Когда чай был допит, Иван Егорович поднялся и сказал, что ему нужно сходить в магазин за «Беломором» — кончились папиросы... Нет, спасибо, от этих сигарет один кашель. Просто он хочет оставить нас вдвоем, подумал Будиловский.

— *Как он там?* — спросила Антонина Владимировна, когда Голубев вышел и его шаги простучали по ступенькам крыльца.

— Хорошо, — сказал, отворачиваясь, Будиловский. — Мы опять вместе, в общежитии... Но вроде бы ему обещали квартиру дать.

— В общежитии!.. — всхлинула Антонина Владимировна. — Такой дом стоит пустой... Я сколько раз к заводу ездила, ждала... Один раз дождалась... Банку с вареньем хотела отдать, не взяла...

Будиловский смущенно сказал:

— Он не говорил мне об этом. А почему он так, как вы думаете?

— Не может простить, наверно...

— Он говорит, Иван Егорович на рынке торгует, — тихо сказал Будиловский.

— Да, — ответила она. — Разве нам нужно столько? Детишкам носили в детсад — запретили: у них от клубники диатез...

Это признание огорошило Будиловского. Где-то в глубине души он думал, что Коптюгов наговаривает на отчима со злости, от ревности, что ли. Оказалось, не наговаривает, не врет, все так и есть.

— Господи, — сквозь слезы сказала Антонина Владимировна, — как могли бы жить! Женился бы он, жену привел, внукам какое раздолье... Вы поговорили бы с ним, Сапа? Или нет! Где ваше общежитие? Я сама приеду. Не могу больше так, извелась вся. Ну, чем ему Иван Егорович жить помешал? Я любила мужа, очень любила и не забуду никогда, хотя всего-то три месяца и прожили... А Иван Егорович...

Она махнула рукой и не договорила. Будиловский встал. Он не мог видеть, как плачет эта женщина, и не мог утешить ее. Своей матери он писал длинные письма, зная, что ей становится легче от них. Здесь же он был бессилен.

Он оставил адрес общежития и, торопливо попросившись, ушел. Уже дома он дописал эпизод, как Коптюгов увидел за прилавком торгующего клубникой отчима, и Коптюгов, прочитав, сказал:

«Ну вот, теперь все в ажуре».

Однако Будиловский вычеркнул все это уже в гранках и потом, когда очерк был опубликован, объяснял Коптюгову: вычеркнул редактор, потому что при верстке повис «хвост» — материал не влезал, вот редактор и вычеркнул именно этот кусок. Ему было все равно, поверит Коптюгов или нет. Возможно, он поверил, но обиделся. Они почти не разговаривали...

Ни о чем этом Будиловский не сказал сейчас Генке. Зачем?

— А все-таки, чего ты примчался?

— Дело есть, — буркнул Генка.

— Что-нибудь случилось?

— Ну, — сказал Генка. — Папашей собираюсь стать, вот что случилось. А на хрена мне оно!

Будиловский сел на кровати. Как — папашей? Генка усмехнулся.

— Очень просто. Или ты еще рядовой необученный?

— Ну и что? — спросил Будиловский. — Ну, женишься на ней, на Ленке, всего и дела-то. Комната у тебя есть...

— У меня еще и голова есть, — зло ответил Генка, — а совать ее в хомут не собираюсь. Понял? Мне еще пожить по-человечески хочется.

— Что значит — по-человечески?

— Брось, Сашка! — поморщился он. — Здесь мы с тобой разные, ты этого все равно не поймешь. Да и не люблю я ее, Ленку. Если хочешь знать, мне с ней и повозиться-то не при-

шлось — сама навязалась. Ну а я был один, вот и влил в первую попавшуюся... Конечно, все это между нами, надеюсь.

Скоро пришел Коптюгов — раздраженный, вымокший под дождем, и не удивился, увидев здесь Усвятцева. Мало ли зачем пришел человек.

— Соскучился? — спросил он, стараясь пригладить свои жесткие, дыбящиеся волосы.

— Слушай, Коптюг, — сказал Генка, — дело у меня к тебе такое... Сашка знает. Влип я, понимаешь?

Он рассказал Коптюгову обо всем, тревожно глядя на него, как бы стараясь угадать, какое впечатление произведет его рассказ. Но сейчас он рассказал больше, чем Будиловскому, — и о том, что Ленка хочет ребенка и не слушает его, и что не сегодня-завтра может проболтаться родителям, а там — сам знаешь, какая баба Татьяна Николаевна! — поднимется хипез на весь завод, да так, что костей не собрать.

— Да уж! — согласно кивнул Коптюгов.

— Вот я и говорю! — обрадованно подхватил Усвятцев. — Жениться я все равно не собираюсь. А если пойдет шум...

Он не договорил: его мучило, что «шум» кончится судом, а все знают, что с Ленкой был именно он, и соседи подтвердят то же самое, стало быть, четверть отдай — и не грехи... Сейчас он думал только об этом и только это пугало его больше всего.

Вдруг Коптюгов тихо засмеялся. Он сидел за столом — нога на ногу, сигарета в опущенной руке — и смеялся, глядя на Генку, будто тот рассказывал ему бог весь какой смешной анекдот. Усвятцев же мрачнел больше и больше, не понимая этого неожиданного веселья.

— Ах ты, кисонька ты моя! — смеялся Коптюгов. — Переспал с девчонкой — и ко мне? Спасай, дядя, от ребеночка? Что скажешь, Сашок?

После нескольких дней натянутых отношений, молчания это ласковое обращение оказалось тоже неожиданным, и Будилковский ответил, что ничего страшного, по его мнению, не случилось.

— Ничего? — спросил, все еще посмеиваясь, Коптюгов. — Конечно, ничего! И на свадьбе погуляем как следует, а потом скинемся на коляску. По десятке. А если она еще двойню выдаст, а? Как говорится, счастье отца не имело границ...

— Я ж серьезно... — пробормотал Генка.

— Я тоже серьезно, — резко оборвал смех Коптюгов. — Ты прибежал сюда свою четверть спасать, как я понимаю. Не хочется алиментики поплачивать? А я о другом думаю. Если будет шум, не одного тебя потянут, а и меня тоже. Я-то знаю, как это у нас делается... Обязательно найдется какой-нибудь горластый: вон у Коптюгова в бригаде аморалка, куда он смотрел, а еще кандидат в партию! Понял теперь? Ленка — тряп-

ка, я ее быстренько уломаю, но не ради твоих прекрасных глазок.

Будиловский глядел на него непонимающими глазами. То, о чем говорил сейчас Коптюгов, было не просто непонятно ему. За каждым словом ему чудилось что-то и гадкое, и холодное, и расчетливое одновременно, и он мог лишь поражаться тому, как открыто, не стесняясь, говорил Коптюгов.

— Ты хочешь уговорить ее, чтобы она...

— Вот именно, — сказал Коптюгов. — *Нам это не нужно.*

— Но ведь это, по-моему...

И снова Коптюгов не дал ему договорить.

— Помолчал бы ты, а? — тихо сказал он. — Тоже мне — образец высокой морали нашелся! Ты почаще своего профессора вспоминай.

Генка не понял — какого профессора? Но Коптюгов уже начал раздеваться (час был поздний) и ответил так же тихо и непонятно:

— Он знает какого...

17

Два с лишним месяца — невелик срок, но Ильину казалось, что перестройка движется слишком медленно и виноват в этом прежде всего он сам. Каждый день приносил ему какие-то неожиданности, чаще всего неприятные и чаще всего связанные с чьим-то недосмотром, разболтанностью, нерасторопностью. Пришлось крепко поссориться с Эрпанусьяном: в его смену были запороты сразу две плавки. Ильин потребовал плавились журналы, мастер написал объяснительную — все было ясно: несоблюдение технологии. День спустя на второй «десятке» сталевар недосмотрел — пошел обвал шихты, выключился воздушник, полетели ограничители... Дежурный электрик провозился сорок пять минут. Сорок пять минут потерянного времени!

Тот недельный распорядок, который Ильин ввел для самого себя, то и дело ломался как раз из-за вот таких раздражающих его случаев, и приходилось откладывать одни дела, намеченные накануне, и заниматься *случаями*. Как получилось, что на формовочном рабочий упал и разбил себе голову, да так, что в заводской поликлинике ему накладывали швы? Опять объяснительная записка — на этот раз от Малыгина: «...зацепился за ящик...». Как зацепился, почему зацепился? Вот и иди на формовочный и гляди, как укладываются ящики, — оказывается, плохо укладываются, кое-как, а Малыгин разводит руками: кто должен заниматься ящиками? Нужен свой стропаль.

— А вы сами не можете организовать обучение формовщиков? Вы что же, не знаете, что за стропальные права полагается десять процентов надбавки? А иметь штатных стропалей нам не положено.

И Малыгин снова кривит губы:

— Я еще и стропалей обязан готовить!

— Да, а пока получите выговор за случай производственно-го травматизма.

И так что-нибудь каждый день... Ильин же стремился к одному: к той четкости, которая исключает случайности, а все случайности шли от прошлого.

Его разбудили ночью — телефонный звонок раздался в четыре часа. На первой канаве выступили грунтовые воды, разлива в изложницы невозможна, что делать? Он позвонил диспетчеру, попросил прислать машину, приехал на завод невыспавшийся, небритый. Слава богу, хоть догадались не разливать сталь. Несколько лет назад начали лить, и одного канавщика обожгло паром так, что еле спасли человека... Ильин пошел в заводууправление, дождался Званцева, тот даже побледнел, представив себе, что могло бы случиться...

— В своей записке я требовал, чтобы канавы были заменены кессонами, — сказал Ильин. — Но вся документация уже месяц лежит в ОКСе.

— Мне уже докладывали, — сказал Званцев. — На такой кессон уйдет три месяца. Это значит, мы на три месяца должны остановить печь? Или у вас есть какое-то другое решение?

— У меня нет. Но в Ленинграде на Невском заводе сделали кессоны, не останавливая печей.

— Хорошо, — сказал Званцев. — Сразу же после праздников пошлем туда людей, и вы поедете тоже. Что еще?

— Пока хватит и этого, — мрачно усмехнулся Ильин. — Счастье, что без беды обошлось...

Да, все это еще оттуда, от старого цеха, от желания Левицкого жить только сегодняшним днем, которое было отражением желаний бывшего директора, но вполне устраивало и Левицкого: не надо ходить доказывать, требовать, пробивать, портить нервы себе и другим, а заодно и отношения. Ильину понравилось, как быстро и просто решил вопрос Званцев. Значит, сразу после ноябрьских праздников — в Ленинград... Конечно, командировка будет своя, заводская, а не министерская, без «красной полосы» и ненадолго — на неделю от силы, но и это хорошо! Как говорится, незачем изобретать велосипед, ленинградцы помогут. Он обрадовался тому, что сможет уехать хотя бы на неделю. Работа работой, но можно будет и отдохнуть, сходить в Эрмитаж, в Русский музей, в БДТ. В Ленинграде он не был лет десять или одиннадцать, когда тоже пришлось ездить в командировку.

За всеми этими делами он совершенно забыл о полученном недавно письме. Аккуратным детским почерком, без единой помарки на красивой открытке было написано: «Дорогой Сергей Николаевич! 29 октября с. г. исполняется 50 лет нашей школе-интернату, бывшему детскому дому, в котором росли и Вы. Очень просим Вас с семьей быть на нашем юбилее к

7 часам». Надо бы сходить, подумал он. Позвонил в экспресс-лабораторию Ольге. Да, она тоже получила такое приглашение и обязательно пойдет. А потом он забыл об этом письме, и хорошо, что Ольга позвонила и напомнила.

Надо было успеть забежать домой, переодеться, побриться еще раз. Он хотел, чтобы Надежда пошла с ним, но она отказалась. Ей-то зачем? Она никого там не знает, а у вас свои разговоры, свои воспоминания. Только, добавила она, постарайся никого не притаскивать с собой.

Здесь Ильин не был давно. Да и к чему было ходить, когда никого из старых воспитателей уже не было, а ребята разъехались по всей стране, потерялись в новой, взрослой жизни, обзавелись семьями, ушли в свои дела и, наверно, все реже и реже вспоминали детский дом — нелегкое и сиротливое детство тяжелых военных лет. Ведь он тоже старался не вспоминать те годы, но до сих пор в нем жило одно странное своей постоянностью чувство: стоило ему увидеть играющих мальчишек, и откуда-то из самых дальних глубин души вдруг поднималось печальное ощущение какой-то обделенности судьбой. Обычно ему удавалось быстро отгонять это ощущение, печаль была тихой и короткой, не оставляющей следа... Порой он думал: мог бы я так любить Сережку, если б в моей жизни не было сиротства, детдома, жизни впроголодь, холодной постели?

Как он и договорился с Ольгой, Ильин взял такси и заехал за ней. Надо было еще зайти в гастроном, купить коньяку, яблок, еще чего-нибудь: наверно, кто-нибудь из «стариков» все-таки придет. Ольга покачала головой: вряд ли... Все-таки он купил коньяк, яблоки, коробку конфет.

— Если никого не будет, сядем с тобой вдвоем, — сказал он. — И притащишь ты меня домой в разобранном состоянии...

— Надежда спустит меня с лестницы и будет права, — засмеялась Ольга.

Он подумал: Ольга совсем перестала бывать у нас, даже Сережка заметил это. Ольга как будто угадала, о чем он думал.

— У меня с Сережкой недавно был разговор, — сказала она. — Я спросила, зачем он пошел на завод, а он ответил длинной цитатой из Чехова. Не помню точно, но что-то о мусульманине, который копает колодец, чтобы спасти душу. Ты не помнишь?

— Помню, — кивнул Ильин. — Это его любимое изречение: «Хорошо, если бы каждый из нас оставлял после себя школу, колодец или что-нибудь вроде этого, чтобы жизнь не проходила и не уходила в вечность бесследно».

— Да, — сказала Ольга. — А потом он добавил, что самое

прочное, что человек может оставить, — это сталь. Шутка, конечно, но я почувствовала, что он говорил серьезно.

Ильин думал, как все-таки точно Ольга знает его, даже угадывает его мысли, а ведь так было всегда, с тех самых далеких детдомовских времен! Как-то он здорово заболел, это было весной, гонял с мальчишками свернутый кусок старой автотопкрышки, взмок, простыл и свалился с воспалением легких. У них был лазарет, он оказался там один и тоскливо ждал, когда после школы прибежит Ольга. Однажды она прибежала: «Тебе надо чего-нибудь?»

«Нет», — сказал он, отворачиваясь к окну. Ветки с крохотными, как зеленые точки, листьями, касались стекла. Он смотрел на эти ветки, и вдруг Ольга вышла, вернулась с банкой, откуда торчало несколько веток, и поставила на тумбочку возле кровати.

Сейчас Ильин тоже отвернулся к окну такси, за которым мелькали уже голые облетевшие деревья. Как странно! Никогда, ни разу он не вспоминал тот случай, а сейчас вспомнил. Или это потому, что они едут сейчас к своему детству, и воспоминания приходят сами собой?

— Тебе не очень страшно, Ильин? — вдруг спросила, беря его под руку, Ольга.

— Страшно? Чего?

— Того, что нам уже за сорок.

— А ты никому не говори, что тебе за сорок, — улыбнулся он. — На всем свете я единственный человек, который знает твой настоящий возраст. Но я буду молчать.

— Сейчас мне почему-то стало немного страшно, — призналась Ольга. — Вот мы приедем и с трудом будем узнавать друг-их, а они — нас. Будем говорить: «Да ты совсем не изменилась!» — и знать, что это вранье. Будем вспоминать что-то и делать вид, что помним, а на самом деле мало что помним...

Ильин вздрогнул. Вот снова будто угадала...

— Не надо, Оля, — тихо сказал Ильин. — Я только что вспоминал, как ты притащила мне в лазарет ветки.

— Не помню, — качнула головой Ольга. Она все держала его под руку, будто боясь, что этот человек из ее детства может куда-то исчезнуть.

...Они вошли в вестибюль. Здесь и вдоль лестницы стояли пионеры в белых рубашках. Две девчушки сразу же подскочили к ним:

— Вы с какого года?

— С сорок первого.

— А как ваши фамилии?

— Мыслова и Ильин, — ответил Ильин.

Одна девчушка быстро отметила что-то в своей тетрадке, другая протянула им по гвоздике и пригласила пройти в гардероб. На лестнице пионеры отсалютовали им.

— Ну вот, — сказал Ильин, покосившись на Ольгу, — уже и слезки!

Он сказал это с нарочитой ворчливостью, потому что у него самого перехватило горло. Он даже не предполагал, что эти самые первые минуты узнавания будут такими острыми — до боли, до растерянности, до щемящего чувства навсегда утраченного.

В зале уже играла музыка и собирались группки молодых и немолодых людей. На них обернулись разом — и тут же отвернулись: нет, не наши...

— Идем, — сказал Ильин. — Наше место вон там.

Он первым увидел на стене лист бумаги с цифрами «1941». Никого возле этого листа не было...

Ему показалось, что он заметил знакомое лицо, — да, так и есть, он уже видел эту высокую красивую девушку нынешним летом в кафе, когда зашел туда с Ольгой, а там начались съемки. Кажется, Ольга тогда сказала, что она тоже отсюда. Ее имя он, конечно, не помнил. Сейчас вокруг этой девушки собралось человек десять или двенадцать, в основном парни, и Ильин подумал, какие у них всех счастливые лица!

— Вон твоя знакомая, — сказал Ильин.

Теперь не ответила Ольга, и теперь уже Ильин взял ее под руку

— Да что с тобой, Оленька?

— Пойдем, Ильин, — тихо попросила она. — Постоим в коридоре и покурим.

Они вышли в сводчатый коридор и прошли в самый дальний его конец, к узкому, как крепостная бойница, окошку. Наверно, здесь не положено было курить, но они закурили, и Ольга закашлялась. Она курила редко, лишь в минуты большого волнения, но Ильин-то знал, что это ей сейчас не поможет никак. Надо было прихватить из дома седуксен или что-нибудь вроде этого.

— Ничего, ничего, — успокаивающе сказала Ольга. — Нервишки распались немного, сейчас все пройдет. И у тебя тоже, — добавила она.

Они курили молча, слушали далекие голоса и музыку, доносящуюся из зала. Отсюда было видно, как в зал идут все новые и новые гости, — у каждого цветок, но разглядеть их было невозможно, они стояли слишком далеко.

— У тебя красивое платье, — сказал Ильин, чтобы хоть что-нибудь сказать.

— Смешно, — сказала Ольга. — Ты впервые заметил мое платье! Ну, что? Мы совсем успокоились, Ильин?

Они вернулись, и вдруг Ольга тихо вскрикнула:

— Смотри!

Возле той надписи «1941» стояли двое мужчин, разговаривали, смеялись, и Ильин сразу узнал того, кто был к нему ли-

цом. Его поразило, что он узнал его сразу. Маленький, с подвижным лицом — конечно же, Князь Потемкин!

— Князь! — крикнул Ильин.

Маленький встрепенулся, их взгляды встретились, и вот они уже тискают друг друга, а следом неторопливо идет второй — польсевший и поседевший, ну, этого-то тоже легко узнать! Колька Муравьев, тот самый, который учился в Москве в медицинском. Приехал все-таки!

Как все было хорошо, хотя и торопливо, и суматошно в этом новом знакомстве друг с другом! Оказалось, Князь Потемкин — директор совхоза, а Колька уже доктор медицинских наук, живет в Ленинграде, работает в институте Бехтерева. И как они хохотали, когда Ольга назвала их «мальчиками»:

— Мальчики, у нас есть коньяк, яблоки и конфеты.

— Мальчики хотят коньяку! — вытирал выступившие слезы Колька. — А ведь, ей-богу, это самое чудесное, когда кто-то еще может назвать тебя мальчиком.

Больше никто из их сорок первого не приехал, не пришел...

Оказывается, Кольку попросили выступить, — еще бы, доктор наук! — и Колька говорил очень здорово, потом они, отбирая Ольгу друг у друга, танцевали с ней, прошли по дому и снова танцевали.

Ильин глядел на танцующую Ольгу и вдруг подумал, что видит ее *такой* впервые за многие годы. Да, с того вечера в «Волне», когда она вышла замуж за своего экскаваторщика. Тогда Ерохину было меньше лет, чем сейчас мне. Значит, когда человеку за сорок — это действительно много!

Невольно он разглядывал Ольгу *издали*. Как странно: фигура у нее совсем не изменилась, она все такая же, какой он помнил и знал ее, — худощавая, чуть угловатая, как подросток, с прямыми плечами, но вот она как-то повернулась и во всей фигуре появилась мягкость зрелой женщины. Легким движением головы она отбросила падающие на лицо волосы, и само это движение было удивительно красивым, женственным, увиденным им впервые.

Она словно почувствовала, что Ильин следит за ней, и поглядела на него — взгляд серых глаз был спокоен и ласков, а вот лицо раскраснелось, как у школьницы на балу, и от этого казалось моложе. Она поглядела на Ильина еще раз — уже внимательнее, и он улыбнулся Ольге, как бы желая сказать: «Молодец, девчонка! Не смущайся, что я разглядываю тебя. Просто ты сегодня какая-то совсем другая».

Потом они спохватились наконец, что есть коньяк, яблоки и конфеты. Ильин спустился в гардероб за пакетом. Колька потащил их всех куда-то по узенькой лесенке на третий этаж, потом подергал маленькую дверку — она открылась не сразу, но все-таки открылась, это был ход на чердак.

— Ничего не видно, — сказала Ольга, и тут же зажегся свет. Колька удивленно сказал:

— Смотрите, даже выключатель на прежнем месте. Я только руку протянул...

— А рюмки? — спросила Ольга.

— Ты зануда! — сказал Колька. — Может, ты еще потребуешь крахмальную скатерть?

Он вынул из кармана блокнот, вырвал несколько листков, скрутил кулечки, яблоки положили на чердачную балку. Они выпили из кулечков, не чокаясь, раз, и другой, и третий... Но коньяк был ни при чем: у Ильина и у Ольги уже было совсем другое настроение, — встреча оказалась счастливой, что ни говори, и Колька по-прежнему мальчишка, и Князь такой же светливый, каким был *тогда*...

Вдруг Князь сказал, что ему пора... Как пора, куда пора? Потемкин сморщился, будто собираясь заплакать: домой пора. У него жена рождает. Как рождает?

— Обыкновенно, — сказал Князь. — По восьмому заходу. Я обещал завтра же вернуться. А самолет через час.

Колька развел руками. Ну, Князь! Значит, восьмой ребенок?!

— Ага, — сказал Князь. — И один внук.

— Черт знает что! — проворчал Колька. — Какая-то гиперсексуальная семья. Айда ловить такси, ребята.

Они спустились, оделись, вышли. Было темно, ветер шелестел в темноте голыми ветками. До проспекта надо было пройти по неосвещенной аллее.

— Выросли деревья-то, — сказал Ильин. — Помните, мы их в сорок пятом сажали? В День Победы. Вот только уже не вспомнить, какое чье дерево.

В конце аллеи уже горели уличные фонари, там был проспект. Князь заметно волновался — сумеют ли они быстро поймать такси. Нет, не надо его провожать. Вот адрес. Он сунул в руку Ильину бумажку — должно быть, заранее приготовил еще дома — и подбежал к краю тротуара, оглядываясь, в надежде увидеть зеленый глазок.

Совершенно случайно поглядев в сторону, Ильин увидел человека, прислонившегося к фонарному столбу, и что-то знакомое почувствовалось ему в этой фигуре, хотя человек стоял, задрав воротник пальто и низко надвинув на глаза кепку. Еще не веря себе, он шагнул к нему и спросил:

— Коптюгов?

— Здравствуйте, Сергей Николаевич.

— Вы-то что здесь делаете?

— Гуляю, — сказал Коптюгов. — Привычка такая у меня — погулять перед сном.

— А-а, — сказал Ильин. — Погодка, правда, неподходящая.

— Ничего, — ответил Коптюгов.

Раздался свист, такой пронзительный, что Ильин вздрогнул

от неожиданности и обернулся. Князь уже выбежал чуть ли не на середину улицы и размахивал руками, как ветряная мельница крыльями, а Колька по-мальчишески озорно свистел, сунув два пальца в рот. Такси остановилось. Князь торопливо целовал всех, бормотал: «Приезжайте... дом большой... телеграмму только...»

— А девятый будет? — спросил Колька. — На девятого приедем.

Князь уехал на аэродром.

Ильин обернулся — Коптюгова уже не было.

— Теперь поймем еще одно такси и поедem ко мне, мальчики, — сказала Ольга. — Только у меня дома ничего особенного нет.

— Хочешь, я открою тебе свою душу? — спросил Колька.

— Попробуй.

Колька распахнул пальто — из внутренних карманов торчало по бутылочному горлышку.

— А почему ты говоришь «ко мне»? — спросил он Ольгу. — Или у вас матриархат?

Наступила долгая неловкая пауза, и Колька виновато сказал:

— Прости, Оля. Я думал, вы... Даже сомнений никаких не было!.. Вас еще тогда ведь дразнили: «Тили-тили-тесто, жених и невеста...»

— Давай свисти, доктор наук, — сказал Ильин, поднимая руку: вдаль кошачьим глазом светился зеленый огонек свободного такси.

Около четырех часов они выгнали Ольгу с кухни — спать. Ты же еле на ногах держишься! К тому же у нас могут быть свои, мужские разговоры, понимать надо. Ольга чмокнула обоих и ушла: она действительно чувствовала себя не просто усталой, но разбитой — слишком много волнений, слишком много воспоминаний... Хорошо, что завтра выходной.

— Только вы разбудите меня часа через два, — попросила она. — Дайте честное слово, что разбудите.

— Честное, — сказал Ильин.

— Гад буду! — подтвердил Колька.

Но когда Ольга проснулась, было уже одиннадцать. На кухне все было аккуратно прибрано, посуда вымыта, одна пустая бутылка стояла стыдливо засунутая в угол, другой нигде не оказалось. На столе лежала записка: «Оленька, радость наша! Мы, два старых, неверных, как все мужчины, подонка, смылись с первым троллейбусом ко мне в гостиницу, потому что этому балде нужен телефон, чтобы узнать, завезли ли в его любимый цех кислород и что-то там еще. Не сердись, золотая! Сегодня вечером приеду обязательно. Николай».

Все-таки Ильин пригласил его к себе: старых друзей, с которыми долго не виделись, положено знакомить с семьей. Надежда наскоро готовила стол, и Ильин видел, что она недовольна тем, что будет гость, но молчала, впрочем, молчание было само по себе красноречиво: у меня единственная выходной, и, вместо того чтобы по-человечески отдохнуть, я должна принимать незнакомого мне и совсем неинтересного человека, да еще улыбаться ему, будто счастлива до потолка, что могу ухаживать за ним!

— Ольга тоже будет? — спросила она.

— Нет, — коротко ответил Ильин. Он сидел у окна с блокнотом, и Надежда, заглянув через плечо Ильина, увидела колонку цифр. Совсем ненормальный!

— Ты не можешь не работать в выходной? — спросила она.

Ильин не ответил и, подойдя к телефону, снял трубку и набрал номер.

— Марк? Здравствуй. Во-первых строках — приходи через час ко мне. Будет один старый знакомый. Помнишь такого величественного студента-пятикурсника, к которому мы ехали аж за Госпитальный вал? Почему? (Надежда догадалась — Шток отказался прийти). Хорошо, передам. А вообще поговорить надо было бы... Конец года все-таки... Ты не помнишь, сколько мы уже дали по обязательке?.. Ну, пять процентов — это же ерунда. С первого ноября будем варить двадцать восемь — сорок восемь, это полтора миллиона рублей по моим подсчетам. Ты прикинь, что потребуется сверх нормативов... Почему только Коптюгов и Чиркин? А другие что ж, не потянут?

Надежда слушала этот разговор, ничего не понимая в нем — тот мир, в котором жил и работал муж, а теперь и сын, был незнаком ей и не интересовал ее. То, что сегодня будет гость, действительно разозлило Надежду. Какой-то Колька Муравьев, а по отчеству как? Этого Ильин не знал: Колька и Колька. Что ж, мне тоже так называть его — Колька?

Ей понравилось, что гость пришел с цветами для нее и в прихожей поцеловал руку — вполне порядочный человек. И то, что держался свободно, будто сто раз до этого бывал здесь, тоже понравилось. И то, что не стал курить в комнате, а вышел на балкон — тоже... Ильин вышел за ним, и Надежда услышала:

— Пейзажик у тебя, правда, уныленький. Как у нас в Купчине. Ко мне как-то пришел один писатель, поглядел в окошко и сказал: «В таких районах не могут рождаться поэты».

— А я думал, у тебя окна выходят на Медного всадника или, в худшем случае, на Казанский собор!

— Зато у нас, если подняться на девятый этаж, — сказала Надежда, — можно увидеть трубы его цеха. Он каждый выход-

ной поднимается и на дым смотрит... Определяет, как его печи работают!

— Куда лучше Медного всадника! — подтвердил Колька и деловито спросил Надежду: — На лифте поднимается или пешком, для прогулки?

Нет, этот галантный Колька определенно понравился Надежде. И за столом рассказывал всякие смешные истории из медицинской жизни, и жалел, что не познакомился с младшим Ильиным, который пропал куда-то с утра, и звал всех к себе в Ленинград, в «Купчино-де-Жанейро». Когда Ильин сказал, что сразу после праздников поедет в Ленинград, Колька потребовал: никаких гостиниц! Остановишься у меня. И чтоб никаких возражений!

Вечером Ильин пошел провожать его на вокзал.

Уже в вагоне, в пустом купе, Колька вдруг спросил Ильина:

— Слушай, старик, только честно; ты счастливый человек? Я понимаю, что это школьный вопрос, но другого люди пока не изобрели.

Ильин улыбнулся и промолчал.

— Ну, не так, спрошу иначе, — сказал Колька. — Каждый человек к нашим годам должен в чем-то *выразиться*. В работе, в творчестве, в детях, в любви... Не понимаешь?

— Почему же? — пожал плечами Ильин. — Я, говоря твоим языком, *выразился*. И в работе, и в сыне, и...

Он запнулся. Колька, чуть нагнувшись, положил свою руку на его колено.

— Я знаю, — сказал он. — Мне Ольга рассказывала, что ты не просто работаешь, а *вкальываешь* с утра до вечера. Это еще не значит — выразиться в работе, от которой валишься с ног и к пятидесяти годам хватаешь инфаркт. Не обманываешь ли ты себя, Сережа? Извини, это не мое, конечно, дело, но мне показалось... Мне показалось, что работой ты спасаешься от собственного дома и от...

Он не договорил, но все было понятно и так. Он хотел сказать: «От жены, от Надежды», — и Ильин подумал: что мог заметить сегодня Колька? Его самого удивило, как была весела и ласкова с гостем Надежда, он давным-давно не видал ее такой. Или эти слова — после разговора с Ольгой? Но, конечно, Николай сейчас не прав.

— Ты не представляешь себе, что значит современное производство, — сказал он, — особенно цех, от работы которого зависит работа такого огромного завода, как наш ЗГТ. Малейший перебой с металлом — и начинают трещать графики практически всех цехов. И что значит руководить таким цехом, как литейный, тоже не представляешь. Я бы с удовольствием отработывал свои восемь часов, а потом лежал бы себе на диванчике и глядел «А ну-ка, девушки» или читал «Иностранную литературу». Но пока это для меня даже не мечта, Колька! По

утрам я иду на завод и заранее знаю, что меня там не ждет ничего хорошего. Так что моя жена здесь ни при чем, — закончил он уже с усмешкой.

Колька был по-прежнему задумчив. У них было время поговорить, и, казалось, Колька обдумывает то, что он хотел бы сказать открыто, но вот приходится искать какие-то полунамёки, полувопросы-полуутверждения.

— Мы много говорили с Ольгой о тебе, — сказал он.

— Мы совсем мало говорили с тобой об Ольге, — сказал Ильин.

— Ты знаешь, по-моему, она почти святая.

— Просто нормальный хороший человек. Не всех хороших, добрых людей надо записывать в святые. Тем более с этой оговоркой — «почти».

Колька покачал головой. Сейчас он вовсе не был похож ни на того гопника, который тащил всех пить коньяк на чердаке и потом свистел в два пальца, останавливая такси, ни на того интеллигента с цветочками и шутивными рассказами, который еще час назад сидел за столом у Ильиных. Это был какой-то третий Колька, чем-то удрученный или пораженный, — Ильин пока еще не мог понять, что с ним происходило.

Вокзальный диктор передал, что до отправления поезда осталось пять минут, а в купе никто не заходил и не мешал им.

— И все-таки ты не ответил на мой вопрос, ну, да это, в конце концов, не так важно, — сказал Колька. — В Ленинграде, надеюсь, договорим.

Он был просто грустен и прощался с Ильиным тоже с этой заметной, неприкрытой грустью, хотя через две недели они увидятся снова.

— А вот Князю Потемкину можно позавидовать, — улыбнулся он. — Как у него все просто и ясно! Обязательно съездим к Князю в его потемкинскую деревню, а?

Потом Ильин стоял на платформе, а Колька — в тамбуре позади проводницы и оба молчали, словно стесняясь присутствия постороннего человека. Ильин сказал девочке-проводнице:

— Знаете, это очень известный ученый, врач.

— Ну, прямо! — ответила она, мельком взглянув на Кольку.

— Вы пожалуйста, никого не поселяйте к нему. Ученый храпит так, что пассажиры не спят в двух соседних вагонах. Это у него с детства. Так и называется — болезнь Муравьева, не слышали? Совершенно неизлечима!

Девочка оказалась без юмора и строго ответила, что пассажир имеет право лишь на одно место.

— Совершенно верно, милая! — сказал из-за ее плеча Колька. — Каждый имеет право только на одно место...

Уже по дороге домой, в автобусе, Ильин подумал: а Шток

отказался прийти... И знал, почему он отказался: из-за Надежды.

А все-таки странный разговор завел напоследок Колька. «Ты счастлив?» После сорока люди начинают задумываться над этим чаще и чаще, но Ильин не задумывался. Ему было некогда. Сегодня он ничуть не соврал Кольке, сказав, что его всего забирает одно — работа. Но весь остаток дня он думал над этой короткой вокзальной беседой. Он был один, Надежда ушла, видимо, в парикмахерскую, Сережка не возвращался, и у него было время думать и пытаться хотя бы понять, почему Колька завел этот действительно школьный разговор. «Ты счастлив?»

18

Все началось с ошибки, которую совершила Лена. Ошибки при анализах случались и у других лаборанток, особенно в конце смены, и это всегда было понятно: усталость и еще то чисто психологическое состояние, когда в голове остается весь процесс предыдущей плавки и трудно переключиться, трудно рассчитать анализы новой уже по другому титру. Да и объем работы велик — шутка ли, в сутки одних анализов на углерод — под двести, а за месяц — подсчитал кто-то — всех вместе набиралось около тридцати двух тысяч! Но, как правило, эти ошибки удавалось исправлять самим же лаборанткам, и за год едва ли просакивали одна-две крупные.

Лена совершила именно такую ошибку, и в результате была запорота дорогая плавка — теплоустойчивая 12ХМ. Сразу же сработала незримая цепочка: термопрессовый — механосборочный — диспетчер — директор — Ильин. Конечно, лаборантку Чиркину накажут, но это было не во власти Ильина: экспресс-лаборатория подчинялась не ему (еще одна нелепость!), а ЦЗЛ*. У Ильина было неприятное объяснение со Званцевым, а потом со Штоком. Вместе они смотрели плавильный журнал: конечно, нарушения технологического процесса были, но ведь лаборатория могла, обязана была дать точные данные, тогда не случилось бы этого. Восемнадцать тысяч рублей потеряно...

Ильин не был суеверен, но вот, поди ж ты, почему так случается почти всегда: стоит произойти одной накладке, за ней сразу же начинают тянуться другие... Он сам спустился в лабораторию. Уж если не наложить взыскание, то хотя бы поговорить крепко я имею право? Докладная в ЦЗЛ отослана, там, само собой, как следует «помоют» эту девочку — дочку Татьян Николаевича, получит она строгое взыскание, будет приказ по заводу, но мне-то от этого не легче. И, войдя в коридор,

* Центральная заводская лаборатория.

сразу наткнулся на Ольгу, которая шла из механической с пробами-пирамидками.

— Что тут у вас? — хмуро спросил он. — До праздников вроде бы далеко, да и народ непьющий...

— Погоди, — остановила его Ольга. — Ты к нашей начальнице?

— Нет, чайком с вами побаловаться, — все так же хмуро сказал Ильин.

— Не надо, Сережа, — попросила его Ольга. — Конечно, все это очень досадно, плохо, но Лена Чиркина в больнице, и я... Я прошу тебя не поднимать шум, не дергать девчонок.

Он, пожалуй, подсознательно отметил, что Ольга назвала его по имени, а не «Ильин», как обычно, — и уже одно это заставило его остановиться у дверей заведующей лабораторией.

— Что с ней произошло, с Чиркиной? — спросил он.

— Как-нибудь потом, — уклончиво ответила Ольга. — Но можешь мне поверить, Лена была в таком состоянии... И я очень прошу тебя, понимаешь, — очень! — не говорить о ней с Чиркиным. Вообще ни с кем. Очень прошу, Сережа!

Он усмехнулся. Конспирация! Что она; меня за дурачка считает?

— А ты представляешь, сколько стоили цеху ее... переживания?

— Представляю, — кивнула Ольга. — Но я бы хотела, чтобы и ты представил, сколько стоили эти... переживания ей.

— Ох, бабы-бабоньки! — вздохнул Ильин и ушел.

Кто бы мог подумать! Тихоня Лена Чиркина, год как в техникуме, а уже в больнице, и, конечно же, с абортom! В чем-то Ольга права, наверно. Я бы не удержался, и разговор только раздергал бы лаборанток. Но ведь не дело, не дело же, черт возьми! А если у нее эти переживания не кончились? Опять ошибки? И опять Званцев скажет мне, как сказал вчера:

«Вы же знаете, Сергей Николаевич, я очень не люблю ссориться. Так вот, не надо ставить рекордов к приезду начальства — от вас требуется ритмичность и безошибочность».

«Вы полагаете, это была подготовленная плавка?» — спросил Ильин.

«А вы полагаете, что это была случайность? — в свой черед спросил Званцев. — В таком случае это была хорошо подготовленная случайность. Но дело, я повторяю, сейчас даже не в этом. Несколько срывов у вас — и начинается лихорадка на всем заводе. Так не будем ссориться, Сергей Николаевич?»

Лена Чиркина сейчас никак не волновала Ильина. О ней не думал, пожалуй, даже с раздражением. Ольга просила не говорить о ней с Чиркиным? А я и не собираюсь заниматься семейными делами. Если что-нибудь напашет Сережка, я первый вызову его на дисциплинарную комиссию и, уж будьте уверены, сумею поговорить с ним не хуже, чем с другими пахальщиками!

С таким же раздражением он думал сейчас и об Ольге: «Почти святая!» Действительно, распустила крылья, как курица, защищающая своего цыпленка, а цыпленочек-то в свои неполные двадцать... Наверно, Чиркин просто-напросто ничего не знает, вот почему Ольга просила меня ни о чем не говорить с ним.

Домой он вернулся поздно, даже позже обычного, усталый, разбитый, мечтающий об одном: скорее лечь и уснуть. Надежда сидела на кухне и стучала на машинке. Он поцеловал ее в затылок и поглядел на страницу, вправленную в машинку: «...работа двигалась споро, и уже через час дядя Гриша, поправив свои очки в простой железной оправе, сказал: «Пошабашили, братцы». Надежда охотно брала работу на дом и перепечатывала то диссертации, то рукописи местных литераторов, — это была, видимо, как раз такая литературная работа.

Она сдвинула машинку и бумаги на край стола, освобождая место Ильину.

— Роман? — спросил он, кивнув на рукопись.

— Да, сочинение из рабочей жизни, — фыркнула Надежда. — Главный герой — токарный станок. Хочешь послушать? «Мастер сидел в углу цеха на своих огромных деталях...»

— погоди, Надюша, — перебил ее Ильин, даже не улыбнувшись. — Где Сережа?

— Что-нибудь случилось?

Этот переход от веселья к тревоге был мгновенен.

— Ничего не случилось. Просто мне с ним надо поговорить о делах.

— О господи! — выдохнула Надежда. — Вечно ты меня дергаешь! В кино пошел твой Сережа.

Ильин нехотя поужинал, даже не замечая, что он ест, и ушел в комнату. Лечь и уснуть... Лечь и уснуть... Но он должен был дожидаться Сергея. Упрек, высказанный вчера Званцевым, не шел у него из головы. Званцев считает, что ту скоростную плавку организовал я. Он вправе думать так, конечно. Еще бы! Новый начальник цеха, а тут — секретарь обкома партии, иностранные гости, есть случай отличиться! Но, просматривая плавильные журналы за неделю (этим он занимался со Штоком каждый вторник), Ильин не мог ни к чему придраться — плавка была проведена блестяще, с полным соблюдением технологического режима. И те объяснения, которые потом, после, давал гостям и Рогову Коптюгов, были убедительными. Меня-то не проведешь. Это было сделано по инициативе самого Коптюгова. Почему? Может быть, упрек Званцева — «Рекорд для начальства» — следует отнести к нему? Ну, захотел парень форснуть, показать класс, сработать на пределе возможного, в обычный день ничего худого в том не было бы... Даже «молнию» вывесили бы в цехе!

Он лежал и слушал, как на кухне стучит машинка, потом в этот стук вошли другие звуки — звук открывающейся двери,

шагов, двух приглушенных голосов; и тогда Ильин громко позвал:

* — Сережа, зайди сюда, пожалуйста.

— Не спишь? Мама сказала, ты пришел еле живой. Говорят, тебя вчера здорово мыл директор.

— Ты уже вполне усвоил заводской язык! — усмехнулся Ильин. — А сейчас сядь и расскажи подробно, как вы сработали ту плавку. Ну, ту, скоростную. С самого начала и со всеми подробностями.

— И с матюгами? — поинтересовался Сережка. Он говорил так, как привык говорить с отцом, — в той шутливой манере, которая нравилась обоим. — Матюгов было много, батя! Шеф нас, как тараканов, в тот день гонял.

— Мы говорим серьезно, Сережа, — тихо и устало сказал Ильин.

Сергей долго молчал, словно настраиваясь на этот другой разговор, который зачем-то понадобился отцу. Подробности? Ну, какие подробности? Пришел на двадцать или двадцать пять минут раньше. Коптюгов уже был на шихтовом дворе, о чем-то толковал с работягами... Да, передал им какие-то деньги.

— Деньги? — переспросил Ильин. — Это ты точно видел?

— Точно.

Сергей рассказывал действительно очень подробно, а Ильин лежал, закрыв глаза, как бы представляя себе шихтовый двор. Вот Коптюгов передает деньги... Наверно, не очень много, по три шестьдесят две на брата... «Заметано?» — «Будь спок и не кашляй...» Потом Коптюгов говорит, кивнув на рабочих: «Сегодня они сами загрузят тебе корзинку...»

— Болванками? — спросил он, не открывая глаза.

— Да. Я еще сказал, каждый бы день такую шихту...

— Ну, вот и все, — вздохнул Ильин. — Только каждый день не получится. Дороговато.

Сергей не понял, что дороговато. Ильину хотелось спать, и даже этот разговор, даже подтверждение его догадки не взволновали его и не сняли усталость. Ах, Коптюгов, Коптюгов! Собственный червонец не пожалел ради того, чтоб тебе жали руку и говорили всякие хорошие слова!

— Ты что, еще не понял? — спросил он у Сергея.

— Теперь, кажется, понял, — ответил он.

Если Ильин остался равнодушным к тому, что случилось с Леной Чиркиной, и, больше того, при одной мысли о ней всякий раз испытывал раздражение, то для Ольги наступили тревожные дни.

Когда Лена призналась ей в том, что с ней случилось, и, плача, просила никому не говорить, чтобы, не дай бог, не дошло до родителей, Ольга сразу поняла: уговаривать ее оста-

вить ребенка бесполезно. Все-таки она пыталась что-то доказывать, что-то объяснять, — Лена трясла головой: нет, нет и нет! Тогда Ольга поняла и другое: кто-то оказался сильнее ее, кто-то убедил девочку лечь в больницу, а убедить ее легко, Ленка совершенная медуза, и теперь уже все, теперь ее не переубедить никакими силами. Но разве это можно скрыть от матери? Ольга сама поехала с Леной в роддом, подождала, когда она переодеется, и почувствовала, как у нее перехватило горло, когда Лена вышла в сером больничном халатике, из-под которого виднелась белая грубая рубашка. И только из больницы поехала к Чиркиным.

Разговор с Татьяной Николаевной оказался, как она и ожидала, трудным. Сначала она металась по квартире, плакала, проклинала этого Генку, потом немного успокоилась, оделась, поехала к дочери. Ольга не хотела, чтобы Татьяна Николаевна набросилась на Лену с упреками, и поехала тоже. Конечно, надо было сказать. Может быть, ей удастся сделать то, что не удалось мне, — переубедить Лену?

— Только ты с ней поспокойней, Татьяна, — попросила Ольга. — Сейчас у девочки на душе сама понимаешь что.

— Я ничего не понимаю, — сказала Татьяна Николаевна. — Если отец узнает, он свалится. Если хочешь знать, я сейчас больше думаю о нем. А Ленка-то что? Ну, дура, и я тоже дура. Разве они теперь говорят нам правду?

Ольга сидела в вестибюле, рядом с ней сидел молодой мужчина с мальчиком лет пяти, и мальчик читал вслух объявления, вывешенные здесь: «Прием передач от 14 до 16». «Вход на оборотное отделение...» Она покосилась на отца, он покраснел и сказал ей с грустной шутливостью:

— Хорошо, что не шибко грамотный...

Старая женщина протирала мокрой шваброй пол. Ольга подумала: какая бойкая! Ей ведь, наверно, за семьдесят, а работает. Мысли ее скакали. Конечно, Татьяна устроит Генке Усвятцеву скандал, но дальше разговора с глазу на глаз ничего не будет. Татьяна права: если Чиркин узнает, с ним может быть плохо...

Лена выйдет на работу через неделю. Надо поговорить в ЦЗЛ, чтоб ей сразу дали отпуск. Пусть уедет куда-нибудь. А будет ли она снова встречаться с Генкой? Тогда, в том разговоре, Ольга спросила ее: «Ты Генку любишь?» — «Конечно», — ответила Лена, но сказала это так, что Ольга не поверила ей. Чем мог привлечь ее Генка? Пустой, в общем-то, парень. Когда с ним говоришь, он словно приплясывает и повторяет одни и те же словечки, прибаутки, вроде: «Опрокиньте свое внимание...» или: «Привет, Шиншкин из мотора...» Или походя бросает: «Вчера Сашка Мальцев звонил из Москвы, говорит — приедем играть, встретимся».

Нянечка, протиравшая пол, подошла и села рядом, видимо устав и от работы и от долгого молчания.

— Что, дочку привезла?

— Нет.

Ей не хотелось говорить на эту тему, тем более что рядом все сидел и кого-то ждал мужчина с ребенком, и она спросила, чтобы перевести разговор:

— А вы все работаете? Пенсия маленькая, что ли?

— Да как же мне не работать? — удивленно спросила нянечка. — Вот тебе сколько лет? За сорок поди? А уже думаешь — скорей бы на пенсию.

— Не думаю, — улыбнулась Ольга.

— А уйдешь, и не усидишь дома, это я точно знаю! Мужикам на пенсии что — сиди да костяшками колоти, в домино то есть. У меня во дворе пенсионеры по три коробки домино за лето снашивают. А я вот уже пятьдесят три годика проработала, так куда ж я уйду?

— И все здесь? — изумленно спросила Ольга.

— То есть здесь, в городе, — сказала та. — Сначала, значит, в двенадцатом годе в тифозных бараках. Потом в городскую больницу определилась, а в войну...

— В войну здесь госпиталь был, — сказала Ольга.

— Точно. Вот сюда меня и перевели. Веришь ли, до сих пор письма получаю — к Новому году, к Женскому дню или к Победе, а то и посылочки. До сих пор! А встречу тех, за кем тогда ходила, и не узнаю, наверно. Раньше их как называли? Участник Великой Отечественной. А теперь? Ветеран. Старик то есть.

— Да, — сказала Ольга, покачав головой. — Пятьдесят три... Меня еще и на свете-то не было.

Татьяна Николаевна долго не появлялась, должно быть все уговаривала Ленку.

— А ты про госпиталь откуда знаешь? — спросила старуха. — Ходила сюда с пионерами, что ли? Тут их много бывало: стишки прочитают, песенку споют, ну и помогут, чем могут, — дровишки там или уборка...

— Нет, — сказала Ольга. — Я к знакомой ходила. К учительнице.

— Понятно, — пожевав бледными губами и, видимо, что-то подсчитав в уме, сказала нянечка. — Конечно, ты еще совсем маленькая была.

Потом Ольга так и не сможет объяснить, самой себе, почему она вдруг спросила нянечку:

— А вы не знали такого доктора — Ильина?

Этот вопрос был так неожидан для нее самой, что Ольга на секунду подумала: что за привычка у людей — чуть что, и сразу искать общих знакомых? Нянечка, чуть отстранившись, в упор поглядела на Ольгу и спросила:

— Колю, что ли?

Ольга замерла. Это было похоже на чудо, в которое трудно было поверить. Она смогла лишь кивнуть.

— Умер Коля. Погиб то есть. Доктора говорили, что погиб на фронте, и жена его тоже. Жену-то я его не знала, только по карточке...

— По какой... карточке?

— А у него на столе в одинарской (очевидно, она не могла выговорить «в ординаторской») под стеклом лежала. Не успел с собой забрать, так я ее себе взяла.

— Нянечка, милая... — не сказала, а выдохнула Ольга.

— Господи! — испугалась та. — Да что с тобой? Позеленела вся!

— Ничего, ничего...

Старуха куда-то убежала — именно убежала! — и вернулась с рюмкой: вот, это я тебе валерьянки накапала, выпей. Ольга выпила и увидела спускающуюся по лестнице Татьяну Николаевну. Она могла ни о чем не спрашивать.

— Пойдем? — спросила Татьяна Николаевна.

— Сейчас, — сказала Ольга и повернулась к нянечке: — Можно, я к вам зайду?

— Заходи, — ответила та. — А меня все тетей Маней зовут, и ты зови. Покажу я тебе ту карточку, если хочешь. Я здесь, во флигеле живу. Комната пять. Запишешь или запомнишь?

— Запомню, — сказала Ольга.

Они вышли на улицу, и Татьяна Николаевна вскрикнула.

— Что же теперь будет, а? Я к ней и так и этак... Говорю: не хуже других вырастим, а она ни в какую, Ленка-то!..

Очевидно, ее поразило упорство дочери, с которым она столкнулась впервые.

— Значит, Генка оказался сильнее нас с тобой, — сказала Ольга.

— Генка? — зло переспросила Татьяна Николаевна. — При чем здесь Генка? Это Коптюгов ее напугал! Понимаешь — Коптюгов! Дескать, если родишь, не видать тебе Генки как собственных ушей! Только бы до отца не дошло... Если б не отец, я бы этого Генку и Коптюгова...

Она не договорила, что сделала бы с Генкой и Коптюговым. Но Ольга знала и так — шум был бы страшный, характер у Татьяны — не приведи бог, и понимала, как тяжело ей сдерживаться сейчас, лишь бы ничего не узнал Чиркин.

На автобусной остановке они простились, обнялись, Татьяна Николаевна сказала:

— Спасибо тебе, Оля.

— За что же? — удивилась она. — Ты только не реви, пожалуйста.

Потом она вернулась в больницу. Она не могла ждать до завтра.

Наступили ноябрьские праздники.

Впервые торжественное заседание должно было проходить не в театре, а в новом, только что выстроенном концертном зале. Ильин получил два билета, и Надежда, деланно удивившись, сказала:

— Ты здоров? Мы с тобой куда-то пойдем, и ты даже высидишь весь концерт? Просто не верится!

Ильин промолчал. Лучше всего в таких случаях молчать. Тогда не будет длинных знакомых разговоров о том, что все люди как люди — ходят в театры, в кино, в музеи, что в последний раз они были в театре года четыре назад и что единственное развлечение у них — телевизор. Надежда ничего не преувеличивала. Это было действительно так. Сама она ходила на все премьеры и гастролы, потому что редакция всегда получала билеты даже на спектакли «Современника» или ленинградского БДТ, когда те приезжали в Большой город. Но вместе они действительно были в театре года четыре назад, на «Корневильских колоколах», и Ильин отчаянно скучал: ему было неинтересно, он не любил оперу вообще. После спектакля Надежда спросила: «Тебе понравился Кононов? Какой голос!» — «Мне мандариновый сок понравился», — пошутил он и тут же пожалел об этом. Надежда резко сказала: «Есть вещи, которыми стыдно хвастать, Сергей! В частности, невежеством. Многие работают не меньше, чем ты, и тем не менее...» — «Ну, не надо, Надюша, — взмолился Ильин. — Я же пошутил, верно?» Он как бы брал ее в свидетели, что это была всего-навсего пусть не очень удачная, но только шутка! Зачем ссориться по пустякам?

Сейчас Надежда торопливо одевалась, времени было в обрез, и так-то чуть не полдня пришлось просидеть в очереди в парикмахерской. Ильин попытался вызвать такси, диспетчерша сказала: «В течение часа. Будете ждать?» Он сказал: «Нет». Они явно опаздывали. На троллейбусе вовремя уже не поспеть...

Он вышел на улицу первым, еще надеясь поймать свободное такси, и ему повезло — машина подошла почти сразу же. Он стоял, докуривая сигарету и поглядывая на свои окна: вот погас свет. Снова зажегся — должно быть, Надежда что-то забыла. Мысленно он поторапливал ее. Наконец она вышла, на ходу застегивая пояс пальто.

— Это еще что? — спросила она.

— Скорее, Надюша.

— Это же грузовое такси, фургон, — сказала она. — Ты хочешь, чтоб я на нем ехала туда? Там полно наших, и...

— Ты едешь или нет?

— На этой машине — нет. Ну, не попадем на торжественную часть, подумаешь!

Ильин молча протянул ей один билет, сел рядом с шофером и захлопнул дверь.

В зал Ильин вошел, когда на сцене появился президиум. Торопливо он добрался до своего места, извиняясь на ходу, и, лишь когда сел, почувствовал, что эта неожиданная, нелепая, упрямая выходка Надежды раздергала его до той усталости, когда хочется закрыть глаза и посидеть одному, а не среди двух с половиной тысяч незнакомых людей.

Он закрыл глаза и попытался выключиться. До него долетали не фразы, а их обрывки: «...новая эра в истории человечества... встречаем трудовыми успехами... объявляю открытым...» Он встал, когда раздалась звуки гимна. Там, впереди, на сцене, за длинным столом, тоже стояли незнакомые люди, так ему показалось поначалу, и, лишь приглядевшись, он начал узнавать. Вот секретарь обкома Рогов. Рядом — председатель горисполкома. Потом он увидел Званцева и Нечаева, они были рядом, директор и секретарь парткома ЗГТ. А позади них Ильин вдруг увидел Коптюгова, и ему надо было приглядеться как следует, чтобы убедиться, что это действительно Коптюгов.

Докладчиком был Рогов.

Не так-то просто оказалось заставить себя слушать внимательно, но Ильин все-таки сделал это. Мало-помалу он словно бы отрывался от своего, такого мелкого в сравнении с тем, о чем говорил сейчас Рогов, и вдруг даже почувствовал какое-то нетерпение: должен же он что-то сказать и о нас, о ЗГТ! Он начал ждать этого, уже не замечая пустующего рядом кресла, и дождался наконец:

— Сегодня мы с гордостью можем отметить, — сказал Рогов, — что на газопроводах страны в среднеазиатских пустынях и на Крайнем Севере уже работают первые турбины, выпущенные в нашем городе.

Он подождал, пока смолкнут аплодисменты.

— Сейчас коллектив завода газовых турбин приступил к освоению новой серии более мощных агрегатов. Скажем прямо накопление опыта в создании таких сложных машин происходило нелегко и непросто. Партийной организации и всему рабочему коллективу пришлось приложить немало сил, чтобы преодолеть старые, привычные формы и методы работы руководства в целом («Это он о Силине», — подумал Ильин) и добиться успеха... На заводе работают опытные, горячо болеющие за свое дело люди, такие, как начальники цехов Пронин, Беспалов, Ильин, инженеры, начальники смен и участков (он перечислил еще ряд фамилий), такие рабочие, как Гаврилов, Умнов, Байборода, Коптюгов... и нет сомнения в том, что завод газовых турбин справится со своими новыми, еще более трудными, ответственными, но и почетными задачами.

Кто-то дотронулся до плеча Ильина, и он обернулся. Оказывается, сзади сидел заместитель директора по производству Кузин, тот самый Кузин, с которым Ильин месяц назад

разругался вдрызг, но который сейчас улыбался, открывая золотые зубы, и даже дружески подмигивал.

— Поздравляю! — шепотом сказал он.

— С чем? — также шепотом спросил Ильин.

— В такой доклад попасть!.. — сказал Кузин, и Ильин отвернулся.

В перерыве он пошел в курительную комнату.

То, что Рогов в своем докладе назвал и его фамилию, никак не подействовало на Ильина. Он понимал, что, став начальником цеха, вошел в ту обязательную «обойму», которая поминается постоянно. Он знал, что есть люди, которые хватаются за валидол, если их имя не будет упомянуто на каком-нибудь совещании или заседании, и не спят ночами, думая, что это не иначе как чьи-то козни. Ильин не был тщеславен. Ведь если подумать, то и слава — тщета. Надежда не раз говорила ему, что человек, у которого отсутствует хорошее тщеславие, никогда не пойдет далеко. Он не понимал, как это тщеславие может быть хорошим? Нелепость!

Он курил торопливо: все-таки надо было пойти и разыскать Надежду. Выйдя в огромное, похожее на гигантский аквариум фойе, он остановился, оглядываясь. Искать ее здесь, среди сотен и сотен людей, конечно, бессмысленно. Тогда он отошел в сторону, к стене, и вдруг среди незнакомых лиц мелькнуло два знакомых — Коптюгов и та девушка, Нина... Вот оно что! Стало быть, ночью, там, на проспекте, возле детдома, Коптюгов ждал Нину!

И тут же Нина увидела Ильина. Ее взгляд словно перелетел через пространство, она подняла руку и, что-то сказав Коптюгову, направилась прямо к нему.

— Здравствуйте. Вас тут всюду ищут.

— Меня? — удивился Ильин. — Кто?

— Тетя Оля. Она пошла туда, к газетному киоску.

— Спасибо, — сказал Ильин.

С этой девушкой он разговаривал впервые. Действительно, хороша! Тем временем Коптюгов подошел тоже и, сдержанно улыбаясь, поздоровался, хотя они виделись утром в цехе во время обхода.

— Значит, — сказал ему Ильин, — любите гулять перед сном?

— Врачи советуют, Сергей Николаевич.

Он еще раз взглянул на Нину, — она, конечно, ничего не поняла из этого разговора, — кивнул ей и пошел к газетному киоску — еще одному аквариуму в этом большом. Но все-таки не он первым увидел Ольгу, а она его.

— Ильин!

— Ты меня искала?

— Да. Отойдем в сторону.

— Если ты снова про переживания Лены Чиркиной... — начал было Ильин, но Ольга взяла его за руку, и он успел уло-

вить в ее лице что-то такое, что заставило его оборвать эту недобро сказанную фразу.

— Ты только не волнуйся очень, — попросила Ольга, открывая сумочку. — Вот, посмотри...

Это была большая фотография, и, едва взяв ее, едва взглянув на женское лицо, Ильин почувствовал, как все поплыло у него перед глазами: это лицо, стеклянная стена, Ольга, люди... Ольга взяла его за рукав.

— Ты спокойней, Сережа...

— Откуда? — хрипло спросил он, словно очнувшись.

Ольга не ответила. Да он, наверно, и не расслышал бы ее ответа. Он глядел на снимок не отрываясь. Через столько лет, через всю жизнь вдруг снова увидеть ее — мать! Сейчас для него не существовало ничего, кроме этого лица — молодого, и чуть грустного (хотя, сколько он помнил, мать всегда была веселой); здесь, на снимке, у нее была грустная улыбка, будто бы потому, что из того вечного далека она тоже увидела, но не мальчика, а этого седеющего мужчину.

— Ну вот, — сказал Ильин, отворачиваясь и пряча во внутренний карман пиджака фотографию. — Ну вот... — И быстро пошел в сторону.

Через несколько минут Ольга снова увидела его. Ильин был в пальто и шел к выходу. Она глядела через стеклянную стену, как он спускается по ступенькам, — сейчас он свернет вправо, домой — ему в ту сторону. Но Ильин, постояв на нижней ступеньке, поднял воротник пальто, зябко сунул руки в карманы и пошел влево, медленно, устало горбясь, — туда, к реке, за которой виднелись похожие друг на друга здания Новых Липок...

...Когда Ильин вернулся домой, было уже далеко за полночь. Он сел на кухне, снова достал фотографию и смотрел на нее, далеко отставив от себя. Он слышал, как тихо вышла из комнаты Надежда. Слышал, как она вошла в кухню, встала за его спиной, — и не обернулся.

— Вот как? — насмешливо сказала Надежда. — На концерте тебя не было, — значит, это она? Что ж, молоденькая, поздравляю!

— Это моя мать, — тихо, еле сдерживая поднимающуюся в нем ярость, сказал Ильин.

— Извини, пожалуйста, — дрогнувшим голосом попросила Надежда.

Хотя ленинградский поезд уходил вечером, Ильина никто не провожал. Ему пришлось задержаться на день, поэтому остальные уехали раньше, и он был даже рад, что так получилось, потому что четверо командировочных в одном купе — это, как правило, коньяк, горы домашней еды и преферанс до

утра, а ему хотелось просто-напросто выспаться. Хорошо бы поменяться с кем-нибудь из попутчиков на верхнюю полку, залечь и проснуться, уже подъезжая к Ленинграду.

На вокзале, обычно оживленном и шумном, было тихо и малоллюдно. Он дошел до своего вагона и увидел ту же мрачную проводницу, с которой ехал Колька. Она стояла в дверях и водила пилочкой по ногтям, временами вытягивая руку и взглядывая на ногти издали, как художник на картину.

— Здравствуете, принимаете гостей? — спросил Ильин, доставая билет.

Проводница, не ответив, взяла билет, черкнула в блокноте номер места и посторонилась, пропуская Ильина. Бедный мужик, который на ней женится, подумал Ильин.

У каждого из нас в жизни бывает временное, пусть недолгое, но все-таки жилье — гостиничный номер, купе, больничная палата, каюта, и мы привыкаем к нему сразу, быстро обживаемся и расстаемся с ним без сожаления. Здесь, в купе, было чисто. Ильин, поставив портфель под столик, сел и решил ждать попутчиков: придут — поменяюсь. Но в коридоре и соседних купе было тихо, и он с робкой надеждой подумал: неужели повезет? Никто не сядет, никто не будет заводить долгие дорожные разговоры, никто не будет храпеть.

Ильин быстро постелил белье, закрыл дверь, разделся, лег. Поезд плавно тронулся, по коридору прошлестели шаги проводницы — нет, все-таки повезло, и я еду один, надо же так! Он закрыл глаза, поудобней подоткнул под голову маленькую подушку и заснул мгновенно, будто нырнув в черный омут.

Это был очень короткий сон. Когда Ильин проснулся и взглядел на часы, удивился: прошло всего сорок пять минут. Но заснуть снова он уже не мог — прошел мучительный час, он крутился на полке, ему было душно. Пришлось одеться и выйти в пустой коридор покурить.

Еще через час он понял, что ему уже не уснуть. Им владело странное чувство одиночества, которое он почти никогда не испытывал, тоски, даже потерянности, и неожиданность этого чувства удивляла и пугала его. Откуда оно? Почему оно? Потому ли, что он один в этом скрипящем, грохочущем на стыках и стрелках вагоне? Или от усталости, копившейся годами и давшей знать о себе именно сегодня? Бесполезно было искать причину, да он и не стал искать ее — лежал, курил уже в купе, пил пиво, благо захватил с собой две бутылки, и мысли у него скакали, какие-то странные и не связанные между собой ассоциации появлялись и тут же исчезали, уступая место другим. Потом он подумал об этой проводнице, и снова ассоциация — Колька Муравьев. Колька — и его вопрос в купе: «Ты счастлив?» Мы, конечно, встретимся в Ленинграде, и, конечно, я ничего не стану ему рассказывать. Противно, когда мужики рассказывают о том, что делается у них дома, словно жалуются, хотя бы и друзьям.

А что бы я мог ему рассказать? Что двадцать лет назад и несколько лет потом я был по-настоящему счастлив и что, если бы он задал мне этот школьный вопрос тогда, я ответил бы не задумываясь? Ильин лежал, пепельница на столике была утыкана окурками, пиво кончилось... Время тянулось медленно, но он был рад хотя бы этому: не всегда бывает столько времени, чтобы заглянуть в свою жизнь...

...Как они были счастливы тогда оба! У них была маленькая, в двенадцать метров комнатка на троих и денег всего ничего, и месяц они вообще спали на полу. И как радостно было вносить в эту комнату свои первые в жизни стол и стулья, диван, шкаф... Надежда крутилась, как могла: ее практический ум вычислял с точностью современного кибера оптимальные варианты — что надо покупать в первую очередь, что отнести из своих старых вещей в комиссионку, где занять до получки, потому что у Ильина уже блестел его единственный костюм. Что ж, это была и впрямь хорошая пора, хотя и безденежная, и трудная, но с какой легкостью они переносили все это! Временами исподтишка наблюдая за хлопочущей Надеждой, Ильин чувствовал, как все его существо заливает горячая волна нежности. Что ни говори, думалось ему, а надо обладать и любовью, и мужеством, чтобы вот так, как она, сорваться с места, уехать из Москвы, из налаженного быта, да еще с ребенком, бог знает куда, к какой жизни, заранее обречь себя на бесконечные заботы и хлопоты — и все это ради меня!

В Ильине словно бы жила постоянная благодарность Надежде и за то, что она любила его, и за хлопоты и заботы, а главное, за то, что она подарила ему вот это удивительное ощущение жизненной прочности. Многие годы не знавший ласки, он дорожил каждым ее прикосновением, замирая, как ребенок.

Месяца три или четыре спустя к ним приехала мать Надежды — маленькая, подвижная, веселая пятидесятилетняя женщина, и с ее приездом в комнатке стало теснее и уютнее одновременно, и Ильин откровенно жалел, что через неделю теща собралась обратно. Он никогда так и не узнал, о чем говорили, оставаясь вдвоем, мать и дочь. Шутливые слова, сказанные тещей как бы вскользь: «Муж голова, а жена шея, куда повернется, туда и голова поворачивается», — он так и воспринял, как шутку. Много лет спустя он поймет, что именно она, эта веселуха, мать-командирша, как ее звали там, в части, где служил ее муж, — именно она учила Надежду, как ей надо жить и как держать Ильина. И что Надежда не выдержала — восприняла эту немудреную китайскую философию, уверовала в ее правильность, — все остальное уже доделало время...

То, что с годами люди меняются в худшую или лучшую сторону, было известно и Ильину. Он мог лишь сожалеть и не понимать одного: почему Надежда начала меняться в худшую?

Сейчас он вспомнил, как сразу после окончания института в Большой город приехал Тигран. Жить ему было негде, на заводе его не смогли устроить даже в общежитие, снимать же комнату было не по тощему еще студенческому карману. «Ну, ерунда какая! — сказала Надежда, узнав от Ильина о том, что две ночи Эрпанусьян проспал на вокзальной скамейке. — Что же ты сразу не предложил ему прийти к нам?» — «Я предлагал, но он боится стеснить нас». — «Сегодня же приведи его сюда, слышишь?» Так он и провел месяц в той комнатке: вечерами возился с Сережкой, а спал под столом — другого места не было.

Но когда через четыре года у Ильиных уже была отдельная квартира и приехал бездомный Шток, Надежда воспротивилась: у нас не гостиница. Все-таки Ильин поступил по-своему, и Шток поселился у них. Он прожил три или четыре дня, потом сказал, что есть место в общежитии, и перебрался туда, но с тех пор он ни разу не приходил к Ильиным. Ни разу! Даже тогда, когда Ильин отмечал свое сорокалетие, Шток прислал длинную телеграмму, но сам не пришел. Объяснение было потом и начистоту: «Ты обиделся на мою жену?» — «Я не обижаюсь ни на кого, Сережа, — мягко ответил Шток. — Но если я чувствую, что кому-то неприятен, зачем же мне навязывать себя?» Черт знает что! Дома после этого объяснения Ильин в упор спросил Надежду, чем она когда-то обидела Штока, и она, пожав плечами, ответила: «Штока? Ты думаешь, я должна помнить, что было бог знает сколько лет назад?» Но он был уверен, что Надежда чем-то обидела его.

А потом перестал заходить и Эрпанусьян. «Нет времени», «Как-нибудь в выходной...», «Жена хворает...». И снова Ильин, не любивший недомолвок, потребовал от него сказать правду. Тигран долго молчал, словно не решаясь или боясь обидеть Ильина, потом сказал: «Был один случай...» — «Какой?» — «Я встретил Надежду и позвал ее к нам...» — «Ну и что?» — «Она сказала, что с моей женой можно говорить только о кислой капусте». Домой Ильин пришел взбешенный и не сдержался, — разговор с Надеждой был чересчур резким. А потом — слезы, упреки: «Тебе твои дружки дороже меня, а они до добра не доведут», — и так далее, но дело было уже сделано... Лишь потом Ильин обратит внимание на то, что у его тестя не было ни одного друга. Даже фронтового! Всех отвадила теща, а потом и Надежда сделала то же самое.

В этом все-таки есть своя логика, думал Ильин. Нехорошая, злая, но есть! Очевидно, не одна женщина поступала так, следуя жестокому желанию постоянно видеть мужа подле себя, отрывая его от других людей, других интересов, кроме семейных, заставляя его видеть только в жене единственного человека, о котором следует заботиться, и в правильности этой догадки он убедился, когда после гибели Ерохина в Большой город вернулась Ольга. В те дни Надежда словно взбесилась.

«Да тебе-то что до нее? Подумаешь, друг детства! Может, у тебя с ней что-нибудь было, тогда другое дело...»

...Сейчас, измученный бессонницей, в пустом вагоне, в пустом купе ленинградского поезда, Ильин, пожалуй впервые в жизни, пытался понять не только сущность того, что происходит у него дома, но и определить меру своей вины. Ну а сам-то ты изменился в какую сторону? А сам сделал что-нибудь для того, чтобы смягчить Надежду? Отмалчивался? Уходил в другую комнату, когда у нее начинался очередной закидон? Не всегда! И резок бывал, и несколько раз сам срывался на крик, не выдерживал, хотя должен, обязан был выдерживать. На работе-то, с чужими, в сущности, людьми, выдерживаешь все-таки!

В последние годы Надежда, иной раз без всякого повода, все чаще и чаще вспоминала своего первого мужа, Ильин улавливал в ее голосе нотки сожаления, и ему казалось, что Надежда (быть может, невольно) сравнивала их. Правда, при этом она неизменно добавляла: «Извини за воспоминание, но...» Он извинял. Человек не волен начисто забыть свое прошлое и людей, которые были в нем. Он может их любить или ненавидеть, может относиться к ним равнодушно, но они были, и этого из памяти не вычеркнешь. Но все-таки иной раз лучше вспоминать людей из своего прошлого молча, про себя...

Порой Ильин думал, что Надежда чувствует — или, во всяком случае, хочет чувствовать — свою власть над ним еще и потому, что она была у него единственной женщиной, и слишком верила в силу именно своего женского начала. А эта постоянная раздражительность, это постоянное недовольство почти всем, что я делаю, — откуда они? Или тоже проявление властности?

Мысли Ильина были безрадостными. Тем более что ни на один вопрос, задаваемый самому себе, он так и не мог найти успокаивающего ответа. И вот тогда появился еще один, тоскливый, уже знакомый вопрос: чем же все это кончится? Должно же *это* кончиться? Нельзя ведь так жить — в вечном напряжении, с этими мелочными укусами, терзающими душу. *Такой характер?* Надежда — человек взрослый, ее уже не переделывать. Он снова и снова вспоминал первые ласковые, словно бы напоенные счастьем годы их жизни, возвращался к ним, чтобы хоть как-то оправдать нынешнюю Надежду той, прежней, — и не мог побороть в себе ни горечи, ни боязни ответа на вопрос: чем же все это кончится?

Оказалось, вовсе незачем было брать командировку на дело. Все, что ему было нужно, Ильин узнал за два дня.

Ему и прежде приходилось бывать здесь, на Невском заводе, который нынче стал уже объединением, и всякий раз он думал: завод тоже старый, бывший Семянниковский, а как

работает! И вовсе не потому, что здесь другое оборудование или какие-нибудь особенные люди; его поражала та спокойная организованность, от которой во времена Силина уже отвыкли и которая только-только, и поэтому непривычно, начинала возрождаться на ЗГТ.

Эта организованность сказалась уже в проходной, где их, большегородцев, ждал сопровождающий с временными пропусками. И в цехе тоже ждали. Никаких торжественных приветствий, конечно: вот каски, идемте в цех. Начальник цеха — невысокого роста, очень подвижный — рассказывал неожиданно глухим голосом, как они сработали эти канавы. Ильин торопливо записывал и кивал: действительно, здесь нашли интересное решение, но там, на ЗГТ, придется додумывать сообразно своим возможностям. У них есть лишний пролет, а у нас нет. Стало быть, придется ставить первую канаву не сразу возле печи, а дальше, — будем терять время на ходе сталеразливочного крана. Пока же хочешь не хочешь надо будет пользоваться дополнительной подачей ковша из одного пролета в другой, это тоже лишняя трата времени. Но ничего иного лучше придумать, пожалуй, нельзя.

Конечно, здесь тоже были свои беды, и о них Ильину рассказывали откровенно. Вот надо менять подкрановые балки, они стоят там с конца прошлого века, листы расслаиваются, Госгортехнадзор уже за горло берет с этими балками. А сменить их надо так, чтобы не останавливать печи. Задача? Или разлив в мелкие формы — огромная потеря времени, нужна новая технология, новая техника, а заместители боятся ее, как черт ладана, — им бы со старой управиться. С другой стороны, начинаем осваивать «татевские ковши» — здесь Ильин покоился на своего коллегу с завистью, потому что сталь для этих ковшей едва ли не самая капризная и взяты за это дело могут лишь действительно большие мастера. Грешным делом он подумал: не прихвастнул ли коллега? Он знал, как на многих металлургических заводах Урала и Юга билось с этой сталью и ничего не получалось, а здесь уже получается. И лишь тогда, когда увидел эти ковши, грустно подумал: ну, нам-то, пожалуй, они могут сниться только в самых хороших снах...

Копии всей документации уже были изготовлены к их приезду, и это тоже приятно удивило Ильина. Можно было возвращаться домой, сейчас не до Эрмитажа или БДТ. А вот к Кольке Муравьеву он должен был зайти обязательно. Колька, когда он позвонил ему, начал шуметь: зачем остановился в гостинице, я же тебя просил сразу ко мне. Ильину пришлось сказать, что он здесь не один и неловко оставлять товарищей. Это немного успокоило Кольку.

Ехать к нему пришлось чуть ли не через весь город. Ильин очутился в Купчине, среди одинаковых, скучных, плоских домов. Даже не верилось, что это тоже Ленинград. Низкое серое ноябрьское небо лишь подчеркивало это унылое однообразие.

Летом здесь, наверно, тоже не очень-то... Маленькие деревца, высаженные вдоль улиц, еще не скоро станут большими деревьями.

Он долго искал нужный ему дом и наконец-то нашел. Колька уже волновался: у нас здесь как в лесу, а ежели пьяненький — проще простого ломиться в чужую квартиру, такие случаи были. Соседская малышка вышла погулять и исчезла, целый день искали — оказывается, тоже ходила по чужим лестницам. Ну, здравствуй!

— Наконец-то, — усмехнулся Ильин, проходя в комнату. — Здравствуй.

Он приехал, как и просил Колька, к обеду, но хозяйничать пришлось самим: Колькина жена была в больнице, на дежурстве, и Ильин подумал: хорошо, вдвоем будет проще.

Видимо, Колька попросил жену приготовить обед «по первому разряду», и Ильин внутренне улыбался, когда хозяин доставал из духовки латку с сигами, ставил на стол какие-то немудрено красивые бутылки с иностранными этикетками, хрустальные бокалы и рюмки — во всем этом Ильину виделось пусть маленькое, но все же хвастливое самодовольство. Впрочем, это впечатление быстро прошло, едва они сели за стол друг против друга и Колька сказал с шутливой грустью:

— Извини, конечно, но мне так было приказано. А по совети — сели бы мы с тобой на кухне и врезали простой «столичной» под соленый огурец.

— Зачем? — сказал Ильин. — Так все-таки приличней. Как и положено доктору наук.

— А знаешь, что у Князя Потемкина сын? — вдруг рассмеялся Колька. — Вот разошелся на старости лет! Не то что мы с тобой.

Ильину нравилось, что разговор шел неспешный, неутомительный, но он предчувствовал, что рано или поздно Колька вернется к тому вагонному странному разговору, и ему было даже интересно, что же такое заметил Колька у него дома, что дало ему повод задать *тот* вопрос.

Но Колька начал говорить об Ольге. Оказывается, он просидел у нее несколько часов, и Ольга рассказывала ему о себе, о своей жизни. Вот не повезло человеку! А ведь золотая душа, доброта необыкновенная, и умница к тому же, и...

— Да, — сказал Ильин. — Я тебе завидую, Колька. У тебя есть радость открытия. А я уже привык, что она всегда рядом, и словно перестал замечать. Но и меня она потрясла недавно.

Он рассказал историю с фотографией матери.

— И, знаешь, я даже забыл поблагодарить ее.

— Ну и сукин сын, — заметил Колька.

— Нет, — грустно качнул головой Ильин. — Понимаешь, совсем не то... Она *всегда* была рядом. Я мог бы тебе многое рассказать... Посылки присылала в Москву, когда я учился... У нее постоянное желание делать людям добро, не требуя ни-

чего взамен, даже простого слова — «спасибо». Это у нее не самоцель, это ее существо.

— К тому же ты и дурак, — спокойно заметил Колька. — Быть рядом столько лет и не замечать, что она просто-напросто любит тебя.

Ильин, вздрогнув, оторопело поглядел на Кольку.

— Ну, чего смотришь? Она сама сказала мне об этом, и я не желаю скрывать. Я-то, дурень, увидев вас вместе, сразу и решил: муж и счастливая жена, — так она глядела на тебя, так брала под руку, так улыбалась тебе, когда мы танцевали с ней. Я еще подумал: через столько-то лет!.. Ты дурак, парень. Конечно, ты полюбил другую и сколько угодно можешь бормотать мне про духовную и сексуальную избирательность, но я-то не просто собаку съел на психологии семейных отношений, а упряжку вместе с каюром и нартами. У нее очень тихая любовь, вот в чем дело...

— Но...

— Помолчи уж лучше! — усмехнулся Колька. — Скажешь, а как же тот курсантик, а потом муж? Да слава богу, что они у нее были! Ей надо было спасаться от себя самой, и еще от тебя. Тебе-то ведь это небось и в голову не приходило!

— Не приходило, — тихо сказал Ильин.

То, о чем сказал Колька, потрясло его. Значит, все эти годы, всю жизнь... Но ведь, не случись той беды, и Ольга была бы счастлива с Ерохиным.

— Нет, — так же тихо ответил Колька, и Ильин ничего не смог возразить. Он вспомнил: «Я ему нужна...» — и эти слова, когда-то рассердившие его, вдруг обрели сейчас совершенно иной смысл.

— Вот такие пирожки, брат, — сказал Колька, вставая. Он ходил по комнате, словно стараясь успокоить себя этой ходьбой, а Ильин сидел в кресле, согнувшись, зажав между колен стиснутые пальцы: вот, значит, какой был у Ольги с Колькой разговор! И, конечно же, еще о нем, Ильине, и о Надежде...

— Давай дальше, — сказал он. — Я же понимаю, что там, в вагоне, ты спросил меня не случайно...

— Не случайно; — кивнул Колька. — Ты что, хочешь разговор начистоту? (Ильин не ответил, и Колька истолковал его молчание по-своему.) Ну, хорошо. Забудь о том, что я твой друг детства. Мы незнакомы. Тем более что это почти так. Столько лет... Ты просто пришел к врачу-психиатру. Согласен?

Потом Ильин так и не поймет, почему же он изменил сам себе, своему презрению к мужчинам, жалящимся на своих жен, и единственным самооправданием для него будет одно: я не жаловался. Я был у врача. Я искал у него ответ на свои тяжелые вопросы, потому что сам не мог ответить на них, вот и все.

А сейчас он с тоской непонимания, с беспощадностью к самому себе, с теми подробностями, которые до сих пор

принадлежали ему одному, рассказывал Кольке об этих двадцати годах жизни, начиная со счастливых времен внезапно пришедшей любви и кончая нынешним отчуждением. Колька все ходил и ходил, не перебивая его, словно стараясь запомнить каждое слово Ильина. Он рассказал и об этой бессонной ночи в вагоне, когда впервые с такой ясностью и резкостью почувствовал свое одиночество, и о том вопросе, который он обычно гнал от себя, отталкивал, которого боялся, но который все-таки упорно встал перед ним: *чем все это кончится?*

— Ну вот, кажется, выговорился, — сказал он наконец, но так и не почувствовал облегчения. Где-то в глубине его души все-таки копошилась мысль: а надо ли было говорить? Зачем? Ведь все равно в *таких* делах даже самые распрекрасные врачи не могут дать никаких советов. Да и я не тот человек, чтобы слушаться их.

Пододвинув кресло, Колька сел рядом.

— Все это я уже или знал, или догадывался, — грустно сказал он. — И, знаешь, сколько бы ни говорили вслед за Толстым, что каждая семья несчастлива по-своему, ты, в сущности, не открыл мне ничего нового. Только не обижайся. Каждому человеку обычно кажется, что именно у него все неповторимо. Я не собираюсь читать тебе лекцию на тему психологии брака, но скажу одно — хреновое у тебя дело, Серега!

Он не мог сидеть. Ему надо было снова встать и походить по комнате.

— А может быть, и лекция не помешает? — усмехнувшись, спросил Ильин. — Уж если мы заговорили об этом... Ты ведь не поп, да и я не на исповеди. Я пришел к врачу! Так, кажется, мы договорились.

Он потянулся к столу, налил себе рюмку коньяку и выпил залпом, не закусывая.

— Хорошо, — сказал Колька. — Для начала я выдам тебе, как и положено, немного статистики. У нас в стране ежегодно разводятся около восьми процентов семейных пар, проживших двадцать лет. Странно, правда? Казалось бы, до серебряной свадьбы рукой подать... Дети уже взрослые... Чаще всего виноваты в этих разводах мы, мужчины. Знаешь стишки: «Как-то раз старик старуху поменял на молодуху...» К молодухам уходим. Так что счастье первых лет вовсе не гарантия на будущее. Но у тебя, как говорится, совсем другой случай. Ты ведь думаешь об одном: откуда появилось отчуждение, даже неприязнь? А ты знаешь, что идет вслед за этим? Вражда! Сначала появляется психологическая трещина, и, если ее вовремя не преодолеть, она становится пропастью. А ты, Серега, и особенно твоя жена... вы не преодолели ее. Ты прав, конечно: отмалчиваться или отделяваться хаханьками, как это делал ты, или глушить себя работой куда как мало...

Странно: Колька нервничал! Это Ильин видел отчетливо.

Каждый день год за годом Колька встречался с десятками, сотнями людей, которых жизнь, в том числе и семейная, раздвигала так, что требовалось врачебное вмешательство, а вот поди ж ты! — не привык, и волнуется сейчас так, будто впервые встретился с этой трещиной, разделившей двоих.

— Понимаешь, — говорил Колька, — с годами все мы становимся... как бы это сказать?... уязвимее, болезненнее к любым проявлениям невнимания, к любой резкости, к любой обиде. Это распространяется не только на семейные, но и на служебные отношения. Руководитель, который орет на подчиненного, потенциально виновен в сокращении его жизни. Но в своем доме-то мы хотим, как говорят англичане, видеть свою крепость — и не удастся! Любое проявление невнимания начинает расцениваться как пренебрежение. Холодность рождает обиду. Ты сказал: твоя жена неласкова? Это не просто ее ошибка. Она обязана помнить, как ты рос, — без ласки.

— Что ж ей, притворяться, что ли?

— Нет, помнить! Память оживляет чувства. Если, конечно, у человека еще не очерствело сердце. Но ты меня перебил... Постепенно люди, живущие в раздражении, начинают тащить на себе все больший и больший груз прежних обид и ссор. Вот ты рассказал, что иногда теряешь контроль над собой. Думаешь, это от желания сбросить прежний груз? Разрядиться? Да у тебя просто сильнейший невроз, и у твоей жены тоже, а это объективные причины.

— Принимай валерьянку, и семейная жизнь пойдет как по маслу? — спросил Ильин.

— Иногда помогает, — кивнул Колька. — Но не спасает. Потому что люди уже хорошо знают друг друга. Потому что любую слабость другого используют для колкости, для упрека. И в конце концов обилие отрицательных эмоций закрепляется в психике и болезнь семейного отчуждения, как я называю ее, становится уже хронической. Это как раз то, что уже произошло у тебя, Серега. Прости уж за печальный диагноз. И то, что ты пытаешься вспомнить первые счастливые годы, — это, по моему, всего лишь попытка гальванизировать свои нынешние чувства... Ты проглядел в своей жене один момент: когда она впервые решила «поставить себя». Мне многие мужчины рассказывали о такой вроде бы безобидной детали: когда они со своими невестами приходили в загс или Дворец бракосочетания и садились расписываться, невесты жали своими каблучками их ноги. Забавно? А в этой примете, между прочим, уже заложено опасное зерно желания «поставить себя».

Он действительно все знает обо мне, подумал Ильин. Его поразило, с какой точностью Колька словно бы раскладывал по полочкам его семейную жизнь. Из всего того, что он говорил, Ильин не понял лишь одного слова — релаксация, спросил, с чем это едят, и Колька объяснил серьезно, как объяснил

бы, наверно, студенту на лекции: непринужденность, незапанность отношений.

— Я очень внимательно наблюдал за твоей женой, — признался Колька. — Конечно, она этого не замечала. Помнишь, как она сказала, что ты по выходным поднимаешься на девятый этаж, чтобы поглядеть на трубы своего цеха? Это было сказано если не с издевкой, то с нехорошей иронией. Она не живет твоими интересами, верно? — Ильин не ответил. — Но хочет, чтобы ты жил ее интересами. — Это был уже не вопрос, а утверждение. — Сможешь ли ты что-нибудь переменить в ней? Ты — заматанный, заваленный работой человек, и уже не юноша, и духовные силенки у тебя уже не те...

— Значит, — спросил Ильин, — ты полагаешь, что мы так и будем жить? Или еще хуже? И лучший выход...

— Стоп! — сказал Колька. — Вот здесь моя роль кончается.

— Не знаю, Колька, — устало сказал Ильин. — Временами мне кажется, что лучше всего удрать куда-нибудь на край света. Но от самого себя не убежишь и на пятом десятке новую жизнь не начнешь. Может быть, это уже привычка, а может, и трусость. После стольких лет... Ты, наверно, не помнишь — до войны у нас, в Большом городе, возле реки останавливался передвижной зоопарк. Однажды из клетки сбежала рысь. Мы удрали с уроков — поглядеть... Она лежала на ветке, рядом были другие деревья, а за Липками уже начинался лес... Милиционеры уже хотели стрелять в нее, а директор зоопарка забрался на дерево, накинул на рысь пальто и спустился с ней, как с запеленатым младенцем. Думаешь, она одурела от свободы? Нет. Она не привыкла к ней. И у нас то же самое. Освобождение может обернуться крахом, катастрофой.

— Это должен решать ты сам, — сказал Колька. — Ведь все равно что-то придется решать.

Он пошел проводить Ильина до автобусной остановки. Уже было темно, в окнах одинаковых зданий горели огни, там двигались люди, и Ильин, остановившись и глядя на освещенные окна, сказал:

— Посмотри. За каждым окном — своя жизнь. Радуются, ссорятся, растут, любят, ненавидят, страдают, смеются... Возможно ли разобраться в людях, а? Тебе, например, или твоему другу писателю, когда иной раз в самом себе разобраться не можешь...

Колька, взяв Ильина под руку, ответил с неожиданной веселостью:

— А может, Серега, это и хорошо, что так сложен человек? Не в энтим суть, как говорит наш дворник.

— Тогда в чем же?

— Я отвечу тебе словами мудрого старика Бэкона: «В каждом человеке природа всходит либо злаками, либо сорной травой; пусть же он своевременно поливает первое и истребляет второе». Вот в энтим суть, брат ты мой любезный! —

Они уже подошли к остановке, и Колька добавил серьезно и тихо: — Я очень хочу видеть тебя счастливым, Серега.

Они обнялись, и Ильин тоскливо подумал, что теперь они встретятся не скоро и что там, в Большом городе, ему будет не хватать именно Кольки.

Вылететь в Большой город Ильину не удалось — погода была нелетной, в Ленинграде стояли густые мозговые туманы, пришлось снова ехать поездом. Но и тут ему не повезло: билетов на прямой уже не было. Какая нелепость! Ехать сюда одному в пустом вагоне, а обратно терять около полутора суток, потому что билеты в Большой город были только через Москву! Ладно, подумал он, зайду к старикам хотя бы...

В Москве он тоже не был давно, она сразу оглушила его, обрушилась шумом, людским потоком, хотя был обычный будний день. С вокзала он пошел пешком. Ему не хотелось приходить к старикам так рано. Вообще-то ему совсем не хотелось идти к ним после того, что он понял в теще, но если Надежда узнает, что он был в Москве и не зашел, опять начнутся бесконечные упреки.

Он нарочно сворачивал на боковые улицы, шел медленно, словно оттягивая встречу. Точно так же он любил часами бродить по Москве в студенческие годы, «но — боже ты мой! — как все было тогда иначе! Другая Москва, другой я, другие мысли, другое настроение... Подходя к дому Надеждиных родителей, он вовсе замедлил шаг. Вон *тот* дом. Не надо ни о чём вспоминать. Колька прав, конечно: этими воспоминаниями я стараюсь гальванизировать прежние чувства, как препарированную лягушку.

Ему открыл тесть — заспанный, наверно только что вставший — и удивленно уставился на Ильина: ты откуда взялся? Надежда звонила, говорила, что ты в Ленинграде...

Он прошел в *ту* комнату. Здесь ничего не изменилось за двадцать лет, только телевизор был другой. Старые люди не любят перемен и не выбрасывают вещи, состарившиеся вместе с ними.

— Садись, — сказал тесть. — Я чайник поставлю. Будешь пить чай?

Ильин кивнул.

— А мать на рынок ушла, потом по магазинам, так что будет не скоро.

Он вышел на кухню, а Ильин против своей воли, против желания не вспоминать ничего, что было связано с этим домом, оглядывался, и чего-то не хватало ему, словно что-то исчезло отсюда с того дня, когда он был здесь лет пять назад. Все-таки он понял, чего не хватало. Не было его фотографии! Она висела тут, у окна, рядом с фотографиями Надежды и Се-

режки. Даже дырочка от гвоздя была видна на обоях! Значит, сняли, чтоб не мозолил глаза... Он грустно улыбнулся. Конечно, Надежда наговорила родителям обо мне целый воз всякой всячины. Да, не надо было заходить сюда, конечно.

Тесть держался с ним спокойно и сухо — впрочем, он всегда был таким, сколько Ильин знал его: спокойный, неразговорчивый, сухой, точный, уверенный в правоте своих суждений (у Надежды то же самое, должно быть наследственное!) и без тени юмора.

Когда тесть вошел, Ильин спросил его:

— Надя давно звонила?

— Позавчера, кажется.

— Там все в порядке?

— Это тебе лучше знать, в порядке или нет, — ответил тесть, не глядя на него и ставя на стол хлеб, сыр, колбасу, чашки. — На мой пай, у вас не все в порядке.

Так, — подумал Ильин. — Значит, разговорѣ не избежать.

— Хорошее начало, — сказал он.

— Да уж куда лучше! — отозвался тесть. — За что ты мою дочку-то терзаешь? Что она тебе плохого сделала? Звонит и ревет: дома почти не бываешь, в театр укатил — ее на улице одну бросил, в выходной слова от тебя не дождешься... Ты смотри, Сергей! Мы так не привыкли. Мы с моей душа в душу прожили, а куда хуже было: и война, и Север... Жить с уважением надо. Ты что ж, думаешь — ты начальник цеха, а она машинистка простая, велик труд пальцами по машинке стучать? А она вон работу на дом берет, лишнюю копейку заработать. Да еще приготовить, накормить, обстирать тебя надо... Не думали мы, что наша дочка через столько-то лет от тебя плакать будет... Без уважения ты живешь. Одну на улице бросил!.. Домой тогда в два часа ночи пришел...

Вот как она рассказала, стало быть! — подумал Ильин. Он молчал. Любые слова — объяснение ли, оправдание ли — не приведут ни к чему. У Надежды была просто легкая истерика. Конечно, верят ей, а мне не поверят, что бы я ни сказал. Для них существует только одна правда — то, что говорит Надежда. А ведь она не рассказала, почему я пришел тогда в два часа ночи! Не рассказала, потому что сама не поняла, зачем мне понадобилось ходить ночью по городу с фотографией матери в кармане...

Ильин встал.

— Спасибо, — сказал он. — Я никогда не служил в армии, но сейчас почувствовал себя новобранцем, из которого выколачивают гражданскую пыль. Наверно, мне не надо было заходить к вам. Ведь вы все — это вы, семья, клан... А я — это я один, человек без доверия. Значит, до весны?

— Как тебе угодно, — сухо ответил Петр Иванович.

— Теще привет передавайте.

— Передам.

Ильин ушел. Что ж, пусть так — резкость за резкостью. Иначе я уже не могу. Не мальчик.

На улице он еще кипел и шел быстро — такая ходьба всегда успокаивала его. Поезд в Большой город уходил днем, и у Ильина была куча времени.

...Быстро, еще быстрее! Он свернул на одну улицу, другую, вышел к улице Горького. Здесь было особенно многолюдно, и он умерил шаг. Надо было все-таки где-то позавтракать, и он заглянул в кафе, удивился, что там почти никого нет, разделся, зашел, сел за столик... Неподалеку от него сидел крупный мужчина, ел и читал газету. Сначала Ильин лишь скользнул по нему взглядом, но что-то знакомое почудилось ему в этом человеке, и он пригляделся, еще не веря тому, что человек этот — Силин, бывший директор ЗГТ.

Подойти? Зачем? Кем я был для него? Пешка, винтик в огромном заводском механизме. Да и никаких симпатий мы друг к другу не питали, помнится. Даже наоборот... Он разглядывал Силина, заметно постаревшего за год, и отвел глаза, когда Силин сложил газету.

По заводу ходил слух, что ради молоденькой журналистки Силин бросил жену, а когда его сняли, молоденькая, не будь душой, дала ему от ворот поворот.

Эту женщину Надежда хорошо знала — они работали в одной редакции — и восторгалась ею: красивая, талантливая, свободная, счастливая... Потом по редакции тоже поползли слухи, как-то раз и Надежда, придя домой, сказала Ильину: «Кажется, наша редакция и ваш завод собираются породниться». Когда же Силина сняли, то журналистка очень скоро вышла замуж за профессора не то из Ташкента, не то из Алма-Аты и уехала к нему. А Силин, тоже по рассказам, жил в Москве и работал в каком-то институте.

Сейчас Ильин мог сказать о нем больше: живет, видимо, один, если ходит завтракать в кафе... И одет как-то небрежно, даже издали Ильин мог разглядеть мятый, плохо завязанный галстук.

Краем глаза он видел: Силин расплатился с официанткой, встал, пошел к выходу. Все-таки они поглядели друг на друга, и Силин остановился.

— Вы Ильин?

— Да.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте, Владимир Владимирович.

Руки друг другу они не подали.

— Большая Москва, а встретились, — сказал Силин, отодвигая стул и садясь. «Нет, — подумал Ильин, — он все такой же: самоуверенный и бесцеремонный». — Как там у вас, на ЗГТ?

— Все в порядке вроде бы.

— Новый директор есть?

— Есть. Званцев.

— Званцев? Почему-то я так и думал, что будет именно он. Справляется?

Вопрос был ревнивым, хотя и заданным как бы вскользь.

— Ну а почему бы ему не справиться?

— Потому что люди у вас работают от сих до сих, лишь бы оправдать свою зарплату, — сказал Силин. — Настоящих работников я и сейчас могу пересчитать по пальцам.

— Ну, для меня, наверно, на ваших руках даже мизинца не найдется, — улыбнулся Ильин.

Казалось, Силин не расслышал его.

— А как ваш литейный? Как Левицкий?

— Он умер, — ответил Ильин.

— Вот как? Я не знал. Кто же теперь управляет вашим цехом?

— Я.

Силин задумчиво покивал. Это могло означать: ну что ж, все правильно! Или — что же такое происходит; если цехом руководит Ильин? Понимай, как хочешь.

— Тоже справляетесь? — спросил Силин.

— У нас с вами странный разговор, Владимир Владимирович. Я далек от мысли, что ваши вопросы — это ностальгия по заводу, что ли, но чувствую какое-то, извините, злорадство...

— Злорадство? — тихо спросил Силин и медленно поднялся. — Ни черта вы не понимаете, Ильин. Если бы мне предложили, я, не задумываясь, хоть сегодня поменялся бы с вами местами...

Он не попрощался и пошел к выходу, а Ильин глядел на его широкую спину, и ему показалось, что она начала сгибаться у него на глазах. Ильин не выдержал:

— Владимир Владимирович!

Силин обернулся, но не остановился и вышел. Я обидел его, подумал Ильин. Нельзя бить лежачего. Пусть он все такой же, внутренне не изменившийся, так и не понявший, что с ним произошло, но все равно нельзя бить лежачего!

В Большой город поезд пришел днем, и сразу с вокзала Ильин поехал на завод.

Было обеденное время, и его секретарша ушла. Пришлось самому порыться в ее папках, чтобы найти приказы за эти четыре дня и тут же быстро просмотреть их с тем тревожным ожиданием каких-либо неожиданных неприятностей, которое не покидало Ильина последнее время. Но никаких неприятностей вроде не было. Сводки по литью нормальные. Он зашел в кабинет и позвонил в редакцию, Надежде. У машинисток городского телефона не было, пришлось долго ждать, пока за ней ходили.

- Я вернулся, — сказал Ильин. — Здравствуй. Как ты?
- Ничего. Что-то ты не слишком быстро...
- Пришлось ехать через Москву, я заходил к твоим...
- Знаю, — сказала Надежда. — Ты на заводе или дома?
- На заводе.
- Я могла бы и не задавать этот вопрос. Ну, тогда до

вечера.

Несколько минут Ильин сидел неподвижно, потом позвонил секретарше директора, попросил передать, что вернулся из командировки и что хотел бы доложить о результатах завтра, но секретарша ответила, что директора вызвали в министерство и он придет, скорее всего, через неделю. Ильин поморщился: значит, придется идти к Заостровцеву, и тот будет нудно и долго спрашивать, думать, а в результате так ничего не решит и скажет, что надо подождать директора...

Он снял со шкафа каску и пошел в цех, хотя знал, что сейчас все заместители обедают и для дневного обхода это самое неподходящее время.

Разговоры с мастерами на плавильном были короткими, Ильин шел дальше, подсознательно улавливая ту спокойную обстановку, которая, казалась, наконец-то установилась в цехе. На стержневом участке несколько женщин поздоровались с ним совсем по-деревенски, будто они встретились на деревенской улице: «С возвращеньцем вас, Сергей Николаевич!» А там, дальше, на формовочном, и впрямь запахло деревней — видимо, только что привезли свежее сено, и Ильин видел, как двое формачей сидели на нем, развалиясь, запивая еду молоком прямо из горлышек. Он улыбнулся, вспомнив, как этой осенью вид сена в цехе изумил киношников, снимавших фильм, и как пришлось объяснять, для чего оно нужно здесь...

Соберу заместителей позже, решил Ильин, сворачивая к внутренней лестнице. Для того чтобы попасть в партбюро, надо было подняться на второй этаж. Это Воол настоял на том, чтобы перевести партбюро сюда, ближе к цеху, чтоб людям не надо было шагать в обход и терять время.

Воол был один, сидел на диване, а перед ним на полу лежали большие фотографии, и он разглядывал их с таким озабоченным лицом, будто решал какую-то необыкновенно трудную задачу.

— А, ленинградец! — сказал Воол. — Проходи осторожней. Вот, видишь, комсомол затеял стенд, а карточки отбирать — мне. Как съездил?

— Хорошо съездил, — ответил Ильин, пробираясь к дивану на цыпочках. Он сел рядом с Воолом и, хотя сейчас меньше всего его интересовали эти фотографии, невольно начал разглядывать их, и наткнулся на улыбающуюся физиономию Сережки. Тот стоял перед Леной Чиркиной — снимок был сделан в лаборатории.

— Хорошо съездил, — повторил Ильин. — Через полчаса со-

беру запов, так что кончайте раскладывать свой пасьянс, Эдуард Иванович. И к главному нам тоже, наверно, стоит пойти вместе.

— Сходим и к главному, — кивнул Воол. — Ты в цехе уже был?

В самом вопросе Ильин сразу уловил какую-то странную интонацию, которая заставила его насторожиться. Да, был, а что? Мысленно он уже торопил Воола, чувствуя, что начинает раздражаться его обычной медлительностью.

— Что стряслось? — не выдержал он.

— Ничего особенного. Две отливки ушли с «синяками»...

— Это я знаю.

— Ну, Тигран приходил, жаловался на Малыгина, что тот не выдерживает график на формовке.

— Обычная история.

— Вот что я хотел сказать тебе, Сережа... — Воол непривычно мялся, тянул, словно ему очень трудно было сказать то, что он должен был сказать. — Дошел до меня один слух... Конечно, слухам верить не следует, но сам понимаешь... Короче говоря, насчет тебя и Ольги Ерохиной... Кто-то что-то видел, кто-то о чем-то подумал... Жена твоя одна на концерте сидела...

Ильин облегченно вздохнул.

— Еще этот кто-то мог видеть, как Ольга меня поцеловала прямо посреди двора, — сказал он, поднимаясь. — Пойдем, Эдуард Иванович. Есть дела поважней, чем слухи... и этот стэнд.

— Я должен был сказать тебе это, — отозвался Воол, и Ильину показалось, что он сам раздосадован тем, что в цехе вдруг появился этот нелепый, глупый бабий слухок.

Тогда, после праздничного вечера в концертном зале, Коптюгов пошел провожать Нину домой. В последнее время они встречались часто, подолгу ходили, разговаривали — узнавание друг друга было неутомительным и успешным, — и Нине все больше нравился Коптюгов. Ей нравилось, что от Коптюгова исходила спокойная уверенность, она чувствовала его внутреннюю силу, ее трогало то, что он не был настойчивым. Но дальше ее чувства не шли. За Ниной пытались ухаживать многие, и она резко, быть может даже излишне резко, обрывала эти попытки. Коптюгов оказался исключением, быть может потому, что не был похожим на тех пошловатых прилипал, которые чуть не слюни глотали, глядя на нее.

Они были на «вв», и это тоже нравилось Нине. Она рассказала Коптюгову о себе, но вовсе не для того, чтобы вызвать его сочувствие. Наверно, ему не очень-то приятно было слышать, что она продолжает ждать мужа, верит в то, что его уход — ошибка, которую он рано или поздно поймет. А ошиб-

ки положено прощать. «Даже такие?» — спросил Коптюгов. «Если любишь человека — даже такие». Она словно бы захлопнула перед ним дверь, но Коптюгов все равно стоял у порога, не пытаясь войти, и Нина была благодарна ему за это.

Она не знала, что, расставаясь с ней, Коптюгов прекращал свою игру в спокойствие. Он бесился и уговаривал себя, что все равно только так, с такой вот неторопливостью он сможет в конце концов добиться своего. Она не знала, что Коптюгов, проводив ее после очередной прогулки по городу, уходил не к себе в общежитие, а в ресторан и что у него были случайные встречи, случайные связи...

В тот вечер они шли, как обычно, не торопясь. Коптюгов держал ее под руку, и Нина подумала: какая у него сильная рука! Это тоже было приятным ощущением. И разговор, как всегда, был неумотительный.

— В прошлый раз вы так и не ответили мне, чего вы ждете от жизни? Постеснялись, не знаете или не хотите быть откровенным?

Коптюгов засмеялся. Когда он смеялся, то чуть откидывал голову.

— Скорее, постеснялся, — сказал он. — В наше время, Ниночка, материальные факторы хотя и признаны, но мало ли что... Уж лучше говорить о моральных.

— Хотите купить машину, — уверенно сказала Нина.

— Вот уж нет! — снова засмеялся Коптюгов. — Зачем возить приговор в собственном багажнике? Автомобилисты — самые несчастные люди на земле. Да и машина в наше время — не просто средство передвижения, а, скорей, для престижа... Тысячи людей думают так: «У Иванова есть, у Петрова есть, а я, Сидоров, что? Хуже, что ли?» Я знал семью, где три раза в день ели только макароны, зато была машина!

Теперь засмеялась Нина.

— Правильно. И еще обязательно должен быть рояль. И полка с книгами, лучше всего красивыми. Впрочем, читать их не обязательно, лишь бы были.

— Еще румынская стенка, — подсказал Коптюгов. — Вы забыли стенку.

— Забыла, — вздохнула Нина. — Значит, вы не хотите ни румынской стенки, ни книг, ни рояля, ни ковров, ни машины. Это мы выяснили. Дальше?

— Ну почему же я не хочу книг, ковров или стенки? — возразил Коптюгов. — Есть вещи мне нужные и есть ненужные. Пока же мне все равно их негде ставить, даже если б они и были. Вы не замерзли, Нина?

— Нет.

— Мне нужно другое, — задумчиво сказал Коптюгов.

— Слава? — спросила Нина.

— Она у меня есть. Вон в газетах обо мне пишут, в кино

снимают, в президиумах сажу... К концу пятилетки наверняка орден дадут. Рабочий класс у нас в особой чести.

— Тогда чего же вы хотите?

— Счастья, — тихо ответил Коптюгов.

Они долго шли молча, и каждый думал о своем. Конечно, Нина догадалась; что именно имел в виду Коптюгов под этим словом. И Коптюгов знал, что она догадалась. Это был как бы первый робкий стук в ту самую плотно закрытую дверь, но никто ему не открыл, никто не подошел и не спросил даже: «Кто там?» Коптюгов подумал, что сегодня он снова окажется в «Волне», встретит там старых знакомых и...

Коптюгов солгал сейчас. Он сделал это так умело, что Нина поверила, не задумываясь. Конечно, он хочет счастья! Каждый человек хочет счастья! Она на память могла бы привести добрый десяток цитат из классиков на эту тему. Это же так естественно!

— У людей разные представления о счастье, — наконец осторожно сказала Нина. Она отлично понимала, что, продолжив этот разговор, может позволить Коптюгову сказать больше, чем он уже сказал. — Одни выиграют по лотерее швейную машинку — и счастливы. У других есть вроде бы все, а на них глядеть жалко...

— И так бывает, — кивнул Коптюгов.

Это были ничего не значащие слова. Будто он нарочно сам уходил от той возможности сказать большее, которую ему как бы предоставила Нина. Она покосилась на Коптюгова и заметила плотно стиснутые губы, и его крутой подбородок показался еще более крутым — огромным и тяжелым. Не надо больше заводить его, подумала Нина. Он и так уже еле сдерживает себя. Я это чувствую.

Они уже подходили к ее дому.

Нина не обратила внимания на мужчину, который сидел перед домом на детских качелях и курил. Она протянула Коптюгову руку, сказала обычное: «Ну вот и пришли, спасибо, что проводили», — и, повернувшись, пошла к двери на лестницу. Мужчина на качелях, выдолбив каблуком в земле ямку, бросил туда окуроч, засыпал его, поднялся и пошел к той же двери. Коптюгов невольно сделал несколько шагов, оказался за его спиной, и мужчина, обернувшись, сказал:

— Гуляй, парень. От тебя больше ничего не требуется.

Очевидно, Нина ждала, когда подойдет лифт, и через широкое окно первого этажа увидела их — Коптюгова и того, второго... Дверь распахнулась. Нина стояла на пороге.

— Костя, — сдвоенным голосом сказала она, глядя мимо Коптюгова. — Приехал?..

— Приехал, — ответил тот, кого она назвала Костей, и снова обернулся к Коптюгову: — Тебе все понятно, парень? Я же сказал — гуляй, а ты, оказывается, такой непослушный...

Ей подумалось: вот так, должно быть, умирают. У нее кружилась голова, все поплыло перед глазами, ноги были чужими, но все-таки она сумела дойти до двери, толкнуть ее и спросить: «Костя... Приехал?» То, чего она ждала полтора года, каждый день, долгими вечерами — сначала в отчаянии, потом с растерянностью, потом с тоскливой покорностью, — пришло наконец! Нине было все равно, зачем он приехал, почему приехал и надолго ли, — главное, что он приехал и она видела его, могла поднять руки и положить на его плечи, словно боясь упасть. Она не заметила, как ушел Коптюгов. Все перестало существовать. Потом она даже не сможет вспомнить, как они вошли в лифт, в квартиру, и словно через туман до нее донеслись слова свекрови: «Ну что, убедился?» — «Оставь, мама!» — кажется, ответил муж. Это она уже помнила...

Они были вдвоем. Постепенно Нина пришла в себя — достаточно для того, чтобы отвечать впопад. Мужа она разглядывала с жадностью: нет, совсем не изменился... Будто вернулся из командировки, как бывало прежде: загорелый, усталый и поэтому, наверно, немного печальный. Но раньше он не прятал глаза, а сейчас старательно глядел в сторону.

— Не надо, Костя, — сказала Нина. — Ты ведь дома... Устал с дороги?

— Поспал в самолете. Ну, как ты?

— Ничего. А ты?

— Тоже ничего.

Полтора года прошло, подумала Нина, а мы говорим — «ничего». Может, и на самом деле — ничего? Ничего не было у меня, ничего не было у него...

— Ты надолго?

— Не знаю. С делами надо разобраться. Купить кое-что. У нас там кругом пески да пески...

— Трудно?

— Жарко.

— Я знаю, — сказала Нина. — Тебе по ночам дожди снятся.

— Да.

Он быстро поглядел на Нину и снова отвел глаза. «Понял, что Нечаев говорил со мной», — подумала Нина.

— А я? — спросила она, садясь рядом с ним на диван и осторожно, как стеклянную, беря его руку. — А я, Костя?

— Не надо, Нина, — попросил он, освобождая руку. — Чего нам темнить? Ну, снилась.. Только ведь все напрасно, понимаешь? У меня скоро ребенок должен быть, не могу же я... Короче говоря, давай по делу, раз уж так получилось.

Она попросила сигарету, закурила, закашлялась. Странно: я вроде бы спокойна. Это хорошо, что я спокойна... Конечно, он не может оставить женщину с ребенком... Я сама, наверно, не разрешила бы ему сделать это... И хорошо, что он сказал

об этом сразу. Действительно, зачем темнить? Нам еще надо развестись... Так, формальность, бумажка...

— У тебя есть ее фотография?

— Зачем тебе? — поморщился он.

— Интересно.

Костя нехотя достал из внутреннего кармана пиджака бумажник, вынул оттуда и протянул ей фотографию. Она посмотрела в глаза той женщины, и вдруг ей стало страшно. Нине показалось, что эти глаза отталкивают ее. Это ощущение было почти физическим. Она даже не успела разглядеть все ее лицо и торопливо вернула фотографию.

— Как все нелепо! — сказала она, но не Косте, а словно раздумывая вслух. — Ведь и у меня тоже мог быть ребенок. Твой ребенок. И тогда все было бы совсем не так. Мы просто не успели.

— Ну, — сказал Костя, — о чем говорить? У тебя тоже все еще впереди. Не одна же ты, верно? Этот парень... Мне мать писала, что ты здесь не очень-то...

Он недоговаривал, только намекал — дескать, брось, милая, не очень-то ты сучала! Странно, он боялся сказать это в открытую, и Нина поняла, что это говорится лишь для самооправдания, а на самом деле Костя не верит ничему, что писала мать. Она улыбнулась — улыбка была неожиданной и для Кости, и для нее самой.

— Ну, раз она писала...

— Да знаю я! — досадливо сказал Костя. — Мало ли чего она напишет! Я бы видел, как вы за ручку прощаетесь. Но вроде бы ничего парень? Я, честно сказать, струхнул малость. Такой врешет — ни одна больница не примет. — Он помолчал и спросил: — Как ты дальше думаешь?

— Я? Да так же... — Встав, она отошла к столу и начала переключивать с места на место книги, карандаши, все, что подворачивалось сейчас под руку. Ей просто надо было хоть чем-то занять себя. — А почему это тебя интересует?

— Она мне все-таки мать, — ответил Костя.

Нина не поняла: при чем здесь мать? Костя сидел, чуть заметно морщился — ему нелегко было начинать этот разговор, да куда денешься... Конечно, он понимает, что по закону у Нины все права на эту комнату, но вот мать уперлась — и ни в какую. Не хочет размена. За эту квартиру можно получить отдельную однокомнатную и комнату в коммунальной — больше никто ничего не даст. А жить вместе, как сейчас...

— Мне все равно, — устало сказала Нина. Конечно, рано или поздно *такой* разговор должен был состояться. Она знала это и ждала его. Она только не предполагала, что он сразу окажется таким утомительным.

— Как у вас на заводе с кооперативом?

— Не знаю.

— Мы тут с мамой посоветовались... Надо бы узнать. Если есть возможность, дадим тебе денег на первый взнос. Ты согласна?

— Все равно, — повторила она.

Костя встал. Она стояла к нему спиной и только слышала, как он встал. Вот шагнул к ней.

— Прости меня, — сказал он шепотом. — Я же все вижу, все понимаю... Ну, очень прошу тебя — прости, пожалуйста!

— Разумеется, — ответила Нина. — Ты здесь надолго?

— На весь отпуск.

— Я уйду к тете Оле, — сказала Нина, — поживу пока у нее. Если понадобится, звони мне на завод, и... ты тоже прости меня, Костик.

— Это за что же? — удивился он.

— Я больше не буду тебя ждать, — ответила Нина.

— Ну конечно, — торопливо и, как показалось Нине, облегченно сказал он. — Не надо ждать, и раньше не надо было, раз уж так получилось...

Нет, подумала Нина, все-таки он здорово изменился за эти полтора года. Он никогда не был таким юлящим, как нашководившая собачонка. И никогда не прятал глаза... Я дождалась, но увидела совсем другого человека. Что ж, может быть, это и к лучшему...

Плакать она будет уже потом, после, у Ольги.

Все, теперь уже все! — думал Коптюгов. А как хорошо шло!.. Им владела ярость: надо же было этому сукину сыну приехать как раз тогда, когда Нина — он это чувствовал — начала размягчаться, перестала сторониться, охотно принимала приглашения встретиться, пойти куда-нибудь... Еще месяц, ну, два, и я бы уже не побоялся сказать ей, что хватит так... Предложил бы ей выйти за меня замуж. Такая жена, такая женщина! Когда она идет рядом, парни смотрят с завистью и глаза у них девять на двенадцать... Мне нужна именно такая, именно она. Чтобы на нас оборачивались, чтобы *это было мое*.

Коптюгов не любил копаться в себе, в своих ощущениях. Он жил ясными для самого себя категориями. Он не задавал себе вопрос: люблю ли я? Это было ни к чему. В том представлении о жизни и ее смысле, которое он точно определил для себя, красивая женщина занимала свое место. Встретилась Нина, и он решил, что она может занять полагающееся место в его жизни, вот и все. Не терпевший никаких неудач, сейчас Коптюгов был в сущем бешенстве, потому что он зря потратил столько времени! Потом это пройдет, конечно, думал он, успокаивая себя, и не успокаивался.

Как ему хотелось врезать по физиономии ее муженьку! «Гуляй, парень! Теперь от тебя ничего не требуется...» Воображе-

ние невольно рисовало ему одну сцену за другой, это было трудно выдержать. Зачем он вернулся, ее муженек? Поблудил-поблудил на стороне и сбежал все-таки, благо есть куда и к кому и благо дура баба любит, ждет и не хочет глядеть ни на кого другого? Он злился за это на Нину, хотя именно ее верность, эта странная *несовременность* привлекали Коптюгова, пожалуй, больше всего, как бы по контрасту: слишком хорошо он знал *современных*, в глубине души презирая их.

Надо было как-то отогнать от себя эти мысли. Он снова пошел в ресторан, но уже перед входом передумал и резко свернул к автобусной остановке. Ему было противно все то, что ждало его там, в белом зале, что он уже испытал, знал и что никак не помогло бы ему. Домой, в общежитие! Лечь, полистать какую-нибудь тошную Сашкину книжку и уснуть. Хорошо, если Сашки нет дома. Могу сорваться, а это ни к чему, он еще не раз пригодится мне.

Зато следующий день был для Коптюгова счастливым.

Во время своего обычного обхода на вторую «десятку» заглянул Воол. Коптюгов только кивнул ему через стекло своей кабины и подумал: что он делает здесь? Воол зашел в кабину.

— После смены загляни ко мне, — сказал он. Коптюгов кивнул. Какое-нибудь поручение, скорее всего. Но Воол не уходил. Он словно бы думал, сказать Коптюгову все сразу сейчас или уж потом, после смены. — Надо оформить документы, — все-таки сказал он. — Поедешь с делегацией областного комитета мира в Финляндию.

— Куда? — переспросил Коптюгов. Ему показалось — ослышался, потому что Воол говорил своим обычным голосом, а печь гудела.

— В Финляндию, — уже громче, нагибаясь к Коптюгову, сказал Воол.

Сегодня ему позвонил Нечаев и сказал, что надо готовить к поездке Коптюгова, это просьба областного комитета защиты мира и облсовпрофа. Воол подумал: «Пошел шагать парень», и подумал об этом без какой бы то ни было досады. Хотя ему было как-то не по себе после того, в сущности, ничего не значащего домашнего разговора с Чиркиным, когда он сказал, что не понимает Коптюгова. Ну, не понимаешь и не понимай, что из этого? Главное, работает человек дай бог как, подручные у него по струнке ходят, дисциплина в бригаде железная. Быть может, именно это чувство своей несправедливости помешало Воолу заметить оговорку Нечаева. Не «мы хотим послать», а комитет мира и облсовпроф.

Но это было еще не все!

После смены, когда Коптюгов, уже вымывшийся, в пальто и шапке, шел через цех к воротам (оттуда было ближе до проходной), его перехватил Шток. У Коптюгова было ощущение, что Шток появился будто бы из-под земли, как черт из преисподней — таким неожиданным было его появление. Шток тяжело дышал — должно быть, ему пришлось бежать.

— Коптюгов! Слышишь? Все! Все, я говорю! Треугольник уже подписал!

Он догадался: жилье...

— Однокомнатную... в новом... Ну, поздравляю!

— Спасибо, — растроганно улыбаясь и протягивая Штоку руку, сказал Коптюгов. Он знал (ребята из цеха, входившие в цехком, рассказывали), что Шток сделал все и больше того, что мог. Сам ходил к председателю завкома Бочарову, и в бытовую комиссию, и Ильина накрутил — Ильин вроде бы написал на имя директора какую-то бумагу... А сейчас Шток радовался так, будто бы это ему дали однокомнатную. Хороший мужик. Сам-то он получил чего-нибудь или по-прежнему живет в коммунальной, вместе с той старой украинкой, которая спасла его во время войны и которую он называл мамой? Но спросить об этом Коптюгов постеснялся.

Он шел легко, не чувствуя усталости, хотя день был трудный. Конец года, обязательку выполнили, вот Ильин и решил, должно быть, дать сталь подороже — что ни говори, а участки переведены на хозрасчет. А подороже — значит, посложней, и несколько дней подряд на обеих «десятках» варили то легированную 40ХА, то жаропрочные... Коптюгов мог хотя бы приблизительно прикинуть: прибыль будет за миллион! Ай да Ильин! Ай да купец! И плавильщикам от этого своя польза, разумеется, а деньги сейчас будут ох как нужны — новая квартира все-таки...

Новая квартира, поездка за границу... Сейчас он не вспоминал о Нине, она словно бы отодвинулась куда-то в сторону, заслоненная тем, что он узнал сегодня. Коптюгов испытывал приятное чувство гордости за самого себя, и все то, о чем он думал, объединялось в нем словами: «Вот оно! Началось!» Он точно знал, что началось. Началось то, к чему он стремился, никогда и ни с кем не делись мыслями об этих стремлениях, потому что они принадлежали лишь ему одному и были для него той ценностью, к которой никто не имел права прикоснуться.

Он шел, но не домой, не в общежитие, а туда, где за новостройками начинались домики окраины. Так или иначе сегодня он все равно пошел бы туда, но теперь у него было еще больше оснований...

И только подходя к старому дедовскому дому, впервые подумал о Нине и почувствовал уже знакомую злость на нее. Ладно, с этим все, сказал он сам себе. И хватит об этом...

Он уверенно толкнул калитку. В саду было мокро, серо и пусто, лишь на клумбе торчали уже замерзшие, скрюченные, не сорванные осенью астры. Странно! *Они* не перекопали клумбу? Почему? Обычно осенью здесь все было уже подготовлено к весне, и мать, помнится, говорила: «Что сделаешь осенью — найдешь весной», а сейчас, кажется, вообще ничего не перекопано и даже палый лист не убран. Коптюгов поглядел на окна, и ему показалось, что на одном дернулась занавеска. Значит, *они* дома...

Ему не понадобилось стучать или звонить — дверь открылась, едва он ступил на крыльцо. Голубев, как всегда, посторонился, пропуская Коптюгова в теплый дом; рук они друг другу не подали.

— Где мать? — спросил Коптюгов.

— В больнице.

— Что с ней?

— Сердце, — отворачиваясь, сказал Голубев. — Уже три недели как отвезли.

— Инфаркт, что ли?

— Нет... Вроде бы нет. Просто плохо с сердцем.

— Так, — сказал Коптюгов, садясь в гостиную и не снимая пальто, только положив на стол шапку. — Так!..

Он сдерживался, чтобы не говорить резко, и злился на себя за эту сдержанность. Но он понимал, что так надо: все-таки Голубев — полковник что ни говори, хотя и отставной, и связываться с ним опасно — капнет на завод, а там пошло-поехало...

— Может, здесь для матери климат неподходящий? — спросил он.

Голубев промолчал.

— Я, между прочим, квартиру получаю, — сказал Коптюгов, не дождавшись ответа.

Снова молчание, Голубев даже не шевельнулся. Не понимает, зачем я пришел, что ли?

Коптюгов огляделся еще раз. Здесь, в доме деда, было много хорошей старой мебели. Он помнил рассказы деда, как в голодные годы на рынке за хлеб или сало можно было выторговать у бывших какой-нибудь «жакоб» или павловские кресла. Дед-то получал на заводе неплохой по тем временам паек, и огородишко помогал, и пару-тройку поросят держал в сарае — вот тебе и «жакоб», и павловские кресла... И картины в золоченых уже потускневших рамах — дед любил природу, и на картинах разгуливали по зеленому лугу тучные коровы или высились горы, а у подножья пировала компания франтов и дам в длинных платьях. Одна, правда, была на религиозную тему — эта не нужна, бог с ней, а вот коровы и горы с дамочками — сгодятся.

— Жаль, — вдруг вздохнул Голубев. — С какими только людьми я не ладил, а вот с тобой — никак. Так, может, не бу-

дем ходить кругами-то? Насчет климата, как я понимаю, ты не случайно сказал? И насчет квартиры тоже?..

Теперь уже не ответил Коптюгов. Он только чуть заметно улыбнулся, что должно было, видимо, означать: а ты, оказывается, догадливый!

Голубев отвернулся, заметив и поняв эту улыбку.

— Хорошо, — сказал он. — Бери, что хочешь. Мы с матерью давно уже подумывали уехать отсюда ко мне, в Херсон. Она все надеялась, что ты... Не бойся, дом продадим — тебе половина... Только одна просьба: найди время, сходи к матери.

— А зачем просить? Конечно, схожу. Тут я за границу еду ненадолго, вернусь и схожу.

Он говорил, а сам думал: как все хорошо получилось! И не поссорились, даже не поспорили, он сам предложил насчет вещей и дома, — впрочем, так ли уж сам? Тоже, наверно, понимает, что со мной лучше не связываться. Нет, просто здорово получилось, отлично получилось, лучше некуда!

Коптюгов уехал на десять дней, а это значило, что на плавильном участке надо перекраивать график и ставить на печи других плавильщиков — на полсмены. Правда, Коптюгов, придя перед отъездом к Ильину попрощаться, сказал, что на печь вполне можно поставить Будиловского — парень подготовленный, уже кончил трехмесячные курсы и вполне тянет на третий разряд, да и он, Коптюгов, с ним хорошо поработал, ну а что не успел пройти комиссию — это ведь так, формальность... Но Ильин все-таки не решился поставить Будиловского. В эти последние недели года на «десятках» варили слишком дорогую сталь, чтобы он мог рисковать. Одно дело профессионализм, другое — самодеятельность.

Коптюгова проводили всей бригадой, конечно и советы были — не подкачать, высоко держать рабочую марку, побороться как следует за мир, но помнить, что Финляндия, хотя и дружественная, но все-таки капиталистическая, и люди там разные. Сразу с вокзала Будиловский поехал в редакцию областной газеты, и наутро там была опубликована информация об отъезде большегородской делегации. Среди других был назван и Коптюгов...

Никаких особых трудностей, конечно, с его отъездом в цехе не возникло. Всегда было так, что кто-то из сталеваров уходил в отпуск, или заболел, или отпрашивался на несколько дней за свой счет по каким-либо серьезным обстоятельствам, — его тут же подменяли на полсмены другие — обычное дело. Тем более что плано-распределительное бюро просчитало и выдало Ильину «объективку» — план будет выполнен уже 27 декабря по всем показателям, так что прибыль составит тысяч на двести тридцать больше, чем планировалась. С этой «объективкой» он и пошел на «малый хурал» — так назывались не-

дельные совещания у главного инженера, — сидел и слушал, как Заостровцев своим скрипучим голосом пилил других начальников цехов. Когда дошла очередь до него, Ильин коротко доложил о делах в цехе (это делалось для других начальников цехов, потому что Заостровцев знал положение в литейном не хуже Ильина), и, когда он сел, Заостровцев проскрипел уже с заметной доброжелательностью:

— На моей памяти это впервые. Спасибо.

Сидевший напротив Ильина замдиректора по производству Кузин поднял голову, тонкие светлые волосики-проволочки по бокам лысины вспыхнули, как нимб вокруг святого чела, и он, быстро написав что-то, протянул записку Ильину: «Снова поздравляю! Кстати, сам тоже очень доволен». Ильин спрятал записку в карман. «Сам» — так здесь обычно называли Силина, и это слово раздражало Ильина. Но вот Силина нет, а подхалимское словечко осталось. Ах Кузин, Кузин! Зачем он написал мне это? Ильин помнил, как здесь же несколько месяцев назад с ним разговаривал Кузин. Совсем другой был человек, и разговор был другой!..

— Вопросы? Претензии? — донесся до него голос Заостровцева. Этими словами обычно кончались совещания у главного. Те, у кого были вопросы или претензии, оставались, остальные уходили. Ильин встал, у него не было вопросов.

В «предбаннике», где сидела секретарша, его ждал Шток и, едва войдя в кабинет, выпалил: двое сталеваров свалились с гриппом, что делать? Ильин никогда не был суеврным, но тут даже выругался: Заостровцев и Кузин словно сглазили! По городу действительно уже начал гулять грипп, и неделю назад Ильин попросил цехком организовать в цехе профилактику. Все чего-то нюхали, глотали какие-то таблетки, но попробуй уберечь людей в таком цехе, где спереди по тебе пышет жаром, а сзади обдувает декабрьской стужей. И Коптюгов уехал совсем некстати. Значит, из девяти сталеваров осталось шесть. Положим, на «сороковку» можно поставить первого подручного — рабочий опытный и комиссию уже прошел, а на «десятки»?

— Придется все-таки Будиловского, — сказал Шток. — Я берусь по-быстрому собрать комиссию, дадим парню переводку. Ну а там мастер присмотрит, да и я...

— Ладно, — согласился Ильин. — Другого-то выхода все равно нет. Собирай комиссию. Иначе не разрешу.

— Ты только не беспокойся, — торопливо сказал Шток, и Ильин невольно улыбнулся. В этом был весь Марк. Черт его знает, как он ухитрялся чувствовать то, что испытывали другие. А Ильин впрямь был неспокоен сейчас, и так случалось всегда, когда вдруг неожиданно возникали какие-то осложнения, которые трудно, а порой и невозможно было предвидеть. Казалось бы, за многие годы можно было бы привыкнуть ко

всему. Левицкий-то привык, а я вот — никак... Может, именно поэтому он и называл меня неудобным человеком?

Когда Шток ушел, Ильин заставил себя успокоиться. В-первых, действительно другого выхода нет, во-вторых, теперь Шток будет дневать и ночевать в цехе... Года три назад так уже было: грипп валил одного за другим, и Шток не уходил из цеха. Спал он часа по четыре в сутки в партбюро, на кожаном диване, заставлял всех плавильщиков есть чеснок, и в цехе пахло чесноком, как на восточном базаре.

На следующий день во время утреннего обхода Ильин пошел к печам не сразу, и это было сделано умышленно. Смена только-только началась, издали Ильин видел, как Сергей загружает свою печь, — подойду потом, когда Будиловский начнет плавку. Сейчас его сопровождал Малыгин, шел рядом и, кривя по привычке рот, говорил, что вчера вечером он оставил формовщиков на три часа. Ильин слушал и чувствовал, как каждое слово Малыгина раздражает его больше и больше.

— Вы разве не знаете, что формовщики за смену обязаны подготовить все формы на сутки? — перебил он своего заместителя. — Тем более что две печи дают металл в слитки, а не фасон? Почему же вы не уложились в срок?

Он заранее предвидел ответ Малыгина: не была доставлена вовремя земля, смолы или еще что-нибудь, — но Малыгин, глядя в сторону, сказал:

— Юбилей справляли, Сергей Николаевич.

— Какой еще юбилей? — остановился от неожиданности Ильин. — Что же вы молчите?

Оказалось, одному из формачей стукнуло тридцать, и он притащил с собой выпивку и закуску — большой сверток. Это через проходную-то! И с утра незаметно несколько человек успели крепко набраться в честь юбиляра. Малыгин увидел это не сразу...

— Так что ж, будем платить за эти три часа сверхурочных? — резко спросил он. — Почему вы сообщили мне об этом сегодня, а не вчера? Где ваша докладная? Я жду ответа, Малыгин.

— Ответ может быть один, Сергей Николаевич. Я... выпил с ними...

Он поглядел на Ильина с такой отчаянной смелостью, в которой, пожалуй, был даже вызов. Вот почему он не пришел ко мне вчера же, подумал Ильин. Знал, что я учую запах. А сегодня сказал правду потому, что скрыть пьянку уже нельзя. Расчет простой: уж лучше сказать самому, чем ждать, когда доложит начальник смены.

— Ну что ж, — сказал Ильин, — вполне демократично. А сейчас вы пойдете в партийное бюро, к Воолу, и то же самое расскажете ему.

— Понятно, — усмехнулся Малыгин уголком рта. — Не хоти-

те сами выговор объявить? Как бы кто не подумал, что сводите старые счета?

Ильин почувствовал, что у него словно петлей перехватило горло.

— Слушайте, вы! — сказал он, задыхаясь от бешенства и уже не сдерживаясь. — Вы что же, думаете выговором отделаться?

Надо уйти, пока не сорвался, подумал он.

Без пальто он вышел на двор под мокрый, липкий снег, который мел с утра и сразу же таял, едва коснувшись асфальта. На дворе было грязно: к зданию цеха пристраивали земледельку, длинную и нескладную, и все вокруг было захламлено строительным мусором. Ильин прошел в здание. Снег сыпал и сюда — крышу еще не закончили, широкие окна не застеклены, и — ни одного рабочего, это в начале-то дня! А как они будут завозить сюда «болтушки», через крышу, что ли? Ильин стоял посреди пустого холодного здания, и мысли его мешались: он как бы одновременно думал о том, что надо идти к начальнику ОКСа и разругаться с ним вдрызг, потому что эту земледельку должны были кончить к Новому году, а пустить к концу января, но здесь еще конь не валялся, и еще о том, пойдет ли Малыгин в партбюро или нет? Эти две мысли, столкнувшись, словно притупили друг друга, и Ильин воспринимал случившееся уже не с такой яростью и остротой, как несколько минут назад. Или это прогулка по холоду, под снегом, успокоила его? Как бы там ни было, я с Малыгиным возиться не буду. Он коммунист, пусть и отвечает перед коммунистами. И к начальнику ОКСа я не пойду. Завтра директорское совещание, вот там и поговорим...

Он вернулся в цех спокойный хотя бы внешне и пошел к печам, здороваясь на ходу и прислушиваясь к ровному гулу, идущему от печей. За годы работы в нем выработалось то подсознательное ощущение, которое можно было бы назвать *чувством цеха*. Звуки, выражения лиц, движения людей — все это, сливаясь, рождало в нем точное определение того, как идет работа. Появившийся из стеклянного «кабинета» Эрпанусьян прокричал ему в ухо:

— Первую «десятку» приняли на ходу, вторую пустили минут пятнадцать назад. «Сороковка» даст плавку через час...

Ильин кивнул. Он смотрел наверх, на площадку, на будку, которую здесь называли *варильней*: там возле пульта сидел Будиловский, а за его спиной стоял Шток и что-то говорил, помогая словам руками. Надо было подняться. Но Ильин не стал подниматься к печам. Его начало знобить. Зря выскочил на улицу без пальто. Или это нервишки разгулялись все-таки? Он перехватил встревоженный взгляд Эрпанусьяна и заставил себя улыбнуться в ответ.

— Зайди ко мне! — крикнул ему Тигран. — У меня там горячий кофе в термосе и сагрипин. Говорят, помогает...

— От чего? — крикнул в ответ Ильин.

— От гриппа, конечно! Идем, не упрямясь, как тот ишак...

Пропустив Ильина вперед, Эрпанусьян закрыл за собой дверь, и сразу наступила тишина — во всяком случае, уже не надо было кричать. Здесь, в кабинете начальников смен, было неуютно и пусто: три стола, три стула и рядом с графиком смен висел интуристовский плакат, приглашающий посетить Болгарию. Ильин поглядел на плакат. Пляж был усыпан коричневыми телами, вддали виднелись красивые дома, впереди синело море.

— У тебя спина и плечи мокрые, — сказал Эрпанусьян, наливая в кружку густой кофе.

— Знаешь, — сказал Ильин, — я никогда не был на Черном море.

— Пей, — сказал Тигран и достал из кармана стекляшку с таблетками. — Что у тебя произошло с Малыгиным? Я видел, как вы разговаривали.

— Когда лучше всего на Черном море? — спросил Ильин.

— Всегда, — сказал Тигран. — Проглоти таблетку. Ты что, упал, да? Без пальто на улицу...

Ильин хлебнул горького крепкого кофе — такой умел готовить только Тигран, — и вдруг почувствовал, как устал. Устал до чертиков, до изнеможения, до того предела, когда, кажется, все на свете хочется послать подальше и оказаться вон там, на желтом песке, под этим невысказанно голубым, даже не голубым, а синим небом, ворваться в волну, поплыть, лечь на спину и снова глядеть в небо... Но сначала спать сутки кряду, чтоб не грохотали грузовики за окнами, не звонил телефон, не гремел будильник, не гудел за дверью лифт и наверху не гавкала бы посреди ночи соседская болонка с дурацким именем Жамэ, то есть «никогда» по-французски.

Ильин пил кофе, глядел на плакат и думал, сколько бы он отдал, чтобы отдохнуть сейчас. Два с лишним года без отпуска, что ни говори, многовато.

Тигран положил свою руку на его.

— Зачем тебе Черное море? — негромко спросил он. — Тебе совсем другое нужно, по-моему.

— Спасибо за кофе, — сказал, поднимаясь, Ильин. — Пойдем, Тигран. Там у Штока мальчишка на второй, как бы не напорол...

Будиловский не напорол.

Сдав печь второй смене, он стоял в раздевалке счастливый и растерянный, а его хлопали по плечам, жали руку, говорили какие-то, по большей части шутливые, слова, вроде того, что вот сейчас уже и жениться имеешь полное право, — потом он так и не мог вспомнить, что именно говорили ему в тот день. Ему самому еще трудно было поверить в то, что он *смог*, что он *сделал*, что перешагнул в своей жизни через новый порог, за которым были уже как бы другая жизнь и другой Будиловский,

похожий и все-таки в чем-то отличный от Будиловского, жившего вчера. Это ощущение самого себя в новом качестве было и странным, и радостным, и в то же время немного тревожным. Он не сразу догадался, почему тревожным, и лишь после понял, что ему, Будиловскому, уже трудно будет уйти отсюда, как он хотел еще недавно, к другой работе.

Пожалуй, то, что он сделал сегодня, воспринималось им куда острее и радостнее, чем первая его корреспонденция, напечатанная в областной комсомольской газете, когда он долго стоял у газетного щита, любуясь *напечатанной* подписью: «Ал. Будилковский». На тех двадцати семи тоннах стали, которые унес ковш и которые уже остывали в изложницах, его имя обозначено не будет, но впервые с такой отчетливостью он ощущал именно вещь сделанного им самим.

Сергей потащил его и Генку Усвятцева к себе: дома нормальный обед, родичи придут поздно, сгоняем в шахматки, по телевизору — хоккей. Генка отказался и, подмигивая, сказал, что у него сегодня дела, а именно: после хоккея зайдет с динамовскими ребятами Сашка Мальцев, сами понимаете, надо устроить приемчик на высшем уровне...

Когда они вышли, Сергей спросил Будиловского:

— Как ты думаешь, он врет, что знаком со всеми знаменитостями? Сашка Мальцев, Женька Евтух, Аллочка Пугачева..

— Что? — не расслышал Будилковский, и Сергей, засмеялся, поняв:

— Да ты сейчас как глухарь на току! А ну, до остановки бегом!

Они втиснулись в автобус, кто-то недовольно сказал: «Молодые люди, вам бы турбины вертеть», — Сергей извинился, а Будилковский не расслышал и этого. Лишь подходя к дому, где жил Сергей, он спохватился: может, неудобно? Но Сергей потащил его за руку и посторонился, пропуская в лифт:

— Прощу вас, шеф! Я только после вас.

20

Хотя эту неделю бригада работала в ночную смену, Коптюгов пришел на завод утром и сразу свернул вправо, к турбокорпусу.

Домой, в Большой город, он вернулся полтора часа назад, его никто не встречал, и, остановив левака, с вокзала он приехал в общежитие. Дверь в комнату была закрыта, пришлось стучать, и, когда заспанный Будилковский открыл ему, Коптюгов сказал:

— Ну и здоров ты дрыхнуть, рабочий класс! Где почетный караул, где оркестр? Помираю — есть хочу! Жертвую к твоей колбасе бутылку «Синебрюхов и сыновья». Пиво, конечно, похуже нашего, но зато экзотика.

Он был оживлен, весел, даже непривычно шумлив. Вытаскивал из чемодана вещи, достал красивую шариковую ручку и блокнот, на обложке которого был изображен бегущий олень, и протянул Будиловскому: это тебе, такой ручкой только «Войну и мир» писать! И лишь после завтрака спросил:

— Ну, как дела-то?

Будиловский ответил коротко: все в порядке. Пусть сам узнает, что его на печи заменял я. Будиловский не мог отказать себе в таком удовольствии. Впрочем, Коптюгов тут же, уже спокойно и деловито, сказал, что он уйдет с утра на завод — надо узнать, когда будет ордер на квартиру, и сделать еще кое-какие дела, — а его он просит смотаться к Голубеву... ну, к отчиму... узнать, дома ли мать, а если нет, взять адрес больницы, где она лежит. «Не в службу, а в дружбу», — добавил он.

— Конечно, съезжу, — сказал Будиловский.

— И вот еще что, Сашка, — так же деловито продолжал Коптюгов, — я тебе расскажу про поездку, кой-какие материалы у меня есть, а ты уж сочини за меня статью. Понимаешь, надо! Одно дело, когда какой-нибудь ректор института напишет, а другое — рабочий класс. Усек?

Будиловский кивнул. Конечно, он поможет. Особой радости от этой просьбы он не испытывал, но и отказать Коптюгову, сказать ему: попробуй написать сам — не мог. В нем жила прочная благодарность этому человеку, который помог ему в трудные времена, да и потом помогал и учил, и не ответить на это было бы черт знает каким свинством.

— Ну, досматривай свои сны, — сказал Коптюгов, рассовывая по карманам какие-то сверточки. — Я не знаю, когда вернусь. Но за адресом ты сегодня же смотайся все-таки. Я бы и сам съездил, да не хочу разговаривать с материнным полковничком.

Сейчас он быстро шел к турбокорпусу и думал, что скажет Нине. Он и хотел, и опасался встречи с ней. То, что он сразу же пойдет к ней, это было решено давно, еще там, в Хельсинки, когда в маленьком магазинчике где-то возле Александр-плац он, непривычно поторговавшись (гид предупредил, что у них можно торговаться), купил недорогой кулон. Примет ли подарок Нина? Или сейчас он увидит счастливую, наконец-тождавшуюся своего мужа женщину, которая мягко скажет ему что-нибудь вроде: «Давайте, Костя, считать, что мы с вами просто добрые знакомые».

Вход в новый, лет пять назад построенный цех напоминал, скорее, вход в дом культуры или кинотеатр. Коптюгов толкнул стеклянную дверь, прошел через просторный уставленный кадрами с растениями и причудливыми корнями вестибюль. Нину он увидел сразу, издали и с удивлением отметил, что сердце у него на какую-то секунду замерло.

Нина работала. Стоя в широких дверях цеха, Коптюгов смотрел, как она, поднявшись к длинному станку, измеряла

сверкающий, только что обработанный ротор и что-то говорила двум парням — очевидно, спорила, и не заметила, как пошел Коптюгов.

— Нина, можно вас на минутку?

Она обернулась, взгляд у нее был чужой и незнающий, потом кивнула.

— Сейчас. Подождите немного, Костя.

Коптюгов отошел в сторону и подумал, что она не обрадовалась, даже не улыбнулась, ее не удивило, что я пришел. Он терпеливо ждал, пока Нина объяснится с токарями, — кажется, объяснилась, и вот идет, на ходу поправляя волосы, тоненькая, еще более стройная в этих брюках и обтягивающем свитере.

— Из дальних странствий возвратись? — спросила она, протягивая руку и улыбаясь. — А я, честно говоря, огорчилась: вы уехали, даже не попрощавшись.

— Вы же знаете, почему...

Нина спокойно поглядела на него, и Коптюгова поразило это спокойствие.

— Нет, — сказала Нина, — не знаю. Я в тот же день переехала к... одной знакомой и сейчас живу у нее.

— Значит, я дурак, — сказал Коптюгов. Он чувствовал, как в нем словно бы поднимается теплая волна. — Я боялся прийти сюда и увидеть ваши счастливые глаза. И все время думал о вас... Вот...

Он достал небольшой сверток, протянул Нине и только потом сообразил, как это нелепо. Не мог подождать, к тому же словно доказываю, что думал. Но, казалось, Нина отнеслась к этому также спокойно, взяла сверток, достала кулон и улыбнулась.

— Спасибо, Костя. Только зачем?

— Так надо, Нина. Плохо только то, что всю эту неделю я работаю в ночь, даже поговорить не удастся...

— Это не плохо, а хорошо, — ответила Нина. — Вы извините меня... Мне сейчас очень трудно разговаривать...

— Понимаю, — кивнул Коптюгов.

— Спасибо, Костя, и... мне пора.

Он ушел. Та теплая волна все не оставляла, все накатывала, будто несла его. Предчувствие многих уже близких удач становилось острее, и нетерпение росло. Сейчас он шел в завком, ничуть не беспокоясь, что там вдруг ему скажут: «Подождите еще немного», — что ж, совсем немного осталось ждать новую квартиру, но главное сделано — вот она, полоса удач, и теперь надо сделать все, чтобы не выйти из нее...

Мать была еще в больнице. Будилковский дал Коптюгову адрес, и он, захватив кулек с апельсинами, поехал к ней. Хорошенькая медсестричка сама провела его в палату, и мать резко

поднялась; когда он вошел туда в этом тесном, нелепом белом халатике с рукавами до локтей.

— Господи, Костенька!

— Лежи, лежи, тебе нельзя так...

Он поцеловал мать, сел рядом с кроватью, она держала его руку своими, и он поразился тому, что ее руки стали похожими на птичьи лапки. С соседних кроватей на них глядели, улыбаясь: «Ну, вот и пришел ваш сыночек, а вы переживали...»

— А как не переживать? — сказала она. — Вы же читали в газете, что он за границу уехал...

Это было сказано не для него, а для них, — с гордостью и даже какой-то долей хвастовства, не слишком заметного, но простительного. Коптюгов улыбнулся. Ему было самому приятно, что даже здесь знали о его поездке. И хорошенькая медсестричка стояла за его спиной, не уходила, — тоже приятно...

— Ну, как ты? Что-то ты залежалась, мать.

— Ничего, Костенька... Я хожу, гуляю. Погода, правда, худая, не для сердечников.

— Может, в санаторий тебе? Я поговорю у нас, попробую достать путевку.

Он говорил и видел, что мать волнуется, мучительно пытается догадаться, что случилось, почему он пришел и не переменится ли теперь вся их жизнь, если он появился такой ласковый и непохожий на того, который приходил туда, домой. Ей надо было казаться радостной, хотя первая, естественная радость уже схлынула, уступив место растерянности и непониманию. Все это Коптюгов видел отлично и глядел на мать с неожиданной для самого себя жалостью. Ведь все могло быть иначе, если бы не этот Голубев, чужой человек, появление которого в доме он так и не мог простить матери, даже сейчас, через столько лет.

— Ты узнай, куда тебе лучше всего поехать.

— Лучше всего домой, Костенька. А у тебя и своих забот хватает.

Она все держала, все не отпускала его руку. И эти слова о том, что ему хватает своих забот, были тоже сказаны не для него, а для соседок по палате, и еще для хорошенькой медсестрички.

— Хватает, — согласился он. — Конец года, сама понимаешь... Вот, квартиру получил, на днях переберусь...

— Получил? — переспросила она, снова заволновавшись и пытаясь сесть. — А я здесь лежу...

— Ничего, мать, — успокаивающе сказал Коптюгов. — Обойдемся на новоселье без твоего пирога.

— А деньги-то у тебя есть? — тихо спросила она. — Все-таки такие расходы...

— Есть, есть. Я кое-что из дому хочу взять. Ты не против?

— Да что ты, Костенька! Конечно, бери.

Он понял, что Голубев ни слова не сказал матери о том разговоре.

— Конечно, бери, — повторила она, отворачиваясь. — Много ли нам теперь нужно? Ты меня прости, но... может, мы вообще уедем отсюда. В Херсон. И климат для меня там лучше, и удобства все...

— Ну, ну, ну, — сказал Коптюгов, похлопывая мать по руке. — Распустила слезки! Это что, тебе *он* предложил?

— Да, — шепнула мать.

— Возможно, он и прав, — сказал Коптюгов. — Хватит вам на огороде надрываться.

Они надолго замолчали, будто было сказано уже все. Сестричка ушла. Соседки занялись своими делами и уже не прислушивались к их разговору.

— Наверно, женишься теперь? — спросила мать.

— Возможно.

Снова молчанье.

— Расскажи мне что-нибудь, — попросила она.

— В газете все прочитаешь, — улыбнулся Коптюгов. — Рассказчик из меня никакой.

— А *она* кто, Костенька?

Мать глядела на него с такой отчаянной тоской, с таким ожиданием откровенности, что Коптюгов невольно отвернулся.

— Еще ничего не известно, мама, — сказал он. — Все очень сложно. Мне пора идти. Сегодня работаю в ночь, надо отдохнуть пару часов. Я забегу к тебе на днях.

Потянувшись всем худеньким телом, такая незнакомая и жалкая в этой белой больничной рубашке, завязанной тесемочками, мать погладила его по голове и снова сказала — громко, не для него, а для всех:

— Что у тебя за волосы! Сколько гребенок об них изломала... Ну, иди, иди, Костенька, тебе отдохнуть надо...

В коридоре он столкнулся с той сестричкой и пожалел, что у него нет с собой шоколадки. Сестричка глядела на него снизу вверх и млела.

— Слушай, куколка, — сказал ей Коптюгов, — ты смотри, чтоб через месяц мать у меня бегом бегала! Иначе не женюсь на тебе, понятно?

«Ничего! — усмехнулся он, спускаясь по лестнице. — Шоколадка будет в другой раз. А пока эта куколка сама вокруг матери бегом будет бегать...»

На новоселье Коптюгов, кроме своей бригады, пригласил Ильина, Воола, Штока, Чиркина, но Ильин отказался сразу, сославшись на дела. Ему не хотелось идти: в этом приглашении, быть может, совершенно искреннем, ему вдруг почудилась какая-то неловкость, какое-то глубоко скрытое подхалимство.

Ощущение было мгновенным, пожалуй, подсознательным, и Коптюгов заметно огорчился, когда Ильин сказал, что ему некогда и что хватит одного представителя фамилии.

Накануне вся бригада провела, как сказал Генка Усвятцев, операцию «Переезд». Точно к назначенному времени трое пришли к домику на окраине, через несколько минут подъехало грузотакси, ребята быстро погрузили мебель, картонные коробки, какие-то тюки, и, уходя, Коптюгов закрыл дверь на ключ, а ключ положил под резиновый коврик на крыльце. Сергей, который оказался здесь впервые, сказал:

— Ну ты и чудак! Такой дом, а ты в общезжитии мыкался...

— Организм, замри! — весело ответил Коптюгов. — Это похоже на критику начальства, а начальство не любит критики.

Час сбора гостей Коптюгову пришлось перенести: на это время было назначено партийное собрание. О пьянке на формовочном участке, в которой принял участие заместитель начальника цеха Мальгин, знали все, и знали, что на бюро это дело уже разбиралось и что Мальгину вынесен строгий выговор с занесением в учетную карточку. К этому относились по-разному. Одни полагали, что бюро загнуло слишком уж круто, — первый случай, можно было бы и помягче, другие, до которых дошел слух, что Ильин на бюро требовал вообще исключить Мальгина из партии, осуждали Ильина: никогда он таким не был, а как стал начальником цеха, пошел крутить вроде Силина. Да, конечно, дисциплина нужна, но ведь младенцу ясно, что Ильин сводит счеты с Мальгиным, — говорилось и такое... На заседании бюро присутствовал Нечаев, и это тоже истолковывалось по-разному: одни полагали — из-за того, что все-таки было чепе, другие — что друзья Мальгина, и в первую очередь замдиректора Кузин, попросили его «не дать Мальгина в обиду». Но Нечаев не сказал на бюро ни слова. Тоже непонятно! Партийный руководитель такого завода, а молчал, как будто пришел на представление! В свой черед третьи оправдывали его молчание: секретарь парткома не вмешивался, потому что мы сами можем правильно разобраться во всем, но вот предложение Ильина...

Никто не знал, что поздним вечером Нечаев позвонил Ильину домой, извинился, что беспокоит в такой час, спросил, не занят ли он, и лишь тогда сказал:

— Вы сегодня быстро ушли после бюро, Сергей Николаевич, а я остался... И, знаете, многие не поняли вас. Мне не хочется передавать вам все то, что я услышал, но мнение, в общем-то, было единодушное, и если попробовать определить его одним словом, это слово будет: несправедливость. Ваша несправедливость, Сергей Николаевич.

Нечаев говорил мягко, но сам по себе этот разговор был неприятен Ильину. Да, он потребовал исключить Мальгина из партии, и сейчас считает, что поступил правильно. Мы становимся либералами. Все сводим к нарушению дисциплины,

а это не нарушение дисциплины. Это должностное преступление. И не только должностное, но и нравственное. А если бы пьянка закончилась какой-нибудь трагедией, вроде той, которая случилась в цехе лет семь назад? Не помните? Один пьяный забрался поспать в думкар, а крановщица не заметила его и засыпала горелой землей... Вспомнили? Каждый человек в цехе обязан подчиняться строго определенным правилам, и если мы не добьемся этого...

— Все верно! — сказал Нечаев. — Но есть разные способы добиваться этого, Сергей Николаевич. Скажите по совести, вы исчерпали все, так сказать, убеждающие, а не карающие методы?

— По-моему, это вообще не телефонный разговор. А честно говоря, заниматься воспитательной работой у меня попросту нет времени. Может, с вашей точки зрения это и крамола, но я даже думаю, что у нас слишком много других организаций для этого. Партийная, профсоюзная, комсомольская... А начальников цехов, между прочим, бьют по шапке в основном за план. Так что оставьте мне мое — план, а все остальное я с удовольствием передам другим. К тому же, воспитывать Малыгина, я думаю, бесполезно. Он должен отвечать!

Все это Ильин сказал резко и только потом подумал — не лишней ли была такая резкость? Нет, наверно, не лишней. Нечаев долго молчал, словно обдумывая, что сказал ему Ильин, и, наконец, ответил:

— Жаль, что сегодня мы не поняли друг друга, Сергей Николаевич. Я знаю, что у вас есть идея, как вы, кажется, выразились, «очистить цех». По этому поводу у вас был один спор с секретарем партбюро...

— Да, так и выразился.

— Хотите один дружеский совет, Сергей Николаевич? В цехе вас уважают, это я знаю. Все видят, что работу вы наладили, за производство болеете, впервые цех кончает год не с натянутыми, а прочными показателями. Но не сделайте так, чтобы вас боялись. Тогда, поверьте мне, все пойдет под откос. Незаметно для вас, но пойдет. Хочу, чтобы вы меня поняли и поверили мне...

— Что ж, спасибо за совет, — сдерживая раздражение, сказал Ильин.

Конечно, думал он, этот поздний звонок не случаен. Должно быть, до Нечаева дошли какие-то разговоры: Ильин начал жать, Ильин срывается, Ильин бывает несправедлив... А для Нечаева это больное место, пунктик. На заводе все знали, как ему работалось с бывшим директором еще тогда, когда он был не секретарем парткома, а начальником цеха. Передавали, что Силин как-то раз на каком-то совещании даже сказал, что Нечаев неправильно выбрал себе профессию, — ему в педагогах надо было бы идти, или что-то вроде этого, Ильин уже не помнил точно. Но то, что сегодня сказал ему Нечаев, было, ско-

рее всего, не советом, а предостережением, и Ильин знал, что теперь секретарь парткома не раз будет возвращаться к этому разговору при всяком удобном случае.

Ну хорошо, — думал Ильин, — предположим, что он в чем-то прав. Да, и срываюсь, и жму, и кому-то это, естественно, не по душе, отсюда и ощущение несправедливости начальника цеха, то бишь моей. А с каким бы удовольствием я не срывался и не жал, если бы люди понимали, что от них требуется. Ведь мне тоже была отвратительна силицина. И там, в Москве, случайно встретив Силина, я снова испытал к нему прежнее чувство неприязни именно потому, что хорошо помню его методы.

Утром, войдя в «предбанник», он увидел двоих — Штока и первого подручного с «десятки».

— Вы ко мне?

— Да, — сказал Шток, поднимаясь. — Понимаешь, какое дело...

— Ну, что ты мнешься, как барышня на ганцах? — нетерпеливо спросил Ильин. — Плавку он запорол, что ли?

Ильин поглядел на парня и увидел в его глазах не просто страх, а отчаянье, ужас, когда человеку должно казаться, что все на свете рушится и сейчас ты кончишься тоже.

— Да, — ответил Шток.

Так! — подумал Ильин. Этого первого подручного поставили вместо захворавшего сталевара, а он запорол плавку, и Шток пришел с ним в качестве адвоката, как это бывало и прежде.

— Ты подожди здесь, — сказал он Штоку и кивнул парню на дверь в свой кабинет: — А ты зайди ко мне.

Он поглядел на часы: утренняя смена уже работала около полутора часов, значит, этот парень сидел все это время здесь, ждал меня. Ильин разделся, причесал сбившиеся под шапкой волосы, прошел к своему столу и поглядел на стоящего в дверях подручного.

— Что случилось?

— Плавка... выросла... — еле шевеля губами, ответил он.

Ильин представил себе, как «выросла» плавка. Он видел это не раз: из изложницы, сохраняя ее форму, вдруг начинает сам собой медленно выползать раскаленный остывающий слиток.

— «Выросла»! — усмехнулся Ильин. — А почему она выросла? Хром ты прокалил? Нет. Известь прокалил? Тоже нет, взял сырую. Значит, водорода было до черта, вот она и выросла. Так или не так?

— Так...

— Учишь вас, учишь... — сказал он. — Ладно, иди и попроси зайти Штока.

Парень не вышел, а выскочил, и тут же торопливо вошел Шток, начал что-то объяснять, но Ильин перебил его:

— Погоди, Марк. Я думаю, мы с тобой крупно разругаемся, если ты не перестанешь быть... таким. Ты видел, что делается с этим парнем? Он же сюда, как в клетку к тигру шел, а мне такая слава не нужна. Зато о тебе все будет говорить: ах какой у нас добренький заступник Шток и, если б не он, начальник цеха жрал бы нас и только пуговицы выплевывал! Все! И кончили на этом!

Он хлопнул ладонью по столу, и Шток, растерянно кивнув, выскочил из кабинета. Сейчас придет начальник ночной смены... Ильин сидел, ждал и видел его глаза, полные ужаса. Что-то уж слишком быстро начинает сбываться предупреждение Нечаева, тоскливо подумал он..

В тот день партийное собрание утвердило решение партбюро — Малыгину вынесли строгий с занесением. При голосовании воздержался лишь один человек — Ильин. Так и было занесено в протокол: «единогласно при одном воздержавшемся».

На собрании Ильин безучастно сидел сзади, словно отрешившись от того, что говорили выступавшие. Да, все и всё правильно понимают, правильно говорят, даже Малыгин и тот осудил сам себя! Собрание шло спокойно, и Ильин не сразу понял, что его угнетает именно это спокойствие, оно казалось ему равнодушием, и лишь когда, попросив слово, к маленькой трибуне вышел и начал говорить Коптюгов, он встрепенулся.

Коптюгов говорил резко. Большой, хмурый, с тяжелым подбородком, который, казалось, еще заметнее выдвинулся вперед от злости, с еще непросохшими как следует после душа и все равно торчащими в разные стороны волосами, он походил на глыбу, нависшую над сидящими. До каких пор в цехе будут случаться подобные истории? — спрашивал он. Возьмись с людьми, уговариваем, улещиваем, стыдим, всякие там слова говорим, а надо ли? Вот, вспомнил он, был в их бригаде подручный, любитель выпить, так спасибо начальнику цеха, что убрал его из бригады и перевел рабочим на шихтовой двор. Голос у Коптюгова стал жестким. Попробуй у него в бригаде кто-нибудь выпить! И ходят у него ребята как часы. А почему? Да потому, что знают — я с ними церемоний разводите не буду. И прав начальник цеха, требуя очистить цех, освободиться от людей, не понимающих, что они работают не за одну зарплату.

Но странно: то, что говорил Коптюгов, а главное — как говорил, вдруг неприятно поразило Ильина преувеличенной жесткостью. Ему показалось, что непонятным образом Коптюгов подслушал его собственные мысли (а может быть, и не подслушал, а знал, что было на бюро) и вот сейчас как бы возвращает их, но уже многократно ужесточенными, и при этом и раз, и два жмет на правильность моих поступков, словно беря меня в союзники. Ильин заметил, что, кончив говорить,

Коптюгов быстро поглядел на него, как бы пытаясь догадаться по его лицу, правильно ли он говорил, и это было тоже неприятно Ильину. Когда Воол спросил: «Сергей Николаевич, вы не хотите выступить?» — он ответил, не поднимаясь:

— Нет. Все уже сказано.

— Я думаю, — сказал Воол, — что как раз сегодня коммунисты ждут вашего слова.

Ильин поднялся и пошел к трибуне. Хорошо, он скажет. Раздражение от того спокойствия, с каким проходило собрание, не покидало его, и он не хотел — или не мог — заставить себя успокоиться.

— Мы свели наше собрание к обсуждению поступка Малыгина, — начал он, еще не дойдя до трибуны. — Остальными, так сказать, героями займется профсоюзная и комсомольская организация. А они будут ссылаться на Малыгина: как же, сам заместитель начальника цеха разрешил по стаканчику, да и сам пригубил, не отказался!.. Но ведь вопрос должен был ставиться шире — о дисциплине в цехе вообще. О сроковой, о технологической. О том, что мы можем работать лучше, но почему-то не хотим делать этого...

— Конкретней, — сказал кто-то, Ильин не заметил кто.

— Пожалуйста! Меня не было здесь несколько дней, за это время две отливки ушли с «синяками». Разобрались мы — почему? Нет. Формовщики виноваты? Проще всего сказать так. А почему был выдан брак? Да потому, что на формовочном нарушается технология, лишь бы скорей спихнуть отливки на обрубку. И вот здесь начинается самое главное. Был у меня разговор с нашим секретарем партийного бюро. Я предложил всех нарушителей дисциплины, неважно — какой, приглашать на дисциплинарную комиссию один раз. Пусть дадут расписку в том, что предупреждены. А во второй раз уже не приглашать, во второй раз пусть коллектив решает, нужен в цехе такой человек или нет. И как бы резко ни говорил здесь Коптюгов, как бы это ни покорило некоторых наших добряков, а ведь по сути дела он прав.

— Вы, Сергей Николаевич, что ж, с одними ангелами хотите работать? — спросил Воол.

— Нет, — повернулся к нему Ильин. — Но мы, по счастью, можем выбирать, с кем работать. И если бы в цехе все работали так, как Чиркин, Коптюгов, Шток, еще могу назвать десятки фамилий, мы бы горя не знали. Но вот наш Эдуард Иванович назвал мое предложение слишком жестким. Тогда, товарищи, давайте четко делить наши обязанности. Я уже сказал об этом секретарю парткома Нечаеву. Пусть общественные организации воспитывают, а я буду наказывать. Другого пути, извините, пока не вижу.

Было тихо, когда он шел на свое место, в самый конец красного уголка.

Несколько дней почти беспрерывно валил и валил снег, но уже не таял, а ложился прочно — на всю зиму, и, одетый в белый наряд, город казался праздничным.

То тяжелое впечатление, которое оставило сегодняшнее собрание, особенно выступление Ильина, начало проходить, когда Коптюгов, Шток, Воол и Чиркин подошли к «свечке» и принялись сбивать друг с друга снежные воротники и отряхивать шапки. Лифт еще не работал, пришлось подниматься пешком на седьмой этаж, и Коптюгов запел: «Мне сверху видно все, ты так и знай...»

В новой квартире Коптюгова хозяйничали мужчины, и поэтому все было сделано с мужской неумелостью и холостяцкой небрежностью. Фантазии Усвятцева, который вызвался приготовить стол «как в лучших домах Европы», хватило лишь на то, чтобы разложить возле тарелок открытки с надписями, чье это место, да поставить посреди стола вазочку с тремя тюльпанами. Колбаса была нарезана толщиной с палец, хлеб — как в солдатской столовой, о консервные банки с отогнутыми крышками можно было рассадить руки, и лишь беляши, купленные в соседнем кулинарном магазине, еще как-то скрашивали эту неуютность.

Но за стол сели не сразу — ждали Нину, Лену Чиркину, осматривали квартиру, советовали, где что нужно доделать, курили на кухне и поругивали девушек: удивительная все-таки манера — вечно опаздывать, а есть хочется — спасу нет!

— Ты куда пропал? — спросил Чиркин Усвятцева. — С Ленкой моей поругался, что ли?

— Так времени же нет, — сказал Генка, — сами знаете...

Чиркин хмыкнул и подтолкнул Воола локтем:

— Слышал? Времени у него нет! У нас и то было, когда...

Он не договорил, полагая, что все и так поняли, о чем он хотел сказать. Он не заметил, что Воол никак не поддержал его, наоборот, сразу перевел разговор на хозяйские дела: вот кухню-то надо бы оклеить плиткой, сейчас продается пластмассовая, очень хорошо будет, если оклеить... В ванную такая не годится, в ванную керамическую надо, и ставить на цемент, а не на клей... Воол боялся и не хотел, чтобы Чиркин хотя бы заподозрил какие-то нелады между Усвятцевым и Леной. Он знал все, что произошло: Татьяна Николаевна не выдержала и рассказала ему (под честное слово, что дальше это не пойдет, разумеется!) о Лене и Генке, и, хотя Воол пытался тоже поговорить с Леной, ничего не вышло и у него. Из больницы Лена вернулась измученная, желтая, замкнувшаяся в себе. Поехать куда-нибудь отдохнуть она отказалась. «Получается, что я от своей вины сбегаяю», — сказала она, и Воол понял, что именно она имела в виду: ту плавку... Конечно, неприятности у нее были серьезные, приказ по заводу тоже был, и перенесла она это трудно, однако Воол поражался, с каким внешним спокой-

ствии она держалась. И знал, почему она так держится: из-за отца, лишь бы он был спокоен, лишь бы он не волновался... Но та враждебность, которую испытывала к Генке Татьяна Николаевна, невольно передалась Воолу: ведь что ни говори, а Ленка для него тоже вроде дочка, выросла, можно сказать, у него на руках, и он не мог оправдать Генку. Сам бездетный, он не хотел понять того, как можно отказаться от такого счастья, как отцовство, и за этим отказом ему ясно виделась скрытая до сих пор от других сущность этого человека, в общем-то мелкая и эгоистичная, замкнутая на своих маленьких прихотях, легковесная и бездумная, а главное — безответственная. Больше всего, конечно, ему было жалко Ленку. Известная поговорка о том, что любовь зла — полюбишь и козла, никак не утешала его и не объясняла, что же Ленка могла найти в этом парне. Широкие плечи, спортивная походка, да еще заученные шуточки-прибауточки — остроловие, одолженное у кого-то на всякие случаи жизни, — не маловато ли? Но похоже, что они не расстались. Просто Генка перестал ходить к Чиркиным. А Татьяна Николаевна отказалась сегодня прийти сюда на новоселье, хотя Коптюгов передал приглашение и ей.

Лена пришла первой. Из кухни Воол видел, как Сергей Ильин открыл ей, помог снять пальто и вышел с ним на лестничную площадку — стряхнуть остатки снега. Совсем другой парень, подумал Воол. А Генка даже не вышел в прихожую. Даже то, что Генка в пестреньком переднике и поварской шапочке хозяйничал у стола, — даже это раздражало сейчас Воола.

— Дочка пришла, — сказал он Чиркину. — Кажется, скоро будут кормить.

А сам глядел туда, в прихожую.

Он видел, как торопливо Сергей вынес из комнаты стул и Лена села, чтобы снять сапожки. Сергей нагнулся помочь, и Лена сказала: «Ну что ты, я сама. Только достань, пожалуйста, туфли из сумки». Он достал туфли и стоял, держа их перед собой, пока Лена снимала сапожки. У нее высоко поднималась юбка, и Сергей смущенно отводил глаза, — это тоже видел Воол. Странно, подумал он, я ни разу не разговаривал с этим парнем, с Сергеем Ильиным...

Почти сразу же за Леной пришла Нина. Ее встретил уже Коптюгов, помог раздеться, повел знакомиться. Теперь можно было и за стол. Генка рассаживал гостей по местам («согласно купленным билетам»), вытащил с балкона три бутылки шампанского («пейте советское шампанское!»), играл полового из трактира («может-с, водочки-с для начала-с изволите откушать-с?») — и все улыбались, только Воола все больше и больше раздражала эта нарочитая веселость. Пожалуй, не надо было приходить. Чиркин уговорил, старый хрыч. «Неудобно, все-таки праздник у рабочего человека».

Видимо, Коптюгов заметил, что с Воолом происходит что-то не то, и спросил его:

— Может, начнете, Эдуард Иванович?

— По должности, что ли? Я сегодня уже отработал.

— Ну, все-таки...

— Вот пускай твой соперник начинает, — сказал Воол, кивнув на Чиркина. — Не робей, старый! Громыхни!

Все засмеялись, потому что это слово — «громыхни» — никак не подходило к Чиркину. Он встал, приглаживая ладонью редкие седые волосы на виске, и лицо у него стало по-детски растерянным и позтому трогательным, будто ребенка подняли при гостях на стул и попросили прочитать стишок, а он забыл...

— А чего особенного говорить? — мягко сказал он. — Пусть все будет хорошо в этом доме. Чтоб докторов сюда не вызывали... Чтоб покой был, мир да любовь... Вот за это, наверно. Ну а про соперника — что ж? Какой он мне соперник? Я скоро на пенсию, а ему еще варить да варить... Честно говоря, он это не хуже меня умеет.

— Если еще шихта подходящая, — вдруг сказал Сергей, и все поглядели на него, так и не поняв, что же он хотел сказать. Но все-таки Воол успел перехватить короткий и злой взгляд Коптюгова, брошенный на Сергея. Это была секунда, тут же Коптюгов отвернулся и сказал:

— Принято единогласно. За мир, покой и любовь!

Через полчаса Шток заторопился домой, сказав, что у него нездорова мать. Но Коптюгов не захотел отпустить его без тоста, потребовал, чтобы все налили себе, встал и сказал, обращаясь к одному Штоку:

— Считайте, что сегодня здесь и ваше новоселье, Марк Борисович. Потому что, если б не вы, я, наверно, еще год жил бы в своей общаге и слушал храп Саши Будиловского. Так что знайте и помните — век не забуду и мой дом — ваш дом.

— Ну что ты, — смущенно забормотал Шток, — я-то здесь при чем?

Коптюгов предложил выпить за Штока. Стоя, только стоя! За таких людей положено пить стоя! Сейчас Шток был чем-то похож на Чиркина — этой детской растерянностью и расстроганностью и этим отнекиванием. Когда он ушел, пунцовый от смущения, Лена спросила сидящего рядом с ней Воола:

— А почему он был без жены?

— Он не женат, — коротко ответил Воол. Ему не хотелось говорить об этом подробно. Когда-то Шток был женат, и Воол даже знал его бывшую жену. Но случилось так, что та женщина, которая во время войны спасла Штока от гитлеровцев, осталась одна — уже старая и больная, и Шток перевез ее сюда, к себе. Жена воспротивилась, заявила: «Или я, или она!» — и Шток, добрый Шток, отрезал: «Она». Потом-то его жена не раз приходила на завод в партбюро, плакала и жаловалась, но

Воол сказал ей: «Знаете, что, голубушка, я бы поступил точно так же. Вы теперь хоть в Совет Министров жалуйтесь, хоть в ЦК — пустое дело, уверяю вас...»

Это вспомнилось ему быстро и как бы само собой.

Теперь он сидел, молчал, слушал и по привычке пытался разобраться в тех, кого он почти не знал, старался определить их отношения между собой, пожалуй подсознательно возвращался к непоэтичным словам Сергея о «подходящей» шихте («К чему это было сказано?») и тому быстрому злomu взгляду Коптюгова...

...Ну, Генка — тот-то ясен, о нем Воол не думал и словно не замечал его. Саша Будилковский — тонкое лицо, такие лица принято называть нервными, умные глаза, неразговорчив и чувствует себя здесь неловко, мало пьет, мало ест, словно пришел сюда по какой-то неприятной обязанности. Скоро, должно быть, он уйдет из бригады: комиссино прошел, получил третий разряд, а ведь я грешным делом думал — случайный человек, в газете печатается, на кой ему черт эта тяжеленная работа у печи? Значит, ошибся.

Нина — до чего же красивая девушка, рослая, под стать Коптюгову, блондинка с темными печальными глазами — конечно, Коптюгов женится на ней. Татьяна Николаевич быстренько сообразил это, сказав в своем тосте про любовь. Воола удивило, что Коптюгов и эта красивая девушка были на «вы»: «Вам положить еще салата?» — «Спасибо. А откуда у вас эти старинные тарелки?» Потом Воол услышал обрывки их другого разговора:

— Знаете, Костя, чего здесь у вас не хватает?

— Знаю.

Нина качнула головой.

— Нет. Вы рассказывали мне о своем отце...

— А, портрет! — протянул Коптюгов. — Я еще не успел его перевезти.

Он и Чиркин сидели на диване, стол сдвинули к ним, две пары пытались танцевать в тесноте этой комнаты. И снова Воол видел, как смотрит Сергей на танцующую с Генкой Лену. Он вспомнил те разложенные по полу фотографии, которые ему принесли из комсомольского бюро посмотреть, что лучше отобрать для стенда. Снимок, на котором друг против друга стояли Сергей и Лена, он отложил в сторону сразу. Хотя подпись была: «Подручный С. Ильин принес пробу в лабораторию», он решил, что после той истории, когда Ленка попала в заводской приказ, незачем ее на стенд. Да и Сергею Ильину рановато вроде бы — работает недавно, к тому же сын начальника цеха...

Значит, ему нравится Ленка!

— Не пора ли нам, а? — тихо спросил Чиркин. — Пойдем посидим у нас, чайку пошьем... Чего им мешать?

— Интересно, — так же тихо ответил Воол.

— Чего тебе интересно? — недовольно спросил, покосившись на него, Чиркин. — Девушка интересная? Так не про тебя, старый гриб. Пойдем прогуляемся, воздухом подышим... Ей-богу, на нас не обидятся.

Ничего не замечает! — подумал Воол. Ни того, как, танцуя, прячет от Генки лицо Лена, ни того, как глядит на нее Сергей, ни того, как забился в угол молчаливый Будиловский, ни того, что Коптюгову как раз больше всего хочется, чтоб все мы ушли, кроме этой Нины. Ладно, пойдем. Он поднялся первым. Коптюгов пытался было уговорить их остаться или хотя бы выпить по посощку на дорожку, — Воол похлопал его по плечу:

— Сами, смотрите, поаккуратней с посощками-то. А нам и вовсе ни к чему. Ну, живи хорошо, сталевар!

Ленка сказала отцу, что придет позже.

Они вышли на улицу под густой, медленный, торжественный снегопад, и Воол поднял лицо к небу, подставляя его снежинкам. Чиркин взял его под руку.

— Чего стоишь? Идем.

— Ты ничего не понимаешь, — сказал Воол. — Или ты еще очень молодой. Только в молодости не замечают, как все это здорово! Все! Снег, рассвет, закат, вода, дождь... Один французский художник сказал, что можно увидеть лужу и не заметить, что в ней отражаются звезды. Унылый же ты человек, Татьян Николаевич!

Чиркин тоже поднял голову и жмурился, когда снежинки попадали ему в глаза.

— Да нет, конечно, красиво, — словно извиняясь за что-то, сказал он.

— Красиво! — передразнил его Воол. — Это, брат ты мой, не просто красиво. Вышел — и сразу другое настроение!

— А там у тебя плохое было, что ли?

— Разное, — сказал Воол. — Ты же знаешь, что я не люблю чего-то не понимать до конца.

Они шли по белой улице между людей в белых пальто и шапках, их обгоняли белые машины, а снег все падал и падал. Там, в непроглядной вышине, рождался и, будто живые существа, слетали на землю мириады снежинок. Воолу не хотелось заводить сейчас какой бы то ни было серьезный разговор, а просто идти так, как они шли, по этому белому празднику. Но Чиркин все-таки спросил:

— Чего же ты не понимаешь? Опять Коптюгова? Я ж тебе говорил — стареем. А они молодые, у них многое по-другому, чем было у нас...

Такие разговоры о прошлом и нынешнем, об их поколении и о том, которое шло следом, случались и прежде, но всякий раз Чиркин не то чтобы не соглашался с Воолом, а просто считал, что прошлое иной раз кажется ему лучше, хотя и жилось им куда труднее, и работать приходилось больше, и, уж конечно, шампанское на своих новосельях они не пили.

— Я не о том, — сказал Воол. — Пусть у них многое по-другому, так оно и должно быть! Другой вопрос — лучше это многое или хуже нашего?

— Опять двадцать пять! — засмеялся Чиркин. — Ну, чего ты сам себя терзаешь? Я вот посидел, водочки за хорошего человека выпил, порадовался, что девчонка у него такая и квартира теперь есть, а ты...

Он даже рукой махнул — впрочем, добродушно и как бы успокаивающе, дескать, бросай ты эту свою тяготину: наше — не наше! А они сами-то чьи? Не наши, что ли? Ленка моя или Сережка Ильин — еще его отец у меня подручным был лет двадцать с лишним назад. А Коптюгов? Работяга дай бог какой, у него на любую плавку нюх особый, что ли, и Сашке Будиловскому помог в сталевары выйти, и по общественной линии тоже... Читал в газете его статью? То-то же, что читал! По-нашему, по-рабочему рассуждает! Иной поедет за границу и ничего кроме магазинов не увидит. А этот увидел! Помнишь, как ему судостроители говорили: спасибо Советскому Союзу, что заказы дает, а то сидеть бы нам без работы. И про квартирную плату тоже: гони за жилье четверть заработка, потому что оно там не то, что у нас, а частная собственность... Ну, о Генке говорить нечего, как-никак будущий зять, а если и есть у него какие завихрения — пройдет...

— Все сказал? — спросил его Воол.

— Вроде все.

— Слушай, — сказал Воол, — а ты Петухова помнишь? Ну, который на второй печи работал?

— Как же! — ответил Чиркин, не понимая, почему вдруг Эдуард Иванович свернул на этого Петухова, который давным-давно ушел на пенсию и вроде бы даже перебрался из города к родне в деревню. — Тоже работяга был первый класс! Кому угодно не стыдно было у него поучиться. Замминистра приезжал — обязательно в цех шел с ним поговорить.

— Да, — кивнул Воол. — Просто не знал того, что мы про него знали. А когда ушел на пенсию, помнишь, как рабочее собрание решило? Постоянного пропуска в завод не давать и на юбилейный вечер не скидываться. Вот тебе и работяга первый класс!

— С чего это ты вспомнул его?

— Да так... Шершавая была у него душа. А начальство будто бы не замечало: работает расчудесно, замминистра с ним на «вы» и ручку жмет, водку не пьет, жену не колотит — чего же еще надо? Вот тебе орден, вот тебе второй, вот тебе слава и все прочее — хоть на выставку! А жил человек только для себя одного. Трешку до полочки не одолжит... Да что трешку! Соседка ночью постучалась — у мужа с сердцем плохо, чтоб позвонил, вызвал «скорую», а он...

— Я помню, — кивнул Чиркин. — Только чего ты мне сегодня настроение портишь?

— Я тебя размышлять заставляю, — сказал Воол. — Ну хоть убей меня на этом месте — не по душе мне Коптюгов! Зря только пошел к нему — думал, ошибаюсь, поближе присмотреться захотел, а сейчас сам себя ругаю. Ты не заметил, как он выступал сегодня на партийном собрании?

— На чужой роток не накинешь платок. Он по своим убеждениям говорил. К тому же у нас партийная демократия.

— Спасибо, что напомнил, — усмехнулся Воол. — Только вот насчет этих *своих* убеждений я как раз и сомневаюсь. Еще Владимир Ильич говорил, что у иных людей очень часто убеждения сидят не глубже, чем на кончике языка. А я заметил — Коптюгов говорил да на Ильина поглядывал: дескать, как я выступаю? Как тебе надо? Должно быть, прознал, что было у нас накануне на бюро...

Чиркин молчал, замолчал и Воол. То, что он сказал сейчас, было для Чиркина неожиданностью, неприятным открытием, в которое никак не хотелось верить, но приходилось поверить, потому что, припоминая сегодняшнее выступление Коптюгова на собрании, он вспоминал и резкие, покоробившие его слова Ильина на бюро — и действительно выходило, что Коптюгов, опередив начальника цеха, сказал то же самое, а Ильин лишь подтвердил свое согласие с ним.

А может, совпадение? Ну, два человека думают одинаково, вот и все. Внутренне он еще сопротивлялся: Эдуард давно косятся на Коптюгова, хотя и сознается, что вроде бы никаких оснований у него нет...

— Нехорошо, — сказал наконец Чиркин. — Если ты к нему так, зачем было в гости ходить? Отказался бы как-нибудь вежливо...

— Я же тебе говорю, — уже сердито ответил Воол, — объясняю, что, может, ошибаюсь, может, действительно старым дурнем становлюсь...

— Ну, тогда ничего, — примирительно сказал Чиркин.

Они уже почти дошли до своего дома. Им надо было перейти через пустырь, плотно закрытый снегом, в котором уже успели протоптать тропинки и проложить первые нетерпеливые лыжни. Воол шел впереди — тропинка была еще узкой для двоих — и вдруг остановился так резко, что Чиркин наскочил на него.

— Гляди!

Две снежные бабы стояли по обеим сторонам тропинки. Должно быть, ребяташки скатали их днем, и не по правилам: одна была тощей и маленькой, с настоящей морковкой вместо носа и старой очечной оправой на ней, другая — поплотнее и в кепочке, которую ребята подобрали, наверно, где-нибудь на свалке.

— На кого похожа?

— Баба и баба, — сказал Чиркин.

— Нет, ты погляди, погляди! — хохотал Воол. — Это же

наш главный, Заостровцев! А мы сейчас по нему, по волокитчику!

Он нагнулся, слепил снежок, кинул и промахнулся.

— Недолет, — сказал Чиркин. — Тюхтя ты! Смотри!

Он тоже слепил снежок и тоже промахнулся.

— От тюхти слышу!

Теперь они били по снежной бабе, выкрикивая: «Прицел два, беглым, огонь!» — и еще: «По зануде главному, пли!» — и, если снежок попадал, потрясали в воздухе руками, как футболисты, забившие гол.

— А это Ильин! — крикнул Воол, показав на бабу в кепочке, хотя она вовсе не была похожа на Ильина. — Влепим, чтоб не был злым. По Ильину — пли! Еще разик!..

Они были вдвоем среди этого большого занесенного снегом пустыря, их никто не видел, и никто не мешал им орать, швырять снежки в «Заостровцева» и «Ильина». Потом Воол, обернувшись, влепил снежок в Чиркина: «Это тебе, чтоб больше думал!» Чиркин сказал: «Ах так!» — и Воол уже барахтался в снегу под ним, потом все-таки одолел и оказался сверху, и оба тяжело дышали, смахивая снег, залепивший лица...

Так они и ввалились домой — белые. Татьяна Николаевна открыла дверь и отступила в прихожую.

— Батюшки! Никак наклюкались?

— До верхней губы, — сказал Воол, притворяясь пьяным.

Чиркин подхватил игру и запел, приплясывая перед женой:

Ох, лапти мои,
лапти лаковые, —
что у девок, что у баб
одинаковые.

— Да ладно вам! — махнула рукой Татьяна Николаевна. — Берите щетку — и на лестницу. Нечего мокреть в дом ташить.

Потом они пили на кухне чай, уже успокоившиеся, посмеивающиеся: «А здорово я тебя подсек?» — «Ну, я-то тебя быстренько скрутил, положим». — «Скрутить-то скрутил, да за валидолом полез». Татьяна Николаевна только качала головой: не совестно? Как мальчишки, а один седой, у другого плешь с тарелку... А если бы увидел кто? «Мальчишки» все посмеивались и подмигивали друг другу, и шуточки у них становились уже куда какие веселенькие: мол, знаешь, почему мы в снегу? Двух баб на пустыре встретили... Хорошенькие такие... Одна, правда, тощевата была вроде бы... Татьяна Николаевна сказала: «Охальники вы!» — и ушла спать.

Она не знала, сколько прошло времени, проснулась, открыла глаза, а с кухни по-прежнему виден свет и слышны тихие голоса:

— ...Если хочешь знать, для меня настоящий рабочий человек вовсе не тот, кто умеет только вкалывать. Этому любого

научить можно. А вот как ты к делу относишься, к людям вокруг, болит у тебя за все душа или нет — вот что главное!

«Господи, никак не угомоняется, — подумала Татьяна Николаевна. — И Ленка еще не пришла...»

— Не враз это и разглядишь, — сказал Чиркин.

— А я к тому и говорю, что не враз. Особенно нынче. Все бежим, спешим, бывает и оглядеться некогда: время-то быстрое стало... Но все равно — настоящая суть в любом человеке обязательно проявится.

Татьяна Николаевна села и начала надевать халат. Пора разгонять полуночников. Но тут же она замерла. Чиркин тревожно спросил:

— Неужели и в Сереге Ильине сейчас настоящая суть проявилась?

— Нет, — ответил Воол. — Я точно знаю: он сам мучается, что надо кричать да наказывать. Устал человек до упора, и на душе у него что-то такое... А прямо спросить — что, вроде бы неудобно.

Запахивая халат, жмурясь от света, Татьяна Николаевна вышла на кухню, и мужчины замолчали: ну, сейчас выдаст!.. Татьяна Николаевна налила себе чаю и села рядом с мужем.

— Он не просто так устал, — сказала Татьяна Николаевна. — Если человек от работы устает — это еще ничего! У него дома нелады, а от них люди в сто раз больше устают.

— Ты-то откуда знаешь? — удивился Чиркин.

— Мы всегда больше вашего знаем, — ответила она. — Только не всегда говорим...

Уже за полночь девушки предложили вымыть посуду, приборать и — по домам, завтра все-таки рабочий день. Просидевший в углу сыч сычом Будиловский вызвался помочь им, трое остались в комнате. Вот тогда как бы вскользь, походя Коптюгов и спросил Сергея, что это он сморозил насчет «подходящей шихты»? Сергей улыбнулся: разве не понятно?

— Не люблю, когда темнят, — сказал Коптюгов. — Ты по-нашему, по-рабочему, напрямую руби.

— Ну, если по-рабочему, — ответил Сергей, — то, выходит, мы свой рекорд за пару поллитровок купили.

Коптюгов пристально поглядел на него. Значит, я не ошибся: он все заметил и понял... Рассказал ли отцу? Наверно, еще нет. Но этот парень — не Сашка и не Генка, которые умеют держать язык за зубами. Вполне может где-нибудь и когда-нибудь брякнуть по дурочке... Ему понадобилось усилие, чтобы притвориться недоуменным: о чем ты? Давай уж, если замахнулся, не стесняйся, Генка свой человек...

— Ты платил шихтарям, чтобы они только болванки в корзину загрузили?

— Ну, даешь! — сказал Коптюгов. — Приснилось тебе, что ли?

— Я же видел.

— Ничего ты не видел, — спокойно, даже равнодушно сказал Коптюгов, — работяги попросили в долг до получки. Ты у них спроси — давным-давно уже отдали... Ну, по последней?

Сергей отказался, Коптюгов и Генка выпили по рюмке. Пора было домой. Сергей пошел на кухню поторопить Будиловского — им по пути. Там уже домывали последние тарелки. Стоя в дверях, потому что на маленькой кухне и троим было тесно, Сергей глядел, как быстро работают девушки, и думал: почему Коптюгов наврал? Наврал ведь! Значит, не хочет, чтобы это пошло дальше. Но, значит, сделано плохое дело — почему же тогда молчит отец?

Хотя выпил Сергей немного, все-таки выпитое обострило в нем ощущение несправедливости. И, сказав Будиловскому: давай закругляйся по-быстрому, он вернулся в комнату. Коптюгов и Генка сразу замолчали, едва он вошел.

— Не надо крутить, Костя, — сказал Сергей. — Конечно, ты легко отговорился, у тебя все продумано... Но только, знаешь, противно все это. Любая показуха противна. И так-то ее в жизни хоть отбавляй, а тут еще мы...

— Ну, Гамлет! — сказал Генка. — Пить или не пить, вот в чем вопрос.

— Ты сегодня не устал трепаться? — усмехнулся, повернувшись к нему, Сергей. — Неужели и ты не понимаешь, что это противно?

— Хватит! — тихо и зло сказал Коптюгов. — Выпил лишку, так не мели ерунду. Ничего не было. Никаких денег, никакой показухи. Понял или повторить?

— Тогда почему мы не можем так же работать каждый день? — спросил Сергей.

— От нас это не требуется. Существуют технически обоснованные нормы, которые мы можем изменять лишь за счет организации труда в оптимальном варианте. А вы — Генка и ты — еще не доросли малость... И все! И довольно об этом. Слабый ты, оказывается, на водку-то!

Сергей повернулся и пошел одеваться. Ему хотелось уйти раньше, чтобы не видеть, как Генка пойдет с Леной.

— До свиданья, девочки, — сказал он, заглядывая на кухню, и кивнул Будиловскому: — Я тебя на улице жду.

Снег падал и падал, но Сергей не замечал красоты этой ночи. Он подумал: отец молчит потому, что ничего нельзя доказать, все шито-крыто. А почему я сам до сих пор ничего не спрашивал у Коптюгова? Трус и последний подлец, вот кто я! Конечно, Коптюгу рекорд был нужен вот как! Иностранная делегация, сам секретарь обкома на заводе — лучшего времени не найдешь! И все сделал, как хотел...

Наконец-то вышел Будиловский, застегивая на ходу пальто и поднимая воротник.

— Ты чего вылетел как угорелый? Костыка смеется, говорит — так перебрал, что даже попрощаться с ним забыл. Поругались, что ли?

— Пока нет. Схватим мотор или на своих двоих?

— Тебе надо пройтись, — покосившись на Сергея, сказал Будиловский. — Я провожу тебя до дому.

— Значит, и ты думаешь, что перебрал? — грустно спросил Сергей. — Спасибо, брат. Я уж сам как-нибудь дойду. А вот почему ты весь вечер просидел как статуя?

За этот месяц, с того дня, как Будиловский побывал у Сергея, они, быть может, неожиданно для самих себя словно бы начали открывать друг друга, и это открытие оказалось радостным для обоих. Они не были сходны в своих судьбах: Сергею не довелось перенести, пережить то, что пережил Будиловский, и эта постоянность благополучия в нем поначалу даже раздражала Будиловского. Когда они только познакомились, Будиловский подумал: порхающий мальчик. Ему надо было приглядеться к Сергею, чтобы очень быстро понять: нет, не порхающий, а правильный. Тогда, дома у Сергея, стоя возле полок, набитых книгами, Будиловский спросил:

«И ты легко расстаешься с ними?»

Он имел в виду, что Сергей ушел с литфака.

«Почему расстаюсь? — ответил Сергей. — Я их не продам и не выброшу. Разве инженер не должен читать Хемингуэя, знать Чехова, любить Ремарка? Чудак ты, Сашка! Я меняю профессию, а не привязанности».

О себе Будиловский почти ничего не рассказывал Сергею, особенно о той страшной истории, зато знал о Сергее все или почти все — парень открытый, весь как на ладони именно потому, что прожил свои двадцать два года легко и просто: школа, армия, институт, теперь завод, а с будущей осени — на вечернее отделение... И будущее у него тоже ясно: в двадцать семь — инженер, малость поздновато, зато прочно.

В доме Ильиных Будиловского встретили тепло еще и потому, что мать Сергея, Надежда Петровна, работала в редакции и они были знакомы.

«Вас очень любят у нас, Сашенька. Я слышала, редактор так и сказал: этого парня надо держать на примете. И мне тоже нравится, как вы пишете».

«Кстати, — спросил тогда Сергей, — ты о нашем шефе по душе написал или по обязанности?»

Мать одернула его. Не надо задавать глупых вопросов. Саша написал о своем товарище по работе, и правильно сделал.

«Вы не обижайтесь на Серезку, Сашенька. У него странная привычка — сначала что-нибудь ляпнет, а потом подумает».

«Это называется — простой человек, мама».

«Это называется — язык без костей, — поправила его мать. — И еще дурное отцовское воспитание».

Сейчас Сергей спросил Будиловского, почему весь вечер тот просидел как статуя, и надо было отвечать.

— Так, — сказал он. — Настроение, должно быть, не для праздника.

— Бывает, — согласился Сергей. — У Чехова написано: «При виде счастливого человека всем стало скучно». Мне тоже было не очень весело, Сашка, хотя Коптюг не производит впечатлительные счастливого.

— Это потому, что мы с тобой были непарными, — усмехнулся Будиловский. — И еще, наверно, потому, что тебе здорово нравится Ленка. На твоего Чехова я могу ответить моим Хилоном: «Не желай невозможного».

Сергей легко рассмеялся: неужели ты заметил? Действительно, очень славная девчонка! Он и сам бы не мог объяснить, чем она была славной и почему вдруг так сразу понравилась ему, когда он впервые притащил в лабораторию скрапину. Такие вещи скорее всего необъяснимы. Господи, какие девчонки были там, в педагогическом, а литфак вообще называют факультетом образованных жен, — и ничего!..

— Я все понимаю, старик, — сказал Сергей. — Можешь передать Генке, что я не собираюсь соперничать с ним. А ты сам...

Он не договорил. Есть вопросы, которые могут причинить боль. Это-то он успел сообразить, прежде чем брякнуть: «А ты сам почему один?» Будиловский понял недоговоренность, но промолчал. Сергей остановился и повернул его за плечо к себе.

— Слушай, старик, — сказал он, — чего мы будем друг перед другом вытрясываться? Договоримся на будущее — никаких секретов! Если у тебя там было чего-то такое... ну, о чем не хочется вспоминать, — и не вспоминай, черт-то с ним. Я о будущем говорю. Или думаешь, я сейчас спрошу — ты меня уважаешь или не уважаешь?

— Уважаю, — серьезно ответил Будиловский. — Но ты прав. Есть вещи, которые не можешь не вспоминать, но о которых не хочется рассказывать. Как раз сегодня я сидел и вспоминал...

Генка и Лена спускались по лестнице впереди и не могли слышать, как Коптюгов сказал Нине:

— Нина, может быть, вы...

— Не надо, Костя, — попросила она. — Я все знаю, все понимаю, но не надо ни о чем говорить. Я сейчас совсем как испорченный холодильник: и пусто, и холодно...

Он отвез ее на такси к Ольге, поехал обратно. В квартире пахло духами, табачным дымом. На столе еще стояли бутылки, и Коптюгов принес из кухни стакан, налил вина... Спать

ему не хотелось, но во всем теле он ощущал тяжелую, незнакомую усталость. Хорошо, что завтра в ночь, можно будет спать хоть до полудня.

Он выпил один стакан, налил второй. Нет, вовсе не таким он представлял себе новоселье. Все было не так с самого начала, когда Воол отказался говорить. Сейчас Коптюгов чувствовал, что этот отказ был не случайным, а скорее всего, из-за выступления на партийном собрании. Потом старики быстро смотались — ну, да понятно почему: не хотели мешать... И эта дурацкая реплика Сергея, а потом разговор, в котором Генка ни черта не понял и потом канючил, чтоб я объяснил ему, в чем дело. А главное — Нина... Коптюгов почему-то был уверен, что именно сегодня все должно проясниться, сколько же можно тянуть резину! Вместо этого — «пустой холодильник», и молчание всю дорогу в машине, и короткое «До свидания, Костя», — будто школьница, которая боится опоздать домой и получить нагоняй от мамы. А Сашка, кажется, вообще за весь вечер не сказал ни одного слова...

Коптюгову стало душно — он открыл окно, и в комнату вместе со снегом хлынул морозный воздух. Там, за окном, было темно и лишь снег падал, будто белая занавеска отделяла комнату от всего остального мира. Снег шуршал, и это был единственный звук, который слышал Коптюгов. Шуршание снега — и больше ничего. Тишина. Погоди, сказал он сам себе, ты же так долго хотел этого! Хотел, чтобы была своя квартира, дом, та жизненная прочность, которую хочет и должен иметь всякий. Почему же сейчас нет радости? Наоборот, еще никогда не было такого странного чувства — усталости от одиночества. Это у меня-то! Или надо привыкнуть к нему, оно ведь тоже пока, временно, просто надо немного подождать, а я умею ждать... Коптюгов захлопнул окно, и тишина показалась ему оглушительной. Хоть бы кто-нибудь пошумел за стеной, что ли. Или ребенок заплакал хотя бы...

Он выпил еще вина. Нужно пройти, устать так, чтоб ноги не держали, замерзнуть и лишь тогда вернуться и лечь, уснуть, удрать от этой звенящей тишины. Коптюгов обычно пил мало, и сейчас не понимал, что выпитое требует от него движения, действия. Ему надо было что-то делать, с кем-то говорить, вернее говорить самому, и на улице он спросил у прохожего: «Нет у вас спичек?» — хотя коробок лежал у него в кармане. У прохожего не было спичек, но было испуганное лицо. «Я пьян, — с удивлением подумал Коптюгов. — Этот старикан чуть не бегом побежал от меня...»

Город был пустым. Изредка пронеслись машины, будто торопясь наконец-то укрыться от снега, и напрасно Коптюгов поднимал руку — не останавливались ни такси, ни частники. «Остановлю, повежу на руль десятку и скажу — катай!» Его не шатало, но он чувствовал, какая у него тяжелая, медленная походка. Так он и дошел до улицы Красных Зорь.

«Ну и что? — подумал он. — Даже если он с Ленкой. Хотя вряд ли...»

Коптюгов попробовал идти быстрее. Нетерпение все росло и росло в нем. Вот этот дом, мимо которого он шел два года назад и где увидел в открытом окне первого этажа полуголого Генку. Дом стоял темный, но Коптюгов уже не думал, что сейчас около трех часов, все спят и Генка дрыхнет, а какое он имеет право дрыхнуть, если у меня на душе черт знает что! Потянувшись, он смахнул снег с подоконника и постучал по жести, подождал, постучал еще раз, уже сильнее. Дома его нет, что ли? Как это нет? Он *обязан* быть дома!

Он кидал в окно снежки, не боясь разбить стекла, и разбил одно из них, а когда там, за окном, наконец-то зажегся свет, подумал со злорадством: так тебе и надо. Темная против света Генкина фигура показалась в окне, и Коптюгов крикнул: «Это я, открывай!» Когда он свернул во двор и вошел на лестницу, Генка уже стоял на площадке в одних трусиках и тапочках.

— Ты чего, одурел? Соседи услышат...

— Плевать, — сказал Коптюгов, проходя мимо Генки в теплый коридор. — У тебя есть что-нибудь выпить? Я не захватил...

У Генки нашлось сухое вино. Коптюгов сидел за столом в пальто и шапке, не замечая, как стает на нем снег и на пол падают капли. Генка уже натянул на себя тренировочный костюм и стоял перед Коптюговым, не понимая, что произошло, и какой черт принес его сюда, и зачем надо было разбивать стекло. Звонок-то с лестницы проведен прямо в комнату...

Вдруг Коптюгов начал смеяться. Он смотрел на Генку и смеялся, как всегда, чуть откидывая голову.

— У тебя на штанах колени висят, — сказал он. — Как груди у кормящей бабы. Ладно, садись, не торчи передо мной. Я думал, ты здесь с Ленкой...

— Ну да, — махнул рукой Усвятцев, — теперь она, знаешь...

— Знаю, — оборвал его Коптюгов. — Только больше чтоб не пакостить, понял? Погуляй просто так месяц-другой для приличия, а потом сплавь Сережке Ильину. Он на нее, как кот на сало, смотрит.

— Тише! — попросил Генка. — Я ж тебе говорю — соседи. Три часа уже, между прочим...

— Три? — удивился Коптюгов. — Скажи на милость! Я сегодня у тебя на диванчике спать буду.

— Ты окно разбил, — тусклым голосом сказал Генка, обращаясь.

— Ну и что? — снова удивился Коптюгов. — *Это ведь я разбил!* Ты, Генка, в общем-то, дерьмо, если тебе для меня какого-то стекла жалко. Да ты мне знаешь чем *обязан*?

Усвятцев глядел в сторону, но Коптюгов не замечал ни того, что у Генки лицо стало злым, ни того, что по коридору

прошлепали чьи-то шаги. Он нарочно говорил громко, чтобы Генка потрясся лишней разок, как бы соседи не стукнули на него в жилконтору.

— Молчишь? Ну, молчи, молчи... — Коптюгов встал и скинул пальто на спинку стула, швырнул шапку на диван и увидел те уже давно знакомые ему фотографии: Мальцев, Евтушенко, Пугачева... — Вот что, я тебе свою фотографию подарю, рядом с этими повесишь. Было три знаменитых друга, будет четыре. И еще хорошо бы сюда папу Римского, а? Почему бы тебе не дружить с папой Римским?

— Я неверующий, — сказал Генка.

— Это хорошо, — кивнул Коптюгов. — Значит, воинствующий атеист. А я вот — верующий. Скажешь — нет? Только у меня, между прочим, своя религия, я ее сам придумал.

Генке было трудно поверить, что Коптюгов, которого он знал, перед которым заискивал, признавая его превосходство над собой во всем, и этот болтливый, грубый, вломившийся среди ночи пьяный Коптюгов — один и тот же странным образом переменявшийся человек, которого, оказывается, Генка совершенно не знал и даже не предполагал, что он может оказаться таким.

Его бесило все: и громкий голос, и разбитое стекло, и мокрые пятна на полу, и что Коптюгов разбудил его, и что потребовал выпить, как хозяин, явившийся к себе домой, и это оскорбительное напоминание о благодарности.

— Опять молчишь? — спросил Коптюгов. — А я тебе скажу, какая у меня религия. Это я сам! Спи спокойно, дорогой товарищ.

Закрыв за ним дверь, Генка вернулся в комнату и подошел к окну. Между рам уже нанесло маленький сугроб. Генке показалось, что он увидел Коптюгова, и он прильнул к стеклу, прикрывая от света лицо ладонями, — но нет, там была только тень и снег, темная улица и снег, который падал и падал, не переставая.

21

Вызов к директору был неожиданным: обычно директорские совещания проходили по пятницам, в случае какой-либо надобности Званцев звонил сам или просил зайти в конце дня. Но секретарша директора позвонила утром, едва Ильин вошел в свой кабинет. Уже само по себе это не предвещало ничего хорошего, и Ильин, выйдя во двор, начал торопливо думать, что могло произойти, если его так спешно вызывают в понедельник, да еще с утра! Он успел просмотреть рапорты начальников смен за два выходных — вроде бы все было в порядке, из графика не выбились, никаких ЧП не случилось...

Ему пришлось подождать в приемной, где уже было несколько человек, вызванных также спешно, но никто ничего не

знал и каждый гадал про себя, что стряслось и чем это ему грозит. Ничего не знала и секретарша. Она только сказала, что директор уже звонил в Москву, домой заместителю министра и сейчас разговаривает с секретарем обкома Роговым.

Все объяснилось, когда вошел главный инженер и, быстро оглядев собравшихся маленькими, колючими глазками, холодно спросил:

— Из механосборочного еще не пришли? И Кузина еще нет?

— Нет, Виталий Евгеньевич, — сказала секретарша. — Идут уже.

— Что произошло, Виталий Евгеньевич? — спросил Ильин и тут же пожалел о своей нетерпеливости.

Заостровцев проскрипел своим неприятным голосом:

— На этот вопрос, возможно, придется отвечать именно вам, Сергей Николаевич. Ночью во время испытаний турбины полетели лопатки.

Проскрипел и скрылся за дверью директорского кабинета. Никто даже не обратил внимания, что главный инженер не поздоровался. Наступило тягостное молчание, каждый, в том числе и Ильин, понимал, что это действительно было тяжелым происшествием. Первым нарушил тишину заместитель главного конструктора Павлов. Ильин плохо знал его, виделись на разных совещаниях, вот и все знакомство.

— У нашего главного инженера, — сказал Павлов, — удивительная манера портить настроение людям. Конечно, кто-то виноват, но зачем сразу валить на литейный цех?

Дверь открылась, на пороге стоял Званцев, хмурый, невыспавшийся (конечно, о том, что произошло ночью на испытаниях, ему сообщили сразу же), и, коротко кивнув, пригласил всех к себе. Рассаживались молча, молча закуривали, — здесь разрешалось курить, хотя некурящий Заостровцев пытался было возражать поначалу, — и молча ждали, когда подойдет остальные. С толстой папкой под мышкой вошел Кузин, торопливо уселся рядом с директорским столом, будто боясь, что кто-то может занять его обычное место, и сразу начал раскладывать перед собой какие-то бумаги. Последними пришли начальник механосборочного и его заместитель по сборке и испытаниям, маленький, тщедушный Кашин, которого Ильин тоже знал плохо (все-таки разные цехи, разное производство), но о котором по заводу ходили легенды. Рассказывали, будто он, более суток проработав без сна на установке турбины в испытательном боксе, позвонил домой и попросил кого-то из домашних поднести ему к проходной зимние удочки, коловорот и червей. Река была неподалеку. И, рассказывали, Кашин спустился на первый, еще неокрепший лед, прокрутил несколько лунок, вытащил пяток окуней, отдал их мерзнущей на берегу жене, а сам, свеженький как огурчик, снова пошел в бокс работать. Но эта история вспомнилась Ильину вскользь, мель-

ком, — сейчас Кашин был бледен и сидел, съежившись так, будто старался казаться незаметным — точь-в-точь как школьник, не выучивший урока и более всего боящийся, что его вызовут к доске.

Ильин даже улыбнулся про себя этой схожести, потому что директор, оглядев всех, первым назвал именно Кашина, и он встал, растерявшись оттого, что его попросили выступить первым. Впрочем, это было понятно: испытаниями руководил все-таки он.

— Начинайте, товарищ Кашин, — кивнул ему Званцев, и, как бы ни был Ильин встревожен, как бы ни мучила его сейчас мысль, что в этой аварии могла быть и вина литейщиков, он не мог не отметить этого — «товарищ». Прежний директор — Силин — «поднимал» людей просто по фамилиям, главный инженер — непременно по имени-отчеству, но делал это с такой небрежностью, а то и язвительностью, что, казалось, у тебя не имя-отчество, а кличка.

Кашин, тяжело вздохнув, развел руками.

— Так что особенно говорить? В пять тридцать, по графику, мы должны были перевести турбину на остановку. Давление газа начинает падать с шести, когда просыхается город. Но приборы защиты сработали в пять четырнадцать, еще до остановки. Это отмечено в журнале испытаний. Остальное вы знаете...

Ему словно бы не хотелось говорить об этом «остальном». Званцев сидел, крутя пальцами толстый карандаш, и, когда Кашин кончил, стукнул карандашом по столу.

— Ладно, об остальном скажу я. Я приехал через сорок минут и распорядился демонтировать турбину. Когда открыли ротор, в передней части был винегрет из лопаток. Сейчас не время искать виновных, как это уже успел предложить мне наш главный инженер. Сейчас надо выяснить причину аварии. Сегодня из Москвы вылетает комиссия, и я прошу всех вас, — он обвел глазами собравшихся и повторил, особенно нажимая на это слово — «всех», — *всех* вас помочь комиссии, независимо от того, может ли быть ваша причастность к аварии или нет. Будут вопросы?

«Как все быстро... и хорошо!» — подумал Ильин. Сейчас это пятиминутное совещание закончится, все разойдутся по своим цехам и службам, каждый со своими мыслями и опасениями. Он не хотел и не мог уходить отсюда *так*.

— Можно мне?

— Пожалуйста, товарищ Ильин.

Он поднялся, на какую-то долю секунды ощутив в себе то полное спокойствие, которое так редко владело им последнее время.

— В причинах аварии будет разбираться только комиссия министерства или мы, заводские инженеры, тоже?

Краем глаза он заметил легкое движение за столом, — это

все как по команде повернулись к директору, потому что Ильин спросил о том, о чем сейчас думал каждый, но Званцев не успел ответить, его опередил главный инженер:

— Надеюсь, это не означает вашего недоверия к комиссии министерства, Сергей Николаевич? Или, быть может, это ваша, так сказать, защитная реакция?

— Похоже, очень похоже, — поддакнул ему Кузин.

Званцев недовольно постучал карандашом, даже не поглядев в сторону главного инженера.

— Заводские инженеры будут разбираться тоже, и вы в их числе, товарищ Ильин. Еще вопросы?

— Есть ли предварительные соображения о причинах аварии?

— Есть, — ответил Званцев. — Возможно, конструктивные просчеты, возможно, качество стали. Товарищ Кашин не случайно упомянул, что авария произошла до перевода турбины на остановку, иначе у нас были бы основания искать причину аварии в резком торможении. К сожалению, товарищи, у меня нет больше времени — сейчас должен приехать секретарь обкома, и мы пойдем в цех. Начальника турбинного и товарища Нечаева прошу остаться.

Последнее, что Ильин успел заметить, выходя, — это озабоченную и в то же время разочарованную физиономию Кузина, который запихивал обратно в папку свои бумаги. Его не пригласили остаться. Ему не предложили выступить...

Уже у себя в кабинете, ожидая, когда на оперативку соберутся заместители и начальники участков, Ильин подумал: странный все-таки человек Заостровцев. И добро бы он относился так только ко мне. Откуда это его постоянное недоверие, настороженность? Можно ли вообще работать с такой непреодолимой подозрительностью, будто все мы здесь стараемся лишь оправдать свою зарплату?

О том, что случилось на испытаниях годовного образца новой турбины, уже знали все, и, когда началась оперативка, Ильину не надо было рассказывать подробно, он лишь сказал, что, возможно, в аварии виноваты они, плавильщики. Мальгин, кривя рот, ехидно заметил:

— Ну конечно, кто же кроме нас? А вы, естественно, промолчали там, у директора?

— У нас с вами разные характеры, — ответил Ильин. — Я как-то не смог научиться вашему умению заранее ограждать себя от неприятностей.

Он распорядился подготовить к приезду комиссии всю документацию, вплоть до сентябрьских плавильных журналов (металл на лопатки цех дал в сентябре), и, наскоро решив текущие дела, отпустил всех, попросив остаться только Штока. О коротком разговоре у директора он рассказал ему подробно, не забыв и многозначительную реплику главного инженера. У Штока было такое страдальческое лицо, будто ему сообще-

ли о смерти близкого человека. Конечно, он представлял себе, что сейчас последует: выматывающая нервы работа комиссии, груз сознания своей вины, долгое и тяжкое ожидание выводов, — хорошо еще, что авария произошла во время испытаний, а не тогда, когда началась бы промышленная эксплуатация турбины!

— Ты-то сам что думаешь по этому поводу? — спросил Шток.

Ильин грустно усмехнулся. Что он может думать? Самое первое, что придет в голову любому, даже не очень-то технически грамотному человеку, — виноват литейный цех. И самое первое, что сделает комиссия, — это запакует «винегрет» в ящики и отправит в Москву, потому что у нас в Большом городе провести экспертизу на высшем уровне негде. Там академики будут смотреть — вот что я думаю по этому поводу.

— Значит, ты допускаешь, что это, может, и мы?

— Я не Мальгин, — ответил Ильин. — Хотя где-то в душе и сомневаюсь, что здесь наша вина. У нас, слава богу, слишком строгий контроль за качеством металла. И потом, почему так скоро произошла авария? Даже если сталь была с дефектом, лопатки должны были выдержать куда большую нагрузку. Не нужен кибер, чтобы сообразить это.

— Там ты об этом не сказал?

Ильин поморщился. И Марк туда же! Мы все-таки инженеры, черт возьми, а не кулинары — здесь переложил сахара, там недоложил варенья, — все равно сойдет!

— Утешайся тем, — пошутил он, — что, поскольку за нас возьмутся первыми, то и реабилитируют первыми... Если реабилитируют, конечно. У тебя есть еще что-нибудь ко мне?

Казалось, Шток расслышал этот вопрос не сразу. Страдальческое выражение так и застыло на его лице, — очевидно, Штоку понадобилось время, чтобы как-то вернуться от своих раздумий, а может быть, даже страхов, к сегодняшним делам.

— Нет, на оперативке я сказал все... Хотя...

Он медлил, тянул, словно колеблясь, говорить ли ему дальше или уйти, и Ильину пришлось уже резко спросить:

— Что еще? Что за манера мямлить, будто кашей рот набил? — прежде чем Шток решился.

— Сегодня ко мне подошел Коптюгов... Понимаешь, какая штука... Твой Сережка у него на новоселье вроде бы хватил лишку... Ерунда, конечно, но все-таки... Короче говоря, наговорил Коптюгову, что тот какие-то деньги давал шихтарям, чтоб ему корзину одними болванками загрузили, — ну, для той скоростной плавки, помнишь? Словом, какая-то история под градусом, я не стал разбираться, а ты выдай Сережке по-отечески, чтоб ерунду не порол. Коптюгова все-таки даже там уважают.

Ильин угрюмо поглядел на прячущего глаза Штока.

— Все?

— Нет. Коптюгов предложил провести две-три показа-

тельные плавки с хронометражем. Дельное предложение. Если мы на каждой плавке будем экономить хотя бы по десять — пятнадцать минут...

— Понял, — кивнул Ильин. — Давай действуй. Что же касается моего Сергея, то, во-первых, он не хватил у Коптюгова лишку. Я еще не спал, когда Сергей вернулся домой. А во-вторых, от меня и от тебя тоже он отличается тем, что не задумывается — говорить ли ему правду в глаза или промолчать, где выгодно. И дай-то ему бог сохранить это качество на всю жизнь!

Теперь у Штока было уже не страдальческое, а изумленное лицо, и большие, темные, обычно чуть навькате глаза, казалось, выкатились еще больше.

— Значит, так оно и было?

— Так и было, — сказал Ильин. — Но об этом догадался я, а не Сергей. И промолчал, потому что, как говорится, не пойман — не вор, а вот Сергей не мог промолчать. Но, — усмехнулся он, — нет худа без добра. Теперь Коптюгов будет так гонять своих ребят, что впору еще одну статью писать о нем, благо в цехе свой писатель имеется.

Он имел в виду Будиловского, но Шток не понял, о каком писателе сказал Ильин, он вообще ничего не понял, кроме того, что Коптюгов сделал что-то не то, а Ильин промолчал потому, что это было ему *выгодно!*

Когда он ушел, Ильин провел ладонями по лицу, как бы пытаясь снять с себя усталость. Одно к одному, одно к одному.... Вспомнилось поддакивание Кузина — там, у директора. Ах Кузин, Кузин, когда меня хвалит начальство, ты цветешь улыбкой, как старый и добрый друг; стоит начальству косо поглядеть на меня, ты готов залаять, как дворняжка из-под хозяйских ног!

Пора было идти на утренний обход, но Ильин не спешил. Он снял трубку, набрал номер, попросил к телефону Ерохину.

— Здравствуй, — сказал он. — Это я. Ты когда сегодня уходишь?

— В пять, — сказала Ольга.

— Для меня это слишком рано. Ты очень занята вечером?

— Очень, — ответила Ольга.

— Жаль, — сказал Ильин. — Тебе неудобно говорить?

— Да.

— Зайдешь ко мне? Лучше всего через час.

— Хорошо, — сказала Ольга и положила трубку.

Ильин все сидел, словно ждал чего-то, ему было просто трудно встать и пойти в цех, включиться в ту привычность дневной жизни, которая была нарушена сегодня с самого начала. Но все-таки надо было идти. Он встал и подумал — почему я позвонил Ольге? Почему вдруг остро захотелось побыть с ней? Потому что пришли действительно тяжелые времена, а с Ольгой всегда как-то легко и просто? Но ведь и прежде то-

же случались тяжелые времена... Как это она сказала мне о Ерохине там, в ресторане, когда мы танцевали: «Я ему нужна». Я тогда еще рассердился на нее, не понял, а теперь, выходит, она нужна мне... Эта мысль оказалась странной и неожиданной, будто он вдруг, внезапно открыл в самом себе что-то такое, о чем прежде даже не догадывался, и это открытие поначалу обескуражило его, пожалуй, прежде всего своей неожиданностью.

В последние полтора месяца после того вечера в концертном зале она редко виделась с Ильиным. Иногда он звонил в лабораторию, спрашивал, как здоровье, как дела, но именно сегодня Ольга ждала его звонка и словно бы чувствовала, что он позвонит. О том, что произошло ночью на заводе, знали и здесь, в экспресс-лаборатории, и Ольга с тревогой думала об Ильине. Неприятности, связанные с аварией, могут коснуться и его, и больше всего ей хотелось как-то успокоить Ильина, но как раз сегодня она должна была пойти к Водолажской, хотя Нина всячески отговаривала ее от этого. Зачем вы пойдете? Нарваться на хамство? Да леший-то с ней, с ее квартирой: вполне можно устроиться в общежитии. Ольга не выдерживала и взрывалась: что за нелепая жертвенность! Кого ты жалеешь? Эту хапугу, злую бабу, которая готова судиться с тобой хоть до второго пришествия ради своих квадратных метров? Жилье положено тебе по советскому закону, суд все равно решит в твою пользу. Нина крутила головой: она не хочет никакого суда. Их разведут без всякого суда, раз нет детей. Ольга обрывала ее: вот-вот, твоя бывшая свекровь хочет как раз того же самого — чтоб не было никакого суда. А разговор о деньгах на кооператив — эта, милая моя, только разговор, который кончится сразу же, едва вы с Костей разведетесь. Кто-кто, а я-то давно знаю Екатерину Петровну.

Уговаривая Нину, сердясь на нее, Ольга думала, что на ее месте она, скорее всего, поступила бы точно так же — плюнула бы на эти квадратные метры и ушла в общежитие. Впрочем, зачем в общежитие? Можешь жить у меня сколько тебе угодно...

Ольга поднялась к Ильину, но секретарша сказала, что у него люди; заходить второй раз было уже неудобно, она позвонила — Ильина не было на месте... Обычная история: закрутился, забыл, что хотел встретиться. Тревога за Ильина прибавилась к тревоге за Нину, но ждать Ильина Ольга не могла. Надо было решать как можно скорее — согласится ли Водолажская на размен или все-таки будет суд.

Она поехала к Водолажской.

Хотя три года назад, на свадьбе Нины, Екатерина Петровна и приглашала ее заходить домой или на работу — в буфет Дворца культуры, — Ольга так и не виделась с ней ни разу. За-

чем? Плохой человек, плохие воспоминания... Конечно, годы не могли сделать ее лучше. Ольгу передергивало, когда она припоминала последние слова того приглашения: «Посидим, поговорим... У меня и дефицитик бывает».

Сегодня у Водолажской был выходной день — об этом сказала Нина. Лучшего времени не найти.

Прежде чем открыть, Екатерина Петровна спросила, кто там, потом все-таки приоткрыла дверь на цепочку, и в узкой дверной щели Ольга увидела ее настороженные, недоверчивые глаза. Ее не обманула ни последовавшая затем улыбка, ни суетливые слова: «Наконец-то прилетела, ласточка ты моя!», которые, впрочем, тут же сменились на деловые: «Только сапожки сыми, у меня полы натертые». Все это не обмануло Ольгу потому, что взгляд у Екатерины Петровны был по-прежнему недобрый и настороженный.

Она пригласила Ольгу в комнату, сама пошла впереди — маленькая, рыхлая, в замусоленном халатике и с чалмой из полотенца на голове, из-под которой торчали мокрые огненно-рыжие пряди: должно быть, только что красилась.

— Садись, ласточка, — сказала она. — Будь как дома. Я чайку сварганю. А может, чего покрепче для встречи, а? Ведь сколько опять не виделись!

— Нет, спасибо, — сказала Ольга, — ничего не надо. Я ведь по делу.

— Да знаю я твое дело! — махнула рукой Екатерина Петровна, как бы давая понять: зачем тебе это? — Успеем еще с делами-то, милая. От дела сохнет тело. А у меня, между прочим, даже севрюжка найдется, и армянского могу накапать. Так как? С дела начнем или посидим рядком, поговорим ладком?

— С дела, — ответила Ольга.

— Ну, как хочешь, — поджала губы Екатерина Петровна и поерзала на мягком стуле, будто устраиваясь поудобнее перед долгим разговором. — Значит, за Нину пришла? А сама-то она чего не идет? Здесь не кусаются.

Она повела рукой по роскошной стенке, за стеклами которой стояли хрустальные вазы, бокалы и фарфоровые фигурки, по картинам в жирно позолоченных рамах, по кровати с пестрой шелковой накидкой и ковру над ней, по всему этому сытому и самодовольному, безвкусному богатству, собранному, конечно же, не на одну ее зарплату буфетчицы из Дворца культуры. Ольга подумала: наверно, Нину кусали здесь даже вещи. Все напоказ, все для того, чтобы после ужина сесть и полюбоваться на хрусталь, ковер и ради рамы купленную в комиссии картинку...

Она увидела фигурку — розовощекий амур с золотыми крыльями натянул свой лук. Нина вспоминала, как Костя рассказывал ей: давно, еще в детстве, он уронил этого амурчика, и мать устроила ему такую выволочку, что потом он долго

боялся даже подойти к шкафу, где стоял этот ставший ненавистным ему фарфоровый папан.

— Нина больше не придет сюда, — сказала Ольга. — Ей слишком тяжело бывать здесь.

— Тяжело! — усмехнулась Екатерина Петровна. — Жить было не тяжело, мужиков водить не тяжело, а сейчас затяжелела? От кого бы только, не знаешь? Мой сын здесь, со мной, спал...

— Не надо так говорить о Нине, — поморщилась Ольга. — Давайте лучше сразу о квартире.

Екатерина Петровна пожалала круглыми толстыми плечами.

— А и разговора нет! — уже зло сказала она, и Ольга подумала: куда только девались «ласточка» и та улыбка? — Судиться будем? — Она перегнулась через стол и снизу заглянула в глаза Ольги своими слинявшими, бесцветными, с черными точечками зрачков. — А вы не боитесь, а? Не боитесь меня? Я ведь такое сделать могу, такое могу... Хочешь верь, не хочешь не верь, а у меня много нужных людей в кармане сидит. Открою карман и выпущу. Что тогда?

— Мы, между прочим, в Советском Союзе живем, — сказала Ольга.

— Это ты точно сказала — «между прочим»! — деланно засмеялась Екатерина Петровна. Ей было трудно смеяться, в груди у нее что-то хрипело, булькало, как в закипавшем чайнике, и смех сменился кашлем. — И в Советском Союзе разные люди имеются. Поняла?

— Нет.

— Бабе за сорок, а ума, значит, так и не набралась?.. Коротче говоря, вот весь мой ответ. Квартиру делить не дам. По судам затаскаю, сами не рады будете. И еще кое-чего сделаю... Отступного дадим, не спорю. Под расписку, конечно, при свидетелях и при нотариусе. А тебе мой совет — ты от всего этого подальше держись. Не ровен час — и тебе достанется.

Она хлопнула ладонями по столу, по плюшевой скатерти, — это означало: разговор окончен. Ольга поднялась. Ее душила не просто злость, к этому чувству примешивались и другие — отвращение, даже омерзение, острое желание крикнуть в это бледное, словно намазанное салом, лоснящееся лицо какие-то самые гадкие слова, ударить по нему, — и надо было сжаться, задавить эти желания в себе. Только на улице Ольга перевела дыхание. Все в ней кипело — господи, да неужели у нас еще могут жить такие люди! Откуда они, для чего они? Уйдут ли они когда-нибудь? Или она неистребима, эта порода живущих для себя и для вещей, ласкающих свои серванты, как детей, и бюющих детей, если они уронят ненароком какого-нибудь фарфорового амурчика и отколют у него палец или пипку?

Она зашла в телефонную будку, набрала номер Ильина — ей никто не ответил. Должно быть, секретарши уже нет, а у Ильина либо какое-нибудь заседание, либо он в цехе...

Пока положение было, в общем-то, не очень тревожным. Судя по промежуточным отчетам, план завод должен был выполнить недели за две до Нового года, а выпуск той турбины, на которой полетели лопатки, намечался лишь на будущий год. Конечно, пришлось приостановить некоторые работы по серии до тех пор, пока комиссия не представит свои выводы. Секретарь обкома Рогов потребовал от Званцева и Нечаева, чтобы его держали в курсе всех дел, связанных с турбиной. Сам инженер, он ясно видел, что в будущем году, до которого оставалось уже всего ничего, заводу придется трудно, — стоит хоть ненадолго выбиться из графика, как начнется и штурмовщина, и сверхурочные, а здесь вообще не было ничего известно: когда закончит работу комиссия, какие причины аварии будут установлены, сколько времени понадобится на всякие доработки. Время, время, время!.. Одна задержка потянет за собой другие, и то, что аукнется здесь, на ЗГТ, в Большом городе, откликнется где-нибудь на газопроводах Туркмении или Крайнего Севера. Рогов — человек, умевший видеть и мыслить в крупных масштабах, — представлял себе, что произойдет там, где ждут новые турбины: там уже задействованы люди и техника, там уже составлены свои графики, там один день, упущенный здесь, обернется несколькими, а это — миллионы государственных средств. И оттуда будут звонить и лететь в Москву, жаловаться на поставщика, и в кабинетах Госплана и министерства люди будут отрываться от своих дел, чтобы, как на корабле, получившем пробойну, пытаются закрыть течь, постараться выправить положение обходными путями, пока турбину не доставят на линию газопровода... Впрочем, его радовало, что комиссия прилетела немедленно и Званцев докладывал каждый вечер: работа идет спокойно, без нервозности и подозрительности, без каких бы то ни было обвинений в адрес завода.

— Что вы уже сейчас можете предпринять, чтобы турбинный цех смог быстро наверстать упущенное время? — спросил Рогов.

— Пока ничего, Георгий Петрович. Хотя вот здесь у меня сидит наш секретарь парткома и смотрит на телефонную трубку умоляющими глазами.

— Да, дайте мне Нечаева.

Нечаев взял трубку, поздоровался и сказал:

— Я понимаю, Георгий Петрович, что по своей партийной обязанности и должности тоже несу ответственность за то, как пойдет работа в турбинном. Но я хотел бы просить вас о том, чтобы к этому добавилась... — он ненадолго замаялся, — инженерная ответственность.

Рогов засмеялся. Хитрец! Нашел все-таки обтекаемую форму! «Инженерная ответственность» означала для Нечаева — пропадать в своем прежнем цехе с утра до вечера, и если не подменить собой нового начальника цеха, то, во всяком слу-

чае, стать его дублером и первым советчиком. Но тут же Рогов оборвал смех и сказал серьезно, пожалуй даже сердито:

— Это самое худшее, что вы могли предложить в данной ситуации. Ваша партийная ответственность включает в себя все остальные. Вы же видите залог успеха только в том, чтобы снова дневать и ночевать в цехе. А успех будет в том, как вы поднимете коммунистов, как они организуют работу. Извините уж, что приходится говорить эти прописные истины вам.

Все! Рогов положил трубку, положил трубку и Нечаев, но долго еще смотрел на «вертушку», не замечая, как смеется директор. Званцев слышал весь разговор — голос у Рогова был громкий — и теперь посмеивался над растерянностью секретаря парткома. Что, Андрюша? Опять захотелось тряхнуть стариной? А ты вспомни, как сам злился, когда собирали головной образец ГТ-10 и каждый день у тебя над душой стоял Силин. Говорил ты ему: откуда это недоверие? Будто вы один умеете работать на всем заводе и один несете всю ответственность? Говорил! А вот теперь сам туда же...

Нечаев, никак не ожидавший такого резкого ответа секретаря обкома, сказал, словно оправдываясь:

— Должно быть, когда человек меняет профессию, прежняя продолжает держать его.

— Да, — сказал Званцев, — это, Андрюша, оковы прежней профессии. Я тоже иной раз ловлю себя на том, что веду не директорское совещание, а бюро райкома.

Нечаев, все еще расстроенный разговором с секретарем обкома, невольно улыбнулся. Со Званцевым ему было легко, он признавал его многие преимущества над собой. Опыт партийной работы — быть может, именно поэтому лучшее знание людей и годами сложившееся умение быстро разбираться в любой, даже самой сложной обстановке. Я, конечно, мальчишка. Сунуться с таким предложением к секретарю обкома!

Странно: давно, в студенческие годы, между Нечаевым и Званцевым особой дружбы не было, хотя учились они в одной группе, однажды вместе ездили на практику в Ленинград, жили койка к койке в опустевшем на лето общежитии Технологического института. Но, видимо, уже в те времена они научились быстро понимать друг друга: так случается всегда, когда люди проводят вместе несколько лет. И сейчас, все еще по-доброму посмеиваясь в душе над расстроенным Нечаевым, Званцев сказал:

— А ведь ты все равно поступишь по-своему, Андрюша? И искать секретаря парткома мы будем в твоём родном двадцать четвертом?

Нечаев поглядел на него, будто не расслышав, — у него были отсутствующие глаза.

— Ты помнишь, где я проходил преддипломную? — спросил он.

Званцев кивнул. Он помнил: работу Нечаева, привезенную

с Запорожстали, не просто хвалили, и не просто он получил за свой дипломный проект пятерку: большую статью Нечаев опубликовал тогда в одном техническом журнале.

— Так вот, старики мне рассказывали, что, когда шло восстановление Запорожстали, у секретаря обкома в одном из цехов была даже своя кровать. У секретаря обкома Брежнева, понимаешь?!

— Другое время, Андрюша. Сейчас мы можем спать на своих диванах.

— Или ворочаться всю ночь с боку на бок, — уже сердито сказал Нечаев. Он поглядел на часы. Через двадцать минут бюро парткома, надо посидеть одному, подумать...

— Погоди, — остановил его Званцев. — Я совсем забыл. Тут во вчерашней почте оказалось какое-то странное письмо. Я думаю, это по твоей части... а впрочем, черт его знает, по чьей. Прочитай, словом.

Нечаев взял толстый конверт со штампом «Заказное» и надпись: «Директору завода в личные руки» — и ушел к себе.

Водолажская, Водолажская... Он поглядел на подпись: «С приветом к вам Водолажская Е. П., работник буфета Дворца культуры имени Ногина». Не та. Он помнил высокую красивую молодую женщину из двадцать четвертого цеха, встречу в Средней Азии с ее бывшим мужем, а потом и разговор с Водолажской. Кажется, ее зовут Ниной...

Нечаев начал читать письмо, написанное крупным неровным почерком малограмотного человека, с трудом улавливая смысл, и лишь дойдя до третьей страницы, понял: тот Водолажский, стало быть, все-таки разводится с Ниной. И начал читать сначала: «Глубокоуважаемый Товарищ Директор! Пишет вам вдова Героя Отечественной Войны, вся в слезах и горе от несправедливости, и прошу вашей незамедлительной помощи как человека партийного и Большого Руководителя. Дело в том, что на вверенном вам заводе работает некая Мыслова Ольга кем работает не знаю но знаю ее с малых лет. Она дочка раскулаченных Советской Властью мать ее была спекулянткой и отец неизвестно где может с фашистами в войну снюхался когда мой муж Водолажский погиб в великой битве за счастье народов и Мир на земле.

Я имею от него сына комсомольца работал на заводе потом переехал в Среднюю Азию механик, положительный, судимости не имеет. Мне как Советскому труженику и вдове Героя в 1968 году была предоставлена отдельная квартира из 2-х комнат. 27,5 метров квадратных. Так вот сейчас меня заставляют эту квартиру менять и больше всего свирепствует работающая у вас вышеназванная Ольга Мыслова.

Мой сын Константин три года назад привел в дом жену. Тоже работает у вас в цехе контролером звать Нина Водолажская, комсомолка. Сын уехал в командировку и там встретил другую по душе и честно сказал, что жить с прежней женой не

будет. Пока он ездил к ней приходили гости плясали под музыку или закрывали дверь пили вино не знаю что еще. Так что развестись с ней сам бог велел. Но вот за эту Нину которая жила у меня как дома вступилась Мыслова и требует раздела квартиры которую мне дала наша родная Советская Власть. Я ей сказала что дам деньги на кооператив а она грозит мне судом и обзывает по всякому. Кулачка она как была так и осталась. Можно ли терпеть таких людей в нашем светлом обществе? Позор им!

Второй раз она заявила ко мне уже не одна а с подмогой в лице также работающего у вас Ильина. Этот Ильин с ней давно стакнулся и он пришел как вроде бы свидетель и больше молчал. Опять Мыслова требовала от меня раздела квартиры, а Ильин сказал с угрозой что суд определит мне даже наказание если буду упорствовать. Какое они имеют право входить в чужой дом и залезать в чужие дела не знаю знаю только что этот Ильин вроде у вас шишка так кто давал ему право обзывать меня мироедкой и еще я не запомнила как врать не хочу. Я всю жизнь прожила в труде на благо коммунизма обслуживая наших трудящихся, а этот Ильин глядел на меня как на врага народа. А когда уходил сказал что он бы давил таких как я как клопов на стене. Можно ли терпеть такие оскорбления? У меня нет свидетелей как у Ильина и Мысловой но все что я вам пишу правда...»

Дальше были еще какие-то слова, но Нечаев уже не стал дочитывать письмо Водолажской. «Паршивое письмо», — подумал он.

Между тем в этом письме многое было правдой. И то, что второй раз Ольга пришла с Ильиным, и то, что Ильин, не сдержавшись, бросил Екатерине Петровне — «мироедка», и про клопов тоже. Когда Нечаев позвонил ему и сказал, что есть такое письмо, надо поговорить, Ильин возмутился:

— Простите, Андрей Георгиевич, но у меня нет времени на вопли этой страшной бабы. Я пошел с Ерохиной, чтобы помочь хорошему человеку, попавшему в беду. Я говорю о Нине Водолажской. Согласитесь, что это не только мое право, но и обязанность — человеческая, гражданская, партийная — какая угодно.

— Мы должны ответить на ее письмо, Сергей Николаевич.

— Ну и отвечайте, Андрей Георгиевич! Письмо-то вам адресовано, а не мне!

Нечаев слышал, как раздражен Ильин. Еще минута, и он начнет грубить. Впрочем, уже нагрубил!

— Все-таки вы зайдите ко мне, Сергей Николаевич, — попросил он. — Письмо-то любопытное!

— Нет, — сказал Ильин. — Я не любопытен. Могу только удивляться, что вы серьезно относитесь к этой кляузе сволочной женщины...

«Характерец! — подумал Нечаев. — А наверно, он прав. Да не наверно, а точно — прав...»

— И тем не менее прошу вас зайти ко мне, — жестко сказал Нечаев и положил трубку, чтобы больше не слышать никаких возражений Ильина.

Конечно, он прав! И можно только представить себе, в какой он сейчас ярости. На заводе работает комиссия министерства, нервы у всех напряжены до предела, кажется — трюнь и порвутся, а секретарь парткома звонит по поводу письма какой-то... какой-то сволочной женщины.

Нечаев повторил про себя эти слова Ильина с такой уверенностью в их точности, будто сам побывал там, у Водолажской. Если человек чувствует за собой правду, подумал Нечаев, он никогда не станет говорить такими святыми словами: «Советская власть, коммунизм...» Это должно быть в душе. И только тогда, когда это в душе, правда становится неколебимой!

В эти дни, которые казались особенно длинными, многие на заводе испытывали состояние непроходящей угнетенности, тревоги, а ожидание лишь усиливало его. Теперь Ильин приходил домой к полуночи, и не потому, что в цехе что-то не ладилось, — нет, план выполнили, такой расчетной прибыли цех вообще никогда не давал, и в тех сводках, которые в каждом номере печатала заводская многотиражка, литейный стоял на втором месте. Там же, в многотиражке, была напечатана подделовому сухая статья главного инженера. Заостровцев никого не хвалил, никого не ругал, и Ильин мог подивиться, что лишь на долю литейного цеха достались более или менее добрые слова: «Почему так ровно и четко завершил план года литейный цех? Там твердо придерживались главного отчетного показателя — суточной продукции». Что ж, в устах Заостровцева и это было уже похвалой! И на том, как говорится, мерси большое!

Ильину сейчас просто не хотелось приходить домой, как он приходил обычно, — часам к семи или восьми. В цехе ему хватало дел, порой даже казалось, что можно работать по двадцать четыре часа, и все равно всех дел не переделаешь. Надежда знала, что на заводе крупные неприятности, — об этом ей сказал Сережка, и она спокойно спрашивала Ильина, когда он возвращался: «Ну, как там ваши неприятности?» Ильин еще был способен отвечать шуткой вроде: «Спасибо, ничего», но мысленно отмечал: она спрашивает меня об этом таким равнодушно-вежливым тоном, каким обычно справляются о дальних знакомых: «Ну, как Иван Иванович?», хотя тому, кто спрашивает, плевать с кудрявой березы, как этот самый Иван Иванович.

Письмо, которое прислала на завод та женщина — Екатерина Петровна, никак не задело Ильина. Он был даже рад тому, что смог увидеть ее: когда-то, еще в детстве, Ольга рассказы-

вала о тете Кате, и Ильину было просто необходимо высказать в глаза, что он думает о таких людях. Ну вот и высказался...

В один из поздних вечеров, когда он вернулся домой, мечтая лишь о том, чтобы скорее выпить стакан чаю, лечь и уснуть, Надежда спросила его:

— Между прочим, Новый год на носу. Где будем встречать?

— Мне все равно.

Сережки не было дома — он работал в ночную смену, но Ильин знал, что Новый год сын будет встречать вместе с Будиловским в заводском общежитии, и это радовало его. Сережка — парень компанейский, и хорошо, что он не ищет никаких особенных компаний, а как-то легко и просто входит в круг тех людей, с которыми его сводит работа. Да и этот Будиловский, кажется, совсем неплохой парень.

Когда Ильин сказал: «Мне все равно», Надежда спросила снова:

— Может быть, ты не хочешь встречать его со мной? У тебя какие-нибудь другие планы?

— Перестань, Надюша, — поморщился он. — Я с удовольствием просидел бы эту ночь дома.

Он был слишком усталым для того, чтобы заметить выражение лица Надежды, как она взглянула на него — зло и в то же время с каким-то торжеством и вызовом — и чтобы понять, что разговор о встрече Нового года был всего лишь как бы предисловием к другому. Пожалуй, если бы Ильин заметил это, Надежда напомнила бы ему кошку: вот точно так же кошка, прежде чем броситься, несколько секунд раскачивается всем своим гибким телом, собираясь в комок.

— Меня приглашают наши редакционные, — сказала она.

— Очень хорошо.

— Тогда договорились. Я — со своими, а ты, наверно, с Ольгой? Ведь, оказывается, ты вовсе не на заводе задерживаешься так поздно.

— Я прошу тебя, Наденька, перестань, пожалуйста.

Вот тогда-то она и достала эти несколько перепечатанных на машинке страниц. Она сделала это, не скрывая своего ликования и заранее наслаждаясь тем впечатлением, которое произведут сейчас на Ильина эти странички.

— Что это? — спросил он.

— А ты прочитай. Мир тесен, дорогой мой. Читай, читай, а я буду смотреть на тебя.

Это было еще одно письмо Екатерины Петровны — теперь уже в редакцию областной газеты. Оно почти ничем не отличалось от того, которое Ильин уже читал у Нечаева, и, возвращая его Надежде, Ильин коротко сказал:

— Я знаю.

— Да, ты-то знаешь! — взорвалась Надежда. Она ожидала

увидеть растерянность Ильина, услышать какие-то бессвязные объяснения, быть может, даже ложь. Ничего этого не было, вот она и взорвалась. — Ты-то знаешь! А я получаю письмо на перепечатку, и можешь представить себе мой восторг! Узнать из редакционной почты, что у твоего мужа есть какая-то другая жизнь!.. Может, ты объяснишь мне наконец, зачем тебя понесло с Ольгой к этой женщине?

Нос у Надежды побелел, глаза сузились, голос стал неприятным, визгливым, и Ильин уже знал, что это плохие признаки. Так обычно начинались все ее истерики. Потом будут недели молчания.

— Меня понесло туда потому, что я должен был помочь одному человеку, — устало и неохотно сказал Ильин. — А тебе я не стал рассказывать об этом, так как давно уже не рассказываю ничего, если ты заметила. Моя жизнь и мои дела не интересуют тебя много лет, Надя. Если хочешь поговорить, давай поговорим спокойно, без криков. Иначе никаких разговоров не будет. Будет еще одна очередная ссора, а это не надо ни тебе, ни мне.

Нет, все это было впустую сейчас — и спокойный, тихий, убеждающий тон, и это нежелание усталого человека снова и снова «выяснять отношения». Ильин знал, что Надежду не остановить, что она уже в том взвинченном состоянии, когда никакие разумные доводы не действуют, разум словно бы выключен и все в ней ходит ходуном.

— Помочь одному человеку? Почему ты должен помочь этому одному человеку?

— Потому что я тоже человек, Надя. Извини, я пойду и лягу.

— Ну уж нет, дорогой мой! Хочешь удрать, когда тебя приперли к стенке?

— Никто ни к какой стенке меня не припер. Точно такое же письмо пришло два дня назад на завод. Это письмо очень злой женщины, разве ты не видишь сама?

Потом он молчал. Все, все впустую: слова, доводы, объяснения... Говорила одна Надежда. Она понимает, что у них действительно давно все пошло сикось-накось (ее любимое выражение). Она измучена. У нее больше нет сил терпеть. («Что терпеть?» — подумал Ильин.) С нее довольно. Все кругом говорят — ах, какая вы счастливая! Муж не пьет, хорошо зарабатывать, в гору идет, все-то у вас дома есть, и сын такой — залюбоваться можно, но что люди видят? Ей надоело жить *такой* семейной жизнью, когда муж не дает ничего, кроме денег, а сын — добро бы его сын! — тоже удаляется от нее дальше и дальше, и она не знает, как он живет, о чем думает, какие у него планы... («Сейчас скажет о моем воспитании...») Да, да, конечно, это его воспитание, он добился, чего хотел, — восстановил сына против нее и она осталась совсем одна... Надежда уже не говорила, а кричала, сама не замечая своего крика.

Кричала и плакала одновременно от жалости к самой себе, распаяя эту жалость больше и больше, и Ильин подумал: если я сейчас подойду, обниму ее, *пожалую*, все может кончиться тихо и мирно. Но он не мог шевельнуться. Может быть, и смог бы, конечно, но ему не хотелось, как бывало прежде, подойти к жене. Ему казалось, что та полоса отчуждения, которая уже давно легла между ними, выросла так, что ее не перешагнуть, и снова — в который раз! — он тоскливо спросил себя: *чем же это все кончится?*

— Хватит, — резко сказал Ильин. — Можешь накручивать себя, сколько угодно, но прекрати, пожалуйста, дергать меня...

— Ах вот как!

Уже лежа в постели, он равнодушно слушал, как Надежда звонила в Москву матери. Ей надо было, чтоб ее пожалели. Она захлебывалась слезами и говорила, какой она несчастный человек, потом открыла дверь в комнату и, стоя на пороге, сказала:

— Сына я тебе не отдам. У меня нет другого выхода. Я ему скажу всю правду, что он не твой...

— Это совет мамы? — догадался Ильин, садясь на кровати. Он не испугался. В конце концов Сережа, взрослый человек, все поймет. Он просто почувствовал, что вот сейчас его жизнь с Надеждой дошла до той черты, за которой уже ничего не может быть...

Как раз в эти трудные для всех дни Коптюгов со своей бригадой и Шток сделали задуманное. Пожалуй, на памяти Штока за годы, которые он проработал здесь, такого еще не было. Он мог лишь поражаться тому, как Коптюгов сумел организовать дело: в течение недели (а вовсе не трех-четырех плавок, как это предлагал поначалу Коптюгов) бригада работала буквально по секундам, и, когда Шток просмотрел графики, выписал столбиком время плавок, которые давала бригада Коптюгова, вышло не десять — пятнадцать минут, а в среднем девятнадцать минут экономии на каждой плавке! Ребята, конечно, радовались, сияющий Усвятцев — тот даже предложил назвать это «методом Коптюгова», но Коптюгов оборвал его. Не чирикай! Со своими выписками Шток подошел к Ильину, а Коптюгов, домываясь под душем, сказал Будиловскому:

— Едем ко мне, Сашка. Хотя мы и не кузнецы, но ковать железо надо, пока оно горячо.

— Я не могу, — ответил Будиловский, стараясь не глядеть на Коптюгова. — У меня разные дела.

— Могут подождать, — сказал Коптюгов. — Ты что же, ни черта не понимаешь, что ли?

— Понимаю, — вытираясь, сказал Будиловский. — Только я больше... не хочу.

— Ого! — насмешливо поглядел на него Коптюгов. —

Известный журналист сталевар А. Будилковский не в творческом настроении? С чего бы это, а?

Их никто не слышал, смена уже ушла, в душевой остались только они. Коптюгов не спешил одеваться. Здесь было тепло, и он сидел в одних трусиках, вытянув крепкие ноги, закинув руки за голову и играя мускулами, словно наслаждаясь тем, как после душа уходит усталость и во всем теле снова появляется прежняя, будто бы совсем не растраченная сегодня сила. И, глядя на Будилковского, худого, бледного сейчас, он будто сравнивал себя с ним, посмеиваясь тому, что, в общем-то, никакого сравнения тут даже и нет.

— Так с чего бы это? — повторил Коптюгов. Перед ним висело большое запотевшее зеркало, и он встал, взял полотенце, протер его и широко развел руками, оглядывая себя.

— Ты знаешь, что твоя мать и Голубев... уехали? — спросил Будилковский.

— Я-то знаю, а тебе зачем знать? — насторожился Коптюгов.

— Так.

— Ты что же, говорил с ними?

— Нет.

Три дня назад, в выходной день, Будилковский поехал туда, на окраину. Он сделал это не потому, что день был пустой: Сережка укатил за город на лыжах со своими старыми институтскими приятелями, звал и его, но Будилковский отказался — ему хотелось полежать, почитать, да и чувствовал он себя неважно. Эти дни, когда они сработали по уплотненному графику, порядком вымотали его.

Он лежал и не мог читать, потому что его мучила одна мысль: правильно ли я живу сейчас? Он еще стеснялся поделиться этой мыслью с Сергеем — тогда волей-неволей пришлось бы рассказать ему свою историю, а он боялся ее и словно пытался спрятать ее подальше от самого себя, не то что от других! Но в последнее время он думал о себе все беспощаднее и резче. Счастливые дни, когда он сам дал первые плавки, прошли, ощущение радости сделанного притупилось. Его не угнетало, что он продолжал оставаться первым подручным. Летом на пенсию уйдет Чиркин, и Будилковский знал, что займет его место. Казалось бы, все хорошо, все правильно! Но тогда откуда же оно, это тревожное чувство чего-то снова сделанного не так?

Всякий раз, когда Будилковский начинал думать об этом, он, совсем как бегущий по улице человек вдруг наталкивается на другого, наталкивался на Коптюгова, и ему никак было не обойти, не обогнуть его. Да, конечно, если б не Коптюгов, еще неизвестно, как сложилась бы моя судьба. Но кто он — Коптюгов? Ведь доброе дело — бесплатное, оно не требует отдачи... А вот Коптюгов требовал. Мягко, иной раз даже хитро, но требовал платить за доброту! И я платил...

Ничего худого в том, что я написал о нем очерк, и заметки давал, и статью за него тоже сделал, наверно, нет. Ну, помог человеку... А знаю ли я его и знаю ли, зачем ему нужна моя помощь? Но что, если я сделал вовсе не доброе дело, а вроде того, давнего?..

И вот все это — все тревожившие его мысли, все попытки разобраться в Коптюгове, в Генке, в Сергее, когда он и в самом себе разобраться-то как следует еще не мог, — все это разрозненное, все в догадках, все как бы слеплялось в одну мысль: правильно ли я живу? То, что он пошел к матери Коптюгова и его отчиму, было как раз от этой мысли, этого желания разобраться в Коптюгове, потому что разобраться в нем значило для Будиловского — понять через него и себя.

Но в том доме уже были другие, незнакомые люди, которые встретили его настороженно: нет, прежние хозяева здесь больше не живут. Уехали. Куда? Да бог их знает куда! Куда-то на Юг...

Оставалось одно — повернуться и уйти.

Сейчас Будиловский почти физически ощущал, как напряжен Коптюгов и как ему трудно казаться равнодушным. И одеваться он начал, чтобы только чем-то занять себя.

— Тогда как все это понять? — спросил Коптюгов. — Ты что же, копаешь под меня или что? Зачем тебя к моей матери понесло? Или скажешь — просто так, на чай с домашним вареньем?

— Может, и на чай, — кивнул Будиловский.

Первое чувство скованности, даже неприятной робости, появившееся было, когда он отказался идти к Коптюгову, заранее зная, зачем тот приглашает его, — прошло. Хорошо, что я сказал ему, что ходил туда. Его не обманывала та медлительность, с которой сейчас одевался Коптюгов. Он растерялся! И еще — разозлился, конечно, на меня. Ну и что? Разве я не имел права пойти к людям, в доме которых жил и которые вовсе неплохо относились ко мне.

— Почему они уехали? — спросил он.

— Там для матери климат лучше, — ответил Коптюгов. Он поглядел на себя в зеркало, провёл ладонью по еще мокрым волосам. — Хочешь написать — адрес имеется.

«Нет, я ошибся, — подумал Будиловский. — Он спокоен. Не может человек так здорово играть в спокойствие».

— А все-таки мы сейчас поедem ко мне, Сашок, — так же спокойно, пожалуй с чуть заметной жесткостью, продолжал Коптюгов. — Дело это наше общее, и надо, чтобы о нем знали. Я самому секретарю обкома обещал, что мы сработаем, как никому, даже Татьяну Николаевичу, не снилось. Сработали ведь?.. Не для себя — для государства, верно? А ты сразу на дыбки: «Не могу, не хочу!» Я же не касторку тебя пить заставаю. Так как? За моей подписью или нашими двумя?

— Всей бригады, — сказал Будилловский и поглядел на Коптюгова в упор, кляня себя за то, что сдался, не выдержал, но отступать уже было некуда, можно было лишь наступать — вот так, хотя бы взглядом.

— А что? — словно удивляясь, что эта мысль не пришла ему в голову, спросил Коптюгов. — Даже интересно, а? Ты только волосы просуши как следует, не лето на улице...

Потом Будилловский так и не сообразит, как же получилось, что статья, написанная им, оказалась не в редакции газеты, а была передана по областному радио. Он оставил ее тогда у Коптюгова — тот хотел еще подумать, а уже на следующий день Будилловский, вернувшись в общежитие, привычно включил транзистор и лег с книжкой: ему хорошо читалось под музыку. Но скоро музыка кончилась, диктор сказал: «Начинаем передачу «Трибуна новатора». У нашего микрофона — плавильщик литейного цеха завода газовых турбин Константин Коптюгов». И ровным, чуть с хрипотцой голосом Коптюгов слово в слово прочитал ту самую статью!.. Объяснение было на следующий день. Коптюгов, догнав Будилловского еще на заводском дворе, взял его под руку и, быстро поздоровавшись, сказал:

— Понимаешь, какая у меня получилась плешь...

— Я слышал.

— Слышал? Только ты ушел — звонок, открываю — какая-то незнакомая чувиха, думаю — не туда попала, а она мне свое удостоверение тянет. Сотрудница радиокомитета. То да се, да срочно надо, у самой аж губки дрожат, когда я начал отказываться, — короче, вцепилась в нашу статью, как лиса в курицу.

— Какая противная чувиха, — усмехнулся Будилловский, но, казался, Коптюгов не понял иронии.

— Там мне сказали, что по всесоюзному радио тоже передадут. На всю страну, понимаешь?

— Ну, если по всесоюзному, тогда зачем сердиться? — в тон ему ответил Будилловский. Он ничуть не поверил Коптюгову. Все у того было продумано заранее. Никакой чувихи из радиокомитета не существовало. Он здорово провел меня. И когда несколько минут спустя Сергей спросил:

— Что это ты сегодня такой кислый? — Будилловский ответил:

— Как говорил Гейне — зубная боль в сердце.

— Не можешь не подпереть себя классиком! — засмеялся Сергей. — А ты выступление Коптюга по радио слышал? Зачем ему вкалывать, если он так здорово пишет и выступает?

Он глядел на Будилловского насмешливо, явно недоговаривая чего-то или ожидая, что же Сашка скажет на это, — и Будилловский ответил, стараясь сдержать рвущуюся злость:

— Этот комплимент, как я понимаю, относится не к нему, а ко мне. Ты хочешь сказать, что это я здорово пишу?

— Именно!

— Ну, тогда спасибо.

— Пожалуйста, не за что. — И, обернувшись к стоявшему неподалеку Коптюгову, Сергей крикнул: — Поздравляю, шеф! Тебе крупно повезло. С такими помощниками, как мы, не пропадешь!

Он пошел на шихтовой двор — подавать завалочную корзину, а Будиловский глядел ему вслед с обидой и горечью и думал: зачем он так? Слишком уж явной была издевка, чтобы ее не понять: один пишет, другой подписывает — работает контролер! Ну а слава, конечно, ему, шефу, как называет Коптюгова Сергей, и это словечко получается у него каким-то особенно ехидным.

22

В первых числах января на заводе появился никому не знакомый человек. Пропуск ему был уже выписан, в парткоме его ждал заместитель секретаря по идеологии — так было договорено еще накануне, когда этот человек позвонил из Москвы и сказал, что редакция одной центральной газеты поручила ему проверить в Большом городе письмо попавшей в беду женщины.

Фамилия его была Бобров, и одно то, что на завод приезжает Бобров, значило многое. Его статьи в центральной прессе, посвященные, в основном, проблемам нравственности, читались, как говорится, залпом, их ждали, их обсуждали и дома, и на работе, возмущаясь теми, о ком с беспощадной резкостью писал Бобров, или сочувствуя тем, кого он защищал от несправедливости — убежденно и страстно.

Нечаев, которому тоже хорошо было известно имя этого публициста, не мог встретиться с ним сразу, в день его приезда. Как раз с утра начиналось совещание областного партийно-хозяйственного актива, и он жалел, что, возможно, встретиться с Бобровым так и не удастся. По поводу какого письма он едет, Нечаев тоже не знал и даже не старался догадаться, о чем оно и от кого. Среди тысяч людей, работающих на заводе, всегда может найтись один, которого даже мелкая обида заставит написать в Москву самое отчаянное письмо.

В парткоме Бобров сказал, что ему хотелось бы повидаться с Ольгой Мысловой и неким Ильиным. Замсекретаря позвонил в кадры, и через несколько минут оттуда сообщили, что Мыслова-Ерохина работает в ЦЗЛ, а точнее — в экспресс-лаборатории литейного цеха. Что же касается Ильиных, их на заводе человек восемьдесят.

— Ничего, — кивнул Бобров, — судя по письму, Мыслова знает, какой это Ильин. Найдем сами.

Вместе с сопровождающим — сотрудницей многотиражки — Бобров пошел в литейный цех, оглядываясь с тем жадным интересом, который всегда выдает человека, не устающего удивляться жизни. Сняв меховую шапку, он стоял у памятника

павшим рабочим, и стоял долго, пока не прочитал все фамилии. Потом он остановился еще раз — у огромной заводской доски Почета, и снова читал фамилии, вглядываясь в лица, как бы любуясь этими незнакомыми ему людьми, мужчинами и женщинами, которые умели делать свое дело лучше других. Вдруг сопровождающая сказала:

— Вот она, Мыслова.

Бобров обернулся, чтобы увидеть *идущую* Мыслову, но увидел только дизелек, тащивший грейфер, да какую-то девчонку в накинутах на плечи ватнике, которая бежала, прижимая к груди две бутылки кефира. Она не могла быть Мысловой.

— Да нет же! — засмеялась сопровождающая. — Вон, в четвертом ряду, на доске.

Бобров искал глазами и, увидев фотографию, замер. Он узнал ее сразу, хотя между той женщиной и этой, на фотографии, легли годы. Он знал, что не ошибается, что это именно она, жена того самого экскаваторщика, милая, славная умница, которая так здорово помогла ему разговорить своего не очень жалующего корреспондентов муженька.

— Вы знаете ее? — догадалась сотрудница многотиражки.

— Да, — сказал Бобров. — Очень давно. Мы встречались на Абакан — Тайшете, я писал о ее муже. Удивительный человек!

— Для вас, по-моему, все хорошие люди удивительны, — засмеялась та. Ей, молодой журналистке, лестно было поговорить с известным московским публицистом, а это был как раз удобный повод. Бобров кивнул: так оно и должно быть. И если журналист или писатель хоть один день ничему не удивится, ему пора на пенсию.

Теперь он шел быстро, будто подгоняемый нетерпением, но его спутница заметила, что Бобров хмур, напряженно думает о чем-то, и не стала задавать больше никаких вопросов. Они поднялись на второй этаж, и Бобров сказал:

— Спасибо, теперь я все найду сам.

А ей очень хотелось поглядеть, как Бобров встретится с Мысловой, и послушать, о чем они будут разговаривать!

— Вы еще зайдёте к нам? — спросила она. — У нас есть пишущие, даже свое литобъединение есть...

— Хорошо, — нетерпеливо ответил, берясь за дверную ручку, Бобров. — Я зайду, договоримся.

Уже один он прошел по коридору и уверенно, словно бывал здесь не однажды, открыл дверь в лабораторию. Просто он услышал голоса и пошел на них. Стоя в дверях, он быстро огляделся, — две девчушки его не интересовали, он посмотрел на женщину в белом халате, стоявшую к нему спиной возле какого-то аппарата, и сказал: «Здравствуйте!» Женщина обернулась и кивнула. Он узнал ее, а вот она, должно быть, не узнала Боброва, но все-таки вглядывалась в него, морща лоб.

— Пыгаетесь вспомнить меня? — улыбнулся Бобров, подходя и протягивая руку. — Не мучайтесь. Абакан — Тайшет, при-

езжий корреспондент, заговор, который мы с вами организовали против вашего мужа...

— О господи! — тихо сказала Ольга. — Ну конечно же! Бобров. Вы Бобров!

— Бобров, — снова улыбнулся он.

То, что он вспоминал об Ольге по дороге сюда, никак не вязалось с тем, что было написано о ней в письме, присланном в Москву. Он не мог не отметить и ту короткую радость, с которой его узнала Мыслова, — и ни подозрительности, ни настойчивости не было в ее глазах...

— А ведь я приехал к вам, Ольга...

— Петровна, — подсказала она. — Я немножко постарела. Там вы называли меня просто по имени.

— Я узнал вас на фоторграфии, на доске Почета...

— А... — сказала она.

— У вас найдется для меня немного времени?

Одна из девушек замахала рукой — вы идите, идите, тетя Оля, мы пока и без вас справимся, первые пробы пойдут через час, не раньше... Ольга провела Боброва в маленькую комнату со стеллажами, плотно забитыми папками, — здесь был столик и две табуретки.

— Садитесь, пожалуйста.

Бобров сел, сцепив пальцы. Ему трудно было начать тот разговор, ради которого он приехал сюда из Москвы, трудно потому, что эта женщина оставалась в его памяти добрым и хорошим человеком, а он всегда верил своему впечатлению и никогда не верил тому, что хорошие люди с годами могут превратиться в плохих.

— Да, — задумчиво сказал Бобров. — Мир действительно тесен. Меньше всего я ожидал встретить именно вас. Вы что же, построили дорогу и переехали сюда?

— Нет, — ответила Ольга. — Я уехала через четыре дня после того, как в газете была ваша статья о Ерохине... о моем муже.

— Почему? — удивился Бобров.

— Потому что он погиб... Я везла ему газету с вашей статьей, и...

Она не могла говорить. Бобров потрясенно молчал.

— Так он и не прочитал, что вы про него написали. «Хозяин». Я помню, как называлась та статья.

— Да, «Хозяин», — механически повторил Бобров. — Я пойду попрошу у девочек воды.

— Не надо, — остановила его Ольга. — Я уже успокоилась.

Она не успокоилась: при таких встречах воспоминания всегда становятся особенно яркими и пронзительными, но она смогла все-таки рассказать, что произошло там, на карьере. Напарник не сладил с управлением, экскаватор начал сползать, Ерохин успел вскочить в кабину и вытолкнуть оттуда парня, а вот выскочить сам не успел... Теперь она и тот парень, уче-

ник Ерохина («Помните, у которого мерин сумку с деньгами унес?»), каждый год двенадцатого июля встречаются там, у его могилы. Она мягко улыбнулась: нынче его не узнать, конечно, этого мальчишку. Кандидат наук, работает в Новосибирске, в Академгородке, уже докторскую пишет... И за все эти годы ни разу не было так, чтобы он не приехал на могилу Ерохина!

— В таких случаях, — очень тихо сказал Бобров, — я просто не знаю, о чем говорить.

— Наверно, и не надо, — ответила Ольга. — Лучше скажите, зачем вы пришли... ко мне?

Бобров ответил не сразу. Он молчал, и было видно, что волнуется, но потом все-таки полез в карман и вынул конверт.

— Если вам не трудно сейчас... Мы получили вот это письмо...

— От Екатерины Петровны Водолажской?

— Да.

— Ну что ж, — тусклым голосом сказала Ольга. — Это уже не первое. Меня вызывал начальник ЦЗЛ, и из редакции нашей газеты приходили... Читать письмо я не буду. Вы лучше сами спрашивайте меня.

Бобров медленно сунул письмо обратно в карман.

— А мне ни о чем не хочется спрашивать вас, Ольга Петровна, — сказал он. — Мне хочется просто посидеть с вами, вот и все. Но один вопрос все-таки есть. Кто такой Ильин?

— Сергей Николаевич — начальник литейного цеха.

Бобров даже присвистнул. Вот как! По письму этой Водолажской, Ильин — какой-нибудь ханыга, пропойца с такими вот кулачищами, который только и занят тем, как бы изничтожить за пол-литра слабую женщину.

— Конечно, я знала, кого нанимать для этого дела, — грустно улыбнулась Ольга. — Не мельчила! Уж ежели брать с собой бандита, то никак не меньше чем начальника цеха! Вы хотите встретиться с ним? Его кабинет как раз над нами, этажом выше. А вообще-то, что ж... Я сама хочу вам рассказать обо всем, если не возражаете.

Через час Бобров ушел из лаборатории. Ольга проводила его наверх, к Ильину, но того не было на месте. Сегодня четверг — день оперативки у замдиректора по снабжению, — объяснила, поглядев на часы, секретарша, — а после обеда совещание у замглавного инженера по эксплуатации. Так что если вам очень нужен Ильин, попробуйте поймать его в заводоуправлении.

Они вышли в коридор, Бобров спросил:

— У вас есть еще хоть немного времени? Очень не хочется так быстро расставаться...

— А вы приходите вечером ко мне, — сказала Ольга. — Ведь с Ниной Водолажской вам тоже, наверно, надо будет поговорить? А она как раз у меня живет... Может быть, тогда до конца поймете, что за человек эта тетя Катя.

— Мне хватит и того, что я снова понял, какой человек вы, Оля.

Он взял ее руку и поцеловал несколько раз. Конечно, он придет сегодня же. Только не надо хлопотать и готовить никаких разносолов. Лучше всего, как там, на Абакан — Тайшете — помните? — кастрюлька с картошкой, селедка и...

— И пара рябчиков! — засмеялась Ольга.

— Ну, рябчиками, пожалуй, здесь не очень-то разживешься, — засмеялся в ответ Бобров.

— Заменим курицей, — сказала Ольга. — Мы ждем вас.

Когда она вернулась в лабораторию, девчонки накинулись на нее с расспросами: кто это и зачем приходил? Она отшучивалась: старый знакомый. Заместитель министра. Предлагает переезжать в Москву. И работу дает — начальником СГЦЛ. Что такое СГЦЛ? Самая главная центральная лаборатория, так что, смотрите, стану начальницей и начну сыпать вам выговоры!..

С Ильиным Бобров так и не повидался. Позже, в той статье, которая будет напечатана в одной из московских газет и которую он назовет «Семейное дело?», он напишет: «Я даже не стал встречаться с начальником цеха И., очень занятым и, как мне рассказывали, усталым человеком. Ему было не до меня. Да и что он мог бы добавить ко всей этой истории? Только то, что он, несущий на себе такой груз, как руководство едва ли не главным, в сущности, цехом, «кормящим» весь завод, — что он тоже не мог остаться равнодушным? Что мы не встретились, надо жалеть одному мне: всегда жаль сознавать, что в жизни мимо тебя прошел хороший человек...»

Но это будет потом, почти месяц спустя.

Он напишет об обманутой любви и долгом, верном ожидании молодой женщины. И об Ольге М. тоже. Вспомнит далекие годы стройки в Саянах и восхищенно, будто впервые в жизни встретив такого человека, расскажет о ее мужестве и чистоте души. И еще поведает читателю о другой женщине — отвратительно злобной, страшной в своем стяжательстве, готовой на самое мерзкое — даже на то, чтобы очернить другого человека, уверенной, что в нашей стране и в наше время это может пройти безнаказанно. «Когда я работал над статьей, мне позвонили из одной очень уважаемой организации и сказали, что уже есть письмо на меня. От нее — Екатерины Петровны В. Я знал, что такое письмо будет. Но теперь им займутся другие люди и мне придется оправдываться и клясться, что никакими карами я этой женщине не грозил и никакими плохими словами не обзывал... А как хотелось!»

Но это все будет потом.

Как он и обещал (правда, на ходу и без особой уверенности, что найдет время), Бобров встретился с членами литобъе-

динения. Единственное, о чем он попросил, чтобы пришли одни прозаики: стихи он, конечно, любит, понимает, но вот говорить о них не умеет. На встречу в редакцию многотиражки пришли трое: главный бухгалтер, пожилой человек, у которого была даже своя выпущенная местным издательством книжка «Спортивная ловля рыбы», та самая журналистка из многотиражки с ворохом неопубликованных рассказов и парень, который сразу чем-то очень понравился Боброву.

— Будем читать? — спросил его Бобров. — Вы что пишете?

— Разное, — сказал парень, пряча зелененькую папку за спину.

— Разное — это уже хорошо! — весело сказал Бобров. — Так и Лев Николаевич Толстой вполне мог бы ответить. А все-таки?

Парень смущенно мялся, журналистка оказалась побойчей и объяснила, что Саша Будиловский у них знаменитость, даже очерки пишет и печатает в областной газете. А вообще — первый подручный, правда, уже получил третий разряд плавильщика и скоро сам примет бригаду. Бобров рассмеялся: вот и пойми у нас кто есть кто!

— Вы больше смахиваете на артиста, пожалуй. В прошлом году я поехал в один институт к очень известному ученому и, увидев в его кабинете молодого человека в джинсах и потрепанном свитерке, спросил: «Академика еще нет?» Он ответил: «Кажется, уже есть» — и сел за свой стол... Я был в Америке, и американцы на каждом шагу талдычили мне, что они живут в стране неограниченных возможностей. Но там я видел известного поэта, который должен был работать на бензозаправочной станции, и прекрасного художника, который зарабатывал на жизнь мытьем посуды в паршивеньком ресторанчике.

— Я читал вашу книжку об Америке, — сказал Будиловский.

— Дело в том, — продолжал, словно не расслышав его, Бобров, — что мы перестали удивляться, если рабочий становится настоящим писателем или ученым, а колхозница — всемирно знаменитой певицей. И это, пожалуй, единственное в жизни, чему, по счастью, не надо удивляться. А теперь давайте работать.

Сначала свои рассказы читала журналистка, и Бобров вежливо, мягко, но не без скрытого ехидства разнес их так, что самому стало жалко девушку. Коротенькие рыболовные байки главного бухгалтера он похвалил, отобрал штук пять или шесть и пообещал показать в Москве Василию Пескову. Они не заметили, что прошло уже около двух часов.

— Что-то я маленько приустал, — сказал Бобров, поглядывая на Будиловского. — Может быть, с вами поговорим у меня в номере, в гостинице?

Но сначала, как ни упирался и ни отнекивался Будиловский, он повел его в ресторан ужинать, а потом, уже в номере, сказал:

— Давайте сюда вашу папку, я люблю читать сам. А вы пока полистайте журналы. — Там, в папке, было всего три вырезки из газет. — Негусто! Начнем с «Бога огня».

Пока он читал, Будиловский, делая вид, что тоже читает, незаметно разглядывал его. Из предисловия к той книжке об Америке он знал, что Бобров много ездил по стране и всему миру, что у него уже есть несколько своих книг и фильмов, но ни на секунду в нем не шевельнулось чувство зависти. Как бы он ни был смущен поначалу встречей с известным журналистом, сегодня где-то в глубине души он даже обиделся на него. Когда Бобров сказал, что не удивительно, если рабочий у нас становится настоящим писателем, он еле сдержался, чтобы не спросить, и спросить язвительно, — неужели работа писателя у нас общественно более значима, чем рабочего? Это была обида за свою нынешнюю профессию. Но он все-таки сдержался. Что ни говори — именитый гость.

Бобров захлопнул папку и положил ее на маленький столик.

— Ну что же, рабочий класс, — сказал он. — Так держать! Писать вы умеете почти профессионально. Хотите услышать от меня что-нибудь еще? Напишите о своем бригадире-Коптюгове большой очерк для журнала и пришлите мне. Это, конечно, будет потруднее писать, но...

— Я не буду писать, — сказал Будиловский, не дав Боброву закончить.

Очевидно, я сказал слишком резко, подумал Будиловский. Он заметил эту резкость.

— Вообще не будете больше писать? — удивленно спросил Бобров. — Нет, милый мой, будете! Раз вы уже немного побыли на этой сладкой каторге, которая называется творчеством, вас уже оттуда не вытащить! А о Коптюгове действительно можно написать журнальный очерк. Или... — Он внимательно поглядел на Будиловского. — Или я вас неверно понял? Вы не будете писать именно о нем, о Коптюгове?

— Да.

— Что-нибудь случилось? А ну-ка, мой друг Саша, давайте поговорим, сколько нам влезет, а? Хоть всю ночь.

— Спасибо, — сказал Будиловский, беря со столика свою папку. — Мне с утра на работу.

— Стоп! — взял его за руку Бобров. — Я ошибся. Вы не годитесь в артисты. У вас на носу написано, что вы держите против меня какой-то камень за пазухой. Выложите или нет?

Будиловский невольно улыбнулся. Значит, заметил! Ему вдруг стало легко, смущение и та короткая обида прошли, — он сказал просто: да, обиделся было, когда вы поставили писателей выше нас, рабочих. Бобров слушал его, чуть наклонив вперед голову, словно набычившись, и, едва Будиловский кончил говорить, ответил, пожалуй, даже сердито:

— Знаете что, Саша, больше всего я люблю писать о рабочих людях. Не потому, что сам был слесарем в депо. Я люблю

прямоту, с которой рабочие думают и говорят, простоту их отношений и безошибочное чутье на любую ложь и несправедливость. Давайте уж будем откровенны. Иной раз можно услышать этакое пренебрежительное: гегемон у нас зашибать здоров с получки и аванса, к тому же в наш век НТР ему моральные стимулы до лампочки — ему заработать побольше охота. Я зверею, когда слышу такое.

Он встал, ему трудно было говорить сидя. Ему нужно было двигаться, и Будиловский видел, как взволновал Боброва этот разговор.

— Можно немного воспоминаний? С одним ленинградским рабочим-судосборщиком мне довелось побывать на верфях в Японии, в Ниигата. Мы с ним будто бы попали в огромную подавляющую мозг машину. Всюду разноцветные дорожки, по которым может ходить только рабочий определенной профессии. Каждый знает лишь одну свою операцию. Через двенадцать часов проходная выплевывает такого измочаленного человека, чтобы через другие двенадцать часов он вернулся и снова отдал бы свою мускульную силу. Никакого творчества от него не требуется. А мой спутник — тоже простой рабочий, Саша! — как раз знаменит тем, что к нему на стапеле прислушиваются инженеры. Я понимаю, все это вам известно и без меня. Но я говорю к тому, что у нас, по счастью, рабочий человек прежде всего человек духовно богатый. Вы читали в «Известиях» о Богомолове? Вам говорят что-нибудь такие фамилии, как Журавлев или Чуев? Тоже ленинградцы. Я несколько лет работал в Ленинграде, потому и называю их... Однажды я был в Тегеране, на международной встрече парламентариев, и там один паршивенький подголосок вякнул, что, дескать, мы в Советском Союзе спим и во сне, видим, как бы проглотить бедные Европу и Америку. Чуев потребовал слова и так ответил, — с ходу, без всякой бумажки! — что нас потом спрашивали: это действительно токарь или под видом рабочего вы привезли доктора каких-то там хитрых наук?* Ну, а чтобы

* Эта история, о которой Бобров рассказывает Будиловскому, действительно произошла в Тегеране. Отвечая на выступление ирландца Макинти, токарь Балтийского завода имени С. Орджоникидзе депутат Верховного Совета СССР, дважды Герой Социалистического Труда А. В. Чуев сказал: «Я, русский рабочий, депутат советского парламента, хочу сказать, что мы... думаем насчет военных агрессивных пактов... Я не могу не реагировать на те выпады, которые сделал в адрес нашей страны мистер Макинти... позволивший себе облить грязью мою Родину, отдавшую 20 миллионов жизней ради спасения Европы от фашистской диктатуры. Господин Макинти сказал, что человек — это агрессивное животное. Но мы относимся к человеку иначе... Человек хочет мира, и ради мира и счастья он готов свернуть горы. Ради мира и счастья, а не ради войны и горя! Давайте заниматься делом, господа, а не повторением истрепанных басен в духе холодной войны!»

закончить разговор на эту тему, почитайте книгу Чуева. Вот что я хотел сказать, Саша: если рабочий создаст книгу, или картину, или скульптуру, или пишет музыку, — значит, он стремителен прежде всего в своем духовном росте. Ему мало отдать обществу положенные часы труда, вот это и есть наше подлинное богатство, друг мой Саша! Ну, — закончил он с улыбкой, — больше камней за пазухой нет?

— Уже нет, — тихо ответил Будилловский.

(Потом, дома, в общежитии, он попытается записать этот разговор — вернее, то, что говорил ему Бобров — и не сможет. Он помнил *слова*, но главным все-таки были не слова, а *как*, с какой страстью говорил Бобров, и это невозможно было записать на бумаге.)

— Тогда, — сказал Бобров, — давайте вы, Саша. О себе, о Коптюгове, о сомнениях, о мыслях и планах.

— Я хочу вас спросить... — начал Будилловский. — Вот вы сегодня сказали: настоящий журналист, настоящий писатель. Что вы имели в виду? Талант?

— Совсем нет! — быстро и живо откликнулся Бобров. — Белинский говорил, что ему неважна степень таланта, а важно, куда он направлен. Какой-нибудь Арцыбашев или даже Чарская были по-своему талантливыми, а кто их помнит? Настоящий, по-моему, это тот, кто не успокаивает, а будоражит человеческую совесть и помогает утверждаться нашим нравственным принципам. Вы согласны со мной? — Будилловский промолчал. — Не согласны?

— Я думаю о другом, — очень тихо сказал Будилловский. — О своем праве...

В тот вечер он рассказал о себе Боброву все, не понимая только, зачем он это делает, когда даже Сережка Ильин ничего не знает о нем. Все, все, ничего не скрывая, — об университете, о Наташе, о той статье, о смерти ученого, о Наташиной записке — вот она, всегда с ним: «Не пиши мне, не звони... Есть люди, которые не имеют права на любовь...» И еще — о Коптюгове, о том, как Коптюгов сам уговорил его написать этот очерк — «Бог огня», и о других статьях, которые он писал за него, и как Коптюгов требовал, чтобы он протащил как следует его мать и отчима, и о Сережке Ильине, как тот вволю поиздевался над тем, что он работает на Коптюгова. И, когда он замолчал наконец, боясь поднять глаза на расхаживающего по номеру Боброва, тот остановился перед ним.

— Жаль, — задумчиво сказал он. — Жаль, что у меня так мало времени... Хотел бы я познакомиться с твоим Коптюговым.

Будилловский удивленно поглядел на него. Он говорит о Коптюгосе, а не обо мне? Ему стало досадно: значит, зря рассказывал... Конечно, зря: чужой, совсем незнакомый человек... Но Бобров словно бы угадал его мысли и, протянув руку, помог Будилловскому встать.

— Тебе завтра рано на работу, Саша, и я тоже улетаю утром. Но вот тебе мой адрес — пожалуйста, пиши, звони, будешь в Москве — обязательно приходи и живи у меня сколько влезет. Что же касается твоего права... Права писать, права на любовь... я думаю, ты достаточно был беспощаден к самому себе и вернул такое право. Но никогда не тащи наверх честолюбцев и карьеристов. К сожалению, это наша общая вина: скольких паршивых людишек мы еще поднимаем на щит! Ну?

Он крепко пожал Будиловскому руку и, уже открыв дверь, добавил:

— И не бойся Коптюгова, Саша, хотя такие, как он, ох какие сильные люди! А почему?

— Почему? — спросил Будиловский.

— Потому что вроде бы тоже рабочие, — недобро усмехнулся Бобров.

23

Ильин не любил поздних звонков: каждый раз ему казалось, что в цехе что-то произошло, и он шел к телефону, уже заранее подготавливая себя к очередной неприятности. В этот вечер ему позвонил Нечаев и весело сказал, что металлурги могут спать спокойно. Ильин спросил:

— Есть выводы комиссии?

— Да. Конструкторский просчет в замковой части. Только что мне звонил из Москвы директор, так что все волнения позади.

— Спасибо, Андрей Георгиевич.

Его тронуло, что Нечаев не стал ждать утра, а позвонил сразу же, как только сам узнал о результатах работы комиссии. В этом было что-то такое неожиданно доброе и заботливое, что Ильин, не избалованный заботливостью, подумал: это от души или урок мне? Впрочем, думать было некогда. Сначала он позвонил Штоку, потом Эрпанусьяну. К телефону подошла его жена: нет, Тиграна нет дома, он сегодня в ночной смене. Тогда он позвонил в цех, и Тигран, подняв трубку, недовольно сказал:

— Подождите.

Должно быть, он держал трубку в руке, потому что Ильин отчетливо слышал каждое его слово. Другой же голос был отдален, очевидно тот, с кем разговаривал Тигран, находился в другом конце комнаты.

— ...ну и что? — слышал Ильин. — У тебя же график перед носом висит... Это меня не касается, это твой вопрос... Вот и делай, что хочешь. А я что, по-твоему, сталь к себе в карман лить буду?

«Второй — Малыгин», — подумал Ильин.

Эрпанусьян говорил громко, сердито, и Ильин словно видел его лицо — темное, с небритыми щеками (к вечеру они ус-

певали обрасти), с выкаченными черными глазами — и видел, как кривит рот Малыгин.

— Все! Я не могу тебя покрывать, понял? А хоть сам становись... Что я утром буду Ильину докладывать? (Малыгин что-то сказал). Ну, с тобой разговаривать, как с сытым ишаком... Я тебе правду говорю. Тебе бы только поскорее спихнуть отливки...

Ильин положил трубку. Он не хотел подслушивать дальше этот разговор, все было ясно и так: Малыгин не обеспечил подготовку форм и сегодня ночью сталь будет разливать по изложницам и еще «пйсать» в трубки, а завтра Малыгин начнет наверстывать то, что обязан был сделать вчера. График действительно у него под носом.

Но ведь что главное: оправдываться ему сейчас уже нечем! Земледелка начала работать как раз перед Новым годом, все вопросы снабжения отлажены как часы — вот и весь ты тут, Малыгин! Голенький! Раньше-то хоть на меня мог валить свои собственные грехи.

Ладно, разберемся завтра. Сейчас у него даже не было злости на Малыгина. Впервые за несколько недель напряженного ожидания он почувствовал, как легко стало дышать, и он улыбнулся про себя: должно быть, такое же ощущение испытывает человек, без вины побывавший под следствием. Ильин пошел на кухню, достал из буфета початую бутылку коньяку — полбутылки так и оставалось с Нового года, — плеснул в чашку и выпил. Что ж, за это не грех и выпить! И через минуту уже сидел возле телевизора, один, блаженно вытянув ноги. Надежда придет поздно — сегодня она дежурная машинистка, Сергей гоняется где-то со своими друзьями-приятелями и тоже, наверно, зайвится к полуночи... Он взглянул на часы — было начало одиннадцатого — и услышал шорох ключа в замочной скважине. Вернулся Сергей.

— Так рано? — спросил Ильин. — Не заболел ли ты, ребенок, часом?

— Часом нет, — ответил Сережка, поеживаясь и потирая замерзшие руки.

— Где был, что видел? — спросил Ильин, уже отвернувшись к телевизору. В последнее время они разговаривали не часто, и Ильин жалел об этом, но не замечал, что Сережка словно нарочно старается уйти по вечерам из дома. Если бы он заметил, то, наверно, переполошился. Такого еще не бывало.

— Так, — отозвался Сережка. — Всякие интересные встречи. Ты знаешь, что Лена Чиркина уезжает?

— Потрясающая новость! — спокойно сказал Ильин. — За муж выходит, что ли? Иногда это с ними случается.

— Я серьезно, батя, — тихо сказал Сережка. — Она же чудесная девчонка...

Ильин быстро поглядел на него. До сих пор он видел их вместе один раз, и то на фотографии — там, в партбюро, у Во-

ола, и вот сейчас странным образом они снова как бы оказались рядом. Догадка, в которую он не мог и не хотел поверить, словно обожгла его: он мгновенно связал и ту фотографию, и только что сказанные Сережкой слова, и торопливые слова Ольги с Лене Чиркиной, о том, что она в больнице...

— Что же ты, любишь ее?

Он спросил об этом через силу, и не потому, что такой разговор у них случился впервые: Ильин знал, что рано или поздно, а он все равно будет. Ему трудно было спрашивать: сейчас он просто-напросто испугался правды, потому что за этой правдой могли оказаться и грязь, и подлость.

— Не знаю, — сказал Сережка. — Я ее встретил сегодня, и она сказала, что уезжает...

Он не думает ни о чем, кроме того, что она уезжает, отметил Ильин.

— Куда? — спросил он.

— На Север, к брату. Брат у нее на Севере служит, военный моряк. Я ей говорю: что ты, дурочка, будешь там делать? Полярная ночь и все такое...

— А почему она уезжает, ты знаешь? — перебил Ильин, не сводя с сына глаз. Если знает, он хоть чем-то да выдаст это. Но Сережка покачал головой. Уезжает — и все. Поругалась с Генкой, наверно.

— С каким еще Генкой?

Теперь уже Сергей удивленно поглядел на отца.

— Тебе это так интересно, батя? С Усвятцевым.

Ильин еле удержался от того, чтобы не вздохнуть, не засмеяться облегченно, не показать, какая тяжесть пролетела мимо него. Как кирпич, сорвавшийся с крыши.

— Мне показалось, что это очень важно для тебя, — ответил он. — А что важно для тебя, всегда было важно и мне. Значит, она с этим Генкой...

— Ладно, все, батя, конец, перехожу на прием.

Он встал и ушел на кухню. Ильин слышал, как он наливает воду в чайник, зажигает газ. Во всем теле Ильин ощутил сейчас отвратительную дрожь. Но все-таки он тоже поднялся и пошел к Сережке, сел и придвинул к себе чашку.

— Нальешь и мне заодно, — сказал он. — Мы никогда не говорили с тобой на такие темы, Сережка. Конечно, матери и мне вроде бы еще рановато в бабки и дедки, но...

— У нее не может быть детей, — сказал Сережка.

...Когда он сегодня уговаривал ее остаться, не уезжать, Лена молчала. Они спрятались от холода в кафе, хотя Лена очень не хотела идти туда, но Сережка все-таки настоял на своем. Вдруг, когда они уже сели за столик, Лена спросила: «Я тебе нравлюсь?» — «Да». — «Ты растерялся и покраснел, — сказала Лена. — Значит, не соврал. Жалко». — «Чего жалко?» — «Все-го, — ответила она, — маму, папу, работу, тетю Олю, даже не-

множечко тебя... Не смотри на меня так, пожалуйста. Ты же знаешь, что у нас было с Генкой...» Он кивнул. «Ну вот, а теперь все, и я должна уехать, потому что... потому что у меня не может быть детей. Чего ты опять покраснел, глупенький?»

— Хочешь мой добрый совет? — спросил Ильин, когда Сережка пересказал ему весь этот разговор, и, не дожидаясь ответа, взял Сережку за руку. — Не уговаривай ее. Пусть едет. Сейчас это ей очень нужно. Я не знаю, что будет потом, и ты тоже не знаешь, и никто не знает, но бывает такая пора, когда человеку надо уехать, оторваться от самого себя, от прошлого... Это не всегда удается, но пусть она попробует. Пойми это и не мешай ей год, два, сколько сможешь не мешать.

Сергей стоял к нему спиной, глядел на закипающий чайник и молчал.

— Ты понял меня, Сережа?

— Да, — глухо сказал он.

В ту ночь Ильину приснился такой сон: будто бы Сережка — еще совсем маленький — бежит ему навстречу раскинув руки, как это бывало всегда, когда он приезжал на дачу, и вдруг падает. Ильин, задыхаясь, бежит к нему, нагибается, а Сережки нет, только его трусишки и майка лежат на земле.

Он проснулся с тревогой, с сильным сердцебиением, в голове стучало, такого состояния он еще не испытывал никогда. Надежда спала, и даже во сне у нее было хмурое лицо. Ильин встал и прошел в коридор, приоткрыл дверь в Сережину комнату.

— Ты что, батя?

— Не спишь? — удивился Ильин.

— Не могу, — отозвался из темноты Сергей. — Ты задал мне слишком трудную задачу.

— Спи, — сказал Ильин. — Тебе всего двадцать два. Жизнь еще подкинет тебе задачки и потруднее.

Коптюгов понимал, что сейчас, после развода и суда — всего того унижительного и тяжкого, что пришлось пережить Нине, ему снова остается одно: ждать. Ждать, когда время все-таки возьмет свое, Нина успокоится, никаких надежд у нее больше нет, и она неизбежно должна прийти к Коптюгову, как приходят за спасением. Ну что ж, он будет ждать. Это не налагло на него никаких обязательств. Время от времени Коптюгов встречался со своими давними или новыми приятельницами, Генка Усвятцев всегда был под рукой, и оказалось, он лихо умел устраивать веселые вечеринки, неумомительные и тоже ни к чему не обязывающие. Встретились — провели время, и гуд бай, крошка, до следующего раза. С отъездом на Север Лены Чиркиной Генка смог вздохнуть облегченно: до того момента, пока он не убедился, что Лена уехала, он все-таки по-

баивался какого-нибудь скандала. Но никакого скандала так и не было.

Ни он, ни Коптюгов не знали одного. Перед отъездом Воол попросил Лену зайти к нему — не в партбюро, а домой — и, усадив перед собой, провел ладонью по ее голове, как делал это всегда.

— Я очень хочу, чтобы ты рассказала мне все, девочка, — попросил ее Воол. — Понимаю, что трудно, не хочется, но, поверь, я прошу тебя об этом не из любопытства. Кто тебя уговорил... сделать это?

— Ехать? Я сама.

— Нет. Лечь в больницу.

— А, — сказала Лена. — Какое это теперь имеет значение? Ну, Коптюгов.

Воол не удивился, не переспросил — он ждал именно этого ответа, сам не понимая, впрочем, откуда у него была такая определенность догадки. Значит, Коптюгов!

— Что он тебе говорил?

Лене не хотелось отвечать, но Воол настаивал, и очень коротко, без всяких подробностей она рассказала ему о своем разговоре с Коптюговым и о том, как уже после больницы начала замечать, что Генка изменился к ней.

— Хорошо, что ты едешь, — сказал Воол. — Приди в себя, оторвись от этого Генки — я-то его, прямо скажем, не очень долблываю — и возвращайся счастливой.

Значит, Коптюгов, думал Воол. Напористый мужик, сумел уговорить девчонку...

День спустя на партбюро смотрели список представленных к правительственным наградам, и среди них был Коптюгов — к ордену «Знак Почета»... Воол спросил:

— Не рановато ли? Человек работает у нас не очень давно.

— Зато как работает! — немедленно возразил Шток, и члены партбюро поддержали Штока, а не Воола. Промолчал лишь один начальник цеха. Но Воол понимал почему: в том списке была и фамилия Ильина и говорить ему о других было просто неудобно.

— У членов партбюро будут еще какие-нибудь вопросы?

— Да, — сказал Ильин.

Обычно на заседаниях партбюро все говорили, не вставая, но Ильин встал, и само по себе это движение было решительным, словно подчеркивающим важность того, о чем он хотел сказать.

— Вопрос у меня такой: будем ли мы, как коммунисты, как члены партбюро, давать оценку происходящему в цехе или станем жить по-семейному, по-домашнему и ограничиваться покачиванием головами? Я сегодня сидел и ждал, поднимет ли кто-нибудь вопрос о производстве. Никто не поднял. Куда приятнее, конечно, об орденах! Между тем не успел начаться новый год, а у нас уже имеется нарушение суточного графика.

Я говорю о Малыгине, хотя, наверно, стало уже привычным говорить о Малыгине...

Он рассказал, как несколько дней назад Малыгин не обеспечил подготовку форм для ночной смены.

— А главное — почитайте его объяснительную. Малыгину больше нечем крыть, нечем оправдываться, как было раньше. Я не поленился, проверил сам: у него было все необходимое. Короче говоря, я ставлю вопрос так: поддержит меня партбюро — хорошо, не поддержит — что ж, буду добиваться увольнения Малыгина в одиночку...

— Сейчас нам это не решить, — сказал Воол. — Такие вопросы надо готовить. Ты останься, Сергей Николаевич...

Ильин остался. Сейчас Эдуард Иванович начнет этак потешески журить меня. Дескать, нельзя же рубить сплеча, да еще неожиданно. Было же у тебя время предварительно поговорить со мной... Он внутренне напрягся. Что я скажу? Да то, что вы, секретарь партбюро, вы бываете на каждой оперативке и все знаете сами. Знаете — и молчите, будто это не ваш цех и не коммунист Малыгин сорвал суточный график по фасону.

— Ты сегодня успел пообедать?

— Нет.

Воол нагнулся, вытащил из-под стола термос, из ящика — пакет, развернул его, там были бутерброды с ветчиной.

— Я тоже не успел. Давай по чайку? У меня индийский, знаешь, такой, со слоником на обертке...

— Ну, если со слоником... — усмехнулся Ильин. Ему хотелось есть, и он взял бутерброд. Стареед Эдуард Иванович, подумал он. Не хочет нервничать, не хочет портить отношений с людьми... Когда я пойму это про себя самого, подам заявление об уходе и попрошусь на должность начальника смены. Четыре дня отработал — два гуляй.

Но после бутербродов и чая он поостыл и, когда Воол убрал со своего стола остатки еды, спросил уже совсем спокойно:

— Значит, не будем ссориться, Эдуард Иванович?

— Ссориться? — удивленно поглядел на него Воол. — Я и не собирался с тобой ссориться. Я хотел рассказать, что вчера Малыгин просидел вот здесь, на этом стуле, часа полтора — вот с ним я действительно поссорился. Из-за тебя, между прочим. Он сказал, что чувствует твою неприязнь к себе, поэтому и работать как следует не может. Ну, тут-то я и не сдержался...

Он сказал еще не все. Ильин чувствовал это и молчал.

— Я предложил ему подумать... Ну, по собственному желанию. Дадим ему приличную характеристику, чтоб не портить человеку жизнь, и поможем найти хорошую работу, конечно. Вот почему я не стал сегодня заострять этот вопрос на партбюро. Почему ты молчишь? Не одобряешь, что ли?

Вдруг Ильин начал смеяться — сначала тихо, потом все громче и громче: он просто представил себе, как Воол мог ссориться с Малыгиным. Полтора часа? Да то, что Воол называет

ссорой, было, скорее всего, милой домашней беседой, тоже под бутерброды и чаек «со слоником». Воол — и ссора! Это он сейчас говорит мне так, будто подлаживаясь под меня. Воол поссорился! «Ну, дает!» — как сказал бы кто-нибудь из молодых.

— Ладно, Эдуард Иванович, — все еще смеясь, махнул рукой Ильин. — Спасибо, что поссорились! Даже на приличную характеристику почти согласен.

— Ты что же, не веришь мне? Не веришь? — забеспокоился Воол.

— Что поссорились? Извините — нет! У меня в институте был один профессор. Если кто-то из студентов начинал на экзамене плавать и надо было лепить ему законную пару, профессор говорил: «Что же вы, голубчик, дорогой мой, наделали? Я же ночь спать не буду! Считайте, что мы с вами, голубчик, крупно разругались сегодня», — и ставил «удовлетворительно». — Ильин перестал смеяться и встал. — Спасибо за слоника, Эдуард Иванович. А если Малыгин надумает уходить... так и быть, поставим ему троечку, голубчику дорогому нашему.

Он уже шел к двери, когда зазвонил телефон и Воол поднял трубку.

— Что? Кого порекомендовать? — Ильин вышел в коридор, и до него донеслось уже из-за закрытой двери: — Коптюгова, я думаю...

Ох до чего хитер! — вдруг снова, но уже про себя засмеялся Ильин, поднимаясь по внутренней лестнице. — Он же меня сначала своим индийским со слониками успокоил! Настроение у него было ровное, он давно уже не испытывал такого. Ну и дипломат Эдуард Иванович! А может быть, так и надо, и стакан крепкого чая порой тоже совсем неплохое подспорье в партийной работе?

У Коптюгова уже не было чувства новизны происходящего. Подумаешь, выступить на аэродроме, когда прилетит французская молодежная делегация, и еще раз — на приеме в педагогическом институте. Даже не надо обращаться к Сашке, вполне могу написать выступление сам. А Сашка пусть вкальвует за меня, пока я буду с этими французами.

Ему нравилось, что на аэродром приехало не много народу — в основном секретари горкома и обкома комсомола, с которыми его знакомили и которые, пожимая его руку, улыбались: как же! Отлично знаем! И в газетах о вас читали, и на экране видели... Было приятно, что снова стрекотала камера кинохроники, и он замечал, что чаще, чем в других, оператор прицеливался в него стеклянным глазом своего аппарата. То, что он был здесь среди немногих встречавших, тоже льстило Коптюгову. На двух девушек, стоявших в стороне, он не обращал внимания — должно быть, переводчицы.

Самолет опаздывал, времени для разговоров оказалось много, и Коптюгову было интересно стоять среди тех, кто, в его понимании, сумел подняться выше, чем он, хотя это были парни моложе его и, чего уж греха таить, вовсе не казались ему умнее его самого. Они говорили о своих делах: в институтах кончаются экзамены, надо решить вопрос с путевками в дома отдыха для студентов... На «Луче» плохо организовано соревнование ткачих, надо послушать комитет комсомола на бюро, сколько же можно тянуть... Скоро откроется навигация, а с агиттеплоходом еще ничего не сделано... Коптюгов словно бы открывал для себя иной, незнакомый ему мир забот, которыми жили эти ребята, и снова ему нравилось, что одно его присутствие здесь как бы ставит его рядом с их некой исключительностью, значимостью.

Он всегда стремился к таким людям, еще в школе, стараясь чаще быть на виду, но это ему удавалось не всегда, потому что там больше любили отличников, а он никак не мог дотянуться до отличников. Но какое было счастье нести на празднике знамя пионерской организации! Тут уж назначали именно его, самого сильного, и как здорово было идти впереди, когда все остальные — мелюзга, очкарики, слабаки — шагали сзади!

В армии было иначе. Строгого и исполнительного сержанта заметили очень быстро, на всех сержантских совещаниях ставили в пример другим, офицеры были спокойны, если на дежурство заступал Коптюгов. У него не бегали в самоволку. У него не сачковали и не прикидывались больными. Не все было приятно в воспоминаниях Коптюгова: он не любил вспоминать, как один солдат — Халид Гиятуллин — пожаловался ему на боль в животе, Коптюгов сказал: «Ну, у меня это не пройдет. У меня хорошее лекарство есть — строевая. И чтоб больше я никаких жалоб не слышал!» Через два дня Гиятуллина увезли в город на вертолете с перитонитом. Еле спасли. В часть он не вернулся. Коптюгова пожурили малость — тем дело и кончилось. Через полгода, перед самой демобилизацией, он случайно услышал, и, конечно, дослушал до конца, разговор двух офицеров — командира батальона и заместителя по политчасти:

«Ты что, предложил Коптюгову остаться на сверхсрочную?»

«Да. А что?»

«А то, что солдаты его терпеть не могут. Как будто для тебя это новость. Или хочешь жить спокойно за счет жестокости?»

«У нас армия, а не детский садик».

«У нас Советская Армия», — поправил его замполит.

В последнюю перед демобилизацией ночь, когда ребята уже не могли уснуть и вся казарма гудела от голосов, Коптюгов приказал — спать. И один из самых безмолвных, самых спокойных, к кому Коптюгов даже при большом желании никогда

не мог придрататься, закинув руки за голову и мечтательно прикрыв глаза, обложил Коптюгова таким матом, что было видно — он счастлив, что доставил сам себе это удовольствие. А утром, видимо, сговорившись, ни один не подал ему на прощание руку...

Плевать!

С годами Коптюгов понял, что можно делать, чего нельзя, а если нельзя, но хочется, то как можно сделать то, чего нельзя. На том заводе, куда он приехал вместе со своим армейским приятелем — тоже сержантом, он долго приглядывался, примерялся к обстановке, и его снова заметили, избрали в комитет комсомола — и сорвался!.. На чем сорвался-то, — удивительно, какой еще дурак был! — на тех же самых своих сержантских привычках! И на следующей же комсомольской конференции получил сто двадцать два против, больше половины... Уехал в другой город. Работал, как слон. Третий, четвертый, пятый разряд...

Дикторша объявила, что самолет идет на посадку, и встречающие двинулись к выходу. Одна из тех девушек, которых он заметил раньше, попыталась пройти впереди него, но Коптюгов легонько придержал ее. Это был непорядок. Сначала должны пройти секретари и он. Девушка удивленно поглядела на него снизу вверх, но промолчала.

Он не ошибся: эта невысокого роста, с неприметным, в общем-то, лицом девчонка действительно оказалась переводчицей, и уже у трапа бойко залопотала по-французски. Подошла очередь говорить Коптюгову, — из того, что перевела гостям девушка, представляя его, он понял только «мсье Коптюгов», и гости негромко зааплодировали, с любопытством разглядывая его. Он высился над ними — без шапки, со всклоченными, как всегда, волосами, большой, словно налитый нерастроченной силой, и сам чувствовал в себе эту силу, приподнимающую его все выше и выше.

Снова были аплодисменты, когда он повел рукой и пригласил гостей в город, и группа тронулась к автобусу.

— Рогова! Где Рогова? — спросил кто-то.

Та девушка-переводчица, заговорившись с кем-то из французов, отстала и, услышав, что ее зовут, побежала вперед. Коптюгов поглядел на нее внимательней и, повернувшись к идущему рядом с ним секретарю горкома комсомола, спросил:

— Эта Рогова случайно не родственница?..

— Дочь, — кивнул тот, недослушав Коптюгова.

Французы не интересовали его, тем более что они сидели впереди и Коптюгов не видел их лиц.

Он разглядывал Рогову, которая стояла с маленьким микрофоном в руке, что-то говорила гостям, показывая за окна автобуса, и головы послушно поворачивались вправо и влево,

словно повинуюсь ее движениям. У нее был очень звонкий голос, и она картавила. Коптюгов видел, как она откинула капюшон и сразу стала похожей на мальчишку, потому что у нее были коротко стриженные рыжеватые волосы, а брюки лишь подчеркивали это сходство. Что-то рассказывая, она несколько раз поглядела и на Коптюгова — точно так же, как глядела на всех, никак не выделяя его взглядом из остальных, кто ехал сейчас в автобусе. «Запомнила или забыла? — с досадой думал Коптюгов. — Ничего, у меня еще есть время — целый день...»

Потом весь день он старался держаться ближе к этой девушке — в музее, в Доме дружбы, в институте... Ее звали Лиза. И французы и они вместе обедали в гостиничном ресторане, Коптюгову удалось сесть рядом с Лизой, и смущенно и неуклюже он ухаживал за ней.

— Давайте я буду переводить. А вы пока поешьте как следует.

— Вы знаете французский? — спросила она, не поняв шутку.

— Я знаю только русский и то со словарем, — ответил Коптюгов. — Мне ведь не довелось много учиться. Школа, потом армия, потом завод... А вы здорово говорите по-французски! Даже картавите, как они. Я сначала подумал — это у вас от природы...

Их то и дело перебивали, Роговой надо было переводить. Все-таки Коптюгов успел узнать, что она студентка четвертого курса пединститута.

Он выступил на вечере, и снова было приятно услышать, как его представляли и гостям, и нашим студентам: «Известный рабочий, сталевар с завода газовых турбин...» Один из гостей спросил о чем-то Рогову, она ответила и повернулась к секретарю горкома комсомола. Коптюгов услышал:

— Мишель удивился, когда я сказала «известный рабочий». Он говорит — бывают известные артисты, политические деятели, космонавты и даже гангстеры, но «известный рабочий» он слышит впервые. Ты хочешь ему что-нибудь сказать?

— А пусть Коптюгов скажет сам. Скажите, Костя.

Это предложение было неожиданным, оно сбивало Коптюгова: то, что он писал накануне и запомнил почти слово в слово, теперь надо было переделывать на ходу. Ну что ж, так и начнем тогда — с известности...

Он говорил легко, просто, не прислушиваясь к самому себе, и уже знал, видел, чувствовал каждой своей клеткой, что его слушают с интересом, внимательно и дружелюбно, а может быть, даже и с некоторым удивлением. Правда, сначала он, улыбнувшись, попросил прощения за то, что не оратор, говорить не мастак (из зала кто-то крикнул: «Все не мастаки!»), но скажет по-своему, как думает. Так вот, друг Мишель (он поглядел на маленького черноголового француза) не понимает, что такое «известный рабочий»... А между тем у нас людей ценят по труду, и рабочая слава у нас — самая почетная и проч-

ная. Привел несколько примеров, начиная со Стаханова. Дальше все было проще — дальше он просто повторил то, что писал вчера дома. И пошел на свое место под аплодисменты. Секретарь горкома комсомола незаметно показал ему большой палец.

Он мог бы ликовать сейчас — ведь все получалось так здорово, лучше не придумаешь! Но что-то подсказывало Коптюгову: подожди, еще рано, ты еще не все сделал сегодня, ты еще можешь шагнуть сразу через три ступеньки, только не торопись, не спугни ту единственную возможность, которая совсем рядом, вот она — и тогда... У него перехватило дыхание. В конце концов, я ничем не рискую. Чего я вдруг испугался?

После вечера они отвезли французов в гостиницу. Час был уже поздний, и Коптюгов сказал Лизе:

— Вы разрешите, я провожу вас?

— Зачем? — удивилась она.

— Для собственного спокойствия, — сказал Коптюгов.

— Проводите, — пожалала она узенькими плечами.

На улице было морозно, и Коптюгов сказал, что надо бы схватить мотор. Лиза фыркнула:

— Вот еще! Я отлично обхожусь автобусом.

— Давайте обойдемся автобусом, — засмеялся Коптюгов, чуть откидывая голову. — А вы, оказывается, ершистая!

— А вы, оказывается, наблюдательны, — в тон ему ответила Лиза. — Можете взять меня под руку, между прочим.

В автобусе тоже было холодно. На стеклах, покрытых толстым мохнатым инеем, виднелись надышанные дырочки, отпечатки ребячьих ладошек, даже надпись: «Эдька, я тебя жду». Лиза села, зябко запахивая полы пальто.

— Вас знобит, — тревожно сказал Коптюгов. — Хорошо бы, как приедете, чаю с малиновым вареньем.

— Ерунда, — ответила Лиза. — Просто я сегодня впервые в жизни разговаривала с настоящими французами, так что это у меня чисто нервное. Французы не любят, когда на их языке плохо говорят. Поэтому сегодня у меня было что-то вроде экзамена.

— Выдержали?

— Старалась. А вас, между прочим, тоже знобит, по-моему.

— Ну, я-то привычный!

Он рассказал ей, каково было в армии, особенно во время зимних учений, — и ничего, даже самым паршивеньким насморком никто не болел. Да и сейчас, в цехе, тоже: спереди печь жарит так, будто к чертям в гости попал, а сзади холодный ветер поглаживает... Он говорил об этом с улыбкой, ничуть не навивая себе цену, и тем не менее как бы давая понять свою силу.

— А вы перемените профессию, — сказала Лиза. — В какой-нибудь бухгалтерии всегда тепло и не дует.

«Она не говорит, а фыркает, — подумал Коптюгов. — Совсем как кошка».

— Зачем? — удивился он. — Мне моя работа нравится. Вам ведь нравится ваша?

— Вот вы уже и обиделись! — сказала Лиза. — Не обращайтесь внимания. У меня ужасный характер. Нам выходить.

Они прошли квартал, и Лиза показала на большой серый дом. Коптюгов начал стаскивать с руки перчатку, но Лиза сказала:

— Зайдемте ко мне. Отогреетесь немного.

— Удобно ли? Время-то позднее...

— Удобно. — Она поглядела на окна. — Мои еще не спят.

Вот оно! Дверь открывает немолодая женщина, и Лиза говорит с порога:

— Мама, мы замерзли и устали. Знакомься, это Коптюгов. Папа дома? А от Володьки ничего?

Коптюгов стоял, не решаясь снять пальто.

— Ну, чего же вы?

— Раздевайтесь, раздевайтесь, — торопливо поддержала Лизу мать. — Лиза, как всегда, обрушила на меня столько вопросов, что можно растеряться. От Володи телеграмма, прилетает завтра.

— Ура! — сказала Лиза. — А пока у нас зуб на зуб не попадает. Где эти чертовы тапочки?

— Это тоже по-французски? — засмеялся Коптюгов.

— Да, — сказала мать. — Она невыносима! Вот твои тапочки, а я пойду ставить чайник.

Лиза провела Коптюгова в свою комнату — маленькую, с полками, набитыми книгами. Ничего лишнего: книги, магнитофон на столе, диванчик, стул, на полках, кроме книг, — фотографии, и он сразу увидел одну большую — парень в форме летчика ГВФ. Очевидно, это и есть тот Володька, который прилетит завтра.

— Вы что, знаете его? — спросила Лиза, перехватив взгляд Коптюгова.

— Нет, конечно. Кто это?

— Один чокнутый, — сказала она.

— А, — сказал Коптюгов.

— Посидите немножко, — сказала Лиза и вышла, оставив дверь незакрытой. Коптюгов повернулся к другим фотографиям.

Вот ее отец — секретарь обкома партии Рогов. Очевидно, на даче, с удочками... Другая фотография — Коптюгов потянулся к ней. Группа студентов, очевидно, строительный отряд. Лиза сбоку делает кому-то «рожки». Он нашел ее на снимке сразу, и сразу же увидел Сергея Ильина, потому что именно над ним она и растопырила два пальца. Она знает Сергея?

Но, разглядывая фотографии, Коптюгов невольно прислу-

шивался к голосам: сначала слышался голос Лизы, мать что-то ответила ей; потом раздались шаги, и он замер.

— Дочка! Почему не идешь здороваться? Что за непорядок!

Рогов появился в дверях и недоуменно глядел на Коптюгова, словно удивленный тем, что вместо маленькой дочки увидел здесь здорового мужчину. Он узнал Коптюгова не сразу, а узнав, протянул руку и добродушно, весело, дружелюбно сказал:

— Сам бог огня! Это какими же путями?

— Здравствуйте, Георгий Петрович. Вот — Лиза затащила отогреться.

Он сказал это так, будто извинялся, что дал себя уговорить прийти сюда в поздний час, но Рогов засмеялся:

— Ничего, ничего! Все правильно, бог огня. Вы что, тоже встречали французов? Ну и как?

Лиза уже шла сюда и услышала вопрос отца. Приподнявшись, она поцеловала его в щеку, и Коптюгов увидел, как нежно обнял ее Рогов.

— Коптюгов прочитал им целую лекцию о рабочем классе, — сказала она.

— Ну и хорошо сделал, — одобрительно кивнул Рогов. — Они ж там совсем мало знают о нас. Извините, я забыл ваше имя.

— Константин.

— Садитесь, садитесь, Костя.

Он был в теплой домашней куртке и никак не походил на того Рогова, которого Коптюгов видел прежде. Здесь, у себя дома, в этой куртке, Рогов казался проще, мягче, спокойнее — или это сказывалась дневная усталость? — но Коптюгов все-таки не мог преодолеть чувства скованности, хотя знал, что она будет. Будет, если он окажется здесь... И вот он здесь, и Рогов сидит рядом на Лизином диванчике и, кажется, даже рад, что пришел знакомый человек.

— Я готова подумать, что ты знаешь в городе всех, — фыркает Лиза.

— Ну, дочка, Костю Коптюгова не знать нельзя! Слушай чаще радио. Значит, сдержали свое слово? На сколько сократили время плавки?

— В среднем на девятнадцать минут, Георгий Петрович. Но это, я думаю, не предел.

— Подумайте хорошенько, — уже серьезно сказал Рогов. — Я инженер и представляю себе вашу работу. Не делайте ничего сверх сил. Нам не надо, чтобы люди работали на пределе, на износ.

Вот оно!

Вот то, о чем еще вчера — нет, еще сегодня утром — Коптюгов даже не мог мечтать, чего не мог предполагать в своих самых смелых мечтах о будущем. Скованность мало-помалу

проходила, уступая место тому ликованию, которое он несколько часов назад почти суеверно отгонял от себя.

Лиза опять фыркнула: между прочим, рабочий день у всех давным-давно кончился... Рогов положил свою руку на ее плечо, как бы останавливая дочку.

— Ну, что у вас в цехе? Как новый начальник?

— Все нормально, Георгий Петрович. План дали.

Он нарочно ничего не ответил на второй вопрос. Он не знал, что кроется за ним и что Рогову *хотелось* бы услышать об Ильине. Если б Коптюгов знал, как Рогов отнесится к Ильину, — другое дело, а иначе можно попасть впросак. Поэтому он, улыбнувшись, сказал Лизе:

— Мир все-таки тесен. Вон на том снимке вы с Сережкой Ильиным... А он у меня в бригаде, между прочим. Третьим подручным.

— Сын начальника цеха? — спросил Рогов.

— Да, — ответила Лиза. — Мировой парень. Не каждый решится уйти на завод после второго курса. Я же тебе рассказывала осенью.

Рогов, конечно, уже не помнил, что ему осенью рассказывала дочка. Пожалуй, его даже совсем не заинтересовало это. Он снова повернулся к Коптюгову.

— Вы сказали — нормально, план дали, как будто этим все в нашей жизни и исчерпывается. То, что вы дали план, это я по своим обязанностям знаю. Меня интересует обстановка, настроение людей — то, что не выражается в цифрах.

Коптюгов, разумеется, не знал и не мог знать, что Рогов если задавал какой-нибудь вопрос, то ждал на него прямого ответа, и сейчас заметил, что гость попытался от его вопроса увильнуть. Этот быстрый переход к другому разговору — о сыне начальника цеха — не обманул его.

Но и Коптюгов тоже сообразил, что вывернуться ему не удалось. Все его чувства были обострены, и это странное, неизвестно как и откуда появившееся ощущение, будто Рогов чем-то недоволен, насторожило и напугало его одновременно.

— Обстановка тоже нормальная, Георгий Петрович. Но я-то ведь что: мое дело рабочее — сталь давать.

«Промахнулся!» — подумал он, лихорадочно соображая, как бы скорее поправить ошибку, потому что лицо Рогова вдруг стало не то строгим, не то скучающим.

— Правда, пришлось тут на партсобрании крупно поговорить... Пьянка в цехе была, заместителю начальника цеха строга-ча дали... Сергей Николаевич — ну, Ильин, начальник цеха, пожалуй, начал перегибать малость, требует очистить цех, а мы все-таки за воспитательные меры... Живые люди все-таки. Не с ангелами же нам работать!

«Пронесло!» — как бы про себя выдохнул он. Рогов покоился на него.

— Ну вот, — снова добродушно сказал он. — А я уж было

подумал, не рассердиться ли на вас. Веди, дочка, гостя чай пить, а мне еще малость поработать надо. Успехов вам, бог огня!

Снова рукопожатие...

Через полчаса Коптюгов уже уходил, до двери его провожала Лиза. Он сказал:

— Знаете, Лиза... Вы разрешите как-нибудь позвонить вам? — И, не дожидаясь ее ответа, начал торопливо объяснять, что у него никогда не было такого вечера, что он совсем один, а с ней так интересно! Лиза фыркнула:

— Звоните, только знайте, что Володька жутко ревнив.

— Тот легчик? — спросил он.

— Тот псих, который отважился жениться на мне, — ответила она.

Он спускался по лестнице совсем разбитый и все-таки счастливый. «Костю Коптюгова нельзя не знать...» Ничего! Все хорошо!

Ну, если не все, то почти все...

Он не чувствовал мороза — лишь спокойную усталость, какая бывает после удачно сделанной работы, и шел неторопливо, наслаждаясь этой усталостью, и тишиной безлюдной улицы, и морозной свежестью воздуха.

Все хорошо! Все как *надо!*

24

Прошли февраль, март, наступил апрель.

В первых числах Ильин не выдержал — взял отпуск и уехал на заводскую базу. Бог-то с ним, с Черным морем, которого он никогда не видел.

Весна была ранняя, и снег сошел быстро. Лес стоял прозрачный, и березы словно бы опирались на свои отражения в воде. Еще не слышно было пения птиц, только синички пищали под окнами да воробьи затевали весенние драки. Наливался земными соками краснотал, и пушились вербы, временами начинал идти дождь, но Ильин все-таки шел в лес, узнавая и не узнавая его; все здесь было ему знакомо и в то же время внове. Впервые за многие годы он видел вот такую весну, с утренними туманами, встающими из болотных низин, и с еще нежарким, но ласковым апрельским солнцем.

Он попросил директора базы, чтобы тот поселил его в той же комнатке под крышей, где жил несколько лет назад. Здесь все было так же, даже обои те же, даже настольная лампа с отбитым уголком на стеклянном абажуре.

Первые дни Ильин только и делал, что отсыпался и гулял, гулял и отсыпался, не замечая, как сама собой наступила незнакомая ему внутренняя заторможенность. Мысли — и те были медленными, а в лесу и вовсе наступала пора полного бездумья. В резиновых сапогах и куртке он снова вышагивал

километров двенадцать, а то и больше, словно нарочно выматывая себя этой спасительной ходьбой. Потом это состояние бездумности начало проходить, и все вернулось: тяжелое настроение, тоскливые мысли о доме, о Надежде и себе, и тот мучительный вопрос: чем же все кончится? — на который он до сих пор так и не мог дать ответа.

И все-таки что-то уже переменялось в нем. Он это чувствовал, и знал, что именно переменялось. Все эти месяцы, едва он начинал думать о своих отношениях с Надеждой, рядом с ним словно бы оказывался другой человек — Ольга, и ему становилось легче и спокойней. Быть может, так происходило потому, что тогда, еще зимой, когда они вышли от Водолажской, Ольга взяла его под руку и сказала: «Я очень виновата перед тобой; Ильин». — «Ты?» — «Да. Когда ты позвонил, я не могла встретиться с тобой, хотя догадывалась, что тебе худо... Мне надо было выбирать между Ниной и тобой. Она оказалась более беззащитной, понимаешь? Но теперь у тебя все прошло?» Он покачал головой: что у него должно пройти? «Ты чудак, Ильин, — тихо сказала Ольга. — Я понимаю, ты не хочешь ничего рассказывать о себе. Давно, всю жизнь... Боишься показаться слабым? Но я-то вижу... Ты можешь ответить мне только на один-единственный вопрос?» — «Смотря какой вопрос», — сказал он. «Зачем ты мучаешь себя?»

Он сказал, что все не так просто. Что она не понимает многих вещей. Что есть элементарное чувство ответственности перед человеком, который отдал тебе двадцать лет. «А ты ничего не отдал?» Он вспомнил злые слова Надежды, те самые: «Ты ничего не дал, кроме денег...», — но вовсе незачем было повторять их Ольге, и он промолчал. Ольга права, конечно. Но как-то это не по-мужски — решить, что мы квиты...

Теперь ему было легче от одного сознания, что рядом всегда Ольга, словно вернувшаяся после стольких лет, и что она готова броситься к нему на помощь в любую минуту, как курица к цыпленку, и что нет у него, кроме Сережки, человека ближе, чем она. Только не поздно ли пришло это ощущение? Наверно, не поздно. У доброты нет возраста.

Он не пытался разобраться в раздвоенности своих чувств — это было ему не под силу. Возможно, что новое, такое неожиданное и желанное, делало его сейчас более жестоким и неприимимым к Надежде, и он — усталый человек — хотел освобождения от прошлого с излишней торопливостью, не отдавая себе в этом отчета. Слишком много худого было там, позади, чтобы он хотел сейчас вспоминать хорошее, *гальванизировать*, как сказал бы Колька Муравьев. Привычка еще держала его, но стремление к Ольге лишало Ильина той объективности суждений о Надежде, которая, вероятно, еще могла бы что-то спасти. Он просто уже не хотел ничего спасать из своего прошлого.

Каждый день он по-прежнему вышагивал свои километры

и однажды подумал: я как кошка. Это кошки находят среди трав свою лечебную травинку, а я хожу, и это единственное лекарство. И еще я умею ждать, как кошка. Но, вернувшись, он начал звонить на завод Ольге, чувствуя, что ему необходимо хотя бы услышать ее голос, потому что ходьба не успокоила его. Прямой связи с экспресс-лабораторией не было. В прошлом году, став начальником цеха, Ильин распорядился снять там городской телефон, чтобы девчонки поменьше болтали со своими кавалерами, и вот теперь мучился сам, стараясь пробиться через коммутатор. Слышимость была отвратительной, в трубке все время что-то трещало сквозь короткие гудки. Дозвониться через коммутатор, конечно, было дохлым делом. Он тихо чертыхался, потом решил — завтра с утра пойду на станцию, попробую оттуда.

До станции было недалеко, километра три. Ильин поднялся на пригорок и увидел, что дорога, сбегаящая в низину, налита туманом, как чашка молоком, и посреди этого молока плывут две точки — две головы. Такое он увидел впервые: разлив тумана и две медленно плывущие головы...

Он не стал спускаться в низину. Здесь, у дороги, были свалены бревна, черные от влаги, и он сел на них, доставая сигареты. Двое подходили ближе и ближе.

— Эге-гей, — донеслось до него. — А самоварчик с собой не прихватил, батя?

Сережка!

Ильин улыбался, глядя, как из тумана вырастают плечи, потом туловища, горбатые от рюкзаков, — и вот они, голубчики, Сережка и Будиловский, раскрасневшиеся от ходьбы.

— Что у вас, ребята, в рюкзаках? — спросил он.

Сергей и Будиловский переглянулись и расхохотались.

— Чего это вам так весело?

— Да просто так, — ответил Сережка. — Когда я тебя увидел, сразу сказал Сашке: давай спорить, что батя спросит: «Что у вас, ребята, в рюкзаках?» Я слишком хорошо знаю тебя, батя. Ну, как ты здесь? Плаваешь?

— Плаваю, загораю, по вечерам — ресторан, музыка, танцы...

— И девочки ничего? — в тон ему спросил Сережка.

Хорошо, что он приехал. Молодчина все-таки. О делах в цехе Ильин не спрашивал, да и что они могут знать? Если б там что-нибудь стряслось, ему позвонили бы, а раз не звонят, стало быть, все в порядке.

Они приехали почти на два дня — им выходить завтра в ночную смену — и приволокли с собой еды на роту, да еще надувную лодку. Ее-то зачем? Откуда взяли?

— Темный человек, — сокрушенно ответил Сережка. — Не знает, что есть такая прекрасная организация: прокатная контора. А прокат, между прочим, происходит от слова «прокатиться».

— Смотрите, на самом деле не выкупайтесь, — предупредил Ильин.

— За нас Коптюгов купается, — усмехнулся Будиловский.

Ильин не понял: как это купается? Оказалось, Коптюгов втихаря от всех купил машину — не то «Жигуленка», не то «Москвичка», а в завкоме ему дали какую-то шикарную путевку в Гагры, и он вчера укатил в отпуск к Черному морю.

— Вот так-то, батя, — добавил Сергей. — Каждому свое, как говаривали древние. Начальник цеха может и на мокрых бревнышках посидеть, не рассыплется.

Ильин вернулся с ними на базу.

Когда ребята ушли на озеро со своей лодкой, он подумал: почему они с такой злостью говорили о Коптюгове? Читать ему не хотелось, он оделся и пошел к берегу. Лодка была уже далеко, Ильин не мог разобрать, где Сережка, где Будиловский. Под ногами у него похрустывала ледяная корка, мелкие, уже темные льдины плавали там, рядом с лодкой, и он с тревогой глядел на нее. Пожалуй, не надо было отпускать ребят. Он начал кричать им, чтоб возвращались, но лодка уже скрылась за небольшим островком.

Они вернулись днем с двумя щуками, оба счастливые, будто по меньшей мере покорили Эверест. Оказывается, у них была с собой дорожка, и вот, пожалуйста, роскошный будет ужин! И пол-литра у них тоже оказалось. Ильин только головой покачал: ай да милые мальчики, не рановато ли?

— С устатку и согреться, — сказал Сережка. Ильин только махнул рукой.

Ему нравилось, как весело, с шуточками Сережка сам чистил рыбу, подлизывался к поварихе, чтоб поджарила этих щук, как накрывал на стол в столовой и приглашал желающих «ответать свежбятинки». Нет, не надо мне бояться за него. Легкий и хороший вырос человек. Среди отдыхающих нашлись охотники не только до свежей рыбки, но и до водочки, так что каждому досталось и того и другого всего ничего, но и это нравилось Ильину. И когда повариха, еще молодая женщина, которую Сергей тоже притащил к столу, нараспев сказала Ильину: «А добрый у вас сынок-то», — он испытал ту уже забытую радость, какую всегда испытывают родители, когда похваляют их детей.

Вечером все собрались в верхнем холле у телевизора. Ильина позвали к телефону. Он спускался, думая, что это звонит Надежда, беспокоится, как Сережка. Еще бы! Укатил с лодкой! Но женский голос был незнаком ему.

— Сергей Николаевич? Здравствуйте. Это говорят из промышленного отдела радиокомитета. Мы очень благодарны вам за ваш звонок — помните? Вы нам очень помогли тогда.

— Я? — удивился Ильин. — Никогда вам не звонил.

— Как не звонили? Вы начальник литейного цеха Сергей Николаевич Ильин?

— Да.

— Вы нам звонили зимой, когда ваш рабочий Коптюгов ввел новый график плавки... Вы еще сказали нам, что хорошо бы дать ему возможность выступить по радио. Выступление было прекрасное...

— Это я помню.

— Мы его передали на Москву, а сейчас хотим сделать передачу о Коптюгове и просим вас принять участие...

— Я в отпуске, — резко сказал Ильин, — и я никогда вам не звонил.

Он положил трубку, поднялся в холл, сел в кресло. Сережка поглядел на него и тихо спросил:

— Мать?

— Нет.

Так он и просидел, мрачный, до конца передачи. Сказать об этом ребятам или промолчать? Пожалуй, все-таки надо сказать... Дважды за один день здесь как бы появился Коптюгов, и оба раза не по-доброму. Надо рассказать. Ребята тоже чего-то недоговаривают.

Сергей и Будиловский устроились вдвоем в комнате «суточников», и Ильин зашел к ним, когда они уже собирались ложиться. Он удивился, как быстро в комнате стало обжито и вместе с тем по-мужски неуютно — вещи разбросаны, ботинки сушатся на батарее, лишь в банку с водой сунуты несколько веточек с набрякшими почками. И те, наверно, принесли не они.

Ильин рассказал им о звонке из радиокомитета, и ребята переглянулись.

— Сам? — спросил Сережка.

— Или Генка, — ответил Будиловский. — Больше никому.

— Ну, дает! — потрясенно сказал Сережка. — А вы ему еще медальку «За трудовую» повесили.

Ильин пропустил мимо этот упрек, словно он не относился к нему. Орден Коптюгов не получил, его наградили медалью «За трудовую доблесть». Месяц назад награды вручал секретарь обкома Рогов и, когда Ильин подошел к нему, чтобы получить орден Трудового Красного Знамени, Рогов, пожимая руку, весело сказал, обращаясь ко всем: «Сам пришел и шестерых за собой привел. Так и держать, товарищ начальник цеха». Его место было неподалеку от стола, за которым стоял Рогов, и Ильин слышал, что секретарь обкома сказал Коптюгову, прикрепляя медаль к лацкану его пиджака: «Чтоб не последняя».

Теперь Сережка упрекнул его, Ильина. Он сидел на своей кровати, привалившись к стенке, и морщился, и усмехался, и покачивал головой, будто отгоняя от себя что-то неприятное.

— Ладно, — сказал наконец он. — Не пойман — не вор. Поди теперь докажи что-нибудь. Коптюг свои делишки тонко делает, не подкопаешься. Мне Сашка рассказал кое-что...

Будиловский быстро поглядел на него, и Сергей осекся. Ладно, подумал Ильин, это их дело. Но когда Коптюгов вернется, я все-таки спрошу его об этом звонке в радиокомитет.

— Все! — сказал он. — Спать, и поменьше разговоров на эти темы. Иначе мы черт знает куда заберемся.

— А может, туда и стоит забраться, батя? — спросил Сережка, но Ильин уже открыл дверь, вышел — и не ответил.

Утром он нашел на столе записку и конверт, в котором была другая записка. Первая была Сережкина: «Ушли на озеро гонять щук. Извини, вчера совсем забыл, что мать просила передать тебе свое нежное послание, и не проговорись ей, не то мне будет баня. Целую! Я!» Он открыл конверт. Надежда писала: «Сергей! Надеюсь, ты удержишь Сережу от необдуманных поступков (лодка). Я уже не в силах уговорить его. Н.» Вот и все, что было в этой записке.

Наконец-то ему удалось дозвониться до экспресс-лаборатории и поговорить с Ольгой, хотя слышимость была по-прежнему отвратительной и голос Ольги с трудом продирался через хрипы и потрескивания. Приходилось кричать. Ильин кричал, чтобы она приехала, и не понимал, почему Ольга отвечала: «Нет, не могу...» Ему казалось, что стоит ее попросить об этом, и она придет сразу. Это же Ольга! Почему она не может?

— Ты заболела? Плохо чувствуешь себя? — кричал Ильин.

— Нет, все в порядке. Но я никак не могу приехать..
Потом...

Что потом? — пытался сообразить Ильин. Придет потом, объяснит потом?

— Так надо... — доносилось из такого далека, что можно было подумать — она не в нескольких десятках километров, а на другом конце света.

Поехать самому? Просто посидеть с ней вечер, говорить о чем угодно и дожидаться наконец: она протянет руку, медленно проведет ладонью по его волосам, по щеке, рука скользнет к шее, и Ольга легонько и ласково тряхнет его: «Зачем ты себя мучаешь, Ильин?» Нет, не поеду. Я очень хочу видеть ее, почувствовать такое удивительное прикосновение ее руки, когда хочется закрыть глаза, чтобы пережить это мгновение вновь, продлить его в себе, но я не могу ответить на ее вопрос...

Совсем уж неожиданным и негаданным было то, что приехал Колька Муравьев.

С ночи начался ливень, и Ильин, просыпаясь на минуту, прислушивался к гулу над головой. Казалось, по крыше кто-то безостановочно бегал. Ильин натягивал на голову одеяло, засыпал и снова просыпался от этого гула. Утром, подойдя к окну, он увидел серую стену ливня, за которой смутно угадывались очертания недалеких деревьев. На улице сегодня не

выйти. И потом тоже не очень-то походишь: этот ливень разве-зет лесные дороги и затопит рощи. Ему показалось, что ничего на свете больше нет, есть только он на сухом островке посреди водяных стен, и это тоскливое ощущение своей оторванности от всего мира не покидало его даже тогда, когда он сидел вместе с другими отдыхающими в верхнем холле у телевизора. Вдруг кто-то, поглядев в окно, сказал:

— Машинам уже не пройти, наверно... Вон на лошадке провиант везут или почту.

Ильин тоже выглянул в широкое окно: уныло качая головой, лошадь тянула телегу. Возница в брезентовом почерневшем от воды плаще неподвижно сидел спереди, за ним, тоже под брезентом, что-то лежало. Все уже отвернулись от окна, а Ильин почему-то продолжал глядеть — быть может, потому, что эта живая лошадь и замерший возница были интересней, чем происходившее на экране.

Брезент зашевелился, и шевелился долго, словно человек, лежащий под ним, никак не мог скинуть с себя эту тяжесть. Потом он соскочил и, пригнувшись, бросился к дому: Ильин успел заметить, что в руке у него портфель, — значит, кто-то по делу к директору базы или «суточник»: с таким портфельчиком надолго не приезжают. Вымок поди бедолага! И ахнул, когда вдруг в холле появился Колька, не очень вымокший, зато весь вываленный в сене.

Уже у себя в комнате Ильин начал ругать его: с ума сошел ехать в такой ливень, чего ради? Колька в спортивном костюме Ильина, блаженно развалившись на его кровати, жмурился от удовольствия: хорошо! Три километра на сене, от лошадки под дождем как-то особо попахивает, возница к моей бутылочке нет-нет да и приложится, да так наприкладывался, что песенки уже начал петь под конец, с картинками, — хорошо!

— Тебе самому надо к психиатру, ей-богу, — продолжал возмущаться Ильин. — Нормального человека не понесло бы...

— Брось сыпать мне на мозги, — сказал Колька. — Принесло и принесло. И на физию у тебя, между прочим, совсем другое написано. Прочитать — что? «Ну и молодец ты, Муравьев, только вот зачем было вознице ту поллитровку отдавать — не понимаю. Такси восемьдесят копеек, ну, рубль от силы». Да вот негу на вашей станции такси, а этот ханыга говорит — повезу, ежели только за водку.

— Черт-то с ней, — засмеялся Ильин. — Конечно, здорово, что ты приехал.

Он глядел на Кольку с нежностью. А я ведь даже не удосужился написать ему ни строчки за все эти месяцы. Телеграмму послал — поздравил с Новым годом. И то спохватился под вечер тридцать первого...

— Понимаешь, — говорил Колька, — у меня за дежурства накопилось несколько выходных, а жену в командировку угнали, сын еще не вернулся — тоска зеленая. Дай, думаю, рвану

в родные края. Кажется, мы куда-то сюда за картошкой ездили, или я чего-то пугаю?

— Все пугаешь, — усмехнулся Ильин. — И за картошкой мы сюда не ездили, и вовсе не ты решил рвануть в родные края.

Он отложил Колькины брюки, с которых счищал на газету пряди сена, подошел к кровати, сел и положил руки на горло Кольки.

— Говори правду, доктор наук, если врать не научился! Считаю до трех, а потом похороны за счет месткома...

— А последнее желание? — с деланным испугом спросил Колька. — У всех цивилизованных народов принято...

— Валяй последнее.

— Сигаретку бы...

Ильин протянул ему сигареты и спички. Колька закурил, и лицо у него стало таким блаженным, будто эта сигарета и впрямь была последней в его жизни.

— Ольга вызвала? — тихо спросил Ильин, косясь на Кольку. Тот не ответил и продолжал затягиваться, как мальчишка, держа сигарету большим и указательным пальцами. — Ну, честно, Колька!

— Какая разница? — сказал он. — У меня ведь все равно прорва свободного времени. Что хочу, то и делаю.

— Значит, Ольга, — уверенно сказал Ильин, вставая и подходя к окну, за которым продолжал хлестать ливень. По стеклу один за другим бежали, словно гоняясь друг за другом, бесцветные червячки водяных струек. Значит, Ольга, подумал он уже про себя.

— Почему она вызвала тебя?

— А ты хочешь, чтобы она ездила сюда сама? — насмешливо спросил Колька. Он сел на кровати, по-турецки скрестив ноги; острые колени, казалось, вот-вот прорвут тренировочные брюки, которые были ему маловаты. Впрочем, тут же его насмешливость как рукой смахнуло. — Она позвонила мне, понимаешь... Она билась в телефонной будке, как птица в клетке... Из того, что она мне сказала, я понял, что у тебя сейчас пора решения, и плохо, если в этот момент рядом с тобой окажется женщина. Особенно она, Ольга. Думаешь, ей там, в городе, очень легко жить и знать, что ты здесь...

Он не договорил.

— Ты приехал помочь мне... с решением? — не оборачиваясь, спросил Ильин.

— Я приехал сюда отдохнуть, рваная ты галоша! — рявкнул Колька. — Отдай штаны. Я сам пойду договариваться с твоим начальством о раскладушке и жратве на целых четыре дня. Понял, ты, тюфяк под майонезом?

Он не видел, что Ильин плачет. Он никогда не видел этого и в детстве, даже в их самые трудные времена, не увидел и сейчас, потому что, по-прежнему ворча и поругиваясь, надевал брюки, совал ноги в мокрые еще туфли, натягивал свитер — и

ушел договариваться с директором базы о раскладушке и обедах...

Потом Ильин будет долго думать, чем был для него этот приезд Кольки. Спасением? Может быть, и так. Он вернул ему ускользающее чувство уверенности в себе, а это оказалось главным для Ильина в те нелегкие апрельские дни одиночества и, пожалуй, растерянности...

Колька перевернул здесь вверх дном спокойный, годами сложившийся уклад жизни. Уже на следующее утро он пригласил всех осмотреть следы возле домика, где жил обслуживающий персонал, и заявил, что сам, своими глазами — чтоб ему провалиться на этом месте! — видел волка. Не очень крупного, но, судя по внешности, жутко голодного. Потому что судите по следам: волк бродил в основном под окнами поварихи! Ему не очень-то верили, посмеивались, но в игру включились все и довели бедную повариху до того, что она по утрам кричала в форточку — звала провожатых, а земля под ее окнами была густо покрыта волчьими следами. Впрочем, Ильину Колька признался, что ни свет ни заря идет под окна поварихи и делает «волчьи следы» при помощи трех пальцев.

Из города позвонил Кузин и распорядился, чтобы на два дня приготовили *его* комнату. Ильин, узнав, что приезжает замдиректора по производству, начал морщиться — только Кузина ему и не хватало! И Колька спросил с яростной надеждой в глазах: «Что, паршивый человек?» — «Да не очень-то симпатичный...» — ответил Ильин и потом пожалел об этом. Когда приехал Кузин, к двери его комнаты была прикреплена дощечка с изящным дамским силуэтом и двумя ноликами... Кузин ударился в крик, все на базе давились от смеха, в том числе старичок директор, но Кольку никто не выдал.

Наутро Кузин сказал, что уезжает, потому что спать здесь просто невозможно — полтора часа под окном выли и лаяли собаки, штук пять, не меньше. Колька сочувственно кивал — да, да, просто ужас, и это уже не первую ночь. Наверно, дикие собаки, их развелось, говорят, вокруг крупных городов великое множество... И снова все давились, догадываясь, что никаких собак не было и в помине...

— А если б он остался? — спросил Кольку Ильин.

Тот невозмутимо ответил:

— Тогда бы над его комнатой всю ночь любились кошки.

— Сколько тебе лет?

— Я не заглядываю в свой паспорт, Серега, и давно не праздную дни рождения. А теперь давай пробежку на станцию за пивом...

Когда он уехал, Ильина спросили, кем работает его друг. Он ответил, но ему не поверили. Да бросьте вы! Доктор наук! В цирке, наверно, так прямо и скажите... Ильин засмеялся: пусть будет в цирке. Ему снова было легко, будто три дня побыв на веселом и добром празднике. И хорошо, что не было

больше никаких, совершенно никаких разговоров, и только тогда, когда Колька уехал, Ильин вспомнил. «У тебя сейчас пора решения...» Что ж, он прав, но решить все могу только я...

На этот раз Сережка приехал в Малиновку один, внешне спокойный, — погода хорошая, день свободный, почему бы и не приехать, ты ведь не против? — но Ильин сразу почувствовал и деланность этого спокойствия, и вовсе не желание Сережки отдохнуть денек. Он ни о чем не спрашивал, даже мысленно не подгонял его, — Сережка не умел долго таиться. Скорее всего, думал Ильин, парень не выдержал, написал Ленке Чиркиной, получил ответ и сейчас брякнет как бы между прочим: «Знаешь, у меня тут идея появилась — сбежать на денек в Заполярье».

Но день уже кончился, наступили прозрачные синеватые сумерки — Сережка молчал. Та раскладушка, на которой ночевал Колька, все еще стояла в комнате Ильина, и он сказал Сережке:

— Ты еще можешь спать на гвоздях, так что давай готовь раскладушку.

— Я обещал матери вернуться сегодня.

— Раз обещал — тогда вопроса нет.

— Вообще нет никаких вопросов, — усмехнулся Сережка, и эта усмешка была незнакомой Ильину. Он насторожился: вот сейчас Сергей начнет говорить. Но Сергей замолчал, и Ильин пошутил: что за странные загадки? Если бы в жизни не было вопросов, и жить, наверно, было бы неинтересно.

— А вот у меня вопросов нет, — уже угрюмо повторил Сережка. — Впрочем, один есть. Ты любишь маму?

Он спросил это неожиданно, в упор, повернувшись к Ильину всем телом.

— У нас очень тяжкие отношения, Сережа. Быть может, совсем плохие. Вряд ли в такое время и в таком положении можно говорить о любви. А изменить их...

— Я это давно знаю, — снова отвернулся Сергей. — Можно еще один вопрос? Если... если ты уйдешь... или мама уйдет...

Разговор становился все тяжелее и тяжелее обоим. Сергею было трудно спрашивать: пожалуй, он впервые в жизни так близко, не по книгам, фильмам или понаслышке столкнулся с разрывом двух когда-то любивших друг друга людей, а сам продолжал любить их *вместе* и еще не представлял, не хотел поверить, что они могут разойтись и он останется без кого-то из них. Ильину же было трудно отвечать, потому что он, всю жизнь приучавший Сережку к правде, не мог сейчас сказать ему хотя бы полуправду, а говорить все он не хотел. И все-таки ему сейчас тяжелее, чем мне, подумал Ильин.

— Что произошло дома, Сережа? — спросил он. Надо было как-то перебить Сережку, чтобы не ответить на его вопрос.

...Когда Сережка вернулся домой, мать уже нервничала и набросилась на него: что за манера — даже не позвонить, если где-то задерживаешься. Никаких объяснений, что было комсомольское собрание и позвонить было просто неоткуда, она не хотела слушать. Должен был позвонить! Только этого еще не хватало — теперь ты начинаешь дергать меня!

Сергей не стал ни спорить, ни возражать, но, если прежде в таких случаях он мог обнять ее, да так, что мать не могла пошевелиться, улыбнуться и сказать: «Ути-ути-ути...», и тогда она, еще хмурясь, уже улыбалась, — теперь это было бесполезным делом. К тому же настроение у Сергея было паршивым: часть плавки пошла насмарку, формачи недоглядели и плохо просушили форму — конечно, получился «хлопок», грохнуло дай бог как! Он ел и рассказывал матери, чтобы хоть о чем-то говорить, как забегало все цеховое начальство, а дядя Тигр даже кричал на формачей: «Распустились тут без Ильина!» Мать оборвала его: «Незаменимая фигура», — сказала она. И конечно, не надо было этого делать, но Сережка полез в спор. Его обидела эта ирония.

«Ты что же, не знаешь, что успел сделать отец?»

«Вполне достаточно, если это знаешь ты».

«Но так ведь нельзя, мама...»

«Что нельзя? — взвилась она. — Нельзя, чтоб я была у вас девчонкой на побегушках, вот чего нельзя! Я дома уже ноль без палочки, а для вас дом — удобное место, где всегда чисто и на плите обед. Хватит. Вот приедут старики, и я переберусь к ним, на дачу. Живи здесь со своим любимым, как тебе угодно».

Он даже сжался: столько во всем этом было несправедливости и еще — злости, неожиданной и непонятной для него.

«Что с тобой, ма?»

«Нет, надо кончать, надо кончать», — сказала она.

«Что кончать?»

«Да все. Все!»

Ее прорвало. Казалось, все сказанное до этого было лишь маленькими струйками, размывающими плотину, дальше был обвал. Сергей не предполагал даже, что все так худо. Говорить так, кричать так мог только нелюбящий человек, и это тоже было непонятно Сергею. Испортил жизнь? Чем? Послушать ее — выходило, что хорошими были только первые годы.

Остановить ее было невозможно, да Сергей и не пытался останавливать. Он сидел оглушенный, смятый, разбитый всем услышанным.

У матери разболелась голова, она ушла к себе, легла, и Сергей слышал, как она плачет там, в другой комнате. Но он не мог заставить себя пойти к ней, спросить, не нужно ли какого-нибудь лекарства, просто взять за руку, сесть рядом... То,

что она сказала сегодня, было слишком больно, и Сергей си-
лился понять, почему ему так больно.

Следующий день был у него выходным, он сказал матери,
что поедет в Малиновку.

— Что мама ответила? — еще с какой-то, уже последней,
должно быть, надеждой спросил Ильин.

— Ничего, — ответил Сергей. Он не мог сказать, что она
зевнула.

А Ильин, напряженно слушая его, ждал другого: сказала ли
Надежда Сережке, что он ему не родной сын? Она ведь грози-
лась сделать это и в запальчивости, в том состоянии, когда ее
заносит, вполне могла сказать. Но, видимо, все-таки сдержалась,
промолчала, и неожиданно Ильин подумал о ней с благо-
дарностью — хотя бы за это...

Сейчас Сергею пора было возвращаться, и Ильин сказал,
что проводит его до станции. Уже совсем стемнело, но у него
был фонарик. Три километра они прошли молча, лишь изредка
перебрасываясь ничего не значащими фразами, и только на
станции Сергей, неожиданно и быстро обняв Ильина, ска-
зал:

— Сейчас мы шли, и я думал... Ты всю дорогу светил мне
под ноги фонариком...

— Я все-таки в сапогах, — сказал, не поняв его, Ильин.

— Нет, — ответил Сергей. У него был сдавленный голос, ка-
залось, он вот-вот разревется, — просто всю дорогу ты светил
мне фонариком. Что бы у вас ни было, я...

Он махнул рукой и бегом кинулся к электричке.

25

Как и в прошлом году, лето выдалось жарким, и Нечаев,
сидя в машину рядом со Званцевым, подумал, что вот сбы-
вается его, Званцева, давняя шутка: на бюро обкома бывает
жарче. Они ехали на бюро с полугодовым отчетом, заранее
зная, что разговор будет нелегкий: та история с полетевшими
во время испытаний лопатками ротора давала себя знать сей-
час. Хотя, в общем-то, времени было потеряно не очень много,
завод лихорадило, сроки выпуска головного образца новой
турбины затянулись, людей в турбинном не хватало по-преж-
нему, и Нечаев грустно сказал Званцеву:

— Ситуация знакомая, Александр Иванович. То же самое
было полтора года назад, при Силине, — помнишь?

Званцев недовольно кивнул. Это напоминание о Силине бы-
ло сейчас совсем некстати. Что ж, на бюро оно открыто скажет:
сделано все возможное, чтобы наверстать упущенное время.
Ему не хотелось говорить даже с Нечаевым: мысленно он уже
стоял за небольшой трибуной, сбоку длинного полукруглого
стола, за которым сидели члены бюро обкома, и говорил
о сделанном. Нечаев положил свою руку на его.

— Нервничаешь? — тихо, чтобы не слышал шофер, спросил он. — Не надо, Саша. Рогов великолепно понимает все. Знаешь, что меня радует в нем? Если скажешь — я сделал все, что мог, он никогда не ответит, что надо было сделать еще сверх этого. Нормальный реализм плюс инженерные знания, и еще — партийная вера в человека.

— Ничего, — нехотя улыбнулся на это утешение Званцев. — Я тоже думаю, что нас поймут.

— Но говорить-то будешь ты?

— Может, и ты, — ответил Званцев. — Вполне вероятно, что Рогов поднимет и тебя. Главное — не повторяться.

В приемной, когда они вошли туда, было уже много народу, стало быть, бюро будет большим, долгим, и Нечаев, отметившись у секретарши, спросил, сколько будет вопросов.

— ЗГТ? — переспросила она. — Ну, вы-то вне конкуренции, вы идете первыми.

Он огляделся. Всегда можно было точно определить, кто с чем пришел сюда. Сдержанные, негромкие голоса скрывали волнение; здесь коротко здоровались знакомые, здесь не принято было расспрашивать о домашних делах; здесь люди, приглашенные на бюро, как бы внутренне собирались, прежде чем пройти туда, в небольшой светлый зал и отчитаться в своей работе. Нечаеву не раз доводилось бывать здесь, и он знал, что бывало по-всякому. Там, в том зале, не выбирали вежливых выражений, если речь заходила об упущениях. Там говорили правду в глаза, даже самую горькую и тяжелую. При нем там сняли с работы, да еще со строгим партийным взысканием, директора ЗГТ Силина, о котором все знали, что он — друг секретаря обкома с детских лет, и Нечаев даже сейчас, полтора года спустя, помнил те резкие, осуждающие, беспощадные слова, которые произносил Рогов. Тогда Нечаев вступился за Силина. Что ни говори, он был умелым организатором. И сейчас снова как бы услышал обращенные уже к нему, к секретарю парткома, слова Рогова: «А вы хорошо подумали, Андрей Георгиевич?»

Он оглянулся: Званцев стоял в другом конце приемной и разговаривал с какой-то грузной женщиной, та улыбалась — стало быть, не очень волнуется. Рядом с Нечаевым тоже разговаривали двое, но до него доносились лишь отдельные фразы: «...Опоздали с заявками на запчасти... Еще в феврале в Москву ездил...» — «Не примут во внимание, так что клади подушки на бока...» Он покосился на этих двоих: один, должно быть, из Сельхозтехники, и на бюро ему сегодня влетит по первое число за опоздание с заявками, конечно...

— Заходите, товарищи, — пригласила секретарша.

Нечаев успел сказать Званцеву: «Мы первые, сядем поближе», — и они прошли вперед, к первым столикам. Почти сразу же из противоположной двери, которая вела в кабинет Рогова,

вышли члены бюро, здороваясь кивками с собравшимися. Рогов, поискав глазами, увидел Званцева и Нечаева и сказал, пододвигая к себе уже приготовленные на столе бумаги:

— Первый вопрос — полугодовой план завода газовых турбин. Товарищ Нечаев...

Нечаев поглядел на Званцева и встал, недоумевая, почему секретарь обкома вызвал, или, как здесь было принято говорить, поднял его. Ведь обычно по таким вопросам всегда выступают руководители предприятий! Он выждал — немного, несколько секунд, чтобы убедиться, что Рогов не ошибся и приглашает на трибуну именно его, секретаря парткома. Нет, не ошибся. Опустил голову, листает бумаги, ждет...

— Иди, — тихо сказал Званцев.

— Десять минут вам хватит? — спросил, не отрываясь от бумаг, Рогов.

— Хватит, Георгий Петрович.

Он испытал неприятный холодок, когда встал за трибуну и поглядел на часы, чтобы уложиться в эти десять минут. В руках у него не было ничего, ни самого маленького листка бумаги, и Рогов, быстро поглядев на Нечаева, еле заметно улыбнулся чему-то.

— Пожалуйста, товарищ Нечаев.

Ему было нетрудно говорить. Все, что должен был сказать здесь директор, они обсудили уже не раз, и Нечаеву не надо было даже напрягать память, чтобы вспоминать цифры.

Он уложился в восемь минут, но не уходил с трибуны, зная, что, как всегда, начнутся вопросы.

— Как идет реконструкция термопрессового?

— Через месяц, по графику, заканчиваем первую очередь.

— Корпус турбинных лопаток?

Нечаев улыбнулся. Ровно год назад здесь, на бюро обкома, получил выговор начальник СМУ, которое строило новый корпус. Тогда ему дали срок окончания строительства — полтора года. С тех пор Рогов приезжал на строительство дважды.

— Через неделю приемка, Георгий Петрович.

— Помогло, значит? — усмехнулся Рогов. — Здесь начальник Большегородстроя? — Он оглядел собравшихся. — Вы передайте своему начальнику СМУ-7, что, если приемка пройдет с делками, выговор не снимем, а глядишь, еще добавим. — И снова повернулся к Нечаеву: — Конкретно, когда пойдет серия? С чем придете к концу третьего квартала?

Нечаев ответил: серия пойдет с августа, но к концу третьего квартала нагнать отставание завод сможет голько по валу.

— Есть еще вопросы к секретарю парткома ЗГТ? Нет? Походите, товарищ Нечаев... Я хочу объяснить товарищу Званцеву, почему мы нарушили общепринятый порядок и пригласили на трибуну не директора, а секретаря парткома. Долгое время там был секретарь, который аккуратно прятался за директор-

скую спину. Такой очень удобный секретарь — Губенко, кажется?.. И вот вам совсем другой секретарь, так что не обижайтесь, Александр Иванович, мы хотели, чтобы другие руководители глядели на вас и завидовали, как говорится, белой завистью. Но у меня есть еще вопросы, товарищ Нечаев. Как обстановка на заводе?

Нечаев знал, что этот вопрос будет обязательно. Рогов неизменно задавал его всем секретарям партийных организаций и всякий раз требовал четких ответов: как рассасывается очередь на жилье, как работает служба быта, какое настроение у людей, поступают ли письма с жалобами в партком... И на этот вопрос ему было нетрудно ответить: заселены два новых заводских дома — семьдесят с лишним квартир, на заводе открыты новый пищеблок и магазин полуфабрикатов, настроение — ровное, жалобы, в основном, на грубость отдельных руководителей, чаще всего — мастеров. Разбираемся, да и райком недавно проверял работу парткома с письмами трудящихся, замечаний нет.

— А что у вас за драка была недавно в литейном цехе? — неожиданно спросил Рогов.

— Драка? — поглядел на него Нечаев. — Я ничего не знаю.

— Секретарь парткома не знает, а секретарь обкома знает, — усмехнулся Рогов. — Подручный ударил вашего лучшего сталевара Коптюгова, а вы не знаете? Избили, понимаете, человека, о котором газеты пишут, а вы не знаете? Короче говоря, разберитесь и доложите мне лично. Ну, а по отчету решения принимать не будем — примем к сведению, я думаю? Есть другие мнения?

Других не было, да и не должно было быть, раз не прошла проверка, не работала комиссия. Званцев и Нечаев могли уходить. Рогов всегда сразу же отпускал тех, чей вопрос был уже выслушан: незачем людям терять время.

Уже на улице, снимая пиджак и направляясь к машине, Званцев сказал Нечаеву:

— Сколько я понимаю, ты сразу же кинешься в литейный цех? Только завези меня сначала домой, хочу нормально пообедать... — И добавил уже другим, досадливым тоном: — Этого нам как раз и не хватало — драки, да еще где узнать о ней — на бюро обкома!

26

За неделю до этого Коптюгов предложил Нице провести день в Малиновке. Выхать утром на машине, вернуться вечером — никаких хлопот, как говорится, от дома до дома, — и Нина согласилась.

С Коптюговым она виделась редко, и ей нравилось, что Коптюгов не настырничает, не пытается ее развлекать или, чего хуже, утешать, в цехе не появляется, лишь изредка звонит

по внутреннему телефону: «Как вы, Нина?» — и не просит встретиться. Он зашел только перед отпуском — попрощаться: купил машину, хочет съездить на Юг. Нина спросила:

— Значит, все-таки машина? А как же насчет приговора в собственном багажнике?

Он грустно улыбнулся. Надо же хоть чем-то занять себя, отвлечься, раз уж так складывается жизнь. Это был полунамеком, и она его поняла. Коптюгов уехал, прислал ей несколько писем — тоже грустных, и впервые Нина подумала: мы оба очень одиноки, я не люблю его, но, может быть, это пока и потом все придет само собой?

Теперь у нее была своя комната в маленькой коммунальной квартире, просторная и светлая, и наконец-то Нина почувствовала себя хозяйкой. Домашние хлопоты были приятными, соседи оказались на редкость славными людьми. Казалось, все, все должно уладиться в жизни, и мало-помалу Нина ощущала приход ровного спокойствия, и реже и реже, особенно по вечерам, вновь появлялось оно, горькое чувство обиды и несправедливости. И в то же время чаще и чаще она думала о Коптюгове, пожалуй даже с какой-то жалостью к нему, потому что ведь мучается человек, и не просто мучается, а это я мучаю его. Хорошо, что он все понимает. Другой на его месте давным-давно махнул бы рукой. Значит, любит. Когда Коптюгов вернулся из отпуска и позвонил, она сама предложила встретиться, пойти куда-нибудь. «Может быть, вы придете ко мне, Нина?» — «Нет, зачем вам лишние заботы. Просто будем ходить и разговаривать».

Вот почему она охотно согласилась поехать в Малиновку — сто лет не была за городом, даже забыла, как выглядит обыкновенный лес. Коптюгов заехал за ней на своем «Жигуленке» ранним утром, открыл дверцу, она села рядом с ним и только тогда увидела, что в машине еще двое — Генка Усвятцев и какая-то незнакомая девица.

— Ниночке категорический физкульт-привет! — сказал Генка. — Знакомьтесь: Ниночка и Валечка, а проще — Блошка, поскольку ейная фамилия Блохина, возможно будущая Усвятцева.

— Ну, прямо! — сказала Блошка. — Очень-то надо.

Нина внутренне поморщилась: Усвятцев ей не понравился еще тогда, на новоселье у Коптюгова, Блошка тоже не понравилась сразу. Зачем только Коптюгову понадобилось брать их? Она смотрела прямо перед собой на стремительно набегающую дорогу и слышала, как сзади вдруг началась тихая возня, и это было уж совсем неприятно Нине.

— А вы лихо водите машину, — сказала она Коптюгову, чтобы те двое, на заднем сиденье, вспомнили, что они здесь не одни.

— Армия научила, — сказал Коптюгов. — Пришел в ГАИ

сдавать на права, боялся как мальчишка. Ничего, руки и ноги сами все вспомнили. — И, обернувшись, прикрикнул: — Кончайте там жаться, другого места у вас нет, что ли?

Блошка снова хихикнула.

— А нам с Геночкой всюду удобно. Я Геночку как-нибудь к себе в служебное купе возьму. У меня двухместное.

Коптюгов только головой покачал.

Километров через пятнадцать была первая остановка, и Генка с Блошкой нырнули в рощу. Нина поглядела им вслед: девица стройная, ничего не скажешь. Коптюгов перехватил ее взгляд и недовольно сказал:

— Привязался ко мне Генка — возьми да возьми... А эту деву он просто на улице склеил. Говорит — иду, а впереди бедра в джинсах «Рэнгле», даже нашлепка светит — «Блю Бэлл». Ну, и подкатился — дескать, у какого купца брали и за сколько? А теперь вот... Вы не сердитесь на меня, Нина.

— Я не сержусь, — спокойно ответила она. — Я пойду вперед, а вы догоняйте.

Она пошла по обочине, скинув туфли, с блаженным ощущением холодной утренней земли под босыми ногами. Уже взошло солнце, оно было за спиной Нины, а впереди вышагивала ее тень, нескладная и длинная. Нина подняла руки — и тень подняла руки. Нина засмеялась: как хорошо! Утро, птичьи голоса, запах травы, пустая дорога, теряющаяся за поворотом, и солнце греет спину, и эта легкость во всем теле... Даже Генка с Блошкой не испортили ей настроения.

Привычка к городу, как это часто бывает, лишь обострила в Нине радостное ощущение этого когда-то оставленного ею другого мира — мира деревьев, трав, дальних синееющих лесов, огромного, не закрытого домами неба, и даже то, что она шла сейчас босая, рождало какие-то свои воспоминания. Она не оборачивалась. «Если дойду до поворота, а машина меня не догонит, все будет хорошо». Она дошла до поворота и услышала сзади шум машины.

— Не простудитесь? — спросил Коптюгов, когда она снова села рядом с ним. Ее тронула эта заботливость и этот тревожный взгляд на ее босые ноги.

— Нет, — сказала она. — Какое сегодня утро-то!

— А я больше всего по утрам спать люблю, — сказала сзади Блошка. — Хотите курить? У меня «Мальборо».

— Я не курю, — ответила, не оборачиваясь, Нина. — Бросила.

— Курили, когда было худо? — тихо спросил Коптюгов. Она кивнула. — Значит, сейчас...

Он не договорил, и Нина догадалась: не хочет, чтобы те двое слышали.

— Да, — все-таки сказала Нина. — Сейчас все совсем по-другому. Как будто проснулась, а сегодня вообще чудо: шла по дороге и думала — что может быть лучше природы!

— Ну, прямо! — сказала сзади Блошка. — Что-то мы долго едем, шеф.

Коптюгов и Нина невольно переглянулись и улыбнулись друг другу.

Потом Коптюгов свернул с шоссе и проселочной дорогой проехал к самому берегу длинного озера, посреди которого горбился островок. Отсюда была видна заводская база — несколько корпусов, и Коптюгов сказал Генке, чтобы тот смотрелся за лодкой. Поплывем на остров.

— Остров любви, — сказал Генка. — Так называется. Вы только мясо из кастрюли не вывалите, а то без шашлыка останемся.

Он ушел за лодкой, Коптюгов начал выгружать из багажника продукты, Блошка сразу же растянулась на траве, а Нина подошла к воде и ступила в нее. Здесь, у берега, вода была теплой. Нина зашла поглубже, приподнимая юбку и с улыбкой глядя, как мальки сразу начали крутиться возле ее ног.

В ней все росло это удивительное, спокойное и радостное ощущение чуда, до которого было всего-то сорок или пятьдесят минут езды. Солнечные блики на воде, запах уже разогревшейся хвои, теплая озерная вода, ласкающая ноги, и все то же неумолчное пение птиц входили в нее как будто впервые. Она осторожно шевельнулась — мальки кинулись врассыпную, и тут же неподалеку, у кромки камышей, что-то сильно плеснуло, она успела увидеть мелькнувшее тело какой-то большой рыбины и ахнула от удивления и восторга. По воде от всплеска пошли круги, маленькие волны набежали на колени Нины, и она попятилась в веселом детском страхе, больше похожем на игру.

А потом — новое чудо: скрип уключин, неторопливое движение лодки, легкий плеск воды... Она легла на носу лодки, свесив в воду руки, и черпала ее, не слушая болтовню Генки, как он уламывал директора отдать им на день эту баржу, — лодка впрямь была большая и тяжелая. Коптюгов и Генка с трудом вытащили ее на отмель возле островка.

Пробежав по мокрому песку, Нина поднялась на верхушку острова, где росли тонкие березы. Вокруг была вода. Снова чудо: вода, солнце и небо. Ее звали, ей кричали, но она снова побежала — вниз, на другую сторону острова, и голоса исчезли, уже не долетали до нее. Она словно опрокинулась в густую тишину и замерла, боясь спугнуть ее.

Надо было идти... Когда она подошла к тому месту, где они высадились, уже горел костер и Блошка, налепив на нос листок, в темных очках и бикини лежала на песке, крестом раскинув руки, а Генка кнопками прикреплял к березам плакат, написанный на длинном куске обоев: «Сталевары! Наша сила — в плавках!»

Нина подошла к Коптюгову, который сидел на корточках

у костра и подбрасывал в огонь ветки. Он услышал ее шаги и, подняв голову, поглядел на нее снизу вверх, словно охватив взглядом всю.

— Зачем он это делает? Скажите ему, чтоб снял, — попросила Нина. — Не смешно и... вообще...

Коптюгов поднялся, молча пошел к Генке, сорвал плакат, скомкал его, вернулся и бросил в костер.

— Не может без этих дурацких штучек, — досадливо сказал он. — А я сижу спиной и не вижу...

— Не хочешь — не надо! — обиженно крикнул Генка. — Дело хозяйское. Идем гулять, Блошка!

— Ну, прямо, — не шевельнувшись, лениво ответила Блошка. — Успеешь еще.

Костер уже горел вовсю, и Нина отворачивалась, когда дым летел в ее сторону. Скоро он догорит, и Коптюгов будет жарить шашлык. Вчера сам съездил на рынок, выбрал баранинки, замариновал, а шампуры — с Юга, и бутылка сухого вина стоит в теньке...

— Может, сначала выкупаемся? — спросил Коптюгов.

— Здесь глубоко?

— Дальше глубоко, а под берегом нормально.

— Выкупаемся, — согласилась Нина.

Она случайно заметила его взгляд, которым он оглядывал ее, когда, уже в купальнике, Нина подошла к воде. Она обернулась, чтобы позвать Коптюгова, и вдруг ей стало тревожно и стыдно одновременно — так он разглядывал ее, будто ощупывая глазами все тело и срывая с нее купальник. У него были не просто жадные глаза, во взгляде Коптюгова Нине почудилось что-то такое хищное, что она, не раздумывая, бросилась вперед, в воду, — укрыться в ней, убежать от этих остановившихся глаз...

На глубину она не пошла.

— Я неважно плаваю, — сказала она Коптюгову, когда тот оказался рядом. — Негде было учиться. У нас речка — ребятишкам по коленки. А вы бывали здесь и раньше?

— Да, — кивнул Коптюгов. — Приезжал отдыхать с ребятами.

Нет, подумала она, возможно, мне показалось, что он так смотрел. Она сама с удовольствием разглядывала его широкие, еще хранящие легкий южный загар плечи и крупные сильные руки и поймала себя на странном желании дотронуться до него.

— Поплыли вокруг острова? — предложил Коптюгов. — Устанете — положите руку на мое плечо.

Они плыли рядом, и Нина чувствовала, как вода ласково поддерживает ее. Временами они касались друг друга руками или плечами, и это были тоже ласковые прикосновения: Нине словно бы передавалось через них то, что хотел сказать Коптюгов: «Не бойся ничего. Я сильный, и я рядом. Плыви спо-

койно». А ей и так было спокойно. Даже мелькнувшая было на какое-то мгновение мысль, что он бывал здесь прежде не только с товарищами, тут же ушла. Да мне-то что? Да мне-то за чем думать об этом? Мне хорошо, и это сейчас самое главное.

Они заплыли за остров, и Нина устала.

— Повернем к берегу, — попросила она, и первой вышла на песок. Чуть выше была густая трава, и она с наслаждением села, подобрав длинные ноги и охватывая их руками. Коптюгов медленно подошел и опустился рядом.

— Нина, — хрипло сказал он. — Нина...

— Что?

Вот тогда-то она снова увидела его остановившиеся, дикие глаза, увидела совсем другого человека и не успела ни о чем подумать, как Коптюгов схватил ее, грубо, резко, и она почувствовала, что задыхается, рванулась, крикнула что-то, и он не смог удержать ее мокрое, гибкое тело. Он еще раз попытался остановить ее, и это снова было грубо, он рвал с ее плеч лямки купальника, тогда Нина толкнула его и отскочила.

— Вы с ума сошли!

— Не могу...

— Перестаньте! — крикнула Нина.

У нее тряслись ноги. Она не могла стоять — эта короткая борьба измотала ее сразу же. Вот для чего была затеяна и эта поездка, и заплыв вокруг острова. Она стояла и глядела на Коптюгова с ненавистью — никаких других чувств не было.

— Перевезите меня на берег, — сказала она. — Слышите?

— Нет, — сказал Коптюгов. — Я не могу больше. Ведь все равно...

— Я уеду сама. И все равно ничего не будет.

— Тебе не столкнуть лодку, — усмехнулся Коптюгов. Он уже успокоился. Он шел к ней, как охотник к подбитой добыче, чтобы добить подранка. Тогда Нина побежала — вверх, через рошу, слыша, как сзади бежит Коптюгов.

— Я поплыву, если вы не перевезете меня.

— Ты плохо плаваешь... Не дури...

Она ворвалась в воду и поплыла. Она не видела, как ошалело замер у костра Генка и как его девица приподнялась, чтобы поглядеть, что происходит. Нина плыла, далеко вперед выбрасывая руки, — скорей, скорей, подальше от этого острова любви, от этих диких глаз Коптюгова, грубых рук, от его звериной силы, которую она словно бы чувствовала и сейчас.

Сразу же после смены, еще не успев вымыться и переодеться, Коптюгов пришел к Ильину. Здесь, в кабинете начальника цеха, он не был с прошлой осени и, помня, как сухо, даже резко встретил его Ильин, вошел, постучав и сняв каску.

— Можно?

Ильин разговаривал по телефону и только кивнул ему. Коптюгов разглядывал этот кабинет, где ничего, казалось, не изменилось со времен Левицкого, и он подумал, что Ильину то ли некогда что-то переделывать по-своему, то ли он не умрет этого или не хочет, вот и живет здесь, словно временный жилец, снимающий комнату с хозяйской мебелишкой.

Ильин разговаривал с кем-то, еле сдерживаясь. Он не может сейчас поставить «сороковку» на ремонт. Конец полугодия, надо же соображать... Нет, они еще не подсчитывали, но, видимо, подойдут к концу июля впритык... И так-то было два прохлопа с цилиндровым литьем, а цилиндр все-таки двадцать дней «чахнет»... Да, всего доброго. Коптюгов, делавший вид, что не прислушивается к этому разговору, подумал: кто-то из начальства, вот Ильин и сдерживается...

— У вас дело?

— Сюда без дела не ходят, — ответил Коптюгов. — У меня, Сергей Николаевич, стаж вышел... Ну, кандидатский. В прошлом году, если помните, меня рекомендовал начальник цеха Левицкий.

— Помню, — кивнул Ильин и вдруг тоскливо подумал: господи, уже прошел год! Надо будет съездить к Левицким. Неужели уже год?

Он встал, поднялся и Коптюгов, но Ильин остановил его. Ничего, сидите. Обогнув стол, он остановился напротив Коптюгова и заметил, как тот напряжен, словно чувствует, что я ему сейчас скажу.

О том, что он скажет Коптюгову, Ильин решил уже давно, и вот теперь такой случай — они вдвоем, и все можно сказать без свидетелей, с глазу на глаз, не особенно задумываясь над словами. Это решение сказать Коптюгову все, что он думает о нем, впервые возникло еще весной, в Малиновке, после того короткого и полного недоговоренности разговора с Серезжкой и Будиловским; тогда он подумал — что же мы сами делаем? Сами! Молчим, когда надо сказать, уходим в сторону, когда надо наступать, боимся обидеть человека, когда его надо открыть и показать всем, что в нем есть.

Взгляд, которым он глядел на Коптюгова, был недобрым...

— Будем говорить честно, я надеюсь? — спросил он.

— Конечно. Дело партийное, так что готов на любую критику.

— Вот как? — усмехнулся Ильин. — Значит, чувствуете за собой какие-то недостатки?

— А у кого их нет?

— Это верно, ангелов не бывает... А знаете, Коптюгов, не поднимается у меня рука дать вам рекомендацию. Не поднимается... Я много думал о вас. И все, что я знаю... Короче говоря, все это против вас.

— А что вы знаете? — спокойно и жестко спросил Коптюгов. — Что я умею работать и работаю дай бог как?

«Что он знает? Ни черта он не знает...»

Ильин отметил про себя и это спокойствие, и эту жесткость. Если б такое сказали мне, я сразу бы встал и ушел, а он не уходит. Он ждет, что я отвечу, и я должен ответить. Иначе он где угодно может сказать — личная неприязнь, хотя я, как всякий человек, имею право и на личную неприязнь. Но ее одной для серьезного разговора маловато, пожалуй.

— Вам кто-нибудь дал уже рекомендацию? — спросил Ильин.

— Я к вам первому.

Ильин кивнул и вспомнил Сережкины слова: «Коптюг свои делишки тонко делает, не подкопаешься». У Ильина и сейчас появилось странное ощущение, будто Коптюгов, придя к нему просить рекомендацию в партию, тоже делает какое-то «делишко», но прав Сергей: не пойман — не вор, а я ничем не могу подтвердить это предположение...

— Должно быть, у меня было слишком мало времени, чтобы приглядеться к вам ближе, — сказал, отходя к окну, Ильин. — О чем-то я слышал, о чем-то догадывался сам... ну, о той великолепной плавке, например... И зачем это делалось, тоже догадывался, даже, если хотите, понимал и не очень осуждал... Скажите, кто от моего имени звонил на радио, когда вы ввели уплотненный график?

Он спросил это неожиданно и, повернувшись, глядел на Коптюгова, поражаясь тому спокойствию, с которым он ответил:

— Не знаю. Меня их сотрудница разыскала дома.

— Спокойно ответили, — сказал Ильин. Теперь он был уверен, что на радио звонил или сам Коптюгов, или этот его приятель, Усвятцев. Слишком уж спокойно ответил Коптюгов, будто сидел и ждал, когда я спрошу его об этом. И все равно доказать ты ничего не можешь. — Ладно, пусть будет так. Мне не нравится, как вы зарабатываете свою славу, Коптюгов. Она будто бы упирается, а вы тащите ее за руку в дверь. Эти статьи ваши и про вас... А ведь у нас бывает и так: потом уже слава по инерции начинает тащить человека, что ему и требовалось. Так вот, именно это я и думаю о вас, Коптюгов.

Тот встал наконец, и снова Ильин, все время наблюдавший за ним, не мог не отметить: Коптюгов словно бы вздохнул облегченно. Конечно, он ждал от меня другого — каких-то конкретных слов, может, даже обвинений. А я не смог сказать ничего путного — так, какие-то свои ощущения, и только...

— Разрешите идти? — с откровенной насмешливостью повоенному спросил Коптюгов. Ильин кивнул: да, конечно. идите.

Он обиделся? Наверно, нет. Он получит свои рекомендации,

а я на партийном бюро вряд ли смогу выступить против него со своими ощущениями, на это у меня нет права. Тот неприятный осадок, который остался после разговора с Коптюговым, не проходил. Ильин поднял трубку и нажал клавишу — Воол откликнулся сразу же.

— Я зайду к вам, Эдуард Иванович?

— Заходи, заходи.

Пришлось подождать, пока из партбюро уйдут все, — впрочем, те, кто был там, сообразили, что начальник цеха не просто так зашел в партбюро, и заторопились. Воол сел рядом.

— Я знаю, зачем ты пришел. Только не понимаю, к чему было отрицать... ну, про Ольгу... Все мы люди, все бы поняли. Мне звонила твоя жена, Сережа, но я так и не понял, чего она хочет, — чтобы ты вернулся или чтобы тебя мыли вплоть до райкома с выводами...

Ильин тихо засмеялся: вот как! Когда же она звонила? Ах, вчера! Почему же вы молчали, Эдуард Иванович? Тот прятал глаза. Все-таки личное дело, он ждал, когда Ильин придет к нему сам.

— А я совсем по другому поводу, — сказал Ильин. — Только что я отказал в рекомендации Коптюгову.

Воол кивнул несколько раз: да, да, конечно, это твое право... А сам думал о другом — о том, как вчера позвонила Надежда, назвала себя и сказала, что ее муж, начальник цеха Сергей Николаевич Ильин, ушел из дому к другой женщине — к лаборантке Ольге Мысловой...

У него был с собой всего один чемодан, и он не знал, дома ли Ольга или придется ждать ее, он знал лишь одно: больше ему идти некуда. Там, дома, осталась записка Надежде, которую он еле-еле написал, и потом так и не мог вспомнить, что же он написал.

Ольга была дома. Когда она открыла дверь и увидела чемодан, стоявший у ног Ильина, первым ее движением было — испуганный шаг назад, в глубину небольшого коридорчика.

— Ильин! — сказала она. — Господи, Ильин, ты...

— Когда-то одна добрая женщина привела меня к девчонке на баржу, — сказал, стараясь шутить, Ильин. — Сегодня я пришел сам.

— Заходи же! — прошептала Ольга.

Потом они долго и молча стояли в коридорчике друг против друга. Наконец Ольга, мягко подняв руки, обняла Ильина и уткнула лицо в его шею, а он гладил ее по плечам, трепал ее волосы с тоскливым и знакомым чувством то ли какой-то своей старой вины перед этой одинокой женщиной, то ли с горечью и болью от слишком живой еще памяти о другой женщине, — он не мог разобраться. Он пришел, и это было главным. Память все равно останется. Нельзя забыть половину прожитой жизни.

Ольга быстро отстранилась от него.

— Извини, у меня разгром... Идем на кухню.

Но там, на кухне, он увидел тоже чемодан, поставленный на табуретку, и в нем Ольгины вещи, аккуратно сложенные. Она уезжает? Ольга закрыла крышку и подняла чемодан. Да. У нее отпуск. Ведь она всегда берет отпуск в июле. Ильин сразу вспомнил: она ездит туда, на Абакан — Тайшет, на могилу своего мужа...

— Помнишь, — сказал он, — я тебя спросил, а ты ответила о Ерохине: «Я ему нужна». Тогда я не понял тебя, даже разозлился на такую жертвенность. А потом понял — нет, не про тебя, про себя, — что тоже нужен... Сережке, Надежде...

— Ты садись, — сказала Ольга. Она металась по маленькой кухоньке, сунула чемодан в угол, что-то снимала со стола, что-то засовывала в буфет. Ильин остановил ее. Нам надо посидеть вдвоем. Он увидел, как она села: опустилась на табуретку и положила на колени руки — как усталая крестьянка, думающая, что ей еще надо сегодня сделать...

— Мне трудно говорить с тобой об этом... — очень тихо сказала она. — Я всегда хотела поговорить с тобой, а сейчас... сейчас боюсь и не хочу. Ты пришел, и я совсем счастливая, Сережа. И я... никуда не поеду, ладно?

— Нет, — качнул он головой. — Обязательно поезжай! И каждый год потом тоже, Оля.

Хорошо, что она уедет. Я еще болен, я еще буду болеть долго и трудно, но зато потом, после болезни, у человека появляется иной взгляд на вещи, людей, людские отношения — другое видение, даже другое зрение. Я впервые почувствовал, что мне осталось, в сущности, не так уж много лет, радостей, хороших людей на пути, и хотя бы поэтому имею право на доброту. Кто меня не поймет и кто кинет первый камень?

Он не знал, что вот сейчас, когда он разговаривал с Володом, туда, к Ольге, пришла Надежда.

Она стояла на площадке, в легком светлом костюмчике, невысокая, полная, от нее пахло парикмахерской, лаком для волос, рука на бедре, на руке сумочка, и, щурясь, глядела на Ольгу, на ее простенький халатик с закатанными рукавами и суконные тапочки.

— Впустишь, или будем через порог разговаривать?

— Зачем ты пришла? — спокойно спросила Ольга — За своим стулом?

— Между прочим, за мужем. Тебе этого не понять, конечно...

— Не понять? — Ольга стояла в дверях, не впуская Надежду. — Я не могу понять другого. Столько лет... всю жизнь... Все тебе, все тебе!.. Нет, Наденька, тебе он больше не нужен,

ты у него уже все отобрала, что могла, и ты сейчас за своей привычкой пришла. — Она усмехнулась, и, пожалуй, Надежда впервые увидела, что у Ольги может быть такое недоброе лицо. — Успокойся, ничего у нас не было, всю ночь проговорили, а вечером я уезжаю... к Ерохину. Так что приходи сюда завтра, может, и вернешь...

И закрыла дверь.

Бюро было назначено на двадцатое июля, но за несколько дней до него Коптюгова вызвали в райком, в парткомиссию, — он не пошел. Он должен был прийти с заявлением и рекомендациями, а рекомендаций у него не было. Эрпанусьян отказал сразу — и никаких объяснений! «Рано тебе в партию», — сказал он. Штока Коптюгов оставил на крайний случай, поехал к Чиркиным и уже на лестнице догнал Татьяну Николаевну: та поднималась с двумя тяжелыми сумками.

— Помочь? — весело спросил Коптюгов, пытаясь отобрать у нее сумки. — Вообще в свободное время подумываю поработать лифтом.

— Ты это что, ты это куда? — спросила Чиркина, пятясь и не отдавая сумки.

— А я к вам, — все так же весело сказал Коптюгов. — Дома великий рабочий нашего времени?

Татьяна Николаевна пошла наверх, Коптюгов за ней, еще не понимая, не замечая, что творится с этой женщиной. И только когда она обернулась, он увидел побелевшие от ярости глаза.

— Уходи, — как-то страшно прохрипела она. — Уходи сейчас же, или я за себя не ручаюсь.

Она начала поднимать сумку, несколько картофелин выпало и поскакало по лестнице вниз. Коптюгов невольно отшатнулся.

— Да что с вами?

— Со мной ничего. С дочкой моей... Не Генка — ты ее испоганил, сволочь, она тебя послушалась... Скажешь, нет? Уходи, пока я на всю лестницу не закричала.

Коптюгов пятился, наступая на картофелины, не слыша, как они хрустят под ногами. Чертова баба! Сам-то Чиркин, наверно, так ничего и не знает, но лучше к нему все равно не соваться. Оставалось человек пять — рабочие с соседних печей и Шток, у которых он мог бы получить рекомендации. Он еще не думал, даже не предполагал, что против него кто-то может выступить на бюро или на собрании. Ильин — у него ничего определенного против меня нет, зато у меня есть, я ему так отвечаю... На открытом собрании Будиловский промолчит — интеллигенция! О Генке и говорить нечего. В случае же чего дойду до самого Георгия Петровича Рогова, да это и не понадобится, наверно...

Он с трудом дождался следующего утра, выехал из дому раньше времени и, чтобы сократить путь в раздевалку, решил пройти через шихтовой двор. Надо перехватить ребят в раздевалке, успею до смены с рекомендациями... Ничего особенного: «Знаю по совместной производственной и общественной работе с такого-то года... политически грамотен, морально устойчив...» Ну, и еще что-нибудь в этом духе, кроме описания цвета глаз. Всего и дел-то на пятнадцать минут. Первый, кого он увидел, был Сережка Ильин: как всегда, он пришел раньше, чтоб успеть загрузить корзину. Он работал, стоя к Коптюгову спиной, и не видел его, и кричал крановщице, чтоб бросила любоваться на себя в зеркальце. Коптюгов подошел и встал рядом.

— Чего это она? Заснула, что ли? Эй, красотка, меньше по ночам балуй!

— Перестань, — недовольно сказал Сергей. — У вас с Генкой что ни шуточка — тошнить хочется.

— Ох, ох, ох! — деланно покачал головой Коптюгов. — Какой хранитель нравственности. В кого ты, а? Папаша, говорят, от твоей мамы — тю-тю, к другой под бочок...

Вот тогда Сергей и ударил его.

Он ударил его всего один раз — по щеке, хлестко, с наслаждением, наотмашь, далеко отведя перед ударом руку, и не думал, что Коптюгов вполне может подмять его под себя, или отшвырнуть, или ударить так, что потом врачи будут ахать и суетиться. Коптюгов не ударил. Но уже бежали к ним, чтобы разнять, если понадобится, рабочие шихтового двора, а Коптюгов шурил на Ильина светлые, спокойные, даже насмешливые глаза — ну, теперь ты у меня держись, парень! — и, круто повернувшись, ушел...

...Все это или почти все Нечаев и выяснил за те несколько часов, которые провел сначала в цехе, потом в кабинете Ильина, а затем и Воола. Он ничего не узнал только о Нине, о том, что случилось за неделю до этого в Малиновке, но, может быть, это было уже не так и важно...

Все, о чем ему говорили Воол, Ильин и его сын, было для него открытием, и он только не понимал, каким же путем история с этой пощечиной дошла до Рогова. Выяснилось и это: Сережка был хорошо знаком с его дочкой, встретились на улице, та почему-то вспомнила Коптюгова, ну, он ей и выложил... Нечаев слушал Сергея и вдруг поймал себя на том, что любит парнем.

— А почему вы так волнуетесь? — перебил его Нечаев. — Попробуйте говорить спокойно.

— Спокойно? — удивился тот. — Пока мы все тут говорим спокойно, вы его еще и в партию примете, и орден дадите, и за границу пошлете...

— Зачем же вы отделяете себя от всех нас? Мы, что же, глухие, слепые, бездушные, а? Ведь вы, сколько я пони-

маю, тоже достаточно молчали, Сережа? Или в лучшем случае отделялись шуточками? Чего же молчите-то? Не хотите делить с нами свою вину, что плохо знаем друг друга?

Рогову он позвонил уже из своего кабинета по обкомовской вертушке. Подошел помощник Рогова, сказал: «Георгий Петрович занят, позвоните позже». Нечаев ждал, сидел и думал, что он скажет Рогову. Нет, никакой драки не было — была заслуженная, по его мнению, пощечина, а вот все остальное... Я скажу, что в Уставе нашей партии есть пункт шестнадцатый. Вот этот: «Если за время прохождения кандидатского стажа кандидат не проявил себя и по своим личным качествам не может быть принят в члены КПСС, то партийная организация выносит решение об отказе ему...» Воол так и сказал сегодня: «Я буду настаивать на отказе, Андрей Георгиевич. — Помолчал и добавил: — Готов, как говорится, нести наказание сам». И еще я могу напомнить сегодня Рогову тот день почти годовой давности, когда секретарь обкома приехал на завод и, постояв возле обелиска в честь павших ополченцев, среди которых был и его отец, обернулся и сказал мне и Званцеву: «Знаете, как меня отец учил? Не суди о людях только по тому, как они дело делают, а суди по тому, что в них есть». Да, как правильно, только всегда ли мы хорошо помним об этом?

27

Из письма Андрея Боброва Александру Будиловскому:

...Все, о чем ты рассказал мне в своем последнем письме, с такими очень хорошими подробностями, все-таки самая обыкновенная история, в которой еще нет конца. Я не знаю, как сложится дальше судьба С. Н. Ильина и О. Мысловой, и мне остается лишь пожелать им счастья. За твоего друга и за тебя я спокоен. Но меня волнует Коптюгов: такие люди никогда не понимают, что с ними случается, — они становятся еще более изворотливыми и настойчивыми.

Скорее всего (так мне, во всяком случае, кажется), он уедет, чтобы все начать на новом месте, среди людей, которые не знают его. Найдет себе нового Генку и — прости! — может быть, и нового Будиловского, и нового заматанного начальника цеха, и подслеповатого начальника участка, и... Горько, конечно, что это есть, но это есть. И честное слово, стоит побороться, чтоб этого не было...

А вот то, что ты пришел на партбюро и сам высказался по поводу Коптюгова, — на это нужно было мужество, и, если ты уже нашел его в себе, никогда не теряй, потому что именно оно помогало и помогает нам жить в этом нелегком, перепутан-

ном, не всегда понятном и не всегда открытом мире. Я обнимаю тебя.

И, когда ты сядешь за свою первую в жизни книгу, вспомни тех людей, с которыми свела тебя судьба, возьми от них доброе и осуди в них худое.

Осуди, чтобы помочь другим живущим рядом с тобой людям лучше увидеть и понять, что им мешает жить на этой все-таки бесконечно прекрасной земле.

1974—1979

ОГЛАВЛЕНИЕ

СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО

1. Очерк о директоре завода	6
2. Любовь	11
3. Понедельник — день тяжелый	21
4. Воспоминания по пути	24
5. Раздражение	44
6. «Зауэр — три кольца»	53
7. Знакомые старые и новые	71
8. Счастье Николая Бочарова	94
9. Обыкновенное утро	108
10. Гость	114
11. Дурочка	128
12. Женщина	140
13. «День рождения». <i>Очерк в областной газете</i> <i>«Красное знамя»</i>	153
14. Пятьдесят семь против	162
15. Кира	178
16. «Что бы мне изобрести?..»	191
17. Вечер под Новый год	201
18. Вечер под Новый год (<i>Продолжение</i>)	214
19. «Зачем и для чего...»	232
20. Комсомольский начальник	240
21. «Мой дядя самых честных правил...»	254
22. Тяжелые времена	278
23. Птица на лесной дороге	292
24. Тяжелые времена (<i>Продолжение и окончание</i>)	303

СВОЯ ВИНА

325

Евгений Всеволодович Воеводин

СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО

Л. О. издательства «Советский писатель», 1982, 664 стр.

План выпуска 1982 г. № 98.

Редактор Т. Д. Зубкова

Худ. редактор М. Е. Новиков

Техн. редактор Е. Ф. Шараева.

Корректор И. Г. Клейнер

ИБ № 3094

Сдано в набор 7.05.81. Подписано к печати 22.12.81. Формат 84 × 108^{1/32}.
Бумага тип. № 3. Гарнитура Таймс. Высокая печать. Усл. печ. л. 34,86. Уч.-изд. л. 47,08. Тираж 200 000 экз. Заказ № 1913. Цена 3 р. 10 к.
Издательство «Советский писатель», Ленинградское отделение, 191186,
Ленинград, Невский пр., 28. Ордена Октябрьской Революции, ордена
Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техни-
ческое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союз-
полиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам изда-
тельств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136,
Чкаловский пр., 15.